ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Ив. Бунин

Первая книга открывается обобщающей статьей «Путь Бунина—художника». Далее следуют два больших раздела. В первом — «Из творческого наследия» — публикуется много неизвестных (или затерянных в старой периодике) произведений, не включенных в 9-томное собрание сочинений Бунина (1965—1967). Сюда входят 37 рассказов, более 200 стихотворений, критические статьи и рецензии, газетные интервью, автобиографические, литературные и фольклорные записи. Раздел «Письма» содержит обширные материалы: переписку Бунина с В. Я. Брюсовым, переписку с Н. Д. Телешовым, письма к А. С. Черемнову, М. В. Карамзиной, К. А. Федину и др. — всего более 350 писем, охватывающих полвека (с 1895 по 1947 гг.).

В книге около 130 иллюстраций, часть их получена из парижского архива Бунина.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ИВАН БУНИН

КНИГА ПЕРВАЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ
В ДВУХ КНИГАХ

РЕДАКЦИЯ
В. Г. БАЗАНОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, С. А. МАКАШИН, К. Д. МУРАТОВА,
Р. М. САМАРИН, Л. И. ТИМОФЕЕВ, Н. А. ТРИФОНОВ,
М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА (ГЛАВ. РЕД.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 7 · 3

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ИВАН БУНИН

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 7 · 3

ГОД ИЗДАНИЯ СОРОК ВТОРОЙ

Л $\frac{0722-0105}{042(02)-73}$ 293—72

БУНИН

Фотография В. Г. Чеховского, Москва, начало 1900-х годов
С дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Антону Павловичу. Ив. Бунин»
Дом-музей А. П. Чехова, Ялта

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот том посвящен Ивану Бунину — его жизни и творчеству.

Один из крупнейших писателей XX века, выдающийся мастер слова, Бунин занял видное место в искусстве русского реализма, хотя, в отличие от других писателей этого направления, был далек от активных общественно-политических интересов и от публицистической тенденции, столь сильной в русском реализме.

С первых творческих шагов Бунина его талант формировался в русле традиций рус ской классической литературы — Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Льва Толстого. Этим традициям писатель остался верен и в дальнейшем, когда в русской литературе разгорелась острая борьба между различными декадентскими течениями и реализмом. Бунин стал деятельным участником московского кружка писателей-реалистов «Среда», активно сотрудничал в горьковском издательстве «Знание». На протяжении 1900-х — 1910-х годов он создал много замечательных произведений. Талант писателя получил всеобщее признание, его имя заняло место в первом ряду имен литературы нового века. «Он так стал писать прозу,— отозвался Горький в одном из писем 1912 г.,— что если скажут о нем: это лучший стилист современности — здесь не будет преувеличения».

Сочинения Бунина представляют обширную галерею картин и образов, преимущественно из мира русской деревни и дворянской усадьбы, а также уездного города. Русская жизнь показана здесь со всей полнотой художественной достоверности и выразительности. Многие из бунинских страниц пронизаны враждебным отношением к капиталистической цивилизации. Реализм Бунина антибуржуазен. Вместе с тем он часто исполнен печали и пессимизма. В социальном критицизме Бунина нет идеологически аргументированного отрицания осуждаемых писателем явлений, отрицания во имя ясно осознанного и желаемого будущего. Активность поисков общественного идеала и путей его осуществления, характерная для великих реалистов XIX века, унаследованная и продолженная в новых исторических условиях Горьким, чужда таланту и самой личности Бунина. Он хотел ощущать себя и ощущал только художником, писателем. Его общественные симпатии и антипатии определялись не столько системой взглядов, мировоззрением, сколько непосредственным художественным ви́дением мира.

К Октябрьской революции и созданному ею советскому строю Бунин отнесся враждебно. Это обрекло писателя на самоизгнание, на эмиграцию, что внесло в его биографию и духовную жизнь много трагического. Потрясенный и растерянный перед лицом Великой революции, исторической необходимости, целей и философии которой он не понял и не принял, Бунин в первые годы эмиграции унизил свое перо антисоветской публицистикой. Чувства злобы, ненависти и раздражения, а вместе с тем горечи и боли, владевшие им тогда, угрожали деградацией и, быть может, даже гибелью Бунину-художнику. Но он вскоре нашел в себе силы для того, чтобы прекратить эту чуждую его перу «публицистику». Он вернулся к писательскому труду и тем сохранил свой талант.

Лишь внешне парадоксально то обстоятельство, что когда Бунин жил на родине, он легко и охотно «покидал» ее — физически и «художественно»,— уходя на Запад, а чаще в страны древних цивилизаций Ближнего и Дальнего Востока. Когда же он стал пленником, хотя и добровольным, чужбины, оказалось, что он может думать и писать только о своей родной земле и ее людях. Именно они питали творчество Бунина в зарубежный период его жизни, позволяя ему и в ущербном бытии эмиграции создавать художественные ценности непреходящего значения. Но тема России в бунинской прозе и поэзии позднего периода приобрела и не могла не приобрести иное, чем раньше, звучание. Она пронизана тоской и печалью эмигранта по утраченной родине, предстоящей перед его глазами в картинах и явлениях уже не живой современности, а исторически изжитого прошлого.

Лучшие произведения дореволюционного и зарубежного Бунина, при общем взгляде на них, как бы сливаются в одно обширное полотно высокого художественного мастерства и неповторимого своеобразия. Политические предрассудки и социальные заблуждения, особенно эмиграция, глубоко осложнили жизненный и творческий путь

Бунина. Но в конечном итоге, вопреки этим отрицательным силам, Бунин все же смог стать тем, кем он стал — классиком русской литературы. Его огромный художественный талант и любовь к родной земле, его творчество — неотъемлемая часть русской национальной культуры.

Две главных задачи стояли перед редакцией при работе над «бунинским» томом:

1) Расширить ранее известный фонд творческих и биографических источников изучения Бунина;

2) Исторически осмыслить место писателя в русской литературе и продолжить, при помощи новых материалов, исследование некоторых других вопросов, в первую очередь художественного метода и мастерства писателя.

В двух книгах, из которых состоит том, материал распределен следующим образом:

Первая книга, открывающаяся статьей «Путь Бунина-художника», содержит два раздела. В разделе *Из творческого наследия Бунина* публикуются неизвестные и несобранные произведения писателя в разных жанрах. В разделе *Письма* печатаются наиболее содержательные документы из неизданного эпистолярного наследия писателя, в том числе двусторонне представленные переписки с В. Я. Брюсовым и Н. Д. Телешовым.

Вторая книга включает три раздела. В первом из них — *Статьи* — исследуется художественный опыт Бунина и изучаются его взаимоотношения с двумя великими современниками — Чеховым и Горьким. В разделе *Воспоминания* публикуются мемуарные источники как ранее созданные, но неизвестные в нашей печати, так и написанные специально для настоящего издания. В последнем разделе — *Сообщения и обзоры* — на новых архивно-документальных материалах освещается ряд сторон биографии и творчества Бунина. Завершается раздел сводным обзором бунинских рукописей и других бумаг, хранящихся в архивах Советского Союза.

Парижский архив Бунина (исключая те его части, которые были переданы В. Н. Буниной в Советский Союз) остался недоступен для редакции, хотя Л. Ф. Зуров, владевший в последние годы этим архивом, предоставил для использования в настоящем томе «Литературного наследства» некоторые материалы (фотографии, выдержки из писем к Бунину и др.). После смерти Л. Ф. Зурова в сентябре 1971 г. архив перешел по его завещанию к другому лицу и в настоящее время находится в Шотландии. Однако при упоминаниях этого архива всюду сохранено традиционное наименование: Парижский архив Бунина.

Создание настоящего тома было бы невозможно без деятельного участия многих учреждений и лиц. Текстовые и иллюстративные материалы для него предоставили: Рукописные отделы Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, ИМЛИ им. А. М. Горького, ИРЛИ (Пушкинского Дома), Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также: ЦГАЛИ, Музей И. С. Тургенева в Орле, Литературный музей, Библиотека Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Архив А. М. Горького, Архив АН СССР, Библиотека им. А. М. Горького в Одессе.

Своими советами и указаниями, сообщением материалов и другими формами содействия помощь редакции оказали: Н. А. Балтийская (Телешова), Н. В. Белова, Б. А. Бялик, покойный Л. Ф. Зуров, Н. В. Кодрянская, Н. Л. Крашенинникова, Л. Н. Мартынов, В. В. Навашина, Т. А. Паустовская, А. Я. Полонский, Б. А. Слуцкий, Н. П. Смирнов, Л. И. Тимофеев, К. А. Федин, В. В. Шмидт.

Особенно большой и ценный вклад в создание настоящего тома внес известный знаток жизни и творчества Бунина А. К. Бабореко.

Всем названным учреждениям и лицам редакция «Литературного наследства» приносит глубокую благодарность *.

Редакторы тома: А. Н. Дубовиков и С. А. Макашин. Непосредственное участие в редактировании тома принимала Т. Г. Динесман. Иллюстрации подобрали и подписи к ним составили Т. Г. Динесман и Н. Д. Эфрос. Фотокопии материалов, отобранных для иллюстрирования тома, были выполнены В. А. Ивановым.

---

* Лишь одно архивно-музейное собрание фактически отказало «Литературному наследству» в использовании бунинских материалов и в возможности ознакомления с ними. Это музей «Никитинские субботники».

ПУТЬ БУНИНА-ХУДОЖНИКА

Статья О. Н. Михайлова

Изучение художественного наследия Бунина только начинается. Хотя уже издано девятитомное Собрание его сочинений, впервые представившее столь полно бунинскую поэзию, прозу, критику, воспоминания, хотя появилось несколько монографий, посвященных его жизни и творчеству, хотя часто публикуются все новые статьи и мемуары — тем не менее всестороннее исследование всего, что создано этим выдающимся русским писателем нашего века,— впереди. И сегодня можно подвести лишь общие итоги и наметить только некоторые черты своеобразия творческого пути Бунина, безостановочно развивавшего и совершенствовавшего свое мастерство на протяжении долгой, почти семидесятилетней творческой жизни.

В эти семь десятилетий родина Бунина пережила события огромного, всемирно-исторического значения. Общественно-демократический подъем 1890-х годов и первая русская революция, мировая война, Февральская, а затем Октябрьская революция, преобразовавшая Российскую империю в Союз Советских Социалистических Республик и оказавшая гигантское воздействие на судьбы всего человечества, наконец, Отечественная война 1941—1945 гг.— таковы крупнейшие события, современником которых оказался Бунин.

Для русской литературы этот исторически короткий отрезок времени оказался необычайно насыщенным и богатым. Он включает в себя и творчество последних титанов критического реализма прошлого столетия — Толстого и Чехова; и борьбу реалистической литературы с декадентством; и произведения талантливых прозаиков-«знаньевцев»; и формирование нового метода социалистического реализма, основоположником которого явился Горький, метода, широко раскрывшего свои возможности в творчестве советских писателей.

Какое место занимает творчество Бунина в этой огромной панораме? Такова первая и важнейшая проблема, требующая своего осмысления. Характеристика Бунина-художника невозможна вне установления его литературной генеалогии, его места в ряду как предшественников — великих писателей XIX в., так и современников — прозаиков и поэтов начала нового столетия, а кроме того, тех, кто позднее сам испытал воздействие Бунина. В сплаве воздействия эпохи, насыщенной революционными потрясениями, жизненного опыта писателя, социальных и эстетических традиций, своеобразия таланта выявляются основные тенденции бунинского творчества, при всем его устойчивом характере заметно менявшегося от 1890-х годов к началу 1900-х и далее — в 1910-х годах. Проследить эти тенденции, определить эту проблематику значит в конечном итоге оценить роль Бунина, его вклад как русского художника в развитие нашей национальной культуры — прежде всего культуры предреволюционной поры.

В предреволюционные годы Бунин занимает видное место в литературе как крупный писатель-реалист, творчески воспринявший заветы великих мастеров прошлого. В таких значительных произведениях, как повести «Деревня» и «Суходол», «крестьянские» и «дворянские» рассказы, произведения обличительно-философского плана — «Господин из Сан-Франциско», «Братья», он откликнулся на важнейшие события своего времени; оставил образцы классически ясной пейзажной и интимной лирики; в поэзии и прозе глубоко затронул «вечные», «первородные» проблемы.

Характеристика пути Бунина-художника осложняется, однако, тем, что он принадлежит не только к периоду, ограниченному узкими хронологическими рамками — с 1890-х годов до 1917 г. В условиях эмиграции, в продолжение тридцати с лишним лет Бунин оставался крупнейшей и совершенно особой фигурой в литературе русского зарубежья. Его реалистический метод, его художественный стиль, его проблематика продолжали меняться в совершенно новой обстановке, что также требует своего осмысления и объективной оценки. Лучшие бунинские произведения эмигрантской поры — роман «Жизнь Арсеньева», рассказы «Митина любовь», «Солнечный удар», «Косцы», книга прозы «Темные аллеи», мемуарно-философский трактат «Освобождение Толстого» — также принадлежат русской литературе и неотделимы от нее.

1

В течение довольно длительного времени, вплоть до «Деревни» (1910) и «Суходола» (1911), творчество Бунина не было в центре внимания читающей публики и критики. Его поэзия, вопреки декадентской моде продолжавшая традиции А. Фета, А. Майкова, Я. Полонского, оценивалась в начале нашего века значительно выше его прозы. Как прозаик, Бунин виделся критике всего лишь «даровитым учеником талантливых учителей» [1]. Только очень зоркие современники — и среди них Чехов и Горький — сумели разглядеть в творчестве молодого Бунина нечто иное, большее. Правда, и это пришло не сразу и не вдруг. Поначалу и они отводили Бунину довольно скромное место в текущей литературе. Но если Чехов оставил лишь мимоходом сделанные замечания (скажем, отдав предпочтение Куприну при сопоставлении его рассказа с бунинским [2]), то Горький довольно последовательно считал в самом начале 1900-х годов художественные возможности Бунина ограниченными. Так, в письме к Пятницкому (сер. октября 1901 г.) он заявлял, что хотя Бунин как художник и «несравненно выше» Чирикова, но у того «есть лицо, а у Бунина — туман на этом месте»; в другом письме к нему же (2—3 июля 1902 г.) Горький иронизирует над теми из читателей, кто ставит Бунина «выше Андреева и Скитальца» [3]. Отсюда еще дистанция огромного размера до позднейшего утверждения того же Горького: «я считаю И. А. Бунина именно писателем не менее талантливым, чем Чехов, и более культурным, чем последний» [4].

Для весьма сдержанных оценок творчества Бунина конца 1890-х и начала 1900-х годов были свои, очень веские основания. Усвоив в русском реализме лишь его «спокойные» традиции, бунинская проза и поэзия на фоне литературы тех бурных лет, отмеченных нарастанием революционных потрясений, закономерно выглядели общественно индифферентными, за редким исключением не несли в себе непосредственного отклика на события, будоражившие и волновавшие страну в пору нового, революционного подъема. На фоне наиболее злободневных, социально-острых произведений демократической литературы, таких, как «Молох» Куприна, где впервые запечатлен протестующий пролетариат, как пронизанные пафосом революционного бунтарства «Песня о Соколе», «Фома Гордеев», «Мещане», «На дне» Горького, как агитационно-политическая лирика Скитальца и т. д.,— творчество Бунина тех же лет кажется выключенным из общественной проблематики.

Впрочем, точнее было бы сказать, что к общественной проблематике в широком смысле слова Бунин шел, но шел своим, последовательным и «непрямым» путем: через попытки отыскать смысл бытия, через углубленное самопознание, через стремление выявить «вечные», устойчивые и характеристические черты русского человека, русского крестьянина. Сравнивая бунинские произведения разных лет, скажем, ранний рассказ о больной побирушке, изгнанной родичами помирать в поле, под осенним дождем («Федосевна», 1891), с новеллой о кротком караульщике-отшельнике, готовом «лечь „под святые" когда угодно» («Мелитон», 1900), и далее — с «крестьянскими рассказами» 1910-х годов («Худая трава», «Веселый двор», «Древний человек» и т. д.), обнаруживаешь на удивление последовательное развертывание единой проблематики, только все более заостряющейся, обретающей глубину и масштабность.

Одновременно с «крестьянской» в прозе и поэзии Бунина развивается другая, если можно так выразиться,— «усадебно-элегическая» тема. Он обращается к героям, находящимся у последней черты жизни,— одинокому пожилому «фантазеру» Капитону Ивановичу («На хуторе», 1892) или жалкому и трогательному «степняку» Якову Петровичу, доживающему свой век бобылем, изредка вспоминающему прошлое, когда оживает под гитару старинный романс («В поле», 1895). Поэтическим комментарием к этим рассказам могут служить многие стихи Бунина тех же лет:

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Сел ты на лежанку, поднял тихий взгляд —
И звучит гитара удалью печальной
Песне беззаботной, старой песне в лад.

«Где ты закатилось, счастье золотое?
Кто тебя развеял по чистым полям?
Не взойти над степью солнышку с заката,
Нет пути-дороги к невозвратным дням!» [5]

Стихотворение, звучавшее жалобой на то, что «не воротишь жизни прожитой назад», называется «На хуторе», как и рассказ, где одинокий Капитон Иванович бессильно сетует: «Как же это так? 〈...〉 Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля... будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу — меня совсем не будет! И хоть тысяча лет пройдет — я никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду?» (2, 34). Уже в этих размышлениях молодого писателя предвосхищены позднейшие лирические отступления «Жизни Арсеньева» и «Освобождения Толстого».

Изображение обнищавшего мелкопоместного дворянства в середине 1890-х и начале 1900-х годов смягчено созерцательно-элегическим настроением автора. Если произведения 1910-х годов на ту же тему («Суходол», «Последний день», «Последнее свидание» и др.), напоминающие, по выражению Горького, «отходную», понуждают вспомнить о суровых традициях М. Е. Салтыкова-Щедрина, то предшествовавшие им элегии в прозе ближе тургеневской традиции, отмеченной музыкальностью, внутренней ритмичностью, богатством в передаче красок и ароматов русской природы.

Уже в «Антоновских яблоках» (1900), этой «поэме запустения», проза Бунина обретает особенный лаконизм и сгущенность слова. Как и другие лучшие произведения той поры («Сосны», «Новая дорога», «Золотое дно»), «Антоновские яблоки» поражают меткостью деталей, смелостью уподоблений, художественной концентрированностью, музыкальностью.

Бунинская проза подчинилась внутренней мелодике, причем характерно, что сам писатель видел в своих исканиях ритма прозы как бы продолжение стихотворчества. В дневнике Н. А. Пушешникова занесено признание Бунина: «Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем. Тургенев тоже был стихотворец прежде всего... Для него главное в рассказе был звук, а все остальное — это так. Для меня главное — это найти звук. Как только я его нашел — все остальное дается само собой» [6]. Обращение к Тургеневу тут не случайно. Тайное, внутреннее очарование его лирической прозы (вспомним хотя бы «Свидание») предвещало возможности качественного развития этих, еще смутных для XIX в. тенденций. Бунин вопреки другим своим, резко отрицательным высказываниям о Тургеневе и его реалистической школе, был многим обязан ему. Тургенев-прозаик (равно как и драматург, создатель театра, почти лишенного внешнего действия, погружающего движение в подтекст) оказал определенное влияние также и на новаторское творчество Чехова.

Однако в своих исканиях Чехов и Бунин, оба разрабатывавшие «малые» жанры прозы, шли совершенно разными путями. Чехов как бы «демократизировал» прозу, добившись в итоге предельной простоты и общедоступности ее восприятия, того, что А. Твардовский удачно охарактеризовал как «магию доходчивости» [7]. Самая форма рассказа, в сравнении с романом, представлялась Чехову более демократическим жанром (полушутя он говорил А. Н. Сереброву-Тихонову: «Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мещанам, разнолюду — роман уже не под

силу...» [8]). Бунин же, напротив, «аристократизировал» прозу, сознательно стремясь в рассказе к мерной торжественности интонации и высокой степени эстетизации действительности.

На особенностях Бунина как художника в значительной степени сказалась его социальная родословная, воспоминания о былом величии «столбового рода». В романе «Жизнь Арсеньева», во многом автобиографическом, писатель замечал: «Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку „промотавшихся отцов", в удел уже не досталось 〈...〉 Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них!» (6, 93). Он чувствовал дух дворянской культуры, своеобразие уклада целого социального пласта, безвозвратно смытого временем в «летейски воды». Об этом напоминали «дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках» («Антоновские яблоки» — 2,189). И снова приходит мысль о цельности и последовательности творчества Бунина. Между «Антоновскими яблоками» и «Жизнью Арсеньева», где тем же книгам из дедовской библиотеки посвящено столько поэтических строк, пролегло не только три десятилетия, их разделяют величайшие социальные потрясения, переменившие уклад всей России. Но разве не черновой главой, дальним подступом к «Жизни Арсеньева» (разумеется, с учетом изменения масштабности) выглядит в историко-литературной перспективе рассказ «Антоновские яблоки»?

Характерно, что и Чехов, и Горький, и Куприн единодушно подчеркивали в своих откликах на произведения Бунина начала века роль и значение его социальной родословной. «Мы похожи с вами, как борзая на гончую 〈...〉,— говорил Бунину Чехов.— Вы же дворянин, последний из „ста русских литераторов", а я мещанин — „и горжусь этим"...» [9]. Конечно, не следует буквально понимать слова Чехова: бунинское творчество даже тех лет никак не могло быть сведено к некоему «дворянскому началу». Скорее, как мы увидим, следует говорить об определенной социальной двойственности Бунина, который испытывал и тяготение к дворянским традициям, и отталкивание от них. К тому же воздействие «дворянской косточки», столь заметное в произведениях начала 1900-х годов, не только придавало цельность, но и сильно ограничивало поле зрения Бунина-художника, подчас вызывая у читателя тех лет ощущение определенного анахронизма. Это проницательно подметил в своей известной пародии на «Антоновские яблоки» Куприн [10].

Чтобы объяснить, хотя бы в самых общих чертах, место Бунина в литературе начала века, следует вернуться к истокам его творчества. Именно там заложены предпосылки — и замедлившие его выдвижение в первые ряды русской литературы, и в то же время способствовавшие этому позднейшему выдвижению.

2

Бунинский талант сформировался в обстановке провинциальной усадьбы, на Орловщине, испытывая, как уже говорилось, сильное воздействие дворянско-сословных традиций. Одновременно на него оказала сильное и благоприятное воздействие близость к природе, деревенской жизни. Покинув девятнадцатилетним юношей обнищавшее родовое гнездо, по словам матери, «с одним крестом на груди», он кочует по России, меняя одну жалкую должность на другую и считая себя «„вольнодумцем", вполне равнодушным не только к своей голубой крови, но и к полной утрате того, что было связано с нею» (9, 254). Его самые ранние произведения — очерки и рассказы, художественно еще не совершенные («Нефедка», «Судоржный», «День за день», «Помещик Воргольский», «„Шаман" и Мотька», «Мелкопоместные»), проникнуты демократическими настроениями [11].

Не следует, впрочем, преувеличивать самостоятельного значения этих ученических опытов юного Бунина. Что представляют собой хотя бы его «Мелкопоместные» (1891)? Это непритязательные бытовые зарисовки, с иронией описывающие хорошо знакомую Бунину среду провинциального небогатого дворянства. Капитон Николаевич Шахов и его супруга Софья Ивановна, их приятель — елецкий чиновник Иван Иванович, родственник Шаховых Яков Савельевич Матвеев, руина «старого доброго времени» — соседка Мария Львовна Кубекова, отставной улан Нил Лукьянович

БУНИН
Фотооткрытка, изд. К. А. Фишера. Москва, 1900-е годы
С автографической подписью Бунина
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

Бебутов, наконец, «настоящий» помещик Алексей Михайлович Каратаев, «картавый», как называли таких мелкопоместные,— все это картинки с натуры, написанные к тому же «очень отрывочно» [12].

В «Мелкопоместных», равно как и в откровенно святочном рассказе «Нефедка», в очерках «Помещик Воргольский», «„Шаман“ и Мотька», «День за день» и т. д., хотя и обнаруживаются наблюдательность, живость, литературная одаренность автора,— все же трудно предугадать того зрелого мастера, почерк которого замеген уже в произведениях 1900—1901 гг. Недаром Бунин вспоминал позднее в «Автобиографической заметке» (1915): «Сам чувствуя свой рост и в силу многих душевных переломов, уничтожал я тогда то немногое, что писал прозой, беспощадно» (9, 262).

Но отмечая ограниченность, художественную незрелость ранних рассказов и очерков (или юношеских стихов, таких, например, как написанный «под Никитина» «Деревенский нищий»), было бы ошибкой отрицать благотворность самого воздействия демократических идей, гражданственных и критических традиций русской литературы, в частности, Гоголя и Щедрина, на молодого Бунина.

Особенно важным и плодотворным для него было влияние старшего брата Юлия Алексеевича Бунина. Прекрасно образованный, с большим жизненным опытом, он в семье противостоял воспитанию сословной гордости в юном Бунине. В молодости он был народовольцем, подвергался репрессиям (позднее его революционные убеждения, правда, поблекли и он стал умеренным деятелем народнического толка). Всю жизнь старший брат оставался наиболее близким человеком, которому И. Бунин исповедовался в самом потаенном и интимном. Нет сомнения в том, что Ю. Бунин заметно воздействовал на брата, стремясь развить в нем гражданские и вольнолюбивые устремления.

Новой была уже та среда, куда Бунина ввел Юлий (в Харькове, например, они общались с кружками «самых завзятых „радикалов“» — 9, 260). Однако, как показывает дальнейшее развитие его творчества и позднейшие самопризнания, внутренне, по самому характеру своей личности, он оставался в известной мере одиноким даже

в то время, когда много и упорно искал ответа на мучившие его вопросы — в попытке опрощения среди толстовцев, в обществе народников, под влиянием старшего брата и т. д. «Я тогда жил,— говорит он сам,— несмотря на свою внешнюю общительность, вне всякого общества» (9, 361).

Наибольшее воздействие на «жизненный состав» писателя оказали те демократические традиции русской литературы и общественной мысли, которые были близки его индивидуальному, живому опыту. С юности он испытал, наряду с культом «чистых», «дворянских» лириков, сильнейшее тяготение к писателям из самой народной гущи. Характерен отбор имен в его ранних критических опытах — поэт-самоучка Е. Назаров (1888), Н. Успенский (1889, 1890 и 1892), Т. Шевченко (1891), И. Никитин (1894) и т. д. Примечательно и то, под каким углом оценивает их роль молодой Бунин. Связь с народом, с природой, с «землей» — вот что, по его мнению, является главной предпосылкой в развитии всякого истинного литературного дарования, ибо все это «люди, крепко связанные с своей почвой, с своею землею, получающие от нее свою мощь и крепость. *Так* был связан с нею и Никитин, и от нее был силен в жизни и творчестве» (9, 506). И когда позднее Бунин не без гордости заявляет. «Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей...» (9, 267),— он почти дословно повторяет слова своей юношеской статьи о «сильном человеке» Никитине.

В такой оценке отразилась живая, некнижная связь нищего «барчука» Бунина с деревенским бытом, трудом, досугом, с крестьянской эстетикой. По сути, он был ближе к крестьянству и лучше понимал его, чем многие народнические интеллигенты, один из которых, Скабичевский, так возмутил Бунина своим равнодушным признанием, что «за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал» (9, 223).

Сам Бунин не только «видел», как растет рожь,— он рос вместе с нею, проведя детство «в глубочайшей полевой тишине», «среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам» (9, 254). Близость к природе, сопричастность деревенской жизни, ее трудовым интересам, ее эстетике не могли не отразиться и на формировании литературных вкусов и пристрастий Бунина, на его позднейшем «противостоянии» модным городским «измам».

Однако, восхищаясь в молодости писателями-самоучками, просвещенными «безнаук природою» (поразившая его безграмотная надпись на могиле А. В. Кольцова в Воронеже), сам Бунин не был похож на них, хотя и остался «недорослем», с четырьмя неполными классами гимназии. На его душе оставила свой чекан высокая культура, органически, кровно усвоенные в юности Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Гоголь, Тургенев, Толстой, Полонский, Фет. Он штудирует Шекспира, Гете, Байрона и так глубоко изучает английский язык, что в 25 лет создает свой знаменитый перевод поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Бунин основательно знакомится с украинской литературой и фольклором, интересуется польской поэзией, прежде всего творчеством Мицкевича [13]. Под влиянием старшего брата он обращается к философии, социологии, истории, публицистике, хотя и читает бессистемно, все подряд — Куно Фишера, Л. Берне, Г. Спенсера, Н. К. Михайловского и т. д.

При всем раннем самоопределении Бунина, устойчивом круге интересов, его взгляды — как некая цельная система — сложились окончательно лишь где-то в середине 1910-х годов. В раннем творчестве Бунина мы обнаруживаем известные демократические тенденции, которые продолжаются и далее, в рассказах 1890-х годов — «На чужой стороне», «Вести с родины», «На край света». Разумеется, эти тенденции, а также критические и даже сатирические нотки в изображении хорошо знакомого ему поместного дворянства, появившиеся в творчестве молодого Бунина под воздействием Гоголя, Щедрина, Н. Успенского,— все это не могло не быть важным и плодотворным. Однако последующее развитие Бунина-художника шло в ином русле. Сатира, публицистическое обличение, разящий смех — все это лежало за пределами бунинского таланта. Вот почему вряд ли следует искать в ученических опытах Бунина «славные сатирические традиции гоголевских „Мертвых душ"» [14].

Бунин нашел в Гоголе близкое себе, содержанию своего таланта,— в преимущественно внешней изобразительности, в биении ритма, в оригинальности, неожи-

данности запоминающихся метафор и сравнений, в красочности и блеске «парчевого» языка. «У Гоголя,— вспоминал он,— необыкновенное впечатление произвели на меня „Старосветские помещики" и „Страшная месть". Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, „жизненный состав"» (6, 38). Характерно, что в «Страшной мести» его «необыкновенно» волновал «самый ритм» произведения (9, 259).

Воздействие гоголевской традиции заметно уже в рассказах конца 1890-х и рубежа 1900-х годов. Читая лирическую, бессюжетную прозу Бунина этой поры, ощущаешь преемственность, восходящую к тургеневским стихотворениям в прозе и авторским отступлениям из «Мертвых душ». Речь идет, разумеется, не о механическом копировании стилистического рисунка Гоголя, но об исключительном чувстве ритма, точности предметных сравнений, общей атмосфере взволнованности, эмоциональной приподнятости. Условно говоря, «Сосны» или «Новая дорога» — это как бы лирические отступления, выделившиеся в самостоятельный жанр.

На пересечении изобразительных традиций Гоголя, Тургенева, а позднее, как мы увидим, и Толстого, Бунин находит свое, оригинальное продолжение, испытывая одновременно и воздействие Чехова. Чехов как-то сказал Бунину: «Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу...» (9, 208). И не только «пробил дорогу», но и надолго вперед предопределил развитие самого жанра рассказа. Влияние Чехова на Бунина сказалось не в проблематике (ранний рассказ «Учитель», по-чеховски трактующий тему засасывающей интеллигента-разночинца среды, растянут и вял), не в стилистике, а лишь в направлении общих поисков. Что же касается художественного метода Чехова и Бунина, то тут скорее следует говорить о своеобразной эстетической «несовместимости» писательских индивидуальностей *. Чехов сказал, как известно, о «Соснах»: «только слишком компактно, вроде сгущенного бульона»[15]. Здесь «только» подчеркивает чужое, не чеховское. В свой черед Бунин, благоговевший перед Чеховым, отметит потом, что тот «пишет бегло и жидко». У Чехова поражает его волшебство как бы «из ничего»; Бунин, напротив, стремится ко все большему уплотнению, сгущению прозы. Прочитав «Деревню», Горький повторит упрек Чехова, указав, что видит «лишь один» недостаток в ней — «густо!»[16]. Но тот же недостаток был и достоинством, свидетельством своеобразия, самобытности Бунина-художника.

К концу 1890-х годов в основном завершается путь Бунина к самому себе, достигает зрелости его дарование, поражающее внешней изобразительностью, феноменальной наблюдательностью и цепкостью памяти писателя. Настойчиво, сознательно, непрестанно он тренировал в себе наблюдательность, способность угадывать с единого взгляда характер человека, его положение, профессию. «Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего ⟨...⟩, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него»,— скажет в «Жизни Арсеньева» Бунин (6, 233). А если добавить к этому, что всю свою долгую творческую жизнь он был и оставался художником-подвижником, кропотливо, мучительно шлифовавшим каждую фразу, станет ясно, что и качества его таланта соединились на редкость гармонично и счастливо.

3

Однако, как ни парадоксально, но именно это гармоничное, счастливое сочетание качеств бунинского таланта обусловило не только художественную чистоту и совершенство, но и известную ограниченность его творчества 1890-х и начала 1900-х годов, сосредоточенного на нравственно-эстетических, подчас — чисто эстетических задачах. «Писать! — запальчиво вспоминал он об этой поре.— Вот о крышах, о ка-

* Вопрос о взаимоотношении творческого метода Чехова и Бунина остается еще спорным (см. в настоящ. томе, кн. 2, статью Э. А. Полоцкой «Чехов в художественном развитии Бунина»).— *Ред.*

лошах, о спинах надо писать, а вовсе не за тем, чтобы „бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!"» (6, 233). И в другом месте: «Я написал и напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно: один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею, другой на пошлую тему о помещичьем разорении и тоже с выдумкой, между тем как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р., и еще про неподвижное чучело ястреба, которое стоит у него в кабинете на шкапе 〈...〉 Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность» (6, 243). При всей полемичности этих позднейших признаний в них есть немалая доля истины. Бунин, если можно так выразиться, был долгое время «слишком писателем», а его произведения — «слишком литературой», чтобы реагировать на все то, чем жила и болела в ту пору огромная Россия.

Действительность уже поставила перед искусством новые задачи, что было связано с нарастанием общественных противоречий, поисками выхода из круга отмирающей идеологии, наконец, близящейся революцией. Жизнь несла в себе новые черты, новые конфликты, выдвигала новых героев. «Настало время нужды в героическом», заявлял молодой Горький в письме к Чехову(Горький, т. 28, стр. 113). Творческая практика самого Горького и была ответом на запросы эпохи.

Используя издательство «Знание» как трибуну для объединения демократических литературных сил, Горький привлекает и Бунина, но неоднократно говорит о его общественной индифферентности [17]. Сам Бунин среди «знаньевцев» выглядит «попутчиком», хотя много и охотно печатается в этом издательстве. Фигура Бунина в эту пору, на грани нового века, выглядит достаточно одинокой. Редкие для него попытки откликнуться на «злобу дня» малоудачны, отдают холодноватой риторикой [18]. Само призвание художника временами воспринимается им как служение «избранника» красоте:

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.

На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.

И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радует привет!

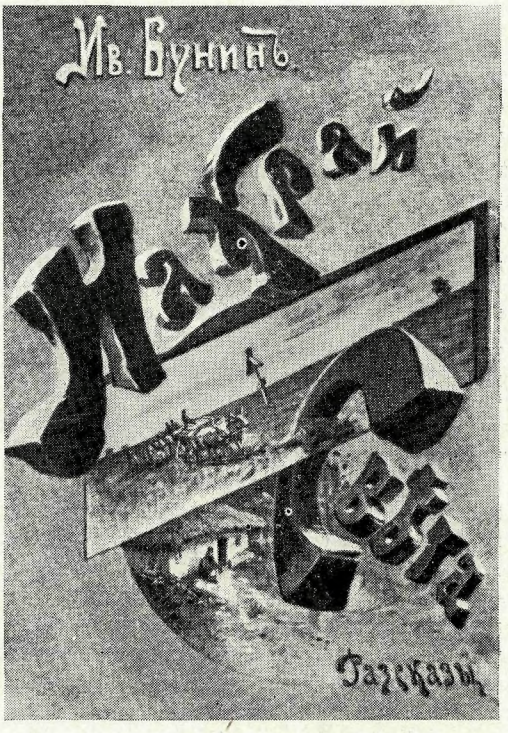
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.

(1, 141—142)

И некоторые прозаические произведения этой поры («Перевал», «Костер», «В августе», «На Донце», «Осень», «Свидание» и т. д.) в равной степени эстетизируют одиночество, замкнутость переживаний. Это дает повод иным исследователям сблизить позиции Бунина в начале века с русским декадентством [19].

На деле у Бунина, одного из непременных членов, можно сказать, одного из основателей демократического объединения «Среда», и идейно-творческие, и человеческие связи с группой «Знание» были куда крепче, чем с символистами. Русский декаданс целиком и полностью был порожден капиталистическим городом; Бунин накрепко привязан к старой деревне и в те годы города вообще не касался как феномена, ему незнакомого и чуждого. Символизм, как хорошо сказал Б. К. Зайцев, «коренился в московском Сити», т. е. поддерживался, а подчас и прямо финансировался толстосумами из «третьего сословия»; в бунинской генеалогии важное место занимает начало противоположное, дворянско-патриархальное. Наконец, русские символисты, порывавшие с заветами «старой» литературы, стремились обновить искус-

«НА КРАЙ СВЕТА» (СПб., 1897)
Первый сборник рассказов Бунина
Обложка



ство; Бунин столь явно был связан с литературой XIX в., что казался многим даже чересчур архаичным. Эта внутренняя чуждость и враждебность символизму особенно очевидна в бунинской поэзии тех лет.

Сердцевину, стержень бунинской поэзии 1890-х и начала 1900-х годов составляло то, чего символисты почти не касались, не знали и не любили: русская природа. «Они сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца. Но природа жестоко мстит за это»,— писал о декадентах двадцатичетырехлетний Бунин (9, 506). И хотя книга «Листопад» появилась в символистском «Скорпионе», кроме марки издательства ее ничто не связывало с декадентским лагерем. Посвященная Горькому, поэма, по которой был назван сборник, воскрешала жизнь леса, таинственную и поэтичную:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой...

(1, 120)

«Так знать и любить природу, как умеет Бунин,— писал А. Блок,— мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко и красочные и слуховые его впечатления богаты» [20]. Но даже отдавая должное бунинским стихам, поэты-

символисты не раз подчеркивали их чужеродность «новому» искусству, их «контрсимволизм». Символистам, с их стремлением к формальной новизне и изощренности в поэзии, стих Бунина казался архаичным, старомодным, «ветхозаветным» [21].

В самом деле, на рубеже XX в., когда уже пробивались первые ростки пролетарской литературы и одновременно крепло «новое» символистское направление в поэзии, бунинские стихи могли бы показаться живым анахронизмом. Самый их эстетический строй предполагает в авторе как будто не современника Горького и Блока, а скорее ровесника Полонского и Майкова. Недаром иные стихи Бунина заставляют вспомнить малых и больших, но всегда старых поэтов.

Приверженность к классическим традициям уберегла стихи Бунина от модных болезней времени и одновременно сократила приток в его поэзию впечатлений живительной повседневности. На месте зыбких впечатлений и декоративных пейзажей символистов, на месте «куртин красоты», «прозрачных киосков», «замерзших сказок» — точные лаконичные эскизы, но в пределах уже великолепно разработанной системы стиха. В них нет брюсовского произвола в создании фантастических миров, но нет и мощных кованых строф, дыхания городской улицы, которое принес Брюсов в поэзию, предваряя Маяковского. В них нет эмоционального солипсизма молодого Блока, но нет и кровоточащей правды, которая заставляет поэта немедленно вмешаться в жизнь, попытаться бороться с неустроенностью жизни, даже если эта попытка заведомо обречена на неудачу.

Бунин остался в основном во власти «старой» образной системы и ритмики. Ему приходилось поэтому внешне банальными средствами добиваться небанального. Путь слова от круга общеупотребляемых стертых сочетаний к своему новому гнезду — уже как метафоры — необыкновенно короток. Поэт вскрывает неизведанные возможности, заложенные в традиционном стихе. Он уверенно выбирает такие сочетания слов, которые, при всей своей простоте, порождают у читателя ответную волну ассоциаций. Только острое чувство живой связи с природой помогло поэту избежать эпигонства, хотя он шел по путям, по которым шли до него Полонский, А. К. Толстой, Фет. Лишь говоря с природой на ее языке, недоступном горожанину, можно было, например, подметить такое:

Усадьба по-осеннему молчала.
Весь дом был мертв в полночной тишине,
И, как ребенок брошенный, кричала
Ушастая пустушка на гумне.

(1, 184)

В противовес равнодушному отношению к природе поэтов-восьмидесятников (вспомним, как раздражали Бунина надсоновские стихи, где болотная осока растет «*над* прудом и даже склоняется над ним „зелеными ветвями“»—6, 122) или демонстративному отъединению от нее декадентов, Бунин реалистически точно воспроизводит ее мир. Всякая поэтическая условность, переступающая границы реально-возможного, воспринимается им как недопустимая вольность безотносительно к жанру (так, он с откровенной прямолинейностью возражал против того, что в горьковской «Песне о Соколе» выведены сокол и уж, «почему-то» очутившиеся в горах). И когда сам он изображает крылатого хищника, в стихотворении передается живой опыт деревенского человека:

В полях, далеко от усадьбы,
Зимует просяной омет.
Там табунятся волчьи свадьбы,
Там клочья шерсти и помет.

Воловьи ребра у дороги
Торчат в снегу — и спал на них
Сапсан, стервятник космоногий,
Готовый взвиться каждый миг.

(1, 207—208)

Однако было бы ошибкой рассматривать поэзию Бунина как нечто раз и навсегда сложившееся, неизменяющееся, пассивно-самоцельное и созерцательное. Внешне он

как будто остался холоден и бесстрастен по отношению к громовым событиям начала века, событиям первой русской революции. В то время как другие мелкобуржуазные, демократические писатели брались за самые насущные темы, он неторопливо шлифовал свои произведения об угасающих дворянских гнездах, путешествовал по Ближнему Востоку, Египту, по Европе. Мы не найдем в его стихах города, городской жизни, отзвуков общественной борьбы. Он спешит увести читателя в поле, в лес, или спокойно любуется морским прибоем, или размышляет о суете жизни.

И все же появление в дальнейшем таких «тузовых» (выражение Горького) вещей, как «Деревня», «Суходол», «Господин из Сан-Франциско», доказывает, какая огромная невидимая работа должна была им предшествовать. Если на рубеже века для бунинской поэзии наиболее характерна пейзажная или интимная лирика в ясных классических традициях, то в пору первой русской революции и последовавшей затем общественной реакции Бунин все более обращается к лирике философской, продолжающей тютчевскую проблематику. Не легкость и туманная импрессионистичность Фета, не напевность Полонского, но строгость, даже чопорность, своего рода «неоклассицизм» ощутим в его стихах, обретающих космическую масштабность.

И меркнет тень, и двинулась луна,
В свой бледный свет, как в дым, погружена,
И кажется, вот-вот и я пойму
Незримое — идущее в дыму
От тех земель, от тех предвечных стран,
Где гробовой чернеет океан,
Где, наступив на ледяную Ось,
Превыше звезд восстал Великий Лось —
И отражают бледные снега
Стоцветные горящие рога.

(1, 343)

Жизнь для Бунина — путешествие в воспоминаниях, причем не только биографических, но и в воспоминаниях рода, класса, человечества. Ему свойственно пантеистическое восприятие мира и своего рода метафизическое исследование глубинных основ характера русского народа. На бунинском циферблате истории нет стрелок. Да и не стрелки важны ему, а те полустертые загадочные знаки, которые показывают всегда одно и то же «время». Он стремится прочесть и разгадать потаенные законы нации, человечества, по его мнению, незыблемые, вечные.

В 1910-е годы, в пору расцвета творчества Бунина, в его лирику особенно широко вторгается стихия крестьянского фольклора, устной народной поэзии. Легенды, предания, притчи, сказания, частушки, лирические сельские песни, «страдания», прибаутки и присказки — россыпи мудрости народной заполняют страницы рассказов и повестей, преображенные, становятся стихами («Два голоса», «Святогор», «Мачеха», «Отрава», «Невеста», «Святогор и Илья», «Князь Всеслав», «Мне вечор. младой...», «Аленушка» и др.).

Поэзия Бунина окончательно утверждается как поэзия глубоко национальная. И тут снова обнажается глубокая межа, резко отделяющая Бунина от декадентского лагеря, в частности, от «старших символистов». Национальное, русское было в общем-то, если не чуждым, то второстепенным, скажем, «латинянину» Вячеславу Иванову, ученику Моммзена, филологу и археологу, человеку феноменальных, энциклопедических знаний,— как и другим: кабинетному богоискателю и публицисту-метафизику Мережковскому или книжному эрудиту Брюсову. Скорее можно найти точки соприкосновения у Бунина с «младшими символистами» и прежде всего со столь нелюбимым им Блоком, но Блоком, уже преодолевшим туманно-мистические дали своего «первого тома», Блоком — автором «Родины» и «На поле Куликовом». Этот поворот к национальному происходит в творчестве Блока в те же самые годы, что и появление бунинских произведений, широко запечатлевших русскую деревню, Русь.

Достойно упоминания и то, что проза Блока, хотя и оставшаяся неразвернутой, фрагментарной, позволяет, однако, и тут наметить любопытную перекличку. Забегая вперед, отметим, что проза эта, вспаханная плугом поэта, обнаруживает неко

торые черты, принципиально близкие бунинской эстетической — и даже шире — исторической концепции. В 1921 г. написаны «Косцы» Бунина и элегия Блока «Ни сны, ни явь», отпевающие старую Россию. Поразивший Блока эпизод становится отправной точкой для широких лирических размышлений о судьбе страны: «Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман. Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг ⟨...⟩ Вдруг один из них завел песню. Без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор ⟨...⟩ Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать...» и т. д. [22]

Правда, у Блока лишь намечено то, что Бунин превращает в звучащую и поэтичную картину, да и слова песни Бунин, в отличие от Блока, не только «разбирает» — он знает их сызмальства: «Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее — и пели ⟨...⟩ Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им ⟨...⟩ Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели...» (5, 68—69).

Песня косцов берется в обоих случаях как некая высшая точка, как некий символ всего светлого и чистого, что есть в русской душе, как нечто *идеальное*, что позволяет резче противопоставить этому идеальному трагически-страшные для Бунина и трагически-безобразные для Блока черты реальности: «настал предел божьему прощению» («Косцы»); «все пошло прахом» («Ни сны, ни явь»). Мотивы *конца* завершают оба эти произведения, выявляя их безусловную пессимистическую тональность. Как видно, и тот и другой писатель проявили здесь неприятие нового, пришедшего на смену старой России. У Блока, после его поэтического взлета 1918 г., давшего «Двенадцать» и «Скифов», явно наступила пора разочарования и усталости; Бунин, резко отрицательно относившийся к Октябрю, не уставал нападать на него в первые годы эмигрантской жизни. Но дело, конечно, не в эпизодическом сближении их взглядов. Не оценив по заслугам один другого, Бунин и Блок дали как бы дополняющие друг друга панорамы старой России, художественное исследование русского национального характера.

Блок и Бунин, возможно, чаще, чем кто-либо другой в литературе XX в., пытались, пусть с очень далеких позиций, заглянув в зеркало прошлого Руси, найти там разгадку ее будущего.

Многократно подступая к мучившей его проблеме, Блок в 1900-е годы пророчествовал о неизбежности столкновения народа и оторвавшейся от него интеллигенции: «Что, если тройка, вокруг которой „гремит и становится ветром разорванный воздух",— *летит прямо на нас*? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройки, на верную гибель ⟨...⟩ Можно уже представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта» [23]. Чувствуя «ветер истории», поэт предвещал и в стихах, и в статьях приближение великой социальной катастрофы, пытаясь предугадать ее характер.

В отличие от Блока, для которого неизбежность грядущего народного выступления была как бы «поэтическим актом предчувствия», своеобразным предсказанием «юродивого двадцатого века», Бунин, с его рационализмом мышления и душевным здоровьем, занимался художественным исследованием сугубо конкретных исторических категорий национального — крестьянства, мелкопоместного дворянства, мещанства и т. д. Это сочеталось с заметным усилением в его творчестве тяги к стародавнему, к архаике. Встречавшемуся с ним в Одессе в 1918—1919 гг. В. Катаеву открылся в Бунине «как бы выходец из потустороннего древнерусского мира — жестокого, фантастического, ни на что не похожего и вместе с тем глубоко родного, национального,— мира наших пращуров, создававших Русь по своему образу и подобию...» [24].

Действительно, многие стихи 1910-х годов — «Сон епископа Игнатия Ростовского», «Михаил», «Святой Прокопий» и др. являют нам реставрацию древней старины, глубинного, «прарусского» начала:

Бысть некая зима
Всех зим иных лютейша паче.
Бысть нестерпимый мраз и бурный ветр,
И снег спаде на землю превеликий,
И храмины засыпа, и не токмо
В путех, но и во граде померзаху
Скоты и человецы без числа,
И птицы мертвы падаху на кровли.

Однако разве одна седая история возникает за литыми, звучными строками бунинского стихотворения? Не скрывает ли лексический «плюсквамперфект» некоего второго, злободневного звучания?

Бысть в оны дни:
Святый своим наготствующим телом
От той зимы безмерно пострада.
Единожды он нощию прииде
Ко храминам убогих и хоте
Согретися у них; но, ощутивше
Приход его, инии затворяху
Дверь перед ним, инии же его
Бияху и кричаще:— Прочь отсюду,
Отыде прочь, Юроде! — Он в угле
Псов обрете на снеге и соломе,
И ляже посреди их, но бегоша
Те пси его. И возвратися паки
Святый в притвор церковный и седе,
Согнуся и трясыйся и отчаяв
Спасение себе.— Благословенно
Господне имя! Псы и человецы —
Единое в свирепстве и уме.

(1, 387)

Видя вокруг себя обилие социального зла, невежества, жестокости, темноты, насилия, став свидетелем непрекращающейся кровавой бойни на полях мировой войны, Бунин в то же время со скорбью и страхом ожидает развала, падения «великой державы российской». «Святой Прокопий», как и написанное в том же 1916 г. стихотворение «Сон епископа Игнатия Ростовского», полны смутных и тяжких предчувствий. Взгляд Бунина на Россию как на страну крестьянскую, таящую в себе взрывчатую силу «бунтов» и, одновременно, смиренную (или Сергий Радонежский, или Емелька Пугачев), окончательно сложился к 1909—1910 гг., после остро воспринятых им событий первой русской революции. В эту пору и появляются произведения, «резко рисовавшие русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы» (9, 268). Эти произведения выдвинули Бунина в ряд крупнейших писателей России нового века.

4

Особенности Бунина-художника, своеобразие его места среди современников и шире — в русском реализме XIX—XX вв.,иными словами, то новое, что внес писатель в литературу,— все это наиболее явственно и глубоко раскрывается в произведениях 1910-х годов, в которых, по словам самого Бунина, его занимала «душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина» (9, 536). И это не было преувеличением. В повестях «Деревня» и «Суходол», в рассказах «Древний человек», «Хорошая жизнь», «Ночной разговор», «Веселый двор», «Игнат», «Захар Воробьев», «Князь во князьях», «Последнее свидание», «Иоанн Рыдалец», «Я все молчу», «Худая трава», «Чаша жизни», «Аглая» и т. д. Бунин сознательно ставит обширную задачу — отобразить, в перекличке и полемике с круп-

нейшими писателями-современниками (и прежде всего — с Горьким), главные, по его мнению, слои русского народа: крестьянство и мещанство («Деревня»), мелкопоместное дворянство («Суходол») — и тем самым наметить общую историческую перспективу в жизни всей огромной страны, только что пережившей революционные потрясения 1905—1907 гг.

Выдвижение Бунина в первый ряд художников России, помимо значимости его творческих достижений этой поры, было связано и с серьезными изменениями, происшедшими в самой литературе на перепадах первой русской революции и последовавшей затем реакции. В этих испытаниях произошло — хотя бы и с серьезными, неизбежными потерями — своего рода отделение семян от плевел, истинно нового от преходящей и броской моды. В конечном счете, как всегда, новое только выиграло. Прежде всего, к 1910-м годам обмелел символизм как литературное течение, что только подчеркнуло, резче обозначило истинную величину дарования Блока, крупнейшего поэта XX века, в то время как другие поэты-символисты — Бальмонт, Сологуб, Гиппиус, Минский, недавние кумиры читающей публики —переживали явный и неуклонный спад.

С другой стороны, не выдержали резкой перемены общественного климата и многие из прежних «знаньевцев» — Гусев-Оренбургский, Чириков, Айзман, Юшкевич, Найденов, Скиталец и прочие «разгребатели грязи», бичевавшие пороки старой России. Именно отсутствие чувства историзма, которым в такой степени было наделено творчество великого пролетарского художника Горького, поставило их перед опасностью в изменившихся общественно-политических условиях «захлебнуться» в сиюминутном, поддаться унынию и растерянности. По словам Горького, остро переживавшего смену общественных настроений, оказалось, что в литературе этой поры «только Бунин верен себе, все же остальные пришли в какой-то дикий раж и, видимо, не отдают себе отчета в делах своих» [25]. Даже такие писатели-реалисты начала века, как Куприн и Л. Андреев, испытывали в эти годы заметный кризис, смену творческих взлетов и падений, воздействие упадочнических настроений и модных поветрий.

Если говорить о реалистической прозе, то «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «По Руси» Горького и «Деревня», «Суходол», «крестьянские» рассказы Бунина не имеют ничего себе равного в литературе 1910-х годов, явно выделяются на общем фоне богатством проблематики, значительностью художественных открытий, попыткой исторического осознания русской действительности. Не случайно, что как раз на 1910-е годы падает период наибольшей близости Горького и Бунина. Задумав написать «Деревню» и «по-новому изобразить мужиков» еще в 1908 г., Бунин, несомненно, много и подробно говорил на эту тему с Горьким на Капри, куда он приехал 12 марта 1909 г. и где жил, «почти не разлучаясь с милым домом Горького» [26]. Оба художника, словно соревнуясь друг с другом, стремятся в эти годы запечатлеть образ России, взятой обобщенно, крупным планом.

С произведениями «окуровского» цикла сближает «Деревню» жесточайшая критика «свинцовых мерзостей» русской жизни, подчас даже переходящая у Бунина в безотрадную и горькую «отходную» старой деревне — помещичьей и мужицкой. В бунинской повести главное — Дурновка, село, его дикий и темный быт. Есть в ней и уездный город — Черная Слобода,— изображенный, не в пример деревне, бегло. Однако подчас в этих эпизодах можно уследить полемику с горьковским «Городком Окуровым», который появился как раз в разгар писания Буниным «Деревни» [27]. В этом смысле некоторые страницы обоих произведений представляют собой как бы спор Бунина с Горьким о «Руси и ее истории». Предметом спора для Бунина служит немаловажный вопрос, что за государство Россия и какое сословие определяет исторически ее лицо?

В «Окурове» кривой Яков Захаров Тиунов, «первая голова Заречья», учит слободских: «Что ж — Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов — считай десятка четыре, а уездных — тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия» [28]. — «*Да она вся — деревня, на носу заруби себе это*! — спорит с ним базарный вольнодумец Балашкин у Бунина. — Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо каж-

ОРЕЛ. ДОМ, ГДЕ В 1891—1892 гг. ЖИЛ БУНИН

Ул. Гагарина, 3 (б. Воскресенский пер., дом Пономаревой). Вид с Рыночного переулка 22 октября 1970 г. на стене этого дома со стороны ул. Гагарина установлена мемориальная доска

Фотография А. Н. Дубовикова, 1970

ный вечер по улицам прет — от пыли соседа не видать... А ты — ,,город''!» (3, 70). Бунин усиливает нажим, выделяя слова курсивом. Он даже не обращает внимания на то, что в тексте «Деревни» собеседник Балашкина Кузьма Красов и не думает возражать ему и вовсе не упоминает про «город». Словно и впрямь этот старик, гармонист и книжник, отвечает через голову Кузьмы кому-то другому. И долго занимавший Бунина замысел — написать продолжение «Деревни» — повесть «Город» с Кузьмой Красовым в качестве главного героя [29], имел, очевидно, подоплекой дальнейшую полемическую перекличку, художественную параллель «окуровскому» циклу Горького.

Разделяя мнение своего свирепо-добродушного «фарисея» Балашкина о том, что не город, а деревня — помещичье-крестьянское большинство — составляет национальную основу страны и предопределяет ее развитие, Бунин оставался как будто бы во власти безысходного пессимизма. Его «Деревня», не говоря уже о многих «крестьянских» рассказах («Ночной разговор», «Веселый двор», «Будни», «Игнат» и др.), дает богатый материал для вывода, что темная «первооснова» страны способна извратить любые демократические преобразования, что косная крестьянская среда не может выдвинуть носителей передовой жизни, что неотвратимо идущая на смену старине буржуазная «новь» лишь разлагает, окончательно губит последние оазисы патриархальности.

Недаром критика противопоставила суровые произведения Бунина о деревне слащаво-народническому изображению «мужика». Да что там народники! Сам автор «Записок охотника» выглядел чуть ли не иконописцем вблизи таких образов, как Дениска, Серый, Тихон Красов («Деревня»), шалый пустоболт и сквернослов Егор Минаев («Веселый двор») или мелкопоместные персонажи «Суходола». «Какой поразительный контраст с той идеализацией русского мужика, которую находим в „Записках охотника“ Тургенева! — отмечал рецензент журнала ,,Вестник Европы''.— Быть может, историческая закономерность сказалась на этих двух полюсах: реалистиче-

ская реакция против идеализации доброго старого времени должна была дойти до своего завершения, увлечение светлыми тонами должно было быть искупленным неменьшим увлечением черными пятнами. Если это так, то Бунин довел этот процесс до предела» [30]. Даже беспощадного к косности и невежеству российского «оврага» Чехова критики противопоставляли Бунину и его «Деревне»: «О вырождении деревни вопиет каждая строчка этой повести еще более, чем о злобе и подлости мужиков. Но бунинская деревня совершенно не знает Липы, не знает Хрыминых и Кострюковых, призывавших обывателей чеховского „оврага“ „под светлые знамена труда и справедливости на земле“» [31].

Как же увязать тогда с такой явной односторонностью бунинского взгляда на русскую действительность возможность исторического подхода к деревне? А ведь именно об историзме Бунина говорилось во многих откликах на его «Деревню» и «Суходол», начиная с известного горьковского: «так глубоко, так *исторически* деревню никто не брал» [32]. По-видимому, следует исходить не из того, что Бунин не увидел, не понял, просмотрел, а из того, что же он открыл для читателя, впервые ввел в литературу. Только тогда удастся разрешить несомненное противоречие, возникающее при попытке оценить его творчество 1910-х годов: Бунин якобы чуть не до искажения сгустил мрачные краски в изображении деревни и в то же время сумел отобразить ее глубоко исторически. На этой основе возникла и некоторая инерция, сказавшаяся в оценке Бунина и продолжающая существовать по сей день: его или хвалили или порицали, но за одно и то же — за «обличение» русской деревни, за обилие тяжелых и мрачных картин. Так что давнее обвинение писателя в «опачкивании народа» [33] отличается от современного упрека Бунину, что он «оказался на ложном, далеком от подлинно реалистического изображения жизни пути, когда попытался злое, озорное и даже преступное начало объявить чуть ли не основным свойством души русского крестьянина» [34], скорей формой изложения, нежели своей сущностью. Главное внимание и в хвалебных отзывах обращалось на обличительство «идиотизма деревенской жизни». В обоих случаях критика била мимо цели, мимо главного. Не потому ли, прочитав некоторые отзывы о «Деревне», Бунин признавался в письме к Горькому: «И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь» [35].

Но так ли уж «обличительны» бунинские произведения в отношении к деревне и крестьянству? Не будет ли справедливее сказать: в изображении самых темных сторон русской действительности Бунин, во-первых, не делал различия между «мужиком» и мелкопоместным, а во-вторых, сам воспринимал эти темные стороны с болью и состраданием, с гневом и жалостью, потому что видел все это в родном, отчем, «своем»...

Казалось бы, что может быть мрачнее и беспросветнее крестьянской жизни, запечатленной писателем в рассказе «Веселый двор». Жутка насмешка соседей, окрестивших нищий, полузаброшенный двор Минаевых «веселым»; нелеп и уродлив печник Егор, закончивший свою жизнь под колесами поезда; никому не нужна, позабыта богом, людьми и собственным сыном его мать Анисья, прозванная за голодную худобу Ухватом. Но что это — обличение крестьянской косности и дикости? Враждебное и скептическое отношение к русской деревне? Приведем тонкую характеристику одного из важнейших эпизодов рассказа, сделанную А. Твардовским: «Когда Анисья Минаева ⟨...⟩, покинув пустую избу, в полуобмороке от истощения бредет в жаркий, цветущий летний день за двадцать верст к сыну, ⟨...⟩ она для нас как бы не литературный персонаж, а именно та, живая Анисья, каким-то чудом из горькой, мученической своей и безгласной, безвестной жизни занесенная на страницы книги. Ее материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, ее страдания вызывают у нас прежде всего не восхищение мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание помочь этой бедной женщине, накормить, приютить ее старость» [36]. Анисья человечески близка и понятна Бунину, как близок ему мелкопоместный Хрущев из «Суходола», как близок и мещанин Кузьма Красов. Твардовский анализирует читательское впечатление, производимое рассказом и обуслов-

ленное, в конечном счете, авторским отношением к изображаемому. Одновременно, он говорит и об обобщающем, символическом смысле образа Анисьи: «... эта женщина, бредущая проселками и полями, шатающаяся от слабости, жующая какие-то травинки („Горох еще не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта — и не увидал бы никто") предстает нам и как образ всей нищей, „оголодавшей" деревенской Руси, бредущей среди своих плодородных полей, плутающей по межам и стежкам» [37]. Тема Руси, России растет и ширится в произведениях 1910-х годов, являя нам ряд национальных типов, чисто русских характеров, таких, как красавица Молодая, древний годами Иванушка, грамотей и книгочий Балашкин, братья Тихон и Кузьма Красовы («Деревня»), батрак Аверкий («Худая трава»), лютующий над собой исполин Захар Воробьев (одноименный рассказ), соединивший в себе трагическое и скоморошье начала нищий Шаша («Я все молчу») и т. д.

Если определить кратко отношение писателя к деревенской России, крестьянской и дворянской, то это будет сложное чувство «любви-ненависти». Конечно, Бунину не под силу осмысление происходящего с точки зрения передовых идей своего времени. Но, поэтизируя старую Русь, он одновременно заявляет о своей ненависти к темному и дикому и о любви к родному, издревле идущему, прорывающемуся через все социальные невзгоды. Не мысль ли автора высказывает Кузьма Красов, потрясенный видом черниговских мужиков, искусанных бешеным волком и безропотно переносящих издевательства над ними «начальства»: «О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с бешеным зверем ⟨...⟩ Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы» (3, 71). Противоречивые чувства героя (и автора) соединены в тугой и нерасплетаемый узел. За современными Бунину горькими картинами жизни крестьянской России он все время видит ее глубинную, многовековую историю, за темными и искалеченными судьбами — огромные, неразбуженные и здоровые силы, таящиеся в русском человеке.

Что такое Захар Воробьев (одноименный рассказ), добродушный русобородый гигант, как не пример национального характера, с его удалью, размахом, великодушием, соединением исполинской силы и кротости. Да это какой-то добрый молодец, прямой потомок былинных богатырей! Беда Захара Воробьева, однако, в том, что жизнь не давала ему ни малейшей возможности проявить себя, раскрыть хотя бы малую толику богатырской своей души. Ну, пронес на руках «верст пять» нищую, убогую старуху,— эко диво! И он погибает, сваленный «не большой горой, а соломинкой»,— выпив на спор с мелкими и корыстными людишками непомерное количество водки.

Как известно, по свидетельству Горького, об этом рассказе Иван Вольнов отозвался так: «Это — на сто лет! — говорил он.— Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали, до чего просто при царях хорошие мужики погибали» [38]. Именно в крестьянской, простонародной среде, посреди всей тьмы, социального убожества и лишений находит Бунин истинно положительные характеры. Под внешней «беспощадностью», «объективностью» скрыты его любовь, восхищение русским человеком. «Если бы я эту „икону", эту Русь не любил, не видал,— скажет он позднее, живя на чужбине, — из-за чего бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто?»

Бунин не только не увидел и не изобразил рабочий класс,— он воспринял пролетария всего лишь как крестьянина, «испорченного», «развращенного» городом. В этом сказалось социальное заблуждение большого писателя. На огромном бунинском полотне, так широко запечатлевшем предреволюционную Россию, рабочему не нашлось места ни в одном из произведений 1910-х годов. Словно он избегал изображать рабочих, сторонился их. Однако, говоря в эти годы о России как о преимущественно «деревенской» стране, Бунин не заблуждался (напомним, что по переписи 1913 г. в сельской местности проживало 82% всего населения). От того, какую роль сыграет именно крестьянское большинство в историческом развитии страны, за кем

оно пойдет,— во многом зависел будущий путь России. Недаром вопрос о крестьянстве как о союзнике пролетариата В. И. Ленин считал основным в условиях предреволюционной и революционной России, решительно расходясь в этом с меньшевиками, а затем троцкистами, как известно, недооценивавшими роль крестьянства в социалистической революции.

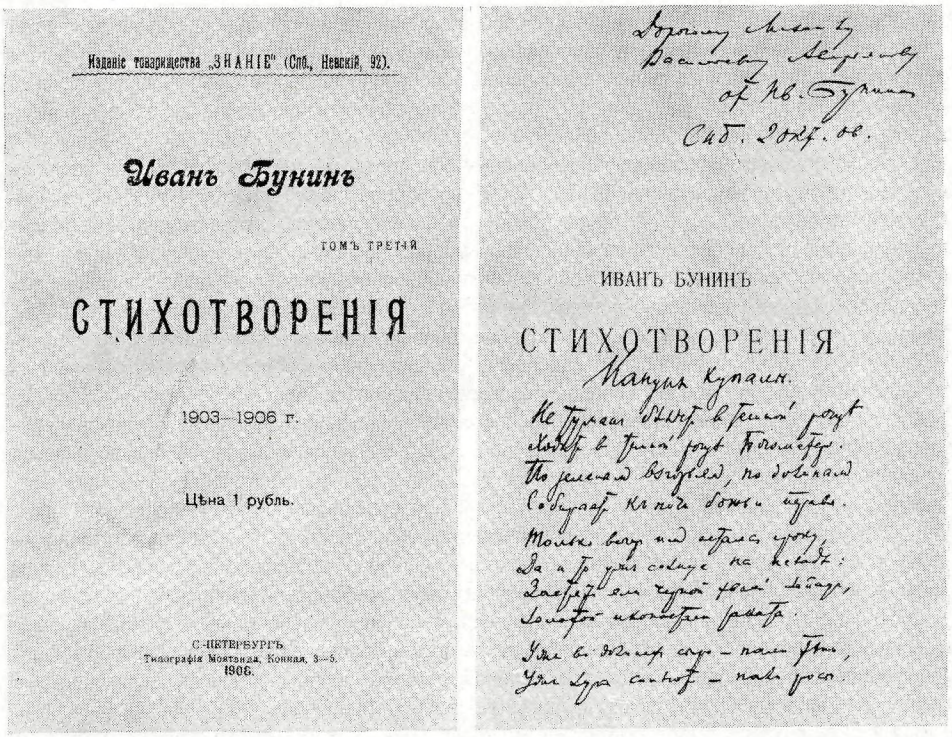
Сам Бунин оставался далеким и чуждым марксизму, хотя и заявил в интервью 1912 г., что «теперь» тяготеет «больше всего к социал-демократам» (9, 541). Но в творчестве Бунина этих лет проявились исключительная глубина художественного проникновения в хорошо известную ему жизнь русской деревни, понимание социального расслоения крестьянства, новых, принадлежащих XX в. черт кулачества («Деревня», «Князь во князьях»), и разорения милого его сердцу усадебного дворянства. Снова вспомним полемическую тираду Балашкина о России: «Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!»

В течение 1910-х годов Бунин продолжал осваивать новые обширные социальные пласты, под углом той же, исторически взятой темы России. Беседуя с корреспондентом газеты «Московская весть» в сентябре 1911 г., писатель сказал: «В моем новом произведении „Суходол" рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан „Деревни") представителя русского народа — дворянства»[39]. Как и группирующиеся вокруг этой «поэмы» стихи («Пустошь») и рассказы («Последнее свидание», «Последний день», «Грамматика любви» и т. д.), «Суходол» показывает «выморочную» судьбу мелкопоместной массы дворянства — не культурных «верхов», не «усадеб Лариных и Лаврецких», а наинизших, близких деревне и мужику.

Завершающая «дворянские элегии» начала века повесть-поэма «Суходол» по-новому распределяет свет и тени в эпизодах отошедшего бытия. Жизнь предков сохраняет былое очарование и влечет к себе Бунина, но иные, жесткие черты проступают на лицах фамильных портретов, до тех пор «кротко» глядевших на него со стены («Антоновские яблоки» — 2, 190). Как отмечал рецензент «Вестника Европы», «только что вышедший сборник Бунина „Суходол" подтверждает безотрадную характеристику русской деревни. К этому прибавляется еще окончательное отречение автора от всяческого „обольщения стариною" дворянского крепостного быта»[40]. Многие критики уловили прямую связь между суровым изображением деревни крестьянской в первой повести и той же деревни в «Суходоле», лишь взятой с дворянского конца. В суходольских жителях, помещиках и дворовых, Бунин стремится выявить прежде всего исконно русские, «общедеревенские», мужицкие черты, обусловленные всем их уходящим в многовековую давность бытием.

То новое, что открыл для литературы Бунин, определялось в «Суходоле» уже новизной жизненного материала. Сам писатель сказал об этом: «Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев ⟨...⟩ Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, так близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская» (9, 536—537).

Говоря столь категорически о пробеле в изображении дворянства русской литературой, Бунин был, конечно, не вполне справедлив. И Гоголь, и Салтыков-Щедрин, и Тургенев, и Лесков (не говоря уже о Пушкине, авторе «Капитанской дочки» и «Повестей Белкина») оставили нам художественное исследование среднего и мелкопоместного дворянства. Однако на своем «главном направлении» русская литература XIX в. явила читателю длинный ряд других героев, составлявших как бы духовную элиту страны того времени. Предметом изображения была прежде всего богатая интеллектуальная жизнь всех этих прекрасно образованных, родовитых и снедаемых


Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ" (Спб., Невскій, 92).

Иванъ Бунинъ

ТОМЪ ТРЕТІЙ

СТИХОТВОРЕНІЯ

1903—1906 г.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія Моятвида, Конная, 3—5.
1906.

ИВАНЪ БУНИНЪ

СТИХОТВОРЕНІЯ

СБОРНИК «СТИХОТВОРЕНИЯ 1903—1906 г.» (СПб., 1906) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА:

«Дорогому Михаилу Васильевичу Аверьянову от Ив. Бунина. СПб., 2 окт. 06». Ниже автограф стихотворения «Канун Купалы»

Обложка и шмуцтитул

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

бездеятельностью «лишних людей первого призыва». Не скромный Гринев, не Максим Максимыч, не дядюшка Ростовых, не капитан Тушин в своей «частной» жизни, но прежде всего Чацкие, Онегины, Печорины занимали авансцену литературы. Когда же Толстой обратился к проблеме взаимоотношения своих героев с народом, оказалось, что для Безухова, Левина или Нехлюдова попытки сблизиться с крестьянами, проникнуться их нуждами, понять их представляют мучительный духовный процесс.

Для «простых» господ — бунинских Хрущевых — такой проблемы и возникнуть не могло. Рассказчику в «Суходоле» даже трудно определить, где кончается «народ» и начинаются «господа», так тесно — не только бытом и психологией, но и кровным родством — связаны Хрущевы со своей дворней: «Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку ⟨...⟩ Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!» (3, 136).

Контрасты, свойственные, по мысли Бунина, крестьянской душе, в характере мелкопоместных еще более укрупнены, резче обозначены. Жалостливость и бесчеловечность, сословная спесь и патриархальный демократизм, свирепое самодурство и поэзия грубым, контрастным узором переплелись в обычаях и психологии хозяев Суходола. С дворовыми целовались в губы, любили игру на балалайке и «простые» песни, а за стол садились с арапниками. Все они словно тронуты уже тленом вырождения. И любовь и ненависть их необычны: сходит с ума дедушка Петр Кириллович

«от любовной тоски после смерти красавицы бабушки»; сходит с ума Тонечка Хрущева, влюбившись в приезжего офицера; и даже их дворовая Наталья впадает в помешательство, сжигаемая неразделенным чувством к барину Петру Петровичу — «и счастья, и разума, и облика человеческого» лишает Суходол его обитателей.

Собственное ощущение от Суходола — «смотреть новыми глазами на старое» — рассказчик именует «жутким» (3, 172). Если в повести «Деревня» Бунин дает развернутую панораму жизни современного ему крестьянства, лишь изредка обращаясь к древним, первобытным, «языческим» истокам, то в «поэме» об уездном, мелкопоместном дворянстве он непрестанно погружается в «старое», называет свою повесть «летописью», стремится обнаружить первобытные корни суходольского бытия. Его трезвый и жесткий взгляд, его суровое отношение к «своим» понуждает вспомнить о «Пошехонской старине» Салтыкова-Щедрина. Но отсюда вовсе не следует, что Бунин не симпатизирует «выморочному» помещичьему сословию.

Снова повторим: имя тому чувству, какое обуревает автора при взгляде на деревенскую Россию, Русь,— «любовь-ненависть». И матерью и мачехой одновременно выглядит по отношению к своим детям суходольская родина. В героине повести, «сказительнице» Наталье, «в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе» выпукло отразились суходольские контрасты. «Мы ли не чувствовали,— замечает рассказчик,— что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью,— истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!» (3, 134). Сама Наталья в «навозной телеге» была сослана в далекий степной хутор, а потом, вернувшись в усадьбу, немало натерпелась от капризной своей барышни.

Продолжая и развивая наблюдения, отображенные в произведениях 1890-х и начала 1900-х годов («Федосевна», «Кастрюк», «В поле», «Мелитон», «Сосны»), Бунин стремится разгадать «вечные», «неподвижные» приметы русского человека, исследуя изломы его души. За своими героями — разбогатевшим мещанином из крестьян или нищим юродивым — он видит как бы сонмы их предков, уходящую, обратную перспективу поколений. Его особенное внимание в 1910-е годы не случайно привлекают люди, выбитые из привычной колеи, пережившие внутренний перелом, катастрофу, вплоть до отказа от своего «я»,— странники, юродивые, «божьи люди», которые позволяют, как ему кажется, глубже заглянуть, точно в бездонный колодец, в прошлое Руси: «Ужасные люди в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отвращения к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, — и трагическим, и скоморошеским,— Русь издревле и без конца родит этих людей. И что за лица, что за головы! Точно на киевских церковных картинах, да (на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников мати-пустыни!» 4, 229).

Подобно другому крупнейшему мастеру — художнику Нестерову, как раз в 1910-е годы работавшему над огромным полотном «Душа народа» («На Руси»), Бунин стремится крупно, масштабно запечатлеть *душу народа*, специфическое в ней, хотя его итоговая картина отличается от нестеровской резким совмещением темных и светлых тонов, мучительными поисками «праведной жизни». Опять-таки было бы неверно думать, что его внимание привлекали прежде всего «недостатки», «темные пятна» русской души. Он пишет и своего рода «жития святых», ибо как иначе назовешь жизнеописание кроткого батрака Аверкия («Худая трава»), нищей Анисьи («Веселый двор»), преданного слуги Арсения («Святые») или пятнадцатилетней отроковицы, в миру звавшейся Анной («Аглая»).

В характере русского человека Бунин видит не только темноту и лень, он любуется богатством сил, огромными возможностями, одаренностью народа, хотя тут же подчеркивает и присущий ему скрытый трагизм. «Странно, неожиданно проявляются таланты на Руси и чудеса делают они при счастливых жребиях!» (4, 399). Слова эти сказаны о брянском мужике Зотове, недавнем мальчике на побегушках у богатого купца, сделавшемся, словно по щучьему велению, крупным коммерсантом

трезвой, европейской хватки («Соотечественник»). Да есть ли слабости у этого, на вид не то шведа, не то англичанина, где-то близ экватора ворочающего делами, быстро и толково дающего указания в сухом треске «ремингтонов»? Автор, действительно, не находит в Зотове слабостей, но обнаруживает полную запутанность дел, мыслей, чувств, ведущую «благополучного» героя краем скрытой для других пропасти («Ну, да из всего есть выход. Дернул собачку револьвера, поглубже всунув его в рот, все эти дела, мысли и чувства разлетятся к чертовой матери!» — 4, 405). Немецкой аккуратной душе, какому-нибудь педантичному Отто Штейну (одноименный рассказ), *такое* никогда не придет в голову. Но что это — «привилегия» русской души или отражение общей бессмыслицы бытия?

Решить этот вопрос Бунин пытается прежде всего в сфере нравственно-философской. Его влечет тема катастрофичности, воздействующей и на общее предназначение человека и на возможность счастья и любви. Закономерно, что в бунинском творчестве 1910-х годов все более явственно ощущается одна крепнущая преемственность, одна «генеральная» литературная традиция. Она связана с именем писателя, который был для Бунина любимейшим художником и мыслителем,— с именем Толстого.

5

Для русских писателей начала века это была совершенно особенная фигура, несоизмеримая ни с кем. Чехов, Короленко, Горький, Розанов, Куприн, Андреев, Блок, Брюсов, Бальмонт — писатели полярных направлений и тенденций — с единодушным восхищением и удивлением обращались к Толстому, «единственному гению, живущему теперь в Европе» [41]. И все же, пожалуй, ни у кого из них, в их жизни и творчестве, Толстой не занимал такого исключительного места, как это было у Бунина. Тут соединилось все: и непогрешимый авторитет Толстого-художника, и его «учение», подвигнувшее юношу-Бунина на попытку «опроститься», и близость к народу, крестьянству, и нравственная высота, и его происхождение, и, конечно, философия — взгляды на назначение человека, на жизнь и на смерть. Он с детства слышал о Толстом в семье: всемирно известный писатель и земляк, «сосед», да еще и знакомый Буниных (с ним встречался отец, участвовавший «охотником» в Крымской кампании). Толстой так сильно занимал воображение мальчика, что однажды тот «закатился» верхом в сторону Ясной Поляны, до которой было около сотни верст. Отзывы юного Бунина о толстовском творчестве выдержаны в восторженном тоне: «Великое мастерство! Просто благоговение какое-то чувствую к Толстому!» [42].

Пережив увлечение идеями опрощения, переболев толстовством, Бунин с годами осознавал все больше и больше, что̀ значил Толстой для России, ее литературы, ее духовного движения. Подобно Чехову, подобно Блоку, он видит залог успешного преодоления русской культурой всех трудностей и нездоровых уклонений в самом факте, что вот где-то рядом живет Толстой, при котором не может быть совершенно непоправимых ошибок. Кончину его Бунин воспринял как величайшее личное несчастье и как утрату, последствия которой скажутся на всей общественной жизни страны. И чем дальше, тем глубже было воздействие на него Толстого, толстовских эстетических и нравственно-религиозных принципов.

Это внутреннее, творческое «движение к Толстому» оказалось, однако, процессом длительным и сложным, так как оно предполагало значительный личный жизненный и духовный опыт, выношенность взглядов, сложившееся мировоззрение. Межой и тут может служить «Деревня» или, чуть раньше, цикл очерков 1907—1911 гг. «Тень птицы», с их *религиозно-философскими исканиями, острым чувством сопричастности к* жизни всего человечества, устремленностью писателя «познать тоску всех стран и всех времен» (1, 319). В короткий же, но чрезвычайно плодотворный период 1910—1916 гг., когда на первом месте в его творчестве окончательно оказывается, по собственному признанию Бунина, «душа мужицкая — русская, славянская» (4, 450), весь нравственно-художественный комплекс идей Толстого становится для него особенно важным.

Что до техники, литературного мастерства, то явные следы воздействия Толстого-художника, так далеко двинувшего вперед основы реалистической изобразительности, заметны еще в бунинских рассказах 1890-х и начала 1900-х годов. Но именно отсутствие ясной авторской оценки, нравственного обобщения при наличии обобщения художественного вызвало неодобрительный отзыв Толстого о бунинском рассказе 1902 г. «Заря всю ночь» (ранние заглавия — «Свидание» и «Счастье»): «Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели: когда писать нечего, о погоде пишут, а это пора оставить. Ну шел дождик, мог бы и не идти с таким же успехом. Я думаю, что все это в литературе должно кончиться. Ведь просто читать больше невозможно» [43],— хотя силу бунинского описания природы Толстой оценил высоко («так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего»).

Десятилетие, отделившее рассказ «Заря всю ночь» от таких произведений, как «Худая трава», «Чаша жизни», «Весенний вечер», «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», не только отражает стремительность восхождения писательской звезды Бунина, но и подтверждает глубокое, подлинно органичное усвоение им важнейших принципов Толстого. Это отмечалось уже современной Бунину критикой. Так, откликаясь на появление сборника «Чаша жизни» (1915), Ф. Д. Батюшков, рассмотрев рассказы «Весенний вечер» и «Братья», писал: «Бунин подошел к философии Толстого. Он вновь в мужике и человека обрел 〈...〉 Бунин все более утверждается на пути стать не только наблюдателем жизни, но и мыслителем о жизни...» [44]

Как далеко мог, однако, уйти Бунин по этому плодотворному и ответственному пути «мыслителя о жизни»? Вспоминается точная фраза из статьи А. Б. Дермана о «Господине из Сан-Франциско»: «... если бы он не был столь похож на некоторые вещи Толстого, перед нами, несомненно, было бы подлинно гениальное произведение» [45]. Хотя Бунин и резко отличался от многих современников, собратьев по перу (беззаботных по части «умствования»), тяготением к загадкам бытия, обнаруживая порой поразительные прозрения, он не обладал «генерализующей» и огненосной способностью мысли, как это было у любимого им Толстого и нелюбимого Достоевского, и нуждался постоянно в путеводном, идущем извне обобщении.

Бунин был слишком земным, слишком «посюсторонним» человеком, он с горечью называл «постыдными словами» чью-то крылатую фразу: «я жил лишь затем, чтобы писать» (9, 364). Он, можно сказать, жил для того, чтобы жить. Характерна в этом смысле запись Г. Н. Кузнецовой в ее дневнике 2 октября 1932 г.: «После обеда разговаривали в кабинете о Будде, ученье которого И. А. читал мне перед тем. От Будды перешли к жизни вообще и к тому, нужно ли вообще жить и из каких существ состоит человек. И. А. говорил, что дивное уже в том, что человек знает, что он не знает... и что мысли эти в нем давно и что жаль ему, что он не положил всю свою жизнь „на костер труда“, а отдал ее дьяволу жизненного соблазна. „Если бы я сделал так — я был бы одним из тех, имя которых помнят“. Но... Ананде было сказано Буддой: „Истинно, истинно говорю тебе, ты еще много раз отречешься от меня в эту ночь земных рождений...» [46].

Скорбя о том, что он не положил всю свою жизнь «на костер труда», Бунин противопоставляет собственной судьбе иные — судьбы пророков, философов, «учителей жизни». Можно подумать, что речь идет о некоем аскетизме мыслителя, о героическом отказе от всего суетного и мирского во имя идеальной цели. Не совсем так. Недаром в трактате «Освобождение Толстого» Бунин славит жизнь любимого писателя и философа, воспринимая ее как безмерное *расширение* личности, приведшее Толстого к закономерному преодолению своекорыстного и эгоистического, к необычайному обострению чувства сострадания, способности болезненно чутко откликаться на горести человечества. Тем самым Толстой оказывается уже в ряду пророков и мудрецов; его фигура, по Бунину, сопоставима разве что с мифическими создателями религий — с Буддой или Христом.

Вот почему перед нами не просто пример влияния гениального писателя на своего младшего современника, не одна близость чисто художественных приемов изображения (что тоже несомненно). Для Бунина Толстой — один из немногих во всей истории

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ «СРЕДЫ»
Слева направо сидят: А. М. Горький, И. А. Бунин, Ф. И. Шаляпин, С. Г. Петров-Скиталец, Н. Д. Телешов; стоят: Л. Н. Андреев, Е. Н. Чириков.
Фотография К. А. Фишера, Москва, декабрь 1902 г.
На полях — автографы изображенных лиц
Литературный музей, Москва

человечества, кто задумался над тем, над чем большинство людей не умеет или не успевает подумать: над смыслом жизни. И не просто «задумался», а подчинил выношенным философско-нравственным идеям все свое существование: «Во всем и всегда удивительный, удивителен он был и той настойчивостью, с которой он начал говорить „об этом“ с самых ранних лет, а впоследствии говорил с той одержимостью однообразия, которую можно видеть или в житиях святых, или в историях душевнобольных ⟨...⟩ Однообразие, с которым говорил Толстой одно и то же во всех своих последних писаниях и записях, подобно тому однообразию, которое свойственно древним священным книгам Индии, книгам иудейских пророков, поучениям Будды, сурам Корана...» (9, 33—34).

Сам Бунин, как уже говорилось, не имел в себе такой силы — силы пророка, был гораздо более «обычным» и, мучаясь загадками бытия, стремился решать их в сфере «слова», а не «дела». Его прекрасные произведения, поражающие необычайной силой внешней изобразительности, были в гораздо большей степени «литературой», чем поздние творения Толстого, стремившегося вмешаться в жизнь, поучать людей, преобразовать мир. Быть может, нарочито преувеличивая, утрируя действительную

разницу в творчестве и в самих масштабах их личностей, Б. К. Зайцев писал автору этих строк 17 апреля 1959 г.: «Настаивая на связи Бунина с Толстым, вы правы, связь есть, конечно, даже в самом складе описания, но есть и огромная разница, о которой вы не упоминаете: духовный мир — совесть, человеколюбие, сочувствие обездоленным, сострадание, чувство греха и ответственности перед богом — этого у Бунина почти нет, а у Толстого, в его душе, как раз и занимало громадное место ⟨...⟩ Поэтому Толстого и раздражал бунинский „дождик“». Мы еще вернемся к этому отзыву, чтобы вблизи художественного материала «скорректировать» его, хотя «нерв», «болевую точку» проблемы Б. К. Зайцев затронул верно, проводя грань между Буниным и Толстым.

В определенном смысле Бунин не только не мог, но и не хотел идти за Толстым «до конца». Как верно отметил один из современных исследователей, «Бунин принимал „воскресение“ Левина и не принял „воскресения“ Нехлюдова» [47]. Иными словами, в отличие от самого Толстого, он не претерпел радикальной ломки воззрений. Наследуя реалистические достижения Толстого, Бунин одерживал убедительные художественные победы в пределах уже созданной до него нравственно-философской системы, что не исключало, как мы увидим, и полемики с Толстым. Дорогие Бунину религиозно-моральные постулаты «прорастали» через новые, открытые им характеры, через привлеченный в литературу, неизвестный ей дотоле материал. Вынесенные же в отдельную книгу и наложенные на биографию любимого писателя и мыслителя, они составили затем трактат «Освобождение Толстого».

Из художественных заветов Толстого, воспринятых Буниным, следует отметить принцип «текучести» человеческого характера. Изображение человека, не как единожды промеренного и исчерпанного, но многолинейного, противоречивого, «пегого», как сказал бы Толстой, перенесено Буниным на «простонародный» материал. Кулак Тихон и «русский анархист» Кузьма из «Деревни», бесшабашный Егор и его кроткая мать («Веселый двор»), мягкий, безвольный Игнат и хищная Любка («Игнат»), богатырь Захар Воробьев (из одноименного рассказа) и безропотный страдалец Аверкий («Худая трава»),— все они, помимо неповторимости своего индивидуального склада, живут, не исключая мироеда Тихона, сложной, «текучей» внутренней жизнью.

Пожалуй, еще важнее для Бунина оказалось усвоение им библейски-торжественного описания, какое вошло в русскую литературу вместе с поздними произведениями Толстого. Мерно и величаво развертывается действие: «Вдали, среди открытой площади, горела белизной большая мраморная женщина, гордая, с двойным подбородком, в порфире и короне, восседавшая на высоком мраморном пьедестале. И оттуда толпой шли только что прибывшие из Европы. На подъезд отеля выскакивали сизые и черные слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие вещи, и поклонами, сдержанными, изысканными, встречал их на пороге человек, блестевший напомаженным пробором, глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, пикейным смокингом, пикейными панталонами и белой обувью. „Люди постоянно идут на пиршества, на прогулки, на забавы,— сказал Возвышенный, некогда посетивший этот райский приют первых людей, познавших желания.— Вид, звуки, вкус, запахи опьяняют их,— сказал он,— желание обвивает их, как ползучее растение, зеленое, красивое и смертоносное, обвивает дерево Шала“» («Братья» — 4, 265—266).

Подобно Толстому, Бунин направляет на обыденность огни «вечных» маяков, судит людей, их тягу к наслаждениям, их несправедливое общественное устройство с точки зрения «вечных» законов, управляющих человечеством. В самых его социально острых, резко обличительных произведениях 1910-х годов («Братья» или «Господин из Сан-Франциско») содержание отнюдь не исчерпывается жестокой критикой колониализма или американского капитализма — скорее для писателя это лишь частная, «временнáя» форма проявления «всеобщего» или, лучше сказать, космического зла. С позиций философского пантеизма Бунин отвергает буржуазную цивилизацию, противопоставляя ей простую и мудрую жизнь вблизи природы. Сходным образом Толстой в «Воскресении» обрушивался на неразумное общественное устройство, на людей, которые, заковав землю в камень и задымив воздух углем и нефтью, «не переставали обманывать и мучать себя и друг друга».

Однако в приведенном отрывке из «Братьев» мы сразу улавливаем и отличие от позднего, «строгого» Толстого, то свое, что внес писатель в живую традицию: даже в минуту скорбного обличения он нисколько не жертвует своей феноменальной наблюдательностью, его стереоскопические «цветные сны» не становятся менее яркими. Это чисто бунинская способность. Напор внешней изобразительности в его зрелой прозе был столь могучим, что порою начинал «забивать» основную, «генерализующую» мысль произведения. И тогда уже приходилось «ампутировать» превосходные эпитеты, уподобления, образы. От редакции к редакции рассказ не насыщается новыми красочными деталями, а пресыщенный, теряет их: так исчезает из рукописей «зыбь, рассыпавшаяся *гелиотроповой* пеной» («Братья»); известный испанский писатель, «*похожий на кабана*»; картина Неаполя, надвигающегося «своими *каменными сотами*»; «*липкая* набережная»; «большая, *тяжелая* и уже совсем наряженная к обеду жена» («Господин из Сан-Франциско») и т. д.

Несхожа с толстовской и самая структура фразы, подчиненная опять-таки не непосредственному обличению, как у автора «Воскресения», во имя этой устремленности мощно громоздившему свои знаменитые «который» и «что», «что» и «который», но согласующаяся с обязательной внутренней архитектоникой, прозрачностью и чистотой волшебного ритма. Если брать стиль позднего Толстого и Бунина — не как две соизмеримые величины, а как два различных начала, две противоположных стихии,— то на ум приходит аналогия: Бетховен и Моцарт. Условность такого сближения очевидна, но оно позволяет, мне кажется, уловить, хотя бы в первом приближении, отличие клокочущей, как магма, прозы позднего Толстого от выверенной по законам красоты словесной архитектоники Бунина.

Содержание творчества позднего Толстого подчиняется образному воплощению выстраданной им мысли, что вся жизнь с ее неравенством, безумной роскошью на одном полюсе и предельной нищетой на другом — представляет собой единый грандиозный контраст, поражающий до боли, до ужаса, до невозможности думать о «приемах», о «литературе».

Подобного накала ярости и гнева не знает проза Бунина. И здесь снова уместно напомнить приведенные выше слова Б. К. Зайцева о резком принципиальном отличии Бунина от Толстого. Но, не обладая толстовской, почти нечеловеческой, светоносной и карающей силой — силой пророка, гениальностью первооткрывателя новых путей в искусстве, оригинальностью философа,— Бунин, однако, именно на пути, продолжающем, наследующем реалистические традиции Толстого, создавал такие произведения, которые отмечены и человеколюбием, и чувством духовной и нравственной ответственности, и высоким художественным совершенством.

«Более десяти лет отделяет нас от конца творчества Чехова,— писал А. Дерман,— и за этот срок, если исключить то, что было обнародовано после смерти Л. Н. Толстого, не появлялось на русском языке художественного произведения, равного по силе и значению рассказу „Господин из Сан-Франциско“ 〈...〉 В чем же эволюционировал художник? В масштабе своего чувства. Его нелюбовь к американцу не заключает в себе ни тени раздражения, и она необычайно (и плодотворно) раздвинута. С какой-то торжественной и праведной печалью художник нарисовал крупный образ громадного зла,— образ греха, в котором протекает жизнь современного гордого человека со старым сердцем...» [48] Обнажая паразитизм «пар чистых», населяющих громадную «Атлантиду», этот цивилизованный ковчег, Бунин словно исполняет замысел Толстого, собиравшегося «написать книгу *Жранье*. Валтасаров пир 〈...〉 Люди думают, что заняты разными важными делами, они заняты только жраньем» [49].

Как и другой рассказ — «Братья», «Господин из Сан-Франциско» пронизан мыслью о неотвратимой гибели всего этого, кажущегося столь устойчивым общественного устройства. Она заложена уже в эпиграфе из Апокалипсиса (снятом Буниным лишь в последней редакции 1951 г.): «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!»— и ее библейский смысл вновь напоминает нам о Валтасаровом пире накануне падения Халдейского царства. Как чуткий художник, Бунин ощущал приближение великих социальных катастроф.

Обличительная устремленность «Господина из Сан-Франциско» в целом невольно заставляет вспомнить страницы Толстого. В еще большей степени это относится к главному герою рассказа, к бесцельно прожитой им жизни, респектабельной внешне, внутренне же пустой и ничтожной. Как и судьба чиновника Головина («Смерть Ивана Ильича»), история господина из Сан-Франциско, исполненная трагизма бездуховности, «была самая обыкновенная и самая ужасная». Более того. В отличие от автора «Смерти Ивана Ильича», Бунин отказывает своему герою даже в просветлении перед смертью. Правда, в черновом варианте в описании умирающего миллионера упоминается о том, что черты его лица стали утончаться, светлеть «красотой, уже давно подобавшей ему» [50]. Но Бунин отказался от такого конца.

Уже на этом примере видно, как, работая над рассказом, писатель и приближался к Толстому, и «уходил» от него, отказываясь от заимствований и реминисценций. Следы подражания Толстому сохранились в ранних редакциях рассказа. Борясь с его прямолинейным влиянием, Бунин исключил из окончательного текста развернутое публицистическое отступление «от автора», совершенно в духе позднего Толстого увещевающее и стыдящее господина из Сан-Франциско, который жил, «не думая, что́ именно ужасно. Может быть, именно то, что вот он, уже старик, опять наряжается, и мучается, и делает так изо дня в день, изо дня в день, и не один, а несколько раз в сутки ⟨...⟩? Или ужасно это объедение, которому с утра до вечера предается он так же спокойно, как и все люди его круга, предающиеся чуть ли не ежечасно этому никем не осужденному разврату? Или ужасен вообще тот мир, в котором он живет? Но, конечно, ничего подобного и в голову не приходило господину из Сан-Франциско. Ведь это, как сказано во всех учебниках, только в древности „развращались и погибали" не только отдельные люди, но и целые народы в пирах, в роскоши, в пурпуре, без меры владея рабами, конями и колесницами. Теперь этого нет и не может быть. А что до рабов, до всей этой несметности служилой черни, которой и была, и есть, и во веки веков будет переполнена земля, до всех этих углекопов, кочегаров, матросов, грузчиков, извозчиков, носильщиков, портье, лакеев, поваров, коридорных...» (4, 485—486; на этом текст обрывается).

Таким образом, даже в близости Толстому Бунин сохраняет свое лицо крупного, оригинального художника, к тому же принадлежащего уже новому, двадцатому веку. Это видно и на приемах типизации. Стремясь превратить частный эпизод — смерть богатого янки — в обобщение о смысле эгоистической жизни, Бунин, подобно творцу «Крейцеровой сонаты» и «Смерти Ивана Ильича», убирает те индивидуальные признаки, которые, по его мнению, могут заслонить основную идею, и раздвигает рамки характера до предельно насыщенных типических ситуаций. Однако в этом направлении Бунин идет гораздо дальше Толстого,— мы не знаем даже имени господина из Сан-Франциско, показанного художником как «обезличенная личность».

Подчиняя художественные средства нравственно-религиозной и социально-этической проблематике, Бунин открывает в этом, близком Толстому, принципе новые качества. Общая идея произведения (в данном случае мысль о неотвратимой гибели неправедного мира) раскрывается не только с помощью всей массы типических подробностей, как у реалистов XIX в.: она не только растворена в обыденности, но и выступает, так сказать, в непосредственно материализованном виде. Когда «Атлантида» с веселящимися господами и мертвым янки возвращается в Америку, на Гибралтарских скалах появляется Дьявол как воплощение зла старого мира. Это не просто символ, но скорее некий условный, близкий символизму прием, с помощью которого Бунин вскрывает в явлении скрытую за ним трагическую бездну. Метод Бунина, таким образом, обогащается новыми для него чертами. Писатель использует и чисто условные приемы в реалистической ткани повествования. Отсюда некий «второй план» рассказа, который вбирает в себя символические картины и фигуры, тема смерти, не перестающая звучать громким предостережением для живых, например, «узнание» господином из Сан-Франциско в незнакомом ему хозяине каприйской гостиницы, где американцу суждено умереть, человека, виденного им прошлой ночью во сне.

Катастрофичность человеческого бытия, иной раз уже в силу его бессмысленности, по мнению Бунина, неизбежна. Она подстерегает самую деловую и благополуч-

ную натуру, вроде брянского мужика и коммерсанта Зотова («Соотечественник»); молодых, полных сил и надежд чиновника Селихова и семинариста Иорданского, вся жизнь которых суетно и нелепо ушла на соперничество и состязание друг с другом в достижении известности и почета («Чаша жизни»); и сына богача Шашу, низвергнутого неким внутренним зовом в пропасть унижений, нищеты, физической убогости («Я все молчу»). Бунин напряженно размышляет над смыслом бытия, ищет причин внезапного отказа своих героев от жизненных благ, от физических наслаждений, пытаясь найти объяснение этому в буддизме, в философии Толстого.

Отсюда, с высоты «абсолютных» нравственных категорий рассматривает Бунин «обыденные» судьбы, пути людей, следовавших закону «земных рождений». Опять-таки он стремится не просто рассказать о тщетности «посюстороннего», земного счастья, о бремени страстей, о тленности всего человеческого — славы, богатства, власти, красоты, силы. В зрелом творчестве Бунина довольно легко выделить последовательную концепцию жизни, своего рода *иерархию* бытия, жесткую и где-то даже жестокую по отношению к человеку.

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»,— повторяем мы известный афоризм Чехова, точнее, его героя — трогательного и несколько прекраснодушного Астрова. Но Бунину ближе записанные им чеховские слова, жестокие и горькие: «В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...» (9, 220).

Счастье, по Бунину, достояние немногих, своего рода монополия избранных, у которых «порода» проявилась как физическая и духовная красота и сила. Это не обязательно «высокорожденные», о нет: все прекрасно в «простом» мужике Захаре Воробьеве, столько в нем телесного и душевного здоровья, нравственной чистоты и силы. Он прекрасен даже тогда, когда пьян, т. е. когда должен быть безобразен. И тут принципиальным, программным для Бунина может служить его поздний рассказ «Молодость и старость» (1936).

Притча о сотворении человека и определении сроков его жизни, которую рассказывает старый царственный курд глупому красавцу, керченскому греку, вновь возвращает нас к основным постулатам «Освобождения Толстого». К тридцати годам, дарованным ему богом, человек выпросил еще пятнадцать от осла, пятнадцать от собаки и пятнадцать от обезьяны. И вот: «Человек свои собственные тридцать лет прожил по-человечьи — ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот все это и с тобой будет,— насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.

— А с тобой отчего ж этого нету? — спросил красавец 〈...〉

— Таких, как я, мало,— сказал старик твердо.— Не был я ишаком, не был собакой,— за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?» (7, 295).

Таким образом, в отличие от «обыденной» судьбы («человек» — «собака» — «осел» — «обезьяна»), курдский вождь прошел свой путь, минуя, казалось бы, неизбежные этапы. В пределах «земной» иерархии он занимает высшую ступеньку, счастливо избавленный от необходимости стяжательства, корысти, счастливо наделенный телесным здоровьем, красотой, храбростью, родовитостью, положением в своем мире. Он как родился, так и остается, сверх положенных тридцати лет, *человеком*.

Человек и Захар Воробьев, а вот кулак Тихон Красов («Деревня»), всю жизнь потративший на бессмысленное стяжательство,— *осел*. В редкостную для него минуту размышлений, наедине с собой, он итожит: «Страм сказать!.. В Москве сроду не бывал! Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно пробирался 〈...〉 Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему...» (3, 47—48). *Ослом* и *собакой* был и господин из Сан-Франциско, так и не захотевший стать *человеком*.

Сдвигая все сильнее, все контрастнее — жизнь и смерть, радость и ужас, надежду и отчаяние, Бунин в своих произведениях 1910-х годов являет нам не просто пессимизм, как то может показаться. «Обостренное чувство смерти», которое находит он у себя, прямо связывается им со «столь же обостренным чувством жизни» (6, 26). Он мог бы повторить слова позднего Толстого: «Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем»[51]. И Бунин, действительно, повторял ту же мысль, повторял по-новому, с исключительной художественной силой славя красоту, богатство, неисчерпаемость природы. Недаром даже в скорбном по тону рассказе «Господин из Сан-Франциско» возникает контраст между скудостью, нищетой жизни миллионера, который провел ее в неустанной жажде накопления, и солнечным счастьем и светом этого мира, открытыми всем и каждому: «А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруццских горца ⟨...⟩ Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово» (4, 326).

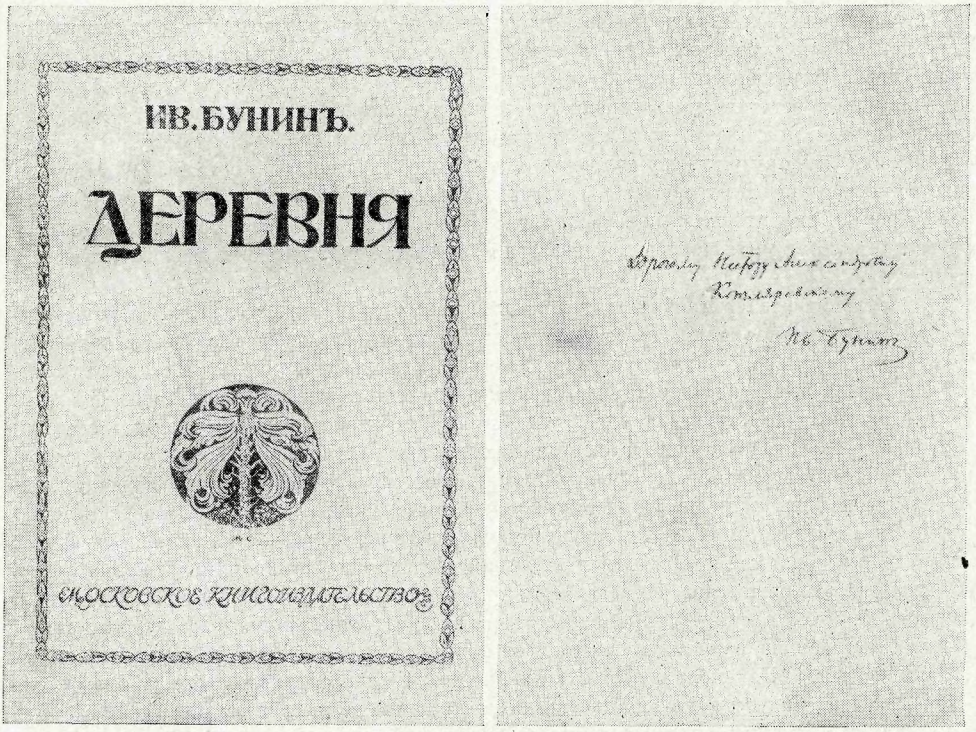
Бунин охотно обращается к точке зрения «простого», «наивного» человека (вспомним, к примеру, как пародийно «комментирует» жизнь и смерть господина из Сан-Франциско слуга в гостинице, весельчак Луиджи). Однако, даже в предельной близости к толстовским традициям, Бунин не делает такую точку зрения «своей», лично выстраданной, и «наивность» восприятия остается в его произведениях как литературный прием.

Так, в рассказе «Старуха» (1916) праздно веселящийся посреди народного горя и нужды «господский» мир показан как бы пропущенным через фильтр наивного, народного восприятия. Картины сытой и праздной жизни бар переданы так, как если бы онибыли увидены обиженной господами кухаркой. В разряд господских «соблазнов» попадает и искусство, с которым Бунин расправляется совершенно по-толстовски. Остраненный пересказ «Анатэмы» или «Князя Игоря» прямо перекликается с описанием театральных представлений в трактате «Что такое искусство?» и даже раньше — в романе «Война и мир».

В обычное описание театрального представления вдруг вторгаются разоблачительные детали, словно подсмотренные из-за кулис,— все эти «больные тучностью» актеры, притворяющиеся «давным давно умершими замоскворецкими купцами», фальшивый князь в «бумажных» латах, получающий свои две тысячи за пятнадцать минут пения, «некто с совершенно голым черепом», лезущий по «картонным гранитам» у Бунина; актер «с белыми, слабыми, нерабочими руками», который «должен изображать могучего карлика», шествие с «фольговыми алебардами на плечах», «дыра в полотне, изображающая луну» у Толстого[52].

Бунинские произведения 1910-х годов дают наиболее богатый материал для выявления в его творчестве высоких традиций Толстого. Эти традиции ощущаются и в особенностях психологического анализа, в экономном, строго подчиненном моральной цели построении характера героя, и в суровом, торжественном тоне обличения, и в самой литературной технике, средствах изобразительности, усвоенных Буниным.

Толстой был «темой жизни» Бунина. Воздействие его—его личности, его художественного метода, его философии — продолжается и в зарубежную пору бунинской жизни, хотя и не являет нам более таких *непосредственных* результатов, какие мы видим в рассказах «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Старуха». Вспомним близкую «Дьяволу» «Митину любовь», «жестокие» рассказы о смерти («Огнь пожирающий», «В ночном море») или, наконец, книгу «Освобождение Толстого».



ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ПОВЕСТИ «ДЕРЕВНЯ» (М., 1910) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА: «Дорогому Нестору Александровичу Котляревскому. Ив. Бунин»
Обложка и форзац
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

6

Последние тридцать три года своей жизни Бунин провел во Франции, вдали от родины и своего читателя. Хотя в эмиграции и оказалось немало знаменитостей, место и значение Бунина в литературе русского зарубежья исключительны, а его фигура несоизмерима с какой-либо другой — ни Куприн, ни Ремизов, ни Шмелев, ни тем более Мережковский не идут ни в какое сравнение с Буниным. Он оказался единственным русским писателем-эмигрантом, который хотя и понес творческий урон, но, преодолев кризис, продолжал в необычных, чрезвычайно неблагоприятных для любого писателя условиях — оторванности от родины — развивать и совершенствовать свой художественный метод. Его реализм, даже оказавшись в суженных, стесненных берегах, открыл в себе новые возможности, результатом чего явились такие значительные произведения, как «Митина любовь», «Солнечный удар», роман «Жизнь Арсеньева», книга рассказов «Темные аллеи», философско-публицистическая книга «Освобождение Толстого».

В первые годы, совершенно ослепленный враждой к Советской России, он не устает нападать на все, что было связано с молодым пролетарским государством (свидетельством тому его дневник 1917—1918 гг.— «Окаянные дни», публиковавшийся в 1925 г.). Само его художественное творчество не могло остаться свободным от политических предрассудков, хотя, за единичными исключениями, это не было следствием привнесения в произведение грубой публицистической тенденции. Отрицание советской современности у Бунина шло не в результате резкой переоценки, переосмысления общественной жизни России, отказа от прежних демократических идеалов (как это было у Амфитеатрова, Шмелева или Гусева-Оренбургского). Ценности лишь постепен-

но передвигались в плоскость «вневременных» категорий, что было для Бунина не изменой прежним заветам, а лишь обострением уже существовавших в его творчестве тенденций. Обращенные вспять симпатии, некогда расплывчатые, неопределенные, имевшие цель эстетическую, обрели теперь четкую социальную установку. Бронзовым и мраморным мавзолеем, высящимся посреди хлябей и бед, кажется Бунину чудом уцелевший в пору «такого великого и быстрого крушения Державы Российской» дворец екатерининских времен. Не принимая новой действительности, которая «царит уже крепко, входит уже в колею, будни», герой рассказа «Несрочная весна» целиком чувствует себя в мире мертвых, «навсегда и блаженно утвердившихся в своей неземной обители».

Смерть оказывается в бунинских произведениях этой поры не только разрешительницей всех противоречий, но и (если действие хоть как-то соотносится с современностью) источником очищающей силы. Умерла ничтожная зажившаяся старуха («Преображение»), и вот ее младший сын Гаврило, всю ночь читавший над покойницей псалтырь, с изумлением чувствует, что «это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых!» Таким образом внутренняя тенденциозность незаметно, но прочно пропитывает иные бунинские произведения. Но воздействие эмиграции на творчество Бунина было более глубоким и опосредствованным. Он и прежде много и напряженно писал на те же темы — о кончине деревенской старухи или о полной драгоценных реликвий усадьбе посреди дворянского запустения. Однако все это было «до», а следовательно, не несло в себе такой личной, «от автора» идущей безысходности. Бунинские рассказы 1920-х годов пронизывает чувство одиночества, полнейшей изоляции человека от ему подобных («Алексей Алексеич», «Огнь пожирающий», «Далекое» и др.). Как и прежде, Бунин сдвигает жизнь и смерть, радость и ужас, надежду и отчаяние. Но никогда ранее не выступало в его произведениях с такой обостренностью ощущение бренности всего сущего—женской красоты, счастья, славы, могущества («Темир-Аксак-Хан»). Созерцая ток времени, гибель далеких цивилизаций, исчезновение царств («Город Царя Царей»), Бунин словно испытывает болезненное успокоение, временное утоление своего горя.

Но философские и исторические экскурсы (как и тенденциозные параллели из времен французской революции — «Богиня Разума») не спасали. Бунин не мог отделаться от мысли о России, которая была, как бы далеко он ни жил, неотторжима от него. В ответ на боль и сомнение стало яснее проступать в образе отодвинутой России то русское, что не могло исчезнуть и должно было идти из прошлого дальше. Особенности бунинского таланта, его известная узость, его принадлежность к сфере собственно «литературы», отчужденность от публицистического начала и, одновременно, крепость, изначальная верность себе, независимость от «моды», «улицы» — все это обусловило стойкость и жизнеспособность творчества Бунина в труднейших условиях, когда он оказался за бортом родины.

В этом-то, очевидно, и состояло его отличие от большинства писателей-эмигрантов. Упорно твердя себе о «конце» России, он не просто воспевал «давнопрошедшее»: то, что он думал об этом сейчас, и то, что он видел, запомнил раньше, встретилось. Времена сместились и охватили этот большой образ с разных концов. «Была когда-то Россия,— стал писать он теперь с мрачной убежденностью, что, вот, мол, и нет ее,— был снежный уездный городишко, была масленица — и был гимназистик Саша...» («Подснежник» — 5, 376). Или: «Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате...» («Далекое» — 5, 81). И начинал рассказывать, что же было. И вдруг тысяча лет превращалась в два часа или пропадала совсем, потому что читатель убеждался: то прекрасное, что Бунину удалось вскрыть под житейским течением в прошлом, не прервалось, не закончилось — оно было знакомо, только не в тех формах, какие Бунин мог знать.

В эмиграции, за некоторыми, пусть и существенными исключениями, обозначились два типа писателей: одни (и их было большинство) в огромной степени зависели от притока свежих, родных впечатлений и вдалеке от России сами ощущали своего рода кислородное голодание, не слыша родного языка, не ощущая русской жизненной плоти. «Славный народ,— заметил Куприн о французах,— но не говорит по-русски, в ла-

вочке и в пивной — всюду не по-нашему... А значит это вот что — поживешь, поживешь, да и писать перестанешь. Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение — они и там будут писать роман за романом. А мне все надо родное, всякое — хорошее, плохое — только родное» [53]. Говоря о писателях, которые не утратят плодовитости и на Мадагаскаре, Куприн скорее всего имел в виду Алданова, автора многочисленных исторических романов. Вместе с кабинетным, сугубо книжным Мережковским, Алданов явил второй тип литераторов-эмигрантов, уже не связанный с Россией, космополитический. Такой тип окончательно оформился в лице писателей-«амфибий», двуязычных, наподобие Набокова (перешедшего в 1940 г. целиком на английский язык) или А. Труайя (Тарасова), пишущего по-французски.

Свято храня в душе родину, Бунин не мог не оставаться художником глубоко национальным, отличным от большинства писателей русского зарубежья, только тосковавших об утраченном или сменявших поэтическое стило на жало тенденциозного публициста. Ища надежды и опоры в далекой России, он со временем стал видеть в ней даже больше непрерывного и растущего, чем раньше, когда это казалось само собой разумеющимся и не нуждалось в особом утверждении. Теперь, как бы освобожденные разлукой от застенчивости, у него вырвались слова, которых он раньше не произносил, держал про себя. Трудно, например, представить себе что-нибудь столь просветленное, как его рассказ 1921 г. «Косцы», где в одном схваченном моменте Бунину удалось разглядеть безмерное и далекое, со всей Россией связанное. Тем резче ложится траурная черта, повторяющая уже знакомые нам мотивы «конца», гибели России.

Разные темы, которые поочередно занимали Бунина в это время, связывались в некое общее стремление. Бунинский талант искал чего-то объемлющего, целого. Это началось сразу же после того, как прошел у него первый порыв злобы и раздражения и написались все выступления, речи и полурассказы-полустатьи, которыми он отозвался на великие события, занесшие его к иным берегам. Чем чаще стал возвращаться в его короткие рассказы образ России, которую он знал и теперь заново передумывал, тем больше была заметна их близость, тяготение друг к другу. Порой это были целые серии, состоявшие из рассказов-зарисовок, законченных, казалось бы, и в то же время открытых, указывающих куда-то дальше («Русак», «В саду», «Подснежник» и т. д.),— как эскизные листы из одного и того же альбома; иногда что-нибудь покрупнее, уже как готовый фрагмент, какой-то угол картины, которую предстоит написать («Далекое»), но так или иначе это целое все настойчивее напрашивалось, обозначалось. Где-то внутри его уже готовилась и выступала вперед «Жизнь Арсеньева» — широкое полотно, запечатлевшее образы старой России [54].

Почти все русские писатели, оказавшись в эмиграции, обращались — с большей или меньшей широтой типизации — к художественным мемуарам, к воспоминаниям о родине. А. Н. Толстой пишет в 1919—1920 гг. в Париже «Детство Никиты», Куприн создает «Юнкеров» (1928—1932), Шмелев — «Богомолье» (1931) и «Лето господне» (1933—1948), Зайцев — «Путешествие Глеба» (1937). Однако бунинский роман и входит в этот список, и резко отличается от перечисленных в нем произведений. Автобиографическая основа «Жизни Арсеньева» несомненна. Только мысленно, только в творческом «сне» мог вернуться Бунин к родным берегам. В известном смысле бунинский роман, вместе с «Детством Никиты» Толстого, замыкает цикл художественных автобиографий из жизни русского поместного дворянства, включающий в себя такие классические произведения, как «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого, «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Но перед нами, собственно, не воспоминания, а произведение, в котором давние события и факты преобразованы, переосмыслены. Как метко сказал В. Ходасевич, рецензируя «Жизнь Арсеньева», это «вымышленная автобиография», «автобиография вымышленного лица». Первые детские впечатления и впечатления отрочества, жизнь в усадьбе и учение в гимназии, картины русской природы и быт нищающего дворянства — служат лишь канвой для философской, религиозной и этической концепции Бунина. Автобиографический материал преображен писателем столь сильно,

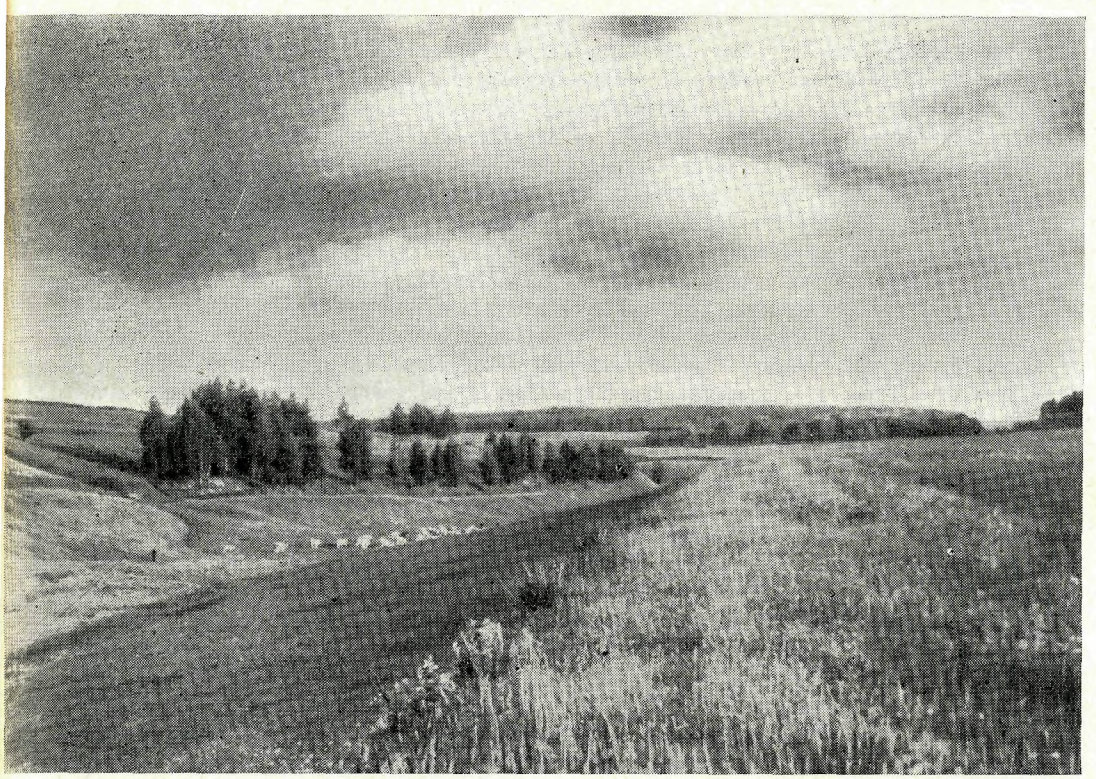
что книга эта смыкается с рассказами зарубежного цикла, в которых художественно осмысляются «вечные» проблемы — жизнь, любовь, смерть.

Некогда «вполне равнодушный» «к своей голубой крови» (9, 254), Бунин теперь с особой, почти болезненной пристрастностью реставрирует подробности, говорящие о былом величии столбового рода. Однако то, что выглядело естественно и закономерно в условиях патриархально-усадебной «гармонии», окружавшей Багрова-внука или даже толстовского Иртеньева, у Алексея Арсеньева кажется уже явным анахронизмом. А если вспомнить, что писался бунинский роман в 1920-х и 1930-х годах, за гребнем громовых революционных потрясений, в эмигрантском «далеке», станет ясным демонстративный, а порой — воинственный характер этого анахронизма. Размышляя о национальной, великодержавной гордости, по мысли Бунина, будто бы от века присущей русскому человеку, он вопрошает: «Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены?» (6, 63). От «вечных», метафизических характеристик нации он доходит, таким образом, до сугубо злободневных, прямых выпадов против революции, скорбя о «навсегда погибшей России», «погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок». Нельзя согласиться с эмигрантской критикой, видевшей в «Жизни Арсеньева» только «трагическую хвалу всему сущему и своему, в его лоне, бытию» (Ф. А. Степун). На самом деле, не одна «вечная» проблематика в ее неповторимо индивидуальном, лирическом преломлении волновала Бунина.

Тенденциозность в романе, однако, словно верхний слой краски, сквозь которую ясно проступает огромная картина отошедшей, старой России, исполненная поэзии и блеска, громада страны, «великий пролет по всей карте России». «Жизнь Арсеньева» — единственное у позднего Бунина произведение по своему географическому, пространственному размаху. Усадьба, полевое раздолье, уездный городок, гимназия, постоялые дворы, трактиры, цирк, городской сад, Крым, Харьков, Орел, Полтава, Москва,— из множества миниатюр складывается мозаичная картина старой России, воспетой Буниным. Любовь к родной стране, преклонение перед ее громадностью и мощью звучит и в словах Александра Сергеевича Арсеньева (отца героя), и в переживаниях Ростовцева, перекупщика скота и хлеба, который, слушая стихи Никитина «Под большим шатром голубых небес...», только «сжимал челюсти и бледнел». А какие пейзажи возникают на страницах «Жизни Арсеньева», как чувствует и откликается писатель на малейшие движения в жизни природы! По Бунину, эта черта тоже национальная: «первобытно подвержен русский человек природным влияниям» (6, 77). Описания природы в романе пленяют звучностью и благородством языка.

«Жизнь Арсеньева» посвящена *путешествию души* юного героя, необыкновенно свежо и остро воспринимающего мир. Главное в романе — расцвет человеческой личности, расширение ее до тех пределов, пока она не оказывается способной вобрать в себя огромное количество впечатлений. Перед нами исповедь большого художника, воссоздание им с величайшей подробностью той обстановки, где впервые проявились его самые ранние творческие импульсы. Эта особенность романа снова выводит его далеко за пределы проблематики остальной бунинской прозы последних десятилетий, герои которой заботливо изолированы от всего, что не связано непосредственно с «первородной» тематикой: любовью-страстью и смертью. В «Жизни Арсеньева» поражает именно многообразие вскрытых писателем связей личности с действительностью.

Произведение новаторское, «Жизнь Арсеньева» явила стремление автора как можно полнее выразить, самоутвердить себя в слове, передать, как сказал сам Бунин по другому поводу, «что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах» (5, 179). Страх забвения, исчезновения, помимо бунинского обостренного чувства смерти, питался ощущением эмигрантского одиночества, порвавшихся связей с родиной и народом. В ранних, подготовительных набросках к роману Бунин писал: «Жизнь, может быть, дается единственно для состязания со смертью, человек даже из-за гроба борется с ней: она отнимает от него имя — он пишет его на кресте, на камне, она хочет тьмой покрыть пережитое им, а он пытается одушевить его в слове» [55].



НА ОРЛОВЩИНЕ

Фотографии В. С. Молчанова, 1965

Новое в «Жизни Арсеньева» проявляется уже в самом жанре произведения, которое строится как свободный лирико-философский монолог, где нет привычных героев, где даже невозможно выделить литературный сюжет в обычном понимании этого слова. Здесь сказалось давнее желание писателя миновать, преодолеть устоявшиеся каноны, все с тою же целью преодоления конца и смерти (в чем опять-таки отразилась внутренняя, быть может, неосознанная полемика с собственными представлениями о «конце»). «Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? — вопрошал Бунин в небольшом очерке „Книга".— Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!» (5, 180). Высвободившись из-под власти лирики в 1910-е годы («Деревня», «Суходол», «крестьянские» рассказы), проза теперь вновь смыкается с ней, заставляя вспомнить скорее не о суходольской «поэме», а об «Антоновских яблоках», «Соснах», «Новой дороге».

Путешествуя в «мысленном сне» вспять, к истокам собственного детства, отрочества, юности, автор, однако, не совмещает себя с героем полностью, создавая как бы «двойную субъективность», что, по свидетельству ряда рецензентов, сближает «при всем различии опыта, письма и чувства жизни» бунинский роман с эпопеей М. Пруста «В поисках утраченного времени». Сам Бунин признавался: «...когда на что-нибудь мода, я „назло" отвертываюсь от модного. Так было с Прустом. Только недавно прочел его и даже испугался: да ведь в „Жизни Арсеньева" ‹...› немало мест совсем прустовских! Поди, доказывай, что я и в глаза не видал Пруста...» [56].

В самом деле, «авангардистский» роман Пруста и «Жизнь Арсеньева» «консерватора» Бунина имеют, если внимательно присмотреться, некоторые приметные общие черты. У обоих писателей принципиальное совпадение героя и автора (что не мешает «Жизни Арсеньева» оставаться «автобиографией вымышленного лица»); у обоих — поток воспоминаний, где трудно вычленить сюжет в обычном его понимании; тема старения, утрат, смерти; идеализация аристократического, дворянского начала; предельная степень эстетизации, когда знакомые явления предстают не просто преображенными, но загадочно прекрасными; общая Бунину и Прусту явная ироничность, что всегда является следствием разочарования, утраты веры в каких-то давних кумиров.

Зато если Пруст описывает механизм человеческого восприятия, то для Бунина главным остается выражение самой чувственности бытия. В отличие от Пруста, русский писатель находится «по эту» сторону реализма. Он эмоциональнее, если угодно, импрессионистичнее»,— он стремится передать души вещей и явлений, с могучей силой изобразительности воссоздавая их внешнюю оболочку.

Одна межа особенно резко разделяет оба произведения: эпопея Пруста, благодаря особенному духовному миру, благодаря перенасыщенности фактами культуры разных эпох и народов, наконец, благодаря изощренному, «элитарному», как сказали бы мы сегодня, стилю, соответствующему по сложности материалу изображения,— интернациональна, космополитична. Роман Бунина — прежде всего — творение национальное, русское, близкое и понятное прежде всего русскому человеку.

В ряду эмигрантских произведений Бунина «Жизнь Арсеньева» выделяется не только масштабом изображения, но и чувством конечного торжества любви над смертью. В рассказах 1920-х годов Бунин, все более охотно отдаваясь изображению любви-страсти, неизбывно пессимистичен. Одни и те же, давние переживания — юношеское чувство Бунина к В. В. Пащенко — легли в основу рассказа «В ночном море» (1923) и последней, пятой книги «Жизни Арсеньева» («Лика»). Но какая разница! В рассказе время уничтожило все — страсть, любовь, ревность, соперничество. «Жизнь Арсеньева» опровергает этот взгляд: время бессильно убить подлинное чувство. Смерть и забвение отступают перед силой любви, обостренным чувством героя и автора к жизни.

Хотя тема любви занимала воображение Бунина и раньше и не будет преувеличением сказать, что основные мотивы позднейшего творчества наметились уже в 1900-е годы (так, рассказ 1909 г. «Маленький роман» принципиально близок позднейшему

«Солнечному удару», в «Последнем свидании» мы встретим как бы развитие темы будущей «Митиной любви», а «Сын» прямо предвосхищает трагическую коллизию «Дела корнета Елагина»), именно в эмиграции писатель отобразил любовь в новых, никому еще не дававшихся подробностях. Внешне холодновато-сдержанный и самолюбиво-чопорный, он, пожалуй, впервые заговорил о своем глубоко интимном. Перечитывая любимого Мопассана, он заметил в дневнике 3 августа 1917 г.: «Он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины» [57]. Натура эмоциональная, страстная, Бунин пережил за свою долгую жизнь несколько глубоких и подлинно драматических потрясений. Тайное тайных самого художника, то, что он не решался высказать раньше, сделать достоянием *той* литературы, теперь вышло, обнаружилось, обретя и новые формы выражения.

«Всякая любовь — великое счастье, даже если она не разделена»,— эти слова из книги «Темные аллеи» могли бы повторить все «герои-любовники» у Бунина. При огромном разнообразии индивидуальностей, психологии, характеров, социального положения и т. п.— они живут в ожидании любви, ищут ее и, чаще всего, опаленные ею, гибнут. Такая концепция сформировалась в творчестве Бунина еще в предреволюционное десятилетие. Любовь-страсть приводит человека на опасную черту, независимо от того, кто перед нами — элегантный, в белоснежном костюме и накрахмаленном белье капитан из «Снов Чанга», легко цитирующий индусских мудрецов, или корявый мужичонка Игнат, не имеющий даже добрых сапог; слывший когда-то в уезде «за редкого умницу» помещик Хвощинский, помешавшийся на любви к своей горничной Лушке, которая умерла в молодости, или девятнадцатилетний Эмиль Дю-Бюи, поэт «несуществующей» парижской школы, игравший в декадентство и сам ставший жертвой вызванных им неведомых сил.

В нашей отечественной литературе до Бунина, пожалуй, не было писателя, в творчестве которого мотивы любви, страсти, чувства — во всех его оттенках и переходах — играли бы столь значительную роль. Занятая разрешением философско-нравственных проблем, русская литература как бы стыдилась долгое время уделять исключительное внимание любви или даже (как это было у позднего Толстого) вообще отвергала ее как недостойный «соблазн». Бунин не знает, кажется, себе равных в этой таинственной области. Причем любовь ровная, тихое горение, безбурное счастье, равно как и драма рассредоточенная, растворенная в обыденности (пример — «Дама с собачкой»),— все это высокомерно отвергается героями и автором. Любовь — «легкое дыхание», посетившее сей мир и готовое в любой миг исчезнуть,— она является лишь «в минуты роковые». Писатель отказывает ей в способности длиться — в семье, в браке, в буднях. Короткая, ослепительная вспышка, до дна озаряющая души влюбленных, приводит их к критической грани, за которой — гибель, самоубийство, небытие:

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

(Ф. И. Тютчев. «Близнецы»)

Как и у Тютчева, позднему Бунину близость любви и смерти, их сопряженность представлялась частным проявлением общей катастрофичности бытия, непрочности самого существования. Все эти издавна близкие ему темы (вспомним «Всходы новые», «Чашу жизни», «Легкое дыхание» и т. п.) наполнились новым, грозным содержанием после великих социальных катаклизмов, потрясших Россию и весь мир. «Любовь прекрасна» и «любовь обречена» — эти понятия окончательно совместились и совпали, неся в глубине, в зерне каждого произведения личное горе Бунина-эмигранта. В произведениях, далеких от него по времени действия, писавшихся, однако,

в 1930-е и 1940-е годы, когда уже не было и в помине ни розовых волжских пароходов, ни бравых гусарских поручиков, ни ветшающих дворянских усадеб, проступает непосредственный отклик на эмигрантские условия, горечь утраченной России.

Жизнь эмиграции почти не отразилась в бунинских произведениях, между тем приток свежих впечатлений о русской действительности прекратился вовсе. Способность Бунина-художника «выдумывать», выросшая некогда на реальной почве, отделилась от нее, и теперь сама узурпировала действительность. Силой своего творческого воображения писатель пытается воссоздать утраченный для него мир. Для него достаточно вспомнить усадьбу в лунный зимний вечер, принадлежавшую некогда матери, а затем помещику Логофету, чтобы «вдруг пришел в голову и сюжет „Музы“ — как и почему, совершенно не понимаю,— признается сам Бунин,— тут тоже все сплошь выдумано,— кроме того, что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на Арбате в номерах „Столица“...» (9, 372).

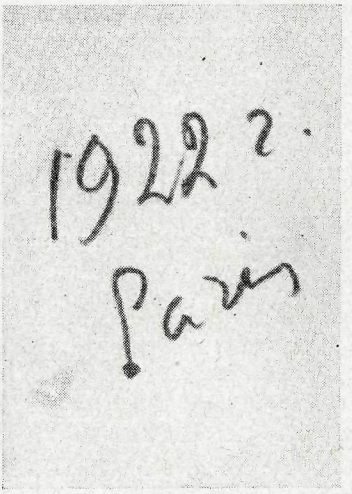
Однако здесь домысел, при всей его творческой мощности, несет на себе печать обреченности, опустошенности жизни в изгнании. Он не дополняет, как прежде, увиденное, а строит свой, независимый мир. Мир этот преобразован по роковым законам страсти и смерти. Размеренно и обыденно живут бунинские герои, пока не наталкиваются на некоторое «вдруг». Собственно, Бунина теперь нисколько не интересует их прежняя, их заурядная жизнь. Он опускает подробности их профессии, социального положения и оставляет малую толику типических примет лишь для сохранения иллюзии правдоподобия. На смену щедрости, обилию подробностей (вспомним еще раз упрек Горького бунинской «Деревне» — «слишком густо») приходит строгий рационализм отбора, подчас (например, в ряде новелл из цикла «Темные аллеи») превращающий скупую деталь в своего рода условный знак, «иероглиф» события.

В рассказах 1930-х и 1940-х годов мы встретим «офицеров», «студентов», «художников», «писателей», «купцов», «генералов», но ничего, что указывало бы на их занятия, обязанности, деловые и творческие интересы, мы не отыщем. Они делают «что-то», «откуда-то» приезжают, «чем-то» заняты — это мало трогает автора. Их социальная принадлежность, равно как их имена — условны, случайны, не обязательны: поручик или композитор, «он» или «я», Алексей Алексеевич или Петр Петрович. Это любовники по преимуществу, люди огромного эмоционального и чувственного накала. Совершенно внезапно для них самих жизнь освещается роковым огнем страсти и смерти. «А зачем он себя застрелил?» — разговаривают дети в рассказе «Часовня».— «Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют в себя...» (7, 252).

Вот здесь, в пределах «роковой любви», ведет автор своих героев, пока его гипертрофированный вымысел не вынуждает их «ловким» выстрелом свести счеты с жизнью. Он ищет примеры вулканического извержения страсти, трагически подчиняющей человека своим слепым силам, и готов следовать за такими сюжетами, чего бы при прочих условиях не допустил его строгий вкус, как, например, в «Деле корнета Елагина». «„Великим инквизитором“ жизненных положений» назвал послереволюционного Бунина советский критик Д. А. Горбов [58]. В самом деле, тяжелой, категорической безысходностью веет от тех ситуаций, какие избирает писатель для своих персонажей, ставя, словно экспериментатор-психолог, все более изощренные задачи.

Однако если ограничиться лишь пессимистической схемой, просвечивающей в поздних произведениях Бунина, представление о его зарубежной прозе будет слишком обедненным и заставит вернуться к утверждениям о вторичности, эпигонстве его эмигрантского творчества. Таков смысл отзыва Горького: «Бунин переписывает „Крейцерову сонату“ под титулом „Митина любовь“» [59], с чем невозможно согласиться; так же неприемлемо и мнение В. Шкловского, нашедшего, будто в той же «Митиной любви» Бунин «омолаживает тематику и приемы Тургенева черными подмышками женщин и всем материалом снов Достоевского» [60].

В рассказах 1920-х — 1940-х годов по разным поводам Бунин, действительно, вступал порой в своего рода художественную полемику или полемику идейную с крупнейшими представителями русского реализма. Но это не было использованием чужих приемов или несамостоятельным следованием за известным сюжетом. Если говорить о внутренних, чаще всего полемических аналогиях, к которым столь охотно



БУНИН
Фотография, Париж, 1922
На обороте помета Бунина: «1922 г. Paris»
Парижский архив Бунина

прибегал Бунин, то в случае с «Митиной любовью» придется вспомнить другое имя: Чехов.

Гибель целомудренного юноши, разрубившего все жизненные узлы выстрелом из револьвера,— как раз такую задачу предложил в свое время молодому Чехову Григорович. «Самоубийство 17-летнего мальчика — тема очень благодарная и заманчивая, но ведь за нее страшно браться! ⟨...⟩ — отвечал Григоровичу Чехов.— Ваш мальчик — натура чистенькая, милая, ищущая бога, любящая, чуткая сердцем и глубоко оскорбленная. Чтобы овладеть таким лицом, надо самому уметь страдать, современные же певцы умеют только ныть и хныкать» [61]. Позднее Чехов написал такой рассказ — «Володя». Его семнадцатилетний герой, слабый и жалкий, погибает, раздавленный нестерпимой пошлостью, нашедшей воплощение в облике вздорной и пустой женщины. Не то Митя у Бунина. Он гибнет не от слабости, а от силы, цельности своей натуры и своего чувства. Это человек высокого склада, трагического темперамента, чувствующий себя обокраденным, опустошенным в мире, где любовь всего-навсего предмет купли-продажи, где она является либо по-деревенски откровенной (за пятерку на поросят), либо утонченной, «одухотворенной» служением искусству. Так проступает в «Митиной любви» идущая «вторым слоем» проблематика социальная, решительное отрицание «нового», буржуазного мира, воплощением которого является «господин в смокинге, с бескровным бритым лицом».

Необычайная сила и искренность чувства свойственна героям бунинских рассказов о любви. Она предстает в ореоле исключительности и красоты, одухотворяющей человека. Такое отношение к любви неожиданно придает трезвому, «беспощадному» бунинскому таланту романтический отсвет. Впрочем, эта неожиданность кажущаяся. Ничего не прощавший своим героям — ни малейшей пошлости, слабости, даже физического несовершенства,— Бунин уже силой внутренней логики должен был выйти к рубежам «идеального» чувства, достояния немногих. А остальные? «Беспощаден кто-то к человеку!» — восклицает он, с убийственным хладнокровием рассказывая о трагикомическом свидании горбуна с горбуньей («Роман горбуна» — 5, 411).

Будничность в понимании Бунина — та же горбатость, уродливость, антикрасота. Не Филемон и Бавкида, не толстовская Наташа с пеленкой в руках, радующаяся жел-

тому пятну вместо зеленого, а Ромео и Джульетта, чувство которых невозможно представить себе в обыденности, бли же всего Бунину. Его герои мучаются и страдают там, где для «обычного» человека еще не достигнут самый порог чувствования. Рыцарский романтизм, изысканность, культ любовного чувства,— все это отделяет Бунина не только от декадентства, с его влечением к болезненному, темному, уродливому, но и от насквозь «плотского» творчества Мопассана.

Центральным событием в творчестве Бунина последних лет явился цикл рассказов, составивших книгу «Темные аллеи» (1943), единственную в своем роде в русской литературе, где все — о любви. Тридцать восемь новелл этого сборника дают великое разнообразие незабываемых женских типов — Руся, Антигона, Таня, Галя Ганская, Поля («Мадрид»), героиня «Чистого понедельника». По сравнению с ними мужские характеры менее разработаны, подчас лишь намечены и, как правило, статичны. Они характеризуются скорее *косвенно*, отраженно — в связи с физическим и психическим обликом женщины, которую любят и которая занимает в рассказе самодовлеющее место. Даже когда «действует» только «он», например, влюбленный офицер, застреливший вздорную красивую бабенку («Пароход „Саратов“»), все равно в памяти остается «она» — «длинная, волнистая», и ее «голое колено в разрезе капота».

В «Темных аллеях» мы встретим и грубую чувственность («Барышня Клара»), и просто мастерски рассказанный игривый анекдот («Сто рупий»), но сквозным лучом проходит через книгу тема чистой и прекрасной любви. Дорожное приключение или дачный роман перерастают в редкостную и благородную ошеломленность души, потрясение, которое силой слова передается читателю. Правда, взятые сами по себе, иные эпизоды «Темных аллей» могли дать повод для упрека автора в излишнем «эротизме». (Предвидя это, Бунин, передавая рукопись в американское издательство, сказал: «Есть в этой книге несколько очень откровенных страниц. Что же, бог с ними, если нужно — вычеркните...» [62]).

Однако на самом деле все обстоит гораздо сложнее. В чистом пламени высокой любви не просто поэтизируются самые «стыдные» подробности — без них сокращено, урезано путешествие души, громадность ее взлета. Именно естественный сплав *откровенно чувственного* и *идеального* создает художественное впечатление: дух проникает в плоть и облагораживает ее. Любовь делает жизнь бунинских героев значительной. Но не оттого только, что наполняет ее радостью и счастьем, а прежде всего — от неизбежности собственной гибели, что придает трагическую значительность и ценность последующим переживаниям.

Перипетии любви, ее приливы и отливы, ее неожиданности и капризы — таков один мотив в рассказах из цикла «Темные аллеи», но за ним (как основа) находится еще и другой, существующий независимо от любовной фабулы. Он-то и определяет конечную тональность повествования. Героиня «Чистого понедельника» ушла в монастырь, на «великий постриг», но она могла покончить с собой (как Галя Ганская) или быть застреленной возлюбленным (как в рассказе «Пароход „Саратов“»). Нечто внешнее, что даже не требует объяснений, готово вторгнуться и пресечь происходящее, если сама любовь не в силах исчерпать себя. Это не просто рок (наподобие античного), написанный «на роду» героям, — гибель и крушение не вытекают из любви, вторгаются извне и независимо от нее.

Так отражается бунинское представление об общей катастрофичности бытия, непрочности всего того, что доселе казалось утвердившимся, незыблемым и, в конечном счете,— звучит отраженно и опосредствованно, как эхо великих социальных потрясений, которые принес человечеству двадцатый век. Общественные катаклизмы ломают судьбы героев столь же неожиданно, как и смерть от родов Натали («Натали») или кончина старого генерала в метро («В Париже»). Написанные в эмигрантском «далеке», бунинские рассказы не могли иметь «счастливые» завершения.

Как пишет критик М. Иофьев, «рассказы, помеченные 30-ми и 40-ми годами, в то время как действие их относится чуть ли не к началу века, все же кажутся не мемуарными, а современными» [63]. «Современность», «немемуарность» бунинских рассказов, справедливо считает критик,— отдаленное и непрямое следствие тех потрясений, через которые прошел писатель, оказавшись отторгнутым от любимой России.

Эта немемуарность проявилась в форме своеобразного преодоления времени, смещения временны́х пластов, образующих единый «поток сознания», в котором, погружаясь в разновозрастные воспоминания, путешествует рассказчик.

Болезненно восприимчивый к текучести времени, его загадочной необратимости, Бунин стремится найти в нем «окно», возможность прорыва в причинно-следственной цепи событий. Героиня «Холодной осени» (1944), проводив на германскую войну, на скорую гибель своего жениха, много потом мыкала горя: торговала в восемнадцатом подержанными вещами на Смоленском рынке, зимой двадцать первого отплыла в ураган из Новороссийска в Турцию, побывала в Болгарии, Сербии, Чехии, Бельгии, Париже, Ницце. Но она убеждена, что вся дальнейшая карусель событий, безостановочный «бег» — это лишь дурной сон, от которого нужно проснуться к «настоящему», к встрече с погибшим женихом. Рассказами-снами, рассказами-виде́ниями, разрушающими структуру времени, выглядят иные зарубежные бунинские произведения.

Когда происходит действие рассказа «Поздний час», быть может, одного из самых показательных в этом смысле? «Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет ⟨...⟩ И шли и проходили годы, десятилетия. И вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня» (7, 37). У рассказа точная дата: «19 октября 1938». Именно тогда, из далекого Грасса, отправляется «он» в свое странное путешествие. Однако разве это только путешествие в прошлое, в «пятьдесят лет назад?» В июльской ночи все кажется знакомым, прежним—«одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была несудоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили...» (7, 37). Сон наяву продолжается. Неземным холодом веет от призрачного города, где уже умерли все — отец, мать, брат любимой, пережившие ее, но дождавшиеся своего срока, все родные, приятели и друзья самого рассказчика. А он продолжает идти мертвым городом, выходит к кладбищу, к «ее» могиле, на которую «дивным самоцветом» глядит «невысокая зеленая звезда».

Время остановилось. Сюжет развивается «в пустоте», произвольно переходя из одной временно́й плоскости в другую, разворачиваясь как бы в «неэвклидовом» пространстве. Убежденный отрицатель всяких «новых» веяний, Бунин неожиданно сближается с «крайними» представителями западного реализма XX в., продолжавшими заветы своих учителей и уже изменявшими им в направлении модернизма.

В чрезвычайно трудных условиях эмиграции бунинский талант не закостенел в отчаянии и тоске, но стесненный, отрезанный от родины, продолжал поиски нового. Можно даже сказать, что именно в зарубежье личное, идущее непосредственно от Бунина, стало прорываться в его произведениях сильнее и явственнее, чем прежде. За годы одиночества, воспоминаний, медленного, но, как могло казаться тогда, надолго окружившего его забвения, в бунинском творчестве произошла концентрация внимания на нескольких коренных проблемах — любви, смерти, памяти о России.

Но русский язык, тот самый, который поддерживал «в дни тяжких сомнений о судьбах родины» и Тургенева, остался при нем и продолжал быть лучшим проявлением его таланта.

7

В пору эмиграции, длившуюся более трех десятков лет, Бунин, несомненно, страдал — и чем далее, тем все более глубоко, тяжко — от чувства одиночества, оторванности от родины. Даже Нобелевская премия, присужденная Бунину в 1933 г., не доставила ему полного удовлетворения. Как жаждал он этого признания и как — совершенно внезапно для себя — почувствовал внутреннюю пустоту, даже равнодушие, когда оно пришло, свершилось: «Нобелевская премия ваша!» И сколько грусти в его записи об этих днях: «...все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира,— отовсюду, кроме России!» (9, 324).

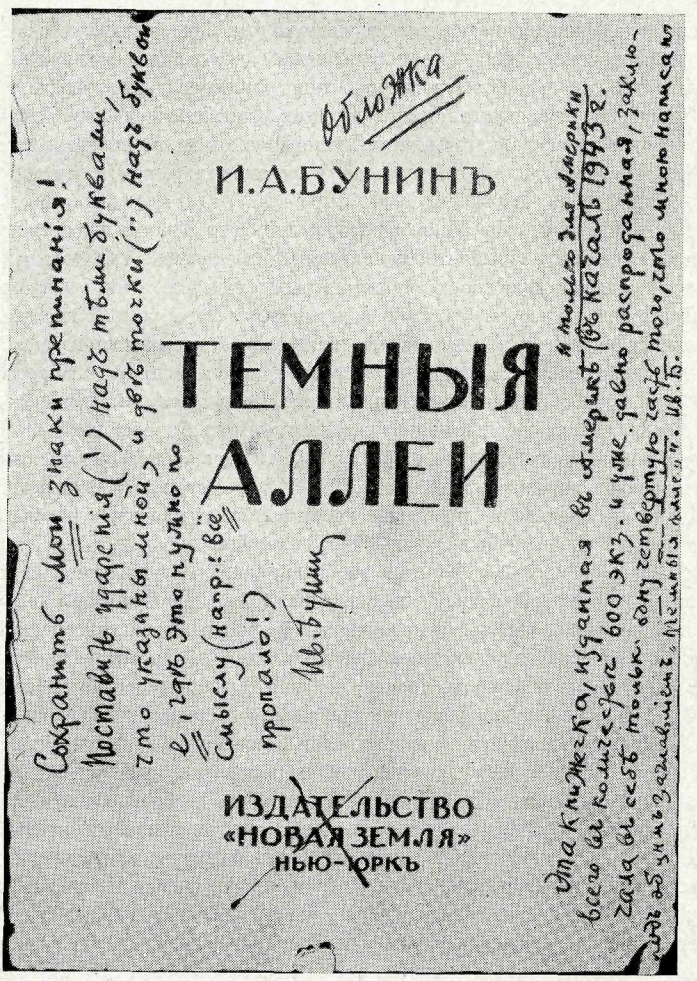
Это чувство одиночества только обострялось с наступлением старости, болезней, а вместе с ними — большой нужды. Тоска по родине, по своему большому дому резко

усилилась в обстановке эмигрантской неприкаянности, в чужих стенах, «мертвым языком говорящих о чьих-то неизвестных, инобытных жизнях, прожитых в них» (9, 366). Бунин, так обостренно воспринимавший собственную связь с прошлым, с предками, с родовым стволом, оказался отрезанным от всего, что уходило в прошлое, а следовательно, что могло длиться, продолжаться в настоящем. «Да зачем мне нужны и кем и когда прибиты эти разветвленные, подобные окаменевшему морскому растению, оленьи рога цвета пемзы над дверью прихожей с кирпичными голыми полами? — почти в отчаянии восклицал он.— Кому служила до меня эта холодная столовая с широко зияющим камином, внутри почерневшим от дыма каких-то неведомых мне зимних вечеров? Какие гости сидели на диване в шелковой вишневой обивке, кое-где уже продольно треснувшей, в этом безмолвном салоне с неподвижными портретами каких-то старомодно наряженных женщин и мужчин французской провинции? В кабинете какого-то бывшего хозяина стоит стопудовый секретер со множеством ящиков и ящичков, закапанных чернилами в прошлом или позапрошлом столетии. В спальнях — альковы, в которых под костяными распятиями умирали какие-то французские деды и отцы, бабушки и матери» (9, 366—367). Атмосфера бездомности, нужды, скитаний,— теперь вынужденных,— придали особый оттенок страданиям старого художника. Вспомним его известные стихи 1922 г.: «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...»

Но было еще и чувство одиночества особого рода. Бунин знал себе цену. Он был в действительности глубоко самобытным, выдающимся русским писателем и в эмиграции напряженно искал себе преемника, продолжателя тех классических традиций, которые пронес с таким достоинством, вопреки всем и вся. Беда, однако, заключалась в том, что такого преемника старый писатель не находил, да и по всей очевидности найти не мог. Художник, почти не знавший поражений, труженик и даже подвижник словесного ремесла, он с течением времени все более выявлялся как фигура единственная в своем роде, а оттого еще более одинокая в литературе русского зарубежья. «Старики»-реалисты (Куприн, Шмелев, Тэффи) постепенно уходили, продолжатели иных направлений (Ремизов, Ходасевич, Георгий Иванов) и прежде всего — молодые «левые» (М. Цветаева, Б. Поплавский) воспринимались Буниным как безусловные наследники ненавидимого им декадентства, с которым он и в эмиграции не прекращал борьбы.

Абсолютной ценностью, безусловным художественным эталоном оставалась для него до конца дней русская классика. Понятно, исход за рубеж, резкая перемена обстановки, неприятие новой России,— все это сказалось раньше и сильнее всего как раз на общественно-литературных оценках Бунина, ожесточило его перо, привнесло особенную демонстративную пристрастность в подходе к современности и к истории. Однако почти в каждом случае это была преувеличенно выраженная или просто очищенная прежняя тенденция. И если «отжать» прямолинейные и несправедливо враждебные выпады Бунина против рабоче-крестьянского государства и советской культуры, то и в основе всех его позднейших высказываний и мемуарно-критического наследия мы обнаружим те же, что и прежде, требования к литературе, сохраняющие свое значение и посейчас. На протяжении всей жизни Бунина они, конечно, приобретали новые оттенки и даже акценты, но были себе верны в главном: в безоговорочной поддержке здорового, реалистического искусства, в непрекращающейся полемике с модернизмом.

Уже в пору отрочества ему страстно захотелось стать не кем-нибудь, а «вторым Пушкиным и Лермонтовым». Он чувствовал в себе как бы особое «право» на них. В эмиграции, в далеком от России Грассе, с юношеской горячностью восклицал: «Это я должен был бы написать „роман“ о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором он ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька, и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!» [64]. Пушкин — как и позднее Лев Толстой — для него часть России, живая и от нее не отделимая. Отвечая на вопрос, каково было воздействие на него Пушкина, Бунин размышлял: «Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда



СБОРНИК «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (НЬЮ-ЙОРК, 1943). ЭКЗЕМПЛЯР С АВТОРСКОЙ ПРАВКОЙ

В декабре 1945 г. был послан Буниным в Иностранную комиссию СП СССР для возможного издания в Советском Союзе. В 1947 г. по просьбе Бунина передан Н. Д. Телешову

Обложка с рабочими указаниями и пометой автора: «Эта книжечка, изданная в Америке ⟨...⟩, заключала в себе только *одну четвертую* часть того, что мною написано под общим заглавием „Темные аллеи". Ив. Б.»

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так *особенно* — с самого начала моей жизни» (9, 456).

Среди тех, кто назывался непосредственно за Пушкиным, шел Толстой, который, по признанию самого Бунина, был для него «богом» [65]. О Толстом он принимался писать не раз. Однако только в 1937 г., в Париже, им была выпущена книга, обобщившая размышления многих лет. «Освобождение Толстого» — это одновременно и религиозно-моралистический трактат о Толстом, и подведение итогов собственной жизни, и художественное произведение нового, не определенного еще жанра, своего рода реквием, с незаурядной силой выразивший трагедию стареющего на чужбине художника.

Бунину не интересно общественное значение творчества Толстого, подвергшего беспощадной критике все социальные институты царской России. Он проходит мимо «кричащих противоречий» писателя, которые были вскрыты в ленинских статьях.

Марксистская точка зрения отвергается им мимоходом, бездоказательно и безоговорочно. Мысль Бунина течет в ином — внеисторическом, внесоциальном русле, в контексте «общечеловеческом», даже космическом,— подкрепляемая постулатами индийской философии, суждениями христианских пророков, записями самого Толстого. Бунин пытается при этом вывести законы единой человеческой цепи, ничтожно малой частицей которой предстает отдельная личность в мириадах бывших, сущих и будущих людей.

В литературной жизни имя Толстого оставалось для Бунина прежде всего той высшей ценностью, которая позволяет безошибочно определить, как согласуется с заветами Толстого «новое» искусство, а следовательно, чего оно стоит. Свое программное выступление на юбилее газеты «Русские ведомости» в октябре 1913 г., где Бунин дает бой уродливым и болезненным явлениям современной ему литературы, он начинает и заканчивает ссылками на Толстого, на его оценки и прогнозы [66]. Через полтора десятилетия в споре с Г. Адамовичем, заявившим, что традиционные реалистические средства устарели, Бунин решительно возражал: «Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим же следам надо идти? ⟨...⟩ Кроме того: неужто уж так беден Толстой и насчет этого самого мира внутреннего?» (9, 451). Толстой был и оставался для него единственным: даже любимый им Чехов вызывал иные чувства — нежность и нечто вроде соперничества.

Оно и понятно. Чехов для Бунина не только последний классик, но и первый писатель «нового» времени, у которого можно многим восхищаться, но что-то очень существенное (скажем, театр) и не принимать. Толстой же никакой критике не подлежал. Личность Чехова раскрывается бережно и подробно в мемуарно-публицистической книге Бунина, вышедшей уже посмертно, в 1955 г. Размышляя о Чехове, он подытоживал: «Это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости» (9, 187). Эта естественность во всем и чувство личной свободы были особенно дороги Бунину, столь чуткому к фальши, позерству, двоедушию и изломанности.

Размышляя о судьбах русской литературы после смерти Чехова и Толстого, Бунин стремится защитить позиции реализма в ту пору, когда декаданс широкой волной надвинулся на искусство. Самый строй жизни, облик героя, отношение к нравственным ценностям, к чувству любви, к природе — буквально все, *что* проповедовала и *как* изображала «новая» литература, было ему глубоко враждебно. Речь шла, стало быть, не только об эстетике.

Однако Бунин неправомерно распространяет свое отрицание и на таких крупных писателей XX в., как Блок, Брюсов, молодой Маяковский, творчество которых так или иначе было связано с модернизмом. Верный своему изначала сложившемуся взгляду на литературу, ее задачи и назначение, он не понимает и не принимает их. У Бунина и у «новых» писателей разные «группы крови». Признавая их литературную одаренность, он отказывает им в естественности и духовном здоровье. «Они сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца»,— эти слова молодого Бунина (9, 506) раз и навсегда определили его отношение к модернизму. Так проявляется на редкость цельная, до прямолинейности, натура Бунина, безжалостно отвергавшего все, что казалось ему надуманным, «книжным», «городским».

Политические пристрастия Бунина-эмигранта, жизнь вдали от родины, от широкой читательской аудитории только усилили это отрицание, сделали его уже сплошь беспросветным, а потому резко тенденциозным. В своих последних, итоговых книгах («Освобождение Толстого», «Воспоминания», «О Чехове») он огульно чернит современную ему литературу и в разряд декадентов готов зачислить теперь и Горького. Одним из главных критериев в оценке того или иного писателя становится для Бунина его отношение к Октябрьской революции. Отвергая самый строй новой, советской жизни, он тем самым переносит свое отрицание и на литературу, занявшую место «по ту сторону» баррикад. Бунин и ранее не принимал Маяковского, Блока, Есенина. Но после «Мистерии-буфф», «Двенадцати», «Инонии» и «Сорокоуста» он нападает на них с яростной враждебностью.

За всеми бунинскими оценками чувствуется, однако, глубоко затаенная личная горечь автора, проигравшего в тяжбе со временем. «Слишком поздно родился я,— сетует он. — Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания...» Враждебный революции и новой, советской России, он до конца своих дней остается верен себе, своим привязанностям и симпатиям. Правда, события второй мировой войны, фашистская оккупация Франции и победоносное завершение войны Советским Союзом вызывают у Бунина прилив патриотических чувств и нечто принципиально новое в отношении к стране и ее литературе. Он, ревниво и зорко следивший за «чистотой знамени» писателей-эмигрантов, преследовавший самую мысль о каком-нибудь компромиссе, «смене вех», с негодованием относившийся к произведениям советских писателей, по крупицам доходившим до Парижа, восхищенно отзывается о Твардовском, Паустовском, В. Катаеве. Как будто бы в сознании Бунина возникает и длится некий процесс переоценки ценностей. Но это была дань любви и восхищения родиной без признания произошедших на ее земле общественных перемен. И тем не менее нельзя подходить к оценке общественно-эстетических взглядов Бунина-эмигранта однолинейно.

За рубежом, возможно, впервые Бунин перестал быть «только» писателем, ощутив острую, безотлагательную необходимость дать непосредственный исход «личному» — как в тенденциозных крайностях, так и в своем горе от разлуки с родиной и в признании в любви к ней. Тем более тяжело воздействовало на него чувство «вакуума», пустоты в эмиграции. После завершения книги «Освобождение Толстого», в которую Бунин вложил особенно много сокровенного, выношенного, «тайного», он с горечью писал: «... кому нужно то, что в ней говорится? Равнодушному ко всему на свете Адамовичу? На все на свете кисло взирающему Ходасевичу? Всему на свете едко улыбающемуся внутренне Алданову?» [67]. Но одиночество требовало выхода, и Бунин искал продолжателей, учеников, следил за появлением новых имен, много внимания отдавал молодым прозаикам и поэтам.

В конце 1920-х годов Бунина, как и всю читающую эмиграцию, привлекла стремительно взошедшая звезда Сирина (В. В. Набокова). «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня»,— заявил Бунин, прочитав его первые произведения [68]. Можно подумать, что болезненно самолюбивый художник втайне ждал этого, памятуя о жестоком, но непреложном законе смены поколений. Ведь он сам назвал «замечательными» чьи-то слова: «В литературе существует тот же обычай, что у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков» (9, 271).

По крайней мере его желание как-то сблизиться с Сириным и понять его было продиктовано этой вот заботой о завтрашнем дне русской литературы, воспринимавшейся Буниным тогда как литературы исключительно эмигрантской. В свойственной ему блестяще-холодной, иронической манере Набоков (уже отбросивший свой псевдоним) вспоминал об их встрече: «Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. „Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве“,— сказал он мне, когда мы направлялись к вешалкам 〈...〉 Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне,— мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня 〈...〉 В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон,— и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились...» [69].

Удивительно описана эта встреча — как свидание русского с принятым за соотечественника иностранцем, когда оба лишь постепенно узнают правду друг о друге: меру удаленности, а точнее — полярность, антиподство. Дело, очевидно, не в том, что Набоков, по замечанию Твардовского, был бунинским эпигоном [70]. Нет, в «Других берегах», равно как и в своих романах, Набоков предстает едва ли не самым выдающимся представителем совершенно иного, чуждого Бунину и русской литературе, как мы бы сказали теперь, *элитарного* и денационализированного искусства.

Не мастерство, не степень таланта, а нечто иное отделяло Набокова, этого Петера Шлемиля литературной эмиграции, потерявшего даже тень связи с родиной, от остальных, пусть менее одаренных писателей. Наделенный тем, что дается немногим избранным, он одновременно был лишен того, что наследуется всеми. По словам Зайцева, в натуре Набокова-художника с самого начала ощущался «дух тления и разложения. Бунин, как человек здорового склада, с трудом выносил его. На меня его облик наводит „метафизическую грусть": больших размеров бесплодная смоковница» [71]. В этом резком отзыве, единодушно разделявшемся другими эмигрантами-«стариками»,— немало справедливого.

Наследников и преемников Бунина-художника, очевидно, можно было искать и встретить только на родине, в России.

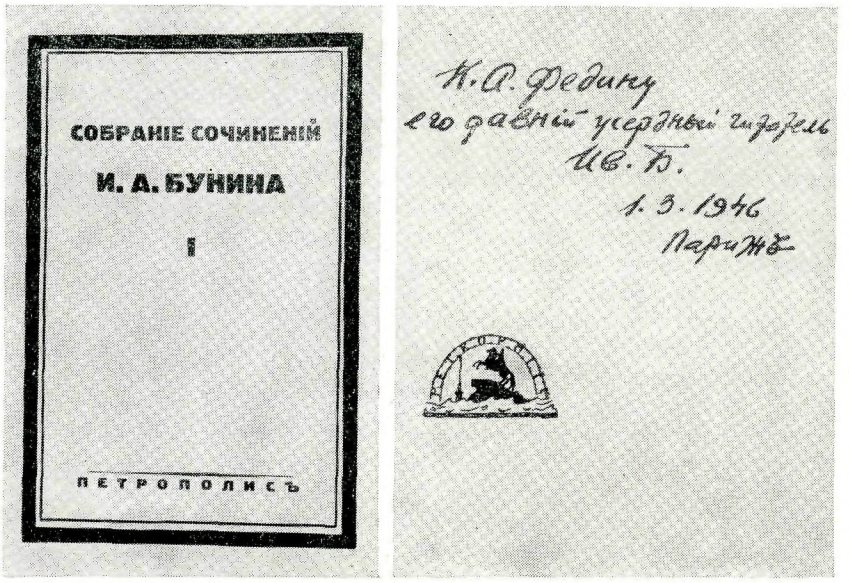
При своей жизни Бунин никогда не принадлежал к числу законодателей мод, наподобие Леонида Андреева или даже Игоря Северянина, в определенную пору вызвавших волну подражателей. С другой стороны, в положении «только писателя» Бунин не мог претендовать и на широкий общественный резонанс у всероссийской аудитории. Его художественные заветы принимались (многими безоговорочно), но справедливее сказать, что русской литературе перед Октябрем было просто не до Бунина. Мы встретим лишь отдельные примеры воздействия его на современников— на Шмелева (для которого в 1910-е годы характерно движение от «сказа» «Человека из ресторана» к изобразительности и спокойной четкости «Пугливой тишины» и «Леса»), на А. М. Федорова или членов содружества «Молодая Среда» (Б. Пильняк, В. Лидин, Ю. Соболев, Н. Никандров и др.), у которых, впрочем, мы легко обнаружим прямолинейное стремление перенять бунинскую мелодику и метафоричность прозы («Снега», «Лесная дача», «Год их жизни», «Смертельное манит» и другие ранние рассказы Б. Пильняка; «Вороные кони», «Трын-трава», «Полая вода», «Последнее плавание» В. Лидина).

1920-е годы в советской литературе были порой, когда выявили себя силы, стремившиеся изобразить дело так, будто новой России по пути лишь с литературным авангардизмом, в то время как все, что связано со «старыми» традициями, должно быть оставлено «по ту сторону» и забыто как архаичное, если не вредное. Лишь немногие в ту пору, а среди них — Горький, не уставали повторять, как важна учеба у классиков. Горький постоянно называл в ряду великих и Бунина. Однако и тогда, и позже связь Бунина с русской литературой не прерывалась, напоминая о себе по разным поводам в произведениях И. С. Соколова-Микитова, Б. Пильняка, И. Вольнова, В. Катаева. К. Паустовского, Н. Смирнова и т. д.

Она проявлялась даже через негативное — в спорах с Буниным и в отталкивании от него (некоторые рассказы 1920-х годов В. Катаева, в том числе прямо направленный против него рассказ «Золотое перо»). Враждебные Бунину традиции не могли, однако, с ним не считаться и просто его обходить: он был и оставался неотъемлемой частью русской культуры. *Один* Бунин, как и один Рахманинов, один Шаляпин, один Алехин и т. д. значили для России достаточно много. Более того. Авторитет «старомодного» Бунина использовался в непрекращавшемся споре для «объективной», читай — оправдательной оценки русского модернизма. Попытка «повенчать» реализм с модерном, с апелляцией к «единому» искусству, чрезвычайно характерна и для многих позднейших оценок Бунина-художника. Едва ли не самым здесь показательным может служить сравнительно недавний пример —«Трава забвенья» В. Катаева (1967).

Познакомившись с Буниным в июле 1914 г., Катаев с тех пор боготворил его как художника. И в «Траве забвенья» он настойчиво называет его учителем: «В решительно сжатых челюстях и напряженно собранном лице своего учителя ...»; «со сладким ужасом слушал я слова своего учителя...»; «Я приносил учителю все новые и новые стихи и рассказы» [72]. И впрямь художественная продукция Катаева той уже далекой поры 1918—1919 гг. являет его удивительную способность к имитации, подражанию.

Зато последующее, зрелое творчество Катаева не соотносимо с традицией Бунина и лежит, как известно, в створе иной манеры, так называемой «южнорусской школы» (Ю. Олеша, И. Бабель, И. Ильф и Е. Петров и др.). Лишь поздние, «вспоминательные» книги —«Святой колодец» и «Трава забвенья»— как будто бы позволяют вновь



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ К. А. ФЕДИНУ НА ПЕРВОМ ТОМЕ «СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И. А. БУНИНА» (БЕРЛИН, 1934):

«К. А. Федину его давний усердный читатель Ив. Б. 1.3.1946. Париж»

Обложка и форзац

Собрание К. А. Федина, Москва

сблизить их имена. Но хотя Катаев и называет себя там учеником Бунина, виртуозная его изобразительность далека по-прежнему от бунинской традиции. Тяга к эффектности («мир неописуемых сновидений»; «волшебно-обольстительные глаза»; «красный буддийский цвет, золотой джаз жертвоприношений»), к броским определениям, к целым кустам метафор, опознание далекого, экзотического через новое удаление («бритоголовые ламы, похожие на римских сенаторов»)— все это обнаруживает безусловную верность автора все той же «южнорусской школе».

Катаев при этом упрекает Бунина в эмпиризме, который под конец жизни якобы окончательно «поглотил» его учителя: «Он и меня учил этому. „Опишите воробья. Опишите девочку". Но что же получилось? Я описал девочку, а она оказалась „девушкой из совпартшколы", героиней Революции. А Революции меня учил Маяковский» [73]. Несомненно, и революционным содержанием, и своей поэтикой Маяковский оказался ближе Катаеву, чем Бунин. Но это ли свидетельство эмпиризма последнего? Нет, конечно, не «воробей», не «девочка» в их конкретной малости занимали Бунина-художника. У него была своя, цельная концепция мира, было соучастие всему сущему:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

(8,8)

Похоже, что в книге «ученика» Бунину приписывается *свое*, катаевское, когда художественно воссозданный мир рассыпается на множество великолепно подмеченных частностей. Не так ли и Ю. Олеша, утверждающий, что «от искусства для веч-

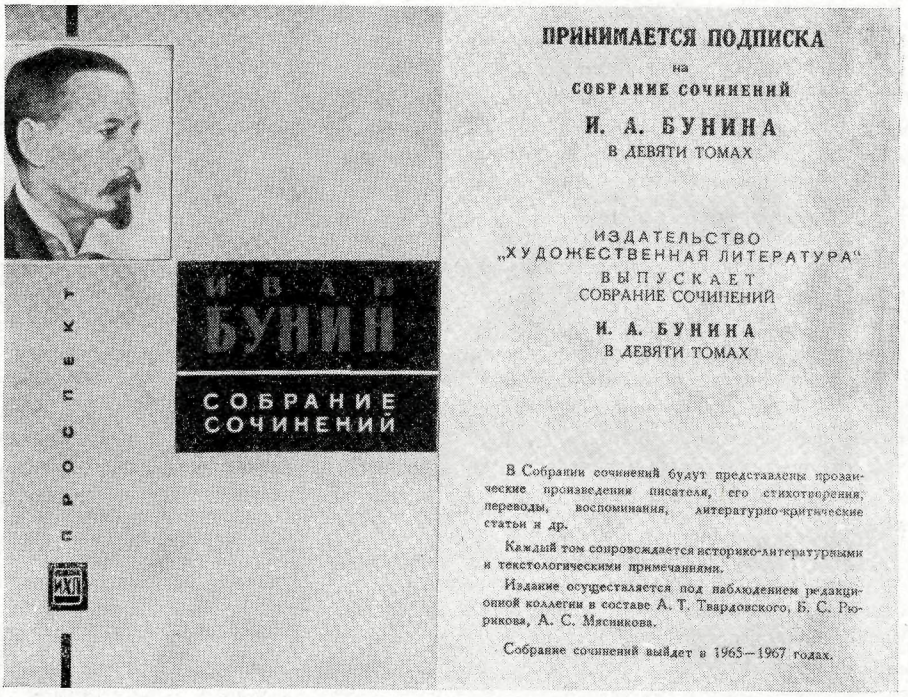
ности остается только метафора», отказывает Бунину в иной, внеэстетической цельности мировосприятия: «У Бунина нет никакой веры ⟨...⟩ Его рассуждения о душе, сливающейся с бесконечностью, или в этом роде, кажутся иногда просто глупыми. Пресловутый „Господин из Сан-Франциско“ — беспросветен, краски в нем нагромождены до тошноты», и т. д. [74] Между тем разорванность восприятия характерна именно для Олеши-художника (равно как и для Катаева). «Мне кажется, что я только называтель вещей,— сокрушенно говорит о себе Олеша.— Даже не художник, а просто какой-то аптекарь, завертыватель порошков, скатыватель пилюль» [75]. Ему вторит Катаев: «Сонмы неназванных предметов терзаются вокруг меня ⟨...⟩ Не имеющие имен вещи и понятия стоят в стеклянных шкафах вечности, как новенькие, золоченые фигуры еще не воплотившихся будд в темных притворах храма...» [76]. Аптека и храм — это лишь метафоры разной «табели о рангах», но смысл, самая сущность в понимании искусства возвращает нас к принципу *элитарности*, ориентации на «немногих», «избранных», допущенных в «храм».

Но есть еще одна важная межа, отделяющая прозу Катаева и Олеши от русской классической, в том числе и бунинской, традиции. Как писал, откликаясь на появление «Святого колодца» В. Дудинцев, «в искусстве не одна, а две магии. Об одной здесь уже сказано — это дар художника видеть точно и страстно вещи, жесты, тончайшие движения человеческой души ⟨...⟩ Вторая магия почти совмещается с душевными качествами любого настоящего человека, не только художника. Это способность испытывать боль. Сочувствовать горестям и радостям людей, способность броситься в чужую драку на чьей-то стороне. Способность, которая становится для художника источником вдохновения и может слегка отодвинуть частные интересы ⟨...⟩ Вот эта вторая магия в „Святом колодце“ почти отсутствует»[77]. Те же слова мы вправе повторить и о «Траве забвенья», созданной художником с зоркими глазами и холодным сердцем. Вот автор приезжает в Париж и в осиротевшей квартире на «рю Жак Оффенбах» встречается с В. Н. Муромцевой-Буниной. В то время как она предается горестным воспоминаниям недавней утраты, опытного писателя мучат другие эмоции: «... а я смотрел на нее с тем же тревожным вниманием, с каким некогда молодой Бунин смотрел на луну, желая возможно точнее определить, какая она? Стеариновая? Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны. Цвет белой мыши с розовыми глазами» [78]. Какая неуместная наблюдательность!

Говоря о бунинских традициях в современной советской литературе, не следует выделять самоцельное «мастерство» как некую сумму художественных приемов, а нужно исходить из нравственно-эстетических уроков творчества Бунина. В сегодняшнем литературном процессе бунинский опыт, реалистические принципы, художественные открытия в поэзии и прозе продолжают участвовать, воздействуя на разновеликих по таланту писателей. Как отмечает А. Твардовский, «опыт этот не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных — каждый по-своему — верностью классическим традициям русского реализма. Разумеется, ни Шолохов, ни Федин, ни Паустовский, ни Соколов-Микитов, осваивая в своей литературной молодости, вкупе со всем богатством классического наследия, опыт Бунина и высоко оценивая искусство этого мастера, не могли разделять его идейных взглядов, его известных пессимистических настроений.

То же можно сказать и о более молодом поколении советских писателей, прежде всего о Ю. Казакове, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывалось, пожалуй, в наиболее очевидной степени. Из совсем молодых, начинающих прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихоносова. Но круг писателей и поэтов, чье творчество так или иначе отмечено родством с бунинскими эстетическими заветами, конечно, значительно шире. В моей собственной работе я многим обязан И. А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности» [79].

Четырнадцатилетним деревенским подростком Твардовский прочел стихи Бунина, восхитился ими и послал автору письмо, которое, конечно, в ту пору Бунина не нашло. Начинающего поэта, воспитанного на безусловном преклонении перед Пушки-



ПРОСПЕКТ ИЗДАНИЯ ДЕВЯТИТОМНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ БУНИНА (М., «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1965—1967)

Обложка и первая страница

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

ным, Лермонтовым, Некрасовым, Никитиным, не могли не увлечь классически ясные произведения Бунина, созданные в традициях «простого стиха» и далекие от самоцельных формалистических исканий. Надо сказать, что в 1920-е годы традиция эта была почти прервана, так что некий учитель, прочитав поэтические опыты юного Твардовского, *не шутя объяснил ему, «что так теперь писать не годится: все у меня* до слова понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано,— таковы современные литературные требования» [80]. Твардовский остался органическим противником усложненной формы и видел в стихах как бы продолжение естественной, органической жизни русского языка. Много позднее он пожелал единственной участи своему творчеству:

Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке...

(«Василий Теркин»)

Таким образом, в общей перспективе движения русской поэзии в ее «спокойных», устойчивых формах немалое связывало Твардовского с Буниным-поэтом. И потому, если разобраться, нет особого чуда в том, что ответ Бунина на неполученное им письмо все же пришел. 10 сентября 1947 г. он писал Телешову: «Я только что прочитал книгу А. Твардовского („Василий Теркин") и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка,

ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!» [81].

Мимо бунинской традиции не прошло и молодое, послевоенное поколение советских поэтов, стремящихся сохранить в своем творчестве верность классическим заветам — В. Соколов, А. Передреев, О. Чухонцев, В. Сидоров, Н. Рубцов и другие. Можно даже сказать, что именно в последние годы, вкупе с общим оживлением интереса к национальному прошлому, отечественной классике, роль и значение опыта Бунина-художника для наших писателей заметно возросли.

В числе тех, кто многим обязан непосредственно Бунину-художнику следует назвать упомянутого Твардовским прозаика Ю. Казакова. Рассказы этого одаренного писателя показывают, что их автор внимательно читал прозу Бунина и — добавим еще — Чехова. В его рассказах «Легкая жизнь», «Некрасивая», «Поморка», «Арктур, гончий пес» и т. д. привлекает обостренный интерес писателя к «первородным» проблемам, чуткое внимание к внутренней жизни героев, вкус к слову и звучанию фразы. Однако, говоря это, нельзя забывать и о том, что Казаков подчас как бы вносит в свои произведения устойчивые бунинские и чеховские приемы, перенимая самый ритм, интонацию старых писателей. Лучшие рассказы Казакова как раз те, в которых он «уходит» от высоких образцов Бунина и Чехова, создавая свой художественный мир.

Как создатель резко индивидуальной манеры, к тому же с установкой на *внешнюю* изобразительность, Бунин словно вызывает на подражание, приглашает следовать за ним. Однако заманчивая успешность и легкость такого пути — кажущиеся, а копирование бунинского рисунка всякий раз приводит к чисто внешним результатам и может явить разве что способного эпигона. Можно даже сказать, что чем дальше от его манеры окажется произведение писателя, высоко чтящего Бунина-художника, тем скорей такой писатель приблизится к нему, сумеет продолжить его традиции.

Наша советская литература, верная своему времени, великой эпохе коммунизма и его идеалам, решает важные задачи, поставленные перед нею новой действительностью, стремится отобразить подлинного героя современности. Но все это не исключает, а, напротив, предполагает усиление внимания к преемственности, освоению национальных культурных традиций. В живом литературном процессе сегодняшнего дня наследие Бунина играет свою важную и плодотворную роль. Его реалистическое творчество, творчество младшего современника Толстого и Чехова, ровесника Горького и Куприна, старшего современника А. Толстого, М. Шолохова, Л. Леонова, А. Твардовского, К. Федина, является как бы мостом между классической литературой XIX в. и русской советской литературой.

Это творчество являет нам пример подлинной требовательности и взыскательности к себе большого художника, пример подвижнической работы над словом, поисков самых выразительных средств, пример следования реалистическим заветам. В этом, самом широком смысле слова, опыт Бунина, его открытия в литературе восприняты большим кругом советских писателей разных поколений. В их числе можно назвать не только писателей «столичных», живущих в Москве и чуть не с юношества впитавших в себя его образный строй, стилистику, ритм, но и «по всей Руси великой» советские писатели, особенно молодые, не прошли, да и не могли пройти мимо опыта Бунина-художника. В их числе можно назвать вологжан Ф. Абрамова, В. Белова, Н. Рубцова, пермяка В. Астафьева, курян Е. Носова и К. Воробьева, сибиряков В. Распутина и В. Колыхалова, краснодарца В. Лихоносова и многих других, кто сохраняет неразрывную связь с родным краем, первоисточником художественных впечатлений, и стремится обогатить свой опыт великим культурным наследием, найти новые пути в продолжении благородных классических и национальных традиций.

Исполнившееся в 1970 г. столетие со дня рождения Бунина — срок немалый, который позволяет уже с уверенностью сказать, что бунинские произведения прочно вошли в духовный мир советского человека, что они живут, волнуя, тревожа, обогащая нравственно и эстетически многомиллионную читательскую аудиторию. Лучшие произведения Бунина вошли в нашем сознании в русскую классику.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. Измайлов. И. А. Бунин и Н. Н. Златовратский.— «Русское слово», 1909, № 252, 3 ноября.

[2] Письмо к О. Л. Книппер 31 января 1902 г.— А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. XIX. М., 1950, стр. 234.

[3] «Архив Горького», т. IV, стр. 42 и 92.

[4] «М. Горький. Материалы и исследования», т. I. Л., 1934, стр. 329.

[5] Собр. соч. 1965—1967, т. 1., стр. 106. Далее при ссылках на произведения Бунина том и страница этого издания указываются в тексте статьи.

[6] «В большой семье», стр. 246.

[7] А. Твардовский. О Бунине.— Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 49.

[8] Александр Серебров (А. Н. Тихонов). Время и люди. М., 1955, стр. 219.

[9] «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1954, стр. 490.

[10] А. И. Куприн. Полн. собр. соч., т. 7. СПб., 1912, стр. 5—6.

[11] Ряд ранних очерков и рассказов Бунина публикуется в настоящей книге.

[12] Письмо Бунина к В. В. Пащенко 5 января 1892 г.— ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 13.

[13] Об отношении Бунина к поэзии Мицкевича см. настоящ. книгу, стр. 223—224.

[14] Л. Усенко. «Собрание сочинений Бунина: отбор, комментарии».— «Литературная газета», 1968, № 23, 5 июня.

[15] Письмо к И. А. Бунину 15 января 1902 г. — А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. XIX, стр. 222.

[16] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 50.

[17] См. об этом в статье А. А. Нинова «Бунин и Горький» (настоящ. том, кн. 2).

[18] Например, стихотворение «За морями всходит алый свет...» (настоящ. кн., стр. 180—181).

[19] См. Н. Кучеровский. О концепции жизни в лирической прозе И. А. Бунина.— Сб. «Русская литература XX века. (Дооктябрьский период)». Калуга, 1968, стр. 89.

[20] Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 5. М.— Л., 1962, стр. 141.

[21] В. Брюсов. Далекие и близкие. М., «Скорпион», 1912, стр. 155.

[22] Александр Блок. Собр. соч., т. 6, стр. 169.

[23] Там же, т. 5, стр. 328.

[24] В. Катаев. Святой колодец. Трава забвенья. М., 1969, стр. 165.

[25] Горький, т. 29, стр. 17.

[26] Из письма к А. Е. Грузинскому 21 марта/3 апреля 1909 г.— «Материалы», стр. 129—130.

[27] «Городок Окуров».— Сб. «Знание», кн. 28, 29 (СПб., 1909, 1910).

[28] Горький, т. 9, стр. 17.

[29] См. настоящ. кн., стр. 367 и 371.

[30] С. Адрианов Критические наброски.— «Вестник Европы», 1912, № 11, стр. 349.

[31] «Киевская мысль», 1910, № 328, 27 ноября.

[32] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 52.

[33] «Новое время», 1912, № 12928, 9 марта.

[34] В. Н. Афанасьев. И. А. Бунин. Очерк творчества. М., 1966, стр. 122.

[35] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 60.

[36] А. Твардовский. О Бунине.— Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 15—16.

[37] Там же, стр. 16.

[38] Горький, т. 17, стр. 324.

[39] «Московская весть», 1911, № 3, 12 сентября (см. также — т. 9, стр. 536).

[40] С. Адрианов. Критические наброски.— «Вестник Европы», 1912, № 11, стр. 348.

[41] Александр Блок. Собр. соч., т. 5, стр. 170.

[42] Письмо к Ю. А. Бунину 22 июля 1890 г. — «Литературный Смоленск», стр. 288.

[43] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I. М., 1922, стр. 89.

[44] «Русская литература XX века», т. II. Ред. С. А. Венгерова. СПб., 1915, стр. 89.

[45] А. Б. Дерман. Победа художника.— «Русская мысль», 1916, № 5, отд. «В России и за границей», стр. 24.

[46] См. настоящ. том, кн. 2.

[47] Н. Кучеровский. О концепции жизни в лирической прозе И. А. Бунина. — Сб. «Русская литература XX века. (Дооктябрьский период)», стр. 87.

[48] А. Дерман. Указ. статья, стр. 23, 27.

[49] Запись в дневнике 25 июня 1890 г.— Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 51, стр. 53.

[50] ГБЛ, ф. 429. 1.5.

[51] Запись в дневнике 14 июня 1894 г.— Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 52, стр. 120—121.

[52] «Что такое искусство?» — Там же, т. 30, стр. 133, 29; «Война и мир» — там же, т. 10, стр. 327.

[53] Н. Рощин. Мой Куприн.— Газ. «Возрождение» (Париж), 1938, № 4149, 16 сентября.

[54] См. записи Бунина «Книга моей жизни» (1921 г.) в настоящ. книге, стр. 382—386.

[55] И. А. Бунин. Повести, рассказы, воспоминания. М., 1961, стр. 616.

[56] Письмо к П. М. Бицилли 5 апреля 1936 г.— «Русская литература», 1961, № 4, стр. 154.

[57] Дневник Бунина (2 августа 1917 г. — май 1918 г.).— «Новый мир», 1965, № 10, стр. 216; цитируется по рукописи (ГБЛ, ф. 429) с исправлением неточностей, допущенных в публикации.

[58] Д. А. Горбов. 10 лет литературы за рубежом.— «Печать и революция», 1927, кн. 8, стр. 16.

[59] Письмо к К. А. Федину 3 июня 1925 г. — Горький, т. 29, стр. 431.

[60] В. Шкловский. Гамбургский счет. М., 1928, стр. 23.

[61] Письмо Д. В. Григоровичу 12 января 1888 г.— А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. XIV. М., 1949, стр. 15.

[62] «Материалы», стр. 230.

[63] М. Иофьев. Профили искусства. М., 1965, стр. 288.

[64] Галина Кузнецова. Грасский дневник.— См. настоящ. том, кн. 2.

[65] «Одесские новости», 1914, № 9693, 2 июня.

[66] См. настоящ. кн., стр. 316 и 322.

[67] Письмо к П. М. Бицилли 16 августа 1937 г. — «Русская литература», 1961, № 4, стр. 156.

[68] Лев Любимов. На чужбине.— «Новый мир», 1957, № 3, стр. 167.

[69] Владимир Набоков. Другие берега. Нью-Йорк, 1954, стр. 244.

[70] А. Твардовский. Указ. статья, стр. 30.

[71] Б. К. Зайцев. Письмо автору настоящей статьи 1 марта 1962 г.

[72] В. Катаев. Святой колодец. Трава забвенья, стр. 158, 215, 160.

[73] Там же, стр. 326.

[74] Юрий Олеша. Ни дня без строчки. М., 1965, стр. 257, 246.

[75] Там же, стр. 257.

[76] В. Катаев. Святой колодец. Трава забвенья, стр. 145.

[77] В. Дудинцев. Две магии искусства.— «Литературная газета», 1966, № 950, 13 августа.

[78] В. Катаев. Святой колодец. Трава забвенья, стр. 330—331.

[79] А. Твардовский. Указ. статья, стр. 10.

[80] А. Твардовский. Собр. соч., т. 1. М., 1959, стр. 9—10.

[81] См. настоящ. кн., стр. 637.

ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ БУНИНА

ПРОЗА

Публикация |В. Н. Афанасьева|, Л. Н. Афонина, А. К. Бабореко, Н. А. Балтийской, И. С. Газер, Т. Г. Динесман, А. Н. Дубовикова, А. С. Логвинова, С. Ю. Прегель

Последнее, наиболее полное издание сочинений Бунина (Собр. соч. 1965—1967) включает бóльшую часть бунинской прозы, в том числе и многие из тех произведений, которые сам Бунин в свои собрания сочинений и сборники не вводил. Тем не менее обширное наследие Бунина-прозаика этим изданием далеко не исчерпывается. Обследование советских архивов, русской и зарубежной периодической печати, а также прижизненных сборников рассказов Бунина дало возможность выявить ряд прозаических произведений, по разным причинам в него не включенных.

Хронологические рамки представленного в томе материала очень обширны. Они охватывают весь почти семидесятипятилетний творческий путь писателя — от его первых, нигде не публиковавшихся произведений до рассказов, вошедших в последний сборник, подготовленный им к печати в 1953 г., незадолго до смерти.

Широта хронологического охвата определяет известную неравноценность публикуемых текстов: рядом с произведениями, принадлежащими к лучшим страницам бунинской прозы, созданными в период его творческого расцвета, стоят юношеские опыты начинающего писателя, которые Бунин не счел возможным включить даже в свои первые сборники. При всем своем несовершенстве эти ранние опыты представляют значительный интерес как свидетельство становления мастерства Бунина-прозаика — без них картина творческого развития писателя останется неполной.

Примечательная особенность публикуемых материалов — их жанровое разнообразие. Помимо традиционного для бунинской прозы жанра короткого психологического рассказа, здесь есть путевые очерки, рассказы-аллегории, опыт исторического портрета, цикл художественно-философских этюдов, рассказы, восходящие к народным легендам Прованса, переложения библейских преданий.

Все публикуемые произведения печатаются в хронологической последовательности, начиная с очерков и рассказов 1895 г. Произведения более ранних лет даны в приложении.

Тексты подготовили к печати: |В. Н. Афанасьев| («В лесах», «О милых людях», «Нефедка», «Два странника», «День за день», «Судоржный», «„Шаман“ и Мотька», «Помещик Воргольский»); Л. Н. Афонин («Свет жизни»); А. К. Бабореко («Богиня Разума», «Провансальские пересказы», «Сон пресвятыя богородицы», «Русь града взыскующая», «Ривьера», «Модест», «Железная шерсть», «Портрет», «Когда я впервые...», «Пророк Осия», «Господин Порогов»); Н. А. Балтийская («В стране пращуров»); И. С. Газер («По Днепру», «Праздник»); Т. Г. Динесман («Плач о Сионе», «Благовестие», «Сокол»); А. Н. Дубовиков («Мелкие рассказы», «Ночная птица»); А. С. Логвинов («Песня жаворонка»); С. Ю. Прегель («Крем Леодор»). Подборка из цикла «Странствия», а также рассказы «Десятого сентября», «Аля» подготовлены редакцией «Литературного наследства».

В ЛЕСАХ

Из дневника

23 февр., 18.. г.

Завтра, послезавтра — всему конец... Страшно начать новую жизнь, страшно отречение, но нет иного выхода! С самого детства шел по одной дороге, к одной цели, все построил на ней и вот теперь сразу и круто поверну на другой путь, к другой цели... К какой — я не знаю, но я не могу и не смею остаться здесь... Господи! Прости меня! С сердцем чистым и незлобивым заповедал ты стоять у святого престола твоего!.. Где же оно у меня, где незлобие, где безмятежная ясность духа? Нет и не будет, и не может быть!

Как я не думал, не проверил себя прежде? Боязливый, неумеющий, как я пошел сюда, пошел, чтобы быть священником, учителем?.. Я шел искренно... Еще в детстве, в темные осенние вечера, когда я стоял на коленях в полусумраке храма, слабо и грустно освещенном восковыми свечами и обвеянном тишиною и звуками вечернего служения, кротостью слабого голоса священника, шорохом и вздохами темных рядов молящихся,— я всей душой повторял покаянно-трогательное пение: «Благословен, еси, господи, научи мя оправданием твоим»... и отдавался мечтам о будущем, о великом деле пастыря... Помню, рисовалось мне далекое время... снились катакомбы, долгое ночное бдение, истомленно-просветленные лица первых христиан... Как значителен и прекрасен был тогда тихо-радостный возглас: «Слава тебе, показавшему нам свет!» — на заре с первым блеском солнца, после трудной молитвенной ночи!.. Я сохранил эти впечатления детства, они невидимо поддерживали веру в мои стремления, но теперь только понял я, сколько для служения богу и людям нужно других впечатлений — сколько нужно силы и цельности!..

Отказаться, отказаться лучше!

Где мне! Сколько дней не могу забыть этих похорон?..

Жена не знает меня. Мы живем вместе только несколько месяцев. Но и в будущем — разве мы поймем друг друга? Как она удивится, когда приедет завтра, как будет растеряна! И я не сумею объяснить ей своего состояния. Она добрая, она простит; даже поймет, может быть,— только не сердцем. Ей будет странно, дико мое решение... Но что же делать, что? Я одинок здесь, одинок и с нею, и среди народа, и среди этой местности... В городе, в новой жизни, мне, может быть, будет еще тяжелее, но спокойнее.

Мертвая тишина в моей избе. Так безмолвно, что я слышу, как шипит керосин в догорающей лампочке... На дворе—ночь теплая, но сумрачная,— идет мокрый снег; на деревне — ни одного огня, трудно и вообразить, что есть жив человек в этих нескольких хижинах, занесенных метелью... Тихо гудит обступивший ее, побелевший лес... И я представляю себя самого и мою избу в этих лесах, и мала, и одинока, и беззащитна кажется мне она под их темными ветвями, тяжело заваленными снегом!

Кто знает — попади я в другую местность, мне, может быть, было бы легче. Но меня тяготят эти леса. С первого раза, когда я только сошел на станции, чтобы около нее отыскать свою деревушку, у меня сжалось сердце: все было черно, сумрачно кругом — обнаженный почерневший лес, мокрые черные дрова на местах вырубленных, черные ложбины, где выжи-

БУНИН

Фотография О. Ренара. Москва, конец 1890-х — начало 1900-х годов

С автографической подписью Бунина

Центральный архив литературы и искусства, Москва

гали летом уголья, тесовая крыша мокрой избы лесорубщика... Только холодное небо и облака, белым дымом бегущие по нем, освежали картину.

Народ не понравился мне белыми зипунами, белыми бараньими треухами, белорусским жалким говором. Он был чужд мне сперва, а потом... Я нашел великую темноту невежества, бедность поразительную, жалкое подобие земледелия на болотных прогалинах лесов, лихорадки, колтун, цингу... И убедился — теперь особенно, что я здесь... только хоронить могу!

Страшное слово! Я и прежде боялся его, а теперь произношу с темным ужасом, не смею вдуматься в него... Это единичный случай, самый обычный, естественный, даже не случай это... что я говорю? Какой же может быть, боже мой, случай в смерти, в будничной смерти? — А я не умею забыть...

Приехали за мной поздно вечером. Меня с рождества измучили слухи, что кругом пошла горячка, измучили ежедневные посещения с просьбами о помощи, когда мне самому едва хватает на черный хлеб. Нервы были расстроены предварительно. Я уже ждал, что вот-вот меня разбудят ночью и я поеду читать отходную... Поэтому, когда за окнами залаяли овчарки и заскрипели подъехавшие сани, я оторопел... Я с беспокойством бросился искать шапку...

Так и случилось.

Дверь распахнулась, и в волнах холодного пара поспешно вошел мужик. Он обил лапти, сдернул треух и остановился у порога.

— Что ты? — спросил я машинально, уже совсем готовый.

Он тряхнул несколько раз головою, словно хотел очнуться от дремоты, оглянулся — не натоптал ли лаптями, повернулся, взялся за скобку — притворил ли двери...

— Ты что? — повторил я нетерпеливее.

— К твоей милости, брат помирае...

А я уже не слушал, я с бьющимся сердцем натягивал полушубок, и во всем теле у меня дрожало такое ощущение, словно я бросаюсь в пропасть...

Мне стало стыдно, когда мы поехали, я словно поймал себя на простой жалкой трусости. Я старался быть покойным. И действительно — затих. Я сидел как в полусне. Ехали по лесу. Помню, как было морозно и ярко в нем. Весь он, холодный, тонул в лунном свете. Стройными колоннами замирали мачтовые деревья, и серебряные верхушки их легко и фантастично уходили в зимнее небо. Высоко, над самой дорогой, стоял полный месяц. Белые облачка плыли, освещенные, мимо него и порой, расступаясь, глубина неба казалась среди них темно-темно-синею и такою глубокою.

Помню, что мужик несвязно толковал про волков,— «стадами ходят»,— говорил он, и я вздрагивал, принимая иногда нашу собаку за волка, когда она вдруг выскакивала из таинственно светлых и темных дебрей снежного леса и замирала вместе с своею черною тенью на ярко-озаренной дороге...

Я вошел в избу... Больной был в беспамятстве, как бы истомленный вконец знойным и тяжелым сном. Страшно изнуренное лицо было уже как у покойника... Тихо и с трепетом начал я молитвы... Напряженная тишина замерла в избе. Ребятишки с расширенными глазами пугливо глядели с темной печи — и застыли... Больной вдруг открыл глаза, и они засветились в полутьме... Потом закрыл... Не помню, как я вышел из избы...

Лунная, мертвая ночь в лесу, тени от бегущих саней, от деревьев... больной, изба, ребятишки — все мешалось в моих мыслях. «Отходную могу только прочитать,— думал я чаще всего и с напряжением,— неужели только?»

Ночь до рассвета тянулась долго. Я плохо спал... Вечером я опять ездил туда, а на третий день хоронил.

Как удивительно я запомнил все, как живо в душе это воспоминание!.. Опять я ехал по лесу; садилось зимнее солнце... Еще чище, яснее, серебряно-матовее замирал морозный лес на фоне зеленоватого неба. Солнце садилось, и я помню, помню, как в избе оно одним золотым, парчовым лучом косо проникло в низкое оконце и освещало желтый лоб покойника, лежавшего на лавке под святыми. Как великолепно и ужасно это было!

А наутро резкий ветер обжигал лицо морозом и весь воздух был наполнен миллионами морозных блестков. Снег визжал под санями, как алебастр, и еще зеленее и холоднее рисовалось небо над лесами. Я ждал, закутанный,

на крыльце и промерз до костей, пока увидел наконец среди белой улицы белые зипуны мужиков и всего ярче — белый гроб. Он был открыт — ледяной ветер развевал волосы покойника. Маленькая церковка наша вся промерзла до самого побелевшего иконостаса — и особенно резко застучали в ней наши шаги. Одно солнце, золотым лучом проникая в придел, освещало убогое великолепие храма. И от холода и боли сжалось во мне сердце, когда потекли струи фимиама, и дрогнул голос при первом звуке молитвы! Слезы мои падали на антиминс, и чаша с дарами во мгновение примерзала к устам, обжигая их...

---

28 февр.

Ничего, кажется, уже 28... Где буду в марте, где буду через год, через два, через десять—не знаю. Все равно. Не хочу и глядеть вперед. Грустно мне только, грустно, как давно не было!..

Все еще один, и болезнь моя, и тишина в доме погружают меня иногда в забытье. Тогда лучше. Под вечер, когда один-одинешенек лежу в постели и свет позднего солнца наполняет всю комнату, на душе даже хорошо становится. Я думаю...

— Ах, да нет! — Как изменилось все кругом! Шумно, в блеске солнца уже идет по лесам мартовский, свежий, веселый ветер. И леса почернели, но по-весеннему, по-новому. По-весеннему, ослепительно блестят покрытые золотой слюдой снега. Тает, весна!.. И скоро еще веселее и роскошнее будет в лесах — зашумят березы, налетят птицы — когда же, наконец, когда придут сюда люди?

‹1893—1895›

«Орловский вестник», 1895, № 151, 11 июня. Подпись: Ив. Бунин.

Воспроизведено (со значительными неточностями): «Радуга», 1968, № 9.

В 1893 г. Бунин предложил этот рассказ в «Мир божий». 6 ноября 1893 г. издательница журнала А. А. Давыдова писала ему: «Очерк ваш „Из дневника священника“ я вам отослала. К сожалению, он нам был неподходящий. Очень он, голубчик мой, отрывочен,— простите за откровенность,— на меня произвело впечатление, что это неоконченная вещь. А задумано — чудесно! И следовало бы вам поработать над ней» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 97, л. 1). Был ли рассказ переработан после этого, неизвестно.

О МИЛЫХ ЛЮДЯХ

В юности, читатель, меня очень интересовали дураки...

Не улыбайся,— право о них стоит подумать... Да, так вот я говорю, они очень занимали меня. Я с одинаковым удовольствием любовался и на старых, и на молодых, и на толстых кретинов, и на худых, долговязых идиотов. Мне нравилось наблюдать, как старый дурак постоянно гордится тем, что он женат и что он чистокровной породы; как он любит подарки, мятные пряники и произведения искусства — в часы досуга; как он всем дает понять, что он если и не блещет красотой теперь, то еще очень представителен. Нравилось мне, как гордился молодой дурак, говоря, что у него вся жизнь впереди, то есть, что он тоже будет женат и будет любить пряники и прибавит народонаселения...

Да, я любил их, читатель, любил до того, что даже не пренебрегал дурачками-отроками, теми милыми мальчиками в нечищеных сапогах, у которых карманы панталончиков набиты грязным носовым платком, перочинными ножами, резинками, крошками хлеба и у которых такой изуми-

тельный аппетит и такие добрые, признательные глаза, когда они, ложась подбородком на стол, тянут чай и попутно фыркают от смеха.

Я даже начал писать им дифирамбы... Но дураки срезали меня:

— Гы... гы...— сказали они в один голос, оглядываясь с блаженными лицами друг на друга, предвкушая сладость своего остроумия:

— Гы... а дурак-то... сам... сам автор!

Да, с ними шутить нельзя!..

Но потом — это-то еще бы ничего! — потом я встретил такую разновидность этой милой породы, что крепко задумался. Я встретил «злого» дурака! О, читатель, бойся злого дурака! Злой дурак не чета другим. Злой дурак гордится не тем, что он женат, а тем, что он — гений. Он видит, что кругом него рукава жуют, а он не жует и понимает, что он среди других — гений. Думают так же и многие посторонние. Да и в самом деле! — посмотри, какой иронией светятся свиные глазки этого гения под наплывшим лбом.

Однако этот тип заставил меня обратить внимание уже ⟨на⟩ негодяев.

Ты знаешь их, читатель; ты знаешь, конечно, и простых негодяев, и негодяев «честных», тех рыцарей чести, каждый из которых зарежет тебя, если ты украдешь копеечную булку, и убьет тебя на улице, если увидит, что ты невежливо посторонился от дамы, после чего пойдет гулять в веселое заведение на окраину города... Ты таких знаешь.

Ты посмотри на негодяя новейшего. Это — венец творения.

Какой же он?.. Ах, читатель, я могу сказать о нем только два слова. Его надо видеть. Он делает скверности направо и налево. Но он убежден, что глубина его души, именно глубина — чиста, как лазурь весеннего неба. И главное — это его великий ответ, который он изобрел для всех, когда ему говорят о его «делах». Этот ответ, как все великие вещи, изумительно прост, но так силен (чары какие-то в нем,— право!), что уже все, все верят теперь, что он, этот простой ответ, все и вся, всегда и всюду оправдывает и разъясняет.

— Ты негодяй!..— начинает некто, встречая этого «субъекта с ответом»,— начинает с пеной у рта, кипя благородным негодованием и презрением.

Тут-то и следует «ответ». Негодяй смотрит спокойно, с достоинством, но и загадочно.

— Знаю,— наконец изрекает он.— Знаю отлично все, что я сделал.

— И все-таки?

— И все-таки.

Гробовое молчание и изумление!

Но какая сила, какое загадочное спокойствие в этом ответе! Уж куда, кажется, проще? Но нет, не просто все это.

Этот ответ совершает в тебе целый переворот. Как рассказать его? Не умею. Но знаю, что человек одурачен, вполне одурачен.

— Да, да,— бормочет он.— Он знает...

И вопрошающему начинает чудиться, что в негодяе сидит не одна наглость, а что-то другое, высшее, загадочное.

— Ведь он знает, знает... Почему же?

Вопрошавший в недоумении. А негодяй уже уходит, посвистывая.

Ларчик открывается просто, но...

Но будет! Мне уже кажется, читатель, что где-то там начинается что-то вроде «Сна Татьяны»...

⟨1895⟩

«Орловский вестник», 1895, № 202, 2 августа, в составе цикла «Маленькие сказки И. А. Бунина» (I. «В летний вечер». II. «О милых людях»).

Воспроизведено (с некоторыми неточностями): «Радуга», 1968, № 9.

ПО ДНЕПРУ

Из письма

Предисловие А. Н. Дубовикова

«Многоуважаемый товарищ, очень благодарю вас за честь, за ваше приглашение, с величайшим удовольствием принимаю его, радуюсь возможности посильно выразить свое уважение писателю того народа, искренним другом которого я всегда был»,— писал Бунин в 1913 г. известному западноукраинскому общественному и литературному деятелю Владимиру Гнатюку в ответ на его просьбу принять участие в сборнике, посвященном 40-летию литературной деятельности Ивана Франко [1].

Глубокий интерес к украинской культуре, языку, литературе, народной поэзии, усвоенные еще в молодые годы уважение и любовь к Шевченко (см. настоящ. кн., стр. 299), связи с Б. Д. Гринченко и М. М. Коцюбинским, поэтическая увлеченность природой Украины, любовь к ее людям — все это важные факты биографии Бунина. Мотивы украинского фольклора, пейзаж и быт, картины народной жизни, образы украинских крестьян прочно вошли в творческий мир Бунина, в его поэзию и прозу. Можно сказать, что украинская тема влекла Бунина постоянно. Впервые он обратился к ней еще в начале творческого пути. Свидетельство этому — публикуемый ниже очерк «По Днепру».

В этом очерке отразились свежие впечатления от летней поездки по Украине, о которой Бунин писал И. А. Белоусову 30 сентября 1895 г.: «...летом ездил по Днепру и был в Каменец-Подольске у М. М. Гербановского...» [2] По окончании этого путешествия Бунин в июне приехал к брату Юлию в Полтаву и прожил там около месяца — в это время и был, очевидно, написан очерк «По Днепру», напечатанный в «Полтавских губернских ведомостях» [3].

В литературе о Бунине часто цитируются строки из книги В. Н. Буниной о весенней поездке 1894 г., когда «Иван Алексеевич отправился опять один странствовать то в поезде, то пешком, то на пароходе „Аркадий", на котором он тогда поднялся вверх по Днепру» («Жизнь Бунина», стр. 85). Совпадение этого свидетельства с тем, что известно о поездке 1895 г. по публикуемому очерку (на пароходе, вверх по Днепру), позволяет предположить вполне вероятную ошибку в годе у В. Н. Буниной или у самого Бунина. Трудно допустить, чтобы Бунин два лета подряд совершил поездку по одним и тем же местам, по одному и тому же маршруту. Правда, на протяжении 1890-х годов он трижды путешествовал по Днепру, но ни одна из этих поездок не повторяла других.

Первую из них Бунин совершил в 1890 г. с главной целью — побывать на могиле Шевченко. «На барже с дровами, устроившись за гроши», он отправился тогда из Киева вниз по течению Днепра («Жизнь Бунина», стр. 64). Второй была поездка 1895 г., о которой сказано выше. Третья была предпринята в конце мая 1896 г. по маршруту: Полтава, Кременчуг, далее на пароходе до Екатеринослава, чтобы оттуда спуститься на плоту через Днепровские пороги [4].

Художественным обобщением, в котором были слиты впечатления всех трех путешествий по Днепру, явился рассказ «На „Чайке"», напечатанный в ноябре 1898 г. в петербургском «иллюстрированном журнале для детей школьного возраста» — «Всходы» (№ 21, стлб. 143—164). В основе его сюжета — поездки 1890 г. (путь от Киева на барже с дровами) и 1896 г. (проход через пороги). В описаниях многоводной шири Днепра, его берегов со старинными селами, утонувшими в зеленых садах, живописных лугов и рощ Бунин воспользовался пейзажными зарисовками из очерка «По Днепру» — они были почти полностью перенесены в новый рассказ, но при этом размещены в иной последовательности, соответствующей его сюжету.

В несколько переработанном виде и под новым заглавием («Казацким ходом») рассказ был включен Буниным в его сборник «Стихи и рассказы» (М., 1900)[5]. Помимо

ряда мелких исправлений Бунин исключил из новой редакции рассказа следующи размышления по поводу последней встречи Шевченко на его родине с сестрой (опущен ные строки заключены в квадратные скобки):

«Он даже побывал перед смертью на этих горах и трогательно делился своим заветными мечтами с горячо любимою сестрою. Но увы! [Чем могла помочь она сво му усталому грустному брату, великому человеку, которому, однако, негде было пр клонить головы? Она сама была несчастная, замученная горем раба,— крепостная. А сам поэт... В детстве он, говорят, ушел раз в степь искать „конец света", и его н шли и привезли домой только случайно... Где же ему было нажить свой угол? Кто детстве уходит искать „конец света", тот уже никогда не сумеет найти дорогу к блага жизни. И Тарас до могилы остался одиноким бедняком. Уезжая в Петербург посл встречи с сестрою, он мог оставить ей,— может быть, с навернувшимися слезами,- только рублевую бумажку...] И покой и приют от скитаний и горестей ему сужде было найти лишь в могиле!»

[1] «Радянське літературознавство», 1957, № 4, стр. 135.

[2] «Проблемы реализма», стр. 168.

[3] С конца 1894 г. Бунин не только сотрудничал в «Полтавских губернских ведом стях», но и входил вместе с братом в состав редакции неофициальной части этой газет (см. настоящ. том, кн. 2, стр. 238). В течение почти года, пока газета фактически нах дилась в распоряжении земской интеллигенции, Бунин напечатал в ней три перев денных им отрывка из «Песни о Гайавате» Лонгфелло (1894, № 92, 30 ноября; 189 № 106, 20 мая и № 169, 6 августа). Все они были подписаны инициалами: А. Л. Таким же инициалами была подписана в газете и рецензия на книгу: «Иван Сергеевич Аксак в его письмах, часть первая, том третий. Письма 1851—1860 гг. Поездка в Малоросси и проч.». М., 1892 (1895, № 203, 21 октября), что дает право считать ее автором тож Бунина. В рецензии с большим сочувствием приводятся обширные выдержки из писе И. С. Аксакова к родным, которые он писал во время «поездки в Малороссию» и в к торых выражал свое восхищение природой Украины, ее песнями и т. д.

[4] В. Н. Бунина приводит относящуюся к этой поездке запись Бунина: «Днепро ские пороги, по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года. 31 мая Ек теринослав. Потемкинский сад, где провел с час, потом за город, где под Екатеринос вом на пологом берегу Днепра Лоцманская Каменка ⟨...⟩ Дальше Хортица, а за Хорт цей — пороги: первый самый опасный — Неясытец, или Ненасытец; потом тож опасные: Дед* и Волнич; за Волничем в четырех верстах последний опасный — Б дило, за Будилом — Лишний; через пять верст — Вильный и, наконец, Явленны («Жизнь Бунина», стр. 97).

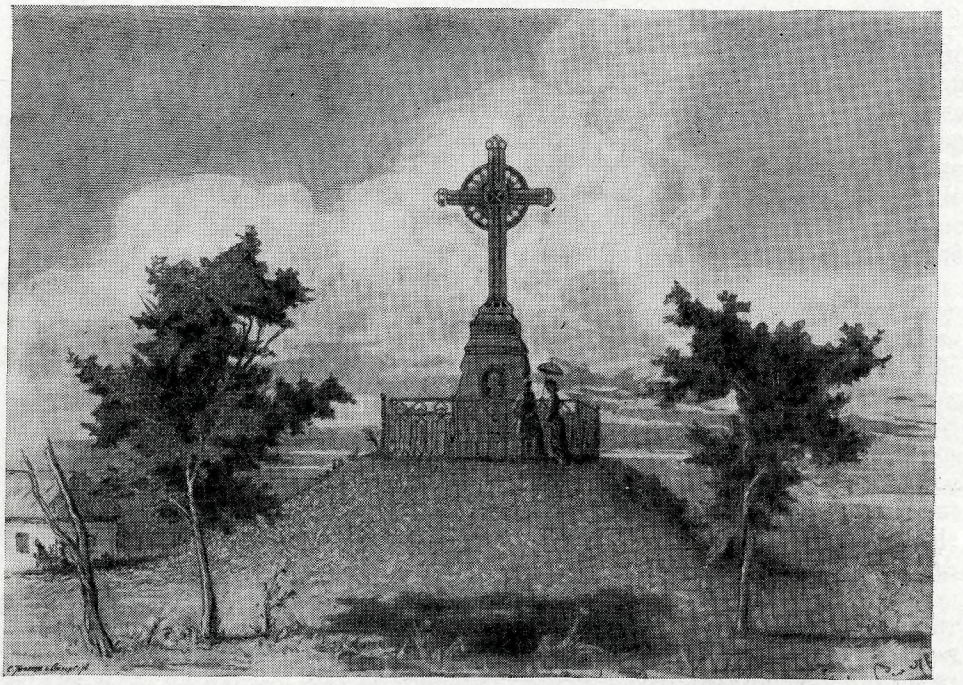
[5] Этот текст воспроизведен в Собр. соч. 1965—1967, т. 2, стр. 426—437.

...Я очень люблю первые дни июня — почти всегда в это время стои чудная погода. За весь год не бывает таких веселых, таких светлых, знойны дней, никогда не дышит природа такой полнотой счастья и жизнерадос ности... И порой я готов умереть от солнечного удара, лишь бы провест этот долгий-долгий июньский день в открытой степи,— идти по горяче пыли степной дороги, пробираться по межам, утонувшим в неподвижны ржах, овсах и пшеницах, где стоит и, как от костра, пышет в лицо сухо жар и душно пахнет степной растительностью — нагретыми цветами травами, и все эти травы наполнены горячечным шепотом и треском кузн чиков, и над головою звенит и звенит воздушная музыка — тысячи ди кантовых оркестров насекомых, неумолчно поющих эту радостную мог чую жизнь июньского степного дня, эти бесконечные синие дали, млеющи в ослепительном блеске солнца.

А на Днепре в такие дни еще веселее... И мне теперь кажется, что я пр жил эти сутки моего пути до Киева по Днепру — во сне, так хорошо м было все время.

Утром от широкого лона реки, от ее неоглядных берегов, от синеющи прибрежных лесов веяло такою здоровою свежестью, такою ароматно влагою — крепким запахом дубовой зелени, еще недавно вышедшей и

* Неточность: «Дід» — одно из названий порога Ненасытец.



МОГИЛА Т. Г. ШЕВЧЕНКО В КАНЕВЕ
Гравюра с рисунка А. Сластиона, 1885
Центральный исторический архив, Ленинград

под воды, что с каждым вздохом чувствовалось, как прибавляется во всем организме молодости и крепости. Плавно и свободно шел пароход, а навстречу ему как бы двигалась вся эта ширь многоводной реки, проходили зеленые рощи островов, там и сям тяжело плыли огромные плоты а на них суетились люди, раздавались бойкие крики, говор и песни... Было людно и весело и на пароходе...

К полудню вся картина как бы замерла в неподвижном знойном воздухе. Воздух, казалось, был так же горяч, как горячий сипящий пар, который, как расплавленное стекло, чуть дрожал над широким жерлом черной пароходной трубы. Замер светло-стальной Днепр, оцепенели окрестные пейзажи, далекие деревушки и тополя, бледно-синеватые силуэты гор за низменными широкими берегами... Ослепительно блестели песчаные полосы мелей, и казалось, что это неподвижно желтеют вдали полосы спелых ржей. Пароход, проплывая мимо них, замедлял ход, и тогда замолкало даже сипение пара, и еще более затихало все кругом под палящими лучами солнца. Палуба была пуста. И только заунывно и странно долетал до нее с носа как бы отдаленный, долгий и монотонный возглас матроса, измеряющего глубину реки...

А в каюте по белому глянцевитому потолку весь день с неуловимой плавностью бежали светлые отражения реки, в открытые окошечки тянуло прохладой, пахло водою и рыбой, а под самыми подоконниками весь день шумели, клубились и рассыпались жемчужными водометами прозрачные массы днепровских волн, так неустанно и ровно бегущие и волнующиеся, что, глядя на них, голова слегка кружилась.

И медленно и спокойно протекал этот безмятежный, светлый летний день...

...За Черкасами Днепр становится уже не таким мелководно широким и спокойным. Он разливается могущественнее и полнее, горы правого берега подходят к нему ближе, и от этих гор, вершины которых походят на степные курганы и могилы, и от самого Днепра больше веет стариной. Кажется иногда, что это Днепр не теперешней мирной Малороссии, а Днепр времен «Страшной мести», Днепр могучего и вольного прошлого старой Украины. Так, по крайней мере, чувствовалось мне и — смешно сказать!— стоя на палубе, я уже искал глазами того места, где когда-то среди гор белел приднепровский хутор пана Данилы...

Увы, бог его знает, где это жил пан Данило! Теперь по горам на фоне неба рисуются только звездообразные крылья бесчисленных ветряных мельничек... Грозные были давно отошли в вечность — только от могилообразных вершин гор на минуту повеяло ими — и мирно все было кругом в этом благословенном краю в мирный летний вечер!

А вечер наступал поистине дивный!

После горячего дневного зноя дышалось свободней, и на палубе собралось много народу. Но разговоры шли сдержанные, все притихли, как будто не хотели смущать светлого настроения и тишины этого ясного вечера. Но все же было лучше быть в одиночестве, и я отошел на переднюю часть палубы... Я ждал...

Был один из тех вечеров, которые так любят ласточки, вечер, когда им так привольно уноситься в ясное небо или скользить над зеркальными водами, быстро задевать их острым крылышком и снова с безотчетно-радостным щебетаньем тонуть в чистом воздухе,—вечер, полный идеальной, гармоничной красоты.

Все самые нежные краски — от пепельно-розовой до пурпурно-золотистой, все самые легкие тоны вечерней зари воспринимала неподвижная, широкая, как озеро, поверхность Днепра; даже странно было чувствовать, что мы плывем по ней,— так картинна и спокойна была она... А плыли мы уже за Секирной, в тех местах, где правый берег после гор на несколько верст в ширину и длину расстилается в широкую, низменную равнину. То были луга, заливные луга, не наши великорусские, от которых веет всегда пустынностью, а украинские живописные луга, по которым то зеленеют рощи, то одиноко идут среди сенокосов кудрявые деревья, красивые и картинно сокращенные, как на рисованных пейзажах. Может быть, летний вечер или мое настроение, настроение человека из других краев, опоэтизировали эти места, но только мне казалось, что именно эти места — настоящие украинские, такие, какими я рисовал их себе с детства, со всей поэзией и мечтательной красотой южной природы, милого образа украинской девушки и тоскующих, сладостных песен. И я глядел в вечереющую даль этих заливных лугов, сердцем чуял и рисовал себе там, в дали, этот образ — карие очи, тонкие черты нежно-смуглого личика, девственно-белоснежную сорочку и цветную плахту над стройными, загорелыми ножками, почти слышал девический голос около белой хатки — эти звонкие песни по вечерней заре... Вспоминал и те могилообразные горы, от которых пахнуло на меня старыми былями и думами, и ждал... Ждал увидеть вечное пристанище того, кто так горячо любил все это,— «край веселый, степ широкий»[1], ясные зори и тихие воды своей родины!

И могила великого поэта, тот высокий горный кряж над Днепром, где он покоится вечным сном, уже рисовался впереди, как смутно-лиловая точка на золотистом фоне запада. Но до Канева было еще далеко. И всю зорю видели мы темные очертания этих гор за безбрежным зеркалом Днепра...

Уже поздно вечером подходили мы к ним.

Стемнело, на мачту подняли фонарь, и палуба опустела. Стало холодно слегка туманно, и, оглядываясь назад, к востоку, я видел совсем морскую картину.

Теперь уже не видно было очертаний берегов, синий Днепр слился с мутной синевой темной южной ночи. Ночной ветер разводил большую зыбь; Днепр волновался, и казалось, что вся эта туманная синева Днепра и ночи клубится и дышит холодом морской дали; зыбко переливались там, вдали, бледно-зеленые огни уже невидимого парохода, который мы встретили... Наконец, потонули в этом холодном хаосе и они...

А спереди, заслоняя еще брезживший свет заката, надвигались на нас высокие горы. Я ждал, что на самом высоком пункте черных гор, на бледном фоне зари, я увижу, как простертые руки, высокое распятие. Но нет, могила Шевченко находится ниже, на полугоре. Великий поэт почивает скромно... И я старался разглядеть в темноте эту могилу и не мог. Только чувствовал ее близость. Горы надвигались все ближе и ближе, черный мрак как бы плыл от них... У меня захолонуло сердце, когда мы, наконец, прошли под самыми горами, и пахнуло, так близко пахнуло величавым угрюмым молчанием, вечным покоем этого великого места... Холодом и мраком закрылась в эту ночь могила поэта...

Почти всю ночь я без сна лежал в темной каюте. Как в гробу, было темно в ней.. Я был взволнован... И этот мрак, и ровное покачиванье — казалось мне, что я в могиле и вся земля тихо качается,— и этот ровный-ровный, однообразный шорох, непрестанный шорох, плеск и шум днепровских волн, бегущих у изголовья,— еще более странно настраивали и волновали меня...

Там, на горах, над угрюмым Днепром, в темноте глубокой ночи могила молчала вечным молчанием!..

Вечный покой тебе, великое сердце!..

‹1895›

«Полтавские губернские ведомости» (часть неофициальная), 1895, № 142, 5 июля. Подпись: Ив. Бунин. Воспроизведено (с отдельными неточностями): «Дон», 1965, № 8.

[1] Строка из украинской народной песни «Зібралися всі бурлаки...»

МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ

I. В ПОГОДУ

Перед вечером надвинулись тучи, налетел в потемневшем воздухе вихрь и зашумел проливной дождь.

Но на закате снова внезапно ударили сквозь тучу ослепительные стрелы солнца и ливень засверкал и затрепетал в их золотистом блеске... Потом туча медленно растаяла и засинело голубое, ясное небо.

Дождь перестал.

Зелень дышала яркая, молодая, обновленная. Весело защебетали птицы. Ласточки, упиваясь безотчетной радостью, тонули в чистом воздухе. И солнце догорало тихо и безмятежно. Наступила заря, вся напоенная свежестью и благоуханием. Отражая ее переливы, как зеркало, стоял затон реки у подножия старого парка. В прозрачном вечернем воздухе купались вершины столетних деревьев, а тополи замирали среди них зелеными обелисками... И всем было хорошо в этот теплый летний вечер.

Гибкая и упругая змея выползла из-под корня и беспомощно развила свои кольца. Ее еще пригревало солнце, сквозившее на сухую, усыпанную коричневой хвоей тропинку между стволами елей. И тихо пошевеливая хвостом, змея почти с умилением думала:

— Ах, как хорошо жить на свете! И как мало еще умеют у нас ценить природу! Право, одна я изящна среди всех этих скучных обитателей парка, одна я умею тонко и изящно чувствовать. Говорят, я коварна и безжалостна... Что ж, с точки зрения буржуазной морали и добродетели они правы... Но я горжусь этим! Только мне доступна сладость утонченных наслаждений, только во мне их вкус и благородные страсти!

Жаба сидела на безобразном водяном пне, на корнях затонувшей ракиты. Вся она отражалась в зеркальной воде, всю ее обнимала теплая влага реки. И к этому наслаждению присоединялось еще чувство сытости. Под ней синела глубина отраженных небес — чистый и ясный лик природы,— под ней светились розовые краски заката, но дело было не в них, а в ней самой, в жабе, и, прикрывая глаза, жаба думала:

— В сущности, одна я благоразумна, никому не желаю зла и умею ценить природу. Зачем лицемерить перед собой? Я недаром пользуюсь почетом, я недаром представительна и богата. Есть, конечно, низкие душонки, завидующие мне, злословящие меня, но это всегда так бывало. Зависть на все способна. А в чем же, собственно, меня можно упрекнуть? И может ли тот, кто так чувствует, кто так добр и благожелателен ко всем, быть дурен?

Улитка лежала в траве и наслаждалась сыростью. Ей было тоже хорошо, очень хорошо!

—Говорят, что я скрытная, угрюмая, неподвижная,— думала она.— Не отрицаю,— я скрытна, но это удел всех глубоких натур. Я неподвижна,— но, позвольте спросить, куда, собственно, спешить-то? «Вперед, вперед!» — а куда вперед — неизвестно. И главное — зачем? Людей, подобных мне, тоже презрительно называют «людьми в футляре», и так далее, но что же из этого остроумия следует? Почему футляр так плох? Да и неправда,— в хорошую погоду и в безопасном месте и я вовсе не прочь погулять, полюбоваться — и все такое...

— Да,— прибавила она после некоторого размышления,— моя скрытность и есть именно признак глубокой, благонамеренной натуры.

— Совершенно верно! — крикнула ей с сухого дерева ворона, приготовляясь вздремнуть до рассвета.— Вот и про меня говорят, что я каркаю разные неприятности. Однако же я вот молчу и любуюсь закатом,— значит, все это ложь, бессовестная ложь!

Водяная лилия наклоняла свою нежную головку, отражаясь в воде. У нее было тоже тонкое и хорошее настроение. Но она не думала, что она благородная натура. Мимо нее проходили люди, любовались ее серебристым венчиком, стрекозы пели ей звонкие и страстные песни... Но она цвела стыдливой, задумчивой красотой, она любовалась не собой, а серебристым серпиком молодой луны, показавшейся над парком, алыми пятнами заката, сквозившими за ельником, зелеными камышами, дремавшими вокруг нее...

Скептик жук угрюмо гудел, перелетая по прибрежной аллее и порой опускаясь на землю. Он ко всему прислушивался, он все замечал, долго наблюдал и приглядывался ко всему окружающему с холодным, и, как он думал, беспристрастным спокойствием. И когда все замолкло и уже стало задремывать, улыбнулся хмуро и презрительно и с расстановкой промолвил:

— Так, так! Очень, очень приятно послушать вас, друзья мои! Как вы все прекрасны, как вы тонко чувствуете, как умно и добродушно рассуждаете! Что это сталось сегодня с вами? Не скажете ли еще чего-нибудь?

РИСУНОК А. М. ВАСНЕЦОВА В АЛЬБОМЕ, ПОДАРЕННОМ БУНИНУ ЧЛЕНАМИ «СРЕДЫ» ПО СЛУЧАЮ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тушь, перо, 1912

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Он помолчал и снова заговорил уже с легким раздражением:

— Да-с, все обстоит как нельзя лучше! Добродетельней и умней нас, право, трудно сыскать! Что ж! Вечер великолепный, воздух тепел, ночь будет ясная и тихая... Отчего ж не порассуждать. И накушались мы ко всему этому исправно... Вот только лилия что-то молчит? Ах, друзья, неприятное это, в сущности, соседство. И ведь заметьте, она всегда такая... Правда, недалека она немного,— ну, да что ж делать! Все-таки не выигрываем мы в соседстве с ней,— ох, не выигрываем.

И жук долго-долго говорил на эту тему.

Он бичевал и себя. Он никого не жалел. Ничто не скрывалось от его проницательности и трезвости. Но увы! уж больно щедро награждал он себя за самобичевание. Он положительно смаковал каждое свое слово.

И если бы он решился до конца быть искренним, то он непременно должен был бы еще кое-что прибавить, например, нечто в таком роде:

— Эх, и умница я, в сущности! Ведь я положительно насквозь вижу всех, ведь, собственно говоря, каждое мое слово — золото. И, боже мой! мне приходится тратить все это на совершеннейших глупцов... Где же, наконец, справедливость? Где?

‹1895—1901›

II. ТРИ ПРОСЬБЫ

—Расскажите что-нибудь, Илья Абрамыч! — сказал я, ложась на теплый золотистый песок, когда мы добрались, наконец, по гремящему под ногами гравию до хорошего местечка на Алупкинском побережье.

Илья Абрамыч, маленький, толстенький караим, с загорелым лицом и веселыми глазами, сдвинул шляпу на затылок и, по обыкновению, ответил не сразу. Он только хитро улыбнулся, раздумывая о чем-то, что, очевидно, знал только он один, и вынул из кармана пиджака бутылку вина.

— Це, це, це!— сказал он, покручивая головой.— А в вине-то пробочка! Хотите? — прибавил он, держа бутылку наготове.

— Да, ведь, пробка! — ответил я нерешительно.

— Пробка,— согласился Илья Абрамыч.— Но знаете турецкую пословицу? «Дурак тот, кто бросает одеяло в огонь из-за одной блохи!»

И он лихо закинул голову назад, приставив бутылку ко рту.

Мимо нас проходили две девушки с соседних дач, англичанки, с огромной собакой, которую они купали по нескольку раз. Потом с трудом протащился по песку молодой, очевидно московский, купчик, уже полный и с одышкой, но добродушный, как хорошо упитанный теленок. И всех их Илья Абрамыч проводил веселыми, ласковыми и хитрыми в то же время глазами.

— Ну, —сказал он, внезапно оборачиваясь ко мне,— расскажу вам восточную сказку о том, о чем вы теперь думаете,— о женщинах.

Я засмеялся.

— Почему же вы замечаете, что я думаю о женщинах?

— Це! — сказал Илья Абрамыч.— Всё на свете думает только о женщинах и всё на свете для них. И всё, всё, ну, совсем всё мы тратим на них. Вот слушайте.

Он поджал ноги калачиком, положил шляпу на песок и, прикрыв глаза, начал:

«Жил-был на свете один турок, хороший, честный турок, и был он так беден, что все его добро составляла только одна жена. Трудится турок, работает самые тяжелые работы и все не может выбиться из бедности. Все идет на пищу, а что остается — на подарки жене. А жену-то он сильно любил и стыдно ему было дарить ей бедные подарки. И запечалился турок. Сидит на пороге своей избушки и вздыхает вместе с женой.

— Алла, Алла! Видишь сам, как я работаю, и никогда-то ты не исполнишь ни одной моей просьбы! Никогда-то не знал я счастья и, верно, так и умру, обойденный твоей справедливостью!

А в это время проходил по деревне пророк. Подошел он к порогу турка, услыхал его жалобы и покачал головой.

— Ах,— говорит,— добрый человек, напрасно ты сетуешь на Аллаха! Не годишься ты для счастья!

— Как? — говорит турок.— Это я-то не гожусь, я, который чуть не у груди матери уже умел работать?

— Нет, — говорит пророк,— не годишься. Очень уж ты любишь жену.

Турок, знаете, даже рассердился.

— Жену люблю? Ну, так что ж? У меня и так никогда не бывало счастья в гостях, а ты еще и с женой меня хочешь поссорить?

— Напротив! — отвечает пророк, а сам этак хитро улыбается.— Я,— говорит,— пришел, чтобы помочь тебе.

— Благослови тебя бог,— говорит турок,— помоги, поскорее помоги, я, признаться, еще не ел сегодня.

— Ну, так слушай,— говорит пророк,— Аллах посылает тебе счастье. Он решил исполнить твои три просьбы. Проси о чем хочешь — все будет

исполнено. Это ли не счастье? А мы посмотрим, как ты распорядишься с своим счастьем.

И пропал. Понимаете, сказал пророк эти слова и исчез.

Боже мой! Как радовался весь вечер турок с женой!

— Ну, говорит,— заживем мы с тобой, жена!

А жена прикинулась этакой овечкой и умоляет:

— Подари мне одну просьбу!

— Согласен,— говорит турок,— я и на две остальные буду счастлив до самой смерти.

Глядь, а жена уж стоит перед ним такой красавицей, каких и во сне не увидишь.

— Что? —говорит,— хороша я? Я уж употребила в дело свою просьбу. А теперь,— говорит,— прощай. Я иду к Ибрагим-Гассану, он лучше тебя, а богат так, что ему и просить не о чем Аллаха. Теперь меня сам султан возьмет.

У турка даже в глазах помутилось от такой штуки. Как зарычит он, да как бросится на жену!

— О, Аллах! — кричит,— молю тебя, преврати ее в самую злую и безобразную жабу!

Трах — и стоит перед ним уж не красавица, а такая, как говорят у вас, Баба-Яга, что смотреть жутко! И разыгравши такую историю, стоят муж с женой и глядят друг на друга.

— Повелитель мой,— говорит жена,— вспомни прежнее, вспомни, как я любила тебя!..

Упала на колени, зарыдала в три ручья и умоляет:

— Преврати меня в прежнюю!

Не выдержал турок, вспомнил прежнее, и говорит сквозь слезы:

— Заклинаю тебя, Алла, возврати мне прежнюю жену!

И вдруг, откуда ни возьмись,— пророк.

— Аллах исполнил твою просьбу,— говорит, коснулся Бабы-Яги рукой, и стала жена турка прежняя.

— Ну,— говорит пророк,— доволен ты теперь?

— Доволен,— говорит турок и не знает, куда глаза девать от стыда.

— Распорядился ты своим счастьем? — спрашивает пророк.

А турок только рукой махнул.

— Прав ты,— говорит,— прав, святой пророк. Все ушло на женщину! И будь проклят час, когда я связался с ней!»

— Хороша сказка? — прибавил Илья Абрамыч, заглядывая мне в глаза.

Я отвернулся и засмеялся. К сожалению, я в эту пору сам похож был на турка из сказки.

И мы долго лежали молча на песке. «О, милая, тонкая и наивная восточная мудрость!» — думал я, поглядывая на алеющий при закате Ай-Петри. А Илья Абрамыч делал вид, что он забыл о сказке, и причмокивал, потягивая из бутылки.

— Доброе, доброе вино! — говорил он.— О, дурак тот, кто бросает из-за одной блохи целое одеяло в огонь!

‹1901›

«Курьер», М., 1901, № 172, 24 июня. Подпись: И. Бунин. Ранняя редакция первого рассказа, существенно отличающаяся от окончательной, была напечатана автором дважды, под заглавием «В летний вечер»: 1) «Орловский вестник», 1895, № 202, 2 августа, в составе цикла «Маленькие сказки»: I. «В летний вечер». II. «О милых людях»; 2) «Южное обозрение», 1898, № 589, 19 сентября; та же ранняя редакция воспроизведена в журн. «Москва», 1970, № 10.

НОЧНАЯ ПТИЦА

В лесу стояли сумерки, а лес тянулся на много верст вокруг нас, молчаливый и темнеющий, и казалось, что весь этот лесной край погружен в грустное и спокойное молчание медленно приближающейся ночи.

Утомленные долгой вечерней прогулкой, мы молча шли по глухим тропинкам под навесами берез и елей, а зыбкий полусвет, сохранившийся от заката, на глазах у нас таял. Мелкое болотистое озеро, по краям которого мы проходили, еще белело меж деревьев, но оно было тускло и так же печально, как и всё в лесу, в ожидании ночного ненастья. Надвигались тучи, незаметно сливаясь с темнотою; теплый, сонный воздух был напоен пряным ароматом болотных трав и хвои, светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шепот кузнечиков... Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен и, уже с трудом различая в полусвете дорогу, пошли по глубокому песку и корням деревьев к поляне. Успокоенные долгим вечерним молчанием, счастьем, которое давно ничем не нарушалось, мы молчали и, казалось, были не нужны друг другу.

И вдруг, с резким шуршаньем в сухой перепутанной хвое, из лесу выскочила большая головастая птица и, как призрак чего-то мрачного, взвилась перед нами на широких крыльях, беззвучно описала над поляной дугу и, зашуршав, потонула в чаще. Даже не вскрикнув, ты метнулась от нее в сторону, и, инстинктивно охватив тебя рукою, я почувствовал, как быстро затрепетало у тебя сердце. А в глазах твоих блеснула робкая улыбка сквозь слезы, и они засияли такой красотой, какой я еще никогда не видал в них даже в минуты счастья!

Темный, высокий лес и глухая поляна, над которой шарахнулась птица, точно по волшебству изменились для меня в это мгновение. Лес сразу стал враждебным и строгим, в сердце кольнуло предчувствие горя; тишина надвигающейся ночи, таящая в себе ненастье, показалась мне зловещей, но зато как обострилось мое зрение, как оживились мои силы и как крепко сжал я твою руку, уходя по лесам к дому! И я чувствовал, что и твое сердце радостно бьется близостью ко мне и что у нас еще есть надежная защита от зловещих призраков ночи!

‹1902›

«Журнал для всех», 1902, № 12, стлб. 1451—1452. Подпись: Ив. Бунин.

Картину ночного леса из этой лирической миниатюры и образ ночной птицы, взвившейся над глухой поляной, Бунин включил в 1909 г. (с некоторыми изменениями) в рассказ «Старая песня», позднее получивший новое заглавие: «Маленький роман» (Собр. соч. 1965—1967, т. 2, стр. 333—334 и 521—522).

ДЕСЯТОГО СЕНТЯБРЯ

Почти все дачи были уже пусты, шло начало сентября, на сад, на желтые клены то и дело шумно сыпал крупный дождь, всё сквозь солнце и быстро стихавший. Отец и мать говорили, что пора возвращаться в Москву,— она отвечала холодно и небрежно:

— Ступайте хоть завтра. Я раньше десятого не поеду.

По целым дням она лежала на диванчике, в комнате рядом с гостиной, с шалью на плечах, с книгой в руке, то бессознательно читая, то упорно глядя своими красивыми коровьими глазами на желтизну сада за окнами. Мягкая коса заплетена кое-как, слегка опухшее лицо бледно. Дни в молчаливом доме, где жили только отец, мать, старая нянька и молодой лакей, шли медленно, однообразно, и так же медленно и однообразно шли в ней все одни и те же чувства, мысли, воспоминания — о том постыдном, что случилось с ней летом и казалось ей самым значительным в мире. Порой

она мрачно-насмешливо ухмылялась, подбирая ноги, одергивала подол: да, если бы кто знал, глядя на эту серую юбку, то, чего вот-вот уже не скроешь?

Масальский каждый день заходил часа в четыре. Вот слышно, как он бодро говорит в лакейской:

— Здравствуйте, Сергей. Дома?

— Князь с княгиней только что вышли на прогулку.

— А княжна?

— Дома-с.

Потом шаги в гостиной и притворно простой голос:

— Княжна, можно к вам?

Ей казалось, что он знает дачные сплетни о ней, то, что она брошена, обманута и даже то, что недаром решила не возвращаться в Москву до десятого сентября: догадывается, что она назначила на этот день последнее ожидание ответа на все ее безответные письма в лагерь под Петербургом и в Петербург. Но приход Масальского все-таки доставлял удовольствие,— он давно был тайно влюблен в нее, был с ней неловко весел, над ним можно было издеваться, и она медленно отзывалась:

— Милости просим.

Он весело входил:

— Здравствуйте, княжна. Чудная погода, а вы все с книжками!

Она презрительно пожимала плечом.

— А вы всегда с одними и теми же фразами. И не вижу ничего чудесного в том, что льет с утра до вечера.

— Да ведь льет с антрактами,— грибной дождь, как говорит ваша нянюшка... И очень хорошо, что вы не уезжаете.

— И совсем нехорошо, что вы тоже не уезжаете. Почему, позвольте спросить?

Он садился в кресло возле диванчика, глядел на ее поджатые ноги,— подозрительно, как ей казалось,— и шутя повторял ее слова:

— Я раньше десятого не поеду.

— Не остроумно,— брезгливо говорила она.

Раз он сказал (тоже с легкой усмешкой):

— Не помню, чьи это стихи: «Как идет к вам эта бледность, этих дней осенних бедность!»

Она подняла на него свои коровьи глаза и спокойно ответила:

— Как идет к вам ваша глупость! Прошу вас и даже требую: не соваться десятого со своими услугами при нашем отъезде.

Десятого он уехал в Москву утром. А перед вечером, когда старенький, маленький князь и рослая большеликая княгиня, уже одетые, с зонтиками в руках, сидели в опустевшем доме, из которого выносили последнюю мебель, когда они покорно ждали выхода дочери, за домом кто-то вдруг радостно закричал что-то, потом с топотом пробежали мимо окон в сад мужики, нанятые везти мебель в Москву, а впереди них какой-то резвый босоногий мальчишка...

Из пруда за садом ее вытащили баграми только в сумерки, с трудом принесли в дом и положили, мокрую, ледяную, тяжелую, с синим лицом, на голом полу в пустой гостиной, темно освещенной чьей-то кухонной лампочкой.

Ночью шел уже ровный, затяжной осенний дождь.

Москва, 1903 г.

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1961 г. в Нью-Йорке (с датой: Москва, 1903 г.). Печатается по этому тексту. Воспроизведено: «Литературная Россия», 1966, № 39, с ошибкой в заглавии.

По содержанию и стилю рассказ резко отличается от произведений Бунина, написанных в начале XX в., и очень близок к рассказам из цикла «Темные аллеи», создававшимся в 1940-х годах.

В СТРАНЕ ПРАЩУРОВ

В Коломбо выехал рано утром и занял место в вагоне по левой стороне: так советовал путеводитель; кроме того, справа шел за окнами вагона слишком ослепительный блеск солнца, несмотря на то, что над окнами, как во всех тропических поездах, был навес.

Поезд шел сначала по обработанным равнинам, среди кокосовых пальм и прочих растений, свойственных низменностям острова, среди рисовых нив, минуя иногда маленькие селения. Потом железная дорога стала постепенно подниматься, потом снова спустилась и пошла по долине, страшной своими лихорадками, именуемой Долиной Теней Смерти. Вдали уже виднелись двойные вершины Алагаллы.

Когда переменили обыкновенный паровоз на горный, пересел к окну направо. Дорога пошла среди гор, по их скатам, изгибаясь по обрыву громадной горы, прошла десять туннелей. Видел под ними глубокую долину, за долиной тонущие в солнечном тумане вершины Верблюжьей Горы и Горы Библии. Дальше дорога стала только уступом на гранитной скале Алагаллы, над головокружительной бездной.

Возле Перадении поезд пересек по мосту реку Махавели.

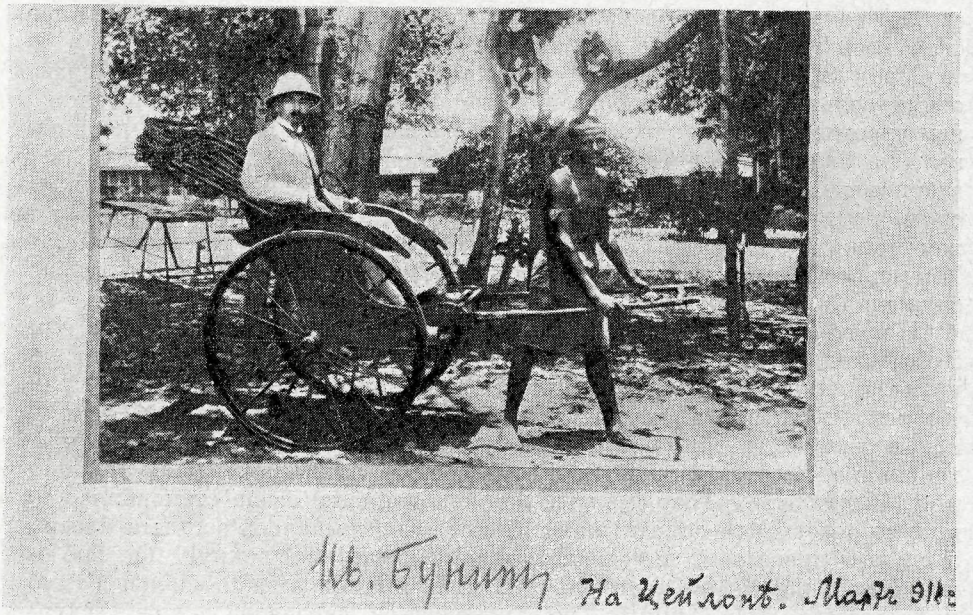
Сад Перадении был в десяти минутах ходьбы от станции.

Там поместился в правительственной гостинице против входа в сад. Это было большое одноэтажное строение с просторной верандой. Белую крышу ее поддерживали грубые деревянные колонны; между колоннами висели горшки с цветами; на деревянном полу веранды всюду были разбросаны большие кресла с далеко выступающими вперед подлокотниками, куда клали ноги все лежащие в этих креслах, на веранду выходили двери четырех комнат.

В гостинице не оказалось ни одного жильца. Свободно выбрал себе одну из этих комнат, очень обширную и высокую, без потолка,— деревянная крутая крыша падала своими откосами не прямо на стены, а на столбики, стоящие вдоль стен, так что воздух всегда мог ходить по комнате. В ней все было просто, прочно, а у стены стояла прочная железная кровать, возле другой — умывальник, между двумя окнами, выходившими на веранду, стоял большой деревянный стол; в одном углу ровно жужжал под крышей электрический вентилятор. С другой стороны к комнате примыкал широкий и грубый бревенчатый коридор: в конце его была большая и все-таки всегда горячая от зноя, душная уборная, где стояло ведро с песком, которым нужно было засыпать жерло отхожего места,— тут же стояла цинковая ванна, в которую слуга должен был натаскивать воду ведрами.

В седьмом часу утра ходил купаться в этой ванне,— она была уже налита, и слуга стоял возле нее, выжидательно и подобострастно улыбаясь, с босыми смуглыми ногами, в белом халате, женственно полный, с волосами по-женски длинными и зачесанными назад, схваченными на темени круглым черепаховым гребнем, блестящим, как вороново крыло. Искупавшись, пил у себя чай,— все тот же и все так же улыбавшийся слуга приносил поднос с чайником, горячим тостом и вареньем-желе. Затем шел в сад. В саду было жарко, роскошно и парно, пахло теплой водой реки, окружавшей его с трех сторон; сад особенно был богат видами лиан, пальм, бамбуков, орхидей и теми особыми растениями, которые питаются пожиранием насекомых. В полдень возвращался к завтраку, ел вареную и безвкусную местную рыбу, жесткое вареное мясо, огненные керри и фрукты.

После завтрака сидел на веранде и читал, положив ноги на подлокотники, в четыре часа пил чай, потом снова шел в сад, к семи возвращался домой, брал ванну и обедал: снова жесткая говядина или австралийская



БУНИН В КОЛОМБО

Фотография, 1911

Внизу автографическая подпись Бунина и его помета: «На Цейлоне. Март 911 г.»; на обороте его же рукой: «Colombo»

Парижский архив Бунина

баранина, какая-нибудь дичь, опять-таки вареная, безвкусная, плоды и сыр. После обеда опять сидел на веранде, пил сода-виски и думал, думал.

Веранда была широка и длинна. Перед ней расстилался зеленый луг, дальше стояла великолепная гуща сада. Быстро темнело, потом на минуту странно, сказочно светлело — и все тонуло в черной теплой темноте. Иногда с громким жужжанием ударялся в грудь громадный жук и гудел, запутавшись в складках легкой белой одежды; плавными точками, потухая и загораясь, плыли в разные стороны зеленые огоньки светящихся мух; бесшумно, с ласковым, чуть слышным гортанным говором проходили сингалезы, низко светя огоньками фонарей возле ног — от змей. А ночью из темноты непрестанно раздавалось короткое чиканье: зажигал спичку и видел скользящего по стене огромного, плоского серо-чешуйчатого хамелеона — на мгновенье мелькал отблеск спички в его глазах с узким кошачьим зрачком. Потушив же спичку, чувствовал, как все существо таяло, растворяясь в этой черной, теплой тьме.

Часто ходил в непролазные леса, окружавшие Перадению. Там, в этих влажных зарослях, так все кишело громадными черными пиявками, что выше колен нужно было обвивать ноги бинтами; по целым часам наблюдал там работу термитов, в непрестанном движении которых сверху донизу чернели их высокие конусообразные домики; наблюдал жизнь «стыдливой» мимозы: как только протягивал руку к ней, она тотчас же быстро складывала свои светло-зеленые перистые листочки, быстро опускала их вниз и прятала между широкими стеблями своими; иногда плавал в пироге по Махавели, быстро крутившейся желтыми клубами.

Город Кенди был в древности столицей сингалезского царства. Он лежит в горной котловине, среди лесистых холмов. Искусственное озеро его имеет две мили в окружности. Кенди брали португальцы и голландцы,

сто лет тому назад его осадили и взяли англичане — и сингалезский царь сжег весь город, так что уцелел лишь священный Храм Зуба.

Храм Зуба — это древние, черные зубцы крепостных стен и низкая осьмиугольная башня с острой крышей. Богослужение совершается в нем утром и вечером, каждый раз в шесть часов. Храм — узкий колонный зал, на задней стене его страшное изображение мучений в аду. Дверь в орнаментах ведет в четвероугольный двор, окруженный колоннами, посреди которого стоит часовня с Зубом Будды. При входе в нее стоят на жертвеннике бронзовые тарелки с густо и сладко благоухающими цветами Храмового Дерева. Здесь же стоят и музыкальные инструменты для богослужения.

Наглядевшись на священные черепки в канале, окружавшем Храм Зуба, входил в Храм. Народ смиренно и быстро нес на жертвенник рис, цветы, мелкие монеты и, кланяясь, шепотом возносил моления Садгу, Доброму, Несравненному, соединял ладони у лба, быстро и бесшумно падал на них, и жрец, стоя среди лежащих, мерно бормотал,— читал тоненькие пальмовые дощечки, исписанные правилами доброго поведения. Выйдя из Храма, смотрел, как неподвижное озеро становилось зеркально-розовым от заката, как оно потом покрывалось золотым блеском, и слушал древесных лягушек, тысячами звеневших вокруг, подобно бесчисленным жестяным колокольчикам. Потом, полулежа, мчался в глубокой темноте ⟨на⟩ рикше по бесконечной сводчатой аллее, ведущей в Перадению, и глядел, как мелькали кругом крохотные лампочки внутри сингалезских лесных хижин.

⟨1911⟩

МКТ. Машинописная копия.

Очевидно, отрывок из путевого дневника, который Бунин вел в 1911 г. во время путешествия на Цейлон (ср. «Воды многие». — Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 313—337 и 528). По содержанию примыкает к рассказу «Третий класс» (первоначальное название «Записная книжка» — там же, стр. 31—33, 512).

В отрывке описана поездка из Анарадхапуры, где Бунин осматривал памятники древней архитектуры (см. там же, стр. 130—138), до Перадении — небольшого городка на пути в Коломбо. Бунин остановился в Перадении, чтобы побывать в одном из самых замечательных ботанических садов Азии и посетить расположенный поблизости город Канди (Кенди) — бывшую столицу сингалезского государства, где сохранилась древнейшая святыня цейлонского буддизма — Храм Зуба Будды.

Впечатления от путешествия по склонам Алагаллы отразились в стихотворении «Цейлон. Гора Алагалла» (там же, т. 1, стр. 372).

БОГИНЯ РАЗУМА

Предисловие А. К. Бабореко

В основу этого рассказа положен исторический эпизод — «Празднество Разума» («La Fête de la Raison»), состоявшееся в Париже 10 ноября 1793 г. По замыслу Пьера Шомета, одного из руководителей левых якобинцев, это торжество должно было символизировать освобождение человеческого разума от пут католической религии.

Празднество началось в Соборе Парижской богоматери, где была разыграна сцена из оперы Госсека «L'Offrande à la Liberté» («Жертвоприношение Свободе»): хор «поклонников свободы» прославлял «Богиню Разума». Затем, в сопровождении торжественной процессии, «Богиня» проследовала в Тюильри, где ее от имени французского народа приветствовали члены Конвента.

«Богиню Разума» изображала актриса Тереза Анжелика Обри (Aubry, 1772—1829), драматическая судьба которой и привлекла внимание Бунина. В рассказе о ней, так же как и в отношении самого празднества, он пользуется работами Ленотра,

который посвятил выдающимся деятелям и событиям Великой французской революции серию исторических очерков, выдержавшую несколько десятков изданий (G. Lenôtre. Paris révolutionnaire. Vieilles maisons, vieux papiers). Один из этих очерков — «La Déesse Raison» («Богиня Разума») — содержит основанный на документальных источниках рассказ о «Празднестве Разума» и судьбе Анжелики Обри.

Бунин высоко ценил Ленотра, считал его «замечательным историком, замечательным писателем» («Возрождение», Париж, 1925, № 71, 12 августа) и неоднократно обращался к его труду как к источнику собственных исторических очерков (например, «Суета сует» — см. Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 465—468, 539). В «Богине Разума» он широко цитирует документы, которые приводит Ленотр (в дальнейшем источник этих цитат специально не оговаривается).

Своего рода лейтмотивом рассказа является стихотворение Беранже «Богиня» («La Déesse»), обращенное к Анжелике Обри. Строки из этого стихотворения, которые вспоминает Бунин на протяжении всего рассказа, подчеркивают не только трагическое несоответствие дальнейшей судьбы героини той минутной славе, которая выпала на ее долю в день «Празднества Разума», но и скептицизм Бунина в отношении роли революционных катаклизмов в общем ходе исторического развития.

Впервые «Богиня Разума» была напечатана в газете «Руль» (Берлин, 1924, № 1098 и 1099, 16 и 17 июля, с авторской датой: «Приморские Альпы, 16.IV.1924»). Вторая публикация — в сб. «Митина любовь» (Париж, 1925), с измененным заглавием («Богиня») и с датой: «16.V.24». Рассказ вошел в Собр. соч. 1934—1936, т. VII; здесь Бунин исключил ряд полемических высказываний на злободневные темы. Впоследствии Бунин трижды правил рассказ, внося исправления в экземпляр седьмого тома (хранится в ГБЛ — 429.2.2): в 1947 г. он внес стилистическую правку; в 1951 г. дополнил ее, и вернулся к прежнему заглавию; окончательно авторизовал текст за два месяца до смерти — в августе 1953 г. Это дает основание предпочесть данный текст тому, который помещен в сб. «Петлистые уши» (Нью-Йорк, 1954). Хотя этот сборник и был подготовлен самим Буниным с учетом описанной выше правки, но он вышел посмертно, без авторской корректуры (текст его содержит несколько опечаток и мелких разночтений с печатаемым нами текстом).

Отрывок (гл. I—VIII) воспроизведен в журн. «Дон», 1968, № 9, под заглавием «Богиня. Из очерка» (без учета авторской правки и без указания на источник).

I

Я записал этот день:
«Париж, 6 февраля 1924 г. Был на могиле Богини Разума».

II

Богиня Разума родилась в Париже, полтора века тому назад, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ее были люди совсем простые, жили очень скромно, даже бедно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой в соединении с редкой грацией, в отрочестве у нее обнаружился точный музыкальный слух и верный, чистый голосок, а в двух шагах от улички Сен-Мартен, где она родилась и росла, находилось нечто сказочно-чудесное, здание Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой девочки рано стали туманить обольстительные мечты, надежды на славную будущность. И случилось так, что мечты и надежды не только не обманули, но даже в некоторых отношениях превзошли ожидания. Тереза Анжелика Обри не только стала артисткой Оперы, не только пела и танцевала на ее сцене рядом с знаменитостями и вызывала восторженные рукоплескания, являясь перед толпой олимпийскими богинями,— то Дианой, то Венерой, то Афиной-Палладой,— но и попала в историю: 10 ноября 1793 года она играла на сцене, которую никогда не могла и вообразить себе,— в соборе Парижской Богоматери, выступала в роли неслыханной и невиданной, в роли Богини Разума, а затем — «après

avoir détrôné la ci-devant Sainte Vierge» * — торжественно была отнесена в Тюильрийский дворец, в Конвент: как живое воплощение нового Божества, обретенного человечеством.

Погребена Богиня на Монмартрском кладбище. Как не взглянуть на такую могилу?

III

Я давно собирался это сделать. Наконец поехал. В солнечный день, уже почти весенний, но довольно пронзительный, с бледно-голубым, кое-где подмазанным небом, я вышел на улицу и спустился в ближайшее метро. Сквозняки, бегущая толпа, длинные коридоры, цветистые рекламы, лестницы все вглубь и вглубь и, наконец, совсем преисподняя, ее влажное банное тепло, вечная ночь и огни, блеск свода, серого, рубчатого, глянцевитого, как брюхо адского змия... Через минуту я уже стоял в людном вагоне, мчался под Парижем и думал о Париже времен Богини Разума и опять — о ее удивительной судьбе, ее удивительном образе.

Современники писали о ней: «Одаренная всеми внешними дарами, какие только может дать природа женщине, она есть живая модель того античного совершенства, которое являют нам памятники искусства; при взгляде на ее стан и очерк ее головы тотчас является мысль о грозной эгиде и шлеме Афины-Паллады, и она особенно на месте в тех ролях, где черты лица, жесты, осанка, поступь должны воссоздавать богинь...» Это писалось, когда ей было уже лет тридцать пять. Можно себе представить, как прекрасна была она в двадцать, в те годы, когда она выходила на сцену в короткой тунике, в легких сандалиях на стройной ноге, с золотым полумесяцем на высокой прическе, с луком в длинных округлых руках,— Дианой Девственницей! Примадонной, дивой Обри никогда не стала; материальное ее положение было незавидно — всего несколько сот ливров в год жалованья да угол в родительском доме; положив за кулисами лук, сняв белила и румяна, сбросив тунику и закрутив волосы простым узлом, она надевала грошовое платьице и бежала домой, дома же хлебала гороховую похлебку и укладывалась спать в чердачной каморке. Но справедливо говорили, что мадемуазель Обри très sage**,— простодушие, милая легкость, нетребовательность всегда отличали ее характер. И вот «народ, разбивший оковы рабства, достойно прославил ее 10 ноября 1793 года», обессмертил «ce chef-d'oeuvre de la Nature»***, как галантно назвал ее Шомет, представляя Конвенту. И много лет после того распевали уличные певцы стихи Беранже о ней:

Est-ce bien vous? Vous que je vis si belle
Quand tout un peuple entourant votre char
Vous saluait du nom de l'immortelle
Dont votre main brandissait l'étendard?
De nos respects, de nos cris d'allégresse,
De votre gloire et de votre beauté
Vous marchiez fière: oui, vous étiez déesse,
Déesse de la Liberté!****

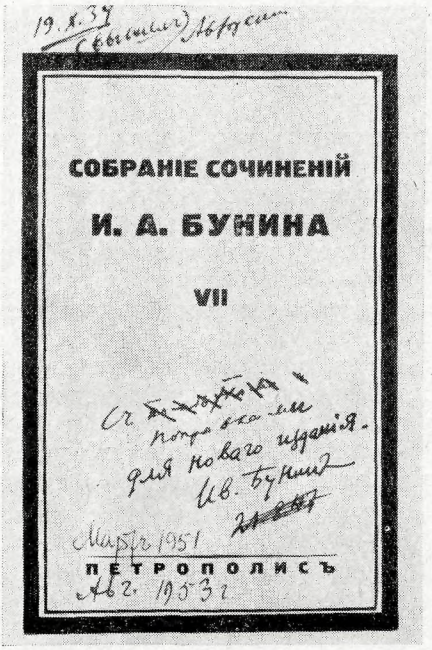
---

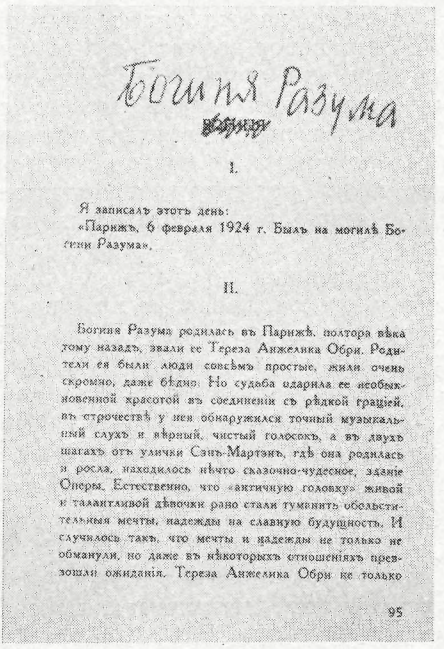
* после того, как была свергнута бывшая святая дева (*франц.*).

** весьма скромна (*франц.*).

*** это чудо природы (*франц.*).

**** Неужели это ты? Ты, которую я видел столь прекрасной, когда толпа, окружив твою колесницу, приветствовала тебя, именуя той бессмертной, чье знамя развевалось в твоих руках? Ты шествовала, гордая нашим преклонением, нашими ликующими возгласами, своим торжеством и своей красотой — да, тогда ты была богиней, Богиня Свободы! (*франц.*— Из стихотворения «Богиня»).





Богиня Разума

I.

Я записалъ этотъ день:
«Парижъ, 6 февраля 1924 г. Былъ на могилѣ Богини Разума».

II.

Богиня Разума родилась въ Парижѣ, полтора вѣка тому назадъ, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ея были люди совсѣмъ простые, жили очень скромно, даже бѣдно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой въ соединеніи съ рѣдкой граціей, въ строчествѣ у нея обнаружился точный музыкальный слухъ и вѣрный, чистый голосокъ, а въ двухъ шагахъ отъ улички Сэнъ-Мартэнъ, гдѣ она родилась и росла, находилось нѣчто сказочно-чудесное, зданіе Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой дѣвочки рано стали туманить обольстительныя мечты, надежды на славную будущность. И случилось такъ, что мечты и надежды не только не обманули, но даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ превзошли ожиданія. Тереза Анжелика Обри не только

95

СЕДЬМОЙ ТОМ «СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И. А. БУНИНА» (БЕРЛИН, 1934). ЭКЗЕМПЛЯР С АВТОРСКОЙ ПРАВКОЙ

Обложка и страница с началом очерка «Богиня Разума». На обложке пометы Бунина: «*19.X.34* (вышел). Авторский»; «С [пометами и] поправками для нового издания. Ив. Бунин. [21.8.47]»; «Март 1951 г.»; «Авг. 1953 г.»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

IV

Возле Оперы я вышел на свет божий. Добродетельные греки были правы: небо, солнце, воздух — высшая радость смертных, трижды несчастны тени, населяющие широковратное царство Гадеса. Бедная Тереза Анжелика Обри, бедная Богиня Разума! Как бы это получше уяснить себе разумом, почему и за что уже сто лет гниет в земле «ce chef-d'oeuvre de la Nature»?

Солнце, все-таки еще зимнее, уже склонялось, был самый людный час, и несметное множество народа и экипажей затопляло площадь в его зеленоватом жидком блеске. Пешеходы бежали, автомобили и омнибусы медленно текли страшной ревущей лавиной. Я поймал свободный автомобиль, вскочил и поехал дальше. Из одного длинного и узкого уличного пролета глянул на меня с высоты Монмартра бледный восточный призрак собора Sacré-Coeur...

V

В автомобиле я добросовестно постарался вспомнить возможно подробнее и представить себе возможно яснее все, что знал о 10 ноября 1793 года.

Какой был тогда Париж? Бог его знает, какой, слабо наше воображение, не велик разум. Ну, конечно, был Париж уже и тогда огромным городом, со множеством садов и поместий, с прекрасными зданиями, но и с лачугами, с лужами и грязью даже на площадях, с грубыми средневековыми мостами через патриархальную Сену... Левый берег вообразить лег-

че,— столько еще сохранилось там прежних узких улиц и узких нелепых домов. Зато собор все тот же. Как странно,— все тот же, как тогда, когда стояла под его сводами, на бутафорских скалах, возле Храма Премудрости, прелестная Тереза Анжелика Обри!

И на мгновение я довольно живо почувствовал душу Парижа в те годы, тот развал жизни, то нечто бездельное, праздничное и жуткое, то владычество черни, которым веет в воздухе во времена всех революций. И был сырой осенний день с сильным холодным ветром, сменившим ночной проливной дождь, и всюду — на мостах, в уличках, ведущих к собору, и особенно на площади перед ним и в нем самом,— было великое, как бы ярмарочное многолюдство, и поминутно раздавался над городом грохот пушек, салютующих коронованию Нового Божества. А Новое Божество стояло под сводами собора, «dans cet édifice ci-devant dit église métropolita ine» * на скалистой горе, возле белоколонного храма, в красной шапочке, в белой хламиде, опоясанной пурпуровой лентой, с копьем в руке, и два хора — «des adorateurs de la Liberté» ** — тоже во всем белом, в венках из роз, возжигали перед ней ароматы, воздавали ей поклонения и протягивали к ней обнаженные руки:

Descends, ô Liberté, fille de la Nature! *** —

а густая толпа «патриотов», переполнявшая собор, ревела и рукоплескала...

VI

Монмартрское кладбище было когда-то за городом и, вероятно, было уютно, мирно, похоже на рощу, на большой сад. Теперь все растущий город окружил его отвсюду, включил в себя. А так как оно лежит в низменности, то через эту низменность перекинут теперь длинный и тяжкий железный мост, по которому беспрерывно идут и едут, катятся с глухим гулом валкие омнибусы, несутся и на разные лады вопят автомобили, гремят и звенят трамваи. И вот первое, что ударило по моему чувству и зрению, когда я достиг места вечного пристанища Богини Разума: этот черный грубый мост, под которым проезжают к железным воротам кладбища и который день и ночь грохочет над покойниками. А затем произошло нечто совсем неожиданное.

Я хорошо знал, что славная Тереза Анжелика Обри была забыта еще при жизни весьма основательно, а впоследствии уже настолько, что целых сто лет даже историки, специально занимавшиеся изучением «великой» революции и в частности культа разума, почти все были убеждены, что знаменитую революционную Богиню изображала m-me Maillard, балетный кумир тех дней, пока не догадались заглянуть в уцелевшие газеты от 11 ноября 1793 года. Но я как-то не подумал об этом хорошенько, да отчасти и был прав: ведь все-таки теперь имя Терезы Анжелики Обри должно быть в каждом новом учебнике. Мне все-таки представлялось, несмотря на все мои горестные мысли о ней, что по крайней мере хоть на кладбище-то ее могила есть нечто и всем ведома. Поэтому отчасти была простительна наивность, с которой я обратился к первому встречному: где могила Богини Разума? Однако встречный посмотрел на меня как на помешанного:

— Богиня Разума? Что это такое?

Я пояснил. Но встречный развел руками и резонно посоветовал мне обратиться лучше в кладбищенскую контору.

---

* в этом здании, прежде называвшемся архиепископским собором (*франц.*).

** поклонников Свободы (*франц.*).

*** Сойди к нам, о Свобода, дочь Природы! (*франц.*).

Тогда я еще увереннее направился в контору. Каково же было мое удивление, когда и в конторе мне ответили на мой вопрос вопросом же:

— Это ваша родственница, г-жа Обри?

— Но совсем нет,— сказал я, опешив.

— Она давно погребена?

— В январе 1829 года.

И тогда на меня выпучили глаза:

— Помилуйте, да вы смеетесь! Можем ли мы знать всех погребенных здесь сто лет тому назад!

— Но неужели никто не посещает эту могилу, и я первый справляюсь о ней у вас?

— Кажется, первый! Обратитесь к какому-нибудь сторожу, может, он случайно знает по надписи на памятнике, если таковой есть и надпись сохранилась...

VII

А затем я спросил о знаменитой могиле у полной, с черными усиками женщины, стоявшей на пороге конторы, предполагая в ней привратницу. В самом деле, это была привратница, и к тому же очень живая и толковая,— эти полные с усиками всегда такие. Но и она о могиле не имела никакого понятия. А затем я тщетно расспрашивал сторожей, встречавшихся мне в голых аллеях, по которым я ходил не менее получаса, оглядывая надписи на памятниках. Затем опять обращался к встречным дамам и господам в трауре... И один господин ни с того ни с сего (вернее, с расчетом хоть чем-нибудь удовлетворить сумасшедшего искателя знаменитых могил) предложил мне взглянуть на могилу Золя. Эта могила была в двух шагах от меня, на пригорке. К вечеру совсем засвежело, небо над кладбищем стало еще бледнее, низкое солнце холодно и резко освещало ледяную и блестящую наготу безобразно-громадной глыбы красного гранита, на которой не было ни единого религиозного знака, ни одного слова Писания,— очевидно, тоже в честь Разума. Над глыбой стоял на цоколе терракотовый бюст — моложавый мужчина лет тридцати, щеголевато-демократической и артистически-рабочей наружности, с длинными волосами и в блузе. Я взглянул и, закурив, рассеянно сделал несколько шагов по аллее, потом зачем-то в сторону, среди деревьев, крестов и памятников, где местами лежал серый снежок.— «Ну и бог с ней, с этой Богиней Разума,— подумал я,— пора домой»,— и вдруг увидал себя как раз перед ее могилой...

И присев на соседний надгробный камень, я уставился на могилу в полном изумлении.

VIII

Да, так вот оно что: даже на кладбище ни единая душа не знает и знать не желает о какой-то Богине Разума, некогда коронованной вот в этом самом Париже, под древними сводами собора Парижской Богоматери. Но мало того: что же это такое перед моими глазами?

Перед моими глазами было старое и довольно невзрачное дерево. А под деревом — квадрат ржавой решетки. А в квадрате — камень на совсем плоской и даже слегка осевшей земле, а на камне — две самых простых каменных колонки в аршин высоты, покосившихся, изъеденных временем, дождем и лишаями. Когда-то их «украшали» урны. Теперь колонки лишены даже этих украшений: одна урна совсем куда-то исчезла, другая валяется на земле. И на одной колонке надпись: «Памяти Фанни», на другой — «Памяти Терезы Анжелики Обри».

— «Est-ce bien vous?» *

* Неужели это ты? (*франц.*— Из стихотворения «Богиня»).

Неужели это правда, что это именно она, она самая, мадемуазель Тереза Анжелика Обри, лежит в земле в двух шагах от меня?

Там еще есть гнилые, смешавшиеся с землей остатки гроба, правильно лежащие кости, зубастый череп... Это она? Конечно, она. А с другой стороны — конечно, не она... Мудрый разум, помоги,— я всегда в подобных случаях совершенно теряюсь и путаюсь!

Но разум не помогал.

IX

Бесспорно, судьба Обри была удивительна. Но удивительна больше всего в силу необыкновенных несчастий. В общем она была истинно ужасна. И Обри, при всей независимости своей натуры, не могла не понимать это даже в те дни, которые, казалось бы, должны были быть ее лучшими днями.

Революция совпала с апогеем ее красоты и молодости. И, казалось бы, что ж ей, молоденькой фигурантке, да еще дочери ремесленника, революция? Только радость! А потом — «vous êtes déesse, déesse de la Liberté!»* И жалованья прибавили, да еще сразу вдвое... Но нет, слишком хороша она была по натуре для всех этих радостей.

На ее глазах началась и целые годы длилась страшная гибель всей той жизни, среди которой она родилась, росла, мечтала о сцене и которая, конечно, только восхищала ее своим блеском. Разрушает «старую жизнь» во время революций не презрение народа к ней, а как раз наоборот — острая зависть к ней, жажда ее. А у Обри даже и зависти не было. Ей нужны были, судя по ее характеру, только рукоплескания (причем рукоплескания маркиза она, вероятно, все-таки предпочитала рукоплесканиям трубочиста). И не могла она не чувствовать, не видеть, что́ такое есть то царство Братства и Равенства, в которое она попала, то «Жертвоприношение Свободе»,— «l'Offrande à la Liberté»,— которое приказано было ежедневно разыгрывать в Опере и которое тоже ежедневно разыгрывалось на улицах, в подвалах тюрем и на площадях с гильотинами. А бог, церковь? Может быть, она была равнодушна к религии. Но все-таки не могло не потрясать ее и все то, что делалось в те дни и с религией, вся эта вдруг начавшаяся по всей стране бешеная, зверская охота за священниками, грабеж и осквернение церквей и, как венец всего, упразднение бога по комиссарским декретам и переименование в «Храм Разума» собора Парижской Богоматери, сперва даже было предназначенного к полному разрушению. Могла ли быть горда и счастлива в такие дни вот эта самая милая, кроткая Тереза Анжелика, чьи кости лежат в земле предо мною?

X

Но она не только испытала весь этот общий кошмар, в котором несколько лет жила при ней вся страна. Над нею — уже лично над нею — внезапно разразилось нечто еще более ужасное: «tout un peuple la saluait du nom de l'immortelle» **, то есть, говоря проще, заставил ее играть самую дикую и постыдную роль в кощунстве еще более неслыханном, чем все прочие. Прости ей, боже, разве виновата была она! Ведь ее именно заставили, заставила самая свирепая из тираний, тирания Свободы. Да она и сама не могла чувствовать себя виноватой. И все же не сладко ей, вероятно, было. «Vous marchiez fière: oui, vous étiez déesse de la Liberté...» О, пошлейшая из пошлостей! Конечно, в глубине души несчастной Терезы Анже-

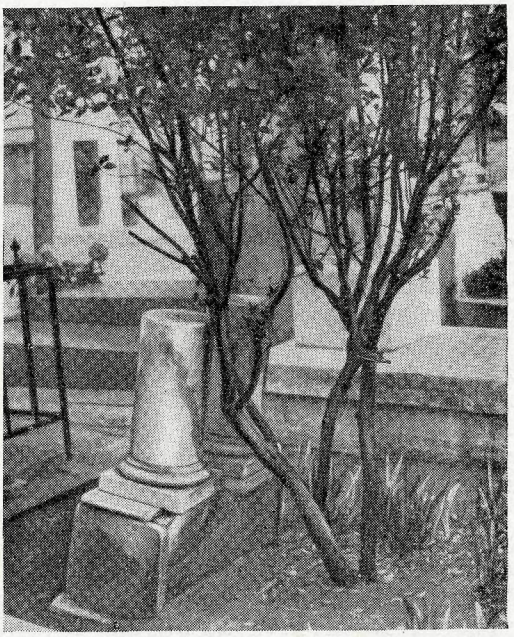
---

* Ты богиня, богиня Свободы! (*франц.*— из стихотворения «Богиня»).

** Народ приветствовал ее, именуя бессмертной (*франц.* — Из стихотворения «Богиня»).

МОГИЛА
ТЕРЕЗЫ АНЖЕЛИКИ ОБРИ
НА МОНМАРТРСКОМ КЛАДБИЩЕ
В ПАРИЖЕ

Фотография
Н. Л. Крашенинниковой, 1971



лики была некоторая доля женской и профессиональной гордости. Конечно, порой голова ее кружилась: ведь все-таки она нынче, 10 ноября 1793 года, царица всего Парижа, первое лицо во всем этом небывалом и грандиозном, хотя и чудовищном торжестве, и играет роль, которую не играла никогда ни одна актриса в мире, и все это благодаря своей красоте, тому, что она и впрямь есть истинный «chef-d'oeuvre de la Nature». Но вместе с тем какой неописуемый ужас должен был туманом стоять весь день над полуголой, до костей продрогшей и вообще до потери чувств замученной заместительницей божьей матери!

Повторяю,— и до 10 ноября испытала она уже немало, неизменно участвуя во всей той напыщенной пошлости, которая каждый день шла, по приказу насквозь изолгавшихся изуверов, на сцене Оперы. Она, говорю, уже хорошо знала, что это значит в действительной жизни, все эти «L'Offrande à la Liberté» и «Toute la Grèce ou Ce que peut la Liberté» [1]. Революционные вожди, как и полагается им по революционным обычаям, развивали сумасшедшую деятельность, каждый божий день поражали город какой-нибудь новой выходкой, так что в конце концов и восприимчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное уже теряло характер неожиданности. И все-таки торжество 10 ноября свалилось на Париж (а на Обри еще более) истинно как жуткий снег на голову. «Pour activer le mouvement antipapiste»*, Шомет в четверг седьмого ноября вдруг распорядился на воскресенье десятого о «всенародном» празднестве в честь Разума, о беспримерном кощунстве в стенах Парижского собора, а m-lle Обри было объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство. И приготовления к празднеству закипели с остервенением, и к воскресенью все потребное, чтобы бог и попы были посрамлены окончательно, было вполне готово. Всю ночь накануне лил как из ведра ледяной дождь. Утром он перестал, но грязь была непролазная и дул свирепый ветер. Тем не менее с раннего утра загрохотали пушки, загремели барабаны, Париж стал высыпать на улицу...

---

* чтобы усилить антипапистское движение (*франц.*).

XI

И было великое безобразие, а для Обри и великое мучение, даже телесное. С раннего утра она, вместе с прочими «Обожателями Свободы», то есть с кордебалетом и хором, была уже в холодном соборе, репетировала. Потом стали собираться «патриоты», прискакал озабоченный Шомет — и началось торжество. Потом — и все под стук пушек, пение, барабаны и шум толпы — четыре босяка, ухмыляясь, подняли на свои дюжие плечи Обри вместе с ее троном и понесли, в сопутствии хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь, «к народу», а затем в Конвент. И опять — давка, говор, крики, смех, остроты, а ноги чавкают по грязи, попадают в лужи, ветер рвет голубую мантию и красную шапочку посиневшей Богини, кордебалет тоже стучит зубами в своих вздувающихся от ветра белых рубашечках, забрызганных грязью, а сзади высоко качаются над толпой шесты, на которых надеты, для вящей потехи, золотое облачение и митра парижского архиепископа. А в Конвенте — торжественный прием Богини всем «высоким собранием» во главе с президентом, который ее приветствует «как новое божество человечества», «заключает от имени всего французского народа в объятия», возводит на трибуну и сажает рядом с собою... Тут бы, казалось, и конец. Но нет! Из Конвента Обри понесли, совершенно так же, как и принесли, назад, в собор! Вообразите себе хорошенько это новое путешествие и перечитайте затем стихотворное красноречие Беранже...

XII

Прошла революция, снова наступила империя, и снова Обри заставляла разом подниматься все бинокли и лорнеты при своем появлении на сцене. Звезда ее стояла высоко, время, молодость, успехи сделали прошлое далеким сном. Но вот однажды, в один из самых блестящих вечеров, в присутствии самой императрицы и ее двора, во время апофеоза, которым оканчивалось «Возвращение Улисса» [2], в тот момент, когда Минерву-Обри медленно спускали с облаков на землю, «Слава» — я употребляю театральный термин того времени — «Слава», на которой восседала она, внезапно сорвалась и обрушилась... Когда-то Обри уступила однажды потребности любить, быть матерью — и стала ею. Теперь, после того, как ее, окровавленную и изувеченную, принесли в уборную и привели в чувство, первое, что слетело с ее губ, был крик: «Ради бога, не пускайте ко мне Фанни, это испугает ее!» А затем она тотчас стала умолять сказать ей правду: будет ли она в состоянии снова играть, если останется жива?

Нет, играть ей больше не пришлось. Всеми вскоре забытая, калека, обеспеченная только скудной пенсией, она повела грустную и однообразную жизнь в бедной и маленькой квартирке, с болезненной, медленно умирающей Фанни на руках, и жизнь эта, к несчастью, длилась еще много лет. Уличные певцы пели под ее окнами:

Je vous revois, et le temps rapide
Ternit ces yeux où riaient les amours...
Résignez-vous: char, autel, fleurs, jeunesse,
Gloire, vertu, grandeur, espoir, fierté,
Tout a péri: vous n'êtes pas déesse,
Déesse de la Liberté... *

---

* Я вновь увидел тебя, но быстротечное время погасило глаза, в которых некогда сияла любовь... Смирись: колесница и жертвенник, цветы и юность, слава, доблесть, величие, надежда, гордость — все погибло: ты уже не богиня, Богиня Свободы! (*франц.* — Из стихотворения «Богиня»).

Но знала ли она, что все это относится к ней? Нет, она даже этого не знала. Она знала только одно, знала и без Беранже: да, да, все прошло, все погибло, осталось действительно одно — покоряться судьбе да употреблять остаток сил на заботы о Фанни, на то, чтобы хоть как-нибудь обеспечить ее после своей смерти. Она всячески хлопотала об устройстве судьбы Фанни, писала завещание, прося добрых людей о ней да еще о своих похоронах,— о том, чтобы все было «прилично» и «чтобы поставили памятничек на ее могиле». И бог дал ей под конец хотя и одно, но великое утешение: все-таки Фанни пережила ее,— Фанни успокоилась вот в этой самой могиле, что передо мною, через полтора месяца после ее смерти...

А может быть, ей было бы отраднее знать, умирая, что через полтора месяца она снова будет рядом — и уже навеки — со своею Фанни? Может быть, может быть... Что мы знаем? Что мы знаем, что мы понимаем, что мы можем!

XIII

Одно хорошо: от жизни человечества, от веков, поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предания о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, их райски-дивные цветные стекла, органные громы и жалобы, «Dies irae» и «Смертию смерть поправ»... Остался, есть и вовеки пребудет Тот, Кто, со креста любви и страдания, простирает своим убийцам объятия, осталась Она, единая, богиня богинь, ее же благословенному царствию не будет конца.

16.V.24

[1] «Toute la Grèce ou Ce que peut la Liberté» («Вся Греция, или Что может совершить Свобода») — одноактная опера (музыка Жана Лемуана, либретто Луи Беффруа де Реньи), поставлена в парижской Опере в сезон 1793—1794 гг.

[2] Первое представление балета Луи Милона «Rétour d'Ulysse» («Возвращение Улисса») состоялось в парижской Опере 27 февраля 1807 г.

ПЛАЧ О СИОНЕ

Так сказал господь:

— Вот без причины плакали вы. Будет же вам плач из рода в роды.

На горах был Сион и храм его,— видный отовсюду. И когда в девятый день месяца Аб прошиб дым с пламенем золотую кровлю храма и донеслись до небес вопли гибнущих и торжествующие крики воинов Навуходоносора, был в небесах великий страх и смятение.

И послал господь ангелов своих на помощь Израилю. Но царь, именующий себя быком и торжествующий, уже сломил силы Израиля.

И был день тоски и ожидания и неизвестности и достиг вечера, и видел господь тьму внизу и как бы жаровню, полную раскаленных углей, на горе Мориа: ибо пожар прогорал.

К ночи же вернулись ангелы, посланные на защиту города. И лица их были бледны и покрыты пылью и копотью, и запах дыма был в их волосах и одеждах, которые были опалены огнем, и ссадины были на руках и коленах их.

И сказали ангелы, говоря господу:

— Не ты ли, господи, грозил народу твоему? Вот без причины плакали вы: будет же вам плач из рода в род. Ныне, господи, сбылась угроза твоя, по грехам Израиля.

— На исходе субботнего дня стали левиты на возвышении и пели славословия тебе.

— И когда воскликнул хор, да истребит господь злодействующих, ворвались в храм язычники и схватили их и запалили огнем Завесу храма и предались грабежу и разрушению. Город же пылал еще с полудня. И мы шли среди великого шума огня и среди криков женщин, рвущих на себе волосы, и среди бегущих и сражающихся и ударяли стопами в стены и укрепления, дабы овладели враги уже домом разрушенным и башней поверженной и не могли похваляться потом, что это они разрушили Сион.

— Видя храм в пламени, взошел первосвященник на кровлю храма и с ним юноши ключники с ключами от дверей.

— И воззвав, воскликнули громко: «Не достойны мы, господи, хранить сокровище твое: вот мы возвращаем тебе ключи дома твоего».

— И бросили ключи к небу и погибли в пламени.

— И левиты и коганы пришли к храму с арфами и трубами и бросились в пламя вслед за первосвященником, играя на них.

— И девушки, ткавшие Завесу святая святых, бросились за левитами и коганами.

— Оленя направил ты, господи, в подземный ход от дома царского до пустынь иерихонских. И царю с сыновьями повелел бежать за ним ради спасения.

— Но у выхода настиг царя Навуходоносор.

— Прошу тебя,— сказал царь,— убей сперва меня, дабы мне не видеть крови детей моих.

— И просили сыновья царя: «Убей нас сперва, дабы мы не видели крови отца нашего».

— И Навуходоносор зарезал их, царю же вырвал глаза и бросил их в огонь, самого же его отвел в цепях в Вавилон.

И сказав так, ангелы сокрыли лица свои в изгибе локтей, рыдая о погибшем Сионе.

‹1925›

«Возрождение», Париж, 1925, № 116, 26 сентября. Подпись: Ив. Бунин.

Источник этой миниатюры — неоднократно упоминаемое в Библии предание о разрушении Иерусалима войсками вавилонского царя Навуходоносора (Плач Иеремии, гл. XXXIV, 7—22; Четвертая книга царств, гл. XXV, 1—11). С ним же связано стихотворение «Господь скорбящий» (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 365), написанное в марте 1914 г. в числе других стихов на библейские сюжеты (там же, стр. 366—368).

БЛАГОВЕСТИЕ

Фарра, отец Авраама, обитал в Уре Халдейском.

Фарра дал в жены Аврааму Сарру.

Сарра была прекрасна, но бесплодна. Но в те дни еще не пекся Авраам о потомстве.

Он пас и умножал стада свои, радуясь своей силе и молодости.

Он был велик и статен. Рост его равнялся десяти локтям, волосы курчавились и глаза имели вид блестящей черной крови.

Фарра оставил Ур и пошел с Авраамом и Саррой, со всем домом и рабами своими к западу: там лежала земля Ханаанская. Но, дойдя до Харона и чувствуя желание покоя, ибо ему было двести пять лет, замедлил свой путь. И, благословив Авраама, умер. Тогда стал Авраам наследником Фарры, и вступило в его сердце желание иметь преемника и себе.

Он поднялся со всем имуществом своим, чтобы идти в Ханаан, о котором сказал ему господь: иди в землю, которую я укажу тебе.

Но был голод в Ханаане. И Авраам, пройдя по всей Ханаанской земле, спустился в Египет.

Египтяне увидели красоту Сарры и замыслили убить Авраама. И еще так сильна была в нем любовь к жизни, что он запретил Сарре называть его мужем: «Говори,— сказал он ей,— что ты моя сестра, дабы мне было хорошо ради тебя».

И Сарра вошла во дворец Фараона наложницей, и Авраам насытился ради нее серебром и золотом, мелким и крупным скотом, ослами и верблюдами, рабами и рабынями в меру щедрости царя и своей страсти к стяжанию.

И тогда еще сильнее восстало в нем желание потомства: ибо дошел он до вершины человеческой жизни, и до глаз заросла его борода, как у сынов халдейских, и побелела и высохла, как трава на холме. И, взяв от Фараона Сарру, он возвратился со всем, что у него было, в землю, ему данную. И разбил шатры в Хевроне и сложил в горах среди дубрав каменные жертвенники. И вот посетил его господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного.

Пегий хитон из овечьей шерсти был на плечах Авраама.

Сам же он был велик и статен.

Красный загар покрывал его лицо, сильные руки и крупные ноги, обутые в сандалии из кожи и с кожаным задником.

Серые волосы его были подобны густому овечьему руну, и глаза цвета черной крови блистали из белой бороды, как у юноши. Но был он уже в летах преклонных.

Среди дубрав, на круглых холмах, стояли его черные шатры.

И был зной дневной, и жарко дышали собаки в тени от шатров.

И белые облака круглились на ярком синем небе над кудрявыми зелеными дубами по холмам за Долиной Возлюбленного.

И голос одинокой горлицы сладко звучал вдали, полный желания.

Пастухи же и стада их отдыхали в тени древесной.

И тогда почувствовал Авраам в сердце своем великое томление.

И поднял глаза, и вот три мужа стоят против него.

И увидев их, он поклонился им низко и сказал:

— Владыка! Не пройди мимо раба твоего. И принесут воды и омоют ноги ваши, и вы, отдохнете под этим дубом. Я же принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши.

И поспешил в шатер и сказал Сарре:

— Замеси три саты лучшей муки и сделай опресноки.

Отрока же, раба его, не было, потому что он ушел и собирал в дубраве шмелиный мед.

И Авраам сам пошел к стаду, чтобы взять и заколоть теленка для трапезы гостей.

Но когда он взял теленка за шею, вырвался теленок из рук его и побежал и скрылся в кустарнике. И Авраам пустился в погоню за ним.

Но из кустарников скрылся теленок в пещере, бывшей на холме. И Авраам, догоняя теленка, вбежал в нее.

И увидел ее каменистую внутренность, как бы в день пиршества озаренную пылающими светильниками, посредине же две великих гробницы прародителей, в оный день лишенных рая и познавших смерть.

И пал на лицо свое и поклонился им и, взяв теленка, возвратился к шатру своему, чтобы достойно принять благовестников жизни.

‹1925›

«Возрождение», Париж, 1925, № 116, 26 сентября. Подпись: Ив. Бунин.

Эта миниатюра — вольное переложение первых глав первой книги Библии (Бытие, гл. I—VIII). Время ее создания неизвестно; датируется по первой публикации.

Библейская легенда о «благовестии» (три ангела, явившиеся Аврааму в образе странников, предсказывают ему рождение сына) послужила также темой сонета «Благовестие о рождении Исаака», написанного в 1916 г. (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 423).

ИЗ ЦИКЛА «СТРАНСТВИЯ»

...В начале апреля посетил в Хамовниках дом Толстого[1]. Несмотря на блестящий день, весеннее сияние голых деревьев, запах почек и сырой земли, впечатление тяжелое. Дом давно не топится, в нем холод, сырость. Особенно тяжко в тех двух низких комнатах с топорными креслами, обитыми черной кожей, очень потертой и в складках, где жил он сам. На стене висит его старая меховая шуба, на полу — разбитый кувшин и старое деревянное судно, у одной стены столик с сапожными инструментами... Все бедное, жалкое, следы жизни уже давней и забытой!

Вспоминаю Остафьево, где был перед этим. Там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: черный жилет, белая бальная перчатка, оранжевая палка с ременной кисточкой... Потом — восковая свеча с панихиды по нем[2]... Смотрел — стеснялось дыханье. Как все хорошо, безжизненно и печально! Век еще более давний и потому кажущийся гораздо богаче, тоньше...

...Недавно, в прекрасный сентябрьский вечер, шел в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук! Золотой, глухой, подземный... На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонек неугасимой лампады и лежали свежие цветы [3]. Возле стояли, кланялись и крестились старичок и старушка, очень старомодные, милые и жалкие. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу. Старичок ответил: «Монахи. А вы думаете, что все погибло? Нет еще...» — затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку: «Пойдем, пойдем, ты совсем впал в детство»,— и повела его, плачущего, по дорожкам к воротам.

...Вчера весь день несло страшной вьюгой. Ночью, возвращаясь домой, думал, что погибну в снежной пустыне своего переулка.

Нынче пришлось быть возле Красных ворот. Вечерело, было снежно, тихо, всюду тоска и грусть. Я вспомнил, что тут, где-то близко, в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного [4]. Отыскал тупик, спустился немного и вошел в ворота широкого, занесенного снегом двора. Неожиданно открылась какая-то странная глухая усадьба, и спереди и с боков состоящая из теремов с крылечками и маленькими окошечками. Снег был свеж и настолько глубок, что я тонул по колено. Единственный след чьих-то очень больших ног вел к главному крылечку. Я пошел по следу, надеясь, что в доме кто-нибудь есть,— там теперь музей. Поднялся на крылечко — дверь оказалась заперта, хотя на ней и висело под стеклом объявление, что музей открыт каждый день от девяти утра до пяти вечера. Я стал стучать — ни звука в ответ. Откуда-то из-за дома вышел мужик в теплом картузе, в длинной стеганой куртке и, не обращая на меня внимания, пошел по двору. Я его окликнул:

— Музей открыт?

Он приостановился:

— Закрыт. По воскресеньям только открыт.

— А почему же висит объявление, что открыт каждый день?

— Да так висит, не снимают...

Я пошел к нему, и мы вышли из снега к крыльцу одного из флигелей.

— А что, интересно в музее?

— Есть люди интересуются, говорят, хорошо.

— А как по-вашему?

— Как-то не могу понять. Не могу вам разъяснить. Там, конечно, разное украшение старинное, разные орудия, всякие топоры, молотилки... Все собирали...

«ОСТАФЬЕВО», БЫВШАЯ УСАДЬБА КНЯЗЕЙ ВЯЗЕМСКИХ (1801)
Фотография В. С. Молчанова, 1966

Он легонько вздохнул. По его тону можно было заключить, что он хочет высказать какую-то более глубокую мысль.

— А где же дом самого Ивана Грозного? Средний и есть?

— Средний. На его собственную ассигновку строен. Четыреста лет, говорят, стоит...

Он опять вздохнул:

— Да. Жили-наживали, хозяйство приобретали...

Темнело, и опять стало белеть в воздухе, опять пошел снежок на этот глухой обширный двор, на старые, с грубыми деревянными лафетами пушки, которыми обставлен он...

...Июль был мрачный — каждый день грозы, ливни: свинцовая чернота неба над жутко-белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающие удары грома, от которых звенят стекла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-папиросники на Кузнецком и Неглинном разделись и плавали. В тот день я как раз опять уезжал из Москвы в гости к одним знакомым, на дачу: вода местами шла выше колесной ступки, от нее кружилась голова...

Знакомые — муж и жена (и, как это ни странно по нынешним временам, в нашем кругу, молодожены); пара вообще не совсем обычная: она женщина молодая (и очень серьезная), ему лет шестьдесят, хотя человек он очень живой, бодрый (небольшой, сухощавый, юношески легкий в движеньях); оба занимаются русской историей,— он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача — недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном поселке; всего сто верст от Москвы, но в леса, в болота, к северо-востоку, и потому край опять глухой, старинный: «черное место, дикой лес, мокрая болотина...»

Жили мы скучно, неуютно. Изба не в поселке, а как-то сама по себе, на отлете, на месте недавно срубленного леса, среди пней, щепы и сучьев. Еще без фундамента — только на столбах по углам, так что все заходил под нее чей-то петух и очень рано будил меня по утрам, орал под самой кроватью. И, проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами... Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углем, дымил ужасно, выедал глаза, не грелся по часу, по два. А вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зеленый...

Муж ходил в довоенных сереньких штанишках и в мужицкой рубахе, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем по-крестьянски— тоже бахилки и суровая рубаха до пят, расшитая по рукавам и подолу красными елочками. И одевалась она так не только по необходимости: видела в этом опрощении свой долг и даже радость. Молчаливая, черноглазая, она все твердила о древней, мужицкой Руси, к которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, неисповедимые, что бог послал нам великую милость — пострадать и в страданиях, как в огне, очиститься... Сны она видела только вещие, думы думала все загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни, собиралась идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по ее словам, предрек наши дни в точности: открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества...

Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько верст лесом. День был сумрачный, над соснами, над просекой, по которой мы шли, скоплялись сизо-белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно — как только мы подошли к станции, черный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождем с градом...

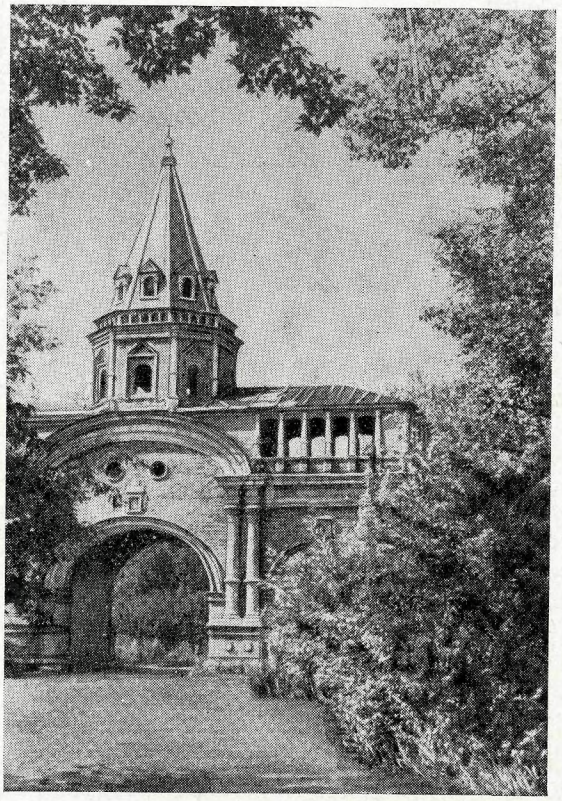
...В жаркий день, в конце апреля, ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: «Это, должно быть, туда, где церьква с синим кумполом». Шел еще долго, очень устал. Но весна, тепло, радость,— было удивительно хорошо. Увидал, наконец, древний собор, с зелеными главами, которые мужик назвал синими, как часто называют мужики зеленое синим, увидал весенний сквозной лес, а в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосафа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, узорами, зеленью глав,— в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нем синих и лазурных облаков... [5]

Теперь тут казармы имени Баумана. Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы в них выдраны, пол завален и мусором, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет дырами — вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи ливнем взвились с полу, с мусора, и усыпали иконостас по дырам и по выступам риз над ликами святых...

А как знаменита была когда-то эта вотчина! Вот кое-что из одной старой, редкой книги о ней:

«Рощи 115 десятин. Рощи, числом 5, заповедные. Роща цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады, числом 32, аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льняной двор для мятия льну. Скотный двор, в нем 903 быка, 128 коров, 190 телиц и 82 тельца, 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нем 701 иноходец, кони, кобылы и мерины. Воловий двор. Виноградная мель-

БЫВШАЯ УСАДЬБА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА В ИЗМАЙЛОВЕ (МОСКВА)
Западные въездные ворота (1682)
Фотография А. Н. Дубовикова, 1971



ница. Пивоварня, медоварня, солодовня, маслобойня. Птичий двор, в нем лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих родов. На мукомольне 7 мельниц. Стеклянный завод... Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных представлений. Мост, мощеный дубовыми брусьями... 27 прудов, в одном щуки, в другом стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики...»

...В августе ездил в Троицкое, поместье Румянцева.

За станцией — не то лес, не то парк, дикий, дубравный. На выезде из деревушки — памятник, очень странный в соседстве с мужицкими избами: Екатерина в греческом шлеме и какая-то богиня со змеей вокруг ноги, а под ними надпись:

«От Екатерины дана сему месту знаменитость, навсегда оглашающая заслуги графа Румянцева-Задунайского».

За мостом через ручей, среди вековых берез,— прекрасная церковь с двумя колокольнями, напоминающая некоторые римские церкви. В часовне при ней, тоже очень красивой, стоит громадная яшмовая гробница последнего Румянцева. Возле часовни — огненный куст настурции.

Кругом, из-под темных деревьев, сквозь их стволы, видны далекие деревни, сине-лиловые леса, золотом горящие на солнце жнивья.

Дальше — бесконечно длинная, страшно высокая аллея. Еще дальше — развалины дворца, пролеты в развалинах стен... [6]

...Прошлое воскресенье провел в Троицкой лавре. Облазил все стены, все башни, подземелья...

В соборе, там, где стоит открытая серебряная рака, горит только одна лампада. Мощи как-то мелко лежат на дне раки, в каких-то почерневших, до ужаса древних остатках ветоши... Кругом плотная толпа — бабы, мужики, старухи с крысиными глазами. Ни страха, ни благоговения, ни вздохов — ничего. Только любопытство, кое-какие замечания, иногда остроты и смех...

В ризнице — кафтан Ивана Грозного: потертая золотая парча на голубом шелку, с золотыми шнурами[7]. Концы рукавов истерты особенно, а низ левой полы весь изорван, из него торчит слой ваты... Тупо смотрят и на кафтан.

Во дворе собора по-прежнему нищие, калеки, недужные, «пораженные язвами и червия воскипением...» Лежат, сидят, переползают... Костыли, лохмотья, головы, повязанные платками и тряпками, безносые или безгубые, с кровавыми, как бы выдранными глазами или с оловянными бельмами, тщетно ищущими зрения... «Подайте слепому, безрукому... Кормители, питатели... Обратите внимание...» Бодро и деловито прошли среди этой орды два рослых монаха: один здоровый мужик в гимнастерке и грубых сапогах, в черной шляпе, с двумя русыми косами, другой в рясе — круглоликий красавец Алеша Попович с шелковой каштановой бородкой, с темно-синими, как бы налитыми маслом женскими глазами...

...После дождей — опять светлая, тихая осень. Ехал странно: заливной звон колокольчиков под росписной дугой, тарантас, тройка...Только тройка — три задранных клячи, тарантас — допотопная рухлядь, ямщик — в сплошных заплатах. И ни души встречной за всю дорогу. Ямщик сказал:

— Теперь все пошло на старый жребий!

В монастыре Саввы собор 14 века, теперь всеми забытый. Поднялся на крутую гору, на Старое Городище. Там тоже древняя церковь — одиноко белеет на самой верхушке[8]; за ней древние земляные укрепления, вековые громадные сосны. Кругом ясная и четкая пустыня полей и лесов, солнечная теплая колкость...

...Суздальские земли грустны даже летом. Лесистые холмы, река. Краски — зеленые, лиловые, синие — очень густы и неприятны.

Нынче к вечеру небо на закате обложилось непогожими тучками, по реке пошла кирпичная рябь. Какие-то мужичишки-рыболовы, выплыв на реку, стоя и качаясь, наклоняясь в своих долбленых челнах, вытаскивали бредни. Я долго смотрел на одного из них, качавшего своим челном реку, на его кривые ноги, на изломанное личико с серой проседью под размятым теплым картузом, на линючую ситцевую рубашку на впалом животе... Вот они, создатели, зиждители суздальских обителей!

В одной из этих обителей мне попалась рукопись древнего монаха: «Замогильные летописи созерцаний». В ней есть такие строки:

О, жилище немятежное ближних моих друзей!
Мирное обиталище всех утрудших в ней!
Вертоград пустынный, краснейший Эдем!
Небурное пристанище, юдоль, сладкая всем!

Вечерами в городе великая уездная глушь. Долго не темнеет, бесконечно стоит тускло-синий сумрак в пустых и широких улицах без единого

БЫВШАЯ УСАДЬБА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА В ИЗМАЙЛОВЕ (МОСКВА)
Покровский собор (1679) и корпус бывшей богадельни (пристроен в середине XIX в.). Справа Мостовая башня (1671)
Фотография А. Н. Дубовикова, 1971

фонаря. Медленно бьют часы на древнем монастыре... для кого? Город точно вымер. Ложатся спать с вечера — целая вечность до утра! Мой сосед по жесткому дивану на постоялом дворе, какой-то мещанин, который спит, не раздеваясь и не разуваясь, всю ночь страшно скрипит зубами — точно новыми сапогами...

Видел одного местного начетчика. Он в поддевке, нескладно шаткий и высокий, с бледно-синими глазами. Пользуется большой славой. За ним приезжают из деревень, возят его на религиозные диспуты. Священное писание знает наизусть. Говорит очень громко, убежденно, сосредоточенно — и не позволяет сказать в ответ себе ни одного слова. Мужики им восхищаются:

— Какие ученые люди ни приезжали — не гожаются. Никуда! А какой мелкий приедет, с двух слов забьет — и шабаш!

...На Волге видел Макарьевский монастырь [9]. Нанял лодку. Рыжий мужик, первобытный волгарь-рыбак, не спеша ворочал веслами, стоя в ней, и по зеркальной, тихой воде подвел ее к самому монастырю, к его древним стенам, из-за которых глядели главы шести соборов. В соборах все как было чуть не тысячу лет тому назад — незапамятная и нерушимая Русь: черные, средневековые лики икон, черная, средневековая олифа... Но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Живут тем, что возят по приволжским городам (на пароме) древний чудотворный образ. Я, когда плыл к монастырю, как раз встретил этот паром.

Он шел еще медленнее нашей лодки, в глубоком молчании. Золотые хоругви, белый престол с образом, белые балахоны возцов и черные рясы сопровождающих образ. Все фигуры — и белые и черные — сажень ростом, великаны...

...Опять весна, и опять живу в большой глуши — в тех самых краях, где несколько веков тому назад жил подвижник, про которого сказано:

Ты в пустыню суровую,
В места бла́тные, непроходимые
Поселился еси...

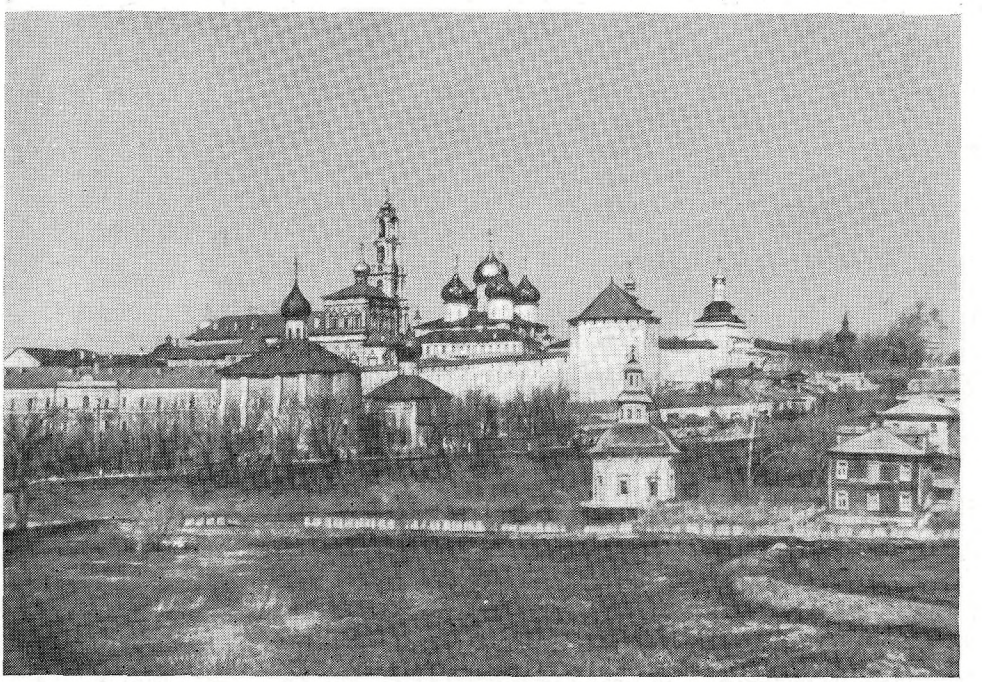
Городок маленький, деревянный. Основан чуть не в самом начале Руси, стоит на мутной речке, нижний берег которой болотист, серебрится кустами ольхи. Середина города, очень малая часть его, окружена высоким земляным валом с тремя проходами. На валу еще заметно место, где была когда-то сторожевая башня. Вал зарос густой травой, в траве высыпали по весне желтые лилии. За валом древний собор, несколько деревянных домишек, два государственных здания и три березовых аллеи, в которых поют птицы. Некоторое пространство в этом зеленом кремле не застроено и тоже зарастает какими-то цветами. Тут же пруд, отражающий берега и весну. Вода имеет цвет фиалки. Возле пасутся лошади. Полное затишье, ветер сюда не заходит...

Я живу не в городе, а за городом, на горе. Город с церквями и собором внизу, на широком разлужье, полускрыт тополями и липой. С горы открывается даль: перевалы, холмы, кое-где покрытые лесом, кое-где — полосами запашек и озимей, идущих вниз как бы холстами: запашки — розоватыми (от песчаной земли), озими — ярко-зелеными. Дальше, за холмами, леса все гуще и темнее...

Край этот церковный, монастырский: куда ни глянь, всюду монастырь. Слева от меня, совсем близко, белеет каменной стеной и башнями по углам женский монастырь двенадцатого века. Он наполовину скрыт столетними, уже засыхающими деревьями, весь осел, врос стенами в свои зеленые берега. Вечерами под его тяжелые ворота с золотым крестом над ними идут черные фигуры монахинь. Справа — скит, дальше плоскодонный лог, а за ним невысокий холм, на котором, под старыми деревьями, раскинут старый погост, где козодои, не смолкая ни на минуту, тянут всю ночь напролет все одну и ту же жужжащую ноту. Птица эта очень идет к скитам. Вылетает она беззвучно из-под самых ног, повьется над головой, бесшумно трепеща крыльями, и опять упадет на какую-нибудь могильную плиту. Глаза у нее — два красных карбункула. Могильные плиты на погосте мшисты и загажены птицами, мшистые кресты серы, мягки, точно на них фланель. Есть, конечно, развалившийся склеп богатого купца, нелепый и безобразный, из черных окон-дыр которого пахнет нечистотами. А рядом чей-то новый крест, под которым лежат свежие цветы и густо вьются пчелы...

В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошел во двор монастыря, прельщенный красным огоньком, горевшим в келии под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки — полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. Золотой ангел с крыши притвора благословлял двор. В притворе чернели две рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил ее показать, где на монастырском кладбище самые древние могилы. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумрак сада, среди смешанных весенних запахов — и сладких, и терпких, и каких-то

УСПЕНСКИЙ СОБОР «НА ГОРОДКЕ» БЛИЗ ЗВЕНИГОРОДА (XV в.
Фотография В. Ф. Дубовиковой, 1970



ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКАЯ ЛАВРА в г. ЗАГОРСКЕ (XV в.)
Фотография В. С. Молчанова, 1966

водянистых, травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся ее белый капюшон. Она разыскала старую-старую могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, *всю во мху, в порах и углублениях, суженную к одному концу.* Буквы, насеченные на ней, покрытые мохом совсем черным, гласили:

«Лета такого-то (шестьсот лет назад)... схимонах Ферапонт... рода Долгоруких...»

Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь тоже очень старые, есть шестнадцатого века. Среди этой северной ночи их серебряная, певуче дрожащая игра над монастырским садом и городом очаровательна. Особенно поздней ночью, когда все спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная. Что-то бледно-лимонное, тонкое освещает небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим, просветленным блеском. Мохнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, леса — темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов, очень сильные ночью, тонут в одном, особенно сильном запахе ландышей...

...У стен монастыря встретил однажды монаха из уезда. Он отвязывал от дерева старую лошадь с вытекшим глазом, запряженную в старомодную колымажку, на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подряснике и черной шляпе; лицо худое, длинное, редькой, в оловянных очках; на грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто-каштановых, с серебром. Разговорились, я присел к нему в колымажку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказывать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про святого, основавшего монастырь, и про знаменитого юродивого, погребенного в монастыре. Юродивый был «как бы Голиаф», ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяжелой собачьей цепи (и до сих пор хранимой в монастырской ризнице). Пришел в монастырь неизвестно откуда, ископал себе поблизости от него, в дремучем ельнике, землянку. Каждый день, услыхав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти,— стоял на ней босиком и в одной рубахе, даже зимой, не боясь ни морозов, ни метелей. После обедни являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: «В аду еще жарче будет!» Как-то раз не пришел. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться: не случилось ли чего? А как нарочно шла сильная метель. Стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бору, гудел колокольный звон — его все не было. Когда стихло, пошли искать по лесам окрест — не нашли и в лесах. А потом пошел как-то на медведя мужик — и видит: лежит юродивый возле своей хижины, окруженный сугробами, но не на снегу, а на весенней зеленой траве, посреди благовонных цветов...

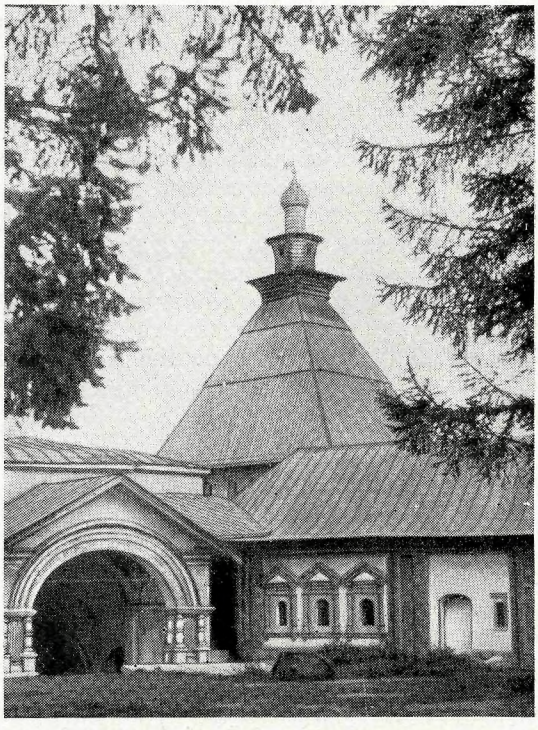
...Был еще в одном монастыре.

Пришел туда рано утром. Утро было солнечное, яркое. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба, из раскрытых церковных дверей слышалось пение. Церковь была пуста — только по обеим сторонам ее, против боковых алтарей, стояли в два ряда черные монахини, с четками в руках. Царственно-суровая игуменья, положив левую руку на черный посох с желтой костяной рукояткой, стояла

САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ БЛИЗ ЗВЕНИГОРОДА

Красная башня (XVII в.)

Фотография А. Н. Дубовикова, 1965



против средних царских врат в высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжизненностью, ровно и бесстрастно, высокими женскими альтами, пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорбных излияний вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках...

Когда служба отошла и монахини, под звон колоколов, под жарким солнцем, стали расходиться из церкви в разные стороны, к своим кельям, я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошел туда, постучал в дверь. Вышла высокая, мужественная монахиня с черными внимательными глазами, вся в черном, с белой коленкоровой наколкой на голове. Выслушав меня, она помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, необыкновенно чистых, весело озаренных солнцем. В одной топилась печка и горела на столике розовая лампадка, было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкапами, там стояли два стола для чтения и фисгармония. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, все продолжая следить за мной серьезными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя ее, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым светило солнце и шел ровный лепет зеленой древесной листвы...

Между прочим, я узнал, что под монастырем находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц кото-

рого списаны святые на иконостасе в церкви. Есть гробницы еще времен Грозного. Историк монастыря, перечисляя гробницы, дает и краткие жизнеописания погребенных в них. «В гробнице такой-то погребен такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным... В гробнице такой-то — тот-то, убиенный в 1612 году...». В следующей — «отрок Сергий, убитый лошадью; родился в 1698 году, преставился в 1715; был иноком с четырнадцати лет; красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в оной, с детства стремился он к богу и вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей...»

В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошел к склепу, откуда идет спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился: только заглянул между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмоленных колоды — и поскорее пошел прочь...

...На прощанье попал еще в одно старинное место, еще в одну усадьбу. Опять широкий двор, стертые камни старинного крыльца, в доме сложные вековые запахи... Из полутьмы большой гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошел в еще более просторный, но светлый зал, весь позлащенный солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты... Неужели не приукрашали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядевший со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несравненная прелесть форм, облитых тонким шелком, неземная красота радостно-восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы! В библиотеке — портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вольтеровское, как часто это бывало в те годы: белый густой парик, нежное румяно-желтое лицо с впалыми щеками, едкие, проницательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату? А комната такая, что, кажется, остался бы в ней навеки: низкие книжные шкапы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и сафьяновых корешках за их стеклами, посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик; кругом, по лаковому полу, блеск и игра лучей, а за широкими полукруглыми окнами — безбрежные серебристые леса... В «Расходной книге» этого имения прочел между прочим: «Отпущено псарю Тимофею 60 аршин алаго атласу на кафтан...», и мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закушенный язык... Потом смотрел другие книги: откуда и в них, в самый расцвет благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления «к богу и вечности», эти горестно-возвышенные упреки земле и человеку?

Почто, о человек! стремишься
Всегда за счастием земным?
Неужли ты надеждой льстишься
Вовеки наслаждаться им?

‹1930›

И. А. Бунин. Божье древо (Париж, 1931). Под общим заглавием «Странствия». Впервые: «Возрождение», Париж, 1930, № 3564 и 3567, 25 и 28 декабря, под тем же заглавием, с датой: «1930 г. Приморские Альпы». Подпись: Ив. Бунин.

Воспроизведено (со значительными сокращениями): «Дон», 1968, № 9.

Из 18 этюдов, составляющих цикл, четыре в настоящую публикацию не включены.

[1] Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках в 1921 г. был превращен в мемориальный музей (ныне — филиал Гос. музея Л. Н. Толстого).

[2] Остафьево — бывшее имение князей Вяземских, ныне — дом отдыха. Пушкинские реликвии, о которых упоминает Бунин, принадлежали П. А. Вяземскому; теперь они находятся во Всесоюзном музее А. С. Пушкина (Ленинград).

[3] 31 мая 1931 г. прах Н. В. Гоголя был перенесен на Новодевичье кладбище.

[4] Бунин имеет в виду палаты бояр Волковых, построенные в конце XVII в. (Хоромный тупик, 4). Существовала легенда, необоснованно связывавшая этот дом с именем Ивана Грозного (см. «Столица и усадьба», 1914, № 16-17). С середины XVIII в. дом принадлежал князьям Юсуповым. После Великой Октябрьской революции юсуповское собрание картин и предметов древности было превращено в музей, а затем вошло в состав коллекций Гос. Исторического музея. Ныне в этом доме находится Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина.

[5] В подмосковном селе Измайлове находилась загородная резиденция царя Алексея Михайловича. Сохранились: Покровский собор (1679 г.) и отдельные постройки — Мостовая (или «Думная») башня (1671 г.), западные въездные ворота (1682 г.).

[6] Троицкое-Кайнарджи (близ ст. Кучино Горьковской ж. д.)— поместье, пожалованное Екатериной II графу П. А. Румянцеву-Задунайскому. Дворец Румянцевых был разрушен в XIX в., церковь в селе Фенино (конец XVIII в.) сохранилась. Румянцев освободил крестьян Фенина от крепостной зависимости, и в память этого события у выезда из села был поставлен бронзовый памятник Екатерине II работы В. И. Демут-Малиновского. Памятник представляет собой композицию, состоящую из скульптурного портрета Екатерины II и статуи «Мир», которую имеет в виду Бунин. Ныне находится в Гос. научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева на территории Донского монастыря (Москва).

[7] Кафтан (ферязь) Ивана Грозного, ранее хранившийся в ризнице Троице-Сергиевской лавры, ныне находится в Гос. Историческом музее (Москва).

[8] Саввино-Сторо́жевский монастырь близ Звенигорода (конец XIV—XVII вв.); ныне в нем помещаются Звенигородский краеведческий музей и дом отдыха. Церковь «на Старом Городище» — Успенский собор «на Городке» (XV в.) близ Звенигорода.

[9] Очевидно, подразумевается Троице-Калязин монастырь, который иногда называли Макарьевским по имени его основателя. Находился на Волге близ Калязина. В связи с постройкой угличской плотины территория этого монастыря оказалась в зоне затопления.

СОКОЛ

Иван — охотник, лодырь. Живет с краю деревни, возле погоста. Погост на косогоре, скучный: голые глинистые бугорки, взрытые свиньями, истоптанные овцами, которые до земли выглодали сухую траву между ними; над одной могилой тощая лозинка, на лозинке вниз головой висит дохлая галка, насквозь источенная муравьями; в одном голубце, рядом с фольговой иконкой, свила гнездо мухоловка... К погосту и прилегает гумно Ивана, нищее, пустое: раскрытый хребет риги, старый тележный ящик, рогатая соломорезка — и все заросло травой, бурьяном.

Когда мы шли к его избе с деревни, от нас стремглав, припадая к земле шеей, неслась его единственная наседка и с отчаянно-восклицательным криком взвилась в ее разбитое окошко. На разрушенном крыльце, как-то по-вдовьи свернувшись, лежала чернобровая собака с висячими ушами, грустно глядя на нас вкось, исподлобья.

— Иван,— спросили мы,— чем же ты ее кормишь?

Иван слегка удивился:

— Как чем? Да ничем. Это ее дело.

Перед крыльцом, на двух лопнувших колесах, рассыхалась на солнце пустая водовозка и бесцельно (видно, не зная, что делать) сидел на ее обрезе сизый, с серой грудкой голубь. Иван посмотрел, усмехнулся:

— Ишь в какую визиточку нарядился!

А в избе пол был завален чем попало — всякой добычей того памятного лета семнадцатого года: корыта, кадушки, треногое ободранное кресло, прихотливо изогнутая рама из палисандра, где от зеркала осталась только косая половинка, полотнище пыльной гардины, цинковая детская

ванна с продавленным боком, граммофонный рупор, стенные часы с одной гирей в золе возле печки, пыльная господская визитка, как раз похожая на ту, в которую голубь «нарядился»,— все из какого-нибудь разграбленного господского имения. В избе, и без того тесной, негде было повернуться, было безобразно. И истуканом, молча сидела на лавке баба, каменная, большая, с страшными светлыми глазами — жена Ивана. Сидела, молчала и смотрела.

— Это все она натащила,— сказал Иван самодовольно.—Она у меня сокол!

1930 г.

И. А. Бунин. Весной в Иудее.—Роза Иерихона (Нью-Йорк, 1953). Печатается по экземпляру с авторской правкой: ГБЛ, 429. 2.7. Машинопись с авторской правкой, сделанной при подготовке этого сборника к печати, хранится в ИМЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 55.

Впервые: «Последние новости», Париж, 1930, № 334 (3539), 30 ноября, под заглавием «Иван» (в составе цикла «Краткие рассказы»). Затем: сб. «Божье древо» (Париж, 1931), под заглавием «Сокол»; Собр. соч. 1934—1936, т. IX, под тем же названием.

Воспроизведено: «Дон», 1968, № 3, в первоначальной редакции (по сб. «Божье древо») и с неточностями.

ПОРТРЕТ

Богатая квартира, вечно безмолвная, хозяин — человек холостой, одинокий, гостей приглашает только по воскресеньям.

В просторной прихожей, устланной черно-красными коврами, медленно, беззвучно блещет медный диск маятника в английских высоких часах, каждый час оживающих: льется, переливается мелодический звон по всей квартире.

Сумрачная и великолепная столовая в темной фанере. Тяжелый стол из темного гладкого дерева без скатерти, темные дубовые стулья с очень высокими спинками. А над огромным кирпичным камином — достопримечательность квартиры, гордость хозяина: чей-то старинный портрет, писанный будто бы каким-то знаменитым художником,— смотрит с потрескавшегося лакового полотна, не спуская с зрителя глаз, куда он ни пойди, большой, плотный мужчина в бархатном малиновом берете, с коричневой прямоугольной бородой. Ничего замечательного нет в этом портрете. Но все гости хозяина, зная, что он им гордится почему-то,— совершенно неизвестно почему! — считают своим долгом продолжительно, задумчиво, даже с важной грустью смотреть на портрет и наконец тихо говорить:

— Да. Вещь замечательная.

Так и проживет хозяин еще лет двадцать с этим неизвестным человеком в малиновом берете, с коричневой бородой, ставшим давным-давно только картиной.

‹1927—1930›

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1961 г. в Нью-Йорке. Печатается по тексту этой публикации.

Воспроизведено: «Неделя», 1962, № 17, без указания на источник.

Датируется предположительно: по своей форме рассказ примыкает к циклу миниатюр, написанных в 1927—1930 гг. и включенных в сборник «Божье древо» (Париж, 1931).

РУСЬ ГРАДА ВЗЫСКУЮЩАЯ

Деревня, усадьба, предвечернее летнее время.

В открытые окна нарядно и мирно глядит зелень деревьев.

Тишина, щебет птиц в саду.

И вдруг чей-то трагический, гремящий бас:

— Аз есмь Русь, града и дома взыскующая! По земле ходящая, вопиющая и глаголящая!

И под окном вырастает некто яростный, в неописуемых лохмотьях, не скрывающих нагого тела, с глазами кровавыми, как раны, под всклокоченными лохмами черных волос. Он выкатывает смуглые белки, на все лады ворочает, играет ими и вскидывает кверху скелетно-худые, цвета мумии, руки:

— Бог есть ревнитель и мститель! Бог — человеколюбие и вечное даяние! Но не перенесу щедрот его из рук нечестивых! Царь ваш — тиран, слуги его — кровопийцы! Восстал всевышний бог, да судит земных владык во сонме их! Аз есмь пророк его!

И он раздирает на груди лохмотья, показывает жесткую шерсть на ней и бьет в нее кулаком:

— Червь книгожитель, прославленный писатель! — кричит он, выкатывая из кровавых век смуглые, как на старой лубочной иконе, белки.— Вот напишите реальность, но не стишки, подобные эльфам и бабочкам! А! Не напишете! Дрогнет рука! Слов достойных не имате! Ибо знаете ли вы, что есть риза нешвенная и что есть риза тленная? Что есть молния стожалая и молния коленчатая? Меск, сиречь мул, и велбуд пустынь? Птица Ивин, питающая гадами? Орлий клекот? Место Краниево? Аз есмь смерд и пророк господень! — воскликнул он, театрально зарыдав.— Отпустите от щедрот ваших несколько драхм и скажите рабам вашим проводить меня по двору: не хочу быть растерзану от псов!

Вечером, мертвецки пьяный, он спал в вагоне, весь раскинувшись, навзничь. Выражение его загорелого, далеко назад откинутого лица было адски мрачно и важно. Черная с крепкой проседью борода торчала вверх путаными клочьями. Возле него валялась корзинка с подаянием — корки хлеба и яйца.

‹1927—1930›

Парижский архив Бунина.

Впервые опубликовано в 1963 г. в Нью-Йорке со следующим примечанием Л. Ф. Зурова: «Вначале рассказ назывался „Пророк“. Последний раз И. А. Бунин правил его в 1951 году. На первой странице рассказа рукой И. А. сделана пометка: „Пр.28.V.51“». Печатается по тексту этой публикации.

Датируется предположительно: по своей форме рассказ примыкает к циклу миниатюр, написанных в 1927—1930 гг. и включенных в сборник «Божье древо» (Париж, 1931).

«СОН ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ»

Зимняя ночь, непроглядная тьма и вьюга в поле, жаркая изба постоялого двора при большой дороге,— на нарах спят мужики обозники, на мокрой гниющей на земляном полу соломе лежат две овцы, поросенок и телушка. Висячая над столом лампочка притушена, едва светит и воняет керосином, в избе стоит ровный храп, вокруг избы шумит и снегом бьется в окошко буря. Лежу на лавке под образами, закрывая глаза, стараясь заснуть, и вдруг слышу звонкий шепот:

— А «Сон пресвятыя богородицы» ты знаешь?

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ
Этюд Н. Н. Дубовского. Масло, 1900
Литературный музей, Москва

В ответ детское бормотанье:

— Я спать хочу...

Это спрашивает мальчик, отвечает девочка, дети вдового хозяина постоялого двора, лежащие на печи, над нарами.

— Нет, ты не спи, ты погоди, послушай,— быстрым шепотом просит мальчик.

И спеша, восторженной скороговоркой, без передышки, начинает:

— В Вифлееме иудейском спала почивала пресвятыя мати богородица приде к ней Исусе Христе и рече к ней о мати моя возлюбленная и рече к нему пресвятыя мати богородица со слезами...

Дикая снежная Русь, бесконечная вьюжная ночь... Как попал сюда Вифлеем иудейский? Какой ангел занес в эту избу «Сон пресвятыя богородицы» и поразил им эту детскую душу?

‹1927—1930›

Парижский архив Бунина.

Впервые опубликовано в 1963 г. в Нью-Йорке со следующим примечанием Л. Ф. Зурова: «На полях рукописи — около абзаца „В Вифлееме иудейском“ — И. А. Бунин написал: ,,Не надо ни одного знака препинания''. Правил этот рассказ он во время болезни». Печатается по тексту этой публикации.

Датируется предположительно: по своей форме «Сон пресвятыя богородицы» примыкает к циклу миниатюр, написанных в 1927—1930 гг. и включенных в сборник «Божье древо» (Париж, 1931).

ПРОВАНСАЛЬСКИЕ ПЕРЕСКАЗЫ

Предисловие В. А. Дынник

В 1931 г. Бунин опубликовал в газете «Последние новости» (Париж) шесть рассказов под общим заглавием «Провансальские пересказы». О том, при каких обстоятельствах Бунин над ними работал, вспоминала В. Н. Бунина в одном из писем к Н. П. Смирнову: «„Провансальские пересказы", по правде сказать, он писал из-за денег для газеты, когда мы были очень бедны перед Нобелевской премией. Я их, так давно не перечитывала, что ценности их не представляю, может быть вы правы»[1]. По-видимому, сам Бунин невысоко ценил свои «пересказы»: он не включил их ни в один из своих сборников, не вошли они и в Собрание сочинений 1934—1936 гг.

Между тем «Провансальские пересказы» не заслуживают забвения. То, что они писались «из-за денег» — еще не повод для сомнения в их художественной ценности. В жизни больших писателей (вспомним Бальзака или Достоевского) нередки случаи, когда они брались за работу, жестоко подстегиваемые мыслью о заработке, об уплате долгов или о необходимости погасить полученный аванс, а между тем создавали лучшие свои страницы. Не решает вопрос о художественной ценности «Провансальских пересказов» и то обстоятельство, что Бунин впоследствии никогда к ним не возвращался. Известно, что он был беспредельно требователен к себе, порою донельзя придирчив, а иногда и совершенно несправедлив. Так, одно время он критически относился к «Господину из Сан-Франциско», а написав «Сны Чанга», назвал этот рассказ «пустячком»[2].

Конечно, «Провансальские пересказы» нельзя поставить в один ряд с этими знаменитыми произведениями, однако они должны занять свое место в творческом наследии Бунина, ибо им в полной мере свойственны черты, отличающие бунинскую прозу: безупречная чистота русской речи, доведенная до изящества простота изображения, широкий разлив повествования, нигде, однако, не звучащего многословно, мастерская передача народного стиля, и притом полное воздержание от щегольства подчеркнутой «мужиковатостью», — все это позволило бы знатоку Бунина угадать, кем написаны эти страницы, даже если бы имя автора не было известно.

Основа «Провансальских пересказов», несомненно, фольклорная. «Юный пилигрим» — типичный образец народных легенд о святых, вторая его половина очень близка к легенде о святом Алексее, известной по всей Европе и широко распространенной на территории нынешней Франции еще в средние века: подобно Алексею, герой рассказа возвращается в родительский дом, живет там неузнанный, подвергаясь всяческим унижениям, и лишь перед смертью открывается родителям. В рассказе «Волхвы» отражена одна из рождественских легенд евангельского происхождения, обросшая в устной передаче множеством живописных бытовых подробностей. В «Звездах» приводятся народные названия небесных светил (Ориона, Сириуса, Большой Медведицы, Венеры, Юпитера и др.) и связанные с ними поверия. В «Святочном вечере» говорится о таинственной Белой Курице, способной по суеверным представлениям, бытующим в народе, заманить человека чуть ли не на край света. Рассказ «Мэтр всех мэтров» по сюжетному построению и по всему повествовательному тону чрезвычайно близок к народной сказке-анекдоту, хотя здесь в качестве главного действующего лица выведен Иисус Христос. А «Тараскон» — уже чистой воды анекдот, из числа тех распространенных россказней о тарасконцах, которыми вдохновлялся и А. Доде. Сюжет «Тараскона» напоминает также близкие к народному творчеству жонглерские фаблио — средневековые стихотворные новеллы Северной Франции, в которых грешники тоже чувствовали себя весьма непринужденно в загробном мире, вступали в пререкания со святыми и с самим господом богом. Да и в Провансе аналогичные мотивы встречались у трубадура XII в., известного под именем Монтаудонского монаха,— в одной из песен он в чисто народном духе изображает свое посещение рая и беседу с богом, который любопытствует, какие новости принес из Монтаудона его посетитель, и подает ему ряд житейских советов.

Интерес к народному слову издавно был присущ Бунину. Поэтому «Провансальские пересказы» не могут рассматриваться как нечто инородное, случайное в художественном мире писателя, с какими бы поисками литературного заработка ни было связано их возникновение. Внимание к провансальскому материалу, положенному в их основу, поддерживалось и обстоятельствами жизни Бунина: в 1920-х — 1930-х гг. он подолгу жил в Грассе, расположенном на юге Франции, в Приморских Альпах.

В то время Грасс был небольшим городком, насчитывавшим около 20 000 жителей. Его история, уходящая далеко в глубь средневековья, тесно связана с историей Прованса. В средние века Грасс не раз подвергался осаде, испытал нашествие сарацин, которые увели в рабство значительную часть его населения. В XIII в. он был захвачен Раймондом, графом Прованским, который сделал его своей столицей. В XV в., во время нашествия на Прованс императора Карла V, город, по приказу короля Франциска I, был опустошен и разрушен занимавшими его французскими войсками с целью лишить врага возможности закрепиться в стране. Вскоре Грасс был заново отстроен, однако этим не завершились его испытания. Тем не менее в городе сохранилось несколько интересных памятников старины.

Грасс расположен в 40 километрах от Ниццы, на южном склоне горы Рокавиньон, откуда открывается великолепная панорама — равнина, поросшая апельсиновыми, лимонными и оливковыми деревьями, а дальше — цветущий морской берег и Средиземное море. Однако он не превратился в «туристический центр», подобно Ницце и многочисленным городкам Лазурного Берега, где из-за обилия разноплеменной приезжей публики трудно бывает разглядеть жизнь коренного населения края, — вероятно, имела значение некоторая отдаленность Грасса от моря с его пляжами. Когда Бунин летом 1923 г. «переселился», как он сам говорил, в Приморские Альпы [3], Грасс и его окрестности жили своей жизнью, мало нарушаемой курортною суетой. По характеру своего производства город был довольно тесно связан с сельским Провансом, — окрестное население занималось плодоводством и цветоводством, поставляя свою продукцию в город, на предприятия, где вырабатывались духи.

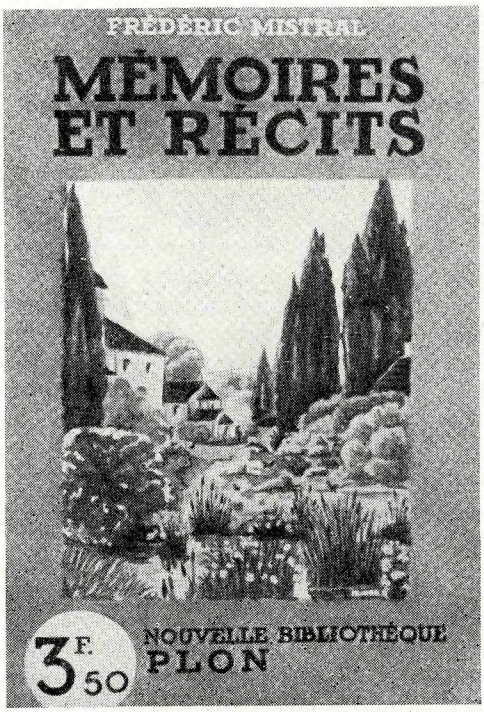
Таким образом, живя здесь, а не в каком-либо типичном курортном городе, Бунин имел больше возможностей почувствовать подлинный Прованс, угадать черты народной психологии, прислушаться к провансальской речи. Правда, все эти возможности сильно ограничивались тем, что Бунин вел довольно замкнутый образ жизни, общаясь с небольшим кругом своих русских друзей и отдавая почти все свое время литературной работе. Но тут уместно вспомнить одно его признание, которое передает, вероятно, своими словами (стиль тут совсем не бунинский) Г. Н. Кузнецова: «Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и „Песня о гоце“. Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад» [4]. А ведь Бунин не только «взглянул» на Прованс, он подолгу живал там еще до создания «Провансальских пересказов».

И все же встает вопрос: если этот цикл имеет фольклорную основу, то какими материалами мог пользоваться Бунин? Провансальского языка он не знал, и хотя язык этот близок к французскому, но не настолько, чтобы Бунин мог его понимать. Даже Анатоль Франс, при всем своем интересе к народным рассказам и песням, признавался, что не умеет и никогда не научится говорить по-провансальски [5], — это он-то, до тонкости знавший и старофранцузский, и латынь! Даже Франс, восхищавшийся провансальским фольклором, должен был знакомиться с ним по переводам.

Итак, непосредственно приобщиться к народному повествовательному искусству Прованса Бунин не мог — ему необходим был посредник. Эту роль сыграло творчество знаменитого провансальского поэта Фредерика Мистраля (1830—1914).

Мистраль, автор ряда поэм, из которых «Мирейо» пользуется всеевропейской известностью, был главой «фелибров» — группы литераторов, поставивших себе целью возродить былую литературную славу Прованса, которая в средние века достигла, благодаря песням трубадуров, необыкновенного блеска, а затем стала меркнуть. К XIX в. литературное творчество Прованса иссякло, и литературный провансальский язык надо было создавать заново. При таких обстоятельствах естественно было обратиться к фольклору и к народным говорам. С 1865 г. Мистраль вместе со

КНИГА
ФРЕДЕРИКА МИСТРАЛЯ
«MES ORIGINES.
MÉMOIRES ET RÉCITS»
Париж, 1937
Обложка
Первое издание книги (1929 г.)
послужило источником
«Провансальских пересказов»



своим старшим другом Жозефом Руманилем и остальными участниками группы «фелибров» стал издавать в Авиньоне ежегодный «Провансальский альманах» («L'Armana Prouvençau») — народный календарь, где печатались самые разнообразные фольклорные материалы: рассказы, анекдоты, побасенки, легенды, предания. Обычно они давались в литературной обработке, иногда, по-видимому, довольно свободной, и печатались параллельно на провансальском и французском языках [6]. Мистраль был неутомимым поставщиком такого рода прозы. Проведя детство на отцовской ферме и живя почти все время безвыездно в деревне, он мог с полным правом считать себя народным рассказчиком. Многие из «альманашных» рассказов вошли в его собственные книги, которые несколько раз переиздавались как при жизни Мистраля, так и посмертно. Так, в конце 1920-х годов в Париже вышли на французском языке три сборника прозы Мистраля, составленных из рассказов, в свое время вошедших в «Провансальские альманахи» (Frédéric Mistral. Prose d'Almanach, 1926; его же. Nouvelle prose d'Almanach, 1927; его же. Dernière prose d' Almanach, 1931).

Возможно, что Бунин заинтересовался творчеством Мистраля, прочитав в газете «Руль» русский перевод трех его рассказов, которыми сопровождалось сообщение о выходе первого их этих сборников [7]. Когда же в 1929 г. в Париже вышли воспоминания Мистраля («Mes origines. Mémoires et récits» — «Истоки моей жизни. Воспоминания и рассказы»), они не могли не привлечь внимание Бунина. Автора «Жизни Арсеньева» должна была заинтересовать история становления писателя; человека, жизнь которого в течение многих лет протекала на юге Франции, не могла оставить равнодушным книга о Провансе. Так или иначе, именно она послужила источником «Провансальских пересказов».

Бунин начал свой цикл переводом двух отрывков из воспоминаний Мистраля. Это «Звезды» — эпизод из одиннадцатой главы («L'Excursion dans les astres» — стр. 143—147) [8], и «Мэтр всех мэтров» — вставная новелла из главы пятнадцатой, записанная автором со слов провансальского крестьянина Жана Руссьера, знатока народных сказок и преданий («La Légende de Saint-Eloi» — стр. 206 — 209). Оба перевода отличаются большой точностью, однако в отдельных случаях Бунин сжимает

диалоги и описания поступков персонажей, усиливая таким образом динамику действия (это относится главным образом ко второму рассказу).

Источником двух следующих «пересказов» («Тараскон» и «Юный пилигрим») послужила тринадцатая глава той же книги, посвященная истории возникновения и издания «Провансальского альманаха». Мистраль включил в нее несколько рассказов, печатавшихся в альманахе. Внимание Бунина привлекли два из них — «Le bon pélerin. Légende provençale» и «Jarjaye au Paradis» (стр. 165—173). Если «Юный пилигрим» очень близок к оригиналу, то в «Тарасконе», напротив, допущено множество отступлений. Однако можно смело сказать, что Бунин отклонялся от мистралевского текста только в тех случаях, когда это предписывалось ему переводческим тактом. Например, изменение заглавия рассказа («Тараскон» вместо «Джарджайе в раю») было, вероятно, продиктовано тем, что слишком непривычно для русского слуха звучит провансальское имя героя. Но Бунин идет и дальше — иногда он сокращает текст, иногда, наоборот, расширяет его, порой вкладывает в уста персонажей реплики, которых нет у Мистраля, а сталкиваясь со специфическими оборотами народного языка, избегает буквального перевода и обращается к русским идиомам, обычно не совпадающим по смыслу, но очень точно передающим эмоциональную окраску речи. Все эти отступления отнюдь не искажают оригинал. Напротив, именно эта «свобода обращения» с текстом, приближающая его перевод к «пересказу», позволяет Бунину передать средствами русского языка стихию юмора другого народа, сохранить не букву, а самый дух подлинника.

То же можно сказать и о последних двух «пересказах» цикла — «Волхвы» и «Святочный вечер». Это перевод отрывков из третьей главы воспоминаний Мистраля (стр. 31—33, 36—39), повествующей о детстве автора, о жизни маленького провансальского городка. Заглавие этой главы («Les trois mages» — «Волхвы») Бунин использовал в названии первого из них. Перевод «Волхвов» имеет, помимо отдельных сокращений, два очень значительных отступления от оригинала: начало (три первые абзаца, включая цитаты из Евангелия — Матф., гл. II, ст. 1—2) целиком принадлежит Бунину, а весь последний абзац — в сущности не перевод, а пересказ соответствующей страницы книги Мистраля, что дало Бунину возможность поставить строки из рождественского гимна в заключение переведенного им отрывка. Благодаря такой заставке и концовке фрагмент из детских воспоминаний Мистраля приобрел законченную форму рассказа. И, наконец, «Святочный вечер» — это в полном смысле пересказ. Бунин не переводит, а именно пересказывает чудесные истории одного из мистралевских персонажей. Однако, при всей своей свободе, этот бунинский пересказ, как и «Тараскон», великолепно передает и сюжет, и, главное, дух оригинала.

Можно считать, что само заглавие цикла, в равной мере определяет как особенности подлинника — рассказы Мистраля были именно «пересказами» народных легенд,— так и характер работы Бунина.

Бунин как переводчик еще совершенно не изучен. «Провансальские пересказы», помимо их художественного значения, представляют немалый интерес для изучения его переводческого мастерства, ибо для передачи народной провансальской прозы Бунин нашел «и слова, и тон, и лад».

[1] Письмо 30 января 1959 г. — «Новый мир», 1969, № 3, стр. 211.
[2] Там же.
[3] «Материалы», стр. 223.
[4] См. настоящ. том, кн. 2. — «Грасский дневник», запись 21 февраля 1931 г.
[5] Анатоль Франс. Собр. соч. в восьми томах, т. 8. М., 1960, стр. 272.
[6] К группе «фелибров» принадлежал также Б. Бонне, с творчеством которого Бунин был, вероятно, знаком еще в молодости: в 1901 г. в «Журнале для всех», где он в это время сотрудничал, был опубликован один из «Провансальских рассказов» Бонне — «Ивановские огни» (№ 6, стр. 691—700).
[7] «Неизданная проза Мистраля». — «Руль», Берлин, 1926, № 1829, 7 декабря.
[8] Мистралевскую «Прогулку по звездам», в свое время напечатанную в «Провансальском альманахе», использовал А. Доде в «Письмах с моей мельницы» (рассказ «Звезды»). Однако у Доде народные поверья о небесных светилах облечены совсем в иную, чем у Мистраля, форму и носят характер эпизода в рассказе, имеющем самостоятельное значение.

ЗВЕЗДЫ

Небо было все в звездах, мяукала совка. Я гулял в поле, встретил у дороги старика-пастуха Жана, который стерег овечье стадо, и вот какой разговор произошел между нами:

Он

Как вы сюда попали, господин Фредерик?

Я

Вышел немного прогуляться, мэтр Жан.

Он

Прогуляться по звездам?

Я

Мэтр Жан, вы угадали. Я так утомлен Землею, что мне хотелось бы ее покинуть и затеряться в звездном царстве.

Он

Что до меня, господин Фредерик, то я совершаю подобное путешествие почти каждый вечер и могу вас уверить, что оно удивительно прекрасно.

Я

Да, но как это сделать, как попасть в эти светозарные бездны?

Он

Очень просто. Стоит только следовать за мною.

Я

Мэтр Жан, ловлю вас на слове.

Он

Тогда отправимся прежде всего вот этой дорогой, белеющей с севера к югу: это путь святого Иакова, прямой путь из Франции в Испанию. Когда император Карл Великий воевал сарацинов, святой начертал этот путь в небе, чтобы указать ему дорогу.

Я

Язычники называли это Млечным Путем.

Он

Возможно. Но я говорю только то, что сам слышал. Затем, видите вот эту чудесную колесницу, четыре колеса которой озаряют весь север? Это Колесница Душ. Три звезды, что перед нею,— три коня, запряженные в Колесницу. А та, что чуть видна возле третьей,— Возничий.

Я

В книгах это называется Большой Медведицей.

Он

Это как вам угодно. Но смотрите, смотрите: одна за другой падают звезды. Это бедные души, лишенные рая. Осеним себя крестным знамением, господин Фредерик.

Я

Да не оставит их милость господня!

Он

Но дальше: вот Небесный Пастырь — вон то великолепное светило, что блещет недалеко от Колесницы.

Я

В астрономии называемое Арктуром.

Он

Допустим. Теперь смотрите на север, вон на ту звезду, что едва мерцает. Это Звезда Мореходов, или Трамонтана. Она никогда не заходит и путеводит в море. Моряки, теряющие ее из виду, считают, что они обречены на гибель.

Я

Эта звезда, называемая также и Полярной Звездою, находится в созвездии Малой Медведицы. И так как северные ветры дуют именно оттуда, то провансальские и итальянские моряки, когда им случается идти против ветра, говорят, что они идут «на Медведицу».

Он

А обернувшись, мы увидим, как мерцает Курятник.

Я

Ученые говорят: Плеяды. Гасконцы же — Собачья Тележка.

Он

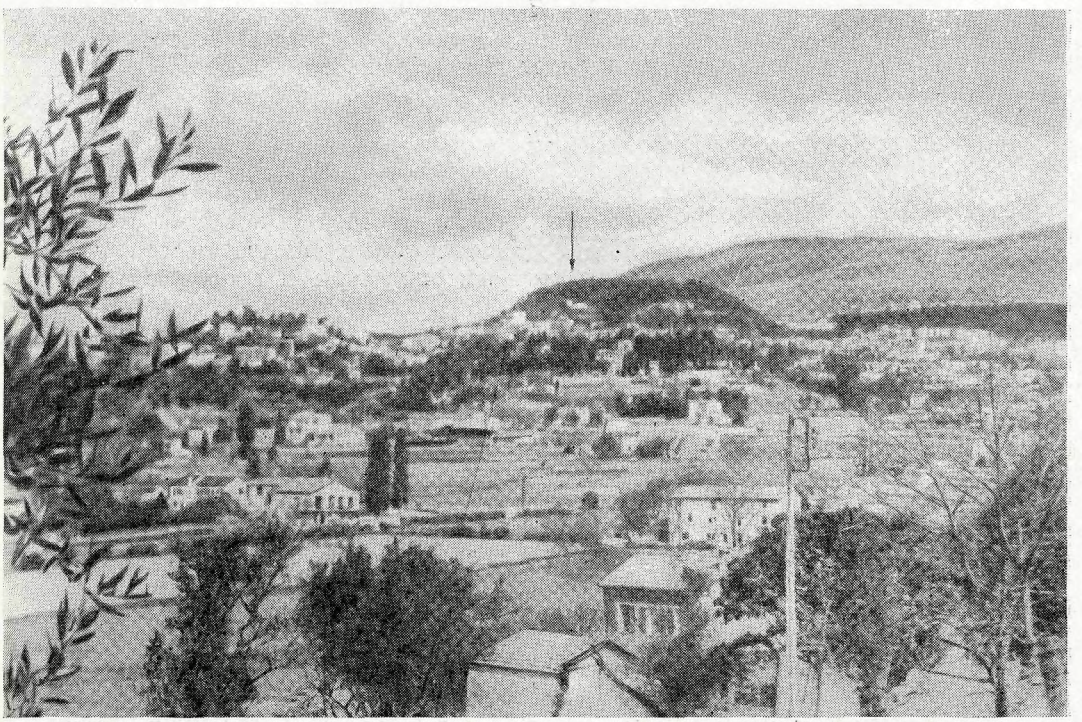
Совершенно верно. А вот, немного ниже, сверкают Знаки, прямое назначение которых указывать пастухам время. Одни называют их Тремя Королями, другие говорят: Три Шмеля, или Грабли.

Я

То есть Орион и Пояс Ориона.

Он

Превосходно. Еще ниже, к югу, блещет Жан из Милана.



ГРАСС
Фотография, 1968
Стрелка указывает местонахождение виллы «Жаннет», где Бунин жил в годы второй мировой войны
Собрание Т. Д. Муравьевой-Логиновой, Франция

Я

Сириус, если не ошибаюсь.

Он

Жан из Милана — светило из светил. Жан из Милана, Знаки и Курятник были, говорят, приглашены однажды на свадьбу. (На свадьбу красавицы Магелоны, о которой скажем после.) Курятник, как самый ранний, отправился первым и пошел верхней дорогой. Знаки, три быстроногие девы, пересекли ему путь снизу и совсем было его догнали. Тогда Жан из Милана, немножко проспавший, вскочил, взял им наперерез и, чтоб задержать их, запустил в них свой посох. От этого Три Короля, или Грабли, и называются с тех пор Посохом Жана из Милана.

Я

А вот та звезда, что выходит из-за гор на горизонте?

Он

Это — Хромой. Он тоже был приглашен на свадьбу. Только он, бедняга, едва ковыляет. Да и встает он поздно и ложится очень рано.

Я

А вон та, что уже заходит и сияет такой брачной красотою?

Он

А, это Пастушья Звезда, Утренняя Звезда, та, что нам светит и на восходе, когда мы только что выгоняем стадо, и по вечерам, когда мы его гоним обратно! Это королева-звезда, красавица Магелона, вечно преследуемая Пьером Провансальским, с которым она вступает в брачный союз каждое семилетие.

Я

По-моему, это пересечение путей Венеры и Юпитера, иногда Сатурна.

Он

Пересечение так пересечение. Но погодите минутку... Эй, Лабри, что ж ты зеваешь? Мы тут болтаем, а все овцы разбрелись куда попало. Что за негодная собака! Придется бежать самому сгонять их! Ну, господин Фредерик, до свидания, смотрите не заблудитесь!

Я

До свидания, мэтр Жан.

‹1930›

МЭТР ВСЕХ МЭТРОВ

Однажды, сидя у себя в раю, господь бог-отец был чем-то весьма озабочен. Бог-сын Иисус сказал ему:

— Что с вами, отец?

— У меня,— ответил господь,— есть одна забота, которая не дает мне покоя. Вот взгляни-ка туда.

— Куда? — спросил Иисус.

— Вот прямо туда, куда я указываю. Видишь, вон в том селении, на самой окраине, кузницу? Большую и отличную кузницу?

— Да, вижу.

— Так вот, сын мой, есть там один человек, которого мне очень хотелось бы спасти,— мэтр Элуа. Это очень достойный человек, верный исполнитель всех моих заповедей и всякого житейского долга, милостивый к бедным, готовый на всякое добро и услугу, неутомимый и благочестивый работник. Он, по-моему, вполне достоин стать святым.

— А что ж ему в этом мешает? — спросил Иисус.

— Гордыня, чадо мое. Он отличный мастер, кузнец первого сорта и потому думает, что нет на свете никого выше его. А ведь высокомерие есть великий грех.

— Отче,— сказал Иисус,— если бы вы дозволили мне сойти на землю, я бы попытался обратить его на правый путь.

— Иди, возлюбленное чадо мое.

И вот милосердный господь наш Иисус Христос сошел на землю. В одежде простого подмастерья, с котомкой за плечами, он направился

прямо к мэтру Элуа. По обыкновению, над дверью кузницы висела вывеска. Однако вывеска эта была не совсем обычна. На ней стояло: «Кузнец Элуа, мэтр всех мэтров, в два накала кующий подкову».

Божественный подмастерье снял шляпу и молвил:

— Добрый день и бог помощь, мэтр Элуа! Нет ли работки?

— Сейчас нет,— ответил мэтр Элуа.

— Тогда простите и до свиданья, зайду как-нибудь в другой раз.

И милосердный господь наш Иисус Христос продолжал свой путь по селенью. На улице стояла и болтала кучка крестьян, и он, проходя, сказал им:

— Вот никогда бы не подумал, что в такой отличной и большой кузнице не найдется никакой работы!

— Постой, дружок,— сказал один из крестьян,— да ты как поздоровался с мэтром Элуа?

— Да обыкновенно как: мол, добрый день, мэтр.

— Ха! Совсем не так нужно было сказать: не мэтр, а мэтр всех мэтров. Взгляни-ка на его вывеску.

— В самом деле! — сказал Иисус.— Попытаюсь пойти еще разок.

И, сказав так, снова пошел в кузницу:

— Бог помощь, мэтр всех мэтров! Не нужно ли вам подручного?

— Входи, входи,— сказал мэтр Элуа,— я как раз думал о том, чтобы взять тебя. Только вот какое дело: запомни хорошенько, что, когда ты обращаешься ко мне, ты всегда должен называть меня «мэтр всех мэтров», и это вовсе не затем, чтобы угодить моему тщеславию, а в силу того, что таких мастеров, которые в два накала могли бы выковать подкову, нет, кроме меня, нигде на свете.

— О,— ответил подмастерье,— но у нас, в наших краях, куют подкову и с одного накала.

— Как с одного накала? Не болтай вздора, это невозможно.

— Невозможно? Посмотрим, мэтр всех мэтров!

И Христос хватает брусок железа, бросает его в горн, раздувает мех и, когда железо краснеет, а потом доходит до белого каленья, протягивает к нему руку.

— Стой, дурачок,— кричит мэтр Элуа,— обожжешься! Возьми клещи!

— Не беспокойтесь, у нас, слава богу, не нуждаются в этом,— отвечает Иисус, берет голой рукой раскаленное добела железо, швыряет его на наковальню, бьет молотом, перевертывает, плющит, закругляет, пробивает для гвоздей дырки — и все это так быстро и ловко, что через минуту подкова совсем готова.

Мэтр Элуа, однако, не смутился:

— О, говорит,— это ничего не стоит, стоит только захотеть хорошенько!

Затем берет брусок железа, бросает его в горн, раздувает мех и, когда железо краснеет, а затем белеет, хватает его тоже голыми руками и несет к наковальне. Тут он, однако, пребольно обжигает себе пальцы, спешит его бросить, кидается за клещами, но, пока их находит, оно уже остывает. А подмастерье вдруг молвит:

— Постойте, никак кто-то скачет!

И точно, к кузнице подлетает чудеснейший конь, а на нем всадник — сам святой Мартин:

— Еду,— говорит,— издалека, потерял целых две подковы и все никак не могу найти кузницы! Наконец-то!

На что мэтр Элуа, расправляя плечи, отвечает в таких выраженьях:

— Господин мой, вы попали как нельзя лучше. Перед вами кузнец, не только первый во всей округе, но и во всем французском королевстве,

который смело может сказать, что он мэтр всех мэтров и выковывает подковы всего в два накала. Дружок, подержи-ка коню ногу!

— Держать ногу? — возразил подмастерье.— Но в наших краях находят это совсем бесполезным.

— Как? — воскликнул мэтр Элуа.— Подковывать, не касаясь копыта? Это очень мило, только как же это сделать?

— Бог мой, да нет ничего легче! Вот смотрите:

И Христос быстро берет топорик, подходит к коню и раз! в один миг отсекает ему копыто. Затем несет копыто к наковальне, зажимает его тисками, хорошенько обчищает, прилаживает к нему новую подкову, которую только что сделал, прибивает ее гвоздями, а, прибив, несет копыто обратно и, перекрестясь, приставляет к конской ноге, где оно тотчас же крепко-накрепко и прирастает.

Мэтра Элуа даже в пот ударило при виде такого чуда.

— Ловко! — сказал он, покачивая головой,— этаким манером, думается, подкую и я неплохо!

Вслед затем он подходит к коню — и раз! в один миг отхватывает у него копыто. Затем, точь в точь, как подмастерье, несет его к наковальне, зажимает тисками и начинает подковывать подковой, после чего остается только поставить его снова на место. Но вот в этом-то и вся суть дела! Мэтр Элуа подходит к коню, плюет на копыто, изо всех сил прижимает его к конской ноге... Увы, копыто не пристает, не прирастает, а из ноги ручьем кровь хлещет!

И тогда, смертельно пораженный в своей гордыне, спешит мэтр Элуа броситься к ногам своего подмастерья. Но, оглянувшись, видит, что он уже исчез, скрылся, так же как и конь, и всадник. И льются из глаз мэтра Элуа горячие слезы: бедный человек, он, наконец, понял, что есть мэтр выше его и выше всех на свете. Он смиренно снимает с себя фартук и навсегда покидает селенье — чтобы, странствуя по всему миру, идти и возвещать повсюду славу нашего господа Иисуса.

‹1930›

ТАРАСКОН

Жил-был когда-то в Тарасконе некто Жозеф, носильщик, и, прожив ровно столько, сколько ему полагалось, в один прекрасный день умер. А как только умер, тотчас, конечно, полетел на тот свет, в вечность. Летит и летит — и конца не видит своего полета! Главное, совсем не понимает, куда именно летит он, и от неизвестности, от страха не попадает зуб на зуб: непроглядная тьма, безграничная пропасть! Наконец, слава богу, какой-то просвет в отдаленье. Еще минута — и Жозеф у самой двери рая.

Тут он немножко передохнул и стукнул:

— Отворите, будьте добры.

— Кто там? — ответил святой Петр из-за двери.

— Это я, господин апостол.

— Кто «я»?

— Жозеф, носильщик.

— Жозеф из Тараскона?

— Он самый, господин апостол.

Святой Петр пришел в ярость:

— Как! Жозеф из Тараскона? Да как же, негодяй, смеешь ты сюда ломиться! Ты, который целых двадцать лет не сотворил ни одной молитвы! Который, когда ему говорили: «Жозеф, иди к обедне!»— отвечал с наглым

смехом: «Прекрасно, дай только закусить и выпить!» Который хохотал над громом, называя его барабаном! Который по пятницам лопал мясо да еще ухмылялся: «Мы ведь и сами из плоти!» Который не крестился, как подобает доброму христианину, при церковном звоне и колокол сравнивал с подвешенным к балке поросенком!

Жозеф, однако, не растерялся:

— Что ж, говорит, отпираться бесполезно: грешен. По совести говоря, без вины я виновен: откуда же мне было знать, что и впрямь «тот свет» не шутка? Но за всем тем воля теперь ваша: казните, как хотите. Только позвольте, святой угодник божий, просить вас о маленьком одолженье: дайте мне хоть повидаться с дядей, рассказать ему, как поживают в Тарасконе.

— С каким таким дядей?

— С дядей Фредериком, господин апостол.

— С Фредериком? Но ему назначено быть в чистилище не больше не меньше как целое столетие!

— Мама дорогая! Целое столетие! Да за что же это?

— Но ведь ты знаешь, что он носил распятие во время церковных процессий, и что однажды кто-то из толпы над ним посмеялся: «Смотрите-ка, как Фредерик согнулся! Что это он, бедняга, тащит?» И Фредерик взбесился: «Что! Что! Тащу чурбан, вроде тебя, дуралея!» — да тут же и протянул ноги, помер от удара.

— Ну, тогда,— сказал Жозеф смиренно,— позвольте мне повидаться с тетей Доротеей. Уж она-то была не чета дяде,— набожна, прямо, как ангел.

— Ха! Тетя твоя, любезный, в аду, в преисподней.

Жозеф усмехнулся:

— Не удивляюсь, господин апостол: зла была истинно, как гадюка. Представьте себе, например, такую историю...

— Жозеф, оставь меня в покое, я по горло занят!

— Столько дела, святой угодник божий? Ну, раз так, умолкаю. Но все-таки позвольте мне хоть глазком взглянуть на эту самую райскую обитель, которую у нас на земле расписывают в таких радужных красках.

— Да, как бы не так! Держи карман шире!

— Святой Петр, прошу вас! Ну, хоть ради моего покойного отца, который, как вам известно, был всегда самый страстный ваш поклонник!

— Ради твоего отца? Ну, это, пожалуй, другое дело. Ради него даже и тебя, бездельника, можно уважить. Однако помни — можешь просунуть в дверь только кончик носа.

— Этого мне вполне достаточно, господин апостол.

И вот райская дверь чуть-чуть приоткрылась, но, как только она приоткрылась, Жозеф поспешно повернулся к ней боком и в одно мгновение был уже за нею.

— Это что же это такое? — закричал апостол.

— А как же мне было не повернуться? — закричал и тарасконец.— Меня положительно ослепило это обилие света! Однако не беспокойтесь, я уговор помню, дальше не сделаю ни шагу. Но как у вас тут действительно чудесно! Какая музыка! Как все красиво!

— Повторяю тебе,— сказал Петр строго,— у меня нет времени на болтовню с тобой. Полюбовался — и с богом!

— Но вы, пожалуйста, не стесняйтесь, господин апостол,— ответил Жозеф галантно.— Если у вас есть какое-нибудь неотложное дело, пожалуйста, идите, я ничуть не обижусь. Не беспокойтесь и насчет моего ухода — уйду в свое время. Меня, кстати сказать, решительно ничто не торопит.

— Но ведь мы сговорились, что ты только заглянешь!

— Бог мой! Да чего вам, святой отец, так волноваться? Я бы вас еще понял, если бы здесь было тесно; но, слава богу, места на всех хватит!

— А я тебе говорю — уходи, потому что, если господь бог зайдет случайно...

— Ну, уж с господом богом это ваше дело. А я уходить не желаю.

Святой Петр вздернул плечами, топнул ногой и пошел за святым Ивом.

— Святой Ив, ты адвокат — посоветуй. Я, знаешь, ужасно попался. Вышло вот то-то и то-то... Что ж мне теперь делать?

— Ты должен,— ответил святой Ив,— поступить очень просто: взять кого-нибудь подельней из стряпчих и через пристава притянуть вышеназванного Жозефа на суд к самому господу богу.

Кинулись искать по раю стряпчих; но, увы, стряпчих в раю еще никогда не бывало. О приставах же и говорить не стоит. И святой Петр совсем растерялся. Видит — идет Лука угодник. Он к нему:

— Дорогой мой! Вот какая штука: некий Жозеф из Тараскона хитростью проскользнул в дверь рая, и я совершенно не знаю, как его выставить отсюда!

— Ты говоришь — из Тараскона?

— Из Тараскона.

— Ах, бог мой,— сказал Лука угодник.— Если он из Тараскона, то выставить его нет ничего легче. Я, как тебе известно, часто бываю в Камарге, в Арле, в Ниме и отлично знаю тарасконцев. Вот ты сейчас увидишь, что надо делать...

В эту минуту как раз пролетала над ними стайка ангелочков.

— Детки! — крикнул Лука угодник.— Пстт! Погодите!

Ангелочки остановились.

— Детки, летите скорее за стены рая и кричите во весь голос: «Быки! Быки! Быков гонят!»

Ангелочки снова вспорхнули, и тотчас за стенами рая послышались их звонкие крики: «Быков гонят! Быков гонят!»

Жозеф, как сумасшедший, кинулся к двери.

— Черт меня побери! Быков гонят! — заорал он и вихрем вылетел из рая.

А святой Петр поскорее хлоп дверью, а сам к глазку, к окошку:

— Ну как, Жозеф? Кто кого одурачил? Простись теперь с раем!

— Наплевать мне на ваш рай! — крикнул Жозеф, махнув рукою.— Если бы тут и впрямь оказались быки, я бы и не вздохнул о вашем рае!

И, сказав так, кинулся вниз головой, прямо в адскую бездну.

‹1931›

ЮНЫЙ ПИЛИГРИМ

Старому воину было почти сто лет. Когда-то он был неутомим и в походах и в битвах, теперь, сокрушенный годами, дни и ночи лежал неподвижно в постели.

Было у него три сына. И вот однажды утром позвал он к себе старшего из них и сказал ему:

— Слушай, сын мой. Вспомнилось мне, что дал я когда-то, в разгаре одной жестокой сечи, обет сходить в Рим на богомолье. Но ты видишь — стар я стал, как земля. Исполни же за меня это святое дело, дабы я мог умереть спокойно.

Сын выслушал и молвил:

— И что только лезет вам в голову, родитель,— эти паломничества в Рим или я не знаю еще куда! Право, у нас и без вашего Рима достаточно дел. Лежите-ка лучше, как лежали, ешьте, пейте, спите, выдумывайте, что вам угодно, но оставьте нас в покое.

На утро старец позвал к тебе среднего сына:

— Сынок, послушай-ка меня. Вспомнилось мне, что когда-то, во время одной страшной битвы, дал я обещанье сходить в Рим на богомолье. Да сам видишь, стар я теперь, как земля,— куда ж мне идти! Я хотел бы, чтобы ты исполнил за меня это обещанье.

Тот послушал и ответил:

— Отец, через две недели жатва. Надо косить, возить, молотить, потом позаботиться о виноградниках. Старший сын поведет стадо в горы, младший еще совсем ребенок — кто же справится со всеми этими делами, если я отправлюсь шататься по Римам? Ешьте себе, пейте, спите, а нас уж оставьте в покое.

На третье утро призвал старец младшего сына, своего любимца:

— Эспери, дитя мое, поди ко мне. Я дал когда-то обещание сходить в Рим на богомолье. Но я стар, как земля,— куда уж идти мне? Сходи ты вместо меня!

— Хорошо, схожу, родитель,— ответил Эспери просто.

Мать, услышав эти речи, закричала:

— Не слушай, Эспери, этого старого пустомелю! Он совсем из ума выжил. Мало ему, что нам и так нет покоя от его жалоб да стонов, он еще вздумал посылать ребенка на погибель!

Но Эспери ответил:

— Мать, я должен повиноваться. Воля отца — воля божья.

И, выйдя, налил небольшой мех вином из бочки, положил в дорожную суму несколько луковиц и хлеба, взял дубовый костылик, накинул плащ на плечи, обнял отца, простился со всем домом и пустился в дорогу.

Проходя мимо церкви, он вспомнил, что надо сперва зайти в церковь, отстоять обедню и, войдя на паперть, встретил юного и прекрасного незнакомца, который обратился к нему с вопросом:

— Друг мой, вы идете в Рим на богомолье?

— Да,— ответил Эспери учтиво.

— И я, друг мой, иду туда же. Не хотите ли отправиться вместе?

— Охотно, прекрасный друг мой,— ответил Эспери, не подозревая, что этот незнакомец — ангел, посланный богом, дабы охранять его в пути до Рима.

И вот пошли они по старой романской дороге, и так вдвоем то под дождем, то под солнцем, распевая псалмы и прося у добрых людей пропитанья, дошли до самого Рима. Там, отдохнув, они поклонились храму святого Петра, потом обошли все прочие базилики и часовни и наконец отправились на поклонение к папе, который и дал им свое благословение. Перед тем же, как идти обратно, прилегли они отдохнуть в тени портала одной церкви, и Эспери, утомленный, заснул, забылся. И приснилось ему, что он с отцом в раю, в вечной славе и блаженстве, и видит оттуда, как его мать и братья горят в вечном огне, в преисподней.

— Господи боже! — взмолился он, видя их муки.— Что повелишь мне сделать, дабы спасти их?

Господь ответил:

— Братьев твоих спасти невозможно, они не пожелали исполнить моей воли. Мать же твоя спастись еще может, если успеет сделать до своей смерти три добрых дела.

И Эспери проснулся и увидел, что его прекрасного спутника и друга уже нет с ним рядом. Он долго искал его по всему Риму и, не найдя, один

отправился в обратную дорогу. Шел то берегом моря, то долинами и горами, тропинками и большими путями, пел псалмы, молился, собирал милостыню на пропитанье и дошел наконец до родного края.

Он странствовал целых два года. и, когда худой, покрытый пылью, босиком и в лохмотьях шел по своей деревне, не узнал его никто из соседей. Дойдя же до дверей отчего дома, он тихо постучался и молвил:

— Подайте, Христа ради, бедному пилигриму!

Мать, услыхав его, закричала:

— Ах, как надоели эти бродяги! И откуда только такая тьма бездельников, лентяев!

Но отец сказал из глубины своей спальни:

— Полно, жена, грех говорить так-то! Подай ему хоть в память нашего странствующего сына. Ведь, может, и он сейчас просит вот так же у чьей-нибудь двери!

И мать, ворча, достала хлеб с полки и отрезала на изрядное подаянье.

На другой день пилигрим опять пришел к дому и опять стал просить с том же:

— Подайте, Христа ради, добрая хозяйка!

— Как, ты опять явился! — ответила мать криком.— Я же тебе подала вчера, обжора!

— Слушай, жена,— сказал отец из глубины спальни.— Ты ведь тоже вчера ела, а нынче опять хочешь. Вспомни нашего сына — кто знает, где теперь он и что с ним? Подай ему хоть малость!

И опять мать смягчилась и опять сотворила подаянье.

А на третий день стал просить Эспери свою мать уже о ночлеге:

— Добрая хозяйка, окажите приют на ночь!

И мать разгневалась еще пуще:

— Ды ты, бродяга, рехнулся! Прочь с порога, не выводи меня из терпенья!

— Жена, прошу тебя, пусти его! — сказал отец, вздыхая.— Ведь кто знает, где теперь наше бедное чадо! Может, тоже просит где-нибудь ночлега.

И тогда мать распахнула дверь в хлев, в закут и втолкнула туда сына, который и лег со всем смиреньем на солому среди скотины.

А на утро она вместе с двумя другими своими сыновьями пошла убирать скотину — и увидала: хлев весь залит светом; странник, мертвый, неподвижный, бледный, озаренный четырьмя горящими свечами, лежит на блещущей золотом соломе; паутина на балках сияет подобно алтарному убранству; очарованные быки и мулы стоят с полными слез глазами; воздух благоухает ароматом фиалок; лик почившего полон торжества и блаженства, в руках же почивший держит бумажку, записку:

— Я Эспери, сын ваш.

И тогда все пали перед ним на колени, крестясь и плача: Эспери стал святым.

⟨1931⟩

ВОЛХВЫ

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим Волхвы с Востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему...»

Старый провансальский поэт рассказывает, как они, детьми, встречали Волхвов на зимней, пустынной Арльской дороге.

Он рассказывает приблизительно так:

БУНИН
Фотография, 1930-е годы
Парижский архив Бунина

— Дети,— говорили нам матери в канун праздника Волхвов,— если вы хотите видеть их шествие к младенцу Иисусу, идите скорей им навстречу: уже вечереет. И несите им какие-нибудь дары...

И вот мы бежим, бежим по большой дороге на Арль.

— Дети, куда это вы так спешите?

— Навстречу Волхвам!

Мы бежим в наших провансальских колпачках, в маленьких деревянных сабо, с бьющимся от радости сердцем, жадно глядя в даль, в нашем воображении уже полную дивных видений, прижимая к груди наши дары: лепешки (для самих Волхвов), сушеные фиги (для их слуг и рабов), пучки сена (для их верблюдов)... Свищет ветер, холодно. Зимнее солнце склоняется к Роне. Ручьи подернуты ледяной коркой, трава по их берегам померзла. Краснеют безлиственные ветки ив, по ним зябко прыгают красношейки... И ни души кругом — разве какая-нибудь бедная вдова с вязанкой сухого хвороста на голове или старик в лохмотьях, который шарит под колючим кустом: не попадется ли улитка?

— Куда это вы, дети, так поздно?

— Навстречу Волхвам!

И опять вперед, еще резвей и веселей, вприпрыжку, бегом — по бесконечно белеющей дороге, выметенной зимним ветром... Крик, песенки, смех, головки назад — совсем молодые петушки...

А день уже на исходе. Колоколенка Майана давно скрылась за черными остриями кипарисов, кругом только голая, пустая равнина... Мы зорко рыщем по ней глазами: ничего, кроме игольчатых клубков перекати-поля, что мчит, крутит ветер по жнивью!

Впрочем, порой встречался какой-нибудь запоздалый пастух, который, завернувшись в свой истрепанный плащ, гнал домой свою отару.

— Дети, куда это вы в такую пору?

— Навстречу Волхвам... Не можете ли сказать, они еще далеко?

— Навстречу Волхвам? Ах да, правда, правда, нынче ведь канун их праздника... Они уже близко, вы их вот-вот встретите...

И опять вперед!

Но вот и совсем вечер. Солнце, преследуемое зимними облаками, спускается все ниже и ниже. Мы смолкаем, нам уже немножко жутко. Ветер еще резче дует навстречу, мы бежим уже не так резво... И вдруг:

— Вот они!

Из груди у нас всегда вырывался в этот миг безумно-радостный крик — и дивное, царственное великолепие ослепляло наши глаза: блеском, торжеством роскошнейших красок вдруг загорался запад. Там полосами пылал пурпур, золотом и рубином горел солнечный венец, раскидавший в зенит неба свои длинные зубцы-лучи...

— Волхвы! Волхвы! Видите венец, корону? Вон мантии, знамена! Вон кони и верблюды!

И мы замирали в изумленье, в восторге. Но не проходило и минуты, как все это великолепие, вся эта слава и роскошь гасли, исчезали, и мы снова, в большом разочаровании, оказывались одни, в сумерках, в поле.

— Где же они, где?

— Прошли за горами!

Стонала совка. Нас охватывал страх. Мы со страхом спешили назад, домой...

— Ну, что же, видели Волхвов? — спрашивали нас дома.

— Нет... Они прошли далеко, за горами.

— А вы шли по какой дороге?

— По дороге в Арлатан.

— Ах, дурачки, дурачки! Там Волхвов никогда не встретишь, нужно было идти по старой Римской дороге... А если бы вы знали, что это за

красота, когда они входят в Майан! Трубы, барабаны, слуги, рабы, верблюды... Теперь они уже в церкви, в Вертепе, поклоняются младенцу Иисусу. После ужина бегите скорей в церковь...

И мы наспех ужинали, бежали в церковь. Церковь была уже полна, блистала огнями алтаря, звездой, сиявшей над ним, и ярко озаренным Вертепом, где Волхвы в своих разноцветных мантиях — красной, синей и желтой — уже поклонялись младенцу-Иисусу, полагали перед ним свои дары: Гаспар — злато, Мельхиор — ладан, Валтасар — смирну... И, как только мы входили, пробирались вперед между женских юбок, орган, сопровождаемый пением всех молящихся, медленно зачинал, а потом широко и грозно раскатывал свои мощные звуки величавый рождественский гимн:

Нынче, в утренний час,
Встретил я на большой дороге
Караван трех великих Волхвов...

1931 г.

СВЯТОЧНЫЙ ВЕЧЕР

— А в наше время много всяких удивительных вещей случалось! Вот хоть бы взять эту историю с Белой Курицей. Немало доверчивых душ заводила она чуть не на край света. Раз чуть было не завела мою родную тетку. Вышла она как-то из дому, пошла собирать по пригорку хворост и вдруг видит: идет ей навстречу, идет и поклевывает чудеснейшая наседка, вся, как снег, белая, с янтарными лапками, с красным гребешком, сытая и гладкая,— просто загляденье. На деревне такой ни у кого не было, значит, чья-нибудь чужая, приблудная,— ну, понятно, тетка сейчас же к ней: «Цып, цып, цып!» Курица ничего себе, идет и клюет. Тетка нагнулась — та в сторону. Тетка за ней — она опять шмыг из-под ее руки и дальше. Тетка за ней, прибавляет шагу, опять ее настигает — нет, опять не тут-то было: скок из-под руки и трусцой вперед,— клюнет и опять засеменит, клюнет, клюнет — и этакой иноходью. А тетка все за ней, тоже уж рысцой: «Цып, цып, милая! Цып, чтоб тебя! Сядь, сядь, сядь!» А та будто и слушается — бежит, бежит и, глядь, присела. Но только присядет, только тетка, уж задыхаясь, вся в поту, чуть не со слезами, надбежит на нее — курица кудах-тах-тах! — подпрыгнет, взовьется и дальше, да все ловчей, все резвей, а тетка за ней, уж что есть мочи, падая, спотыкаясь, вне себя от обиды, стыда и злости. Ах, проклятое отродье, только бы настигнуть — задушила бы, не давши пикнуть! Да вот, попробуй-ка, настигни! Опять обе бегут, опять скачут и уж обе кричат: тетка — «Стой, такая-сякая! Стой!» А та: «А-а, кудах-тах-тах! О-о, кудах-тах-тах!» А уж не рано, а там уж и вечер, горы синеют, сумерки на все пали, деревня бог знает где сзади осталась, пошел кустарник, камни, скалы... «Дева-Мария! — кричит наконец ⟨моя⟩ тетка, — спаси и помилуй!» И, конечно, как только назвала святое имя, нет тебе никакой наседки, только камни, кустарник, да дикая темь ночи...

— А то мы, бывало, часто говорили об этой страшной Черной Свинье, на которую нарывались порой наши ребята, выходя из кабачка ночью, насквернословив там и налившись по горло: только они за порог, а свинья — хрюк! и всей своей тушей им в ноги, а они через нее вниз головой... Чья свинья, откуда? Во всей округе ни одной такой свиньи. Да и пропадала она всегда после такой штуки в одно мгновение ока: вскочут ребята, глянут — свиньи как и не бывало. Жгут спички, бегают, ищут — как провалилась!

— А то могу рассказать вам еще о Черной Кобыле. Эта история, пожалуй, еще страшней будет. Эту лошадь видели только раз, в Драгиньяне. Вышла однажды — вот так же, из кабачка, ночью — банда пьяных молокососов и видит — идет мимо превосходная черная матка.

— Вот так лошадь! — кричит один, какой попьянее.— Я такой никогда и не видел. Вот, небось, резвая лошадь! Стой, братцы, я сяду, прокачусь немного!

Хватает кобылу за гриву, а она этак спокойно остановилась и поджидает: садись, мол, очень рада. Он подскочил, сел и уж хочет трогать. Но тут другой лезет:

— Погоди, и я сяду, хватит и на двух места.

И тоже поскорей садится. А за ним третий:

— И я, ребята! Есть еще одно место! Места хватит!

И точно: места сколько угодно — спина кобылы стала как будто еще длиннее. Видя это, лезет на нее и четвертый, за четвертым — пятый... И представьте себе, какое чудо: чем больше лезет на лошадь народу, тем она все длиннее и длиннее! Уже человек двенадцать взлезло, а все еще не тесно.

— Иисус, Мария! Святой Иосиф! — крикнул, наконец, кто-то. И, понятно, как только крикнул, от Черной Кобылы и следа не осталось. А ведь не крикни он так-то, что бы было? Ищи потом всю эту пьяную банду! Умчала бы их Черная Кобыла куда надо, а куда — нетрудно догадаться: в Верхние Альпы, в какие-нибудь такие дебри, где есть провалы прямо в адскую пропасть, к самому черту!

— А про Черных Кошек кто, господа, знает? Есть такие, которыми скидываются ведьмы и которые, однако, живут себе преспокойно по деревням, при людях. И не только живут — большое счастье приносят: в таких домах всегда удача в хозяйстве, в наживе — деньги туда так и льются. Многие в таких кошек не верят, говорят, что это просто самые обыкновенные кошки и что зажиточность дома ничуть от них не зависит. Ну, что ж, сколько голов, столько умов, только, конечно, разных. Я могу одно прибавить — рассказать вам про моего дядю. Шел дядя раз по деревне лунной ночью, а черная кошка ему через дорогу. Он схватил камень — раз в нее со всего размаху! А кошка вскочила на ограду да оттуда и говорит ему этак кокетливо и жеманно:

— Надо, мосье, быть немного половчее. А то вот вы пустили в меня камнем и чуть было не угодили в окно соседу...

— Затем — домовые. О них всякому известно, но, чтоб уж покончить со всеми этими чудесами, скажу и о них два слова: как вы думаете, почему домовые так любят именно конюшню? А потому, что они бубенчики очень любят. Зазвенит бубенчик на муле — и то-то домовому радость! Хохочет до упаду и притом совершенно детским, прелестнейшим смехом. Многие из старых людей этот смех слыхали,— говорят, нельзя от улыбки удержаться: так это у него весело, мило, сердечно выходит!

1931 г.

«Последние новости». Париж, 1931, № 3577, 3749, 3929, 7 января, 28 июня и 25 декабря. Подпись: Ив. Бунин. Последние два «пересказа» имеют дату: «1931 г.».

Воспроизведено (без точной ссылки на источник): «Литературная Армения», 1967, № 5.

РИВЬЕРА

«Hôtel des Palmiers et de la Plage. Rendez-vous du high-life français et étranger, situation unique, vue incomparable, séjour idéal d'hiver et d'été, 300 chambres, dernier confort moderne, cuisine réputée, grand parc, tennis, deux garages, ouvert toute l'année...» *

Огромное, пятиэтажное здание, похожее на все отели в мире, безобразно высится над сплошными садами, спускающимися по холмам к берегу моря, синяя равнина которого кажется лежащей за древесными вершинами на их уровне. В нижнем этаже здания все залы не в меру обширны, с колоннами под мрамор. Из пространного вестибюля можно пройти по террасе со столиками и плетеными креслами под оранжевыми зонтами в парк. Он занимает южную часть поместья, бывшего когда-то монастырским, и похож на старый пальмовый лес. Стара в нем и великолепная кипарисовая аллея, покато идущая от террасы к морю, к пляжу. Днем из окон и с балконов верхних этажей видны влево дымчато-сиреневые прибрежья Италии, ночью — розовые огни Бордигеры.

Август, отель полон.

Он кто-то при каком-то министерстве иностранных дел. Она ждет из Парижа мужа. Оба от чего-то отдыхают. Познакомились после обеда в холле, теперь вместе купаются перед завтраком, ездят на автокарах в Монте-Карло, в Тюрби, Сен-Поль, Ванс, на Антибский мыс, на Лоренские острова... В отеле завтракают и обедают порознь, каждый за своим столиком, но после обеда пьют кофе и слушают музыку опять вместе. Потом выходят в парк и к морю — «подышать перед сном воздухом».

Ему лет сорок пять, ей около сорока. Оба высоки и стройны. Он сух, с подстриженными усами, в пенсне без оправы, которое он, беря перед обедом меню, кончиками пальцев сжимает, чтобы снять. Удивительно приличен и недоступен. Удивительно тонконог в голенях и щиколотках,— это даже поражает, когда он, в смокинге, в бальных туфлях лодочкой с бантиком и в черных шелковых чулках, сидит после обеда в вестибюле, положа ногу на ногу, куря сигару и прихлебывая кофе... Она выходит к обеду, блистая чудесно сделанным цветом лица, голых рук и плечей, подведенными глазами, жемчужным ожерельем, перстнями на пальцах с острыми ногтями, гофрированными платиновыми волосами, в длинном серебристом платье — в нем ее высокое тело изгибается так, точно оно без костей. Вся она, так же, как и ее серебристая сумочка, женственно пахнет пудрой.

Вот уже густо синеет жаркий южный вечер. Уж готова к обеду матово освещенная столовая. И долго идет этот не в меру изысканный обед дурного тона под струнную музыку, в тесноте того нарядного люда, что так зоологически идет на пляж утром в разноцветных халатах, из-под которых мелькают грубые, волосатые ноги мужчин и нежные, круглые — женщин.

С час посидев за кофе, после обеда, в холле, они не спеша выходят на террасу, на теплую лунную ночь. Он докуривает сигару, она, захватив левой рукой длинный подол, еще раз взглядывает, приподняв брови, в синеющее от лунного света зеркальце в сумочке, потом, щелкнув ею, говорит, вздыхая:

— Mon Dieu, quelle beauté**.

---

* Hôtel des Palmiers et de la Plage. Встречи людей высшего света Франции и других стран, местоположение единственное в своем роде, несравненные виды, идеальный отдых зимой и летом, 300 комнат, самый современный комфорт, прочно зарекомендовавшая себя кухня, обширный парк, теннис, два гаража, открыт круглый год... (*франц.*).

** Боже, какая красота (*франц.*).

Кипарисовая аллея под террасой высока, черна, неподвижна, в ее коридоре бархатно-темно, только кое-где блещут зелеными змеиными глазами пятна лунного света. Лунное море золотой выпуклостью лежит вдали, за чернотой кипарисовых вершин. Полная теплая луна спокойно стоит над пальмами влево,— в той стороне, где всегда по ночам роятся розовые огни Бордигеры. Он берет под локоть ее обнаженную руку, чувствуя холодок и персиковую нежность ее тела, осторожно сводит ее с террасы в аллею. В дальнем конце ее сумрачного и теплого коридора, упирающегося в море, таинственно, зеркально сияет полоса золотой воды. Всюду тишина, нигде ни души — все в холлах отелей, в барах, в казино... Они молча, под руку доходят до конца аллеи — теперь эта блещущая, чуть переливающаяся золотом вода в десяти шагах от них лежит плоско и низко. По сторонам сказочная пестрота света и тени под черными врозь раскинутыми султанами пальм. У скамьи в конце аллеи они останавливаются. Он кончиками двух сухих пальцев аккуратно сжимает щипчики пенсне, кладет его в наружный карманчик смокинга и, щурясь, смотрит невидящими глазами. Она с томным вздохом поднимает руки, кладет ему на плечи и, наслаждаясь изяществом своего любовного счастья, проводит по его губам бархатистой нежностью щеки, потом притворно-страстно впивается в них и дает ему влажный кончик языка.

10.I.44

Парижский архив Бунина.

Впервые опубликовано в 1963 г. в Нью-Йорке. Печатается по этому тексту с исправлением двух опечаток, указанных Л. Ф. Зуровым в письме к А. К. Бабореко 2 ноября 1962 г. («берет под локоть» вместо «берет по локоть»; «жаркий южный вечер» вместо «жаркий юный вечер»).

Датируется на основании сведений, сообщенных в том же письме: «Рассказ был написан 10.I.44. Назывался он тогда „Hôtel des Palmiers“. Рассказ был перепечатан потом Верой Николаевной. Иван Алексеевич сильно его выправил, выбросил конец. Французский текст вписал своей рукой. „Hôtel des Palmiers“ зачеркнул, надписал „Ривьера“».

Нью-йоркская публикация сопровождается примечанием Л. Ф. Зурова: «Рассказ „Ривьера“ Иван Алексеевич хотел включить в книгу „Темные аллеи“, но потом раздумал. Оставил его в пакете с ненапечатанными рассказами».

Воспроизведено (без первого абзаца и без точной ссылки на источник): «Дон», 1968, № 3.

АЛЯ

В далеком уездном городе, в далекой ранней молодости...

Приезжал из деревни брать книги в городской библиотеке — там и встретил в первый раз, вышли вместе, разговорились — оказалось, что наговориться по дороге нельзя, зашли в пустой городской сад, сели на скамью в главной аллее и опять без конца расспрашивали друг друга:

— Вы не кончили гимназию? А я кончила только прогимназию, у папы нет средств продолжать мое образование, он машинист на товарных поездах... Я теперь читаю «В лесах» и «На горах», а вы? Я люблю больше Лермонтова, чем Пушкина, а вы? Так вы правда приедете на будущей неделе? Мне столько еще надо спросить вас! Меня зовут Аля. А вас?

Когда во второй раз сидели в саду, говорили уже мало. Все целовал ее руку, она все ниже клонила голову.

Приехав накануне новой встречи вечером, остановился, как всегда, на постоялом дворе, пил чай в жалком номере, при одной темной свечке, и заснул под шум дождя, думая: нет, завтра бог даст милое утро, солнце... будут легкие тени на сырых дорожках сада, и опять буду сидеть и ждать ее, и выступят на глазах слезы сладкой жалости и счастья, когда увижу,

ГОРОДСКОЙ САД В ЕЛЬЦЕ
Открытка, начало 1900-х годов
Собрание С. В. Красновой, Елец

как она спешит ко мне в своей серенькой юбочке и голубой рубашечке...

Но утром она не пришла. Не пришла и на другой день. На вокзале узнал: машинист Ковальский переведен на Донецкую дорогу, а на какой именно участок будет назначен там, неизвестно.

‹16 марта 1944 г.›

Парижский архив Бунина.

Впервые опубликовано в Нью-Йорке: ранняя редакция (с датой «16.3.44»)— в 1959 г.; окончательная редакция (без даты; с сокращениями и стилистической правкой) — в 1962 г.

Печатается по тексту последней публикации. По свидетельству Л. Ф. Зурова, окончательная редакция рассказа (машинопись с авторской правкой) находилась в пакете с материалами, которые Бунин предназначал для печати («пакет, в котором „Зимний сон“ и прочее»; см.: Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 482).

Воспроизведено (в окончательной редакции, но без даты и указания на источник): «Смена», 1964, № 6.

«КОГДА Я ВПЕРВЫЕ...»

Ходит по его большому кабинету в необычное время, в одиннадцатом часу темного петербургского утра, горячо говорит, слушая только себя,— тонкая кожа щек горит розовыми пятнами, продолговатое лицо очень похорошело:

— Когда я впервые...

Уже забыла, что хотела сказать только одно,— «просто и честно» признаться в своей любви к другому,— упивается теперь своей театральностью:

— Когда я полюбила тебя или вообразила, что люблю... Когда я, неопытная, не знающая жизни, доверчивая девочка, впервые взглянула в лицо действительности...

Внезапно вошла к нему в халате, после ванны, вся пахнущая миндальным мылом, с красиво убранными блестящими волосами, и сама чувствует, что должен чувствовать он, глядя на движения ее высокого тела под мягкой фланелью, подпоясанной длинным шнуром, на то, как открываются от быстрой ходьбы ее долгие ноги в натянутых черных чулках...

— Я решила наконец просто и честно, как порядочная женщина, положить конец тому двусмысленному положению, которое образовалось между нами — лично для меня, по крайней мере...

Он, повернувшись в кресле возле письменного стола, уже одетый с утренней тщательностью для выезда в город, слушает идиотически, думает «положить наконец конец!» и делает вид, что очень занят стряхиванием в пепельницу пепла с папиросы. Бормочет фальшиво-дружески:

— Да, да, пожалуйста, говори все откровенно, напрямик... И поверь, что я сумею стать выше эгоистических соображений...

— Да, прежних чувств у меня к тебе нет! Да, ты убил их во мне!

— Чем, мой друг?

— Всем, всем!

— Например?

— Например! Когда я впервые поняла наконец, что все то духовное, чистое, на что я так страстно надеялась, вступая в жизнь...

Он сидит, опустив голову, пристально разглядывая свои размытые ногти, уже бледнея от злобы, и тихо говорит:

— Позволь тебе напомнить, что, «вступая в жизнь», ты имела уже двадцать восемь лет...

22.4.44

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1961 г. в Нью-Йорке. Печатается по тексту этой публикации.

Воспроизведено: «Неделя», 1962, № 17, без даты и без указания на источник.

ЖЕЛЕЗНАЯ ШЕРСТЬ

Предисловие Э. В. Померанцевой

В этом рассказе использованы поверья и былички о русалках, лешем и оборотнях, распространенные в средней полосе России, в частности в Орловской и Тульской губерниях. Так, в конце XIX в. в Орловской губернии было записано множество рассказов о лешем, в том числе о встрече его с девушкой в лесу, о девушке, ушедшей в монастырь, чтобы избавиться от сладострастного змея, и др. В рассказах этих рисуется облик лешего: «Старый, старый, как человек, бородища длинная, голый, вот как есть человек, а руки-то волосатые, мохнатые»; в поверьях, записанных в Орловской губернии, рассказывается и о русалках: «Ходят голые, волосы по самые пяты. Бегают по лесу, ищут человека, чтобы защекотать» (Архив Гос. музея этнографии, ф. В. Н. Тенишева. Орловская губ., раздел Ж). Возможно, Бунин знал популярную в начале 900-х годов книгу С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» (СПб., 1903), в которой есть описания лешего (стр. 68—77), русалок (стр. 100—104), кликуш (стр. 147—158) и оборотней (стр. 105—108). «Деревенские слухи,— пишет Максимов,— очень настойчиво приписывают, между прочим, лешим страсть к женщинам и обвиняют их в нередких похищениях девушек. Кое-где рассказывают об

СТРАННИК
Этюд И. Е. Репина. Масло, 1881
Пензенская
областная картинная галерея

этих связях с мелкими подробностями ⟨...⟩ В Тульской губ. ⟨...⟩ уверяют, что в старину, когда около сел были большие леса, девушки сами убегали к лешим, жили с ними года два-три и затем возвращались домой с кучей денег и т. п.» (стр. 76). В бунинском рассказе имеются также отзвуки сказок о медведе, от которого девушка родила сына («Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня-богатыри», «Иванко-Медведко» — см. «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах». М., 1957, т. 1, № 141 и 152). Название «медведь-железная шерсть» встречается в сказке «Звериное молоко» (там же, т. 2, № 202). Сходные мотивы бытуют и в фольклоре других европейских народов — вспомним повесть П. Мериме «Локис», которая восходит к литовским сказкам. В «Указателе сказочных сюжетов» Н. П. Андреева отмечен сюжет о чудесном супруге (Л., 1929, № 311, 425—440), отдаленно напоминающий рассказ Бунина.

Однако фольклорным рассказам о сожительстве женщины с лесным духом или зверем Бунин дает собственную интерпретацию, отличающуюся от той, которая встречается в народном творчестве, за исключением, быть может, быличек и бывальщин об огненном змее, навещающем в образе покойного мужа тоскующих вдов.

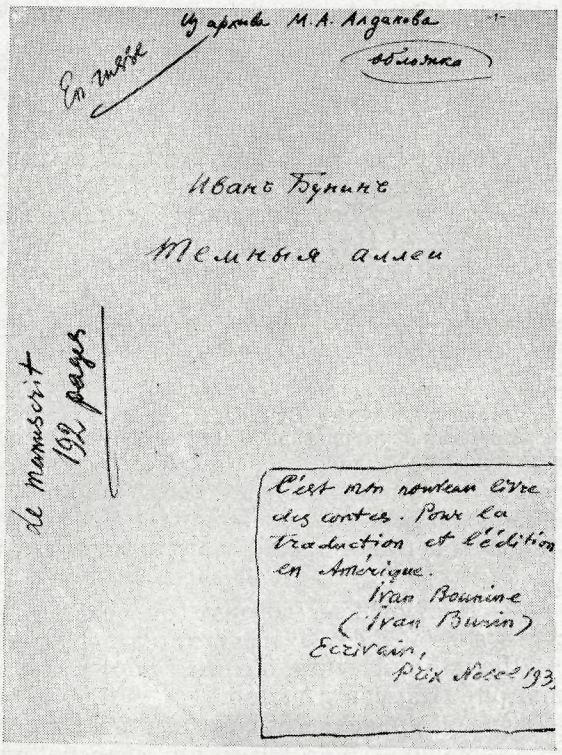
— Нет, я не инок, ряса моя и скуфья означают лишь то, что я грешный раб божий, странник, сушею и водами ходящий вот уже шестой десяток лет. Родом же я дальний, северный. Там Россия глухая, древняя, леса да болоты с озерами, селения редкие. Зверя много, птицы несть числа,

филинов ушастых видишь — сидит в черной ели, пучит янтарное око. Есть носатый лось, есть прекрасный олень — плачем и зовом звенит в бору к своей подруге... Зимы снежные, долгие, перехожий волк под самые окна подходит. Летом же качается, шатается по лесам медведь широколапый, в дебрях леший свищет, аукает, на дудках играет; в ночи утопленницы туманом на озерах белеют, нагими лежат на брегах, соблажняя человека на любодеяние, ненасытый блуд; и есть немало несчастных, что токмо в сем блуде и упражняются, провождают с ними ночь, день же спят, в тресовицах пылают, оставя всякое иное житейское попечение... Несть ни единой силы в мире сильнее похоти — что у человека, что у гада, у зверя, у птицы, пуще же всего у медведя и у лешего!

Тот медведь у нас зовется Железная Шерсть, а леший — просто Лес. И женщин любят они, и тот и другой, до лютого лакомства. Пойдет женщина или даже невинная в бор за хворостом, за ягодой — глядишь, затяжелела: плачет и кается — меня, говорит, Лес осилил. А иная на медведя жалуется: повстречал-де Железная Шерсть и блуд со мной сотворил — могла ли от него спастись! Вижу, идет на меня, пала я ниц, а он надшел, обнюхал,— мол, не мертва ли? — завернул на мне свитку и исподнее, задавил меня... Только, правду сказать, нередко лукавят они: случается даже с отроковицами, что сами они прельщают его, падают на земь ничком и, падая, еще и обнажаются, как бы нечаянно. Да и то взять: трудно устоять женщине что перед медведем, что перед лешим, а что будет она оттого впоследствии времени кликуша, икотница, о том заране не думает. Медведь — он и зверь и не зверь, недаром верят у нас, что он может, да только не хочет говорить. Вот и поймешь, до чего женской душе прельстительно иметь такое страшное соитие! А про лешего и говорить нечего — тот еще страшней и сладострастнее. Я о нем ничего не могу утверждать, бог миловал видеть его, а которые видели, те говорят, будто он подобен по рубахе и портам и прочей наружности мужику-смолокуру, однако же кровь у него синяя, оттого и с лица темен, ногами мохнат и тени от себя не может иметь ни при солнце, ни при месяце; завидя на лесном пути прохожего, тот же час согнется весь и такого духу даст — векша не догонит! Не то при встрече с женщиной: он не токмо не боится ее, но, зная, что тут ее самоё ужас и похоть берет, козлом пляшет к ней и берет ее с веселостью, с яростью ⟨...⟩

Все сие я к себе клоню. Пошел я на весь свой век сирым странником по причине того несказанного бедствия, что постигло меня на самой заре моей. Женили меня родители на прекрасной девице из богатого и старинного крестьянского двора, которая была еще млаже меня и дивной прелести: личико прозрачное, первого снега белей, глаза лазоревые, как у святых отроковиц... Но вот, в первой же брачной ночи нашей, кинулась она от моих объятий под образа в спальной горнице, говоря мне: «Ужели дерзнешь взять мое тело под святой божницею и елейными лампадами? Я приняла венец с тобой не своею волею и не могу быть твоей супругою, зане должна удалиться в скит и монастырь, дабы принять другой венец, умереть для мира заживо, по жестоким грехам моим». Я отвечаю ей: «Видно, впала ты в безумие, какой же может быть жестокий грех на твоей душе в твоем невинном возрасте!» Она же мне: «Про то одна матерь божия ведает, ей же дала я, покаявшись, обет быть чистою». И тогда я — пуще всего от ее сопротивления и подобных страшных слов, да еще под святынями — озверел столь необузданной страстью, что упился ею как раз на том месте, на полу, сколь ни противилась она своей слабой силою и мольбами и рыданием, и вспомнил лишь после того, что имел я ее невинности уже лишенную, не подумавши, однако, кем и как лишена она ее. Будучи во хмелю, в сей же час заснул крепким сном. Она же, в одном ис-

СБОРНИК «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»
Обложка рукописи, подготовленной Буниным в 1942 г. и отправленной им для издания в США
Автограф
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва



поднем, убежала из спальной горницы в лес и там на своем брачном поясе повесилась. Когда же обрели ее там, то увидели: сидит на снегу у тонких босых ног ее, склонив голову, великий медведь. И, как тот олень, три дня и три ночи оглашал я потом леса окрест своим плачем и зовом, ее на земле уже не достигавшим.

1.5.44

Ив. Б у н и н. Темные аллеи. Париж, 1946. Печатается по экземпляру с авторской правкой Бунина: ИМЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 69.

Воспроизведено (без учета авторской правки): «Литературная Армения», 1967, № 5.

МОДЕСТ

Южный сентябрь, на солнце жарко, сухо, везде все блестит. На окраине города конная ярмарка. Он богатый лошадник, рыжий, щуплый, в чесучовом пиджаке, в черных штанах и высоких сапогах, в белом картузе, с золотым перстнем на указательном пальце. Он целый день на ярмарке. А в городе, в номере гостиницы с прикрытыми сквозными ставнями, в душном полусвете, лежит на диване, в одной розовой сорочке, его содержанка, крупная, полная, сдувает с потной верхней губы мух и белыми руками выбирает из воды в тарелке и ест крупный, размокший изюм. Лицо девки широкоскулое, курносое, нежное, тело чудесного животного, руки и ступни прекрасные, с удлиненными пальцами, с тонкой блестящей кожей.

У него странное для лошадника имя — Модест. Сиплый, ласковый голос и необыкновенная деликатность. В седьмом часу вечера осторожный стук в дверь.

— Модест, ты?

— Я, Маньичка. Можно?

И входит потный, похудевший, вытирая платком веснушчатое лицо и весело говоря:

— Это же, ей богу, кошмар! Там такая жара, пыль и такие жуки! Сплошная наглость! Ну, добрый вечер, голубка, живенько вставай и одевайся. Предлагаю немножко покутить в «Тиволи». Что ты на это скажешь, золотко? Надеюсь, довольна?

И с хитрым смешком треплет по розовой сорочке на ляжке.

16.10.44

Парижский архив Бунина.

Впервые опубликовано в 1962 г. в Нью-Йорке. Печатается по тексту этой публикации.

КРЕМ ЛЕОДОР

— Послушай,— говорит он, сдвигая брови.— Так дальше продолжаться не может. Я давно хотел поговорить с тобой серьезно...

Щелкнув плоским золотым портсигаром, закуривает новую папиросу, швырнув окурок в камин.

Она, в японской прическе, в цветистом кимоно, полулежит на атласных подушках на оттоманке, сбросив на ковер соломенные сандалии и подобрав под себя босые ноги, показывая голые блестящие коленки под короткой, точно детской розовой сорочкой, мягко выгнув талию, отставив овальный зад; просматривает объявления в газете «Харбинская заря» и отвечает, не поднимая глаз:

— Я слушаю.

Он, прислонясь к камину, отрывисто затягиваясь и тревожными, сумасшедшими глазами то и дело взглядывая назад, в зеркало над камином, начинает говорить — страстно, старательно, книжно, выделяя запятые и придаточные предложения. Она иногда взмахивает на него пушистыми детскими ресницами синих ангельских глаз, но все смотрит вкось на газету: «Вышел в свет новый роман Марка Долинского „Маскарад чувств“, около 400 страниц убористой печати. В этом романе талантливый автор смело подходит к щекотливой теме: жена или любовница? — сочными мазками давая яркий образ героя, запутавшегося в противоречиях душевных эмоций и звериного зова разнузданной плоти».

— Я прошу тебя слушать! — говорит он резко и громко.— Брось газету!

— Я все прекрасно слышу. Только я совершенно не понимаю, какая муха тебя укусила...

— Эта муха кусает меня с самого приезда нашего в Париж! Еще в Харбине я не раз говорил тебе совершенно определенно: совместная жизнь, налагающая как на мужчину, так и на женщину известные обязательства, повелительно требует...

Она встряхивает стриженой и подвитой головой и опять косит глаза: «Красивые руки нежного матового оттенка легко приобретаются, ухаживая за ними кремом Леодор. Этот крем с чудным запахом поможет каждой элегантной женщине оставаться победительницей, отвечая всем требованиям, которые ставятся к современным средствам ухода

за красотой...» Потом, не глядя на него, говорит как можно естественнее:

— Я все-таки не могу понять, что ты хочешь от меня. Какие еще обязательства нужны тебе? Я не виновата, что кто-то как-то смотрит на меня...

Он опять швыряет окурок, опять щелкает портсигаром и полоумно взглядывает назад, в зеркало: лицо, на мгновение отразившееся в зеркале, кажется ей кривым, как всякое отражение чужого лица. Это ей смешно, но она тупо и грустно продолжает:

— Я не виновата, что ты всюду и всегда...

Он запальчиво перебивает:

— Виновата или не виновата, но я знаю одно! То, что этот прохвост позволяет себе обращаться с тобой, как с своей б⟨...⟩. И я заявляю тебе в последний раз...

Она опять косится:

«Издательство „Пропилеи" только что выпустило в продажу роскошно изданный содержательный труд известного германского ученого д-ра Адольфа Кайзера „Техника любви", который несомненно явится настольной книгой для всякого живущего сексуальной жизнью и пытающегося познать ее в самых сокровенных формах и проявлениях, со множеством пикантных иллюстраций в тексте на лучшей меловой бумаге. Труд этот поднял в Германии целую революцию и разошелся в громадном количестве экземпляров, представляя собой целую симфонию оттенков страсти...»

Он решительно застегивает пиджак, сверкая глазами:

— Я твердо говорю в последний раз: если ты...

Она вдруг вскакивает, сбрасывая с оттоманки толстенькие ноги с золотыми ногтями, и жалобно вскрикивает тонким голосом:

— Ты запутался в противоречиях разнузданного зова! Оставь меня ради бога в покое!

⟨1944⟩

Машинопись с авторской правкой. Фотокопия (ГБЛ; подлинник в собрании С. Ю. Прегель, Париж). Подпись: Ив. Бунин; дата в конце («2 ⟨прзб.⟩. 44») зачеркнута. В 1946 г. Бунин послал эту рукопись С. Ю. Прегель для издаваемого ею журнала «Новоселье» со следующим обращением: «Дорогая Софья Юльевна, вот что могу сейчас предложить. Думаю, что это довольно страшная история, одна из тех, которыми переполнен мир. Не понравится — не печатайте. Сердечный привет. Ив. Б.»

Впервые: «Новоселье», Нью-Йорк, 1947, № 31—32 (январь — февраль).

Воспроизведено (без указания на источник): «Наш современник», 1962, № 5.

ПРОРОК ОСИЯ

В Иудее показывали мне немало легендарных мест: вот пещера, где скрывался пророк Иеремия, вот развалины дома, в котором жил пророк Осия...

«Начало слова господня к Осии. И сказал господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда: ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от господа...»

«И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима...»

Придержав верховую лошадь, проводник говорил:

— Вот здесь жил пророк Осия.

И я смотрел на груду неотесанных серых камней,— развалившийся остов первобытной хижины, проросший огромным кактусом, под которым торчали кое-где края разбитых черепков... Ужели и впрямь тысячелетия тому назад жили они тут, Осия и Гомерь? Я долго стоял в оцепенении, думая о нем и о ней, глядя на безобразно завалившиеся камни, на толстые,

усато-колючие лопасти кактуса, цветшего своим ядовитым желтым цветком...

«Книга Осии» одна из самых невразумительных и наиболее забытая из пророческих книг. Но история его личной жизни, будь она написана, не уступила бы, может быть, ни с чем несравненной «Книге Руфь». Ибо, по преданию, пророка Осию сделало пророком семейное горе: Гомерь была совсем девочка, а он был уже не молод; он был целомудрен, задумчив, грустен, а она, невзирая на свое детство, была безмерная блудница.

Машинопись с авторской правкой, сделанной при подготовке к изданию сборника «Весной в Иудее.— Роза Иерихона» (Нью-Йорк, 1953), в котором эта миниатюра была напечатана (ИМЛИ, ф . 3, оп. 1, ед. хр. 55).

«Пророк Осия» написан по впечатлениям от путешествия Бунина в Палестину (1907 г.), но время создания рассказа остается неизвестным.

«Книга пророка Осии», как и упоминаемая «Книга Руфь», входит в состав Библии («Ветхий завет»). В начале Бунин приводит текст из этой книги (гл. I, ст. 2 и 3).

ГОСПОДИН ПОРОГОВ

«Илия же, муж косматый, препоясанный ре́мнем по чреслам своим, изыде на Кармил и преклонися на землю и положи лице свое между коленами своими и рече отрочищу своему: взыди и воззри на пути морские».

И вот бог дал мне высокую радость видеть воочию те «пути морские», синей хлябью уходившие в даль от подножий Кармила.

Видел я в те счастливые годы и великий Некрополь Египта, развалины храмов и богов его, их прямые, спокойные позы — знак долголетия, неизменности. Видел на далеком пути к Суану пещеру святого Антония: знойно-сонный Нил в ложе мертвых пустынь, знойно-желтые обрывы скал, отсвечивающих в Ниле, и эту пещеру — один из несметных египетских могильников. Там с восторгом думал я о том, что в дни Антония волосатые фиваидские отшельники созывали друг друга на молитву из этих пещер-могильников *звуком коровьего рога*.

За Суаном видел я малый остров Изиды и два храма ее, дальше — черную Нубию и Пороги нильские. И там думал о первом из Нильских богов, имя коего было:

— Господин Порогов.

Он мне чудился там, в этом страшном царстве египетского Юга, в вечном молчании его светоносных полдней, всюду незримо сущим и живым: диким, нагим, чернокожим исполином, со взором блестящим, как черный алмаз, с волосами, «иссушенными и закурчавленными Солнцем».

Машинопись с авторской правкой: ИМЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 48. Правка сделана для сборника «Весной в Иудее.— Роза Иерихона» (Нью-Йорк, 1953).

Эта миниатюра, время создания которой неизвестно, навеяна воспоминаниями о путешествии в Египет (1911), когда Бунин посетил Ассуан. Возможно, что это — поздняя обработка путевых дневниковых записей. О том, что Бунин вел такие записи, свидетельствует рассказ «Воды многие» (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 313—337 и примечания к нему — стр. 528). Примером путевого дневника является также очерк «В стране пращуров» (настоящ. кн., стр. 76—78).

Библейское предание связывает Кармил с именем пророка Илии, посрамившего здесь жрецов Ваала (Третья книга царств, гл. XVII — XVIII; Четвертая книга царств, гл. I—III). Начало миниатюры — контаминация строк из Библии (Четвертая книга царств, гл. I, 8; Третья книга царств, гл. XVIII, 42—43).

В Фиваиде, на берегах Нила, сохранились пещеры, где в III—IV вв. жили христианские отшельники, в том числе основатель монашества Антоний, причисленный к лику святых.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ РАННИХ ЛЕТ (1886 — 1892)

‹ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА›

Предисловие А. С. Логвинова

Вспоминая начало литературной деятельности писателя, В. Н. Бунина сообщает: «Первый рассказ „Нефедка“ был помещен в „Родине“, как и „Два странника“ в 1887 и 1888 годах» («Жизнь Бунина», стр. 47). Но пробовать свои силы в прозе Бунин начал гораздо раньше. Осенью 1886 г. он приступил к работе над повестью «Увлечение» (Гольдин, стр. 15—16).

Лирический набросок, публикуемый под условным названием «Песня жаворонка», — еще одна из таких ранних попыток молодого автора художественно выразить свои чувства и переживания в прозе.

В некоторых местах набросок напоминает отдельные картины из «Жизни Арсеньева», написанные, естественно, с неизмеримо большим мастерством. Так строчкам: «Мы жили на краю большого села. От нашего домика уходили вдаль нивы...» —соответствует в «Жизни Арсеньева» развернутая картина: «Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...» (Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 9).

А овраги, в которые сходил он в жаркий полдень и там «разгоряченным лицом ложился на холодную траву», напоминают нам «Провал», который «был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем» и который для Алеши Арсеньева был «самым глухим» «из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось, сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея» (там же, стр. 21).

В отличие от повести «Увлечение» и ряда других ранних произведений писателя, написанных в плане объективного повествования, ‹«Песня жаворонка»›, так же как и публикуемый ниже фрагмент «Свет жизни», выполнена в лирической манере — той манере, которая проявится у Бунина наиболее полно в 1900-е годы и станет характерной чертой его реализма.

Я помню себя еще маленьким мальчиком, когда я услыхал песенку жаворонка. Это было весеннею зарею, когда в небе одна за другою гасли * серебряные звезды.

Мы жили на краю большого села, от нашего домика уходили в даль нивы, а с другой стороны в темных оврагах распевали весною потоки, падая с уступа на уступ и ** разбегаясь по голышам. Сочная молодая травка вырастала в мае на этих уступах, и я помню, как часто я сходил в жаркий полдень на эти лужки и разгоряченным лицом ложился на холодную траву...

Но слушайте дальше.

Долго я сидел взаперти зимою в домике, про ***

И вот наконец пришла весна. Я стал гулять по проталинам в саду. Дни были теплые, влажные. Вон за оврагом от оттаявшей земли всходит пар. Земля отходила, и далеко по лугам весь день стояли туманы.

---

* *Зачеркнуто*: золотые и

** *Зачеркнуто*: тонкими струйками пробираясь

*** *Лист оборван.*

А петухи распевали во все горло, оглашая село своими криками, воробьи, как сумасшедшие, трещали по голым кустам калины и смородины.

Весело было мне смотреть, как первая муха забилась у нас между рамами и солнце забрасывало теплый луч в комнаты. Под окнами у нас стояли лужи воды, и когда солнечный день играл на них, они трепетали, дрожали и сверкали, как расплавленное золото, и на потолке нашей комнаты отражалась та же лужа и так же дрожала и сверкала она.

И вот в это-то время я услыхал жаворонка.

Помню, после теплого светлого дня наступила ночь, погасла вечерняя заря, но долго не смолкали грачи в ближней березовой роще и, когда наконец замолкли они, глухо было слышно, как шумели потоки, словно кто лил из ушата в кадку воду, как шуршал порою обваливающийся снег. Я долго не спал, долго лежал с открытыми глазами в своей комнате. В моей детской голове связывались разные фантастичные мечты, наконец я стал уже забываться, когда часы пробили три раза. Звуки эти заставили меня опять очнуться. Я полежал еще несколько времени, и в голову мне пришла мысль, — не спать до утра, видеть, как поднимается солнце.

«Должно быть, недалеко до зари», — подумал я и взглянул на небо через окно. Но небо было еще темно. И какая-то большая звезда голубым блеском мерцала через стекло. Я подумал, как должно быть хорошо теперь на дворе и решился одеться и выйти.

Робко я пробрался по темным комнатам и вышел из гостиной с балкона в сад. Сад выходил в поля. Я долго гулял по ним, сначала с непонятным замиранием сердца, а потом смелее. Я слышал шум воды, слышал, как в темных кустах что-то копошилось и пищало. Я останавливался, закидывал голову* и долго смотрел в глубину неба, и мне казалось, что мириады звезд словно были развешаны в темно-синем пространстве. И тогда-то, может быть в первый раз, пробудилось во мне смутное чувство трепета и благоговения перед творцом миров, благословляющим свои создания и распускающим над землею свой милостивый, божественный покров...

А между тем далекий край неба уже начал бледнеть. Тихо приближалась весенняя заря, и жизнь начала просыпаться. Где-то далеко на деревне закричал петух, за ним другой, третий... Воробей сквозь утренний чуткий сон чирикнул в кустах. Ветерок шевельнул деревья и стих... прозвенел вдалеке на поле бубенчик на жеребенке, должно в ночном, и замер.

Все опять замолкло... Тихо стало на земле и на небе, затихла природа, затаила дыханье в ожидании дня.

И я услыхал, как с опушки сада вспорхнула птичка. Скоро в утреннем чистом воздухе раздались звонкие трели жаворонка и с тех пор остались на всю, кажется, жизнь в душе.

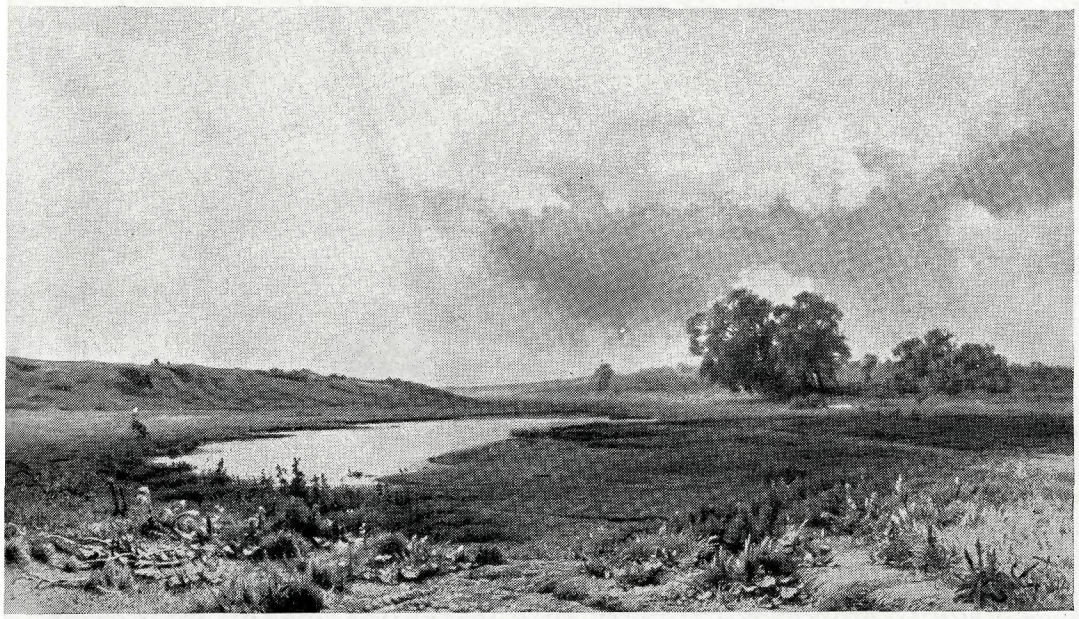
Мне показалось, что смолк глухой ропот потоков и все стало внимать тихо-звонким трелям. И на эту песнь отозвалась моя чуткая детская душа. Я, помню, прислушивался, прислушивался и непонятная тихая грусть овладела мною. У меня покатились слезы. Я хорошо чувствую и сейчас эти моменты в то время, когда я сосредотачиваюсь и на минуту забываю бедную жизнь мою, отдаваясь прошлому.

А жаворонок пел, и мне казалось, что он рассказывает что-то ангелам, которые глядели на землю своими кроткими очами; жаворонок видит, думал я, вон тот луч, наполненный утренним туманом, видит, быть может, меня и поет свою тихую песенку. О чем он поет? Его грудь, может, трепещет от наслаждения, что он дрожит в темном весеннем воздухе. Он видит, как спит бедный труженик, он слышит голоса пробуждающейся природы...

Нет! ничего нету милее песни жаворонка. Соловьиная голосистая песня торжественна и звучит любовью страстною и кипучею. Трель жаворонка звонкая, и что хранится в тайниках наших душ, что хранится там самого лучшего, откликается на нее. И теперь, когда я уже вступил в жизнь, когда она уже успела наложить на

---

* *Зачеркнуто*: на спину



МОКРЫЙ ЛУГ
Картина маслом Ф. А. Васильева, 1870
Третьяковская галерея, Москва

меня свою грубую ладонь, воспоминание о весенней заре, чистой, как божий ангел, воспоминание о песенке жаворонка возвращает душе моей чистоту и невинность...

А жаворонок долго пел, пел, пока выплыло солнце, когда веселее взглянул мир божий, и опять полые воды еще сильнее разыгрались на лугах *.

1887

Беловой автограф с авторской правкой (без заглавия): ГМТ, № 966, л. 1—4. Дата и подпись: «Пис. 1887 года. Ив. Бунин». Лист первый поврежден—верхняя часть его оторвана.

Впервые отрывки из этого наброска приведены в статье: Гольдин, стр. 4.

СВЕТ ЖИЗНИ

Сказка

Предисловие Л. Н. Афонина

Произведение, несомненно, автобиографическое, «Свет жизни» по своему содержанию и стилю близок к публикуемой выше «Песне жаворонка», открывая интеллектуально богатый, озаренный поэтическими переживаниями мир будущего писателя. Эта «сказка» — свидетельство того, что уже в самом начале творческого пути Бунина волновала проблема «рождения художника», которой впоследствии был посвящен роман «Жизнь Арсеньева». Интересен этот фрагмент и чисто фактическими сведениями: он расширяет наше представление о круге чтения юного Бунина, вводя в число его любимых поэтов имена Гейне и Теннисона.

Впервые сведения об этом этюде приведены в статье: Гольдин, стр. 4 и 7.

---

* *Далее в автографе зачеркнуто*: Эта песнь связалась с моею душою. Когда порою горе подойдет ко мне, я вспоминаю песню жаворонка, и мне станет легче. Тяжелая тоска сменяется тихою грустью. Я плачу тогда, и в сердце у меня звучит трель птички.

Вспоминается мне село, сады, поля, овраги и весенние потоки, которые играли и шумели в них, падая с уступа на уступ...

... В старой и тихой улице одного небольшого города, в бедном мещанском домике я знал мальчика; он был привезен из деревни, с далекого сельского хутора, затерявшегося среди высоких степных хлебов, чтобы учиться всему, что знают в большей или меньшей степени все люди и что составляет, по мнению этих людей, необходимую принадлежность жизни. Мальчик не представлял из себя ничего особенного; он был некрасив даже. Лицо его было очень часто болезненного цвета; характер его был, по словам его воспитателей, испорчен: он легко раздражался и в такие минуты плакал злыми недетскими слезами. Быть может, это случалось от той же болезни.

Но наряду с этим в душе ребенка жило с первых дней младенчества нечто совсем иное, нечто глубокое и прекрасное, хотя многие взрослые люди, окружавшие его, вовсе не считали это свойство прекрасным. Сам ребенок впоследствии, будучи уже не ребенком, а юношей, старался развить это свойство своего сердца, называя его своим единственным счастием, и, разумеется, не обращал внимания на тех, которые говорили, что он обладает глупым счастием.

И люди эти отчасти, с своей точки зрения, были правы.

Не всегда, разумеется, это свойство, это чувство царило в душе ребенка. Но когда оно охватывало его, он забывал для него все. А охватывало оно душу ребенка тогда, когда он бывал увлечен или дружбой с каким-нибудь из школьных товарищей, или зачитывался каким-нибудь поэтом и бессознательно, не все вполне понимая, наслаждался, охваченный непонятным восторгом, его произведением, или весной уходил за город, ложился где-нибудь во ржи на высокой меже и глядел в далекое небо, где стоял черной точкой степной ястреб, между тем как по полю ходили медленные и плавные волны золотистой ржи и в траве стрекотали бесчисленные кузнечики.

Тогда он начинал лениться в школе, подолгу задумывался, и бог знает, что творилось тогда в его душе. Может быть, он становился или чувствовал себя, по крайней мере, тогда великим человеком.

Сам он ясно не помнит, что ему мечталось и что снилось иногда в долгие ночи. Помнит только, что его настроение всегда сказывалось в странных образах и поэтических сновидениях. В первые годы отрочества больше всего ему снились картины природы.

Как-то раз ему попалась одна из книг великого немецкого поэта, и после этого почти всегда ему грезились горы. Он старался представить себя свободным в горах, одиноким и задумчивым, и невольно повторял с поэтом:

Ухожу от вас я в горы,
Где живут простые люди,
Где свободно веет воздух
И дышать просторно груди,
В горы, где темнеют ели,
Шумны, зелены, могучи,
Птицы свищут, воды плещут
Да свободно мчатся тучи [1].

Помнит он, как он плакал, читая чудные строки из «Королевы Мая» Теннисона [2], помнит, какое неизгладимое впечатление производили на его сердце сказки, чудные, проникнутые высокими мыслями и глубоким гуманным чувством, сказки великого датского поэта [3].

Часто, под влиянием прочитанного, снилось еще ему тихое, голубое море... Свежий, легкий ветер гонит к берегу волны... Вдалеке белый парус и белые полосы пены, отливающей шелком на солнце... Чайки качаются вместе с прибоем под скалами... Высокие стебли водяных зеленых растений колыхаются взад и вперед от ветра... И отовсюду веет свободой, веет радостной и бодрой жизнью, и сердце наполняется вольным, юным, блаженным чувством.

После таких мечтаний, весь обвеянный поэтическим настроением, только и бывал бесконечно, по-детски счастлив мальчик, забывая серенькую, будничную жизнь.

Помнится мне, как он в первый раз влюбился. Ему было тогда лет тринадцать, и первая его любовь была странного характера. Пожалуй, ее нельзя даже назвать любовью.

В той церкви, куда он обыкновенно ходил к вечерне с своим воспитателем-студентом, высоким *

‹1886—1887›

Беловой автограф: ГМТ, № 962, л. 1—2 об. Конец утерян. Основанием для датирования служит почерк, одинаковый с почерком поэтических тетрадей 1886—1887 гг.

[1] Г. Гейне. Путешествие на Гарц. Пролог (перевод М. Л. Михайлова). Бунин мог знать эти стихи по изданию: «Собрание сочинений Г. Гейне в переводах русских писателей, изданное Н. В. Гербелем» (т. 2. СПб., 1878). Очевидно, он цитировал по памяти — последние две строки приведены неточно.

[2] Вероятно, поэму А. Теннисона Бунин знал по сборнику: «Английские поэты в биографиях и образцах». Изд. Н. В. Гербеля (СПб., 1875); это была одна из первых книг, прочитанных им в детстве (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 258).

[3] Впоследствии Бунин вспоминал: «Из того, что произвело на меня в первые гимназические годы особенно поэтическое и восторженное впечатление, вспоминается сейчас „Колокол“ Андерсена» (там же).

НЕФЕДКА

Святочный рассказ

Нефедкой его звали почти все. Несмотря на то, что в его реденькой и жесткой бородке было уже несколько посеребренных годами волосков, такая кличка нисколько не странно звучала в его ушах. Он привык, давным-давно привык ко всему подобному. Ему казалось, что называть его иначе даже невозможно. Иногда только он хотел показать вид, что обижается, если, например, за ним гурьбой кричали мальчишки, когда ему случалось медленно возвращаться домой из кабака, сильно раскачиваясь в разные стороны. Тогда он старался сделать свои маленькие пьяные глаза злобными и презрительными.

— Нефедка, Нефедка! — повторял он хриплым голосом. — Ишь, чертенята! Кому — Нефедка, а вам — дяденька!..

Но ничто не могло внушить к нему уважение. Он был деревенский беднягa-сапожник, один из тех несчастных субъектов, пришибленных бесприютной нуждой, которые махнули рукой на всю свою горемычную жизнь. Он жил где-то на краю села на квартире, в маленькой и темной избушке, почти вросшей в землю, жил и грязно, и крайне бедно, несмотря на то, что работал, не разгибаясь, по целым дням. Детей у Нефедки было много, а жена, чахоточная, изнуренная женщина, почти всегда лежала больною.

Нефедка все это видел и никогда не жаловался и не скорбел ни о чем. Маленькие глазки его почти всегда добродушно или хитро улыбались, хриплый голос звучал хоть и отрывисто, но весело и беззаботно... Пьяный, он иногда плакал, но плакал вполне бессознательно. Даже грустные чувства не размягчали его загрубевшего сердца.

Был канун рождества. Поздно вечером возвратился в этот день Нефедка из «заведения» и прямо, не заходя в избу, пробрался на двор, запряг хозяйскую клячу в розвальни и осторожно выехал за околицу.

Стояла холодная лунная ночь. Звезды ярко блистали синеватыми острыми огоньками в глубине неба. Под полозьями розвальней визжал и хрустел, как алебастр, снег, и каждый звук далеко отдавался в морозном воздухе, среди мертвого молчания зимней ночи.

---

* *Здесь рукопись обрывается.*

Нефедка завернулся в чекмень, надвинул шапку, спрятал рукав в рукав и лег на солому. Лошадь трусила, снег скрипел, а в голове его подымались самые неприятные мысли.

Он думал о том, что завтра рождество и что ему необходимо украсть в лесу несколько елок, иначе он останется не только без водки, но даже и без хлеба. Еще нынче утром он избил жену за то, что она начала его ругать и укорять, увидав его сборы в кабак. Правда, он и сам знал, что у них осталась одна маленькая краюшечка хлеба, но все-таки он разозлился на ее нытье и злобно поддал исхудавшую бабу в грудь так сильно, что она свалилась на лавку.

— Ловко попал! — подумал Нефедка и покачал головой.

Неприятное, плаксивое чувство шевельнулось где-то в глубине его души. Он вспомнил, как она упала на доски и ничего ему больше не сказала, даже не взглянула, как он отворил дверь; она закрыла лицо руками, опустив голову, и так горько, но тихо зарыдала, что у Нефедки сердце защемило.

Он заворочался на санях, ударил кнутом лошадь и опять лег. Теперь он старался отогнать от себя воспоминание о нынешнем дне и стал размышлять, где лучше нарубить елок. Что украсть необходимо — Нефедка и не сомневался... Конечно, ему было неприятно ехать воровать в такое время, когда все готовились в церковь, чтобы помолиться в ночь христова рождества. Но во-первых, его изба была нетоплена уже второй день, и огонь не зажигался уже с неделю; во-вторых, без хлеба жить невозможно, и в особенности в такой большой праздник...

Тоска совершенно овладела Нефедкой. Этакой тоски он почти никогда не испытывал; как нарочно сложились обстоятельства таким образом, что почти не было исхода. Заработать негде да и некогда, потому что никто не работает на рождество христово.

— Ох, господи!.. Вот!.. — пробормотал Нефедка, поднимаясь. — И как это все случилось?.. Тут—праздник, тут хлеба нету, тут изба нахолодилась. Хоть самому на осину, прости господи!..

И он опять ударил кнутом лошадь и достал топор. Сани спускались под гору. Оставалось проехать немного по лугу и прямо въехать в лес.

Лошадь пустилась вскачь и скоро пошла по лощине; там было топко, и Нефедка слез. Он шел возле саней, утопая почти по колено в снегу.

Все больше морозило. Месяц поднялся высоко, высоко на небе. Старые березы, увешанные хрустальным инеем, неподвижно стояли на опушке долины, словно стеклянные. Иногда месяц подергивался белым дымчатым облачком, и свет таял; в лугу совсем темнело, и березы стояли матовыми призраками.

Нефедке делалось жутко. Он остановился на опушке. Все еще больше стихло. Нефедка стал прислушиваться и вглядываться в темные лесные чащи... Сердце его сильно стучало. Мертвое, глубокое молчание странно действовало на него. Ему чудилось, что он совершает что-то страшное, совершает в такую ночь...

Медленно привязал он лошадь, медленно взял топор, натянул рукавицы и тихо осторожно вступил под своды лесных великанов. Низко висели, опушенные снегом, темные ветви. Месячные лучи бледными полосами лежали на полянах... Нефедка робко зашел в чащу и оглянулся. Тихо и темно... Он шагнул еще — и где-то далеко, сквозь далекие чащи, увидал красноватую искру огонька в караулке. Он долго смотрел туда, потом повернул направо и спустился в луг, утопая в снегу почти по пояс. На лугу густыми толпами стояли молодые березы и ели. Месячный свет не проникал сюда и лежал на вершинах старых сосен. Они смутно отделялись от окружающей их таинственной полумглы. Верхние ветви их казались серебряными, нижние — темными и пушистыми...

Нефедка еще немного прошел по лугу и остановился под приземистой елью. Надо было поскорее нарубить и начать таскать к саням. К свету можно было отделаться.

Нефедка перекрестился и вдруг сразу поднял топор. Глухой удар прокатился по лощине и оборвался в ближайших чащах. И вслед за этим что-то с шумом сорвалось с ближнего дуба, и снег густой пылью посыпал на землю.

Нефедка вздрогнул и отшатнулся в сторону.

— Уж не уехать ли? — мелькнуло у него в голове, но вслед за этим другие мысли сразу вытеснили первую.

И Нефедка опять поднял топор и на минуту остановился. Он остановился и замер...

Далеко, далеко гудел мерно и призывающе колокол. Звон доносился глухими переливами, но совершенно явственно. Эти переливы отдавались во всех чащах, и все словно еще более затихло и замерло. Только торжественно гудел колокол, и все внимало святой вести о рождении богочеловека.

И Нефедка дрожащими руками держал топор, не смея шевельнуться. Он стоял, словно окаменелый, а в ушах его раздавался звон. Звон отдавался в его сердце и говорил этому загрубелому и несчастному человеку, говорил что-то непонятное. Ему чудилось что-то великое и торжественное.

Сердце его трепетало, и мысли нестройно теснились в голове. Что ему было делать? Завтра все придут из церкви, все вернутся по домам... А он приедет в холодную избу, где нет куска хлеба...

— Эх, была не была! — подумал Нефедка ожесточенно и, стиснув зубы, изо всей силы ударил по дереву. Опять глухой удар прозвучал по лесу, и опять полился широкими волнами призывающий благовест.

— Господи, господи! — застонал Нефедка... И в этом стоне было все: и сознание глубокого горя, и тяжелое страдание, и воспоминание о своей греховности... В первый раз пробудилась его душа от глубокого сна, в первый раз сердце трепетало непонятными сладостными чувствами...

Он швырнул топор, присел на холодный снег и вдруг горько, навзрыд, как ребенок, заплакал...

. . . . . .

Стройное пение уже неслось из церкви, когда Нефедка входил на паперть. В первый раз он благоговейно стал в толпе молящихся и, когда раздался наконец торжественный рождественский гимн, он узнал и понял, когда можно быть истинно счастливым и спокойным душою...

‹1887›

«Родина», 1887, № 51, 20 декабря, стлб. 1613—1615. Подпись: И. Бунин.

Воспроизведено (в сокращении и со значительными неточностями): «Радуга», 1968, № 9.

БОЖЬИ ЛЮДИ. ‹ДВА СТРАННИКА›

Очерк

Тимоша вышел из Березовки после обеда. Метель поутихла, и он намеревался благополучно добраться до ближних Выселок, где было можно переночевать, а затем — продолжать путь. Цель его была — сходить к одной из его покровительниц и кормилиц, за которых Тимоша всегда ставил копеечные свечки и усердно молился богу. Покровительница эта была старая дева-помещица. Всякие слепые, убогие и странники находили у ней приют. Живя одиноко, весь свой век ничего не делая, она развлекалась бессознательно совершаемыми добрыми делами. По ночам нараспев читала псалтырь, выкрикивала молитвы, читала заупокойные прошения и т. п. Естественно, что странники и всякие «рабы Христовы» обманывали ее самым бессовестным образом. Многие соседи считали ее сумасшедшею, но барыня не унывала; может быть, потому, что была на самом деле не из умниц. Тимоша же считал ее великой угодницей божьей. Теперь он надеялся пожить у ней примерно до третьей недели великого поста, чтобы с первыми оттепелями, запасшись кое-какою одежкою, отправиться в Троицкую лавру встречать светлый праздник.

Пока было еще холодно, и, главное, тулупчик на плечах Тимоши совсем почти истерся. Это он чувствовал и теперь, шагая по дороге к Выселкам. Правда, метели не было, низкое облачное небо синело по краям — признак оттепели; но все же дул сильный северо-восточный ветер и неистово крутил в воздухе снежными пушинками. Тимоша поневоле ежился, стараясь натянуть на порванные коленки голенища сапог, огромных и мокрых от снега, и судорожно прижимая локтями конец пустого мешка, болтавшегося у него за плечами.

— Господи, спасе милостивый,— шептал он посиневшими губами, желая предотвратить пугавшую его метель.

Все его худое личико ныло от ветра, старый ватный картуз грел плохо, голенища сползали. А крупные снежные хлопья массой носились вокруг него, и зимний короткий день постепенно переходил в сумерки. Шагах во ста трудно уже было различить что-либо от непрерывно валившего снега и сползающей темноты.

Долго шагал утомленный Тимоша в надежде увидать перед собой какую-нибудь деревушку. Наконец, он окончательно изнемог. Шагнув еще несколько раз с полными мокрого и холодного снега сапогами, он решил присесть, переобуться и немного передохнуть.

Но в это время он услыхал за собой шаги. Он обернулся и различил человека. Несколько мгновений спустя из-за падающего снега обрисовалась фигура широкоплечего и приземистого мужика, одетого в заплатанный халат, подпоясанный широким ремнем. На голове у него была монашеская шапочка. Он шел, опираясь на огромную палку.

Тимоша стоял, опустив мешок. Монах прошел, зорко его оглядывая, потом обернулся и крикнул сильным и резким баритоном, крепко выговаривая «о».

— Здорово, отец! Что ж не пристаешь? Ведь попутчики, должно.

Тимоша обрадовался и бросился догонять монаха.

— Вот спасибо тебе,— бормотал он радостно и несвязно,— я уж и так хотел спроситься итить за тобой... Да побоялся, братик!

— Овца, значит, без пастыря?— спросил монах, насмешливо сверкая глазами.

— Известно,— согласился Тимоша,— все, знаешь, одному-то жутко. Конечно, господь невидимо...

— Да уж вижу — курочка мокрая,— перебил монах.

— Что ж, брат, с измальства я такой... Немощный ровно... Только вот господа люблю и хожу по святыням; ну и милостыньку прошу, оттого что наг и беден я... А ты откуда же?— робко докончил Тимоша.

— Издалека, отец.

— Я говорю, где шел; спросил, где проходил?

— Шел, брат, везде:

Берегами и лугами,
Рубежами и межами...

— Как же это?

— Знаем —«как»... Ты, брат, этого не сообразишь: у тебя голова не с того конца зарублена.

Тимоша тихо улыбнулся и качнул головой.

— Ты что же, в монастыре что ли был?— опять спросил он.

— Был. В постриге — Рафаил, в мире — Гавриил, а зови хоть Аникеем.

Он обернулся, насмешливо поглядел на Тимошу и зашагал еще быстрее.

— А что бы отдохнуть нам?— робко заметил Тимоша.

— Отдыхать — некогда. Ты ведь в Выселки?

— В Выселки, в Выселки, братик.

— Ну вот, видишь, скоро отдохнешь. А теперь не отставай!— сказал монах строго и затем прибавил: — Есть у тебя мужики знакомые там?

— Где?— спросил Тимоша.

НИЩИЙ

Фотография М. П. Дмитриева, 1890-е годы

Музей А. М. Горького, Москва

— Дурень!— резко крикнул тот.— Известно — где: в Выселках.

— Есть, есть,— трусливо забормотал Тимоша, вздергивая голенище. Впереди, в неопределенном сумраке, зачернели деревья.

Зимний вечер совершенно окутал небо и землю непроглядной тьмою, когда странники пришли в Выселки. Из-под нависших крыш едва-едва мерцали красные огоньки, словно волчьи глаза в ночную пору, отражаясь длинными, светлыми полосами на снегу.

Выселки была маленькая деревушка. Приютилась она, как и большинство степных деревушек, около лощины. Теперь она была совершенно завалена снегами. Тихо и мертво было в ней. В последний раз где-то резко и медленно проскрипели ворота, пролаяла собачонка и стихла. Мужики, убрав скотину, при слабом свете керосинниц сидели в хатах. Бабы дремали под монотонное жужжание прялок. Мальчишки вповалку спали на горячих печках.

Странники в это время уже давно сидели в кабаке. Кабак стоял особняком, приблизительно в полуверсте от деревни. Теперь в нем было тихо. Посетителей, кроме двух мужиков да странников, не было. Один мужик был уже совершенно пьян. Он сидел, положив отяжелевшую голову на подоконник, и резко всхрапывал. Хозяин, отставной солдат, рыжий и косой, дремал за прилавком.

Только другой мужик, сидя перед монахом, жестикулировал и поминутно выхватывал из кармана кожаный «гаман» с бумажками. Тимоша сладко спал, прислонясь к стене. Рафаил часто косился на него покрасневшими глазами и подливал сидевшему с ним мужику водки.

— Постой, божий человек,— говорил тот, отстраняя бутылку,— постой... Ты не того... Себе, значит...

— Эх ты,— укоризненно вскрикивал «божий человек»,— какой же ты после этого мужик есть? Ты смотри, голова садовая: я, странник, где-где ни бывал и писание до тонкостей разумею, а и то,— глянь!

Рафаил налил себе стакан, быстро вскинул ко рту и ловким движением руки вылил всю водку в рукав. Мужик и не заметил.

1887 г. (4-й годъ изданія). № 39 Воскресенье, 28 Сентября.

РОДИНА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Гг. подписчикамъ, не выславшимъ полностію стоимость газеты, высылка ея будетъ прекращена.

ГАЗЕТА «РОДИНА», В КОТОРОЙ НАЧАЛАСЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУНИНА

Номер, где впервые был опубликован его рассказ «Два странника»

28 сентября 1887 г., № 39. Заголовок

— А коли так,— я не отстану; я, брат, сам до тонкостев... Потому полюбил я тебя... Для милого дружка и сережка из ушка!

Мужик выпил стакан, сделал кислую гримасу, плюнул и, утираясь рукавом, полез целоваться.

— Стой, стой! Все перебьешь!— кричал Рафаил, когда стол под напором отяжелевшего мужика накренился на бок.— Стой, укротись! Дай я тебе лучше штуку докажу...

Мужик тяжело отвалился назад, страшно обиженный.

— Чего «стой»,— начал он придирчиво.— Ты что за указчик, а? Ты скажи! Скажи ты, жеребячья грива, ай мне заплатить нечем? Небось, у Савелия хватит, у нас хватит — глянь!

Савелий опять выхватил гаман и стал неловко развязывать. Рафаил даже глазами засверкал. Пока мужик, качаясь, теребил завязку, в голове у него поднялись самые буйные мысли. Уже целый вечер он спаивал мужика, надеясь, что тот свалится. Но мужик был крепок, как бык. Опытный Рафаил ничего не мог поделать. Теперь при взгляде на гаман, где шуршали, словно накрахмаленные, кредитки, сердце забилось у «божьего человека» с удвоенною силою.

— Да что робеть,— мелькнуло в голове, и он стал толкать Тимошу.

— Очнись, восстань!— кричал он над ухом.

Тимоша вскочил, как ребенок, удивленный и испуганный.

— Куда? Куда? вставать, братик?— бормотал он, ища картуз.— Ах, да, на ночлег! Понимаю. Верно ты говоришь: «Да не сном...»

— Болтай чепуху!— резко перебил Рафаил.— Скорей, идем же,— заторопил он, увидав, что мужик направился к двери. Тимоша вскочил, схватил мешок и, вздернув голенища, поспешил за Рафаилом.

Темная ночь уже давно лежала на полях. По деревне огни потухали. Сильный ветер бил в лицо мокрым снегом.

Рафаил выбежал торопливо за мужиком и схватил его за рукав.

— Слушай!— быстро говорил он.— Где твоя изба? А? Мы тебя доведем в деревню и сами переночуем... Слышишь?— повторял он, как в бреду.

Но мужик шел, сильно раскачиваясь, по направлению Выселок и упорно молчал. Рафаил опять повторил, уже со злобой, свои вопросы. Опять молчание. Мужик, видимо, начал смекать, что тут начинают играть роль его деньги.

— А, ты вот как!— пробормотал наконец монах и бросился к Тимоше. Тот полусонно брел за ними.

— Слушай, Тимофей,— шептал Рафаил,— иди скорей за мной! Я его повалю и буду держать, а ты вытаскивай.

— Кого вытаскивать?— удивленно и испуганно спросил Тимоша. Он даже остановился и мешок опустил.

— Деньги... кошель... да ну же!

— Господи, царю небесный, спасе милостивый! Да что ты, кормилец, делать хочешь?— возразил он.

Рафаил освирепел.

— Дура проклятая!— вскрикнул он.— Не мели языком, а слушай, что те приказываю! Иначе — вот!

Рафаил выхватил большой складной нож. Тимоша даже мешок выронил.

— Кормилец милостивый!— со слезами взмолился он.— Не губи ты его душу! Не льстись... Ведь он без покаяния... в ад пойдет... Братик, родной!

Но «родной» крикнул на него самыми скверными словами, треснул кулаком в лицо и, когда Тимоша полетел в снег, поддал еще несколько раз ногами, потом бросился за мужиком.

Удар был так ловок, что слабенький Тимоша с окровавленным лицом рухнулся замертво и минут десять пролежал без чувств и движения. Когда же он наконец встал,— в кабаке огня не было и кругом все было тихо.

Тимоша со страхом вспомнил, что сейчас было.

— Господи ты мой боже,— бормотал он по обыкновению,— да как же это?.. Где же он?

ДВА СТРАННИКА

I.

Еремушка вышелъ изъ Березовки послѣ обѣда. Мятель поутихла и онъ намѣревался благополучно добраться до ближнихъ Выселокъ, гдѣ можно было провесть ночь, и затѣмъ продолжать путь. Цѣль его была—сходить къ одной изъ его покровительницъ и кормилицъ, за которыхъ Еремушка ставилъ всегда свѣчку въ копѣечку и усердно молился Богу. Покровительница эта была старая дѣва-помѣщица. Всякіе слѣпые, убогіе, странники находили себѣ пріютъ у ней. Живя одиноко, весь свой вѣкъ ничего не дѣлая, она развлекалась безсознательно совершаемыми добрыми дѣлами. По ночамъ нарасхлѣвъ читала псалтырь, выкрикивала молитвы, читала заупокойныя прошенія и т. д. Естественно, что странники и всякіе «рабы Христовы» обманывали ее самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Многіе сосѣди считали ее сумашедшею, но барыня не унывала, можетъ быть, потому, что на самомъ дѣлѣ была не изъ умницъ.

Еремушка-же считалъ ее великою угодницею Божіей и надѣялся пожить у ней примѣрно до третьей недѣли великаго поста, чтобы съ первыми оттепелями, запасшись кое-какою одеженкою, отправиться въ Троицкую лавру встрѣчать Воскресеніе Христово.

Пока, было еще холодно и, главное, тулупчикъ на плечахъ Еремушки совсѣмъ истерся. Это онъ чувствовалъ и

ПЕРВЫЙ ОПУБЛИКОВАННЫЙ РАССКАЗ БУНИНА

«Родина», 28 сентября 1887 г., № 39

Начало рассказа

Он вспомнил вдруг, что Рафаил бросился с ножом за мужиком, и все понял. Ужас охватил его, и он побежал в поле.

— Дойду, дойду!— бессознательно повторял он.— Вот и вешки... Господи, спасе, прости ему, Никола милостивый!

Он вышел в поле, а в поле, как говорится, зги не было видно. Едва-едва чернели заносимые снежными вихрями вехи. Только слабое соображение Тимоши могло допустить возможность путешествия в такую бурную ночь пешком и к тому же полураздетым. Правда, раз или два его заставала в поле метель, и он полуживой добирался до деревни, но теперь едва ли он мог спастись.

Ветер, резкий и пронзительный, налетал на него, поднимал облако холодной пыли' хлестал в лицо и в спину Тимоше и положительно валил его с ног. Тулупчик немилосердно распахивался. Все тело онемело от боли, глаза слипались. За ворот сыпался снег. Шапку уже давно сорвало и укатило ветром. Побежал было за нею Тимоша, да и остановился. Неравно, еще дорогу потеряешь. Он растерялся.

«Ворочусь»,— мелькнуло у него в голове, и он повернулся и, кутаясь, пошел против ветра. Но дорога скоро исчезла. Тимоша перестал уже шептать молитвы и шел теперь в полусознании. Резкий холод как будто уменьшился, а между тем он увязал по колена в снегу.

Наконец он упал в сугроб и сразу очнулся. Буря гудела по-прежнему. Тимоша вдруг, со страшной ясностью, понял, что смерть неизбежна. В ужасе вскочил он и, задыхаясь, бросился бежать. Хриплые стоны вырывались из его груди. Он бежал, пока не сорвался куда-то вниз...

Что-то гудело и шипело под ним. Но он теперь ничего не слышал; пред ним быстро проходила его жизнь, и какой-то отдаленный шум сопровождал эту непрерывную нить воспоминаний.

Все, от самого детства и до последних дней, с поразительной ясностью восстало перед его глазами... Мелькнул даже иерусалимский храм, и замелькали отдельные картинки, звуки, сцены, слова, лица, огни какие-то...

Вспоминалась ему и родная деревушка... Яркий полдень. Все горит и сверкает в солнечном свете... Деревня словно вымерла... А Тимоша сидит на меже у высокой, пахучей конопли с двумя белоголовыми девочками... Он сам такой же маленький, белоголовый. И Тимоше даже слышится запах конопли... Потом пошли зимние и осенние дни. Изба, занесенная снегом; мать, низенькая, высохшая старушка. Вот словно колыбельная песня послышалась ему. Звуки ласковые и тихие... Тимошу теснили горячие слезы.

Он встал и, шатаясь, бессознательно побрел вперед. Метель позатихла. Улеглись снежные порывы. Поле необозримой равниной терялось в сумраке, а в вышине, в темном небе, быстро мчались тучи.

— Господи, спасе милостивый! Дивны дела твои!— мысленно повторял замерзавший Тимоша. Не могли нести его дальше окоченевшие ноги: он свалился. Огромные, опушенные снегом дубы теснились вокруг и таинственно что-то шептали; старый лес словно дремал, охваченный холодом зимней ночи. А в мрачной выси опять мелькнуло звездное небо.

— Боже!— пробежало в последний раз в голове Тимоши.— Слава тебе!..

Судорожный трепет благоговения сразу приподнял его. Опять подступили слезы, и Тимоша бессильно опустился в сугроб. Словно отдаленный колокольный звон наполнял темное пространство широкими волнами... Росли и сдвигались все темнее сосны, принявшие страшные размеры в высоте, а сладкая дремота все более и более сковывала тело.

Слезы так и замерли на ресницах Тимоши... Загудела буря по лесу и наметами рыхлого снега стала засыпать замерзавшего... Сознание быстро оставляло его, и смерть, та смерть, от которой он хотел спасти Савелия, охватывала теперь его своим дыханием.

В Березовке, наутро, перед волостью стояли розвальни. В розвальнях лежало тело Савелия с широкою раною на шее. Наехали власти, но убийцу, разумеется, нигде не удалось ни разыскать, ни поймать.

Неизвестно, где теперь Рафаил. А труп Тимоши унесли, наверно, весенние потоки и похоронили в глубоком овраге или на дне озера.

‹1887—1889›

«Орловский вестник», 1889, № 125, 20 сентября. Заглавие «Божьи люди». Подпись: Ив. Б—н.

Впервые: «Родина», 1887, № 39, 28 сентября (под заглавием «Два странника»; подпись: Ив. Бунин). В публикации «Орловского вестника» — значительная стилистическая правка; название и первоначальное имя героя (Еремушка) изменены.

Воспроизведено (со значительными неточностями): «Радуга», 1968, № 9.

ДЕНЬ ЗА ДЕНЬ

Старая история

Тихон Иванович Кондауров сидел после обеда в своей комнате и играл на немецкой гармонии вальс «Тигренок», подпевая себе самым тоненьким голоском, так что даже брови у него поднялись кверху и все лицо приняло страдальческое выражение. Тихон Иванович, конечно, баловался, а баловался оттого, что был, во-первых, в спокойном расположении духа (впрочем, в скучном или неспокойном духе он, по его словам, никогда не бывал), во-вторых, чувствовал себя в физическом отношении даже больше чем спокойно; в этом отношении он тоже никогда почти жаловаться не мог, и, в-третьих, оттого, что день был — 20-е число и в кармане его узких, модных брюк лежало 45 рублей жалованья. Тихон Иванович был человек служащий, полнее сказать, служащий у старшего нотариуса елецкого окружного суда. Дело свое он знал хорошо, так что иногда брал на себя даже роль поверенного по чьим-нибудь делам, принимал на себя хлопоты по закладу в банки и т. п. От всего этого у него набиралось в месяц почти 70 р., а это было очень недурно, если принять во внимание прежнее положение Тихона Ивановича в юношестве, когда он был библиотекарем в маленькой библиотеке захолустного уездного города и звался Тишкой. Теперь же он нанял себе квартиру в три комнаты с кухней, с отоплением и с мебелью, даже с украшениями в виде олеографий; женился на дочери мелкого помещика, причем взял немного приданого, завел себе «рабочий» кабинет, в котором стоял письменный стол, а на столе — две фигуры белых гипсовых китайцев, прекрасная чернильница и лежала стопка бумаги, на которой было напечатано: «Тихон Иванович Кондауров в Ельце»; купил себе ружье, длинные сапоги, которые постоянно лежали в пыли под кроватью, достал даже громадного, кудрявого водолаза и звал его «Бисмарк».

Что касается самого Тихона Ивановича, то он пополнел, стал солидным мужчиной, стал носить на своих больших ногах модные штиблеты и такие же брюки, куцую визитку и, постоянно, накрахмаленные рубашки с стоячими воротничками. Правда, такой костюм не был очень красив на плотной и здоровой фигуре Тихона Ивановича, но Тихон Иванович не замечал этого. Про себя он вообще думал, что он красив; ему нравилось его полное, молодое лицо и смелое (даже, говоря по правде, наглое) выражение его, под гребенку остриженная голова и даже манеры, походка; ходил же он, немного подаваясь вперед и постоянно заложив руки в боковые карманы брюк, т. е. вообще небрежно, двигаясь, как на лыжах, в своих низких штиблетах.

Итак, он сидел, покачивался, держал папиросу во рту, играл «Тигренка» и подпевал себе то басом, то фальцетом. Он даже не обернулся, когда в кабинет вошла его жена — Надежда Федоровна. Она была совсем не похожа на Тихона Ивановича,— небольшого роста, худая, с бледным, задумчивым лицом. Вошла она, кутаясь в платок,

и прилегла на кушетке, стоявшей в углу. Тихон Иванович взглянул на нее, бросил папиросу и, отвернувшись в сторону, заиграл бойко и размашисто «Шумна Марица окровавленна!..»

— Ты пойдешь сегодня куда-нибудь?— спросила Надежда Федоровна.

Тихон Иванович утвердительно кивнул головой и всем корпусом продолжал играть.

— Куда?— продолжала Надежда Федоровна.

— Знаем куда,— ответил Тихон Иванович.

— В цирк, что ли?— повторила она.

— Нет.

— К Крутикову?

— Нет.

— Куда же?

— Знаем куда.

Надежда Федоровна вскочила и сразу вспыхнула.

— Что это за «знаем куда»?— закричала она со злобою и уже почти со слезами,— что это за разговор со мною? Неужели ты не можешь сказать как следует... Вечно так...

Тихон Иванович перестал играть и бросил косой взгляд на жену.

— Нельзя ли потише-с?— спросил он насмешливо.

— Нечего мне «потише-с»,— закричала опять Надежда Федоровна,— ты со мною слова путного никогда не скажешь. Я, ей богу, разговаривать с тобой никогда не стану... Это...

— Дальше?— резко крикнул Тихон Иванович, сразу повертываясь и подпирая руки в бока. Надежда Федоровна хотела тоже что-то крикнуть, но не смогла, махнула рукой, вскочила и с рыданьями выбежала из комнаты.

Тихон Иванович поглядел за нею, встал. Ему стало немножко жаль ее.

— Пойти, что ли,— подумал он, стоя.— Нет, ну ее к... чертям,— возразил он себе сейчас же и растянулся на диване.

Полежав, он закрыл глаза и стал уже погружаться в сон; но вдруг вскочил, сбросил с себя визитку и жилет, расстегнул рубашку и снова упал на подушку... Через несколько минут он храпел.

В сумерки он встал, крепко потянулся, сплюнул и стал умываться. Умывшись он оделся, подрал себе стриженую голову щеткою, надел поддевку на лисьем меху и напевая «Чудные девы, девы мои!..», вышел.

А Надежда Федоровна все это время лежала в своей спальне и думала невеселые думы. Наплакавшись, она немного успокоилась и погрузилась в какую-то элегическую, тихо сосущую сердце грусть. Заслышав, что муж проснулся, она вскочила и, как только он хлопнул дверью на крыльцо, с лихорадочною поспешностью стала одеваться. Она твердо решилась проследить, куда отправится Тихон Иванович. Но, когда ей осталось только надеть калоши, сразу остановилась: во-первых, Тихон Иванович прежде всего отправится в ресторан и будет долго играть там на биллиарде, выпивать с Крутиковым, напевать и скользить на своих лыжах-штиблетах вокруг биллиарда. Потом они выйдут на улицу, крикнут извозчика и, не прерывая веселого, циничного разговора, «закатятся» до полночи куда-то... Все это быстро пришло в голову Надежде Федоровне. Она вдруг почувствовала такое страшное презрение к нему, что, не расстегивая пуговиц, сорвала с себя дипломат, бросила шапочку и подошла к окну. Через некоторое время злоба улеглась, и она стала глядеть на темную, грязную улицу и ночное осеннее небо. Она опять задумалась... На глазах у нее стояли тихие, горячие слезы.

Она сама не знала, зачем вышла замуж за Кондаурова. Когда они венчались, она не думала определенно о цели этой свадьбы; венчалась потому, что другие венчаются, выходят замуж,— и она должна была идти. Почему она так поступала?— Объяснить

это можно только тем, что она почти не получила никакого развития и воспитания, с пятнадцати лет, со времени выхода из гимназии, все время жила дома, у отца, мелкого помещика. Идеалов, стремлений не имела почти никаких, читала мало, больше всего иллюстрированные журналы,— словом, была настоящей уездной барышней даже без городского лоска. Но удивительно, что она теперь, в сущности нисколько не переменясь, теперь, когда все, так сказать, кончено, начала ощущать страшную пустоту, тяжесть бесцельной, однообразной жизни с Тихоном Ивановичем. Прежде она почему-то вовсе не чувствовала болезненного чувства неудовлетворенности от того, что жила день за днем, однообразно и скучно; теперь же это чувство развилось до громадных размеров.

— Господи! что же будет дальше,— думала она, и болезненная тоска все возрастала; неужели я теперь погребена и на целую, да, на целую жизнь осталась в Ельце?.. Неужто дни будут проходить так же бесцельно? Вот теперь зима, потом весна, лето и опять все сначала. И весна, и зима, и лето — я наперед знаю, как пройдут. Те же дни, тот же обед, сцены после обеда до тусклых сумерек?! Она села на кровать и вздернула плечами... Она боялась даже дальше думать об этом.

Какою поэтичною, хорошею казалась ей теперь ее жизнь у отца! В деревне, на воле вовсе нет такой тяжелой и однообразной жизни... Вот теперь зима... Разве прежде зима оставляла на нее такое впечатление?.. Нет, она даже страшно любила ее прежде, любила холодные, серые дни, необъятные, пустынные снежные поля, любила долгие вечера... В комнате тихо. Тихо так, что слышишь, как шипит керосин в горящей лампе... Отец сидит на лежанке и наигрывает на гитаре полудремотные, полугрустные мелодии; в сердце поднимается какое-то хорошее, но смутное неопределенное чувство, кажется, что вспоминается что-то далекое и милое, кажется, что сердце со всем примиряется и только просит этого меланхолического сладкого раздумья...

Так, или приблизительно так, думала Надежда Федоровна, и от этого ей становилось еще тяжелее... Как она ненавидела в эти минуты город, свою квартиру и больше всего Тихона Ивановича!

Являлось даже смутное желание отомстить ему.

Она вспомнила о соседе, учителе уездного училища, молодом, скромном человеке, который, как она успела заметить, был влюблен в нее... «А ведь он милый»,— подумала она и закрыла глаза... Мысли о том, как бы он стал любить ее, ласкать, целовать руки, сидеть с нею по вечерам наедине, пошли бесконечною чередою. Машинально она встала и взяла с окна чернильницу и бумагу с твердым намерением написать ему ласковое письмо с просьбою прийти, посетить ее вечером и т. п.

Но когда она взяла уже перо и села к столу, ей расхотелось писать. Она бросила перо и опять прилегла на кровать.

Часа в два ночи она услыхала, что вернулся Тихон Иванович; раздевшись в передней, он зажег лампу и куда-то прошел с нею по комнатам. Потом вошел в спальную, поснимал с себя платье и, что-то бормоча и сопя, лег около нее. Она молчала, как убитая...

В комнате было темно и тихо.

Только слышался шум ветра; на дворе стояла вьюга.

«Господи, завтра все это опять повторится!» — подумала она, уже начиная дремать...

‹1889›

«Орловский вестник», 1889, № 156, 22 ноября. Подпись: Ив. Бунин.
Воспроизведено (с неточностями в заглавии и в тексте): «Радуга», 1965, № 4.

«ШАМАН» И МОТЬКА

Очерк

...Не думайте, что это рассказ из сибирской жизни, из жизни какой-нибудь якутской или бурятской слободы. Я передаю про одну нашу соседку в одной из деревенек Орловской губернии, старую деву-помещицу. Может быть, эта соседка покажется читателям небезынтересною.

Начну с наружности.

Видали вы безобразных старых цыганок? Они по большей части худы и остроносы, глядят как-то странно и дико, одеты в какие-то ветхие, нанизанные друг на друга хламиды, рукава которых обыкновенно разорваны чуть не надвое... Если видали, то очень легко можете себе представить наружность Олимпиады Марковны или «Шамана», как прозвали ее наши соседи-помещики из «новых». Она и одеждою, и лицом, и странным выражением глаз страшно похожа на подобную цыганку. Только не всякая цыганка обладает ее странными умственными способностями и ее характером.

Какой же характер у Олимпиады Марковны — добрый или злой, подлый или благородный? На этот вопрос ответить определенно не берусь. Характеры лиц, подобных ей, очень трудно поддаются определению. У Олимпиады Марковны все зависит от настроения — семь пятниц на одной неделе. Сейчас она вас уважает, любит, хвалит, рассказывает повсюду, что вы самый умный человек, первый красавец в округе; и все это вполне искренне. Но чуть что-нибудь не по ней, чуть вы немного повздорили с нею — и у ней сразу меняется убеждение о вас: именно «у ней меняется», а не «она меняет». Тогда она опять-таки искренно убеждена, что вы и дурак, и негодяй, и все, что угодно. Она везде рассказывает про вас самые низкие сплетни, говорит, что вы дурак, безобразный, «лупоносый», «раскосый» и т. д., и т. д. И я убежден, что в такие минуты вы ей кажетесь действительно и «лупоносым» и «раскосым», хотя на самом деле вы нисколько не «лупоносый». Одним словом, она вовсе не привыкла составлять о чем-нибудь раз навсегда определенное мнение.

Причина странностей подобных лиц, разумеется, понятна: умственные способности играют у них очень малую роль, а если и играют, то опять-таки очень странную. Олимпиада Марковна в особенности страдает отсутствием самой примитивной логики. Но, впрочем, лучше всего — факты. Я приведу для примера хотя две или три сцены из тех, которые происходят в нашем доме по крайней мере раза три в неделю, потому что Олимпиада Марковна, считаясь нам какою-то дальней родственницей, бывает у нас почти ежедневно. Мы так к ней привыкли, что на самом деле считаем ее родною.

Сидим, например, мы все за обедом. С нами сидит и Олимпиада Марковна в своем необыкновенном костюме. Ест она много, как бурят, с какою-то странною жадностью и торопливостью. Поэтому начало обеда, когда Олимпиада Марковна увлечена каким-нибудь супом или заливным, проходит в молчании. Но это только до известного момента; откинувшись на спинку стула, Олимпиада Марковна наконец вздыхает и улыбается.

— Вот напхалась-то!— говорит она с видимым наслаждением.

Отец нахмуривается.

— Что это у тебя, Олимпиада Марковна, за выражения!— говорит он недовольно.

Олимпиада Марковна совершенно наивно взглядывает на него.

— Какие, батюшка, выражения?

Отец махает рукой и отвертывается. Олимпиада Марковна вдруг ни с того ни с сего обращает свой взор на меня и как-то по-детски восклицает:

— Ах, какой красавец Ванечка-то стал!

Я наклоняю голову к тарелке.

— Да ей-богу, получше тут всех,— продолжает таким тоном Олимпиада Марковна, как будто кто-нибудь возражает,— ей-богу, красавец,— упорствует она.

И при этом она ласково треплет меня по голове, цепляя рукавами себе в тарелке.

— Отставь от себя, пожалуйста, тарелку,— замечает отец.

— Зачем, батюшка?

ОРЕЛ. МОСКОВСКАЯ УЛИЦА
Открытка, 1910-е годы
Собрание А. К. Бабореко, Москва

— Она ведь тебе мешает.

— Нисколько не мешает,— возражает Олимпиада Марковна и прибавляет в раздумье, улыбаясь.— Поручик Немешаев... у Евгения на свадьбе плясал. Ей-богу, Ванечка! «Ей же ей», как девки знаменские говорили... Помнишь, Алешенька?

— Отстань ты от меня с глупостями,— сердито говорит отец,— не помню я ничего.

— Да как же, батюшка, не помнишь? Прошлым летом-то.

— Да отстань ты!

Олимпиада Марковна злобно взглядывает на него.

— Что же это ты, Алешенька, как зверь какой стал, слова нельзя сказать!

— Хорош «Алешенька»,— перебивает отец,— шестьдесят три года малому, а она: «Алешенька».

— Да ну что ж, ругай, ругай!— деланно-покорным тоном говорит Олимпиада Марковна,— авось не надолго вам досталась! Может, и умру скоро...

— И отлично сделаешь!

— Да я и сама думаю, что отлично... Земля меня забыла, окаянную...

И так далее...

А иногда у нас происходит такой разговор.

Олимпиада Марковна, бродя по комнатам, заходит ко мне и усаживается около стола, на котором я пишу. Сначала она берет или словарь, или старый задачник и читает, не отрываясь, около часа, иногда только раздумывая вполголоса: «...107 аршин черного сукна, 150 зеленого, заплатив за все это проценты с капитала в 17120 рублей...» Вот купцы-то нынче как стали жить!— восклицает она при этом.

Потом кладет задачник и тащит какую-нибудь бумагу.

— Пожалуйста, Олимпиада Марковна, не путайте,— говорю я,— не берите, пожалуйста.

— Да я, батюшка, не беру ничего,— возражает Олимпиада Марковна,— что ж я, дура какая-нибудь?

— Да как же не берете?

— Ах, господи, как будто уж нельзя и посмотреть!.. Ты теперь, говорят, во всех газетах пишешь.

— Так вы бы попросили, я сам могу дать.

Олимпиада Марковна вдруг злобно швыряет рукопись и подымается.

— Да мне и не нужны твои паршивые стихи!— говорит она пренебрежительно.— Ты думаешь, что ты теперь вправду Аполлонский!

Под именем Аполлонского надо разуметь Полонского; но я не обращаю на это внимания и говорю:

— А не нуждаетесь,— зачем же берете?

— Да и не нуждаюсь брать.

— Ну, значит, тем лучше.

— «Тем лучше, тем лучше»,— передразнивает Олимпиада Марковна,— болван! У нас и в роду таких болванов не было.

— Во-первых, я вовсе не из вашего рода,— говорю я,— а во-вторых, нам с вами про это ничего почти неизвестно,— было или не было.

— Так что же по-твоему, у нас в роду все дураки были?

— Я не говорю этого.

— Да как же это «не говорю»,— не унимается Олимпиада Марковна,— что ж ты дурачишь-то меня! Ты воображаешь, что ты умнее всех стал! «Не говорю»!— как будто я не понимаю...

Олимпиада Марковна кидает на меня насмешливый и вызывающий взгляд и начинает быстро ходить по комнате, нервно завязывая и развязывая платки на голове. Руки у ней дрожат от злобы. Глаза стали совсем дикими.

— Небось, не дурей тебя были! И поумнее и поученей во сто раз!— продолжает она.

Тогда я решаюсь окончательно взбесить Олимпиаду Марковну и говорю:

— Эх, господи боже мой, уж куда там «поученей»! Читать, небось, не умели...

— Да вот не умели читать, да получше тебя, дурака, жили: ты и в праздник того не съешь, не сопьешь, что у них по будням люди едали.

— Да в этом-то бог с ними.

— Ну, значит, и получше тебя были!

— Вовсе не значит.

Олимпиада Марковна вдруг останавливается и вскрикивает:

— Ах, батюшки! Да что ты ко мне привязался?! Я вот изругаю тебя, как собаку, да уйду! Разбойник! Связался с кем, с старым человеком! Брехать только выучился!

Затем страшно хлопает дверью и скрывается из комнаты.

Но лучше всего охарактеризовать и объяснить характер Олимпиады Марковны может ее воспитание.

Она происходит из старинного помещичьего рода. «Я не хуже ведь кого-нибудь,— говорит она часто,— все-таки не какая-нибудь хамка, а столбовая потомственная дворянка». И это верно, хотя Олимпиада Марковна уже чересчур преувеличивает значение своего происхождения и чересчур часто упоминает разных прапрадедов. Состояние у этих прапрадедов было громадное. Впоследствии оно, разумеется, стало все более и более дробиться, так что у отца Олимпиады Марковны было не более двухсот десятин земли и нескольких сотен крепостных. Впрочем, и это, разумеется, было очень недурно, но собственно Олимпиаде-то Марковне вовсе не пришлось получить действительно барского воспитания. Мать ее умерла еще тогда, когда Олимпиаде Марковне исполнилось только шесть дней, а отец вскоре сошел с ума, так что воспитанием ее занялась ее тетка, старая дева-помещица, и увезла ее в свою деревушку «Бутырки». Старая дева была особа полусумасшедшая и при этом «христова невеста»— девственница, как ястреб следившая за нравственностью своих девок и нещадно бившая их при малейшем подозрении. Она жила совершенно одна, окруженная только одними дворовыми девками, вечно гремевшими в «девичьей» своими коклюшками. По ночам она нараспев читала псалтырь, выкрикивала молитвы собственного сочинения в религиозном азарте, а иногда вдруг начинала рыдать, упав перед иконами. Ей каза-

лось, что в такие минуты в нее вселяется «змий эдемский и иерусалимский»... Потом вскакивала, вся бледная, с распущенными волосами, кричала на весь дом в паническом ужасе и бросалась будить девок. Девки тоже вскакивали как сумасшедшие, зажигалась сальная, тусклая свеча и начинались успокаивания «матушки-барышни».

Старый помещичий дом производил тогда жуткое впечатление среди глубокой осенней ночи... Только к утру засыпала «барышня». Днем она ходила почти совершенно в рассудке, иногда тоскливая и тихая, а иногда злобная и крикливая.

Такие впечатления были первыми впечатлениями Олимпиады Марковны.

Лет двенадцати Олимпиада Марковна, наконец, попала в институт. Свезла ее туда ее другая тетка, тоже очень интересная особа: соседи звали ее «солдатом», и она вполне оправдывала это название — во-первых, своей здоровой, не женской фигурой, во-вторых, грубой, энергичной деятельностью в именье и в-третьих,— зычным голосом. За голос ее звали даже особо —«хайлом».

Так вот эта-то тетка увезла почти насильно Липочку в институт. Как вела себя там последняя,— достоверно ничего не известно. Знаю только, что она воротилась оттуда, не окончивши курса, девицей с французским ломаным языком, с игрою на фортепьянах и с запасом французских басен. Этими баснями, которые она и теперь иногда твердит, закатывая глаза и делая блаженную физиономию, кажется, и ограничивалось все ее институтское образование.

Поселившись опять у сумасшедшей девы, она повела такую бездельную и скучную жизнь, что под влиянием ее и сумасшедшей тетушки заболела через несколько времени «тоскою». С нею начали делаться такие же припадки, как и с «христовой невестой».

Впоследствии крепостные девки, уже будучи свободными, говорили, что она большею частью «уродничала». «Одна в свете привередница была!»— говорили они.

Но как бы там ни было, ее пришлось везти к угоднику. Впрочем, я забыл сказать, что до угодника к ней приводили еще знахаря. Но тот только испортил дело. Его заклинания: «тоска, тоска, иди во темные леса, там твои места!» произвели еще более тяжелое впечатление на «барышню». Но угодник ей помог. Она возвратилась успокоенная и повеселевшая. К тому же ее выздоровлению способствовало и то, что она поселилась уже не с теткою, а с братьями.

С ними она уже окончательно превратилась из институтки в барышню, которая могла и девку оттрепать за косы и переругаться с братьями, ни в чем не уступая им, и несмотря на то, что братья у ней были не особенно нежные юноши. Воспоминания о «французских вокабулах», о Катеньке Гриневой, о Лизаньке Крутиковой, об учителе Карле Густавовиче — стали для нее уже не действительностью, а как будто далеким сновидением.

Когда «христова невеста» умерла, Олимпиаде Марковне, имеющей уже тридцать лет, досталось десятин тридцать пять земли и флигель. Крепостных не досталось, потому что они уже были освобождены к этому времени. Получив наследство, Олимпиада Марковна перенесла флигель в ту деревню, где жили ее братья, и начала хозяйствовать. Замуж она не пошла, потому что «христова невеста» еще с детства угрожала ей вечным проклятием за брак. К тому же Олимпиада Марковна и сама не хотела замуж. Она по ночам стала читать псалтырь, была ужасно богомольна и ко всему этому — свободолюбива. «Как же, пойду я, — говорила она,— чтоб какой-нибудь родимец колотил меня каждый день».

С тех пор во флигеле потекла очень странная жизнь. Еще не вполне отвыкшая от крепостничества, Олимпиада Марковна стала чуть не каждый день драться с кухаркою, твердо помня, что она «столбовая дворянка». Но такой титул уже потерял тогда половину своего значения. Кухарки спуску не давали и менялись каждый месяц. Наконец, уже не стал никто наниматься. «Да родимец их расшиби!»— решила Олимпиада Марковна и начала стряпать сама. С этих пор она стала походить уже не на «столбовую дворянку», а хуже, чем на хамку. Бездельница, барышня, не привыкшая никогда трудиться, с странным, безалаберным воспитанием,— она, естественно, стала все более терять человеческий образ. По целым дням она стала ходить неумытая, непричесанная, вся в саже и в сале. Постоянное общение с работниками превратило ее окончательно в крикливую бесстыжую бабу. И горе смирному работнику. По особен-

ности своего характера, Олимпиада Марковна, как говорится, «седлала» такого работника. Грубых, напротив, она побаивалась и только за дверью ругала их на чем свет стоит. Ко всему этому присоединялась все более и более развивающаяся бедность или даже больше — нищета... Бедность, разумеется, стала развиваться от системы хозяйства. Славное это было хозяйство!.. Началось с того, что Олимпиада Марковна, получив неограниченную власть, сдала 5 десятин земли богатому мужику из своей деревни, и мужик дал ей за это копен 20 гнилой соломы для топки и для резки корове, две четверти ржи и четвертей пять картофелю. Олимпиада Марковна вполне удовлетворилась этим и на следующие годы стала придерживаться той же системы хозяйства, т. е. сдавать землю и, разумеется, на подобных же условиях.

— Зачем же вы за десятину прекрасной земли взяли пять четвертей прелых картошек?— говорили иногда соседи.

— Ах, господи, боже мой!— сердито восклицала Олимпиада Марковна,— спасибо хоть таких-то дал, а то бы с голоду издохла.

Флигель ее пришел скоро в страшный упадок. Олимпиада Марковна продала его (разумеется, за полцены) и поставила себе маленькую избу. В избе ее жизнь стала уже совсем несчастная: грязь, вонь, под лавками кучи мусору...

Земля по-прежнему сдавалась за бесценок, и Олимпиада Марковна по-прежнему голодала. Но вмешиваться в свое «хозяйство» никогда и никому не давала:

— Я сама не дурей кого-нибудь,— говорила она обыкновенно.

Ее вполне удовлетворяла такая жизнь: свобода полнейшая, ходить можно, как попало,— хоть в грязи, хоть в лохмотьях, умываться каждый день не требуется, подчиняться некому... Чего же лучше? Олимпиаду Марковну нисколько не стесняло то, что соседи относились к ней, как к дурочке, как к самому несчастному существу. Она вряд ли и соображала это. Вернее, что нет. К тому же, как я уже говорил, она обладала незаменимыми качествами: страшной гордостью по отношению ко всем разговорам про нее («да родимец их убей») и равнодушием ко всем неприятностям в жизни. Она так же, как и прежде, только уж без приглашений, ходила ко всем в гости, торопливо и украдкой наедалась до «колик» в желудке и, подвыпивши, даже плясала. И плясала — надо отдать ей справедливость — так неистово, что один наш остряк прозвал ее «шаманом». С тех пор так и пошло... Действительно, такою пляскою, выражением лица, нанизанными друг на друга лохмотьями тетушка производила дикое впечатление.

Так прошло лет двадцать. Тетушка, вероятно, намеревалась в том же роде и до самой смерти дотянуть, как вдруг в ее жизни произошли резкие изменения. Независимость ее кончилась, и причиною этого был Мотька!.. Да, Мотька, ее работник!

Представьте себе мужика маленького роста, широкоплечего и широкоспинного, с расплывшимся носом на скуластом безбородом лице и с вечно веселыми плутовскими глазками. Это — Мотька. Он пьяница и «лантрыга», как говорится, в душе. Перед достаточными «господами» он подличает, заливается поддельным смехом на каждое их слово,— вообще ведет себя покорно до крайних пределов. Над бедными он отпускает остроты, хотя от природы человек добродушный и незлобивый. Он когда-то жил у нас в работниках, так что я знаю его недурно. Он был даже в некотором роде моим воспитателем, например, первый начал учить меня непечатным словам, заставляя повторять их и умирая со смеху, когда я выговаривал ругань детским картавым акцентом.

Но Олимпиаду Марковну он забрал в руки твердо. Конечно, хозяйство шло так же; Олимпиада Марковна каждый день бегала к нам и жаловалась, что Мотька ругает ее, продает самовольно рожь, поросят, напивается и ровно ничего не делает. Но едва кто-нибудь из нас собирался поехать и прогнать Мотьку, Олимпиада Марковна вскакивала, как обожженная и кричала:

— Что же это, батюшки, последнего работника хотят прогнать!

Мы, разумеется, в конце концов махнули на нее рукою и уже спокойно выслушивали про разные проделки Мотьки. Да и он перестал нас бояться.

— Хочу лошадь продать,— говорит он, например, мне без всякого стеснения.

— То-есть как же это «хочу»?— спрашиваю я.

Мотька только со смеху закатится на это.

«„ШАМАН“ и МОТЬКА»

Оттиск из «Орловского вестника» (1890, № 151, 152, 25 и 27 июня), изготовленный для Бунина. Фамилия автора и заголовок «Обломки дворянства. Очерки» в газете отсутствовали

Музей И. С. Тургенева, Орел

И. А. Бунинъ (Чубаровъ).

ОБЛОМКИ ДВОРЯНСТВА.

ОЧЕРКИ.

I.

„ШАМАНЪ“ и МОТЬКА.

... Не думайте, что это разсказъ изъ сибирской жизни, изъ жизни какой-нибудь якутской или бурятской слободы. Я передаю про одну нашу сосѣдку въ одной изъ деревенекъ орловской губерніи, старую дѣву-помѣщицу. Можетъ быть, эта сосѣдка покажется читателямъ небезъинтересною.

Начну съ наружности.

Видали вы безобразныхъ старыхъ цыганокъ? Онѣ по большей части худы и остроносы, глядятъ какъ то странно и дико одѣты въ какія-то ветхія, нани-

С годами Мотька забирал Олимпиаду Марковну в руки все больше и больше. В последнее время он буквально ни одного дня не пропускал, чтобы не напиться. Что же касается до отношений, которые существуют теперь между им и Олимпиадой Марковной, то лучше всего характеризовать их может следующий эпизод.

Однажды Олимпиада Марковна пришла к нам взволнованная более обыкновенного. Едва успев опуститься на стул, она принялась, как говорится, на чем свет стоит ругать Мотьку:

— Что ж это, батюшки мои!— вопила она неистово, развязывая неловко и нетерпеливо платки,— моя смерть пришла с этим праличем!.. Он меня замулындал!..

— Что такое? С каким «праличем»?— сурово спросил отец, выходя из кабинета,— что ты тут кричишь?

— Да как же, Алешенька, не кричать?!— накинулась на него Олимпиада Марковна,— и ты-то какой-то стал помешанный! Сестру удавить хотят, а он на нее же кидается!..

Отец остановился.

— Как «удавить»?— изумился он.— Тебя удавить хотят? Уж не Мотька ли?

— Да кто же больше, как не этот разбойник!— подхватила Олимпиада Марковна.— Вчера было совсем умерла!

Отец еле удерживался, чтобы не разразиться хохотом.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее,— сказал я, входя в комнату,—что с вами такое было?

Олимпиаде Марковне должно быть послышалось в моих словах сочувствие, и она сейчас же начала, едва выговаривая слова от нетерпения:

— Да вы, должно быть, не слыхали еще ничего? Он совсем с ума спятил... Ей-богу, спятил... Несказанные дела делает!..

— Мотька с ума спятил?— перебил отец.

— Ну да, разумеется, Мотька... Что же это ты, батюшка, не понимаешь-то ничего?.. Помешался, родимец... Вчера еще с утра засвистал в кабак верхом... «Лошадь,—

говорит,— менять буду».— «Как,— говорю,— менять? Надо у барыни спроситься, а потом уж скакать по кабакам».—«Все этакие шлюхи барыни бывают!»— Сел да и засвистал. Что ж мне, не драться же с ним!.. Ну, да это еще ничего. Вечером-то что было! Ты представить себе, Алешенька, не можешь!..

— Неужто правда давить хотел?— серьезно спросил отец.

— Да ей-богу же хотел!— завопила опять Олимпиада Марковна.— Я только загнала корову, глядь — идет! И лошади нету... Я так и обмерла... Ввалился, матушки мои, в избу и прямо ко мне. «Что ты, Матвей?»— спрашиваю, а сама дрожу вся... «Давить тебя, анафему, сейчас буду!»—«Как, говорю, давить? Я крещеный человек... Что ж я собака, что ли?»—«Ну, идол, нечего зубы-то заговаривать,— молись богу!..» А сам встал, мои матушки, сдернул с себя ремень,— а ремень-то толстущий,— да ко мне! «Слышишь, молись богу!»

— Я, батюшка, обомлела вся... (Олимпиада Марковна заговорила жалостно, нараспев.) Тут-то я узнала, как перед смертью тяжко бывает! Стала я читать псалом Давида: «Вспомяни, господи, царя Давида и всю кротость его». А он уж ремень накинул! А, каково? Что мне делать?.. «Матвей,— говорю наконец,— что ты делаешь? Что ты делаешь! Ну, ты меня удавишь — я в царство небесное пойду, а ты в каторгу. Побойся ты господа бога... Что я тебе сделала?» Он поглядел-поглядел — шварк ремень на пол. «Ну, черт с тобой,— говорит,— живи, окаянная!.. Подай мне супу». Налила супу, подношу — как он опять кулак к морде: «ай жмакнуть?» Потом сразу раздобрился: веселый, родимец, стал: «Я пошутил!» А хороши шутки? Хороши? До сих пор не опомнюсь!..

Мы только руками развели...

⟨1890⟩

«Орловский вестник», 1890, № 151 и 152, 26 и 27 июня, под заглавием: «„Шаман“ и Мотька. Очерк И. А. Чубарова». Воспроизведено (с неточностями, без указания на источник и без даты): «Дон», 1968, № 3.

В ГМТ хранится сброшюрованный оттиск, в котором псевдоним стоит рядом с подлинным именем автора, а заглавие расширено: «И. А. Бунин (Чубаров). Обломки дворянства. Очерки. I. „Шаман“ и Мотька». Во всем остальном текст очерка, а также шрифт и размеры столбцов совпадают с газетной публикацией. По свидетельству самого Бунина, оттиск был сделан с набора «Орловского вестника»: «Посылаю тебе статейку о Шамане,— писал он брату Юлию в начале июля 1890 г.— Это оттиск из „Орловского вестника“» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 31 об.; письмо датируется по упоминанию о чтении повести Толстого «Крейцерова соната»). «Отчего же ты ни строчки не напишешь про брошюру, которая была вложена в моем письме—«„Шаман“ и Мотька»?» — упрекал он его в начале августа (там же, л. 42; датируется по содержанию письма).

Замысел цикла очерков об уходящем дворянстве, который, судя по названию, введенному Буниным в оттиске, возник у него в это время, не был осуществлен. Возможно, что следующим очерком этого цикла должен был стать «Помещик Воргольский» (см. настоящ. кн.,стр. 162—172). Некоторые эпизоды очерка «„Шаман“ и Мотька» (например, судьба одной из воспитательниц Олимпиады Марковны — безумной старой девы или взаимоотношения героини с ее работником) предвосхищают образы и ситуации повести «Суходол».

БОЖЬИ ЛЮДИ

Очерки из жизни обездоленных

СУДОРЖНЫЙ

...Увидать этого «судоржного» мне пришлось на Орловско-Грязской дороге...

Поезд уже затих,— прекратилась толкотня и говор пассажиров, перестали стучать двери, когда я вошел в вагон третьего класса и поместился в более свободном отделении.

Все ждали третьего звонка. Обычных дорожных разговоров еще не начиналось... Священник с благодушным лицом, в старом подряснике, из под которого виднелись деревенские грубые сапоги, сидел, снявши шляпу, и, позевывая, смиренно расчесывал

жидкие, поседевшие волосы... Елецкий купец с выпуклыми белыми глазами, с желтоватым отеком лица, лежал на красной подушке и бессмысленно оглядывал с ног до головы какого-то русого и худощавого юношу в мундире ветеринарного института. Тот старался сделать вид, что не замечает этого оглядывания и смотрел в окно, изредка, но сильно затягиваясь папироской собственного изделия... Мужики, сидевшие тесно, рядком на задней лавке в застывших позах, о чем-то тихо переговаривались и вздыхали... Старуха-богомолка, едущая очевидно издалека, усердно глодала прелое яблоко...

Я разместился поудобнее, вынул книжку, закурил и уже приготовился погрузиться в чтение, когда внезапно за дверью вагона раздался какой-то шум и крикливый говор, словно кто-то ломился и его не пускали. Затем дверь сразу распахнулась и стукнула. Какая-то неопределенная фигура, в истрепанном армячишке и без шапки, застряла было в дверях, судорожно ухватившись обеими руками за дверцу, но через минуту, подхваченная сзади двумя кондукторами и рослым мужиком, буквально влетела в вагон и стукнулась об лавку.

— Держи его, ребята,— бормотал мужик,— держи, а я пока получше скручу ему руки... Мы его, идола, усодим!

— Ой, пустите, окаянные, пустите душу христианскую на святое покаяние! — кричал диким петушиным голосом «идол».— Караул! аминь! грабят!.. Не дамся!.. Живой к Вельзевулу не пойду!

И он действительно старался изо всех сил не даться: брыкал и бил ногами, отчаянно царапался рукою (другою он что-то сжимал у живота), бросался кусаться...

Все повскакали с своих мест и окружили барахтавшихся кондукторов. Те тоже старались изо всех сил и, поймав, наконец, руки своего противника, связали локти веревкою.

— Ишь, ишь!— бормотали они.— Ишь, какой заядлый! Нет, брат, стой, сделай одолжение,— угомонишься, морда твоя анафемская!

— Небось, ужрапится,— повторял мужик, налегши животом на его колени,— усядешься, сыночек!

— Усядусь,— вдруг хриплым, но совершенно спокойным голосом согласился «сыночек» и с широко раскрытыми, странными глазами, замер всей фигурой.

— Ну, вот, давно бы так,— сказал мужик, отдуваясь.—Я и говорил, что он все тоскует больше, а бунтовать — почти не бунтует,—добавил он кондукторам.

— Это и видно,— возразил один из них, улыбаясь.— Хорошо он тебя грязью-то с колес мазал по морде, как ты вез его по городу?..

— Вам, чертям, достался бы такой судоржный,— пробормотал мужик, отвертываясь к окну.

Кондуктора со смехом пошли из вагона. Но купец остановил одного за рукав и спросил:

— Да чей это?

— В самом деле,— прибавили еще некоторые,— кто это? Сумасшедший, что ли?

— Больше ничего, господа, как душевнобольной,— ответил отчетливо кондуктор и сейчас же скрылся.

— Ды сын мой, сыночек миленький, — прибавил за ним мужик.

— Откуда же ты его везешь?

— Из сумашедчева дома...

— Домой — что ли?

— Да, знамо, не к вам. Куда ж окромя дома? Там вон говорят — плати шесть целковых каждый месяц, а где их наберешься? На земи тоже не подымешь, не щепки. Опять — езда к нему. Проведать-то надо. Он хошь и судоржный, а все жалок...— Мужик махнул рукой и вытащил трубку.

— Нет ли, барчук, турецкого, а то тут махоркой дух напущать не годится, а отойти неможно: ишь ребеночек-то сидит!

Я дал табаку и начал расспрашивать.

Мужик сказал, что живет он под Ельцом. «Баскаковскую деревню знаете,— ну так, там»... Семья большая, а работник — он один. Сыночек еще с малолетства был судоржный, припадочный. «Бывало, по целым месяцам тоскует. Сперва смирный

такой ходит: потом как будто ничего,— оправится, да вдруг опять скарежит его, сидит примерно за столом да как заревет-заревет по бычиному, позеленеет весь — и об пол!»

— А работал все-таки?

Мужик глянул исподлобья и ухмыльнулся.

— Работал,— сказал он,— чертям оборки плел, прости господи! — Судоржный-судоржный — а все за девками гонялся. Идет, бывалыча, по деревне, так девки, братец ты мой, от него, как овцы,— врассыпную. А то что ж — облапит, разве выскребешься? Он силой да упрямством весь в меня...

— От бобра — бобренок, от свиньи — поросенок,— сострил худой, черный мещанин с насмешливо-злобным лицом.

Мужик пристально поглядел на него и сказал:

— Складно подвел! Вот примерно, ты не от бобра, сразу видать!

В это время заныл третий звонок, и мужик начал креститься.

Сумасшедший поднял голову, с удивлением поглядел на всех сидящих в вагоне и вдруг остановил глаза на мне и на лохматой бурке, которая была у меня на плечах.

— У, чахоточный,— сказал он насмешливо,— зачем полушубок вывернул?

И сразу, отвернувшись в угол, озабоченно начал выкладывать из полы армяка яблоки, куски белого хлеба и т. п. Все это он держал сперва, крепко прижавши к животу.

— Знать лопать захотел,— сказал мужик.— Глянь, какой гладкий...

Все с любопытством обернулись на сумасшедшего. Представьте себе небольшого роста малого, лет 25-ти, с толстым крепким туловищем женского сложения и с плоской большой головой, на которой под гребенку были острижены черные волосы, жесткие, как щетина. Лицо у него было калмыцкое, губы чувственные, толстые. Глаза как-то бегали диким взглядом. Руки — стянуты в локтях, отчего грудь у него выдавалась и рубаха обнажала тело.

— Хорош?— сказал мужик.

Купец засмеялся, а священник вздохнул и покачал головою.

— Скажи, пожалуйста, милый,—спросил он у мужика,— как же он окончательно-то стал сумасшедшим?

— Да как?— ответил мужик.— Очень обыкновенно... Я докажу сейчас ...История занятная...

Мы подсели поближе. Поезд стучал, так что мужик почти кричал нам.

— Баскакова барина, небось, знаете? Ну, так, мы полагаем, что он всему делу причиной. Сад у него, почитай, с целую рощу, а садовника и в заведении не бывало. Все сам. Выйдет зарею с ружьем, обойдет весь сад,— нет ли, значит, вора,— полыхнет раза три для острастки, взбудоражит галок да грачей и уйдет в дом. Ночью воруй сколько хочешь — ему и горя мало: натращал, мол,— не пойдут... Ну, вот, братец ты мой; наши мальчишки и залезь к нему в сад, пришли из ночного... Моему-то тогда семой год был, совсем еще коростовый, а отчаянный: залез на грушу под самым окном и почал тресть... На ту пору как черт толкнул барина: открыл окно, посвистывает... А ребятишки тоже, давай ему ладить. Барин как отскочит от окна, схватил ружье да ке-ек полыхнет вверх! Батюшки!.. Мальчишки с груши кубарем да драла! а мой-то, значит, не спапашился, брякнулся обземь да со страху и обмер... Что ж ты думаешь, приволокли его ко мне чуть-чуть живенького... с тех пор и пошел обмирать. Ну да это еще ничего,— обмирал он изредка, больше по ночам,— во сне, знать, увидит,— вскочит, заорет на всю избу и об лавку: вздуешь огонь, а он лежит, как котел синий. Ну, сейчас туда сюда, водою его отольешь, очнется малый... Хорошо... Только стал я примечать, что повадился он к Пармею, к суседу, значит. Не играет ни с кем из ребятишек, а все с его девчонкою, Анюткой. Полюбилась она ему страсть как... Девчонка, правда, была такая ласковая, да веселая: глазенки черные, вострые, как волченок какой... Ну, играй, думаю себе, хоть и с Анюткою. Все, бывало, весною прудки в канаве запруживают, либо зайдут на гумно, молотилку из щепок строят... Знамо, ребячье дело... Подружились, братец ты мой, во как. Отколотит, бывало, ее, и сам разревется... А то раз,— весною, холод, чичер был,— иду я в Новоселок, смотрю —

БУНИН

Фотография Б. Б. Пейроша. Орел, 1889

На обороте дарственная надпись Бунина А. Н. Бибикову: «1891 года января 26 дня. Милому Арсику, другу-приятелю по „рыцарству" от И. А. Бунина».

Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва

Митька с Анюткой в лугу сидят: Митька надел на нее свою шапку — озябла, значит, а левую ее ручонку к себе в рот засунул. «Анютка,— кричу,— откусит». А она смеется, подняла мордочку: «Он, гырт, дяденька, ее греет, а не обкусывает»... Вот как, братец ты мой, мне чудно да жалостно стало!.. Известно,— деточки, ангелочки божии...

Мужик вздохнул и полез за трубкою... «Сыночек» сидел смирно и глодал какую-то кость, закусывая ее яблоком.

— Хорошо,— продолжал немного погодя мужик, раскуривая трубку,— дело все-таки дрянью кончилось... Сволочь малый-то мой оказался,— грех вспомнить...

— А что такое?— с любопытством перебили некоторые.

— Да что? — почти со злобой сказал мужик.— Уколотил я его было... Пошел я раз вечером за хаботьем лошадям, на гумно, значит, слышу, кричит ктой-то за ригою, в коноплянике. Я бросил лукошко, выбежал,— глядь: Митька повалил на меже Анютку, а она орет что есть мочи... Как подскочил я к нему, сгреб прямо за ногу да об межу!.. Вот те Христос! Что ж, всякий разозлится... Разозлился да и сам был не рад... Митька орет: «батя, я нечаянно»,— а меня пуще злость разбирает. Нечаянно!— Каков постреленок! Шматанул его еще разок за виски, а он как заколотится... Посинел да и лежит...

— Ну, сказать покороче, очумел с тех пор малый, затосковал с этих пор. Все, бывало, уходил в поле, скучный такой. Ляжет, рассказывали ребятишки, на меже и глядит вверх... Об чем он думал — господь его знает. А поболел, стал злой, как дьявол, стал девкам проходу не давать. И наконец, того, прошлый год совсем спятил с ума.

То-то горя-то мы с ним зазнали, особливо зимою: ночи темные, на дворе зги божьей не видать, а он в избе у нас, как колдун, сидит, либо ругается, либо рыдает, стонет, как пес перед покойником... Ночь-полночь, самое глухое время, а тут...

— Ночь-полночь,— глухо сказал Митька, и его калмыцкое, бледное лицо приняло странное, болезненное выражение.— Ночь-полночь,— повторил он, стискивая зубы, словно для того, чтоб удержать рыданья,— меня там ночью били... Я пойду, а он меня ключами да по морде... Небось, дьявол, ляжешь... И ляжу... У меня там сухой матрас был, мясо круглое на сковородке...

— Хочешь ветчинки?— спросил купец, который в это время закусывал.

Митька схватил кусок ветчины, сжал его в кулаке и опять страшно стиснул зубы, как от нестерпимой боли... Он побледнел, закинул назад голову и замер...

— Будя дурить-то,— сказал отец, стараясь поднять ему голову.— Будя, слышишь, а то опять побью.

Но не успел он докончить, как Митька вскочил и запустил костью, которую глодал, прямо в лицо черного мещанина.

— А вот и тебе!— крикнул он дико и весело и хватил ногой, обутой в здоровый лапоть, изо всей силы в живот «бати».

Мужик взбесился... Он бросился на сыночка, повалил его на лавку и нещадно принялся бить его кулаками в голову. Мещанин бросился держать.

— Батюшки! Господи!— неистово вопил Митька,— пустите... а-ай! Пустите! Пустите!

— Убью, анафема,— захлебываясь кричал мужик, и страшные удары громадного мужицкого кулака сыпались на голову Митьки.

Все повскакали с своих мест, прибежали кондуктора.

— Начальники! спасите!— не унимался Митька,— батюшка... родимый батюшка!... не казни меня!

— Не будешь?— вопрошал мужик, придавив его к лавке и не спуская с него бешеных глаз.

— Что же это такое?— закричали мы кондукторам,— вы не смеете допускать такие сцены!.

— Пусти,— грозно крикнул кондуктор мужику.

Мужик поднялся. Медленно с дикими глазами поднялся и сумасшедший.

— Не смей воевать!— грозно крикнул ему кондуктор.

— Да разве я воюю?— зарыдал Митька,— ты пощупай-ка голову... Пощупай, ради Христа...

И он хватал руку кондуктора.

— Ну, что там такое?— сказал тот, подходя к нему.

Страшный удар лаптем в живот был ему ответом...

Что после этого произошло, передать трудно...

Началась опять дикая схватка. Все четверо — два кондуктора, мужик и мещанин навалились на Митьку. Он кричал, делал страшные усилия высвободиться и бил ногами куда попало...

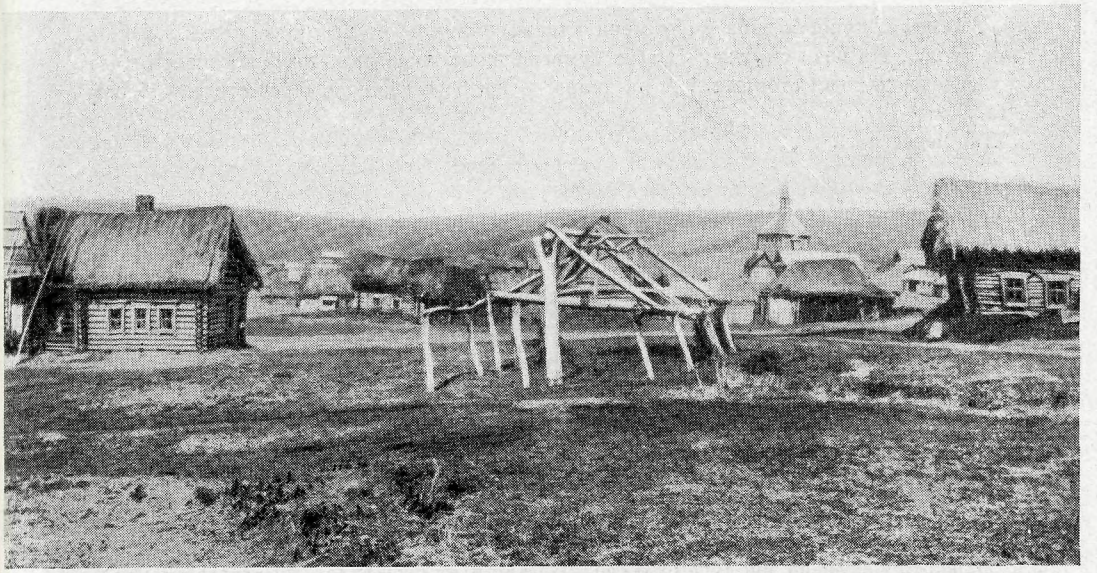
Один из кондукторов поймал его ногу, придавил ее к лавке и моментально распутал онучи и веревки на лаптях.

— Стой!— радостно завопил он, — теперь мы тебя успокоим!

Через минуту ноги Митьки были крепко скручены онучами. Руки, под мышками, стянули назад, на спину, перекинули конец веревки на крюк, где обыкновенно вешают шапки, и стали подтягивать Митьку кверху... У того положительно трещали кости...

Я выскочил из вагона на площадку, чтобы не видать этой страшной сцены.

Вечером слабо и тоскливо освещенный грязный вагон был переполнен спящим людом... В зыбком полусумраке с трудом можно было разглядеть фигуры пассажиров: спал на спине купец, развалившись по всей лавочке с самым тупым выражением физиономии, до того редко всхрапывая, что в иные минуты можно было усомниться, жив он или нет?.. Спала богомолка, поджав под себя ноги и положив кулак под голову;



ДЕРЕВНЯ
Фотография М. П. Дмитриева, конец 1890-х годов
Музей А. М. Горького, Москва

ее сморщенное доброе лицо с закрытыми глазами было до того смиренно и скорбно (даже брови несколько подняты кверху), что становилось грустно за ее хилость и одиночество... Спал и мещанин с серьезно надменным выражением лица...

Не спал только Митька. Его отец сидел против него на лавочке и совсем почти спал: закрыв глаза, он ежеминутно «клевал носом»: медленно-медленно опускает голову, догибается почти до колен и потом сразу вскакивает с широко раскрытыми, словно пьяными, глазами.

— Молчи, судоржный!— буркает он Митьке, и снова глаза его, как у петуха на нашесте, начинают «заводиться», и голова медленно, с отвисшими губами, наклоняться к коленам.

Судоржный не обращал на него внимания. Он сидел на лавочке с связанными ногами, причем одна его рука была еще до сих пор подтянута к крюку. Лицо его с унылыми дикими глазами выражало тупую, но страшную, долгую муку...

— Батюшка, родимый батюшка!— монотонно тянул он, — дай мне удовольствие! ох, дай мне удовольствие!..

— Ну, какое тебе, домовой, удовольствие,— иногда вскрикивал на него «батюшка».— Жрать что ли хочешь, проклятый?

— Ох, не хочу я хлеба-соли!— уже со слезами возражал Митька.— Подавись ты сам хлебом-солью... Дай мне удовольствие!.. Вымотал ты мою душеньку... в аде кипеть будешь, в аде...

Голос его начинал прерываться... Лицо искажалось от страданий, он начинал биться и наконец разражался рыданием... Дико раздавалось оно по сонному темному вагону...

Я опять поспешил уйти из вагона... Однообразно покачивался и стучал поезд в темноте дождливой холодной ночи: сырой ветер бил в лицо и нес от паровоза огненные искры.

Мне стало невыносимо тяжело на душе. Каково положение мужика? — думалось мне.— Куда девать ему своего судоржного, который не нынче — завтра может наделать преступлений? Свезти опять в сумасшедший дом? Но там — «плати шесть целковых»... И в моем воображении вставали те зимние, глухие ночи, про которые упомянул му-

жик... Темная, душная изба с еле мерцающим ночником, от которого колеблются по углам тени... На печи смутный силуэт сумасшедшего человека, который вымучивает душу своими дикими стонами... А на дворе — зги божьей не видать, метель — белая вьюга...

Да, невесело...

‹1891›

«Орловский вестник», 1891, № 150 и 152, 9 и 12 июня. Подпись: Ив. Бунин.

Заглавие свидетельствует о том, что Бунин предполагал в это время опубликовать в «Орловском вестнике» цикл очерков «из жизни обездоленных» под общим названием «Божьи люди». Возможно, что этот замысел возник еще в 1889 г., при перепечатке в «Орловском вестнике» раннего очерка «Два странника», озаглавленного в новой редакции «Божьи люди. Очерк» (см. настоящ. кн., стр. 139—145).

Воспроизведено (с неточностями): «Радуга», 1965, № 4.

ПРАЗДНИК

Сказка

...Пролетая с севера в полуденные страны, стая птиц отдыхала у пустынного моря...

— Как хорошо!— говорили они, глядя в тихое вечернее небо,— весело и спокойно лететь в такую пору! Право, если бы не было темных шумных бурь, на земле было бы повсюду так же весело и счастливо, как в наших зеленых долинах!

Они отдыхали и любовались...

Выше их, на скалах, сидела стая альбатросов; они тоже задумчиво смотрели на море, в даль, и потихоньку говорили:

— Как томительно! Целую неделю мы скитались на этих скалах, целую неделю однообразно и медленно качался прибой под горячим солнцем!.. Право, если бы всегда стояли такие томительные дни,— на земле все заснуло бы и умерло... Давно валялись бы мы на песке...

Старый альбатрос смотрел на далекий запад и молчал: он чувствовал близкую бурю, и это предчувствие весело туманило ему голову дикой отвагой.

— Ничего,— сказал он,— теперь скоро! Скоро праздник!..

Перелетные птицы с удивлением глядели на этих неуклюжих птиц,— их удивляли такие речи, а восклицание старого моряка показалось им нелепо.

— Что скоро?— спросили они друг у друга,— буря? Какой же это праздник? Да и наконец, все спокойно. Посмотрите...

Туманно-раскаленное солнце мертвенно-спокойно утопало в морской дали.

Но на перекатные мелкие волны почему-то набегал белый пенистый отблеск, и они, теснимые прибоем, заводили странный и неопределенно-шумный спор у песчаного берега... Бледный призрак бури уже шел по волнам...

Старый альбатрос не ошибался. Но перелетные птицы ничего не замечали, кроме тишины на берегу,— они не знали моря...

— Да, скоро!— повторил он и опять начал вслушиваться в говор прибоя...

И когда первая струя набежавшего ветра пахнула на него, он оживился: дико и весело взглянул он на померкший запад, на стемневший водяной простор, зорко разглядел маячивший дальний парус и взмахнул крылами...

Стая альбатросов ожила вслед за ним и с пронзительным криком скрылась в набегающем сумраке...

— Странно!— сказали перелетные птицы,— ну, если скоро, чего же веселеть перед несчастьем?..

И, опасаясь бури, они поднялись и опустились в проходе между скалами, в узкой горной долине.

— Как тут тихо и хорошо!— сказали они. — И зачем нужны бури?..

Море еле слышно плескалось и говорило за скалами; а здесь молчаливая ночь уже все покрыла неясным сумраком.

Темное небо и темная долина были безмолвны. Как в глубоком раздумье, они притаили дыхание, и дальние звезды смотрели сверху, словно вслушиваясь, как падает капля за каплей в горном источнике, как тихо-тихо шумят на вершинах деревья...

— Нет, все спокойно!— сказали друг другу птицы, вглядываясь в свои силуэты. Не то не полетели бы эти белые уроды... Полетимте!

И, поднявшись, тихой вереницей потянулись через скалы.

...Тревожная перекличка раздавалась в темноте шумной морской ночи. То перекликались перелетные птицы. Их застала буря, обманула тихая долина...

В их жалобных криках слышалось смертельное отчаяние и сетованье на забаву природы...

Морской ветер кружил их в пространстве. Беспросветное небо слилось с бушующими водами. За разгулявшимися громадами волн, за белой водяной метелью потонул и померк последний печальный отсвет запада и казалось, что снова все слилось в первобытном хаосе мироздания. Перелетные птицы слышали человеческие крики на погибающем корабле, видели, как его затопляло холодное море, и ужас обнимал их разбившуюся стаю.

А белые альбатросы с пронзительным криком свободно и сильно носились в беспросветном просторе... В их диких возгласах, заглушаемых шумом волн, слышалось веселье...

Они праздновали свой праздник, они жили порывами темной холодной бури...

И когда забрезжил бледный день, из-за дыма серых туч, которые мчал над белым затихающим морем ледяной утренний ветер, мокрые трупы перелетных птиц качались в прибое, а на песке лежал мертвый бледный юнга...

Только стая альбатросов сидела на скалах и отдыхала после шумного праздника. И, должно быть, только они одни видели, как отовсюду повеяло снова первобытной свежестью и обновлением, только они слышали в смутном шуме белеющего моря вечный, торжественный хорал природы —

Нестройный шумный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров!..

‹Июль 1891 г.›

«Русская жизнь». М., 1891, № 351, 25 декабря (1892, 6 января). Подпись: Ив. Бунин.

Воспроизведено (без указания на источник): «Литературная газета», 1960, № 122, 22 октября.

25 июля 1891 г., приехав из Орла в Москву, Бунин сообщил В. В. Пащенко, что написал этим утром «сказку»: сюжет ее «пришел ко мне ночью, в поезде, во сне»; он писал также, что намерен отдать свою «сказку» в журнал «Заря» («Литературный Смоленск», стр. 232). Однако в «Заре» в 1891 г. произведения Бунина не печатались. В. Н. Бунина сообщает, что «сказка», увиденная «во сне», появилась в рождественском номере газеты «Русская жизнь» за 1891 г. («Жизнь Бунина», стр. 71).

«Праздник» написан в духе поэзии революционного народничества, которой свойственно стремление к аллегорическим образам, насыщенным мотивами мятежа и свободы (ср. популярные в демократических кругах 80-х — начала 90-х годов стихи П. Ф. Якубовича —«Смерть орла», «Журавли», «Фантазия»). С этой же традицией связаны и написанные позднее произведения Горького в аллегорическом жанре.

Возможно, что эта «сказка» возникла под воздействием тех настроений, с которыми Бунин столкнулся в среде, окружавшей его в Полтаве, где он только что провел почти месяц у старшего брата (см. воспоминания Л. А. Женжурист — настоящ. том, кн. 2).

ПОМЕЩИК ВОРГОЛЬСКИЙ

Из очерков «Старое и новое»

I

...Первый, кого я встретил, достигнув родных палестин, т. е. сошедши на одной станции Орловско-Грязской дороги, был мой родственник, Павел Петрович Воргольский.

Он стоял в дверях вокзала и выделялся из многих высоким ростом, красивой физиономией чисто цыганского типа и своей манерой держаться: с надменным видом откинувшись назад и оглядывая всех быстрым взглядом черных, странных глаз, он как будто чувствовал себя выше всех и щеголял своим франтовским «русским» костюмом. Очевидно, заметив в толпе меня, он радостно улыбнулся, но когда я подошел к нему, сделал удивленное лицо.

— Павел Петрович!— воскликнул я,— вот славно! Прямо на братца попадаю!

— Извините, я, кажется, нэ имею чести...— возразил он, модно выговаривая вместо «е»—«э».

— Что такое? Не узнаешь?

— Право... не припомню...

— Неужели я в полгода превратился в другого человека?

Павел Петрович даже брови вздернул и сплеснул руками.

— Да это ты?

— Нет, брат, не я...— невольно вырвалась у меня глупая острота.

— Ну, извини, тебя совершенно не узнаешь!

— А вот тебя так сразу узнаешь. Все такой же.

— Да уверяю тебя, ты серьезно изменился,— настаивал Павел Петрович, нисколько не смущаясь, но уже начиная выговаривать буквы, как следует.

Я поднял свой чемоданчик.

— Пойдем в вокзал, а то извозчики разъедутся.

— Да на что тебе эта сволочь?

— Ехать, разумеется.

Павел Петрович покачал головою.

— Ты меня положительно обижаешь,— тоном любезного упрека возразил он,— ведь я-то здесь не пешком!.. Я, видишь ли, приехал было за контролером,— он ко мне на винокуренный завод,— да черт с ним! Его что-то не видать... видимо, приедет с вечерним... Мой экипаж к твоим услугам!

— А я к твоим услугам.

Обмениваясь такими любезностями, мы вошли в вокзал. Павел Петрович опередил меня и на весь вокзал крикнул:

— Казак!

Из дверей тотчас выскочил молодой широкоплечий кучер, с плутовской смуглой физиономией, и подбежал к нам.

— Вещи в шарабан!

«Казак» схватил мой чемодан и выжидательно остановился.

— Тесно будет, Павел Петрович...

— Молчать! А то на голове повезешь... Марш!

«Казак» подло хихикнул и скрылся.

— Давай выпьем,— обратился ко мне Павел Петрович и, не дожидаясь моего согласия, повелительно (он все хотел делать повелительно) кивнул бабе, стоявшей за буфетом. Баба через несколько минут притащила нам графинчик водки и два бутерброда с сыром. Не успел я выпить одной рюмки, как Павел Петрович уже налил мне вторую.

— Нет, не пью больше. Не наливай, пожалуйста.

— Ну, знаем мы вашего брата...

— Право, не стану.

— Пустяки! В конце концов, все равно выпьешь... только мерзлым бараном прикидываешься.

— Никаким бараном я не прикидываюсь,— сказал я решительно,— и пить не стану.

— Станешь!

Я расхохотался.

— Это же глупо, наконец, Павел Петрович!

Павел Петрович глянул исподлобья и вздернул плечами.

— В таком случае не хочешь ли вин? Я мадеры спрошу... или английской горькой?— сказал он с фатоватой любезностью.

— Спасибо! Поедем.

— Ну, черт с тобой!— пробормотал он и подряд выпил две рюмки.

II

Через четверть часа мы уже ехали по дороге к именью Павла Петровича. Павел Петрович правил сам; «казак» сидел у нас в ногах и на коленях держал чемодан.

Я невольно отдался тому славному впечатлению, которое всегда охватывает, когда после города попадаешь в поля, и почти не слушал Павла Петровича, рассказывающего что-то невероятное про свою лошадь.

День — солнечный, но холодный, настоящий осенний — далеко открывал поля и пышные зеленя; полуголые, легкие леса казались особенно веселыми и красивыми, рдея на солнце последними золотистыми уборами. Шарабан быстро катился по упругим колеям дороги, которые блестели тусклым блеском, словно рельсы; свежий воздух плыл навстречу и как-то особенно приятно бодрил и оживлял.

Я загляделся и залюбовался...

Вдруг сильный толчок заставил меня привскочить и схватиться за край шарабана: Павел Петрович поднялся во весь рост и со всего размаха вытянул арапником по спине мужика, спавшего в телеге, которую мы объезжали. Наша лошадь рванулась, бросилась в сторону, и шарабан вприпрыжку понесся по канавам около дороги.

— Это за что?— крикнул я, хватая Павла Петровича за руку.

— За то-то!

— Как «за то-то»? С ума спятил?

— А он чего растянулся?

— Да тебе-то какое дело?

— Знаешь, какое!

Павел Петрович глянул на меня веселыми, дикими глазами, тряхнул головою и, чувствуя себя вполне «удальцом», бешено дернул вожжи. Лошадь задрала морду и понеслась еще быстрее.

Мужик остался далеко сзади с своими криками и бранью. «Казак» подпрыгивал с чемоданом. Я еле удерживался за край шарабана. А впереди была гора и под горою овраг с самым коварным мостиком. Положение оказалось критическим.

— Гэй! гэ-ей!— все азартнее выкрикивал Павел Петрович, потрясая арапником.

«Ради бога потише!»— чуть не сорвалось у меня с языка... но я во-время вспомнил, что в таком случае Павел Петрович погнал бы лошадь еще бешенее, и рискнул на противоположную тактику.

— Ух, здорово!— крикнул я с деланной храбростью,— вот это я понимаю, вот это — лошадка!

— А что? Я говорил тебе.

— Прелесть!— повторил я,— замечательно идет!.. Только, кажется, наезжена плохо... не вымуштрована... Ведь, например, не можешь сразу пустить «ходой»?

— Как не могу? Ерунда!

Павел Петрович вскочил и сразу осадил лошадь на полгоре. Лошадь даже захрипела и, покачиваясь и упираясь, пошла дробным шагом.

— Каково?— мигнул Павел Петрович.

— Лихо!— сказал я и чуть не расхохотался.

От сердца у меня, признаться, отлегло. К тому же «опасность миновала»,—мы поднимались в гору. Оглянувшись с нее, я увидел вдалеке мужика, над которым показал свою удаль Павел Петрович. Мужик ехал шагом и, сидя на грядке телеги, сосредоточенно глядел на нас.

— Вот он, голубчик!— заметил Павел Петрович и с веселым хохотом погрозил ему арапником.

— Из-за чего это он,— подумалось мне,— постоянно выкидывает такие штуки? Ведь далеко он не такой «разбойник», каким хочет себя показать!

С горы, между тем, показалась усадьба Павла Петровича. Он ударил по лошади, и минут через десять мы были уже на дворе.

III

— Обедать!— крикнул Павел Петрович на весь дом, входя в переднюю.

Горничная, сидевшая в ней, вскочила, усмехнулась и скрылась в комнатах.

— У меня строго!— заметил Павел Петрович и подмигнул ей вслед.

Обед, действительно, был подан скоро.

Мы сели за него вдвоем, потому что жены Павла Петровича дома не оказалось. Проголодавшись дорогой, я ел за двух и молчал. Павел Петрович только пил и первый начал разговор:

— Ты где обыкновенно обедал в Харькове? Небось, все по кухмистерским?

— Нет, дома.

Павел Петрович улыбнулся.

— Дома? Навряд... Извини, если не поверю.

— Что же тут невероятного?

Павел Петрович махнул рукой.

— Да уж ваша братия известно как живет!

— То есть чья это «братия»?

— Да студенты и всякие такие... Все по кухмистерским. Конину жрут.

— Во-первых — я не студент, а во-вторых, и студенты не все одинаково живут...

— Что такое?— насмешливо-медленно перебил Павел Петрович и потом сразу сдвинул брови и заговорил строго и убедительно.— Да кому же ты рассказываешь? Я, брат, вдесятеро лучше тебя знаю эту компанию... Расскажи кому-нибудь другому.

Я удивленно поглядел на него, потому что знал, что он даже в университетских городах никогда не бывал.

— Да где же ты ее мог узнать?— спросил я.— Ведь ты...

— Ну, что «я»? Как это «где»? Я, брат, когда жил в Москве...

Я не утерпел и в свою очередь перебил его:

— Да ты в Москве был еще трехлетним! Ты не видал ее...

Снова удивленный и строгий взгляд со стороны Павла Петровича.

— То есть как это не видал? Если ты не видал, это не значит, что я не видал.

— Конечно, из-за этого-то не значит. Но суть в том...

— Да я Москву, как пять пальцев, знаю.

— Ну, опиши мне... Ну, хоть Кремль.

— Да я у тебя не на экзамене!

— Конечно, не на экзамене, но все-таки, опиши, пожалуйста. Что ты там видел, например?

Павел Петрович вздохнул и покачал головою.

— Как это «что видел»?— спросил он с презрительным сожалением.— Что все видят, то и я видел.

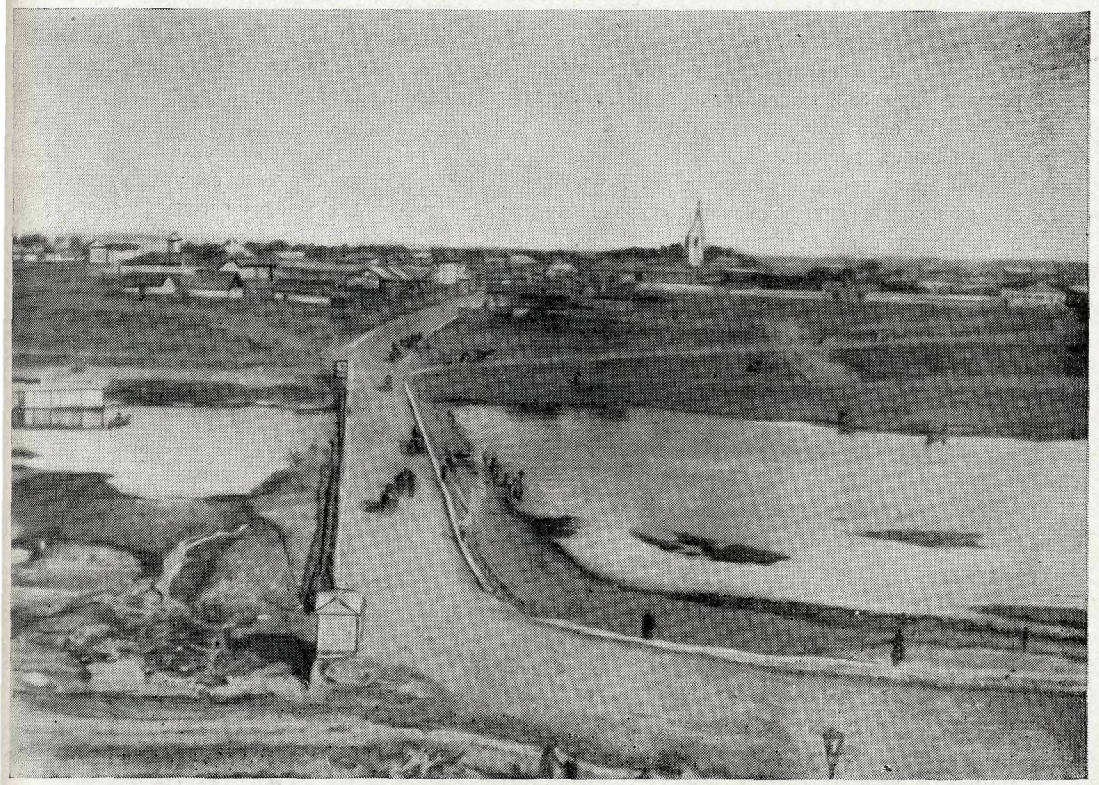
— Ну, что же все видят?

Павел Петрович начал злиться.

— «Сто видят»!.. «Сто видят»!

— Нет, ты дразниться-то погоди.

— Да ну, понятно что! Дома, церкви, бульвары, магазины... Ты, братец, ей-богу ошалел!..



ЕЛЕЦ. ВИД ОТ РЕКИ СОСНЫ
Открытка, конец 1890-х — начало 1900-х годов
Собрание С. В. Красновой, Елец

— Стой! Стой!— завопил я.— Как «бульвары, магазины»? Да в Кремле, кроме дворцов, церквей и присутственных мест ничего нету — ни бульваров, ни магазинов!

Павел Петрович, презрительно скосив губы, пожал плечами и спокойно, тоном, каким говорят с детьми, возразил:

— Да не обыкновенные же магазины, деточка! Ведь можно было догадаться, что я говорю про лавчонки, где продают... Ну, крестики разные, картинки... А ты, голубчик, воображаешь, что там магазины с зеркальными стеклами?

Я опять перебил:

— Погоди... а бульвары-то где ты видел?

— Я про бульвары и не думал говорить.

— Как не думал? Ты сказал: «дома, церкви, бульвары»...

Павел Петрович откинулся на спинку дивана и развел руками:

— Это, наконец, черт знает что! Ты в глаза лжешь,— воскликнул он.— Уверяет меня про какие-то бульвары...

— Да как же не уверять? Как тебе не стыдно?..

— Ты, брат, беспамятен стал, как старая...

Окончание фразы было такое, которое передать нет никакой возможности. Я махнул рукой и смолк.

Помолчали...

Павел Петрович катал из хлеба шарики и насмешливо «играл» глазами. Я бесцельно глядел в окно на золотистый свет кроткого осеннего солнца.

Наконец, Павел Петрович выпил рюмку водки, понюхал, вместо закуски, кусок хлеба и, раскуривая папиросу, заговорил опять:

— А что действительно студенты кониной пробавляются,— я докажу тебе. Если ты ничего не читаешь, так я тебе помогу, дам «Отечественные записки», там даже рассказ про это напечатан. Здорово этих «ученых» прохватывают.

— То есть как «прохватывают»?

— Очень просто.

— Да за что прохватывать-то? Ведь нельзя же обидеть умного человека, если даже самым ехидным тоном сказать: «ты конину ел»... Я, право, все-таки, не думал, что ты о людях по кошельку судишь.

— А почему же и не судить! Не лезь в волки, когда хвост собачий.

— Хвост-то тут при чем?

Павел Петрович махнул рукой.

— Молчи, молчи, брат! Не связывайся! Ты, я вижу, еще многого не дотяпываешь.

— Как это «не дотяпываешь»?

— А то как же... Молодо-зелено... Я, брат, и не таких-то молодцов «остригал».

Павел Петрович поднялся.

— А самое лучшее,— докончил он,— оставить эту материю. И весело и хитро играя глазами, выпил еще рюмку и ушел спать.

IV

Я тоже пошел в кабинет и прилег на кушетке. Но заснуть не удалось, а лежать скоро надоело. Я пошел побродить по усадьбе.

Усадьба была небольшая, по именью — у Павла Петровича около 200 десятин,— но красивая. Сад был большой, старый, окружен соломенным валом — последний признак прежних помещичьих усадьб... Больше всего в нем было лип; плодовых корней можно было насчитать штук сто, хотя Павел Петрович и рассказывал, что он получает аренды с сада тысячу рублей.

Я побродил по дорожкам, посидел в липах и спустился под гору, к заводу. Завод уже шел. Насилу отворив тяжелую заводскую дверь, я очутился в самом помещении. Там меня сразу охватил теплый, влажный воздух, пропитанный спиртными парами. Шел неясный разговор; где-то раздавался смутный крик нескольких голосов, и все это покрывал смешанный шум, лязг и однообразный стук мелькающих колес, от которых дрожал тонкий дощатый пол. Винокур, старик-еврей, с серыми кудрявыми волосами, бегал, разваливаясь, как тяжелый гусь, и кричал на рабочих...

Вся эта суетня, толкотня и стук машин производили славное впечатление. Дело на заводе было, видимо, поставлено недурно; это меня даже удивило: я знал, что Павел Петрович — хозяин плохой и с самой юности слыл «лантрыгой». В гимназии он страшно шалил, ленился и вышел из третьего класса. Дома он повел совсем бездельную жизнь: больше всего он пропадал на охоте, ежеминутно скандалил и пил иногда по несколько дней без просыпу. Когда отец умер, он было принялся хозяйничать, выписал даже какой-то сельско-хозяйственный журнал, но вскоре бросил свое увлечение. Сельско-хозяйственный журнал он даже не читал и говорил, что «все эти кабинетные, ученые хозяева на самом деле ни черта не стоят».

Воротившись в дом, я присел в гостиной. Обстановка в ней была обычная: стены в обоях, небольшой диван и около него несколько кресел в белых чехлах. На круглом столе бронзовая лампа; на одной стене — премия от «Нивы», на другой — от «Нови»— «Между песнею и пляской».

Пока я разглядывал истомленную красавицу, послышался стук подъезжающего экипажа. Я выглянул в окно и увидел, что перед крыльцом остановилась высокая ямщицкая тележка.

— К этому, Сергей Сергеич?— услышал я вопрос старика-извозчика, обращенный к седоку, господину в модном драповом пальто и форменной фуражке.

— Здесь! Здесь!— торопливо ответил тот.— Неси мои вещи в дом.

— Какие-с?— флегматично спросил старик.

— Идиот! — резко крикнул Сергей Сергеич. — Разумеется, вот эти, под сидением.

И он быстро и грациозно взбежал на крыльцо.

Скоро в зале послышался громкий говор: Павел Петрович встал и разговаривал с приехавшим. Немного погодя раздались шаги, и в комнату, смежную с моею, кто-то вошел. Я приподнялся и заглянул в щель неплотно притворенных дверей.

Посреди комнаты, наклонившись над чемоданом, стоял Сергей Сергеич.

Он был небольшого роста и тщедушен. На нем была серая визиточка и черные брюки, из-под которых выглядывали изящные штиблетки. Когда он поднялся, я увидал его лицо. Оно было немолодое, но красивое. Черные глаза сверкали строгим блеском из глубоких впадин. Щеки тщательно выбриты, и черная бородка красиво подстрижена. Волосы, тоже черные, короткие, мягко лежали назад. Общее выражение лица — как будто немного удивленное и серьезное, словно господин контролер всегда был чем-нибудь задет и строго говорил: «Милостивый государь! Ведь я не позволю-с!».

Он порылся в жилетном кармане и отомкнул чемодан. Затем стал вынимать разнородные предметы.

Прежде всего он вынул сюртучную пару и несколько крахмальных рубашек. Пару он повесил на стене, а рубашки, завернув во что-то белое, положил на этажерку. Этажерка была со сломанною ножкою, и Сергей Сергеич, качнув ее, криво усмехнулся.

— Однако, удобства!— пробормотал он недовольно.

Потом опять подошел к чемодану и вынул оттуда штиблеты и новые сиреневые брюки. На последние Сергей Сергеич взглянул ласково; бережно развернувши, он взял их в левую руку, отставил от себя, так что они красиво повисли в воздухе, поглядел несколько минут, откинув голову набок, и затем так же бережно свернул их.

Далее следовала мелочь.

Сергей Сергеич поставил на стол два флакона с одеколоном, зубную щеточку, табак в красной коробке; положил револьвер, суворинское издание Пушкина, «Царь-Девицу» Вс. Соловьева, «Мысли о женщинах, старые и новые» и штук пять желтых книжек «Отечественных записок», вынул из сака хлыстик с бронзовым набалдашником и, свистнув им два раза в воздухе, снова спрятал. Потом, задвинув ногой сак под кровать, разложил на ней подушку и байковое одеяло... Все это он сделал скоро и, запустив пальцы в жилетный карман, слегка потянулся.

Я отодвинулся от двери, закурил и лег на диван. Когда же я снова заглянул в щель, контролер стоял и утирался полотенцем, а садовник, который исполнял у Павла Петровича осенью и зимою роль лакея, мужик в фартуке, с суровым лицом и рыжими, подстриженными усами, протирал пол... Окончив это, он взял рукомойник и хотел уйти. Контролер опустил полотенце и намеревался что-то спросить, но взглянув на грубую физиономию садовника, по-видимому, счел за лучшее промолчать.

— Наверно, дерзкая скотина,— пробормотал он, когда садовник скрылся.

— Самовар готов-с,— сказал тот, через несколько минут отворяя дверь.

— Сейчас, голубчик, сейчас!— торопливо и не выговаривая буквы «л», ответил контролер.

Садовник бесстрастно повернулся и вышел. Это опять не понравилось контролеру.

— Ну, да у меня будешь вежливый!— сказал он вполголоса с хвастливой храбростью и стал перед зеркалом зачесывать волосы.

Сперва он быстро и недовольно дернул гребешком; потом взбил волосы рукой, отступил немного от зеркала, наклонил голову набок и несколько минут искоса глядел на свое отражение. Потом стал зачесывать медленно и осторожно; волосы лоснились и красиво ложились назад... Сергей Сергеич несколько раз провел по ним своей бледной и худой «нервной» рукой с розовыми ногтями и опять стал глядеть в зеркало. Налюбовавшись, он слегка покрыл лицо пудрой, расчесал усики, переменил серую визиточку на сюртук, сделал строгое лицо и, одергивая жилет, прошелся по комнате. В черной паре его фигура казалась еще стройнее и тщедушнее...

Я лег на диван и закрыл глаза.

V

В сумерки горничная разбудила меня приглашением «чай кушать». Я вышел в залу.

За столом сидели: около стены Павел Петрович, сбоку — гость. Павел Петрович был в шелковой красной рубашке, новых черных шароварах и замечательно вычищенных сапогах. Видимо, он хотел показать себя богатым помещиком: богатые помещики, по его мнению, должны носить именно такой костюм. Кроме этого, было еще заметно, что сегодня он чувствовал себя особенно «удалым» и красивым. Гость слушал его оживленный говор молча, с вежливой улыбкой, и помешивал ложечкой в стакане.

— Позвольте, Сергей Сергеич, познакомить,— начал, как только я вошел, Павел Петрович галантно.

Я пробормотал, как обыкновенно бормочут при первом знакомстве, свою фамилию.

— Сергей Сергеич Павловский,— ясно и вразумительно ответил мне контролер, выпуская букву «л».

Потом сейчас же сел и сделал вид, что его чрезвычайно интересует рассказ Павла Петровича.

Но Павел Петрович сказал торопливо «pardon» и крикнул горничную:

— Принесите рому или коньяку... хоть бутылку, да чаю Ивану Алексеевичу.

— Да там... нету-с,— ответила горничная.

Павел Петрович сделал строгий и удивленный вид.

— То есть, как это нету-с? Давно ли я привез из города ящик?

— Когда-с?— наивно спросила горничная.

— Слушайте, что вам приказывают и не смейте рассуждать,— сердито перебил Павел Петрович, нисколько не смущаясь.

Горничная, должно быть, уже привыкшая к подобным штукам, молча скрылась. Когда же она принесла мне чаю, Павел Петрович уже не стал спрашивать про вино.

— И представьте себе, Сергей Сергеич,— говорил он, продолжая прерванный рассказ,— мне эта история вовсе не шутками обошлась: чистого убытку оказалось ни много, ни мало... (позвольте,— заморгал он глазами, будто бы припоминая — 800, 1000, 1025) да... верно: 1025 рубликов с копейками.

— Однако!— сочувственно сказал Сергей Сергеич.

— Да вы, может быть, не верите? Я вам покажу конторские книги.

Сергей Сергеич быстро взглянул исподлобья.

— Помилуйте!— воскликнул он.— Почему же я смею не верить?— И изящно хлебнул из стакана.

— Про что это?— спросил я Павла Петровича.

— А знаешь про ту историю с волками,— ответил он совершенно спокойно.

— Про какую историю с волками?

— Разве не помнишь, волки пшеницу-то у меня летом испортили,— 25 десятин логовом поделали.

— Когда же это?

— Ах, боже мой! Да ты же ездил со мной осматривать поля.

— Я не жил лето в деревне.

— Ну, так, значит, не ты,— протянул Павел Петрович,— так, так... не ты, действительно. Это мой шурин.

Сергей Сергеич, видимо, понял, что разговор принимает плохой оборот, и поспешил сейчас же переменить его.

— Вы что же, в университете в Харькове? Ну, что там новенького? Вы ведь недавно оттуда?

— Да, недавно. Нового, кажется, ничего нет.

— Я, видите ли, — пояснил Сергей Сергеич, — почему так интересуюсь Харьковом, что это, можно сказать, мой родной город; я там прожил около 5 лет. Славный город!

— Городишко, правда, недурной,— заметил Павел Петрович.

Сергей Сергеич криво улыбнулся.

— Даже не город, а городище целый,— сказал он и обратился ко мне.

— Я думаю, он и теперь с каждым днем прогрессирует; кажется, там несколько месяцев тому реализовалась благая мысль: открылась бесплатная читальня.

— Да, да,— подхватил Павел Петрович,— открылась.

— Она уже несколько лет существует,— заметил я.

— О, нет,— возразил контролер,— насколько я знаю, это учреждение для Харькова еще очень молодое.

— Кажется, четвертый год уже,— повторил я.

— Четвертый, четвертый,— подтвердил Павел Петрович.

— Удивительно! Как же это я смешал?— вздрогнул Сергей Сергеич плечами.— Ну да, в сущности, это не важно. Я хотел сказать...

— Конечно, ерунда,— весело перебил Павел Петрович.

Сергей Сергеич опять криво улыбнулся, кинул на него взгляд, но сейчас же поспешил придать своему желчному лицу спокойное выражение.

Наступило неловкое молчание. Я встал и пошел за папиросами.

— Куда ты?— спросил Павел Петрович.

— За папиросами. Я сейчас.

— Катерина, папирос! — закричал Павел Петрович, но сейчас же спохватился и прибавил: черт возьми, кричать приходится,— выписал себе электрических звонков и до сих пор не получаю.

— Какой же системы? — спросил Сергей Сергеич.

Брови Павла Петровича дрогнули, но он постарался сказать весело:

— Самой простой, но новейшей.

VI

— Вы, кажется, ярый последователь теории Толстого? — все хотите делать сами,— пошутил Сергей Сергеич, когда я вернулся.

— Страстный! — ответил я в том же тоне.

Тогда Сергей Сергеич сделал серьезное лицо и сказал:

— А propos, читали вы новую книжку Скабичевского: — «Толстой как художник и моралист?».

— То есть барона Дистерло?— спросил я.

— Да, да, Дистерло,— поспешно подтвердил Сергей Сергеич и, показав таким образом, что он перемешал фамилии из-за «глупейшей» рассеянности, авторитетно начал делать критические замечания на «книжечку».

Потом перешел к самому Толстому, сказал несколько интересных фраз насчет его «теорий», прибавляя к ним, как к собственным мнениям: «мне кажется», «я думаю»— и наконец, доставая портсигар, быстро закурил папиросу, изящно помотал спичкой, элегантно бросил ее, откинулся к спинке стула и заключил:

— Мне, по правде сказать, жаль его: запутался старик!

Павел Петрович, дотоле молчавший, вдруг сказал:

— А по-моему, даже не запутался, а просто спятил с ума! Иначе, как же допустить, что богатый человек, бывший столько лет министром, ни с того ни с сего стал плести лапти?

— То есть, как это «министром»? — раздраженно небрежным тоном спросил Сергей Сергеич.

— То есть так,— разве не поняли? — отвечал Павел Петрович, и глаза у него загорелись.

— Он не был министром,— продолжал Сергей Сергеич.

— Нет, был,— дерзко и грубо возразил Павел Петрович.

— Pardon, насколько я знаю...

— Мало знаете...

Сергей Сергеич поглядел, вздернул плечами, но, увидав у Павла Петровича совсем бешеные глаза, поспешил кое-как перевесть разговор на другое. Но Павел Петрович еще очень долго щурил левый глаз и с злобной улыбкой поглядывал на Сергея Сергеича. Тот старался не замечать этого. Он пустился опять высыпать свои знания по части модных толков: говорил очень много о женском вопросе, затем перешел к журналам, сказал с неприятной гримасой о их теперешней бессодержательности и, вспомнив о старых журналах, воскликнул с чувством:

— Да! Жаль, жаль «Отечественных записок»!

Разговор наш был прерван приездом жены Павла Петровича, очень похожей на бубновую даму. Когда она, переодевшись, вышла к чаю, Сергей Сергеич совсем оживился. Он встал и, расхаживая и покуривая, заговорил о деревенской скуке, в которую он, впрочем, «не попадет, если Павел Петрович позволит ему проводить свои вечера в его семействе», рассказал, с какими приключениями он будто бы добрался со станции, опять свел разговор на женщин, но уже в более легком, остроумном тоне и т. д., и т. д.

Павел Петрович более всего хлопотал о закуске и выпивке и, подвыпивши, стал петь, принимая мужественные, удалые позы и стараясь своим громадным, необработанным баритоном заставить звенеть стекла. Сергей Сергеич подпевал тоже баритоном, только сдержанным, грациозно облокотившись на спинку стула и играя часовой цепочкой.

Я распрощался и ушел спать.

Часа в три ночи я услышал, что меня будят.

— Слушай! Встань-ка! — бормотал кто-то, дергая меня за плечо. Я чиркнул спичкой и увидел Павла Петровича.

— Хочешь выпить? — спрашивал он торопливо.

Я только мог расхохотаться. Павел Петрович пробормотал: «Ну, черт с тобой!»— и, закурив папиросу, лег около меня. Помолчав, он, наконец, выговорил угрюмо:

— Однако я эту дохлую личность за хвост да на солнце! Ей-богу! Опомниться даже не успеет.

— Кого?— спросил я.

— Контролеришку...

Я хотел было расспросить, в чем дело, но сон одолел любопытство.

VII

Проснулся я рано и, намереваясь уехать поскорее домой, на свой хутор, сейчас же начал одеваться.

Отворив окно, я невольно прикрыл глаза от яркого света. Солнце стояло еще низко, но блестело ослепительно. В аллеях насквозь сверкали полуобнаженные золотые липы. Утро было светлое, но холодное; на балконе, на перилах и в саду, на песчаных дорожках и опавших черных листьях еще лежала белая, как снег, роса; над прудом, под садом, расстилался густой, матовый туман...

Вдруг около меня, как гром, грянул выстрел. Я, как обожженный, отскочил от окна и заорал во все горло:

— Да кто же это?

В ответ на это около окна раздался громкий хохот.

Я выглянул из окна и рядом, в другом окне, увидал Павла Петровича. Он сидел на подоконнике и на коленях держал дымящееся ружье.

— Что, брат, здорово струсил?— закричал он и прибавил потише.— Это я пробуждаю господина питейного чиновника.

— Черт знает, что ты делаешь,— пробормотал я недовольно.— Ни свет ни заря — палит из окон!

После чая я стал просить Павла Петровича дать мне лошадь.

— Ты ехать хочешь? — спросил он.

— Да, нужно.

— Ну, что же? — я тебя не держу.

— Так лошадь-то дашь?

— Лошадь? Лошадей, брат, я не держу.

Я стал упрашивать:

— Полно шутить, Павел Петрович!

— Да, ей-богу же, у меня нету.

— Ну, так я найму,— заявил я наконец.

Павел Петрович пожал плечами.

— Изволь, нанимай! Но как только твой извозчик на двор, я велю принять его в кнуты.

Я давно знал такую манеру гостеприимства Павла Петровича: он ее заимствовал у прежних помещиков, думая, что помещик должен быть гостеприимным именно в таком роде. Пришлось самому сходить в конюшню, попросить кучера оседлать лошадь и тайком уехать.

Однако слова Павла Петровича насчет «дохлой личности» меня заинтересовали. Я был убежден, что дело добром не кончится.

VIII

Не больше как через неделю после этого мне пришлось натолкнуться на замечательную сцену.

Я поехал к Павлу Петровичу. Предупрежденный заранее, что он будет охотиться, я нарочно поехал теми полями, на которых думал встретить охоту. Подъезжая к его лесу, я еще издалека услыхал «однопометников лай музыкальный». Но лай был слишком музыкален, чтобы предположить, что идет горячая гонка. Охотники, по-видимому, где-нибудь на привале пьянствовали, а собаки шалили или гнали по старым следам.

«Наверно, они в лугу»,— подумал я, въезжая на опушку леса шагом. День стоял теплый, ласковый. Лес, упоенный ароматом листопада, тихо задремывал...

Я ехал шагом и как в забытьи слушал далекую музыку лая...

Вдруг за кустами послышался лошадиный топот, ускоренный, отрывистый. Он отдавался все ближе и ближе и все усиливался.

— Ату-ту-ту... его!! — задыхающимся голосом гаркнул кто-то на весь лес. И вдруг с бешеною быстротою из-за кустов выскочил на сереньком «киргизе», нещадно поливая его нагайкой, Сергей Сергеич и за ним «казак» и Павел Петрович. Потрясая арапниками, они скакали что есть духу. На повороте, около меня, Павел Петрович сразу пригнулся к седлу, вытянулся и, наскочив на контролера, неловко, но, видимо, изо всей силы треснул его арапником. Контролер вскрикнул и неловко шарахнулся в кусты.

— Держи!.. Васька! держи!.. — едва мог крикнуть Павел Петрович.

Но контролер уже успел счастливо выпутаться из кустов и поскакал вниз.

Только тут я опомнился и бросился к Павлу Петровичу.

— Что это такое? Скажи ради бога!..

Павел Петрович остановился и тяжело перевел дух.

— Что, брат, здорово?— спросил он, сопя и что-то проглатывая. Глаза у него расширились, ноздри дрожали.

— Я ничего не понимаю,— крикнул я.— Ты с ума сошел!

— Да, сошел! — сказал Павел Петрович.— Хочешь я твоему жеребчику ухо из револьвера отстрелю. Честное слово, отстрелю!

Дико и весело играя глазами, Павел Петрович выхватил револьвер и прицелился. Я схватил его за руки:

— Однако, брат, шуткам есть границы.

— Ну, ну, я шучу,— сказал Павел Петрович.

— Ты лучше скажи, что это было здесь?

— А то что же!.. Он, видите ли, образованный господин... Подлавливает меня на каждом шагу... К жене лезет: «поедемте в соседнюю деревушку молоко пить!» Хорошо я его угостил? Теперь, небось, шабаш по деревушкам ездить!

— Да зачем он в лес-то попал?

— А мы его на охоту пригласили... Да жаль, Капитон и Митька опоздали... Мы бы его еще и не так угостили!..

«Да, не перевелись еще витязи на святой Руси»,— думал я, выезжая из леса на дорогу к своему хутору...

‹1892›

«Орловский вестник», 1892, № 143—146, 3—6 июня. Подпись: И. А. Бунин.

Воспроизведено (с неточностями): «Радуга», 1968, № 4.

По замыслу и стилю «Помещик Воргольский» примыкает к очерку «„Шаман“ и Мотька». Возможно, что первоначально он был задуман как одно из звеньев неосуществленного цикла «Обломки дворянства» (см. настоящ. кн., стр. 154). Задуманный Буниным новый цикл очерков «Старое и новое» также не был продолжен. Реминисценции из «Мертвых душ», отчетливо проступающие в этом очерке, свидетельствуют о том, что в молодости Бунина привлекала не только романтическая линия гоголевского творчества, как можно было бы судить по «Жизни Арсеньева» (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 38; т. 9, стр. 259), но и сатира Гоголя.

СТИХИ

Публикация В. Н. Афанасьева, Л. Н. Афонина, А. К. Бабореко, М. Г. Ватолиной, И. С. Газер, Т. Г. Динесман, А. Н. Дубовикова, О. А. Сайкина, Н. П. Смирнова

Предисловие Т. Г. Динесман

Известно, что при подготовке собраний своих сочинений Бунин очень строго относился к отбору стихов, отвергая многое из написанного им. В последние годы жизни он неоднократно возвращался к вопросу о составе нового издания, но, видимо, так и не решил его окончательно. Стихотворный отдел последнего, наиболее полного, посмертного издания произведений Бунина (Собр. соч. 1965—1967, т. 1 и 8) вобрал не только основной состав обоих прижизненных собраний сочинений Бунина (1915 и 1934—1936 гг.) — в него вошли также 55 стихотворений, которые сам автор в эти издания не включил. Однако этим добавлением далеко не исчерпывается та часть поэтического наследия Бунина, которая в свое время осталась за пределами собраний его сочинений. Задача данной публикации — по возможности восполнить этот пробел.

С целью выявления неизвестных текстов были просмотрены все прижизненные сборники произведений Бунина, ряд периодических изданий и альманахов, в которых он печатался, обследованы все автографы, хранящиеся в советских архивах, учтены посмертные публикации в советской и зарубежной печати. Тем не менее настоящая публикация не может претендовать на исчерпывающую полноту по следующим причинам: во-первых, остался неизученным Парижский архив Бунина — редакция имела возможность воспользоваться только теми его материалами, которые были опубликованы после смерти писателя В. Н. Буниной и Л. Ф. Зуровым (не исключено, что некоторые из этих публикаций остались неучтенными); во-вторых, круг периодических изданий, в которых участвовал Бунин, чрезвычайно обширен и разнообразен, библиография его не разработана, поэтому и здесь не исключена возможность пробелов.

В состав публикации входит 83 произведения, которые распределяются по следующим разделам:

I. Стихотворения 1900—1938 гг. Здесь публикуются произведения, созданные в зрелый период творчества Бунина: стихи, ранее неизвестные, а также позднейшие редакции стихотворений, напечатанных в Собр. соч. 1965—1967 по более ранним публикациям. Хронологические границы этого раздела определяются, с одной стороны, временем окончания работы над сборником «Листопад» (октябрь 1900 г.), который явился итогом творческих исканий молодого Бунина и, вместе с тем, начинал время расцвета его поэтического дарования, с другой стороны, датой написания последнего из публикуемых нами стихотворений.

II. Переводы. 24 стихотворных перевода, выявленных в архивах и периодических изданиях, значительно расширяют наше представление о многогранности интересов Бунина-переводчика, вводя в круг поэтов, к которым он обращался, ряд новых имен по сравнению с теми, которые представлены в Собр. соч. 1965—1967, т.8. В их числе — Гете, Гейне, Шиллер, Т. Мур, Ф. Гименс, П. Бурже, Ламартин, А. Негри,

В. Чайченко (Б. Д. Гринченко). Становятся известными также новые переводы из Байрона, Леконт де Лиля, Мицкевича, Саади; мы узнаем и об обращении Бунина к татарской народной поэзии. Хронологические рамки этого раздела ограничены 1886—1913 гг.

Приложение содержит незавершенные отрывки и наброски 1900—1938 гг., а также ранние стихотворения (1883—1900). Последние количественно занимают значительное место в поэтическом наследии Бунина. Одни из них были в свое время напечатаны в его первых стихотворных сборниках или в периодических изданиях, другие никогда не публиковались и печатаются впервые по автографам. Несмотря на свое художественное несовершенство, они представляют несомненный интерес, помогая уяснить историю становления Бунина-поэта, а также пути формирования Бунина-человека.

В настоящую публикацию включено 97 ранних стихотворений Бунина (1883—1900), наиболее характерных в этом отношении (перечень стихов, не вошедших в нее, см. ниже, стр. 286). Поскольку стихи эти имеют главным образом биографическую ценность, они печатаются в качестве приложения к основной части публикации. Большинство сопровождается краткими комментариями, указывающими на их место в личной и творческой биографии Бунина (подробно об этом см. в статье Т. Г. Динесман «По страницам ранних поэтических тетрадей Бунина» — настоящ. том, кн. 2).

Все тексты печатаются в последней авторской редакции, источником которой, как правило, служит последняя прижизненная публикация; в тех случаях, когда стихотворение самим Буниным не публиковалось, источником является автограф, если же он недоступен, то посмертная публикация.

Отдельные автографы стихотворений Бунина имеются почти во всех архивах, располагающих бунинскими фондами, в том числе и в Парижском архиве писателя. Однако большая часть стихотворений, публикуемых по автографам, сосредоточена в поэтических тетрадях Бунина.

Четыре тетради относятся к 1886—1887 гг.— они хранятся в ГМТ, а также в собрании В. Г. Лидина (Москва). Начинающий поэт тщательно переписывал в эти тетради свои стихи, помечая даты и место публикации. По-видимому, этот юношеский лирический дневник Бунина сохранился неполностью — из заголовка одной тетради (см. ниже, список условных сокращений) видно, что их было больше четырех. К периоду творческого расцвета писателя относится тетрадь, хранящаяся в ЦГАЛИ. В нее, в строго хронологическом порядке, Бунин записывал стихи, созданные им в период между 7 февраля 1915 г. и 28 сентября 1917 г. Многое из этой тетради Бунин в свои сборники и собрания сочинений не включил. К разным годам относятся не публиковавшиеся при жизни Бунина стихи, вписанные им в тетрадь, которая хранится в Парижском архиве писателя. «На первой странице,— свидетельствует Л. Ф. Зуров,— он написал: „Это тоже можно ввести в будущее собрание, вставив куда надо в хронологическом порядке. Ив. Бунин, 1943 г.“ В тетради 31 стихотворение. За исключением четырех стихов (носящих авторскую правку и датированных), все это автографы. Большинство стихотворений никогда не были опубликованы, а те, которые когда-то в России или за рубежом были напечатаны, окончательно отредактированы И. А. в 1943 году».

В комментариях указывается источник публикуемого текста (обычно последняя авторская редакция), затем отмечаются первая публикация и автограф, фиксируется наличие в них разночтений с публикуемым источником. Случаи, когда автограф или ранняя публикация неизвестны, специально не оговариваются, так же как и отсутствие авторской публикации в тех случаях, когда источником служит автограф.

Большинство стихотворений датированы самим Буниным; при отсутствии авторской даты предположительная датировка мотивируется в комментарии. В текстах редакций, более поздних по сравнению с напечатанными в Собр. соч. 1965—1967, разночтения с этим изданием отмечены курсивом.

Условные сокращения:

«Опыты» — «Опыты. Стихотворения Ивана Алексеевича Бунина, 1886 года. 1 апреля». Автограф: собрание В. Г. Лидина, Москва.

Тетрадь 1886 г.— «Тетрадь стихотворений И. А. Бунина 1886 года». Автограф: ГМТ, № 982.

Тетрадь 1887 г. (1) — «Ив. А. Бунин. Сочинения стихотворные. Книга 5-я. Стихотворения с 15 января по 15 февраля и 15 марта 1887 г., дер. Озерки (Елецкого уезда), 4 февраля». Автограф: ГМТ, № 983.

Тетрадь 1887 г. (2) — ⟨Тетрадь стихотворений И. А. Бунина 1887 г.⟩. Автограф: ГМТ, № 974.

Тетрадь 1915—1917 гг.— ⟨Стихотворения И. А. Бунина. 7 февраля 1915 г.— 28 сентября 1917 г.⟩. Автограф: ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 3.

Тетрадь 1943 г.— Парижский архив Бунина, тетрадь с авторской датой «1943 г.» (о ней см. выше).

Стихотворения 1887—1891 — И. А. Бунин. Стихотворения 1887—1891 гг. Орел, 1891.

Тексты подготовили:

I. Стихотворения 1900—1938 гг.

Законченные стихотворения — |В. Н. Афанасьев| — № 2, 7, 9; А. К. Бабореко — № 6, 11, 12, 14—24, 28, 30, 33, 34; Т. Г. Динесман — № 1, 3—5, 8, 10, 13, 25, 26, 27, 31, 32; О. А. Сайкин—№ 29; Н. П. Смирнов — № 35, 36.

Позднейшие редакции стихотворений, известных в более ранних публикациях: А. К. Бабореко — № 2—7, 9; Т. Г. Динесман — № 8, 11; А. Н. Дубовиков — № 1, 10.

II. Переводы

|В. Н. Афанасьев| — стихотворения П. Бурже (⟨«Эпилог»⟩), Ш. Леконт де Лиля («Альбатрос»), неизвестного автора («Кошмар»); Л. Н. Афонин — стихотворения Д. Байрона, Т. Гуда, В. Гете, Ф. Шиллера, А. Ламартина, Ш. Леконт де Лиля («Утро»); И. С. Газер — стихотворение П. Бурже («У Средиземного моря»); Т. Г. Динесман — стихотворения Ф. Гименс, Т. Мура, Г. Гейне, А. Негри, А. Асныка, А. Мицкевича, Ш. Леконт де Лиля («Возмездие»), Саади, В. Чайченко, «Из песен казанских татар».

Комментарии к разделу «С польского» подготовила А. Г. Пиотровская, к разделу «С татарского» — А. А. Валитова. Комментарии к остальным разделам подготовлены публикаторами соответствующих стихотворений.

Приложения.

Незаконченные стихи и наброски — А. К. Бабореко — № 1—3, Т. Г. Динесман — № 4—6, 19—24, Н. П. Смирнов — № 7—18.

Из ранних стихов: |В. Н. Афанасьев| — № 22, 33—35, 38, 49, 51, 52, 57—59, 61, 62, 65—67, 81, 93; Л. Н. Афонин — № 3—21, 23—27, 36, 37, 39—41, 43—48, 50, 53—56, 79—80, 82, 85—87; А. К. Бабореко — № 1, 2; М. Г. Ватолина—№ 78; И. С. Газер — № 84, 88; Т. Г. Динесман — № 42, 60, 63, 64, 68, 70—77, 89—92; 94—97; В. Г. Лидин — № 28—32, 83. Текстологический комментарий к этому разделу подготовлен публикаторами, реальный комментарий — Т. Г. Динесман.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1900 — 1938 гг

ЗАКОНЧЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

ЭЙГЕР

С высоты привет тебе, заря!
Океаном облака клубятся,
А меж ними цепи гор таятся,
И сквозят, рубинами горя.
С высоты сияет небосклон —
И встает над бездною туманной,
Весь в огне и славе первозданной,
Древний Эйгер, как господний трон!

‹Гриндельвальд,
середина ноября 1900 г.›

2

НОЧНАЯ ПЕСНЯ

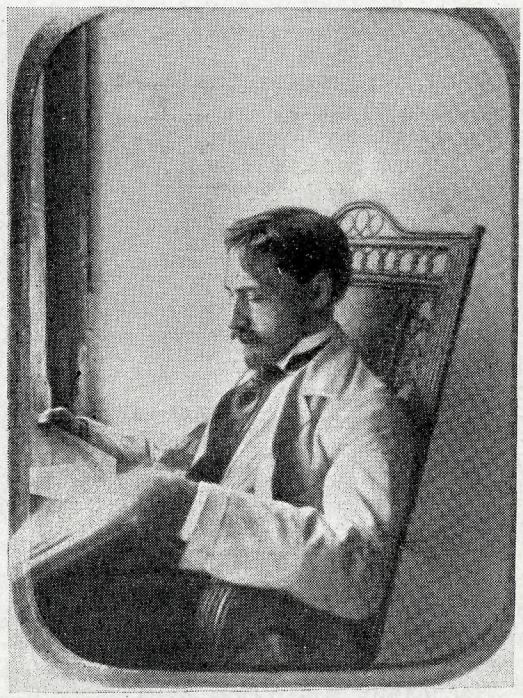
Рдеют леса над вершиною дальней,
Сумрак в долинах разлит.
В сердце моем все нежней и печальней
Песня ночная звучит...

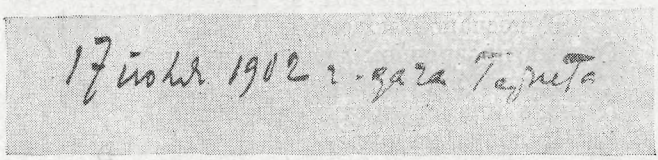
Кто ты, далекая? Чьи это очи
С тайною грустью глядят
В море безбрежное сумрачной ночи,
На потемневший закат?

Где ты свой день одинокий встречала?..
Сердцем давно я с тобой, —
С юности тайная дума связала
Нас, разлученных судьбой...

Меркнут леса над вершиною дальней...
О, отзовись мне! — Идет
Темная ночь— и в тиши все печальней,
Все безнадежней поет!..

‹1900›





БУНИН

Фотография. Одесса, 1902

На обороте надпись Бунина: «17 июля 1902 г.— дача Гернета»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

3

Ночного неба свод далекий
Весь в крупных звездах. Все молчит.
Лишь моря слышен шум глубокий
Да сердце трепетно стучит.
Стою, в тревоге ожиданья,
Исполнен радостных надежд...
И вот — шаги среди молчанья,
Шаги и легкий шум одежд!
И верю, и не верю счастью,
Гляжу с надеждою во тьму...
Ужель опять с блаженной страстью
Твои колени обниму?
Как ты, покорно и не споря,
Отдашься мне! Еще хранят
Твои одежды свежесть моря,
И в темноте сияет взгляд.
Нет, никогда уже не буду

С другой я счастлив! Эти дни
За мною следуют повсюду
И в сердце не умрут они.
Ты первого меня любила...
Никто, наперекор судьбе,
Не возвратит того, что было,
Не заменит меня тебе!
Люблю, исполнен тайной муки,
Люблю тебя, как светлый сон,
И каждый горький миг разлуки
Собою озаряет он.
И пусть в нем было все случайно, —
Благословляю день и час,
Когда навеки сладкой тайной
Судьба соединила нас!

‹1901›

4

МРАМОРНАЯ ПРИСТАНЬ

Какие дни! Как светит золотая
Аллея тополей!
В садах разлита свежесть молодая
Последних ясных дней.
По гравию спускается аллея
К песчаной полосе,
Где, на прозрачном мраморе краснея,
Лежит листва в росе.
А ниже мрамор чистый и холодный
И лодка на руле
Качаются в прозрачности подводной,
В лазурном хрустале.
И долго-долго, глаз не отрывая,
Гляжу я, как вода,
К моим ногам на мрамор наплывая,
Восходит иногда
И вниз скользит, не насыщая взгляда,
И счастьем красоты
Зовет к себе, как юная наяда,
Как Бёклина мечты!

‹1901—1902›

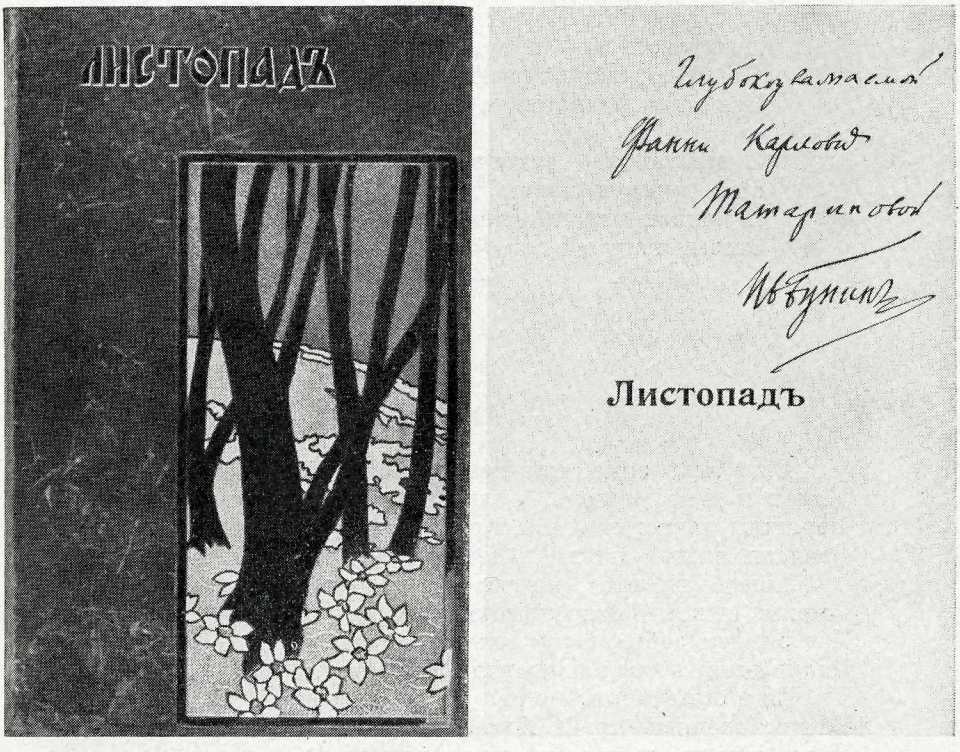
5

ВАЯТЕЛЮ

Изваяй красоту из холодного белого мрамора,
Изваяй нам мечту, к дерзновенному счастью призыв!
— Задымился рассвет. Видны горы и небо лазурное,
Белый город и синий залив.

Солнца луч золотой протянулся в окно твое пыльное,
Брызги солнца резец рассыпает, звенит и поет —
Из горячих лучей и холодного белого мрамора
Красота восстает!

‹Начало 1904 г.›



СБОРНИК «ЛИСТОПАД» (М., 1901)

Переплет, выполненный в художественно-переплетной мастерской Ф. К. Татариновой, и шмуцтитул с дарственной надписью:

«Глубокоуважаемой Фанни Карловне Татариновой, Ив. Бунин»

Собрание В. П. Нечаева, Москва

6

Луна полночная глядит
С пустого неба, пароход,
Луне навстречу, бороздит
Лиловый сплав Каспийских вод,
Луна из-за тугих снастей
Зеркальней кажется, светлей,
Под ней, на юг, в дали пустой
Играет отблеск золотой,
Как будто рыбья чешуя,
А что за ней? Там тоже я,
Душа моя.

Ночь на пароходе
в Касп. море.
Июнь 1904 г.

7

Весна и ночь, и трепет звезд,
И свежесть трав лесной долины.
Над тишиной уснувших гнезд
Склонились темные вершины.

Гляжу в прозрачный сумрак их,
Дышу весной — и предо мною
Какой-то тайной неземною
Вся ночь раскрыта в этот миг.

И эта тайна — откровенье,
Моя душа и жизнь моя,—
В ночном потоке бытия
Звезды падучей отраженье.

‹1904›

8

КАННЫ

Еще была зима, еще прибой жемчужный
Кипел и день, и ночь,— еще сверкали в небе
Вершины льдистых Альп и звонко под мистралем
Звенели листья пальм в тепле садов дремотных.
Еще была зима, но уж цвели мимозы,
Роняли нежный цвет лимонные деревья,
И в зимнем забытьи уж веял, веял вечной,
Полуденной весной благоуханный ветер.
Еще была зима, но ты уж жил весною,
Благословенный край! И долго, долго буду
Я вспоминать твои задумчивые виллы,
Весну твоих садов над темно-синим морем.
На свете счастья нет,— есть только жажда счастья
И если так,— я был, я трижды был счастливым:
Ты воскрешал меня, ты вел от смерти к жизни
И усыпал мой путь цветными лепестками.

‹1904—1905›

9

За морями всходит алый свет;
Над морями льется бодрый холод.
Свежий ветер радостен и молод,
Закипает за кормою след.

Весь в росе, сверкая медью чистой,
На восток уходит стройный бриг —
И мелькают волны каждый миг,
Рассыпаясь пылью золотистой.

Ночью, точно саван гробовой,
Серый парус высился над нами;
Ночью над шумящими волнами
Он висел — ни мертвый, ни живой.

Но сменился сумрак ночи утром,
Засиял бездонный небосклон —
И налился свежим ветром он,
Озаренный алым перламутром.

Режет бриг зеленых волн хрусталь,
За волной волна его встречает
И, встречая, ласково качает,
А над ними — радостная даль,

А над ними — солнца бодрый свет,
Светлый призрак, край обетованный...
День свободы, яркий и желанный,
День труда! Привет тебе! Привет!

‹1905›

10

Что молодость! Я часто на охоту
Весною езжу к Дальнему Болоту,
Откинувшись в покойный тарантас,
А Фокс сидит у ног моих — и глаз
Не отрывает, бедный, от дороги,
Скулит, дрожит от радостной тревоги
И рвется в степь, глотая пыль колес...
Что молодость! Горячий, глупый пес!

30.VI.07

11

Жгли на кострах за пап и за чертей,
Живьем бросали в олово и серу
За ад и рай, безверие и веру,
За исчисленье солнечных путей.

И что ж! Чертей не пламя утешает,
Не то, что злей ехидны человек,
А то, что гроб, сожженный в прошлый век,
Он в нынешнем цветами украшает.

2.VII.07

12

Идет тяжелый гул по липам.
Пришел, дохнул, как в море вал,
Согнул верхушки с тонким скрипом
И сор в кустах заволновал.

Но нет, ты, ветер, тут бессилен:
Тут нужен бешеный норд-ост,
Чтоб из запутанных извилин,
Из сучьев вырвать шапки гнезд.

И буря будет. И вороны,
Кружась, кричат, что мир погиб,
Что гнезда их — венцы, короны
И украшения для лип.

10.VII.1907. Глотово

13

ЛУНА

Чалма на мудром — вот луна
С ее спокойствием могильным.
Луна светла и холодна
Над Ак-Сараем, жарким, пыльным.

Взойди на кровлю и взгляни:
Под ней и горы в небе чистом,
И наши бледные огни
В гнезде туманном и скалистом.

Она смирила шум дневной:
Умолк и торг, и рев ослиный
Под этой пыльной белизной,
Под серебристой паутиной.

В выси далекий божий рай
Горит, алмазами играя,
И лишь один собачий лай
Смущает полночь Ак-Сарая.

‹1907›

14

КЛАД

Все, что хранит следы давно забытых,
Давно умерших,— будет жить века.
В могильных кладах, древними зарытых,
Поет полночная тоска.

Степные звезды помнят, как светили
Тем, что теперь в сырой земле лежат...
Не Смерть страшна, а то, что на могиле
Смерть стережет певучий клад.

‹1908›

15

МОЛЧАНИЕ

По раскаленному ущелью,
Долиной Смерти и Огня,
В нагую каменную келью
Пустынный Ангел ввел меня.

Он повелел зажечь лампаду,
Иссечь на камне знак Креста —
И тихо положил преграду
На буйные мои уста.

Так, господи! Ничтожным словом
Не оскверню души моей.
Я знаю: ты в огне громовом
Уже не снидешь на людей!

Ты не рассеешь по вселенной,
Как прах пустынь, как некий тлен,
Род кровожадный и презренный
В грызне скатавшихся гиен!

<6.II.1916>

16

Никогда вы не воскреснете, не встанете
Из гнилых своих гробов!
Никогда на божий лик не глянете,
Ибо нет восстанья для рабов —
Темных слуг корысти, злобы, ярости,
Мести, страха, похоти и лжи,
Тучных тел и скучной, грязной старости:
Закопали — и лежи!

27.VI.1916

17

По древнему унывному распеву
Поет собор. Злаченые столпы
Блестят из тьмы. Бог, пригвожденный к древу,
Почил — и се, в огнях, среди толпы.

И дьявол тут. Теперь он входит смело
И смело зрит простертое пред ним,
Нагое зеленеющее тело,
Костры свечей и погребальный дым.

Он радостен, он шепчет, торжествуя:
На долгий срок ваш бог покинул вас,
Притворное рыданье ваше вскуе,
Далек воскресный час!

27.VI.16

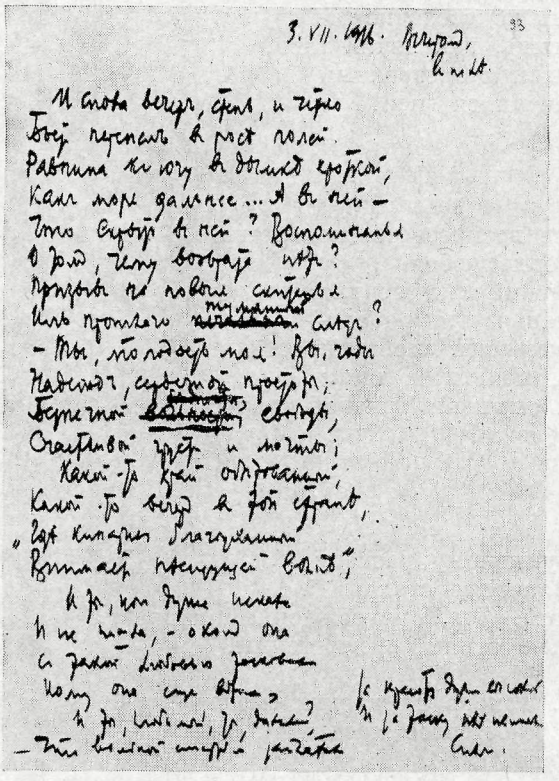
18

И шли века и стены Рая пали,
И Сад его заглох и одичал,
И по ночам зверей уж не пугали
Блистания небесного Меча,
И Человек вернулся к Раю,— вскуе
Хотел забыть свой золотой он сон —
И Сатана, злорадно торжествуя,
Воздвиг на месте Рая — Вавилон.

29.VI.16

19

И снова вечер, степь и четко
Бьет перепел в росе полей.
Равнина к югу в дымке кроткой,
Как море дальнее, а в ней,—
Что в ней томит? Воспоминанья
О том, чему возврата нет,
Призыв на новые скитанья
Иль прошлого туманный след?



«И СНОВА ВЕЧЕР, СТЕПЬ, И ЧЕТКО...»

Автограф. Сверху дата: «3.VII.1916. Вечером, в поле»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

— Ты, молодость моя, вы, годы
Надежд, сердечной простоты,
Беспечной воли и свободы,
Счастливой грусти и мечты,—
Какой-то край обетованный,
Какой-то вечер в той стране,
«Где кипарис благоуханный
Внимает плещущей волне»,—
И ты, заветный и неясный
Неверный друг, кого опять
В тоске вечерней жду напрасно
И буду до могилы ждать.

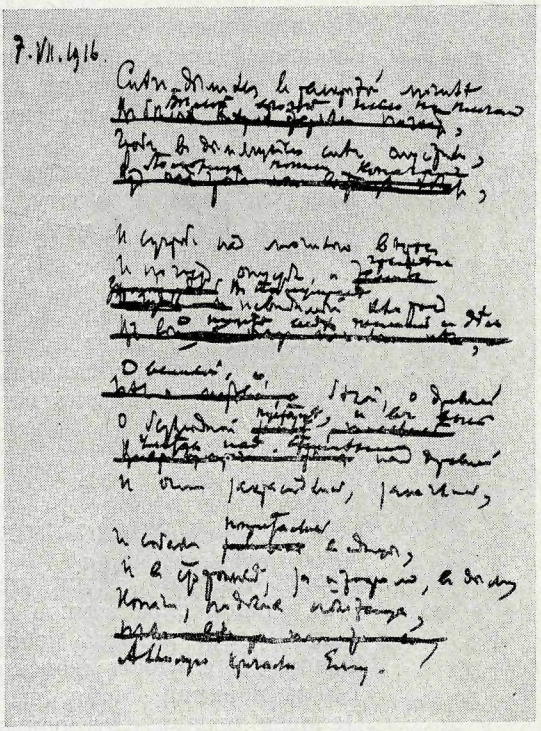
⟨3 июля 1916 г.⟩

20

Снег дымился в раскрытой могиле,
Белой вьюгой несло по плечам,
Гроб в дымящийся снег опустили,
Полотенца пошли копачам,

И сугроб над могилою вырос,
И погост опустел — и гремел
В полумраке невидимый клирос
О тщете всех желаний и дел,

«СНЕГ ДЫМИЛСЯ В РАСКРЫТОЙ МОГИЛЕ...»
Черновой автограф с датой: «7.VII.1916»
Центральный архив литературы и искусства, Москва



О великой, о белой, о древней,
О безлюдной пустыне, и в высь
Улетал над стемневшей деревней,
И огни закраснелись, зажглись,

И собаки попрятались в сенцы,
И в сторожке, за штофом, в дыму,
Копачи, поделив полотенца,
Аллилую кричали — Ему.

⟨7 июля 1916 г.⟩

21

Луна и Нил. По берегу, к пещерам,
Идет народ, краснеют фонари.
На берегу, в песке сухом и сером,
Ряды гробниц — и все цари, цари.

Иной как был — под крышкой золоченой,
Иной открыт — в тугую пелену,
В пахучий кокон тесно заключенный,
Пять тысяч лет не видевший луну.

Что в коконе? Костяк в землистой коже,
Крест тонких рук, иссохший узкий таз,
Чернеет лик — еще важней и строже,
Чем в оны дни,— чернеют щели глаз.

Подкрашенные ⟨желтые⟩ седины
Страшней всего. О да, он в мире жил
И был он стар, дикарь и царь, единый
Царь дикарей, боготворивших Нил.

И полдень был, и светел в знойном свете
Был сад царя, и к югу, в блеске дня,
Терялся Нил... И пять тысячелетий
Прошли с тех пор... Прошли и для меня:

Луна и ночь, но все на том же Ниле,
И вновь царю сияет лунный Нил —
И разве мы в тот полдень с ним не жили,
И разве я тот полдень позабыл?

22.VII.16

22

В РОЩАХ УРВЕЛЫ

«Ты ль повинна, Майя, что презрел
Сын родной твое земное лоно,—
Рощи, реки, радость небосклона,
Красоту и сладость женских тел?
Ты ль повинна, Майя, что один
Человек отраву слез роняет?»

Майя очи долу преклоняет:
«Может быть, мудрей меня мой Сын?»

23.VII.16

23

Нет Колеса на свете, Господин:
Нет Колеса: есть обод, втулок, спицы,
Есть лошадь, путь, желание возницы,
Есть грохот, стук и блеск железных шин.

А мир, а мы? Мы разве не похожи
На Колесо? Похож и ты — как все.
Но есть и то, что всех Колес дороже:
Есть Мысль о Колесе.

25.VII.16

24

На всякой высоте прельщает сатана.
Вот всё внизу, все царства мира —
И я преображен. Душе моей дана
Как бы незримая порфира.

Не я ли царь и бог? Не мне ли честь и дань?
Каким великим кругозором
Синеет даль окрест! И где меж ними грань —
Горой Соблазна и Фавором?

⟨Июнь — июль 1916 г.⟩

25

Качаюсь, плескаюсь — и с шумом встаю
Прозрачно-зеленой громадою —
В лазурь бы плеснуть моему острию,
До солнца! — Но я уже падаю.

И снова расту и, качаясь, бегу —
Зачем? Чтобы радостно вскинуться,
Блеснуть, вознестись на пустом берегу —
И в смертную бездну низринуться!

14.VIII. 1916

26

Ты высоко, ты в розовом свете зари,
А внизу, в глубине, где сырей и темней,
В узкой улице — бледная зелень огней,
В два ряда неподвижно блестят фонари.

В узкой улице — сумерки, сизо, темно,
А вверху — свет зари — и открыто окно:
Ты глядишь из окна, как смешал Петроград
С мутью дыма и крыш мглисто-алый закат.

‹1914—1917›

27

Дует ветер, море хлеба,
Где тону я, всё в волненьи,
Меж колосьев смотрит с неба
Полнолунье в изумленьи.
Я пою, а ветер носит
Песню глупую, что смело
По лицу луны колосья
Задевает то и дело.

Ночь, лето 17 г.

28

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ

Возьмет господь у вас
Всю вашу мощь, отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших,
Художников и искушенных в слове.
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети ваши будут
Главенствовать над вами. И народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем

Глумиться будет юноша, а смерд —
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье — срам и мерзость
Пред господом, и выраженье лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех.— Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

‹1918›

29

Темень. Холод. Предрассветный
Ранний час.
Храм невзрачный, неприметный,
В узких окнах россыпь красных глаз.

Нищие в лохмотья руки прячут,
С паперти глядят в стекло дверей,
В храме стены пóтом плачут,
Тусклы ризы алтарей.

Обеднела, оскудела паперть.
Но и в храме скорбь и пустота.
Черная престол покрыла скатерть,
За завесой царские врата.

Вот подрясник странника-расстриги.
Он в скуфейке, длинный и прямой,
Рыжый ранец, палку и вериги
В храм приносит нагло, как домой.

Вот в углу, где княжий гроб, под красной
Трепетной лампадой, на полу
Молится старушка, в муке страстной
Всю щепоть прижав к челу.

Матушка! Убогая, простая,
Бедная душа! Молись! Молись!
Чуть светает эта ночь глухая,
И лишь ты одна глядишь, вздыхая,
С теплой верой в сумрачную высь.

Темень. Холод. Буйных галок
Ранний крик.
Древний город темен, мрачен, жалок...
И велик!

‹12.IX.19›

30

ИЗГНАНИЕ

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан...

Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?

Гляжу вперед на черное распятье
Среди дорог —

И простирает скорбные объятья
Почивший бог.

Бретань, 1920

31

Ночью, в темном саду, постоял вдалеке,
Посмотрел в мезонин освещенный:
Вот ушла... вот вернулась — уже налегке
И с косой на плече, заплетенной.

«Вспомни прежнее! Вспомни, как тут...»
Не спеша, лишь собой занятая,
Потушила огонь... И поют,
И поют соловьи, изнывая.

Темен дом, полночь в тихом саду.
Помолись под небесною бездной,
На заветную глядя звезду
В белой россыпи звездной.

16.X.38

32

Ты жила в тишине и покое.
По старинке желтели обои,
Мелом низкий белел потолок,
И глядело окно на восток.

Зимним утром, лишь солнце всходило,
У тебя уже весело было:
Свет горячий слепит на полу,
Печка жарко пылает в углу.

Книги в шкапе стояли, в порядке
На конторке лежали тетрадки,
На столе сладко пахли цветы...
«Счастье жалкое!» — думала ты.

18.X.38

33

Один я был в полночном мире,—
Я до рассвета не уснул.
Слышней, торжественней и шире
Шел моря отдаленный гул.

Один я был во всей вселенной,
Я был как бог ее — и мне,
Лишь мне звучал тот довременный
Глас бездны в гулкой тишине.

6.XI.38

34

Под окном бродила и скучала,
Подходила, горестно молчала...
А ведь я и сам был рад
Положить перо покорно,
Выскочить в окно проворно,
Увести тебя в весенний сад.
Там однажды я тебе признался,—
Плача и смеясь, пообещался:
«Если встретимся в саду в раю,
На какой-нибудь дорожке,
Поклонюсь тебе я в ножки
За любовь мою».

6.XI.38

35

И снова ночь, и снова под луной
Степной обрыв, пустынный и волнистый,
И у прибрежья тускло-золотистый
Печальный блеск, играющий с волной,
И снова там, куда течет, струится,
Все ширясь, золотая полоса,
Где под луной так ясны небеса,
Могильный холм из сумрака круглится.

36

Ночь и дождь, ⟨и⟩ в доме лишь одно
Светится в сырую тьму окно,
И стоит, молчит гнилой, холодный дом,
Точно склеп на кладбище глухом,
Склеп, где уж давно истлели мертвецы,
Прадеды, и деды, и отцы,
Где забыт один слепой ночник
И на лавке в шапке спит старик,
Переживший всех господ своих,
Друг, свидетель наших дней былых.

(Ночью, засыпая)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Правда», 1905, № 12, стр. 23 — в составе цикла «Лирические картины» (1. Эйгер; 2. Канны — № 8 настоящ. публикации; 3. На винограднике — Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 230). Впервые: «Курьер», 1901, № 312, 11 ноября — под названием «В Альпах (Рассвет)», с датой «Гриндельвальд, XI.1900» и разночтениями в строках 5 и 6.

Дата уточняется по времени поездки Бунина в Швейцарию, описание которой см. в письмах брату Юлию (18 ноября 1900 г.— «Новый мир», 1956, № 10, стр. 207—209) и В. Я. Брюсову (18 ноября 1900 г. — настоящ. кн., стр. 451).

Эйгер (Айгер) — одна из вершин Бернских Альп.

2. «Отдых», 1900, № 12 (октябрь), стр. 431.

Датируется по первой публикации.

3. «Отдых», 1901, № 10, стр. 381. Автограф: ГМТ, 981, л. 20—21; без разночтений.

Датируется по первой публикации.

4. «Журнал для всех». СПб., 1902, № 9, стлб. 1035.

Датируется по первой публикации.

Фантастические пейзажи известного швейцарского живописца Арнольда *Бёклина* (1827—1901) пользовались большой популярностью в конце XIX века. Самые известные из них — «Остров мертвых», «Руины у моря», «Обитель блаженных», «Вилла у моря», «Морская идиллия» — Бунин видел в ноябре 1900 г. в Мюнхене. «Картины Бёклина замечательны»,— писал он оттуда брату, а 17 ноября 1901 г. в московском «Литературном кружке» состоялась его лекция о нем («Материалы», стр. 81, 84).

5. «Правда», 1904, № 3, стр. 35. Автограф: ГМТ, 981, л. 5; без даты, с разночтениями в строках 2, 3, 5.

Датируется по первой публикации. Возможно, что стихотворение навеяно впечатлениями от поездки в Италию (январь — февраль 1904 г.— см. «Материалы», стр. 91—92).

6. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г.

Впервые опубликовано в 1967 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

7. «Ежемесячный журнал», 1904, № 9, стр. 707.

Датируется по первой публикации.

8. «Правда», 1905, № 12, стр. 23 — в составе цикла «Лирические картины» (см. примеч. к № 1 настоящ. публикации).

Датируется предположительно: стихотворение посвящено воспоминаниям о первой поездке Бунина на юг Франции и в Италию (январь — февраль 1904 г.).

Начало последней строфы — реминисценция из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» (ср.: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...»)

9. «Правда», 1905, № 7, стр. 1.

Датируется по первой публикации.

10. Автограф: ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 10, л. 3; на обороте рукой Бунина (1930—1940-е годы): «В газете „Курьер“». В этой газете стихотворение не обнаружено.

11. Автограф: собрание К. П. Пушешниковой, Москва.

12. Автограф: собрание К. П. Пушешниковой, Москва.

13. «Наш мир», Берлин, 1924, № 11, 1 июня; в составе цикла «Восток», куда вошли также «Мираж» («Пустыня в тусклом жарком свете...»), «Казбек» («Стена горы — до небосвода...») и «Кобылица»— Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 381, 402, 435.

На основе этого стихотворения, использовав его первую строфу, Бунин создал новое, самостоятельное по мысли произведение («Чалма на мудром — как луна...» — Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 277). Эти новые стихи имеют авторскую дату «1907», что позволяет датировать этим годом и публикуемое стихотворение.

14. «Современный мир», 1908, № 12, стр. 22.

Датируется по первой публикации.

Возможно, что это стихотворение связано с изречением Саади: «У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоглавый змей» («Гулистан»). Обстоятельства, при которых Бунин впервые услышал эти слова, описаны им в автобиографической заметке «Из записей» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 277—278). Об отношении Бунина к поэзии Саади см. настоящ. кн., стр. 222—223.

15. «Русская газета», Париж, 1924, № 97, 17 августа, вместе со стихами: «Возьмет господь у вас...» (см. № 28), «На гноище» («У ворот Сиона, над Кедроном...» — Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 443) — под общим заглавием «Из книги пророка Исаии».

Впервые: газ. «Слову — свобода!», 1917, 10 декабря.

Автограф: ЦГАЛИ, тетрадь 1915—1917 гг., стр. 110; с авторской правкой и датой «6.II.1916».

16. Автограф: ЦГАЛИ, тетрадь 1915—1917 гг., стр. 54.

Впервые опубликовано в 1968 г. в Нью-Йорке, по материалам Парижского архива Бунина, тетрадь 1943 г., с той же датой и с незначительными разночтениями в строке 3 и в знаках препинания. Печатается по автографу.

17. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г. Впервые опубликовано в 1968 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

Существуют две ранние рукописные редакции этого стихотворения — в черновом автографе, озаглавленном «Плащаница» (ЦГАЛИ, тетрадь 1915—1917 гг., стр. 66, с датой «28.VI.1916»), и печатный текст («Одесский листок», 1919, № 127, 25 сентября, в составе цикла «Русь»: 1. «Мученица» — см. Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 23, под названием «Древний образ»; 2. «Во полунощи» — см. настоящ. кн., стр. 196; 3. «Плащаница»).

Сопоставление всех трех редакций позволяет проследить процесс работы Бунина над этим стихотворением.

Черновой автограф отражает два этапа. Сначала были написаны первые 11 строк:

ПЛАЩАНИЦА

По древнему унывному распеву
Поют [соборне] собором черные попы:
Почил в скорбях бог, пригвожденный к древу,
Вот одр его — в огнях, среди толпы.

И дьявол тут. Теперь он входит смело,
Стоит [глядит] меж нас: на пелене пред ним
Нагое зеленеющее тело
И [скорбный] мертвый лик, незряч и недвижим.

Слезится воск, блестят во тьме столпы.
Томят укором Каина и Еву
С привычной заунывностью попы.

Через некоторое время — когда именно, установить трудно — Бунин возвратился к незаконченному наброску и переделал его:

ПЛАЩАНИЦА

По древнему унывному распеву
Поют собором черные попы:
Се наш г⟨осподь⟩, б⟨ог⟩, пригвожденный к древу,
Се одр его — в огнях среди толпы.

И Дьявол тут. Теперь он входит смело
И смело зрит простертое пред ним
Нагое зеленеющее тело,
Костры свечей и тонкий синий дым.

По древнему ун⟨ывному⟩ расп⟨еву⟩
Рыдает клир. Злаченые столпы
Блестят из тьмы. То К⟨аина⟩, то Е⟨ву⟩
Томят укором черные попы.

А он глядит, злорадно торжествуя:
На долгий срок ваш б⟨ог⟩ покинул вас,
Притворное рыданье ваше вскуе,
И далеко воскресный час.

Печатная редакция 1919 года сильно отличается от чернового автографа:

ПЛАЩАНИЦА

По древнему унывному распеву
Поют соборне черные попы.
Почил господь, гвоздьми прибитый к Древу,
Вот смертный одр — в огнях, среди толпы.
И Дьявол тут. Теперь он входит смело,
Стоит меж нас: на пелене пред ним —

Нагое зеленеющее тело,
Господь лежит незряч и недвижим.
Господь почил, гвоздьми прибитый к Древу.
Слезится воск, блестят во тьме столпы.
По древнему унывному распеву
Поют соборне черные попы.

Окончательный текст стихотворения, зафиксированный в бунинской тетради 1943 г., представляет самостоятельное произведение с элементами контаминации двух предыдущих редакций.

18. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г.

Впервые опубликовано в 1968 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

Черновой автограф: ЦГАЛИ, тетрадь 1915—1917 гг., стр. 81; с датой «29.VI.1916» и с разночтениями в строках 4 и 6.

19. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г.

Впервые опубликовано в 1967 г. в Нью-Йорке, с датой «1900 г.»

Автограф: ЦГАЛИ, тетрадь 1915—1917 гг., стр. 93, с датой «3.VII.1916. Вечером в поле»; имеет другое окончание и разночтения в строках 5 и 11.

Печатается по нью-йоркской публикации, с исправлением даты по автографу—место его среди других стихотворений в тетради 1915—1917 гг. и наличие авторской даты дают основание предполагать, что в датировку здесь вкралась ошибка.

20. Автограф: ЦГАЛИ, тетрадь 1915—1917 гг., стр. 95, с датой «7.VII.1916».

Впервые: опубликовано в 1967 г. в Нью-Йорке, по материалам Парижского архива Бунина (тетрадь 1943); с датой «1888 г.», с пропуском строки 9 и разночтением в строке 16.

Печатается и датируется по автографу: место его среди других стихотворений в тетради 1915—1917 гг., наличие авторской датировки, а также неточность в нью-йоркской публикации, дают основание считать дату, указанную в ней, ошибочной.

21. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г.

Впервые опубликовано в 1968 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

22. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г.

Впервые опубликовано в 1968 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

Роща Урвелы (Урувелы) — священная роща Джетавана, где, по индийскому преданию, Будда был озарен благодатью (см. Собр. соч. 1965—1967 , т. 5, стр. 135—136). Бунин принял за название рощи словосочетание «уру вела», что значит «бамбуковая роща».

Майя — иллюзия (индийское учение Майя исходит из представления о том, что весь материальный мир, в том числе и человек, иллюзорен, истинно лишь духовное начало). Кроме того, Майя — имя матери Будды. Здесь это слово может быть истолковано в обоих своих значениях, что отвечает одной из главных особенностей индийской поэзии, для которой характерна многозначность слов и образов.

23. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г.

Впервые опубликовано в 1967 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

Колесо («Колесо Закона» или «Колесо Справедливости») — в буддийской философии символ справедливой и вечной системы мироздания с неразрывной связью вещей и явлений, пребывающих в вечном круговом движении. По преданию «Колесо» было приведено в движение Буддой. В индийской философии и литературе с понятием «Колеса» связаны и другие символы: колесница, путь, возница, лошадь (например, «Великая колесница» и «Малая колесница» — два учения, на которые распадается буддизм). Как и в предыдущем стихотворении (№ 22), Бунин использует здесь типичную особенность индийской поэзии — многозначность образов, а также характерную для этой поэзии форму обращения к собеседнику *.

Втулок (втулка) — форма, употреблявшаяся в говорах Орловской, Тульской и Воронежской губерний.

24. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г., без даты.

Впервые опубликовано в 1968 г. Нью-Йорке. Печатается по этой публикации. Датируется предположительно по содержанию, связывающему это стихотворение с циклом философских стихов, написанных в июне—июле 1916 г. (см. № 15—18, 20—23 настоящей публикации).

В основе стихотворения лежит евангельское предание о мирских соблазнах, которым сатана подверг удалившегося в пустыню Христа. Преодолев все соблазны сатаны, Христос поднялся на гору Фавор, где беседовал с богом,— отсюда выражение «свет фаворский», символизирующее победу духовного начала над мирскими страстями человека.

---

* Примечания: *Рощи Урвелы, Майя, Колесо* — сообщены Н. А. Вишневской.

25. Автограф: ЦГАЛИ, тетрадь 1915—1917 гг., стр. 119.

Впервые опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорке, по материалам Парижского архива Бунина (с отдельными разночтениями в знаках препинания и с датой: «27.VIII.16. Ночью, засыпая»)

26. Парижский архив Бунина.

Впервые опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорка. Печатается по этой публикации. Датируется по упоминанию о Петрограде, получившем это наименование в 1914 г.

27. Парижский архив Бунина.

Впервые опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

28. «Русская газета», Париж, 1924, № 97, 17 августа.

Впервые:« Киевская мысль», 1918.

Датируется по первой публикации.

29. Автограф: ГБЛ. 356. 10.5. На обороте рукой Бунина: «Передать А. Б. Дерману» *.

Судя по этой надписи, лист с текстом стихотворения был отправлен Дерману, который находился тогда в Симферополе, с какой-то оказией, а не по почте, как это было в 1918 г., когда Бунин переписывался с Дерманом и послал ему для альманаха «Отчизна» пятнадцать стихотворений, составивших цикл «Путевая книга» (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 423—424). Мы не располагаем данными о том, удалось ли Дерману напечатать тогда это стихотворение в каком-либо из крымских изданий. Остается неустановленным, публиковал ли его позднее, в первые годы эмиграции, сам Бунин. Известно лишь, что оно было включено им в сборник «Роза Иерихона» (Берлин, 1924) — под заглавием: «Москва» и датой: «12.IX.19». Авторская датировка позволяет определить приблизительное время отсылки стихотворения Дерману. Это могло произойти не ранее середины сентября 1919 г. и не позднее 26 января/7 февраля 1920 г., когда Бунины покинули Одессу, уехав в эмиграцию.

Стихотворение должно было войти, очевидно, в цикл «стихов о российских городах», мысль о котором возникла в переписке Бунина с Дерманом,— упоминание об этом цикле мы находим в письме к Дерману от 28 февраля/13 марта 1919 г. (см. «Материалы», стр. 213).

Текст стихотворения в сб. «Роза Иерихона» значительно отличается от того, который сохранился в автографе. Помимо мелких исправлений, Бунин переработал вторую строфу и поставил ее после третьей, которая заняла место второй. В новом виде строфа читалась так:

В храме стены пóтом плачут,
Тусклы ризы алтарей.
Нищие в лохмотья руки прячут,
Робко жмутся у дверей.

Четвертая строфа была исключена, а начало пятой несколько изменено:

А в сторонке, в уголке, под красной
Грустною лампадой, на полу...

Последние две строки стихотворения приобрели в редакции 1924 г. такой вид:

Снежный город древен, мрачен, жалок,
Нищ и дик.

Эта новая концовка стихотворения отражала несомненно взгляды Бунина-эмигранта в начале 1920-х годов, когда он занимал особенно резкие и непримиримые позиции по отношению к Советской России и всему, что было с ней связано.

Стихотворение «Москва» было позднее включено Буниным в Собр. соч. 1934—1936. Он сохранил здесь текст 1924 г., вычеркнув только две строфы о молящейся старушке

30. Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1964 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

31. Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

32. Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

33—34. Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1967 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

35—36. Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

---

* Стихотворение было впервые опубликовано нами по автографу в журн. «Дружба народов», 1968, № 10, стр. 282. Однако по вине редакции оно было напечатано с ошибками и неточностями.— *О. С.*

ПОЗДНЕЙШИЕ РЕДАКЦИИ СТИХОВ, ИЗВЕСТНЫХ ПО БОЛЕЕ РАННИМ ПУБЛИКАЦИЯМ

1

БУРЯ

Истомлена полдневным зноем,
В немой тоске земля ждала,
Чтоб ночь прохладой и покоем
Ее во мраке обняла *.
Но солнце жгло с небес лучами,
И вот, в затишьи гробовом,
Восстала Буря над волнами,
Бледнея в гневе роковом.
И, вспыхнув, взор ее орлиный
От *грозной* страсти потемнел,
И ветер *бурно* налетел,
Промчавшись *в море* зыбью длинной,
И в горных соснах, *меж ветвей*,
Завыл в *веселье* горделивом...
О, не страшись его — смелей
Грудь *подставляй* его порывам!
Пусть бьются волны об утес,
Пусть резким холодом пахнуло,
И тьма растет, *и* альбатрос
Кричит к беде средь тьмы и гула —
То жизни пир,— *ее побед*
Канун, *грозою омраченный*...
Из мрака бури солнца свет
Опять взойдет, *но обновленный*!

‹1895—1898›

2

Луна над шумною Курою
И над огнями за Курой,
Тифлис под лунною чадрою,
Но дышит *каменной* жарой.
Тифлис не спит, счастливый, праздный,
Смех, говор, музыка в садах,
А там — мерцает блеск алмазный
На еле видимых хребтах.
Уйдя в туман, на север дальний
Громадами снегов и льдин,
Они все строже, все печальней
Глядят на лунный *дым* долин.

1904 г.

---

* Здесь и далее курсивом выделены места, подвергшиеся переработке.— *Ред.*

3

ВО ПОЛУНОЩИ

В сосудах тонких и прозрачных
Сквозит елей, огни горят.
Жених идет в одеждах брачных.
Невесты долу клонят взгляд.
И льется трепет серебристый
На лица радостные их:
— Благословенный и пречистый!
Взойди в приют рабынь твоих!
Не много нас, елей хранивших
Для тьмы, обещанной тобой.
Не много верных, не забывших,
Что встанет день над этой тьмой!

‹2 сентября 1915 г.— сентябрь 1919 г.›

4

ВЕНЧИК

Колокола переводили,
Кадили на *открытый* гроб —
И венчик розовый лепили
На костяной лимонный лоб.

И лишь пристал он и с поклоном
Назад священник отступил,
Труп приобщился вдруг иконам,
Святым и холоду могил.

В тлетворной сладости, смердящей
От гроба, дыма и цветов,
Пышнее стал сухой, блестящий
Из золотой парчи покров —

И пала тень ресниц чернее,
И обострилися черты:
Несть часа на земле страшнее
И несть грознее красоты.

3.VI.16

5

В столетнем мраке черной ели
Истлела темная заря
И светляки в кустах горели
Зеленым дымом янтаря.
И на скамье сидел я старой,
И парка сумеречный сон
Меня баюкал смутной чарой
Далеких дедовских времен.

И ты играла в темной зале
С открытой дверью на балкон,
И пела грусть твоей рояли
Про невозвратный небосклон,
Что был над *садом* — бледный, ровный,
Ночной, июньский,— *тот*, где след
Души счастливой и любовной,
Души моих далеких лет.

16.VII.16

6

Иконку, черную дощечку
Нашли в земле,— пахали новь...
Кто перед *ней затеплил свечку*,
Свою и горесть и любовь?
Кто освятил ее своею
Молитвой нищего, раба —
И посох взял и вышел с нею
На степь, в шумящие хлеба —
И поклоняясь *вихрям* знойным,
Стрибожьим внукам, водрузил
Над полем пыльным, беспокойным
Ее щитом небесных сил?

Во сне, 21.7.1916

7

Бледна приморская страна,
Луною озаренная.
Низка луна, ярка волна,
По гребням позлащенная.

Волна *сияет* вдалеке
Чеканною кольчугою.
Моряк печальный на песке
Сидит с своей подругою.

Часы последние для них! —
Все ярче дюны светятся.
Они невеста и жених,
А вновь когда-то встретятся?

Полночная луна глядит
И думает со скукою:
«В который раз он тут сидит,—
Целует пред разлукою?»

И впрямь: идут, бегут века,
Сменяют поколения —
Моряк сидит! В глазах тоска,
Восторг и восхищение...

———

Жизнь промелькнула как во сне.
И вот уж утро раннее
Виски посеребрило мне
И стала даль туманнее.

А все в душе восторг и боль
И все-то вспоминается,
Как горьких слез тепло и соль
Со зноем уст мешается!

22.VII.16

8

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчел и ос, *от солнца золотых.*
Старишься, подруга дорогая?
Не беда! Вот будет ли такая
Молодая старость у других!

1916

9

СИРИУС

Где ты, звезда моя заветная,
Венец небесной красоты?
Очарованье безответное
Снегов и лунной высоты?

Где молодость, простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И старый дом, и ель смолистая
В сугробах белых под окном?

Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!

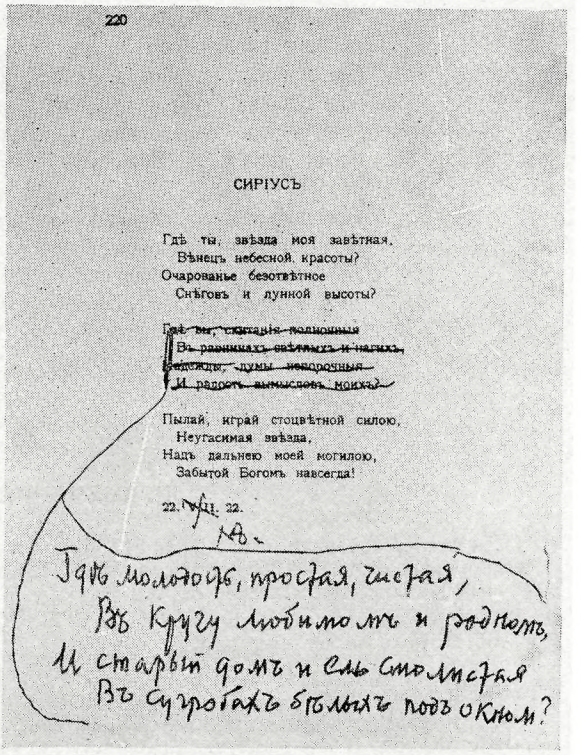
22.VIII.22

10

КАИР

В жарком золоте заката Пирамиды,
Вдоль по Нилу, на утеху иностранцам,
Светят в воду *шелком* парусные лодки
И бежит *с Луксора* белый пароход.
Это час, когда *повсюду* пальмы чётки
И в Каире *окна блещут* алым глянцем
И хедив в ландо катается и гиды
Отдыхают по кофейням от господ.

«СИРИУС»
Авторская правка в сборнике «Избранные стихи» (Париж, 1929)
Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва


220

СИРІУСЪ

Гдѣ ты, звѣзда моя завѣтная,
Вѣнецъ небесной красоты?
Очарованье безотвѣтное
Снѣговъ и лунной высоты?

~~Гдѣ вы, скитанія полночныя~~
~~Въ равнинахъ свѣтлыхъ и нагихъ,~~
~~Надежды, думы непорочныя~~
~~И радость вымысловъ моихъ?~~

Пылай, играй стоцвѣтной силою,
Неугасимая звѣзда,
Надъ дальнею моей могилою,
Забытой Богомъ навсегда!

22. ~~V~~ 11. 22.

Гдѣ молодость, простая, чистая,
Въ кругу любимомъ и родномъ,
И старый домъ и ель смолистая
Въ сугробахъ бѣлыхъ подъ окномъ?

А сиреневые дали Нила к югу,
К дикой Нубии, к Порогам, смутны, зыбки
И все так же миру чужды, заповедны,
Как при Хуфу, при Камбизе... Я привез
Лук оттуда и колчан зелено-медный,
Щит из кожи *носорога*, дротик гибкий,
Мех пантеры и суданскую кольчугу,
Но на что все это мне — вопрос.

‹1915—1953›

11

АВГУСТ

Как много звезд на тусклой синеве!
Весь небосклон в их траурном уборе.
Степь выжжена. Густая пыль в траве.
Чернеет сад. За ним — обрывы, море.
Оно молчит. Весь мир молчит — затем,
Что в мире бог, а бог от века нем.

Сажусь на камень теплого балкона.
Он озарен могильно,— бледный свет
Разлит от звезд. Не слышно даже звона
Ночных цикад... Да, в мире жизни нет.
Есть только бог над горними огнями,
Но бог не жизнь... Кто он, несметный днями?

Он страшен мне. Он слишком величав
И слишком необъятен. Он молчанье,
Он штиль морей и пыль сожженных трав,
Он черный сад и бледных звезд сиянье.
Он разум мой, мне чуждый,— оттого,
Что разум мой не любит ничего.

И это я, столь чувствующий землю
В ее осенней сладкой теплоте,
И это я, любовью полный, внемлю
Его пустой и хладной немоте!
И это я и должен, и не смею
Сказать себе: ты будешь, будешь ею!

‹1917—1952›

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Южное обозрение», 1898, № 517, 4 июля.

В Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 459—460) напечатано по первой публикации в журн. «Наблюдатель», 1895, № 6.

2. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г. Опубликовано в 1967 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

В Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 472—473) напечатано по первой публикации в газ. «Возрождение», 1926, № 359, 27 мая.

3. «Одесский листок», 1919, № 127, 25 сентября.

В Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 467) напечатано по автографу (тетрадь 1915—1917 гг.). Автограф имеет дату: «2.IX.1915» и название «Се жених грядет»; заключительное четверостишие в нем отсутствует.

4. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г. Опубликовано в 1968 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

В Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 470) напечатано по автографу: (тетрадь 1915—1917 гг.). Третья строфа в автографе зачеркнута; Бунин восстановил ее в 1943 г. в иной редакции (ср. «*Пышнее кажется блестящий/Парчовый золотой покров*»).

Переводить — звонить по покойнику (орловск.).

5. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г. Опубликовано в 1968 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

В Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 283) напечатано по первой публикации в сб.: Ив. Бунин. Митина любовь. Париж, 1925 . Последняя редакция значительно отличается от этого текста, в котором, помимо отдельных разночтений, отсутствуют строки 5—8 и стоит иная дата — «1907».

Автограф (тетрадь 1915—1917 гг.) имеет другие разночтения с последней редакцией — они есть в строках 1—2, 5—6, 10—12; строки 13—16 в нем отсутствуют. Автограф не датирован, однако его положение среди стихотворений 1916 г. подтверждает дату, поставленную в редакции 1943 г.

Сопоставление всех трех источников показывает, что в 1943 г. Бунин контаминировал две предыдущие редакции.

6. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г. Опубликовано в 1967 г. в Нью-Йорке, Печатается по этой публикации.

В Собр. соч. (1965—1967, т. 8, стр. 30—31) напечатано по первой публикации в газ. «Южное слово», 1919, № 98, 13 декабря; здесь стихотворение озаглавлено «Иконка», имеет ряд разночтений с последней публикацией, дата отсутствует.

Автограф (тетрадь 1915—1917 гг.) имеет дату «21.VII.1916, ночью». В остальном почти совпадает с текстом первой публикации.

7. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г. Опубликовано в 1968 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

В Собр. соч. (1965—1967, т. 8, стр. 34—35) напечатано по первой публикации в газ. «Возрождение», 1927, № 786, 28 июля. Текст ее значительно отличается от последней редакции: стихотворение озаглавлено «Разлука», дата отсутствует, отсутствуют и заключительные восемь строк.

8. Вырезка из сб.: Ив. Бунин. Митина любовь. Париж, 1925; с авторской правкой в третьей строке. Дата проставлена рукой Бунина, на полях — его помета: «Руль» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 21, л. 5).

В Собр. соч. (1965—1967, т. 1, стр. 438) напечатано по тому же сборнику, но без учета последующей правки.

9. Ив. Бунин. Избранные стихи. Париж, 1929; экземпляр с авторской правкой Бунина, сделанной в начале 1950-х годов (ИМЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 67).

К этому стихотворению Бунин возвращался неоднократно. В первой редакции (альманах «Окно», кн. 1, Париж, 1923) оно состояло из четырех строф. Печатая «Сириус» в сб. «Избранные стихи« (Париж, 1929), Бунин исключил вторую строфу:

Где молодость, простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И ветхий дом, и ель смолистая
Среди сугробов за окном?

В этой редакции (из трех строф) стихотворение вошло в Собр. соч. 1934—1936 и в Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 13; первую редакцию см. там же — стр. 425. Возвратившись к нему в конце жизни, Бунин зачеркнул вторую строфу («Где вы, скитания полночные...») и заменил ее отвергнутыми некогда строками, несколько их изменив.

10. Парижский архив Бунина. Опубликовано в 1953 г. в Нью-Йорке, с примечанием редакции: «Это стихотворение — новый вариант старого стихотворения И. А. Бунина». Печатается по этой публикации.

В Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 376) напечатано по тексту Собр. соч. 1934—1936 (т. VI), где оно опубликовано без заглавия, имеет ряд разночтений с последней редакцией и дату «13.IX.15».

11. Ив. Бунин. Весной в Иудее.— Роза Иерихона ‹1952›, автограф: ИМЛИ, ф. 3, он. 1, ед. хр. 12.

Впервые в этой редакции «Август» был опубликован в сб. «Эпоха» (СПб., 1918), затем в книге: Иван Бунин. Роза Иерихона. Берлин, 1924. Позднее Бунин отказался от названия, отбросил две завершающие строфы и в таком виде включил его в свой сборник «Избранные стихи». Париж, 1929. В этой редакции стихотворение напечатано в Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 441; завершающие строфы включены в отдел «Из ранних редакций» — стр. 499). В 1952 г. Бунин восстановил первоначальный текст, включив «Август» в состав рукописи своего последнего сборника, что дает право считать первоначальную редакцию вместе с тем и окончательной. В печатный текст сборника (Нью-Йорк, 1953) «Август» не вошел.

ПЕРЕВОДЫ

С АНГЛИЙСКОГО

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН

1

Я видал твои слезы. Осталась
На очах твоих светлых одна;
Как роса на фиалке, качалась
И дрожала тихонько она.

Я видал и улыбку. Не смели
И сапфиры равняться бы с ней
И с лучами, что ярко блестели
На лазури прекрасных очей.

Как на туче блестя омраченной,
Солнце розовый цвет ей дает,
Так улыбка душе огорченной
И отраду и счастье прольет.

‹1886›

2

«ДУША МОЯ ПЕЧАЛЬНА»

Спеши, певец, скорее арфу взять:
Печаль в душе моей бунтует!
Пускай могучие аккорды зазвучат
И слух мой очаруют!
Коль в сердце спит надежда — то от сна
Восторги музыки ее пробудят,
Коль есть в очах слеза — то упадет она —
И мне отрадней будет.

Но грусти песнь, певец, пусть зазвучит,
Нельзя мне веселиться,
Мне надо слез,— душа моя болит,
Она готова раздробиться;
Она сносила долго тяжкий гнет
И мучилась в молчаньи...

‹1886›

ТОМАС МУР

‹ИЗ ПОЭМЫ «ЛАЛЛА-РУК»›

На земле, меж богатствами мира,
Нет богаче долины Кашмира,
Нет роскошней нигде красоты.
Там леса ароматами полны,
Там струятся священные волны,
Круглый год расцветают цветы.

Если солнце, прощаясь с землею,
Догорает вечерней порою,—
Вся долина объята зарей
И, в зеркальных водах отражаясь,
Как невеста в цветы наряжаясь,
Ослепляет своей красотой.

Сквозь душистую зелень огнями
Блещет храм освещенный, и в храме
Баядерки поют, позабыв
В быстрой пляске все радости света,
И звучит с высоты минарета
Монотонный вечерний призыв...

А когда и дворцы, и мечети
Тонут в лунном серебряном свете,
Как торжественно станет кругом!
Как заискрятся волны каскада,
Как таинственно шум водопада
Раздается в затишьи ночном!

По садам, где над светлой рекою
Спят чинары густою толпою,
Где поет до зари соловей,—

БУНИН

Фотография. Москва, 1912

С дарственной надписью: «Дорогому Н. М. Мешкову Ив. Бунин. 4 ноября 12 г.»

Литературный музей, Москва

Назначаются тайные встречи,
И веселые юные речи
Слышны в сумраке тихих аллей.

Но едва заблестит перламутром
Над долиною раннее утро,
Покидая покров свой ночной,
В новом блеске проснется природа:
Золотятся дворцы и пагóды,
Зеленеют сады над рекой.

Теплый ветер чинары колышет,
И все негою, радостью дышит,
Все в сиянии солнца блестит
И про славу, и благость пророка,
Про священные страны востока,
Про счастливый Кашмир говорит!

‹1887—1891›

ФЕЛИЦИЯ ГИМЕНС

Убаюкай меня, дорогая моя,
Как в былые года, убаюкай меня!
Как в былые года, ты опять перед сном
Успокой и утешь, осеняя крестом!..

После долгого дня и дневной суеты
По ночам в тишине засыпают цветы,
Отдыхает и путник под кровом друзей...
Успокой и меня, убаюкай скорей!..

И зачем мне пришлося опять полюбить?
И зачем милый образ нельзя позабыть?..
Тяжела ты мне, жизнь молодая моя!..
Ах, баюкай, родная, баюкай меня!..

‹1887—1891›

ТОМАС ГУД

ПЕСНЯ РАБОТНИКА

Давайте заступ, грабли, лом,
Заставьте ниву жать серпом,
Вот руки вам: и в сад, и в поле —
Я всюду с радостью пойду,
Я приучил себя к труду
В его тяжелой долгой школе.
Плетень заплесть, канавы рыть,
Свалить в стога сухое сено,
Принесть тяжелое полено
И наколоть и нарубить —
Я все готов, и на работе
Со мной огнива не найдете:
Я не сожгу вас; я не враг...
Я рад бы только свой очаг
Зажечь, чтоб в сумрак дней холодных
Согреть детей своих голодных,
Согреть их, слабеньких и хилых,
Чтоб в зимний вечер камелек
На бледных щечках, в глазках милых
Разлил веселый огонек...
Не я, а тот, кто наши нивы
И иссушает, и живит,
Кто тиной в вешние разливы
Долины наши затопит,—
Пусть он стрелу грозы направит
На кровлю скряги, в барский лес —
И в красном зареве небес
Свой гнев карающий проявит!
Давайте заступ, грабли, лом,
Заставьте ниву жать серпом,
Не бойтесь тружеников бедных:
Давайте только нам труда,—
Я вашей дичи никогда
Не трону в рощах заповедных;
Я не вломлюсь, как вор ночной,
К его сиятельству в покой
Из-за корысти и из лени;
Не буду ваших егерей
Душить во рву из-за грошей,
Не трону графского оленя...

Я не хочу мирского хлеба,
Билета нищих и калек;
Я сын земли, я человек,
Рожден и я под этим небом!
Я буду требовать везде
Себе дневного пропитанья,
Труда, участия в труде,
А не людского подаянья!..
Мне, люди, так же как и вам,
Был прародителем Адам,
Хоть только случаем рожденья
Я обречен на все лишенья
И рад, когда в семье своей
Могу немного посвободней
Вздохнуть по милости господней,
А не по милости людей.
Давайте заступ, грабли, лом,
Заставьте ниву жать серпом,
Давайте кирку и лопату —
На все готов и силен я,
И горе тем, кто у меня
Отнимет трудовую плату,
Кто беднякам дает расчет,
За все штрафуя бессердечно,
А после в кружку грош кладет,
На тех, кого он грабит вечно...
Ведь этот шиллинг роковой
Найдет меня же — у могилы,
Когда не станет больше силы,—
Или в тюрьме, или с сумой!

‹1893›

С ИТАЛЬЯНСКОГО

АДА НЕГРИ

О, умчи меня ввысь, в беспредельный простор,
В царство вечных снегов, царство блещущих гор,
Где на мощных крылах, на звенящих крылах,
Утопает орел в небесах,—
Вдаль от пошлой земли, от дневной суеты,
От людей, от толпы — в светлый мир красоты,
Где мой крест роковой, крест, гнетущий меня,
Хоть на миг позабыла бы я!
О, скорее туда! Чтоб любить я могла,—
Как весенний рассвет, и чиста, и светла,—
Горный ветер вдыхать и, безумно любя,
Очаровывать лаской тебя!
Здесь холодный туман мое сердце гнетет,
Умирают мечты средь печальных болот...
Там хочу я любить, где холодный гранит,
Где безмолвная вечность царит.

‹Ноябрь 1896 г.›

С НЕМЕЦКОГО

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

АЛЬПИЙСКИЙ ОХОТНИК

«Хочешь пасть овечек в поле?
Овца ласкова, смирна,
Беззаботная на воле
Травкой кормится она?!»
— Нет, мать, лучше с самострелом
Я пущуся в горы смело!

«А не хочешь ли, играя,
Созывать стада рожком?
Чудно, весело лесная
Песнь сливается с звонком!»
— Нет, бродить среди камней
Отпусти меня скорей!

«А цветочки на куртинах
Собирать не хочешь ты?
На суровых на вершинах
Не красуются цветы!»
— Бог с цветами! Пусти, мать,
В горы дикие гулять!

И охотиться пустился
Мальчик в горы. По скалам
Он без отдыха стремился
К мрачным горным высотам.
Вот, как ветер, пред глазами
Мчится серна крутизнами.

Легко прыгает, мелькая
По ребрам камней, она,
Бег отважный направляя
Через трещины без дна.
Но отважно, скор и смел
Он за ней с стрелой летел.

Вот уж скалы исчезают,
И теряется стезя.
Над обрывом повисает,
Ей бежать уже нельзя;
Впереди обвал в горах,
А за нею близкий враг.

Немым взглядом она просит
Человека пощадить;
Но он руку уж заносит,
Тетиву чтобы спустить.
Вдруг из трещины меж скал
Старец, горный дух, восстал.

И он грозно защищает
Серну слабую рукой;

«Для чего ты,— восклицает,–
Смерть несешь сюда с собой?
Вам ли мести еще надо?
Что ж ты гонишь мое стадо?!»

17 сентября 1886 г.

НАЧАЛО НОВОГО ВЕКА

Верный друг! Где светлая свобода?
Где покой убежище найдет?
Век протекший кончился невзгодой,
Новый век с собою смерть несет.

Порвался союз народов мирный,
Формы прежние теперь сокрушены.
Ни океан, ни Рейн, ни Нил обширный
Не смирили бешенства войны [1].

Два могучие народа спорят меж собою
О владычестве над миром и хотят
Они, двигая трезубцем и грозою,
Всех других племен свободу заковать.

Все должны нести им свое злато;
Всё несут покорные, и вот
Франк, как древле Бренн, клинок булата
На весы правдивости кладет [2].

Как полип могучий, простирает
Жадный Бритт повсюду корабли,
Все моря он замыкать мечтает,
Как замкнул владения свои.

До безвестных звезд набеги простирая,
Он до полюсов бестрепетно идет,
Острова, прибрежья на пути хватая,
Все никак нигде он рая не найдет.

Мореходцы мир едва измерят бесконечный,
Беспредельно он лежит перед тобой,
Но на всем пространстве не найдешь, конечно,
Десяти обласканных судьбой.

От волнений света ты в уединенье
Сердца должен поскорей бежать!
Радость может жить лишь в мире Сновидений,
Красота же в песнях процветать!

‹1886›

ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто едет так поздно под ветром ночным
Отец опоздалый то с сыном своим.
Заботливо держит его он впотьмах
И греет, обнявши малютку, в руках.

«Что прячешь ты, сын мой, лицо все ко мне?»
«О! разве не видишь, отец, в темноте
С бородой и в короне лесного царя?»
«То видны полоски тумана, дитя!»

«Мой милый ребенок, пойдем-ка со мной!
Я буду резвиться сам в играх с тобой;
Много пестрых цветов на брегу у меня,
Много есть и одежд золотых для тебя».

«Отец мой, отец мой! ты слышишь, что мне
Лесной обещает в ночной тишине?»
«Не тревожься, покоен будь, милый мой сын,
То ветер гуляет меж листьев один».

«Если, милый ребенок, пойдешь ты со мной,
Мои дочери будут ходить за тобой,
В ночных хороводах с тобою плясать
И пением сны на тебя навевать!»

«Отец мой, отец мой, ты видишь ли там
Лесного царя дочерей по кустам?»
«Дитя дорогое, мне ясно на взгляд:
То ветви на ивах на старых висят!»

«Дитя дорогое, тебя я люблю
И силою в царство свое я возьму!»
«Отец мой, отец! уж царь близко!.. он вот...
Меня уж схватил он... в объятья берет!»

Отец погоняет, он скачет быстрей;
Ребенок все стонет сильней и сильней!
Когда ж, наконец, он домчался домой,
Ребенок покинул мир тесный, земной!

‹1886 г.›

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ДЕТСТВО

Нас было, дитя мое, двое;
Нам весело было вдвоем...
Бывало, залезем в курятник
И там под соломой сидим...

Мы там по-петушьи кричали,
Запрятавшись в старом ларе,
И все говорили, что точно
Кричат петухи на дворе.

Мы всячески ларь украшали
Его убирали кругом...
И долго все вместе прожили
Богато и весело в нем.

Соседская старая кошка
Нередко являлась туда,
И ей говоря комплименты,
Мы делали книксы всегда.

Расспросим всегда о здоровье,
И часто, бывало, на двор
Другие соседские кошки
К нам в гости ходили с тех пор.

Мы часто, как старые люди,
Сидели, жалея о том,
Как хуже все стало на свете
И все изменилось кругом;

Что дружба из мира исчезла,
Исчезла почти что везде,
Что ныне любви неизменной
Не сыщешь, быть может, нигде;

Что редко так золото стало,
Что стало дороже житье...
Промчалися детские игры
И с ними промчалося все!..

‹1889›

С ПЕРСИДСКОГО

САДИ

‹ИЗ ПОЭМЫ «БУСТАН»›

‹1›

ЧЕРЕП

Над Тигром жил отшельник. Древний череп
Нашел он на прибрежьи. И услышал
От черепа: «На мне была тиара,
Я покорил Ирак, алкал Кермана,—
И вот, увы, сам выеден червями».

‹2›

Раз в серебро преобразился камень
В руках анахорета. Но когда
Ты предан воле промысла всецело,
И серебро, и камень — одноценны.
Итак, ступай и возвести дервишам,
Угодникам султана: «сам султан
Беднее их: дервиш доволен драхмой,
А он, султан, и царством недоволен,
Поистине, не падишах, а нищий,
Свободный от забот, есть падишах».

Дамаск. Весна 1907 г.

ПЕРСИДСКАЯ МУДРОСТЬ

‹1›

Лисицу спросили: «Куда ты так быстро бежишь?»
— «Погоня за пьяным верблюдом!» — сказала лисица.
«Но ты-то причем тут?» — «Э, полно, поэт, а враги?
Попробуй кричать, называя лисицу верблюдом,
И все закричат, что лисица — верблюд, и убьют!»

‹2›

Болтун и невежда ишáка учил говорить.
— Болтун и невежда! учись у ишáка молчанью.

‹3›

Один астролог, возвратившись домой, захватил
Измену жены и к судье потащил, задыхаясь.
«Вот видишь,— сказал астрологу судья,— ты не знал,
Что делалось дома, а хвалишься знанием неба!»

‹4›

Пришел человек на могилу врага своего и сказал:
«Я счастлив, я жив, я владею твоею женою!»
Тут, сдвинув плиту, он в могилу взглянул и на дне
Увидел соперника: череп, набитый землею,
В котором когда-то сияли, как солнце, глаза,
И голые ребра, покрытые гнилью и гнусом.
Заплакав в тоске, человек написал на плите:
«Не радуйся смерти врага,— не долга твоя радость!»

‹5›

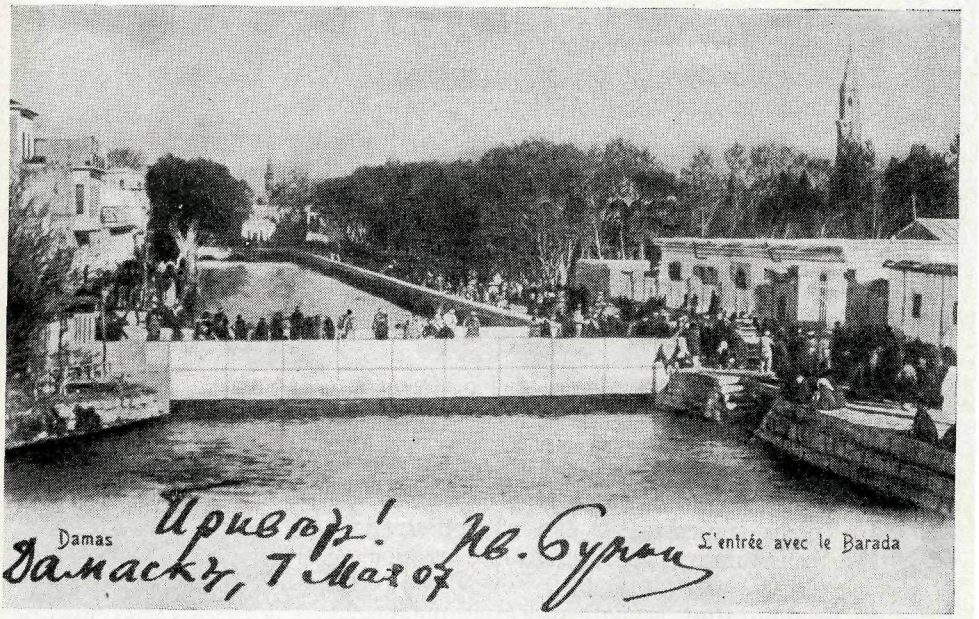
Стенал человек, изнемогший в пути: «Я устал.
Несчастней меня никого не видала пустыня!»
От клади осев, по дороге осел проходил:
«Безумец! — сказал он,— зачем на судьбу ты клевещешь?
Конечно, приятно сидеть на осле, но хвали
Творца и за то, что тебя не ослом сотворил он».

‹6›

Богач обеднел до того, что ходил босиком,
И плакал от злобы, как вдруг повстречался с безногим.
Ах, если б вы знали, как плакал от радости он!

‹7›

Твой критик сидит и тебя стережет за углом.
Лишенный достоинств, он жаждет чужих недостатков.
Базарным собакам несносны борзые. Голыш
Алмазы дробит с наслажденьем.



ДАМАСК
Открытка, отправленная Буниным З. И. Гржебину 7 мая 1907 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

‹8›

Схвативши огромный сааз и нахально ударив по нем,
Бездарный уверил толпу, что он — музыкант — и огромный!

‹9›

Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.

Трапезунд — Стамбул
Июнь 1913 г.

С ПОЛЬСКОГО

АДАМ МИЦКЕВИЧ

НА НОВЫЙ ГОД

(Мотив А. Мицкевича)

Как новый феникс крылья распускает —
Из пепла старого уж новый год встает
И целый мир его с надеждами встречает,
С мечтами радужными ждет...

Но что же мне с собой он посылает?
Мне пожелать чего на Новый год?

Минут веселия, быть может?.. О, я знаю,
Я видел молньи радости земной —
Отверзши небеса и землю озаряя,
Они влекут всегда к ним воспарить душой...

Но тухнут молнии... И снова ночь немая
Закроет очи нам холодной темнотой.

Любви?.. И счастие, и райские виденья
Рисует нам она, горячка юных дней,
Мы в платоническом и гордом упоенье
Становимся тогда бодрее и сильней...

Но время все берет — с небес, без сожаленья,
Свергает нас в юдоль печали и скорбей.

Я жил, любил, мечтами увлекался,
Далеко от земли меня мой сон унес,
На розы райские во сне я любовался,
Но лишь шипы достались мне от роз...

И больно мне, и сон мой миновался...
Нет, не хочу любви и не хочу я грез!

Но, может, дружба? — Сердце молодое
Богинь прекрасных много создает,
Но самой юною и свежей красотою
Богиня дружбы на земле цветет,—

Друзья счастливые живут одной душою,
Как жизнию одной все дерево живет.

Но если гром ударит над землею
И гнется дерево от бури каждый миг,
Как ветка каждая, под темною грозою,
Трепещет за себя и за других!

Нет, к дружбе я остыл! Я снова не открою
В душе моей родник для чувств ее святых.

Чего же мне желать? Что радостью спокойной
Все примирит в душе измученной моей? —
— Дубовая постель, приют уединенный
В земле сырой, далеко от людей,

Где не тревожит день, сияющий и знойный,
Ни смех врагов, ни жалобы друзей!..

И до поры, пока дни счастья и невзгоды
Проходят над землей в лазурной вышине,
Как промечтал я в молодые годы,—
Хотел бы я мечтать в глубоком, вечном сне,—

Любить весь мир, всю красоту природы,
Но от людей вдали, в могильной тишине!
‹1892›

АДАМ АСНЫК

Безмолвно мы простилися с тобою,
Сокрыл я скорбь в душевной глубине,
И скорбь жива, но сердца нет со мною:
Оно с тобой — в далекой стороне.

Ты там теперь под кровлею родною
И соловьям внимаешь по весне,
А я один с безмолвною тоскою,
Один, в глуши... И нет возврата мне.

Моя любовь угаснет без ответа...
Но все ж я рад, что ясного рассвета,
Что грез твоих не буду омрачать:

Улыбкой жизнь сияет пред тобою,
А я прощаюсь с гаснущей зарею,
Иду во тьму — и не вернусь опять.

‹1894—1901›

С ТАТАРСКОГО

ИЗ ПЕСЕН КАЗАНСКИХ ТАТАР

I

Не за Белой ли рекою,
О, беляночка моя! —
Не за Белой ли рекою
Слышны песни соловья?..
Все тебе бы рассказал я,
Много сказок прежних дней,
Если б только испытал я
Сладость нежности твоей!..

II

Моя беленькая девушка,
Мы пойдем гулять вдвоем!
Пусть глядят и удивляются —
Мы пойдем гулять вдвоем!
Моя беленькая девушка,
В позументе воротник!
Ведь у всех разумных девушек
В позументе воротник...

III

Не поют ли соловьи
В чаще темной и густой?..
Друг любимый, дорогой,
Я страдаю от любви!
Теплым гнездышком в лесу
Соловьи обзавелись...
Только нам уж никогда
В этом мире не сойтись!..

IV

Говорят, что вся клубника
Белым цветом зацвела,
Говорят, что так же точно
Грудь у девушек бела...
Аршин белых позументов
К рукавам и на подол —
Я боюсь, что это много,
Слишком много за камзол!

‹1887—1891›

С УКРАИНСКОГО

В. ЧАЙЧЕНКО

Воет буря, хлещут волны,
Жизнь и смерть — во власти волн...
Ты же в даль, к заветной цели,
Направляй спокойно челн!

Светит солнце, манит душу
Отчий дом, родимый край...
Ты же в даль, к заветной цели,
Челн спокойно направляй!

‹1896›

С ФРАНЦУЗСКОГО

АЛЬФОНС ЛАМАРТИН

УМИРАЮЩИЙ ХРИСТИАНИН

Что слышу я? Вокруг меня металла звон!
Какой толпы благочестивой слышу стон?
О ком несется погребальных гимнов пенье?
И этот бледный факел для кого? О! Смерть! мой слух
Ты поражаешь; но не смерть встречает дух,
Но жизни пробужденье!

Огня святого искра драгоценная,
Ты, гостья тела бренного, нетленная,
Рассей свой страх! Тебе несет свободу смерть.
Лети, душа, спеши же цепи разорвать!
Людских несчастий бремя с плеч навеки снять —
Ужели в этом смерть?

Уж время кончило часы мои считать...
Гонцы с небес, где будете меня встречать?
В какой теперь введете новый вы чертог?..
Мне мнится: плаваю по волнам света я,
Растет пространство предо мною, и земля
Бежит уж из-под ног!..

«ИЗ В. ЧАЙЧЕНКО

Перевод стихотворения В. Чайченко (псевдоним Б. Д. Гринченко)

Первая публикация

Страница из сборника «Под открытым небом» (М., 1898)

Изъ В. Чайченко.

остъ буря, хлещутъ волны,
Жизнь и смерть – во власти волнъ...
Ты же въ даль, къ завѣтной цѣли,
Направляй спокойно челнъ!

Свѣтитъ солнце, манитъ душу
Отчій домъ, родимый край...
Ты же въ даль, къ завѣтной цѣли,
Челнъ спокойно направляй!

— 40 —

Но что же слышу я? В то время, как мой дух
Проснулся, плач и страшный вопль терзает слух!..
Сопутники изгнания! Вот вы теперь
Все плачете!.. к чему? Душа вкусила
Из чаши жизненной напитку, зло забыла,
В небесную вступает дверь!

‹1886›

ШАРЛЬ ЛЕКОНТ де ЛИЛЬ

ВОЗМЕЗДИЕ

(Le Talion. «Poèmes tragiques» Л. де Лиля)

Ужели это сон? — Какой ужасный сон!
О, эти мертвецы! Несметными толпами,
С горящими огнем, недвижными очами
Из глубины могил восстал их легион,
Вращая дикими зрачками.

Иезекииль Пророк! Не так же ль твой глагол
Пресекло ужасом виденье роковое,
Когда они текли, покинувши Хеол,
Когда они, кружась, спускались в страшный Дол,
К гробницам древнего покоя?..

В цепях я видел их... И дыбом поднялись
Все волоса мои при Голосе могучем...
Его слова с небес грохочущих неслись,
Из глубины небес, где молнии вились
По содрогающимся тучам.

И Голос говорил: безумные Князья!
Вы, волки жадные, коварные и злые!
Века своим путем к вам приближаюсь я,
Теперь я недалек... И я сломлю, шутя,
Голодных ртов клыки стальные!

День гнева моего — он вспыхнул наконец!
Я жажду утолю — мои оковы сняты...
Я, как поток, ворвусь в палаты и дворец,
Смертельный яд, огонь, веревки и свинец —
Вот все орудия расплаты!

Нет времени теперь стенаньям и мольбам,
Содеянных грехов ничто не умаляет,
Жестокие сердца я вырываю вам,
Рать мертвецов к моим всевидящим очам
Народ из гроба подымает.

Уж под парчой теперь вам не лежать в земле,
В могилах вековых, где предки обитают,
Где строгий сон царил в прохладной полумгле,
Не спать с мечом в руке, с венками на челе,
Как доблестные почивают!

Нет, стая тесная разгневанных орлов
Наестся досыта нечистым вашим телом,
В лохмотья изорвет на тысячи кусков,
И, озираясь, псы потащут их с холмов
В овраги — радостно и смело.

Я сотворю сие, я, судия живой!
Все ваше прошлое передо мной воскресло:
Средь воплей и молитв, звучавших над землей,
Для новых гнусных дел вы с каждою зарей
Вновь опоясывали чресла.

И кровь рекой лилась, и долгий ряд веков
На ваших площадях замученные люди
От женщин и детей до дряхлых стариков,
Как мясо свежее на лавках мясников,
Лежали, сваленные в груде.

Но час настал, пора! Пылай, о факел мой,
Зубами скрежещи, о Ненависть и Злоба,
Возмездие! Скорей свой яркий флаг раскрой,
Замолкни, крик тоски, предсмертный и глухой
Перед отверстой дверью гроба!

Пускай они хрипят под грудами домов,
А вы, погибшие, вы, жертвы истязаний,
Вы их преследуйте проклятием грехов,
Чтоб черный мрак дрожал от зарева костров,
От ваших лютых завываний!

‹Начало 1890-х годов›

АЛЬБАТРОС

Взывает и мычит разгневанный Борей
В безбрежных областях полуночных морей;
Он скачет по волнам — и океан белеет
От бешеной слюны... Он в ярости пьянеет,
Когда, настигнув их, когтями дико рвет,
Когда над бездною холодно-бледных вод
Хватает тучи в пасть и мечет без пощады,
И молний судорги сжимают их громады...
Он кружит и вертит в тумане водяном
И перья птиц, и крик в смятеньи роковом
И кашалотов лбы волнами оглушая,
Чудовищный их вопль он дразнит, завывая!..
Один он,— царь пространств, пернатый царь морей,
Уверенно идет на грозный шквал зыбей
И, не сводя очей, так гордо устремленных
На синеву и мрак туманов отдаленных,
Где в хаосе слилась рыдающая мгла,—
В один железный взмах упругого крыла
Под гул морской грозы он рассекает тучи,
Плывет и тонет в них, спокойный и могучий!

⟨Начало 1890-х годов⟩

УТРО

В прозрачной лазури, где ласточка реет,
Бессмертными розами утро цветет,
В аллеях, где листьев сплетается свод,
Росой благовонной и свежестью веет,
И каждая птичка в восторге поет,
Как розами дивными утро цветет
В прозрачной лазури, где ласточка реет.
    По гладкому щебню живою струей
    Ручей золотистый сочится, сверкая,
    Упругие лилии нежно лаская,
    Прибéрежный вереск качая волной,
    И внемлет в молчании лань молодая,
    Как в камешках гладких живою струей
    Ручей золотистый сочится, сверкая.
Тропинкой, манящей лазурью вдали,
Где утренний пар над долинами тает,
Вдоль чащи росистой, где ветер порхает,
Идут они в отблеске влажной зари,
И счастье весеннее их увлекает —
Тропинкой, манящей лазурью вдали,
Где утренний пар над долинами тает.
    Объятое томным блаженством любви,
    Не чувствует сердце, как быстро мгновенье,—
    Им вечными кажутся их упоенье,
    И утро, и радость небес и земли.
    Манит их к себе неземное виденье,
    Не чувствует сердце, как быстро мгновенье,—
    Охвачено сердце блаженством любви.

В прозрачной лазури, где ласточка реет,
Бессмертными розами утро цветет.
Но час недалек: он навеки замрет,
Их голос в аллеях, где все зеленеет,
Где каждая птичка в восторге поет,
Как розами дивными утро цветет
В прозрачной лазури, где ласточка реет.

‹1894—1912›

ПОЛЬ БУРЖЕ

‹ЭПИЛОГ›

Скоро властной холодной рукой
Смерть-царица мне очи закроет,
Скоро в темной могиле сырой
Мое сердце она успокоит;
Одного бы я только желал,
Я б хотел, чтоб уснул я безмолвно —
На морском берегу, где у скал
Вечно ропщут холодные волны...

В час, когда налетит ураган
И под темною ризой ночною
Будет грозно шуметь океан
Гулко-плещущей, белой волною,
Долетит этот шум и ко мне...
И я вспомню, как в сердце бывало,
Словно волны в морской глубине,
Жажда жизни и страсть возрастала...

А когда к безмятежной волне
Льнет волна, утомясь от движенья,
Будут сниться лобзания мне
В их задумчивом, ласковом пенье...
И пускай на меня навевать
Тихий сон будут песни былого,
Чтобы мог я хотя вспоминать
Дальней юности счастие снова.

‹1891›

У СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

I

О, нежная заря,— как ласково восходит
Твой бирюзовый свет из Средиземных вод!
Как очарованный твой теплый ветер бродит
По дремлющим садам, цветущим круглый год.
Ты теплым ветерком, о, голубое утро,
Лелеешь паруса нежнее, чем весной,
Косые паруса, что блеском перламутра
Сияют вдалеке, на синеве морской.
Ты слабых и больных ласкаешь ароматом,—
Красавиц бледное, поблекшее чело...

Близка, близка их ночь, но все же пред закатом
Они глядят на мир с улыбкой и светло.
Ты упоительно, ты так легко и нежно,
Что грезятся им вновь несбыточные сны,
И грустные их дни проходят безмятежно,
В тени лавровых рощ, под тихий плеск волны.
Ты, как надежды их, и сладостна, и лжива,
О зимняя заря благословенных стран!
Волненья юности, далекой и счастливой,
Ты навеваешь им,— губительный обман...
Но им ли проклинать последний миг отрадный,
Твой роковой обман, бессильною душой,
Улыбка тихая природы беспощадной,
Лазурная заря над светлою волной?

‹1898›

II

Далеко подо мной осталися долины,
За гребнями лесов, за выступами скал...
Последний замер звук, последний крик орлиный...
Свобода мертвая, безумные стремнины...
— Он не далек, последний перевал!
Взгляни, он там, в выси, где цепенеют взоры,
Где обнаженных скал сереет полоса,
Как мраморных гробниц белеют льдов узоры,
И льют стеклянный свет на дремлющие воды
Бледно-зеленые немые небеса.

‹1892—1898›

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

КОШМАР

Как за горные кручи
В темно-синий вулкан,—
За тяжелые тучи
Скрылось солнце в туман.
Душный воздух в томленьи
Зноем тягостным полн,
Замирает волненье
Фиолетовых волн.
Страшно это молчанье,
Страшен мертвый покой!..
Или солнце в сияньи
Не взойдет над землей?
Иль ничто не потушит
Предрассветный пожар?
Или буря разрушит
Этот бред и кошмар? —
Кто ответит заране!..
— Солнце скрылось в туман,
И пылает в тумане
Грозной ночи вулкан...

‹Середина 1895 г.›

ПРИМЕЧАНИЯ

С АНГЛИЙСКОГО

Публикуемые переводы из английских поэтов принадлежат к числу самых ранних работ Бунина-переводчика. Почти все они относятся к тому времени, когда Бунин стал специально изучать английский язык для того, чтобы прочесть в подлиннике величайших поэтов Англии («Жизнь Бунина», стр. 49—50). Для своих первых опытов Бунин выбирал вещи, хорошо знакомые ему по русским переводам, в частности по сборнику «Английские поэты в биографиях и образцах» (Сост. Н. В. Гербель. СПб., 1875), который был одной из первых сознательно прочитанных им книг (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 258).

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН

«Я видал твои слезы...»; «Душа моя печальна».— Автографы: ГМТ, 981, л. 44—44 об. Датируются предположительно: бумага, чернила, почерк — те же, что и в автографах стихов, датированных 1886 г. (там же, л. 45). Перевод стихотворений из цикла «Еврейские мелодии» («Hebrew Melodies», 1814): «I saw the weep...» и «My soul is dark...» Первое из них (в переводе Д. Л. Михаловского) вошло в «Сочинения лорда Байрона в переводах русских поэтов» (Ред. Н. В. Гербель, т. I. СПб., 1864, стр. 15). Перевод второго, выполненный Лермонтовым, был, вероятно, известен Бунину по сборнику «Английские поэты в биографиях и образцах».

ТОМАС МУР

‹Из поэмы «Лалла-Рук»›.— Стихотворения 1887—1891, стр. 63—64; под названием «Из сказки „Солнце гарема“». Датируется по публикации в указанном сборнике. «Солнце гарема» («The Light of the Harems») — третья часть поэмы Томаса Мура «Лалла-Рук». Бунин перевел ее начало, при этом он изменил размер оригинала, ввел собственную строфику и систему рифм. Не стремясь к точной передаче содержания, он создал не столько перевод, сколько самостоятельное произведение на мотив поэмы Томаса Мура. Этот же отрывок в переводе неизвестного автора вошел в сборник «Английские поэты в биографиях и образцах». Был известен Бунину также и перевод второй части поэмы («Рай и пери»), выполненный В. А. Жуковским, сочинения которого он прочел уже в ранней юности (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 259).

ФЕЛИЦИЯ ГИМЕНС

«Убаюкай меня, дорогая моя...» — Стихотворения 1887—1891, стр. 62; под названием «Из Фелиции Гименс». Воспроизведено: «Памир», 1969, № 3.

Вольный перевод стихотворения «Mother, oh sing me to rest...» («Poems of Felicia Hemans». London and Edinbourgh, 1878).

Фелиция Гименс (1793—1835) — известная английская поэтесса, автор ряда стихотворных сборников, поэм и драматических произведений. С ее поэзией Бунин мог познакомиться по сборнику «Английские поэты в биографиях и образцах», где в числе других произведений Гименс было напечатано (без указания имени переводчика) и это стихотворение.

ТОМАС ГУД

Песня работника.— «Мир божий», 1894, № 11, стр. 36—37. Автограф (первые 30 строк): ГМТ, 981, л. 20 (помета — «Мир божий, 94 год»; разночтения в стр. 5, 6, 11 и 12, корректирующие неточности печатного текста). Печатается по тексту «Мира божьего» с исправлениями по автографу. Датируется по письму А. А. Давыдовой Бунину от 6 ноября 1893 г. (см. ниже). Перевод стихотворения Томаса Гуда (Thomas Hood. The Lay of the Labourer, 1844).

С жизнью и поэзией автора «Песни работника» Бунин впервые познакомился по изданию Н. В. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образцах» (СПб., 1875) — здесь были напечатаны его «Песня о рубашке», «Стансы», «У смертного одра», «Изгнание» (в анонимных переводах М. Л. Михайлова). Вполне возможно, что Бунин знал также статью Михайлова «Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд», где был напечатан прозаический перевод «Песни работника» и излагалась история ее создания: написанная под впечатлением суда над восемнадцатилетним безработным Уайтом Гиффордом, который был приговорен к пожизненной ссылке только за то, что требовал работы у фермеров и угрожал, в случае отказа, «сжечь их ночью в постели», «Песня работника» отразила «беспокойство всего общества» и «служила делу освобождения» («Современник», 1861, № 8, стр. 377—378).

Публикация бунинского перевода встретила значительные затруднения, видимо, цензурного порядка. Осенью 1893 г. Бунин отправил его в «Мир божий». 6 ноября издательница журнала А. А. Давыдова отвечала ему: «„Песню работника“ — думаю пустить в январе. Очень хорош перевод» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 97, л. 1—1 об.). Однако в январском номере «Песня» не появилась, и 25 марта 1894 г. Давыдова выражала сомнение в том, что сможет ее вообще напечатать: «... боюсь я, что „Песня работника“ Томаса Гуда не пройдет у нас! Если пройдет — отлично, а нет, так я передам ее в „Русское богатство“» (там же, л. 4). После этого прошло еще полгода, прежде чем перевод Бунина увидел свет.

С ИТАЛЬЯНСКОГО

АДА НЕГРИ

«О, умчи меня ввысь, в беспредельный простор...» — «Южное обозрение», 1900, № 1081, 5 марта. Впервые: «Север, 1897, № 8 (с разночтениями в строке 4); затем: «Южное обозрение», 1899, № 779, 9 апреля. Воспроизведено: «Памир», 1969, № 3 (по первой публикации).

Перевод стихотворения «Oh, portami lassù, lassù fra i monti ...» из сборника: «Fatalità», Milano, 1892.

«Fatalità» — первый сборник стихов Ады Негри — выдержал в течение пяти лет (1892—1896) пять изданий; второй ее сборник — «Tempesta» (1896) имел неменьший успех. О своем отношении к творчеству этой поэтессы Бунин писал С. Н. Кашкиной 6 ноября 1896 г.: «От А. Негри я давно в восторге. Удивительная натура! Все самобытно, свежо, мощно, обвеяно дыханием истинной и высокой, целомудренной поэзии. „Fatalità“ у меня нет,— к сожалению, есть только „Tempesta“, и то сейчас не под руками. Имя я ее давно знал, но познакомился с ее произведениями настоящим образом только нынче летом, в Одессе, где купил „Tempesta“, а „Fatalità“ взял у знакомых и с ними же (я не знаю итальянского языка) прочел оба томика. Я жил тогда верстах в 20 от Одессы, у самого моря, и это море, и дивные стихи совсем очаровали меня... Как я рад, что вы тоже узнали и любите их... Но переводить у меня не было времени (я был занят „Песней о Гайавате“ Лонгфелло) и смелости. Не все я могу переводить у Негри — подбавлю своего настроения, да и незнание итальянского языка. Стихотворений 50 перевел мой приятель А. М. Федоров. Теперь я уже не хочу становиться у него на дороге. Он тоже не знает итальянского языка, но книжка его переводов должна иметь успех... От всей души говорю вам, что мне так хотелось бы сделать вам приятное, что я, должно быть, спрошу — не будет ли он в претензии, если я переведу некоторые стихотворения. Попробую. Но опять беда. Теперь я еще пуще занят» («Русская литература», 1963, № 2, стр. 179).

Публикуемое стихотворение — единственный известный перевод Бунина из Ады Негри. Вероятно, он был сделан сразу же по получении письма от С. Н. Кашкиной, в котором она просила его заняться переводами стихов итальянской поэтессы: «...тотчас же попытался перевести одно стихотворение. Вышло неважно (да и вы не написали ни кусочка подлинника этого стихотворения, ни формы), но все-таки шлю» (там же. стр. 178).

Переводы А. М. Федорова, о которых Бунин пишет Кашкиной, вошли в сб.: А. Федоров. Стихотворения. СПб., 1898 (всего пять стихотворений, в их числе перевод «Oh, portami lassù...»).

С НЕМЕЦКОГО

Публикуемые переводы впервые вводят немецкую поэзию в круг интересов Бунина-переводчика.

Мир немецкой классической поэзии был открыт им еще в годы ранней юности: Шиллер, Гете и Гейне стоят в ряду тех писателей, чье влияние оставило глубокий отпечаток в истории духовного развития героя «Жизни Арсеньева», а следовательно, и самого Бунина (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 114—117); к этому же времени (1886—1889 гг.) относится и его работа над переводами из этих поэтов. Здесь, так же как и в первых своих обращениях к английской поэзии, Бунин выбирает стихи, известные ему по трудам прославленных русских переводчиков (ср. выше, стр. 220).

«Лесной царь» («Der Erlkönig») Гете в переводе Жуковского к этому времени был ему безусловно знаком как по сочинениям самого Жуковского, так и по «Собранию сочинений Гете в переводах русских писателей. Изд. под ред. Н. В. Гербеля» (т. 1. СПб., 1878). Стихотворения Шиллера, которого Бунин впоследствии назвал в числе писателей, оказавших на него в юности особенно большое влияние (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 526), он должен был знать по аналогичному изданию Гербеля («Полное собрание сочинений Шиллера...», т. 1. СПб., 1875), неоднократно переиздававшемуся. «Альпийский охотник» («Der Alpenjäger») напечатан был там в переводе Л. Мея, а «Начало

нового века» («Der Antritt des neuen Jahrhunderts»)— в переводах В. Курочкина и А. Глинки. Последнее стихотворение, точнее его заключительные строки, были глубоко созвучны настроениям юного Бунина — в 1891 г. он записал их на обороте своей фотографии (см. настоящ. кн., стр. 289).

Над переводами из Гете и Шиллера, судя по их положению в тетради 1886 г. (л. 20—21 об., 23—25 об.), Бунин работал почти одновременно. Стихотворение из Гейне, обращенное к сестре («Mein Kind, wir waren Kinder...» из цикла «Heimkehr»— «Возвращение на родину»), по-видимому, привлекло его внимание позднее, зимой 1888—1889 гг. В то время оно могло отвечать собственным переживаниям Бунина — с отъездом старшего брата из Озёрок возобновилась его дружба с сестрой, и в этих «новых отношениях» был по его признанию « какой-то чудесный возврат к нашей дальней детской близости» (Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 155). Этот свой перевод Бунин мог соотнести с переводом Фета в его сб. «Вечерние огни». СПб., 1883.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

Альпийский охотник.— Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 20—21 об. Начало нового века.— Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 24 об.— 25 об. Датируются по положению в тетради 1886 г.

[1] Подразумеваются войны, которые в начале XIX в. велись в Европе, в Африке и на море между Францией и коалицией европейских государств во главе с Англией.

[2] *Бренн* — вождь галлов, завоевавших Рим (V в. н. э.). Когда его воины взвешивали дань, принесенную римлянами, он бросил свой меч на весы, воскликнув: «Горе побежденным!»

ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

Лесной царь.— Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 23—23 об. Датируется по положению в тетради 1886 г.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Детство.— «Родина», 1889, 30 апреля, № 18. Датируется по времени первой публикации и по обстоятельствам биографии Бунина.

С ПЕРСИДСКОГО

САДИ

Впервые Бунин познакомился с творчеством Саади в начале 1890-х годов, когда один из московских букинистов подарил ему перевод «Гулистана» (Собр. соч. 1965—1967 , т. 9, стр. 277—278). С тех пор «он высоко ценил этого поэта, мудреца и путешественника, „усладительнейшего из писателей“, книги которого неизменно сопровождали его во всех путешествиях на Ближний Восток» («Жизнь Бунина», стр. 146; см. также настоящ. кн., стр. 191). Афоризмы Саади Бунин нередко цитировал в своих произведениях, вставлял в дарственные надписи, вписывал в альбомы друзей (Собр. соч. 1965—1967, т. 3, стр. 200, 314, 315, 333 и т. 9, стр. 234, 268).

Не владея языком оригинала, Бунин знал поэзию Саади только по переводам. Точно установить источники, которыми он пользовался, невозможно. В XIX в. Саади переводился на многие европейские языки — существует ряд английских, немецких, французских и русских переводов, сделанных в прозе. Вероятно, в распоряжении Бунина было одно из наиболее распространенных английских или французских изданий поэмы «Бустан» (H. Wilderforce Clarke. «The Bustan by shaikh Muslihn-D-Din Sa'adi Shirazi»,transl. for the first time into prose. L., 1879; G.-S. Davie. The Garden of fragrance, being a complete translation of the Bostan of Sadi. L., 1883; A.-C. Barbier de Meynard. Le Boustan ou Verger. P., 1880; на русский язык «Бустан» до 1935 г. не переводился). Другая поэма Саади — «Гулистан» — могла быть ему известна в одном из трех русских прозаических переводов, выполненных в 1850—1880-х годах («Розовый кустарник шейха Муслехеддин Саади ширазского, славный под названием Гулистан». Пер. с перс. О. Назарианца. М., 1857; «Гюлистан, сочинение Саади, перевод с персидского К. Ламборса». Одесса, 1862; «Гулистан. С персидского подлинника перевел И. Холмогоров». М., 1882). Все эти переводы не давали представления ни о метрическом строе, ни об особенностях звучания поэзии Саади.

Публикуемые стихотворения— вольные переводы фрагментов из обеих упомянутых поэм Саади — написаны во время пребывания Бунина на Ближнем Востоке — в Сирии (1907 г.) и в Турции (1913 г.). Стихотворная форма, избранная им, в известной степени

произвольна, а само содержание его переводов не всегда точно отвечает содержанию оригинала: в одних случаях притчи, составляющие содержание поэм Саади, значительно сокращены, в других — сюжет их несколько изменен и расширен, в третьих — Бунин ограничивается переводом завершающего притчу Саади афоризма, опуская содержание самой притчи.

‹Из «Бустана»›.— Газ. «Женское дело», М., 1912, № 19, 1 октября; оба фрагмента напечатаны здесь как единое целое под общим заглавием «Череп. Из „Бустана“ Саади». Воспроизведено: «Памир», 1969, № 3 (с сохранением неверной композиции первой публикации).

Вольный перевод двух фрагментов из поэмы «Бустан»: первый — притча «Отшельник и череп» (из гл. I — «О справедливости и правилах мировластия»), второй — отрывок из притчи, не имеющей названия (из гл. VI — «О воздержанности и довольстве судьбой»). Ср.: Шейх-Муслих-эд-Дин Са'ди. Бустан. М., 1935, стр. 40, 154. Вероятно, поводом обращения Бунина к сюжетам из «Бустана» послужила его поездка в Дамаск — город, где в середине XIII в. Саади писал эту поэму.

Приблизительно в одно время с Буниным сделал перевод «Черепа» А. М. Федоров («Мотив Саади» — А. Федоров. Стихи, б.м., 1908, стр. 176).

Персидская мудрость.— «Русское слово», 1913, № 224, 29 сентября.

Вольный перевод фрагментов из поэм Саади «Гулистан» и «Бустан». Фрагменты ‹1› и ‹4› находят соответствие в первой главе «Гулистана» («О жизни царей»), фрагмент ‹3› — в четвертой («О пользе молчания»), фрагменты ‹2›, ‹7›, ‹8› и ‹9› — в восьмой («О правилах общения»), фрагменты ‹5› и ‹6› соответствуют эпизодам из VIII главы «Бустана» («О благодарности за благополучие»). Ср.: Са'ди. Гулистан. М., 1959, стр. 81, 95, 148, 198, 200, 202, 215; Шейх-Муслих-эд-Дин Са'ди. Бустан. М., 1935, стр. 337).

Из этого цикла Бунин перепечатал впоследствии только заключительный фрагмент (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 357).

С ПОЛЬСКОГО

Вспоминая годы, проведенные в Полтаве, Бунин говорил о своих литературных интересах той поры: «... К этому времени относится и мое увлечение ‹...› некоторыми вещами Мицкевича, особенно его „Крымскими сонетами“, балладами, страницами из „Пана Тадеуша“: ради Мицкевича я даже учился по-польски» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 261). Тогда же был сделан перевод стихотворения Мицкевича «Новый год».

Обращение к творчеству польского поэта не было временным увлечением. Спустя десятилетие, Бунин опубликовал переводы трех его «Крымских сонетов» (1901—1902), которые впоследствии неизменно включал в свои поэтические сборники и собрания сочинений (Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 387—388). Им предшествовали переводы из А. Асныка, работа над сонетами которого была первым обращением Бунина к этой поэтической форме (там же, стр. 388—392).

АДАМ МИЦКЕВИЧ

«На Новый год».— «Орловский вестник», 1892, № 125, 14 мая.

Автограф: ГБЛ, ф. 429.1.2, л. 2—3 об. (в тетради с авторской датой «1892» на обложке); без разночтений с печатным текстом.

Датируется по автографу и публикации в «Орловском вестнике». Стихотворение «Nowy Rok» («Новый год») Мицкевич написал в келье Виленского монастыря Базилианов, куда был заключен осенью 1823 г., вместе с другими участниками польских тайных обществ филоматов и филаретов. Это единственное стихотворение, созданное им за полгода тюремного заключения; на его автографе сохранилась авторская помета: «Писал в тюрьме, 1823 года, в последний день». Замысел «Нового года» навеян эпизодом из повести Ж.-П. Рихтера «Siebentkäs», героиня которой размышляет над тем, чего она ждет от наступающего года (отсюда подзаголовок: «Mysl z Jean Paul Richtera» — «Мотив из Жан Поля Рихтера»).

На стихотворении лежит отпечаток обстоятельств, в которых оно возникло: автор знаменитых «Песен филаретов» и революционной «Оды к молодости», Мицкевич испытывает разочарование в идеалах своих друзей с их отвлеченным преклонением перед наукой и «добродетелью», с их либерально-реформаторскими устремлениями. Поэт чувствует, что перед ним стоят иные задачи, связанные с национально-освободительными целями, уже ранее заявленными им в «Дзядах» и «Гражине», но об этом, в условиях политического следствия, Мицкевич не мог говорить.

Композиция стихотворения, решенная в форме вопросов и ответов, подчеркивает основной его мотив — отказ от былых увлечений. Но этот отказ от прошлого не означает измену ему — Мицкевич остается верен прежней любви к людям, стремлению помочь им, хотя и будет «вдали» от них. Мысли о неизвестном будущем, о могильном уеди-

нении, вплетающиеся в его раздумья, не были чисто условным поэтическим образом- их подсказали реальные обстоятельства, в которых находился поэт.

Стиль стихотворения Мицкевича определяется сочетанием романтических чувст героя (мечтательность, разочарованность, одиночество) с образами и мотивами класси цистической и просветительской поэзии (влияние классицизма проявляется в срав нениях: рождение Нового года сопоставляется с Фениксом, братство друзей — с образо дерева Армиды из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», дружба олицетворен в образе богини — «дочери воображения» и т. п.).

Перевод Бунина значительно изменяет смысловую интонацию стихотворения Мицкевича, ее стилистическое выражение. Бунин подчеркивает и усиливает романтически мотивы, сознательно затушевывая классицистические и просветительские. Он вводи в свой перевод новые образы, почерпнутые из поэтики романтизма, усиливающие об щую романтическую настроенность прощания с былым. Так, например, у Мицкевича:

Chorowałem, marzyłem, latałem i spadam;
Marzyłem boską różę, bliski jej zerwania.
Zbudziłem się, sen zniknął, róży nie posiadam,
Kolce w piersiach zostały,— nie żądam kochania.—

(Я болел, мечтал, уносился и падал;
Мечтал о божественной розе, готовый ее сорвать,
Проснулся, сон исчез, розы нет,
В груди шипы остались,— не надо любви.)

У Бунина:

Я жил, любил, мечтами увлекался,
Далеко от земли меня мой сон унес,
На розы райские во сне я любовался,
Но лишь шипы достались мне от роз...
И больно мне, и сон мой миновался...
Нет, не хочу любви и не хочу я грез!

Помимо романтических образов и оборотов («Далеко от земли меня мой сон унес», «Нет, не хочу любви и не хочу я грез!») Бунин вводит многоточия и восклицания, подчеркивающие эмоциональность стиха, что также соответствует духу поэтики романтизма. Все это повлекло за собой изменение строфики — четырехстрочная строфа Мицкевича превращается в бунинском переводе в шестистрочную.

Вместе с тем просветительские мотивы, рожденные недавними политическими идеалами Мицкевича, Бунину были совершенно чужды, поэтому он опускает строки, с ними связанные, объединяя две строфы оригинала (пятую и шестую) в одну. Стремится он освободить свой перевод и от классицистических образов (так, образ дерева Армиды, очень важный для Мицкевича, у него отсутствует).

Заключительная строка стихотворения Мицкевича выражает позицию поэта, его стремление —

Любить мир, содействовать миру, вдали от людей.

Бунин дает ей свою интерпретацию:

Любить весь мир, всю красоту природы.

Он опускает характерную для Мицкевича мысль о стремлении «содействовать миру» («sprzyjać światu») и вводит собственный мотив «красоты природы», которого у Мицкевича нет. Такая интерпретация отвечает общему духу ранней поэзии Бунина, одним из самых ярких мотивов которой было преклонение перед немеркнущей красотой природы.

Итак, вольный перевод Бунина последовательно выдерживается в романтическом стиле его собственной юношеской лирики. Сохраняя основные мотивы стихотворения Мицкевича, Бунин, однако, дает им иную идейно-смысловую интерпретацию. Отсюда — изменения строфики, интонации и всей системы образов его перевода, который можно скорее трактовать как самостоятельное произведение на мотив Мицкевича, чем как перевод в полном смысле этого слова. Так рассматривал его и сам Бунин, о чем свидетельствует подзаголовок, который он дал этому стихотворению.

АДАМ АСНЫК

«Безмолвно мы простилися с тобою...» — Иван Бунин. Листопад. М., 1901, стр. 117 (под заглавием «Из А. Асныка»). Впервые: «Вестник Европы», 1894, № 6. Воспроизведено: Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 390 (по первой публикации).

Бунин дважды обращался к работе над этим переводом, вторая редакция которого значительно отличается от первой. Жертвуя буквальным совпадением с текстом оригинала, к которому он стремился первоначально, Бунин добивается точности в передаче самого поэтического образа и мысли сонета Асныка. Что же касается метрики стиха, перевод в обоих случаях отступает от оригинала: в первой редакции Бунин заменяет одиннадцатисложный стих Асныка двенадцатисложным, во второй — десятисложным, и в обоих случаях женскую рифму — мужской.

С ТАТАРСКОГО

«Из песен казанских татар».— Стихотворения 1887—1891, стр. 65—66. Воспроизведено: «Памир», 1969, № 3.

Источник этих стихов неизвестен — ни в литературе о Бунине, ни в его собственных высказываниях нет сведений о знакомстве его с татарским фольклором. Однако несомненно, что это перевод подлинных татарских народных песен. Об этом свидетельствует и содержание, и композиционно-стилистическое построение, и выразительные средства в духе устоявшейся фольклорной песенной поэтики: традиционный параллелизм поэтической строфы, специфически-песенные повторы, народная символика, риторический вопрос как традиционный элемент конструкции песенного двустишия, употребление сочетания «моя беленькая девушка» («аппак», «аппагым», т. е. «беленькая», «беляночка» — один из постоянных эпитетов в татарской народной поэзии). Характерно и упоминание такой чисто национальной детали, как воротник и края девичьего камзола, отделанные золотым или серебряным шитьем («укалы яка», «укалы итэк» — в переводе «позумент»).

Песен, буквально соответствующих переводу Бунина, обнаружить не удалось. Однако существует ряд народных песен-четверостиший, очень ему близких. Одни почти идентичны ему, другие представляют собой варианты переведенных песен. Следует отметить, что татарские народные песни часто импровизируются певцами в самом процессе исполнения, при этом происходит контаминация их, перестановка песенных компонентов, однако все они варьируются в пределах очень устойчивой фольклорной песенной поэтики. Возможно, что одну из таких импровизаций Бунину удалось услышать, причем певец смог передать ему содержание песен и на русском языке.

Перевод Бунина сделан мастерски, с сохранением всех национальных особенностей песен казанских татар (единственное отступление — разбивка строф: у Бунина восьмистишия, тогда как короткие татарские песни традиционно четырехстрочны). Естественные при переводе отступления от текста оригинала не разрушают общего духа, поэтического настроения и прелести песенного образа.

С УКРАИНСКОГО

В. ЧАЙЧЕНКО

«Воет буря, хлещут волны...».— Ив. А. Бунин. Под открытым небом. Стихотворения. Изд. «Детское чтение». М., 1898, стр. 40; под названием «Из В. Чайченко».

Перевод стихотворения «Вітер віє, плеще хвиля...» из сборника Б. Д. Грінченко «Пісни та думи». Книжка перша. Чернигов, 1895, стр. 46 (то же: В. Чайченко. Під хмарним небом. Вірши. Львов, 1893, стр. 84).

Датируется по письму Бунина Б. Д. Гринченко 16 февраля 1896 г. (см. ниже).

Василь Чайченко — псевдоним известного украинского писателя-демократа и общественного деятеля Бориса Дмитриевича Гринченко (1863—1910), творчеством которого Бунин заинтересовался в начале 1890-х годов: книги Гринченко он предполагал распространять через свой книжный магазин в Полтаве (И. Д. Бажинов. Письма И. А. Бунина Б. Д. Гринченко.—«Радянське літературознавство», 1957, № 4, стр. 134).

В начале 1896 г. Бунин задумал сделать несколько переводов из только что изданного сборника стихов Гринченко («Пісни та думи»). 16 февраля 1896 г. он писал ему: «Мне очень давно хотелось познакомиться с вами хотя письменно. Решаюсь на это теперь и, поверьте,— в силу искреннего интереса к вашему дарованию. Был бы очень рад, если бы вы прислали мне вашу последнюю книгу стихотворений. Она уже есть у меня (я хочу напечатать из нее несколько переводов — разрешите?), но мне было бы приятно получить и лично от вас ...» (там же, стр. 134). К письму прилагалась газетная вырезка (рассказ «На край света») с дарственной надписью Бунина. Посылая ее, Бунин просит извинить возможные промахи, допущенные в рассказе: «Знаю и люблю Украину пока настолько, насколько мог узнать и полюбить коренной орловец» (там же, стр. 134).

Экземпляр сборника «Под открытым небом» Бунин послал Гринченко с надписью: «Борису Дмитриевичу Гринченко в знак искреннего уважения от Ив. Бунина» (там же, стр. 132).

С ФРАНЦУЗСКОГО

Среди французских поэтов, привлекавших внимание Бунина-переводчика, первое место занимает глава парнасской школы Шарль Леконт де Лиль, шесть стихотворений которого Бунин перевел в разное время, главным образом, в 1890-е годы. Три из них вошли в Собр. соч. 1965—1967 (т. 8, стр. 383—385), остальные печатаются ниже. Реминисценции из произведений Леконт де Лиля звучат и в прозе Бунина: в рассказе «Без роду-племени» цитируются строки из стихотворения «Смерть солнца», а последней терциной из стихотворения «Усопшему поэту» Бунин закончил свои воспоминания о Чехове в их первоначальной редакции (Собр. соч. 1915, т. 6, стр. 302).

Другой поэт парнасской школы, к которому обращался Бунин,— Поль Бурже. Три стихотворения, публикуемые в настоящей книге, впервые вводят его имя в круг авторов, переводившихся Буниным.

Современная критика отмечала «тяготение» Бунина к поэтике парнасской школы, указывая вместе с тем на принципиальное отличие его поэзии от лирики парнасцев: «От большинства стихотворений Ив. Бунина, посвященных путешествиям, Востоку, его пестрым краскам, берегам Азии, Атланту, веет парнасским холодом»; однако «за внешней видимостью скрывается иное содержание ⟨...⟩ Бунин — парнасец на чужбине и стыдящийся своей нежной любви поэт — на родине»,— писал В. Львов-Рогачевский в статье «Поэма запустения (И. А. Бунин)» — «Современный мир», 1910, № 1, отд. II, стр. 31—32. Бунин отнесся к этой оценке с большим вниманием, о чем свидетельствуют его пометы на вырезке со статьей Львова-Рогачевского (ГМТ).

АЛЬФОНС ЛАМАРТИН

Умирающий христианин. — Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 8—8 об.

Перевод стихотворения «Le Chrétien mourant» из сборника Ламартина «Méditations poétiques» (см. «Oeuvres complètes de Lamartine», t. I, Paris, 1862, p. 239—240). Перевод отличается большой точностью.

ШАРЛЬ ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ

Возмездие.— Автограф: ИРЛИ, Р. 1, оп. 2, № 131. Воспроизведено: сб. «Мастера русского стихотворного перевода», кн. II, Л., 1968, стр. 155—156.

Перевод стихотворения «Le Talion» из сб.: Leconte de Lisle. Poëmes tragiques. Paris, 1884. Датируется предположительно по почерку.

Альбатрос. — «Полтавские губернские ведомости», 1895, № 117, 4 июня. Датируется по времени этой публикации. Перевод стихотворения «L'Albatros» из того же сборника.

Возможно, что с работой Бунина над этим переводом связан замысел «Праздника» (см. настоящ. кн., стр. 160—161).

Утро. — «Одесские новости», 1912, № 8680, 25 марта. Впервые: «Курьер», 1901, № 228, 10 августа (с многочисленными разночтениями).

Дата «1894» проставлена Буниным на принадлежавшем ему экземпляре «Одесских новостей» (ГМТ).

Перевод стихотворения «Dans le ciel clair rayé par l'hirondelle alerte...» из того же сборника.

ПОЛЬ БУРЖЕ

⟨Эпилог.⟩—Стихотворения, 1887—1891, стр. 60—61; под названием: «На мотив П. Бурже». Впервые: «Наблюдатель», 1891, № 4, с разночтениями, под тем же названием. Датируется по первой публикации. Вольный перевод стихотворения «Epilogue» из сборника «Oeuvres de Paul Bourget. Poësies 1872—1876». Paris, s.d.

У Средиземного моря. — «Южное обозрение», 1898, № 514, 1 июля. Автограф второго стихотворения этого цикла (первоначальная редакция): ГБЛ, ф. 429.1. 2, л. 3 об. — 4 (в тетради с авторской датой «1892»). Источник этого перевода установить не удалось.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Кошмар.— «Полтавские губ. ведомости» (часть неофициальная), 1895, № 180, 20 августа, под тем же названием (подзаголовок — «С французского»).

1. НЕЗАКОНЧЕННЫЕ СТИХИ И НАБРОСКИ

1

Снова я на перевале, в небе.
Волю дам коню,
Лягу у обрыва и на камень
Голову склоню.
Подо мной синеет бездна, море,
Мир там дик и пуст,
А на сини моря, на обрыве —
Горной розы куст.
И одна мне радость — видеть эти
Красные цветы;
От цветов темней, лиловей краски
Синей пустоты.
И одно в душе моей: за этой
Синей пустотой...

‹Набросок в записной книжке 1900 г.›

2

«Отдай!» — И шлепнулся в волну
Рогатый якорь стопудовый,
И цепь, гремя, идет ко дну,
И плавно по волне лиловой
Влечет, качает пароход —
Качаясь, на меня идет
Горбатый берег, весь курчавый
От серой зелени...

‹Из записной книжки 1910 г.›

3

В кофейнях поздние огни,
Раскрыты двери,— жарко.
Местами улица в тени,
Местами очень ярко.
Стена мечети так бела,
Как первый лист Корана,
Ночь так светла и весела,
Что кажется — все рано.

Срединой улицы пойди —
Смех, говор, папиросы —
И пробегают там и тут
Босые водоносы.
Вот свет за створчатой стеной,
Горячий запах хлеба —
А небо с жаркою луной?
Чем не пекарня небо?
А запах пыли? Сколько в нем
Ванили и навоза!

Каир. Январь 1911 г.

4

Он задремал в беседке у ст⟨ола⟩,
Склонясь щекой на высохшую р⟨уку
Вил тетиву и делал стрелы вну⟨ку⟩

⟨Сентябрь 1912 г.⟩

5

Обрыв горы. Восточный, чистый,
Прохладный ветер. Здесь волна
На скалы мечет аметисты,
Легка, прозрачна, солона.
Медуза белою звездою

⟨25—29 января 1916 г.⟩

6

Под хмурым небом, в синем море
Воздушно остров розовел.

⟨25—29 января 1916 г.⟩

7

Петух на этой церкви древней
В закрытых облаках плывет
В чудесное и неземное,
И к ангелу вечернего покоя
Могильно колокол зовет.

19.8.22

8

Я помню чистый, гулкий вход,
Я помню запах этот пряный,
Сухой, как запах мертвый сот,
Пустых гробниц гранит багряный
И золоченый сикомор —
Футляры с коконами мумий.

15.9.22

БУНИН
Фотография. Грасс, 1930-е годы
Центральный архив литературы и искусства Москва

9

Из темноты, что окружает нас,
Доходит ветер, свежий и прохладный,
Шумит в саду, шумит вокруг террас
Засохшею листвою виноградной.

Мотает ветер ветви сада ...
Осенний день, осенний сад.

10

Над скудной северной страной
Пахнула зимняя прохлада.
Полночный ветер под луной
Разносит винный запах сада.

11

Кругла и бледна, поднималась луна
За бором в полночную пору.
При мертвой луне на тяжелом коне
Бежал он по тихому бору.
Светлеет в бору, он спешит ко двору —
Не выдайте, резвые ноги!
Долины молчат, лишь копыта стучат
О корни песчаной дороги.

12

Гляжу с холма из-под седых олив
На жаркий блеск воды, на этот блеск зеркальный,
Что льется по стволам, игрив и прихотлив.

13

С песками смуглыми сравни
Меня, в браслетах и нагую,
Сандалий пыльные ремни
Целуй и жди — я затоскую,
Я мертвые глаза склоню.

14

Отвесной каменистою тропой
Сбегаю вниз над бездною безумной —
И море высится стеною голубой,
Спокойное, за чащей звонко-шумной.

15

Отлив. Душа обнажена,
Душа гола, и безобразно
Чернеет ил сырого дна.

16

Наполнила ты гроб дубовый
Могильным холодом своим.

17

Водянистой бирюзой
Светит небо в синей чаще,
Над дорогою лесной,
Черной, лужами блестящей.
В лужах черных зеркала —
Золотые переливы.

18

Листвою мелкою, лимонной
Засыпан черный путь лесной,
Осенний, сизый, обнаженный
В свинцовом небе надо мной.

19

В белой зыби облаков
Месяц ласковый осенний,
По садам вдоль берегов
Запах вянущих растений,
На другом краю Лимана —
Россыпь розовых огней
В нежной млечности тумана.

20

Многое в мире люблю. Больше всего мне любезен
Дом, где пылает очаг, в зимнюю пору, когда
Сыплет снегами Зевес ...

21

Ходит солнце осеннее низко
И молчание в поле пустом,
Против солнца дорога тугая
Полосой золотою блестит.

22

Через ели бархатно-зеленые
Светит сада желтая листва.

23

В аллее перед старым домом
Гнилая черная скамья ...
На старый лад в быту знакомом
Душа печалится моя.
Она к истоку воротилась,
Свершив далекий, долгий путь.

24

Сладкий запах горящей бумаги —
Жгу частицы души.

1—3. Парижский архив Бунина, тетрадь 1943 г. Опубликовано в 1967 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

4. Автограф: ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 10, л. 2. Лист испорчен — дальнейший текст не поддается прочтению. На том же листе (л. 2) — автограф стихотворения «Синий ворон от падали...» («Степь», Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 355) с пометой: «21.IX.12». Публикуемый отрывок датируется на основании этой даты.

5—6. Автограф: тетрадь 1915—1917 гг., стр. 84. Оба отрывка датируются по положению в этой тетради (находятся между стихами, датированными 25 и 29 января 1916 г.). Второй отрывок опубликован в 1960 г. в Нью-Йорке.

7—18. Парижский архив Бунина. Опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

19. Парижский архив Бунина. Опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

20—24. Парижский архив Бунина. Опубликовано в 1960 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

2. ИЗ РАННИХ СТИХОВ (1883 — 1900)

1

Клубился туман над землею
Густою, густой пеленой,
Когда я поутру зарею
О⟨зёрки⟩ оставил с тоской...

И северный ветер холодный
В лицо мне порывисто бил,
Когда я, закрывшись шинелью,
Оставил все то, что любил...

1883 г.

Автограф: собрание К. П. Пушешниковой, Москва.
Первое дошедшее до нас стихотворение Бунина. Отражает тягостные впечатления гимназической жизни (ср.: Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 258).

2

За Ельцом есть село,
Что О⟨зёрками⟩ звать.
На крутом берегу
Перед прудом большим,
Все любуется в нем
Старый дом наш большой.
Там отец мой родной
Меня манит рукой.
Там сестра, там мой брат,
Там все милые мне...

1884 года

Автограф: собрание К. П. Пушешниковой, Москва.
Написано под влиянием поэзии Кольцова (ср. «Хуторок»).

3 — 6

ПЕСНИ БЫЛЫХ ГОДОВ

I

Я любил сенокос,
Тихий звон острых кос
В колосистых полях
И в зеленых лугах...
Я любил над рекой
Побродить в час ночной,—
И все думы мои
Полны были любви!..

Где ж теперь эти дни,
Куда скрылись они?
Полюбил, но любовь
Уж не радует вновь.
Я бывало молюсь,
Не сводя с вас очей,
А теперь я томлюсь
Жаждой знойных ночей...

Скучно детство мое,
Золотое житье
Протекало в глуши,
В деревенской тиши.
Но молчанье ночей
И под садом ручей,
И все радости грез
Я жалею до слез...

II

То было чудное мгновенье!..
Блеснуло счастье для меня,
Когда я в сладостном волненьи
Сказал тебе: «Люблю тебя!»

Моя душа тогда просила
Восторгов, радостей, любви,
И в ожиданьи их уныло
Тянулись тихо дни мои...

Но вот случайно и украдкой
Я ручку белую пожал
И в неге трепетной и сладкой
Твои уста поцеловал.

То было чудное мгновенье.
Но сладче было для меня,
Когда я мог уж ⟨без⟩ волненья
Сказать: «Я не люблю тебя!»

III

О, согрей меня счастьем любви!
Будь мне милой и доброй сестрой!
Нелюбимого ласки твои
Оживят,— и проснусь я душой...

Как в могиле, все тёмно кругом;
Ты одна освещаешь мне путь...
О, позволь же поникнуть челом
На твою белоснежную грудь...

В час, когда меня мучит печаль
И воротится скорбь моя вновь,
Мне отдать всего сердца не жаль
За привет, за ответ, за любовь.

Еще молодо сердце мое
И, как в небе вечернем звезда,
Незабвенное личко твое
Предо мной и везде и всегда...

IV. ВЕСЕННИЕ ДУМЫ

И свежи и юны,
Отрадой полны,
Весенние думы,
Весенние сны!

Как чистые слезы
Горячей любви,
Как запахи розы,
Так сладки они...

В душе возрождают
Мечтаний рассвет
И в сердце вливают
И радость и свет.

Из стихотворений за 85 год
и за зиму 86-го года.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 20 об.— 22.

Почти весь цикл построен на реминисценциях из лирики Пушкина и его современников: первое стихотворение написано в ритме и стиле Кольцова (ср.: «Не скажу никому...», «Так и рвется душа...», «Много есть у меня...», «Я любила его...»); второе — строится на заимствованиях из пушкинского послания к А. П. Керн («Я помню чудное мгновенье...»); последнее выдержано в духе анакреонтической поэзии первой четверти XIX в. (ср., например, лицейские стихи Пушкина — «Измены», «Заздравный кубок», «Пробуждение»).

Возможно, что первые три стихотворения обращены к Е. А. Гольдман (см. о ней: «Жизнь Бунина», стр. 28).

7

ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ В ЛЕСУ

27 января 1886 года

Будто белым окутаны мехом
Спят, склонившись ветвями, березы,
Молодые дубки, как в алмазы,
Разрядили седые морозы.

И недвижно застыли все ветки
Под промерзлою, толстой корою.
Месяц полный глядит чрез их сетки
И равниной плывет голубою.

Высоко он поднялся над лесом,
Льет оттуда он света потоки,
И причудливо стелятся тени
На снегу, по сугробам глубоким.

Спят безмолвно поляны лесные,
Луг, размытый весенней водою,
Спят, покрытые саваном белым,
Снеговою вокруг пеленою.

Замело все тропинки метелью;
Чуть заметны санные дорожки,
Что под дубом, зеленою елью
Вьются змейкою вплоть до сторожки...

... Легкий треск! Меж кустами он слышен:
Чья-то быстрая тень промелькнула!..
Снова треск там за чащею дальней!..
И все снова как будто заснуло!

Замер лес!.. тишина... и ни звука!
А, быть может, за чащей, оврагом
Пробирается волк потихоньку
Осторожным таинственным шагом.

Может быть, он сейчас же присядет,
Приподнимет тупое он рыло,
И застонет далеко по лесу
Его песня протяжно, уныло!..

Жутко!.. Тени скользят голубые,—
Месяц брызжет своими лучами...
Грезы чудные в сердце всплывают
И мелькают такими ж тенями...

И фантазия живо играет,
В край иной улетаешь мечтою,
В край, где север суровый пугает
Своей хладною, чудной красою;

Где сверкает ледяное море
По ночам под роскошным сияньем;
Где так дико шумит на просторе
Ураган снеговой с завываньем...

... Тихо все!.. Под промерзлой корою
Спят, склонившись ветвями, березы.
Только треск раздается порою,—
То гуляют седые морозы!

⟨27 января 1886 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 1—2. На полях пометы Бунина: «Стихотворение послано в редакцию [„Живописного обозрения“] „Родины“ для напечатания»; «1887 г. февраль».

Впоследствии на основе этого стихотворения была создана «Крещенская ночь», которую Бунин датировал 1886—1901 гг. (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 166—167).

8

К МУЗЕ

Тебя, о Муза, чудный гений,
Богиня сладостных стихов,
Тебя, царица вдохновений,
Подруга вечная певцов,
Тебя зову! Тебя впервые
О том молить осмелюсь я,
Чтоб вдохновения живые
Не оставляли бы меня!

19 февраля ⟨1886 г.⟩

Автограф: ГМТ, 981, л. 1. Лист, вырезанный из несохранившейся тетради (сверху — авторская нумерация страницы: «1»). Год устанавливается на основании даты на одном из стихотворных фрагментов, вырезанных, судя по бумаге и почерку, из той же тетради.

9

1. Весело в поле весною бродить!
Весело взорами в небе следить,

2. Как высоко, высоко небесами
Тихо плывут облака над полями!

3. Любо глядеть на родные картины
Ржи молодой и зеленой равнины,

4. И далеко тут окинет твой взор
Милого поля родимый простор!

5. Вон там, где сшелся с землей край небес,
Юный задумался будто бы лес.

6. Дальше глава колокольни глядит,
Крест на ней ярко от солнца горит.

7. Вон по долине играет ручей.
Дальше на скатах деревья над ней;

8. Местность вдали подымается в гору;
Даль голубая открылася взору!..

9. Ласково солнце глядит, как ласкает,
Ветер тихонько лицо освежает;

10. Воздух, согретый лучами, дрожит,
Вдаль он струями, рея, бежит...

11. Вот жаворонок в выси голубой
Звонко поет о весне молодой...

12. Все пробудилось, проснулося вновь!
Все это в сердце вливает любовь!

17 апреля 1886 года.
В поле

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 3 об.— 4.
Бунин использует здесь поэтическую форму, разработанную Некрасовым (см указ. ст. Т. Г. Динесман — настоящ. том, кн. 2).

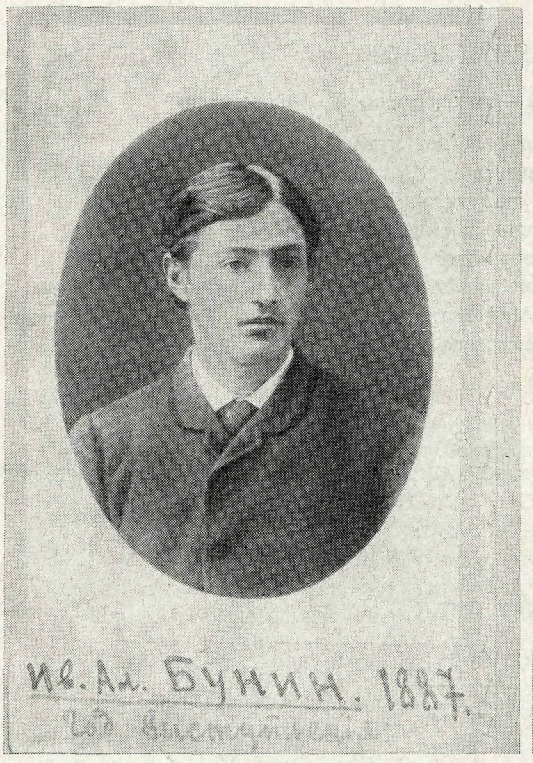
10

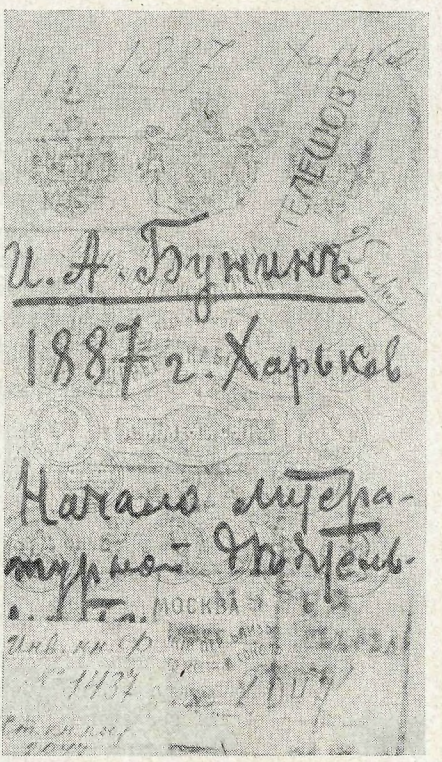
ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА

Вот снова земля убралася цветами;
Весеннее солнце природу живит,
И в новой одежде она перед нами,
Вновь жизнию дышит, растет и кипит.

Поля зеленеют и лес нарядился
Цветущей одеждой — зеленой листвой,
Веселыми песнями птиц огласился,
Зовет к себе в тень и кивает главой;

Кивает главою и шепчет: «Скорее
Приди отдохни на зеленой траве!
Смотри: здесь прохладно, дышать здесь вольнее,
Лежать хорошо на цветистом ковре!»





БУНИН

Фотография. Харьков, 1889 ⟨?⟩

Пересъемка 1912 г. с надписями Бунина внизу и на обороте: «Ив. Ал. Бунин, 1887. Год выступления»; «И. А. Бунин 1887 г. Харьков. Начало литературной деятельности» (Бунин, вероятно, ошибся в дате — впервые в Харьков он приехал в начале 1889 г.)

Литературный музей, Москва

Плывет аромат от цветов и растений;
И в сумраке майских ночей
Там, в зелени темной лиловой сирени,
Уж страстные песни поет соловей.

Далекое небо светло и прекрасно,
И вешние ярче, роскошней цветы.
Все жаждет любить и все смотрит так ясно;
Все полно младой красоты!

И все, улыбаяся, шепчет с приветом:
«Восстань! От забвенья теперь пробудись!
Душа! Озаряйся ты радостным светом!
Живи все живое! Со всем примирись!»

86 год
Май

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 2 об.— 3.

11

ВЕСЕННЕЙ НОЧЬЮ

(На мотив «Посмотри — какая мгла» Я. Полонского)

Нет! Не спится. Свет луны
Разгоняет всегда сны,
На полу скользя лучами,
Заглянув сквозь сень березы,
Пробуждает он ночами
Поэтические грезы.
Сон бежит! Мне спать невмочь
В светло-радостную ночь.

⟨Весна 1886 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 26 об.
Датируется по положению в тетради 1886 г. и по содержанию (картина весенней ночи).

12

НА НИВЕ

С середины лазурных небес
Солнце знойно лучи рассыпает;
Ни созревшую ниву, ни лес,
Ни полынь ветерок не качает.
Жар томит... Неподвижен, горяч
Воздух душный стоит над полями...
У дороги безмолвствует грач
И сверкает на солнце крылами.

А своею ржаной полосой
Косари чередой выступают;
И один за другим под косой
В ряд колосья головки склоняют.
Утомителен труд, и с лица
Пот ручьями давно уж сбегает;
Но доволен косарь и творца
Всей душою своей прославляет:
«Эка божия вкруг благодать,
Рожь стоит непроломной стеною!
Уродилася нивушка-мать:
Будем сыты ⟨мы⟩ долгой зимою».
По плечу ему тяжесть страды,
И идет он своей полосою,
И ложится кругом на ряды
Рожь под звонкою, острой косою...

А полдневное солнце печет,
Миллионы лучей рассыпает;
И небесный безоблачный свод,
И живое все жар донимает.

20 июля 86 года

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 7—7 об.

13

МУЗЫКА ВЕЧЕРА

Когда вечер румяный прозрачною
Пеленой над землей расстилается,
Жизнь смолкает дневная, тревожная,
И вечерний концерт начинается.

Вот в болоте бас цапли послышался,—
Хором вторят лягушки крикливые,
И гремят ноты те и сливаются —
Перливаются в трели тоскливые.

По межам слышно резвых кузнечиков
Меж колосьев, травы стрекотание;
Бойко перепел в поле откликнулся
На призывное самки свистание.

Из лощины росистой, темнеющей
Коростели скрип резкий доносится...
Мошек рой с звонким гулом качается —
В музыканты он жалобно просится.

А вдали, будто звон колокольчиков,
Ручейка чуть-чуть слышно журчание...
И вся музыка льется торжественно
Ночи в встречу средь мира, молчания...

86 года. Июль

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 10 об.— 11.

14

НОЧЬЮ

Ласково ночи июльской дыханье,
Мирно объемлет природу .она.
Тихо, торжественно в бледном сияньи
В купол небес выплывает луна,
Смотрит на ниву — и рожь золотится,
Смотрит на луг — и туман серебрит,
В темное зеркало пруда глядится,
Там ее лик, как хрустальный, дрожит.
Звезды в эфире горят и мерцают:
То, засветивши мирьяды огней,
Ангелы божьи обход совершают,
Сны навевая на добрых людей.

...Тихо, безмолвно все... Разве случайно
Ветер осокой порой зашуршит,
А между тем все работает тайно:
Вечно природа не дремлет, не спит.
Совы проснулися в темном овраге,
В сумрачный дол они зорко глядят...
Рыбка порой встрепенется во влаге;
Волчьи глаза на опушке горят.

При однозвучном журчаньи далеком
Из-под каменьев бегущих ручьев
Рой мотыльков на лугу на широком
Вьется, порхает меж росных цветов.
А на прибрежьи заснувшего пруда,
В сумраке с брегу склоненных ракит,
Точно зелененький блеск изумруда,
Ярко светляк меж травинок блестит.

⟨Июль 1886 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 8 об.— 9. На полях — более поздняя помета Бунина: «Поправить». Многие строки отчеркнуты и помечены знаком «NB».

Датируется по положению в тетради 1886 г. и по содержанию (картина июльской ночи).

15

Давно ль молчаливая, тихая ночь
Природу во тьме обнимала?
Давно ль? — а вот мрак разбегается прочь —
Заря в небесах засияла!

Еще так недавно, свернувшись, цветы
Дремали в росе серебристой,—
Но солнце взошло — развернулись листы
И льют аромат свой душистый;

Так ты молчалива была и грустна,
И взор твой недавно был полон слезою,—
Теперь же ты снова веселья полна,
Блистая своей красотою!

И юные годы причина тому:
В них радость сменяет печали;
Относимся в них мы легко ко всему:
Нить жизни мы только начали!..

⟨Лето 1886 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 10.

Датируется по месту автографа в этой тетради и по содержанию (картина летней природы).

16

Поэт! Когда перед тобой
Теснится звуков дивных рой,
Когда возвышенных страстей
Проснется пыл в душе твоей
И хочешь ты пересказать
Свои и чувства и мечты,—

Стремися узы с души снять,
Забудь тревоги суеты!
Восстань, проснись от тяжких снов
И все ты чувства перелей
В размер божественных стихов;
И если грусть в душе твоей,
То грудью ты вздохнешь вольней.

Ты должен силою созвучий
И песней страстною, могучей
Святое вновь всё воскрешать,
Святые чувства пробуждать!

Но если люди не поймут,
И презрен будешь ты толпой,
Твои пусть грезы не умрут
И будь ты горд своей душой.

Не для похвал, не для венца
Те звуки сладкие певца!

1886 г.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1886 г., л. 13 об.— 14.

17

ПОЭТ

Когда меня объемлет вдохновенье,
И в глубине души теснится звуков строй,
Когда она трепещет от волненья
И я в себе заслышу пробужденье
Могучих образов поэзии святой,—

Тогда я, как на крыльях, поднимаюсь
Над суетной и бедною землей,
Тогда стою высоко над толпой
И от нее далеко отделяюсь;

Тогда я сознаю, что это вдохновенье
Отгонит все, что грязно и темно,
Что эти дивные минуты просветленья
Мне пережить лишь одному дано.

16 января 1887 года

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 6—6 об.

18

К ПОРТРЕТУ А. С. ПУШКИНА

(50-й год со дня кончины)

Не надо нам перечислять
Его заслуги, дарованья;
Нам нету цели повторять
Искусства дивные созданья;

Как истый гений понимал
Он назначение поэта:
Как звонкий отзыв отвечал
На все, что требует ответа.

И, облетев весь мир мечтой,
Достигнув славы апогея,
Он пал, убитый клеветой,
К ногам ничтожного злодея...

Но в сердце родины воздвиг
Он Мавзолей нерукотворный;
И не забудет ввек позорный
Она унылый этот миг.

30 января 1887 года

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 6 об.— 7.
Воспроизведено: Гольдин, стр. 8—9.

19

УЖАСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ

Бывают тяжкие мгновенья,
Когда душа как будто спит;
Забыв все бури и волненья,
Она бесчувственно молчит;
В ней нет тогда любви сокрытой,
В ней нету злобы ядовитой,
Она забудет жар страстей
⟨И⟩нежный трепет вдохновенья,
И звук привычный песнопенья
Уже не раздается в ней;
Ее не мучают страданья,
Ее не мучает тоска,
В ней нету гордых пожеланий
И мысль о славе далека.
Душой смущенной и унылой
Не слышу Музы я полет,
И этот сон, как сон могилы,
Меня и мучит и гнетет.
И я молю творца с тоскою:
Пусть лучше мучиться, страдать,
Пусть буду я болеть душою,
Но только этим сном не спать!
Не спать тяжелым сном забвенья
С веселых юношеских дней
И, отдаваясь вдохновеньям,
Не охладеть душой своей!

4 февраля 87 года

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 1—1 об.
Стихотворение строится на реминисценциях из произведений Пушкина и Лермонтова, посвященных проблеме поэтического призвания (подробно см. указ. ст.— настоящ. том, кн. 2).

20

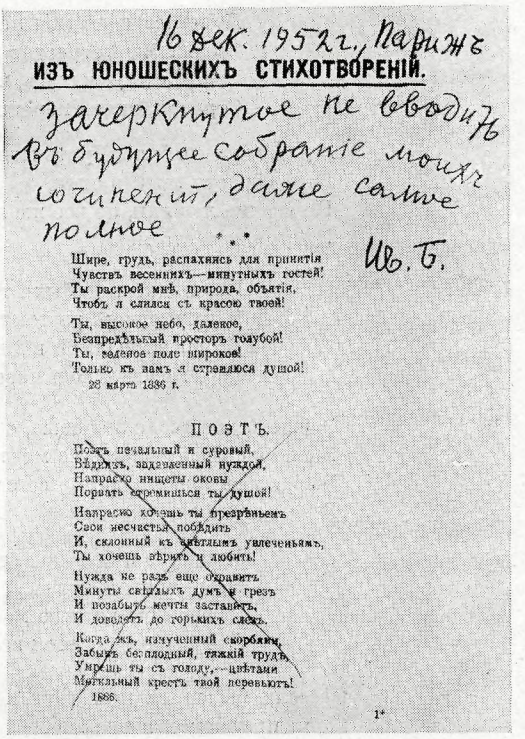
Я не могу того скрывать,
Что сердце мне давно сказало:
Я не хочу тебя ласкать,
Как я ласкал тебя бывало...
Воспоминанья о былом
Не осенят меня порою,—
Их в сердце не было моем,
Они не властны надо мною;

ПОМЕТЫ БУНИНА НА ПЕРВОМ ТОМЕ «ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ»

(Пг., 1915)

16 декабря 1952 г.

Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва



16 дек. 1952 г., Парижъ

ИЗЪ ЮНОШЕСКИХЪ СТИХОТВОРЕНІЙ.

Зачеркнутое не вводить въ будущее собраніе моихъ сочиненій, даже самое полное

Ив. Б.

* * *

Шире, грудь, распахнись для принятія
Чувствъ весеннихъ—минутныхъ гостей!
Ты раскрой мнѣ, природа, объятія,
Чтобъ я слился съ красою твоей!

Ты, высокое небо, далекое,
Безпредѣльный просторъ голубой!
Ты, зеленое поле широкое!
Только къ вамъ я стремлюся душой!

28 марта 1886 г.

ПОЭТЪ.

Поэтъ печальный и суровый,
Вѣдомъ, задавленный нуждой,
Напрасно нищеты оковы
Порвать стремишься ты душой!

Напрасно хочешь ты презрѣньемъ
Свои несчастья побѣдить
И, склонный къ свѣтлымъ увлеченьямъ,
Ты хочешь вѣрить и любить!

Нужда не разъ еще охладитъ
Минуты свѣтлыхъ думъ и грезъ
И позабыть мечты заставитъ,
И доведетъ до горькихъ слезъ.

Когда жъ, измученный скорбями,
Забывъ безплодный, тяжкій трудъ,
Умрешь ты съ голоду,—цвѣтами
Могильный крестъ твой перевьютъ!

1886.

1*

Когда у ног твоих с тоской
Я унижался пред тобою,
Ты издевалась надо мной
И насмехалась над тоскою.
<. . . . . .>
И что ж? Неужели с тех пор
В тебе проснулось сожаленье?
Ты с лаской смотришь на меня,
В тебе любовь теперь заметишь...
Но уж в моей груди огня
И прежней робости не встретишь...
Оставь меня! Не воротить
Того, что время уж умчало;
Я не могу тебя любить,
Как я любил тебя бывало!

5 февраля 1887 г.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 3 об.— 4. Часть текста (после двенадцатой строки) вырезана.

Подражание стихотворению Лермонтова «К***» («Я не унижусь пред тобою...»).

21

Забытые думы, забытые грезы,
Не гасните в сердце моем!
И все, что заснуло под жизненной прозой,
Своим разбудите лучом!

Душа молодая моя не остыла,
Желал бы я страстно любить
И все, что умчалось, что некогда было,
Страдая, опять пережить!

Я в детстве любил... Пусть меня не поняли —
Всей страсти моей и огня,
Но все же любили, но все же ласкали
И мучили часто меня;

Но сладки мне были те тайные муки,
И их поцелуй разгонял,
И образ любимой в дни горькой разлуки
Мне грезы любви навевал.

Забытое детство, с любовью, с мечтами,
Вы вновь пробудились во мне:
Бывают мгновенья, когда со слезами
Я вам отдаюся вполне;

И сладко и больно тревожить былое,
Но я оживаю тогда...
О! если бы детство мое золотое
Пред мною неслося всегда!

О! если бы снова мой друг ненаглядный
Меня приласкал в тишине,
И ночь голубая прохладой отрадной
Лицо освежила бы мне!..

...Меж зелени темной цветущей сирени
Над розой поет соловей,
И бегают тихо, причудливо тени
В овраге, где шепчет ручей.

А звезды сверкают и, где наклонились
Ветвистые ивы к водам,
Они в темной стали реки отразились
И блещут, как искорки, там.

И шепот... и клятвы... объятия... слезы...
И тихая песнь в тишине...
...Напрасные думы! Напрасные грезы!
О как они сладки все мне!

Про них я скажу: «Для чего укоризны?
Зачем же душой засыпать? —
Есть много прекрасного, светлого в жизни,
Дай бог только грязь миновать!..

Забытые думы, забытые грезы,
Не гасните в сердце моем!
Вы все, что заснуло под жизненной прозой,
Своим пробудили лучом!

13 февраля 87 года

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 4 об.— 6.

Возможно, что это стихотворение навеяно воспоминаниями об увлечении Бунина Э. В. Фехнер (см. о ней: «Жизнь Бунина», стр. 28—29, 31, 35, 38—39).

22

В венке из свежих роз я Музу увидал
Впервые в детстве над собою;
И долго я ее свирелью проиграл
И забавлял себя волшебною мечтою.

Раздался первый звук; он был и слаб и плох,
Но уж пытался выразить те слезы,
Те думы сладкие любви, страстей, тревог,
Которые навеяли мне грезы...
И долго я в мечтаньях утопал,
Их слабый стих вполне не передал...
И между тем пришла пора другая:
Действительность подкралася; она
Заставила восстать от сладостного сна
И жить заставила, действительно страдая.

Вот отчего, мой друг, теперь стихи мои
Поют не те надежды и желанья,
Вот отчего меж тенями любви
Теперь найдешь упреки и страданья.

19 февраля 1887 г.

«Родина», 1887, № 21, 24 мая, стлб. 657. Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 7 об.— 8, с незначительными разночтениями и с датой «19-го февраля 87 года»; строки 3—4 отчеркнуты, на полях помета Бунина: «Напечатано в „Родине“ в № 21-ом».

Первая строфа приведена: Г о л ь д и н, стр. 33.

В тетради 1887 г. (1) этим стихотворением открывается цикл стихов, в которых сказывается воздействие поэзии Надсона, а вместе с тем и пути его преодоления (№ 24, 33—35, 37, 58). Подробно об этом см.: настоящ. том, кн. 2, указ. ст.

23

СОНЕТ

Не забывай, мой друг, поэта,
Того, который без тебя
В размере сладкого сонета
Тебе слагает песнь, любя!

Не забывай, мой друг, поэта!
Он все мечты своей души
Тебе же шлет, далек от света
В своей незнаемой глуши!

Поверь мне, вскоре грустно станет
Тебе средь светской пустоты;
Поэт любить не перестанет,
Не измени ему лишь ты!..

И все, что в сердце задремало
И страсть, и сладкая любовь,
Что время далеко умчало,—
Все возвратит тебе он вновь!

1-го марта 1887 года

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 8 об.—9.

Это стихотворение — свидетельство того, насколько смутны были представления семнадцатилетнего Бунина о поэтических формах.

24

Мы все рабы; в холодном подземелье
Бредем мы ощупью, и чуть горит наш свет,
Мы все в цепях, мы стеснены ущельем,
Нам воли нет.—
Мы в маске; жизнь ее на всех одела
И снять ее мешает темнота,
С пеленок нам нести ее судьба велела
И воля отнята.
Толпа бредет, покорна и безмолвна,
Бредет под маскою, не ведая о ней,
Их на простор уж не выносят волны,
Ей в пристани милей.
Ее нельзя винить; хотя бы на мгновенье
Раскрыть глаза мешает темнота,
Идет, покорная, не зная назначенья,
Под бременем креста.—
И те немногие, которые желают
Увидеть день и маску эту снять,
Могучей силы на душе не обретают
Те цепи разорвать.—
Их мало так; тяжелою десницей
Их давит жизнь, и поневоле им
Пришлось сидеть, стесненными темницей,
Идти путем слепым.

3-го марта 1887 года

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 10—10 об. Воспроизведено: Гольдин стр. 51.

25 — 27

[А. В. Р — вой]

I

Солнце зашло за курганы далекие
В светлую прядь облаков,
Пахнут цветущие нивы высокие,
Свежесть плывет из лугов;

В тихую думу поля погрузилися,
Тусклая сталь на пруде
Вовсе стемнело, и низко склонилися
Листья осоки к воде.

Скоро на юго-востоке за рощею
Лунный покажется лик...
Спит уж наш хутор, и только таинственно
Шепчет в овраге родник.

II

Вечер настанет, и каждый раз образ твой
В сердце всплывает моем;
Только и дум о тебе, моя милая,
В этом затишьи глухом!

Что ж? Неужель мои думы заветные
Сердце твое не поймет?
Что ж? Неужель моя песня призывная,
Эха не встретив, замрет?

III

Спит земля, и небо, и курганы...
Одинок я... Светлым привиденьем
Ты придешь, закроешь мои раны,
Уврачуешь грусть, отгонишь все сомненья.

Я давно с тобою не видался,
С той поры, как лето улетело,
Я давно, мой ангел, дожидался
Рассказать тебе, что в сердце накипело!

Неужель теперь насмешкою ты встретишь
Взгляд мой, полный страсти, обожанья?
Неужель теперь ты вовсе не заметишь
Песни, полные любовного страданья?

⟨1886 — весна 1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (1), л. 11—11 об.

Первое звено цикла связывается со стихотворением «Месяц задумчивый, полночь глубокая...» (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 55); по-видимому, первоначально они составляли единое целое.

Датируется по месту автографа в тетради 1887 г.

На л. 11 сверху зачеркнуто посвящение: «А. В. Р—вой». Александра Владимировна (Саша) Резвая — ученица Елецкой гимназии, дочь помещика, соседа Буниных, гостившая однажды летом у Рышковых в Озерках. «Ваню она пронзила, он не мог наглядеться на нее, но восхищался ею издали, она относилась к нему, как к маленькому» («Жизнь Бунина», стр. 202). Сохранились еще два стихотворения, посвященных ей в 1887 г. (ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 9—11; «Опыты», собрание В. Г. Лидина). Под впечатлением известия о смерти Саши Резвой возникло, по свидетельству самого Бунина, стихотворение «Псалтирь», написанное 10 февраля 1916 г. (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 399, 569—570).

28

Один стою я в поле над межой;
Вокруг меня раскинулася нива...
И ум мой создает твой образ дорогой
Повсюду явственно и живо.

Закат горит вечернею зарей;
И вспомнил я, как ты зарей бывало
В деревне по лугу зеленому со мной
Веселая и милая гуляла.

Гляжу на юг в туманную я даль;
Там в городе сидишь ты над рекою...
Я вспомнил прошлое... и прошлого не жаль —
Я жду опять свидания с тобою.

Но не могу забыть лишь одного,—
Мне ревность сердце тихо, тихо гложет,
И «сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может»...

31 марта 87 года

Автограф: «Опыты», собрание В. Г. Лидина, Москва.

Воспроизведено: «Юность», 1958, № 1.

Заключительные строки — цитата из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии...» О воздействии Пушкина на раннюю лирику Бунина см. настоящ. том, кн. 2, указ. ст.

29

ИЗ ВЕСЕННИХ ПЕСЕН

Под наплывом горячих, весенних лучей
Тонкий пар от земли подымается,
Слышны в поле веселые крики грачей,
Жаворонок в выси заливается.

Так и тянет в простор, где стоит, как эмаль,
Воздух влажный вдали над лощиною,
Полетел бы туда в эту синюю даль,
Насладился б весенней картиною!

Но стоит, будто ночь, нищета позади
И толкает к труду и к мучениям...
Ах! Каб воля да счастье встречались в пути,—
Весь отдался б любви, наслаждениям!

Ведь под действием теплых, весенних лучей
Тонкий пар от земли подымается,
Слышны в поле веселые крики грачей,
Жаворонок в выси заливается...

1 апреля
87 года

Автограф: «Опыты», собрание В. Г. Лидина, Москва.
Воспроизведено: «Юность», 1958, № 1.
Подражание стихотворению Никитина «Утро».

30

ПАРУС

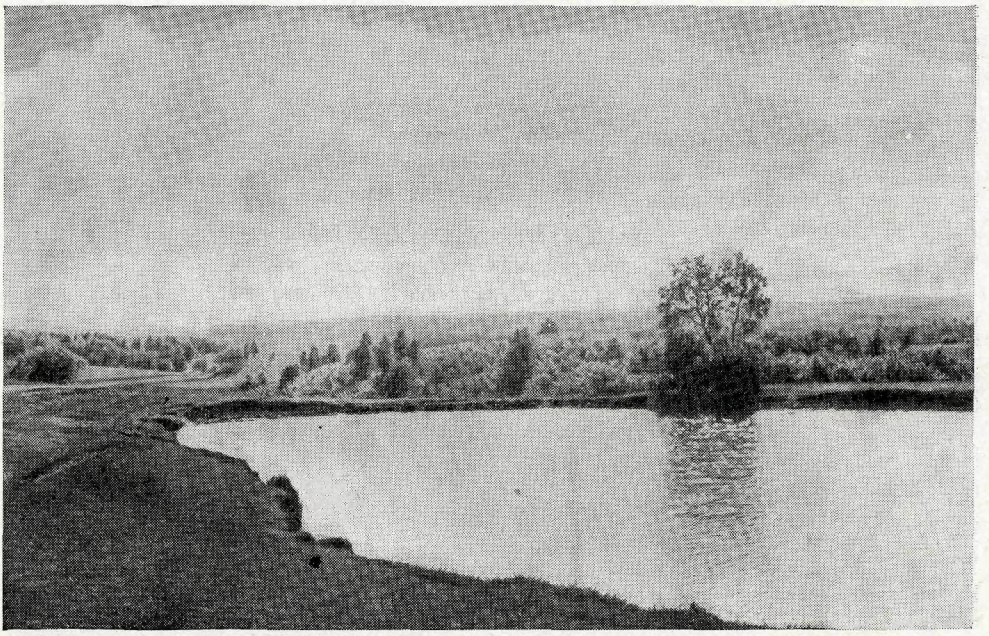
Светлое небо меж тучек синеет,
Тучи бегут по небесной лазури;
Парус над бездной морскою белеет,
Борется гордо с порывами бури.

Но беспросветная ночь наступила,
Солнце и небо во мраке сокрылось;
Ветер бушует и бьется с ветрилом,
Буря ударила — мачта свалилась.

Ночь наступила... Надежда пропала; —
Тонет ладья, наполняясь водою...
Буря затихла, гроза замолчала; —
Парус не виден над бездной морскою...

1 апреля 87 года

Автограф: «Опыты», собрание В. Г. Лидина, Москва.
Воспроизведено: «Юность», 1958, № 1.
Это стихотворение — поэтическая реплика на «Парус» Лермонтова. Подробно об этом, а также о воздействии Лермонтова на раннюю лирику Бунина см. настоящ. том, кн. 2, указ. ст.



НА ОРЛОВЩИНЕ
Фотография В. С. Молчанова, 1960-е годы

31

На воды сонные туман неясный лег;
Вечерняя звезда на запад выплывает...
Над прудом я сижу... Ни дум и ни тревог...
Душа моя светла и сладко отдыхает;
Но я не сплю,— душа моя не спит;
В ней нету лишь страстей иль тягостной печали.

В природе тихо все; заснув, земля молчит,
Как все мои волненья замолчали.
Царит в душе отрада и покой,
Который дорог так средь шума нашей жизни;
Ведь завтра, может быть, вернет мне свет дневной
Опять тревоги, думы, укоризны...

Уже погас пурпуровый закат,
Глядяся в зеркало темнеющего пруда;
И луг, и темный лес ночною мглой объят,
И веет свежестью пахучею оттуда;
Не движется ни ветка камыша...
И сердце мне тихонько повторяет:
«Есть сладкие часы, в которые душа
Не любит, не клянет, но сладко отдыхает».

87 года. Апреля 14-го

Автограф: «Опыты», собрание В. Г. Лидина, Москва.
Воспроизведено: «Юность», 1958, № 1.
Написано под влиянием стихотворения Пушкина «На холмах Грузии...» О роли Пушкина в творческом развитии Бунина см. настоящ. том, кн. 2, указ. ст.

32
МАЙСКОЙ НОЧЬЮ

В белых полосах тумана
Ходят белые виденья...
— Это призраки ночные,
Это сон воображенья...

Теплой влагой ароматной
Дышит дальний луг поемный;
По наклону косогора
Дремлет лес под шапкой темной;

Он молчит. Но лишь дыханье
Затаишь — и сердце слышит,
Будто кто-то меж деревьев
Тихо шепчет, тихо дышит.

А в оврагах и лощинах
Тишина стоит глухая;
И на каждом бугорочке
Ночь весенняя немая...

И все образы и звуки
Эти шорохи, виденья —
Только призраки ночные
Иль игра воображенья...

⟨Май⟩ 87 год

Автограф: «Опыты», собрание В. Г. Лидина, Москва.
Воспроизведено: «Юность», 1958, № 1.

Основание для уточнения датировки этого и ряда последующих стихотворений (см. № 42—47 настоящ. публикации) дает рассказ Бунина о том, что наполняло его жизнь в Озёрках летом 1887 г.: «Писал и читал я в то лето особенно много, а чтобы ничто не мешало мне в этом и с целью „наблюдения таинственной ночной жизни“ месяца на два прекратил ночной сон, спал только днем» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 260). Воспоминания об этих ночах отразились в «Жизни Арсеньева»: «Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи: что же это такое и что с этим делать! Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что же было тогда, когда все это было внове...» (там же, т. 6, стр. 120). Картины летних ночей в этом романе (там же, стр. 119, 120—121, 130—131) находят почти буквальное соответствие во многих из публикуемых стихотворений Бунина (см. № 42—44, 46, 47 настоящ. публикации).

33

Не шумный бал, увенчанный цветами,
Не блеск и пестроту столичной суеты
В часы бессонницы весенними ночами
Мне рисовали грезы и мечты...

Нет, в невозвратные, младенческие годы
Я жизнью жил иной, мечтал я о другом,—
Я думал, что среди родимой мне природы
Я буду мирно жить, идти своим путем.

Я в душном городе за школьными стенами
Томился и страдал и жаждал поскорей
Вернуться в старый сад над тихими лугами,
Вернуться на простор знакомых мне полей...

Но грезам не дала судьба осуществиться
И осмеяла их ... Быть может, навсегда
Придется скоро мне с полями распроститься
И жизнь свою влачить под тяжестью труда.

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

«Родина», 1887, № 30, 26 июля, стлб. 933.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 1—1 об., без разночтений; на полях пометы Бунина: «Послано»; «Напечатано в журнале „Родина" в № 30-м за 87 г.». Третья строфа воспроизведена: Г о л ь д и н, стр. 6.

Отклик на стихотворение Надсона «Грезы» (см. настоящ. том, кн. 2, указ. ст.).

Датируется по времени выхода первого посмертного издания «Стихотворений» Надсона (М., 1887), по которому в конце мая или в начале июня 1887 г. Бунин впервые серьезно познакомился с творчеством этого поэта (см. «Жизнь Бунина», стр. 43; Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 123).

34

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Как долго не гаснет закат золотистый! —
Давно уже полночь царит на полях,
А свет от зари полосою огнистой
Еще не погас и лежит в облаках...
Но летняя ночь коротка — заалеет
Край неба опять и умчится она,
Едва только запад потухнуть успеет,
И в небе взойдет молодая луна...

Не хочется спать.. Я в молчании ночи
Рассвета дождусь... Мне мерещатся вновь
И русые кудри, и женские очи,
А в сердце опять — и печаль, и любовь!
Я радостно чую свое пробужденье,—
Мне тяжко дремать, холодея душой!..
Теперь я хочу пережить треволненья,
Чтоб жить,— не томиться бесплодной тоской.

За слово привета, за добрые речи,
Согретые жаром горячей любви,
За лунные ночи и тайные встречи
Забуду печали и скорби мои!..
Те скорби мне сердце вконец истомили,
Томила нужда беспросветной тоской,
В душе молодой все порывы застыли,
И жаждал я счастья до боли порой!..

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

«Родина», 1887, № 29, 19 июля, стлб. 902.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 1 об.— 2, с незначительными разночтениями в стр. 12 и 24; на полях пометы Бунина: «Напечатано в журн. „Родина" в № 29-м».

Датируется на том же основании, как и № 33.

35

Ночь тиха... Голубые зарницы
Над заснувшей землею трепещут;
Бесконечных светил вереницы
В синем небе задумчиво блещут...

А с бесчувственных клавиш рояли
Льются страстные, грустные звуки;
Много в них и любви и печали,
Задушевной и искренней муки;
Как забытые детские сказки,
Воскресает в напевах былое,—
Ночи вешние, первые ласки...
И опять на душе нет покоя!
И опять после долгой разлуки
Сердце трепетно, радостно бьется...
Пусть же песня печали и муки
Больше в сумраке ночи не льется!

Что грядущего, друг мой, бояться,
Если юностью искрятся очи? —
Надо верить, любить, наслаждаться
В эти теплые, тихие, ночи!..

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

«Родина», 1887, № 27, 5 июля, стлб. 848.
Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 2—2 об., с незначительным разночтением в стр. 14; на полях пометы: «Послано»; «Напечатано в журнале „Родина“ в № 27».
Датируется на том же основании, как и № 33 и 34.

36

О, если б ты знала, с какою тоскою
Всегда вспоминаю я прошлые дни,
И ласки, и встречи вечерней зарею,
Палящие полдни над сонной рекою,
В саду, меж березок, в прохладной тени!
Качели высокие в чаще садовой,
Веселые звуки веселых речей
И сумрак и сырость в аллее сосновой,
В безмолвии лунных и тихих ночей!

Те дни невозвратно теперь улетели,
Теперь ничего уж из них не вернешь,
Теперь одиноко без чувства, без цели
До гроба спокойно и тихо дойдешь.
Исчезнет любовь, беспощадные годы
Последние чувства в тебе охладят,—
Забудешь всю прелесть вечерней природы,
Речные спокойные, светлые воды
И с темной аллеей развесистый сад...

А помнишь? — Светало... Все утром дышало,
Восток золотился над сонной землей;
О, как мое сердце в тот миг задрожало,
Когда ты украдкой мне руку пожала,
Упавши на грудь головой!..
Теперь мы навеки расстались с тобою,
И нету на сердце уж прежней любви,
Но если б ты знала, с какою тоскою
Всегда вспоминаю я прошлые дни!

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 5—5 об.
Возможно, обращено к Э. В. Фехнер (см. о ней в примеч. к № 21).

37

Нет, не мани меня на шумное веселье,
Задумчив и угрюм я становлюся там;
Мне чужды радости блестящего безделья,—
Я с детских лет привык к равнинам да полям.

Мне будет тесен зал высокий, и ответа
Себе ни в чем мои желанья не найдут...
Где без конца поля, где взору нет запрета,
Там я спокойнее, и легче дышит грудь.

Моя стихия — степь, привольная, родная,
Кудрявый темный лес, скрывающийся вдаль,
Где соловей поет, всю ночь не умолкая,
И искрится в лучах широкой речки сталь...

Меня и на груди природы обнимает
Заветная печаль о том, что воли нет,
О том, что счастья луч меня не приласкает,
И редко от кого услышу я привет.

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 5 об — 6.
Датируется на том же основании, как № 33—35.

38

В ГЛУШИ

Тишина... Только шепчутся нивы
Да кукушка кукует вдали;
Только вихри порою игриво
Пробегают в дорожной пыли...

Дальний шум городов многолюдных
В эту глушь никогда не зайдет,—
Много лет здесь, на лоне природы
Крепко спит православный народ...

Тишина... Уголок молчаливый
Приютился в раздолье полей
И лишь шепчут безбрежные нивы
Да поет вдалеке соловей...

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

«Родина», 1887, № 28, 12 июля, стлб. 875.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 2 об.— 3. На полях помета Бунина: «Напечатано в „Родине“ в № 28-м».

В тексте «Родины» опечатка в строке 4; исправляется по автографу (других разночтений нет).

Датируется по месту автографа в тетради 1887 г., по содержанию и времени публикации в «Родине».

39

ИЗ ДНЕВНИКА

Я уже давно люблю... Ни годы, ни разлука
Затмить в душе твой образ не могли,
Хоть на нее, быть может, скорбь и мука
Тяжелым, мрачным пологом легли.
По-прежнему с тоской разбитых упований,
Но и с любовью на тебя гляжу
И все же каждый раз счастливым ухожу,
Наполнен счастием и трепетом свиданий.

Последний раз пишу! В душе ⟨1 нрзб.⟩
Я счастья долго ждал и жаждал много лет,
И неужель опять ты взглянешь строго *
И не поймешь души тяжелый грустный бред?
О, если бы стихов задумчивое пенье
В твоей душе могло бы пробудить
Раздумье о былом, о прошлом сожаленье,—
Тогда бы ты могла былое воротить! **

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 3—3 об.

Датируется по месту автографа в тетради 1887 г.

Автограф поврежден — окончание строки 9-й, а также последней строки в приписке Бунина не читаются.

Переработка, которой подверглась вторая строфа, сделана в подражание «Посвящению» к поэме Лермонтова «Демон». Об этом, а также о роли Лермонтова в творческом развитии Бунина см. настоящ. том, кн. 2, указ. ст.

40

БЕЛЫЕ ТУМАНЫ

Белые туманы
Стелятся вдали;
Тени рощи темной
На реку легли.

Высоко стемнели
В небе облака;
Скоро ночь... Но в сердце
Прежняя тоска!

Все, что днем томило,
Чем душа болит,
В тишине глубокой
Предо мной стоит...

---

* Описка. Написано: «строго взглянешь», надо «взглянешь строго» (*Примечание Бунина.*)

** Прежде была написана 2-я строфа так:

Не упрекай меня за то, что боязливо
Я от тебя любви взаимной не просил.
Хоть ты меня могла заставить быть счастливым,
Хоть я тобой одной в минуты горя жил...
Но опасался я, чтоб ты из сожаленья
Не вздумала меня обманом утешать
Тогда бы, может быть, и скорби, и мученья
Еще сильней ⟨3 нрзб.⟩

(*Примечание Бунина.*)

Завтра вновь туманы
Унесутся вдаль...
Но едва ли стихнет
На сердце печаль!..

⟨Май— июнь 1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 4 об. — 5.
Датируется по месту автографа в тетради 1887 г. и по содержанию.

41

Горяч весенний день... В истоме спит река
Меж зарослей густых и блеклой осокою...
Все дремлет и молчит... В лазури облака
Чуть движутся в лучах сребристою волною...
«Забудь свою печаль!» — мне кто-то говорит;
«Ты молод»,— шепчет всё незримыми устами...
И я бы рад забыть! Но предо мной стоит
Сознание, что лето пролетит,
И будет осень вновь с тоскливыми ночами...

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 7 об. Датируется по положению автографа в тетради 1887 г.

42

Дрожат в темном озере звездные очи,
Дрожат и сияют то кротко, то ярко;
Безмолвны, таинственны лунные ночи
В таинственных чащах старинного парка.
Повисли мосты над зеркальной водою,
Светлеют тропинки в далеких аллеях...
И тополи только высокой стеною
Стоят у балкона, безмолвно темнея...

Забытые думы, забытые грезы!..
Я дома опять, но брожу одиноко,
Все так же здесь юны душистые розы,
Но счастье мое улетело далеко;
Не слышно из окон аккордов рояли,
И дом, словно храм позабытый, белеет...
Таинственно в парке... И страшны мне стали
Его вековые, немые аллеи...

⟨Май — июнь⟩ 1887 г.

Стихотворения 1887—1891, стр. 30.
Основание для уточнения датировки см. в примеч. к № 32. Там же см. о соотношении этого и других стихотворений 1887 года с «Жизнью Арсеньева».

43

Я глядел, как луна поднялась над горой
И как запад бледнел постепенно...
И как красный огонь загорелся звездой
У тебя на окне — и мгновенно
Полосой отразился в недвижном пруде,
Там, где свет от зари полосами,
Не погаснув, лежал на спокойной воде,
Где лозины склонялись ветвями...

И печалью, томящею грустью, тоской
Мое сердце мучительно сжалось.
Не любовь уж владела усталой душой,
Нет, проклятье в душе лишь осталось!
Но проклятья тебе — произнесть я не мог...
Отчего? Не найдется ответа...
Я ушел и на жесткое ложе порывисто лег
И проплакал всю ночь до рассвета...

⟨Май — июнь⟩ 1887 г.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 (2), л. 8.
Датируется по месту автографа в тетради 1887 г.
Возможно, что в этом стихотворении отразилось увлечение Бунина Сашей Резвой (см. примеч. к № 25—27). Связывается оно и с «Жизнью Арсеньева» (ср.: Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 131). О соотношении стихов, написанных летом 1887 г., с этим романом см. в примеч. к № 32.

44

Я поздно лег вчера... Да как и задремать
В такие теплые и месячные ночи?
И лето и весна вернулися опять,
И не любить опять нет силы и нет мочи!..
Весна была везде: и в воздухе садов,
И в песнях соловьев, гремящих за рекою,
И в утреннем дыхании лесов,
И в шуме ручейков в лощине, под горою...
В природе так давно заведено,
И каждый оживет с теплом весны душою;
Но тот погиб, кому осуждено
Отвергнуть все мечты и красоту весною!

⟨Май — июнь 1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 8—8 об.
Датируется по положению в тетради 1887 года и по содержанию (картина весенней природы). О соотношении этого и других стихотворений 1887 года с романом «Жизнь Арсеньева» см. в примеч. к № 32.

45 — 47
ЛЕТНИЕ ПЕСНИ

I

Не цветов бирюзовые глазки,
    Не одетые в зелень поля,
Не весенние нежные ласки
    Оживляют весною меня!

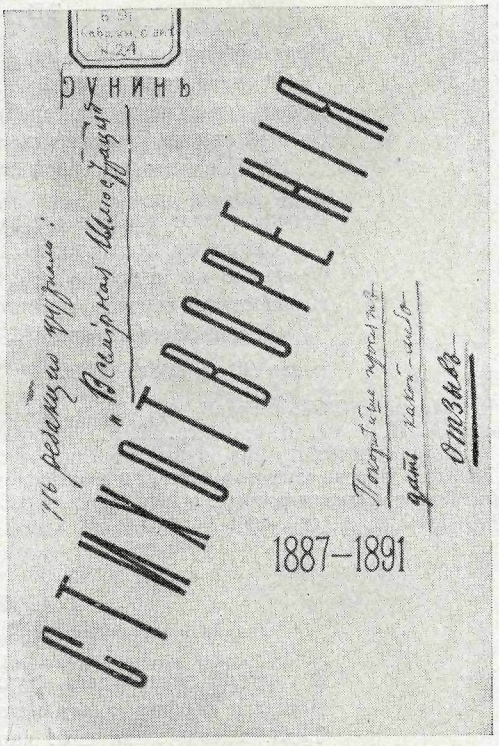
Я природу люблю всей душою;
    Но порою от этих скорбей
До того истомишься тоскою,—
    Что природа бессильна пред ней...

И не вешние, нежные ласки,
    Не одетые в зелень поля, —
Милый друг! твои милые глазки
    Оживляют весною меня!..

ПЕРВЫЙ СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ БУНИНА
(Орел, 1891)

Обложка с надписью Бунина: «В редакцию журнала „Всемирная Иллюстрация". Покорнейше просят дать какой-либо отзыв»

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград



II

Месяц светит на сад и на воду кладет
Голубые широкие тени...
То затихнет, то снова звончей запоет
Соловей над цветами сирени.

Серебристая ночь и тиха, и тепла,
И далеких туманов завеса
Легкой дымкой от самой деревни легла
До опушки росистого леса...

Догорает свеча у меня на столе:
Уронил я перо и поник головою,
Слышу шепот дерев в голубой полумгле,
Слышу плачет рояль за стеною...

И из сада, с прудов и из чащи густой
Веет чем-то таинственным, нежным...
Наполняется сердце блаженной тоской,
Чувством трепетным, сладким, мятежным.

Смотрит влажная, лунная ночь на балкон,
И плывут ароматы широко;
Месяц светит, весь в звездах горит небосклон,
Отражаясь в затоне глубоком.

III

Ночь побледнела, и месяц садится
В синей дали за рекой;
Белый туман на лугах серебрится,
Сонный камыш начинает дымиться,
Небо залито янтарной зарей...

Весело солнце взойдет над землею
Скоро из леса опять...
О, если б мог я всегда не с тоскою,
С радостным сердцем и чистой душою
Летние зори встречать!..

Июль 20-го числа 87 г.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 (2), л. 13—14. Второе стихотворение цикла см. также: ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 11, л. 1 (без разночтений).

Второе стихотворение связывает цикл с романом «Жизнь Арсеньева» (см. примеч. к № 32). Третье стихотворение, полностью его переработав, Бунин включил в сборник «Под открытым небом», а затем ввел в собрания своих сочинений (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 59).

48

В ЛЕСУ

(Отрывок)

В горячий летний день, лучами накаленный,
Вошел я в рощу, зноем истомленный,
Туда, в чащу́, где спит дерев шатер,
Где все в истоме тихо и безмолвно,
И бросился, как в дремлющие волны,
В тени на расцветающий ковер...

Как хорошо! Стоят передо мною
Орешники зеленою, прозрачною стеною
И хороводами березы между них,
Вдали, сплетаясь пологом ⟨тенистым⟩*,
Чернеют ветви ясеней ветвистых
И статные стволы березок молодых.

Прохлада и покой! Ручей звенит в овраге.
И ивы белою листвой рисуются во влаге,
И теплый ветерок струится на цветах,
Качая ветви тростников прибрежных,
Несет он аромат лесных фиалок нежных
И серебристый свист малиновок в кустах...

А там вверху плывут, проходят мимо
В лазури тучки золотистым дымом
⟨С⟩румяными краями, как виссон,
Плывут в лучах воздушною пустыней,—
И надо всем повис далекий купол синий,
Широкий необъятный небосклон...

⟨Лето 1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 14 об.— 15.

Датируется по месту автографа в тетради 1887 г. (2) и по содержанию (картина летней природы).

---

* *У Бунина*: тесным.— *Ред.*

49

О, если б жизнь моя спокойно, безмятежно,
Без горя и тоски текла среди полей;
Чтоб здесь, в глухой степи, широкой и безбрежной,
Я привыкал любить и веровать в людей;

Чтоб здесь я почерпнул для честной жизни силы,
Пока не истомлен тревогой суеты,
Чтоб мог припоминать с улыбкой до могилы
И первую любовь, и первые мечты;

Простор раздольных нив, высоких, колосистых,
Безмолвие и сон в тени родных лесов,
И блеск румяных зорь, и теплых, и росистых,
И тишину ночей, и песни соловьев!..

Авг., ночь на 20-ое ⟨1887 г.⟩

«Родина», 1887, 1 октября, № 41, стлб. 1296. Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 17 об.; разночтения в стр. 11 и 12, помета: «Напечатано в жур. „Родина“ (№ 41-й)»

50

Он говорил в тоске тревожной,
Томясь в сомненьях с юных лет:
— «Ужели в мире все ничтожно,
Ужели в жизни цели нет?

Ужель бесплодно, как в пустыне,
Я загублю свои мечты?
Где на земле царит святыня,
Где гений вечной красоты?»

Природа сладостно дремала...
Но вдруг, забыв свою печаль,
Его душа затрепетала
И просветлел очей хрусталь!

Внезапно в чаще ароматной
И в дальнем небе голубом
Он услыхал укор невнятный:
«Безумец, погляди кругом!»

Авг., ночь на 21-ое ⟨1887 г.⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 18. Год устанавливается по положению автографа в этой тетради.

Строка восьмая — реминисценция из Пушкина. Ср.: «Как гений чистой красоты» («Я помню чудное мгновенье...»).

51

ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

Скоро сбудутся сомненья,
Дни промчатся чередой,
И на век без сожаленья
Вы проститеся со мной...
Миг разлуки, миг прощанья
Не заставит вас грустить
И надежды на свиданье
Вас не будут тяготить...

Вы не скажете ни слова...
Но когда чрез много лет
С грустью вспомните вы снова
То, чего уж в жизни нет,
То, что счастье вам сулило,
Что сияло вам звездой,—
Пожалейте, друг мой милый,
Грезы юности былой!..

Сохраните от забвенья
От насмешки, от страстей
Молодые увлеченья
Невозвратных прежних дней!
Пусть на миг хотя порою
Станет жаль того вам вновь,
Кто любил вас всей душою,
Но скрывал свою любовь...

И ваш образ незабвенный
Будет вдвое мне милей,
Будет радостью мгновенной
В жизни пасмурной моей;
Убаюканный мечтами,
Унесусь я в мир иной,
Где сияют перед нами
Грезы юности былой...

⟨Лето 1887 г.⟩

«Родина», 1888, № 12, 20 марта, стлб. 312.

Датируется предположительно по содержанию: тайная любовь поэта, скрывающего свое чувство, связывается с увлечением, которое Бунин пережил летом 1887 г., встретив девочку-гимназистку, гостившую у соседей по имению. Он не был с нею знаком, но «писал ей стихи, о чем она и понятия не имела» («Жизнь Бунина», стр. 44).

52

ВОСПОМИНАНИЕ

Раскинулось поле равниной безбрежной,
Покрытое серым, холодным ковром...
Одни облака чередой белоснежной
Плывут, колыхаясь, над тихим селом.

Все мертво, пустынно. Лишь ветер сердитый
По пашням поблекшие листья кружит...
Все скукой томит в деревушке забытой,
Но все о былом говорит...

О, если б ты знала, с какою тоскою
Всегда вспоминаю я прошлые дни!
И ласки, и встречи вечерней зарею,
И жаркие полдни в прохладной тени...

Качели высокие в чаще садовой,
Веселые звуки веселых речей;
И сумрак, и сырость в аллее сосновой
В безмолвии лунных ночей!..

⟨Осень 1887 г.⟩

«Родина», 1887, № 49, 6 декабря, стлб. 1551. Датируется по содержанию (картина осенней природы) и по времени публикации в «Родине».

Две последние строфы заимствованы из более раннего стихотворения (№ 36).

53

Окутано небо ненастною мглою...
Тяжелые тучи печальной грядою
Угрюмо над полем стоят...
Дождливая ночь холодна и туманна,
И в сумерке как-то — и глухо, и странно
За окнами липы шумят...

Шумит непогода. До света далеко...
Печалью невольной, печалью глубокой
Болит истомленная грудь;
Тоскливые думы, как тени ночные,
Тревожат и мучают раны больные,
Мешают забыться, уснуть!..

Утешиться нечем... Нет в будущность веры...
А прошлое?.. Жалки, и скучны, и серы
Прошедшие годы мои...
Душа, как монах молодой в своей келье,
Томится унылою жизнью безделья
Без дружбы, без света, любви...

Пугливо глядят утомленные очи
Во мрак и ненастье осенней полночи.
Ночь тихо плывет над землей.
На завтра опять те же дрязги, невзгоды...
«А годы уходят, все лучшие годы»,—
Невольно воскликнешь с тоской.

⟨1887⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 17—17 об. Датируется по месту автографа в тетради 1887 г. «А годы уходят, все лучшие годы» — неточная цитата из стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно...».

54

Не томись бесплодно думою тяжелой!
Знаю, истомили молодую грудь
Злоба и печали жизни невеселой,
Но, коль хватит силы, злобу позабудь!
В нашей жизни нету ни любви, ни света...
Оглянись — ты молод, а уж изнемог,
Оттого, что даже на заре расцвета
Пересилить дрязги и тоски не мог!
Опустил ты руки в грусти малодушной
И решил угрюмо позабыть мечты...
Неужель с толпою злобной и бездушной
До могил бесцельно доберешься ты?
Нет, затем и гибнут молодые силы,
Что любви в них нету, искренности нет,
Оттого и песни тягостно-унылы,
Что не слышен в песнях радостный привет.
Ведь затем и бури небо посылает,
Чтоб застой мертвящий жизни всколыхнуть,
Чтоб, когда приветно солнце засияет,
Мы добрей, свежее совершали путь...

⟨1887⟩

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 15 об.— 16.
Датируется по месту автографа в этой тетради.

55

В душной избе под напевы метели
В сумраке слышится скрип колыбели;
Движется дымное пламя лучины,
Странно сереют в углах паутины,
Тени шагают за ним по избе...
Ветер поет монотонно в трубе...

Стихнет. Порыв снежной бури промчится...
Белый свет месяца в окна глядится,
Длинной полоской ложится на хорах,
Мерзлые стекла в волшебных узорах...
Глянешь,— и мнится: сквозь сучья берез
Смотрит, к окошку прильнувши, Мороз...

Чудится, кто-то по сенцам шагает;
Каждая тень на полатях пугает...
— Дедушка, страшно! — Горячей рукою
Дедушка крестит с молитвой святою,
Слышится шепот его по избе...
Ветер опять завывает в трубе...
Красным огнем озарив паутины,
На пол упала и стухла лучина,
Копоть ползет по стене, как волокна...
Зимняя полночь сереется в окна...
Жутко и тихо в стемневшей избе...
Ветер поет монотонно в трубе.

87 г.

Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 10 об.— 11 (с незаконченной авторской правкой).

Первая строфа воспроизведена: Г о л ь д и н, стр. 12—13.

Написано под воздействием поэзии Некрасова. О влиянии Некрасова на раннюю лирику Бунина см. настоящ. том, кн. 2, указ. ст.

56

«Прочь тоскливые думы!» — вот светлый девиз
Для того, кто решился трудиться,
Для всех тех, что за трудное дело взялись,
Чтобы радостной цели добиться!..

Пусть сырая, холодная бурная мгла
Свет застлала лазури беззвездной,—
Не бросай малодушно и робко весла
И до утра носися над бездной!..

⟨1887⟩

Автограф: тетрадь 1887 г. (2), л. 7 об. Датируется по месту автографа в тетради

57

ПРИ РАЗЛУКЕ

Ненастные дни и туманные ночи...
Здесь нечем потешить усталые очи...
Глухой и заброшенный край...
Стою напоследок над полем безбрежным,
Окутанным зимним ковром белоснежным,
И думаю с грустью: «прощай!..»

Пускай оно серо и бедно, и скучно!
Но с самого детства я с ним неразлучно
Был должен и жить, и страдать.
Глядишь поневоле на нивы смущенно
И им при разлуке с тоской затаенной
«Простите!» — нельзя не сказать.

Быть может, в грядущем мне горе таится
И буду действительно жизнью томиться
И рваться в родные поля...
Тогда, после бурь и страданий мятежных,
В затишье полей и курганов безбрежных
Тогда-то примите меня!

⟨Конец 1887 г.⟩

«Родина», 1888, № 14, 3 апреля, стлб. 371. Автограф: ГМТ, тетрадь 1887 г. (2), л. 8. Датируется по месту автографа в этой тетради.

58

ПОЭТУ

Не разрешит твой ум тревожного сомненья,
Не объяснит он смысл земного бытия,
Но верь — настанут дни любви и возрожденья
И успокоится больная мысль твоя...
Замолкнут навсегда рыдающие звуки,
Но не умрут они,— не будешь ты забыт,
Поймет тогда толпа твою любовь и муки
И песни скорбные твои благословит...
Поймет, что каждый стих был полон не презреньем,
Поймет, что он звучал не злобой, не враждой,
Не дерзкою хулой, а братским сожаленьем
И правдою любви и грустью неземной...
И если осенит твой крест венец терновый,
Венец страдания, лишений и тоски,
Верь, не увянет он: он славою суровой
Переживет лавровые венки...

⟨Зима 1887 / 1888 г.⟩

«Родина», 1888, № 8, 21 февраля, стлб. 219.

59

Отрадно сознавать, что в жизни есть мгновенья,
Когда, забыв печаль, забыв сомненья, вновь
Переживаем мы минуты умиленья,
И в сердце оживут все светлые стремленья
И с первых юных лет угасшая любовь;

Когда мы верим вновь в забытые мечтанья
И жаждем и добра, и честного труда,
Когда в душе проснется состраданье,
И забываем мы в минуты упованья,
Что всюду — ложь, и злоба, и вражда!

⟨Лето 1888 г.⟩

«Родина», 1888, № 35, 28 августа, стлб. 933.
Датируется по времени публикации в «Родине».

60

Сверкает село огоньками
В залитой луною дали,
И длинные тени рядами
По мерзлой дороге легли.

Морозит... Средь сонной равнины
Блистает река, как стекло...
На жнивьях блестят паутины;
Все чисто, опрятно, светло...

Гремят бубенцы под дугою
Под топот немолчный копыт...
Мелькнули стога под горою
И скрылись за рядом ракит.

Все тихо... Смыкаются очи...
Прижался я в угол возка...
И снятся мне летние ночи
Сады, и село и река...

И снова, печаль вытесняя,
Спускается в душу любовь,
И майская ночь голубая
Волнует и сердце и кровь.

Чуть шепчут в аллее березы,
В аллее свежо и темно...
Мне сладко... Но это лишь грезы!..
Да, впрочем, не все ли равно?..

‹Лето 1888 г.›

Черновой автограф: ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 11, л. 2 об. На полях: «Писал летом 1888 г. Чужой тон. Ив. Бунин. Одесса, 4 дек. 99 г. Вечер». Весь текст стихотворения перечеркнут.

61

Прости мне, милый друг!.. Те скорбные мгновенья,
Когда в моей душе проснулася любовь,
Когда я счастья ждал и жаждал наслажденья,
Давно уже прошли и не вернутся вновь...
Беспечно, как дитя, ты долго забавлялась,
Ты только тешилась тогда моей тоской,
Ты только весело смеялась,
И радостен всегда был взор твой голубой...

Теперь — мы счастливы... Но прежнего волненья
И страсти, и любви уж нет в душе моей;
Я был счастливее в те скорбные мгновенья,
И вспомнить не могу без боли сожаленья
Прошедших грустных дней...

‹Лето 1888 г.›

Стихотворения 1887—1891, стр. 15. Впервые: «Книжки Недели», 1888, № 9, стр. 39. Смысловая опечатка в стр. 3 («сожаленья» вместо «наслажденья») исправляется по тексту первой публикации.

Стихотворение стилизовано в духе элегической поэзии 1820-х —1830-х годов (см. настоящ. том, кн. 2, указ. ст.).

62

Снились мне цветущие долины,
Снились мне зеленые леса,
Снились мне зубчатые вершины
Синих гор, ушедших в небеса;

Замок, дремлющий при шепоте фонтанов,
Где красавица, склонившись на балкон,
Спит в тени развесистых каштанов,
Под навесом мраморных колонн;

Где старинные высокие ограды
Осенила зелень тополей
И зарею льются серенады
В тихом сумраке задумчивых аллей...

В детских сказочных легендах и преданьях,
Словно сон какой-то неземной,
Мир поэзии в туманных очертаньях,
В смутных образах являлся предо мной.

Верил я, что в мире сновидений,
Позабыв нерадостный свой путь,
От забот, тревоги и сомнений
Всей душою можно отдохнуть...

Оттого, быть может, так глубоко
Я люблю былое вспоминать;
Что-то светлое, ушедшее далеко,
Навевает детство мне опять;

Позабыв про горе и страданья,
Верю я, что, кроме суеты,
На земле есть мир очарованья,—
Чудный мир любви и красоты!

‹1888›

Стихотворения 1887—1891, стр. 7—8. Впервые: «Книжки Недели», 1888, № 12, без разночтений.

Заключительная строфа — перифраз последних строк стихотворения Шиллера «Начало нового века», которое Бунин перевел в 1886 г. (см. настоящ. кн., стр. 207).

63

Ю. А. БУНИНУ

Правда твоя: непонятною грустью
Больше всего мое сердце полно,
Больше всего безответной любовью
Занято с самого детства оно...
В песнях живу я одними мечтами,
Грусть да любовь вызывали мой стих,
И от задумчивых песен моих
Веет осенними, светлыми днями...

Но не подумай, что я еще в жизни
Не испытал ни сомнений, ни дум,
Что беспокойных, тревожных вопросов
Еще не знает мой ум!

Нет, уже строгим и вдумчивым взглядо.
Я провожаю и жизнь, и людей...
Много пришлося провесть одиноких
И невеселых ночей...

Только кому же до этого дело?
Все, что казалося странно уму,
Чем иногда мое сердце скорбело,—
Важно и больно лишь мне одному.

Жизнь не дает мне какой-нибудь повой
И не избитой дорогой идти...
Так для чего ж я рассказывать буду
Все невеселые встречи в пути?..

И оттого-то любовью, мечтами
Больше, чем думами, полон мой стих,
И оттого-то от песен моих
Веет осенними, светлыми днями!..

‹1887—1888›

Стихотворения 1887—1891, стр. 10—11.

Датируется по содержанию: стихотворение продолжает беседы, которые Бунин вел со старшим братом в Озёрках, где Юлий Алексеевич прожил безвыездно три года (1885—1888). Свои «бесконечные разговоры» с ним Бунин вспоминает в «Жизни Арсеньева» (Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 101), отмечены они и в его дневниковых записях (там же, т. 9, стр. 343) и в «Жизни Бунина» (стр. 31). Свой первый сборник стихов он посвятил «глубокоуважаемому брату и другу Юлию Алексеевичу Бунину».

Анонимный рецензент «Наблюдателя» опирался на это стихотворение в своей уничтожающей оценке бунинского сборника («Наблюдатель», 1892, № 3, «Современное обозрение», стр. 29—30).

64

Г. А. ЛУКИНУ

Светлый день сегодня, милый друг, у вас;
Всяких благ и счастья все вам пожелали;
Весело и шумно встали все зараз
И за вас бокалы шумно поднимали.

Только не слыхали вы еще меня,
Оттого, что знаю — вы поймете сами,
Что́ для вас сегодня пожелаю я
И каким приветом обменяюсь с вами.

Вы один, быть может, искренно вполне
Всем моим стремленьям юным доверяли,
Вы, как брат, сердечно другом были мне,
Другом, с кем делил я радость и печали.

Оттого не буду говорить вам я
Громких фраз банальных... Вы поймете сами,
Что́ для вас сегодня пожелаю я
И каким приветом обменяюсь с вами.

30 января 1889 года

Стихотворения 1887—1891, стр. 42.

В ГЛМ хранится экземпляр этого сборника с дарственной надписью Бунина Лукину: «Тому, кому посвящена 42 страница этой самой брошюрки. С таким же чувством от автора».

Въ Крыму.

Вся долина въ зеленыхъ садахъ,
Вся долина полна ароматомъ.
По горамъ, на цвѣтущихъ холмахъ,
Кипарисы толпятся по скатамъ.

Тонутъ горныя выси кругомъ
Въ голубомъ, чуть замѣтномъ туманѣ;
Дышитъ утро весеннимъ тепломъ,
Легки тучекъ узорныя ткани.

Но манятъ очарованный взоръ
Еще больше крутыя стремнины,

— 34 —

Гдѣ долина сокрылась межъ горъ
И предъ ней разступились вершины.

Тамъ прибой пѣсни звучно поетъ,
Вольный вѣтеръ свѣжѣй на просторѣ,
И свободное, гордое море
Ходитъ медленно взадъ и впередъ...

— 35 —

3*

«В КРЫМУ»
Страницы из сборника «Под открытым небом»
(М., 1898)

65

В КРЫМУ

Вся долина в зеленых садах,
Вся долина полна ароматом.
По горам, на цветущих холмах
Кипарисы толпятся по скатам.

Тонут горные кручи кругом
В голубом, чуть заметном тумане,
Дышит утро весенним теплом,
Легки тучек узорные ткани...

Но манят очарованный взор
Еще больше крутые стремнины,
Где долина сокрылась меж гор
И пред ней расступились вершины.

Там прибой звучно песни поет,
Вольный ветер свежей на просторе,
И свободное, гордое море
Ходит медленно взад и вперед...

‹Середина апреля 1889 г.›

«Под открытым небом», 1898, стр. 34—35.

Впервые: «Книжки Недели», 1889, № 9, стр. 35, под названием «Байдарская долина» (с разночтениями в стр. 8, 12, 13). Затем: Стихотворения 1887—1891, стр. 51—52, в составе цикла «Крым. Отрывки из дневника» (1. «Байдарская долина»; 2. «Светает... Над морем, под пологом туч...»; 3. «Далеко за морем...»; 4. «У Байдар, на прибрежной скале...» — см. № 66, 67 настоящ. публикации и Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 69).

Датируется по времени поездки Бунина в Крым, описанной им в письме к родным 13—15 апреля 1889 г. («Материалы», стр. 20—21).

66

Светает... Над морем, под пологом туч,
Лазурное утро светлеет;
Вершина Байдарских причудливых круч
Неясно и мягко синеет...

Как зеркало море... Не плещет прибой...
Под легкой фатою тумана,
В ущельях, где сумрак теснится ночной,
Еще и прохладно, и рано...

Но с каждой минутой в рассветных лучах
Яснеет и берег, и море...
Как чудны здесь, в этих зеленых горах,
Весенние свежие зори!..

‹Середина апреля 1889 г.›

Стихотворения 1887—1891, стр. 52, в составе цикла «Крым. Отрывки из дневника» (см. примеч. к № 65 настоящ. публикации).

Впервые: «Наблюдатель», 1890, № 11, стр. 177—178, вместе с № 67 настоящ. публикации, под общим названием «Из Крымского дневника» (с мелкими разночтениями).

Датируется на тех же основаниях, как и № 65.

67

У Байдар, на прибрежной скале,
С тихой думой и грустью во взоре
Я сидел и глядел, как во мгле
Утопало туманное море;

Я глядел, как внизу подо мной,
Далеко от прибрежья, во мраке,
Чуть мерцающей, тусклой звездой
Засветил огонек на маяке.

И дождался прибоя... Пока
Возрастал его шум отдаленный,
Охватил меня страх,— и тоска
Завладела душою смущенной...

Но потом из-за темных зыбей
Свежий ветер поплыл над волнами,
Стал прибой величавей, ровней,
Стал торжественней шум под скалами.

И в душе необъятной волной
Разрасталося чувство свободы,
Словно ближе стал чуять душой
Я величье и тайны природы...

И всю ночь на пустынной скале
Я сидел вдохновенно-безмолвный
И внимал, как глубоко во мгле
Шумно пели холодные волны...

‹Середина апреля 1889 г.›

Стихотворения 1887—1891, стр. 55—56, в составе цикла «Крым. Отрывки из дневника» (см. примеч. к № 65 настоящ. публикации).

Впервые: «Наблюдатель», 1890, № 11, стр. 178, вместе с № 66 настоящ. публикации, под общим названием «Из Крымского дневника» (со значительными разночтениями в стр. 1—2).

Датируется на тех же основаниях, как и № 65.

Стихотворение посвящено воспоминаниям о ночи, проведенной у Байдарских ворот («Материалы», стр. 21); впоследствии Бунин описал ее в «Жизни Арсеньева» (Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 177).

68

НА ЮГЕ

Не веря тем, кто говорит,
Что море юга золотого
Родных степей не заменит,
Не оживит души больного,—
Не с сожаленьем, не с тоской
Я кинул наши косогоры;
Я жил заранее душой
Там, где поет морской прибой,
Где утонули в рощах горы,
Где в эти дни, когда кругом
У нас все пусто, неприветно,—
В долинах осень незаметна
И веет летом и теплом...

И правда,— в первый раз, когда передо мною
Пошли зеленые долины, тополя,
Когда увидел я за далью голубою,
Как синяя волна катится за волною,—
Я позабыл совсем родимые поля;
Пахнуло на меня благословенным югом
И ароматом рощ, и свежестью морской,
И улыбнулся я над грустью и недугом
Пред этой новою и свежей красотой...

В первый день, в каком-то радостном весельи,
Уходил я в рощи, в горные ущелья,
Вдаль глядел с Байдарских каменных ворот;
Необъятной ширью море расстилалось,
Необъятной волей сердце наполнялось,
Чувствуя, как воздух широко плывет...

Вечером я долго просидел безмолвно,
Глядя, как в тумане утопают волны,
Как заря погасла, как над всей землей,—
В рощах и в долинах, полных теплой мглою,
Все заснуло в чудном, царственном покое,
И из гор поднялся месяц золотой...

Но когда под утро саваном широким
Лег туман над морем,— страшно одиноким
Я вернулся в город... Вспомнился опять
Дальний сельский хутор... Близкое, родное
Снова с тихой грустью встало предо мною,
И не мог я этой грусти удержать...

Припомнилося мне, как золотом пестреют
Теперь у нас дубовые леса,
Как с каждым днем бледнеют небеса
И нивы желтые и сохнут, и пустеют;
И для меня вдвойне казалося родней
Печаль и красота последних дней свободы,
Поэзия родной, задумчивой природы,
Поэзия пустующих полей...

Я понял, отчего прощальный крик гусей
В холодном октябре над мертвою равниной
Звучал в душе всегда отзывчивей, сильней
Роскошной песни соловьиной.
Я понял, что нельзя чужою красотою
Весь век прожить; что красота должна
Сродниться с детских дней и с сердцем, и с душою,
Чтоб настоящею, живою красотою
Была для нас она...

Южный берег Крыма, весна 1889 г.

Стихотворения 1887—1891, стр. 57—59, вслед за циклом «Крым. Отрывки из дневника» (см. примеч. к № 65 настоящ. публикации).

69

ПАМЯТИ М. Е. САЛТЫКОВА

Кончен путь. Засыпана могила...
Для могучего, для нового труда
Светлый ум и творческая сила
Не воскреснут больше никогда...

Кончен путь. Но кончен не бесплодно —
Смерть тебя застала за трудом;
До конца все так же благородно
Ты работал сердцем и умом.

До конца своим орлиным взором
Озирал ты родины простор;
И тяжелой грустью и укором
До конца светился грустный взор.

И пускай нередко упрекали
За твое глумленье над толпой —
Верь, что нет без злобы и печали
И любви, глубокой и святой...

Оттого-то тяжкая утрата
Вдвое всем покажется больней,
Всем, кому и дороги и святы
Интересы родины своей...

И сегодня с искренней печалью
И с любовью скажет не один:
Мир тебе в могиле молчаливой,
Мир, тебе, великий гражданин!
. . . . . .

‹Май 1889 г.›

«Орловский вестник», 1890, № 94, 28 апреля. Воспроизведено: «Русская литература», 1960, № 3; там же см. историю создания и публикации этого стихотворения.

70

В‹АРВАРЕ› В‹ЛАДИМИРОВНЕ› П‹АЩЕНКО›

...Нет, друг мой, не верьте сомненьям своим,
Пускай они вас не тревожат;
Бесцельной забавою, делом пустым
Искусство нигде быть не может.
Служение ближним — не в жертвах одних,
Не только в одном отреченьи
От личного счастья для блага других,
От личных надежд и стремлений.
Лишь надо быть с чуткою, доброй душой,
Чтоб были вокруг вас счастливы;
А путь не один; не идите с толпой,
Отдайтеся юным порывам.
Сердечней и искренней будет ваш труд:
И если мечты ваши будут
Прекрасны и юны — они не пройдут
Бесследно, и их не забудут...
И если сумеете вы заронить
В толпу хотя искорку счастья, —
Никто вас не смеет тогда упрекнуть,
Что нету в вас к ближним участья...

‹28 апреля 1890 г.›

Стихотворения 1887—1891, стр. 41. Автограф: ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 11. Внизу авторская дата: «28 апреля / 90 года». Редакция „Орловского вестника“»; на полях пометы «NB» (отмеченные строки выделены курсивом). Имя В. В. Пащенко, обозначенное в сборнике инициалами, в автографе раскрыто полностью.

В. В. *Пащенко* (1870—1918) была гражданской женой Бунина в 1890—1894 гг. (см. «Материалы», стр. 25—42, 47—50). Возможно, что в этом стихотворении отразился тот положивший начало их сближению разговор, о котором позднее, 28 августа 1890 г., Бунин писал брату Юлию: «Потом мы встретились в самом начале мая у Бибиковых очень радостно, друзьями. Проговорили часов пять, без перерыву ‹...› Говорили о многом ...» («На родной земле». Орел, 1958, стр. 281). Бунин ошибся, отнеся встречу у Бибиковых к началу мая,— об этом свидетельствует сопоставление содержания его письма с датой, проставленной им в автографе стихотворения.

71

Отчего так часто и так ясно
Снится мне веселый летний день,
Снится рощи зелень молодая
И ее задумчивая тень?

Оттого ль, что с этим днем и рощей
Неразлучны в памяти моей
Все мои надежды молодые
И любовь далеких детских дней?

Оттого ль, что сердце молодое
Не забыло в собственных скорбях,
Что на свете счастье золотое
Еще есть и не в одних мечтах?..

‹1887—1891›

Стихотворения 1887—1891, стр. 18.

72 — 75

ОТРЫВКИ

I

Смолкает лес. Темны верхушки.
Но на низу огни зари
Еще сверкают сквозь опушки,
Как золотые фонари.

И мнится,— в мраке под ветвями,
Все полно сказочных чудес:
Там замок, блещущий огнями,
А здесь сырой и темный лес.

II

Я долго тебя поджидал на дороге;
Усталое сердце от долгой тревоги,
С утра истомившись дневной суетою,
Теперь успокоилось тихой зарею.

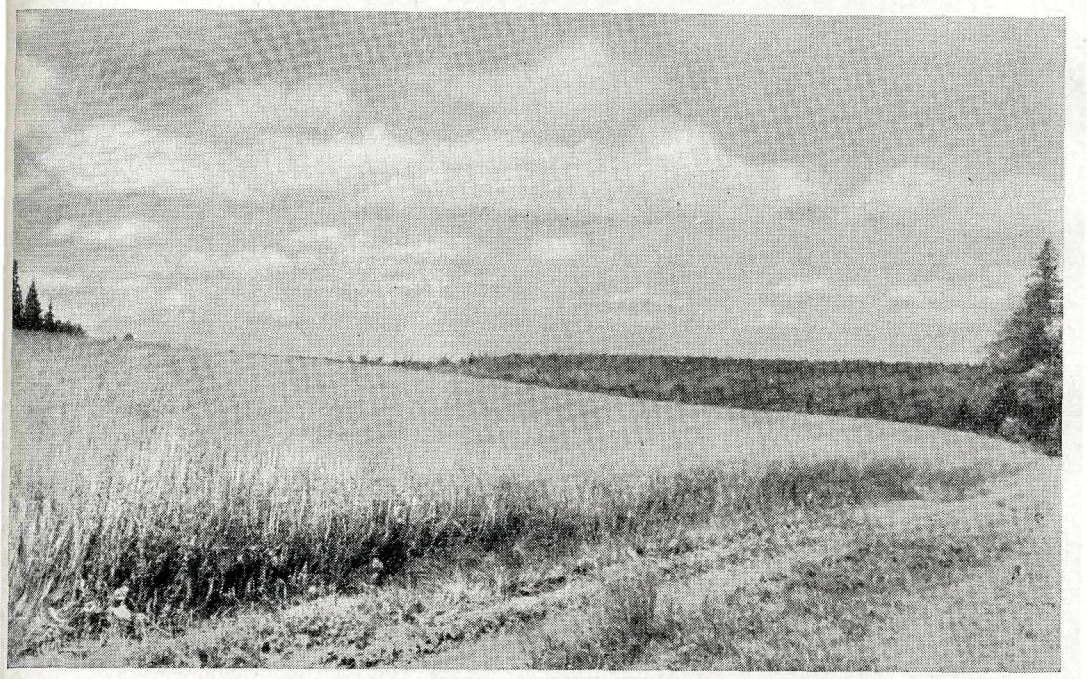
А между тем темное поле уснуло,
Со степи вечерним теплом потянуло
И тихою думой, вечернею думой
Задумался лес, поэтично-угрюмый.

И долго при меркнущем свете заката,
Задумчивым счастьем безмолвно объятый,
Я ждал и боялся, что встреча, быть может,
Опять мое светлое счастье встревожит...

III

Поздно... Замолчали
В роще соловьи;
В окна потянуло
Свежестью зари;
Но еще все тихо,—
В сумраке ночном
Сад в росе холодной
Дремлет чутким сном...

Поздно. Но уходит сон от глаз моих...
Растворивши окна, сяду возле них.
Скоро от рассвета дрогнет ночи тень,
Скоро в пруд зеркальный глянет алый день,
И ночные грезы, темных мыслей рой,—
Все в душе заменит свежесть и покой.



НА ОРЛОВЩИНЕ
Фотография В. С. Молчанова, 1960-е годы

IV

В жаркий день задумчивей, приветней
Шепчет роща чудной сказкой летней,
И в неясном сумраке зеленом,
Ароматном, словно полусонном
В звонкий рог призывный, музыкальный
Оберон играет в чаще дальней...

А когда и холодно и рано,
И заря заглянет в сумрак бора,
В неподвижных дремлющих озерах
И купается и смотрится Диана,
И красою юной, неземною
Только зеркало любуется лесное...

‹1887—1891›

Стихотворения 1887—1891, стр. 26—29. Автографы первых трех «Отрывков» неизвестны; автограф четвертого: ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 10, без разночтений, за исключением опечатки в третьей строке печатного текста, которая исправляется по автографу.

76 — 77

ЗИМНИЕ НОЧИ

Поздно... Месяц встал высоко
В зимнем небе, и далеко
Полный лунный свет разлит;
Освещеньем белым, нежным,
Как в чертоге белоснежном
Он в саду стоит.

Что же ты стоишь — ни слова?
Уж не вспомнила ли снова
Позабытый милый сон,—
Наши первые признанья,
Наши долгие мечтанья
В этой зале у окон?..

Помнишь,— комнаты все эти
Тонут в лунном странном свете,
И безмолвно у окна
Загляделись мы с тобою,
Как высоко над землею
Поднялась луна?

Помнишь, верно... Но что было
В нашем сердце, что сулила
Первых юных дней любовь,
Что когда-то нам казалось
В эти ночи, что мечталось,—
Ты не вспомнишь вновь...

Почему же мне нет силы
Позабыть твой образ милый?..
Или правда, что лишь тот,
Кто живет одним мгновеньем,
В сердце прежние влеченья
Никогда не сбережет?..

* * *

Крепко спит усталое селенье —
Не слыхать ни звука, ни движенья,
Лишь метель бушует под окном.
Ночь длинна, свеча едва мерцает;
Тишина в раздумье погружает,
Напевает думы о былом.

И опять забытое былое
Наполняет сердце молодое
Смутной грустью, тихой и немой;
Каждый раз о прошлом вспоминая,
В тишине твой образ, дорогая,
Как живой, я вижу пред собой...

В этой комнатке, бывало, вечерами
Мы с тобой делилися мечтами,
В этой комнатке сжилися мы с тобой.
Так же грустно буря напевала,
Но печаль мне счастья не смущала:
Милый друг сидел передо мной.

А теперь? ни звука, ни движенья,
Крепко спит усталое селенье,
Ночь длинна, свеча едва горит.
Только ветер плачет и тоскует,
Только буря снежная бушует,
Да порою ставнями стучит.

‹1887—1891›

Стихотворения 1887—1891, стр. 44—45.

78

Жизнь увлекает пошлостью дневной,
Жизнь часто мы счастливой называем,
Пока о ней не думаем, не знаем,
Пока идем невольно за толпой.

Но жизнь разумная —«не шутка, не забава:
Она тяжелый труд». Имеет только тот
На счастие не купленное право,
Кто жизнью строгою и вдумчивой живет.

Но разве нам она легко дается?
Свободу пошлую нам трудно потерять!
Раздумье — тяжело; задумайся — придется
Себе от многих благ привычных отказать.

Есть лучший мир. Его нам открывает
Жизнь отречения, и мысли, и труда,
Но только тот войдет туда,
Кто даже красоту в страданьях понимает...

⟨1892⟩

«Орловский вестник», 1892, № 188, 19 июля.

Автограф: ГБЛ, 429.1.2, л. 7 (*в тетради с пометой Бунина на обложке: «Орел, 1892»*). 12 марта 1895 г. Бунин вписал это стихотворение в альбом И. А. Белоусова (ГЛМ, ед. хр. 5321, л. 19). Текст этой записи, сделанной по памяти, с рядом смысловых неточностей и с пропуском третьей строфы, воспроизведен в журн. «Путь» (1912, № 12) под заглавием «Из альбома И. А. Белоусова»; в примечании сообщалось, что «стихотворение это появляется в печати впервые».

79

Февральский ветер надо мною
Ветвями сирыми шумит,
Он веет свежестью лесною,
Весенней сыростью пьянит.
Тепло, и точно цепенеет
Звук колокольчика в тиши.
Как ярко ельник зеленеет!
Как бледен снег в лесной глуши.
Все млеет в ветре и тумане
⟨1нрзб.⟩ весны, в ее тепле.
Насыщен снег водой, и сани
Порой цепляют по земле.
И очарован лаской вешней...

⟨Февраль⟩ 1893 г.

Автограф: ГМТ, № 2795.

80

Вот — будто в небе посветлело —
Желтеет солнца круг в пыли.
Но крепнет ветер — и вдали
Вся степь метелью забелела.

Исподтишка, курясь, ползла
Позёмка, словно струйка дыма,—
И вдруг рванулась, понесла,
Как смерч, в степи необозримой.

В саду, в пыли, и гул и треск!
Как искры солнца на глазете,
Морозных игл колючий блеск
Кружится в мутном, желтом свете.

Метель и блеск! Но ни ракит,
Ни крыш, ни вешек — все в тумане,
Все тонет, рвется и летит
В безумном снежном океане.

25 августа 1893 г. Полтава

Автограф: ГМТ, 981, л. 39. Черновой вариант первых 11 строк, озаглавленный «Солнечная кура», написан на черновике недатированного письма Бунина к В. В. Пащенко (ГМТ, 4956, л. 1 об.).

81

ПОСВЯЩАЕТСЯ К. Д. БАЛЬМОНТУ

Ни песен, ни солнца... О, сердце мое!
Ты песней звенело, ты солнцем дышало,
Ты жаждало веры, чтоб верить любви...
— И все навсегда, навсегда миновало...

Забвенья, покоя!.. В душе тишина,
Но сном благодатным забыться — нет мочи;
Печально мерцает свеча до утра,
И медленно тянутся скорбные ночи...

И только порой — на мгновенье одно,—
Поникнув в раздумьи, в молчаньи глубоком,
Я слышу — опять эта песня звучит
О чем-то родимом... далеком-далеком...

И только порой в ней надежду ловлю,
Что ветер внезапный развеет ненастье
И дверь распахну я на солнечный блеск
Для новой работы, для нового счастья!

⟨1895⟩

«Орловский вестник», 1895, № 192, 22 июля.

82

Какие дни, какие муки!
О, Сафо, как страдала ты,
Как ты кляла, ломая руки,
Свои безумные мечты!
Но, проклиная, ты любила,—
Ты, изнемогшая от слез,
Плела ему венок из роз,
В мечтах прийти его молила,
И страстно нежный гимн звучал
Пред Афродитой златотронной,
Чтоб хоть из жалости он внял
Тебе — забытой, оскорбленной.
Ты с ним воскресла бы душой,
Ты все бы, все ему сказала:
Как ты любила, как страдала,
Как ты измучена тоской!

Но тщетна скорбь!— Устали очи,
Нет больше сил. В немой тиши
Она прислушивалась к ночи
И к боли страждущей души.
На высоте, к которой смело
С таким трудом она взошла,
Она в томлении ждала,—
Она обнять душой хотела
Все, что душа пережила.
И долго в сердце что-то зрело,
Росло, томилось в тишине,
Пока не встала, вся в огне,
Заря из мрака...
Покидает
С зарею Сафо ложе сна,—
По тихим улицам одна
Она куда-то поспешает.
На шумной площади народ
Обходит молча и тревожно,
Как будто чашу осторожно,
Вином наполнивши, несет.

И вот синеет даль залива
И дышит холодом морским.
На старых камнях молчаливо
Она забылась перед ним.
Шумит прибой, в жемчужной пене
Качает чаек на волне...
Руками охватив колени,
Забылась Сафо, как во сне.
Нет слез в очах, печаль стихает,
Мечта в безбрежный мир манит,
За белой чайкой улетает,
За светлым облачком спешит.
Поют ей песни Нереиды,
Вновь возникает перед ней
Рожденье светлое Киприды
Из лона вечного морей.
И снова мир земной прекрасен.
И гимном счастья упоен,
Как божество, и тих, и ясен
Воскресшей Сафо дивный сон...

О Сафо, Сафо! Ты ли это?
Да, ожила, приподнялась
Из тьмы земной душа поэта
И в небеса перенеслась.
Туда, туда, в страну восхода,
На Олимпийский светлый пир...
Твоя любовь — бессмертный мир,
А смерть — бессмертная свобода!

⟨Середина 1890-х годов⟩

Автограф: ГМТ, 981, л. 22—23. Датируется предположительно по почерку.

83

ПАМЯТИ Н. И. ПИРОГОВА

«Я счастлив тем,— не раз он говорил,—
Что вот имею голову седую,
А юности своей не позабыл
И уважать привык чужую!»

Да, это счастье! В мертвой тишине
И сумерках осеннего ненастья
Идти вперед, мечтая о весне,
О светлых днях,— большое счастье!

Прекрасна, верно, та весна была,
Сияло ярко солнце над землею,
Когда земля воскресшая цвела,
Дышала вешней красотою...

И дух велик, не сгинувший в борьбе,
Тот дух, что с беззаветною любовью
Восторг весны не умертвил в себе
И не предал его злословью.

А если он лишь вечному служил,
Оберегал святое в человеке,—
Он смерть своей любовью победил
И не умрет уже во веки!

⟨1897⟩

Автограф: собрание В. Г. Лидина, Москва. Подробно об этом автографе см.: В. Г. Лидин. О некоторых автографах Бунина (настоящ. том, кн. 2).

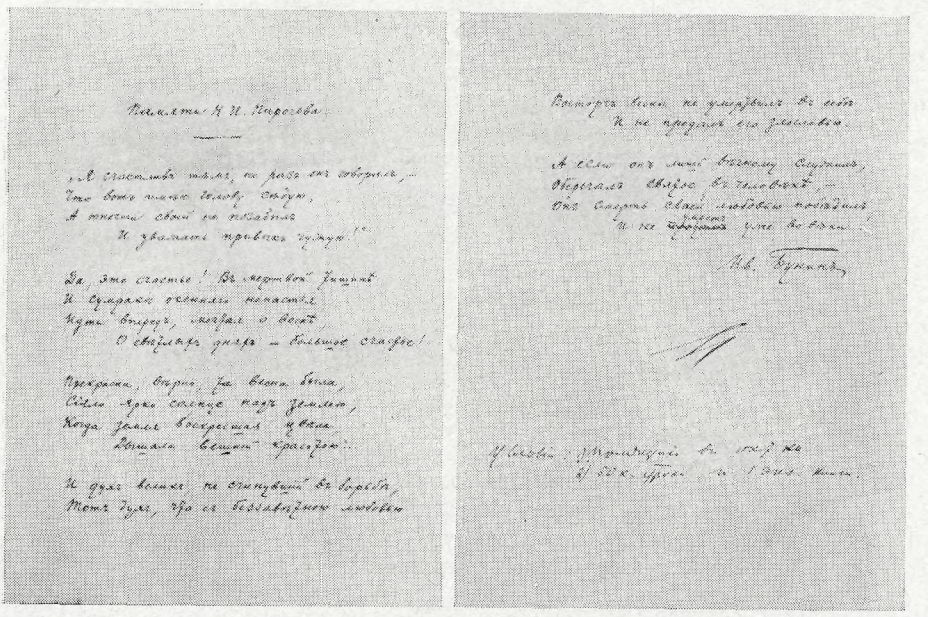
Это стихотворение Бунин предложил в «Мир божий», однако получил отказ: «...стихов в „Мире божьем“ памяти Пирогова не будет, — писал он брату.— Они были набраны, Давыдова показывала мне уже вторую корректуру, но Острогорский встал на дыбы и не пустил этого стихотворения. В „Русском богатстве“ цензор зачеркнул „Геракла“» (письмо Ю. А. Бунину, без даты — Гольдин, стр. 29). Бунинский перевод цикла сонетов А. Асныка «Геракл» появился в № 2 «Русского богатства» за 1898 г., что позволяет отнести это письмо и упоминаемые в нем стихи к 1897 г.

84

В твоих задумчивых, внимательных глазах
Есть что-то жесткое, холодное и злое,
И сердце мне порой сжимает тайный страх,
А иногда за то ты мне дороже вдвое;
Мы оба провели всю молодость в слезах,
Нам памятно еще мучение былое,
И вот опять растет желанье роковое
Иль умереть, иль жить, но только не в мечтах.
И мучится душа сомнением глухим,
То страстной нежностью, то недоверьем злым,
То мертвым и томительным бесстрастьем...
О, если б прежние доверчивые дни!
Какой бы радостью сияли нам они,
Как были б счастливы мы беззаветным счастьем!

⟨Первая половина 1898 г.⟩

«Южное обозрение», 1898, № 518, 5 июля.
Датируется по времени первой публикации.



«ПАМЯТИ Н. И. ПИРОГОВА»

Автограф. Вклеен в книгу Н. И. Пирогова «Собрание литературных статей» (Одесса, 1858)

Собрание В. Г. Лидина, Москва

85

Проплыла в небесах, в небесах потонула
С замирающим криком станица гусей.
Не гляди им во след. Сердце в даль потянуло,
Но тревогу свою ты уйми и рассей.

Что напомнил тебе этот крик, прозвеневший,
В небесах потонувший с призывной тоской?
О далекой весне, навсегда отлетевшей,
Он напомнил тебе, твой смущая покой.

Той же смутной тоской ты томился бывало;
Только прежде ты звал и лелеял печаль:
Та печаль к небесам в светлый край увлекала,
В безграничную даль.

Ты тогда лишь встречал свою юность и счастье,
Твой весенний рассвет, напоенный теплом.
А теперь впереди — только сумрак, ненастье,
Одинокая осень и скорбь о былом.

20 авг. 1898 г.
Огневка

Автограф: ГМТ, 981, л. 27.

В Огневку — имение Е. А. Бунина в Тульской губернии — Бунин приезжал в августе 1898 г.

86

Как было радостно и ново
Мне утро первых ясных дней!
Как воплотить в живое слово
Я жаждал страсть души моей!

Но путь, чем дальше, тем тяжеле.
И жизни я страшусь теперь.
И те мечты, что уцелели,
Не заменят душе потерь.

С немой тоской, с глухой тревогой
Я провожаю каждый час.
Душа болит, в душе так много...
Но нету слов — их жар угас.

И разве мне теперь не больно,
Не стыдно за слова свои?
О, сердце! смолкни, затаи
Все, что звучит еще — невольно.

‹Август 1898 г.›

Автограф: ГМТ, 981, л. 29.
Бумага, чернила и почерк те же, что и в автографе № 85; на этом основании датируется августом 1898 г.

87

О, этот вечерний прощальный привет!
Гудит надо мною аллея,
Проносится ветер — и, ветру вослед,
Волнуется жидкий, раздробленный свет,
Меж трепетных листьев желтея.

То льется задумчивый, слабый, немой,
И клонятся ветки, качаясь.
То вспыхнет нежданно струей золотой,
И сыплются листья, и ропот глухой
Бежит и гудит, разрастаясь.

Я жду, я прощаюсь с томительным днем
И ночь призываю глухую.
Приди, осени меня темным крылом!
Но бурей безумная скорбь о былом
Врывается в душу больную.

Глубоко, глубоко нисходит она
И плачет, как ветер в руине,
И снится мне молодость, снится весна,
И близкая ночь бесконечно страшна,
Как призрак в безмолвной пустыне.

‹Август 1898 г.›

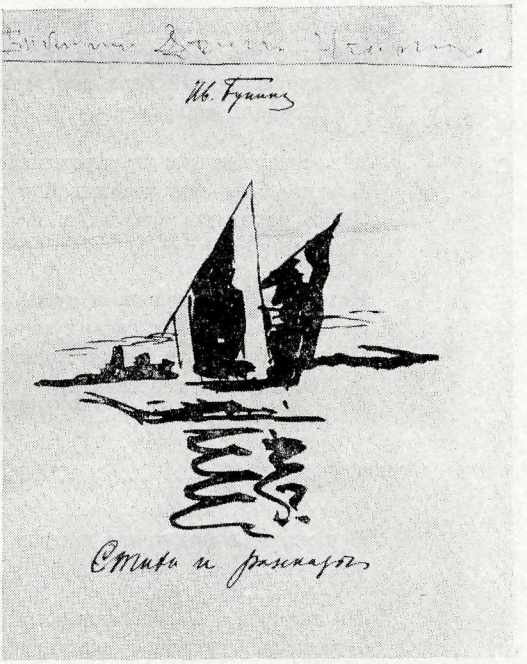
Автограф: ГМТ, 981, л. 28.
Бумага, чернила и почерк те же, что и в автографе стихотворения № 85; на этом основании датируется августом 1898 г.

ПРОЕКТ ОБЛОЖКИ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО СБОРНИКА СТИХОВ И РАССКАЗОВ БУНИНА

Текст рукою Бунина

Рисунок неизвестного художника. Тушь, перо. Конец 1890-х годов

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва



88

О, замолчи, забудь — не вспоминай о том,
Что не вернешь одним воспоминаньем!
Минуты радости и счастия в былом
Я искупил тоскою и страданьем.

Когда душа моя полна была любви,
Она лишь замирала и скорбела.
Когда я победил страдания свои,
Душа к былым надеждам охладела.

И горько вспомнить мне дни юности моей,
Дни, полные наивными мечтами,
И пред картинами немногих светлых дней
Я прохожу с закрытыми глазами.

⟨1887— сентябрь 1898 г.⟩

«Южное обозрение», 1898, № 590, 20 сентября.

Переработка юношеского стихотворения «Не думай, позабудь... Не вспоминай о том...», включенного в Стихотворения 1887—1891, стр. 17.

89 — 92

В КРЫМСКИХ ГОРАХ

I

Здесь осень светлая и тихая стоит.
У нас, на севере, теперь зима уж скоро,
И северных лесов угрюмый, строгий вид
Багряною листвой не утешает взора.

Цветов и певчих птиц давно уж в рощах нет,
И гулко каждый звук по чащам раздается...
В полураскрытый верх деревьев грустно льется
Осенний полусвет.

А в северных полях, пустынных и туманных,
В такие дни еще тоскливей и грустней,
Лишь караваны туч седых и оловянных
Плывут над скучною пустынею полей.

Когда же гаснет день и сумерки скрывают
Безмолвные поля в свою густую тень,
Печально огоньки среди лесов мерцают
Из бедных деревень...

II

Но далеко от нас все это,
Здесь ночи звездны, ясны дни,
И сколько в них тепла и света,
Как упоительны они!

Ни тучки нет на небосклоне,
Проснешься утром — тишина,
Тень от деревьев на балконе
Прохладой бодрою полна.

В долинах пар на солнце блещет,
Синеют влажно цепи гор,
Под ними золотом трепещет
Морской лазоревый простор.

И там, где с ласкою прощальной,
Белея, тонут паруса,
Чертою призрачно-хрустальной
Слилися с морем небеса...

III

И в горы я с утра с двухстволкой ухожу;
Там воздух по утрам еще свежей и чище,
И целый день один я в тишине брожу
Среди пустынных гор, как будто на кладбище.

На скатах их видны лишь камни да трава,
И кажется внизу, в долинах меж горами,
Что неба яркая, густая синева
Обрезана вверху гранитными скалами.

И я иду туда, к той светлой вышине,
Не отрываю глаз от синего простора,
Но тонут небеса в воздушной глубине,
Уходят медленно от взора...

Зато какая даль открылась предо мной!
Извивы рек, леса, кустарник ярко-алый,
Долины, цепи гор, вершины, перевалы,
А там и ширь полей — дорога в край родной!

IV

Степь равниной пожелтевшею,
Безграничною лежит,
И в дали воздушной марево
Над равниною лежит.

И курганы одинокие,
Молчаливые видны,
Беззаветной, грустной думою
О бывалых днях полны,

И в выси небесной с севера,
Чуть заметные вдали,
Над степями, над курганами
Тихо тянут журавли.

И скликаются, и слышится
В перекличке их печаль...
Не родимого ли севера
Перелетным птицам жаль?

Если так,— снесите к северу,
Возвращаясь по весне,
И мою печаль по родине,—
Мой поклон родной стране!

‹Конец сентября 1898 г.›

Ив. Бунин. Стихи и рассказы. М., 1900, стр. 53—56.

Датируется по времени третьей (последней перед выходом сборника) поездки Бунина в Крым, когда он впервые увидел осенний крымский пейзаж (см. письмо брату Юлию 1 октября 1898 г. — «Материалы», стр. 72).

93

26-е МАЯ

Поэт нам дорог тем, что он
О счастьи нам напоминает
И сумрак жизни озаряет,
Как солнце хмурый небосклон.

Дни славы Пушкина — желанный
И светлый праздник. Сколько раз
Его мечты во мгле туманной,
Как солнце, радовали нас!

И этот миг, когда венчает
Его вся Русь,— еще тесней
С его душою нас сближает
И в жизнь, и в счастье, и в людей
Нам веру гордую вселяет!

‹26 апреля 1899 г.›

«Журнал для всех», 1899, № 5, стлб. 525—526.

Написано по заказу В. С. Миролюбова, издателя «Журнала для всех», и предназначалось для юбилейного номера, посвященного столетию со дня рождения Пушкина — см. письмо Бунина Миролюбову 26 апреля 1899 г. («Литературный архив», т. V. М.— Л., 1960, стр. 129). Датируется по этому письму.

94

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Весело в поле весною бродить!
Весело в небе весеннем следить,

Как серебристою, нежной грядою
Тихо плывут облака над землею!

Степь ли увижу,— там радует взор
Синих полей безграничный простор;

В небо взгляну ли,— там солнце сияет,
Нежным теплом мне в лицо пригревает,

Глубь небосвода светла и ясна...
Как хороша ты, родная весна!

‹1886— начало 1900 г.›

«Детское чтение», 1900, № 4, стр. 14, в составе цикла «Из „Песен о весне“».

Два первых двустишия заимствованы из стихотворения 1886 г. «Весело в поле весною бродить...» (см. № 9 настоящ. публикации).

95

ПРИМИРЕНИЕ

Ночь темна и долга... Море глухо шумит...
Ветер плачет в трубе и тоскою томит...
Спи, родная моя! Хоть во сне отдохни,
Позабудь эти грустные ночи и дни.

Тайной жизни навек разлучен я с тобой,
Но давно я смиряюсь пред темной судьбой...
Так смирюсь и теперь... Обо мне не грусти...
Тем цветам, что цвели, никогда не цвести!

Жутко сердцу усталому в темную ночь,
Одному мне не в силах тоски превозмочь...
Но с тобой мне легко; я душой отдохну,
Я несбыточной грезой себя обману.

Под напевы унылые бури ночной
Буду снова я грезить далекой весной,
Буду тихий твой сон охранять я любя
И сквозь слезы с улыбкой глядеть на тебя.

‹1900›

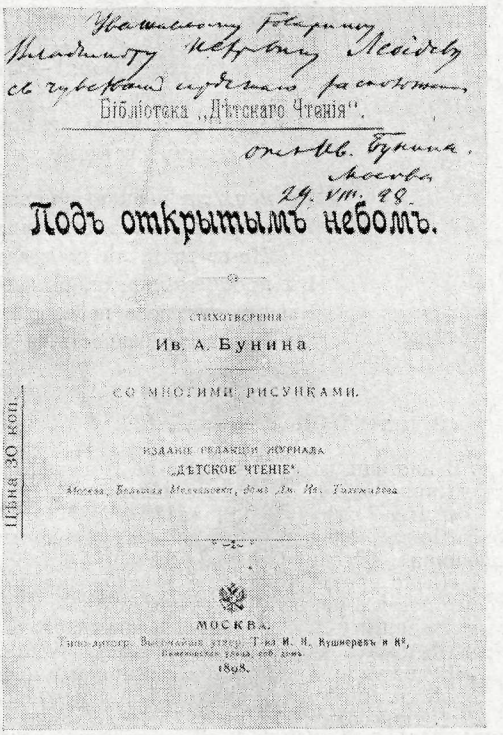
«Журнал для всех», 1900, № 11, стлб. 1312. Датируется по времени первой публикации.

Мысль, выраженную в этом стихотворении, Бунин позднее развил в рассказе «С высоты»: «Прости! — мысленно сказал я ей всей моей душою.— И ты любила бы меня, и ты простила бы меня, как прощаю я тебя за все мои страдания, но тайна жизни разлучила нас, тайная сила, не дающая нам заглянуть в душу друг друга с высоты — в наши лучшие минуты. А лучшие минуты моей любви к тебе — моя печаль о тебе вдали от тебя, моя радость, что и в печали, и в одиночестве, и в страданиях я люблю — и прощаю тебя!..» (Собр. соч. 1965—1967, т. 2, стр. 446).

ВТОРОЙ СБОРНИК
СТИХОТВОРЕНИЙ БУНИНА
(М., 1898)

Обложка с дарственной надписью: «Уважаемому товарищу Владимиру Петровичу Лебедеву с чувством сердечного расположения от Ив. Бунина. Москва, 29.VIII.98»

Публичная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Ленинград


Уважаемому товарищу
Владимиру Петровичу Лебедеву
съ чувствомъ сердечнаго расположенія
Бібліотека „Дѣтскаго Чтенія".
отъ Ив. Бунина.
Москва
29. VIII. 98.

Подъ открытымъ небомъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ
Ив. А. Бунина.

СО МНОГИМИ РИСУНКАМИ.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА
„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ".
Москва, Большая Молчановка, домъ Дм. Ив. Толмачева.

Цѣна 30 коп.

МОСКВА.
Типо-литогр. Высочайше утвер. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°,
Пименовская улица, соб. домъ.
1898.

96

Вперед за шагом шаг... Путь долог, дорогая!
Горячий поцелуй, очей любимых взгляд
Поддержат нас на нем. Вперед, не отступая!
Кто любит жизнь — борьбу, тот не свернет назад.
Нет... нас не разлучат житейские невзгоды;
Препятствия сильней зажгут огонь любви,
В ударах бурь, в борьбе с житейской непогодой
Привольней дышит грудь, и жизнь кипит в крови.

⟨1900⟩

«Журнал для всех», 1901, № 1, стлб. 29. Датируется по времени первой публикации.

97

Я покинул тебя... Я навек схоронил
Все, что долго так горько и нежно любил,
И порою душа то смирялась,
То безумно опять порывалась к тебе —
Рассказать о своей одинокой судьбе,
Обо всем, что в душе загоралось.

Много стран на земле, много светлых озер,
Много тихих долин и синеющих гор,
Много грустных и радостных песен...
Сколько счастья с тобой пережили бы мы!
Но один я блуждал среди ночи и тьмы,
И весь мир был душе моей тесен.

Рабских дум о тебе я не мог превозмочь,
И томила меня эта темная ночь,
Но зажглася заря! — Заалели
Облака в небесах, заиграл ветерок,
И поднялся я вновь, и иду на восток,—
К солнцу светлому, к радостной цели!

Не меня ли влекла к новой жизни печаль?
Не меня ли зовет эта синяя даль?
Не со мной ли поет вся природа?
Вы простите навеки, былые мечты!
Блещет солнце с небес с голубой высоты.
Здравствуй юность, и жизнь, и свобода!

⟨1900⟩

«Отдых», 1901, № 4, стлб. 124.

В настоящую публикацию не включены следующие ранние стихотворения Бунина, выявленные по печатным изданиям:

«Ангелы сна» («Родина», 1887, № 32).

«Пошли, о боже, новой силы ...», «Кто испытал и тоску и мучения...», «Листки из дневника», «Осенние листья» («Родина», 1888, № 2, 11, 22, 41).

«Было время дорогое..», «Из пережитого», «Когда вечернею порою ...», «Нынче ночью поезд шумный ...», «Он пришел ко мне позднею ночью ...», «Она пришла с цветами на могилу ...», «С каждым днем со мной ты холоднее...», «Юным и беспечным я когда-то был ...» (Стихотворения 1887—1891).

«Вознесение Христово» («Всемирная иллюстрация», 1895, № 20).

«Жаль мне юности задумчивой и нежной ...» («Журнал для всех», 1899, № 2).

«Полая вода», «Рассвет», «После дождя», «Отдых», «Урожай» («Детское чтение», 1900, № 4, 5, 6, 8).

«Первые ручьи» («Весенняя сказка») («Юный читатель», 1901, № 6).

«В селе», «Вечер», «Звездная ночь», «Летняя картина», «Майский полдень», «Песни бури» («Полевые цветы», М., 1901).

Названия стихотворений, выявленных по автографам и не включенных в настоящую публикацию, см. в «Сводном обзоре бунинских материалов. . .» (настоящ. том, кн. 2).

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, РЕЧИ, РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ИНТЕРВЬЮ

СТАТЬИ И РЕЧИ

Публикация В. Н. Афанасьева, И. С. Газер, А. С. Логвинова

Предисловие Т. Г. Динесман

Для уяснения позиций писателя столь сложной и противоречивой судьбы, каким был Бунин, знакомство с его выступлениями в области литературной критики имеет первостепенное значение. В этом убеждают те немногие критические статьи, которые вошли в девятый том последнего собрания его сочинений,— их историко-литературное значение бесспорно.

Исследователи творчества Бунина предприняли специальные разыскания, в результате которых удалось обнаружить около тридцати неизвестных или забытых выступлений Бунина-критика. Жанры их весьма разнообразны: статьи, газетные рецензии и журнальные обзоры, рецензии, написанные по заданиям Академии наук, интервью, заметки. Хронологические рамки собранных материалов охватывают почти тридцать лет — с 1888 по 1916 г., другими словами весь дореволюционный творческий путь Бунина. Такая широта охвата дает возможность проследить не только историю становления литературно-эстетических взглядов писателя, но и линию их дальнейшей эволюции в зависимости от конкретных условий развития литературы. Вместе с тем, собранные воедино высказывания Бунина-критика за много лет убеждают в неизменной последовательности и принципиальности его литературных позиций.

Самая ранняя из публикуемых статей — первый критический опыт Бунина, посвященный жизни и деятельности Е. И. Назарова («Поэт-самоучка», 1888). В нем отчетливо проявляются те демократические тенденции, которые в дальнейшем красной нитью проходят через все критические выступления Бунина. Характерно, что в этой первой своей статье Бунин следует одной из важнейших традиций Белинского, Чернышевского и Добролюбова — на материале конкретного анализа творчества Назарова восемнадцатилетний критик ставит актуальную проблему современности: «Мы полагаем, что представители интеллигенции сослужили бы большую службу народу, если бы принимали близко к сердцу умственные интересы народа, если бы, по крайней мере, сумели направить на истинный путь и способствовать совершенствованию тех проблесков народной мысли, которые сами собой начинают обнаруживаться».

С тех же позиций написана и другая статья — «Маленькая беседа» (1891); здесь Бунин вступает в решительную полемику с реакционными воззрениями на развитие русской поэзии, согласно которым гражданская лирика Некрасова и поэтов-шестидесятников рассматривалась как свидетельство упадка поэтической культуры. Бунин утверждает, что «общественные мотивы» не могут быть чужды истинной поэзии: «поэт такой же член общества, как и все», и потому не может не отвечать на его запросы. Это утверждение обосновывается ссылкой на известное положение эстетики реализма: «поэзия везде, где есть жизнь».

Интересный материал для характеристики общественно-литературных позиций Бунина в первые годы его писательской работы содержит также статья «Новые тече-

ния» (1891), в которой Бунин полемизирует с реакционными газетами «Гражданин» и «Московские ведомости», выступая на стороне передовой провинциальной печати.

Статьи и рецензии 1890-х годов продолжают и развивают тенденции, намеченные в ранних работах Бунина.

Рецензируя «Собрание сочинений» А. Н. Плещеева (1894), он высоко оценивает этого поэта, в творчестве которого отразилось «все, что пережило благородного, честного и гуманного русское общество 60-х годов». Здесь характеристика творчества Плещеева выражает собственное творческое кредо Бунина, для которого гуманизм составляет высший принцип искусства: «Муза Плещеева никогда не утратит своего обаяния, потому, что она служила не одному преходящему интересу дня, а и вечным идеалам добра и правды».

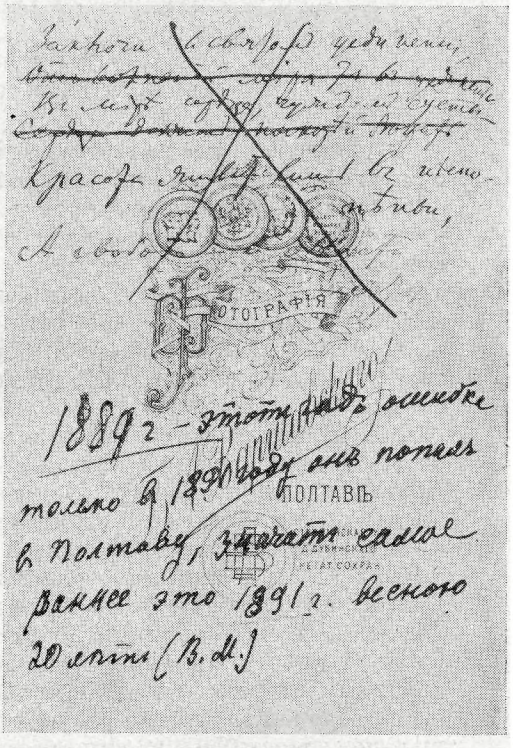
«Поэт-гуманист» — так называется статья Бунина, посвященная 50-летию литературной деятельности А. М. Жемчужникова. Отмечая «этический элемент» как отличительную черту русской литературы, которая «в лучших своих произведениях ⟨...⟩ проникнута именно духом гуманности», Бунин с этой точки зрения рассматривает творчество Жемчужникова. «Поэт по преимуществу гражданских настроений, поэт-гуманист», Жемчужников принадлежал, по его словам, к числу людей 60-х годов, явившихся «воплощением общественной совести» и отмеченных тем «сознанием чувства долга ⟨...⟩, которое не может быть уделом только какой-либо исторической эпохи, а должно быть явлением постоянным для всех времен ...». В этом Бунин видит залог воспитательного влияния поэзии Жемчужникова, ибо молодежь «должна проникаться наиболее животрепещущими вопросами современности, должна быть отзывчива на всякое общественное горе и несчастье, должна воспитывать в себе чувство гуманности, солидарности и справедливости».

В одном из журнальных обзоров (1898) Бунин детально анализирует рассказ Куприна «В лесной глуши». Он предсказывает его автору большое будущее, залог которого видит в том, что Куприн пишет «сдержанно, умно, с настоящим чувством меры». В этих словах впервые сформулирован тот эстетический принцип — сдержанность и чувство меры,— которому сам Бунин неизменно следовал на протяжении всего своего долгого творческого пути.

В другом журнальном обзоре, написанном в том же году, Бунин обращается к поэзии Бальмонта. Он отмечает, что даже «Дон-Жуану» — лучшему, по его мнению, произведению Бальмонта — свойственны «и вычурность, и туманность, которая утрируется писателями, охваченными ⟨...⟩ „декадентскими" настроениями». И замечает по этому поводу: «Видно, писатели на этом пути еще не сумели стать достаточно серьезными и простыми». Эта пока еще очень сдержанная и весьма осторожная оценка предваряет то неприятие поэзии модернизма во всех ее проявлениях, которое сложилось у Бунина к середине 1900-х годов. Наиболее категорично оно высказано в его отзыве о сочинениях С. Городецкого, написанном по заданию Академии наук (1911), и в речи на юбилее газеты «Русские ведомости» (1913).

В этих выступлениях Бунин критикует модернизм с позиций не только эстетических, но в первую очередь гражданских. Поэзия модернизма, «опошлившая русский стих, доводящая его до пустозвонства ⟨...⟩, искажающая и насилующая русский язык», противоречит его эстетическому идеалу простоты и сдержанности. Вместе с тем «словесный блуд» модернистов — результат забвения ими лучших традиций классики, не только эстетических, но в первую очередь этических и гражданских. Из их поэзии «исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота», а с ними и «совесть, чувство, такт, мера, ум».

Выступление Бунина на юбилее «Русских ведомостей» было остро полемично. Оно стало заметным событием в литературной жизни и вызвало целый поток откликов в печати — как враждебных, так и сочувственных. Наиболее яркие эпизоды этой полемики освещены в приложениях и комментариях к тексту бунинской речи (см. ниже стр. 322—324).



БУНИН

Фотография Б. Л. Варшавского. Полтава, 1891

Внизу автографическая подпись Бунина и дата, исправленная В. Н. Буниной

На обороте автограф Бунина — заключительные строки из его перевода стихотворения Шиллера «Начало нового века»; ниже — помета В. Н. Буниной: «*1889 г.* — этот год ошибка, только в 1891 году он попал в Полтаву, значит, самое раннее это 1891 г. весною, 20 лет (В. М.)»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Публикацию статей и рецензий подготовили: В. Н. Афанасьев («Поэт-самоучка» и раздел «Рецензии и обзоры»), И. С. Газер («Забытый человек», «Ответ И. А. Бунина»); А. С. Логвинов («Маленькая беседа», «Памяти Т. Г. Шевченко», «Новые течения»); публикация «Речи на юбилее „Русских ведомостей“» подготовлена редакцией «Литературного наследства» (при участии А. К. Бабореко).

Из выявленных В. Н. Афанасьевым рецензий и обзоров не включены в настоящую публикацию как мало значительные: «Сочинения А. Н. Апухтина. СПб., 1895» («Орловский вестник», 1895, № 151, 11 июня), «Павел Крушеван. Что такое Россия. М., 1896» («Естествознание и география», 1897, № 5), «А. М. Федоров. Стихотворения. М., 1899» («Южное обозрение», 1899, № 728, 15 февраля), а также три обзора из цикла «Литературный дневник» (см. о них настоящ. кн., стр. 334).

По недостатку места не перепечатывается в томе статья об А. М. Жемчужникове «Поэт-гуманист», опубликованная в «Вестнике воспитания» (1900, № 3) и тогда же выпущенная отдельным оттиском.

ПОЭТ-САМОУЧКА

ПО ПОВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ Е. И. НАЗАРОВА

В обществах, где литература достигла значительной высоты развития, немыслимо, чтобы писатели находились в изолированном друг от друга положении. Семья литераторов должна быть сплоченной и объединенной корпорацией. Если в прочих сферах человеческой деятельности взаимопомощь и солидарность являются необходимым условием серьезного развития и прогресса, то в области мысли эта потребность сознается еще сильнее, еще настойчивее — она есть conditio sine qua non * успешной деятельности. Мысль эта, однако, как ни очевидна с первого взгляда, далеко еще не вошла в сознание общества — лишь видны только ее слабые проблески.

Мы говорим об организации литературных обществ, об обществе пособия нуждающимся литераторам и тому подобных учреждениях. Польза их не подлежит, разумеется, никаким спорам и возражениям, но надо сознаться, что в этом направлении сделано крайне недостаточно и писателям зачастую приходится развиваться и действовать на собственный риск, без всякой помощи и поддержки, в особенности, если это писатели начинающие. Положение же писателя, не принадлежащего по происхождению и материальным достаткам к интеллигентному и привилегированному классу, является совершенно беспомощным и ничем не гарантированным от возможности совершенно остаться неизвестным, даже если бы он обладал задатками таланта и глубиною чувств. Задатки прирожденных способностей могут или вовсе затеряться, или же получить совершенно ненормальное, исковерканное направление. Исключения в этом случае бывают очень редкими, а между тем, более чем где-либо, раздавались и раздаются у нас голоса о необходимости интеллигенции прийти на помощь народу. Голоса эти, однако, остаются гласами, вопиющими в пустыне, да и немудрено: в этих призывах часто слышатся или фарисейски-лицемерные нотки, или же служение народу понимается крайне узко, обставляется требованиями, непосильными для человека среднего уровня, тогда как часто самое простое, без всякой примеси героических черт и исполнимое дело остается без всякого внимания! Мы полагаем, что представители интеллигенции сослужили бы большую службу народу, если бы принимали близко к сердцу умственные интересы народа, если бы, по крайней мере, сумели направить на истинный путь и способствовать совершенствованию тех проблесков народной мысли, которые сами собой начинают обнаруживаться. Тут нечего отговариваться практическою неисполнимостью этой помощи; при известном желании и усердии всегда возможно оказать свою помощь. Как бы ни был глух данный район местности, всегда найдется хотя бы небольшая группа интеллигентных людей, способная не упустить из виду более или менее ярких представителей таланта среди низшего, забитого общества и народа. Это вовсе не значит, что следует во что бы ⟨то⟩ ни стало находить таланты. Всякое дело, переходя известную меру, может стать комичным донкихотством, а его вовсе нежелательно в таком серьезном деле, как помощь интеллектуальному развитию наиболее талантливых людей из народа. Жизненные волны сами собою выносят их на свет божий, и нужно не иметь очей, чтобы не видеть, и ушей, чтобы не слышать, если обойти вниманием это явление.

---

* Непременное условие (*лат.*).

Однако некоторые из этих затерянных и заброшенных личностей силою своей воли и энергии умеют иногда сами собою пробиваться к свету, сохранить чистоту чувств и известную широту взглядов, несмотря на все неблагоприятные житейские условия, способные другого совершенно погрузить в тину грязи, тьмы и невежества. К числу подобных личностей принадлежит елецкий (Орловской губернии) мещанин Егор Иванович Назаров, небольшое собрание стихотворений которого вышло в свет в текущем году. Нам кажется, что, несмотря на многие серьезные недостатки его произведений, в них встречаешь искренние чувства, довольно отделанную форму стиха и задатки таланта, который, при иных обстоятельствах, мог бы вполне развиться, и немудрено, что имя г. Назарова могло стать известным и почетным.

Спешим оговориться. При оценке стихотворений г. Назарова нужно прилагать совершенно иную мерку, чем при разборе произведений других поэтов, поставленных в совершенно иные условия. Необходимо принять во внимание, что он не имел никакой возможности приблизиться в своих сочинениях к тем требованиям искусства, которые должны быть исполняемы прочими, более счастливыми, служителями муз.

Поэзия г. Назарова обнаруживает только задатки истинного искусства. *Не сам он виною тому*, что задаткам этим не пришлось вполне развиться. Он употреблял для этого все зависящие от него средства. Понятное дело, одни собственные усилия не могли из него выработать настоящего поэта, когда вся его жизнь сложилась самым неблагоприятным образом. А что жизнь его была далеко не из счастливых, то это легко видеть из его же сочинений. Кроме того, мне лично пришлось с ним познакомиться, и я получил, таким образом, возможность убедиться, что в своих стихотворениях Егор Иванович не только не преувеличивал своего положения, а скорее многого не высказал.

Род купцов Назаровых принадлежит к числу известных в г. Ельце и очень состоятельных. Но между Назаровыми есть и люди крайне недостаточные и даже совершенные бедняки. К числу последних принадлежали и члены той семьи, в которой 39 лет тому назад родился Егор Иванович. Сам он не без горечи так описывает свое первое появление на свет и раннюю молодость в стихотворении, которым открывается его книжка:

Родился я в глуши степной,
В простой и душной хате,
Где вместо мебели резной
Качалися палати...

. . . . . .

В мороз ли, в слякоть — нипочем —
Я бегал босоногим,
И, с гор катаясь кубарем,
Не сделался убогим.
Нужду и голод понял я
Едва ль не с колыбели,
Не страшны были для меня
Свирепые метели...

Егор Иванович нигде не учился, не был даже в приходском училище; но природная склонность взяла верх, и он, кое-как выучившись грамоте,

со страстностью набросился на чтение и совершенно случайно успел ознакомиться с некоторыми из лучших русских писателей.

В углу холодного чулана,
Подчас без пищи и без сна,
Читал я Пушкина «Цыганы»
Иль труд святой Карамзина.

Крайне впечатлительная натура мальчика не могла не отозваться на те умственные интересы, которые затрагивались в прочитанных им книгах. К тому же Егор Иванович обладал прекрасной памятью, и он совершенно отдался этим первым благородным порывам молодой души:

И все, что вкруг меня творилось,
В ту пору я позабывал;
Моя душа туда стремилась,
Где век за веком исчезал.
И предо мною воскресали
Времен минувших племена...

Детские годы были лучшими годами Егора Ивановича. Сколько ни приходилось терпеть ему невзгод и лишений, он навсегда сохранил самое светлое воспоминание о своем детстве:

Давно то время миновало,
Но детство милое живет;
Пора, где сердце не страдало,
Во мне до гроба не умрет.

С какою любовью и с каким искренним чувством относился он к тому уголку, где протекли его детские годы! Вот, например, его обращение к реке Соснэ:

Люблю тебя, река родная,
От самых юношеских лет;
Отчизну часто покидая,
К тебе я слал в душе привет;
И рисовал воображеньем
Немолчный говор твоих волн,
Когда ты мчишь в своем теченьи
Рыбачье судно или челн.
Твой берег, зеленью одетый,
Где в зной при солнечных лучах
Дитя беспечное, раздетый,
Плескался я в твоих струях...

Недолго, однако, пришлось Егору Ивановичу жить безмятежною жизнью. С ранних лет его определили в мучную лавочку, и с тех пор потянулись для него долгие, беспросветные дни. Судьба бросала его во все стороны нашего обширного отечества.

Я бывал в странах далеких,
Жизни бурею гоним,
Утопал в снегах глубоких,
Жил под небом голубым...

Г. Назарову приходилось испытать не только нужду и лишения, но и непосильный физический труд: некоторое время он таскал кули, и как странно мне было видеть, что такой слабый, небольшого роста человек был способен на такие испытания! Но обстоятельства складывались иногда еще хуже: задавленный нуждою, Егор Иванович принужден был некоторое время вести винную торговлю, и, представьте себе, читатель, за кабацким прилавком человека, который говорит о себе:

В пору юности прелестной,
Жизни раннею весной,
В мир фантазии чудесной
Уносился я душой.
То витал за облаками,
То стремился в даль степей,
То за синими морями
Жил в толпе богатырей...

Не одни только яркие фантастические картины рисовались его молодому воображению. Он воодушевлялся всеми благородными чувствами, всеми высокими нравственными мотивами:

До сей поры, в несчастьи и в нужде
Искал я истины, святой и непреложной...

И Егор Иванович, действительно, стремился к истине, сохранив в себе свое нравственное достоинство, и никогда не поступался им ради материальных выгод:

Я не родился пресмыкаться
У ног бездушных палачей,
Льстецом презренным изгибаться
Перед толпою богачей...

Несмотря, однако, на благородные задатки характера, он редко испытывал сочувствие и симпатию других лиц, так что не одни только внешние житейские неурядицы, но и нравственное одиночество и заброшенность были его уделом:

В толпе людей я был чужой,
И в шуме света, как в пустыне,
Я шел неведомой тропой
От самой юности доныне.

. . . . . .

Вокруг меня мелькали лица,
Я их на память призывал,
Но голос мой, как свод темницы,
Одно лишь эхо издавал.

Нечего и говорить, что на своем жизненном пути он почти вовсе не встречал таких людей, которые бы сочувственно отнеслись к его стремлениям к поэзии и искусству,— большинство, напротив, насмехались над подобными порывами, считая их ребяческими затеями, не ведущими ни к какой цели. Да иначе и не могли относиться к этому люди из той среды, в которой вращался г. Назаров.

Все это, вместе взятое, привело к тому, что его стихотворения носят крайне грустный отпечаток: он с горечью оплакивает свои юношеские меч-

ты, разочарованно смотрит на людей и видит всюду одни лишь темные стороны жизни. Все это, конечно, вполне естественно, и никто не упрекнет его в фальши, когда он говорит:

Рад бы запеть я песню веселую,
Сердце потешить, грусть одолеть;
Нет, все про горе и долю суровую
Как-то невольно приходится петь!

Разбитые идеалы, неосуществленные надежды привели к тому, что поэт в ту пору, когда у других во всей силе проявляется энергическая деятельность, когда еще далеко не исчерпаны «радости жизни», кажется прежде времени утратившим свою молодость. Нет для него впереди радости и счастья, и безысходной скорбью звучит его песня.

Рано, рано жизни холод
В сердце бедное проник,—
По летам я еще молод,
По кудрям давно старик!..

В нашу задачу не входит рецензирование стихотворений г. Назарова, но мы не можем пройти молчанием некоторые пункты. Мы сказали, что стих г. Назарова довольно выработан, но это, конечно, надо понимать относительно. Из приведенных выше цитат читатель может заметить, что стих его гладкий и свободный и не лишен образности; зато у него встречаются часто и некоторые шероховатости, подчас не вполне точные соблюдения размера и даже неправильные выражения. Чтобы не быть голословными, приведем примеры.

Не соблюден размер.

Рубище ветхое, лицо испитое,
Жертва забот и труда.

или:

Кто собственной кровью их плен искупил,
Врагу кровожадному главу сокрушил.

или:

Разрушитель общей карты,
Завоеватель француз...

В следующих местах встречаем неправильные и неупотребительные выражения:

1) Я стоик был с *издетских лет*
2) Видел все, со всем знакомился,
Всюду *дрался* напролом...
3) В наш век реальный и практичный
Поэзия есть просто чепуха,
И голос муз, и прелести стиха
Предметы *завали* античной

и т. д. и т. д.

Что касается вообще внутреннего содержания, то поэзия г. Назарова весьма симпатична, хотя есть вещи, которые действуют неприятным образом. Таково, например, его стихотворение «К характеристике евреев»; давно бы пора отрешиться от огульной ненависти к евреям, не следовало бы забывать, что среди них не всегда были только гешефтмахеры и эксплуататоры; такие имена, как Спиноза, Гейне, Мендельсон и др., навсегда останутся украшением рода человеческого.

ЕЛЕЦ. ТОРГОВАЯ УЛИЦА
Открытка. Начало 1900-х годов
Собрание С. В. Красновой, Елец

Впрочем, следует заметить, что г. Назаров, судя по его другим стихотворениям, возвысился до понимания не одного только внешнего величия государства, но по достоинству оценивает многие общественные и нравственные идеалы.

Некоторые стихотворения г. Назарова очень хороши, как, например, «Памяти Надсона», «Встреча Нового года», «Море житейское» и другие. Вот третье из указанных стихотворений целиком:

Море житейское, море глубокое,
Волны свирепые, бури жестокие
Вечно тревожат бездонное море,
Тонут бесследно в нем радость и горе.
Вечно волнуется племя людское,
Войны, пожары, голод, разбои,
Клятвы, обеты в любви неизменной,
Ненависть, злоба, недуг прокаженный,
Стоны и вопли застигнутых роком —
Все заливается общим потоком,
Все поглощает бурливое море:
Счастье, надежды, радость и горе.

Вообще, мы повторяем, что сложись иначе обстоятельства, из г. Назарова вышел бы хороший поэт; но ему не было ни откуда помощи и поддержки.

В чем же, однако, спросят нас, могла бы выразиться эта помощь? Ответ на этот вопрос очень прост. Не говоря исключительно о г. Назарове, следует сказать, что интеллигенция могла бы не упускать из виду подобных личностей, вводить их в круг широких, умственных интересов, стараться развивать эстетический вкус и пр. Личное знакомство и советы

также могли бы сыграть здесь значительную роль. Литературная критика также не должна бы проходить молчанием эти явления и, при разборе подобных сочинений, нельзя ограничиваться одной иронией, что обыкновенно достается в удел им.

«Родина», 1888, № 24, 12 июня, стлб. 630—634. Подпись: Н. Бунин (в инициале —опечатка).

Егор Иванович *Назаров* (1849 <?> — 1900) — елецкий мещанин, участник суриковского кружка поэтов-самоучек, автор двух стихотворных сборников, вышедших под одинаковым названием — «Собрание стихотворений Е. И. Назарова» (М., 1888; Елец, 1889). Статья о нем — первый критический опыт Бунина. Она написана под непосредственным впечатлением его знакомства с Назаровым. Впоследствии, вспоминая о том «страстном интересе вообще к писателям», который владел им в ранней юности, Бунин добавляет: «даже к таким, каким был, например, некто Назаров». И далее рассказывает о своей встрече с ним: «Озерский кабатчик как-то сказал мне, что в Ельце появился „автор". И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым...» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 259—260).

Это знакомство имело для Бунина важные последствия. В январе 1889 г. издательница «Орловского вестника» Н. А. Семенова предложила ему, через посредство Назарова, место помощника редактора газеты («Материалы», стр. 18; «Жизнь Бунина», стр. 50). В то же время, также благодаря Назарову, Бунин познакомился с И. А. Белоусовым, который впоследствии ввел его в круг будущих участников «Среды». Когда в конце 1888 г. Белоусов, в ту пору один из самых активных деятелей суриковского кружка, послал Назарову свою первую книгу («Из „Кобзаря" Тараса Шевченко и украинские мотивы». Киев, 1887), Назаров попросил его выслать еще один экземпляр «для начинающего поэта И. А. Бунина» (Иван Белоусов. Литературная Москва. М., 1929, стр. 62). Просьба была выполнена, и 19 января Бунин благодарил Белоусова за полученную через Назарова книгу (ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 1). Это письмо положило начало их знакомству и переписке.

Память о Назарове Бунин сохранил надолго — впоследствии он признавался, что этот поэт-самоучка в какой-то степени послужил ему «прототипом Кузьмы» в повести «Деревня» («Жизнь Бунина», стр. 50).

Статья Бунина посвящена первому сборнику Назарова (все стихи, приведенные в ней, цитируются по этому изданию). Вероятно, из бесед с Назаровым почерпнуты те биографические сведения, которые сообщает Бунин; ныне его статья — почти единственный источник биографии этого участника суриковского кружка (краткие сведения о нем см. также в сб.: «И. З. Суриков и поэты-суриковцы». М.— Л., 1966, стр.349).

Кроме Бунина, появление книги Назарова отметил также рецензент газеты «День», зло высмеявший писателя-самоучку (К. Говоров. Лилипуты поэзии.— «День». СПб., 1889, № 462, 20 сентября).

МАЛЕНЬКАЯ БЕСЕДА

Предисловие А. С. Логвинова

Эта полемическая статья молодого Бунина содержит резкую критику реакционных воззрений на развитие русской поэзии после Пушкина. Она позволяет отчетливее представить себе литературные позиции Бунина на рубеже 1880-х—1890-х годов, в пору его наибольшего сближения с радикально-демократическими кругами провинциальной интеллигенции в Харькове, а затем в Орле.

Статья была направлена против петербургского журнала «Север», основанного в 1888 г. Вс. С. Соловьевым. В первые три года существования этого «еженедельного литературно-художественного журнала» его редактором был П. П. Гнедич. С начала 1891 г. редактирование журнала взял на себя издатель[1]. Направление «Севера» от этого не изменилось — во все четыре года (1888—1891) оно было реакционно-националистическим, верноподданническим, в духе идей Победоносцева и Каткова. Но содержание журнала в 1891 г. стало несколько иным — за счет уменьшения количества репродукций шедевров живописи была сделана попытка расширить литературный отдел, в частности, был введен отдел критики и библиографии.

В осуществление обновленной программы журнала во втором номере за 1891 г. и была напечатана (без подписи) статья о новых сборниках стихотворений Я. П. Полонского («Вечерний звон». СПб., 1890) и А. А. Фета («Вечерние огни», вып. 4. М., 1891) — статья, давшая повод для выступления Бунина. Анонимный автор ее намечал следую-

щую картину развития русской поэзии: ее расцвет в пушкинскую эпоху, когда появилось «много настоящих поэтических талантов», сменился периодом упадка, начало которому положил Некрасов, создавший «рифмованную, рубленую прозу с „гражданскими“ мотивами, с односторонними, часто фальшивыми тенденциями» — его объявили тогда «настоящим, чуть не гениальным поэтом — и стали освистывать всю пушкинскую школу». Следствием этого было «полное охлаждение русского общества к поэзии». Но дальше произошел новый поворот, начавшийся с момента открытия памятника Пушкину. «Русское общество почувствовало, что поэзия не вздор, а великая сила и великое наслаждение». Веря в возрождение русской поэзии, автор радостно приветствует «чудесные звуки еще не умолкнувшей лиры последних из преемников Пушкина» — Полонского и Фета.

Можно думать, что статья эта была написана самим Вс. С. Соловьевым,— во всяком случае, она очень близка по мыслям к напечатанной двумя годами раньше его статье «А. А. Фет» («Север», 1889, № 5, стр. 95; подпись: «Изд-ль»).

Возражая автору статьи в «Севере», Бунин берет под защиту Некрасова и его поэзию, говорит о праве поэта затрагивать «общественные мотивы», обосновывает это право ссылкой на известное положение эстетики реализма — «поэзия везде, где есть жизнь». Характерно, что Бунин решительно отвергает преувеличенно высокую оценку поэзии Фета, но при этом умалчивает о Полонском, которому он был многим обязан в собственном поэтическом развитии.

Некоторые положения «Маленькой беседы» сходны с мыслями, высказанными Буниным в более ранней статье «Недостатки современной поэзии», напечатанной в журнале «Родина», 1888, № 28 (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 487—494). Так, в «Маленькой беседе» читаем: «...романтизм расширил область поэзии до пределов всего возможного и понятного...»; ср. в названной выше статье 1888 г.: «Романтизм значительно расширил пределы поэтического творчества: жизнь сердцем и искреннее проявление нежных чувств составляли главное содержание романтических произведений» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 488).

Другой пример: «...поэт такой же член общества, как и все, и потому не может обращать „нуль внимания“ на его запросы»; ср. в ранней статье: «...поэт должен проникаться всеми радостями и печалями людскими, быть искренним выразителем нужд и потребностей общества, направить ближних к добру и прекрасному» (там же, стр. 489).

Во втором номере иллюстрированного журнала «Север», в отделе библиография, помещена заметка по поводу издания новых сборников стихотворений г.г. Полонского и Фета...

Сам по себе этот факт, конечно, не дает повода беседовать о нем с читателями: заметка и невелика и бездоказательна. Но сила в том, что она представляет вариацию на очень распространяющийся за последнее время мотив.

Вот против этого-то мотива мы и хотим сказать несколько слов. За образец нам послужит заметка «Севера».

Основные мысли ее суть: Пушкин был великим поэтом, и его эпоха была эпохой расцвета поэзии (совершенно верно!); затем поэзия упала: явился Некрасов, внес новый дух, дал новые мотивы, но под конец «совсем исписался,печатал зачастую невообразимый вздор, давал кучу никуда негодной дряни». Разные последователи его понесли ту же участь: так, например, Надсона, которого было стали венчать лаврами, «читают теперь одни жиды». К счастью, так продолжалось недолго: общество сознало, что только Фет и его мотивы — истинная поэзия, и потому «нельзя не приветствовать» появления в свет его нового сборника. Вот и все. Нескладно, а здорово...

На первую мысль, разумеется, сказать нечего: автор заметки взял ее из прописей. Против второй, выраженной, кстати сказать, уж очень грубо, многое можно возразить...

Во-первых, неужели неизвестно г. библиографу «Севера», что «поэзия везде, где есть жизнь»?.. [2]

Во-вторых, не помнит ли он, что сам Пушкин завещал поэту «глаголом жечь сердца людей»?..

В-третьих, мы еще посмотрим, насколько не исписался г. Фет и следует ли его «приветствовать»...

Против первого положения было, конечно, простительно восставать г. Сумарокову; но простительно ли это человеку, наверно слыхавшему, что романтизм расширил область поэзии до пределов всего возможного и понятного, что поэт такой же член общества, как и все, и потому не может обращать «нуль внимания» на его задачи, что, наконец, поэзия с течением времени расширяется, развивается и видоизменяется?! А ведь говорить, что Некрасовы и их мотивы «дрянь», болезненные уклонения поэзии с истинного пути, говорить, что надо приветствовать только Фета как истинного представителя поэзии,— ведь это, по меньшей мере, странно, если не больше...

Некрасов — представитель нового духа поэзии, поэт, затронувший общественные мотивы; затронул он их, может быть, и неверно, но как же говорить, что совсем-то не следует затрагивать таких мотивов? Какое же это будет «развитие», какое же это движение «колеса», с которым автор заметки сравнивает общественную жизнь? И можно ли «жечь сердца людей» фетовскими стихотворениями? Мы вовсе не отрицаем их значения, но разве уж только в них в одних значение?.. Интересно было бы знать, что скажет автор заметки на эти вопросы.

Что же касается того, следует ли «приветствовать» г. Фета за его последние стихотворения, покажем сейчас на примере. Все последние стихотворения его печатались в наших периодических журналах, и мы уже приводили их как образец поразительной «оригинальности» [3].

Вот, например, какие строки находим мы в стихотворении, помещенном в «Ниве» за прошлый год:

Только что сирячется солнце,
Неба затеплив красу,
Тихо к тебе под оконце
Песню свою понесу.
. . . . . .
Как бы за легким вниманьем
В вольное сердце дотоль,
Вслед за его состраданьем,
Та же не вкралася боль... (?) [4]

Или тоже в «Ниве», уже раз приведенное нами:

Сновиденье,
Пробужденье!
Тает мгла...
. . . . . .
Без усилий.
С плеском крылий
Залетать,—
В мир стремлений,
Преклонений
И молитв!..
Радость чуя!
Не хочу я
Ваших битв... [5]

Но интересней всего начинается стихотворение г. Фета в «Царь-Колоколе»:

За вздохом утренним мороза
Румянец уст приотворя (!),
Как сладко улыбнулась роза
В день мимолетный сентября... [6]

Сумеете вы, г. библиограф «Севера», объяснить нам его и доказать, что приведенные стихотворения не в пример «лучше» * некрасовских и надсоновских?

Может быть, они и подходят в какой-нибудь журнальчик для отдела «Афоризмов и шарад», но «приветствовать» их как образцы настоящей истинной поэзии... Как вы думаете? — можно?

«Орловский вестник», 1891, № 27, 27 января, без подписи. Авторство Бунина доказывается карандашной пометой: *Бун.* в редакционной подшивке газеты (Гос. архив Орловской обл., № 203-а). Под рубрикой «Маленькая беседа» в газете постоянно печатались заметки о современной литературе.

В сокращенном виде текст «Маленькой беседы» был процитирован в статье: Гольдин, стр. 18—19.

[1] Со второго полугодия 1891 г. издателем «Севера» стал Е. А. Евдокимов. Вс. С. Соловьев оставался редактором до начала октября того же года, затем редактором стал Вл. А. Тихонов, при котором журнал приобрел характер либерального издания.

[2] Бунин опирается здесь на одно из основных положений эстетики реализма. Выдвинутое Белинским и развитое после него Добролюбовым и Чернышевским, оно всегда служило оружием в борьбе передовой критики против антиреалистических и антидемократических воззрений на литературу.

[3] О каком выступлении «Орловского вестника» против стихов Фета идет речь, установить не удалось.

[4] «Нива», 1890, № 20, стр. 513 (см. А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959, стр. 316—317).

[5] «Quasi una fantasia».—«Нива», 1890, № 13, стр. 342 (А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений, стр. 317). Приведено в «Орловском вестнике», 1890, № 76, 10 апреля, в отделе «Из наших поэтов».

[6] «Сентябрьская роза».— «Царь-Колокол», 1891, № 4, стр. 57 (А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений, стр. 152).

ПАМЯТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Предисловие А. С. Логвинова

С поэзией Шевченко Бунин познакомился еще в юные годы. В. Н. Бунина, рассказывая о его приезде в феврале 1889 г. к брату Юлию в Харьков, где он прожил около двух месяцев, сообщает, что Иван Алексеевич «по утрам проводил несколько часов в библиотеке, где стал знакомиться и с литературой по украиноведению, читал и перечитывал Шевченко, от которого пришел в восхищение...» («Жизнь Бунина», стр. 55). Общение с демократической украинской интеллигенцией в Харькове несомненно усилило интерес Бунина к Шевченко, но и до приезда на Украину он уже достаточно хорошо был знаком с творчеством великого Кобзаря. Об этом убедительно свидетельствует его переписка с И. А. Белоусовым.

В январе 1889 г. Белоусов прислал Бунину свою книгу «Из „Кобзаря“ Т. Г. Шевченко и украинские мотивы» (Киев, 1887). Отвечая ему, Бунин писал, что книга на него «произвела хорошее впечатление, во-первых, своим легким и отделанным стихом и, во-вторых, тем, что в ней есть несколько переводов (весьма верных и вообще хоро-

* *В газетном тексте очевидная опечатка* — «хуже».

ших) тех из стихотворений Шевченко, которые замечательны по глубине и теплоте чувства. Мне только жаль, отчего вы не перевели и не поместили в вашу книжечку такие, например, превосходные и высоко-поэтические вещи Тараса Григорьевича, как „Як умру я, поховайте...“, „Думи мої, думи мої...“, „И широкую долину...“ (кажется так?), „Огни горять, музика грає...“ и т. п. Не оттого ли, что у них есть уже переводы? Если так, то вы отчасти правы, но правы опять-таки отчасти — и вот почему: многие из переводов названных мною стихотворений Тараса Григорьевича не совсем удачны и вообще стоят много ниже подлинника. Так, например, перевод стихотворения „И широкую долину...“, сделанный А. Н. Плещеевым (кажется, им), по моему мнению, не совсем хорош; он начинается так:

И долину, и могилу,
И вечерний тихий час,
Все, что снилось, говорилось,
Вспоминал я много раз...

Но уже по началу можно судить, как мало он передает подлинник. Самый измененный размер много портит дело. Вспомните, Иван Алексеевич как хорош первый куплет этого стихотворения у Шевченко! Какая глубокая, поэтическая грусть и как музыкально звучит она в конце этого куплета — „... Не забуду я!..“»[1]

В 1900 г. Бунин и сам занялся переводами из «Кобзаря» Шевченко. В «Журнале для всех» (1900, № 12) он напечатал перевод первой строфы «Заповіта» и начальных восьми строк стихотворения «Закувала зозуленька...»[2]

Не только поэзия Шевченко привлекала Бунина — его интересовала также личность Шевченко и история его жизни. Характерно, что самое первое свое путешествие по Украине, когда он летом 1890 г. на барже с дровами проплыл от Киева вниз по Днепру, он предпринял, главным образом, для того чтобы побывать на могиле Шевченко. Об этом посещении подробно рассказано в книге В. Н. Буниной: «Он признавался, что ни одна могила великих людей его так не трогала, как могила Шевченко, находившаяся близ старинного города Канева, „места крови“, где почивают на старинных кладбищах герои и защитники казачества. Могила находится на горе, откуда открывается вид на Днепр, на далекие долины, на рассыпанные села, на то, что так любил украинский поэт. Могила простая, с белым крестом, а рядом окруженная мальвами, маком и подсолнечниками белая хатка, мечта, не сбывшаяся в жизни Шевченко. В хатке на стене — большой портрет поэта, а на столе — „Кобзарь“» («Жизнь Бунина», стр. 64).

Помимо устных воспоминаний Бунина, которыми в своей книге вообще широко пользуется В. Н. Бунина, она, передавая впечатление, произведенное на него могилой Шевченко, опиралась также на рассказ «Казацким ходом» (ранее называвшийся «На „Чайке“»). Здесь Бунин рассказывал о своей поездке по Украине, о том, как он «ждал увидеть вечное пристанище того, кто так горячо любил все это, кто воплотил в своих песнях всю красоту своей родины вместе с горестями своей страдальческой жизни...» (Собр. соч. 1965—1967, т. 2, стр. 432). «Впоследствии я бывал на могилах многих великих людей, но ни одна из них не произвела на меня такого трогательного впечатления, как могила украинского кобзаря. И в самом деле,— чья могила скромнее и в то же время величественнее и поэтичнее?» (там же)[3].

В годы эмиграции, особенно часто во время работы над «Жизнью Арсеньева», Бунин обращался к воспоминаниям молодости. В одном из эпизодов пятой книги романа герой его, разговаривая с Ликой, признается в своей любви к Украине и вспоминает при этом стихи Шевченко: «Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачім»[4]. И далее поясняет: «Это Шевченко,— совершенно гениальный поэт!» (т. 6, стр. 260). Не приходится сомневаться, что в этих словах выразилось то отношение к Шевченко, которое было и у самого Бунина в годы его жизни на Украине. Можно думать также, что это отношение не изменилось у Бунина до конца его дней.

Статья «Памяти Т. Г. Шевченко», написанная к 30-летию со дня смерти поэта и не включенная по непонятным соображениям в последнее собрание сочинений Бунина,

должна занять свое место в ряду его литературно-критических статей. Несмотря на узкие рамки газетной статьи, Бунин обнаружил в ней хорошее знание биографической литературы о Шевченко, которая могла быть тогда доступна ему; статья свидетельствует также о незаурядном знании автором поэзии Шевченко и о серьезном, вдумчивом к ней отношении[5].

[1] «Радянське літературознавство». Київ, 1957, № 4, стр. 133, публикация И. Д. Бажинова (подлинник в ЦГАЛИ: ф. 66, он. 1, ед. хр. 534, л. 2—3 об.).

[2] Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 395 («Завещание») и 396 («Во зеленой, темной роще...»). В том же номере «Журнала для всех» (1900, № 12), рядом с названными переводами из Шевченко, было напечатано оригинальное стихотворение Бунина «Как светла, как нарядна весна!...» (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 116). Некоторыми читателями оно было принято тоже за перевод из Шевченко. Так, С. В. Рахманинов, написавший музыку на эти стихи, обозначил автора текста — «Бунин — из Шевченко» (С. В. Рахманинов. 15 романсов. 1906. Соч. 26). Эта ошибка в изданиях романсов Рахманинова и в работах о нем остается неисправленной.

[3] О поездках Бунина по Украине и об отражении их в его очерках и рассказах 1890-х годов см. настоящ. кн., стр. 65—66.

[4] Строки из стихотворения Шевченко «До Основ'яненка» (1839).— Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у шести томах, т. I. Київ, 1963, стр. 62.

[5] О публикуемой статье Бунина см. также в книге: Ф. Я. Прийма. Шевченко и русская литература XIX века. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 404—405.

Тридцать лет тому назад, 26 февраля 1861 года, утром в половине шестого, умер Тарас Григорьевич Шевченко, один из народных поэтов и самых талантливых и благородных людей... Поэтому сегодня невольно вспоминается яснее нравственный образ поэта-самоучки, невольно приходят в голову его задушевные песни и думы, полные самой простой высокой поэзии и красоты, и хочется посвятить его памяти хотя несколько слов...

Помните грустную историю его жизни? Вот что найдете вы в его биографии. Тарас Шевченко — сын крепостного крестьянина, Григория Шевченко. Родился в 1814 году, 25 февраля, в с. Кириловке Звенигородского уезда, Киевской губернии[1], в имении помещика. На восьмом году, лишившись отца и матери[2], он приютился у дьячка в школе в виде школяра — «попыхача». Эти школяры были в отношении к дьячкам то же самое, что мальчики, отданные к ремесленникам на выучку. Представьте же себе, что́ мог требовать от него дьячок, горький пьяница, и что́ сирота Тарас должен был исполнять с рабской покорностью?!

Но как бы то ни было, он в течение двух лет прошел «грамматику», «числовец» и, наконец, псалтырь. Под конец школьного курса дьячок посылал его читать вместо себя по умершим и вознаграждал его десятой копейкой из полученных грошей за чтение. Дьячок обращался жестоко не с одним Тарасом, но и со всеми своими учениками, так что все они глубоко ненавидели его, обманывали и приучались делать ему всевозможные пакости. «Этот мой первый деспот,— говорит Шевченко,— поселил во мне на всю жизнь отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим»[3]. Детское оскорбленное сердце все-таки не вынесло: украв у дьячка какую-то книжечку с картинками, он ночью бежал в местечко Лисянку.

Там он нашел себе нового учителя в особе маляра-дьякона, который мало отличался от прежнего. Три дня Тарас терпеливо таскал воду, растирал ему краски, но и тут терпение лопнуло: Тарас бежал и на этот раз тоже к дьячку-маляру, надеясь усвоить его искусство. Но дьячок посмотрел на его левую ладонь и наотрез заявил, что из Тараса ничего не выйдет.

Потеряв надежду обучиться «хитрому» искусству маляра, Тарас возвратился в родное село, попал к своему помещику[4] и очутился в комнатных казачках. Казачки играли для панской потехи веселые двусмысленные песенки, плясали,— словом, были, как говорят поляки, «туды-

сюды-навприсюды»[5]. Сидя в передней в минуты отдыха, он постоянно напевал гайдамакские унылые песни и украдкой срисовывал картины суздальской школы в панских покоях.

Пан был человек деятельный: он беспрестанно ездил то в Киев, то в Вильно, то в Петербург и таскал за собою Тараса по разным постоялым дворам, где последний, по своей страсти к живописи, похищал со стен лубочные картинки и срисовывал с них, за что раз жестоко и поплатился своими ушами и вихрами. Так дожил Тарас до 18 лет. Помещик, потеряв надежду на его лакейскую расторопность, отдал его, наконец, на четыре года в Петербург к некоему живописцу Ширяеву. Ширяев соединял в себе все качества прежних наставников Тараса, но, несмотря на это, Тарас учился с любовью и почти каждую светлую весеннюю ночь бегал в Летний сад рисовать со статуй. Тут он нечаянно познакомился с художником Сошенко, через него с Григоровичем, секретарем Академии художеств, потом с В. А. Жуковским и, наконец, был выкуплен у помещика. Начав посещать классы Академии, он вскоре сделался одним из любимейших учеников Брюллова.

В 1844 году Тарас Шевченко удостоился звания свободного художника[6] и уехал в Киев. В 1847 году он был вместе с историком Костомаровым, Кулишом и многими другими выслан из Киева за сочувствие обществу, имевшему в виду объединение славян[7]. Кроме того, к высылке его способствовало и одно его не напечатанное стихотворение «Сон»[8].

«Знакомство мое с Т. Шевченко,— рассказывает Костомаров в своей „Автобиографии",— совершилось необыкновенно быстро. На другой же день мы говорили друг другу „ты". Долгие вечера просиживали мы летом на Крещатике в саду за чаем. Нескончаемые велись между нами разговоры и споры. Шевченко выпивал стакан за стаканом со словами: „А всыпьте, будьте ласковы, ще чаю". Теплая, благодатная малороссийская ночь не раз заставала нас таким образом»[9].

В «Русской старине» находим такие подробности этого дела.

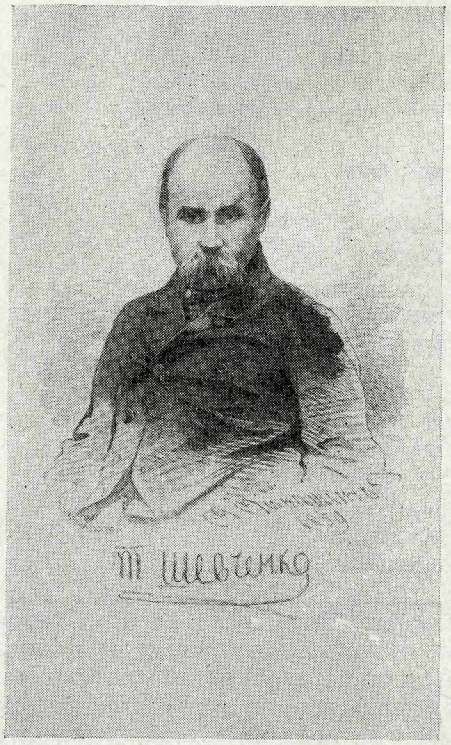
Арестован был Шевченко на дороге, когда ехал на свадьбу Костомарова. «Взял побрился,— рассказывал Шевченко,— надел белый галстук, фрак и сошел на паром через Днепр. Тут меня цап и прямо к некоему Фундуклею[10]. Тот засмеялся, как меня увидел: „Что это вы, Тарас Григорьевич, в белом галстуке и фраке?"—„Я боярином на свадьбе у Костомарова".— „Ну, куда жениха, туда и бояр повезут!" — „Добре весилле",— подумал я»[11].

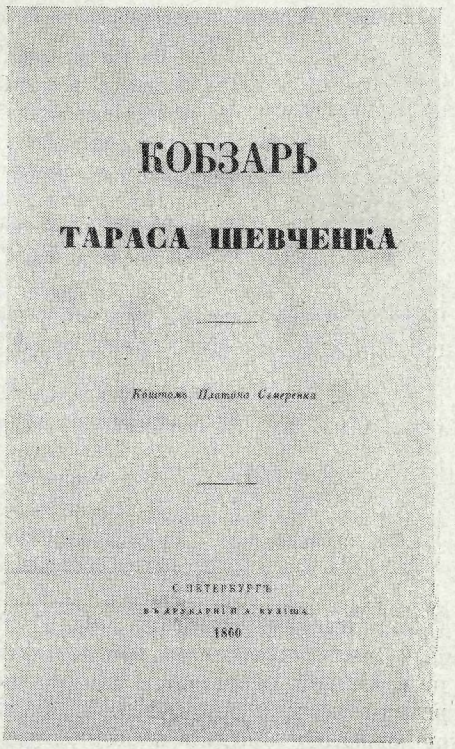
Первое время к своему положению Тарас Григорьевич относился очень спокойно. Так, например, он все время на допросах шутил и острил. «Вот запоет теперь ваша муза»,—сказал ему один жандармский офицер.—«Да який же черт мене сюды занис, як не ся проклятая муза!»— ответил ему Шевченко[12].

Но дело приняло очень дурной оборот. В мае 1847 года его зачислили рядовым и повезли в Орскую крепость, в киргизские степи. «Мы видели перед отправлением,— рассказывает Костомаров,— как вывели Шевченко на двор в солдатской шинели. Он улыбался... Я заплакал глядя на него»...[13]

Там, в Орской крепости, Шевченко провел несколько лет среди грустной, однообразной местности: обнаженные серые горы, тощие речки Урал и Ор, а за ними выжженные зноем, засушенные ветром киргизские степи...

При всем этом Тарасу Григорьевичу было запрещено даже писать и рисовать. «Вы непременно рассмеялись бы,— пишет он про тогдашнее свое положение,— если бы увидели меня теперь; вообразите себе неуклюжего гарнизонного солдата, растрепанного, небритого, с чудовищными усами — и это буду я! Смешно, а слезы катятся»[14]...




КОБЗАРЬ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Коштом Платона Симеренка

С ПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ДРУКАРНІ П. А. КУЛІША

1860

«КОБЗАРЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО» (СПб., 1860)
Второе издание
Фронтиспис и титульный лист

Из Орской крепости поэт был переведен в Ново-Петровскую и провел там семь лет.

Только в 1858 году, за три года до смерти, он был освобожден [15] и мог увидеть свои зеленые степи, своих братьев и сестру. После свидания с ними он поселился снова в столице, намереваясь работать — рисовать, писать. Но здоровье было уже разрушено, веселость пропала, и через три года он умер.

По характеру, по своему крайне простому образу жизни, Тарас Григорьевич был замечательным человеком. Все знакомые любили поэта за его искренность, задушевность и малороссийский юмор. Его, например, страшно любили дети, а «кого любят дети, тот еще не совсем поганый человек» [16], по его же выражению. Рассказывают, что дамы любили шутить над его мешковатостью и повторяли, что «в него нелегко влюбиться». Тарас Григорьевич в ответ им напевал с доброю улыбкой:

Дунул ветер и Авдей
Полюбился снова ей,
Дунет ветер еще раз
И полюбится Тарас... [17]

Вообще то, что светилось в песнях и думах Тараса Григорьевича, было сразу заметно и в его характере. Только в первых, как в выразителях его лучших поэтических минут, было больше грусти, оставленной невеселою судьбою.

«Не пытай моих ты песен»,— говорил он в одном стихотворении:

Не пытай моих ты писень,
Сестро моя мила!
Цур им: вони сумни, смутни,
Як тая могила.
Нам з тобою, моя сестро,
Не ходити в пари:
Твое сонце свитить ясно,
Мое ж давно в хмари... [18]

Или помните его «Думи мої, думи мої», «Катерина», «Наймичка», «Огні горять, музыка грає...», «Сонце заходить...»

Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихие, поле німіє,
Радіють люди, що одпочинуть,
А я дивлюся... и серцем лину
В темний садочок на Україну;
Лину я, лину, думу гадаю,
И ніби серце одпочиває... [19]

«Украинская строгая муза,— говорит про себя Тарас Григорьевич,— долго чуждалась моего вкуса, извращенного ⟨жизнию⟩ в школе, в помещичьей передней... Но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых дней детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, приласкала меня на чужой стороне...» [20]

Да, на чужой стороне... Только смерть возвратила его на родину, только могила его среди приднепровских степей. Говорят — хорошо там: веет вольный степной ветер, далеко разлился Днепр, далеко стелятся степи, синеют «могилы», греет южное жаркое солнце, да зеленеет высокая трава.

«Орловский вестник», 1891, № 56, 26 февраля. Подпись: И. Бунин.

[1] Т. Г. Шевченко родился в с. Моринцы, того же Звенигородского уезда; в Кириловку его семья переехала, когда будущему поэту исполнилось два года. Кириловку как место своего рождения назвал сам Шевченко в автобиографическом письме к редактору журнала «Народное чтение» от 18 февраля 1860 г. («Народное чтение», 1860, № 2, стр. 230; см. также: Тарас Шевченко. Собр. соч., т. 5. М., 1964—1965, стр. 244).

[2] Мать Шевченко умерла в 1823 г., когда ему было девять лет; отец его умер в 1825 г. Бунин повторяет неточность, допущенную самим Шевченко в автобиографическом письме («Народное чтение», стр. 230).

[3] Неточная цитата из автобиографического письма 1860 г.— «Народное чтение», стр. 231.

[4] Семья Шевченко принадлежала в то время Павлу Васильевичу Энгельгардту, только что унаследовавшему состояние после смерти отца своего В. В. Энгельгардта.

[5] Неточная цитата из автобиографического письма («Народное чтение», стр. 233).

[6] Звание свободного художника Шевченко получил в марте 1845 г.; неточная дата — 1844 г.— указана самим Шевченко в его автобиографическом письме («Народное чтение», стр. 235).

[7] Кирилло-Мефодиевское общество возникло в Киеве в начале 1864 г. Организаторами и членами общества были молодые украинские писатели и ученые — Н. И. Костомаров, Н. И. Гулак, Т. Г. Шевченко, П. А. Кулиш и др. Задачами общества были: уничтожение крепостного права, создание общеславянской федеративной демократической республики, просвещение народа, издание книг и журнала на украинском языке (см. П. А. Зайончковский. Кирилло-Мефодиевское общество (1846—1847). М., изд. МГУ, 1959).

[8] Поэма «Сон» (1844) — одно из наиболее значительных произведений поэта, насыщенное страстной ненавистью к самодержавию. Сатирическая характеристика в нем самого Николая I и его жены привлекла особое внимание III отделения и более всего определила участь Шевченко. Впервые «Сон» был опубликован во Львове, в 1865 г.

Вплоть до революции 1905 г. стихотворение было запрещено в России, но широко распространялось в списках (см. Тарас Шевченко. Собр. соч., т. 1. М., 1964—1965, стр. 252—267).

[9] Н. И. Костомаров. Автобиография.— «Русская мысль», 1885, № 5, стр. 211 (цитата приведена неточно). См. также: «Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников». М., 1962, стр. 149.

[10] Иван Иванович *Фундуклей* — киевский губернатор в 1839—1852 гг.

[11] Н. И. Костомаров. Автобиография, стр. 218 (цитата приведена неточно).

[12] Там же; этот же эпизод был рассказан Костомаровым в «Письме к М. И. Семевскому», опубликованном в «Русской старине», 1880, № 3, стр. 601; очевидно, Бунин ссылается выше на этот источник, когда упоминает о «Русской старине».

[13] Там же, стр. 219 (цитата приведена неточно).

[14] Из письма Шевченко к кн. В. Н. Репниной от 24 октября 1847 г. Выдержки из этого письма (как и из других писем поэта к ней) были приведены впервые в статье Н. И. Стороженко «Первые четыре года ссылки Шевченка» («Киевская старина», 1888, кн. 10, стр. 7; см. также: Тарас Шевченко. Собр. соч., т. 5, стр. 280; у Бунина цитата не вполне точна).

[15] Шевченко был освобожден от солдатской службы в июле 1857 г. Он покинул Ново-Петровское укрепление 2 августа того же года.

[16] Эти слова Шевченко привела в воспоминаниях о нем С. Крапивина (Степанида Матвеевна Лобода). Ее воспоминания «Несколько слов о Тарасе Шевченко» были опубликованы в журн. «Пчела», 1875, № 42, 2 ноября (см. также: «Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников», стр. 362). Бунин мог найти приводимые им слова и в книге: «Жизнь и произведения Тараса Шевченко (свод материалов для его биографии)». Сост. М. К. Чалый. Київ, 1882, стр. 145.

[17] Этот эпизод сообщен в воспоминаниях Натальи Усковой, дочери коменданта Ново-Петровской крепости И. А. Ускова. Первоначально они были опубликованы в «Киевской старине», 1889, кн. 2, стр. 303; перепечатаны в книге: «Спогади про Шевченка». Київ, 1958, стр. 308.

[18] Из стихотворения «До сестры», которое было опубликовано в «Киевской старине», 1885, № 3, стр. 522, как написанное Шевченко и адресованное В. Н. Репниной. Через два года она сама заявила в печати, что автором этого стихотворения Шевченко не был («Русский архив», 1887, № 6, стр. 258). Не зная об этом, И. А. Белоусов включил перевод стихотворения «До сестры» в свой сборник 1887 г. Печаталось оно и в тогдашних изданиях «Кобзаря»

[19] См. Тарас Шевченко. NN.— Повне зібрання творів у шести томах, т. 2. Київ, 1963, стр. 37.

[20] Неточная цитата из автобиографического письма 1860 г.— «Народное чтение», стр. 236.

НОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Предисловие А. С. Логвинова

Публикуемая статья, как и «Маленькая беседа» (см. настоящ. кн., стр. 296—299), содержит интересный материал для характеристики общественно-литературных позиций Бунина в первые годы его писательской работы. В этой статье — в редкой для Бунина форме прямого публицистического выступления — характерно решительное осуждение таких реакционных газет, как «Гражданин» и «Московские ведомости» (а также их подголосков в провинции), и не менее решительная поддержка передовой провинциальной печати, которая на рубеже 1880—1890-х годов нередко выражала взгляды земской интеллигенции, в частности, ее радикально-демократического крыла. Перед нами новое подтверждение того, что передовые идеи, которые вырабатывались в сознании юноши Бунина главным образом под влиянием старшего брата, были усвоены им достаточно прочно и глубоко.

Особый интерес представляет вторая часть статьи, где упоминается Салтыков-Щедрин. С произведениями великого писателя-сатирика Бунин познакомился во второй половине 1880-х годов, когда им овладела страсть к чтению и он жадно прочитывал все, что удавалось достать в деревне или в Ельце.

В ранних письмах к брату Юлию, которому Бунин обычно подробно рассказывал о прочитанном, встречаются упоминания и о Щедрине. 14 октября 1888 г. он называет рядом с «Анной Карениной» и «Дневником читателя» Н. М. (Н. К. Михайловского)

«Пестрые письма» Щедрина [1] (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 19 об.); 20 ноября того же года он сообщает о книгах, прочитанных вместе с соседями, тоже интересующимися литературой: «Читали в „Вестнике Европы" „Мелочи жизни" Н. Щедрина» [2] (там же, л. 8 об.); 25 ноября 1891 г. он писал из Орла: «Хожу в библиотеку, доканчиваю „афоризмы Щедрина"» [3] (там же, л. 55 об.). О глубоком уважении, с которым Бунин относился к Щедрину и его творчеству, свидетельствует с полной убедительностью и его стихотворение «Памяти М. Е. Салтыкова», написанное в связи с первой годовщиной со дня смерти писателя, напечатанное в «Орловском вестнике», 1890, № 94, 28 апреля (включено в настоящ. книгу, стр. 270; см. о нем статью: М. В. Минокин. Стихотворение Бунина о Салтыкове-Щедрине.— «Русская литература», 1960, № 3, стр. 204—206).

В свете сказанного становится понятным, почему выпад «Московских ведомостей» против «Орловского вестника» по вопросу, связанному с Щедриным, не мог не вызвать отповеди со стороны именно Бунина. Как известно, это и привело его к разрыву со струсившим редактором «Орловского вестника» и к прекращению работы в этой газете.

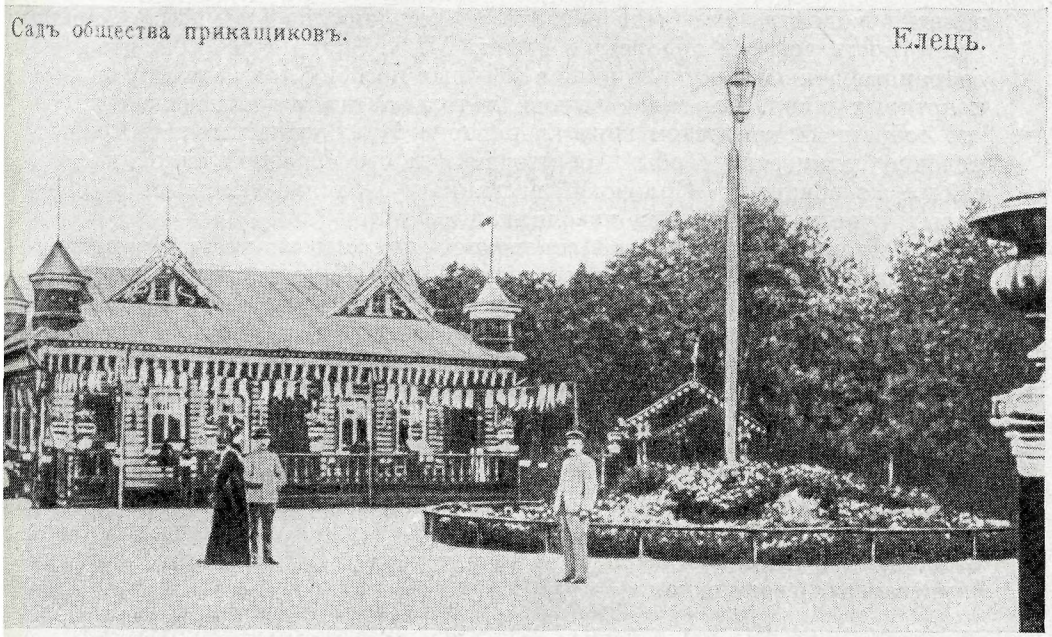
Положение современной литературы и печати вообще незавидно. Толки об упадке литературы даже надоели, и немудрено,— это заметно всякому мало-мальски образованному человеку. То же самое можно сказать и о печати — преимущественно о столичной периодической. Развиваясь количественно, она в значительной степени изменилась качественно. Столичные газеты вообще, за редкими исключениями, не представляют теперь руководящих органов с твердыми, определенными взглядами и с серьезным, искренним тоном статей и фельетонов.

Такое положение было вызвано прежде всего общим настроением наших дней, а затем и другими не менее важными условиями, которые явились неизбежным его следствием. Но обо всем этом так много было говорено, что мы не считаем нужным распространяться, а перейдем прямо к тому утешительному явлению, которое теперь уже можно отметить смелой рукой. Развивается и качественно и количественно печать провинциальная. Заметны свежие и новые течения мысли, слышны уж не прежние песни. В этом теперь не приходится и сомневаться.

Укажем для примера на недавно издающуюся в Киеве еженедельную газету, с очень оригинальным заглавием —«По морю и суше» [4]. В одном из номеров этой газеты мы встретили такую свежую и здравую статейку, которой должна бы позавидовать любая столичная газета. В статье говорится «о русской периодической печати» и делается сравнение столичных изданий с провинциальными. Признавая несомненное развитие последней, в статье читаем: «прислушиваясь к литературным голосам провинции, мы наглядно убеждаемся, что областные выразители общественного мнения, за редкими печальными и обидными исключениями, служат идеям мирного преуспеяния, презирая отсталость и нетерпимость, встречающиеся в иных статьях „Гражданина", „Московских ведомостей", „Южного края", „Новороссийского телеграфа" и в др.

Отрадно слушать честные, смелые и трезвые речи наших собратьев в приволжских и среднерусских городах, на юге, на Кавказе и в Сибири» [5].

Соглашаясь вполне с такой мыслью, не можем не отметить еще того явления, что даже некоторые «Губернские ведомости», издания, бывшие прежде чисто официальными и сухими до крайности, за последнее время значительно расширяют свою деятельность и придают интерес и живость статьям своих неофициальных отделов; можно сказать даже более — во многих городах они не только успешно конкурируют с издающимися в тех же городах неофициальными газетами, но даже приобретают большее значение. Для примера укажем на «Черниговские губернские ведомости», в последнее время «Курские» и «Тамбовские» и, особенно, «Харьковские». Сравнивая последние с «Южным краем», указанная нами выше киевская



ЕЛЕЦ. САД ОБЩЕСТВА ПРИКАЗЧИКОВ
Открытка, начало 1900-х годов
Собрание С. В. Красновой, Елец

газета справедливо замечает: «рядом с частным „Южным краем", одним из типичнейших мракобесцев провинции, мы видим прекрасную, проникнутую земским духом и гуманной терпимостью официальную газету „Харьковские губернские ведомости..."» [6]

В самом деле, прибавим мы от себя, этой газете нельзя не пожелать полного успеха: просто удивительно, насколько быстро она превратилась из листа официальных известий и объявлений в одну из самых серьезных, сдержанных и интересных провинциальных газет.

Правда, неблагоприятных условий, действующих пагубно на столичные газеты, немало и у провинциальных, но только они носят иной характер. Публика и читатели, конечно, и не подозревают, какие трудности приходится испытывать каждому издателю и редактору провинциальной газеты. Свежие силы в провинции есть, но их еще немного, приобрести хорошего сотрудника или особенно корреспондента — все еще довольно трудно, почему к провинциальным газетам нельзя применять такую строгую оценку, какую, например, делают, с высоты своего величия — должно быть, наблюдая свои, какие-то призрачные выгоды,— некоторые столичные газеты; эти последние иногда стараются даже самыми непозволительными средствами подорвать кредит того или другого провинциального издания. «Бо́льшая и лучшая часть русской областной печати,— говорит киевская газета,— бесспорно принадлежит к прогрессивному направлению. Если она иногда несколько стеснена в обсуждении окружающих явлений, то по общим теоретическим вопросам высказывается довольно свободно, энергично полемизируя с темными силами столичной прессы, которая возводит на нее вздорные напраслины и навязывает ей глупейшие проекты собственного измышления» [7]. Совершенно верно! Лучшим доказательством последнего может служить хотя бы наш случай с «Московскими ведомостями». В феврале нынешнего года в маленькой

заметке нашей газеты было сказано несколько слов о том, что Комитет грамотности устроил подписку в память М. Е. Салтыкова с тем, чтобы на собранные деньги накупить книг и учебных пособий для бедных учеников некоторых школ. Мы тогда выразили только скромную надежду на то, что собранный комитетом капитал наверно будет увеличиваться [8]. «Московские ведомости» с обычным усердием и своеобразной силой в слоге сейчас же обвинили «Орловский вестник» в неблагонадежности, в «передовых чувствах», как они изволили выразиться [9].

Мы промолчали тогда, а «Московские ведомости» по-прежнему продолжали находить в «Орловском вестнике» для себя интересное, перепечатывать и указывать на нас. Стало быть, нельзя не уделять должного внимания и провинции и надеемся, что когда-нибудь это «старое издание» бросит свою изношенную подкладку...

Но это не единичный случай: такие истории бывали не с одним «Орловским вестником», а между тем все провинциальные издания выходят с разрешения предварительной цензуры,— значит, ничего дурного и противозаконного в них не бывает.

И все-таки, провинциальная печать сумеет пережить ухищрения таких органов,— ей принадлежит светлое будущее, раз общество будет относиться чутко и внимательно к ее интересам. В последнем же также сомневаться невозможно.

«Орловский вестник», 1891, № 139, 29 мая, без подписи. Авторство Бунина доказывается карандашной пометой: *Бун.* в редакционной подшивке газеты (Гос. архив Орловской обл., № 203-а). Подтверждением этого служит письмо Бунина к брату Юлию: «С редакцией разошелся, когда уже было написано это письмо... Вышла громадная ссора из-за моих заметок о „Московских ведомостях“. Они страшно боятся цензуры» («Материалы», стр. 31—32, с исправлением мелких неточностей по подлиннику; А. К. Бабореко относит это письмо к 1891 г., между маем и октябрем).

[1] «Пестрые письма» печатались в «Вестнике Европы» 1884—1886 гг. В 1886 г. они вышли отдельной книгой. Из письма неясно, читал Бунин их в отдельном издании или в старых номерах журнала.

[2] «Мелочи жизни» Щедрин печатал в 1886—1887 гг. в «Русских ведомостях» и, главным образом, в «Вестнике Европы». В 1887 г. они вышли отдельной книгой.

[3] У Щедрина нет произведения или цикла, озаглавленного «Афоризмы», поэтому точно объяснить это сообщение Бунина не представляется возможным. Наиболее вероятно предположение, что он, читая в библиотеке сочинения Щедрина, выбирал из них «афоризмы», возможно, для публикации их в газете. Напомним, что в «Орловском вестнике» (1890, № 144, 19 июня) были перепечатаны «Забытые слова» Щедрина (об этом произведении, которое было задумано писателем в последние дни его жизни, см. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. М., Гослитиздат, 1957, стр. 724).

[4] «Еженедельный научно-популярный иллюстрированный журнал путешествий, приключений и романов для семейного чтения» — «По морю и суше» — был основан в Киеве в 1890 г. Издателем-редактором его была Е. Г. Бердяева, позднее, в 1906 г., издававшая в Киеве ежедневную газету «Работник», ставившую «своей задачей отстаивание классовых интересов городского и сельского пролетариата». В дальнейшем издатели-редакторы журнала менялись; прекратился он в 1896 г.

[5] Из статьи «О русской периодической печати» («По морю и суше», 1891, № 26, стр. 5). Бунин несколько видоизменяет цитату, сохраняя ее основной смысл.

Упомянутые провинциальные издания: «Южный край», ежедневная политическая и литературная газета (Харьков, 1880—1917), которую В. И. Ленин назвал в 1901 г. «паскудной газетой, травящей всякое стремление к свету и свободе, восхваляющей все зверства нашего правительства» (статья «Отдача в солдаты 183 студентов».— В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 396); «Новороссийский телеграф», ежедневная политическая, экономическая и литературная газета (Одесса, 1869—1903),— первоначально это был либеральный орган, но с 1875 г., в результате давления со стороны властей, она перешла к новому издателю и превратилась в рупор реакционных идей.

[6] «По морю и суше», 1891, № 26, стр. 5. В августе 1890 г. редактором неофициальной части «Харьковских губернских ведомостей» был назначен А. Я. Ефимович, который привлек к участию в газете многих земских деятелей, профессоров Харьков-

ского университета, местных литераторов. Под его руководством «Харьковские губернские ведомости» стали одной из самых передовых русских провинциальных газет. С 1903 г., после вынужденного ухода Ефимовича из редакции, направление газеты резко изменилось.

[7] «По морю и суше», 1891, № 26, стр. 5 (цитата неточная).

[8] В заметке «Орловского вестника», 1891, № 32, 1 февраля, напечатанной под рубрикой «Литература и печать», сообщалось: «„Московские ведомости“, говоря о том, что при Комитете грамотности образован фонд имени М. Е. Салтыкова,— и что жители Петербурга и нескольких сибирских городов собрали уже 247 р., проценты с которых пойдут на покупку книг для беднейших школ,— с злорадством прибавляют: „не густо...“ Да, действительно, не густо... Только что это значит? Неужели то, что имя Михаила Евграфовича ничего не значит для нашего общества? Ведь если судить по подобным фактам, то придется согласиться, что, например, имя Гоголя, на памятник которого собирают уже в течение нескольких лет и все никак не соберут,— тоже для русского общества значит весьма немного? Что же касается того, насколько публика читает произведения М. Е. Салтыкова, то об этом можно судить по тому, что шесть тысяч экземпляров дорогого издания его сочинений разошлись в несколько месяцев...»

Можно думать, что автором этой заметки был также Бунин — в письме к брату Юлию от 27 июля 1890 г. он подробно рассказывал о своей работе в «Орловском вестнике» и сообщал при этом: «Главным же образом строчу „Литературу и печать“» («Материалы», стр. 22).

Издание Щедрина, о котором говорится в конце заметки,— это «Сочинения». СПб., 1889—1890, т. I—IX. Подготовленное самим Щедриным, это издание заканчивалось после его смерти К. К. Арсеньевым и М. М. Стасюлевичем. Информация о выходе томов этого издания регулярно помещалась в «Орловском вестнике» (1889, 10 мая, № 60; 1890, 24 января и 14 марта, № 12, 54; 1891, № 24, 79).

[9] В «Московских ведомостях», 1891, № 38, 7 февраля, под рубрикой «Дневник печати», была напечатана заметка: «Салтыков и „Орловский вестник“». В ней говорилось: «„Орловский вестник“ очень обиделся за „русское общество“ по поводу перепечатанного нами известия о 247 р., составляющих „капитал“ имени Салтыкова при Комитете грамотности». Цитируя далее «Орловский вестник» (см. выше, примеч. 8), автор заметки добавляет: «Какая, подумаешь, теплота передовых чувств! Читайте на здоровье! А дело только в том, что основание капитала имени знаменитого отрицателя *при Комитете грамотности* совершенно неуместно».

ЗАБЫТЫЙ ЧЕЛОВЕК

Предисловие И. С. Газер

Бунин в течение всей жизни с глубоким интересом и уважением относился к творчеству писателя-демократа Н. В. Успенского. Николай Успенский привлекал сочувственное внимание Бунина, как «один из первых русских писателей, сердечно, но беспристрастно посвятивших свой талант изображению деревенской народной жизни», который «в свое время много способствовал к уяснению народного быта, имел большое влияние на общество и возбуждал серьезные критические толки». Бунин задумывался и о трагической, мучительной жизни Николая Успенского, объяснение которой он искал как во внешних обстоятельствах, так и во «внутреннем разладе» личности этого писателя, близкого своей изломанной судьбой другим писателям-народникам, загубленным, по мысли Бунина, убожеством среды: «Увлекался я в молодости и Николаем Успенским, и опять не только в силу его дарования, но в силу и личной судьбы его, во многом схожей с судьбой Левитова: страшные загадки русской души уже волновали, возбуждали мое внимание»,— вспоминал он в годы эмиграции (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 274).

О серьезности интересов молодого Бунина к жизни, личности и творчеству Н. Успенского говорит то, что он сам записывал факты из биографии Успенского со слов близко знавших писателя людей. Именно на основе этих собранных Буниным материалов и были написаны им статьи о Н. Успенском: «Талант, выброшенный на улицу. По поводу самоубийства Н. В. Успенского» (1889) [1], «К будущей биографии Н. В. Успен-

ского» (1890) [2] и, наконец, статья, публикуемая ниже,— «Забытый человек» (1892). Три года спустя Бунин снова хотел вернуться к занимавшему его писателю. 14 октября 1895 г. он писал И. А. Белоусову: «А Успенский меня очень занимает и когда буду в Москве — помогите, голубчик, пособрать кое-что о нем — верно, найдутся люди, знавшие его» [3]. Тогда же он обратился через газеты ко всем, кто мог бы оказать ему помощь «в составлении возможно полной биографии и критического этюда об Успенском» [4].

О некоторых фактах биографии Успенского, не использованных в этих статьях, Бунин рассказывает в воспоминаниях периода эмиграции, вновь возвращаясь к раздумьям о причинах гибели многих одаренных русских людей, с горечью отмечая, что их таланту не суждено было развиться «даже и в десятой доле должной меры» (Собр. соч., 1965—1967, т. 9, стр. 273—275).

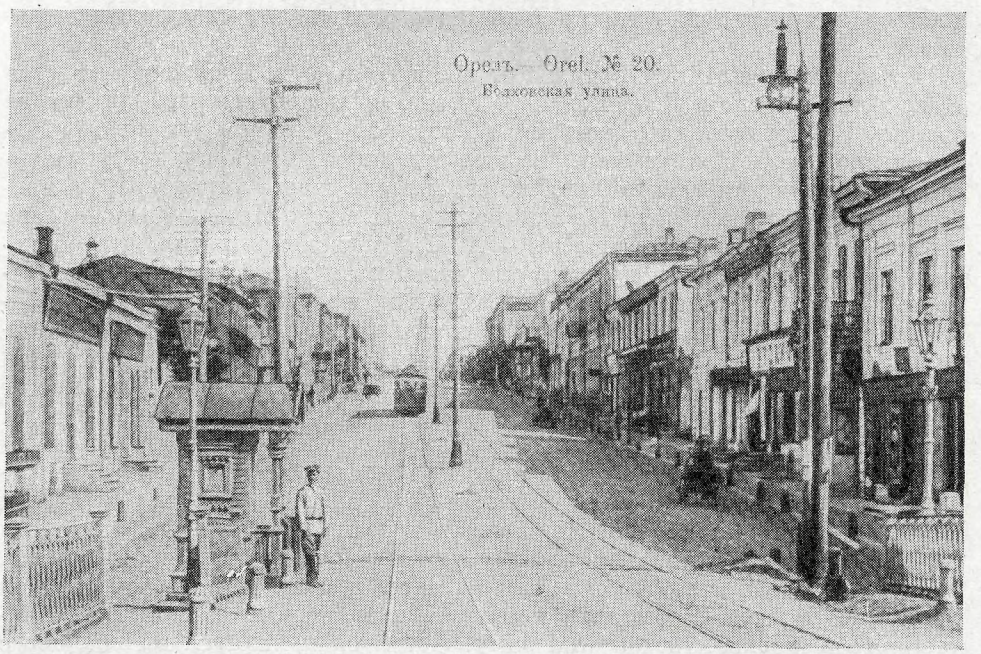
Статья «Забытый человек» представляет собой вторую, несколько измененную и сокращенную редакцию статьи «Памяти Н. В. Успенского», написанной двумя годами раньше. В статье «Забытый человек» отсутствует диалог с священником, тестем Успенского, нет рассказанного им эпизода из истории отношений Успенского и И. С. Тургенева, выброшено несколько фраз из разговора с кабатчиком, сильно сокращен конец статьи. Опустив ряд этих подробностей, Бунин ввел в текст статьи несколько важных положений, выражающих его общую оценку творчества Н. Успенского, его места в русской литературе, его влияния на общество, а также оценку народнической литературы о крестьянстве.

В статье «Забытый человек» Бунин с горечью отмечает, что за три года после смерти Успенского ни в одном из журналов не появилось не только короткой биографии писателя, но даже упоминания о нем. Бунин своими статьями как бы стремился снять печать забвения с памяти этого большого писателя, одного из первых русских писателей-разночинцев. Большинство биографических заметок, воспоминаний о Н. Успенском появилось уже после статьи Бунина (см. Я. П. Полонский. К биографии Н. Успенского.— «Исторический вестник», 1898, № 4; Д. И. Успенский. Н. В. Успенский.— «Исторический вестник», 1905, № 11; С. И. Миловидов. Из воспоминаний о Н. В. Успенском.— «Приазовский край», 1893, № 119, и др.).

Интересно, что К. И. Чуковский в работе, написанной в 1919 г. и много раз переиздававшейся («Жизнь и творчество Николая Успенского»), в числе других биографических материалов и даже чаще других использует факты и сведения, сообщаемые Буниным, несколько раз ссылается на статью «Забытый человек», цитируя ее (см. К. Чуковский. Люди и книги. М., 1960, стр. 114, 144, 151). При этом Чуковский берет и самое заглавие статьи Бунина, считая его очень верным и метким: «...прозвище „забытый писатель" прочно пристало к нему ⟨...⟩. Он и сам именовал себя забытым. А когда он умер, во всех некрологах слово „забытый" стало его постоянным эпитетом. Газеты в один голос признавались, что не помнят ни одного заглавия его сочинений. „Забытый человек" — таково заглавие одной мемориальной заметки о нем» (К. Чуковский. Люди и книги, стр. 144).

Три года тому назад, 21 октября на одной из улиц Москвы нашли человека с перерезанным горлом, в нищенской одежде... Нашли, дознали, что человек зарезался по собственному желанию, составили акт, похоронили, а наследство, оставленное им — 8 копеек, найденные в его кармане, отправили его наследникам... В мелких газетках об этом было прописано в отделе «По улицам и переулкам», а журналы не обратили на это никакого внимания. Ни в одном из них не было не только короткой биографии этого человека, но даже упоминания его имени, как не было и после, за все эти три года.

Этот человек был Николай Васильевич Успенский, один из первых русских писателей, сердечно, но беспристрастно посвятивших свой талант изображению деревенской народной жизни и вообще «мелкого», серого люда — человек с большой наблюдательностью, большим знанием деревни, сочинения которого, в ряду других произведений народнической



ОРЕЛ. БОЛХОВСКАЯ УЛИЦА
Открытка. 1910-е годы
Собрание А. К. Баборико, Москва

литературы, всегда будут отмечаться в истории развития русского общества. Правда, он не знал народа, не знал сердца мужика,— так, как, например, знает его Глеб Успенский или Златовратский, но в свое время все-таки много способствовал к уяснению народного быта, имел большое влияние на общество и возбуждал серьезные критические толки.

Но еще больше можно было от него ожидать, чем он оставил... Это старая история. Николай Васильевич принадлежит к числу русских писателей «неудачников»— к тем, одни из которых были подавлены нищетою, другие — с чуткою до болезненности душою — не вынесли окружающей их обстановки, а третьи унесли с собой в могилу тайну своей горькой участи.

Николая Васильевича более всего можно отнести к последним. Жизнь его была очень печальная и странная. Про нее ходило много различных толков, но правды никто не знал, кроме близких ему людей; биографии его нет до сих пор... Предлагаю поэтому несколько фактов из его жизни; характерны они или нет — я судить не буду; могу только сказать, что они — не слухи и не вымыслы...

Я — земляк Успенского. Верстах в 30 от нашего имения есть село Лобаново, Тульской губернии, Ефремовского уезда. Успенский родился в нескольких верстах от Лобанова, жил в самом Лобанове несколько лет, имел там родственников,— и вот от его тестя и друга детства, священника А. И. Успенского, человека образованного и развитого [5], и от некоторых

лобановских жителей, отлично знавших его, я собрал следующие сведения *.

Николай Васильевич родился приблизительно в 1845 году [7], в селе Ново-Михайловском (Ефремовского уезда) и происходил из духовного звания. Первоначально он учился в Троицком духовном училище (в Новосильском уезде), потом перешел в семинарию и, по окончании там курса, поступил в университет. Но, по странности своего характера, он пробыл там недолго и вышел. На мой вопрос: «Почему Николай Васильевич не мог нигде долго удержаться?» — А. И. Успенский ответил, что объяснить это трудно. «Из-за пустяков не уживаются не такие люди, как Николай Васильевич, а мелкие, страдающие грошовым самолюбием»,— сказал он мне... Потом Николай Васильевич снова поступил в университет и снова вышел. На службе повторялись те же истории. Служебная деятельность Н. В. была по преимуществу педагогическая. Так, между прочим, он был помощником в яснополянской школе Л. Н. Толстого, но и там пробыл не более двух месяцев. Так и проходила его жизнь — где день, где ночь, материально никогда не обеспеченная. Деньги же совсем не держались у Николая Васильевича. Писать Николай Васильевич начал сравнительно поздно. По словам Александра Ивановича, он не шел по обычной для многих дорожке, то есть не начал писать еще в школе, что-нибудь вроде мелких подражаний. Первый его рассказ сразу обратил внимание. У него завязались хорошие литературные знакомства в Петербурге и Москве, где он жил зиму. Летом он появлялся в Лобанове и жил большей частью у Александра Ивановича.

На 42-м году он женился на дочери поименованного священника Успенского, Елизавете Александровне. Говорят, она страстно влюбилась в него и вышла замуж против воли родителей. Сейчас же после свадьбы молодые уехали и вернулись только тогда, когда Елизавета Александровна родила дочь и заболела. Болезнь у нее развивалась все более и более и, наконец, чахотка свела ее в могилу. Николай Васильевич был страшно поражен ее смертью. Он любил ее глубоко и искренно. Мне говорили, что почти каждый день, в теплую погоду, Николай Васильевич возил ее в нарочно сделанной для нее тележке по селу, возбуждая тем всеобщие насмешки.

После смерти Елизаветы Александровны Николай Васильевич взял свою девочку и скрылся, появившись в Лобанове только через несколько времени. Воспитанием ее он занялся сам, и замечательно оригинально было это воспитание. «Он ее страстно любил,— сообщил мне Александр Иванович,— но любил по-своему». И, действительно, он делал все по-своему. Например, он купал ее следующим образом: разденет и спокойно бросит в воду. Ребенок, разумеется, кричит, силится выбраться на берег, отчаянно бултыхается ручонками, а он стоит себе спокойно на берегу...

В это время жизнь Николая Васильевича была уже вполне кочевая. Неизвестно с какими целями, он бродил всюду по селам (уходил даже в дальние губернии) и везде в «своем» костюме и с девочкой—дочкой. Костюм этот был незамысловатый, а иногда просто нищенский. Вещей у него только и было, что с собой, а с собой он носил маленький мешочек, где лежала одна-другая рубашка, кое-какие «бумажонки» (рукописи) и простая русская гармоника. Он с нею не разлучался. Дочка, наряженная в мужской костюм, тоже всюду сопровождала его — и по деревням, и по питейным заведениям. В Лобанове почти всякий мальчишка видал, например, такую сцену: идет Николай Васильевич со своей дочкой и, наигрывая

* Кое-что из них я уже напечатал года три тому назад в одной провинциальной газетке [6].

«барыню», подпевает себе самым развеселым образом что-нибудь вроде:

Любила я тульских,
Любила «калуцких».

Вообще, наружно Николай Васильевич казался веселым, хотя многие из его знакомых называли его «Мефистофелем», почему легко можно судить о характере этой веселости. В пьяном виде * он был смирен, среди мужиков — весел и добродушен, среди разных «подвальных» на заводе — серьезен и задумчив... Зная отношение Николая Васильевича к народу, особенно тяжело было слышать рассказы заводских рабочих; например, рассказ одного, который раз «закатил ему в шею,— ажно закувыркался»... Да не одно это много и тяжело было выслушивать, тем более, что не верить этим рассказам было невозможно: не могут же все врать! Видимо, все привыкли смотреть на Николая Васильевича как на обыкновенного бродягу-пропойцу. Вот, например, что рассказывал мне один лобановский кабатчик:

— Известно, бродяга был. Он, говорят, ученый был и книжки составлял, только мы этому не верили. Какое уже, к примеру, ученье, когда шлялся нищебродом? Раз пришел ко мне. Мы с женой сидим, чай пьем. «Дай, пожалуйста, чайку... хоть стаканчик».

— Выпили, говорю.

— Да ну, дай.

— Ах ты, господи, вот пристал.

— Ну хоть теплой водицы из самовара; дай, ради бога — душа пересохла.

— Это другое дело. Налила жена. Так верите, затрясся, глотает, обжигается. Потом говорит:

— Дай водочки!

— Да у меня не кабак.

— Да ведь знаю — торгуешь.

— Ну, а знаешь — деньги давай.

— Денег нету.

— Ну и водки нету.

— Так возьми, говорит, что-нибудь...

— А что у тебя?

— Возьми штаны; и вынимает штаны из узелка. А там, извините, вместо штанов опоясья одни. На кой они мне черт.

— Ну возьми гармонию, я потом выкуплю.

Дал я ему за гармонью четвертную. Хорошо. Только дня через два становой ко мне. Что такое? Николай Василич оборудовал. Подал заявленье, что мы водкой торгуем, и гармонью у него отняли! Ведь насилу мы выпутались! Следователь хороший попался. Даже обругал его. «Бродяга, говорит, ты! Как же ты можешь напраслину на человека возводить?»...

Действительно, жизнь Николая Васильевича к этому времени стала совсем невозможною. Писать он перестал, знакомств хороших не осталось — все о нем как-то забыли — средств буквально никаких, и ко всему этому даже дочь его покинула. Измученная скитальческой жизнью, она ушла к дедушке, боясь отца, так что, когда раз Николай Васильевич пришел за ней, она с плачем бросилась в кухню. Николай Васильевич постоял молча, заплакал и ушел — уже навсегда — от родных.

Летом в этом же году один из его приятелей встретил его где-то в Самарской губернии в деревне, в питейном заведении, и был поражен его общим видом. Он был полураздет, худ и страшно грустен.

Через несколько месяцев он зарезался.

* Пить он начал лет в сорок.

«Русская жизнь», 1892, № 333, 8 декабря. Подпись: Ив. Б—н.

[1] Статья не сохранилась, упоминание о ней см. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 552.

[2] Напечатана в «Орловском вестнике», 1890, № 125, 31 мая, включена в Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 495—501.

[3] Сб. «Весна пришла». Смоленск, 1959, стр. 231.

[4] «Русские ведомости», 1895, № 259, 19 сентября; «Киевское слово», 1895, № 2806, 3 ноября. Сохранились письма родственников и знакомых Н. В. Успенского, откликнувшихся на его обращение; сохранился также и один из ответов Бунина на эти отклики (см. настоящ. том, кн. 2 — «Сводный обзор бунинских материалов в архивах Советского Союза»).

[5] Эта характеристика А. И. Успенского резко расходится с оценкой его К. И. Чуковским. Последний основывается на резко отрицательном отношении самого Ник. Успенского к своему тестю, выраженном в его рассказе о богатом и жестоком попе (Н. Успенский. Письмоводитель.— Соч., т. 2. М., 1853, стр. 133—150).

[6] Имеется в виду статья «К будущей биографии Н. В. Успенского» (см. выше примеч. 2).

[7] Ошибка: Н. Успенский родился в 1837 г.

РЕЧЬ НА ЮБИЛЕЕ «РУССКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

Предисловие А. Н. Дубовикова

Осенью 1913 г. «Русские ведомости» отмечали свой полувековой юбилей. Основанные в 1863 г. известным писателем и публицистом Н. Ф Павловым в качестве дешевой газеты «для неимущих классов», «Русские ведомости», выходившие сначала три раза в неделю, ставили своей целью разъяснять «народу» действия правительства. После смерти Павлова (в марте 1864 г.) газета постепенно превратилась в большой ежедневный орган, успешно соперничавший с «Московскими ведомостями» Каткова. В 1870—1880-х годах «Русские ведомости» становятся одной из наиболее серьезных и влиятельных русских газет, находившихся в оппозиции к самодержавию. Широта политической платформы газеты создавала возможность для сотрудничества в ней не только либеральной московской профессуры, составлявшей руководящее ядро редакции, но и многих литераторов демократического направления, в том числе и некоторых видных эмигрантов-народников. В разное время в «Русских ведомостях» печатались Зайчневский, Лавров, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, Гл. Успенский, Златовратский, Эртель, Короленко, Михайловский, Л. Толстой, Чехов, Мамин-Сибиряк и многие другие.

В пору революции 1905 г. «Русские ведомости» определяются в качестве органа, выражавшего основные требования партии кадетов, сочетая, по словам В. И. Ленина, «*правый* кадетизм с народническим налетом» [1].

50-летие газеты праздновалось в сложной политической обстановке, когда правящие круги царской России усиливали реакционный курс, пытаясь любыми средствами спасти насквозь прогнившую систему самодержавия, и когда, с другой стороны, явственно обозначилось начало нового революционного подъема, охватывавшего все более широкие массы рабочего класса и трудового крестьянства. В этих условиях юбилей «Русских ведомостей» был использован буржуазно-кадетскими кругами для открытой демонстрации своей политической программы. На юбилейном заседании, происходившем 6 октября в помещении Литературно-художественного кружка, и на банкете в ресторане «Славянский базар» вечером того же дня с политическими речами, содержавшими требования введения конституции, обеспечения буржуазных свобод, приобщения России к политическим порядкам Запада, выступили М. М. Ковалевский, П. Н. Милюков, А. А. Мануйлов, Н. Д. Долгоруков и др. Не случайно, что и официальное заседание, и торжественный банкет, в котором приняло участие более 600 человек, были насильственно прерваны по требованию полиции [2].

Среди произнесенных на юбилейном заседании речей речь Бунина была одной из наиболее острых, хотя он и сосредоточил свое внимание не на политических проблемах,

а на вопросе о состоянии современной русской литературы. При этом он не ставил своей задачей ее всестороннюю характеристику — так, он ничего не сказал о реалистическом направлении, о писателях-«знаньевцах», о Горьком и литературных силах, группировавшихся вокруг него.

Речь Бунина прозвучала не как бесстрастное академическое обозрение — это было резкое полемическое выступление. Он подверг суровому и безоговорочному осуждению все антиреалистические течения, которые возникали в русской литературе за последние 20 лет, включая и те эфемерные группы, которые в великом множестве расплодились на рубеже 1900-х и 1910-х годов.

Бунину приходилось и раньше не раз выступать против декадентства и модернизма — в этом заключался основной смысл его отзыва о сочинениях Сергея Городецкого (см. настоящ. кн.; в предисловии к публикации этого отзыва приведены и другие случаи, когда он выступал с критикой «новой поэзии»). По этому же вопросу он высказался и в интервью, данном газете «Южная мысль» в апреле 1913 г. (см. настоящ. кн., стр. 376). Речь на юбилее «Русских ведомостей» как бы завершает этот цикл выступлений писателя по литературно-эстетическим проблемам современности.

По резкости суждений и оценок речь Бунина нарушала все принятые нормы юбилейных выступлений. Именно поэтому она привлекла всеобщее внимание и вызвала самые различные отклики как со стороны тех, кто слышал ее непосредственно, так и тех, кто мог судить о ней лишь по газетным отчетам, кстати сказать, не всегда достаточно объективным (полный текст речи был опубликован только двумя годами позднее, в 1915 г.). Против Бунина восстали прежде всего литераторы, прямо или косвенно задетые им, либо те, кто был шокирован страстностью и непримиримостью его речи. По мнению кадетской «Речи», Бунин «омрачил почтенный юбилей неуместной речью, полной нападок на современную литературу»,— газета при этом сопоставляла его речь с недавней «эксцентрической выходкой» Горького «против Московского Художественного театра» [3]. Зинаида Гиппиус назвала выступление Бунина «неожиданной и бестактной выходкой» [4], «Московская газета» обвиняла его в «сердитом недовольстве современностью, ее вкусами, привычками и симпатиями» [5].

Редакция газеты «Голос Москвы» организовала опрос ряда современных писателей и начала публикацию их ответов под заголовком: «Прав ли Бунин? Наша анкета». В первой же подборке, появившейся 13 октября, были напечатаны отклики Бальмонта, Балтрушайтиса, Брюсова, Арцыбашева и Зайцева. В следующем номере, 15 октября, газета поместила «Ответ И. А. Бунина» на эти отклики. Он решительно отвергал направленные против него упреки, указывая, в частности, что многие из его оппонентов самой речи не слышали. При этом особое внимание Бунин уделил наиболее задевшему его обвинению в дворянском высокомерии, с каким он якобы говорил о роли разночинцев в русской литературе. Отводя упрек в сословном пренебрежении к разночинцам вообще, он проводил резкое различие между разночинцами-шестидесятниками и теми «духовными разночинцами», с появлением которых в литературе он связывал начало декадентства (текст «Ответа Бунина» и выдержки из высказываний его оппонентов см. в приложении к настоящей публикации).

На следующий день после помещения «Ответа» «Голос Москвы» продолжил публикацию анкеты, напечатав на этот раз положительные отклики — Ратгауза, Белоусова и некоего В. Лесина [6]. Возражая тем, кто считал речь Бунина неуместной, Ратгауз писал: «Каждый человек, если ему дорога истинная русская литература, если он с гордостью сознает, что Л. Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Пушкин, Лермонтов — русские, то он должен горячо и от души пожать руку уважаемого академика Ивана Алексеевича Бунина за его „смелое" выступление против той псевдо-литературы, которая за последние 10—15 лет густым роем саранчи осела на ниве русской словесности в виде модернизма, футуризма и других направлений, ничего общего не имеющих с художественной литературой».

Белоусов полностью согласился с Буниным, подчеркнув при этом тлетворное влияние декадентской литературы на юношество: «И до него, раньше, я часто высказывал, что литература последних лет испортила читателей, и главный ее грех в том, что она развратила юношество, она не могла привить ему крепких устоев нравственности и

не научила его не только чтить, но даже познавать вечные истины — правду и любовь. 〈...〉 До Ивана Алексеевича никто так твердо и прямо не говорил об этом. Я преклоняюсь перед его мужеством». В ответе В. Лесина было сказано: «Мнение академика Бунина — одно из тех откровенных и смелых мнений, которые на время способны всколыхнуть общественную мысль и оторвать от самолюбования наших литературных олимпийцев». Далее он уточнял суждение Бунина о причинах упадка литературы: «Конечно, не разночинец здесь виноват (да простит бог эту обмолвку Бунину),—виновато проклятое время...»

Через неделю газета в последний раз обратилась к анкете, поместив еще три ответа — все они принадлежали людям, неизвестным в литературе [7]. В первом из них, подписанном «Рабочий Николай Чернов (Пенза)», было выражено общее согласие с Буниным, но далее автор оспаривал его мнение о том, «что в этом виноваты одни писатели-разночинцы». М. Якубович (Смоленск) находил, что Бунин «затронул глубокие и острые вопросы, которые, к сожалению, тщательно замалчивались почти всеми нашими критиками», и возражал против попыток «причислить» Бунина «к числу обскурантов». Последний ответ, подписанный П. В. Пироговым, носил уклончивый характер и по существу не вносил ничего нового в обсуждение вопроса.

Сохранился еще один положительный отклик на речь Бунина — им могут быть дополнены материалы «Голоса Москвы». Автором его был Л. Н. Старк, в то время молодой поэт, большевик, живший у Горького на Капри, где он и мог познакомиться с Буниным. 24 ноября 1913 г. он писал оттуда последнему: «Прочел в „Речи“ краткое изложение вашей речи на чествовании „Русских ведомостей“ и захотелось от всего сердца поблагодарить вас за нее и крепко пожать вашу руку» [8].

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 193.

[2] В атмосфере всеобщего возбуждения и негодования, вызванного запрещением банкета, между Буниным и полицейским приставом произошло столкновение, в результате которого писатель оказался под угрозой судебного преследования (см. «Материалы», стр. 191—192).

[3] «Речь», 1913, № 288, 21 октября. «Эксцентрической выходкой» газета именовала статьи Горького «О „карамазовщине“» и «Еще раз о “карамазовщине“», в которых он резко осудил постановку Художественным театром спектакля по роману Достоевского «Бесы».

[4] «День», 1914, № 77, 20 марта, приложение № 11.

[5] «Московская газета», 1913, № 278, 14 октября.

[6] «Голос Москвы», 1913, № 238, 16 октября.

[7] Там же, № 244, 23 октября.

[8] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 207. Речи Бунина посвящена в большей своей части статья Д. Л. Тальникова «Эстетика и общественность», появившаяся в 1914 г. в февральской книжке «Современного мира».

Приветствую «Русские ведомости» с благодарностью за то, что дали они русской литературе, и за их отношение к ней. Не останавливаюсь на том, что́ непосредственно прошло через «Русские ведомости» и осталось в литературе: столбцы их украшались именами бесспорными — именами Толстого, Чернышевского, Салтыкова, Глеба Успенского, Чехова, Короленко. Отмечу только то, что имена эти были не случайными на этих столбцах, что они не терялись в пестром списке других имен, что до последнего времени окружены они были именами, если и меньшими, то всегда приблизительно того же порядка и ценности определенной, устойчивой, а не созданной теми или иными обстоятельствами. Другая заслуга «Русских ведомостей» не менее, если не более важна: это—позиция, которую занимали они по отношению к литературе за последние пятнадцать, двадцать лет, и воздействие их на нее, прямое и косвенное. Трудно учесть это воздействие, каждодневное воздействие всякой газеты; но несомненно, что оно огромно, а у нас и за последнее время — особенно.

Наша читающая масса еще малокультурна; газета для нее еще в новинку и действует на умы резко. А потребность в газете растет с каждым днем; растет и число газет и распространение их. А мы — еще далеко не

БУНИН

Фотография ⟨В. Г. Чеховского⟩, Москва, 1912

На обороте помета Бунина: «Осень 1912» и дарственная надпись Бунину с подписями В. Чеховского и др.

Музей И. С. Тургенева, Орел

европейцы; мы еще не чувствуем в той мере, как европеец, грани между печатным словом истинно литературным и так называемым бульварным; да у нас еще и не обозначилась как следует эта грань. «Нам печатный лист все еще кажется святым»,— сказал Пушкин [1], и мы еще должны помнить эти слова. У нас не редкость, что не только газета, претендующая быть литературным органом, но и журнал уделяет столько же места и столько же серьезности при разборе «Хаджи Мурата», как при разборе произведения, недалеко ушедшего от какого-нибудь «Разбойника Чуркина» [2]. Мы еще не совсем понимаем, что такое реклама,— мы, как провинциал: видим вывеску — «центральный магазин» — и полагаем, что этот магазин и впрямь центральный. Подумайте же, чтó значит для нас газета в то время, когда мы с такой быстротой европеизируемся, порождаем буржуазию, пролетариат, выходим на улицу, начинаем жить сложной, пестрой жизнью и все более входим во вкус газеты, подпадаем под ее влияние! А ведь писатель испытывает влияние двойное,— власть и газеты и толпы. Много ли тех, чтó могут противиться этой власти, жажде нравиться толпе, жажде вырвать у нее славу, даже хотя бы скандальную? Таких стойких всегда было мало, а у нас, теперь, особенно мало, да иначе и быть не может: ведь и писатель наш мало культурен, он не менее нервирован сменой событий и настроений и столь же мало подготовлен к нашей новой, ломающейся жизни, не говоря уже о том, что русская действительность сделала все возможное, чтобы искалечить нас, что она дала нам такие ужасающие контрасты, как шестидесятые, семидесятые годы, а вслед за ними — восьмидесятые, дала девяностые — и начало девятисотых!

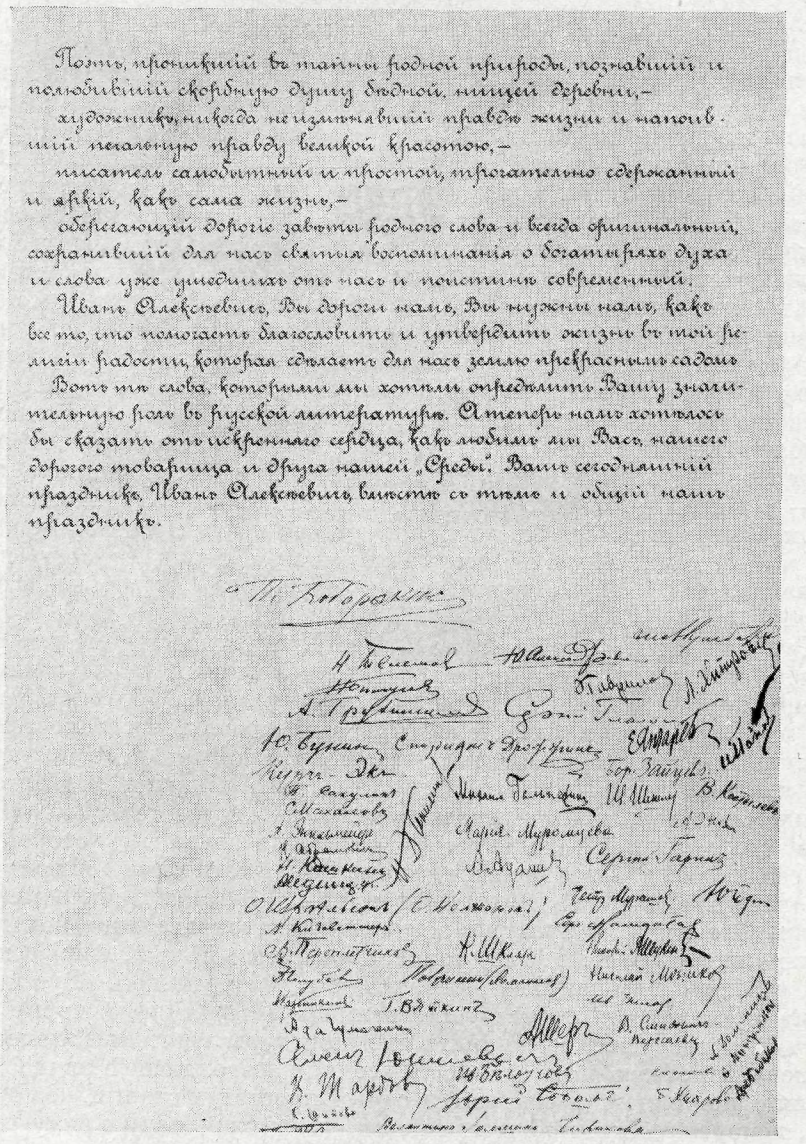
Вы, господа, слишком хорошо знаете, чем была русская жизнь за последние двадцать лет, знаете все радостные и все уродливые или ужасные явления ее. Чем же была русская литература за эти годы? По необходимости отвечая на этот вопрос кратко, в самых общих чертах, я должен твердо сказать, что уродливых, отрицательных явлений было в ней во сто крат более, чем положительных, что литература эта находилась в пе-

риоде во всяком случае болезненном, в упадке, в судорогах и метаниях из стороны в сторону. И тысячу раз был прав Толстой, когда говорил: «На моей памяти совершилось поразительное понижение литературы, понижение вкуса и здравого смысла читающей публики». Толстой причину этого видит в развитии рекламы, в приспособлении писателей и вообще печатного слова ко вкусам и интересам наибольшего числа потребителей, ко вкусам «всегда грубым и низким», по его определению [3].

Но у нас в России есть и другие причины этого падения художественных произведений и вообще печатного слова. Каковы они, эти причины? На мой взгляд, вот одна из них. Был известный уклад в русской жизни, тяжелый во многих отношениях, но — уклад. Он должен был разрушиться, исчезнуть — и почти исчез. Была известная культура, не глубокая, не имевшая крепких, вековых корней; она тоже осуждена была на исчезновение еще в те дни, когда «порвалась цепь великая» [4]. Успела ли эта культура создать себе преемницу, основать прочные культурные традиции? Вы знаете, что нет. Писатель-«разночинец» шестидесятых, семидесятых годов еще дышал этой культурой, да и само время определяло его путь, направляло его. Этот «разночинец» странствовал, спивался, страдал, болел, но это была другая болезнь, это были муки совести, сердца,— и вы знаете, что это сердце бывало порою поистине «золотым сердцем».

Теперь в литературу пришел новый «разночинец», духовный разночинец, уже совсем почти традиций лишенный, сбитый с толку годами восьмидесятыми, девяностыми, а, кроме того, и тем, чтó должно было встретиться с ним,— европейскими влияниями. Я говорю не о всех представителях современной литературы. Я говорю о типе писателя, еще так недавно преобладавшем. Каков же этот писатель? Он, мало культурный, чуть не подросток во многих и многих отношениях, и начал и жил эксцессами, крайностями и — подражанием, чужим добром. Он нахватался лишь верхушек кое-каких знаний и культуры, а возгордился чрезмерно. Он попал в струю тех течений, что шли с Запада,— и охмелел от них и внезапно заявил, что и он «декадент», «символист», что и он требует самой коренной ломки всего существующего в искусстве и самых новейших форм его (как будто форма отделима от содержания, как будто форма не есть последствие, порождение индивидуальности таланта и того, чтó он хочет сказать). Конечно, все это было бы совсем смешно, когда бы не было грустно: грустно потому, что нет действий без причин, а на причины — и горестные — я уже указывал; смешно же потому, что разве не нелепо было это требование баррикад и битв за свободу в литературе русской, одной из самых молодых, одной из свободнейших и разностороннейших литератур в мире? Понятны были литературные революции в Европе, эти битвы классицизма с романтизмом, романтизма с реализмом там, где были долголетние твердыни их. А во имя чего начался наш бунт? Разве не у нас был Пушкин и почти рядом с ним — Лермонтов, Лев Толстой — и Достоевский, Фет — и Некрасов, Алексей Толстой — и Майков? Разве не с чужого голоса закричали мы и продолжаем кричать?

Да, так вот каково было, господа, начало. Нужно ли мне напоминать дальнейшее? Здесь не место и не время для этого. Я только напомню вам, какое невероятное количество школ, направлений, настроений, призывов, буйных слав и падений видели мы за последние годы! Послушайте писателя нового типа: он, на своем пошлом жаргоне, своими устами или устами своего критика — и чаще всего газетного — скажет вам, что он создал несметное количество новых ценностей, преобразовал прозаический язык, возвел на высоту и обогатил стихотворный, затронул глубочайшие вопросы духа, «выявил» новую психику, поставил себе ве-



Поэтъ, проникшій въ тайны родной природы, познавшій и полюбившій скорбную душу бѣдной, нищей деревни,—

художникъ, никогда не измѣнявшій правдѣ жизни и напоившій печальную правду великой красотою,—

писатель самобытный и простой, трогательно сдержанный и яркій, какъ сама жизнь,—

обогащающій дорогіе завѣты родного слова и всегда оригинальный, сохранившій для насъ святыя воспоминанія о богатырѣхъ духа и слова уже ушедшихъ отъ насъ и поистинѣ современный,

Иванъ Алексѣевичъ, Вы дороги намъ, Вы нужны намъ, какъ все то, что помогаетъ благословить и утвердить жизнь въ той религіи радости, которая сдѣлаетъ для насъ землю прекраснымъ садомъ.

Вотъ тѣ слова, которыми мы хотѣли опредѣлить Вашу значительную роль въ русской литературѣ. А теперь намъ хотѣлось бы сказать отъ искренняго сердца, какъ любимъ мы Васъ, нашего дорогого товарища и друга нашей „Среды". Вашъ сегодняшній праздникъ, Иванъ Алексѣевичъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и общій нашъ праздникъ.

АДРЕС БУНИНУ ОТ ЧЛЕНОВ «СРЕДЫ»
к двадцатипятилетию его литературной деятельности, 28 октября 1912 г.
Литературный музей, Москва

ликие «задания», стремится к великим «достижениям» и «возможностям», он, не стыдясь, назовет себя «мудрым», «многогранным», «дерзновенным», «солнечным»... [5] А меж тем, за немногими исключениями, не только не создано за последние годы никаких новых ценностей, а, напротив, произошло невероятное обнищание, оглупение и омертвение русской литературы:

Не многое исчезло: совесть, чувство,
Такт, вера, ум... Растет словесный блуд... [6]

Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — и морем

разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости — называемой «виртуозностью» — стих, опошлено все, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы [7], к которому можно чувствовать теперь уже ненависть, ибо ведь «все можно опошлить высоким стилем», как сказал Достоевский [8]. Вы вспомните, господа, чего только не проделывали мы с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись! Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь! И сколько скандалов было в этой ночи! Чуть не все наши кумиры начинали свою карьеру со скандала! И какую поистине огромную роль играла во всем этом газета!

«Русские ведомости» не есть эта газета. «Русские ведомости» одна из тех немногих газет, которые никого не рекламировали, не гонялись за сенсацией, не создавали скороспелых репутаций, со спокойствием отмечали плюсы и минусы писателей и перворазрядных и второстепенных. «Русские ведомости» проявляли отношение неизменно беспристрастное даже и к тем, которые после шумной «славы» падали и подвергались в других изданиях, ранее превозносивших их, издевательству. «Русские ведомости» отмечали,— конечно, с своей точки зрения, с которой можно и не соглашаться,— все ценное даже и у тех, которые по общему своему направлению совсем не подходили к ним. «Русские ведомости» замалчивали нелепости литературы последних лет, справедливо полагая, что то внимание, которое, в угоду толпе, обращалось на них, лишь содействует их развитию, их популярности, хотя бы и скандальной. «Русские ведомости» протестовали против тех течений в литературе, которые задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать полную разнузданность все себе позволяющей личности, прославлять под видом утонченности самый простой и старый, как мир, разврат, искоренить идеи общественности, разрушить веру в силу разума и нагонять мистические туманы, шаткие метафизические построения, часто нарочито сочиненные, собственного изделия и весьма слабо продуманные, прославлять смерть, квиетизм и даже самоубийство. «Русские ведомости» порою указывали и на происхождение того, чем жила наша литература за последние годы: на общую расшатанность, неустойчивость нашей общественной мысли и неорганизованность общественного мнения, на нашу подражательность Европе, большею частью жалкую, ученическую, — очень нередко сводившуюся даже к плагиатам,— на низкие стремления выделиться не оригинальностью, а оригинальничаньем, на что имелся особо бойкий спрос со стороны нашей уродливо формирующейся буржуазии и всех праздных слоев общества, на увлечения некоторых из писателей, хотя и искренних, но неспособных вследствие отсутствия истинной культурности разобраться в явлениях жизни, в различных теориях, смешивающих движение вперед с чисто дикарским отрицанием заслуг всех своих предшественников, несовершенство научных методов с крахом

ПОРТРЕТ ПУШКИНА, ПОДАРЕННЫЙ БУНИНУ ЧЛЕНАМИ «СРЕДЫ»
к двадцатипятилетию его литературной деятельности, 28 октября 1912 г.

Литературный музей, Москва

«Дорогой Иван Алексеевич. Твои многолетние спутники, твои старые товарищи по „Среде", ныне вольно и невольно рассеянные по лицу земли, шлют тебе дружеский горячий привет, тебе — одному из немногих носителей того яркого светоча чистой поэзии, который у нас в России был впервые зажжен гением Пушкина. Прими же от нас, дорогой Иван Алексеевич, этот портрет — это изображение Солнца русской поэзии — на память о твоем литературном празднике и о нашей общей неизменной дружбе. „Среда". 1899 — 1912 г. Москва, 1912 г., октября 28»
(Из адреса Бунину от «Среды». ИМЛИ)

науки, дерзновенные полеты мысли с дерзостью, рост и разносторонность индивидуальности с развращенностью ее...

Толстой в статье, которую я цитировал, особенно упирает на те *подделки* под художественные произведения, которые в таком огромном количестве появляются в наше время, и на роль газеты, журнала, критики, проводящих в жизнь эти подделки. «От газет, журналов, критики,— говорит он,— зависит вся будущность просвещения европейского мира» [9]. Господа, за «Русские ведомости» вы могли быть спокойны. «Русские ведомости» — один из самых благородных органов печати во всей Европе. Поклонимся же им за это благородство.

Москва, 6.X.1913

Бунин, Собр. соч. 1915, т. 6, стр. 314—319. Речь напечатана также в юбилейном сборнике «50 лет „Русских ведомостей“». М., 1915 (без разночтений). В дальнейшем при жизни Бунина не перепечатывалась. Не вошла она также в Собр. соч. 1965—1967. В т. 9 этого издания (стр. 528—531) по оплошности составителя и редакции вместо авторского текста речи воспроизведен краткий репортерский отчет о ней, взятый из «Русских ведомостей» (1913, № 231, 8 октября).

[1] Неточная цитата из статьи Пушкина — «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (Полн. собр. соч., т. 11. М.— Л., 1949, стр. 167).

[2] ⟨Н. И. Пастухов⟩. Разбойник Чуркин. Народное сказание «Старого знакомого». В двух частях. М., 1883—1884. Книга эта представляет собой один из типичных образцов псевдонародной литературы.

[3] Л. Н. Толстой. Предисловие к роману фон Поленца «Крестьянин».— Полн.собр. соч., т. 34, стр. 270. Цитата неточная.

[4] Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (глава «Помещик»).

[5] Ср., например, у Бальмонта: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...» (стихотворение «Будем как Солнце»).

[6] Ср. аналогичное высказывание в отзыве «О сочинениях Городецкого» (настоящ. кн., стр. 344).

[7] Выпад против Бальмонта (см. примеч. 5).

[8] Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях.— Собр. соч. в десяти томах, т. 4. М., 1956, стр. 120. Цитата неточная.

[9] Л. Н. Толстой. Указ. ст., стр. 271.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТВЕТ И. А. БУНИНА

(Беседа)

Что думает И. А. Бунин по поводу мнения некоторых писателей о его речи, произнесенной в Литературно-художественном кружке на юбилее «Русских ведомостей»? В беседе с нашим сотрудником И. А. Бунин сказал по этому поводу следующее:

Бальмонтом прежде всего приплетена ни к селу ни к городу моя характеристика. Дальше Бальмонт говорит, что на свадебных обедах не говорят похоронных речей [1]. Совершенно верно. Но, во-первых, это был не обед и не свадебный, а общественное торжество, а, во-вторых, если бы я говорил похоронную речь по поводу «Русских ведомостей», то это было бы, конечно, и неуместно и глупо. Но ведь я хоронил единомышленников Бальмонта, к которым «Русские ведомости», по-моему, относились в общем отрицательно.

Брюсов говорит, что он речи моей не слыхал и читал о ней в газетах какой-то вздор [2]. И это верно. Вздору по поводу моей речи было сказано, к сожалению, немало.

Арцыбашев речи моей, по собственному его заявлению, тоже не слыхал. Он говорит: «я не понимаю, что разумел Бунин под словом „разночинец“» [3]. А между тем, весь свой довольно длинный отзыв о моей речи построил именно на этом непонятном для него слове.

Слово «разночинец» настолько известно, настолько установилось и такое несчетное количество раз употреблялось Салтыковым, Михайловским и др., что мне совестно пояснять его Арцыбашеву, доказывать ему, что это слово давным-давно употребляется

далеко не одними дворянами, что оно никогда не заключало в себе ничего кастового, ни малейшего презрительного отношения к людям недворянского происхождения и что связывать это слово с моими якобы дворянскими тенденциями — просто стыдно.[1]

Вообще пора бы бросить эту басню о моем «дворянстве». Если бы Арцыбашев прочел мою речь хотя бы в не совсем полном изложении «Русских ведомостей», он бы, вероятно, не сказал того, что сказал.

Зайцев, по его собственному заявлению, речи моей тоже не слыхал. Зайцев вообразил, что я против европеизации и приписывает мне совершенно младенческий призыв назад, к 60-м годам [4], над которыми, кстати сказать, совершенно не след иронизировать, ибо, не говоря уже о чем ином, нужно помнить, что в 60-е годы писали такие художники, как Толстой, Тургенев, Достоевский, Герцен, Фет,— не хуже Блока, Андрея Белого и Сологуба,— и что тогда работали по изучению русского искусства и русской культуры люди не меньшие, чем Муратов, Грабарь и проч., о которых упоминает Зайцев.

А как тогда стоял балет — не знаю. Да и вообще я в своей речи совсем не касался многого того, о чем говорит Зайцев.

Балтрушайтис речи моей тоже, вероятно, не слыхал. Он говорит, что я смешал в огульном осуждении «крайне разнообразные явления литературы» [5]. Да, я отлично знаю, что между, например, порнографией и богоискательством общего ничего нет, но ведь я говорил не о том: я говорил, что «Русские ведомости» относились к этим разнообразным явлениям *одинаково* отрицательно, или же хранили по поводу них золотое молчание. Кроме того, я в своей речи несколько раз подчеркивал, что я говорю *не обо всех* представителях литературы и вообще печатного слова, что я говорю о *преобладавшем* и *преобладающем*.

Вообще же скажу следующее: некоторые газеты, разбирая мою речь, находят ее «неуместной» на торжестве. Еще раз напомню, что на торжествах общественных, коим и был юбилей «Русских ведомостей», искони принято рисовать ту среду, в которой жил и действовал юбиляр, и что ораторы, выступавшие рядом со мною 6 октября, так именно и поступали. Ораторы эти касались наших общественных, политических, экономических дел и рисовали картины весьма безотрадные, говоря о позиции «Русских ведомостей» по отношению ко всем этим картинам.

Почему же нельзя было касаться *литературы*? Думаю, что не только было можно, но и должно, да, несомненно, думала так же и та громадная аудитория — цвет русской интеллигенции, съехавшейся со всех концов России,— которая неоднократно — и как раз тогда, когда я говорил о литературе — прерывала меня такими горячими, даже, смею сказать, бурными аплодисментами.

«Голос Москвы», 1913, № 237, 15 октября.

[1] В своем ответе на анкету «Голоса Москвы» «Прав ли Бунин?» Бальмонт писал: «Бунина я считаю человеком талантливым, но не большим. Вдобавок он увлекается своим академизмом, который не заслужен и не существует. Что касается его выпадов против кого бы то ни было в литературе, то они мне кажутся неуместными, ибо на свадебных обедах не говорят поминальных речей, а на поминальных — свадебных. Кроме того, именно в этой части своих слов он говорил против самого себя, против своего прошлого, а отрекаться от самого себя хотя бы и в прошлом,— стыдно». Мнения Бальмонта и других писателей, которым отвечает Бунин, были напечатаны в «Голосе Москвы», 1913, № 236, 13 октября.

[2] Приводим полный текст ответа Брюсова: «К сожалению, речи И. Бунина я не слышал. Меня не было в зале именно в то время, когда он ее произносил. Сомневаюсь, чтобы можно было доверять пересказу газет. В их изложении речь была просто вздорная, потому что обнаруживала полное незнакомство с задачами литературы вообще и с развитием русской литературы за последнее время. По этому изложению выходит, будто И. Бунин смешал в одно все то, что составляет гордость нашей литературы за последнее десятилетие, чем обусловлен, например, давно небывалый у нас (с эпохи Пушкина) расцвет лирики,— с явлениями, действительно уродливыми и случайными. Но, зная И. А. Бунина как человека умного и следящего за литературой, я не могу допустить, чтобы его речь была передана в газетах правильно. Поэтому от суждения о ней я воздерживаюсь».

[3] В своем пространном ответе Арцыбашев писал: «Речь Бунина известна мне только по газетным отчетам, а потому с уверенностью судить о ней я не могу. Но если допустить, что хроникеры передают ее с большей или меньшей точностью и мое представление о ней приблизительно верно, то должен сказать, что речь эта вызвала во мне крайне неприятное удивление. Конечно, никто не будет отрицать, что талантов такого масштаба, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Лермонтов, Гоголь, Тургенев и т. д., в современной литературе нет, а уже одно это должно отразиться на общем ее уровне. Мало того, для меня представляется несомненным фактом, что литература наших дней утратила свою идейную цельность, утратила внутреннюю напряженность и стала более профессиональной, даже ремесленной,— стала продуктом спроса и предложения, в самом узком значении этих слов. Но утверждать, что это произошло потому, что в литературу вошел разночинец!.. Такое утверждение так странно, что я даже боюсь дать ему точное определение. Оно произвело на меня такое впечатление, точно его высказал не писатель Бунин, а человек из совершенно иного лагеря. Какая-то отжившая кастовая непримиримость звучит в нем. При чем тут разночинец?.. Талант, идейность, ум и проч. не составляют привилегии дворянского сословия, так же, как бездарность и беспринципность вовсе не характерны для других сословий. В наше время даже как-то дико говорить об этом! Я не понимаю, что разумел Бунин под словом „разночинец", ибо никак не могу допустить, что он стал на точку зрения гг. Марковых и Мещерских. Это было бы слишком печально!»

[4] Зайцев писал: «При всем моем глубоком уважении к И. А. Бунину, решительно не могу согласиться с его оценкой литературы (и культуры) нашего времени. Сужу о его речи по изложению в „Русских ведомостях"». Далее Зайцев дает высокую оценку современной поэзии, главным образом символистов: «Для того, кто осведомлен и не предубежден, ясно, что настоящая твердыня современной русской литературы — именно ее лирическая поэзия, давшая в лице Бальмонта, Бунина, Блока, Сологуба, Андрея Белого и некоторых других образцы искусства, очень далекие от улицы и хулиганства». Подчеркнув, что все настоящее в современном искусстве «стоит в связи с духовной культурой Европы», Зайцев указывает, как много сделано в последнее время в области «эстетической просвещенности» и в этом плане называет имена Бенуа, Грабаря, Муратова, Врубеля, Сомова и др. О том, что Бунин якобы призывает вернуться к 60-м годам, в ответе Зайцева ничего не сказано.

[5] Балтрушайтис в своем ответе писал: «Бунин поставил на один уровень и смешал в огульном осуждении крайне разнообразные явления литературы. Он вздумал назвать одним именем людей, которые ничего общего между собой не имеют, и решил сравнивать то, что, хотя и очутилось на одной литературной поверхности, но возникло из слишком несхожих глубин. Бунин считает, что по сравнению с тем, что было 20 лет назад, в литературе наступил упадок. Лично я никакого упадка не замечал и полагаю, что наша литература осталась без перемены, если только не приобрела большей внутренней значительности».

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА (1846 — 1891 гг.)

Второе издание с портретом автора, факсимиле и статьею П. И. Вейнберга. Издание А. А. Плещеева. СПб., 1894

За исключением мировых гениев, каждый талантливый поэт есть сын своего века и народа. Стало быть, пережитая им эпоха в произведениях такого писателя должна иметь ясное отражение. По законам наследственности от родителей воспринимаются детьми или их хорошие качества, или дурные, или те и другие вместе.

О талантливом и в высшей степени симпатичном покойном поэте А. Н. Плещееве можно смело сказать, что он был наследователем от своей эпохи и отражением ее лучших стремлений, мечтаний и упований.

Все, что пережило благородного, честного и гуманного русское обновленное общество 60-х годов,— все это нашло отклик в сердце чуткого поэта.

Муза А. Н. Плещеева, порою нежная, порою грустная и плачущая искреннею слезой, порою же восторженная и энергичная до призыва честных людей на бой со злом и неправдой, не может не пробуждать добрых чувств в самом зачерствелом сердце. Как не было личных врагов у поэта при жизни, так не может быть у него литературных противников и после смерти. Трудно себе представить такое извращение критического вкуса, которому претило бы прекрасное и ненавистно было бы доброе и справедливое.

В Плещееве вылился полный, характерный тип поэта-шестидесятника. Этот тип тем более будет симпатичен будущим поколениям, чем дальше он будет уходить в глубь истории.

Потомок раскроет книгу и увидит и поймет в ней душу предка, летавшую «по небу полуночи» к небесам, в область святых идеалов.

Такова душа Плещеева, отразившаяся в его стихотворениях. Молодежь 60-х и 70-х годов заучивала их наизусть, и для многих они покажутся знакомыми песнями, лишь стоит напомнить их мотив. Кто не помнит, например, этой аллегорической «птички», к которой обращается поэт с вопросом:

Для чего, певунья птичка,
Птичка резвая моя,
Ты так рано прилетела
В наши дальние края? [1]

В этом стихотворении (вошедшем во многие хрестоматии) отпечатлелась более всего душа поэта, пылкая, но незлобивая, молящаяся творцу за меньшого брата и за бедняка, которого он зовет не на злобную борьбу и восстание, а на примирение с жизнью и с своею судьбою посредством веры в лучшую будущность.

Идеалист-шестидесятник здесь вылился весь.

Итоги идеалов плещеевской эпохи подведены уже в таких капитальных публицистических трудах, как «Десять лет реформ» Головачева и «Из

эпохи великих реформ» Джаншиева [2]. Роль поэта в этом движении «вперед без страха и сомнений» [3] была одна из видных, потому что в общем хоре «тружеников пера» А. Н. Плещеев был одним из запевал, и его запевки, как «Трудились, бедные, вы, отдыха не зная» [4], или

Птичка божия проснулася с зарею,
А уж пахаря застала за сохою;
Полетит она к лазурным небесам
И что видит в селах — все расскажет там:
Скажет птичка богу, что бедняк страдает,
Что кровавым потом ниву орошает... [5]

— все эти песни о труженике-крестьянине, не знающем просвета и личной свободы, много способствовали просветлению умов насчет самых основных вопросов нашей гражданственности, как освобождение народа от крепостной зависимости.

Вообще принято относить Плещеева к поэтам второстепенным, при сравнении его, например, с Некрасовым; но где мерка для разделения поэтов на разряды? Более прав на место первостепенного поэта имеет тот, кто дольше проживет в грядущих поколениях. А муза Плещеева никогда не утратит своего обаяния, потому что она служила не одному преходящему интересу дня, а и вечным идеалам добра и правды.

В частности, поэт заслуживает величайшей благодарности за теплое отношение его детски-чистой души к детям. Его стихотворения для детского возраста, в устном чтении, всегда будут представлять лучшую прелесть детского лепета. Так легко и так охотно заучиваются эти стихи крошечными малютками!

Кроме того, в продолжение своей литературной деятельности Плещеев успел ознакомить русскую читающую публику в переводах, почти со всеми более или менее известными современными ему европейскими поэтами. Как переводчик, по умению схватить дух подлинника, Плещеев занимает одно из первых мест в ряду русских поэтов, близкое к Жуковскому. Он переводчик решительно со всех языков [6].

Он работал много и в труде была его жизнь и наслаждение.

Мы думаем, что это и было лучшее наслаждение в жизни поэта, а не то, которое приписывает ему г. Вейнберг в качестве близкого друга.

Вообще, предпосылаемая прекрасному изданию сочинений А. Н. Плещеева статья г. Вейнберга оказывает поэту неважную услугу.

Во-первых, г. Вейнберг в статье говорит больше о себе, чем о своем друге, а во-вторых, постоянно низводит последнего на степень какого-то труженика «из-за куска насущного хлеба», что мало гармонирует с творчеством [7].

По всей вероятности, А. Н. Плещеев как талантливый поэт и желанный сотрудник лучших изданий никогда не знал бедности, достойной вздохов г. Вейнберга, а если судьба и знакомила его с нуждами, то без этого знакомства, может быть, муза поэта «для труждающих и обремененных» была бы звук пустой. Некрасова за это именно и укоряют, что он плакал о народе в то время, когда разъезжал в колясках и ставил тысячные куши на одну карту.

Статья г. Вейнберга, вопреки его усердию, очень тускло и неверно освещает личность Плещеева, не говоря о слишком тяжелом, дубоватом ее изложении, состоящем, например, из таких антилитературных, длиннейших периодов: «И вот тут, посылая последний привет незабвенному Алексею Николаевичу, я не мог, конечно, не остановиться на той страшной иронии судьбы, которая, заставив нашего поэта в течение многих, ⟨многих⟩ лет испытывать весь непосильный ужас неустанного труда из-за насущного хлеба, как будто нарочно послала ему материальное избав-

ление, возможность полного отдохновения только на несколько коротких лет, чтобы подразнить его, показать, как сладок этот отдых, как сладко жить, не работая под гнетом суровой, убивающей душу и тело необходимости»[8]. Таким языком говорит г. Вейнберг, и жаль, что в предисловии к изданию не поговорил более искусный оценщик поэзии...

Делая этот упрек мимоходом собственно г. Вейнбергу, о самом издании стихотворений Плещеева, сделанном его сыном, мы должны сказать, что оно представляет верх заботливости издателя о всяких мелочах и внешней роскоши.

Типография г. Стасюлевича за подобного рода издание на предстоящей выставке печатного дела смело могла бы рассчитывать на высшую награду. В любой библиотеке «Сочинения Плещеева» послужат ее украшением.

«Новое слово», СПб., 1894, № 10, стр. 341—344. Подпись: И. А. Б—н.

Рецензируемая книга — первое посмертное издание стихотворений А. Н. Плещеева (1825—1893).

[1] «Птичка» — «Стихотворения А. Н. Плещеева (1846—1891)». СПб., 1894, стр. 64. Далее при ссылке на это издание указываются только страницы.

[2] А. А. Головачев. Десять лет реформ. СПб., 1872; Г. А. Джаншиев. Из эпохи великих реформ. М., 1892.

[3] Начальная строка юношеского стихотворения Плещеева, ставшего революционной песней. Этим стихотворением открывается рецензируемый Буниным сборник (стр. 3).

[4] «Трудились, бедные вы, отдыха не зная...» — стр. 68.

[5] «Подражание Сырокомле. „Птичка“» — стр. 509.

[6] Вторая часть рецензируемого сборника включает около 200 переводов с английского, немецкого, французского, венгерского, польского и украинского языков.

[7] Книге была предпослана статья П. И. Вейнберга «Памяти Алексея Николаевича Плещеева». Бунин имеет в виду цитируемое им ниже место статьи.

[8] Там же, стр. VIII.

А. А. КОРИНФСКИЙ. ПЕСНИ СЕРДЦА

Стихотворения 1889 — 1893 гг. Москва, 1894

Этот изящно изданный томик невольно обращает на себя внимание. Г. Коринфский начал писать сравнительно недавно, но работает он много и, очевидно, с любовью, так что стихотворений, написанных с 89 по 93 г. включительно, хватило на книгу почти в 400 страничек. Говорим «с любовью», во-первых, потому, что только тот, кто любит свое дело, работает много, а во-вторых потому, что эта любовь сказывается в той искренности, в той задушевности, которая звучит во многих песнях молодого поэта. Это действительно «Песни»: г. Коринфский прежде всего лирик; это — действительно «песни сердца», молодого сердца, которое любит и воспевает все, что должно любить молодое, чуткое сердце: в песнях г. Коринфского много мотивов любви — любви, звучащей почти страстью; много картин природы, много грусти и грустных, поэтических образов. Стихом г. Коринфский владеет очень свободно, настолько свободно, что это даже вредно иногда его стихотворениям: он увлекается мотивом, увлекается легко и звучно льющимся * стихом и порой чувство не достигает силы выражения, а картина рисуется расплывчато, не в главных деталях, теряет ясность; порой поэт не вдумывается в то, что хочет изобразить, настолько, чтобы изображаемое вышло жизненно и ярко. В этом всегда сказывается молодость художника. Но советуем г. Коринфскому, как и многим нашим молодым поэтам, строже быть к себе в этом отноше-

* *В газете опечатка*: вьющимся.

нии — это их общий крупный недостаток. Нужно больше вдумываться в поэтический образ, нужно больше прислушиваться к сокровенным звукам сердца... За всем тем, мы желаем полного успеха г. Коринфскому и надеемся на этот успех.

«Орловский вестник», 1895, № 281, 20 октября. Подпись: И. А. Б.

А. КОРИНФСКИЙ. ТЕНИ ЖИЗНИ
(Стихотворения. 1895 — 1896 гг. СПб., 1897)

А. КОРИНФСКИЙ. ВОЛЬНАЯ ПТИЦА И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ. СПб., 1897

«Моих много есть сочинений... Уж и названий даже не помню. И все случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: „Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь". Думаю себе: „Пожалуй, изволь, братец". И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях... Я, признаюсь, литературой существую...». Эти слова Хлестакова могут повторять многие из современных сочинителей и повторять не смущаясь, ибо в их устах это будет не ложь, а истинная правда. Много теперь пишут гг. сочинители. И все случаем: то театральная дирекция попросит водевиль или трагедию, то знакомый редактор десяток стишков, рассказ к рисунку или романчик. Потребность в водевилях, трагедиях и романчиках растет, «случаи», значит, нередки, остается только уметь пользоваться ими. И сочинители пользуются, тем более, что многие из них в совершенстве награждены «легкостью в мыслях» и другими хорошими качествами.

Помнит ли г. Коринфский названия своих сочинений? Признаемся, до последнего времени мы были мало осведомлены о его деятельности, но теперь мы «изумлены»! Оказывается, что с 1889 по 1896 г. им написано *одних стихотворений более 1000 печатных страниц* — четыре тома под занимательнейшими заглавиями: «Песни сердца», «Черные розы», «На ранней зорьке» и «Тени жизни». При этом производительность г. Коринфского с каждым годом увеличивается в возрастающей прогрессии: так, с 1889 по 1893 г. им написано 388 страниц стихов, то есть по 97 страниц в год, с 1893 по 1895 г.— 294 страницы или по 147 страниц в год, а за последний год — уже 263 страницы [1]. (Очевидно, что гигантские успехи производительности труда замечаются в наше время не только в сфере промышленности, но и в области творчества.) Что же будет, если господь продлит Коринфскому века?.. Ведь деятельность г. Коринфского не ограничивается одним стихотворством: перед нами лежит еще книга его рассказов в 327 стр. Кроме того, г. Коринфский восстановляет тексты русских былин, пишет биографии русских писателей (например, Кольцова), состоит редактором журнала «Север», одним из помощников редактора «Правительственного вестника» и плодовитым рецензентом во многих газетах и иллюстрированных журналах. Наконец, некоторые из сочинений г. Коринфского *предполагаются*: например, на каждой его книге пропечатано, что скоро выйдет его новый труд: «Современная русская поэзия» ...[2] А как переводчик г. Коринфский еще более неутомим: мы просмотрели четыре тома его стихов и встретили там переводы с *латинского*, *английского*, *датского*, *немецкого*, *старонемецкого*, *французского* (в том числе и с бретонского наречия), *итальянского*, *польского*, *сербского*, *хорватского и грузинского* языков!! Очевидно, что г. Коринфский все эти языки знает прекрасно, иначе как же переводить с них? А сколько языков он еще «предполагает» изучить! А сколько он знает русских старинных и местных слов, и никому не известных: «жарник», «шалашка», «скусне», «неуемный», «понизью», «не впусте», «разгарчивый», «начупахтаться», «рыба́ка», «пожни», «пазари», «зернь», «гули-ро́змысли», «празелень»,

«докука» и т. п. слова попадаются на каждом шагу в его произведениях... А какой любвеобильный г. Коринфский! Как обширен и разнообразен круг его друзей и приятелей! Мы насчитали 51 лицо, которым посвящены его стихи и рассказы! В числе их мы встречаем Мамина-Сибиряка, Златовратского, Засодимского, Немировича-Данченко, с одной стороны, и Случевского, Н. Аксакова, Н. Александрова — с другой стороны; затем — Лизу и Колю Клюкиных, Надю и Верочку Егоровых, Леночку Мал-кую, Ванюшу Белоусова, Сашу Ковалеву, Шурочку Случевскую, Вадю Быкова и т. д. и т. д. Не забыты и покойники: есть стихотворения, посвященные памяти Щербины, Ядринцева, Садовникова, а также какого-то г. Мандрыкина...

О чем же пишет г. Коринфский? Прочитавши «Песни сердца» и «Черные розы», мы заметили, что г. Коринфский воспевает, главным образом, русалок, Поволжье, святорусских богатырей на борзых конях или с гуслями-самогудами, приход «Весны-Чаровницы» (иначе «солнечные заигрыши»), «грезы» и «слезы» и «роковую страсть безумную»: «Не вино опьяняет меня, а твои огневые глаза — две гремучих (?) змеи...» — восклицает он при этом. А когда вздумает пофилософствовать, то рассказывает, что «не вычерпать моря бездонного чашей», что «жизнь — пучина многоводная», что «жизнь — поэма многотомная» или что

Без веры нет жизни,
Без мысли нет чувства,
Без жизни нет веры,
Без чувства нет мысли!..

На те же самые темы написаны стихотворения и нового сборника г. Коринфского «Тени жизни». Только тон его лиры стал грустнее за последнее время:

Нет и не видно зари ниоткуда,
Тени, что камни, за грудою груда,
Падают с неба, растут предо мной... —

жалуется он читателю. «Тени, что камни»... Каково сказано-то?

Беллетристика г. Коринфского доказывает еще большую «легкость» в его мыслях. В одном из его рассказов мы узнаем о некоей Зинаиде Павловне, утомленной любовными похождениями (это-то и есть «вольная птица»), и о бедном молодом человеке, который, выпивши бутылку водки, пытается склонить ее на новую любовь. В другом — о том, как пьяницу и ловеласа чиновника избили ревнивые мужья так, что «от его густых, как дремучий лес, и черных, как вороново крыло, усов не осталось и следа». В третьем — о том, как пьяные сапожники (г. Коринфский уверяет, что это были интеллигентные люди, которые перепились после разговора о народничестве) отправились в публичный дом... да, в этом состоит и весь рассказ!.. В четвертом — под гуслярный звон г. Коринфский воспевает грусть покоренного хана сибирского Кучума. В пятом — рисует шалунью Любочку, великосветскую барышню, причем эта барышня почему-то разговаривает на жаргоне арфянок. В шестом — передает повествование деревенского «парня» о «зазнобушке». «*И полюбись мне*, говорит этот парень, *полюбись, ни нá-что глядя, дочка маво хозяина,— Пётрой Ларивонычем его звали,— дочка, мол, евоная... Из господов был он... И полюбись, мол, мне Петры Ларивонычева дочка, Лизавета Петровна, стало быть,— да так — хоть помирай и то в пору... Парень-то, мол, я был из себя ничаво... За голос, за ейный она и полюбись мне всего больне...*»

Но на этом дивном воспроизведении народного языка можно и кончить. Если читатель будет недоволен, что мы так долго утруждали его внимание

характеристикой г. Коринфского, то пусть он вспомнит, что г. Коринфский не один в своем роде, что ведь он считается «литератором» и что пора серьезно подумать: как быть с подобными господами «литераторами»?

«Новое слово», 1897, № 6 (март), без подписи. Авторство Бунина устанавливается на основании письма к нему А. М. Федорова от 26 марта 1897 г.: «А здорово вы отделали Коринфского-то в мартовской книжке» («Материалы», стр. 61).

Аполлон Аполлонович *Коринфский* (1868—1937) начал литературную деятельность в 1888 г. в качестве фельетониста «Самарской газеты». С 1889 г. сотрудничал в «Неделе», «Наблюдателе», «Труде» и в ряде других столичных изданий. В 1895—1904 гг. был помощником главного редактора «Правительственного вестника», в 1896—1899 гг. редактировал журнал «Север». В 1895 г. в связи с сотрудничеством Бунина в журналах, с которыми был связан Коринфский, между ними завязалась переписка, длившаяся до 1896 г. (см. настоящ. том, кн. 2, «Сводный обзор бунинских материалов в архивах Советского Союза»). Личное их знакомство нашло отражение в автобиографических записях Бунина 1890-х годов (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 345—346).

«Песни сердца» — первая книга Коринфского. Сочувственно отозвавшись о ней в первой рецензии, Бунин вместе с тем указывает на отсутствие глубокой мысли, на некоторые художественные недостатки стихов молодого автора и настойчиво советует ему быть строже к своему творчеству.

Последующие три года, в течение которых Коринфский выпустил четыре сборника стихов и рассказов, показали, что замечания Бунина имели основание: Коринфский превратился в поэта-ремесленника, бездумному версификаторству которого Бунин дал уничтожающую оценку, рецензируя его сборники. В своей оценке Бунин не был одинок: не менее беспощадную критику поэзии Коринфского дало «Русское богатство», охарактеризовав его как «беспринципного поэта»: «поблестев, как мыльный пузырь, он, как мыльный же пузырь, и лопнет, не оставив после себя и следа на ниве русской поэзии» (П. Ф. Гриневич ⟨Якубович⟩. Обзор нашей современной поэзии.— «Русское богатство», 1897, № 8, стр. 155—156).

[1] В течение 1894—1897 гг. Коринфский выпустил пять сборников стихотворений и рассказов: «Песни сердца. 1889—1893» (М., 1894). «Черные розы. 1893—1895» (СПб., 1896), «Вольная птица и другие рассказы» (СПб., 1896), «На ранней зорьке. Стихотворения для детей» (СПб., 1896), «Тени жизни. 1895—1896» (СПб., 1897).

[2] К сборникам «Тени жизни» и «Вольная птица» приложено объявление о предстоящем выходе книги Коринфского: «Современная русская поэзия. Биографии-характеристики и образцы творчества ее представителей».

Н. ТЕЛЕШОВ. ЗА УРАЛ. ИЗ СКИТАНИЙ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

Очерки. Москва, 1897

Очень понравилась нам небольшая книжка Телешова. Написанная просто и без всяких претензий поразить читателя какими-либо «точками зрения» и дешевым остроумием, на что в последнее время стали так падки наши доморощенные «путешественники» вроде г. Крушевана, о книге которого нам пришлось говорить в одном из предыдущих выпусков нашего журнала [1], книжка Телешова читается от начала до конца с неослабевающим интересом. Автору во время его кратковременной поездки по Западной Сибири довелось увидеть и услышать много интересного, испытать ряд новых необычных впечатлений, которыми он и делится с читателями в своих бесхитростных, проникнутых широким гуманным чувством, путевых очерках. Глубоким сочувствием запечатлены страницы книжки, посвященные рассказу о всех тех злоключениях, которые приходится испытывать русским поселенцам, этим пионерам русской культуры на востоке. «Передо мной,— говорит автор,— открылась во всей наготе странная, почти неправдоподобная жизнь наших переселенцев,— жизнь на ходу, среди невзгод и лишений, голода и холода. Эта жизнь оставила на меня (во мне?) неизгладимое впечатление всесильной власти нужды и глубокого народного горя, доходящего иногда до полного отчаяния...» (стр. V).

Вообще переселенцам отведено видное место в книжке.

Но и помимо страниц, посвященных переселенцам, в книжке немало интересного. В главах VI и VII увлекательно описывается спуск в одну из шахт Тагильского завода, где добывается малахит, в главе III — Мотовилихинский стале-пушечный завод с его громадным в 3000 пудов молотом и чугунной наковальней весом в 40 тысяч пудов, в IV — переезд по одной из живописнейших дорог в России, именно по Уральско-горнозаводской железной дороге, в главе XXXI— путешествие в товарном вагоне по великой Сибирской железной дороге. Рассказ везде ведется живо и местами проникнут неподдельным юмором.

От всей книжки веет такой неподдельной искренностью и простотой, что читатель легко прощает автору встречающиеся местами погрешности против русского синтаксиса (например: «едва входишь во двор, стоит на особом постаменте огромная чугунная пушка», стр. XVI).

«Естествознание и география», 1897, № 8, стр. 77. Без подписи. Авторство Бунина устанавливается по автографу (ИМЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] Отзыв о книге Павла Крушевана «Что такое Россия?» (М., 1896) см. «Естествознание и география», 1897, № 5. Без подписи.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК. 1898

«КНИЖКИ НЕДЕЛИ». IX

Говоря о текущей литературе, обыкновенно умалчивают о «Книжках Недели». Это и понятно, так как «Неделя» и ее книжки давно уже не имеют такого значения, какое они имели при покойном редакторе-издателе ее, П. А. Гайдебурове[1]. Прежде «Неделя» интересно и серьезно отзывалась на вопросы политической и общественной жизни, а в книжках ее помещались произведения таких литераторов, как Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, Гл. Успенский, Кот Мурлыка, Лесков. Теперь «Неделя» по общественным и политическим вопросам отделывается общими местами, рассуждениями, к которым можно применить слова Щедрина: «С одной стороны, нельзя не признаться, с другой — нельзя не сознаться...», а «Книжки Недели» дают сочинения писателей, известных только потому, что они пишут довольно много, давно, прилично и чрезвычайно серо. Читать все это можно, но критике тут делать нечего. И если я буду иногда отмечать в литературном дневнике кое-что из «Книжек Недели», то только потому, что «дневник» претендует, главным образом, не на критику, а на то, чтобы осведомлять читателя насчет того, что есть в книжках журналов заметного, нового, дать возможность тому, кто не следит за всеми журналами, быть все-таки в курсе дела, следовательно, не всегда говорит только о художественном материале, а вообще об интересном и полезном.

Это интересное и полезное в «Книжках Недели» находится, повторяю я, не среди беллетристических произведений; заслуживают внимания в них статьи М. О. Меньшикова, и очень жаль, что несколько последних месяцев имя этого вдумчивого и искреннего публициста не появляется в «Книжках Недели»[2]; затем, интересный материал дают путевые очерки проф. Краснова и Дедлова[3] и, наконец, статьи г. Фирсова о финляндской литературе, литературе очень своеобразной и заслуживающей гораздо большего внимания, чем это предполагают русские читатели. На этот раз г. Фирсов знакомит нас с главою финляндских поэтов, с самым одаренным национальным финляндским писателем Иоганном Людвигом Рунебергом, имевшим очень большое влияние на всю нашу финскую окра⟨ину⟩—поэтом долга, мужества, твердости, прямодушия и братства среди людей. Интересующимся литературой смело можно рекомендовать эту небольшую, но поучительную статью г. Фирсова[4].

Что же касается «изящной словесности», как говорили в старину, то в сентябрьской «Книжке Недели» достойно внимания только новое произведение К. Д. Бальмонта, и я ограничусь тем, что отмечу в своем «дневнике» именно одно это художественное произведение. Называется оно «Дон-Жуан» и написано в духе последнего времени, с тем оттенком, который, хотя и не совсем точно, привыкли называть «декадентским»; это «Дон-Жуан» с характером новых настроений, и вычурность и туманность, которая утрируется писателями, охваченными этими «декадентскими» настроениями, вредит и отмечаемому произведению; видно, писатели на этом пути еще не сумели стать достаточно серьезными и простыми. Но в общем, новое стихотворение г. Бальмонта выдается среди многих его произведений и написано настолько местами сильно и интересно, что мы позволяем себе привести его целиком [5].

«РУССКОЕ БОГАТСТВО». IX КН.

Нельзя не обратить внимание на симпатичное отношение «Русского богатства» к молодым писателям, в то время как большинство наших журналов заботится главным образом о том, чтобы приобресть для журнала и для читателей произведения «имен», почти не заботясь о том, под чем эти имена подписаны. Это и легко и приятно, а главное, освобождает от лишних забот: никому из читателей не придет в голову обвинять издателей и редакторов за плохие произведения, подписанные хорошими именами. Имена и должны отвечать за каждую свою строку.

«Русское богатство», однако, только выигрывает от своего гостеприимства, так как там не редкость встретить свежее художественное произведение, подписанное неизвестным или малоизвестным именем, которое, однако, порой внушает надежды на то, что это имя со временем будет известным. К числу таких имен относится и выдвинутое в последние годы «Русским богатством» имя А. Куприна.

Первое произведение, с которым г. Куприн выступил в литературе, была, насколько мне помнится, повесть «Молох», очень одобрительно приветствованная критикой. Г. Куприн издал вскоре после этого книжку своих рассказов, о которых я писал летом [6].

В последней книжке г. Куприн выступил с очерком «В лесной глуши», очевидно, представляющим начало серии рассказов под этим общим заглавием [7].

Дело происходит в Полесье. Автор, на фоне унылой и диковатой полесской природы, рисует несколько фигур полещуков: сотского Кириллу, полесовщика Талимона и крестьянина Александра.

Ночью, в ожиданьи рассвета, три охотника: Кирилло, Талимон и автор — сидят у огонька, и, мало-помалу, завязывается у них беседа в жуткой тишине прохладной апрельской ночи, проникнутой теплыми парами земли, недавно освободившейся из-под снега, которые, как привидения, цепляются за ветки деревьев и бродят между стволами ожившего леса, как бледные призраки невежества, придавленности и уныния, которые тяготеют над этой землей.

И рассказы ведутся под стать этой ночи. Это суеверные легенды о ведьмах и проклятых душах, такие же унылые и смутные, как полесская природа. Язык везде строго выдержан и колоритен. Картины природы нарисованы сжато и с настроением... Вот характерный отрывок из этих описаний:

«Теплый, безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где зашло солнце, небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими узорами гигантской кисти, омоченной в кровь. На этом фантастическом фоне отчетливо рисовалась зубчатая стена ка-

А. И. КУПРИН
Фотография. Гатчина, 1914—1915 гг.
С дарственной надписью:
«И. А. Бунину — А. Куприн
и Сапсан II с любовью»
Парижский архив Бунина

зенного хвойного леса грубым, темным силуэтом, а торчавшие над ней кое-где прозрачные, круглые верхушки голых берез, казалось, были нарисованы на небе легкими штрихами нежной туши... Воздух уже потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева, каждая веточка, с той мягкой и приятной ясностью, которую можно наблюдать только раннею весною по вечерам. Слышалось иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, невидимый жук и как он, сухо щелкнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает...»

Мягко и поэтично описан тетеревиный ток, в нескольких строках передано впечатление, которое производит костер в лесу ранней весною:

«Поджариваемое сало заворчало и, растапливаясь, капало в огонь синими горящими каплями.

Раскаленные угольки с треском выпрыгивали из костра и, описав в воздухе искристую дугу, падали за нами. Становилось жарко. Мы разлеглись поудобнее, ногами к огню, головой наружу, и долго все трое возились, уминая под собой место и выгребая сухие веточки и сосновые шишки, мешавшие лежать. *Потом все притихли и молча глядели на пламя, охваченные тем странным гипнотическим очарованием, которое ночью так властно и так приятно притягивает глаза к огню*».

К их огоньку подходит фигура крестьянина, который, как призрак, блуждает этой ночью, угнетаемый страданием и горечью, вызванными неладами в семейной жизни.

Его жена — гулящая баба, и измены ее тяжким камнем ложатся ему на душу. С первым же появлением этой фигуры чувствуется уже какое-то неуловимое трагическое дуновение в этой ночи, от которой веет непонятным ужасом и как будто ожиданием ужаса. Александр в эту ночь убивает свою жену, и это убийство вплетается в настроение и картину этой ночи как один из основных элементов ее.

Рассказ написан сдержанно, умно, с настоящим чувством меры, характеризующим г. Куприна как безусловно талантливого художника.

В этой же книжке «Русского богатства» напечатана небольшая повесть молодой и симпатичной писательницы Л. Авиловой — «Наследники».

Перед читателем — наследники отживающего и отжившего свой век барства, разоренного и придавленного бессилием и... безденежьем, цепляющегося за обломки широких и благородных в известном смысле традиций.

Второе поколение — наследники мелкого дворянства, некогда униженного их более счастливыми покровителями... Неутешительны отпрыски знатного барства, но еще неутешительнее отпрыски мелкого дворянства.

Эти «наследники», как характеры,— не новы в нашей литературе, но сопоставление сделано удачно и итог подведен весьма смело. Надо приветствовать это произведение молодой писательницы как значительный шаг вперед на литературном поприще [8].

Кроме этих двух отмеченных мною произведений, последняя книжка «Русского богатства» обладает еще несколькими беллетристическими новинками, заслуживающими внимания.

Что касается так называемого «серьезного» отдела книги — достаточно назвать имена: Н. К. Михайловского, С. Н. Южакова, Н. Ф. Анненского, В. Г. Короленко, который выступил в качестве публициста с остроумной статьей, направленной против доклада священника Блинова по поводу мултановской истории, затем — В. В. Водовозова, Дионео и др. [9], и читатель поймет, что эта книжка симпатичного журнала представляет собою — embarras de richesse [10].

«Южное обозрение», 1898, № 594 и 624, 24 сентября и 26 октября. Подпись: И. Чубаров.

В 1898—1899 гг. в «Южном обозрении» было напечатано пять обзоров периодической печати под общим заглавием «Литературный дневник», за подписью «И. Чубаров» и «Ч—ов». Принадлежность этого цикла Бунину устанавливается по первому из этих псевдонимов, которым был подписан очерк «„Шаман“ и Мотька» (см. настоящ. кн., стр. 154).

Кроме двух публикуемых статей, в «Литературный дневник» вошли обзоры очередных номеров журналов «Русское богатство» (1898, № 10) и «Мир божий» (1898, № 10; 1899, № 5) — см. «Южное обозрение», 1898, № 611 и 636, 12 октября и 7 ноября; 1899, № 805, 10 мая.

[1] «Неделя» (СПб., 1868—1901) — еженедельная газета либерально-народнического направления. В 1870—1880-х годах пользовалась значительным успехом в провинции, так же как и ее ежемесячное литературное приложение «Книжки Недели» (1885—1901). Ниже Бунин дает вполне точную характеристику «Книжек Недели», которые во времена его юности были одним из главных источников его знакомства с современной литературой. С ними были связаны и первые годы его собственной литературной деятельности: по приглашению П. А. Гайдебурова, редактора-издателя газеты, Бунин с 1891 г. стал печататься в «Книжках Недели». С 1893 г., после смерти Гайдебурова, издателем «Недели» и ее приложения стал его сын В. П. Гайдебуров.

[2] Михаил Осипович *Меньшиков* (1859—1919)—известный публицист, в 1880-х — нач. 1890-х годов был главным сотрудником «Недели» и ее «Книжек». Его литературно-критические статьи, публиковавшиеся там, носили отпечаток идей Толстого, что, вероятно, и привлекало к нему Бунина. После прекращения «Недели» Меньшиков круто изменил свои позиции и, став постоянным сотрудником «Нового времени», превратился в беспринципного журналиста, чья политическая ориентация менялась в зависимости от конъюнктуры.

[3] В «Книжках Недели» за 1898 г. систематически печатались путевые очерки А. Н. Краснова («От Суэца до Каира», «В горах и предгорьях Кавказа» — № 6, 9, 10) и В. Л. Дедлова («Семинедельный год. Путешествие из Владивостока в Одессу», «Через Сибирь. От Петербурга до Владивостока» — № 1, 2, 4 — 9).

[4] В 1898 г. в «Книжках Недели» было опубликовано несколько статей В. Фирсова о финляндской и шведской литературе (№ 1, 3, 4, 9). Последняя из них («Финляндский национальный поэт») была посвящена творчеству Иоганна Людвига Рунеберга (1804—1877); характеризуя его, Бунин почти дословно повторяет слова автора статьи (ср. «Книжки Недели», 1898, № 9, стр. 158).

[5] Далее следует полный текст стихотворения К. Д. Бальмонта «Дон-Жуан, Пять отрывков из ненаписанной поэмы» («Книжки Недели», 1898, № 9).

[6] А. И. Куприн начал свою деятельность в «Русском богатстве». Бунин ошибся, считая повесть «Молох», опубликованную там (1896, № 12), первым его произведением. Ей предшествовали рассказы «Впотьмах», «Лунной ночью», «Дознание», «К славе» (1893, № 6—7, 11; 1894, № 8, 12). Рецензия Бунина на первый сборник рассказов Куприна («Миниатюры». Киев, 1897) не обнаружена.

[7] Основание для такого предположения давало заглавие, под которым в «Русском богатстве» (1898, № 8) был впервые опубликован рассказ «Лесная глушь»: «В лесной глуши. 1. Досвиток». Очевидно, вторым рассказом предполагавшегося цикла должна была стать «Олеся» (см. А. И. Куприн. Собр. соч. в шести томах, т. 2. М., 1957, стр. 577).

[8] В повести Л. А. Авиловой Бунина привлекла проблема, в ней поставленная,— судьба русского поместного дворянства, истории вырождения которого впоследствии был посвящен «Суходол», волновала его еще в начале творческого пути (ср. очерки «„Шаман“ и Мотька», «Помещик Воргольский»—настоящ. кн., стр. 148—154 и 162—172).

[9] В рецензируемом номере журнала были напечатаны: статья Н. К. Михайловского «О г. Максиме Горьком и его героях», посвященная разбору творчества Горького в связи с выходом его «Очерков и рассказов» (СПб., 1898); современное обозрение С. Н. Южакова («Политика»); статья Н. Ф. Анненского («К вопросу о неурожаях последних лет») и В. В. Водовозова («Политические партии Австрии»); корреспонденция Дионео «Из Англии»; статья В. Г. Короленко «По поводу доклада священника Блинова (новые факты в области человеческого жертвоприношения)» была продолжением той борьбы, которую он вел в 1894—1896 гг., добиваясь оправдания крестьян, несправедливо осужденных по мултанскому процессу.

[10] Буквально: «затруднение от избытка» (*франц.*). Эта поговорка употребляется обычно в смысле: такое изобилие, что трудно на чем-либо остановиться.

Н. ТЕЛЕШОВ. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ.
М., 1899

Г. Телешов — один из наиболее талантливых и симпатичных беллетристов, выступивших за последнее время на литературное поприще. Дарование его сказалось еще в первой книге его рассказов, выпущенной, если не ошибаемся, года три тому назад под заглавием «На тройках»[1]. Но в первой книге рассказов г. Телешова было и несколько слабых вещей, так что она прошла мало замеченной в печати. «Повести и рассказы» производят более цельное впечатление и уже отмечены рядом очень сочувственных рецензий. Г. Скабичевский посвятил им целый фельетон в «Сыне отечества», а «Новое время» поставило г. Телешова даже выше Короленко. До Короленко г. Телешову, конечно, еще очень далеко, но нам понятны даже такие преувеличенные похвалы. Они вытекают из того особенного впечатления, которое производит г. Телешов своей оригинальностью, искренностью и наблюдательностью на читателя. У него нет того «литературного пустословия», которым страдают многие из новых беллетристов, нет фальшивых нот в повествованиях. Чувствуется, что г. Телешов описывает только то, что хорошо знает и что действительно дорого или интересно ему; рассказывает он необыкновенно просто, точно и сжато, с умом и наблюдательностью здоровой и хорошей натуры. Если же прибавить к этому, что рассказы его затрагивают интересное и мало известное большинству: сибирскую природу, инородцев, быт переселенцев и нового московского купечества, то станет понятно, почему его книга имела и будет иметь несомненный успех, которого мы с своей стороны от души ей желаем.

«Южное обозрение», 1899, № 852, 2 июля. Без подписи.

О рецензируемом сборнике Телешова и критических откликах на него см. в переписке Бунина и Телешова (настоящ. кн., стр. 490—494). Авторство Бунина установлено по этому же источнику.

[1] Этот сборник («На тройках. Очерки и рассказы». М., 1895) был первой книгой Н. Д. Телешова.

ОТЗЫВЫ, НАПИСАННЫЕ ДЛЯ АКАДЕМИИ НАУК

Предисловие и публикация Л. Н. Афонина

16 февраля 1910 г. академик А. А. Шахматов известил Бунина, что Разряд изящной словесности Академии наук постановил обратиться к нему с просьбой «принять на себя рассмотрение сочинений С. Городецкого», которые автор представил на соискание Пушкинской премии [1]. Обязанный доставить разбор не позже 1 марта 1911 г., Бунин писал его в начале 1911 г., во время пребывания в Египте. Рецензия была закончена 23 января / 5 февраля в курортном городке Гелуане вблизи Каира и в тот же день отправлена Шахматову, которому Бунин, перечислив рассмотренные им книги Городецкого, писал: «... посылаю вам свой отзыв об этих книгах, в котором решительно высказываюсь против какого бы то ни было поощрения Городецкого со стороны Академии...»[2]

Работал писатель над отзывом, тщательно обдумывая и отделывая его, о чем свидетельствует черновая рукопись, публикуемая ниже. На полях этой рукописи, отправленной тогда же Н. А. Пушешникову, Бунин написал: «Это черновик того, что я написал и уже послал в Академию. *Сохрани это*» [3].

Не предназначавшаяся для публикации, «закрытая» рецензия рассматривалась Буниным, судя по этой надписи, как важный документ, имевший для него принципиальное значение. Крайне резко отозвавшись о книгах Городецкого, доказательно выявив действительные просчеты в творчестве претендента на Пушкинскую премию, Бунин объясняет их «кровным родством» молодого поэта с модернизмом: «Не он важен,— пишет Бунин,— важна школа, воспитавшая его».

Этот отзыв не был первым выступлением Бунина против модернистских течений в современной ему русской поэзии. Критика модернизма в большей или меньшей степени звучала в ряде статей молодого Бунина («Недостатки современной поэзии» [4], «Маленькая беседа» [5], «Памяти сильного человека» [6], «Е. А. Баратынский» [7]), а также в письмах — см., например, письма 1905—1906 гг. орловскому поэту Александру Тинякову (Одинокому) [8] и др. Однако именно в отзыве на сочинения Городецкого Бунин в первый раз столь безоговорочно и непримиримо критиковал поэтов-модернистов, называя их произведения «поэзией, опошлившей русский стих, доводящей его до пустозвонства или ухабистой прозы», «искажающей и насилующей русский язык». Бунин категорически отрицает декадентское искусство, упрекая его создателей в назойливом желании поразить читателя оригинальностью, необычностью, граничащей с трюкачеством, в результате чего самое слово «стихи» превращается «в посмешище, в синоним тарабарщины».

Не знающие пощады бунинские филиппики заставляют вспомнить Льва Толстого, его суровый суд над декадентством. Бунин не только ссылается на известную толстовскую оценку декадентских произведений, которые, «будучи похожи на бред безумного, представляют из себя нечто вроде ребусов» [9], но и в самой сущности критики поэтического искусства модернистов несомненно идет от Толстого. Интересно отметить, что процитированные строки из предисловия Толстого к роману В. фон Поленца «Крестьянин» перекликаются со статьей молодого Бунина о стихотворениях Фета, в которой право называться «истинной поэзией» не признается за произведениями нарочито усложненными, туманными, рассчитанными на внешний эффект [10]. Подобно Толстому. Бунин считает, что декадентское искусство не только дает ложное направление поэтическому дарованию, но и неизбежно сковывает его, разрушает, ведет к гибели. Не отказывая Городецкому в «некоторых литературных способностях», Бунин строго осуждает

его за то, что, связав свою писательскую судьбу с «новой поэзией», он делает все «от него зависящее», чтобы загубить талант и «из стихотворца превратиться в стихоплета».

Бунин усваивает здесь и самую толстовскую манеру «расправы» с декадентским искусством — откровенный, без каких-либо недомолвок и умолчаний «трезвый» разговор, при котором явления «новой поэзии» оцениваются с точки зрения «нормального» человека. Однако, на наш взгляд, есть и существенная разница между толстовской и бунинской критикой литературного декаданса. В падении искусства Лев Толстой видел «болезнь века», явление закономерное, один из зловещих результатов общего упадка буржуазного общества. Вскрывая социальные корни декаданса, Толстой показывал его антинародность. Бунин же прежде всего отвергает форму модернистской литературы, нападает на представителей «новой поэзии» за их сознательный разрыв с традициями русской классики. Не заинтересовавшись социальными причинами декаданса в литературе, Бунин тем самым суживает масштаб своего анализа.

Отзыв о сочинениях Городецкого как бы предвосхищает знаменитую речь Бунина на юбилее «Русских ведомостей» 6 октября 1913 г., местами даже текстуально перекликаясь с этим публичным выступлением писателя в защиту реализма. При этом следует, однако, подчеркнуть, что в речи расцвет декаданса уже непосредственно связывается с «бойким спросом» на модное искусство «со стороны нашей уродливо формирующейся буржуазии и всех праздных слоев общества» [11].

Как не раз отмечали современники, Бунин мог порою говорить и писать в высшей степени резко, даже не особенно стараясь выбирать слова, чтобы высказать охватывающие его чувства. Это несомненно следует иметь в виду и при изучении бунинской оценки стихов Городецкого, а также тех характеристик Блока, Брюсова, Бальмонта, Вяч. Иванова, которые даны в рецензии. Но существа дела это все же не меняет. Велика сила объективного, здорового в самом существе своем бунинского отрицания декадентского искусства. Именно это придает рецензии Бунина значение важного литературного документа, который, кстати говоря, нисколько не умаляет творчества Сергея Городецкого и его роли в отечественной (особенно в советской) поэзии, а лишь свидетельствует, что весьма непросто развивался этот большой русский поэт, переживший, по его собственному признанию, «противоречивый творческий путь», испытавший «идеологические блуждания» [12].

Выражая свою признательность автору отзыва «О сочинениях Городецкого», Отделение русского языка и словесности Академии наук 2 апреля 1911 г. постановило выдать Бунину золотую медаль имени А. С. Пушкина [13].

В 1913 г. Разряд изящной словесности Академии наук, в связи с предстоявшим пятым присуждением премий имени М. Н. Ахматова [14], поручил Бунину написать рецензию на рукописный стихотворный сборник, представленный под псевдонимом «Эдельвейс», а также на книги Н. А. Крашенинникова — «Угасающая Башкирия» (М., 1907) и первые три тома собрания сочинений, начатого изданием в 1911 г.: т. I. «Мечты о жизни» (рассказы); т. II. «Барышни» (роман) и т. III. «Сказки любви» (рассказы). 11 октября 1913 г. отзыв был готов и отправлен А. А. Шахматову [15].

Стихотворный сборник «Эдельвейс» — поистине литературный курьез. Автор его — «горничная из Италии», как рекомендовала себя некая Людмила Григорьева в стихотворном «прошении» в Академию наук. Первые же строчки этого «послания» не оставляли сомнения в малограмотности сочинительницы:

Письмо, его я не писала прозой
Лишь потому, что прозой не могу
Я изъяснять о том, о чем хочу.
А стих легко дается мне под музой.

Однако в Академии к стихам Л. Григорьевой отнеслись внимательно. На ее сборнике академик Шахматов написал «Надо сохранить» [16]. Бунину не понадобилось доказывать литературную беспомощность виршей Л. Григорьевой, «сдобренных» злобными антисемитскими выпадами. Достаточно было всего лишь процитировать «сочинения» «Эдельвейса», сохраняя при этом авторскую «орфографию».

Н. А. Крашенинников — писатель начала века, член «Среды». Бунин был связан с ним литературно-журнальными и личными отношениями и в свое время положительно оценивал некоторые ранние его произведения [17]. Многолетние добрые связи не помешали, однако, Бунину признать сочинения Крашенинникова не заслуживающими «поощрения», ибо в данном случае речь шла об официальном, ответственном отзыве, который мог возвести книги того или иного автора в разряд «образцовых». Не отказывая Крашенинникову в знании жизни, Бунин резко упрекает его за фальшивость, надуманность, избитость языка, за подражание писателям-модернистам.

В 1914 г. Бунину было поручено рецензирование исторических драм Л. Жданова и рассказов Э. Голландской. Посредственность этих произведений была очевидна и не нуждалась в пространных доказательствах.

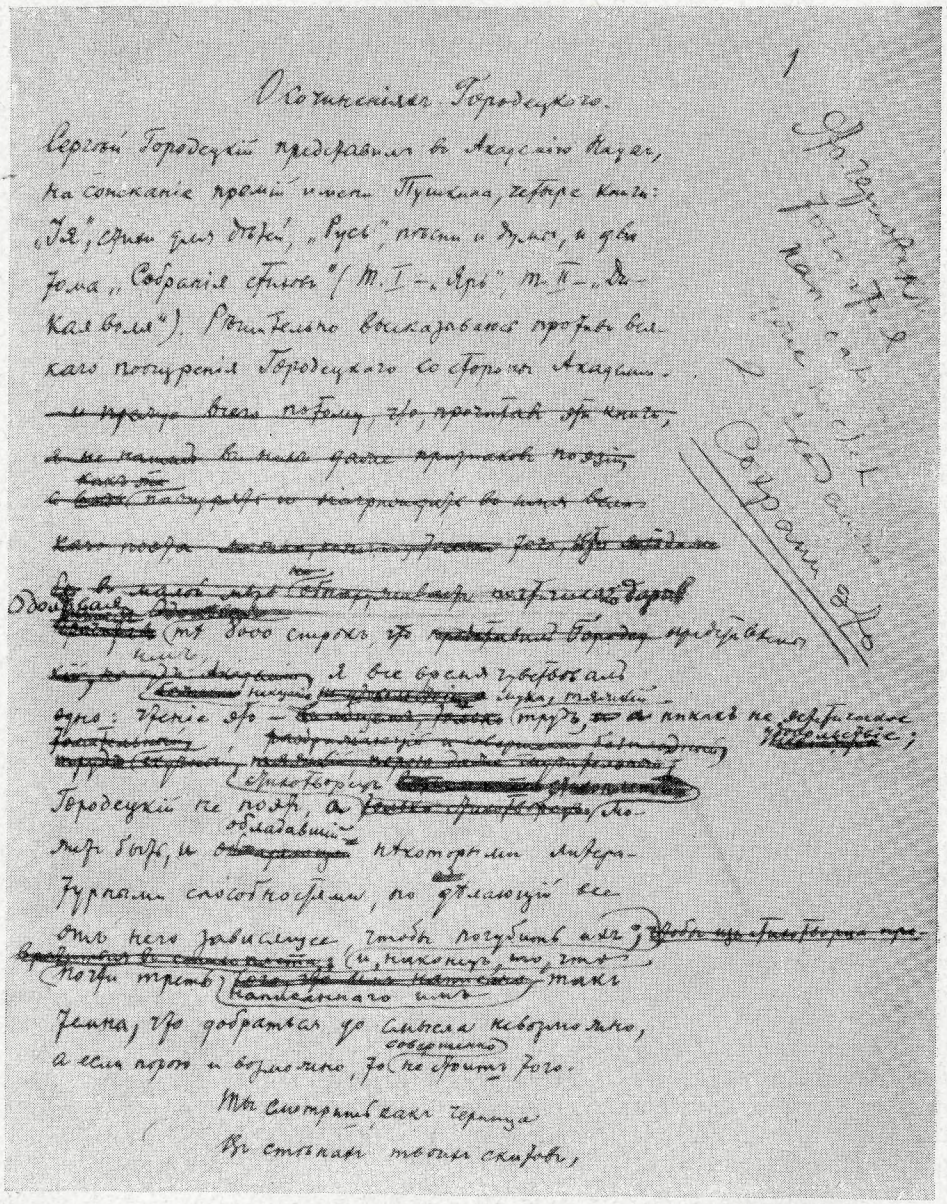
14 июля 1914 г. Бунин писал академику Шахматову: «Посылаю при сем книги Л. Жданова и Э. Голландской, представленные на XXI соискание премий имени Пушкина, и свой отрицательный отзыв о них» [18]. Особенно резко Бунин высказался о драмах Льва Жданова (псевдоним Льва Григорьевича Гельмана, 1864—1951), необычайно плодовитого прозаика и драматурга (к 1914 г. он был автором четырнадцатитомного собрания романов и трехтомника драматических произведений и переводов). По определению Бунина, «набивший руку» на сочинении «романов-хроник» и повестей «для юношества» («Царь Иоанн Грозный», «Под стенами Варшавы», «Цесаревич Павел», «Венчанные затворницы», «На Малаховом кургане» и мн. др.), трактовавших отечественную историю в верноподданническом, ура-патриотическом духе, Лев Жданов представил в Академию наук «исторические поэмы», действие которых развивается в древней Индии («Мирра») и Александрии IV в. («Гипатия»). Бунин не разбирает эти сочинения, ограничившись уничтожающей характеристикой всей литературной продукции автора. Как «серый, прилично-банальный и никому не нужный род литературы» оценивает Бунин и рассказы Э. Голландской.

В «академических» отзывах Бунина оцениваются различные, весьма непохожие литературные явления. Однако есть нечто общее во всех бунинских отзывах, вне зависимости от того, посвящались ли они разбору графоманской «любительщины», вроде стихов «Эдельвейса», или творчеству литераторов-профессионалов,— неизменное представление Бунина о высоком общественном назначении литературы, взгляд на нее «как на могущественный двигатель цивилизации и нравственного совершенствования людей» и проистекающее отсюда непримиримое, без всяких скидок и компромиссов, отношение ко всем «подделкам под художественные произведения» [19], вызванным к жизни декадентской «модой».

Наибольшой интерес, разумеется, представляет отзыв «О сочинениях Городецкого». Долгое время остававшийся за пределами внимания исследователей, он был впервые опубликован в 1967 г. по автографу, хранящемуся в Архиве Академии наук [20].

Однако научная ценность этой публикации превосходно аргументированного и композиционно стройного отзыва Бунина значительно ослаблена тем, что он был напечатан, как пишет публикатор, «с некоторыми сокращениями за счет приводимых цитат из стихов Городецкого». Вряд ли необходимо доказывать, что пространные выписки из книг Городецкого, сделанные Буниным, не являются лишними, а лишь подтверждают справедливость бунинской критики, делают ее неотразимой. Без каких-либо оговорок опущены в публикации резкие слова Бунина о Блоке и Брюсове, а также рассуждения рецензента в связи с предисловием Сергея Городецкого к своим сочинениям. Именно поэтому представляется необходимой и целесообразной публикация полного текста отзыва Бунина.

В основу публикации этого отзыва положен черновой автограф, сохраненный Н. А. Пушешниковым и приобретенный ГМТ у его вдовы К. П. Пушешниковой в 1961 г. В качестве основного печатается последний («верхний») текст автографа, в котором имеются лишь мелкие разночтения с текстом, отосланным в Академию наук. Под строкой приводятся все существенные варианты первой редакции («нижний» слой черновика). Эти варианты представляют значительный интерес для исследователей, ибо в них авторские мысли и оценки были выражены с большей непосредственностью и горячностью, чем в окончательной редакции, отосланной в Петербург в качестве официально-



О сочиненіяхъ Городецкого.

Сергѣй Городецкій представилъ въ Академію Наукъ, на соисканіе премій имени Пушкина, четыре книги: „Ярь", „Сриньгримъ", „Русь", „Мысли и думы", и двѣ тома „Собранія стиховъ" (т. I — „Ярь", т. II — „Калевала"). Рѣшительно высказываюсь противъ выдачи Городецкаго поощренія Городецкаго со стороны Академіи.

~~и прежде всего потому, что, прочитавъ эти книги,~~

~~я не нашелъ въ нихъ даже приличныхъ поэтическихъ~~

~~с~~ ~~пасторалей по~~ ~~и~~ ~~всякаго рода~~

~~Въ~~ ~~одной изъ~~ ~~стихотвореній~~ ~~отрывокъ~~ ~~Бородецкій~~

(въ этомъ стихѣ, что ~~представилъ~~ ~~Бородецкій~~ предъявилъ книгу, ~~[illegible]~~ я все время чувствовалъ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

го документа. Помимо этого, материалы чернового текста позволяют проследить процесс формирования мысли Бунина. Остальные два отзыва публикуются по беловым автографам, представленным Буниным в Академию наук.

[1] Архив АН СССР (далее ААН), ф. 9, оп. 3, ед. хр. 20, л. 70.
[2] Там же, л. 71.
[3] ГМТ, № 2747, л. 1.
[4] «Родина», 1888, № 28; Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 487—494.
[5] «Орловский вестник», 1891, № 27; настоящ. кн., стр. 296—299.
[6] «Полтавские губернские ведомости», 1894, № 72; Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 502—506.
[7] «Вестник воспитания», 1900, № 6; там же, стр. 507—524.
[8] «Проблемы реализма», стр. 170—171.
[9] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 270.
[10] См. настоящ. кн., стр. 298.
[11] См. настоящ. кн., стр. 322.
[12] С. М. Городецкий. Мой путь.— В кн.: «Советские писатели. Автобиографии», т. I. М., Гослитиздат, 1959, стр. 331.
[13] ААН, ф. 9, оп. 3, ед. хр. 20, л. 358.
[14] Ахматовские премии за лучшие научные труды и произведения изящной словесности были установлены в память тайного советника М. Н. Ахматова, завещавшего свой капитал Академии наук; начиная с 1909 г. присуждались ежегодно.
[15] ААН, ф. 9, оп. 3, ед. хр. 43, л. 419.
[16] ААН, ф. 9, оп. 3, ед. хр. 20.
[17] Очерк литературной деятельности Крашенинникова см.: А. Усманов. Н. А. Крашенинников (К 10-летию со дня смерти.)— «Литературная Башкирия». Альманах, вып. 3. Уфа, 1951, стр. 336—352.
[18] ААН, ф. 9, оп. 3, ед. хр. 22, л. 5.
[19] Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 490—531.
[20] Е. С. Кулябко. И. А. Бунин и Академия наук.— «Русская литература», 1967, № 4, стр. 175—179.

О СОЧИНЕНИЯХ ГОРОДЕЦКОГО

Сергей Городецкий представил в Академию наук, на соискание премий имени Пушкина, четыре книги: «Ия», стихи для детей, «Русь», песни и думы, и два тома «Собрания стихов» (т. I — «Ярь», т. II — «Дикая воля») [1]. Решительно высказываюсь против всякого поощрения Городецкого со стороны Академии *. Одолевая те 8000 строк, что представлены им, я все время чувствовал одно: чтение это — наказание, мука, тяжкий труд **, а никак не эстетическое удовольствие. Городецкий не поэт, а стихотворец***, может быть и обладавший некоторыми литературными способностями, но делающий все, от него зависящее, чтобы погубить их ****; и, наконец, то, что почти треть написанного им так темна, что добраться до смысла невозможно, а если порою и возможно, то совершенно не стоит того.

Ты смотришь, как черница
В стенах своих скитов.
А тут сирень-синица
Поет без голосов[2],—

---

* *Далее зачеркнуто*: и прежде всего потому, что, прочитав эти книги, я не нашел в них даже признаков поэзии, а ведь как же поощрять и награждать во имя великого поэта можно того, кто даже и в малой мере не обнаруживает поэтического дара.

** Тяжкий труд — *вписано вместо зачеркнутого*: томительный труд, скучный, тяжкий, раздражающий и совершенно бесплодный труд, скучный, тяжкий, порою даже мучительный.

*** *Далее зачеркнуто*: вернее, стихоплет

**** *Далее зачеркнуто*: чтобы из стихотворца превратиться в стихоплета.

читаю я — и, конечно, даже и представить себе не могу, что это за «сирень-синица». Автор спрашивает:

А о чем печалится
Дождевик седой?

Или:

— Что накатывают волны на реке?
Чья пичуга бьется в каменной руке?[3] —

и так и не поясняет — чья именно пичуга и кто такой Дождевик, а я только догадываюсь, что Дождевик этот сродни Елкичу Сологуба-Тетерникова, что Городецкий просто выдумал Дождевика, как выдумал он Ветровоя, Вертодуба, Неулыбу, Лунного Старика и проч.— по очень дурной манере так называемого «нового искусства» выдумывать (чаще всего на русский лад) имена не существовавших никогда * и ни в чьих представлениях и сказаниях демонов, богатырей, чудищ, набирать пестрые коллекции забытых областных слов и составлять из них ** какой-то дикий язык, выдавая его за старорусский, как это делает, например, Ремизов[4], вспоминать семинарские и вытаскивать из словаря Даля старинные слова, чтобы нелепо сочетать их с гекзаметром ***, как это делает Вяч. Иванов[5],— и даже просто «творить» новые слова, вроде — саркофагность, напевность, глубинность, обманность, как это делает Бальмонт[6], или употреблять во множественном числе слова такие, как миг, дым, звон, чем особенно знаменит Брюсов[7].

Свет от Света оторвется,
В недра темные прольется,
И пробудится яйцо.
Хаос внуку улыбнется
И вселенной сопричтется
Новозданное лицо.
Человек или планета
Проведет земные лета
И опять спадет лицо.
И вселенной улыбнется,
И над Хаосом сомкнется
Возвращенное кольцо,—

читаю я на первой странице первого тома Городецкого — и мне нужно делать усилия, чтобы воспринять из болтливых уст автора скудную мысль его[8].

— Я тень грядущего светила[9],— напечатано на второй странице этого тома, и я не знаю ****, кого дурачит автор: себя или читателя?

Мои огни — дыханье рока,
Мое вздыманье без оков.
Мое лицо — тайник рождений,
Оно металось в колесе,—

говорит про себя на той же странице солнце[10], — и я изумляюсь, зачем понадобилось сообщать такие новости и в такой несуразной форме?

---

* *Далее зачеркнуто*: в народных
** *Далее зачеркнуто*: не существующий нигде и никогда
*** *Далее зачеркнуто*: и семинарско-греческими словами, вроде θеатр.
**** *Далее зачеркнуто*: совершенно не понимаю, что это значит.

«Мое вздыманье без оков», лицо «металось в колесе»... * А дальше и того лучше (описание лунных фаз):

Перва четверть — месяц-змейка,
Снова четверть — месяц-лик.
Полнолунье — разумей-ка! —
Не Луна, а сам Старик [11].

Это говорится, вероятно, от лица какого-нибудь юродивого, думаю я **, не придавая большого значения тому, что луна и старик написаны с большой буквы,— ведь уж таков обычай теперь [12], но, перечитав стихотворение, вижу, что ошибся: нет, автор говорит от своего лица — и оказывается, что *** эта прибаутка заканчивает высокопарнейшие вирши цикла «Луна» и уступает место циклу еще более высокопарному — «Земля»:

Миром оплетенные,
Туманами окутаны,
Пустыней разделенные,
Пространствами опутаны,
Во времени томительном
Несемся обнищалые... [13]
...Мы ли, земные,
Тяжелые, темные,
Жалко плененные
Пленом тягчайшим из всех,
Знаем сиянье небесных утех,
Знаем ключи золотые,
Лучами пронзенные,
Знаем купели укромные,
Где, зачиная, гудит
В недрах бескрайних
Ярь родников
И щедро дарит
В радостях тайных
Дар облаков,—

без передышки бормочет автор, подражая Вяч. Иванову [14],— и без передышки начинает следующий цикл — «Рождение».

В гулкой пещерности,
В тьме отдаления,
Самодовления,
Богом зачатая
Ярь непочатая,
Дщерь неизмерности
Щедрых страстей
Сонно колышется,
Матерью слышится
Влажно-просторною
Взором проворною
Чревных очей...[15]

---

* *Далее зачеркнуто*: Повторяю, я не понимаю. Неужели это поэзия?
** *Далее зачеркнуто*: смущаясь только тем
*** *Далее зачеркнуто*: этот скомороший вздор

БУНИН
Гравюра с рисунка А. А. Койранского, 1909⟨?⟩
Литературный музей, Москва

Тогда я ищу отдыха во втором томе, довольно легко пробегаю его первую страницу, где автор сообщает, что любовь —

Призывает к телу тело
Для одной души свободной [16],—

но на следующей спотыкаюсь:

Мне тяжело, как в первый день,
Как в первый *день ночного горя*,
Когда впервые пала тень
На ровноту земли и моря...
Я сон вулканов услыхал,
Вокруг себя разливших лаву
Среди со дна подъятых скал
На запыленную дубраву [17],—

говорит автор в цикле «Голоса Смерти», а далее впадает уже в полную меланхолию и бред:

Все стало чуждо: комната и люди.
И неотсюда уж гляжу на свой уют,
Где вещи, суетливо подставляя груди,
Мои глаза ненужностью гнетут.

И это ли не доказательство, что поистине содрогнулась бы тень Пушкина, увидя награжденною во имя его подобную изнурительную и претенциозную болтовню! А ведь я выписал буквально сотую долю ее.

Повторяю, что не может быть, по моему мнению, и речи о поощрении Городецкого уже хотя бы за одно кровное родство его с тем, что называется * «новой» поэзией [18] — поэзией, опошлившей русский стих, дово-

---

* *Далее зачеркнуто*: теперь русской

дящей его до пустозвонства или ухабистой прозы и называющей эту прозу «вольным стихом», искажающей и насилующей русский язык, превратившей слово «стихи» в посмешище, в синоним тарабарщины *, приучившей публику так снисходительно смотреть на риторику, напыщенность, самолюбование **, самовосхваление, фатовство, сюсюканье или грубость, требующей себе триумфов за мнимые *** победы и реформы, за «дерзновение» и глубину замыслов, за якобы «кованный» или «утонченный» стиль, а говорящей чаще всего вульгарно, косноязычно и даже не по-русски ****,— поэзией, где давным-давно нет и дыхания поэзии, где исчезла простота, непосредственность, такт, мера, ум, чувство, где ***** воцарился дурной тон и ****** словесный блуд, где все дешево и поддельно — и страсть, и наивность, и сила, и красота,— где преобладает то, что похоже, по определению Л. Толстого, «на бред безумного и представляет из себя нечто вроде ребусов, отгадывание которых считается признаком утонченности» [19]. Приходится сказать даже более: всякого порицания заслуживает этот молодой представитель «новой» поэзии, а уж никак не поощрения и санкции. Не он важен: важна школа, воспитавшая его. А ведь он один из первых учеников в этой школе. У него есть даже известность,— правда, почти не выходящая за пределы литературных кружков и понятная только в силу того беспримерного падения, до которого дошла современная критика, но известность ******* довольно громкая [20].

Он подозрительно разносторонен и плодовит, подозрительно самонадеян в выборе работ, а между тем, даже заглавия его в большинстве случаев вычурны или лубочны. Несмотря на свою молодость, он произвел на свет божий уже целых 15 книг. Четыре мы знаем. Но, как видно из авторских объявлений, приложенных к ним, Городецкий выпустил и выпускает еще и следующие свои труды: два тома своих рассказов («Кладбище страстей» и «Деревня»), роман в трех частях («Варвара Волгина»), семь одноактных пьес, книгу по истории и теории символизма («Велес»), книгу «литературных воспоминаний» («Бархатная лапа»), перевод романа Якобсена («Люне»), перевод драмы Гамсуна («Закат»), перевод двух томов Мопассана и перевод пьесы Гауптмана («Потонувший колокол») [21]. А ведь известно, что плодовитость — родная сестра болтливости, и стихи Городецкого, прежде всего, редкий образец болтливости. Одолейте-ка, например, его сказки,— ну, хотя бы начало «Лии»:

В дебрях леса заблудившись, смольным воздухом упившись,
Созерцая меж стволами, красноватыми от цвета
Облекавшей их коры
И от тающего света
Солнца, плывшего над лесом после яростной игры,
Меж стволами созерцая заплетенья темной хвои,
Что клоками нависала, своды высила и, сбившись
В черный узел, знак давала, что на этом месте двое
Страшных, сильных и огромных, двое, может быть и трое,
Для любви сходились страстной, задыхаясь в желтом зное,
И любовью упивались, и в любви сплетясь, как в бое,

---

* *Далее зачеркнуто*: и ахинеи
** *Далее зачеркнуто*: бесстыдство
*** *Далее зачеркнуто*: перевороты в русской литературе
**** *Далее зачеркнуто*: (в стихах Брюсова: «Альков задвинутый, Дрожанье тьмы, Ты запрокинута, И двое — мы»)
***** *Далее зачеркнуто*: властно
****** *Далее зачеркнуто*: растет
******* Далее зачеркнуто: эта зиждется как раз на самых дурных чертах его

Мяли мох и хвою сосен, на одре душистом слившись,
Созерцая лес измятый, шел, предчувствуя смятенье,
Из окрестного селенья
Я, певец любви летящей, уносящей за пределы
Тела, радостно кующего душе ограниченья,
Шел, и образы мелькали, неожиданны и смелы,
Крылья нового творенья... [22]

Это ли не словесный блуд! А ведь выписанное — только начало сказки, опять-таки только сотая часть ужасного целого. Не верится, диким кажется, что можно написать так сто, двести страниц, но Городецкий поистине творит чудеса. Опять ищешь отдыха, опять перевертываешь страницу,— и опять задыхаешься, глохнешь и слепнешь *.

И сейчас же в поцелуе, в первом жаре поцелуя,
Я услышал странный голос — нет, не голос — звук печальный,
Будто посвист Ветровоя над страной какой-то дальной,
Будто шип ползучий Змея, звук далекий, изначальный,
Так настойчиво спросивший, душу пленную милуя,
Так сурово произнесший отвратительное слово,
Этот трижды, трижды, трижды проклинаемый Глагол:
«*Вспомнил? Вспомнил? Вспомнил?*» Снова,
Снова, снова троекратно голос сердце уколол.
И в смущеньи, задыхаясь (так же темен и тяжел
Был сплетенный надо мною купол веточек стожальный),
Я не ведал,—как ответить неожиданности новой. . .[23]

И таких сказок у Городецкого целых три [24]. «Может быть, думаешь, это только „Лия“ такая трудная, а следующая — „Яга“ — хоть немного легче»? Но, нет!

За горами, за полями, за стоячими лесами,
За трясучими водами, за кипучими ключами... [25]

И так далее, и так далее! И занимают эти сказки чуть не половину всего второго тома Городецкого. И, что хуже всего, чрезвычайно типичны они для всех его сочинений, и типичны одним только сумасшедшим, бесшабашным обращением со словами и развязнейшим **набором их. Нет, *** он, как это не раз доказано было выше, еще и мучительно однообразен, неудобочитаем ****, напыщен и всегда фальшив в своих якобы буйно-непосредственных излияниях. Плясовый темп, в котором написаны *девять десятых* его стихов, несомненно, *нарочито* усвоен им — и невыносим своей назойливостью, а порою и вульгарностью:

Ах, ангелы, архангелы, святители мои! (стр. 129)[26].

Специализировавшись на «космическом» («Космос скованный низложим!» — говорит он в «Яри» [27]), Городецкий делает вид, что все чувствует он как часть космоса — и себя, и свою любовь, и даже Русь. Что это за Лия?

— Ты — живое тело леса, ты сама зеленый лес [28],— говорит он Лие и надоедливо твердит это всем своим возлюбленным. В «Дикой воле» есть целый отдел («Радуга»), где выдуманно и в плясовом темпе, с фальшивой буйностью, изображено тринадцать женских образов — трина-

* *Далее зачеркнуто*: среди неудержимого пустословия
** *Далее зачеркнуто*: и зачастую совершенно бессмысленным
*** *Далее зачеркнуто*: он не только зачастую даже плодовит и болтлив просто ни к селу ни к городу
**** *Далее зачеркнуто*: темно и высокопарно риторичен

дцать образов какой-то мировой оргии,— и награждены они такими именами: Зеленая, Серая, Розовая, Голубая, Золотая, Синяя, Желтая, Рыжая, Смуглая, Белая, Темная, Аленькая, Черная. Читаешь Зеленую:

Вся лесная. А глаза летят и жгут,
Так и жгут...
Вся моя ли? Да, моя, И ноги гнут,
Так и гнут [29],—

и дивишься: как это ноги гнут человека, когда обычно человек гнет ноги? Читаешь Серую, Розовую, Голубую, Желтую и, все более раздражаясь выдуманностью всего этого, делаешь бесплодные попытки хоть что-нибудь понять в пустословии автора. Вот Серая: она —

В серой комнате мелькает,
Тает, вьется, пробежит,
Изогнулась, не дрожит.
Знает, как красивей, знает,
От красы не убежит,
Каждой каплей дорожит.
Глаз русалочий сверкает,
Серый глаз бежит, бежит,
Верность линий сторожит.
Гибкость тела не скрывает,
Захотела — обнажит.
Стала. Прыгнула. Лежит...

Вот Желтая: у ног этой лежат две змеи, а лежат они потому и затем,

Чтоб тогда ты только мог
Целовать извивы шеи,
Тонкой кожи не жалея,
Если ступишь на порог
Женской яростной затеи,
Этих змей убить умея,
Если ты на ложе лег,
Желты ящерицы-феи,
Кровью этих змей алея.
И тогда лишь в желтый лог
Лес склонит свои увеи
Над твоею страстью вея,
Если смерть ты превозмог,
И в тебе воскресли змеи
Мертвых змей сильней и злее...

Но довольно. Не стоило бы всерьез говорить о Городецком, если бы не был он так типичен для теперешних литературных нравов. Отказываешься верить, чтобы у человека хватило духу выпустить в свет четыре книги такой чепухи, как вышеприведенная; но что́ невозможно теперь, когда пользуется известностью полупомешанный Блок [30], фат * Бальмонт, сам себя именующий «сыном солнца», «чародеем стиха», а Пушкина и «всех» прежних поэтов — своими предтечами [31], Третьяковский — Вяч. Иванов и прочие, прочие, покровителем **, одним из главарей которых является усидчивый копиист французских модернистов и старых русских поэтов — Брюсов, еще так недавно писавший:

Альков задвинутый, дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,— и двое — мы [32].

---

* *Далее зачеркнуто*: и словоблуд
** *Далее зачеркнуто*: и метром коих величается

СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ
Шарж неизвестного художника
Гравюра
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Выше приведены образцы «космических» «раздумий» Городецкого «о космической судьбе человека», как он сам называет циклы «Земля», «Луна», «Рождение», «Голоса Смерти»; приведены образцы его любовной лирики; остается еще большое количество стихов, посвященных воссозданию древнерусской мифологии, воспеванию Руси, изображению современной городской и деревенской жизни, и стихи для детей. Но нужно ли доказывать, что человек, обнаруживший столько безвкусия, фальши и пр. в одном роде, окажется иным — в другом? Вот опять — первая страница книги для детей:

Уложило Солнце вещи,
Село в красный кузовок,
Дует ветер, дождик хлещет,
Месяц плачет *под шумок*.
«Приезжай скорее в гости! —
Шепчет, *выпустив узду*. —
Промочил себе я кости,
А тебе достал звезду» [33].

Какую узду? Какую звезду? — об этом и не спрашивайте. Осилив еще несколько длиннейших и скучнейших прибауток * с претензиями на оригинальность, но в общем банальных, опять ** широко раскрываешь глаза: Кот (с большой буквы) ходит в школу и учится там:

Мяу-мяу — дважды два,
Мяу-мяу, мяу-са,
Мяу-мяу — колбаса.

Или:

Раскрылись сливы
И абрикосы,
Готовят нивы
Травы покосы.

---

* прибауток *вписано вместо зачеркнутого*: виршей
** *Далее зачеркнуто*: наталкиваешься на совершенный вздор

Или:

А зовусь я Краснолесье
Оттого, что красный весь я.

Или:

Лес тропинку защемил,
Плачется тропинка,—

причем сам лес и поясняет, почему он ее защемил:

Щелей в теле не люблю.

А вот на что наталкиваешься, развернув «русские» стихи Городецкого: какая-то Змеюка рассказывает, что у нее седая голова, но что она скрывает это —

Я *кажи́нную* весну
Глажу, прячу седину.
Ни на небе облачка,
Ни седого волоска
У Змеюки...
Как на речке, на Тетере
Разгуляньице *теперя*... [34]

Можно представить себе после этого, что сделал Городецкий из славянской мифологии, какая лубочная это подделка под народный лад, народный язык, народную мысль, как, в сущности, старо и затрепано все это — Ярилы, Перуны, Стрибоги, добры молодцы, красна девица-краса, жемчуга-самоскаты, гаданья о суженом,— словом, все, вплоть до разухабистого плясового темпа, мочально-белокурого парика автора и его притоптывающих лаптей, позаимствованных у актера с открытой сцены, где так лихо «отжаривают» кэк-уок и «барыню» ряженые Акульки да Федорки! Правда, автор все время старается убедить, что все это — не * переодеванье, не ломанье, а его горячая любовь к Руси, что он — истый сын ее, истый буйный славянин:

Русь! Что больше и что ярче,
Что сильней и что смелей!
Где сияет солнце жарче,
Где сиять ему милей [35].

Но кто поверит ему? Мочального парика не скроешь, и уже чувствуется, что через минуту услышишь Змеюку:

Как на речке, на Тетере
Разгуляньице теперя! —

или одну из тех песен, которые автор сочиняет и вкладывает в уста пьяных женщин, чтобы показать, как он выражается, «жестокую городскую и деревенскую действительность» [36]:

Обнадежил красавчик седой,
Лысый бес, генерал,
Обещал,
Насказал... [37]

---

* *Далее зачеркнуто*: кафешантанное

Полюби меня миленький, маленький!
Я *крупичата* баба, раздольная,
Будет *жисть* тебе нынче привольная...[38]

Г-жа Гиппиус не так давно заявила, между прочим, в одной из своих статей, что «всем известно, что Бальмонт не умен», но что это нисколько не мешает ему быть настоящим поэтом [39]. Да, в кружке, к которому принадлежит Городецкий, отсутствие ума не считается за большую беду. Не считается за беду и многое другое — например, быть бесстыдным в самооценке, быть смешным *. Как же ценит свои труды сам Городецкий? А вот как. В примечаниях к своему первому тому он с величайшей тщательностью перечисляет, где и когда появились его стихи в печати, и указывает «месяца» и годы написания каждого из них: например, «3-й год (вероятно, 1903) и месяц Зарень» подарили миру стихотворение «Я». «4-й и Серпень» — «Теремок», «5-й и Просинец» — «Красный Терем» — и т. д. [40] Подробно рассказано и в предисловии, в какое время и из чего составился его первый том: «Эта книга, объемлющая пять лет *поэтической* работы, включает в себя полностью две первые книжки автора», кои «состояли из отрывков какого-то великого эпоса, сверкнувшего на единый миг перед юношеским взором автора и повергнувшего его на все эти годы под ярмо мечты воссоздать видение». Из предисловия же можно узнать и многое другое,— например, то, что в отделе «Зачало» есть одно стихотворение, «особенно ясно определяющее судьбу этой книги, *если смотреть на нее издалека, из светов и просторов грядущей поры*». «*Я тень грядущего светила*»,— повторяет при этом Городецкий и заканчивает: «Если же смотреть на нее из современности и видеть в ней наковальню настоящего, а не зеркало его, то явственней всего зазвучит хороводная песня, высмеиваемая только слабыми и мертвыми, несущая дерзкие слова: „Мы ведь можем, можем, можем!“» [41]

А «Послесловие» к этому тому таково, что я выписываю его от слова до слова: «Не разлучимы ведь поэзия и жизнь, и на последней странице благословляет автор весь сонм людей, событий и видений, мучительно творивших его душу: после порывов и провалов настала в ней торжественная тишина, как на полях перед новым всходом. И всех, поднимавших перо на хулу или хвалу этой книги, благодарит автор за труд. Вас же, читающие и тем творящие свои души,— ищет. *Не вы ли это, современники? Лучше, если б и вы*. Листопад девятого года. Сергей Городецкий» [42].

Спрашивается, зачем же Сергею Городецкому поощрение Академии? Он, правда, ищет читающих и «тем творящих свои души». Но ведь он же убежден, что все равно будут смотреть на его книги «из светов и просторов грядущей поры» и что «читающие» все равно найдутся. «Не вы ли это, современники?» — спрашивает он. И снисходительно отвечает: что ж, пожалуй, и вы, это не мешает, даже лучше. «Лучше, если б и вы».

Helouan
5/II 1911

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Ия. Стихи для детей и рисунки сочинил и рисовал целых два года Сергей Городецкий». Изданы в Москве к Рождеству 1908 года книгоиздательством «Заря»; «Русь. Песни и думы». М., 1910; Собрание стихов, тт. I—II. Пред. С. Городецкого. Изд. 2. СПб., 1910 (тома имеют титульные листы: т. I, кн. 1—2 — «Ярь. Лирические и лироэпические стихотворения», т. II, кн. 3 — «Дикая воля. Лирические стихотворения, песни, сказки»). Далее при ссылках на эти издания указываются только их названия и страницы. Неточности, допущенные Буниным в цитатах, исправляются без оговорок.

[2] С. Городецкий. Сирень.— «Русь», стр. 22.

[3] «Дождевик»; «Пичуга».— «Русь», стр. 23, 52. Последнее стихотворение процитировано неточно (у Городецкого: «В чьей пичуга бьется каменной руке?»).

* *Далее зачеркнуто*: жалким

[4] Первые книги А. М. Ремизова вышли в 1907 г. («Лимонарь, сиречь: Луг духовный». СПб.; «Посолонь. Сказки». М.). В 1910 г. изд-во «Шиповник» начало выпускать собрание сочинений Ремизова. Сопоставлению Ремизова и Городецкого была посвящена статья В. Полонской («Всеобщий ежемесячник», 1910, № 9). Об отношении Бунина к творчеству Ремизова см. настоящ. том, кн. 2, воспоминания Н. В. Кодрянской «Встречи с Буниным».

[5] Ср. цикл «Дистихи», написанный гекзаметром (Вяч. Иванов. Кормчие звезды. СПб., 1903). Склонность Вяч. Иванова к этому размеру сохранилась и в последующие годы, например, «Отзывы», «Нарцисс», «Художник и поэт» (Вяч. Иванов. Прозрачность. М., 1904, стр. 15, 81, 84), посвящение к сб. «Эрос» (СПб., 1907) и др.

[6] Ср.: «Я блеск бездонности зеркальной»; «Ты в хрустальности звезд и в порыве комет» (К. Бальмонт. Полн. собр. стихов, т. 3. М., 1908, стр. 7, 9).

[7] Ср.: «Пусть миги пролетят беззвучно, смутно»; «Менял я вас на блаженные миги»; «Хорошо нам, вольным дымам» (В. Брюсов. Полн. собр. соч. и переводов, т. I. СПб., 1913, стр. 54, 55; т. III, СПб., 1914, стр. 147). 23 июля 1906 г. Бунин писал А. Тинякову: «Вы считаете за что-то новое и серьезное недостатки тех, кому подражаете. Неужели, например, „миги" есть нечто большее, чем простое косноязычие? Не говоря уже о том, что эти „миги" и „дымы" весьма и весьма затасканы» («Проблемы реализма», стр. 171).

[8] «Я под солнцем беспечальным...» Этим стихотворением, первым в цикле «Я», открывается сборник «Ярь» (стр. 9—10).

[9] Начальная строка четвертого стихотворения цикла «Я».— «Ярь», стр. 11.

[10] «Стою всевидящее око...» — первое стихотворение цикла «Солнце».— «Ярь», стр. 11.

[11] «В лунном свете белый дворик...» — четвертое стихотворение цикла «Луна».— «Ярь», стр. 17.

[12] В цитированном выше письме А. Тинякову Бунин писал: «Неужели тяжкое — порою даже преднамеренно тяжкое — нагромождение высокопарных определений и сравнений, равно как и начертание слов с больших букв, есть не что иное, чем бессильное желание сказать что-нибудь значительное?» («Проблемы реализма», стр. 171).

[13] «Миром оплетенные...» — второе стихотворение цикла «Земля». — «Ярь», стр. 18.

[14] «Как сладко, как тихо...» — третье стихотворение цикла «Земля».— «Ярь», стр. 19. Ср. стихотворения Вяч. Иванова «Увенчанные», «Воззревшие» («Прозрачность». М., 1904, стр. 27, 29—30).

[15] «В гулкой пещерности» — третье стихотворение цикла «Рождение».— «Ярь», стр. 21.

[16] «Наша доля — веять волей...» — «Дикая воля», стр. 6.

[17] Начало первого стихотворения цикла «Голоса Смерти», открывающего сборник «Дикая воля» (стр. 9). Далее цитируется начало девятого стихотворения этого цикла (там же, стр. 20).

[18] Свое «кровное родство» с «новой поэзией» сам Городецкий подчеркнул в посвящении, предпосланном сборнику «Ярь»: «Посвящены стихотворения: Перун-Солнце — К. Бальмонту, Хаос — Вяч. Иванову, Змеюка — Алексею Ремизову, Заря — А. Блоку, Я захотел, и мир сияет — Ф. Сологубу, Славят Ярилу — Н. Рериху, и другие — другим» (стр. 2).

[19] Неточная цитата из предисловия Л. Н. Толстого к роману В. фон Поленца «Крестьянин»: «Роман этот ⟨...⟩ не принадлежит и к произведениям, называемым декадентскими, особенно нравящимся современной публике именно тем, что, будучи похожими на бред безумного, они представляют из себя нечто вроде ребусов, отгадывание которых составляет приятное занятие и вместе с тем считается признаком утонченности» (Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 270).

[20] Первые книги Городецкого вызвали большое число рецензий, авторами которых были А. Блок, В. Брюсов, Вяч. Иванов, М. Волошин, К. Чуковский, Н. Гумилев и др. Однако даже представители «новой поэзии» оценивали творчество молодого поэта разноречиво. А. Блок воспринял «Ярь» как, «может быть, величайшую из современных книг», как «открытие» (см. А. Блок. Записные книжки. М., Гослитиздат, 1965, стр. 533, 85). В 1907 г., рецензируя сборник «Перун», он писал о Городецком: «Звезда его поэзии, как Сириус, яркая и влажная, поднялась высоко. Это звезда первой величины» (А. Блок. О лирике.— Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.— Л., 1962, стр. 145). Но книгу Городецкого «Русь» А. Блок называет уже «полунаписанной», считая, что «в ней нет упорства поэтической воли, того музыкального единства, которое оправдывает всякую лирическую мысль; нет и упорства работы, которое заставляет низать кольцо за кольцом в целую цепь» (там же, стр. 649—650). Резко отозвался о стихах Городецкого Андрей Белый: «Талантливая безвкусица — вот как хочется определить многие из его стихотворных строчек»; «Я не люблю народничества Городецкого — эту арлекинаду»; «Городецкий — мифотворец по заказу; сказал Иванов: „Творите". И „затворил"» («Перевал», 1907, № 8-9, стр. 103). После выхода «Руси» Н. Гумилев говорил: «Я прочел ее с чувством сладкой меланхолии и еще большей неловкости, по-

тому что, спеша подбирать слова к все нарастающей и нарастающей мелодии, автор не успел ни взвесить их, ни расценить, ни даже выбрать подходящие. Ни о стильности, ни об интересности построений или технической утонченности тут не может быть и речи. Городецкий забыл все, что он когда-либо знал или должен был знать как поэт. Книга названа Русью, но России здесь нет» («Аполлон», 1909, № 1, «Хроника», стр. 22).

[21] В объявлении, приложенном к сб. «Ярь», сообщалось, что автор выпустил сборник рассказов «Кладбище страстей» (СПб., 1909) и готовит к печати следующие издания: сборник рассказов «Деревня» (вышел под названием: Повести и рассказы. «Светлая быль», «Специалисты» и др. СПб., 1910); роман «Варвара Волгина» (не был издан); сб. «Семь одноактных пьес» (не был издан); книгу статей «Велес. Очерки по истории и теории символизма» (под таким названием вышел «2-й альманах русских и инославянских писателей». СПб., 1913, в котором принял участие и Городецкий); книгу «Литературных воспоминаний» — «Бархатная лапа» (не была издана).

[22] «Лия. Лесная сказка».— «Дикая воля», стр. 171.

[23] Там же, стр. 174—175.

[24] Сказки «Касьян», «Яга», «Лия».— «Дикая воля», стр. 141—181.

[25] «Яга».— «Дикая воля», стр. 155.

[26] «Феодор» (цикл «Алый Китеж»).— «Ярь», стр. 129.

[27] «Беспредельна даль поляны...» — третье стихотворение цикла «Хаос».— Блок писал по поводу этих стихов: «Право, С. Городецкий обращается чересчур развязно с этими заслуживающими всякого почтения стариками ⟨...⟩ Выкрикиванье угроз по адресу хаоса и космоса заставляет подозревать только о недостаточно близком и положительном знакомстве с ними» (А. Блок. Противоречия.— Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, стр. 413).

[28] «Лия. Лесная сказка».— «Дикая воля», стр. 180.

[29] «Зеленая» (цикл «Радуга»).— «Дикая воля», стр. 107. Ниже цитируются еще два стихотворения из этого же цикла: «Серая» и «Желтая».— Там же, стр. 108, 114.

[30] Эту крайне резкую характеристику Блока Бунин — правда, в значительно смягченном виде — повторил и позже, утверждая, что у автора «Незнакомки» — «умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость — редкая» (И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, изд-во «Возрождение», 1950, стр. 43). Однако известны и другие оценки личности Блока, которые давал Бунин в годы эмиграции (см. «Грасский дневник» — настоящ. том, кн. 2, стр. 266).

Творчество Блока Бунин не принимал до последних лет своей жизни, считая, что «Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким штилем все можно опошлить» (И. А. Бунин. Воспоминания, стр. 216). Несомненно, что Бунина в его неприязненном восприятии блоковской поэзии в послереволюционные годы «ожесточило« то обстоятельство, что Блок оказался «по ту сторону баррикады» и прославил Октябрь в поэме «Двенадцать».

[31] Подразумеваются строки стихотворения Бальмонта: «Я — изысканность русской медлительной речи, /Предо мною другие поэты — предтечи...» (К. Бальмонт. Полн. собр. стихов, т. 3. М., 1908, стр. 54).

[32] В 1916 г., вероятно, в связи с подготовкой статьи о творческом пути Брюсова Бунин внимательно перечитывал его стихотворения, особенно ранние сборники, делал из них выписки, многочисленные заметки, из которых видно, что и в это время брюсовская поэзия вызывала у него резко отрицательное отношение (см. настоящ. кн., стр. 436). Цитированные строки из стихотворения Брюсова «В ночном безлюдии» (Полн. собр. соч. и переводов, т. III. СПб., 1914, стр. 97) Бунин неоднократно приводит в подтверждение, что Брюсов «нередко срывался в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого» («Автобиографические заметки».— Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 302). О взаимоотношениях Брюсова и Бунина см.: С. Л. Гольдин. К вопросу о литературных связях В. Брюсова и И. Бунина.— «Брюсовские чтения 1962 года». Ереван, Госиздат, 1963, стр. 168—184; А. Нинов. Предисловие к переписке Бунина с Брюсовым (настоящ. кн., стр. 421—440).

[33] «Ия», стр. 2. Далее Бунин цитирует стихи из этой же книги (стр. 11, 21, 25, 27).

[34] «Змеюка».— «Ярь», стр. 113.

[35] «Русь» — стихотворение, открывающее одноименный сборник (стр. 5).

[36] В предисловии к «Яри» Городецкий писал: «Отдел „Темь“ ⟨...⟩ замкнул в себе определенный круг переживаний — именно тех, которыми дарит жестокая городская и деревенская действительность» («Ярь», стр. 5).

[37] «Прачка» (из цикла «Темь»).— «Ярь», стр. 168.

[38] «Обезумела в уличном грохоте...» (из цикла «Улица»).— «Ярь», стр. 158—159. Цитата неточная — пропущена строка.

[39] Источник цитаты установить не удалось.

[40] С. Городецкий употребляет древнерусские названия месяцев: зарень (зарев), он же серпень — август, просинец — январь, листопад — ноябрь и т. д.

[41] «Ярь», стр. 5 и 6. Цитируется с пропуском отдельных слов.

[42] «Ярь», стр. 193.

1. СТИХОТВОРЕНИЯ ЭДЕЛЬВЕЙСА.
2. Н. КРАШЕНИННИКОВ. «УГАСАЮЩАЯ БАШКИРИЯ», «МЕЧТЫ О ЖИЗНИ». «СКАЗКИ ЛЮБВИ». «БАРЫШНИ».

Г-жа Эдельвейс представила в Академию на соискание пушкинских лавров тетрадь в 177 страниц, без единого знака препинания [1].

Никто не взглянет все косятся
Так всех пугает рукопи́сь,—

говорит она, но я все-таки прочел эту «рукопи́сь» — и удовольствуюсь только тем, что приведу несколько отрывков из нее,— образчиков того, *что* и *как* воспевает г-жа Эдельвейс.

Пишу стихи не для похвал
А слыша голос музы внятной
Заметив как он благотворен
Я гласу музы своей внял.

Двенадцать пробило явился
К нам нами жданный новый год
Вздохнул внезапно ободрился
И застучал у всех ворот.

Ежь бежал своей дорогой
Повстречалась с ним лиса
И под речью ее строгой
Заглянул он ей в глаза

Если поэт не пишет пьес
То нуль ему вниманья...

Зачем в России существуют
Заводы водочные срам
Все поголовно водку дуют
А между тем введен уж трам...

Лист сухой летит с деревьев
Обнажаются поля
И собрались лететь птички
В отдаленные края...

Он был поэт
Лучом согрет
И звался Фет
Его привет
Читает свет
Из книг газет
Хранил завет
Жил много лет
Сойдя на нет..

Иванъ Алексѣевичъ!

Примите привѣтъ отъ Разряда Изящной Словесности.

Истинный и совѣстливый художникъ — а таковымъ мы Васъ признаемъ — бываетъ всегда требователенъ къ себѣ сверхъ мѣры, и исчисленіе его заслугъ будитъ въ немъ чувство недовольства собой и тайнаго раздраженія противъ его созданій. Намъ хотѣлось-бы, чтобы въ день Вашего празднества Вы полюбили Ваши созданія такъ, какъ мы ихъ любимъ за ихъ вѣское содержаніе, за любовь къ человѣку, которая такъ чувствуется во всѣхъ воплощенныхъ Вами образахъ, за изящество кисти, какой эти образы зарисованы...

Пусть двадцать пять лѣтъ Вашего служенія искусству будутъ счастливымъ и красивымъ залогомъ грядущей работы; пусть совѣсть Ваша какъ художника будетъ спокойна — а всѣ, кому дороги судьбы русской словесности, съ любовью и уваженіемъ произнесутъ Ваше имя.

АДРЕС БУНИНУ ОТ РАЗРЯДА ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ АКАДЕМИИ НАУК к двадцатипятилетию его литературной деятельности. Октябрь 1912 г.

Архив Академии наук СССР, Ленинград

Четыре книги Крашенинникова [2], конечно, совсем не то, что произведения г-жи Эдельвейс, но поощрения, по-моему, тоже не заслуживают. «Угасающая Башкирия» — рассказы о Башкирии, которую автор, видимо, знает,— интересна кое-какими бытовыми черточками, но весьма слаба в художественном отношении. «Мечты о жизни» — сборник рассказов — просто скучны, порою фальшивы, надуманны и неприятны своим готовым, избитым языком. И хуже всего то, что автор с каждой книгой теряет и то немногое, что ему дано. «Сказки любви» и «Барышни» уже нестерпимы по своей ненужности и опять-таки надуманности и общей банальности — на этот раз уже модернистской. Тут все есть: и Сологуб, и Андреев, и Арцыбашев, нет только их способностей и резкостей: Крашенинников, напротив, весьма слащав, у него то и дело читаем: «Она была нежная, непорочная, с золотыми волосами, похожими на сон».

‹11 октября 1913 г.›

ААН, ф. 9, оп. 3, ед. хр. 43, л. 419.

[1] Рукопись Л. Григорьевой («Эдельвейс») не имеет названия. Хранится в ААН, ф. 9, оп. 3, ед. хр. 20.

[2] Н. А. Крашенинников. Угасающая Башкирия. М., 1907; Собр. сочинений. М., 1911, т. I («Мечты о жизни»), т. II («Барышни»), т. III («Сказки любви»).

Л. ЖДАНОВ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ. Э. ГОЛЛАНДСКАЯ. РАССКАЗЫ, т. II

Эти две книги [1], представленные на XXI соискание премий имени А. С. Пушкина, не заслуживают, на мой взгляд, никакого одобрения: поэмы Жданова — произведения человека, совершенно лишенного художественного дарования и оригинальности, набившего руку фабриковать якобы исторические драмы и повести для Никольского рынка, а рассказы Голландской всецело принадлежат к тому серому, прилично-банальному и никому не нужному роду литературы, который за последнее время растет не по дням, а по часам.

27.VII.14

ААН, ф. 9, оп. 3, ед. хр. 22, л. 6. Автограф. Подпись: Ив. Бунин.

[1] Л. Жданов. Исторические поэмы. I. Гипатия (Язычница Гипатия). Историческая трагедия в 4-х действиях, с прологом. II. Мирра. Драматические картины древней Индии, в 4-х действиях. СПб., 1914.
Э. Голландская. Рассказы, т. II. СПб., 1913.

ИНТЕРВЬЮ

Предисловие И. С. Газер*

Исследователи жизни и творчества Бунина давно уже обратили внимание на высказывания писателя, которые содержатся в его газетных интервью, появлявшихся особенно часто в те годы, когда он выдвинулся в первые ряды русской литературы. Восемь из них (1910—1916 гг.) вошли в Собр. соч. 1965—1967[1]; до этого пять (1910—1914 гг.; три из них были включены в т. 9) были опубликованы А. А. Ниновым[2]. В настоящую публикацию включены еще 14 интервью за 1902 и 1910—1916 гг. Таким образом, общее число введенных в научный обиход интервью Бунина, относящихся к дореволюционному периоду его жизни, ныне достигает 24[3].

Биографическое и историко-литературное значение этих публицистических выступлений писателя бесспорно: они содержат ряд ценных автобиографических сведений; мы находим в них интересный автокомментарий к произведениям Бунина; немало дают они и для понимания его общественно-эстетических взглядов, характеризуют его отношение к таким писателям, как Некрасов, Толстой, Чехов, Горький, Короленко, а также к некоторым событиям общественной и литературной жизни 1910-х годов.

Темы, которые проходят почти через все интервью, свидетельствуют о цельности и последовательности многих взглядов и убеждений писателя. Одной из таких тем является состояние современной литературы. Неизменное восхищение классическими образцами сочетается у Бунина с резко непримиримым, бескомпромиссно враждебным отношением к модернистской литературе. Эта позиция отразилась во многих его интервью (см. ниже, № 5, 10, 11, 12; «Новый мир», стр. 226—228; т. 9, стр. 538—540, 542).

Бунин отрицает эстетическую теорию декаданса, предписывающую поэту «только чисто художественные задачи» (т. 9, стр. 539). Утверждая, что «не должно быть посягательства на свободу творчества» (здесь Бунин, несомненно, полемизирует с марксистским принципом партийности литературы), он в то же время отделяет свое понимание «свободы« от декадентского: «„Чистого“ эстетизма я не понимаю,толки об этом изжиты и надоели» — и далее: «Когда художник упивается, смакует рисуемые им картины только во имя лозунга „все позволено“ и раскрывает низменную свою натуру, то читатель вправе сказать про эту натуру, что она — низменная. По-моему, этот лозунг, выставляемый преднамеренно на знамени, подозрителен. Последователи лозунга, значит, чувствуют что-то неладное в своей деятельности, чтó хотят оправдать, освятить этим все покрывающим девизом» (т. 9, стр. 535).

Подходя к оценке декадентства с нравственными и эстетическими критериями, Бунин соотносит с теми же критериями и свое отношение к политической реакции. Осуждая падение литературных нравов, аморальность и цинизм буржуазной литературы, он в то же время не приемлет правительственный террор и политику III и IV Думы, с негодованием говорит о «днях славы» не только Игоря Северянина, но и Пуришкевича, Распутина (см. № 12; «Новый мир», стр. 228). Иными словами, Бунин воспринимает многие явления общественной и литературной жизни как в равной степени антигуманные и уродливые.

Бунин считает все направления модернистского искусства в России «нежизненными и беспочвенными» и потому досадует на печать, уделяющую столь много внимания «ада-

* Интервью № 3, 7, 9, 12 подготовила к печати и прокомментировала И. С. Газер; № 8 — А. К. Бабореко; № 2, 10 — Т. Г. Динесман; № 13 — Т. Г. Морозова; 1 — редакция «Литературного Наследства». Тексты интервью № 4, 5, 6, 11 и 14 сообщил А. К. Бабореко (комментарий И. С. Газер).

мистам, акмеистам, модернистам, символистам» и тем самым рекламирующую их; он подчеркивает симптомы заката модернизма, говорит о падении его влияния, о признаках возрождения реализма, о повороте писательских и читательских интересов и симпатий в сторону реалистической литературы (см. № 10 и 12).

В каждой газетной строке, передающей бунинские мысли о декадансе, ощущается полемический накал. Пристрастность, порой переходящая в раздражение, мешает Бунину в анализе сложных явлений литературной жизни, заставляет отвергать любые имена, так или иначе связанные с модернизмом. Признавая талантливость некоторых его представителей, Бунин отказывает им в естественности и правдивости. При всей запальчивости, а порой и несправедливости отдельных его оценок, надо отдать Бунину должное за его горячую защиту благородных традиций классики — гуманности, демократизма, правдивости искусства,— за его тревогу о судьбах русской литературы.

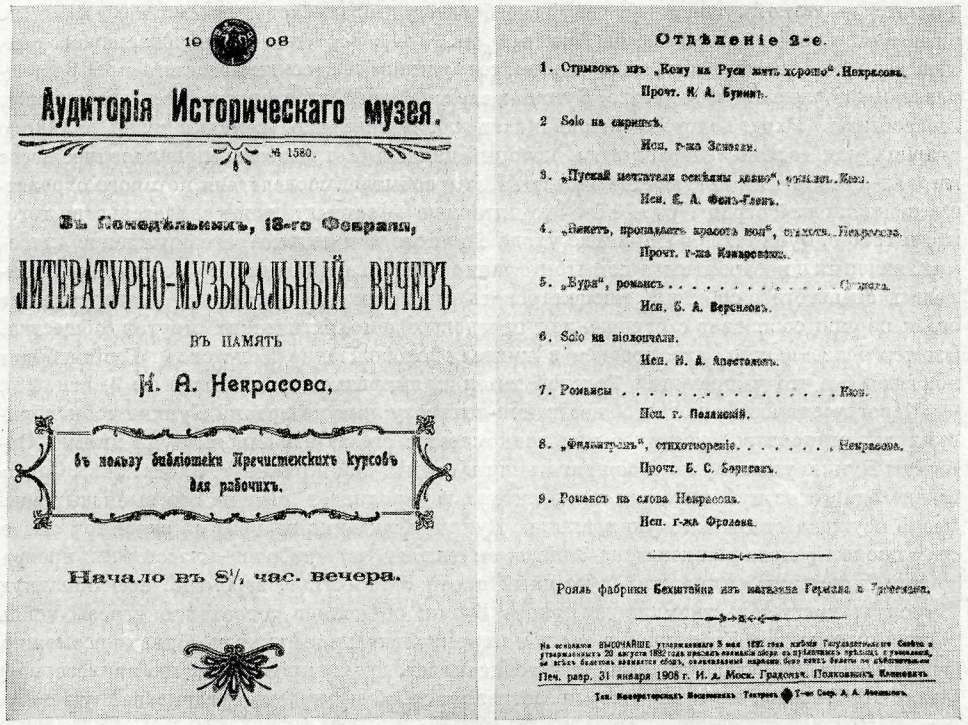
Бунинские разоблачения декаданса встретили поддержку у многих передовых его современников. Вересаев, например, писал Бунину 9 октября 1912 г.: «Мне недавно попалась одесская газета ⟨...⟩ В ней вы приветствуете конец Арцыбашевых и Каменских. С вами радуюсь их концу и я» [4]. Видимо, сочувствие бунинской критике литературного распада и понимание своевременности ее побудили Горького в 1915 г. сочувственно отнестись к намерению Бунина написать статью о современной литературе [5].

Бунина возмущает фантастический, мистический образ народа, рисуемый модернистами — «изобразителями сусальной Руси», как он их называет (т. 9, стр. 266). Надуманному образу народа в их произведениях писатель противопоставляет мужицкий, крестьянский мир Толстого и Гл. Успенского, которые умели передать «хороший колоритный язык народа средней полосы России». И далее: «Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов,— то это я считаю отвратительным варварством» («Новый мир», стр. 225).

Вопрос о принципах изображения жизни народа приобретает для Бунина особую остроту в связи с только что завершенной работой над «Деревней» и полемикой, которая развернулась вокруг повести. Свои беседы с корреспондентами Бунин использует для разъяснения собственной авторской позиции и сложившейся у него концепции русской жизни. Он настойчиво подчеркивает ответственность взятой на себя задачи, указывает на необходимость сурового и трезвого, отрешенного от иллюзий подхода к народной жизни, примером которого служит для него творчество Глеба Успенского, он отвергает, как легкомысленные и беспочвенные, упреки в сгущении красок, мрачности картин, отрицая за критиками право говорить о его «нелюбви» к народу, о его «холодном и сухом сердце» (см. № 9, 12; «Новый мир», стр. 224—225).

Не менее важен и другой аспект бунинских высказываний по поводу принципов изображения народа: указание на то, что для него главное в «Деревне» — «весь уклад, весь быт русской жизни», что его интересуют «не мужики сами по себе», а «душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина» («Новый мир», стр. 224, 225). И «Деревня», и «Суходол», и другие произведения Бунина 1910-х годов объединяет обращение к «светлым и темным, но почти всегда трагическим основам» русской души (т. 9, стр. 268). Это имеет в виду Бунин, акцентируя тот факт, что «Суходол» исследует дворянство в его органической связи с мужицким, деревенским миром, показывает сродство душ мужика и барина, их общую вековую отсталость, стихийность чувств и поступков, гибельность судеб: «Я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике» («Новый мир», стр. 225). Можно не соглашаться с бунинской трактовкой отношений между крестьянами и дворянами, но нельзя не заметить, что он четко разъясняет в этом интервью замысел своей повести.

Если учесть отрицательное отношение многих критиков к зрелым произведениям Бунина, в первую очередь к «Деревне», и высокую оценку этой повести Горьким, оценку, которая стала для Бунина «живой водой» [6], если вспомнить, что в 1909—1913 гг. Бунин почти ежегодно бывал на Капри, где особенно сблизился с Горьким,— станет понятным, почему Горький и его творчество, его оценки современной литературы, его жизнь на Капри, а также собственное отношение Бунина к нему стали постоянной



19 08

Аудиторія Историческаго музея.

№ 1580.

Въ Понедѣльникъ, 18-го Февраля,

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ

ВЪ ПАМЯТЬ

Н. А. Некрасова,

въ пользу библіотеки Пречистенскихъ курсовъ для рабочихъ.

Начало въ 8½ час. вечера.

Отдѣленіе 2-е.

1. Отрывокъ изъ „Кому на Руси жить хорошо". Некрасова.
Прочт. И. А. Бунинъ.

2 Solo на скрипкѣ.
Исп. г-жа Земцкая.

3. „Пускай мечтателя осмѣяны давно", романсъ. Кюи.
Исп. Е. А. Фель-Глезъ.

4. „Бѣжитъ, пропадаетъ красота моя", стихотв. Некрасова.
Прочт. г-жа Измаровская.

5. „Буря", романсъ . . . . . Чайковскаго.
Исп. Б. А. Верешковъ.

6. Solo на віолончели.
Исп. Н. А. Апостоловъ.

7. Романсы . . . . . Кюи.
Исп. г. Полянскій.

8. „Филантропъ", стихотвореніе. . . . . Некрасова.
Прочт. Б. С. Зорнитскій.

9. Романсъ на слова Некрасова.
Исп. г-жа Фролова.

Рояль фабрики Бехштейна изъ магазина Германа в Тверской.

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 мая 1892 года мнѣнія Государственнаго Совѣта и утвержденнаго 20 августа 1892 года проекта новаго сбора съ публичныхъ зрѣлищъ, съ уплаченнаго за всѣхъ билетовъ взимается сборъ, опредѣленный нарядомъ безъ взиманія билетовъ отъ абонентовъ.

Печ. разр. 31 января 1908 г. И. д. Моск. Градоначк. Полковникъ Комиссаровъ

Тип. Императорскаго Московскаго Театра Т-ва Скоп. А. А. Левенсонъ.

ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ВЕЧЕРА ПАМЯТИ Н. А. НЕКРАСОВА
Москва, Исторический музей, 18 февраля 1908 г.
Обложка и программа 2-го отделения
На этом вечере Бунин читал отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
Музей И. С. Тургенева, Орел

темой бунинских интервью. Здесь прежде всего подкупает дружественный тон высказываний Бунина о Горьком. Он с теплотой вспоминает Капри, обстановку дома Горького, самого писателя, М. Ф. Андрееву, их гостей, рассказывает о любви каприйцев к Горькому (см. № 2—4, 6, 10, 12, 14; т. 9, стр. 532—534, 542—548).

По-видимому, озлобленность и желчность по отношению к Горькому и некоторым другим современникам, проявившаяся в воспоминаниях, написанных в эмиграции,— приобретение более поздних лет, проведенных на чужбине. А в 1910-е годы (и это подтверждают газетные интервью, в частности, публикуемые ниже) Бунин живо интересуется литературной и общественной работой Горького, рассказывает о многообразных связях «писателя-изгнанника» с родиной, о его зорком внимании ко всем событиям общественной, политической и литературной жизни. Он сочувственно оценивает попытки Горького оживить «Знание», сообщает о его творческих замыслах, видит в его новых произведениях («Городок Окуров», «Чудаки», «Исповедь») доказательство дальнейшей эволюции «крупного художественного таланта»; Бунин утверждает, что Горький — «бесспорный художник», который находится в «полном расцвете художественных сил», что он «один из очень немногих в нынешней русской беллетристике, делающих настоящее и большое дело» (см. № 2 и 6). Толки буржуазной критики об упадке таланта Горького Бунин называет «вздорными»; по его мнению, Горький близок к тому, чтобы «занять положение писателя общечеловеческого» (см. № 6).

Известно, с каким глубоким уважением и преклонением относился Бунин к Толстому. В публикуемых нами интервью он трижды говорит о Толстом — писателе, мыслителе и человеке. В 1902 г. Бунин признается в той робости, которую внушает ему

Толстой — «такой громадный, такой требовательный к человеку» (см. № 2), в 1912 г. он касается творческих приемов Толстого (см. № 11). Особенно же значительно его высказывание о Толстом в интервью, данном сотруднику «Одесских новостей» в 1910 г., через месяц после смерти Толстого. Бунин касается в нем обстоятельств, сопровождавших это событие. Уход Толстого он оценивает как проявление «величия души великого старца», как «ослепительный шаг», который должен был вызвать «преклонение всего мира», а его смерть как личное несчастье, как событие, последствия которого отразятся на жизни всей страны (см. № 5). Это интервью — замечательное свидетельство того, что в 1910 г. бунинское восприятие ухода Толстого как подвига, его осуждение «плоских, нелепых и невероятных» попыток официальных и церковных кругов фальсифицировать смысл этого события, инсценировать «раскаяние» Толстого и «возвращение» его к церкви совпадает с отношением передовых демократических кругов общества. Это тем более важно, что позднее в книге «Освобождение Толстого» Бунин будет доказывать, что умирающий Толстой хотел примириться с церковью (т. 9, стр. 28).

Прогрессивность многих общественно-литературных воззрений Бунина дооктябрьских лет становится очевиднее при знакомстве с его газетными выступлениями. Однажды Бунин упомянул о своем тяготении к социал-демократам (т. 9, стр. 541). Содержание одного из публикуемых ниже интервью проливает свет на это высказывание: резко осуждая столыпинскую реакцию, Бунин убежденно говорит об огромном значении пролетарского движения на Западе; он считает, что «рабочие классы ⟨...⟩ превратились в мощную силу», что громадный поток «захлестнет, вероятно, всю Западную Европу»; вмешательством пролетариата Бунин объясняет устранение угрозы войны между Францией и Германией в связи с марокканским конфликтом. Однако возможности русского пролетариата он явно недооценивает, противопоставляя его пролетариату Западной Европы, который уже «представляет собой прекрасно организованную силу» (см. № 7).

Писателя глубоко потрясают события империалистической войны. В его высказываниях этих лет чувствуется душевное смятение и растерянность: «Развернулось ведь нечто ужасное. Это первая страница из Библии ⟨...⟩ Это подавляет!..» (т. 9, стр. 548). Бунин с горечью жаловался на бессилие писателей противостоять страшным событиям: «Говорят все эти Брианы, Милюковы, а мы ровно ничего не значим. Миллионы народа они гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше» («Материалы», стр. 206). Оценка мировой войны как величайшего народного бедствия определила отношение Бунина к литературе, проникнутой шовинистическим духом: подобного рода литература была глубоко чужда ему (см. № 14).

В газетных выступлениях Бунина, которыми мы располагаем, интересны не только, так сказать, сквозные темы, к которым писатель обращается постоянно, но и более частные вопросы, даже отдельные, как бы попутно высказанные замечания, суждения. Так, мы узнаем о работе Бунина над романом из жизни интеллигенции, о его интересе к драматургии, о намерении написать в 1916 г. драму (см. № 5, 8, 11 и 14); он говорит о своих путешествиях, делится своими замыслами, говорит о своей работе.

Как опубликованные ранее, так и печатаемые ниже беседы с корреспондентами газет представляют собой ценный материал, который дополняет наше представление и об эпохе и о самом Бунине, художнике и человеке, проясняет многое в его облике, в литературной и жизненной биографии.

[1] Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 532—548. Далее при ссылках на это издание в тексте статьи указываются только том и страница.

[2] «Новый мир», 1965, № 10, стр. 223—230. Далее при ссылке на эту публикацию в тексте статьи указывается только название журнала и страница.

[3] Кроме того, выше печатается «Ответ И. А. Бунина» на критические высказывания по поводу его выступления на юбилее газеты «Русские ведомости» («Голос Москвы», 1913, № 237, 15 октября — настоящ. кн., стр. 322—323). Сведения о некоторых интервью эмигрантского периода см. настоящ. том, кн. 2, «Сводный обзор бунинских материалов в архивах Советского Союза».

[4] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 73, л. 23. Подразумевается интервью № 10.

[5] «Горьковские чтения 1958 — 1959», стр. 78, 79.

[6] Там же, стр. 56.

1. «НОВОСТИ ДНЯ», 1902, 27 декабря

Я очень люблю Некрасова и часто перечитываю его с большим удовольствием. Это большой и яркий талант: возьмите хотя бы некрасовский «Мороз, Красный нос» — какое это ослепительное великолепие! Как хороши в нем картины русской природы, как пленительны образы русской женщины. Я положительно удивляюсь, как Толстой, этот великий художник, почти со сладострастьем изображающий картины пластичного мира — вспомните, например, его описание царскосельских скачек,— не оценил поэтического дарования Некрасова. После Пушкина и Лермонтова, Некрасов не пошел за ними, а создал свою собственную поэзию, свои ритмы, свои созвучия, свой тон — между тем, как и Ал. Толстой, и Майков, и Полонский творили под влиянием Пушкина. По моему мнению, Некрасов далеко еще не отжил своего времени; и не скоро еще потеряет интерес, так как это был искренний и настоящий художник.

«Новости дня». М., 1902, № 7023, 27 декабря. Без подписи.

В день, когда исполнилось 25 лет со смерти Н. А. Некрасова, московская газета «Новости дня» поместила под заглавием «Отжил ли Некрасов?» ответы на этот вопрос ряда писателей, художников и критиков. В редакционной вступительной заметке говорилось:

«Для Некрасова и его поэзии наступает история. Нам показалось интересным сделать хоть слабую попытку заглянуть в приговор этой истории, угадать, какое место приготовила она ему, сулит ли бессмертие или забвение.

Был ли Некрасов „рыцарем на час“, говоря его же словами, или истинным поэтом? По крайней мере, как отвечает на это современность, в лице своих виднейших представителей? ‹...›

Еще недавно, какой-нибудь год назад, великий писатель земли русской повторил о Некрасове лишь более мягкий по форме отрицательный приговор Тургенева. Насколько в этом приговоре отразилось общественное мнение?

Пусть ответят выдающиеся из наших современных писателей и вообще художники. Мы не делали подбора, напротив, старались получить ответы от лиц возможно различных литературных направлений и поколений».

Упоминая об отрицательной оценке Некрасова, которую дал Л. Н. Толстой, автор заметки имел в виду его суждение, высказанное в предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин» (русский перевод романа с этим предисловием вышел в свет в начале 1902 г.):

«На моей памяти, за 50 лет, совершилось это поразительное понижение вкуса и здравого смысла читающей публики. Проследить можно это понижение по всем отраслям литературы, но укажу только на некоторые, более заметные и мне знакомые примеры. В русской поэзии, например, после Пушкина, Лермонтова (Тютчев обыкновенно забывается) поэтическая слава переходит сначала к весьма сомнительным поэтам Майкову, Полонскому, Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, потом к искусственному и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом к однообразному и слабому Надсону, потом к совершенно бездарному Апухтину, а потом уже все мешается, и являются стихотворцы, им же имя легион, которые даже не знают, что такое поэзия и что́ значит то, что они пишут и зачем они пишут» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 274—275).

Наиболее скептическими были ответы С. А. Найденова («Некрасов, конечно, не отжил еще свое время, но он отживает — это не первоклассный поэт») и Л. Андреева, который начал с признания, что он вообще не любит стихов, а к гражданским стихам Некрасова относится с «недоверием»; по его мнению, Некрасов в настоящее время «уважаем более, чем когда-нибудь, и менее, чем когда-нибудь, читаем». В. Я. Брюсов назвал Некрасова самобытным поэтом, но вместе с тем отметил, что гражданские идеи мешали его творчеству.

Высоко оценило поэзию Некрасова большинство участников опроса: Чехов (см. его ответ в Полн. собр. соч. и писем, т. XII, М., 1949, стр. 349), И. Е. Репин («воспитательное значение поэта-гражданина велико и вечно»), Н. Н. Златовратский, П. Д. Боборыкин, Н. М. Минский и Бунин.

Ответ Бунина воспроизведен в заметке В. Н. Афанасьева «И. Бунин о Некрасове» («Вопросы литературы», 1969, № 5, стр. 249—250).

2. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1902, 28 декабря

... Первый вопрос, конечно, о Горьком, о его «Дне». Что он? Как повлияли на него эти небывалые овации? [1] Каково его собственное впечатление от исполнения?

Ответ: «Дно» нравится автору гораздо больше, чем «Мещане», он вообще возлагает на свою новую пьесу большие надежды, так что овации приняты были им как нечто «в порядке вещей», сам он после постановки пьесы был сумрачен, печален и замкнут, хотя исполнение очаровало его. Ничего художественнее нельзя себе представить. Артисты превзошли самих себя. Особенно хорош был Москвин в роли «странника». Это тонкая, артистическая натура, интеллигентный нервный артист,— прославился он исполнением роли Феодора Иоанновича и Арнольда Крамера; Горький положительно влюблен в него [2].

Здесь я схватился за случай разрешить давнишнее свое недоумение. Меня всегда удивляло, что Горький, прошедший такую тяжелую школу практической жизни, явившийся к нам с практической миссией проповедника ⟨...⟩, как мог он так аскетически удержаться от вакханалии поэтического, чуждого рассудочности творчества? — вот что интереснее всего в личной психологии Горького.

На этот вопрос Ив. А. Бунин дал следующее интересное объяснение:

Сам Горький бесспорный художник и никакой склонности к логистике у него нет. Чтобы убедиться в этом, стоит только послушать, как он спорит. Спор его — это целый ряд образов, и ни о каких «логических построениях» здесь не может быть и речи. А какова вообще его художественная восприимчивость — может свидетельствовать хотя бы следующий эпизод. Г. Бунин как-то ехал с ним в кибитке на Исары и читал ему в дороге свои стихотворения.

Вдруг смотрит — у Горького на глазах слезы. «Ах, как это хорошо, как это хорошо!» — вдумчиво и тихо говорит он и горячо обнимает даровитого поэта.

Как издатель Горький тоже обнаруживает массу художественного вкуса и увлечения. Так, он издает роскошно иллюстрированную поэму Лонгфелло «Гайавата» в переводе г. Бунина, затем он намерен преподнести русскому обществу издание Байроновых пьес [3], и вообще никто больше его не предан истинно художественным интересам, но в личном творчестве с ним происходит то же, что и с Толстым: он придает своей деятельности проповедническое значение и намеренно гасит в себе чисто художественные стремления, — вот истинный выход из этой трудной психологической загадки.

Разговор коснулся Л. Н. Толстого. Лицо собеседника просияло.

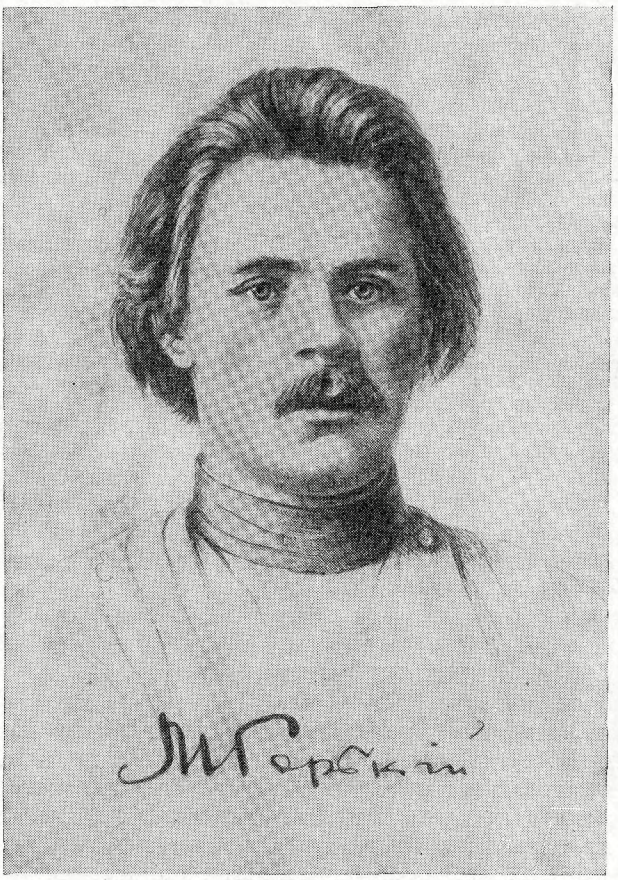
—О! Толстой будет жить еще долго, это вне всяких сомнений. Недавно встретил д-ра Щуровского — и он сказал: в графе еще бездна пороху, и письмо о своей болезни он написал в благодушнейшем состоянии духа [4].

— А каково ваше личное мнение о Толстом? — спросил я.

— Я не люблю бывать у Толстого,— ответил И. А.

Я не понял ответа. Мне почудился в нем оттенок неприязни, той самой, которая была так характерна для отношений Тургенева к Толстому, которая изредка проявляется теперь в литературе, например, в книге Шестова «Добро в учении Толстого и Ницше», в книге Мережковского «Толстой и Достоевский» [5] и др.

—Нет, я вовсе не в этом смысле говорю. Мне жутко бывать у Толстого, потому что он такой громадный, такой требовательный к человеку. Смотрит на него и будто чего-то требует. И в каждом слове у него заметна эта давящая сторона характера. Как-то в прошлом году прохожу я по



А. М. ГОРЬКИЙ
Рисунок неизвестного художника. Открытка, 1900-е годы
С автографической подписью Горького
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

Арбату, смотрю — в темноте Толстой.— Здравствуйте, Иван Алексеевич. Почему вас не видать? — Я растерялся как школьник. Просто не знаю, куда шапку свою девать.— Боюсь я бывать у вас,— признаюсь ему чистосердечно... — Нельзя людей бояться, нельзя,— повторил настойчиво и убежденно Л. Н. и торопливо исчез в потемках, оставив во мне подавленное и робкое ощущение [6].

Одесские новости, 1902, № 5843, 28 декабря. Подпись: К. Чуковский. Под заглавием: «Наши гости».

Сообщив, что в Одессу прибыло «художественное трио» — Бунин, С. А. Найденов и А. М. Федоров, Чуковский передает содержание своих бесед с ними. Беседа с Буниным велась в присутствии Найденова, и первый вопрос — о впечатлении, которое произвела на Горького премьера спектакля «На дне», состоявшаяся в Московском Художественном театре 18 декабря 1902 г.,— был обращен к ним обоим (из сообщений печати было известно, что Бунин и Найденов присутствовали на премьере,— см. «Русское слово», 1902, № 349, 19 декабря). Автор заметки не уточняет, кто из них ответил на этот вопрос, однако совершенно очевидно, что ответ принадлежит Бунину, поскольку далее, без каких-либо оговорок, продолжается запись беседы с ним, тогда как интервью с двумя другими представителями «трио» помещены в следующем номере газеты (№ 5844, 29 декабря).

[1] Газеты отмечали, что по окончании премьеры, имевшей «огромный и вполне заслуженный успех» («Курьер», 1902, № 355, 24 декабря), «овация приняла прямо небывалые размеры» («Русское слово», 1902, № 349, 19 декабря).

[2] После премьеры «На дне» Горький писал К. П. Пятницкому, что актеры «совершили что-то удивительное», но «ни публика, ни рецензята — пьесу не раскусили» (Горький, т. 28, стр. 277, 279). «Я теперь соображаю — кто виноват? — писал он. Талант Москвина — Луки или же неуменье автора? — мне И не очень весело» (там же, стр. 279). Сам он очень дорожил этой драмой, тогда как «Мещан», поставленных в Художественном театре весной 1902 г., считал «скучной пьесой» («Лит. наследство»,т. 72, стр. 162). Роль Арнольда Крамера—в пьесе Гауптмана «Микаэль Крамер» (постановка 1901 г.).

[3] В осуществлении этого замысла Бунин принял самое активное участие — две драматические мистерии Байрона («Каин» и «Манфред») в его переводе были изданы «Знанием» в 1904 и 1907 гг. В 1903 г. «Знание» выпустило бунинский перевод «Песни о Гайавате», иллюстрированный рисунками американского художника Фр. Ремингтона.

[4] 5—11 декабря 1902 г. Толстой был серьезно болен. В это время он обратился в газету «Русские ведомости» с письмом, в котором просил редакции газет не печатать сведений о его болезнях, поскольку они, по его мнению, «для большинства не имеют значения» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 73, стр. 341). Письмо это было опубликовано в «Русских ведомостях» (1902, № 343, 12 декабря), а затем перепечатано и другими газетами. В. А. Щуровский — врач, лечивший Толстого.

[5] Л. Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (философия и проповедь). СПб., 1900; Д. С. Мережковский. Лев Толстой и Достоевский, т. I—II. СПб., 1901—1902.

[6] Позднее, вспоминая об этой встрече, Бунин рассказывал о ней несколько иначе (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 61—62).

3. «ОДЕССКИЙ ЛИСТОК», 1910, 2 марта

В Одессе в настоящее время, как известно, гостит известный писатель-академик И. А. Бунин. Пользуясь пребыванием писателя в нашем городе, мы побывали у него и побеседовали по некоторым вопросам, в том числе и по вопросу о путешествии Ивана Алексеевича в Индию, которое он, по слухам, предполагал совершить текущей же весной.

— В данную минуту,— сказал нам Иван Алексеевич,— относительно путешествия в Индию ничего определенного сказать не могу, так как сам не знаю, поеду ли туда. Дело в том, что я немного опоздал, а в Индии скоро начинается жаркое время, так что ехать туда теперь, да еще на более или менее продолжительный срок, является делом, не лишенным некоторого риска. И на этом основании мой приятель П. А. Нилус, с которым я собирался совершить поездку, отговаривает меня от путешествия в Индию и предлагает ехать в Испанию. Возможно, что я приму это предложение и отправлюсь в Испанию — кстати, я еще там не был — с женой и с П. А. Нилусом. Поеду туда морем и по пути заверну на Капри, к Горькому, с которым вот уже год как не виделся [1].

Заговорили о Капри.

— Хорошо там, очень хорошо,— мечтательно произнес Иван Алексеевич...— И народ хороший — такой прямой, гордый, милый. Два часа всего отделяет Капри от Неаполя, а какая разница в людях: неаполитанцы жадны, шумливы, вечно гоняются за туристами — словом, полная противоположность каприйцам... А Горького как они любят, как восторженно приветствуют его, когда он появляется на площади, на улице...

— Скоро ли предполагаете отправиться в путешествие?

— Да, более или менее... Пробуду еще некоторое время в Одессе, где хочу окончить вторую часть своей «Деревни», первая часть которой появится в мартовской книге «Современного мира»... Хотелось бы сделать это поскорее, но... [2]

Иван Алексеевич улыбнулся.

— Разве возможно предугадать, как пойдет работа...

— Кстати, Иван Алексеевич, где вы больше всего работаете?

— Преимущественно в деревне, летом. Зиму я обыкновенно провожу частью в Москве, частью в деревне, но наиболее продуктивно работаю именно в деревне, так, приблизительно, с июня по сентябрь... Ранней же весной обыкновенно уезжаю на несколько месяцев за границу и в это время не работаю вовсе.

В заключение мы поинтересовались причинами, влекущими Ивана Алексеевича в Индию.

— Я вообще люблю Восток и восточную религию... Индия же интересует меня как колыбель человечества и религии.

На этом наша беседа закончилась.

«Одесский листок», 1910, № 49, 2 марта. Подпись: К-ский. Под заглавием: «У И. А. Бунина. (Беседа)».

[1] В Индию, как и в Испанию, Бунин не поехал, а около 20 марта 1910 г. вместе с женой выехал через Вену, Милан и Геную в Ниццу. У Горького на Капри Бунины гостили с 22 апреля/5 мая по 8/21 мая; в 1909 г. они прожили на Капри с 12/25 марта по 28 марта/10 апреля (см. «Материалы», стр. 145—146 и 127—131).

[2] Работу над второй частью «Деревни» Бунин заканчивал уже после возвращения из путешествия, в Москве. Рукопись была послана в редакцию «Современного мира» 2 сентября 1910 г. и появилась там в № 10 и 11 («Материалы», стр. 149).

4. «УТРО РОССИИ», 1910, 22 мая

Иван Алексеевич загорел, похудел, настроен бодро и оживленно.

— Из Москвы,— рассказывал он,— мы с женой поехали в Одессу, а из Одессы прямо в Ниццу [1]. В Ницце отдохнули. Встретился там с Петром Дмитриевичем Боборыкиным [2]. Петр Дмитриевич положительно неувядаем, здоров, бодр, хорошо настроен. Из Ниццы отправились в Марсель, а из Марселя, морем, на северный берег Африки, в Оран.

Из Орана у меня было предположение отправиться в Коломбо, в Индию, и затем в Японию. Уж на пароходе была приготовлена каюта. На море разыгралась буря, и мы на двое суток застряли в Оране. Как раз в это время стали ожидать всяких явлений в природе в связи с кометой Галлея, бури и циклонов на море [3],— пришлось мысль об этой поездке оставить. Пользуясь остановкой в Оране, я объездил и осмотрел несколько ближайших поселений со смешанным арабско-негритянским населением.

Из Орана мы отправились в арабский городок, находящийся в горах Малого Атласа — Блиду, переполненный французскими войсками.

А затем в Алжир и из Алжира к началу Сахары, в оазис Бискру. Это небольшое селенье, тоже со смешанным арабско-негритянским населением. Из Бискры я делал маленькие поездки в пустыню.

— Это вы там, наверное, загорели?

— Нет. Там жара действует на кожу иначе. Кожа покрывается желтизной, и по всему телу появляются нарывчики, которые потом превращаются вот в такие пятна, как сейчас у меня на щеке. Французы называют эти нарывы «бутон де Бискра́».

Из Бискры мы отправились на север, в деревню Нумидию, в арабский город Константину, а затем в Тунис.

Осматривал места, где был древний Карфаген. Там теперь производятся раскопки. Находят древние статуи, монеты.

Замечательные места. Одни названия станций как-то невольно волнуют: «Карфаген!» «Саламбо!»

Из Туниса на маленьком старом пароходике поехали в Сицилию, в Меццара.

Затем попали в Мессину. Тяжелое впечатление оставляет Мессина. Еще до сих пор на месте бывших великолепных кварталов горы мусора; еще до сих пор занимаются раскопками этого мусора, находят в нем погибших во время землетрясения [4].

Но уже постепенно растет новый город. Застроены целые кварталы новыми деревянными одноэтажными зданиями.

Побывал на Капри у Алексея Максимовича (Горького). Горький много работает. Пишет сейчас новую историческую повесть [5]. У него множество всевозможных планов литературной и другой работы.

— А уезжать с Капри он не собирается?

— Об отъезде и не думает. Все, что писали об этом, совершеннейший вздор. Ни в Норвегию, ни в какое другое место он и не собирается,— очень полюбил Капри и основался там довольно прочно. И сообщения о желании супруги его открыть театр в Норвегии также вздорны.

Вместе с Алексеем Максимовичем и его супругой мы поехали в Неаполь.

А оттуда, через Афины, Смирну и Константинополь, в Одессу.

В Одессе встретился я с А. И. Куприным. Весел он, жизнерадостен; побрил голову и ходит в татарской тюбетейке. Занимается спортом, рыбной ловлей.

Собирается работать, для чего поселился на даче за Большим Фонтаном. Никуда из Одессы ехать сейчас не собирается.

— Где вы намерены провести лето?

— Сейчас едем в Тульскую губернию, а потом еще не решено куда: в Орловскую губернию или на юг.

— Задумали новое произведение?

— Работы много. Буду кончать вторую часть «Деревни», которая должна быть напечатана в сентябре или в октябре [6]. Кроме того, хочу написать еще несколько небольших рассказов — тоже все о деревне [7].

«Утро России», М., 1910, № 153, 22 мая. Подпись: И. М-ч. Под заглавием: «У И. А. Бунина. (О поездке писателя-академика в Центральную Африку и об его встречах».).

[1] См. примеч. 1 к интервью 3.

[2] П. Д. *Боборыкин* (1836—1921) с начала 1890-х годов жил за границей.

[3] Комета Галлея, период обращения которой вокруг Солнца равен 76 годам, последний раз наблюдалась в 1909—1911 гг.

[4] Впервые Бунин посетил Мессину в марте 1909 г., вскоре после землетрясения, которое в 1908 г. почти совершенно разрушило город (см. воспоминания В. Н. Буниной об этой поездке — настоящ. том, кн. 2, а также стихотворение «После Мессинского землетрясения» — т. 1, стр. 316).

[5] Так неточно могла быть названа в интервью «Жизнь Матвея Кожемякина». Возможно, однако, что Бунин имел в виду исторический роман о Степане Разине, который в это время задумал Горький («Летопись Горького», в. 2, стр. 112, 148).

[6] См. примеч. 2 к интервью 3.

[7] Рассказы о деревне были написаны позже, в 1911 г. («Древний человек», «Хорошая жизнь», «Сверчок», «Ночной разговор», «Веселый двор» и др.).

5. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1910, 15 декабря

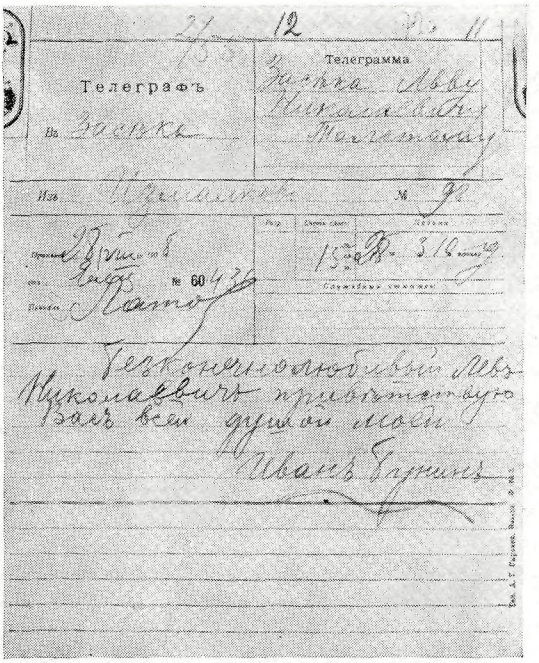
Остановившийся в Одессе проездом на Дальний Восток [1] почетный академик И. А. Бунин поделился с нами своими мыслями о последних событиях в литературном мире Петербурга. Беседа, естественно, не могла не коснуться вопроса о впечатлении, произведенном предсмертным шагом Л. Н. Толстого, а равно самой смерти великого писателя.

— Впечатление, которое на меня произвел уход Льва Николаевича,— сказал нам Иван Алексеевич,— настолько было необычайно; это был настолько ослепительный шаг, это было проявление такого величия

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА БУНИНА Л. Н. ТОЛСТОМУ КО ДНЮ ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЯ

28 августа 1908 г.

Музей Л. Н. Толстого, Москва


Телеграфъ
Телеграмма
Засѣка Льву Николаевичу Толстому
Изъ Измайлова
№ 92
№ 60436
Безконечно любимый Левъ Николаевичъ привѣтствую Васъ всей душой моей
Иванъ Бунинъ

души великого старца, что, право, трудно в нескольких словах передать охватившее меня чувство. Просматривая в те дни газеты, я не мог их читать: глаза заволакивались слезами. То были слезы смешанного чувства — горя и радости. Я искренно радовался тому, что славная жизнь величайшего из великих завершилась таким шагом, который должен был вызвать преклонение всего мира. Я радовался тому, что ни преклонный возраст, ни надломленное здоровье не способны были удержать этого гения от шага, который так ослепительно завершил эту великую жизнь. Я плакал при мысли, как велики должны были быть страдания этого человека от мучивших его противоречий, если необходимо было тайком, в глухую ночь, оставить родной кров и пуститься в далекий путь, бог весть куда... Перед моим взором рисовалась эта ночь, когда великий старик, крадучись оставляет свой дом, ветер срывает с него шляпу, он ищет ее в кустах и, находя, бежит в пространство. Его душа жаждала охватить весь мир, но, увы, волей судьбы этот гений должен был, закутавшись, сойти на какую-то глухую станцию, чтобы там закончить славные свои дни...

— Вы, конечно, слыхали легенду о железном перстне? [2]

— Да, перстень этот, конечно, легендарный, но если бы даже о нем пришлось говорить как о реальном предмете и если бы возник спор о том, к кому после Толстого должен перейти этот перстень, то... право, затрудняюсь вам сказать, кто из нынешних литераторов является достойным претендентом на перстень. И знаете, к какому решению я лично пришел бы? Я сказал бы, что перстень должен полежать некоторое время и не принадлежать пока никому. Толстой был слишком велик, чтобы можно было теперь, сейчас же после ухода этого человека в лучший мир, найти хоть более или менее достойного заместителя.

Мы поинтересовались у нашего собеседника, как он смотрит на попытки известных кругов объяснить уход Льва Николаевича происшедшим в его религиозном мировоззрении переломом и желанием вернуться в лоно официальной церкви [3].

— Скажу вам в двух словах: попытки эти настолько плоски, нелепы и невероятны, что ничего, кроме улыбки, они вызвать не могут. Что касается официальной России, то, конечно, она чувствовала себя неловко, и во всем видна была ее растерянность... Она была ошеломлена тем впечатлением, какое произвели на весь мир последние дни Льва Николаевича.

— А какое впечатление произвело на вас выступление Льва Львовича? [4]

— Другого слова, кроме «возмутительно», не подберешь. Мне нет никакого дела до чувств, испытанных Львом Львовичем как наследником, мне нет дела до его отношений к Черткову; меня возмущает, что человек, имевший величайшую радость быть сыном гения, имевший счастье быть постоянно при великом человеке, не мог постичь движения души своего отца, не мог понять потрясающей драмы, переживаемой близким человеком. И, конечно, возмутительно, когда родной сын, сваливая все на влияние Черткова и разные житейские мелочи, пытается, сам того, по-видимому, не понимая, ослабить блеск ореола, коим окружена память о великом писателе.

— Чем Академия наук реагировала на смерть Льва Николаевича?

— Из газет вы уже знаете об экстренном заседании Академии, пославшей соболезнующие телеграмму и письмо Софье Андреевне. Кроме того, 19 декабря состоится торжественное заседание Академии, которое будет посвящено памяти Толстого. Читать будут Овсянико-Куликовский и А. Ф. Кони. Что касается увековечения памяти Льва Николаевича, то об этом речи пока не было. Но несомненно, что Академия кое-что в этом отношении предпримет.

Мы поинтересовались последними новостями и течениями в области литературы.

— Настоящая зима в области литературы оказалась на редкость бесцветной. В прошлом году говорили, по крайней мере, много о порнографии; теперь же даже и о порнографии перестали говорить. Одно лишь с несомненной и чрезвычайной ясностью вырисовывается,— это резкий поворот симпатий как литературных, так и читательских кругов в сторону реализма. Вот вам маленький, но характерный фактец. Незлобин потребовал от Сологуба, чтобы тот вытравил из своего «Мелкого беса» все места, отдающие мистицизмом...[5] Вообще публике надоела вся эта чертовщина, укрепившаяся было в нашей литературе. Лично я, конечно, приветствую этот поворот как симптом оздоровления читательского настроения.

— Что касается меня, то ныне я работаю над романом, размером «Деревни», посвященным жизни интеллигентных кругов обеих столиц. Когда я закончу это произведение и где его напечатаю, еще сам не знаю [6].

В заключение Иван Алексеевич поделился с нами сведениями о намеченном путешествии.

— Известную роль в новом моем путешествии играет Академия наук, и настоящая поездка совершается за ее счет (бесплатный проезд на пароходах Добровольного флота). Маршрут мой приблизительно таков: отсюда еду в Порт-Саид, оттуда в Египет, где пробуду больше месяца. К тому времени прибудет следующий пароход Добровольного флота, на котором поеду в Луксор, Асуан. Быть может, заеду также в Нубию. Оттуда вернусь в Порт-Саид и направлюсь на остров Цейлон, где пробуду месяц. Затем в маршрут входят Индия, Сингапур и как конечный пункт Нагасаки. Из Японии вернусь обратно в Россию. В пути я буду делать заметки, и путевые впечатления, вероятно, послужат материалом для особого труда [7].

«Одесские новости», 1910, № 8294, 15 декабря. Подпись: А. Ар. ⟨Аренберг⟩. Под заглавием: «У И. А. Бунина». Частично вошло в «Материалы», стр. 152—153.

[1] См. примеч. 7.

[2] В литературных кругах шли толки о «железном кольце» Пушкина, которое якобы перешло к Тургеневу, а от него — к Толстому. Смерть Толстого породила споры о том, кому должен принадлежать пушкинский перстень, иными словами — кого можно считать достойным его преемником. В 1915 г. слухи о «железном кольце» опроверг Н. О. Лернер, разъяснив, что это литературная легенда, связанная с историей «талисмана» — перстня, который подарила Пушкину Е. К. Воронцова; после смерти поэта перстень хранился у Жуковского, сын которого впоследствии передал его Тургеневу («Биржевые ведомости», 1915, № 14640, 29 января). По свидетельству современников, Тургенев хотел, чтобы после его смерти перстень был передан Толстому, который в свою очередь должен передать его «достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями». Однако в 1887 г. П. Виардо подарила перстень Пушкинскому музею при Александровском лицее, откуда он исчез в 1917 г. В предреволюционные годы многие считали Бунина писателем, достойным носить пушкинское кольцо. Подробно об этом см.: Л. А ф о н и н. Пушкинский талисман.— «Литературная Россия», 1968, № 44, стр. 18—19; А. И. К у п р и н. Собр. соч., т. 9. М., 1964, стр. 504—507, 573.

[3] Официальные круги России пытались объяснить уход Толстого как проявление христианского смирения. «Растерянность» этих кругов, о которой говорит Бунин, усилилась в связи с волной революционных протестов. В последние дни жизни Толстого «Новое время» договорилось до необходимости «почтительного», «оборонительного» ареста писателя (см. Б. С. М е й л а х. Уход и смерть Льва Толстого. М.— Л., 1960, стр. 27—39). Святейший синод наметил и разработал инсценировку «раскаяния» Толстого, его «обращения», возвращения к церкви. Эту фальсификацию пытались сделать достоверной путем подготовки и публикации в печати ряда материалов синода и заявлений церковных деятелей (там же, стр. 296—302).

[4] Л. Л. *Толстой* (1869—1945) — сын Л. Н. Толстого. При жизни отца резко полемизировал с ним, обвиняя его в «пагубном влиянии на всю русскую жизнь», отстаивал необходимость смертной казни. Выступил с открытым письмом («Кто виновник?»), обвиняя в смерти Толстого В. Г. Черткова, который якобы имел на него роковое влияние. Другие дети писателя выступили с протестом по поводу этого письма, увидев в нем умаление личности и оскорбление памяти отца. Резко отрицательное отношение передовой общественности к письму Л. Л. Толстого выразилось в статьях под характерными названиями: «Позор», «Неприличное выступление», «Графский жест» и др.

[5] Это сообщение связано с постановкой в Московском театре К. Н. Незлобина «Мелкого беса» Ф. Сологуба в инсценировке автора (1910 г.).

[6] Быть может, имеется в виду продолжение «Деревни», о замысле которого вспоминала В. Н. Бунина: «Тихон Ильич умирает, брат становится относительно богатым и переезжает в Москву. Попадает в среду самоучек, а затем в художественный кружок... Вот бы и получился „Город“...» (И. А. Б у н и н. Повести. Рассказы. Воспоминания. М., 1961, стр. 609; см. также интервью 8 и 10).

[7] Путешествие длилось 4 месяца, с 15 декабря 1910 г. до середины апреля 1911 г. Маршрут его определился так: Одесса, Константинополь, Бейрут, Порт-Саид, Каир, Гелуан, Фивы. Из Порт-Саида на французском пароходе (не дождавшись парохода Добровольного флота) Бунины отправились по Суэцкому каналу на Цейлон, где пробыли две недели. В Японию не поехали «из-за отсутствия средств» (см. «Материалы», 152—159). Впечатления от этого путешествия отразились в рассказе «Воды многие», который В. Н. Бунина называла «дневником» путешествия, в «Братьях», «Городе Царя Царей» и др. (см. также «В стране пращуров» — настоящ. кн., стр. 76—78).

Газета допустила здесь грубую ошибку, сообщив, что Бунин намерен подняться вверх по Нилу в Луксор, Асуан и Нубию на океанском пароходе Добровольного флота. Очевидно, именно поэтому на другой день «Одесские новости» напечатали еще одно интервью с Бининым, в котором сообщался правильный маршрут намеченного путешествия и излагались высказывания Бунина о Горьком (см. № 6).

6. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1910, 16 декабря

Вчера на пароходе Добровольного флота «Владимир» выехал из Одессы в Порт-Саид почетный академик И. А. Бунин. Из Порт-Саида И. А. по железной дороге направится в Каир, а оттуда по Нилу возможно южнее. Предполагается посещение Луксора, Асуана и других пунктов. По возвращении обратно в Порт-Саид, Иван Алексеевич снова сядет на пароход Добровольного флота и поедет на остров Цейлон, Сингапур, Нагасаки и т. д. [1]

И вчера перед отъездом И. А. много беседовал с нами о современной русской литературе. Между прочим, мы завели речь о Горьком, о толках относительно упадка его таланта, о попытках объяснить это оторванностью Горького от родной земли и т. п. [2] Иван Алексеевич резко расходится во взглядах с многими критиками насчет последних произведений Горького.

— Все толки,— заметил Иван Алексеевич,— об упадке якобы таланта Горького следует, по-моему, считать вздорными, не имеющими под собой никаких оснований. Лично я продолжаю считать, что очень крупный художественный талант Горького остается на прежней высоте. Всю свою жизнь Алексей Максимыч провел в России и успел впитать в себя обилие впечатлений и знания родной страны. Кроме того, я вообще считаю неудачной попытку связать упадок или развитие таланта с оторванностью или прикрепленностью в родной земле. М. Горький в свое время был писателем России, но талант его эволюционирует, и, по-моему, Горький идет к тому, чтобы перестать быть писателем исключительно русским и занять положение писателя общечеловеческого. Согласитесь, что для такого писателя совершенно неважно, живет ли он в России, Италии или какой-либо другой стране. Возьмем, например, одно из последних произведений Горького — «Чудаки». Правда, на сцене оно не имело успеха, но нужно знать артистов, игравших «Чудаков», критиков, дававших рецензии, и... публику, смотревшую пьесу, чтобы понять, что мнение о «Чудаках» совершенно неосновательно [3]. Прочтите это произведение, и вы увидите, что все в нем закончено и художественно стройно отделано. Неосновательна также и оценка «Городка Окурова» [4]. Это крупное произведение много потеряло от того, что печаталось небольшими частями. Самым же крупным произведением М. Горького последних лет я считаю «Исповедь» [5]. Такие произведения пишутся не людьми, талант которых идет на убыль, а писателями, находящимися в полном расцвете художественных сил. Алексей Максимович, по-моему, один из очень немногих в нынешней русской беллетристике, делающих настоящее и большое дело.

«Одесские новости», 1910, № 8295, 16 декабря. Без подписи. Под заглавием: «Отъезд И. А. Бунина».

[1] См. примеч. 7 к интервью 5.

[2] Поход буржуазной критики против Горького начался еще в 1907 г. статьей Д. В. Философова «Конец Горького» («Русская мысль», 1907, № 4). К этому выступлению примкнули Антон Крайний (З. Гиппиус) в статье «Братская могила» («Весы», 1907, № 7, стр. 58—59), Эллис ⟨Л. Л. Кобылинский⟩ в статье «Наши эпигоны» («Весы», 1908, № 2, стр. 65) и др.

[3] Впервые «Чудаки» были поставлены 24 сентября 1910 г. в Новом драматическом театре (Петербург).

[4] Отзывы современной критики о «Городке Окурове» см. С. В. Касторский. Повесть М. Горького «Городок Окуров» («Ученые записки Ленинградского гос. пед. института им. А. И. Герцена», т. 43, Каф. рус. литературы. Л., 1947, стр. 202—207).

[5] Подтверждение тому, что «Исповедь» произвела на Бунина сильное впечатление, можно найти в его письме Горькому 22 сентября 1909 г.: «И теперь старичок ваш особенно задевает меня. Ах, эта самая Русь и ее история! Как это не поговорили мы с вами вплотную обо всем этом!» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 44). Думается, что комментаторы «Переписки Горького и Бунина» ошибаются, предполагая, что «старичком» здесь назван Матвей Кожемякин (там же, стр. 108), так как к работе над «Жизнью Матвея Кожемякина» Горький приступил только в конце 1909 г. и закончил ее в ноябре 1911 г. Первая часть повести была опубликована лишь через год после цитируемого письма—в 1910 г. («Сборник т-ва „Знание“», кн. 30 и 31), три последующие части — в 1911 г. («Сборник т-ва „Знание“», кн. 35—37), тогда как «Исповедь» была напечатана значительно раньше («Сборник т-ва „Знание“ за 1908 год» — кн. 23). Естественно, что разговор мог возникнуть об этой уже напечатанной вещи, а не о повести, работа над которой еще не была начата. Наше предположение подтверждается тем, что не Матвею Кожемякину, а старику Ионе принадлежат «задевшие» Бунина слова: «Что ты знаешь о народе? Ты, слепой дурак, историю знаешь? ⟨...⟩ Знаешь ты, что такое Русь?» (Горький, т. 8, стр. 333).

7. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1911, 8 сентября

В Одессе свыше трех недель гостит популярный писатель, академик И. А. Бунин, сообщивший нашему сотруднику некоторые литературные новости.

— Все лето я провел в Орловской губ.,— сообщил Иван Алексеевич,— и работал над некоторыми повестями и рассказами, которые скоро, вероятно, появятся в печати. Ныне, вернувшись с дачи в город, решил пожить еще здесь несколько дней. Одна небольшая повесть уже совершенно закончена и появится в сборнике «Знания» [1]. Другая повесть под названием «Суходол» займет, вероятно, листов 6—7 и значительно больше первой. Обе посвящены жизни деревни.

— А что обещает будущий литературный сезон?

— Пока ничего определенного. Единственное, что можно сказать,— это о предстоящем оживлении издательства «Знание». Предполагаются некоторые реформы, привлечение новых сил и т. п. [2] По имеющимся у меня сведениям, Горький этим летом много работал, и труды его скоро, вероятно, появятся в свет.

— Когда появятся ваши впечатления о последних путешествиях?

— Ныне я занят приведением в порядок путевых заметок. Предполагаю предварительно обработать и систематизировать впечатления о путешествии по Верхнему Египту и Цейлону. В ближайшем будущем предполагаю приступить к выпуску нового, более систематизированного собрания своих сочинений. Если работа эта меня не задержит долго, то возможно, что в декабре предприму новое путешествие. На сей раз предполагаю поехать в Японию и на о. Таити [3].

По поводу смерти П. А. Столыпина [4] И. А. Бунин заметил:

— Это событие, конечно, большое, громадное, но, на мой взгляд, оно едва ли будет чревато последствиями в области внутренней политики. Все, по крайней мере в ближайшем будущем, останется, надо полагать, по-прежнему. Изменения курса можно ожидать лишь спустя некоторое время.

— В какую сторону?

— Надо полагать, что в сторону человечности. Иное направление носило бы характер простой мести. Создавшиеся опасения — простой результат запуганности общества. Последние годы навеяли на общество ужасный пессимизм, и все теперь рисуется ему в мрачных красках. Между тем логика говорит за то, что продолжение прежнего немыслимо и что неминуемо наступление просвета...

— А как вы смотрите на последние выступления рабочих масс в Западной Европе и все чаще раздающиеся вопли о дороговизне жизни? [5]

— Моя точка зрения такова, что рабочие классы и примыкающие к ним малоимущие слои населения превратились в мощную силу, которая начинает все больше и больше заявлять о своих правах на жизнь; эти классы требуют места в жизни и являются ручейками того громадного потока, который вскоре — через 5—10 лет — захлестнет, вероятно, всю Западную Европу. Все последние события говорят о надвигающемся изменении нынешних социально-экономических устоев жизни. Эта сила сказывается не только в протестах против дороговизны жизни; она ярко сказалась в стачечном движении в Англии и особенно интенсивно проявляется на конфликте между Францией и Германией. Можно с уверенностью сказать, что лишь 20—25 лет тому назад, при аналогичном столкновении интересов, уж давно гремели бы пушки и проливалась человеческая кровь [6]. И если до сих пор еще не случилось катастрофы, то только благодаря вмешательству пролетариата, протестующего против всяких политических авантюр. И, как

видите, правящим классам приходится теперь считаться с пролетариатом.

— Почему же вы, собственно, отделяете рабочие классы Запада от российского пролетариата?

— Интересы-то у них, конечно, одинаковые, но вся разница в том, что западноевропейский пролетариат представляет собой прекрасно организованную силу. Вся мощь его в этой организованности и подготовленности к борьбе. О русском пролетариате этого сказать нельзя [7]. Дороговизна жизни на Западе — явление не вчерашнего дня, и если пролетариат начал теперь особенно часто заявлять о своих правах, то, вероятно, только потому, что организованность создала ему твердую почву для борьбы.

«Одесские новости», 1911, № 8515, 8 сентября. Подпись: А. Ар. ⟨Аренберг⟩. Под заглавием: «У И. А. Бунина».

[1] Летом 1911 г. Бунин работал над «Суходолом», написал рассказы «Древний человек», «Снежный бык» и др., начал повесть «Веселый двор». Что из этих рассказов он предполагал отдать «Знанию», сказать трудно. 16 октября 1911 г. В. С. Миролюбов упрекал его за то, что он не выполнил своего обещания: «Недавно Горький прочел в одесской газете, что повесть Бунина обещана „Знанию“ и написал мне радостное письмо... Что я ему напишу теперь?..» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 156). Позднее Бунин дал «Знанию» рассказ «Захар Воробьев», законченный в феврале 1912 г. («Сборник т-ва „Знание“ за 1912 год», кн. 38, СПб., 1912).

[2] В 1908 г. Горький задумал реорганизацию сборников «Знание»: предполагалось изменить их характер, включать в них статьи литературно-критического, публицистического и философского содержания, обновить состав постоянных авторов, привлечь видных итальянских писателей и публицистов. В 1911 г. редактировать сборники был приглашен В. С. Миролюбов. Однако кризис, переживаемый «Знанием», преодолеть не удалось. 18 ноября/1 декабря 1911 г. Бунин писал брату Юлию: «Денег в „Знании“ нет, отношения Пятницкого и Горького — из рук вон. Надежд на „Знание“ никаких» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1 ед. хр. 20, л. 24).

[3] В Японии и на Таити Бунин не побывал.

[4] П. А. *Столыпин* (1862—1911) был смертельно ранен в Киеве 1 сентября 1911 г. эсером Богровым, являвшимся одновременно агентом царской охранки. Убийство Столыпина совпало с полным крахом его контрреволюционной программы, очевидным и для правящих кругов. Предположение Бунина о возможности изменения правительственного курса «в сторону человечности» было иллюзорным, но его надежда на наступление «просвета» в общественной жизни не была беспочвенной: в 1910—1911 гг. явно обозначился переход к новому подъему революционного движения. В статье «Столыпин и революция», написанной в октябре 1911 г., В. И. Ленин указывал, что «Столыпин сошел со сцены как раз тогда», когда обозначились «симптомы нарастания новой революции» (Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 333).

[5] Начало 1910-х годов ознаменовалось мощным стачечным движением пролетариата и нарастанием политического кризиса в крупнейших капиталистических странах — Франции, Англии, Германии, Италии, Испании, США. Бунин мог иметь в виду забастовки английских докеров и железнодорожных рабочих, добившихся определенных уступок со стороны капиталистов и правительства (1911 г.).

[6] Так называемый «второй марокканский», или «агадирский», кризис, возникший в результате столкновения империалистических интересов Франции и Германии в Марокко (1911 г.), завершился признанием французского протектората над Марокко. Бунин был прав, считая одной из причин, помешавших разразиться войне, антимилитаристские выступления рабочего класса Франции и Германии: французская социалистическая партия во главе с Жоресом развернула борьбу против колониальной экспансии в Марокко, а в Германии энергичное сопротивление агрессивной империалистической политике оказывали левые социал-демократы под руководством К. Либкнехта.

[7] Очевидна ошибочность этой бунинской оценки возможностей русского пролетариата и степени его организованности, высказанной в то время, когда рабочий класс России уже сложился как подлинно передовой класс, богатый революционными традициями. «Особенность России,— писал в 1913 г. В. И. Ленин,— невиданная еще в эпоху буржуазных революций сила пролетариата и страшная общая отсталость страны, объективно вызывающая необходимость в исключительно быстром и решительном движении вперед...» (Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 138).

БУНИН
Фотография. Одесса, 1913
На обороте — автограф Бунина: «3 июля 1913 г. Дача Ковалевского»
Центральный архив литературы и искусства, Москва

8. МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА, 1912, 28 мая

И. А. Бунин уехал в имение своей сестры, где думает оставаться все лето. Лишь в середине каникул он предполагает на время побывать за границей в полюбившейся ему Италии.

Писатель, по его словам, чувствует прилив творческих сил.

Им задумано много новых беллетристических вещей и стихотворений.

В ряде художественных замыслов повесть «Зима» будет посвящена изображению современной русской интеллигенции [1]. Иван Алексеевич хочет также попробовать свои силы в новой, драматической форме и надеется к осени написать пьесу, где будут затронуты и город, и деревня [2].

«Московская газета», 1912, № 192, 28 мая. Под заглавием: «На отдыхе. Писатели и художники». Без подписи.

[1] О том, что «Бунин приступает к работе над романом из жизни интеллигенции» впервые сообщила в 1910 г. газета «Одесские новости» (см. интервью 5). В сентябре 1912 г., в интервью с корреспондентом «Одесских новостей» Бунин подтвердил эти сведения (см. № 10). По поводу этих неосуществившихся замыслов В. Н. Бунина писала: «Относительно „неоконченного“ романа не знаю. Он не давал мне переписывать, но говорил, что в Москве остался неоконченный роман листов в шесть или повесть» (письмо А. К. Бабореко, 18 апреля 1959 г.).

[2] К замыслу драматического произведения Бунин возвращался и позже (см. интервью 14).

9. «МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА», 1912, 23 июля

Недавно проездом остановился на день в Москве академик И. А. Бунин. Он заезжал по делам издания своей книги, выпускаемой московским товариществом писателей [1]. Писатель в беседе с нами высказал свою точку зрения на народ, который является осью всей его литературной деятельности [2].

— У нас,— говорит Иван Алексеевич,— несмотря на целые общественные и литературные полосы, касавшиеся самых недр народной жизни, в сущности, русская интеллигенция поразительно мало знает свой народ.

В этом отношении и равнять нельзя, например, иностранного интеллигента — француза, немца, итальянца и др.,— которые говорят с народом одинаковым языком. Между тем, язык русского интеллигента и русского мужика — совершенно различны. Ведь нельзя же принимать за знание народного языка, которым щеголяет наша интеллигенция, такие пошлости, как «эфто», «так что ваше благородие» и т. п., которые мы слышим со сцены, либо читаем в произведениях о мужике.

Ни в какой стране нет такого разительного противоречия между культурной и некультурной массой, как у нас.

Да иначе у нас и быть не могло. Ибо в России никогда не существовало подлинного серьезного изучения народа.

Возьмите «Антона Горемыку», про которого еще тогда было сказано, что это не русский народ.

Равным образом и у Тургенева не было полного изображения народной действительности. Он жил преимущественно за границей, преследовал специальную цель показать, что и у раба живая душа.

Литературная деятельность Златовратского носила явно прикрашенный характер, давала идеализацию мужика.

Кем действительно было много сделано в смысле изучения народа, это Гл. Успенским. Г. Успенский — огромный талант, огромный художник и крупный человек. Но он, как сам говорил, собирал лишь материал для постройки здания о народе, но планомерного художественного целого произведения не создал.

Тот же Гл. Успенский по поводу упреков в том, что литература заполнена мужиком, горячо уверял, что на самом деле это далеко не так. О мужике пишут чрезвычайно мало [3].

Толстой писал о народе с известной точки зрения, именно с религиозной, как о трудовом народе, которым держится весь мир.

Теоретическое же изучение народного языка, песен, обрядов началось лишь в 50-х годах славянофилами и с ними же окончилось.

Именно с этой точки зрения, в смысле серьезного отношения к данному предмету, следовало бы отнестись к моей писательской деятельности.

Поэтому нельзя говорить, как это делается теперь, что я не люблю народа, что у меня холодное и сухое сердце, нельзя копаться в моей душе.

«Московская газета», 1912, № 200, 23 июля. Без подписи. Под заглавием: «У И. А. Бунина». Частично опубликовано в статье И. С. Газер «Бунин и Глеб Успенский».— «Вопросы русской литературы», в. I. Львов, 1966, стр. 33—34.

[1] Это, очевидно, «„Суходол“. Повести и рассказы 1911—1912 гг.» («Книгоизд-во писателей в Москве», 1912).

[2] Содержание настоящего интервью перекликается с другими газетными выступлениями писателя (см. интервью 12; «Новый мир», стр. 225—226; т. 9, 536) и с его высказываниями в письмах, автобиографических заметках и др., где Бунин также дает пояснения относительно своего подхода к проблемам народной жизни.

[3] Ср. письмо Бунина Н. С. Клестову 18 мая 1913 г., в котором он писал о предполагаемом сборнике своих рассказов, где «мужик опять будет на первом месте»: «Я с великим удовольствием поставил бы эпиграфом к этой книге один из последних заветов Гл. Успенского: „Смотрите на мужика... Все-таки надо ... Надо смотреть на мужика!“» (Сб. «На родной земле». Орел, 1958, стр. 308).

10. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1912, 6 сентября

Гостящий теперь в Одессе академик И. А. Бунин сообщает небезынтересные новости. В Москве недавно организовался писательский кооператив под названием «Книгоиздательство писателей», предполагающий выпуск ряда книг отдельных писателей, а также сборников. В издательство это вошли Бунин, Телешов, Шмелев, Карзинкин, Зайцев, Юшкевич и др. Редактором издательства назначен Вересаев. Ставя себе задачей работу вне всяких партийных уз, издательство отмежевывается лишь от модернизма, предполагая придерживаться исключительно реалистического направления. На днях выйдет в свет большая книга издательства (20 листов) «Суходол», в которую войдут произведения Бунина — повести и рассказы за 1911 и 1912 гг. Сюда вошли, например, «Суходол», «Захар Воробьев», «Сто восемь», «Сила», «Хорошая жизнь», «Ночной разговор», «Сверчок», «Веселый двор» и «Игнат». Следующая книга выйдет также в сентябре, причем в нее войдут в свое время уже появлявшиеся сказки Горького. Далее намечены к выпуску в свет рассказы Шмелева, роман Зайцева «Далекий край», повести и рассказы Телешова и другие [1].

Последнее лето И. А. Бунин провел в нескольких местах, отдавая много времени литературному труду. За это время писатель написал много стихов, которые скоро начнут появляться в разных изданиях. Писатель работал также много над романом из жизни русской интеллигенции [2]. После летнего пребывания на лоне природы И. А. Бунин чувствует себя довольно бодро.

— Неприятно только,— говорит он,— что в октябре собираются меня чествовать по случаю 25-летия моей литературной деятельности. Предполагается заседание Общества любителей российской словесности, депутация от Академии и т. п. Неприятно потому, что боюсь быть записанным в старики. Помилуйте, мне только за 40 лет, и вдруг рискуешь попасть в старики...

— Какие вести получаются от Горького?

— Получил от него большое письмо. Настроение у него, по-видимому, бодрое, хотя минувшим летом он был серьезно болен. Снова появилось кровохарканье, сопровождавшееся бронхитом. Теперь здоровье его, кажется, поправилось. Он, по крайней мере, о нем ничего не пишет. Да и о кровохаркании и бронхите я узнал не от него, а от жены его, которая писала мне об этом.

В заключение писатель сообщил, что процесс охлаждения писательских кругов к модернизму продолжает идти тем же темпом. Модернизм даже в период своего расцвета только шумел, не имея глубоких корней в читательской среде. «Весы», например, сами сообщали, что к пятилетнему сроку их существования они насчитывали не больше 300—400 подписчиков. Теперь же модернизм не только не в фаворе, но даже шуметь перестал.

Интересуясь политической жизнью страны, И. А. Бунин полагает, что хотя теперь все в стране делается для того, чтобы стало хуже, но возможно, что старания эти не дадут тех результатов, которых добивается правительство. И возможно, что выборы дадут совершенно неожиданные результаты. Ибо всевозможные эксперименты можно проделать с окраинами или такими городами, как Одесса, но не со всей Россией... [3]

«Одесские новости», 1912, № 8816, 6 сентября. Подпись: «А». Под заглавием: «У И. А. Бунина».

[1] Об организации «Книгоиздательства писателей в Москве» и участии в нем Бунина см. настоящ. кн., стр. 610 и 640—642.

[2] О работе Бунина над романом из жизни русской интеллигенции сообщалось в печати и ранее (см. интервью 5 и 8). 19 мая 1913 г. Бунин писал Н. С. Клестову: «О романе позвольте пока помолчать. Я подробно напишу вам о нем, когда засяду за него вплотную» (ГБЛ, 9.27, л. 8 об.). Других упоминаний о романе в переписке Бунина нет.

[3] Осенью 1912 г. в России проходили выборы в IV Государственную Думу. Они сопровождались рядом правительственных мероприятий, направленных на создание в Думе черносотенного большинства. Стремясь ограничить число рабочих депутатов, правительство шло на всевозможные махинации. Характеризуя политическую ситуацию, сложившуюся в это время в стране, В. И. Ленин писал, что в ходе выборов проявились «неспособность контрреволюции к дальнейшему наступлению прежней силы или энергии» и «пробуждение демократии» («Итоги выборов».— Полн. собр. соч., т. 22, стр. 319).

11. «РАМПА И ЖИЗНЬ», 1912, № 44

Мы сидим в небольшом номере Лоскутной гостиницы [1]. В окна смотрят золотые главы кремлевских церквей и хмурое осеннее небо... Мы говорим о театре...

— Ведь театр не отразился в вашем творчестве... Отчего? Вы не любите театр?

— Проще сказать, я отвык от театра,— отвечает Иван Алексеевич.— И это правда, что в своем писательстве я прошел мимо него. Ведь я редко заезжаю в Москву, редко хожу в театр. Бывали, конечно, минуты больших сценических впечатлений. Многое волновало, многое оставляло известное впечатление. Но беда в том, что я — как бы вам сказать?— беда в том, что я знаю «закулисы» театра. Я вижу и замечаю всякую фальшь, всякую неестественность, всю эту театральную условность, которая часто коробит меня. Вот как в опере: хорошо слушать большого артиста... с закрытыми глазами.

— Но отчего это предубеждение?.. Вы, как чеховский Треплев, против пьес, в которых говорится, как «люди носят свои пиджаки»? [2]

— Нет, не потому. Я думаю, что и с «пиджаками» можно написать глубокую вещь, если, конечно, не останавливаться на мелочах и частностях, а брать лишь важное и основное в человеческой психике и жизни. И потом еще: я не люблю и не понимаю таких слов, как «новые формы», «соборное действо», «хоровод» и прочее... [3] И эта погоня за «стилизацией» меня часто возмущает, и не только в театре (я видел, например, стилизованный античный театр Рейнгардта, и это зрелище казалось мне грубым), но и вообще в искусстве. Стилизация в ее благородном смысле, конечно, законна, да и естественна во всяком подлинном произведении художества. Не стилизована ли разве «Саламбо» Флобера?.. А вся эта подделка под античность [4] — она свидетельствует лишь о дряблости чувств моих современников; она говорит о том, что мы перестали чувствовать настоящую любовь и настоящую страсть; разучились ценить радость жизни, правда, короткой, но полной впечатлениями. Но, разумеется, для этого надо не сидеть на одном месте, а путешествовать, видеть новые страны, жить на море.

— А скажите, Иван Алексеевич, вы когда-нибудь думали о пьесе для театра?

— Да... Часто мне хотелось написать что-нибудь для сцены. Влекла меня и самая форма. Ведь в драме, в ее стремительном, сильном, сжатом диалоге так многое можно сказать в немногих словах. Тут приходится как бы концентрировать мысль, сжимать ее в точные формы. А это ведь так увлекательно. Вот и сонет поэтому излюбленная моя форма. А как хорошо было бы написать трагедию...

— Вы любите этот род?

— Очень. Тут такой простор для широчайших обобщений, тут так много влекущего. Ведь тут можно дать картину мощных страстей; люди, история, философия, религия — все может быть взято в такой яркой

форме.... Сколько заманчивого, например, в мысли о трагедии из жизни Будды. Только вот одно останавливает: условности сцены, с которыми надо постоянно считаться...

Наша беседа о театре обрывается. Мы говорим о литературе, о писателях. С упоением цитирует Иван Алексеевич Толстого.

— Вы вспомните, как у него все просто, сильно и глубоко. А ведь он не боялся мелочей, которые могли бы показаться оскорбительными. Наташа вбегает в избу к раненому князю Андрею... Слышен чей-то храп... И вот чудится это гениальное «пити-пити», и все разрастается в целую симфонию человеческой любви и страданья. А ведь этот «храп» за стеной нисколько не помешал... Да, надо быть широким и смелым в творчестве.

— Вы долго еще пробудете в Москве?

— Нет. Я не могу сидеть на одном месте. Жаль, что здоровье не позволяет, а то было совсем налажено кругосветное путешествие. Придется только в Испанию и в Италию поехать... [5] А жаль. Уж очень хороший пароход выходит в ноябре...

И в этих словах чувствуется такая глубокая, страстная любовь Бунина к путешествиям, к морю. И уже кажется понятным, почему этот человек, с восторгом говорящий о 50 днях, проведенных в открытом океане [6], почему он холоден и равнодушен к нашей городской суете, к нашим театрам.

Журн. «Рампа и жизнь». М., 1912, № 44, стр. 5. Подпись: Ю. С. ‹Соболев›. Под заглавием: «У И. А. Бунина». На обложке этого номера воспроизведен портрет Бунина с подписью: «К 25-летию литературной деятельности». Здесь же помещены статья Юрия Соболева «Любовь, смерть и вечность в творчестве Бунина», шарж И. Малютина и другие материалы, связанные с юбилеем писателя.

[1] Лоскутная гостиница в Москве находилась на углу Тверской ул. (ныне ул. Горького) и Моховой (ныне проспект Маркса); дом этот не сохранился.

[2] Обличая рутину современного театра, Треплев говорит: «Когда поднимается занавес и ‹...› эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же,— то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью» (А. П. Чехов, «Чайка», д. I).

[3] Бунин имеет в виду воззрения символистов на театр и драматургию. См. В. Асмус. Философия и эстетика русского символизма («Лит. наследство», т. 27-28, стр. 1—53), а также: И. Дукор. Проблемы драматургии символизма (там же, стр. 106—166).

[4] В 1910 г. Макс Рейнгардт поставил трагедию Софокла «Царь Эдип». Этот спектакль Бунин мог видеть в октябре 1911 г., когда был проездом в Берлине. Оригинальная постановка, стилизованная под античный театр, привлекла всеобщее внимание и вызвала множество подражаний. Судя по русской театральной хронике, в 1912 г. «Царь Эдип» (по Рейнгардту) был поставлен или готовился к постановке в театрах Вологды, Омска, Вильны, Николаева, Минска, Курска и других городов. Это повальное увлечение и вызвало, очевидно, критические замечания Бунина.

[5] Замысел этого путешествия не был осуществлен.

[6] Во время путешествия в Египет и на Цейлон Бунин провел в плавании в общей сложности 50 дней (с 15 декабря 1910 г. до 10 апреля 1911 г.).

12. «ЮЖНАЯ МЫСЛЬ», 1913, 17 апреля

Яркое весеннее солнце, оживленная, радостная, празднично настроенная толпа народа, дивное, прекрасное море — краса и гордость Южной Пальмиры— все это производит неотразимое впечатление даже на тех, кто большую часть времени проводит под вечно голубыми небесами Италии. И неудивительно, что вернувшийся только недавно с острова Капри известный писатель и поэт Ив. Бунин в восторге от дивной природы, от яркого солнца, напоминающего ему итальянское, от молодой зелени

расцветающих деревьев, от чистоты и опрятности нашего вполне европейского города. В беседе мы, естественно, коснулись вопроса о жизни на Капри, ставшем убежищем для русских писателей, о дорогом изгнаннике М. Горьком, тоскующем по родине, о работе, о последних литературных течениях и т. д.

— Появившиеся в последнее время литературные течения,— сказал нам И. Бунин,— до того нежизненны, до того беспочвенны, что мне, право, не хочется об этом говорить. Да и что, в самом деле, можно сказать об акмеистах, адамистах, модернистах, символистах, которые указывают скорее на известный упадок русской литературы, нежели на ее расцвет. Что можно говорить о литературных течениях, которые постепенно сходят со сцены и которые не оставят никакого следа в русской литературе. И меня лично крайне удивляет, что как ежедневная пресса, так и «толстые» журналы уделяют очень много внимания этому, на мой взгляд, совершенно незначительному явлению.

Я даже считаю унизительным для себя говорить о так называемых «новых течениях» в русской литературе. Повременная же печать, уделяющая им столько внимания, бессознательно рекламирует это беспочвенное, наносное и вредное явление в нашей литературе. Точно так же странным и непонятным для меня являются серьезные статьи об Игоре Северянине — об этой слишком мелкой величине в литературе. Зачем рассуждают о них так глубоко и серьезно, точно это действительно знамение нашего времени? К чему говорить о людях, которые несут вздор или по недостатку ума, или по лукавым соображениям? К чему это? Тем более, что ведь в сущности все эти течения постепенно исчезают. Модернисты и то стали писать гораздо проще и в своих произведениях стали затрагивать общие темы. Да и публика перестала интересоваться новыми течениями и отдает теперь явное предпочтение писателям строго реалистического направления [1].

По поводу моей последней повести «Деревня» было очень много толков и кривотолков. Большинство критиков совершенно не поняли моей точки зрения. Меня обвиняли в том, что я будто озлоблен на русский народ, упрекали меня за мое дворянское отношение к народу и т. д. И все это за то, что я смотрю на положение русского народа довольно безрадостно. Но что же делать, если современная русская деревня не дает повода к оптимизму, а, наоборот, ввергает в безнадежный пессимизм. Виноват ли писатель, старающийся правдиво изобразить жизнь, или виновата сама жизнь?

К счастью, за последнее время критика стала более осторожно выражаться и только редкие голоса продолжают грубые выпады против меня [2].

Я очень много работал в течение моего зимнего пребывания на о. Капри и к осени я намерен выпустить в свет новый том своих рассказов [3].

Далее в беседе мы затронули вопрос относительно жизни и работы М. Горького.

—Писатель-изгнанник продолжает по-прежнему усердно и много работать. Настроение у него бодрое; здоровье, вопреки распространившимся слухам, вполне удовлетворительное. К нам приезжали Андреев, Шаляпин и скончавшийся недавно талантливый писатель Коцюбинский.

Отношения между Горьким и Шаляпиным по-прежнему хорошие... Вообще вся эта история, происшедшая во время спектакля, слишком была раздута и неправильно освещена. Публика имеет превратное понятие об этом факте... [4] Несмотря на свою сильную тоску по родине, Горький и не думает покидать о. Капри.

«Южная мысль». Одесса, 1913, № 491, 17 апреля. Подпись: Л. Фл. Под заглавием: «На литературные темы (беседа с И. Буниным)».

[1] Мысль Бунина о том, что модернистские течения уходят со сцены, уступая место реалистическому искусству, совпадает с тем, что писала по этому поводу большевистская газета «Путь правды» (см. статью М. Калинина ‹А. Кариняна› «Возрождение реализма» — 1914, 26 января, № 5).

[2] См. интервью 9 и примеч. 2 к нему.

[3] Бунин был на Капри с 16 ноября 1912 г. по 24 марта 1913 г. За это время им были написаны 12 рассказов, вошедших в сборник «Иоанн Рыдалец» (М., 1913).

[4] «Эта история» — невольное участие Шаляпина в коленопреклоненной просьбе хористов Мариинского театра, обращенной к Николаю II во время спектакля 6 января 1911 г. Об отношении Горького к поступку Шаляпина см. Горький, т. 29, стр. 170, 187.

13. «ЮЖНАЯ МЫСЛЬ», 1913, 14 июля

— Первое мое беллетристическое произведение было напечатано в «Русском богатстве», но я долго в журнале не продержался [1].

Как только покойный С. Н. Кривенко откололся от «Русского богатства» и основал «Новое слово», я ушел вместе с ним [2].

Встречаться с Короленко я, таким образом, не мог часто, так как всем известно, что Владимир Галактионович в широких литературных кругах не появлялся и держался исключительно в тесном кругу литераторов из «Русского богатства» [3].

Все же кое-когда у Владимира Галактионовича я бывал.

Жил он в Петербурге, возле Греческой церкви, в деревянном двухэтажном доме с мезонином, доме глубоко провинциальном (к провинциальному Владимир Галактионович, кажется, вообще питает большую склонность) [4].

В длинные петербургские вечера я и забирался к Владимиру Галактионовичу, с которым мы долго и много беседовали на литературные темы.

Однажды, помню, мы целый вечер говорили о Толстом.

Владимир Галактионович говорил о Толстом с благоговением.

Слушая его, я упивался и тонким анализом учения Толстого, и образностью речи Владимира Галактионовича.

Помню, в этот вечер Короленко подарил мне свою книгу, на которой сделал надпись: «Вечер. Пески. Долгие разговоры» [5].

Затем с Владимиром Галактионовичем я встречался в Москве.

Что я могу сказать о В. Г. Короленко?!

Радуешься тому, что он живет и здравствует среди нас, как какой-то титан, которого не могут коснуться все те отрицательные явления, которыми так богаты наша нынешняя литература и жизнь.

Когда жил Л. Н. Толстой, мне лично не страшно было за все то, что творилось в русской литературе.

Теперь я тоже никого и ничего не боюсь: ведь жив прекрасный, непорочный Владимир Галактионович Короленко!..

«Южная мысль». Одесса, 1913, № 565, 14 июля. Подпись: А. А. Воспроизведено: «Огонек», 1961, № 48.

15 июля 1913 г. отмечалось 60-летие В. Г. Короленко. В связи с этим сотрудник «Южной мысли» обратился к Бунину, Д. Н. Овсянико-Куликовскому и А. М. Федорову, находившимся в то время в Одессе, с просьбой рассказать о встречах с юбиляром и об отношении к нему. Эти три интервью были опубликованы под общим заголовком «Рыцарь общественности. 60-летний юбилей В. Г. Короленко».

Вспоминая о начале своей литературной деятельности, Бунин писал: «... я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля ‹...›; застал Короленко, написавшего свой чудесный „Сон Макара“, застал Григоровича...» (т. 9, стр. 301).

Впервые свое отношение к творчеству Короленко Бунин высказал 18 октября 1888 г. в письме к брату Юлию: «Софья выписала Короленко. Мы с Григорием Андреевичем наслаждались вполне. В самом деле — роскошь» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 6). Очевидно, речь идет о первом сборнике Короленко «Очерки и рассказы», два издания которого выпустила редакция журнала «Русская мысль» в 1887 и 1888 гг.; в него входили: «Сон Макара», «В дурном обществе», «Лес шумит», «В ночь под светлый

праздник», «В подследственном отделении», «Старый звонарь», «Очерки сибирского туриста», «Соколинец». 26 декабря 1888 г. Бунин вновь пишет брату о Короленко, на этот раз в связи с его новой повестью, опубликованной в «Русской мысли» (1888, № 11): «...читал на днях „С двух сторон“ Короленко, прочитал „Обрыв“ Гончарова, „Минеральные воды“ и некоторые другие вещи Эртеля. Хочу выписать себе новое издание Гл. Успенского...» (там же, л. 12 об.).

Личное знакомство писателей произошло по инициативе Бунина. Через В. М. Михеева он выразил Короленко свое желание встретиться с ним и получил ответ: «Я знаю Бунина, очень интересуюсь его талантом и рад познакомиться» (см. письмо Бунина к брату Юлию 30 ноября 1896 г.— «Русская литература», 1963, № 2, стр. 180). Встреча произошла 7 декабря 1896 г. в Петербурге на юбилее К. М. Станюковича, а 11 декабря Бунин впервые был в доме Короленко (см. там же).

Короленко высоко ценил талант Бунина, в частности, его перевод «Песни о Гайавате». «О том, что вы в Москве, мне передавал В. Г. Короленко,— сообщал Бунину А. М. Федоров 5 октября 1897 г. ⟨...⟩ Он хотел писать вам о вашем переводе и, между прочим, очень хвалил вас» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 221, л. 21; ср. с этим письма самого Короленко к Бунину (настоящ. том, кн. 2, стр. 459). Однако о бунинских очерках «Чернозем», опубликованных в первом «Сборнике т-ва „Знание“ за 1903 год» (СПб., 1904), Короленко отозвался неодобрительно, считая что эти очерки разрабатывают «запоздалый мотив» и проникнуты «печалью о призраках, когда-то живших, радовавшихся и любивших среди уюта “дворянских гнезд“». «Его „Чернозем“ — это легкие виньетки, состоящие преимущественно из описаний природы, проникнутых лирическими вздохами о чем-то ушедшем... Эта внезапно ожившая элегичность нам кажется запоздалой и тепличной ⟨...⟩ Вот то, что г-н Бунин только намечает среди своих элегических картинок (второй очерк: „Сны“), те толки угрюмым шепотом о старом и новом, которыми делятся в сумраке вагона III класса неясные серые фигуры,— могло бы быть интересно. Но... случайно или не случайно, г. Бунин их не дослушал...» («О сборниках товарищества „Знание“ за 1903 г.», подпись: Журналист. — «Русское богатство», 1904, № 8, стр. 146, 147). Бунин, которому этот отзыв стал известен значительно позднее его опубликования, считал, что Короленко «совершенно извращает смысл этих рассказов» («Из записной книжки».— Собр. соч. 1915, т. 6, стр. 305).

Впоследствии старший писатель дал высокую оценку бунинской прозе. Об этом свидетельствует В. Катаев, вспоминая свою встречу с Короленко в 1919 г. и его совет: «„Господин из Сан-Франциско“ — прекрасный рассказ. Учитесь у Бунина, он хороший писатель» («Коммунист», Харьков, 1922, № 298, 1 января).

К шестидесятилетию Короленко Бунин отправил ему из Одессы поздравительную телеграмму: «От души желаю еще многих лет, столь же славных и прекрасных» (ГБЛ, ф. 135, раздел II, 45. 8); она была опубликована в ряде газет (см., например, «День», 1913, № 189, 17 июля). Подпись Бунина стоит и под приветствием, которое члены «Среды» послали Короленко 12 ноября 1903 г. в связи с двадцатипятилетием его литературной деятельности (ГБЛ, ф. 135, раздел II, 45. 8; ИМЛИ, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 55).

[1] Рассказ Бунина «Танька» был опубликован в «Русском богатстве» (1893, № 4) под заглавием «Деревенский эскиз». Последним его произведением в этом журнале, было стихотворение «В стороне далекой от родного края...» (1900, № 12).

[2] Журнал «Новое слово» основан И. А. Баталиным в 1894 г. С. Н. Кривенко начал сотрудничать в нем с октября 1895 г., после того как журнал (с июля того же года) перешел в руки О. Н. Поповой, а редактором его стал А. А. Слепцов. В № 1 (октябрь) «Нового слова» за 1895 г. напечатан очерк Бунина «На край света».

[3] Короленко вошел в состав редакции «Русского богатства» в начале декабря 1894 г., а с мая 1895 г. стал вторым официальным его издателем.

[4] В январе 1896 г. Короленко переехал в Петербург и поселился на 5-й ул. Песков, против Греческого сада (д. 2/4), где прожил до начала июня 1900 г.

[5] Местонахождение этой книги неизвестно.

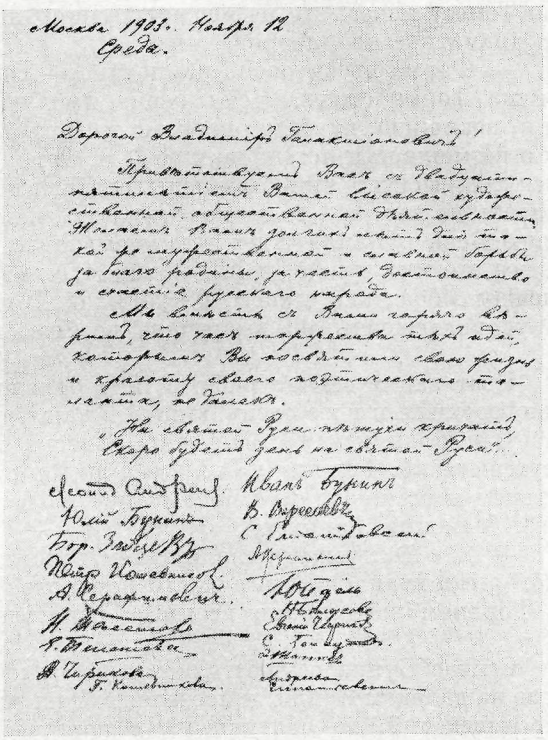
14. «БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ», 1916, 14 апреля

В беседе с нашим сотрудником Иван Алексеевич Бунин делится своими впечатлениями и настроениями за последнее время.

Поэт провел зиму в деревне, где очень устал «от однообразия».

— За последний год,— говорит Бунин,— я работал значительно меньше, чем раньше. В мире происходит огромное событие, которое опрокинуло и опрокидывает все понятия о настоящей жизни. Я уверен, что мы ляжем в могилу с совершенно иными чувствами.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС
В. Г. КОРОЛЕНКО
от членов «Среды»
в связи с двадцатипятилетием
его литературной деятельности
12 ноября 1903 г.
Библиотека СССР
им. В. И. Ленина,
Москва


Москва 1903. Ноября 12
Среда.

Дорогой Владиміръ Галактіоновичъ!

Привѣтствуемъ Васъ съ двадцатипятилѣтіемъ Вашей высокой художественной общественной дѣятельности. Желаемъ Вамъ долгихъ лѣтъ такой же плодотворной и сыгравшей такую большую роль для нашего родного, дорогого Отечества и сожитія русскаго народа.

Мы вмѣстѣ съ Вами горячо вѣримъ, что часъ торжества тѣхъ идей, которыхъ Вы хранили свою преданность и кроткую свою политическую тайнамъ, не далекъ.

«На свѣтлой Руси мы ждемъ праздника
Скоро будетъ день на свѣтлой Руси».

Ивановъ Андреевичъ. Иванъ Бунинъ
Юлій Бунинъ В. Вересаевъ
Григ. Гейдеманъ С. Гиппіусъ
Петръ Ковалевскій Д. Жизневскій
А. Серафимовичъ Ю. Гель
И. Тихеевъ Н. Тихонова
Ѳ. Тихонова Е. Ивановъ
С. Гусевъ
Д. Ивановъ
А. Чирикова
Ѳ. Комиссаржевская
Андреевъ
Елена Андреева

Происходящие события отвлекают поэта от возможности сосредоточиться на своих работах. Отчасти это объясняется настроениями Бунина, которыми он так легко заражается, следя за грандиозным ходом событий. Говоря о современной литературе, И. А. Бунин недоумевает по поводу обилия рассказов на военные темы.

— Пишутся ли эти рассказы,— говорит Бунин,— людьми, не побывавшими на фронте или даже активно участвовавшими в событиях, мне это кажется мало серьезным и совсем не художественным. Я понимаю, что можно оказаться насыщенным страшными впечатлениями и захотеть рассказать их, но ведь это будет крик души, а не художественное произведение. Ежели бы я был на войне, то я не мог бы сейчас откликнуться в литературе и воздержался бы от горячности первых минут. Больше того,— мне кажется, что даже рассказы из так называемой «жизни тыла» требуют также большой осторожности, ибо в первое время, в самом начале войны, все люди земного шара были взбудоражены, внезапно разбужены оглушительной вспышкой и вряд ли они могли правильно отразить свои настроения. Рассуждая теоретически, я позволю себе высказать уверенность, что происходящее отрезвит людей и многое изменит в их жизни к лучшему.

Разговор наш переходит на тему о литературе. Бунин останавливает свое внимание на напечатанной, но не шедшей на сцене пьесе Леонида Андреева «Младость».

— Я считаю, что в этом произведении у Андреева замечаются новые шаги, вещь написана очень жизненно, свежо, с большой сдержанностью [1]. Высказывать свои суждения о пьесах вообще я не специалист, ибо я — не театрал. Мне трудно бывать в театре, многое ранит меня,— как, например, театральные условности, надуманность, неискренность, и я бываю в театре весьма редко.

Тем не менее, это не мешает Бунину питать определенную склонность к драматической стороне письма.

— Форма пьесы очень компактна,— говорит Бунин,— и почти аналогична форме стиха. Меня очень привлекает драматическое искусство, и я, возможно, напишу пьесу, но напишу ее, не думая совершенно о сцене и о возможности постановки ее [2]. Я, признаться, не особенный поклонник всяких выступлений с эстрады вообще, и, когда мне приходится лично читать на вечерах, то я смотрю на это, как на весьма неприятное положение. Ведь публика ждет так называемых «высоких» слов, декламации, а все это мне чуждо, и мне кажется, что я не умею устанавливать связи между собою, как чтецом, и публикой. В интимном кругу друзей я читаю с удовольствием, но выступать вообще, на эстраде, не люблю...

Поэт занят сейчас работой над большим произведением, которое по настроениям и идее очень близко к нашумевшему рассказу его «Господин из Сан-Франциско» [3]. Некоторые вещи поэт задумал во время своих путешествий. Три зимы он провел на Капри. Писатель с особым удовольствием вспоминает свое пребывание на Капри, совпавшее с пребыванием там Максима Горького.

— Я с большим удовольствием вспоминаю те любовь и преданность, которыми итальянцы окружили Горького. И в северной, и южной Италии о Горьком вспоминали всегда с радостным восклицанием.

Сейчас Бунин осуществляет некоторые свои планы, работы, задуманные на далеком Капри, и постепенно дает их то в форме беллетристических произведений, то облекая их в поэтическую гармонию стиха.

«Биржевые ведомости», 1916, № 15498, 14 апреля, вечерний выпуск. Подпись: С. Фрид. Под заглавием: «И. А. Бунин о новой литературе».

[1] Пьеса Л. Андреева «Младость» была напечатана в сб. «Слово», кн. VI. М., 1916 (до этого отрывок из нее появился в сб. «Клич». М., 1915).

[2] Еще в начале 1900-х годов Бунин пытался написать пьесу (см. письмо И. А. Белоусову 29 июня 1902 г.— «Вопросы литературы», 1969, № 7, стр. 177). Этот замысел не был осуществлен.

[3] В 1916 г. Бунин начал работать над повестью «Жизнь». Отрывок этого неосуществленного произведения впоследствии был переработан в рассказ «Отто Штейн», впервые опубликованный с подзаголовком «Из новой повести И. А. Бунина» («Южное слово», 1920, № 112, 1 января). Заглавие «Жизнь» сохранилось в черновой редакции рассказа, подтверждающей, что первоначально он представлялся Бунину частью большого произведения (т. 4, стр. 495—496).

ЗАПИСИ И ЗАМЕТКИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСИ

Предисловие А. К. Бабореко

В Парижском архиве Бунина сохранился ряд фрагментарных записей и заметок писателя — своего рода заготовки для будущих работ.

Часть этих записей носит автобиографический характер и так или иначе связана с работой над «Жизнью Арсеньева». Некоторые из них, опубликованные посмертно, вошли в Собр. соч. 1965—1967 под условными названиями — «Из записей», «Записи», «Заметки» (т. 9, стр. 336—367); другие, например, «Отрывок», опубликованы самим Буниным и включены в состав ранних редакций «Жизни Арсеньева» (там же, т. 6, стр. 305—307). К этим материалам непосредственно примыкают публикуемые ниже «Безымянные записки», «Книга моей жизни», «Дни и годы. Скитания». Заключенные в них мысли о творческом восприятии жизни имеют первостепенное значение.

Две первые из названных записей принадлежат к числу самых ранних набросков, отражающих творческие раздумья Бунина, которые нашли свое частичное выражение в «Жизни Арсеньева». Публикуя их в 1966 г., Л. Ф. Зуров писал: «Все убеждены, что И. А. Бунин начал писать „Жизнь Арсеньева“ в Грассе, в 1927 году, но первые наброски романа, которые я, разбирая архив Ивана Алексеевича, недавно обнаружил, были написаны в Париже в 1921 году. Эти автографы озаглавлены „Безымянные записки“ и „Книга моей жизни“. В 1926 году И. А. Бунин использовал часть страниц „Книги моей жизни“, создавая рассказ „Цикады“ (в 1951 году он его назвал „Ночь“), который органически связан с романом „Жизнь Арсеньева“».

Зуров исключил из опубликованного текста места, взятые Буниным для рассказа «Цикады», обозначив пропуски многоточием. Но и в сокращенном виде остается много совпадений с рассказом, что как будто позволяет сблизить «Книгу моей жизни» в бо́льшей мере с «Цикадами», чем с «Жизнью Арсеньева». Но некоторые фразы записок можно найти и в «Жизни Арсеньева» — как в ее окончательной редакции, так и в главах, впоследствии исключенных Буниным (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 305—307). Но мнение Л. Ф. Зурова, отнесшего на основании найденных им записей начало работы над этим романом к 1921 г., представляется нам ошибочным. Оно противоречит и сообщению В. Н. Буниной: «Начал он „Жизнь Арсеньева“ летом 1927 года, в Грассе» (журн. «Москва», 1961, № 7, стр. 146—147).

Заметки «Дни и годы. Скитания», также связанные с работой Бунина над романом, относятся, по-видимому, к началу 1930-х годов. Публикуя их под условным названием «Записи», Л. Ф. Зуров сообщает: «Лист с этими записями находится среди автографов, на которых Бунин сделал пометку: „Жизнь Арсеньева“. Эти записи и выписки из Библии были предназначены для работы над последней частью романа. Продолжение „Жизни Арсеньева“, как известно, написано не было».

Страницы из «Записной книжки» были опубликованы в 1927 г. самим Буниным. По содержанию и стилю они примыкают к мемуарным заметкам, которые были включены в Собр. соч. 1934—1936 (т. I), а затем вошли в Собр. соч. 1965—1967 («Из записей» — т. 9, стр. 270—298).

Особое место среди записей Бунина занимают недатированные заметки, опубликованные посмертно также под условым заглавием «Записи». Это восемь самостоятельных фрагментов-зарисовок, объединенных общей темой смерти. Возможно, что Бунин предполагал развить их в самостоятельные произведения. Вполне вероятно, что первый из этих фрагментов — размышления над могилой Мопассана — послужил исходным моментом для статьи «Конец Мопассана», написанной в 1927 г. (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 459—467).

Следующий ряд фрагментарных записей объединен общим заглавием («Крым»). Они представляют значительный интерес для изучения творческой лаборатории Бунина. Это наброски неосуществленного рассказа, в которых вполне завершенные отрывки перемежаются со сжатыми конспективными записями, требующими дальнейшей обработки.

И наконец, «Происхождение моих рассказов» является продолжением аналогичных записей, вошедших в Собр. соч. 1965—1967 (т. 9, стр. 368—373). Печатаются они по автографу, переданному в 1960 г. В. Н. Буниной в Советский Союз.

«Безымянные записки», «Книга моей жизни», «Дни и годы. Скитания», из «Записной книжки» — публикация А. К. Бабореко. ⟨Из записей⟩, ⟨«Записи»⟩, «Крым», «Происхождение моих рассказов» — публикация «Литературного наследства».

БЕЗЫМЯННЫЕ ЗАПИСКИ

Осень 1921 г. Париж

Не может не вскрикнуть почувствовавший боль, восторг или удивление: что ему до того, что вскрикивали уже тысячи других!

Индийское изречение

Книга моей жизни — ах, этот высокий стиль, эта нищета человеческих слов, столь нестерпимая особенно для нас, людей слова, измученных бесплодной борьбой с ним до того, что лучшие, искуснейшие между нами чувствуют себя почти бессловными! — Книга моей жизни есть книга без начала и конца; кроме того, ей, которая даже и теперь, несмотря на ее некоторые преимущества перед другими, так мало нужна миру, предстоит в самом недалеком будущем сдача в архив, тлен и забвенье: вот наиболее роковые знаки, под которыми я жил всю жизнь. Хорошо знаю, что они участь общая. Но я всегда чувствовал и чувствую их гораздо сильнее, чем многие другие,— не по этой ли причине, кстати сказать, и стал я писателем, художником?

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1966 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

КНИГА МОЕЙ ЖИЗНИ

Ноябрь, 1921 г.

«Не может не вскрикнуть почувствовавший боль, восторг или удивление: что ему до того, что вскрикивали уже тысячи других?»

Это сказано кем-то, умершим тридцать веков тому назад, но чем я отличаюсь от сказавшего это? Умерли люди, написавшие книги о своем земном существовании, но что мне до того? Во все времена и века, с детства до могилы томит каждого из нас неотступное желание говорить о себе — вот бы в слове и хотя бы в малой доле запечатлеть свою жизнь — и вот первое, что должен я засвидетельствовать о своей жизни: это нерасторжимо связанную с нею и полную глубокого значения потребность выразить и продлить себя на земле.

БУНИН
Фотография. Париж, 1921
С пометой Бунина: «1921 г.»
Литературный музей, Москва

И еще сказано в том же древнем писании: — «Книги наших жизней легко смешать. Не важно имя, которым условились называть меня в моем селении: когда я прохожу по другому селению, все думают только то, что идет человек. И когда я говорю о моей жизни, я непременно говорю и о твоей. Я не могу не искать сочувствия у тебя в моей боли, грусти или радости. Но ведь и ты не можешь. Подумай же, что это значит».

Да, пусть подумает это всякий читающий эти строки в этот и будущий день, когда даже имя мое исчезнет из людской памяти.

Как у всех, моя жизнь есть нечто, не имеющее начала и конца, есть книга, обреченная на тлен и забвение в самом недалеком будущем. И вот второе — столь тесно связанное с первым,— что надо сказать прежде всего. Постоянное сознание или ощущение этого ужаса преследует меня чуть не с младенчества, под этим роковым знаком я живу весь век. Хорошо знаю, что такой знак есть участь общая. Но мне кажется, что я всегда чувствовал и чувствую его гораздо сильнее, чем многие другие.

Я прожил почти полвека. Но мне когда-то сказали это — то, что я родился в таком-то году, в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения,— а следовательно, и счета прожитых мною лет,— но даже и того, что я существую в силу именно рождения. Да и вообще странна основа моей жизни: стоит мне мало-мальски задуматься над этой жизнью — тотчас же непонимание, ничем не разрешающееся удивление. Это как когда смотришься в зеркало: что это такое, кто это такой, кто это такой, которого я вижу, который есть я и о котором я думаю, и кто собственно на кого смотрит? Опасное занятие, с ума можно сойти.

Полагают, что лишь человек дивится своему собственному существованию и что в этом его главное отличие от прочих темных существ, которые еще в раю, в неведении, в недумании о себе. Если так, отличие немалое. Надо только прибавить, что и люди отличаются друг от друга —

степенью, мерой этого удивления. Что до меня, то повторяю: я отмечен этим свойством очень явственно.

Рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я. ⟨...⟩*

Да, Книга моей жизни — книга без всякого начала, если, конечно, не успокоиться на церковной записи, что мое существование началось полвека тому назад, на рассвете одного из бесчисленных дней, которые были и будут на земле. Но она и без конца, потому что, не понимая своего начала, не чувствуя его, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы никакого представления и знания, родившись и живя где-нибудь на совершенно необитаемом острове. Я весь век под страшным знаком смерти, я несказанно боюсь ее. ⟨...⟩

Очень зыбки мои представления времени, пространства.

Меня, по некоторым причинам, выделили из множества прочих людей. Выделили мои умственные способности, воображение, память, восприимчивость, умение высказывать себя. Что ж, хотя жизнь моя есть почти сплошное и мучительнейшее сознание слабости и ничтожества только что перечисленных сил моих, я, по сравнению с многими, и впрямь выделяюсь в некоторых отношениях. И поэтому, то есть по причине того, что я не совсем обычный человек, мои представления времени, пространства и ощущение себя самого зыбки особенно. Да и не могут быть иными — как у всех людей моего разряда.

Что это за люди? Это те, которых называют поэтами, художниками, созерцателями, творцами. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, не только свою страну, но и другие, не только себя самого, но и прочих людей ⟨...⟩.

Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое; ибо он не может не быть то тем, то другим, должен испытывать то восторг, то отчаяние, должен острее других чувствовать и тот океан, которого он есть волна, чувствовать связь волн — и рождение, жизнь отдельной волны, обреченной на гибель, на слияние. ⟨...⟩

Тысячи верст отделяют великий город, где мне суждено писать эти строки, от тех русских полей, где я родился, рос. И обычно у меня такое чувство, что поля эти где-то бесконечно далеко, а дни, которые считаются моими первыми днями, были бесконечно давно. Но стоит мне хотя немного напречь мысль, как время и пространство начинают таять, сокращаться. И так ведь и было всегда.

Не раз испытал я нечто поистине чудесное. Не раз случалось: я возвращаюсь из какого-нибудь далекого путешествия, возвращаюсь в те степи, на те дороги, где я некогда был ребенком, мальчиком,— и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мною, как не бывало. Я чувствую, что это совсем не воспоминание прошлого: нет, просто я опять прежний, опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому полевому воздуху, к этому тамбовскому небу, в том же самом восприятии и их и всего мира, как это было вот здесь, вот на этом проселке в дни моего детства, отрочества... Нет слов передать всю боль и радость этих минут, все горькое счастье, всю печаль и нежность их!

---

* *Здесь и ниже обозначены пропуски, сделанные Л. Ф. Зуровым (см. предисловие к настоящей публикации).— Ред.*

В такие минуты не раз думал я: каждый цвет, каждый запах, каждый миг того, чем я жил здесь некогда, оставляли, отпечатлевали свой несказанно таинственный след. ⟨...⟩

Не раз чувствовал я себя не только прежним собою — ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром; в свой срок кто-то должен и будет чувствовать себя — мною.

Я думал и думаю: богатство таланта, знание — что́ это, как не богатство того, что я назвал отпечатками, как не та или иная чувствительность их и количество их проявлений в луче того солнца, что откуда-то падает на них то ярче, то бледнее, в ту или иную минуту? ⟨...⟩

Все они и ум навеки померкнут, погибнут в могиле, в той последней тьме, куда отойдешь ты в свой день. Но разве не казалось тебе, что и при жизни мириады их уже погибли, утратили способность оживать, проявляться, и разве ты не ошибался? И где грань между тьмой могильной и той, в которой и при жизни таится твоя младенческая, детская, юношеская жизнь, жизнь, лишь в редкие мгновения озаряемая, оживающая?

Все же бесконечна и невыразима боль, тоска и нежность этих мгновений. Вот я чувствую воскресшее детство, отрочество, молодость, до жуткости чувствую телесность этого воскресения: но откуда же тогда и другое — чувство все-таки утраты, разлуки, потери? Что такое моя нежность — и вообще нежность — как не жалость, не сожаление? Этот прежний я, которым я опять стал, все-таки он бесконечно далек и бесплотен. И нет тех зримых дней — зримых так, как я вижу сейчас эту бумагу,— что когда-то давали мне свет, лазурь, запах, радость, нет — и никогда не будет!— уже многих, многих, деливших со мной эти дни, тех любимых, милых, для которых как будто — только как будто для них!— и жил я в этом земном мире. Услышьте меня, ушедшие и до могилы незабвенные! Но отклика нет — и не будет.

Вспоминаю недавний день, на рассвете которого мне исполнилось сорок девять лет. По случайности или потому, что во сне все-таки теплилось во мне сознание, ощущение времени, условного деления и названия его, я проснулся в тот день как раз на рассвете. Нынче я родился, подумал я, и мне сорок девять лет. Ах, как страшна и велика казалась когда-то подобная цифра! Казалось когда-то, что это какое-то особое, почти страшное существо — человек, проживший пятьдесят, сорок, даже тридцать лет, какой-то директор гимназии, учитель с его очками, бородой и запахом табаку от фрака с золотыми пуговицами. И вот таким существом стал я сам. Что же я такое, сказал я себе, чем именно я стал теперь? И, сделав маленькое усилие воли, мгновение подумав о себе, как о другом,— как дивно, что мы можем это! — я вполне живо ощутил, что я и теперь все тот же, почти все тот же, чем был и в десять и в двадцать лет.

Я зажег электричество, взглянул в зеркало: только некоторая сухость и определенность черт, серебристый налет на висках, несколько поблекший цвет глаз да многая душевная опытность отличают меня от прежнего — только это. И я особенно легко встал с постели, поймав ногами туфли, накинул шелковый халатик — необыкновенно люблю шелк! — и вышел в другие комнаты, еще чуть светлеющие, еще по ночному спокойные, но уже принимающие новый, медленно приближающийся день, слабо и таинственно разделивший по середине, на уровне моей груди, их полутьму. Сладкая рассветная тишина покоилась еще и во всем том огромном человеческом гнезде, окружавшем меня, которое называется одной из вечных столиц мира. Молчаливо и как-то по иному, чем днем, стояли многочисленные дома, полные спящих сверху донизу, молчаливые и

пустые, еще чистые улицы лежали подо мной, но уже зелено горели городские огни в их прозрачном сумраке. И вдруг, взглянув на этот сумрак, уловив в нем рождение нового дня, я опять испытал то непередаваемое чувство, которое всю жизнь неизменно испытывал я, случайно проснувшись на ранней утренней заре...

Нет, это только ничего не значущая случайность — то, что мне суждено жить не во дни Христа, Тиверия, не в Иудее, не на острове Кипре, а в так называемой Франции, в так называемом двадцатом веке. За всю долгую жизнь с ее бумагами, чтением книг, странствиями и мечтами я так убедил себя, будто я знаю и представляю себе огромные пространства места и времени, столько я жил в воображении чужими и далекими мирами, что мне все кажется, что я был всегда, во веки веков и всюду. А где грань между моей действительностью и моим воображением, которое есть ведь тоже действительность, тоже жизнь?

Печаль пространства, времени, формы преследуют меня всю жизнь. И всю жизнь, сознательно и бессознательно, то и дело я преодолеваю их. Но на радость ли? И да — и нет.

Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его. Я непрестанно жажду приобретать чужое и претворять его в себе. Но зачем? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, свое я, свое время, свое пространство,—или затем, чтобы, напротив, утвердить себя, обогатившись и усилившись чужим?..

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1966 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

ДНИ И ГОДЫ. СКИТАНИЯ

Lassus maris et viarum
Vita scribi nequit.

Das Ewige in Menschen,
Das Menschliche in der Ewigkeit.

Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag*.

Ничто не определяет нас так, как род наших воспоминаний.

Анна — хотя в Одессе, где я знал ее девушкой, звали ее Матильдой — Анна Ильинична, в девичестве Денисевич, вторая жена Андреева, жила осенью 39-го года в Грассе, недалеко от нас, и часто ходила к нам. Говорила, что живя с ним десять лет, целых десять лет не спала: он по ночам или диктовал ей или просто не давал спать — без конца говорил.

Я встретил его в первый раз зимним вечером в буфете Художественного театра, во время антракта. Увидал в толпе возле буфетной стойки знакомого журналиста, Алексеевского, впоследствии его зятя, и черного молодого человека в сюртуке, который что-то живо говорил, держа в руке рюмку водки. Алексеевский сказал мне:

— Позвольте представить — мой приятель Леонид Николаевич Андреев.

---

* Уставший от моря и дороги / Не может описать свою жизнь (*лат.*). Вечное в человеке, / Человеческое в вечности (*нем.*). К новым берегам манит новый день (*нем.*).

Тот быстро поставил рюмку на стойку и с готовностью тиснул мне руку цепкой смуглой рукой:

— Чрезвычайно рад!

Во взгляде, которым он блеснул на меня, было сразу несколько выражений: зоркое любопытство, что-то хитрое, веселое и что-то слегка грустное, что-то будто искреннее и деланное и какая-то мысль о чем-то своем, тайном, которая так и осталась в нем во все время нашего дальнейшего разговора, сразу завязавшегося с легкостью и шутливостью. Впоследствии эту мысль о чем-то своем, тайном я видел в нем почти постоянно.

И во всем был у него в тот вечер черный блеск: в хитрых черных глазах, в довольно длинных, закинутых назад волосах, в щеголеватых тонких усиках, в сюртучке с атласными лацканами, в лакированных ботинках. И во всем — нечто легкое и приятное — еще молодая сухощавость и студенческая готовность на быструю дружбу, на приятельство.

«Изыде от земли твоея, и от рода твоего, и от дома отца твоего».

«И пошел, не зная, куда идет... Обитал на земле полученной, как на чужой... ибо ожидал города, коего художник и строитель — бог... все сии (подобные) говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного: ибо бог предусмотрел о нас нечто лучшее...»

«Пришелец аз есмь на земле». Пс. 118.

«Отдался течению дней».

Как все было ничтожно, *случайно*, как быстро прошло!

Революции, войны, зверства.

В ту зиму (после ее бегства, перед Москвой) осмотрел свой край — страшные картины! Елец, Огневка, Бабарыкино (сумерки волчьи), мужицкие избы, у Софьи (тепло, вонь), у Арсика, у Цвиленева, у Рышковых, у «Волка», у Баева...

«Все воды твои и волны твои прошли надо мною...»

Итак, было, будто бы было время, когда я еще только всходил на корабль: «Итак, ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани — время сходить».

Целая жизнь прошла с тех пор.

«Чего еще ждать мне, господи?»

«Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою». И не только перед тобою, но и передо мной самим. Так где же время?

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1967 г. Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

⟨ИЗ ЗАПИСЕЙ⟩

«Родиться, жить и умереть в одном и том же доме». А сколько домов переменил я на своем веку? И чего еще не знаю, не видел на земле? «Пора сходить». Но ведь это значит навсегда расстаться с этой землей, на которой родился, рос, проводил дни и ночи, без конца видел смену восходов и закатов... Навсегда лишиться чувства какой-то «бесконечности», с которой жил всю жизнь... чувства того, что я весь век называл богом и своим я, в котором несомненно Он — кто же иной, что же иное — то живущее, само себя сознающее — вот то, что час тому назад выходило на балкон, на эту несущуюся бурю, смотрело в бездну вверх, полную

пылающих от мистраля звезд и почему-то перекрестилось на них — перед кем?— и, как всегда, стремилось в их невообразимой области к душам всех исчезнувших из моей жизни.

Сходить — это значит никогда больше не быть мыслью в тех днях, когда кто-то писал под шатром в стране Квадов, столь еще близких к рождению, к жизни Христа... Никогда больше не читать Евангелия, не слушать органа в холодной и великой пустыне древнего собора, в его полутьме, дивно и жутко цветущей в запрестольной высоте индиго и пурпуром... Не глядеть на снега Бреннера, не качаться под мерные толчки гондолы по сырым и зловонным, вечно пленительным каналам мертвой в своей вечной весне Венеции...

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1964г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

Удивительно предсказал Боратынский в одном своем стихотворении:

«И будет Фофанов писать...»

А еще удивительнее предсказал Гете: «Будет поэзия без поэзии, где все будет заключаться в делании: будет мануфактур-поэзия».

Изумительна моя судьба. Нужно же было мне родиться в такое время! Взять хотя бы литературу: ведь на моих глазах началась и длится ее позорная гибель, превращение ее в самый бесстыдный и отвратительный балаган...

Талант талантом, а все-таки «всякая сосна своему бору шумит». А где мой бор? С кем и кому мне шуметь?

Деды и отцы наши, начавшие и прославившие русскую литературу, не все же, конечно, «по теплым водам ездили, меняли людей на собак» да «гуляли с книжками Парни в своих парках, среди искусственных гротов и статуй с отбитыми носами», как это многим кажется теперь. Они знали свой народ, они не могли не знать его, весь век живя с ним в кровной близости, и не имели нужды быть корыстными и несвободными в своих изображениях его, как недурно доказали это, например, Пушкин, Лермонтов, Толстой и многие прочие.

А потом что было? А потом «порвалась цепь великая», пришел «разночинец», во-первых, гораздо менее талантливый, чем его предшественник, а во-вторых, угрюмый, обиженный, пьющий горькую (посчитайте-ка всех этих Левитовых, Орфановых, Николаев Успенских) и вдобавок сугубо тенденциозный (пусть с благими целями, но тенденциозный), да еще находившийся в полной зависимости от направления своего журнала, от идеологии своего кружка, от обязанности во что бы то ни стало быть «гражданином», от милости Скабичевских. А потом количество пишущих, количество профессионалов, а не прирожденных художников, количество *поддделывающихся под художество* все растет и растет, и читатель питается уже мастеровщиной, либеральной лживостью, обязательным народолюбием, пошлейшим трафаретом: если лошадь, то непременно «россинант» или «лукавая пристяжная», если уездный город, то непременно свинья в грязи среди площади да герань в окне, если комод, то обязательно «пузатый», если помещик, то уж, конечно, крепостник, зверь, если деревня, то только «лохматые избенки, жмущиеся друг к другу и как-то боязливо взирающие на проезжего», если «огоньки», то

не иначе, как символические ... и, бог мой, сколько легенд о жестокостях крепостного права или о Стеньке Разине!

Златовратский... Интереснейшая фигура!

Сколько лет этот самый Златовратский был чуть не для всей интеллигенции истинно Иверской! Он искренно мнил себя великим знатокам народа (его самых основных «устоев», глубины его души и «золотых сердец», его «извечных чаяний», его «подоплеки», его языка, его быта). Он считал себя замечательным писателем, таким, что то и дело хмуро и презрительно трунил над Толстым, а если хвалил, то тоже как-то свысока, небрежно. Что Толстой! Он считал, что он и сам мудрец, в некоторых отношениях даже почище Толстого: «Да, талант, но и чепухи в голове немало»,—нередко говорил он про Толстого, по своему обыкновению ворчливо, глядя куда-то в угол, по-медвежьи качаясь, бродя по комнате в опущенных штанах, в заношенной косоворотке, набивая машинкой папиросы. И все хмурил свои большие брови, чувствуя, вероятно, до чего даже и наружность его может потягаться с толстовской наружностью,— эти брови, маленькие глазки, огромный лысый лоб, остатки длинных жидких волос, вообще весь его мужицко-патриархальный вид, вид какого-нибудь Псоя Псоича, Псоя Сысоича (излюбленные имена его героев из стариков).

Ко мне снисходил, даже иногда похваливал. Раз пробормотал:

— Да, ничего, ничего... Последняя ваша вещичка сделала бы честь и более крупному таланту... Писать можно...

Почти всю жизнь прожил в Москве, в Гиршах[1]. Бывали у него только его горячие почитатели и единомышленники. Возражений он не терпел. Из писателей более всего были ему милы самоучки.

Ни в чем у нас нет меры, все истерика, жажда довести себя из-за всякого пустяка до отчаяния, вечное недовольство на все, везде и во всем мука, все не так, все ни к черту.

С необыкновенной легкостью впадаем в актерство, в ту или иную роль— особенно на людях, в собраниях. Чувствительны, нервны, самолюбивы, честолюбивы ужасно.

Вот, например, юбилей. Поручили кому-нибудь прочитать телеграмму. И телеграмма-то самая ничтожная: «Пьем здоровье дорогого юбиляра, желаем многих лет столь же славной деятельности»— только и всего. И все-таки тот, кто встал читать, до того взволновался, что побледнел как полотно, задохнулся, руки прыгают... А те пьяные провинциалы в сюртуках, что выступают уже в конце, после всех главных речей, когда уже никто никого не слушает? Боже, с каким надрывом кричат они, с какой гордостью и как витиевато бахвалятся они с дальнего угла стола, именуя себя «скромными тружениками на ниве народной»!

Русь, Русь, блаженная, еще не прожившая своих сказочных времен Русь...

Вспомнился Елец, представилась Черная Слобода, бесконечный летний день... Весь день сидит некто босоногий и распоясанный возле своей разваливающейся хибарки, на гнилой лавочке. Мог бы хоть немного починить эту хибарку. Но нет,— лень, блаженная, дремучая. И весь день сидит и занимается с каким-нибудь рыжим кобельком.

Парижский архив Бунина. Впервые: «Возрождение». Париж, 1926, № 235, 23 января. Печатается по этой публикации.

[1] Гирши — дешевые меблированные комнаты Гирша в Москве на Малой Бронной ул.; здесь жили студенты, мелкие чиновники, мастеровые.

⟨ЗАПИСИ⟩

Могила Мопассана на новом кладбище Монпарнаса, отделенном от старого узкой улицей Костанди,— вернее, проходом между двумя стенами этих кладбищ. Решетка, могила без бугорка, на уровне земли. Едва нашел эту могилу. Как всегда все стоят над могилами, стоял с тупым удивлением: как, это тут, под моими ногами, его кости, его череп — скелет того, кто когда-то и т. д.

«Guy de Maupassant. 1850—1893».

Невероятно!

И уже всеми давно забытая, никому не нужная могила!

Умерла 24 лет, через полгода после свадьбы.

Днем гуляла, ходила в лес, была оживлена. Вечером боль под правой лопаткой — воспаление легкого, 40,5; 41,3...

Лежала с закрытыми глазами, рот опекся, голос невнятный, дыхание трудное...

В день смерти жалостно плакала, обнимая склонившегося к ней молодого мужа, потом сказала едва внятно: «умираю...»

Дыхание было так трудно, что приподняли, наклали за спину подушек,— полусидела с закрытыми глазами, поражая всех своей худобой. Вздохи были все реже, потом икнула — и стихла. Голова склонилась на сторону, лицо покорное, исстрадавшееся. Поцеловали в лоб и положили на подушки.

Вечер его смерти. Уже темнеет. В усадьбе чернеет за домом сад, за садом золотистое зарево восходящего месяца, сквозящее в черноте деревьев. На крыльце дома (в котором он уже лежит наряженный на столе в зале) сидят в тусклом сумраке и тихо переговариваются горничные.

Ночью, в освещенном тихим и безразлично печальным месячным светом саду, жалобно, однообразно кричит совка.

На скамье в аллее тихий женский голос:

— Вот так-то и мы помрем...

Он, закуривая цыгарку, беззаботно:

— Я этого ничего не боюсь!

— А я страсть их боюсь, этих покойников,— отвечает она, наслаждаясь своим страхом.— Теперь шесть недель не буду ночевать в доме. И днем, и то страшно будет, как глянешь в этот угол, где он лежал...

Одна из самых счастливых ночей их.

День похорон совсем белый от густого утреннего тумана, за которым ничего не видно в двух шагах.

Туман оседает каплями на ветвях, жемчугом на осенней паутине — уже пригревает сквозь него солнце.

Париж, сентябрь, погода милая, теплая, солнечная.

Церковь на rue Daru, спокойные, легкие похороны.

Покойник был холост, одинок, незначителен, в церкви всего несколько человек его знакомых; ни слез, ни рыданий.

Певчие пели с беспечной, приятной грустью, без напряжения и щегольства.

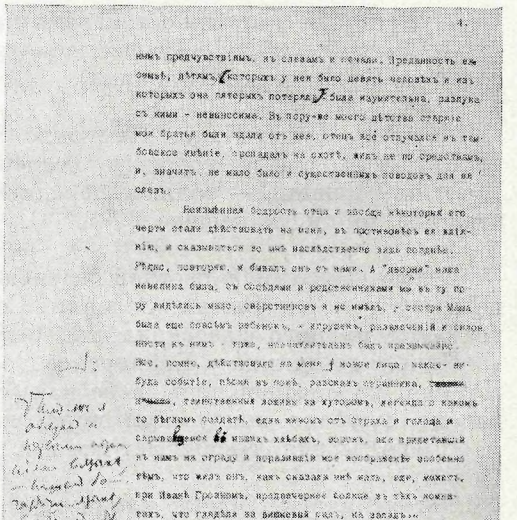
Отпели, увезли. С удовольствием, чувствуя себя ровно, хорошо, Н. пошел пешком домой.

Уже много сухих листьев на тротуарах, на бульварах.

«АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА»
Машинопись с авторской правкой, 1915
Лист 4.

На полях — вставленный Буниным текст о том, что он обязан матери и дворовым «первыми познаниями в языке,— нашем богатейшем языке, в котором, благодаря историческим и географическим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси»

Музей И. С. Тургенева, Орел



Париж поет автомобилями. Начинает счастливую осень, все четыре миллиона живущих в нем хотят счастья, удовольствий... Его в Париже уже нет, он уже всеми забыт...

— А будет день, и меня принесут сюда, и так же будет народ вокруг моего гроба и на паперти и во дворе. Невероятно, непостижимо, но непременно будет. А уж самое непостижимое, что, зная все это, все-таки совершенно тупо думаю об этом и совершенно беспечно живу, внутренне не верю в это, а главное, что никогда и никто в мире не признавал смерть чем-то законным!

Медленно, черным потоком текущая по улице за катафалком толпа.

Жгучее солнце, духота, заходит гроза. Камион-водовоз поливает улицу — улица дымится, противно, тепло пахнет...

Потом будет долгий путь на кладбище, бесконечный.

Бесконечно страшна жизнь.

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1959 г. в Нью-Йорке. Печатается по тексту этой публикации.

КРЫМ

За окнами пустого, тихого дворца светлая зелень шелковицы. Водоем без воды.

— Тут купались султанские жены. Это меня волнует. Вот по этому мраморному полу они ходили маленькими босыми, белыми ногами...

— Не смей думать о них!

— Не буду, не буду. Да они, верно, босиком и не ходили. В деревянных сандалиях, я думаю. Хотя это тоже неплохо.

— Как тебе не стыдно говорить мне это!

— Да я же шучу. Лучше посмотри — вот он, знаменитый «Фонтан слез»... (Сюда стихи Пушкина).

Мертвое Чуфут-Кале. Помпея.

Потом пещерный город в лесистых горах. Ездили туда верхами. Пустыня, тишина,— только переливчатое пение дроздов... Кости на вершине сопки, в пещере...

Белый, веселый, с светлой зеленью Севастополь. Завтрак в гостинице на мысу у моря. Бычки. Зеленки. Сон. Выехали перед вечером, наняв до Ялты парного извозчика под белым зонтом.

Ночь в гостинице у Байдарских ворот. Ужин. Прогулка за воротами. Лунная, но неясная ночь, небо как бы в легком пару. Мертвая тишина, далеко, глубоко внизу шум моря, кипит у берегов серебро...

И еще тысячи, тысячи лет все так же будет кипеть и шуметь... Зачем? Почему?

Остановились. Обнял, глядя ей в лицо в лунном свете.

— Ты меня любишь?

— Люблю, и всю, всю жизнь буду любить! А ты?

— Мне особенно хочется побывать с тобой в Гурзуфе. Прежде, во времена Пушкина, лучше говорили: Юрзуф. Был я там еще в ранней молодости, ходил на Аю-Даг... Молодой, одинокий...

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы...

Две строки — и целая дивная картина!

Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы...

Что ни слово, то волшебство.

— Прочти все до конца. Я тоже ужасно люблю это.

Стал читать и побледнел, когда дошел до седьмой строфы:

Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя...

Одна из самых нежных и страстных ночей в этой маленькой деревенской гостинице у Ворот. На заре, как молодые петушки, кричали орлята. Бледность и свежесть утра в окно, закрытое только сквозными ставнями.

— Проснулась? Селям алейкум, радость моя! Это по-татарски — здравствуй, значит. А ты должна сказать: Садбул, то есть будь здоров. Или: Кошкильды! — добро пожаловать!

Она потянула его к себе, шепча:

— Кошкильды...

— Якши́, якши́!

— Погоди, я получше лягу... Что значит — якши́?

— Это значит — ладно... Поцелуй, поцелуй меня.

За чаем. Она смеясь:

— Якши́! Ну скажи еще что-нибудь по-татарски.

— А еще я ничего не знаю. Знаю «чурек»— это лепешка из кукурузной муки. Еще чувя́ки...

— Ну это и я знаю. Это мягкие туфли без каблуков.

— А пешкет? Вот и не знаешь. А это значит подарок. Еще знаю — гурда́.

— Что это — гурда́?

— Старинная очень ценная шашка. Ла Илляр иль Алла! А по-арабски немного иначе: Ла Ила́ха илла-ила́! Это значит нет бога, кроме бога. А теперь татары празднуют байрам, самый большой мусульманский праздник. Как раз теперь в начале сентября.

— Ах, какой ты умный! Ну пойди ко мне!

И, вскочив на колени к нему, обвивает его шею руками и прижимается щекой к щеке.

— Тебе хорошо со мной, радость моя?

Передохнув от счастья:

— Так хорошо, так хорошо! Ля Иллях... Нет никого кроме тебя, тебя!

— И не будет?

— Нет, нет, никогда! А у тебя?

— Это я уже говорил тебе. «А в повторении нет пользы»,— как говорила Шахеразада.

— Есть, есть, есть.

Муэзин был противный мальчишка. Красавчик. Совершенно девичье лицо.

У старика татарина глубокие глазницы, как у старой лошади. Невысок, кривоног, крепок, широкозад.

Куртка из грубой шерсти. Мотня шаровар, очень узких внизу — на голенях и щиколотках. Шерстяные чулки, бабуши из цельной кожи.

Кумган — татарский глиняный кувшин, высокий, с узким горлом. Даже в самые жаркие дни вода в нем всегда холодная.

Неподвижная горячая жара, ослепительно белая глубокая пыль дороги, скрипучая мажара.

Жаркая, радостная, в горах молчаливая осень...

— А потом, друг мой, будет Москва, холодный дождь и крупа — сечет по верху пролетки, по прижатым ушам, по седелке бокастого с обтрепанным хвостом извозчичьего мерина-барабана.

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1959 г. в Нью-Йорке. Печатается по тексту этой публикации — с исправлением опечаток.

Наброски неосуществленного рассказа.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОИХ РАССКАЗОВ

«Гоца я задумал писать в Индийском океане по пути на Цейлон, но написал только начало. Как странно!» — сказал Ян задумчиво.

22 июля 1953 года [1]

«Братья». После путешествия на Цейлон хотелось написать. У нашего тамошнего консула была, слышал там, молоденькая любовница сингалезка. Всю историю рикши выдумал, вспоминая это.

«Соотечественник». Написал, опять вспоминая Цейлон и некоторые черты тамошнего русского консула.

1916

«*Метеор*». Не спал ночь (с 27 на 28 декабря 1920 г., в Париже), лежал в постели, уже выздоровев после долгой болезни, но все еще лежа, вспомнил Рождество в России, вспомнил почему-то Орел, рощу невдалеке от него... Все остальное выдумал.

⟨1.⟩ «*Кавказ*». Написа лэтот рассказ, вспомнив, как однажды — лет сорок тому назад — уезжал из Москвы по Брянской дороге с женой одного офицера, с которой был в связи и которую он провожал на Брянском вокзале в Киев, к ее родителям, не зная, что я уже сижу в поезде, еду с ней до Тихоновой пустыни. Это была очаровательная, веселая, молоденькая, хорошенькая женщина с ямочками на щеках при улыбке, решительно ничем не похожая на ту, что написана в «Кавказе», сплошь, кроме воспоминания о вокзале, выдуманном; на Кавказском побережье я тоже никогда не был,— был только в Новороссийске и в Батуме, видел прочее побережье только с парохода.

⟨2².⟩ «*Кавказ*». У меня много лет тому назад была тайная связь с одной молодой женщиной, женой офицера, чрезвычайно ревнивого. Она однажды поехала на юг, к своим родным, и я провожал ее до половины ее пути точно так, как это рассказано в «Кавказе». Женщина эта была на редкость очаровательна, ей было всего двадцать два, двадцать три года, она была небольшая ростом и такая живая, милая, легкая характером, что я другой такой не встречал; в полную противоположность той, что в моем рассказе. Отсюда и все прочее, что выдумано в нем, чем он кончается. А муж ее вполне мог застрелиться именно так, как в рассказе, если бы узнал про ее измену.

«*Визитные карточки*». В июне 1914 г. мы с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля. И вот в первый же вечер, после ужина, когда брат гулял по палубе, а я сидел под окном нашей каюты, ко мне подошла какая-то милая, смущенная и невзрачная, небольшая, худенькая, еще довольно молодая, но увядшая женщина и сказала, что она узнала по портретам кто я, что она «так счастлива» видеть меня. Я попросил ее присесть, стал расспрашивать, кто она, откуда — не помню, что она отвечала,— что-то очень незначительное, уездное — стал невольно и, конечно, без всякой цели любезничать с ней, но тут подошел брат, молча и неприязненно посмотрел на нас, она смутилась еще больше, торопливо попрощалась со мной и ушла, а брат сказал мне: «Слышал, как ты распускал перья перед ней,— противно!»

Все это я почему-то вспомнил однажды четыре года тому назад осенью и тотчас...

«*Второй кофейник*». Сплошь выдумано. Не раз думал написать нечто вроде «Записок художника», в воображении мелькало то то, то другое, отрывочно. Мелькнуло как-то то, из чего выдумался «Кофейник».

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 14, л. 1—25. Записи к 17 рассказам — автографы, черновые и беловые, и машинопись (частично с авторской правкой). Прислано В. Н. Буниной с сопроводительной запиской: «Я посылаю большинство в подлиннике, но несколько напечатаны на машинке под диктовку Ивана Алексеевича, когда ему уже было трудно писать. Переписала и то, что написано было уже больной рукой». В 1958—1959 гг. В. Н. Бунина опубликовала эти записи в Нью-Йорке — с включением заметки «Братья», которой нет в ЦГАЛИ. Часть записей напечатана неточно или в других редакциях.

11 записей были опубликованы П. Л. Вячеславовым в газете «Литература и жизнь» (1960, № 92, 5 августа) и по этой публикации (без обращения к архивному первоисточнику) воспроизведены в Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 368—373. Судьба архива

П. Л. Вячеславова после его смерти остается неизвестной. Но можно думать, что он располагал копией с автографа, которая могла быть прислана ему В. Н. Буниной — он переписывался с ней и получал от нее различные бунинские материалы. Копия была по-видимому, неполной. Кроме того, сличение текстов, напечатанных Вячеславовым, с подлинными текстами, находящимися ныне в ЦГАЛИ, обнаруживает ряд мелких и более значительных неточностей в его публикации. Мы приводим далее наиболее существенные из этих неточностей.

Запись «Господин из Сан-Франциско» точно воспроизводит текст авторизованной машинописи (л. 3), но к нему произвольно добавлены строки (т. 9, стр. 369, строки 1—7 сверху) из чернового автографа той же записи (л. 2—2 об.).

В записи, начинающейся словами: «С. Васильевское, 23 июля 1916 года» (т. 9, стр. 370) в публикации опущено 16 строк (две строфы) стихотворения «Игроки» — из них воспроизведена только первая строчка.

Начало записи «Про обезьяну» (позднейшее заглавие рассказа: «Молодость и старость») читается в автографе так: «Слышал рассказ о сотворении человека от проводника в Константинополе в 1903 году» (л. 12). В публикации ошибочно напечатано: «в 1913 году».

Листок с записью «Темные аллеи» начинается тремя заголовками: «Происхождение моих рассказов», «Сборник „Темные аллеи“», «Рассказ „Темные аллеи“» (л. 14). Очевидно, это было первое обращение к заметкам комментируемого цикла.

В заметку «Баллада» (л. 15—16 об.) Бунин не вписал год создания рассказа. В публикации этот пропуск обозначен многоточием (т. 9, стр. 372, строка 2 сверху). Между тем, год может быть легко восстановлен по дате первой публикации рассказа в «Последних новостях». В дальнейшем это место следует печатать так: «Как-то в начале февраля ⟨1938⟩ года, в Париже...»

Печатный текст записи «Муза» соответствует (с мелкими неточностями) беловому автографу (л. 21). Но к нему присоединен неполный текст чернового автографа (т. 9, стр. 372, последние 11 строк). Отметим попутно, что в опущенных частях черновика есть еще строки, существенные для истории работы Бунина над этим рассказом: «Не думал[не знал], чем, как кончить [эту] это неожиданное, страшное и блаженное событие в полудетской жизни милой, жалкой девочки, столь чудесно и тоже совсем неожиданно выдуманной, но чувствовал, что надо непременно кончить как-то хорошо [ловко, трогательно], пронзительно,— и вдруг, не думая посчастливилось кончить именно так» (л. 19 об.).

Запись «Степа» имеется в трех редакциях: машинопись с авторской правкой (л. 17), черновой автограф (л. 16 об.) и карандашный черновой набросок (л. 18—18 об.). Публикация Вячеславова представляет собой произвольное объединение всех трех редакций: первые 12 строк (т. 9, стр. 373) точно воспроизводят текст машинописи; следующий абзац (строки 13—18) взят из черновика; последние строки (19—22) — из карандашного наброска, причем из того места, где речь идет не о рассказе «Степа», а о происхождении «большинства» рассказов Бунина. На этом примере особенно наглядно обнаруживается неправомерность использования контаминированного текста в публикации П. Л. Вячеславова, некритически повторенной в Собр. соч. 1965—1967.

В настоящую публикацию включено семь записей, не вошедших в Собр. соч. 1965—1967. Шесть из них печатаются по подлинникам ЦГАЛИ, одна— «Братья»— по тексту публикации В. Н. Буниной.

[1] В публикации В. Н. Буниной другое окончание записи. После первой фразы следует: «Озаглавил этот рассказ „Песня о Гоце“. Написан он в марте 1916 года в Васильевском».

[2] Это другая редакция записи «Кавказ», которая была напечатана В. Н. Буниной.

К ВОСПОМИНАНИЯМ О ТОЛСТОМ

Публикация Н. П. Смирнова

Автор воспоминаний, о которых пишет Бунин,— литератор Н. А. Цуриков (1886 — ?),— в юности встречался с Толстым. Его отец — юрист А. А. Цуриков, член Тульского окружного суда и Московской судебной палаты, приятель одного из сыновей Толстого, был в 1898 г. приглашен в Ясную Поляну, чтобы «проверить, насколько верно описан суд над Катюшей Масловой и поправить, что неверно» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1955, стр. 251). 12 июня того же года Толстой впервые посетил дом Цуриковых в Москве (Полн. собр. соч., т. 53, стр. 196—197). «Я видел Толстого преимущественно в детстве,— пишет Цуриков в своих воспоминаниях,— и только один раз взрослым, будучи студентом, в мае 1909 года. Я был в Ясной Поляне не гостем (я занимался с одним из внуков Льва Николаевича)». О Цурикове, «учителе маленького Сережи», упоминает в своих записках А. Б. Гольденвейзер («Вблизи Толстого». М., 1922, т. I, стр. 265).

Воспоминания Цурикова «Встречи с Толстым» были напечатаны в газете «Возрождение» в 1926 г.; затем перепечатаны в альманахе «Мосты» (Мюнхен, 1969, № 4, стр. 435—460).

Заметка Бунина о мемуарах Цурикова представляет большой интерес и своими меткими замечаниями о языке Центрально-черноземной полосы, и как свидетельство того исключительно обостренного внимания, с которым Бунин относился к каждому слову о Толстом.

Прочел «Встречи с Толстым» Н. А. Цурикова, напечатанные в «Возрождении». Очень ценные и хорошие статьи.

Цуриков прав, что воспоминаниям о Толстом уже конца-краю нет. Но много ли и до сих пор среди этих воспоминаний таких, где бы Толстой чувствовался по-настоящему? В воспоминаниях же Цурикова он чувствуется необыкновенно живо.

Большинство писавших о Толстом принадлежали к среде совсем другой, чем Толстой, говорит Цуриков. И мне хочется прибавить: вот в этом-то и вся беда. Другое дело — Цуриковы. И так бы хотелось, чтобы «Встречи с Толстым» не затерялись среди прочих произведений этого рода.

Цуриковым же следует и поправлять некоторые чужие воспоминания и статьи о Толстом. Вот, например, недавно напечатанная в «Руле» статья г. Бродского о языке Толстого, основанная на воспоминаниях Гольденвейзера,— о языке Толстого не литературном, а житейском. Бродский верно замечает, что «в жизни великих художников мелочи их быта, незначительные на первый взгляд привычки, одежда, манера себя держать, внешний облик и язык — не литературный, а житейский — зачастую дают то, чего не заменят целые тома биографий»,— и приводит затем из книг Гольденвейзера «некоторые особенности толстовского языка» [1]. Были ли, однако, эти особенности лично толстовскими? Спросите Н. А. Цурикова — он ответит, что конечно, нет, нисколько.

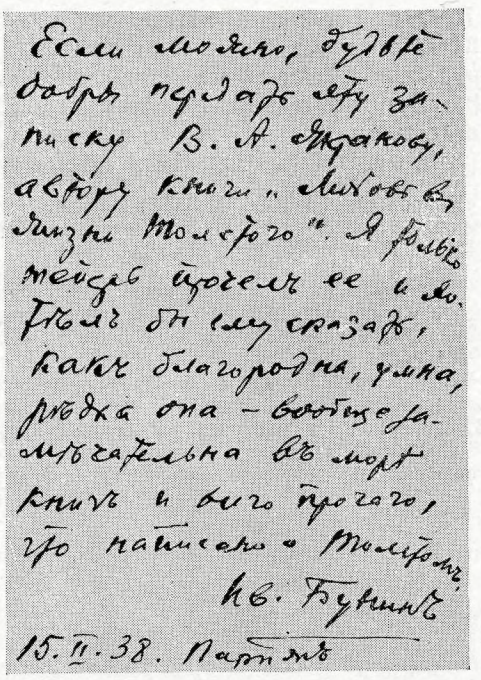
Это же скажу и я, тоже земляк Толстого, принадлежащий к тому же быту, что и Толстой. Нет, это не толстовские, это наши общие особенности: особенности языка той сравнительно небольшой местности, самые дальние окружные точки которой суть Курск, Орел, Тула, Рязань и Воронеж. И разве не тем же языком пользовались чуть ли не все крупней-

ОТЗЫВ БУНИНА О КНИГЕ В. А. ЖДАНОВА «ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ ЛЬВА ТОЛСТОГО» (М., 1928)

Автограф, 15 февраля 1938 г.

Открытка, адресованная в изд-во «Московское товарищество писателей»

Собрание В. А. Жданова, Москва



Если можно, будьте добры передать эту записку В. А. Жданову, автору книги „Любовь в жизни Толстого". Я только теперь прочелъ ее и хотѣлъ бы ему сказать, какъ благородна, умна, рѣдка она — вообще замѣчательна въ морѣ книгъ и всего прочаго, что написано о Толстомъ.

Ив. Бунинъ

15.II.38. Парижъ

шие русские писатели? По тому что чуть не все они — наши. Мы недавно говорили об этом с Цуриковым, и он в своих «Встречах с Толстым» уже написал это: замечательная местность, много славных земляков у нас с ним! Жуковский и Толстой — тульские, Тютчев, Лесков, Тургенев, Фет, братья Киреевские, братья Жемчужниковы — орловские, Анна Бунина и Полонский — рязанские, Кольцов, Никитин, Гаршин, Писарев — воронежские... Даже и Пушкин с Лермонтовым отчасти наши, ибо их родичи, Воейковы и Арсеньевы, тоже из наших мест, из наших квасов, как говорят у нас.

Повторяю, из всего множества примеров, которые приводит Гольденвейзер в доказательство особенностей толстовского языка, я не нашел ни одного, который убедил бы меня в этих особенностях.

— «Толстой слегка пришепетывал: например, слово *лучше* произносил как *лутче*...»

Пришепетывание тут совсем не при чем. Я никогда не пришепетывал, а всегда говорил «лутче», ибо у нас *все* так говорили — и в семье, и на дворе, и в деревне, где пели:

Лутче жити без заботы,
Чем богатому ходить!

— «Толстой букву *г* в большинстве случаев произносил как легкое французское аш...»

Но я, в силу вышеуказанной причины, даже и после шестилетней жизни во Франции, говорю: господи почти как хосподи.

— «Толстой употреблял такие выражения, как *намедни*, *давеча*, *эдакой* вместо этакий, *свита* вместо армяк; Толстой говорил *скрыпка* вместо скрипка, *скородить* вместо боронить [2], делал ударение на втором слоге с конца в слове *досмерти*...»

И опять я только усмехаюсь: но *мы все и всегда* так говорили!

Кстати, вообще о языке этой нашей местности. Конечно, не мешает помнить столь затрепанное замечание Пушкина о языке московских просвирен. А не лучше ли все-таки был наш язык? Ведь к нам слали из Москвы (для защиты от набегов татар) служилых людей со всех концов России. Не естественно ли что тут-то и должен был образоваться необыкновенно богатый, богатейший язык? Он, по-моему, и образовался [3].

«Возрождение», 1926, № 383, 20 июня. Подпись: Бунин. Отрывки из этой заметки приведены в статье: А. К. Бабореко. Бунин о Толстом.—«Яснополянский сборник. Год 1960». Тула, 1960, стр. 145—146.

[1] В приложении к своим записям о Толстом А. Б. Гольденвейзер приводит «особенности устной речи Льва Николаевича». Ниже Бунин останавливается на этих «особенностях» (см.: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1922, т. II, стр. 371—372).

[2] Ср. заметки Бунина о словах «скородить», «свита» и другие замечания по поводу языка средней полосы России, сделанные им при выписках из «Песен, собранных П. В. Киреевским» (настоящ. кн., стр. 402 и 410).

[3] Ср. характеристику языка средней полосы России в «Автобиографической заметке» Бунина (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 256).

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАПИСИ

Публикация А. К. Бабореко

Предисловие и примечания Э. В. Померанцевой

Публикуемые ниже материалы содержат как фольклорные записи самого Бунина, так и выписки, сделанные им из сборников П. В. Киреевского, Е. В. Барсова, П. Н. Рыбникова и др.

«Псальма про сироту» записана в 1896 г., во время третьей поездки Бунина по Днепру (см. о ней настоящ. кн., стр. 65), в пору, когда он «усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 261), живо интересовался культурой и бытом украинского народа. Обстоятельства, при которых сделана эта запись, впоследствии были положены в основу рассказа «Лирник Родион» (1913). Сама же запись имеет самостоятельную ценность — бунинский вариант этой широко известной «псальмы» не вошел ни в один из сборников украинского фольклора.

Выписки из книги «Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия», в. I (М.,1911) не датированы. Очевидно, сделаны они в 1911—1913 гг., когда Бунин, в связи с работой над циклом рассказов о крестьянстве, особенно внимательно прислушивался к народной речи: «...меня интересует воспроизведение подлинной народной речи, народного языка»,—говорил он в 1911 г. («Новый мир», 1965, № 10, стр. 225). Только что опубликованные тогда новые тексты из знаменитого собрания Киреевского несомненно должны были его заинтересовать.

Бунин сделал около 150 выписок из этого сборника, подчеркивая в них слова и выражения, показавшиеся ему особенно примечательными. Чтение сборника вызывало у него ассоциации с собственными наблюдениями — рядом с выписками из Киреевского появляются его замечания и отрывки из песен, слышанных им самим. Внимание Бунина привлекает бытование отдельных слов и выражений в различных местностях России — он внимательно воспроизводит указания Киреевского на место, где были записаны заинтересовавшие его песни, обращает внимание на бытование одних и тех же слов в разных губерниях.

Видимо, выписки из сборника Киреевского Бунин рассматривал как рабочий материал — многие из них в той или иной форме вошли в его произведения 1911—1912 гг., например, в «Деревню», в стихотворения «Белый олень», «Два голоса», рассказ «При дороге» и др. (см. выписки № 3, 6, 22, 76, 94, 138, 139). Последнее обстоятельство служит дополнительной аргументацией нашей датировки этих выписок.

Очевидно, к 1912—1913 гг. относятся и выписки из сборника Е. В. Барсова «Памятники народного творчества Олонецкой губернии» (СПб., 1873). Здесь Бунина заинтересовали особенности языка русских былин. Он делает выписки из былин «Илья Муромец» и «Святогор-богатырь». На сюжет последней былины написаны стихотворения «Святогор» (1913) и «Святогор и Илья» (1916), причем Бунин включает в текст стихов ряд выражений, выписанных им из книги Барсова (см. № 2—8, 12—14, 20).

Несколько выписок сделаны из разных сборников, главным образом из «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым» (второе изд., т. I—III. М., 1909—1910). Место их в записях Бунина позволяет датировать их 1911—1913 гг.

При публикации выписок из книг сохраняются некоторые особенности бунинского написания, не всегда совпадающего с написанием источников. Слова, подчеркнутые Буниным в выписках, выделяются курсивом. Замечания Бунина и записанные им фольклорные тексты выделяются разрядкой. Для удобства пользования публикацией все выписки пронумерованы, соответственно этому дана нумерация и примечаний.

ПСАЛЬМА ПРО СИРОТУ

Зашумелы лугы щей быстріи рекы:
Померла матинка, зосталися диты.
Що сырота робыть — работа ни защо,
А люде говорять — сырота ледащо.
Що сырота робыть — работа не мыла,
И мачуха судыть — сырота линыва.
Отец жону знайде, буде в пари жыты,
Нещасни сыритки та пидуть служыты...
Ой, пишла сыритка темными лугами,
Вмывается сыритка дрибными слызами.
Не могла сыритка мачуси вгодыты,
Ой, пишла сыритка по свиту блукаты,
По свиту блукаты, матынкы шукаты.
Тай зустрел іи господь, став іи пытаты,
— Куды йдешь, сыритко?— Матери шукаты.
— Ой, не йды, сыритко, бо далеко зайдешь,
Вжеж своей матынки ты по вик не знайдешь.
Бо твоя матынка на высокой гори
Тихо спочивае у смертному гроби.
Ой, пишла сыритка на той гроб плакаты,
Чи не обизвется з гробу ридна маты.
Обизвался янгол як родная маты.
Та й стал іи стиха, словесно пытаты:
— Ой, хто гирко плаче на моему гроби?
— Ох, уж я, маты, прыймы й мене к соби.
— Насыпано земли, що вже я не встану,
Склепалыся очи, вже й на свит не гляну.
Ох, як тяжко-важко каминня глодаты,
Ох, щей тяжче-важче тебе к соби взяты.
Нема ж тут, сыритко, ни исты, ни питы,
Тилькы велив господь в сырій земли гниты.
Пишла б ты, сыритко, мачухы б просила,
Може б змылувалась, сорочку пошила.
— Я ж іи просыла, я ж іи годыла,
А злая мачуха сорочкы не шыла.
— Пишла б ты, сыритко, мачухы б просыла,
Мачуха б ⟨тоби⟩ голову измыла.
— Я ж іи просыла, я ж іи годыла,
А злая мачуха голову побыла.
Посылае господь-бог янголов од себе:
Возьмите сыритку до ясного неба.
Посадите сыритку у свитлому раи,
У господа-бога у чести та в слави.
Посылае господь-бог злых пекельных до пекла
По злую мачуху и по іи душу.
Злитайтесь, пекельни, из ливого боку.
А тягните мачуху зализным гаком,
Поднимайте мачуху у гору высоко,
Закыньте мачуху у пекло глубоко.
А плавай, мачуха, щей маешь плаваты,
Не вмила, мачуха, сырит доглядаты.
Нещасна сыритко в неби со святыми,
Проклята мачуха в пекли с проклятыми.

ЛИРНИК

Офорт Л. М. Жемчужникова из альбома «Живописная Украина», 1861—1862 гг.

Литературный музей, Москва

Ох, слухайте ж, люди, кто сыроты мае,
Нехай доглядае й на путь наставляе!

Киевская губ., Васильковский у., Рокитянского стану, с. Ромашек. Родион Кучеренко. Записано на Днепре 1896 г.

Печатается по копии, сделанной А. К. Бабореко с автографа, хранившегося в собрании К. П. Пушешниковой (ныне автограф утерян).

ИЗ «ПЕСЕН, СОБРАННЫХ П. В. КИРЕЕВСКИМ»

1. = Мелкотравчаты!
= Посередь
= «Изнаставлены явства все сахарные».
= Сокола́ (со́кола)
= «За походушку частую,
За поклоны низкие,
За погляды веселые».
= Бояра
= Сертук
= Море Верейское — Варяжское, Балтийское.
= В каменно́й Москве

2. Замуздать — взнуздать.
Игрица — песенница на свадьбе (Рязанск.)
Кичка — бабий головной убор.
Копыл

Ко́том — катить (Тульск.).
Кралечка — красавица (Ряз.).
Кросна — холст (Арх.).
Омшаник
Повойник — головной бабий убор.
По́ходя
Скородить — боронить.
Прозумент
Разстань — перекресток.
Смурый — серый (Тульск.).
Стебать — Орл. и Калужск.

См. стр. 305

3. = Свадебный олень — золотые рога говорит жениху:

В некое время сгожусь я тебе:
Станешь жениться, на свадьбу приду,
Стану, олень, середи я двора,
Золотыми рогами весь двор освещу,
Всех твоих гостей развеселю,
Больше ⟨я⟩ всех Степаниду твою.

4. = *Уроки* — заклинания от порчи, произносит дружка в бане, чтобы оберечь жениха:

«Аж ты ведьма, аж ты веретевница, аж ты заключевница! Тогда ж ты мою свадьбу возьмешь, когда в Русалим-град сходишь и господню гробницу откроешь, самого господа в глаза ввидишь, и тебе в Русалиме-граде не бывать и господней гробницы не вскрывать и господа не видать, и потому дзелу у вас не бывать. И лежиць на мыре, на кіане, на острове на Буяне бел латырь камень, и на том камне когда вы побудзите, и тогда вы мою свадьбу возьмице». Женщина, повторяя слова дружки, взлезает на печку и открывает слуховое окно, чтобы не допустить колдунов обернуть свадебного поезда в волков. Старуха мать, обращаясь к богу: «Ты святой боже Лука, солучи мое дитя». Еще зовут Кузьму: «Святой Кузьма, *подь* на свадьбу, скуй нам свадьбу крепку, тверду, долговестну, вековетну». Все это в Псковск. губ.

5. = Последняя ночь, проводимая невестой в родной семье, мысли о разлуке, переходе в «чужедальную сторонушку», которая «горем насеяна, слезами поливана, тоской покрывана и печалью горожена».

Из песен Орловск. губ.

Мценск. у.

6. Луга мои, зеленые луга!
В тех ли лугах все ковыль да трава;
В той ковыле белый олень золотые рога.
Мимо ехал добрый молодец,
Стегнул оленя плеточкою:
«Не стегай, не стегай, добрый молодец,
В некое время будешь жениться,
На свадьбу приду,
Всех твоих гостей развеселю,
А особливо невесту твою,
Чтоб она сидела, не плакала,
Не мочила своего бела лица еще румяного».

7. Величальная

«...Вот и, Анна, отворяй ворота,
Ивановна, успущай добра́ коня».
— Ни творяю я ворота,
Ни *примаю* тваво ворона коня,
За великую за грубу за твою,
Што не ходишь на *постелю* на мою.

8. Во светлой было светлице,
Во сталовой новой горнице,
Под косачетым акошечком
Сидела красная девушка.

9. Ана так плачит, как ряка льётца...

10. Ты *устань*, проснись,
Ты устань, пробудись...

11. Заря ли, моя зорюшка,
Вечерняя солнушка!
Далеко васхадила,
Высако светила:
Через лес, через поле
Через сине ⟨через⟩ море...

12. ...— Сергеич у нас пьян пьянёшуник,
Михалыч на ногах не стоит,
Шатаитца, валяитца
У Домны в ногах:
«Ты, Домна, разуй,
Спиридоновна, разуй!»...

13. В садику виноградику
Сакатилися два яблочка в саду,
Два садовые мядовые.
А как первая яблока...

Ив. Бунин

14. Пригорюнилси

15. Пускай мине люди любют, а я в свете никаво,
Я в свете никаво, однаво дружка сваво.

16. Каравать моя караватушка
Каравать моя новотесаная...

17. В головах-то стаять папы-диаконы,
В ногах-то стаять черти-дьяволы.

18. — Кору колупала...

19. — Прими, прими, свекровушка,
Не гребуй ты мною...

20. Величальная (г. Орел)

На горе калина,
Да варил чернец пиво —
Ой розан, мой розан,
Виноград мой зеленый!

21. Николай у нас *у́мен*...
Да Митрич разумен...
NB Он хорошо ходит,
Да манерно ступает....
Сапог не ломает,
Чулок не марает...
На коня садится,
Под ним конь веселится...

22. Из песни *сироты* при отпуске к венцу

На девичьем было вечере,
На великой было радости...

Кончается:

Ты поди в собор-церковь,
Позвони во большой колокол,
Пробуди ж ты *рóдного* батюшку
И *рóдную* матушку...

23. Вейся, вейся, хмелюшко,
Через тын на улицу,
Ко мне во зеленый сад...

(записано от мещан)

Малоархангельск. уезд

24. = Уставай (вставай)
= Скидавай (скидай)
= Пенетный (пеньковый)
= Твела (цвела)
= Вороча́ить (вернуть)

25. Сахаром в душу котится

26. = Румёный
= Надомно

27. Я думал кукушечка
За лесóм,
Ажно ль это Натальюшка
За столом.

28. П'одном колосочку

29. Пашенишный

30. На ногах не с'устоял
(Мое)

31. С'устрел (встретил)

Малоархангельский

32. Хороводная величальная

У ворот травушка растет,
У ворот шелковая.
Ой, ло, ло, у ворот шелкóвая,
Да кто ж травушку топтал,
Кто шелковую ломал и т. д.

33. К венцу

Што река ль ты, моя речинька
Што река ль ты, моя быстрая!
Ты што течешь — не колыхнешься,
Желтым песочком* не возмутишься?
Ты умная ль девушка,
Палагея Кондратьевна!
Што сидишь — не усмихнешься,
Говоришь речь — не ошибнешься и т. д.

34. ....востру саблю
Вымаить...

35. Шурья-братья сустренуть...

36. Да на пролуби, да на пролуби
Два голубка.

37. Рябая перепелушка

38. У Павла Сергеича
Камчатная горенка,
Кипарисные лавочки,
Да печки травчатые,
Загнеточки муравчатые,
Середка ** из литого серебра...

39. ...Черными сурмилами брови сурмила

40. ...Колыбель повешена,
Колыбель досчатая,
Хорошо снаряжена:
Подцепки шелковые,
Подплутки бумажные,
Лучок медненький,
Крючок серебренький

41. ...Он ходе, гуляе,
Во скрыпку играе...

42. №
...К *лютому* свекру
К *лютой* свекрови
К *лютым* деверьям
К *лютым* невесткам

Хороша доброта русская!
И ведь это всюду: лют, лют...

43. Цвела, цвела вишенья
Алыми тветами...***

44. Уж ты сваха злодей,
Горазда обманывать —
В чужу сторону сманивать!..

---

* *У Киреевского*: песком (*Ред.*).
** *У Киреевского*: середа (*Ред.*).
*** *У Киреевского*: цветами (*Ред.*).

45. Стебает плеткой

46. Нигде себе такой *галки* не сыскал

47. Вдарили Насташьюшке
Золоты ключьи об стол

48. Там сваха ишла...

49. Не радошно (мое)

50. — Я рада бы отперла.
Буен ветер косу рвет,
Ясно солнце лицо жжет,

51. Два голубя на шкапе,
Два сизых на шкапе,
И пьют, и льют, и тарелки бьют.
В цимбалы играют...

52. Узяла платок,
Повела тонок,
Тонок вывела,
Платок кинула.

53. Они хочут (хотят)

Тульск. губ. Белевский у.

54. [При вечере, вечере,
При ясной лучине]*

55. У Микит*е* за столом

56. Устань (встань)

57. Другую деушку
За дитей ходить.

58. Ты, Настасьюшка, разуй,
Семеновна, раздень.

59. Зауть (зовут)

60. Он богат-то, богат,
Он со гривны на гривну ступал,
Полтиною по городу шибал,
Рублем ворота запирал...

61. — Об дородном молод*цу*

62. Стоялый конь

63. Растеть трава мята,
Ах, вся поломата

64. ...По утру раненько,
Вечером поздненько,
По зимнему путечку,
По белому снежочку.

---

* *Зачеркнуто Буниным (Ред.).*

БУНИН
Фотография, 1911
На обороте помета Бунина: «1911 г.»
Парижский архив Бунина

65. Кто *у коро*воде
Хорош, пригож ходит?..

66. Соло́вья — с о л о в ь и х а.

67. Давно полюбилась своею ухваткою,
Головкою гладкою,
Походкою тихою

68. Ты на что холсты режешь,
Ты на что дары кроишь?

69. К а р а с т е л к у н а т а р е л к у,
П е р е п е л к у н а б л ю д е ч к о. (М о е)

70. Подавают (п о д а ю т)

71. Ко суду божью ехать,
Золот венец принять!

Калужск. губ.

72. На тое сторону...

73. Припань (припади)

Рязанск.

74. У в'ызбе (в избе)

75. Ю (у) подола раструбистай.

76. Ночь темна да ни месяшна,
Лесы темны — караула нет,
Реки быстры — перевозу нет.

77. Ювезли, юзяли (увезли)

78. Супроти́ — против

79. Корагод (хоровод)

80. Под сыном пад твоим винаходный конь.

81. Сибе, тибе (как и в других губерниях)

82. Звонк*ая* дерива *купарисова*,
Нету яво званчея да во всем бору;
Умная дитятка да Денис у нас,
Нету яво юмнея да во всем роду...

83. Ни сама ж матушка
Волга речинька затветала:
Затветала Волга речька
Теми цветами —
Легкими суднами...
Станем, братцы,
Против Строгонова...

84. Не рове́н жених подкажется,
Либо старой удушливой,
Либо молодой недужливой,
Либо вор, либо пьяница-дурак,
Не отпустит на улицу гулять.

85. «Кроит хлеб кусками»

(Сам П. Киреевский)

86. Ко божьему суду ехать
И злат венец принять...

Пермск. губ.

87. Он хозяин во дому, как Адам в раю...

88. Что по край моря синяго
Тут стояла верба золотая...

89. Что моя-то мила дочка не учена,
№ *Ломанья*, величанья она не знает,
Разувать да обувать не умеет...

90. У Григорьевича кудры желтыя...

91. Не надо забывать, что вся книга Киреевского — № песни величальные, свадебные, относящиеся к замужеству и т. п. Небольшое число хороводных.

Язык, образы, сравнения во всех губерниях приблизительно *одинаковы. Очень* много песен поется № и в Арх., и в Воронежск., и в Саратовск., и в Тульской *одних и тех же.*

92. После *этой* плачи...

(Сам Киреевский)

93. От *чеботов*— от сафьянных...

(Это в Пермской-то губ.!)

94. Вы не пойте-ка да рано, петухи,
Вы же, петухи, да троеперые

95. В Олонецкой губ. едят *драчену.* После свадьбы еще раз дома обводят молодых вокруг стола.

96. Во всех губ. во многих песнях упоминается сахар, сахарное деревцо.

97. В Олонецкой губ., когда привезут молодую, в толпе кричат:

«Хороша, да молода!
Под подолом борода!»

98. Зяленая роща
Всю ночь прошумела,
А я молодешенька
Всю ночку не спала,
Мила друга ждала.

Мое.

99. Ай ду-ду, ду-ду,
Сидит ворон на дубу,
Труба точеная,
Позолоченая.

Мое.

Воронежск. губ.

100. Склизкий

101. Спалать (исполать)

102. Рядом пойдем (по ряду)

103. Дочерю (дочь — вин. п.)

104. Вся улица сияет

105. Уди́лы (удила)

106. Перейми мово коня

107. Почала (начала)

Симб. губ.

108. Вышла в сени *простудитца*.

109. Полатушки горновитые

110. Сусло

111. Чекмень — по-орловски свита.
Бредень — невод.

Новгородск. губ.

112. Скидавай (скидай)

113. Поло́жила

114. Я пройду потихошеньку,
Я по новыя горнице,
По столовыя све́тлице

115. Поведут Федосью душу ко суду божью,
Ко суду божью, ко злату венцу.
Страшно стоять (2) у суда божья!
У суда божья голова болит,
Под златым венцом ноги ломятся.

116. Светики — цветики.

117. *Ц* трудно должно быть мужикам. Не Цвиленев а Синелев, Твиленев.

118. Подь (поди)

Псковск. губ.

119. Куль? — куда.

120. Мене — меня.

121. Не пропили ль дитятко
Что на пиво пьяное,
На вино зеленое?

Какой древний пережиток — этот пропой! И. Б.

122. =йтить — идти.

123. = Ена тонко, жалко плакала,
Гуль пускала по темным лесам.

124. = Через бор по каменью
Серебря́н руцей течет.

125. =Слово «монисты» употребляется

126. Уснул, уснул, мой любезный
У девицы на руке,
На кисейном рукаве.

Мое.

127. = Шитою *ширинкою* махает.

128. А худую худярьбу
Кругом ее обойду,
Поцелую однова,
И то, шельме, честь хвала.

Мое.

129. = Величают попа:
...Мы хотим с тебя даров,
Даров великиих,—
Две гривны золотом.

Поп отвечает: «Нате, суки, возьмите в руки, не корите попа».

130. Хмель —
Опустился, огрузился
На мать сыру-землю.

Мое.

131. Опять.
Он с гривны на гривну ступает...

132. = А князево пиво облива
На собаку льешь, *облезет*.

133. = Он тебе чуж чуженек,
У него поросячий душок —
Ты, невеста, перед кем стоишь?

Разных губ.

134. = Шитый, браный положок.

135. = Одну ночку ночевати
И тоё всее не спати.

Оренбургск.

136. = Не весела, не радошна...

137. = За морем синичка не пышно жила.

138. = «Матушка, с гор меды́ текут,
Сударыня моя, меды сладкие!»
— Дитятко, черпай меды,
Милая моя, черпай сладкие!
«Матушка, мне не до́ меду,
Сударыня моя, не до сладкого!
Звонят колоколы церковные,
Идут попы и дьяконы;
Идут попы во божью церковь,
Дьяконы несут златы венцы!»

139. Жарко каменю самоцветному,
Ле́жучи на крутой горе проти́в солнушка;
Тошно Офросиньюшке,
Сидючи у батюшки в последний раз.
Жарко в тереме свеча горит,
Жарчее того воску ярого.
В тереме Офросинья душа слезно плакала,
В высоком Еремеевна слезно плакала!

(Обе песни я списал полностью. Взяты они Киреевским из «Старинного песенника».)

Из «Колыбельных»

Доставлены Киреевскому В. Пассеком со статьей его в «Москвитянине».

140. В статье между прочим: «Любо мне было, как птице божьей, перелетать из страны в страну, искать весны и жизни... с развалин славы прошедшего смотреть на движение настоящего и в живом быте народа причувствоваться к биению отдаленных событий и верований человечества».

141. Люля точеная,
Позолоченая,
Кольца, пробойца
Серебряные
У мово ли у дитя
И постелюшка мягка,
Одеялечко тепло
Соболиное...

142. Замечательно — он приводит финскую песню и в ней:

Ходит сон по сенюшкам,
А дремота по крыльцу...

143. «В малорусских более движения, пестроты, внешней жизни...»

В. Пассек

144. Из «круговых», «игорных и плясовых» ничего не выписываю — не интересно. Все «калина да малина», да «лебедь или селезень плывет». Вот только:

Свинья ходит по бору, по бору,
Рвет траву лебеду, лебеду,
Что рвет, что рвет,
Во *беремячко* кладет...

145. Станови пироги.

146. = [Вечор наша перепелушка
Всее ноченьку прокликала,
Всее темную прокликала...]*

147. = Закатись ты, солнце красное,
Ты взойди, светел месяц!
Ты свети во всю ноченьку,
Ты свети во всю темную,
Во весь путь, во всю дороженьку.

Печатается по копии, снятой А. К. Бабореко с автографа, хранившегося в собрании К. П. Пушешниковой (ныне автограф утерян).

Из кн.: «Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия». Вып. I. М., 1911. Ниже, при ссылках на это издание, указываются только страницы или номера песен, из которых Бунин делал выписки.

1. Слова и выражения, выписанные из песен Архангельской, Пермской, Тверской, Московской и др. губерний,— № 46, 75, 78, 54 (см. также 73, 80, 85, 115, 152, 206 и др.), 807, 3 (см. также 224), 65, 217, 351. Последняя выписка не точна — у Киреевского: «Из каменнóй Москвы».

2. Выписка из «Словаря местных и малопонятных слов» — стр. 348—352. Преимущественно выписаны слова из языка Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской губерний, но есть и из Архангельской и Пермской. Пояснения к словам и пометы о месте их бытования, сделанные в «Словаре», Бунин приводит не везде. Слово «скородить» в «Словаре» отсутствует.

3. Из песни «Не разливайся, мой тихий Дунай!» — № 430 (Калужская губ., с. Долбино). Образ «свадебного оленя» использован в стихотворении «Белый олень» (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 348). Ср. запись 6.

---

* *Зачеркнуто Буниным (Ред.).*

4. Из описания свадебного обряда Псковской губ. (Торопецкий у.) — стр. 49—50. Бунин излагает пояснения собирателя. Обращение матери к богу в сборнике Киреевского отсутствует.

5. Изложение (с цитатами) песни Архангельской губ. (г. Мезень) — № 12.

6—12. Из песен Мценского у. Орловской губ.— № 518, 524, 525 (выписки 8 и 9), 526, 530, 531.

13. Вариант распространенной песни, записанный Буниным. В тексте Киреевского этот вариант отсутствует (ср. № 526, 794).

14—19. Из песен Мценского у. Орловской губ.— № 534, 538, 539 (выписки 16 и 17), 543 (выписки 18 и 19).

20—23. Из песен Орловской губ. (г. Орел) — № 547 (выписки 20 и 21), 548, 550. В заметках при двух последних выписках Бунин использует примечания собирателя. Вариант песни № 22 использован в «Деревне» (Собр. соч. 1965—1967, т. 3, стр. 129).

24. Слова, часть которых встречается в песнях Малоархангельского у. Орловской губ.— № 552 (1), 552 (2), 559.

25—29. Из песен Малоархангельского у. Орловской губ.— № 560, 563, 570 (Бунин исправляет неясность записи у Киреевского: «Яму ‹нрзб› кукушечка»), 576, 580.

30. Запись Бунина. В сборнике Киреевского этот текст отсутствует.

31. Слово, встречающееся в песнях Малоархангельского у. Орловской губ.— № 588.

32—45. Из песен Малоархангельского у. Орловской губ.— № 581, 585, 586, 588, 590, 597, 609, 611, 614, 615, 626, 627, 628, 637.

46—48. Из песен Малоархангельского у. Орловской губ.— № 634, 639, 641.

49. Диалектизм, записанный Буниным.

50—53. Из песен Малоархангельского у. Орловской губ. — № 645, 646, 652. Последняя выписка — из комментария собирателя: «когда хочут (sic!) вести спать» — № 668.

54—61. Из песен Белевского у. Тульской губ.— № 352, 357, 359, 369 (выписки 60 и 61).

62—64. Из песен Новосильского у. Тульской губ.— № 378, 381, 387.

65—68. Из песен Чернского у. Тульской губ.— № 392, 393, 394, 397.

69. Запись, сделанная Буниным. В собрании Киреевского этот текст отсутствует (ср.: «Мой каравай в печку перепелкой, / А из печки коростелкой» — № 398).

70—71. Из песен Чернского у. Тульской губ.— № 402, 403.

72. Из песни Жиздринского у. Калужской губ.— № 410.

73. Из песни Лихвинского у. Калужской губ.— № 424.

74—79. Из песен Раненбургского у. Рязанской губ.— № 438, 441, 442, 445, 447, 449. Песня № 76 частично использована в стихотворении «Два голоса» (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 341, 342).

80—83. Из песен Зарайского у. Рязанской губ.— № 453, 457 (а также 458), 467, 473.

84. Из песен Ряжского у. Рязанской губ.— № 476.

85—86. Из описания свадебного обряда Козловского у. Тамбовской губ.— № 483, 485. Бунин отмечает, что первая выписка взята не из песни, а из описания обряда, сделанного собирателем.

87—90. Из песен Пермской губ. (г. Чердынь) — № 74—77.

91. Последнее наблюдение позволило Бунину использовать в своих произведениях песни из разных губерний.

92—94. Из песен Пермской губ. (г. Чердынь) — № 102, 101, 103. Первая помета указывает, что выписка взята из описания свадебного обряда, сделанного собирателем. Второе замечание свидетельствует о внимании Бунина к диалектизмам: слово «чеботы» (сапоги), распространенное на юге и юго-западе России, сравнительно редко встречается в северо-восточных диалектах (см. В. И. Даль. Толковый словарь русского языка). «Троеперый петух» (см. № 94) упоминается в стихотворении «Два голоса» (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 341).

95. Детали обряда мещанской свадьбы в Олонецкой губ., описание которого дано у Киреевского (стр. 43 и 44, № 113).

96. В описании обряда деревенской свадьбы в Олонецкой губ. у Киреевского приведен «плач»: «...не горько зелено вино ‹...›, белым сахаром посыпано» (стр. 45). Упоминание о «сахаре» и «сахарном деревце» встречается также в песнях Архангельской, Пермской, Псковской, Тверской и др. губерний (№ 27, 84, 192, 196).

97. Деталь обряда деревенской свадьбы в Олонецкой губ.— стр. 45.

98. Запись Бунина — вариант широко распространенной песни, в собрании Киреевского отсутствующей. Наиболее близкий к этой записи вариант см. А. И. Соболевский. Великорусские народные песни, т. VI. СПб., 1900, № 247.

99. Запись Бунина — вариант широко распространенной песни, в собрании Киреевского отсутствующей. Наиболее близкие к этой записи варианты см. П. В. Шейн. Великорусс в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах, т. I, в 1. СПб., 1898, № 108—115; «Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия». В. 2, ч. 2. М., 1929, № 2623 и 2649.

100—107. Слова и выражения из песен Елецкого у. Воронежской губ.— № 693, 678, 679, 694 (у Киреевского: «дочеря́»), 680, 695 (выписки 105 и 106), 696.

108—110. Из песен Симбирской губ. (Симбирского, Сенгелеевского и Сызранского у.)— № 700, 708, 717.

111. У Киреевского в описании девичника (Симбирская губ.) упоминается одежда жениха: «*чапан*, в других местах называемый *чекменем*, а в Орловской губернии *свитою*», и «лоскут от бредня (невода)», который привязывается на крест невесты (стр. 200).

112—116. Из песен Новгородской губ. (г. Новгород).

117. Замечание, связанное с предыдущей выпиской, свидетельствует о внимании Бунина к фонетике народного языка.

118. Слово, встречающееся в песнях Новгородской и Псковской губ. (г. Новгород и Торопецкий у.) — № 120, 125.

119—124. Из песен Торопецкого у. Псковской губ.— № 126—129, 135, 136.

125. Слово «монисты» неоднократно встречается в песнях Псковской губ.— ср. № 136, 158.

126. Запись Бунина. Ни в одном сборнике этот текст не встречается. Приводится (с разночтениями) в записях Бунина (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 344).

127. Из песни Опочецкого у. Псковской губ. (с. Михайловское) — № 147.

128. Запись Бунина. Ни в одном сборнике этот текст не встречается.

129. Из песни Опочецкого у. Псковской губ. (с. Михайловское) — № 153.

130. Запись Бунина. В собрании Киреевского этот текст отсутствует (наиболее близок к нему № 742.)

131—133. Из песен Опочецкого у. Псковской губ.— № 162, 165, 164 (в последней выписке изменена последовательность строк).

134. Из песни Звенигородского у. Московской губ.— № 315.

135—136. Очевидно, собственные записи Бунина. В собрании Киреевского эти тексты отсутствуют.

137—139. Из песен, входивших в старинные «песенники» и включенных Киреевским в его собрание в качестве «чисто народных» — № 1169, 1171, 1172. Начальные строки второй песни (выписка 138) приведены в записях Бунина: «Все пели старинные песни...» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 344). Выписка 139 неточна — у Киреевского: «Сидючи у батюшки в последний час / Сидючи у матушки в последний раз». Строки из этой песни были использованы Буниным в качестве эпиграфа к рассказу «При дороге» в его первой редакции (Собр. соч. 1965—1967, т. 4, стр. 477).

140—143. Неточные выдержки из статьи В. Пассека «Простонародные колыбельные песни», напечатанной в собрании Киреевского (стр. 300—304), и выписки из песен, в нее включенных — № 1105, 1108.

144—145. Имеются в виду два небольших раздела сборника — песни «хороводные» («круговые») и «игорные и плясовые». Выписки сделаны из хороводной песни Бузулукского у. Оренбургской губ.— № 1146, и подблюдной песни, место записи которой не указано — № 1082.

146—147. Из песен, входивших в старинные сборники (см. примеч. к выпискам 37—139) — № 985, 995.

ИЗ «ПАМЯТНИКОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ» Е. БАРСОВА

1. В Заонежье — необыкновенное долголетие.

Из «Святогора-бога́тыря»:

2. ... Ударил палицею булатною
И проговорил Святогор таково слово:
«Русские мухи кусают больно...»

3. Сила у нас неизвестная —
У русскиих могучиих богатырев.

4. Кони стоят да все пшено идят,
Пшено идят да белоярово;
Сами ревом ревут да богатырскиим,
Седла у коней потрескивают...

СТРАННИКИ
Фотография М. П. Дмитриева, 1890-е годы
Музей А. М. Горького, Москва

5. Расходились печени богатырскии...

6. Утунил-то опять свои очи ясныи
Во сыру землю:
«Не с кем испытать
Силы богатырской»...

7. Стоить-то конь да голова повешена...

8. ...Второй раз колчан да приздымывает —
Угрязнул Святогор да богатырь по коленочка.
Заревел-то конь богатырской по-звериному,
Сам прогóворит голосом человеческим:
«Некому больше ездить будет на коне да богатырскоем»,—
Вздохнул конь богатырской от своих печеней;
Лопнули стремена булатнии,
Оборвались свясточки шелковыи,
Увалился конь на сыру землю.
Проговорил Святогор да таково слово
И поднял колчан со сырой земли
И принял себе смерть божию.

9. Плач невесты после сватовства так начинается:
Я долгó спала, невольна красна девушка,
Сего утрушка господнего,
Сплю до зорюшки раноутренной,—
И до белого до светика,
До выставу солнца красного...

10. Проходит тому времени два денька...

11. «Не надобно старому казаку Илье Муромцу женатому быть,
И мне не надо старому казаку Илье Муромцу богатому быть,—
Я поеду казак Илья Муромец, где убитому быть».

12. = Проговорил татарин поганый:
«Какой же ты да за богатырь?
Хлеба ешь ты пóмалу,
Похлебки хлебаешь ты пóмалу...»

Илья ответил, что была у его батюшки корова прожорлива — «ела да пила — да ю разóрвало».

13. = У тыих ли у *тóроках* кониных

14. = Крест кладет по писаному,
*Поклон ведет по ученому...

(«Илья Муромец»)

15. = *Которая дубинка* девяносто *пуд* без единого.

16. =Силóм возьмешь.

17. = Ай же ты калика шиш перехожая...

18. = Ем семь печей калачей
Да сорок мякушек.

19. = Покатилась головище, как пивной котел,
Полетели глазища быдто селезни
И поплыли по Волхову.

(Это когда Муромец чудовище убил. «И. Муромец»)

20. Люта змея идет очень сердитая.
Начала красная Алисафия Агапиевна от спа будить
И не может разбудить,
Покатились у ней горючи слезы
На бело лицо;
От того он от сна восстал...

(И, конечно, убил змея.)

Что такое «у ней»? Почему не *у нее*? От козе?

№ 1—11 печатаются по автографу (ГМТ, № 991, л. 1—3. Публикация Л. Н. Афонина). № 12—20— по копии, снятой А. К. Бабореко с автографа, хранившегося в собрании К. П. Пушешниковой (ныне автограф утерян).

Из кн.: Е. В. Барсов. Памятники народного творчества в Олонецкой губернии. СПб., 1873. Ниже, при ссылках на это издание указываются только страницы.

1. Эта запись сделана на основании статьи Барсова «Об олонецком песнотворчестве» (стр. 7).

---

* Это во всех почти былинах.

2—8. Из былины «Святогор-богатырь» — стр. 12, 13, 14, 16, 17, 18. Сюжет былины и отдельные образы и выражения, выписанные Буниным, использованы им в стихотворениях «Святогор» и «Святогор и Илья» (1913 и 1916 гг.— Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 356, 386).

9. Из «Свадебных обычаев и песен в Толвуйской волости» — стр. 98.

10. Из былины «Дюк Степанович и Щурило Щапленкович» — стр. 19.

11. Из былины «Илья Муромец» — стр. 38.

12—14. Из былины «Илья Муромец» (вариант, записанный от В. Щеголенкова) — стр. 24—25, 28, 29. Последняя выписка действительно является общим местом, которое постоянно повторяется в былинах (ср. там же, стр. 31, 32, 36; «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», т. I. М., 1909, стр. 351 и мн. др.).

15—19. Из былины «Илья Муромец» (вариант, записанный от Щербакова) — там же, стр. 31, 30, 32, 33. Последняя выписка — из описания расправы Ильи с Идолищем.

20. Из духовного стиха «Красная Алисафия Агапиевна» — стр. 90. Сюжет его использован в стихотворении «Алисафия» (1912 г.— Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 348—350). Недоумение Бунина вызвала форма «у ней» (вместо «у нее»), распространенная в фольклорных текстах (ср.: «И спал-то у ней на белой руке...» — стр. 62, 63).

Падежная форма «от козе» использована Буниным в рассказе «Ночной разговор», написанном в 1911 г. (Собр. соч. 1965—1967, т. 3, стр. 265).

‹ИЗ РАЗНЫХ СБОРНИКОВ›

1.

Ох вы, братцы, ясны соколы!
Вы сходите в божью церковь,
Вы ударьте трижды в колокол!
Расступися, мать сыра-земля!
Ты откройся, гробовая доска,
Развернися, золота парча!
Ты восстань, родитель батюшка!

2.

Ты расти, расти, дитятко,
В крепости и младости
Баю, баюшки, баю...

3.

Помутился ты, Дон, сверху до низу
Размываются круты бережки,
Высыпаются косы желтым песком.

4. Илья Муромец казнит своего сына Сокольника:

Ударил Сокольника в белы груди
И вышиб выше лесу стоячего...
Хватил за ногу, на другу наступил,
Нá полы Сокольничка разорвал...

5. Свою дочь —

Ступил он паленицы на леву ногу
И подернул паленицу за праву ногу,
Он ю на двое порóзорвал,
Первую частиночку рубил он на мелки кусочки...

Совершенно так же Яков Ехимыч рассказывает.

6.

...Куда ни брошусь, куда ни взгляну я,
Ах, везде тоска неусыпучая,
Везде невзгодушка неминучая.
Оглянусь я на далекий лес:
В сосновеньком да темнешенько...
Оглянуся я на широкий двор,
Ах! на дворике да грустнехонько!

7. ...Становилися калики во единый круг,
Клюки-посохи в землю потыкали,
А и сумочки извесили.
Скрычат калики зычным голосом,—
Дрогнет матушка сыра-земля.
С дерев вершины попадали.

(Не знаю, откуда это.)

8. Вырыли погреб глубокий,
Сажали в него Егория.

Печатается по копии, снятой А. К. Баборско с автографа, хранившегося в собрании К. П. Пушешниковой (ныне автограф утерян).

1. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Изд. второе. М., 1909—1910, т. III, стр. 22. Из плача невесты-сироты (Повенецкий уезд).
2—3. По всей вероятности, запись Бунина.
4. Там же, т. II, стр. 638. Из былины «Илья и Сокольник».
5. Там же, т. I, стр. 32. Из былины «Илья Муромец и дочь».
6. Источник этой записи неизвестен.
7. П. А. Бессонов. Калики перехожие. Сборник стихов и исследований. М., 1861, стр. 9—10, № 4. Из песни «Сорок калик со каликою».
8. В духовных стихах об Егории Храбром обычно фигурирует эпизод о том, как Егория посадили в глубокий погреб (см. там же, № 98—116; один из этих девятнадцати вариантов записан в Орловской губернии). Строк, точно совпадающих с записью Бунина, в этих вариантах нет.

ПИСЬМА

ПЕРЕПИСКА с В. Я. БРЮСОВЫМ
1895—1915

Вступительная статья и публикация А. А. Нинова

Литературные и личные отношения Бунина и Брюсова имеют свою историю, до сих пор недостаточно разъясненную [1]. Воспоминания и автобиографические заметки Бунина позднейшей поры, где имя Брюсова возникает неоднократно, далеко не исчерпывают реальной истории их отношений, особенно если принять во внимание глубину отчужденности, с которой Бунин после революции писал о некоторых прежних своих друзьях и знакомых. Личная переписка многое ставит на свои места. Она свободна от ретроспективных смещений, свойственных мемуарам, которые характеризуют скорее итоги человеческих отношений, чем их процесс.

За перепиской Бунина и Брюсова стоят очень разные характеры, резко несхожие писательские индивидуальности. Письма их сохраняют и доказательства близости и следы глубоких взаимных расхождений. В переписке зияют многолетние перерывы, полосы глухого молчания. Причины тому не только личные. Сложные обстоятельства общественной жизни и литературной борьбы развели Бунина и Брюсова по разным станам. Однако в биографии каждого, да и в истории русской поэзии их отношения составляют своеобразный и содержательный эпизод.

В дневниках Брюсова имя Бунина упоминается впервые среди декабрьских записей 1895 г. К этому времени и относится начало их знакомства. «В январе 1895 года,— подтверждает Бунин,— бросив службу, я впервые попал в Петербург, видел некоторых писателей, Михайловского, Кривенко, который отнесся ко мне с истинно-отеческой нежностью. В этом же году я познакомился в Москве с Чеховым, с Бальмонтом, с Эртелем, с Брюсовым, тогда еще студентом» [2].

Для Брюсова 1895 год был годом шумного, даже скандального литературного дебюта. Он выпустил в Москве свой первый лирический сборник «Chefs d'oeuvre» (1895), а также три выпуска альманаха «Русские символисты» (1894—1895), затеянного как дерзкий вызов традициям и демонстрация истинных образцов «новой поэзии». Ближайшими соратниками Брюсова были Иван Коневской, Александр Добролюбов, А. Л. Миропольский (Ланг) и некоторые другие начинающие поэты. Критика осыпала московских «декадентов» и символистов насмешками и привлекала к ним общее внимание публики. Так или иначе, «новая школа» была провозглашена, и, как свидетельствует сам Брюсов, с выходом его первой книжки «шум около моего имени учетверился. Я был всенародно предан „отлучению от литературы", и все журналы оказались для меня закрытыми на много лет, приблизительно на целый ,,люстр" (5 лет)» [3].

Молодой Брюсов чувствовал себя одиноким вождем гонимой поэтической школы и был рад каждому новому потенциальному союзнику. Бунин же только присматривался к литературной среде, и из числа молодых столичных поэтов выделил Бальмонта и Брюсова как наиболее талантливых. Различия в литературных вкусах и привязанностях не помешали их дружескому сближению.

В «Автобиографической заметке» (1915) Бунин припомнил, что в первый раз он ездил к Брюсову вместе с Бальмонтом; Брюсова не оказалось дома, а на следующий день Бальмонт получил от него записку: «,,Очень жалею, что не застали, Бунин, хотя и *не символист*, но настоящий поэт..." Помню, — продолжает Бунин,— что и тогда это рассмешило меня. Позднее я мельком видел Коневского и Добролюбова. Они произвели на меня впечатление больных мальчиков с полным сумбуром в голове и в душе, благодаря и болезненности своей и кое-чему прочитанному» [4].

В записях 1927 г. Бунин детализировал первое впечатление, вынесенное им от знакомства с Брюсовым и московскими декадентами. Оценки Коневского и Добролюбова остались неизменными, а в портрете Брюсова появились новые саркастические штрихи почти памфлетного свойства. Усиление негативной оценки отражает, без сомнения, позднейшие чувства Бунина. Вместе с тем в этой характеристике содержатся подробности, весьма существенные для понимания истории их отношений.

Бунин подчеркивает, что в словах молодого Брюсова все было «крайне революционно (в смысле искусства),— да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, „вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!“ — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового у него уже были жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, за малейшие отступления от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная. Я попросил у него на несколько дней какую-то книгу. Он странно сверкнул на меня из своих твердых скул своими раскосыми, бессмысленно блестящими, как у птицы, черными глазами и с чрезвычайной галантностью, но и весьма резко отчеканил: — Никогда и никому не даю ни одной из своих книг даже на час!» (т. 9, стр. 287—288).

Бунин отметил реальное противоречие, существовавшее между вызывающими, анархическими декларациями молодого Брюсова и его фактической литературной практикой. Поэт, начинавший с бунта против «всего старого», готовый казалось бы сжечь все старые книги на кострах, с величайшей аккуратностью и любовью хранил свою библиотеку, не рискуя отдавать из нее что-либо даже на час! С особым усердием Брюсов переводил в это время с латинского «Энеиду» Вергилия, новых и старых французских поэтов, занимался рукописным наследием Тютчева, Каролины Павловой и др. Тут проявилась коренная черта мировоззрения Брюсова, его истинное отношение к поэтической традиции, к культуре, к знаниям, свойственное в гораздо большей степени просветителю-энциклопедисту, чем анархисту и декаденту, каким представлялся Брюсов для тех, кто судил о нем лишь по его литературной позе.

С конца 1890-х годов, когда Бунин начал регулярно бывать в Петербурге и в Москве, его отношения с Брюсовым стали более тесными, при том что личные встречи между ними оставались редкими. Тогда же Брюсов признался Бунину: «Мне странно писать к вам, уважаемый Иван Алексеевич, хотя я и часто возвращаюсь к вам в мыслях: для меня вы как призрак. Мы виделись мало, ваш образ дополнил я по воспоминаниям, по рассказам, вероятно и воображением. Говоря с вами, не убежден, что вы слышите мой голос» (п. 10).

Голоса друг друга Бунин и Брюсов все же имели возможность слышать. Они встречались несколько раз в Петербурге после похорон Я. П. Полонского. Тогда же, на похоронах, К. К. Случевский предложил всем поэтам собираться по пятницам у него, как прежде собирались у Полонского. Эти «пятницы», на которых бывали литераторы разных поколений и школ, поэты называли своей академией. На одно из таких собраний Брюсов, Бунин и Бальмонт явились вместе. По обычаю, следовало поднести хозяину свои книги, а затем слушать и читать стихи [5].

Из трех молодых поэтов Бунин выделялся явной старозаветностью своих реалистических вкусов. О его спорах с товарищами при встрече в Петербурге свидетельствует дневниковая запись Брюсова 14 декабря 1898 г.: «Вчера обедали с Бальмонтом и Буниным. Бунин на меня сердился. Еще раньше у нас был полуспор по поводу стихов Гиппиуса:

Снова зверь в лесу возникнет,
Птица в чаще леса крикнет...

Бунин не признавал, что можно сказать „зверь возникнет“, я над ним смеялся, а он сердился: „Не понимаю, не понимаю... надо говорить человеческим языком“... Сегодня в том же роде мы спорили. Но при всем том Бунин из лучших для меня петербургских фигур, он — поэт, хотя и не мудрый» [6].

Разноречия по поводу стихов Владимира Гиппиуса затрагивали один из основных вопросов поэтики. Бунин настаивал на предметной точности слова в поэзии, нормой

для него оставалась внятность поэтического языка, конкретность смысловых и эмоциональных оттенков. Брюсов, напротив, считал такое отношение к слову архаичным. Он доказывал, что поэзия должна уходить от обычного значения слов к их таинственному эмоциональному ореолу, находить такие музыкальные и образные сочетания, которые воздействовали бы на душу надсмысловыми средствами. Именно в таком способе воздействия на читателей, а не в символах, видел Брюсов отличительную черту символизма [7].

Через несколько дней после петербургской встречи и споров с Буниным Брюсов выслал ему из Москвы свои первые книги — «Chefs d'oeuvre» и «Me eum esse» (см. п. 2) — это было как бы продолжением диалога и практическим утверждением своей литературной позиции. Среди стихотворений второго сборника Бунин едва ли обошел вниманием декларативное брюсовское обращение:

Юноша бледный со взором горящим!
Ныне даю я тебе три завета.
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.
. . . . . .

(«Юному поэту», 1896)

Ни один из этих заветов Бунин не мог бы целиком принять в качестве основы для творчества. Его собственные представления об искусстве сложились под воздействием общественно-эстетических принципов, органичных для реалистической школы русской поэзии, наследником которой Бунин себя ощущал. Однако XIX в. был на исходе, литература жила вихрями перемен, и многообразные искания современников не остались для Бунина «закрытой книгой». Тут обнаруживаются самые неожиданные и сложные взаимоотношения, характерные для эпохи. И в поэзии Брюсова Бунина занимали не столько декларации «новой школы», сколько ее реальный опыт, практические открытия, относившиеся и к лирическому содержанию, и к форме русского стиха, переживавшего самую глубокую со времен Пушкина художественную реформу.

Русские символисты заново открыли для соотечественников западную поэзию XIX в., в особенности новейших европейских поэтов, и как раз эта сторона их деятельности представляла для Бунина особый интерес. За время своего недолгого участия в редактировании «Южного обозрения» (1898—1899) Бунин напечатал в газете, кроме нескольких оригинальных стихотворений Брюсова, подборку его переводов из Роденбаха («Болезнь»), Жана Мореаса («Я родился у ропотного моря...»), Эверса («Я дышу твоей душою...»), Приска де Ландель («Нищие»), Верлена («Небо над этою крышей...»).

Перевод стихотворения «Нищие» был запрещен московской цензурой (см. п. 5). В Одессе его удалось напечатать ценою изъятия наиболее резкой пятой строфы:

Мы томимся, мы — в слезах,
Вы же — горды и богаты...
В день торжественной расплаты
Мы раздавим вас во прах!

Подосадовав на цензурные строгости, Бунин отдал должное и этому переводу, и общей увлеченности, с какой Брюсов отдавался поэзии и искусству: «Стихотворение очень хорошее,— писал Бунин,— как и все почти (за исключением отдельных выражений) из присланного вами. Дай вам ⟨бог⟩ успеха и хорошего труда, дорогой Валерий Яковлевич,— вы истинно любите искусство, и уже одно это свидетельствует о том, что вам надо работать!» (п. 6).

Хотя отношения Бунина и Брюсова с самого начала складывались как отношения художников разных поэтических школ, различие убеждений и склонностей до известной

норы не мешало их заинтересованному диалогу. Несомненно, что Бунина и Брюсова сближала широта общекультурных интересов, внимание к богатствам мировой поэзии, активное отношение к ее традициям. Бунин разделял также концепцию политической «незаинтересованности» искусства, преобладания «вечного» над историческим и злободневным, которую Брюсов развивал в своих ранних выступлениях.

«Кто изучает по произведениям искусства время и его особенности,— усматривает в искусстве не существенное, а второстепенное»,— утверждал Брюсов в своем трактате «О искусстве» [8]. Там же он доказывал, что в смене художественных школ есть общий смысл — «освобождение личности». Брюсов последовательно развивал идею раскрепощения внутренних сил личности, исходя из примата души над внешним миром, сознания над бытием. Он считал, что романтики первыми начали борьбу против стеснений личности, но не довели ее до конца, поскольку, как и реалисты, оставались в плену действительности, доступной внешним чувствам, стремились создавать образы «на подобие тех, какие встречаются в жизни» [9].

Бунина не слишком тревожили склонности и убеждения молодого Брюсова. К эстетическим законоположениям символизма он был равнодушен; мистические туманности декадентства его сердили. Зато в лучших стихах Брюсова он ценил лирическую откровенность поэта, стремившегося полно и верно выразить свою душу.

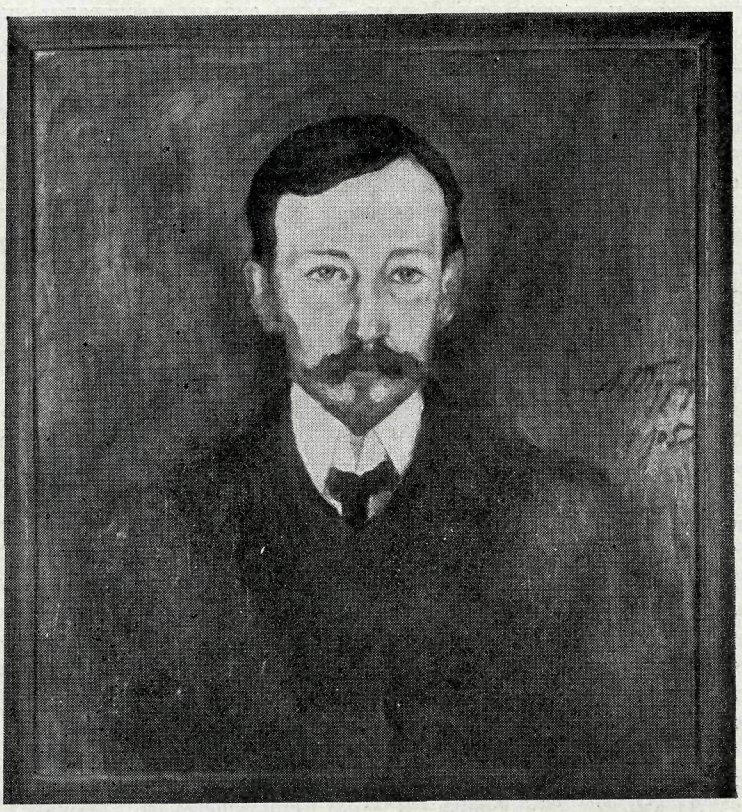
В конце 1890-х годов талант Брюсова заметно окреп, его голос в русской поэзии зазвучал более уверенно и страстно. Книга Брюсова «Tertia vigilia» (1900) была отмечена рецензией М. Горького; стихи из нее произвели сильное впечатление на Блока [10].

Один из циклов книги «Tertia vigilia» — «Картинки Крыма и моря» — Брюсов посвятил Бунину. Это посвящение было не только знаком признательности Бунину, который первым напечатал брюсовские стихи в общей периодике («Что бы там ни было,— признавался Брюсов в дневнике,— все же это первые мои стихи, напечатанные не мною самим» [11]). В «Картинках Крыма и моря» Брюсов сделал шаг навстречу Бунину и как художник. Здесь впервые он отнесся без предвзятости к природе, к пейзажу, отдался непосредственным впечатлениям действительности.

Сам Брюсов подтвердил потом: «Мое пренебрежение к природе с меня, как сказали бы люди положительные, „соскочило“, и я уже не мешал своим глазам радоваться всей пестроте далей, расстилаемых горными склонами...» [12]. Крымские стихи Брюсова («Волны взбегают и пенятся...», «У перекрестка двух дорог...», «Где подступает к морю сад...» и др.) по своему строю и стилю гораздо ближе к реалистической пейзажной живописи, чем к символическим преображениям природы, характерным для его ранней поэзии («На журчащей Годавери...» и пр.). Эта стилевая ориентация цикла подчеркнута дружеским посвящением Бунину.

Преобладающее значение в «Tertia vigilia» имела, однако, не лирика природы, а своеобразная «поэзия города» — важнейшая и новая тема Брюсова, в разработке которой он был наиболее самобытен. По отношению к Бунину и его поэзии «урбанизм» Брюсова выступал особенно разительным контрастом, здесь они оставались антиподами, и Брюсов этого не скрывал: «Вы не любите городской весны,— писал он Бунину,— а моим раздумьям она ближе, чем грязь в деревне и голые сучья обесснеженного леса. Мы мало наблюдаем город, мы в нем только живем и почему-то называем природой только дорожки в саду, словно не природа камни тротуаров, узкие дали улиц и светлое небо с очертаньями крыш. Когда-нибудь город будет таким, как я мечтаю, в дни отдаленные, в дни жизни, преисполненной восторгом. Тогда найдут и узнают всю красоту телеграфных проволок, стройных стен и железных решеток» (п. 5). «Город» Брюсова был, конечно, подготовлен близкими мотивами из Верлена и Верхарна, но на русской почве столь убежденный и последовательный урбанизм был новостью.

В переписке между Буниным и Брюсовым оживленно обсуждаются литературные вопросы, завязывается полемика, споры о поэзии и прекрасном. В письме 18 апреля 1899 г. Бунин пылко отозвался на урбанизм Брюсова: «Понимаю прелесть весны и в городе, но в горах, на море, в степи, право, лучше,— для меня по крайней мере. Уж слишком часто оскорбляет город грязью, толпой и т. д.» (п. 6).



БУНИН
Портрет работы Л. В. Туржанского (масло), 1905
Литературный музей, Москва

Брюсовской поэзии городской весны, проникающей сквозь сети проволок и потемневшие кучи сколотого льда и снега («В борьбе с весной редеет зимний холод...», 1899), Бунин противополагает красоту естественной природы, вечно сохраняющей свою чистоту и свежесть.

Прошли дожди, апрель теплеет.
Всю ночь — туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.

И тихо дремлет бор зеленый.
И в серебре лесных озер —
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!

(«После половодья», 1900)

Спор, начатый Брюсовым, не был им выигран — по крайней мере в стихах. Бунин обладал гораздо более сильным и органичным чувством природы, и соперничать с ним в этой области было особенно трудно. Однако диалог поэтов захватывал гораздо более широкий круг проблем и вопросов. В конце января или в начале февраля 1900 г. Брюсов записал в дневнике:

«В Москве Бунин и Перцов. С Буниным виделся раза три. Он гораздо глубже, чем кажется. Иные размышления его о человечестве, о древних египтянах, о пошлости

всего современного и позоре нашей Науки — даже сильны, производят впечатление. В жизни он, кажется, очень несчастен...» [13].

1900—1901 гг.— время наибольшего сближения Брюсова и Бунина. Переписка освещает любопытные подробности их отношений в этот период. Для Брюсова закончилась пора «отлучения» от литературы. К началу века символисты уже вышли из положения «отверженных», они создают свои собственные печатные органы и во все больших масштабах начинают диктовать публике свои вкусы и взгляды. Их литературная продукция находит повышенный спрос на журнальном и книжном рынке, переживавшем необыкновенное оживление накануне первой буржуазно-демократической революции в России.

Символизм занял заметное место в литературном движении начала века, поскольку он выражал эстетический бунт против действительности, совпадавший до известной меры с политическим протестом буржуазной мысли, с традиционными притязаниями индивидуализма, восстающего против изживших себя полуфеодальных ограничений. Радикально-демократическая и социалистическая мысль по традиции связывала свои надежды в литературе с художественным реализмом, и не случайно между основными литературными течениями накануне первой русской революции завязалась резкая и острая борьба.

Весною 1900 г. на средства С. А. Полякова было создано новое издательство «Скорпион», фактическим редактором которого стал Брюсов. В недрах «Скорпиона» возник сначала альманах «Северные цветы», а затем журнал «Весы», где Брюсову также принадлежала решающая редакторская роль. Большую часть печатной продукции «Скорпиона» составляли произведения символистов, хотя с первых же дней существования нового издательства Брюсов, с присущим ему размахом, осуществлял программу издания книг из области истории литературы, отечественной и зарубежной. В его планах — подготовка новых материалов к биографии Пушкина, сочинений Баратынского, Каролины Павловой и др. «Скорпион» обещал публике заново исполненные переводы из античных и современных европейских писателей — Вергилия, Новалиса, Эдгара По, Мицкевича, Ибсена, Пшибышевского, Верхарна, Гамсуна, а также собрания избранных сочинений трех создателей французского символизма — Поля Верлена, Стефана Малларме и Артура Рембо. «В связи с этим,— говорилось в каталоге издательства,— „Скорпион“ переиздает в новых переводах классические сочинения тех писателей старых литературных периодов, которые являлись предшественниками и предвестниками новейших течений в искусстве» [14]. В различных эпохах и направлениях мирового искусства Брюсов стремился найти литературных союзников. Он пересматривал традиции и создавал новые концепции художественной преемственности в интересах утверждения собственной поэтической школы.

Первыми авторами «Скорпиона» из современных русских писателей стали К. Бальмонт, А. Добролюбов, И. Коневской, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, А. Белый, Ю. Балтрушайтис, А. Миропольский (Ланг). При содействии Брюсова деловые отношения со «Скорпионом» установил также Бунин, искавший в это время издателя для нового сборника своих стихов.

В конце августа 1900 г. Брюсов отметил в дневнике: «Был у меня вечер. Были: Бальмонт, Бахман с женой, Поляков, Балтрушайтис с женой, Ю. Бартенев, Ланг и случайно зашедший Бунин. ⟨...⟩ Бунин продает рукопись своих стихов „Скорпиону“. Читаю их» [15].

В тесной компании «скорпионов» Бунин был действительно «случайно зашедшим» гостем; его больше связывали личные отношения с Брюсовым, чем общие интересы московского кружка. Рукопись бунинских стихотворений, предложенных «Скорпиону», не могла, конечно, служить образцом «новейших течений» русской поэзии, зато издание ее служило демонстрацией широты литературных мнений и вкусов «новой школы», что было совсем небесполезно для самих издателей, особенно на первых порах.

Так или иначе Брюсов был одним из первых читателей рукописи будущей книги «Листопад», одобренной им и выпущенной «Скорпионом» к началу 1901 г. Переписка Бунина и Брюсова содержит многочисленные деловые подробности, связанные с этим

изданием. В каталоге «Скорпиона» книга «Листопад» была оценена как «первое обширное собрание стихов Ив. Бунина», где «ясно выразилась тонкая и чуткая душа этого поэта — мечтателя и наблюдателя природы» [16]. Оценка, очевидно, принадлежала Брюсову (наиболее вероятному составителю каталога), однако она не вполне исчерпывала его истинное отношение к новым бунинским стихам. Последнее обстоятельство выяснилось чуть позже, когда Брюсов вернулся к характеристике «Листопада», но уже с иными тактическими целями.

В биографии Бунина-поэта «Листопад» занимает примерно такое же место, как «Tertia vigilia» в поэтической судьбе Брюсова. Именно эти сборники, каждый по-своему, укрепили среди современников литературную репутацию того и другого поэта. Отмечая цельность и простоту стихов Бунина, Блок признал за автором «Листопада» «право на одно из главных мест среди современной русской поэзии» [17].

Поэтические достоинства «Листопада» были почти единодушно признаны критикой, однако книга послужила основой для многих ходячих формул, сопровождавших затем творчество Бунина в течение многих лет. «И выходило так,— сокрушался Бунин,— что нет писателя более тишайшего („певец осени, грусти, дворянских гнезд“ и т. п.) и человека, более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда» (т. 9, стр. 264—265).

Ко времени выхода «Листопада» Бунин действительно был далек от какой-либо определенности. Он свободно перемещался по разным «литературным мирам», испытывал противоречивые тяготения, и его истинный путь и действительные отношения с веком не вполне ясно представлялись ему самому. Это чувство общественной и личной неприкаянности отчетливо выразилось в одном из центральных стихотворений сборника «Листопад», так и названном — «На распутье». Стихотворение посвящено В. М. Васнецову и на первый взгляд воспринимается как простое поэтическое переложение фольклорного мотива, послужившего основой известной картины «Витязь на распутье».

На распутье люди начертали
Роковую надпись: «Путь прямой
Много бед готовит, и едва ли
Ты по нем воротишься домой.

Путь направо без коня оставит —
Побредешь один и сир и наг,—
А того, кто влево путь направит,
Встретит смерть в незнаемых полях...»

В зачине стихотворения Бунин строго следует за фольклорным источником, однако истинным субъектом его является не былинный «витязь» васнецовской картины, а сам поэт, осознающий реальный драматизм трудного и бесповоротного выбора, предстоящего ему в новом веке.

И ужели нет пути иного,
Где бы мог пройти я, не губя
Ни надежд, ни счастья, ни былого,
Ни коня, ни самого себя?..

Начатое как бы от лица героя древнего эпоса, стихотворение переходит в личное излияние мятущейся души поэта [18]. Прошедшее время замещается настоящим, третье лицо — первым. Последняя строфа стихотворения «На распутье» содержит недвусмысленное личное признание:

И один я в поле, и отважно
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...
Черный ворон сумрачно и важно,
Полусонный, на кресте сидит.

Такой поворот былинного мотива не был новостью для русской поэзии. В книге Брюсова «Tertia vigilia» можно найти совершенно аналогичные опыты лирической трансформации легендарного или исторического материала. Причем Брюсов начал эти опыты раньше и сумел выразить в них самые разнообразные оттенки своего лирического чувства. Речь идет о большом историко-мифологическом цикле «Любимцы веков», где от лица героев минувших эпох («Ассаргадон», «Моисей», «Скифы», «Старый викинг» и др.) автор давал полную волю собственному лиризму. Историко-мифологические сюжеты Брюсова оживляло вполне современное, осознанно субъективное содержание. От лица «сильных героев» прошлых веков, людей страсти и действия, Брюсов проецировал в стихах собственное «я». Для русской поэзии той поры это было открытие, мимо которого не прошел и Бунин, хотя его собственные «личные чувства» имели совсем иной эмоциональный состав.

Если Брюсов в «Tertia vigilia» посвятил Бунину свой пейзажный цикл «Картинки Крыма и моря», то Бунин в «Листопаде» ответил Брюсову стихотворением «В отъезжем поле», отмеченным характерными чертами лирической стилизации в национальном духе (ср. «На распутье», «Вирь», «Ковыль», «Из сказки» и др.). Посвящение Брюсову указывает на реальные связи, существовавшие между поэтами-современниками. Бунин варьирует в стихотворении типично брюсовскую тему, тему «страсти», хотя страсть эта особая — охотничья, и она естественно входит в поэтический узор «Листопада». Впоследствии Бунин снял заключительную третью строфу, где эта тема формулируется непосредственно:

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,
На заре добычи жду... Скудна
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я слепо в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна!

В отличие от Брюсова поэтическим принципом Бунина была сдержанность, и при позднейшей правке он отказался от прямой декларации «страсти», сократив стихотворение до двух строф, рисующих картину раннего утра и псовой охоты с неотразимой достоверностью конкретных деталей:

Вот и утро! — В колеях дорог
Грязь чернеет, лужи заалели...
Томно псы голодные запели...
Встань, труби в холодный, звонкий рог!

Как видим, Бунин не отказывался вовсе от энергии чувства. При необходимости он готов был полной грудью протрубить в «холодный, звонкий рог», но общее впечатление от стихов Бунин стремился усилить сжатостью, тесным соединением сферы лирики с предметно-живописными элементами. В этом отношении его художественная система и лирика Брюсова уже к началу века расходились достаточно далеко. Со временем это расхождение стало еще более резким.

Отношения Бунина с издательством Полякова и Брюсова обещали принять более регулярный характер в связи с выпуском альманаха «Северные цветы», к подготовке которого «Скорпион» приступил в конце сентября 1900 г. «Альманах, замышленный „Скорпионом“,— записал тогда же Брюсов,— прельстил почему-то Бунина, и у него началась погоня за литераторами, стали мы „альманашниками“. Бунин писал Максиму Горькому. Тот отвечал: „Альманах? — могу“» [19].

Когда подготовка первой книжки альманаха подходила к концу, в отношениях между Брюсовым и Буниным возникли неожиданные осложнения. Внешним поводом для них послужил тот факт, что имя Бунина не было повторено в очередном объявлении о выпуске «Северных цветов на 1901 год». Причина же, судя по бунинскому письму 5 февраля 1901 г., таилась гораздо глубже (см. п. 25). Сам Бунин не вполне представлял, с чего началось это явное охлаждение. Книга Брюсова «Tertia vigilia» произвела на него сильное впечатление. Брюсова и его группу к моменту выхода «Листопада» Бунин еще рассматривал как немногих (если не единственных) литературных союзников. Обо всем этом он написал Брюсову с полной откровенностью:

«Что-то произошло между мной и вами, или, вернее, между вами и мной. Прекрасно,— это ваше дело — относиться ко мне так или иначе. Но неужели между нами ничего не осталось, как между художниками? Вы, конечно, отлично знаете, что с моей стороны этого нет. Я, вникнув в вашу книгу, за последнее время отношусь к вам, как к поэту, с еще большим уважением, чем прежде; вы знаете также, что ко всем вам я питаю очень большое расположение как к товарищам, к немногим товарищам, дорогим мне по настроениям и единомыслию во многом. Или вы думаете, что дело обстоит иначе?..» (п. 25).

Недоразумение по поводу участия в «Северных цветах» разрешилось очень скоро. Рассказ Бунина «Поздней ночью», присланный в самый последний момент, был незамедлительно включен в альманах. Осталось другое — все более резкое расхождение во вкусах и взглядах, которое Брюсов почувствовал раньше и острее Бунина и которое он не находил нужным скрывать: «Когда я узнал вас впервые, я неожиданно полюбил вас. После — да, вы правы,— подтвердил Брюсов в письме к Бунину,— я видел в вас что-то, что мне не по душе. Только ведь об этом в письмах не сговориться. Тут нужен голос, взгляд, все, что в стихах заменено размером, и без чего проза бессильна. Будем надеяться на новые встречи и новые стихи» (п. 26).

Следует отметить, что Брюсов проницательно уловил скрытый смысл стихотворения Бунина «На распутье», тем более, что основной его лирический мотив он мог с полным правом отнести и к самому себе. В начале июля 1901 г. Брюсов написал Бунину откровенное письмо. В неотправленном черновике этого письма остались слова, которых Бунин никогда не узнал: «Я на распутье. Более, чем вы, даже в тот день, когда „сумрачно и важно“ сидел на кресте черный ворон. Я на распутье и в жизни и в душе. О жизни не интересно. А о душе вы знаете. Мне дано искушение, которого я не ожидал. Передо мной открыта торная дорога, и я уже сделал по ней немало шагов. Еще чуть-чуть опустить голову, еще чуть-чуть подладиться под чужой голос, ах, как все станет тогда просто. Но менее всего я хочу быть сейчас самим собой. Мой облик мне сейчас самое ненавистное» [20].

Мысли, вызванные бунинским стихотворением, годились больше для дневника, и Брюсов не стал доводить их до сведения адресата. По существу же его признание подтверждало, что принятый им литературный облик («ассирийского мага», «аргонавта», искателя «золотого руна» и пр.) начинал все больше тяготить его, поскольку противоречил новым, более серьезным задачам и целям, которые он ставил перед собой в поэзии. Брюсов в эти годы действительно переживал приливы глубокой внутренней неудовлетворенности собой, приступы острых сомнений в правильности избранного пути. Порываясь к жизни, к современности, он хотел быть услышанным не только «градом» своих ближайших сотоварищей по искусству, но и всем «миром» русских читателей. Свою новую книгу стихов 1900—1903 гг. Брюсов так и назвал — «Urbi et orbi» («Граду и миру»). Однако положение вождя «новой школы» обязывало. Брюсов не собирался рвать со «Скорпионом», напротив, он делал все, чтобы расширить его влияние. Перед решающими битвами первой русской революции литературная полемика обострилась, и Брюсов включился в нее с полным сознанием своей литературно-общественной и теоретической позиции.

Оказавшись на распутье, Брюсов и Бунин круто разошлись. Об усилившихся разногласиях между ними свидетельствует запись в брюсовском дневнике (сентябрь 1901 г.): «Приехал в Москву Бунин и пришел ко мне. Сказал, что сидел в Ялте, вдруг затосковал и, не дожидаясь парохода, поскакал на север. На скорпионовском вторнике я с ним опять поговорил крупно, сказал, что все его писания ни на что не нужны, главное, скучны и т. д. Он проявлял великодушие и всячески славил мои стихи» [21].

Осенью 1901 г. Бунин сделал последнюю серьезную попытку закрепить сотрудничество со «Скорпионом» новыми изданиями своих книг (см. п. 35). Попытка эта не увенчалась успехом, а в октябре 1901 г. Бунин уже вел переговоры с Горьким и Пятницким об издании своих произведений в «Знании» [22]. Фактически к 1902 г. Бунин сделал свой выбор, сменив один литературный фланг на другой. В автобиографии он подтвердил, что после издания «Листопада» со «Скорпионом» «очень скоро разошелся, не

возымев никакой охоты играть с моими новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор...» (т. 9, стр. 264).

Расхождение Бунина и Брюсова ускорили некоторые выступления печати, которые лишь подливали масло в огонь начавшейся ссоры. К числу таких выступлений принадлежала статья Сергея Глаголя «Поэт русского пейзажа», где похвалы Бунину как автору «Листопада» сопровождались колкими выпадами против «новых течений» в русской поэзии, в частности, против Валерия Брюсова и Александра Добролюбова.

«К какой же, однако, категории поэтов следует отнести Бунина? — задавался вопросом критик.— К поэтам ли нового слова в искусстве, или к старым? Судя по тому, что он удостоился внимания книгоиздательства „Скорпион", надо полагать, что гг. *новые* сопричисляют его все-таки к лику гг. Брюсовых и Добролюбовых. Но с таким же правом мы можем сопричислить его и к *старым* и прямым последователям Пушкина и Лермонтова, с их звучным и дивным стихом. Впрочем, пусть новые считают его, если хотят, *своим* и даже пошли им создатель побольше таких *своих*. Только не надо их смешивать с гг. Добролюбовыми» [23].

При оценке формальных достоинств бунинского стиха С. Глаголь допустил, однако, элементарные ошибки в вопросах стихосложения, и Брюсов незамедлительно воспользовался этим для резкого и точного ответного удара. Так появилось его письмо в редакцию — «Новое открытие в стихосложении», где, вслед за С. Глаголем, Брюсов процитировал строки из стихотворения Бунина «Ковыль»:

Холодеет ночь перед зарею,
Опускаясь низко над землею.
Заросла бурьяном степь на воле...

«Смеем уверить г. Глаголя,— писал Брюсов,— что эти стихи написаны самыми обыкновенными хореями, и в них совершенно излишне выискивать амфибрахии и анапесты, да еще „трехстопные" (г. Глаголь хотел, вероятно, сказать „трехсложные", а, может быть, он и не знает, что такое — стопа). С равным успехом г. Глаголь мог бы усмотреть анапест, ямб и амфибрахий и в Пушкинских хореях:

Невидимкою луна
Освещает снег летучий...

Всем, кто любит поэзию, должно быть горько, когда за разбор стихов берутся люди, до такой степени к этому неподготовленные» [24].

На следующий день после опубликования брюсовской реплики одна из московских газет в редакционной заметке «Ценитель» также поправила С. Глаголя, но проявила, в свою очередь, незнание предмета [25]. Брюсов вновь обнажил клинок для удара в другую сторону и поместил в «Русском слове» вторую реплику [26]. Сам Брюсов остался доволен этими полемическими заметками. В конце 1901 г. он отметил в дневнике: «По поводу одной рецензии на Бунина в „Курьере" — поместил два едких „письма в редакцию" в „Русском слове" против „Курьера" и против „Новостей дня" (№ 315 и 317). Попал в самый нерв, напечатали охотно» [27].

Спор об отношении Бунина к «новым поэтам» не завершился полемикой вокруг «Листопада», и Брюсов воспользовался первым подходящим случаем, чтобы перейти от защиты к нападению. В его библиотеке сохранилась книжка Бунина «Новые стихотворения» (1902), составленная из стихов, написанных после «Листопада». Внимание Брюсова привлек, в частности, известный сонет «В Альпах» («На высоте, на снеговой вершине...»), который в первоначальной редакции заканчивался словами:

На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в вечерний час сонет
Лишь для того, кто бродит на вершине.

Брюсов отчеркнул последние три строки стихотворения и приписал на полях: «Характерные стихи. Совершенно нелепая задача стилетом вырезать целый сонет, т. е. 14 строк на льду. И увы! поэт сам признает, что это было в Альпах. Там по вершинам бродят вовсе не поэты, а туристы. Это ошибка г-на Бунина» [28].

В. Я. БРЮСОВ
Фотография С. В. Шицмана. Москва, начало 1900-х годов
Литературный музей, Москва

Язвительное замечание на полях явилось как бы зерном рецензии, которую Брюсов, скрывшись под прозрачным псевдонимом «Аврелий», поместил в журнале «Новый путь». Рецензия эта примечательна решительной переоценкой «Листопада», изданного при прямом редакционном участии Брюсова, и еще больше недвусмысленными обвинениями в «заимствовании» у тех самых «новых» поэтов, над которыми критика возвышала Бунина в качестве хранителя традиций и недосягаемого мастера поэзии.

«Первый сборник стихов г. Бунина „Листопад“ был записной книжкой наблюдателя,— утверждал Брюсов.— „Да, это бывает“ — вот все, что можно было сказать о его первых стихах. В „Новых стихотворениях“ г. Бунин неожиданно переходит на иную дорогу. Он перенимает темы парнасцев и первых декадентов ⟨...⟩ К своим новым темам Бунин относится совершенно так же, как раньше к природе. По-прежнему его стихи остаются вне его личности и вне его жизни. Только сферой его „наблюдений“ стали уже не поля и взморья, а книги и преимущественно сборники стихов. Своим наблюдательным взором г. Бунин подмечает у действительно *новых* поэтов красивые приемы, красивые образы, красивые чувства — и воспроизводит их, даже не без некоторого мастерства. Если первые его стихи могли иметь значение для ценителей „стихов о природе“, то „новые стихотворения“ будут несомненно интересны тем, кто не знаком с их иностранными и русскими оригиналами ⟨...⟩ Образцы г. Бунина — это вчерашний день литературы. Характерны для него стихи о том, как он вырезал

„стальным клинком сонет“ на какой-то альпийской вершине.— „Смотрело только солнце, как стилет чертил мой стих по изумрудной льдине“,— гордо сообщает г. Бунин и прибавляет, что его стихи вырезаны „лишь для того, кто бродит по вершине“. Увы! то, что г. Бунин считает вершинами,— не более, как модные „климатические станции“, куда давно проведены удобные funiculaire'ы. Там „бродят“ только туристы с бедекерами в кармане и биноклями в руках. Несомненно для них-то и вырезал г. Бунин свой стих „стилетом“ на льдине, и произошло это событие отнюдь не на высотах Гауризанкара или Эльборуса, а, наверное, где-нибудь на Пилатусе или Риги-Кульм» [29].

Брюсов не мог ошибиться насчет места создания бунинского сонета — в его домашней коллекции писем хранилась открытка Бунина из Риги-Кульм, содержавшая совершенно точные указания на источники будущего стихотворения (см. п. 16). Общая мысль сонета показалась Брюсову слишком знакомой; идея «избранности» поэзии, открытой лишь посвященным, давно превратилась в одну из расхожих идей декадентов, хотя совсем не ими она была впервые сформулирована и провозглашена. Альпийский колорит сонета Брюсов превратил в предмет насмешки, оценив стихотворение с предельной трезвостью и рационализмом.

Общий тон брюсовской рецензии не оставлял никаких сомнений, что вчерашние друзья и союзники превратились в литературных противников. Личные отношения между Брюсовым и Буниным в это время совершенно прекратились, переписка оборвалась. Наезжая в Москву, Бунин теперь избегал компаний и мест, где обычно бывал Брюсов. Появление Брюсова на одном из собраний «Среды» вызывает со стороны Бунина сердитое недоумение. 9 февраля 1903 г. он пишет Н. Д. Телешову: «Что „Среды“? Что значит присутствие на них Брюсова, этого высокомерного болвана, так нагло отделавшего меня в „Новом пути“ под фамилией „Аврелий“ (Валерий?)?» [30].

Рецензию Брюсова Бунин запомнил надолго. Кое-что он учел при стилистической правке стихотворения. В последующих изданиях изменен неловкий оборот «кто бродит на вершине», осмеянный Брюсовым. Бунин отказался также от названия «В Альпах»; приглушив локальный оттенок, он усилил общую мысль стихотворения, а в своей автобиографии, более десяти лет спустя, нашел нужным защитить свой сонет от давних упреков: «... некоторые критики уже заговорили было о моем „увлечении декадентами“ и усердно цитировали мой сонет „В Альпах”, мысль которого, в сущности, была совсем не нова,— подобна мысли того самого сонета Пушкина, где сказано: „услышишь суд глупца“ ...» (т. 9, стр. 264).

К середине 1900-х годов от прежних отношений Бунина и Брюсова мало что осталось. Взаимное предубеждение ширилось и росло, как снежный ком. Между группой «Скорпиона» и участниками «Знания» шла открытая война, и полемика «модернистов» с «реалистами» достигла высокой степени накала.

Весной 1906 г. Брюсов опубликовал статью «Карл V. Диалог о реализме в искусстве». Статья оригинально задумана: это теоретический разговор в редакции по поводу пьесы «Карл V», предложенной Автором для опубликования в журнале. Автор пьесы защищает теоретические принципы реализма, ему отвечают Издатель, Поэт, Критик и Мистик, представляющие эстетику «новых течений» и отвергающие пьесу как «не символическую», хотя за ней и признаются достоинства правдивой исторической трагедии. Позицию самого Брюсова было бы ошибочно отождествлять целиком с точкой зрения кого-либо из участников диалога; для него доля истины содержится в утверждении каждого, и это в принципе соответствовало брюсовскому философскому «плюрализму» — признанию множественности противоречивых истин (см. п. 5, примеч. 6).

Крайне жесткую и непримиримую позицию в этом споре занимает Издатель. Он весь во власти моды, и решающим аргументом для него является не столько достоинство художника само по себе, сколько его ориентация и практический успех. «Заметьте,— говорит Издатель,— что все настоящие современные художники — символисты. Все, что в современной литературе чуждо символизма,— не настоящее! Это не априорные утверждения, это показывает нам опыт. Возьмите современную русскую поэзию. Есть ли хоть один талантливый поэт, который не примкнул к нам? Или вы считаете Аполлона Коринфского, Ратгауза, Ивана Бунина, Скитальца или Тана в самом деле поэтами?» [31].

Когда-то Брюсов признал, что Бунин «хотя и *не символист*, но настоящий поэт»; десять лет спустя брюсовский Издатель превратил это утверждение в противоположное: все, что в современной литературе чуждо символизма,— не настоящее ! А поскольку Бунин — не символист, он, разумеется, не «настоящий поэт»... Столь формальная логика едва ли казалась вполне убедительной самому Брюсову, и от лица Автора, которому надлежало как-никак «защищать» реализм, он уточняет аргументацию Издателя: «Этих господ ⟨то есть Аполлона Коринфского, Ратгауза, Ивана Бунина, Скитальца и пр.— *А. Н.*⟩ я, подобно вам, истинными поэтами не считаю, но в своем рассуждении вы делаете логическую ошибку» [32] и т. д.

Иначе говоря, далеко расходясь в общих эстетических убеждениях, спорящие стороны вполне соглашаются с тем, что Иван Бунин к числу настоящих поэтов не принадлежит. Фактически это была крайняя оценка самого Брюсова, высказанная в момент, когда по отношению к Бунину он занимал позицию полного и сознательного противостояния. Брюсов тех лет по существу уравнивал реализм в поэзии с натурализмом, и эта подмена оставалась едва ли не главным оружием нападения Поэта, Критика и Мистика.

Оставляя реализму лишь неосмысленное «воспроизведение» действительности, Поэт в статье Брюсова отчуждает в исключительную монополию символизма важнейшую функцию всякого искусства — истолкование и осмысление жизни, познание глубинной сути явлений: «Реалисты не более как наблюдатели, что-то вроде фотографических аппаратов. Символисты — всегда мыслители, истолкователи жизни. Реалисты в своих произведениях оставляют вас, как и в жизни, лицом к лицу с природой. Символисты ставят между вами и природой посредствующее звено: тайну своего творчества» [33]. Характер этой «тайны» разъясняет Мистик, который видит в искусстве способ заглянуть в «иные миры», недоступные рациональному истолкованию и объяснению [34].

Брюсов в 1906 г. был далек от того, чтобы привести свою теоретическую концепцию к полному единству. Как ни парадоксально, но именно Автор, отстаивающий реализм, находит наиболее сильные аргументы и против чрезмерных притязаний символизма, и в защиту «истинных реалистов», которые, конечно, должны «заглядывать в самую глубину явлений, а не скользить взглядом по их поверхности» [35]. Общий итог брюсовского диалога заключался скорее в сближении общих принципов современного искусства, чем в разделении особых эстетических платформ, исключающих друг друга.

Последнее слово в статье Брюсова принадлежит Автору, который напоминает финское поверье, утверждающее, что назвать предмет его настоящим именем — значит заколдовать его, приобрести над ним полную власть. «Задача искусства — искать настоящие имена для предметов и явлений мира. Художник не может сделать большего, как верно воспроизвести действительность, хотя бы и в новых, фантастических сочетаниях ее элементов. Кому не довольно этого, пусть оставит искусство и ищет иного в науке, в философии, в теургии, где хочет. Старайся быть правдивым в своем творчестве — вот вечный и единый завет поэту: правдивым и в замысле своего произведения, и в его отдельных частях, и в каждом образе, и в каждом выражении. Ищи лишь этого, пытай у души своей лишь одного: где правда. А прочее все приложится тебе» [36].

Полемический трактат Брюсова заключал в себе разные точки зрения и, что существеннее, открывал возможности разных прочтений — в зависимости от того, какая из теоретических установок принимается за исходную. В эволюции самого Брюсова эта статья означала отход от крайностей субъективистской эстетики и приближение к более рациональному истолкованию отношений искусства с действительностью. В практическом плане Брюсов был на пути к более объективной и зрелой критике, характерной для нового периода его творчества.

Надо думать, что Бунин обратил внимание на брюсовский диалог о реализме в искусстве — во всяком случае, уже в июльском номере «Русской мысли» за 1906 г. он поместил стихотворение «Мистику», которое служит как бы прямым ответом одному из участников этого диалога. Бунин нисколько не сочувствовал идее, признающей реальный мир, доступный чувственному восприятию, лишь отблеском «иного мира», непостижимого разумом человеческим. И разум, и чувственное восприятие сохраняют для Бунина всю свою суверенность, надежность; как поэт, он готов на них положиться

вопреки мистическому страху перед «бездной», перед непознанным, перед таинственным.

Философию «мистика» Бунин ставит в ряд с незрелостью ребяческого ума, склонного в темноте нарушать реальные отношения вещей и приписывать простым и несомненным явлениям самые фантастические черты. Высшая мудрость поэта, по Бунину,— не в зажмуривании глаз перед неизвестным, а в бесстрашии осмысленного восприятия:

Теперь давно мистического храма
Мне жалок темный бред:
Когда идешь над бездной — надо прямо
Смотреть в лазурь и свет.

С появлением символистского журнала «Весы» (1904—1909) Брюсов получил собственную трибуну для регулярных критических выступлений. Издатели «Весов» сознавали особый характер направления своего журнала, который отталкивался как от старого консервативного лагеря в литературе («Русский вестник», «Новое время»), так и от новых сил, имевших своих выразителей в «Знании» и в отдельных социал-демократических изданиях. В каталоге журнала на 1907 г. говорилось: «„Весы“ идут своим путем между реакционными группами писателей и художников, которые до сих пор остаются чужды новым течениям в искусстве (получившим известность под именем „символизма“, „модернизма“ и т. п.), и революционными группами, полагающими, что задачей искусства может быть вечное разрушение без строительства» [37].

В действительности претензии на фактическую независимость и свободу от противоборствующих общественных сил были чистой иллюзией, и литературные чаши «Весов» резко колебались то в одну, то в другую сторону. Как ни велика была, в частности, роль Брюсова в определении журнальной позиции «Весов», эта позиция никогда не была целиком тождественна его собственной. «Устно, письменно и печатно уверяю я всех, что „Весы“ никогда не были „моим“ журналом, и никто мне не поверит,— признавался Брюсов Бальмонту.— Даже в области чисто редакционной я никогда не имел возможности делать вполне, что хотел...» [38]. Интересы отдельных участников «Скорпиона» и его издателя С. А. Полякова расходились порой достаточно далеко, и Брюсов должен был считаться с условиями, от которых зависело самое существование «Весов» как журнала. На протяжении всех пяти лет «Весы» оставались органом узкой литературной группы и были крайне чувствительны ко всему, что относилось к области группового престижа.

В поздних записях Бунин отметил особую пристрастность оценок и мнений, бытовавших на страницах этого журнала: «А как обмеривали, как обвешивали эти „Весы“! Вес „своих“ всегда оказывался огромный, вес чужих — смехотворный. Например, все участники „Знания“ назывались в „Весах“ неизменно „всероссийскими бездарностями“» (т. 9, стр. 292).

Ожесточение литературной борьбы враждующих лагерей не исчерпывало, впрочем, реальных отношений конкретных людей, за ними стоявших. Вспоминая о полемике начала века между «модернистами» и реалистами, М. Горький в статье «О пользе грамотности» (1928) все же признал, что «враги читали и знали друг друга; и если А. А. Блок писал рецензию, скажем, о Горьком, так Горький в этой рецензии находил кое-что технически-полезное для себя» [39].

То же самое Бунин мог бы сказать о рецензии Брюсова в «Весах», впервые после разрыва написанной всерьез, без привходящих полемических целей. В первом номере журнала за 1907 г. Брюсов поместил обзор новых сборников стихов, среди которых были выделены книги К. Бальмонта «Злые чары» (изд. «Золотого Руна». М., 1906) и Ив. Бунина «Стихотворения 1903—1906 гг.» (изд. т-ва «Знание». СПб., 1906). Брюсов вернулся к оценке творчества двух поэтов, рядом с которыми прошла его поэтическая молодость. За прошедшие годы Бальмонт остался для Брюсова в числе «близких», Бунин перешел в разряд «далеких». Тем не менее суд Брюсова на этот раз был достаточно объективен по отношению к обоим.

Отметив, что Бальмонт в течение целого десятилетия «царил над русской поэзией», Брюсов все же признал, что расцвет его творчества — в прошлом. Основной недо-

статок «Злых чар», по Брюсову,— «отсутствие свежести вдохновения»: «Бальмонт повторяет сам себя, свои образы, свои размеры, свои приемы, свои мысли». «Ив. Бунин во многом противоположен Бальмонту,— писал Брюсов дальше.— Насколько Бальмонт в своей поэзии „стихийно-разрешенный", настолько Бунин — строг, сосредоточен, вдумчив. У Бальмонта почти все — порыв, вдохновение, удача. Бунин берет мастерством, работой, сознательностью. По духу Бунин ближе всего к французским парнасцам, чуждым жизни и преданным своему искусству. Поэзия Бунина холодна, почти бесстрастна, но не лучше ли строгий холод, чем притворная страстность? Бунин понял особенности своего дарования, его ограниченность, и, как кажется, предпочитает быть господином у себя, чем терпеть неудачи в чужих областях. Мы, по крайней мере, ставим в особую честь Бунину (особенно принимая во внимание ту литературную группу, к которой он примыкает), что в переживаемые нами годы он не стал насиловать своей поэзии, не погнался за дешевыми лаврами политического певца, а продолжал спокойно идти своим путем».

Рецензент высоко оценил в новой книге Бунина картины природы, «зоркую вдумчивость» и «мечтательную наблюдательность» поэта. Такие стихи, как «С обрыва», «На даче», «На ущербе» («Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном...»), Брюсов отнес к «безупречным созданиям искусства». Вместе с тем он отметил и примеры неудачных, риторических строк, и «мучительные прозаизмы» Бунина, и определенную архаичность его стиха: «Стих Бунина, в лучших вещах, отличается чистотой и ясностью чеканки. Но, если можно так выразиться, это — ветхозаветный стих. Вся метрическая жизнь русского стиха последнего десятилетия (нововведения К. Бальмонта, открытия А. Белого, искания А. Блока) прошла мимо Бунина. Его стихи (по их метру) могли бы быть написаны в 70-х и 80-х годах» [40].

Кое-что существенное в поэтическом облике Бунина (хотя далеко не все) Брюсову удалось схватить верно, и его небольшая рецензия имела заметное влияние на многих, кто позднее писал о поэзии Бунина более пространно. Сам Бунин не соглашался, конечно, с определением своей поэзии как холодного мастерства, близкого французским парнасцам, и в автобиографии, не называя имени Брюсова, прямо откликнулся на его рецензию: «Бросив через некоторое время прежние клички, некоторые из писавших обо мне обратились, как я уже говорил, к диаметрально противоположным — сперва „декадент", потом „парнасец", „холодный мастер"...» (т. 9, стр. 265).

Бунин ответил также на упрек, что он в своей поэзии оставил без внимания метрическую жизнь русского стиха новейшего периода. Как показал один из исследователей, этот упрек по сути был не вполне справедлив: многие метрические нововведения современников Бунин и заметил и хорошо усвоил [41]. Сам Бунин, однако, полемизировал иначе. В одном из интервью 1912 г. он заявил: «Русская поэзия остановилась в своем развитии на Фете, Ал. Толстом. А последние пятнадцать лет представляют пустое место. Мне говорят, что форма стиха сделалась теперь совершеннее, рифма богаче, поэтические образы смелее... Все это в высшей степени спорно, почасту рискованно, а главное, искусственно и неприятно. Если сравнить того же Пушкина, „солнце русской поэзии", с существующими стихотворцами (я не буду называть имена), то... какое может быть сравнение? У кого из современных поэтов вы найдете более музыкальный стих, чем, положим, в стихотворении „Для берегов отчизны дальной", или разве встретите в русской поэзии последних лет такие смелые, мощные образы, как в пушкинском „Обвале". Что касается разнообразия размера или богатства рифмы, то и в этом отношении трудно соперничать хотя бы с Меем или Минским. Разница та, что у последних все просто и естественно, в то время как нынешние блещут надуманными стихотворными „ухабами". Мне думается, я буду прав, если скажу, что поэтический язык должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха» [42].

Бунин тем самым еще раз подтвердил, что с Брюсовым и «новыми течениями» его разделяют не внешние и случайные обстоятельства, а вся концепция развития русской поэзии — от содержания и языка до стихотворного метра. При всей своей «классичности», Бунин был современником тех самых «нынешних», с которыми спорил и поневоле оказывался в теснейших литературно-эстетических взаимоотношениях.

Несомненно, что Бунин уловил разницу между раздраженным отзывом Брюсова на его «Новые стихотворения» («Новый путь», 1903, № 1) и достаточно объективной по тону рецензией на «Стихотворения 1903—1906 гг.» («Весы», 1907, № 1). И если первый отзыв послужил поводом для прямого разрыва, то вторая рецензия (при всех несогласиях автора с рецензентом) открывала возможность для личного примирения, по крайней мере была шагом к нему.

Примирение поэтов произошло в 1910 г., когда Брюсов начал редактировать литературный отдел «Русской мысли» и первый обратился к Бунину с просьбой о сотрудничестве. С этого времени, после длительного перерыва, возобновилась переписка Бунина с Брюсовым.

В переписке последних лет уже нет былой интимности, откровенности, она носит по преимуществу деловой характер. Оба поэта стали маститыми, приобрели большой вес и авторитет в литературном мире. Последний эпизод переписки связан с подготовкой в 1915 г. «Поэзии Армении» — заветного брюсовского труда, в который он вложил огромные силы сам и к которому привлек внимание наиболее выдающихся русских поэтов того времени — А. Блока, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, Вяч. Иванова и других.

Внешнее примирение нисколько не сгладило внутренней неприязни, которую Бунин испытывал к поэзии Брюсова и ко всему направлению русского символизма, к «старшим» и «младшим», как они успели заявить о себе на протяжении двадцати лет. Задолго до революции Бунин заявил о своем неприятии «новых течений» русской поэзии; к 1917 г. многолетний процесс идейно-эстетической поляризации был фактически завершен. Это подтверждала и критика, не упускавшая случая подчеркнуть противоположные тенденции современной литературы.

В связи с выходом новых сборников Бунина и Брюсова («Господин из Сан-Франциско» и «Семь цветов радуги») Вл. Кранихфельд опубликовал в начале 1917 г. статью «Целомудрие и экспансивность», в которой еще раз сопоставил хорошо знакомые русской публике литературные имена: «Бунин... Брюсов... Что нового можно сказать об этих двух мастерах слова, с вполне установившимися писательскими физиономиями и репутациями? Что еще не сказанное можно прибавить к их оценкам, когда, по-видимому, все слова уже сказаны, все основные элементы их художественного творчества намечены и взвешены? Разве „Господин из Сан-Франциско“, предлагающий читателю ряд новых, еще неизведанных им эстетических переживаний, сулит ему в то же время и нового, еще никому не ведомого художника? Разве в „Семи цветах радуги“ перед нами не тот же хорошо нам знакомый Брюсов, со всеми его прежними достоинствами и недостатками?» [43]

Статья Вл. Кранихфельда была замечена Буниным — среди собранных им газетных вырезок есть экземпляр с его пометой [44]. Но хотя автор статьи отдавал явное предпочтение Бунину как художнику слова, последний едва ли был удовлетворен ее содержанием по существу. С Брюсовым-поэтом у Бунина были старые счеты, и он не разделял мнения, что об одном из «вождей» русского символизма «все слова уже сказаны» и к оценке его творчества уже нечего прибавить. Напротив, после выхода в свет брюсовского сборника «Семь цветов радуги», Бунин взялся за критическое перо, чтобы устроить форменный «разнос» его поэзии.

Так возникли заметки Бунина о поэзии Брюсова [45], в которых он поставил перед собой один основной вопрос: «Чем именно Брюсов положил начало своей известности, за что возведен он был в „символисты“ и новаторы, что он представлял из себя в молодости, в пору самых смелых „дерзаний“?» [46].

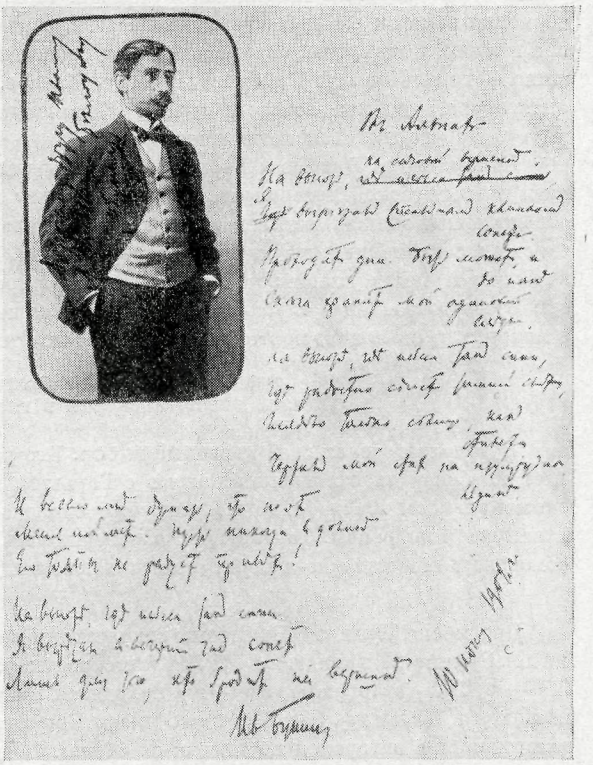
Пользуясь примененным уже им в недавние годы приемом [47], Бунин цитирует более семидесяти стихотворений Брюсова и с помощью язвительных подчеркиваний и саркастических комментариев, стремится создать впечатление, что творчество поэта полно претенциозности и выспренности, пристрастия к саморекламе и «демонической» изысканности. Он обрушивается на брюсовскую эротику, на излюбленное им сочетание мотивов любовной страсти и смерти. Без всякой пощады Бунин выворачивает наизнанку красивости брюсовского стиля, дешифрует «магию слов» и обнаруживает за ней «пустословие», банальность, дурной литературный вкус. Характерен у Бунина прием

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ БУНИНА «В АЛЬПАХ»

10 ноября 1902 г.

Лист с фотографией Бунина из альбома, подаренного членами «Среды» И. А. Белоусову к двадцатилетию его литературной деятельности (1902)

Центральный архив литературы и искусства, Москва



цитирования. Выбирая из стихотворения разрозненные строки, он сознательно разрушает «музыку» стиха, тот эмоциональный ореол, который у символистов нередко преобладает над прямым значением слова.

Свои заметки Бунин строит по преимуществу на примерах из ранней поэзии Брюсова, но он стремится вместе с тем вынести приговор вообще искусству символизма, каким оно сложилось еще в 1890-х годах. «Точно ли это искусство — символизм? — задавался вопросом Бунин. — Точно ли это „искусство" было „новым искусством" даже в ту пору, в девяностых годах? Отчасти — да: никогда еще в русскую литературу не входило столько „французского", бульварного, как тогда. Но и только» [48].

Возникает вопрос: прав ли был Бунин в своем суде? И да, и нет. Он был прав как поэт безупречного литературного вкуса, знавший вес строки и цену отдельного слова и умевший отличать действительную поэзию от изощренных стихотворных имитаций. Он был прав, находя в поэзии символистов проявление болезненного кризиса эгоцентрически настроенной личности, демонстративный отказ от моральных и эстетических норм классического искусства.

Бунин, однако, не оценил и не мог объективно оценить общую историческую тенденцию развития наиболее крупных поэтов-символистов, как и значение всего новейшего этапа в истории русской литературы, связанного с буржуазно-демократической перестройкой русского общества и русской культуры в конце XIX — начале XX в. Бунин последовательно игнорировал то, что составляло сильную сторону исторического сознания и художественной системы Брюсова, Белого, Блока и что определяло существенные черты их поэзии. Характерно, что в своих заметках о Брюсове Бунин полностью обошел его стихи о современности, все то, что связывало Брюсова с настоящим и будущим России, а не с болезненными настроениями европейского декадентства «конца века».

В бурном событиями 1917 г. Бунин с возрастающей враждебностью оценивает представителей разных флангов русской литературы, резко отталкиваясь и от своих вче-

рашних литературных союзников, и от своих давних противников-символистов. Среди черновых заметок о Брюсове сохранилась выразительная бунинская запись, обращенная и к тем, и к другим: «Оторванность от жизни, незнание ее, книжность, литературщина — гибель от нее: Бальмонт, Брюсов, Иванов, Горький, Андреев. И это „новая" литература, „добыча золотого руна"! Копиисты, архивариусы! Подражание друг другу. Да что же! Так легче писать...» [49]

Долгое время Брюсов и Горький олицетворяли для Бунина противоборствующие рати новой русской литературы, разные по цвету литературные знамена. Теперь все общественные знаки сместились, и Бунин сознательно объединяет несоединимые фигуры своих современников в один литературный ряд. В момент разлома «новой» русской литературы, когда уже не эстетика, а политика определяла дальнейшие пути каждого, сам Бунин оказался в глубоком одиночестве, общественном и личном. И опять, как в молодости, он мог бы повторить строки своих стихов:

И один я в поле, и отважно
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...

Бунин сам сделал свой конечный выбор. Его разрыв с Брюсовым был подготовлен всей историей их отношений. Разрыв с Горьким, вызванный глубочайшим политическим кризисом 1917—1918 гг., усугубил одиночество, в котором Бунин оказался накануне эмиграции. Так логически завершилась сложная эволюция Бунина между основными общественно-литературными полюсами дооктябрьской поры.

Переписка Бунина с Брюсовым сохранилась неполностью. Из 30 дошедших до нас писем Бунина 28 хранятся в ИРЛИ (автографы; ф. 444, ед. хр. 5), 2 письма (п. 34 и 37) — в ГБЛ (автографы; здесь же находятся машинописные копии всех писем, хранящихся в ИРЛИ; ф. 386. 79.11). 16 писем Брюсова хранятся в ЦГАЛИ (автографы и машинопись с авторской подписью; ф. 44, оп. 1, ед. хр. 65); черновики трех из этих писем — 5, 10 (две редакции) и 33, а также авторская копия п. 36 — находятся в ГБЛ (ф. 386.70.13). Телеграмма Брюсова Бунину (п. 44) хранится в ГМТ (№ 968).

Из 47 известных писем 18 были опубликованы в разных изданиях (с неточностями): четыре письма Бунина (4, 6, 25, 27) и три письма Брюсова (10, 38, 45) — «Литературная Россия», 1963, № 51, 20 декабря; десять писем Брюсова (2, 3, 5, 7, 9, 26, 32, 33, 36, 47) — сб. «Брюсовские чтения 1963 года» (Ереван, 1964); п. 44 (телеграмма) и отрывок из заметок Бунина о стихотворениях Брюсова процитированы в статье С. Л. Гольдина (см. примеч. 1).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Статья С. Л. Гольдина «К вопросу о литературных связях В. Брюсова и И. Бунина» впервые ввела в оборот некоторые выдержки из их неопубликованной переписки, а также поздний отзыв Бунина о поэзии Брюсова, имеющийся в ГМТ («Брюсовские чтения 1962 года». Ереван, 1963, стр. 178—179). Однако фактическая история отношений Бунина и Брюсова представлена в статье крайне упрощенно, с досадными искажениями, без учета основных материалов, относящихся к теме.

[2] Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 262. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте, с указанием только тома и страницы.

[3] Валерий Брюсов. Автобиография. В кн.: «Русская литература XX века». 1890—1910. Под ред. С. А. Венгерова, т. 1. М., 1914, стр. 110.

[4] Бунин. Собр. соч. 1915, т. 6, стр. 328.

[5] Валерий Брюсов. Дневники 1891—1910. М., изд-во М. и С. Сабашниковых, 1927, стр. 54. Далее при ссылках: «Дневники».

[6] Там же, стр. 58.

[7] См.: «Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову. 1894—1896». (К истории раннего символизма). М., 1927, стр. 48.

[8] Валерий Брюсов. О искусстве. М., 1899, стр. 19—20.

[9] Там же, стр. 23.

[10] М. Горький. Литературные заметки. Стихи К. Бальмонта и В. Брюсова.— «Нижегородский листок», 1900, № 313, 14 ноября; Александр Блок. Собр. соч., т. 8. М.—Л., 1963, стр. 39.

[11] «Дневники», стр. 74. См. также п. 3 и 4.

[12] В. Я. Брюсов. Детские и юношеские воспоминания. Примеч. Н. С. Ашукина.— «Новый мир», 1926, № 12, стр. 120.
[13] «Дневники», стр. 80.
[14] Каталог книгоиздательства «Скорпион». М., 1902, стр. 6.
[15] «Дневники», стр. 90.
[16] Каталог книгоиздательства «Скорпион». М., 1902, стр. 7.
[17] Александр Блок. Собр. соч., т. 5. М.—Л., 1962, стр. 141.
[18] Эта строфа, как и ряд других, была позднее исключена Буниным. Стихотворение «На распутье» было особо выделено Горьким при первом знакомстве со сборником «Листопад»: «Не скрою,— писал он Бунину,— мне хочется видеть в ваших стихах больше таких звуков, как в „Витязе", да, но — „всякому свое, а наибольшая тому честь, кто во всем весь"» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 19). Безосновательное предположение, будто Горький имел здесь в виду стихотворение Скитальца «Рыцарь», где «звучат ноты революционного протеста», высказано в комментариях Ф. М. Иоффе к «Переписке А. М. Горького и И. А. Бунина» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 98). Ту же ошибку повторил в примечаниях к бунинским сочинениям О. Михайлов, писавший, что, говоря о стихотворении «Витязь», Горький имел в виду стихотворение Скитальца «Рыцарь», «где ярко звучат революционные мотивы» (см. Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 510).
[19] «Дневники», стр. 91. В дальнейшем Горький отказался от участия в альманахе.
[20] См. примеч. к п. 33.
[21] «Дневники», стр. 106.
[22] См. настоящ. том, кн. 2, «Сводный обзор».
[23] Сергей Глаголь. Поэт русского пейзажа (Иван Бунин. «Листопад». Стихотворения).— «Курьер», 1901, № 315, 14 ноября.
[24] Валерий Брюсов. Новое открытие в стихосложении.— «Русское слово», 1901, № 315, 15 ноября.
[25] «Новости дня», 1901, № 6620, 16 ноября.
[26] Валерий Брюсов. Изучение стихосложения продолжается (письмо в редакцию).— «Русское слово», 1901, № 317, 17 ноября.
[27] «Дневники», стр. 108.
[28] «Библиотека Валерия Брюсова». Сообщение В. Пуришевой.— «Лит. наследство», т. 27-28, стр. 673.
[29] «Новый путь», 1903, № 1, стр. 193—194.
[30] См. настоящ. кн., стр. 552.
[31] Валерий Брюсов. Карл V. Диалог о реализме в искусстве.— «Золотое Руно», 1906, № 4, стр. 62.
[32] Там же.
[33] Там же, стр. 63.
[34] Там же, стр. 65.
[35] Там же, стр. 63.
[36] Там же, стр. 66—67.
[37] «Весы» — «Скорпион». Каталог № 4. М., 1907, стр. 3.
[38] Из письма к К. Д. Бальмонту (1909).— В кн.: Валерий Брюсов. Избранные стихи. М.—Л., 1933, стр. 136.
[39] Горький, т. 24, стр. 323—324.
[40] Валерий Брюсов. Новые сборники стихов.— «Весы», 1907, № 1, стр. 69—72.
[41] См. Б. О. Костелянец. Иван Бунин — поэт.— В кн.: Иван Бунин. Стихотворения. Малая серия «Библиотеки поэта». Л., 1961, стр. 64—70.
[42] «Московская газета», 1912, № 217, 22 октября. В это время Бунин мог вернуться к полемике с Брюсовым в связи с выходом его книги статей «Далекие и близкие» (М., 1912), где была перепечатана рецензия из «Весов» на бунинские стихотворения. Это интервью Бунина перепечатано нами в журн. «Новый мир» (1965, № 10, стр. 226—227); вошло также в т. 9 (стр. 538—540).
[43] Вл. Кранихфельд. Целомудрие и экспансивность.— «Киевская мысль», 1917, 4 января.
[44] ГМТ.
[45] Беловой автограф этих заметок и черновые наброски к ним хранятся в ГМТ, № 984, л. 1—11, № 971, л. 1—5, без даты (см. о них: настоящ. том, кн. 2, «Сводный обзор»). Основным источником для заметок послужило трехтомное собрание стихотворений Брюсова «Пути и перепутья» (тт. I—III. М., «Скорпион», 1908—1909). В тексте рукописи упоминается также книга Брюсова «Семь цветов радуги», изданная в 1916 г. Заметки Бунина могли быть написаны, таким образом, не ранее 1916 г. и не позже мая 1918 г., когда Бунин выехал из Москвы на юг. В ГМТ рукопись поступила из собрания К. П. Пушешниковой, следовательно, она относится к той части бунинского архива, которая была оставлена им в Москве.

Судя по содержанию бунинской рукописи, мы склонны отнести ее ко второй половине 1917 — началу 1918 г., когда Бунин был особенно ожесточен. На оборотной стороне одного из листов с черновыми заметками о стихотворениях Брюсова Бунин выписал названия собственных стихотворений с их датами. Вполне возможно, что эта запись

связана с подготовкой им своих стихотворений для собрания сочинений в издательстве «Парус», которым он занимался с лета 1917 г. и до отъезда из Москвы весной 1918 г.

[46] ГМТ, № 984.

[47] См., например, отзыв «О сочинениях Городецкого» (настоящ. кн., стр. 340—349).

[48] ГМТ, № 984.

[49] ГМТ, № 971. Эта запись сделана на отдельном листе, под общим заглавием «Лекция». Можно предположить, что критические заметки о Брюсове являются частью разработки для этой «лекции», хотя не исключено, что Буниным была задумана и статья на эту тему.

1. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Москва. После 16 декабря 1895 г.⟩

Валерий Яковлевич! Заезжал к вам, намереваясь поговорить о поездке к Бальмонту — не надо бояться сырой погоды. Думал даже, что поедем сегодня. Не зайдете ли ко мне завтра утром пораньше?

Ваш Ив. Бунин

Датируется по записи Брюсова от 16 декабря 1895 г.: «...в среду заходил ко мне с Бальмонтом Бунин, но не застал меня...» («Дневники», стр. 23). Через день-два они снова были у Брюсова («Материалы», стр. 55), после чего и могло быть написано это письмо.

2. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва. 18 декабря 1898 г.⟩

Многоуважаемый Иван Алексеевич!

Послал я вам по этому же адресу мои книжки [1],— надеюсь, они дошли до вас. Не откажитесь посетить нас в Москве, мы с женой [2] будем в самом деле «очень» рады повидать вас. Поговорим о поэзии новой и старой и вечно единой. Загляните!

Искренно ваш Валерий Брюсов

Цветной бульвар, дом Брюсовых, кварт. № 6.
18 дек. 98

[1] Вероятно, это были последние к тому времени книги Брюсова: «Chefs d'oeuvre» (изд. 2, 1896) и «Me eum esse» (1897).

[2] Жена Брюсова Иоанна Матвеевна (урожд. Рунт). Их свадьба состоялась в сентябре 1897 г.

3. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 21 ф⟨евраля 18⟩ 99

Многоуважаемый Иван Алексеевич!

Почему вы не откликнетесь? Если вам не удалось устроить моих стихов в газете, неужели же это важно! Особенно мне, в жизнь свою не напечатавшему в журналах ни строки. Хотелось бы, чтобы вы прислали весть о себе. С радостью послал бы вам при этом письме новые стихи, но их нет. Совсем углубился я в историю, и «лира моя молчит» вот уже несколько недель.

Едете ли вы в Тихий океан? [1]

Искренно «ваш» Валерий Брюсов

Предыдущее письмо Брюсова, посланное в Одессу вместе со стихами для «Южного обозрения», не дошло до нас. Об этих стихах см. п. 4.

[1] План поездки в страны Индийского и Тихого океана Бунин осуществил только зимой 1910/11 гг., и то не в полной мере («Материалы», стр. 153—159).

4. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Одесса⟩ 23 февраля ⟨18⟩ 99 г.

Уважаемый Валерий Яковлевич!

Я молчал вовсе не из-за стихов, а просто потому, что ленив писать — право ведь писать письма одно из самых трудных искусств, особенно, если хочется поговорить, а не выразить только свое «почтение». Да и вообще я ленился это время. Очень часто у нас наступает совершенное лето, и я по целым дням шатаюсь в гавани. Относительно Тихого океана еще ничего не знаю — больно уж много денег надо. Но все-таки куда-нибудь уеду.

Стихи ваши напечатаны недели две тому назад, и я приказал выслать вам несколько экз⟨емпляров⟩ того номера, где они были [1]. Но очевидно наша контора опять поступила по-свински, что очень нередко с нею случается. Завтра зайду и подыму скандал. Пока же не сердитесь на меня за это, равно как и за то, что между стихотворениями вместо цифр I, II и т. д. поставлены * * *. Это опять не моя вина. Пожалуйста, пришлите что-нибудь еще.

Посылаю вам «Гайавату» [2]. Улучите свободное время и прочтите. Мне хочется слышать ваше мнение. Хоть вы и не можете сравнить с подлинником, но думаю, что почуете, чувствуется ли запах первобытных лесов или нет.

Напишите мне об этом да и вообще, пожалуйста, не забывайте меня хоть изредка письмами.

Кланяюсь вашей жене и крепко жму вашу руку.

Ваш Ив. Бунин

Ответ на п. 3.

[1] Четыре стихотворения Брюсова под общим заглавием: «Картинки Крыма. Светопись»: «Волны взбегают и пенятся...», «Звезда затеплилась стыдливо...», «У перекрестка двух дорог...», «Где подступает к морю сад...» («Южное обозрение», 1899, № 727, 14 февраля). Брюсов заметил в дневнике: «Стихи, посланные мною Бунину, напечатаны (варварски) в „Южном обозрении“ № 727. Конечно, газета пойдет на разные домашние нужды, и если я сам решаюсь там печатать, то только ради того, чтобы быть где-нибудь напечатанным» (март 1899 г.— «Дневники», стр. 62).

[2] Брюсову, по всей вероятности, был послан экземпляр третьего издания «Песни о Гайавате» (М., изд. магазина «Книжное дело», 1899).

5. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 28 марта ⟨18⟩ 99

Привет!

Утренним солнцем сверкающие крыши, шумящие ручьи, полные лужи, в которых проходят облака... Вы не любите городской весны, а моим раздумьям она ближе, чем грязь в деревне и голые сучья обесснеженного леса. Мы мало наблюдаем город, мы в нем только живем и почему-то называем природой только дорожки в саду, словно не природа камни тротуаров, узкие дали улиц и светлое небо с очертаньями крыш. Когда-нибудь город будет таким, как я мечтаю, в дни отдаленные, в дни жизни, преисполненной восторгом. Тогда найдут и узнают всю красоту телеграфных проволок, стройных стен и железных решеток. Вы уезжаете на Тихий океан [1], а мне бы хотелось поехать в Лондон или Нью-Йорк, хотя и они лишь смутные проблески того, что я жду.

Был я на днях опять в Петербурге, опять видел много поэтов, очень много, слушал сплетни, тоже много [2]. Поэты почему-то ненавидят один другого. Для меня непонятно, как возможно поэзию одного любить, другого отрицать совсем, поклоняться Тютчеву [3] и смеяться над Некра-

совым [4] или наоборот, говорить, что Фет бессмыслен [5]. Не понимать — мне страшно и горько. Ведь тот, кто писал, любил это,— почему же я не могу любить. Осуждая, тем самым мы ограничиваем свою душу. Есть только один храм, где можно молиться,— пантеон, храм всем богам, и дню и ночи, и Митре и Адонису, Христу и Дьяволу. «Я» это такое средоточие, где все различия гаснут, все пределы примиряются [6].

Что до «Гайаваты», то не получал ее. И своих стихов тоже. Думаю, они затерялись на почте, ибо видел вашу книгу у Саводника [7]. Вы предлагали прислать вам еще что-нибудь, но мне почти нечего выбрать, что подошло бы. Особенно потому, что я едва ли не совсем отказался от размеров. Убеждаюсь все больше, что наш тонический стих — излишние путы, что звучность возможна и без него. Убеждаюсь еще, что тонический размер нам чужой, несвойственный; в нашей народной поэзии нет этого утомительного чередования ударений. Вот почему прилагаю здесь только переводы, может быть, вы что-нибудь выберете. Имя Верлена вам знакомо [8]; Роденбах, недавно умерший бельгийский поэт, о котором многие из наших журналов поместили заметки сочувственные [9]; Мореас — основатель школы, желающий возвращения в поэзии к заветам XVII в. [10]; Эверс — немецкий поэт-мистик [11]; перевод из Ириска де Ландель [12] в свое время был мне запрещен цензурой,— и подлинник и перевод писаны небрежно, но меня прельстили некоторые отдельные выражения.

Les hommes ne sont pas frères?
Alors, ils sont ennemis! *

Ваш душою Валерий Брюсов

Ответ на п. 4.

[1] См. примеч. 1 к п. 3.

[2] Брюсов пробыл в Петербурге с 17 по 22 марта 1899 г. и почти все это время провел с Бальмонтом. Он дважды посетил Ивана Коневского (И. И. Ореуса), побывал у П. П. Перцова; 18 марта Бальмонт устроил для него вечер «с приглашением всяких знаменитостей», а на «пятнице» у Случевского (19 марта) знакомство Брюсова с петербургским «миром поэтов» продолжилось — там он встретил К. М. Фофанова, М. А. Лохвицкую, О. М. Чюмину, П. С. Соловьеву (Allegro), Ф. К. Сологуба, А. А. Коринфского и др. («Дневники», стр. 63—67).

[3] Поэзии Тютчева Брюсов «поклонялся» сам, и тютчевская тема была одной из основных в его литературных исследованиях. После первой своей работы о Тютчеве («Русский архив», 1898, № 11 — подробнее см. примеч. 1 к п. 10) Брюсов опубликовал в том же журнале статьи: «По поводу нового издания сочинений Тютчева» (1900. № 3), «Кн. Вяземский и Тютчев» (1903, № 6) и большой биографический очерк «Тютчев. Летопись его жизни» (1903, № 11 и 12; 1906, № 10). Кроме того, Брюсову принадлежат полемическая статья «Легенда о Тютчеве» («Новый путь», 1903, № 11), а также критико-биографические очерки в сборнике «Портреты русских писателей» (М., 1906) и в «Полном собрании сочинений Ф. И. Тютчева» (ред. П. В. Быкова. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1911).

[4] В отличие от многих символистов Брюсов не склонен был отрицать художественное значение поэзии Некрасова, хотя далеко не все в ней он безоговорочно принимал. Свое отношение к Некрасову Брюсов высказал в заметке «Некрасов и Тютчев» («Русский архив», 1900, № 2), в специальной анкете о Некрасове («Новости дня», 1902, № 7023, 27 декабря; см. настоящ. кн., стр. 359) и в юбилейной заметке «По поводу 25-летия со дня смерти Н. А. Некрасова» («Русский архив», 1903, № 1).

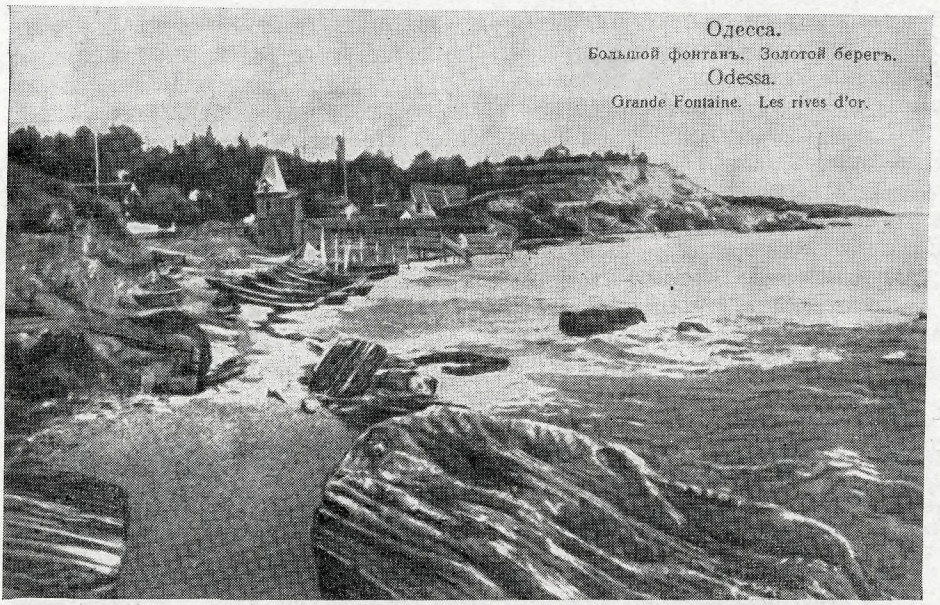
[5] Брюсов рассматривал Фета как прямого предшественника русских символистов. В 1902 г., к 10-летию со дня смерти Фета Брюсов прочитал публичную лекцию о его поэзии: «Искусство или жизнь» («Мир искусства», 1903, № 1—2, под заглавием «О Фете»).

[6] Брюсов почти дословно повторяет мысль, развитую им в письме к М. В. Самыгину (Марку Криницкому) и перенесенную в дневниковые записи февраля 1899 г. (см. «Дневники», стр. 61).

[7] Владимир Федорович *Саводник* (1874—1940) — историк литературы; начинал как поэт, в 1898 г. выпустил в Москве первую книгу стихотворений. Учился с Брюсо-

*Как? Так люди уж не братья?
О, тогда они — враги! (*франц.*).

(Перевод В. Брюсова)



ОДЕССА. БОЛЬШОЙ ФОНТАН
Открытка. 1910-е годы
Собрание А. К. Бабореко, Москва

вым на одном курсе исторического отделения Московского университета. В конце 1890-х — начале 1900-х годов был близок к группе московских символистов.

[8] Поль *Верлен* (1844—1896) оказал большое влияние на Брюсова. К концу 1890-х годов в русском переводе вышли два сборника его стихов: П. Верлен. Романсы без слов. Пер. Валерия Брюсова. М., 1894; Д. Ратгауз. Переводы из Верлена. СПб., 1896. Брюсов послал Бунину перевод «Из Верлена» — «Небо над этою крышей...» («Южное обозрение», 1899, № 818, 24 мая).

[9] Жорж *Роденбах* (1855—1898) — бельгийский поэт, драматург и романист; принадлежал к группе мистиков-символистов. Брюсовский перевод его стихотворения «Болезнь» напечатан в той же газете (1899, № 814, 20 мая).

[10] Жан *Мореас* (псевдоним Жана Пападиамандопуло, 1856—1910) — поэт и теоретик французского символизма. На его смерть Брюсов откликнулся некрологом в «Русской мысли» (1910, № 5). Перевод «Из Мореаса» («Я родился у ропотного моря...») см.: «Южное обозрение», 1899, № 815, 21 мая.

[11] Эрнест Эдуард *Эверс* (1844—1921) — немецкий поэт и прозаик. Перевод «Из Эверса» («Я дышу твоей душою...») см. там же, № 815, 21 мая.

[12] Приска де Ландель — псевдоним французской поэтессы Луизы Бургуан. Из ее сборника «Joies et tristesses» («Радости и печали».— Р., 1895) Брюсов перевел несколько стихотворений, в том числе — «Нищие» (там же, 1899, № 788, 18 апреля). В конце письма приведены две строки из этого стихотворения (о его цензурной судьбе см. выше, вступит. статья, стр. 423, а также п. 6).

6. БУНИН — БРЮСОВУ

18 апр⟨еля 18⟩ 99 г. Одесса

Позравляю вас с праздником, дорогой Валерий Яковлевич, и прошу извинения за поздний ответ: уезжал в Крым, чтобы проехаться и увидеть Чехова, Горького и еще некоторых знакомых — петербургских, съехавшихся в Ялту [1]. Надежды на Тихий океан все более уходят от меня — до следующего года, должно быть,— так что я хоть Крымом себя утешаю. Поеду еще в Константинополь [2]. Понимаю прелесть весны и в городе, но в горах, на море, в степи, право, лучше — для меня, по крайней мере.

Уж слишком часто оскорбляет город — грязью, толпой и т. д. А я знаю,— будут люди счастливы и в городах, и вообще часто думаю,— как прекрасна жизнь и как полна и хороша она будет для тех наших потомков, которые сумеют лучше нашего понять это и устроить жизнь!

Спасибо за стихи — все напечатаем. Посылаю вам то, что было. В «Нищих» цензура выкинула строфу — так досадно! [3] Стихотворение очень хорошее, как и все почти (за исключением отдельных *выражений*) из присланного вами. Дай вам ⟨бог⟩ успеха и хорошего труда, дорогой Валерий Яковлевич,— вы истинно любите искусство, и уже одно это свидетельствует о том, что вам надо работать!

Пожалуйста, пишите. Где будете летом? Мне пока адресуйте письма в Одессу.

Поклон вашей жене. Ваш Ив. Бунин

Ответ на п. 5.

[1] Бунин выехал из Одессы в Ялту 6 апреля и возвратился обратно 14 апреля 1899 г. («Материалы», стр. 73—74). С Чеховым Бунин познакомился за несколько лет до этого в Москве, однако дружеское сближение между ними произошло как раз весной 1899 г. (см. «Лит. наследство», т. 68, стр. 395). О встрече с Горьким и другими писателями Бунин упомянул в письме к Телешову 23 апреля 1899 г. (см. настоящ. кн., стр. 489).

[2] Поездка в Константинополь летом 1899 г. не состоялась.

[3] О цензурных изъятиях в стихотворении «Нищие» см. выше — вступит. статья, стр. 423. Во втором издании брюсовской антологии французских поэтов оно напечатано полностью с некоторыми поправками и под новым заглавием — «Состраданье» (см. Валерий Брюсов. Полное собр. соч. и переводов, т. XXI. СПб., изд-во «Сирин», 1913, стр. 205). Вероятно, Бунин послал Брюсову вырезку с этим стихотворением; остальные переводы Брюсова были напечатаны позднее (см. п. 5 и примеч. 8—12 к нему).

7. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва. Конец апреля 1899 г.⟩

Многоуважаемый Иван Алексеевич!

Благодарю за присылку вырезки. Радуюсь, что даете приют моим гонимым стихам. Есть у меня кое-что, о чем хотел бы поговорить с вами, но не располагаю даже получасом для письма. Задумал я сдавать экзамен в университет («государственные испытания») [1], но оказалось, что знания мои очень ограничены. Принужден поэтому целые дни с утра до поздней ночи проводить за лекциями и книгами [2]. Чувствую себя погребаемым и применяю к себе стих Ореуса «Рыхло, сыро сыпется песок...» [3]

Ваш душою Валерий Брюсов

Ответ на п. 6. Датируется по связи с этим письмом и по дневникам Брюсова.

[1] Брюсов поступил на историко-филологический факультет Московского ун-та осенью 1893 г. В 1895 г. он перешел с классического отделения на историческое. Весной 1899 г., когда курс Брюсова должен был держать экзамены, в Московском университете продолжались студенческие волнения, вызванные репрессиями против студентов Петербургского университета, а также «Временными мерами», согласно которым провинившихся студентов власти могли отдавать в солдаты. Всем студентам, желавшим держать «государственные испытания», пришлось подать об этом специальные ходатайства.

[2] Тяжелая пора подготовки к выпускным экзаменам подробно описана в «Дневниках» Брюсова (стр. 68—71).

[3] Иван Иванович *Ореус* (псевд.— Иван Коневской; 1877—1901) — поэт-символист, один из ближайших поэтических соратников Брюсова. Брюсову принадлежит предисловие к Посмертному собранию сочинений Ив. Коневского (М., «Скорпион», 1904), где дана высокая оценка его личности и творчеству. Бунин вынес другое впечатление об этом поэте: «Коневской так и остался никому не известен. Брюсов иначе не называл его, как гением. А на деле это был просто больной и несчастный юноша. Вытертая студенческая тужурка, худые и совершенно деревянные плечи, испитое лицо, стоячие белесые глаза, рыжеватые слабые волосы. Говорил он мало и крайне невразумительно. Писал что-то очень напряженное, но еще более невразумительное» (т. 9, стр. 286).

8. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Одесса⟩ 25.V.99

Дорогой Валерий Яковлевич.

Простите, что молчал. Разные дела и настроение скверное[1]. Страшно одинока и непонятна жизнь. Горячо хотелось бы поговорить, но плохо умею в письмах. Пожалуйста, не забывайте меня — пишите. Еду в деревню: Почт. ст. *Захарьевка*, Херсонской губ. Тираспольского у., мне[2]. Буду думать думы на степных могилах.

И. Б.

Сердечный привет вашей жене.

Ответ на п. 7.

[1] Бунин остро переживал разлад с женой, тяготился обстановкой и своим положением в доме Н. П. Цакни.

[2] Лето 1899 г. Бунин провел в имении Н. П. Цакни Краснополье (см. настоящ. кн., стр. 491).

9. БРЮСОВ — БУНИНУ

29 июня ⟨18⟩ 99. Алупка

Привет! привет!

Вот я опять блуждаю у моря, изучаю размеры и созвучия волн, пишу свои светописные картинки — и оживаю, оживаю!..[1] Боюсь очень наскучить, повторяясь, но хочется еще и еще жаловаться на тот месяц. После этих университетских «испытаний» я сюда приехал совсем не живой. Глаза мои так привыкли к печати букв, к цифрам, к страницам,— что зелень, и горы, и простор моря мне были невыносимы, слишком крупны, слишком ярки. Но мучительней было чувствовать, что какие-то отвратительные склады мыслей вползли в мой ум и живут там...

Не знаю, как относитесь вы к современной науке, но я эту самодовольную, эту самоуверенную науку — ненавижу, презираю. Придумывать способы, свои «научные методы», чтобы отнять у мысли всякую самодеятельность, чтобы всех сравнять и зоркость гения заменить счислительной машиной. Нет! верю, что завоевания знания совершены не так, что пути к истине — иные! О эти человечки, эти муравьи, ползающие по намеченным дорожкам, совершающие два шага и хвалящиеся, что они двигают науку. Нет, это не движение вперед, эти жалкие, робкие муравьи, не смеющие сойти с своей тропинки — не создатели ве́дения, хотя бы их и именовали учеными. Быть может, я не хочу видеть желанных исключений, несправедлив к некоторым,— но ведь все эти думы слишком глубоко коснулись моей души.

Месяц, целый месяц изучал я какие-то литографированные записки, изучал нередко то, что искренно считал просто детской глупостью. И эти глупости, сказанные самодовольно, торжественным тоном откровения, я выучивал и после пересказывал, ибо не спорить же мне было перед экзаменаторами[2]. Я чувствовал себя, как у позорного столба на площади. А меня снисходительно хвалили и мне улыбались. О стыд, стыд! Зачем в моей власти сейчас не две, не три жизни. Если бы я мог, все так же отдаваясь поэзии, успеть сказать им о их науке все то, что я уже знаю, и раскрыть иное, что мне еще смутно, обличить до конца это пошлое всемирное лицемерие! Зачем никто из нас не может сделать всего, на что он способен и чего он хотел бы! Почему все мы ниже самих себя! Бескрылые стремления! и их удел — смех и презрение...

Простите, Иван Алексеевич, я еще не могу писать умереннее. И все мои прозаические сообщения отложу на несколько дней. Вам мои сердечные пожелания...

Ваш Валерий Брюсов

[1] Сдав выпускные экзамены, Брюсов в начале июня 1899 г. выехал с женой в Крым, «Как все повторения, наша вторая поездка в Алупку во многом нас разочаровала ⟨...⟩ Новым наслаждением в этом году было только купание. Это сладко — отдаться морю» («Дневники», стр. 71).

10. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 11 авг⟨уста 18⟩99

Мне странно писать к вам, уважаемый Иван Алексеевич, хотя я и часто возвращаюсь к вам в мыслях: для меня вы как призрак. Мы виделись мало, ваш образ дополнил я по воспоминаниям, по рассказам, вероятно и воображением. Говоря с вами, не убежден, что вы слышите мой голос.

Очень много значит, с какой маской на лице вышли мы в первый раз к людям. Мы много лжем, не потому чтобы хотели обмануть, а лишь потому, что надо сохранять однажды принятую маску. Надо! Люди не любят, чтобы ее нарушали, и не легко это. И я стиснут той колеей, в которой стою, иду вперед, как лошадь с наглазниками. Но есть во мне по крайней мере сознание позорности этого. А мыслей и сочувствий своих не будет мне стыдно ни перед кем.

Все это говорю вот к чему. За последние годы раздумывал я о разных вещах и свои думы по детской привычке записывал. Так составились у меня маленькие раздумья-статейки. Я их не печатал (исключение: заметка о Тютчеве [1]), во-первых, потому, что в большинстве журналов на меня смотрели слишком косо, а во-вторых, именно потому, что они слишком противоречили принятому мной на себя облику. Теперь я отбрасываю этот рабский страх, вы же, как кажется, не боитесь моего имени. Потому решаюсь предложить вам эти мои статьи, если для газеты могут подойти статьи не совсем мимоидущего, злободневного содержания. Они очень маленькие, их очень много, для примера назову вам содержание некоторых:

О последних статьях Чернышевского (при его переводе Вебера) [2].

О новейших французских поэтах [3] (Гриффин [4], Ренье [5], Верхарн [6], Ретте [7], Мерриль [8]).

О психодраме («род» поэзии, у нас неизвестный, но у которого есть блестящие представители в Германии, в Англии, у скандинавов...) [9].

О Ироде (греческий поэт александрийского периода, произведения которого так жизненны, словно писаны современным реалистом) [10].

О «Энеиде» и ее русских переводах [11].

Если *в основе* против моих статей вы ничего не имеете, скажите, я пришлю их вам для просмотра.— Пока же посылаю вам четыре новых «Картинки Крыма». Если найдете их «удобными» и напечатаете, не откажитесь сделать примечание, что «первые четыре картинки были помещены в № 727»: этим отчасти искупится ошибка типографии, смешавшей все те ⟨четыре стихотворения в⟩* одно [12].

Ваш Валерий Брюсов

По всей вероятности ответ на п. 8, полученное с двухмесячным опозданием, после возвращения Брюсова из Крыма в конце июля — начале августа 1899 г. Среди бумаг Брюсова сохранились два черновика письма,— один без даты, другой датирован 8 августа 1899 г. (ГБЛ, ф. 386. 70.13).

---

* *Конец письма оборван, недостающие слова восстановлены по черновику. — Ред.*

[1] «О собрании сочинений Ф. Тютчева».— «Русский архив», 1898, № 11. Брюсов выделил эту заметку как одну из удач минувшего 1898 г.: «Осенняя случайная удача с моей статьей о Тютчеве. Ведь после детских пустяков это моя первая статья, появившаяся в журнале» («Дневники», стр. 74).

[2] Последние статьи Н. Г. Чернышевского, приложенные к его переводу «Всеобщей истории» Г. Вебера, появились в 1885—1887 гг. При подготовке к выпускным экзаменам Брюсов штудировал это издание, тогда же у него возник замысел работы о последних статьях Чернышевского. В описаниях неизданного литературного наследия и библиографии опубликованных произведений Брюсова указаний на эту работу нет (См. А. Ильинский. Литературное наследство Валерия Брюсова.— «Лит. наследство», т. 27-28, стр. 457—504; Библиография В. Брюсова. Кн-во «Скорпион». М., 1913).

[3] Заметки и размышления о новейших французских поэтах накапливаются у Брюсова с середины 1890-х годов, когда он приступил к переводам из Верлена, Малларме и др. Мысль о статье, посвященной этим поэтам, не была тогда реализована Брюсовым, но сама тема постоянно занимала его, и он продолжал накапливать материалы. Итогом этой работы (переводчика и критика одновременно) стала антология «Французские лирики XIX века» (СПб., изд-во «Пантеон», 1909), составленная из переводов Брюсова, с его вступительным очерком и био-библиографическими примечаниями.

[4] Франсис *Вьелэ-Гриффин* (1864—1937) — поэт и теоретик французского символизма, один из создателей и мастеров так называемого «свободного стиха». «В развитии „символической школы“ он сыграл важную роль как своей личной проповедью, так и основанным им журналом „Les Entretiens politiques et littéraires“ (1891—1892). До последнего времени Вьелэ-Гриффин остается верен в искусстве тем же принципам, какие выставил в начале своей деятельности, но постоянно раздвигая, расширяя круг своих творческих раздумий и наблюдений» («Французские лирики XIX века», стр. 169—170). К концу XIX в. вышли в свет сборники стихотворений Гриффина: «Poèmes et Poésies» (1895), «La Clareté de Vie» («Свет жизни», 1897), «Phocas le Jardinier» («Фока-садовник»), (1898).

[5] Анри де *Ренье* (1864—1936) — поэт, прозаик и эссеист. «Выступив в литературе в 1885 г., А. де Ренье примкнул к „символистам“, посещал „вторники“ Малларме, был в числе усердных слушателей Вилье де Лиль-Адана, участвовал в журнале Рене Гиля 〈...〉 Ясность мысли при смелой фантазии, отчетливость образов при умении „гипнотизировать“ читателя словами и спокойная гармоничность языка — вот достоинства лучших созданий А. де Ренье» («Французские лирики XIX века», стр. 165—166). Ранние стихотворения Анри де Ренье были собраны в двух томах — «Premiers poèmes» (1885—1887) и «Poèmes» (1887—1892); затем вышли книги «Les Jeux rustiques et divins» («Игры пастушков и богов», 1897), «Les Médailles d'Argile» (1900) и др.

[6] Эмиль *Верхарн* (1855—1916) — крупнейший бельгийский поэт, стихами которого Брюсов увлекался с юности. «Пишущий эти строки,— заявлял Брюсов,— гордится тем, что первый познакомил русских читателей с Верхарном. Первые переводы стихов Верхарна были им напечатаны в 1900 г. („Tertia vigilia“)» («Французские лирики XIX века», стр. 116). В 1906 г. Брюсов выпустил книгу своих переводов из Верхарна («Стихи о современности»), сопроводив ее большой вступительной статьей и библиографией. В 1907 и 1908 гг. Брюсов читал на Педагогических собраниях в Москве публичную лекцию «Эмиль Верхарн, поэт современности».

[7] Адольф *Ретте* (1863—1930) — поэт и критик, примкнул в конце 1880-х годов к символистам, принял деятельное участие в литературной полемике своего времени. Первые сборники стихов — «Une belle Dame passa» (1893) и «L'Archipel en fleur» (1895). За резкие выступления в духе анархизма и «оскорбление государственной власти» был приговорен к тюрьме, но затем «разочаровался в своих увлечениях молодости, отрекся от прежних учителей и, поселившись в лесу Фонтенбло, попытался стать поэтом природы, простым, ясным, трезвым» («Французские лирики XIX века», стр. 161).

[8] Стюарт *Мерриль* (1863—1915) — французский поэт, выходец из США, учился в Париже и Нью-Йорке, в 1880-е годы сблизился с французскими символистами, считал себя учеником Малларме и Верлена. Под их влиянием написаны его первые стихотворные сборники — «Les Gammes» («Гаммы», 1887), «Les Fastes» («Празднества», 1891), «Petits poèmes d'automne» («Осенние стихи», 1895) и др. Во время пребывания в США Ст. Мерриль увлекся социалистическими идеями; его новые настроения получили отзвук в сборнике «Les quatre saisons» («Четыре времени года», 1900). «Последние годы,— отмечал Брюсов,— Ст. Мерриль живет в полном уединении, но новые его стихи, появляющиеся в журналах (преимущественно в „Mercure de France“) показывают, что он продолжает работать как поэт и совершенствовать свое дарование. Интимность чувства, проникнутого глубокой печалью, составляет главное очарование его поэзии» («Французские лирики XIX века», стр. 175—176).

[9] К этому «роду» поэзии Брюсов относил произведения драматургии европейского символизма, в том числе некоторые пьесы Ибсена, Гауптмана, Уайльда, Метерлинка, Д'Аннунцио, Стриндберга и др. Образцом подобного жанра в творчестве Брюсова может служить стихотворная психодрама «Путник» (1909), построенная на резком психологическом повороте отношений между двумя действующими лицами. Статья Брюсова о «психодраме» неизвестна.

[10] Ирод (правильно: Герод, III в. до н. э.) — греческий поэт эпохи эллинизма. Стал известен историкам античной литературы в 1891 г., когда в Египте был найден папирусный свиток, содержащий восемь его мимов,— драматических сценок в статьях. Мимы Герода рисуют картины быта малоазийских греков. Они привлекли внимание Брюсова откровенностью содержания и вольностями поэтического языка (см. «История греческой литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 42—43).

[11] Вместе с текстами перевода «Энеиды» в рукописном архиве Брюсова скопилось множество примечаний, критических заметок, а также несколько специальных статей, в их числе: «Вергилий, его жизнь, творчество и „Энеида“», «Этюды об „Энеиде“ Вергилия» и др. Среди них — незаконченная статья «Замечания о русских переводах» и вполне завершенная статья «О переводе „Энеиды“ русскими стихами», опубликованная с посмертным изданием брюсовского перевода «Энеиды» в 1933 г. (см. примеч. 2 к п. 32).

[12] См. примеч. 1 к п. 4. Новые четыре стихотворения из цикла «Картинки Крыма» были напечатаны в «Южном обозрении», 1899, № 925, 19 сентября.

11. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Москва. Конец августа 1900 г.⟩

Дорогой Валерий Яковлевич! Очень хочу вас видеть, но боюсь вас не застать, а времени у меня мало, и я в разгоне. Нужно потолковать и о книге. Пожалуйста, известите о моем приезде и С. А. Полякова [1]. Не знаю его адреса. Буду ждать вас завтра от 2 до 3 часов, ибо думаю, что это письмо принесут вам завтра рано. Буду ждать вас в 2—3 часа и послезавтра [2]. Привет вашей жене. Стою в № 113.

Ваш Ив. Бунин

На бумаге с бланком: «Большая Московская гостиница в Москве». Датируется по времени приезда Бунина в Москву и условию, заключенному им с книгоиздательством «Скорпион».

[1] Сергей Александрович *Поляков* (1874—1948) — организатор и владелец издательства «Скорпион» и журнала «Весы», математик и переводчик (ему принадлежат переводы из Гамсуна, Стриндберга, Ибсена и др.), известный в московских кругах меценат. В воспоминаниях Бунина эмигрантской поры охарактеризован без всякого снисхождения, как и другие близкие «Скорпиону» литераторы (см. т. 9, стр. 291).

[2] Встреча эта, в которой принял участие и Ю. К. Балтрушайтис, состоялась 31 августа 1900 г. в Большой Московской гостинице. Разговор об издании «Скорпионом» книги стихов Бунина завершился заключением условия, написанного рукой Бунина. Приводим его текст (ИРЛИ, ф. 444, № 72):

«УСЛОВИЕ

Москва, августа 31, 1900 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Ив. Ал. Бунин, с одной стороны и представители московского книгоиздательства „Скорпион“: С. А. Поляков, Валерий Яковлевич Брюсов и Г. К. Балтрушайтис — с другой стороны, заключили настоящее условие в следующем:

1. Я, Бунин, предоставляю книгоиздательству „Скорпион“ право на одно, первое, издание моих стихотворений, тех, рукопись которых обязуюсь я представить „Скорпиону“ не позже первого октября 1900 г. в размере не менее десяти печатных листов;

2. Я, Бунин, предоставляю „Скорпиону“ издать означенную книгу в количестве тысячи восьмисот экземпляров.

3-ье. Я, Бунин, обязуюсь не перепечатывать названной книги в течение трех лет от сего тридцать первого августа 1900 г.

4-ое. Я, Бунин, сохраняю за собой право издать отдельно входящую в состав означенной книги поэму „Листопад“, но не ранее, как через два месяца после поступления означенной книги в продажу.

5-ое. Мы, представители „Скорпиона“, обязуемся уплатить Бунину, или кому он прикажет, по представлении им рукописи тотчас же двести пятьдесят (250) рублей и в течение первого месяца по поступлении книги в продажу остальные пятьдесят рублей.

6-ое. Мы, представители „Скорпиона“, обязуемся напечатать означенную книгу не позднее первого января 1901 года.

7. Мы, представители „Скорпиона“, обязуемся предоставить г-ну Бунину из числа напечатанных экземпляров в полное его распоряжение сто экземпляров.

Москва. 31 авг. 1900 г.

Иван Алексеевич Бунин

Триста рублей за книгу, означенную в сем условии, получил 2-го октября 1900 г.

Ив. Бунин»

12. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Москва. Начало октября 1900 г.⟩

Дорогой Валерий Яковлевич! Я очень виноват перед «Скорпионами», но я был дьявольски занят неотложными делами и потому никак не мог приготовить рукопись в надлежащем виде. Теперь оставляю вам 97 стихотворений. Я не перенумеровал их, ибо буду присылать вставки. Надеюсь из Одессы (нынче в 12 ч. ночи уезжаю в Одессу, а оттуда в Париж) прислать вам несколько стихотворений, поправив их дорогой; при этом напишу, куда вставить их (я себе оставил список тех стихотворений, которые вам оставляю). А вы сами не перемещайте их. Мы говорили с Сергеем Александровичем [1], и он дал мне право делать поправки в корректуре и даже перемещения. И то и другое я буду делать непременно, ибо некоторые стихотворения сейчас неприятны, благодаря пошлым строкам. Вернусь в Москву через месяц и надеюсь, что к тому времени будет корректура. Первые два-три листа можно и теперь отдать в печать. Да, пожалуй, можно отдать и все в печать (с дороги я пришлю вставки и списочек, как разместить стихотворения в конце рукописи. Начало, т. е. стихотворения, составляющие 2-3 первых ⟨листа⟩, останется без изменений. Поэтому хорошо было бы, если бы вы прислали мне в Париж эти 2-3 листа первых. Я, вероятно, там же подписал бы их к печати. А приехавши в Москву, получил бы от вас остальные и там сделал перемещения и поправки. Относительно рисунка на обложку мы говорили с Сергеем Александровичем. Он предлагает выбрать из Васнецова заставку. Сообщите мне, какую выберете, а я выпрошу у Васнецова [2]. «Витязя», очевидно, отставляем. Называйте уж видно книгу «Листопад» [3]. Формат Д'Аннунцио? [4] Это хорошо. Ну, чрезвычайно жалею, что не виделся — пожалуйста, простите. Никак не мог. А теперь страшно спешу в Одессу. Оттуда выеду очень быстро. Желаю вам всего хорошего и жене вашей.

Ваш Ив. Бунин

Еду на Курский вокзал, поезд отходит в 12 часов.

Датируется по времени отъезда Бунина из Москвы в Одессу («Материалы», стр. 80).

[1] С. А. Поляков — см. примеч. 1 к п. 11.

[2] В своих воспоминаниях Бунин отметил, что из художников он «встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным...» (т. 9, стр. 379). Бунин высоко ценил живопись В. М. Васнецова, у которого и собирался просить заставку для сборника стихотворений. В марте 1900 г. Бунин вместе с В. М. Михеевым был в мастерской Васнецова, там демонстрировалась для знакомых его новая картина «Баян». По свидетельству Брюсова, оба «безумно восторгались» этой картиной («Дневники», стр. 83). В апреле—мае 1900 г. Бунин встречался с В. М. Васнецовым в Ялте.

[3] Судя по этому письму, сборник Бунина должен был первоначально называться «Витязь» — по мотиву программного стихотворения «На распутье», навеянного картиной В. М. Васнецова «Витязь на распутье» (в книге стихотворение посвящено Васнецову). Это стихотворение высоко ценил Горький (см. настоящ. кн., стр. 439, примеч. 18). Поэма «Листопад» была закончена в конце августа 1900 г.; Бунин поместил ее в начале сборника.

[4] Книга трагедий Габриеле Д'Аннунцио («Мертвый город», «Джиоконда», «Слава». Перевод с итальянского Ю. Балтрушайтиса. М., кн-во «Скорпион», 1900) была издана средним форматом в восьмую долю листа.

13. БУНИН — БРЮСОВУ

Париж, 19/X ⟨н. ст.⟩ 1900 г.

Дорогой Валерий Яковлевич! Вчера был в почтамте и, к удивлению своему, не получил от вас ничего — ни письма, как обстоят дела по изданию, ни тем паче — корректуры; а я ждал даже корректуры. Не знаю теперь, как быть? Куда вы мне напишете и куда вышлете корректуры, если

вышлете? Получили ли вы рукопись? Я писал вам, оставляя ее, что первые два-три листа можно набирать без опасения. То же повторяю и теперь. Завтра-послезавтра вышлю вам, вероятно, кое-какие добавочные стихотворения. Теперь же пока спешу сообщить вам, что в Париже я пробуду еще дней 9. Затем я еду в Женеву и т. д. на Мюнхен. В Мюнхене я пробуду дня 3—4. Буду там, значит, в начале ноября. *Напишите мне, таким образом, в Мюнхен, если не успеете в Париж.* Парижский мой адрес: Avenue de Suffren, 114. M-me Radtchenko, для меня.

Будьте здоровы. Все впечатления — при свидании.

Ваш Ив. Бунин

14. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Париж. 9 ноября/27 октября 1900 г.⟩

Совершенно не понимаю ничего, Валерий Яковлевич, и весьма беспокоюсь. Где вы, что значит молчание? Уезжаю из Парижа (утро 9-го ноября по *новому стилю*) в Швейцарию. Убедительно прошу еще раз написать в *Мюнхен* до востребования. Кланяюсь «братьям»[1] и вашей супруге. Вышла ли ваша книга?[2]

Ваш Ив. Бунин

Открытка. На обороте: В. Я. Брюсову. Цветной бульвар, собств. дом, Москва. Moscou, Russie. Почт. шт.: Paris. 10. nov., 00; Москва, 1. XI. 1900.

[1] Имеются в виду С. А. Поляков (см. примеч. 1 к п. 11) и Ю. К. Балтрушайтис. Юргис (Георгий) Казимирович *Балтрушайтис* (1873—1944) — поэт-символист. В 1899 г. окончил вместе с Брюсовым историко-филологический факультет Московского университета, принимал деятельное участие в делах издательства «Скорпион».

[2] Брюсов готовил в это время к изданию книгу «Tertia vigilia» (М., изд-во «Скорпион», 1900).

15. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва. Начало ноября 1900 г.⟩

Уважаемый и дорогой мне Иван Алексеевич, вы немного на нас сердитесь, но не справедливы. Вот деловые ответы: оставленные вами стихи при формате Аннунцио (который вы назначили в последней записке)[1] ни в каком случае не могли занять 10 листов. Значит, являлась надобность в цензуре[2]. Несколько дней мы медлили, думая, что вы пришлете дополнения скоро, как то можно было думать из иных слов вашей записки[3]; не получая ничего, мы подали прошение, чтобы представлять в цензуру корректуру. Досталось цензуровать Соколову[4], самому жестокому из московских цензоров, который сумеет и «Вирь» запретить. Тогда решили изменить формат, уменьшить его, чтобы все-таки набралось 10 листов.

Так теперь и печатаем. Первые корректуры — работа черная; ее выполним мы сами. А по приезде в Москву получите вы полуисправные листы. Очень ждем, однако, еще стихов, хотя бы немного,— а то и при меньшем формате может не хватить.

Есть разные подробности: их, конечно, при встрече.

Ваш Валерий Брюсов

Ответ на п. 14. Датируется по этому и последующему письмам Бунина.

[1] См. примеч. 4 к п. 12.

[2] Правилами о печати, сохранявшими силу до 1905 г., предусматривалось, что отдельные издания объемом более десяти печатных листов, выпускавшиеся в Петербур-

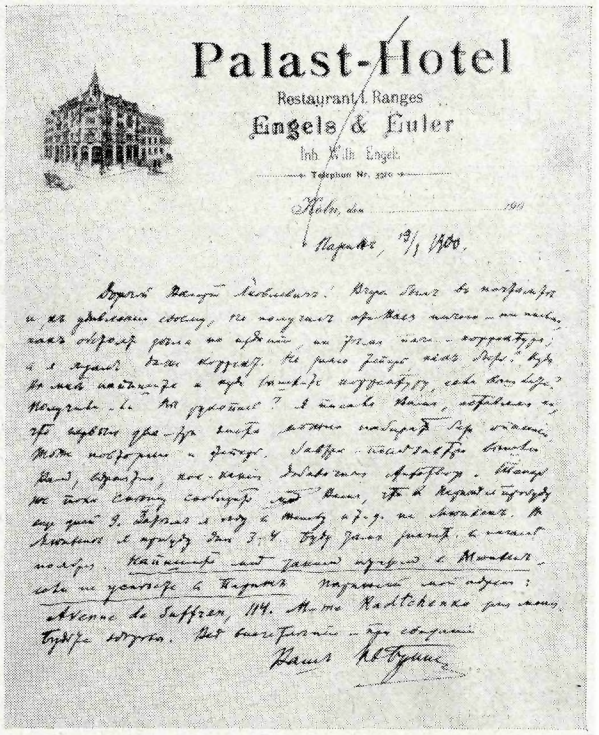
ПИСЬМО БУНИНА БРЮСОВУ
19 ОКТЯБРЯ 1900 г.

Автограф

Институт русской литературы
АН СССР, Ленинград

На бумаге с бланком
кельнской гостиницы
«Palast-Hotel»

Следовательно, по пути в Париж
Бунин останавливался в Кельне,
что до сих пор не было известно


Palast-Hotel
Restaurant I. Ranges
Engels & Euler
Inh. Wilh. Engels
Telephon Nr. 3310

Köln, den ... 190

Парижъ, 19/1 1900.

Дорогой Валерій Яковлевичъ! Вчера былъ въ [illegible]

[illegible]

Avenue de Suffren, 114. Mme Radtchenko [illegible]

Вашъ Ив. Бунинъ

ге и Москве, освобождались от предварительной цензуры. Книги и брошюры меньшего объема, а также все провинциальные издания, подлежали предварительному цензурованию наравне с периодическими изданиями.

[3] См. п. 13.

[4] Сергей Иванович *Соколов* (? — 1912) — цензор Московского цензурного комитета в 1880-е годы, затем член Московского комитета по делам печати. Славился придирчивостью при цензуровании книг и статей. И. А. Белоусов передает эпизод, относящийся к 1899 г., когда Соколов запретил в статье для журнала «Детское чтение» перепечатку знаменитого стихотворения Т. Гуда «Песня о рубашке» в переводе М. Л. Михайлова на том основании, что автор песни «восстанавливает одно сословие против другого», а переводчик был слишком неблагонадежным в политическом отношении лицом (Ив. Белоусов. Мое первое знакомство с цензором.— «Путь», 1913, № 4, стр. 37).

16. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Риги-Кульм⟩ 18 ноября по н. ст. 1900

Был в Альпах Бернских, в Гриндельвальде и Мюррене, на большой высоте, в снегах и зимней горной глуши, совсем перед вечным лицом Финстерааргорна и Юнгфрау [1]. Теперь провожу вечер на высоте более 2000 метров, совсем в снегу, на Риги-Кульм. Взошел без проводников, один, по дикой дороге. Хорошо![2]

Ив. Бунин

Открытка. На обороте: Russie. Moscou. Россия. Москва. Цветной бульвар. Собственный дом. В. Я. Брюсову. Почт. шт.: Rigi-Klusterlie, 24. XI. 00; Москва. 15.XI. 1900. Отправлена после недельного пребывания в Швейцарии, куда Бунин и Куровский приехали 10 ноября (н. ст.) 1900 г.

[1] Гриндельвальд и Мюррен — альпийские городки, расположенные в южной части Швейцарии. Финстерааргорн и Юнгфрау — вершины Бернских Альп.

[2] Ср. сонет Бунина «На высоте, на снеговой вершине...», первоначально озаглавленный «В Альпах» (т. 1, стр. 141).

17. БУНИН — БРЮСОВУ

Мюнхен. 23/10 нояб⟨ря⟩ 1900 г.

Дорогой Валерий Яковлевич! Очень огорчен всем, что вы сообщили мне. Никак не думал, что будет не хватать даже при формате Аннунцио. Подводить вас я, конечно, не хотел и не имел в виду, а если не исполнил своего обещания выслать стихов, то во-первых, потому, что не ожидал, что мое путешествие будет «не давать мне ни отдыху, ни сроку», а во-вторых, потому, что мы вообще решили не торопиться. Очень прошу вас и теперь об этом: не торопитесь и не торопите меня. Если я явлюсь уже к набранной до конца книге, то как я дам вам дополнения? И зачем вы сразу хотите всю набрать? Дополнения должны будут войти в книгу не в конце, а во второй-третьей части. Сейчас у меня нет ни минуточки свободной из-за картинных галерей.

Планы мои такие: в Мюнхене думаю пробыть всего дня 2 — лучше сказать — выеду в Вену послезавтра утром, вечером буду в Вене, там сутки, затем в Дрезден, там сутки, а потом без остановки в Россию [1], т. е. еще дня два до Москвы или Петербурга: еще не знаю куда поеду. Но во всяком случае в Петербурге пробуду очень немного. Напишу вам еще из Вены. *Поправлений* буду делать много, буду перестанавливать стихи,— не торопитесь же. Скоро увидимся!

Ваш И. Бунин

Открытка. На обороте: Rußland. Moskau. ЕВ В. Я. Брюсову. Москва, Цветной бульвар, собств. д. Почт. шт.: München. 23. Nov. 00; Москва ⟨дата стерта⟩. Ответ на п. 15, посланное в Мюнхен, до востребования.

[1] 25/12 ноября 1900 г. Бунин сообщал брату Юлию Алексеевичу из Мюнхена: «Еду сейчас в Вену, вечером буду там,— там день, затем в Дрезден — тоже день, и домой!» («Материалы», стр. 81). 17 ноября Бунин возвратился в Петербург (там же), а 20 ноября был уже в Москве (см. п. 18).

18. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Москва. 20 ноября 1900 г.⟩

Дорогой Валерий Яковлевич! Нельзя ли нам увидеться завтра (вторник 21-го) или в 1 час или в 5 часов? Не приедете ли ко мне? Я живу у Никитских ворот в доме князя Гагарина (этот дом замыкает Тверской бульвар). А то вечером я уже отозван, хотя, вероятно, попозднее заверну (кстати, где в Большой Московской вы бываете? В кабинете?) Жду.

Ваш И. Б.

Открытка. На обороте: Москва, Цветной бульвар, собств. дом, ЕВ В. Я. Брюсову. Почт. шт.: Москва. 21. XI. 1900.

Датируется по почтовому штемпелю и по содержанию.

19. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Москва. 23 ноября 1900 г.⟩

Валерий Яковлевич! Нам все-таки необходимо увидеться. Слышал, что заболела ваша супруга. Очень сочувствую и поэтому не решаюсь ехать к вам. Да и боюсь! Если вам можно теперь отлучаться из дому, то, пожалуйста, приезжайте ко мне. Назначьте час и день — телеграммой что ли. Я живу у *Никитских ворот, дом кн. Гагарина*. Часто бываю у брата [1]. Жду вас, а то мне скоро уезжать [2], а потолковать необходимо.

И. Бунин

Открытка. На обороте: Москва. Цветной бульвар, собственный дом. ЕВ Валерию Яковлевичу Брюсову. Почт. шт.: Москва, 23. XI. 1900. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Юлий Алексеевич Бунин жил в это время в доме Н. Ф. Михайлова (Арбат, Староконюшенный пер., д. 32), где помещалась редакция журнала «Вестник воспитания».

[2] В начале декабря 1900 г. Бунин выехал к родным в деревню Огневку, Тульской губ., где пробыл около двух недель (см. п. 20).

20 БУНИН — БРЮСОВУ

Апраксино, 15 декабря 1900

Уважаемый Валерий Яковлевич!

Посылаю сегодня в типографию Мамонтова 6 листов (первых) моей книги. Там есть мелкие поправки. Я написал на корректуре, чтобы после того, как эти поправки сделают, корректуру дали вам. Очень прошу вас — просмотрите еще раз и разрешайте печатать — пожалуйста поскорее. Меня, пожалуйста, извините,— приехавши в деревню, денек полежал, чуть было не захворал,— а потом шла сильная метель.

Остальные листы непременно высылаю завтра. При переверстке в типографии напутали, но не очень, так что я не стал снова переламывать. Только выкинул два пустяковых и очень маленьких стишка, вставленных было,— и вышло хорошо.

Очень тороплюсь на почту, чтобы сегодня пошло, и потому кончаю. Кое-что напишу еще завтра.

Скорпионам [1] поклон и супруге вашей тоже.

Ваш Ив. Бунин

Чрезвычайно прошу вас печатать книгу на бумаге формата Аннунцио [2]. Все положительно советуют.

На конверте: Москва. Цветной бульвар. Собственный дом. ЕВ Валерию Яковлевичу Брюсову. Почт. шт.: ⟨Лукьяновка⟩, Тульск. г. 15. XII. 1900; Почтов. ваг. № 91. 15. XII. 1900; Москва. 17. XII. 1900.

[1] С. А. Полякову и Ю. К. Балтрушайтису (см. примеч. 2 к п. 11 и примеч. 1 к п. 14).

[2] Просьба Бунина была исполнена (см. примеч. 4 к п. 12). Весь текст разместился на одиннадцати с лишним печатных листах, что избавило книгу от предварительной цензуры (см. примеч. 2 к п. 15).

21. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Апраксино⟩ 18 декабря 1900 г.

Многоуважаемый Валерий Яковлевич!

Извещаю вас, что всю корректуру моей книги Мамонтову я уже отослал, и еще раз беспокою вас своей просьбой просмотреть ее после исправления, а также — присылать мне каждый отпечатанный лист в 2-х экземплярах. Очень хотелось бы посмотреть и обложку. Относительно размера я уже вам писал — я очень хочу большой формат. Не лучше ли, кроме того, поставить над всеми стихотворениями без заглавий звездочки? Глупо это, конечно, но что же делать? Иначе получается странное, непривычное впечатление — стихи сливаются в одно. То же самое и относительно черточек после каждого стихотворения. Странно мне без них. А впрочем — пусть будет ваша воля. Не забудьте также относительно нумеровки страниц: вы хотели поставить цифры на боку, на стороне страниц.

По многим делам я здесь еще задерживаюсь [1], а потому прошу вас пока писать мне и посылать все, что понадобится, не в Ялту, а сюда:

Почтовая станция *Лукьяново*, Тульской губ., Ефремовского у.

Пока будьте здоровы и счастливы.

Поклон вашим и «Скорпионам». Ив. Бунин

[1] Бунин задержался в деревне еще на два дня. 21 декабря 1900 г. он уже был в Москве, где навестил О. Л. Книппер-Чехову, которая его «сильно уговаривала ехать в Ялту» («А. П. Чехов. Сборник статей и материалов». Симферополь, 1962, стр. 93).

22. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Ялта. Конец декабря 1900 г.⟩

Многоуважаемый Валерий Яковлевич,

Сейчас пишу в типографию Мамонтова,— прошу, чтобы мне присылали каждый отпечатанный лист книги, посылаю образец обложки (с объявлением о своих книгах [1]) и прошу прислать корректуру обложки. Если они забудут это сделать — будьте добры распорядиться. На всякий случай посылаю и вам образец обложки.

Только не лучше ли заднюю страницу обложки — т.е. 4-ую, сделать пустой или поставить на ней какую-нибудь проходную виньеточку в русском стиле посредине, а объявление поставить на 3-ю?

Будьте добры не забыть сделать оглавление.

Жму вашу руку и кланяюсь вашей жене и всем «Скорпионам».

Ваш Ив. Бунин

Ялта, дача А. П. Чехова.

Какая будет цена книги? [2] Неужели меньше рубля?

Датируется по времени приезда Бунина в Ялту.

28 декабря 1900 г. М. П. Чехова писала из Ялты: «Бунин приехал и остановился у нас внизу» (М. П. Чехова. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954, стр. 165).

[1] В объявлении на последней странице обложки «Листопада» были указаны книги Бунина: «„На край света“ и др. рассказы». Изд. О. Н. Поповой; «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло. Пер. с английского. Илл. изд. магазина «Книжное дело»; «Под открытым небом». Стихотворения. Изд. журнала «Детское чтение» (Для юношества); «Стихи и рассказы». Изд. журнала «Детское чтение» (Для юношества); «Рассказы». Изд. О. Н. Поповой («Народная и детская библиотека»).

[2] Цена «Листопада» была определена в 1 руб.

23. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Ялта. 13 января 1901 г.⟩

Уважаемый Валерий Яковлевич!

Начинаю беспокоиться относительно «Листопада». Неужели он еще не печатается? [1] Повторяю свою просьбу относительно присылки мне каждого отпечатанного листа в 2-х экземплярах и корректуры обложки, если я с ней не задержу. Есть ли оглавление?

Ялта, дача А. П. Чехова, мне.

Поклон вашей жене и Скорпионам.

Ив. Бунин

Открытка. На обороте: Москва. Цветной бульвар, собств. дом. ЕВ В. Я. Брюсову. Почт. шт.: Ялта. 13. I. 1901; Москва. 17. I. 1901. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] «Листопад» вышел в свет в начале февраля 1901 г. (см. настоящ. кн., стр. 525).

24. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Ялта. 28 января 1901 г.⟩

Многоуважаемый Валерий Яковлевич! Сейчас получил ваше письмо. Чрезвычайно прошу вас как можно скорее выслать мне хотя несколько экземпляров «Листопада», как только выйдет. Очень буду благодарен.

Поклон!

Ваш Ив. Бунин

Открытка. На обороте: Москва, Цветной бульвар, собств. дом, В. Я. Брюсову. Почт. шт.: Ялта. 28.I.1901; Москва. 31.I.1901. Датируется по почтовому штемпелю. Ответ на недошедшее до нас письмо Брюсова.

25. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Ялта.⟩ 5 февраля 1901 г.

Уважаемый Валерий Яковлевич,

Сегодня получил «Листопад» и спешу от всей души поблагодарить вас, Сергея Александровича и Георгия Казимировича [1] за прекрасное издание. Но вместе с тем не могу удержаться, чтобы не сказать вам, что я очень огорчен вами. За что, Валерий Яковлевич? Почему я исключен из «Северных цветов»?[2] Что-то произошло между мной и вами, или, вернее, между вами и мной. Прекрасно,— это ваше дело — относиться ко мне так или иначе. Но неужели между нами ничего не осталось как между художниками? Вы, конечно, отлично знаете, что с моей стороны этого нет. Я, вникнув в вашу книгу [3], за последнее время отношусь к вам как к поэту с еще большим уважением, чем прежде; вы знаете также, что ко всем вам я питаю очень большое расположение как к товарищам, к немногим товарищам, дорогим мне по настроениям и единомыслию во многом. Или вы думаете, что дело обстоит иначе?..

Впрочем, не знаю, что еще больше вам написать да и следовало ли. Одно могу прибавить: жаль! А что я искренен — так ведь это не требует доказательств. Из-за чего бы мне быть неискренним? Какая, как говорится, выгода, да и не умею я соблюдать выгод. А раз не выгода — то, значит, что-то лучшее. И о том, что это «лучшее» чем-то испортилось между нами, я от всего сердца жалею.

Ив. Бунин

На конверте: Москва, Цветной бульвар, собств. дом, ЕВ Валерию Яковлевичу Брюсову. Почт. шт.: Ялта. 7. II.1901; Москва. 11.II.1901.

[1] С. А. Полякова и Г. К. Балтрушайтиса.

[2] На обложке «Листопада» в перечне книг, подготовленных издательством «Скорпион», было помещено объявление: «Северные цветы. Альманах на 1901 г. Рассказы и стихи», с перечнем авторов печатаемых здесь произведений. Имя Бунина в этом списке отсутствовало.

[3] Книга «Tertia vigilia». Один из ее разделов — «Картинки Крыма и моря» — был посвящен Бунину.

26. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва. Середина февраля 1901 г.⟩

Уважаемый Иван Алексеевич!

Спасибо за письмо и за искреннюю речь. Каждому, конечно, кажется, что несправедлив другой; так и быть должно. Когда я узнал вас впервые, я неожиданно полюбил вас. После — да, вы правы, я видел в вас что-то, чтó мне не по душе. Только ведь об этом в письмах не сговориться. Тут

нужен голос, взгляд, все, что в стихах заменено размером, и без чего проза бессильна. Будем надеяться на новые встречи и новые стихи. Мне хочется верить.

Теперь о Альманахе. Как-никак, а от участия в нем отказались вы сами. Ясно помню, кто-то из нас спросил, что дадите вы в «Северные цветы». Вы отвечали, что у вас сейчас нет ничего [1]. Если это недоразумение, то его легко еще поправить. Стихи, правда, все набраны и сверстаны, но ведь вы знаете, что вставить несколько страниц вовсе не трудно. В рассказах же у нас есть сейчас 10—12 страниц (в случае надобности найдется, конечно, и больше), оставленных было для Андреева, который внезапно расхворался. Что бы ни прислали вы до конца 2-ой недели или к началу 3-ей,— все еще найдет себе место[2]. Что до меня, я буду очень ждать, так как мне желательно, радостно было б соединить в альманах все любимые мной имена.

Ваш, в лучшем смысле, Валерий Брюсов

Ответ на письмо 25. Датируется по содержанию и по почтовому штемпелю на п. 25.

[1] Бунин встречался с деятелями «Скорпиона» во время своего приезда в Москву в декабре 1900 г. Тогда же на очередном «скорпионовском» вторнике обсуждался состав «Северных цветов» на 1901 г.

[2] Конец второй — начало третьей недель великого поста приходились в 1901 г. на последние дни февраля.

27. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Ялта, около 20 февраля 1901 г.⟩

Уважаемый Валерий Яковлевич!

Посылаю вам для альманаха «Северные цветы» рассказ А. П. Чехова. Надеюсь, что это доставит вам всем большую и неожиданную радость. Я взял на себя смелость, за которую вы, вероятно, не рассердитесь, попросить у него что-нибудь для альманаха — и он дал [1]. Рассказ должен называться «Ночью»; условия Антона Павловича таковы: он сказал: «пусть „Скорпион“ пожертвует что-либо, т.е. хоть небольшую сумму денег в Таганрогскую городскую библиотеку»[2], кроме того, необходимо послать ему корректуру. Если даже это задержит — думаю, все-таки вы не проиграете [3]. Рассказ этот должен войти в 5-й или 6-й том сочинений Антона Павловича. Во всяком случае *надеюсь, что вы тотчас же напишете мне, как вы распорядитесь с рассказом: Одесса, Софиевская ул., 5, мне.*

Я пришлю рассказик на днях.

Всем поклон. *Спасибо вам за письмо* — искреннее.

Ваш Ив. Бунин

Датируется по содержанию: очевидно, рассказ «Ночью» был выслан сразу же после получения его от Чехова, из Ялты, откуда Бунин выехал в Одессу 22 февраля 1901 г. (см. «Материалы», стр. 83). Ответ на п. 26.

[1] Бунин уговорил Чехова отдать «Скорпиону» рассказ «Ночью» (переработку раннего рассказа «В море», впервые напечатанного в журнале «Мирской толк», 1883).

[2] По условиям договора с Марксом все произведения Чехова составляли собственность издателя, автор же имел право обнародования своих произведений в повременных изданиях или литературных сборниках с благотворительной целью. Пожертвование в Таганрогскую библиотеку являлось таким образом обязательным формальным условием предварительной публикации чеховского рассказа в альманахе «Северные цветы».

[3] Издатели «Северных цветов» оценили все выгоды участия в альманахе знаменитого автора и в объявлении о выпуске «Северных цветов» на 1901 г. имя Чехова поставили первым среди других участников («Русские ведомости», 1901, № 66, 8 марта). В последующем обращении издательства «К читателям» (составленном по всей вероятности В. Брюсовым) говорилось: «Особенно ярко беспристрастие литературных сужде-

ний „Скорпиона“ выразилось в изданных им альманахах „Северные цветы“ на 1901 и 1902 годы, где рядом с именами А. Чехова, А. М. Федорова, Ив. Бунина следуют имена З. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Ф. Сологуба, К. Д. Бальмонта, Валерия Брюсова, П. Перцова, А. Мирович, А. Волынского и тут же далее К. Фофанова, К. Случевского, В. Розанова, М. Лохвицкой, М. Криницкого, Л. Жданова и т. д.» (Каталог книгоиздательства «Скорпион». М., 1902, стр. 7). Чехов остался недоволен рекламным использованием его имени в чуждом ему издании (см. прим. 1 к письму 28).

28. БУНИН — БРЮСОВУ

4 марта 1901. Одесса, Софиевская, 5

Уважаемый Валерий Яковлевич! Очень прошу — извините, если задержал. Тут разная чепуха вышла. Не ждите меня и печатайте альманах. Если не получите рукописи моей *через три дня* после этого ⟨письма⟩,— —ну, скажем, через четыре,—значит ничего не пришлю. Писал ли я вам, что Чехов просил Скорпионовское пожертвование за его рассказ отправить так: Таганрог, городская библиотека, Любови Юлиановне Арбушевской от А. П. Чехова. Послали ли вы ему корректуру?[1]

Ваш Ив. Бунин

Закрытое письмо—«секретка». На обороте: Москва. Цветной бульвар. Собств. дом. Валерию Яковл. Брюсову. Почт. шт.: Одесса. 4.III.1901.

[1] См. п. 27. А. П. Чехов сообщил Бунину 14 марта 1901 г.: «От „Скорпиона“ получил корректуру, но в крайне неряшливом виде, с одной копеечной маркой, так что пришлось штраф платить; публикует „Скорпион“ о своей книге тоже неряшливо, выставляя меня первым — и я, прочитав это объявление в „Русских ведомостях“, дал себе клятву больше уж никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами» (А. П. Чехов. Полн. собр. сочинений и писем, т. XIX, стр. 61). После выхода альманаха Чехов в письме 20 апреля 1901 г. упрекал Бунина за то, что тот ввел его «в эту компанию» (там же, стр. 74. Ср. воспоминания Бунина об этом эпизоде — т. 9, стр. 188).

29. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Одесса. 19 марта 1901 г.⟩

Уважаемый Валерий Яковлевич,

Очень прошу тотчас же ответить мне относительно моего очерка «Поздней ночью». Получили ли вы его?[1] Если он набран, нельзя ли корректуру? Если опоздал — убедительно прошу тотчас выслать.

Ваш Ив. Бунин

Одесса, Софиевская, 5

Открытка. На обороте: Москва, Цветной бульвар, собств. дом, Валерию Яковлевичу Брюсову. Почт. шт.: Одесса. 19.III.1901; Москва. 22.III.1901.
Датируется по почтовому штемпелю.

[1] По-видимому, Бунин отправил рассказ 7 марта 1901 г. (сохранился только конверт, адресованный В. Я. Брюсову, с почт. штемпелями: Одесса. 7.III.1901; Москва. 10.III.1901). Рассказ вошел в альманах «Северные цветы на 1901 год».

30. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Одесса. 18 апреля 1901 г.⟩

Уважаемый Валерий Яковлевич,

Будьте добры распорядиться, чтобы мне выслали 1 экземпляр «Северных цветов», а также и то, что причитается мне за мой очерк «Поздней ночью», по адресу: Почт. ст. Лукьяново, Тульской губ., Ефремов-

ского у.[1] — очень прошу поскорее, так как сгораю нетерпением видеть альманах [2]. Очень буду рад, если вы напишете мне о своих работах и пришлете новых стихотворений — поверьте моей искренней жажде к ним.

Ваш Ив. Бунин

За «Пана»[3] — великое спасибо. Чехов просил меня передать вам, чтобы попомнить о его просьбе относительно Таганрога.

Открытка. На обороте: Москва, Цветной бульвар, собственный дом, его в-дию Валерию Яковлевичу Брюсову. Почт. шт.: Одесса. 18.IV. 1901; Москва. 21.IV.1901. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Первую половину апреля 1901 г. Бунин провел в Ялте, а затем снова вернулся в Одессу, откуда собирался выехать в деревню.

[2] Первые отклики на выход альманаха «Северные цветы» были по большей части неблагоприятны для Чехова и Бунина. В. Буренин писал: «Рассказ г. Чехова называется „Ночью". Рядом с ним идет еще более короткий рассказ г. Бунина, озаглавленный „Поздней ночью". Этот рассказ совершенно какое-то школьное упражнение великовозрастного гимназиста...» («Новое время», 1901, № 9037, 27 апреля). Рассматривая «Северные цветы» как прибежище «декадентствующих оргиастов», А. Измайлов сделал характерную оговорку: «Известная часть сборника „Скорпиона" свободна от преобладающего его направления. Сюда относятся наброски А. Чехова и И. Бунина ⟨...⟩ Небольшой, в пять страниц, рассказ Чехова „Ночью" выписан с обычным мастерством автора, но было бы грустно, если бы он намечал новый наклон творчества талантливого художника. Это — рассказ для холостой компании, совершенно во вкусе известной категории откровенных новелл Мопассана» («Биржевые ведомости», 1901, № 140, 26 мая).

[3] Брюсов переслал Бунину роман К. Гамсуна «Пан. Из записок лейтенанта Томаса Глана». Предисл. К. Д. Бальмонта. Перевод с норвежского С. А. Полякова. М., изд-во «Скорпион», 1901.

31. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва. Конец апреля — май 1901 г.⟩

Уважаемый Иван Алексеевич!

Если мне верите, то на меня не сердитесь: *я* в разных промедлениях не виноват, только в молчании. Альманах был послан вам тотчас по выходе, но по старому вашему адресу в Одессу. Деньги за рассказ Чехова были высланы еще до выхода альманаха. Ваш гонорар, по словам Сергея Александровича, вы должны получить на днях. Это все, что я могу сообщить точного.

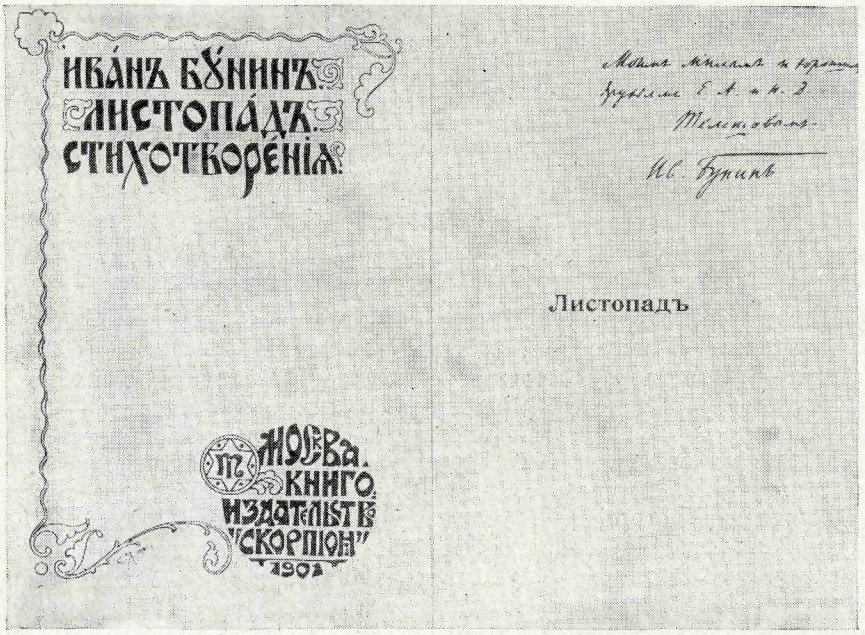
Я заканчиваю свой год. (Заметили ли вы, что года имеют свою цельность?) Этот год для меня был создан из двух элементов: самой усидчивой работы и величайших безумств, каким я когда-либо себя предавал [1]. То и другое мешало внешним моим отношениям. Но душа, конечно, переживала и хранила их, как и прежде. Теперь весна (для вас лето?). Ухожу к размеренным дням, к бездействию, к вершинам деревьев, «погруженным в полдневный жар», к моей «Энеиде»[2]. Очень хочу послать вам свои новые стихи. Как только настанут эти дни, исполню.

Ваш Валерий Брюсов

1901

Ответ на п. 30. Датируется по этому письму и по содержанию.

[1] В 1899 г. Брюсов начал работать помощником П. И. Бартенева по изданию «Русского архива» и фактически стал «секретарем редакции» этого журнала. При наступлении 1901 г. Брюсов отметил в дневнике: «Новый год, новое столетие. С детства мечтал я об этом XX веке ⟨...⟩ И вот он.— В частности зима эта неудачна: она вся разделена между работой у Бартенева в „Русском архиве" и свиданиями с Ш. То и другое надоело и опротивело. То и другое любопытнее будет в биографии, чем было в жизни. Пора освободиться!» («Дневники», стр. 100).



«ЛИСТОПАД» (М., 1901)

С дарственной надписью: «Моим милым и хорошим друзьям Е. А. и Н. Д. Телешовым. Ив. Бунин»

Титульный лист и шмуцтитул

Центральный архив литературы и искусства, Москва

[2] Первые попытки Брюсова переводить «Энеиду» Вергилия относятся к 1892 г., когда он был еще гимназистом. В марте 1897 г. Брюсов упомянул перевод «Энеиды» в перечне своих основных текущих занятий («Дневники», стр. 28). К 1913 г. он перевел шесть книг «Энеиды» для издания поэмы в серии «Памятники мировой литературы», однако при жизни Брюсова это издание не было осуществлено, и его работа увидела свет лишь в 1933 г. «Лично я могу засвидетельствовать,— писала И. М. Брюсова,— что работа над „Энеидой“ была одним из любимейших занятий В. Я. Знал он наизусть целые страницы латинского текста, постоянно цитировал те или иные места из Вергилия» (И. М. Брюсова. К истории перевода В. Я. Брюсова. В кн.: Вергилий. Энеида. Перевод Валерия Брюсова и Сергея Соловьева. М.—Л., «Academia», 1933, стр. 319).

32. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Москва. 3 июня 1901 г.⟩

Уважаемый Валерий Яковлевич!

Хотелось бы повидаться. Кстати, есть маленькое дело[1]. Где Балтрушайтис и Поляков? Черкните, когда можно вас застать, — по адресу: Чистые пруды, д. Терехова, кв. Телешова.

Поклон вашей жене.

Ваш И. Бунин

Я на даче под Москвой [2]. Теперь уезжаю. Думаю быть здесь в среду — четверг. Известите заранее.

Открытка. На обороте: Городское, Цветной бульвар. Собств. дом. ЕВ Валерию Яковлевичу Брюсову. Почт. шт.: Москва, 3.VI.1901.

Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Бунин собирался предложить издательству «Скорпион» что-либо из своих новых книг (см. п. 35).

[2] 28 мая 1901 г. Бунин писал М. П. Чеховой из Ефремова: «... поеду в Москву, заверну на дачу к Телешову, а потому пишите так: Москва, Чистые пруды, дом Терехова, Н. Д. Телешову, для меня. Пробуду, впрочем, там больше — числа до 17 июня, до возвращения брата из-за границы, с которым и вернусь в деревню» (Сб. «Хозяйка чеховского дома. Воспоминания. Письма». Симферополь, 1969, стр. 125).

33. БРЮСОВ — БУНИНУ

‹Петровское Разумовское. Начало июля 1901 г.›

Уважаемый и дорогой мне (если вы еще оставите мне право так вас называть) Иван Алексеевич!

Писать мне письма и просить ответа значит обрекать меня на неизбежные угрызения совести. Моя жизнь за последние месяцы — безумие. Я вырываюсь из рук сумасшедших, чтобы бежать к бесноватым. Я прошел над всеми безднами духа, достигая до крайних пределов любви и страдания. Каждое чувство, каждая мысль мне мучительны теперь, но моему пути еще не конец. И опять синее небо, и опять утро. Но во мне ни стиха, ни строчки, слова не вяжутся, мысли не повинуются. Упасть бы в траву и плакать или уснуть. Вот одно чего я хочу. Эти облака, идущие по небу, эти качающиеся травы, это солнце, как легче с ними, чем с людьми! Вновь, впервые после юности, я чувствую природу, живу, дышу ею. Щебечут ласточки. Нет. И их не хочу. И здесь уже любовь и страдание. Мое сердце уже сжимается. Уснуть, исчезнуть... пока!

Ваш Валерий Брюсов

Петровское Разумовское, Выселки, дача Кутырина

Письмо без даты. Ответ на недошедшее до нас письмо Бунина. Датируется по п. 34. В бумагах Брюсова (ГБЛ, 386.70.13) сохранился черновик отосланного письма в иной редакции:

«Писать мне письма и спрашивать ответа, дорогой Иван Алексеевич (если вы оставите мне право так называть вас), — значит обрекать меня на раскаяние и угрызения совести. Если можете мне поверить на слово,— не приписывайте моего молчания ни недоброжелательству, ни горделивому пренебрежению правилами общежития, ни чему-либо худшему. Не писал потому, что не мог сосредоточить мысли на вас, не мог вырваться из исключительно личных дум. Но вы просили ответить. Да. И здесь моя явная вина. Впрочем, Сергея Александровича могли вы найти и без моей помощи.

Я на распутье. Более, чем вы, даже в тот день, когда „сумрачно и важно“ сидел на кресте черный ворон. Я на распутье и в жизни и в душе. О жизни не интересно. А о душе вы знаете. Мне дано искушение, которого я не ожидал. Передо мной открыта торная дорога, и я уже сделал по ней немало шагов. Еще чуть-чуть опустить голову, еще чуть-чуть подладиться под чужой голос, ах, как все станет тогда просто. Но менее всего я хочу быть сейчас самим собой. Мой облик мне сейчас самое ненавистное. Моя первая задача — убить себя и растоптать свое тело. Если мне осталась надежда, то только в смерти.

С переменой страницы меняю голос. Если есть у вас свободные часы, приезжайте к нам. Будем говорить о посторонних предметах. Будем читать стихи. Сейчас ночь. Дачная ночь. Знаете вы, что это такое? Пищит фонограф, террасы освещены абажурами, у калитки голоса и смех. Наш адрес: Петровское Разумовское, Выселки, дача Кутырина.

Ваш сердечно Валерий Брюсов

1901»

34. БУНИН — БРЮСОВУ

〈Огневка〉 12 июля 1901 г.

Дорогой и уважаемый друг, очень рад был вашему письму и — простите — даже тому, что вы сообщаете в нем. Почувствовалось мне в нем — может быть, и ошибочно — многое из пережитого мною самим и такое, что часто оставляет сильные и хорошие следы. Во всяком случае, от души

желаю вам всего лучшего и скорого возвращения к работе. Я пока у себя в деревне,— кое что работал по беллетристике и писал стихи [1]. Осенью должно быть, выпущу две книги — новых стихов и рассказов [2]. 15-го еду с братом Юлием в Москву — пробуду там дней 7—8, затем — в Одессу. На всякий случай мой адрес пока такой: Арбат, Староконюшенный, редакция «Вестника воспитания». Кланяюсь вашей жене и товарищам.

Ваш Ив. Бунин

Ответ на п. 33.

[1] Лето 1901 г. Бунин провел у родных, сначала у брата Евгения в Ефремове, затем после короткого наезда в Москву — в Огневке, где оставался до начала августа («Материалы», стр. 84).

[2] В 1901 г. Бунин выпустил еще одну книжку — «Полевые цветы. Сборник стихотворений и рассказов для юношества», в 1902 г.— сб. «Новые стихотворения».

35. БУНИН — БРЮСОВУ

Одесса, 1 сент⟨ября⟩ 1901 г.

Дорогой Валерий Яковлевич! Сейчас написал Сергею Александровичу письмо, в котором предлагаю «Скорпиону» взять для издания что-либо из четырех книг, которые хочу выпустить нынешней осенью: 2-ое издание «Песни о Гайавате», 2-ое издание книги рассказов «На край света», новая книга новых рассказов и новая книга новых стихов «Облака» (листов 8) [1]. Надеюсь, что новые стихотворения будут лучше «Листопада». Подумайте и напишите мне в *Ялту*, на дачу А. П. Чехова, куда уезжаю завтра. Очень буду рад, если сообщите также хоть что-нибудь о себе. От всего сердца посылаю вам привет.

Ваш Ив. Бунин

Надеюсь быть в Москве в конце сентября [2].

На конверте: Москва, Цветной бульвар, собств. дом, ЕВ Валерию Яковлевичу Брюсову — почт. шт.: Одесса. 2.IX.1901; Москва. 5.IX. 1901.

[1] Письмо Бунина Полякову с предложением о переиздании старых и выпуске новых книг неизвестно; очевидно Поляков отклонил это предложение, и сотрудничество Бунина со «Скорпионом» расстроилось. Ни одна из перечисленных четырех книг не была издана в 1901 г. В 1902 г. Бунин выпустил книгу «Новые стихотворения» (от названия «Облака» он отказался). Намеченный план был осуществлен «Знанием», которое выпустило книгу его «Рассказов» (1902) и приступило к подготовке нового издания «Песни о Гайавате» (1903).

[2] В сентябре 1901 г. Бунин был в Москве, встречался с Брюсовым (см. выше, вступит. статья, стр. 429).

36. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 5 ноября 1910 г.

Многоуважаемый и дорогой Иван Алексеевич!

Позвольте, со всей скромностью, напомнить вам, что, когда мы случайно встретились у Юлия Алексеевича, вы не отказали мне в надежде, что дадите свое стихотворение «Русской мысли»[1]. Мне очень хочется верить, что это ваше согласие было с вашей стороны не простой любезностью, но действительно желанием, в пределах для вас возможного, принять участие в редактируемом мною журнале. Меня ваше сотрудничество очень утешило бы и обрадовало бы.

Пока, пользуясь вашим согласием, я поместил ваше имя в перечне сотрудников журнала. Если вам это почему-либо не желательно, сообщите мне, и я немедленно сниму ваше имя с анонсов [2].

Неизменно уважающий вас Валерий Брюсов

На бумаге с бланком: «Редакция ежемесячного литературно-политического издания „Русская мысль“». Сохранилась также копия этого письма (автограф) с припиской Брюсова («Подлинник письма отправлен по московскому адресу») и с пометой Бунина («Получено в Сосновке числа 6 ноября 1910 г.»).

[1] В 1907 г. «Русская мысль» перешла в руки П. Б. Струве и А. А. Кизеветтера и стала одним из основных литературных органов русского буржуазного либерализма и партии кадетов. В 1908 г. В. И. Ленин отметил, что на страницах «Русской мысли» «г. Струве уже проповедует идею „Великой России“, идею буржуазного национализма, разносит „враждебность интеллигенции к государству“, сражает в тысячу первый раз „российский революционизм“, „марксизм“, „отщепенство“, „классовую борьбу“, „банальный радикализм“» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 459). В августе 1910 г. Струве стал полным хозяином журнала. Тогда же он предложил Брюсову заведовать беллетристическим и критическим отделом «Русской мысли» (см. «Литературный архив», т. 5. М.—Л., 1960, стр. 272). Брюсов согласился, считая, что материалы этих отделов могут быть достаточно автономны по отношению к основной общественно-политической тенденции журнала, которую он далеко не во всем разделял. Тогда же Брюсов разослал приглашения к сотрудничеству многим известным литераторам — Д. Мережковскому, З. Гиппиус, К. Бальмонту, А. Белому, А. Ремизову, Б. Садовскому, А. Блоку, Ф. Сологубу, К. Чуковскому, В. Вересаеву, М. Кузмину, А. Толстому и др. Прямое участие Брюсова в редактировании «Русской мысли» продолжалось два года. В 1912 г. его отношения со Струве особенно обострились после отказа главного редактора печатать роман Андрея Белого «Петербург», одобренный Брюсовым.

[2] Имя Бунина было анонсировано среди других сотрудников «Русской мысли» на 1911 год.

37. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Сосновка. 11 ноября 1910 г.⟩

Дорогой Валерий Яковлевич!

Простите поздний ответ — последние дни я был не в состоянии писать [1]. То, что я обещал вам у Юлия Алексеевича, я с удовольствием и непременно исполню. Не могу сказать, когда именно, но если это будет не так скоро, как хотелось бы, то только потому, что прошлое лето — а я работаю почти исключительно летом — я, по многим причинам, работал мало плохо [2].

Уважающий вас Ив. Бунин

Сосновка. 11 ноября 1910 г.

На конверте: Заказное. Его высокородию Валерию Яковлевичу Брюсову. Редакция журнала «Русская мысль». Дом Куманина, Ваганьковский пер., Воздвиженка, Москва. От И. А. Бунина. Петербург. Сосновка, Политехникум, кв. проф. Гусакова. Почт. шт.: С. Петербург. 11.11.10; Москва. 12.11.10. Ответ на п. 36.

[1] С конца октября 1910 г. Бунин гостил в Сосновке под Петербургом у профессора Политехнического института А. Г. Гусакова. Здесь его застало известие о смерти Л. Н. Толстого, переданное утренними газетами 8 ноября 1910 г. («Материалы», стр. 150).

[2] Одна из этих причин — смерть матери (там же, стр. 148).

38. БРЮСОВ — БУНИНУ

Москва, 15 февраля 1912 года

Дорогой Иван Алексеевич!

Прежде всего благодарю вас за память обо мне и о «Русской мысли». Мне очень дорого, что вы не забыли ни меня, ни ее, блуждая по Италии [1], где можно легко забыть многое. И также благодарю вас за ваше предложение, как вы знаете, отвечающее моим давним желаниям.

Простите, что я не ответил вам телеграммой; но мне необходимо дать вам ответ довольно подробный.

Так, к моему большому сожалению, я вынужден возобновить наши переговоры о размере гонорара. Я помню, конечно, что первый обратил-

БУНИН
Фотография Доре, 1917
С автографической подписью Бунина
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ся к вам с просьбой о сотрудничестве. Но дело в том, что опыт минувшего года заставляет «Русскую мысль» в этом году с особой осторожностью следить за своим бюджетом. Ваши условия — 1000 руб. за два листа (а, судя по вашей телеграмме, в вашем рассказе [2] будет более двух листов) для журнала крайне тяжелы. Он буквально *не может* оплачивать свой материал таким гонораром. Чтобы это сделать, «Русской мысли» пришлось бы уменьшить гонорар тех сотрудников, которые получают по 80 и по 100 рублей за лист, а это едва ли было бы справедливо. Мне хочется надеяться, что вы на своих условиях настаивать не будете.

Далее, я должен предупредить вас, что ближайшие книжки «Русской мысли» уже заняты. Это не должно вас удивлять, так как вы знакомы с техникой журнального дела и понимаете, что невозможно издавать журнал, не подготовляя материал месяца на два вперед. Но, разумеется, для вашего рассказа я сделаю все, какие только возможно, исключения

и постараюсь поместить его как только можно будет скорее. Но во всяком случае, между получением рукописи и выходом в свет книжки с вашим рассказом не может пройти времени меньше 8 недель.

Наконец, я принципиально считаю невозможным принимать для журнала какую бы то ни было рукопись, не ознакомившись с ней предварительно. Как я ни уверен в том, что каждое ваше новое произведение будет обладать обычными достоинствами того, что вы пишете, я все же не могу взять на себя обязательство напечатать его с закрытыми глазами. Мне кажется, что иначе поступать редактор не имеет нравственного права. Итак, раньше всего мне необходимо ваш рассказ *прочесть*, причем, конечно, я обещаю прочесть его в течение 2—3 дней по получении рукописи.

Если мои оговорки вас не останавливают (а их все я сделать обязан), высылайте вашу рукопись сколько можно скорее. Во всяком случае, если почему-либо соглашение между вами и «Русской мыслью» все же не будет достигнуто, я вашу рукопись немедленно перешлю туда, куда вы укажете. Пока еще раз благодарю вас.

И прошу вас считать меня неизменно вам преданным.

Ваш Валерий Брюсов

P. S. Живя на Капри, вы должны постоянно встречаться с Алексеем Максимовичем (если только не пользуетесь его известным гостеприимством)[3]. Не откажите поэтому передать ему мой сердечный привет, как от его давнего знакомца, иногда — литературного противника, всегда усердного читателя.

Ответ на недошедшую до нас телеграмму Бунина из Италии в редакцию «Русской мысли».

[1] В Италию Бунин с женой и Н. А. Пушешниковым приехали в ноябре 1911 г.; побывав в Генуе и Флоренции, они поселились на Капри, где провели всю зиму («Материалы», стр. 166—172).

[2] По-видимому, Бунин предложил в «Русскую мысль» повесть «Игнат», законченную на Капри в феврале 1912 г. (см. примеч. 3 к п. 39); впоследствии она была напечатана в газете «Русское слово» (1912, № 162, 164—167, 14, 17—20 июля).

[3] На Капри в 1911—1912 гг. Бунины жили в отеле «Квисисана»; с Горьким они встречались постоянно.

39. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Афины⟩ 8 марта / 24 февраля 1912 г.

Дорогой Валерий Яковлевич, депешу вашу мне передали в Неаполь за час до моего отъезда из Италии [1]. Письмо ваше получу, верно, нескоро[2], ибо и Афины покидаю завтра. Не знаю, что в нем. Думаю — уклоняетесь от повести [3], находите слишком дорогим ее помещение в «Русской мысли». Да будет так. Но все же пишу, дабы вы знали положение дела,— знали, почему я не отвечаю на то, что в вашем письме.

Ваш Ив. Бунин

Бумага с бланком: Grand Hôtel d'Angleterre. Athens (Greece). На конверте: Recommendée. Â M-r V. Brussoff. Moscou. Russie. Москва. Ваганьковский 2. «Русская мысль». ЕВ Валерию Яковлевичу Брюсову. Почт. шт.: ⟨нрзб⟩; Москва. 3.3.12.

Ответ на телеграмму Брюсова из Москвы. Текст телеграммы неизвестен.

[1] Бунины уехали с Капри 1 марта/17 февраля 1912 г. и пробыли три дня в Неаполе, так что телеграмма Брюсова была вручена Бунину 4 марта/20 февраля, перед отъездом из Неаполя в Бриндизи.

[2] Письмо Брюсова 15 февраля 1912 г. (п. 38), посланное на Капри, разошлось с адресатом, и Бунин мог получить его лишь по приезде в Одессу, то есть после 29 февраля 1912 г.

[3] Из всего написанного в 1911—1912 гг. сам Бунин относил к числу повестей лишь три произведения — «Веселый двор», «Суходол» и «Игнат». «Веселый двор» еще в декабре 1911 г. был отдан в новый петербургский журнал «Заветы». «Суходол» сначала предназначался для альманаха «Шиповник», а затем был передан в «Вестник Европы». Следовательно, Бунин мог предложить Брюсову для «Русской мысли» только повесть «Игнат» (первоначальное название «Любовь»).

40. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨Гурзуф⟩ 29 августа 1912 г.

Дорогой Валерий Яковлевич, могу дать стихотворение,— простите, что так поздно исполняю вашу просьбу! Даже не знаю — нуждается ли теперь в этом «Русская мысль» и когда сможет воспользоваться стихотворением [1]. Будьте добры, ответьте на эти вопросы и сообщите, куда именно послать — не знаю ни вашего адреса, ни (нового) «Русской мысли»[2].

Ваш Ив. Бунин

Гурзуф, до востребования [3]
29 авг.

Закрытое письмо — «секретка». На обороте: Заказное. ЕВ Валерию Яковлевичу Брюсову. Литературно-художественный Кружок. Большая Дмитровка, дом Вострякова, Москва. Почт. шт.: Гурзуф. 30.8.1912; Москва, 2.9.1912.

Ответ на недошедшее до нас письмо Брюсова.

[1] 27 сентября 1912 г. Бунин послал Брюсову стихотворение (см. п. 42). По-видимому, это был «Белый олень», опубликованный в «Русской мысли», 1912, № 12.

[2] Адрес Брюсова в это время: Москва, 1-я Мещанская, 32. В июльском номере «Русской мысли» было объявлено о переводе с 20 августа 1912 г. главной конторы и редакции журнала в Петербург. Брюсов от переезда на новое место отказался, однако принял предложение издателя журнала П. Б. Струве стать «гласным московским представителем» редакции и заведующим беллетристическим отделом «Русской мысли» на прежних основаниях. От этой должности он отказался в ноябре 1912 г., оставив за «Русской мыслью» право преимущественной публикации своих произведений (это новое соглашение сохраняло силу до середины 1914 г.).

[3] Бунин приехал в Гурзуф из Москвы во второй половине августа и пробыл там до начала сентября 1912 г. («Материалы», стр. 176).

41. БРЮСОВ — БУНИНУ

Москва, 7 сентября 1912 г.

Дорогой Иван Алексеевич!

Конечно, я «хочу» ваших стихов, как вообще «хочу» считать вас в числе сотрудников журнала, в редакции которого участвую [1], и видеть на его страницах ваши вещи. Итак, не может быть сомнения, что я буду очень-очень рад, получив ваши стихи (по моему личному адресу: Москва, 1 Мещанская, 32). Но... но остается все тот же вопрос, который до сих пор не позволял мне с особой настойчивостью добиваться вашего сотрудничества: вопрос о гонораре. «Русская мысль» *не может* платить того гонорара, к которому вы привыкли и на который имеете все неоспоримые права. До сих пор максимум гонорара за стихи у нас был — 75 коп. стих; я надеюсь, что буду иметь возможность предложить вам за стихотворение, не слишком длинное,— 1 р. за стих. На этом мои «надежды» кончаются.

Во всяком случае, не откажите ответить мне на это предложение и, если что можно будет сделать для его изменения, я сделаю.

Сердечно ваш Валерий Брюсов

Ответ на п. 40.

[1] См. примеч. 1 и 2 к п. 40.

42. БУНИН — БРЮСОВУ

Москва 27 сент⟨ября⟩ 1912 г.

Дорогой Валерий Яковлевич,
посылаю вам стихотворение [1] и прошу еще раз извинить за столь поздний ответ.

Ваш Ив. Бунин

Бумага с бланком: Лоскутная гостиница. Москва.
На конверте: Его высокородию Валерию Яковлевичу Брюсову. Редакция журнала «Русская мысль». Нюстадская, д. 6. Петербург. От Ив. А. Бунина. Москва, Лоскутная гост. Почт. шт.: Москва. 27.9.12; Петерб. 28.IX.12. Ответ на п. 41.

[1] См. примеч. 1 к п. 40.

43. БРЮСОВ — БУНИНУ

Москва, 8 октября, 1912 г.

Дорогой Иван Алексеевич!

Простите, что с некоторым опозданием приношу вам свою благодарность за присланные стихи. Большое спасибо. Надеюсь, что стихотворение будет напечатано в ближайшей, ноябрьской книжке «Русской мысли» (октябрьская уже почти отпечатана) [1].

Сердечно ваш Валерий Брюсов

Ответ на п. 42.

[1] См. примеч. 1 к п. 40.

44. БРЮСОВ — БУНИНУ

⟨Москва. Около 27 октября 1912 г.⟩

Глубоко сожалея о невозможности присутствовать лично на банкете, от души приветствую вас в день вашего юбилея, составляющего истинный праздник русской литературы, и приношу свою давнюю благодарность вам как одному из прекраснейших поэтов современности, безупречные стихи которого доставляли мне так часто минуты светлой и высокой радости.

Валерий Брюсов

ГМТ, № 968. Телеграмма, посланная в связи с 25-летием литературной деятельности Бунина, которое отмечалось в Москве 26—28 октября 1912 г.

45. БРЮСОВ — БУНИНУ

Москва, 1 Мещанская, 32.
12 августа 1915 г.

Многоуважаемый и дорогой Иван Алексеевич!

Группа армянских поэтов обратилась ко мне с просьбой — редактировать сборник «Поэзия Армении», где эта поэзия,— поистине весьма замечательная, была бы представлена, в русских переводах, от древнейших времен (X—XIV в.) до наших дней [1]. Согласился я лишь после долгого колебания и лишь тогда, когда решился предварительно изучить армянский язык, чего и достиг (до известной степени, конечно), посвятив урокам с профессором-армянином все это лето (с июня) [2]. В настоящее время уже идет работа по составлению самого сборника [3]. Я позво-

Поступила въ продажу книга

„ВЪ ПОМОЩЬ ПЛѢННЫМЪ РУССКИМЪ ВОИНАМЪ".

Литературный сборникъ.

Подъ редакціей Н. В. Давыдова и Н. Д. Телешова.

Цѣна 2 р. 50 к.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ

ВЪ ПОМОЩЬ ПЛѢННЫМЪ РУССКИМЪ ВОИНАМЪ

1916

Содержаніе:

Л. А. Авилова — «Хлѣбъ», Л. Н. Андреевъ — «Человѣкъ и змѣя», М. Горькій — «Легенды о Тамерланѣ», В. Я. Гиляровъ — «Въ германскомъ плѣнѣ», Н. В. Давыдовъ — «Тарантелла-Призракъ», И. А. Данилевъ — «Природа вещей», С. А. Кречетовъ — «Въ грозныхъ полкахъ», А. А. Кизеветтеръ — «Завѣта и Варахиилъ», С. А. Котляревскій — «Забота о военнопленныхъ и международное право», Н. А. Крашенинниковъ — «Антихаръ», С. Д. Разумовскій — «Кровоборъ-Богатырь», кн. А. И. Сумбатовъ — «О Шекспирѣ», Н. Д. Телешовъ — «Дни за днями» и «Крестная мать», Б. А. Тимоѳеевъ — «Ковальчуки», вн. Е. Н. Трубецкой — «Помощь плѣнникамъ», И. С. Шмелевъ — «У плакучихъ березъ».

СТИХОТВОРЕНІЯ: Балтрушайтис, Ю. К. — Бальмонта, К. Д. — Брюсова, В. Я. — Бунина, И. А. — Бѣлоусова, Н. А. — Вересаева, В. В. — Гальперина, М. П. — Герцикъ, Е. С. — Грузинскаго, А. Е. — Кречетова, С. А. — Лепетина, Н. Н. — Нуштайкина, Л. Г. — Петровскаго, П. К. — Ратгауза, Д. И. — Стонина, Л. Н. — Тардова, В. Г. — Чельцова, А. В. — Чумаченко, А. А. — П. П. Ершова — Изъ поэмы «Сутра».

РИСУНКИ: Б. М. Васнецова — «Марія Магдалина» и «Каменный вѣнокъ», С. А. Виноградова — «Поранитинъ», Е. В. Гольдингеръ — «Дѣвушка у окна», С. В. Малютина — «Мальчикъ», А. Н. Юрьева — «Татаринъ», М. В. Нестерова — «Преподобный Сергій и Дмитрій Донской» и «Изъ. Надежда, Любовь, Софія», С. В. Новоковскаго — «Монастырь», Л. О. Пастернака — «Дѣвочки», В. Д. Поленова — «Мармара», А. С. Степанова — «Зимой», В. И. Сурикова — карандашный рисунокъ «Въ пользу русскихъ плѣнныхъ», М. В. Якунчиковой — «Стрекозы».

Обложка Н. А. Андреева.

Вся вырученная отъ продажи СБОРНИКА сумма поступитъ полностью въ „Московскій Городской Комитетъ ПОМОЩИ РУССКИМЪ ВОЕННОПЛѢННЫМЪ".

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ В СВЕТ СБОРНИКА «В ПОМОЩЬ ПЛЕННЫМ РУССКИМ ВОИНАМ» (М., 1916)

В сборнике участвовали: Л. Н. Андреев, В. Я. Брюсов, Бунин, В. В. Вересаев, А. М. Горький Н. Д. Телешов

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ляю себе обратиться к вам с усерднейшей просьбой — не отказать и в своем участии. Среди сотрудников у нас есть А. М. Федоров [4], Вяч. Иванов [5], К. Бальмонт [6], Ф. Сологуб [7] и было бы очень-очень дорого присоединить к этим именам ваше имя. Разумеется, мы не можем спрашивать с вас слишком большого: чтобы и вы захотели заняться изучением языка, хотя это — труд, который, как я убедился на опыте, вознаграждается сторицей. Но, может быть, вы согласитесь сделать один или несколько (чем больше, тем нам будет приятнее) переводов с подстрочного русского перевода, к которому будет приложена точная транскрипция, русскими буквами, подлинника. Так исполняют переводы и все другие наши сотрудники, да и я тоже, ибо мои познания в армянском языке все еще не позволяют мне обходиться совершенно без таких пособий. В свое время вы уже дали несколько переводов с армянского [8], и теперь я, со знанием дела, могу утверждать, что они принадлежат к самым удачным, какие только существуют на русском языке. Исполнением просьбы вы крайне обязали бы и лично меня, и всю редакцию сборника, и весь «Армянский комитет», являющийся издателем.

Ввиду общественных задач, преследуемых сборником, — еще раз обратить внимание русских людей на армянский народ, показать, что он заслуживает всего нашего внимания *не только* по причине неимовер-

ных бедствий, переживаемых им,— редакция считает своим долгом быть бережливой в расходах (вспомните, что на том же Комитете лежат и заботы об армянских беженцах! [9]). Поэтому обычным гонораром за переводы назначено 50 коп. за стих. Но, конечно, если для вас такой гонорар неприемлем, вам следует лишь сказать слово и для вас будет с радостью сделано исключение.

Надеюсь, вы найдете возможным ответить хоть несколько слов по возможности в ближайшие дни, так как хочется с изданием поторопиться. В случае вашего согласия, мы тотчас же вышлем вам тексты с переводом (подстрочным) и транскрипцией.

Душевно преданный вам Валерий Брюсов

P. S. *Во всяком случае* просим усердно — не отказать в одном: позволить нам *перепечатать* ваши переводы с армянского, уже появлявшиеся в печати; мне известны два таких перевода, один из Исаакиана, другой из Цатуриана.

[1] В апреле 1915 г. Московский Армянский комитет принял решение об издании капитального сборника армянской литературы на русском языке, доход от которого поступил бы в фонд помощи армянским беженцам (см. примеч. 9). В состав редакционной комиссии были выбраны К. Кусикян, А. Цатурян, К. Микаэлян, Ю. Веселовский, а затем П. Макинцян. В художественный отдел вошел М. Сарьян. После переговоров с Горьким и по его совету П. Макинцян, А. Цатурян и К. Микаэлян 26 июня 1915 г. посетили Брюсова и заручились его предварительным согласием редактировать сборник. По этому поводу К. Микаэлян на следующий день писал поэту В. Теряну: «Вчера с Цатуряном и Погосом ‹П. Макинцяном.— *А. Н.*› были у Брюсова. Принял хорошо, а 1а М. Горький, дал (почти) согласие редактировать наш сборник. Проявил неожиданную заинтересованность к нашему предложению до такой степени, что решил изучить армянский язык! Да, не удивляйся, через три дня Погос начнет ходить к нему и давать уроки армянского языка. Потребовал всю литературу об Армении. Словом, проектируемый нами сборник выйдет под высочайшей редакцией „известного русского поэта В. Брюсова“» (цит. по ст.: А. П. Макинцян. Из истории создания «Поэзии Армении».— «Брюсовские чтения 1966 года». Ереван, 1968, стр. 163—164).

[2] Уроки армянского языка и занятия по истории армянской литературы вел профессор Павел Никитич Макинцян, филолог и историк, в содружестве с которым Брюсов за короткий срок проштудировал огромный фактический материал. Вспоминая об этих занятиях, И. М. Брюсова писала: «Одно из свойств, присущих в высокой степени Брюсову,— это скорость, быстрота в работе. Если Валерий Яковлевич бывал чем увлечен, не успеешь оглянуться,— уже все сделано. Павел Никитич проявлял не меньшую трудоспособность. Бывало придет на урок, принесет целую кипу вновь переведенных подстрочников, с транскрипцией, с расставленными ударениями и с отмеченной цезурой стиха, с подчеркнутыми рифмами, с целым рядом примечаний на полях..» («Литературная Армения», 1959, № 5, стр. 102).

[3] Сборник был составлен и подготовлен к печати в крайне сжатые сроки — с июня по ноябрь 1915 г. После острой дискуссии внутри редакционной комиссии было решено исключить из московского сборника прозу и представить только образцы армянской поэзии с древнейших времен до начала XX в.

[4] Александр Митрофанович *Федоров* (1868—1949) — поэт, драматург и прозаик, старый друг Бунина, с которым он многие годы состоял в переписке. Переводы А. М. Федорова в сб. «Поэзия Армении» не были помещены.

[5] В июле 1915 г. Брюсов обратился к Вяч. Иванову с просьбой принять участие в переводах для сборника «Поэзия Армении»: «Сборник преследует цели не только художественные, но и благотворительные. Издатели надеются частью из самого дохода сборника получить средства для помощи армянским беженцам, частью вообще обратить этим сборником внимание на трагическое положение армянского народа, доказать, что он достоин поддержки» («Брюсовские чтения 1966 года», стр. 221). Вяч. Иванов принял предложение Брюсова, избрав для переводов произведения И. Ионисяна, Ов. Туманяна и Ав. Исаакяна.

[6] К. Д. Бальмонт одним из первых перевел на русский язык некоторые образцы современной армянской поэзии, в частности, произведения Туманяна (легенда «Ахтамар», перевод 1893 г.). Стихотворные переводы К. Бальмонта из Ов. Туманяна, И. Ионисяна, А. Цатуряна, П. Дуряна и др. печатались во втором томе антологии «Армянские беллетристы» (1894), сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам» (1898), «Современные армянские поэты» (1903), «Армянская муза» (1907). При подготовке сборника «Поэзия Армении» Брюсов просил Бальмонта разрешить

перепечатку его старых переводов и выполнить новые — из Ав. Исаакяна, В. Теряна и др. Бальмонт перевел несколько стихотворений Исаакяна («Брюсовские чтения 1966 года», стр. 216).

[7] Для «Поэзии Армении» Брюсов просил Сологуба перевести «Песни любви» Наапета Кучака, крупнейшего поэта армянского средневековья. Сологуб перевел эти песни, а также одно стихотворение В. Теряна («Ты не горда, страна моя...»). Получив эти переводы, Брюсов ответил Сологубу: «Ваши переводы будут украшением нашего сборника» («Брюсовские чтения 1966 года», стр. 228).

[8] Первый перевод с армянского был сделан Буниным для сборника «Современные армянские поэты» (1903), где было помещено переведенное им стихотворение Александра Цатуряна «Мрачна, темна душа моя...». Бунин также одним из первых перевел на русский язык Ав. Исаакяна; его стихотворение «Моя душа объята тьмой полночной...» в переводе Бунина было впервые опубликовано в сборнике «Армянская муза» (1907). На чествовании Бунина в Москве по случаю 25-летия его литературной деятельности от имени армянской интеллигенции выступил А. Цатурян, и Бунин с чувством откликнулся на его приветствие: «Я пламенно люблю солнце и Восток. Армянский народ когда-то, в древние времена, поклонялся солнцу, и сегодня в своей тяжелой жизни опять тянется к солнечному свету. Я глубоко тронут и благодарен за то, что вы меня приветствовали и отметили этот скромный праздник на языке древнего народа» (газ. на арм. яз. «Оризон», 1912, № 253).

[9] Издание «Поэзии Армении» было предпринято в разгар первой мировой войны, когда в Закавказье турецкая армия зверски истребляла мирное население Западной Армении. Тысячи армянских беженцев покинули в это время свои дома и испытывали большие лишения.

46. БУНИН — БРЮСОВУ

⟨с. Глотово, ст.⟩ Измалково, Орловской губ.[1]
19. VIII. 1915

Дорогой Валерий Яковлевич!

Позвольте ответить вам условно: будьте добры прислать мне одно или два небольших стихотворения, я попробую передать их, и *если* выйдет что-нибудь путное, с величайшим удовольствием напечатаю у вас; если нет — а я очень боюсь, что может так случиться, ибо подстрочник, как бы хорош он ни был, почти никогда не задевает сердца,— великодушно извините. Что до прежних моих переводов с армянского, то ваши похвалы им я всецело отношу к вашей любезности: я совершенно не помню их, но убежден, что они плохи,— дело давнее, на которое я неразумно согласился по чьему-то настоянию,— и *очень* прошу вас не перепечатывать их [2].

От души желаю успеха вашему хорошему делу.

Ваш Ив. Бунин

Ответ на п. 45.

[1] В 1915—1917 гг. Бунин подолгу жил в селе Глотове (в усадьбе Пушешниковых Васильевское). В письмах этого времени он обычно обозначал свой адрес по ближайшей почте на ж. д. станции Измалково. Для ясности в подобных случаях вносится редакционное добавление: ⟨с. Глотово⟩. При отсутствии адреса в письме указываются оба названия: ⟨с. Глотово, ст. Измалково, Орловской губ.⟩.

[2] Отвечая на такое же обращение Горького, который просил разрешения перепечатать старые бунинские переводы из А. Цатуряна и А. Исаакяна в петроградском сборнике армянской литературы, Бунин писал 10 октября 1915 г.: «Дорогой Алексей Максимович, эти „переводы“ с армянского,— думаю, что именно эти, так как иных у меня, кажется нет,— просил у меня для перепечатки в подобном же собрании Брюсов, приступал несколько раз, с непонятной для меня настойчивостью, но я остался „тверд, спокоен и угрюм“, ибо, принимая во внимание давность этого дела, предполагал, что сделано оно плохо. Теперь вижу, что я не ошибся,— стихи точно неважные, в чем повинны оба — и автор, и переводчик. Как же мне быть теперь? Если соглашусь на вашу просьбу, люто обижу Брюсова и напечатаю то, что не следует печатать. Если не соглашусь — вы рассердитесь... Решаю так: да будет воля ваша» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 80). В «Сборнике армянской литературы» (изд. «Парус», Пг., 1916) и в «Поэзии Армении» были перепечатаны оба бунинских перевода.

47. БРЮСОВ — БУНИНУ

Москва, 1 Мещанская 32,
13 сентября 1915

Дорогой и многоуважаемый Иван Алексеевич!

Очень вы нас огорчили запрещением перепечатывать ваши переводы из армянского. Настойчиво, со всей искренностью, повторяю, что переводы эти очень хороши. Если хотите, мы доставим вам подстрочные переводы оригиналов, дабы вы могли убедиться, как близко вам удалось передать подлинник, сохранив все его краски. Хочется верить, что вы еще «переложите гнев на милость».

Сегодня, пользуясь вашим добрым разрешением, высылаю вам стихотворение Дуриана [1],— одного из самых значительных поэтов среди турецких армян,— в надежде, что вы захотите передать эти стихи по-русски. Перевод, может быть, слишком буквален, но вы, конечно, угадаете, что скрывается под этими неумелыми прозаическими строками, в которых переводчику не удалось выразить сжатой силы оригинала. Размер подлинника — нечто вроде нашего 4-стопного ямба, с одними мужскими рифмами (по-армянски ударение всегда,— точнее, почти всегда — на последнем слоге).

Извиняюсь, что отвечаю вам с опозданием: среди причин того — и мое длительное нездоровье.

Дружески преданный вам Валерий Брюсов

Ответ на п. 46.

[1] Петрос *Дуриан* (1851—1872) — родился в бедной семье константинопольского армянина, учился в народной школе, познал тяжелую нужду, писал пьесы и пытался выступать на сцене, более всего известен как автор лирических стихотворений; ранняя кончина оборвала все его многообещающие начинания. «Юноша Дуриан остается в истории армянской поэзии как яркий, огненный штрих: среди других, более спокойных поэтов он показал, что значит в творчестве „темперамент“, сила непосредственных переживаний, часто не только заменяющих „школу“, „технику“, но и безмерно возвышающихся над ними ⟨...⟩ В этом — историческое значение творчества Дуриана, особенно важное и именно для поэзии „турецких армян“, последующие деятели которой порой грешили излишней выдержкой, клонясь к холоду парнасизма и ставя себе идеалом его „непогрешимость“» (Валерий Брюсов. Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков. Историко-литературный очерк.— «Поэзия Армении». М., 1916, стр. 69). Перевод из Петроса Дуриана Буниным не был исполнен. Поэзия Дуриана в антологии представлена переводами Брюсова, Бальмонта и Е. Сырейщиковой.

ПЕРЕПИСКА с Н. Д. ТЕЛЕШОВЫМ
1897—1947

Предисловие и публикация А. Н. Дубовикова

Среди обширной корреспонденции Бунина его переписка с Телешовым занимает исключительное место прежде всего по ее длительности. Между первым письмом Бунина, с которого она началась, и завершающим письмом Телешова пролегли пять десятилетий. Даже переписка с таким близким по крови и по духу человеком, как старший брат Юлий, охватывает значительно меньший промежуток времени.

С Николаем Дмитриевичем Телешовым (1867—1957) Бунин познакомился в 1897 г. Очень скоро они подружились, несмотря на коренное различие и по социальной принадлежности, и по укладу жизни, и по свойствам характера каждого из них. Общий интерес к литературе, общее понимание ее задач, ее общественного значения помогли их сближению, сделали их на долгие годы единомышленниками и соратниками по многим литературным и литературно-издательским начинаниям.

Этим определилось и содержание их переписки на протяжении двадцати предреволюционных лет. В ней нашли широкое отражение творческие искания каждого из корреспондентов, их участие в таких влиятельных журналах, как «Мир божий», «Русское богатство», «Журнал для всех», «Жизнь» и многие другие, их совместная деятельность в «Среде», возникшей в 1899 г. по инициативе Телешова, их общение с Чеховым, Л. Толстым, Горьким, Л. Андреевым, их работа в «Знании», в московском «Книгоиздательстве писателей», в сборниках «Слово» и т. д. и т. д. Публикуемые письма являются ценнейшим источником для изучения истории издания многих книг Бунина и Телешова, литературных сборников («Книга рассказов и стихотворений», «Друкарь», «Клич» и др.), инициатором и неутомимым организатором которых был Телешов и в которых неизменно участвовал Бунин.

Революционные события 1917 г., трудности почтовой связи между Москвой и Одессой, куда Бунин уехал весной 1918 г., прервали их переписку. Последовавшая в начале 1920 г. эмиграция Бунина сделала невозможной ее возобновление в течение многих лет. В мае 1941 г., когда Европа уже была охвачена военными событиями, Бунин сделал попытку восстановить связь со старым другом, но наступившие вскоре грозные события не дали Телешову возможности откликнуться на это обращение. Только в 1945 г., через несколько месяцев после победы над гитлеровской Германией, новая попытка Бунина достигла цели — переписка его с Телешовым на этот раз наладилась.

Письма 1945—1947 гг. резко отличаются по своему содержанию от ранних писем. Былые литературные и общественные связи были давно и безвозвратно нарушены, общих интересов, в сущности, не осталось — слишком многое разделяло маститого советского писателя Телешова и Бунина, отказавшегося после тяжелых раздумий от возвращения на родину и решившего доживать остаток жизни в эмиграции.

В письмах этих лет много места занимает взаимная информация о том, как прошли для каждого из них годы войны, как сложилась их жизнь после ее окончания, какова судьба их родных и близких. Естественно, что этих мотивов было недостаточно для того, чтобы питать длительную переписку. Правда, помимо рассказов о пережитом возникла и другая тема, связанная с намерением Гослитиздата возобновить в Советском Союзе издание сочинений Бунина. Но и она была исчерпана, после того как Бунин, первоначально бурно протестовавший против выпуска в СССР сборника его произведений, затем разрешил издавать «все что угодно» и даже обещал прислать в Москву свои книги с исправленными и пересмотренными текстами, которые должны были быть положены в основу последующих изданий его сочинений в Советском Союзе.

Все это объясняет, почему возобновившийся обмен письмами продолжался только два года и прекратился — на этот раз уже окончательно — в сентябре 1947 г.

Основными местами хранения переписки Бунина и Телешова являются: ИМЛИ — письма Бунина 1897—1916 гг.; ЦГАЛИ — письма Телешова 1897—1916 гг.; МКТ — письма Бунина 1941 г., 1945—1947 гг. и отдельные письма (главным образом открытки) дореволюционных лет; Парижский архив Бунина — письма Телешова 1919 г. и 1945—1947 гг. Кроме того, единичные письма находятся в ГБЛ и ГМТ.

Несмотря на большое количество дошедших до нас писем (более 150 писем Бунина, около 100 — Телешова) — можно думать, что их переписка сохранилась далеко не полностью. Остаются неизвестными письма Бунина за 1905 и 1906 гг., письма Телешова — за 1906, 1914 и 1915 гг.; очень мало имеется писем обоих корреспондентов за 1904, 1908, 1910 гг. Телешов хранил, очевидно, свою корреспонденцию более тщательно — это обеспечило бóльшую сохранность писем Бунина к нему. Значительно меньшее количество известных нам писем Телешова позволяет думать, что часть их была утрачена (возможно, еще при жизни Бунина).

До настоящего времени было опубликовано 16 писем Бунина к Телешову («Проблемы реализма» — п. 37, 74, 81, 192, 208; «Исторический архив», 1962, № 2 — п. 226, 227, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 240, 242, 243) и 9 писем Телешова к Бунину («Исторический архив», 1962, № 2 — п. 230; Нью-Йорк, 1966 г.— п. 225, 228, 229, 234, 237, 239, 241, 244). Предлагаемая публикация включает 244 письма, в том числе 148 писем Бунина и 96 писем Телешова. Все письма публикуются по подлинникам (кроме восьми писем Телешова, находящихся в Парижском архиве,— они воспроизводятся по нью-йоркской публикации).

Не входят в публикацию четыре незначительные записки Бунина (31 августа 1900 г. и 14 октября 1913 г.— МКТ; 31 декабря 1900 г.— ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 20; 3 мая, б. г.— там же, ед. хр. 42, л. 1), окончание его же письма (без даты, на отрезанном клочке бумаги — там же, ед. хр. 30, л. 8) и три недатированные записки Телешова (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 10, 23, 26).

1. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Петербург, 21 октября 1897 г.⟩

Многоуважаемый Николай Дмитриевич!

Спешу сообщить вам мой адрес: Пушкинская ул., д. № 1, меблированные комнаты Пименова. У Короленко не был — у него дочь в тифу [1]. Но в «Мире божьем» уже много говорил о вас. Если угодно — передам «Сухую беду» туда и уверен в успехе [2]. Но поговорю и с Короленко, когда его дочка немного поправится. Кончайте рассказ и шлите. Пробуду тут, верно, до 10 ноября [3].

Ваш И. Бунин

На обороте: Москва. Валовая, 514. Его высокоблагородию Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Петербург, 21 окт. 1897; Москва, 22.X.1897.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 21, л. 1. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Связи с «Русским богатством» установились у Бунина в 1893 г., когда в № 4 журнала был напечатан его рассказ «Деревенский эскиз» (позднейшее заглавие: «Танька»). Рассказы Бунина печатались в «Русском богатстве» и в 1895 г., когда Короленко приобрел права на издание журнала (в состав редакции он вошел в конце 1894 г.). Личное знакомство Бунина с Короленко состоялось 7 декабря 1896 г. в Петербурге, на юбилее К. М. Станюковича (подробнее см. настоящ. кн., стр. 378).

[2] Рассказ Телешова «Сухая беда» был напечатан в журн. «Мир божий», 1898, № 7, отд. I, стр. 19—54.

[3] В Петербурге Бунин пробыл с 15 октября по 9 ноября 1897 г. («Материалы», стр. 64).

БУНИН И ТЕЛЕШОВ
Фотография. Москва, 1910
Внизу — помета Бунина: «1910 г.»
Литературный музей, Москва

2. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 23 окт⟨ября 18⟩97

Многоуважаемый Иван Алексеевич.

Очень благодарен вам за внимание и за то, что говорили обо мне в «Мире божьем»; это журнал симпатичный и я с удовольствием стал бы в нем работать, но «Сухую беду» мне хотелось бы пристроить к «Богатству». Вы сами поймете, почему. Большие вещи у меня редки и видеть их желалось бы, конечно, в более видном месте, особенно на первое время.

«Беду», вероятно, кончу на этой неделе, осталась заключительная глава, но самая трудная. Потом отдам переписать и числу к 3—4 могу выслать.

Если будет случай видеть Короленко до этого времени, пожалуйста, поговорите ему [1]. Мне хочется выслать сначала ему, а если у него она не пройдет, тогда уж все равно, пристрою ее во второстепенных органах.

Простите, что затрудняю вас, но ведь для меня этот переход так важен! [2]

А «Миру божьему» я написал бы листовой рассказик за зиму и был бы очень обрадован, если б его поместили.

Еще раз благодарю вас за хлопоты и за желание мне добра.

Ваш Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 124, л. 1—2. Ответ на п. 1.

[1] По-видимому, Бунину до отъезда из Петербурга не удалось повидать Короленко. Но все же рассказ «Сухая беда» был послан в «Русское богатство». 5 декабря 1897 г. Короленко писал Телешову: «К сожалению, „Сухая беда" не пойдет в журнале „Русское богатство". Считаю, однако, нужным оговориться, что причина тут чисто внешняя: в нашей редакции скопилось уже слишком много материала из жизни инородцев и окраин, и в вашем рассказе центральная фигура и центральный мотив — опять инородческие. Ввиду этого мы *должны* отказаться от вашей рукописи на этот раз, но с интересом встретим всякую следующую вашу работу» (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 192, п. 1).

[2] До этого Телешов сотрудничал в «Радуге», «Детском чтении» и в разных мелких журналах, издававшихся в Москве. После выхода в свет первых его книг («На тройках». М., 1895; «За Урал». М., 1897) перед ним открылась возможность печататься в петербургских толстых журналах, чем он, видимо, очень дорожил.

3. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 26 ноября 1897 г.⟩

Любезный Николай Дмитриевич!

Хотим в пятницу 28 ноября быть у вас с Белоусовым [1]. Если вам нельзя — черкните. Если же не получим ничего от вас — будем.

Ваш И. Бунин

На конверте: Городское. Валовая, д. 514. ЕВБ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва, 27.XI.1897.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 21, л. 2. На бумаге с бланком: «Редакция журнала „Вестник воспитания". Москва, Арбат, Староконюшенный переулок, дом Михайлова». Датируется по почтовому штемпелю и по упоминанию в тексте: «в пятницу 28 ноября».

[1] Иван Алексеевич *Белоусов* (1863—1930) познакомился с Телешовым в 1885 г.— с этого времени началась их долголетняя дружба. Знакомство с Буниным (сначала письменное) сам Белоусов ошибочно отнес к 1887 г. (И. А. Белоусов. Литературная Москва. Воспоминания 1880—1928. Писатели из народа. Писатели-народники. 2 изд. М., 1929, стр. 62—63). В действительности они начали переписываться в январе 1889 г., а вскоре после этого в Москве произошла и их личная встреча. Именно Белоусов познакомил с Буниным Телешова.

4. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 4 декабря 1897 г.⟩

Иван Алексеевич!

Скажите мне попросту, без церемоний и разных тонкостей — в каком смысле вы говорили обо мне г. Михайлову [1], и удобно ли будет, если бы я поехал в незнакомый дом? Я все еще не знаю, как мне справлять именины [2], но, кажется, перенесу их на недельку, или на две подальше, чтобы позвать приятных людей в свободное для них время. Впрочем я еще не решил. Тем не менее вы мне скажите откровенно: что если бы я собрался с вами (не иначе) к Михайлову? В каком смысле вы рекомендовали меня и что там будет?

1) Как кавалера, то есть насчет дам и танцев? (Танцую только кадриль, при этом скверно и не очень охотно.)

2) Для сих целей нужен фрак, или возможен сюртук? (То и другое имеется.)

3) Самое главное: будет ли удобно, если *вы меня* привезете? И что мы должны делать?

Если возможно и удобно, то вы справились бы, нужен ли «кавалер» в бальном смысле, то есть «полотер», или человек на две-три кадрили, или вообще?

В случае чего, обещаюсь торжественно:

1. Пьян не напьюсь.
2. В азартные игры не стану играть.
3. Ноги на стол не положу.
4. *Очень* ухаживать ни за кем не буду.
5. Ни ссоры, ни скандала не заведу

и 6) насчет вальсов и прочего — ни к черту не гожусь!

Все это взвесьте, а еще лучше проверьте и без всяких церемоний мне напишите сущую правду, так как вам нет никакого резона, чтобы я оказался в глупом положении. В старину и мне приходилось «возить кавалеров», но я знал, кому что нужно и возил иногда черт знает каких остолопов — лишь бы танцевали. Если я нужен специально для танцев, то я, разумеется, не гожусь.

Надеюсь, вы понимаете, про что я говорю и, надеюсь также, что не захотите меня подвести, поэтому жду от вас сущей правды, без стеснения в выражениях.

4 дек. 97 Ваш Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 3—4 об.

[1] Николай Федорович *Михайлов* (1849—1915) — врач по профессии, с 1895 г. редактор, а позднее редактор-издатель научно-популярного педагогического журнала «Вестник воспитания» (1890—1916). Бунин был знаком с Михайловым через брата Юлия, который заведовал редакцией журнала и был его фактическим редактором.

[2] Именины Телешова, как и Михайлова, праздновались 6 декабря, в день «зимнего Николы».

5. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва⟩ 5 декабря 1897 г.

Вы меня обижаете, Николай Дмитриевич, предполагая, что я мог говорить о вас у Михайловых, как о «полотере», т.е. о «юноше для танцев». И как вы могли думать, что, приглашая вас, я ничего не *взвесил* и поступаю как нетактичный юнец? Михайловы мои хорошие знакомые, люди интеллигентные и совершенно простые. Рекомендовал я вас как «человека вообще» (ваше выражение) и в качестве такового вы и будете встречены. Предварительного визита вовсе не надо делать, фрака надевать не требуется, в азартные игры играть и напиваться тоже не надо, да и никто не может предположить, чтобы мой знакомый, которого я ввожу в дом, делал это с особым удовольствием.

Одним словом, дорогой Николай Дмитриевич,— жду вас к себе на квартиру 6-го числа, т.е. завтра, к 8 часам [1]. В девять мы явимся к Михайловым и будем делать, что нам угодно. Боюсь только, что вы поздно получите это письмо. Жду.

Ваш И. Бунин

Пишу несвязно, но завтра успокою вас в более связных и более сильных выражениях. Повторяю, очень буду рад поехать с вами и вас будут рады видеть.

И. Бунин же

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 21, л. 3—4. Место отправления определено по тексту. Ответ на п. 4.

[1] Телешов принял это приглашение (см. п. 6). «На квартиру», т. е. к Ю. А. Бунину, жившему в доме Михайлова по Староконюшенному переулку, где помещалась и редакция «Вестника воспитания» (№ 32).

6. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 7 декабря 1897 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич!

Очень благодарен вам за вчерашнее знакомство. Люди они чрезвычайно простые и симпатичные. Извиняюсь, что ушел, не простившись с вами. Вы были заняты и я не хотел мешать. Сегодня пишу Михееву. Напишите и вы два слова в редакцию [1].

Ваш Н. Телешов

7 дек. 97

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 5—5 об. Визитная карточка.

[1] Василий Михайлович *Михеев* (1859—1908) — беллетрист, драматург, поэт и журналист, один из основателей «Среды». В 1897 г. переехал в Ярославль и начал работать там в редакции газеты «Северный край»; с 1900 г. (официально — с 1902) был редактором этой газеты. В декабре 1905 г. «Северный край» был закрыт.

7. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 9 декабря 1897 г.

Я уже написал Давыдовой [1].

Вчера говорили о вас у Михайловых. Николай Федорович совсем не придает значения церемонии визитов, и поэтому не делайте ему официального визита. Он просто будет рад вас видеть у себя по четвергам вечером [2].

Ваш И. Бунин

На обороте: Городское. Валовая, 514. ЕВБ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва, 9.XII.1897.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 21, л. 5. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Александра Аркадьевна *Давыдова* (урожд. Горожанская, 1848—1902) — издательница журн. «Мир божий», основанного в 1892 г. Бунин начал переписываться с Давыдовой в 1893 г., а познакомился с ней в Петербурге в ноябре 1896 г. (см. письмо к брату Юлию 30 ноября 1896 г.— «Русская литература», 1963, № 2, стр. 180; М. К. Куприна-Иорданская. Годы молодости. М., 1960, стр. 11—12). Письма Бунина к Давыдовой неизвестны; по сообщению ее дочери, Давыдова за две недели до смерти распорядилась сжечь всю ее многолетнюю переписку (М. К. Куприна-Иорданская. Годы молодости, стр. 66—67). Сохранилось 4 письма Давыдовой к Бунину 1893—1894 гг. (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 97).

[2] Ю. А. Бунин в воспоминаниях «„Четверги“ у Н. Ф. Михайлова» писал, что они «носили довольно своеобразный характер». Постоянными их посетителями были, кроме родственников, врачи, старинные товарищи хозяина дома по университету и по службе в земстве, сотрудники «Вестника воспитания», литераторы, ученые, адвокаты. «Обычно гости на „четвергах“ собирались часам к 9, когда был уже подан чай, фрукты, сласти и проч. После чаю гости отправлялись в кабинет Николая Федоровича и в соседнюю гостиную. Здесь нередко прочитывались различные новинки литературные, общественно-политические, которые не всем удавалось достать (разные воззвания, сообщения, доклады и проч.). Иногда возникали интересные и поучительные прения, причем полемический и резкий тон обыкновенно отсутствовал. Затем, довольно часто, после этого устраивалось небольшое концертное отделение (на рояле, фисгармонии — иногда совместно с виолончелью или скрипкой). Вечер заканчивался легким, но очень хорошим ужином с небольшим количеством вина (также хорошего ка-

чества). Часу в первом ночи обычно уже расходились. ⟨...⟩ Словом, это были обычные журфиксы, которых в Москве было очень много. Тем не менее „четверги“ Николая Федоровича не были обывательскими журфиксами, на которые собираются исключительно ради развлечения — отдохнуть в близком кругу, провести весело время, поиграть в карты, закусить, выпить и т. д. Они носили интеллигентский характер; как ни разнороден был их состав, в общем это все-таки была прогрессивная компания». Далее Ю. А. Бунин вспоминает, что Телешов и И. А. Бунин, наряду с другими литераторами, приглашались на вечера, которые Н. Ф. Михайлов устраивал ежегодно для учеников провинциальных учительских семинарий. На таких вечерах выступали также видные артисты, оперные певцы и музыканты (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 3, ед. хр. 11, л. 1—2).

8. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 15 декабря 1897 г.⟩

Завтра, во вторник 16-го собираюсь к С. Д. Махалову [1]. Заезжайте ко мне часов в 7 и поедем вместе, если свободны.

Ваш И. Бунин

На обороте: Городское. Валовая, 514. ЕВБ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва, 16.XII.1897.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 21, л. 6. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю и по тексту.

[1] Сергей Дмитриевич *Махалов* (псевд.: Разумовский, 1864—1942) — драматург, поэт и беллетрист, один из основателей «Среды». С детских лет был дружен с Телешовым, который, по-видимому, и познакомил с ним Бунина. О Махалове см. «Записки писателя», стр. 11.

9. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 26 декабря 1897 г.⟩

Любезный Николай Дмитриевич,

Михайловы приглашают вас поехать с ними в их деревню, Лунево, на денек-другой [1].

Едет две компании: одна завтра * с поездом, который отходит из Москвы *в 3 ч. 30 м. дня*, другая послезавтра, в воскресенье, в 10 ч. утра. Обе компании состоят из людей, которые почти все вам знакомы. Если вам нельзя завтра, то приезжайте тоже в воскресенье. Было бы, впрочем, очень желательно, чтобы вы поехали завтра. Сам Михайлов, я и Юлий поедем завтра. Возвратимся все в понедельник. Ехать надо по Николаевской дороге до станции *Сходня*. На Сходне и завтра, и в воскресенье на всех хватит лошадей, и притом лошадей великолепных, так что доедем превосходно. Надеюсь, что будет очень весело. Прелести Лунева я вам уже описывал. Итак, ждем вас завтра на Николаевский вокзал к 3 ч. Михайловы *очень* просят вас.

Извините меня, а также попросите за меня извинения у ваших, что не поздравил с праздником: не имею обыкновения, хотя всегда рад пожелать и вам и всем вашим всего лучшего.

Ваш И. Бунин

На конверте с бланком («Редакция журнала „Вестник воспитания“. Москва, Арбат, Староконюшенный пер., д. Михайлова») адрес: Городское. Валовая ул., д. № 514. Его высокоблагородию Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва, 27.XII. 1897.

ИМЛИ, ф. 3, оп.3, ед.хр. 21, л. 7—8.

---

* Суббота 27-го.

[1] В цитированных уже воспоминаниях Ю. А. Бунина (см. примеч. 2 к п. 7) говорится о поездках в Лунево: «В конце 90-х и в начале 900-х годов Николай Федорович нередко приглашал многих из посетителей своих „четвергов" в свое имение Лунево близ станции Сходня Николаевской ж. д. ⟨...⟩ Поездки туда и летом и зимою носили исключительно увеселительный характер, ради прогулок и отдыха. Я не сомневаюсь, что если не у всех, то у большинства пребывание в Луневе оставило приятные воспоминания» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 3, ед. хр. 11, л. 2).

10. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 29 декабря 1897 г.⟩

Любезный Николай Дмитриевич,

М. Ф. и Ф. А. Беркенфельд, родственники Михайлова, которых вы видели на Николин день, пригласили меня к себе встречать Новый год и просили передать таковое же приглашение и вам.

Если вы еще не обещали никому, поедемте: ручаюсь за радушный прием. Буду ждать вас к себе в среду 31-го декабря до четверти восьмого вечера: просили пораньше, часам к 8-ми. А если вам неудобно, то приезжайте прямо к Беркенфельд. Живут они на Гороховом поле, Вознесенская ул. [1], против Елисаветинского института, собственный дом, № 19—21. Это близ «Райка», в Старо-Басманной части, 2-го участка. Если же, паче чаяния, совсем не поедете и мы не увидимся в среду, приезжайте ко мне, пожалуйста, как-нибудь на следующей неделе. Назначьте день (за исключением среды и четверга) и напишите. Я тогда напишу С. Д. Махалову и Ивану Алексеевичу [2]. Привозите тогда свой новый рассказ («Домой»), который, верно, кончен [3]. Прочту и я вам крохотный.

Из Питера получил дней пять тому назад письмо от Давыдовых: страшно занята Давыдова (ведь время-то какое!) и обещает непременно прочесть ваш рассказ на этих днях и тотчас же известить [4]. 3-го обещался приехать Михеев. Может быть, 3-го встретимся где-нибудь все вместе? Впрочем, ведь он пробудет не один день и мы, верно, известим вас, где свидимся.

А лучше всего повидаемся раньше: поедем к Беркенфельдам!

Ваш И. Бунин

На конверте с бланком «Вестника воспитания» адрес: Городское. Валовая ул., д. № 514. ЕВБ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва, 30.XII.1897.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 21, л. 9—10. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю и по тексту.

[1] Вознесенская ул.— ныне ул. Радио.

[2] И. А. Белоусову.

[3] Телешов читал рассказ «Домой!» 31 января 1898 г. у себя, в присутствии Белоусова, И. А. и Ю. А. Буниных, Махалова и др. («Материалы», стр. 64). Рассказ этот с подзаголовком «Из жизни сибирских переселенцев» был напечатан в журн. «Детское чтение», 1898, № 3, стр. 255—271.

[4] Это письмо от А. А. Давыдовой и ее приемной дочери Марии Карловны остается неизвестным. (О рассказе Телешова «Сухая беда» см. п. 1 и 2.)

11. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 30 дек⟨абря 18⟩97

Дорогой Иван Алексеевич,

очень благодарен вам за переданное приглашение, но снова мне приходится отказаться, так как Новый год я уже обещал встретить у моих знакомых, где бываю много лет в эту ночь.

Прошу передать г-м Беркенфельдам мою благодарность за внимание. Я с удовольствием приехал бы к ним, но не могу нарушить обычного

посещения. На будущей неделе я все дни также наобещал. Буду свободен лишь с 8-го числа. Очень был бы рад навестить вас и непременно приеду, но только после 8-го. Впрочем, кажется, свободен и 6-го.

Рассказа еще не дописал [1]. Некогда. О «Сухой беде» буду ждать терпеливо приговора [2].

Попросите, пожалуйста, Юлия Алексеевича прислать мне книжку «Вестника воспитания». Очень интересуюсь прочитать [3].

Михееву, когда приедет,— поклон мой!

Ваш Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 6—7. Ответ на п. 10.

[1] Речь идет о рассказе «Домой!».
[2] См. примеч. 4 к п. 10.
[3] В последней книжке «Вестника воспитания» 1897 г. была помещена рецензия на книгу: Н. Телешов. За Урал. Из скитаний по Западной Сибири. Очерки. М., 1897. Автор отзыва писал: «Это рассказы ⟨...⟩ совершенно бесхитростные, полные сочувствия к простому люду, бредущему в Сибирь в поисках за куском хлеба. Страницы, посвященные этому люду, лучшие в книге, и из-за них мы, главным образом, и рекомендуем ее. Но не безынтересны также описания уральской природы и уральских заводов, рассказы о том бесчеловечии, с каким составлялись крупные капиталы на Урале, описания работ в рудниках, картины захолустной жизни в Западной Сибири» («Вестник воспитания», 1897, № 8, декабрь, отд. II, Критика и библиография, стр. 48—49. Подпись: Л. С.).

12. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 22 января 1898 г.⟩

Что вы пропали? Не приедете ли завтра, 23-го ко мне часов в 8? Думаю, что будет и Махалов.

Ваш И. Бунин

На обороте: Городское. Валовая, 514. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва, 22.I.1898.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 22, л. 1. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю и по тексту.

13. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Нижний Новгород, 5 марта ⟨18⟩ 98

Дорогой Иван Алексеевич!

Не удивляйтесь, что пишу к вам. Отчего же не написать, коли есть время и охота? Просто так... взял да и написал!

Пейзаж (из моего окна) великолепный: снег, Волга, небо, обозы по льду по наезженной вкривь и вкось дороге,— то ли не русская картина?! А на улице? Встретишь где-нибудь плохенького мужичонку, забитого, объеденного, обиженного — и думаешь, глядя на него: свой брат! И горько, и весело, черт знает что такое! Ширь да гладь перед глазами, и мороз, когда выйдешь, за уши пощипывает, и все как-то складно, все кстати. Ей-богу, хорошо!

Слышу разговоры, что Волга меняет русло: не желает течь по-старинному, а выбирает место по вкусу, и где ее не трогают, она течет по новому месту, не мелея; отойдет от прежнего места на версту, на две, а на прежнем месте — луга уже зеленеют. А ее все-таки казенные инженеры хотят «в оглобли» ввести. Куда она потечет, тут ей стену построят: «Осади назад!» И она против воли бежит по-старому, но мелеет в этих местах, и сладу с ней нет. Много в Волге сходства с судьбою русского народа!..

Выйдешь теперь на реку, увидишь наезженный след, а впереди простор и снег до горизонта — так и хочется сесть и поехать. А куда? А черт знает куда, все равно!

Ну, вот. Больше ничего. До свидания. Зайду к вам как-нибудь на неделе. Да вы бы заглянули ко мне.

Ваш Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 8—9.

14. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, 21.IX.98
Гаванная ул., «Южное обозрение»

Милый и дорогой Николай Дмитриевич!

От всего самого искреннего сердца рад за тебя и поздравляю тебя! Я еще холост, но увы! — скоро превращусь в женатого и представь себе тоже числа 24—25—26 [1]. Если не уеду, по-твоему, за границу, то буду в Москве в ноябре. Напиши, пожалуйста, из твоей Италии, где ты там будешь. Пиши нам оттуда свои впечатления для газеты [2]. Получаешь ее?

Крепко целую тебя и остаюсь всей душой твой

Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 22, л. 2. *Ответ на недошедшее письмо Телешова.*

[1] Телешов женился на Елене Андреевне *Карзинкиной* (1861—1943), художнице, ставшей деятельным членом «Среды». После свадьбы, которая была отпразднована 27 сентября 1898 г., молодые уехали в свадебное путешествие по Италии. Бунин обвенчался с Анной Николаевной Цакни 23 сентября 1898 г.

[2] Вскоре после приезда в Одессу (июнь 1898 г.) Бунин стал сотрудничать в газете «Южное обозрение», владельцем которой и фактическим редактором был Николай Петрович Цакни, в прошлом участник революционно-народнического движения, проживший ряд лет в эмиграции во Франции (см. о нем «Лит. наследство», т. 73, кн. 1, стр. 413—414; «Деятели революционного движения в России». Био-библиографический словарь. Т.II. Семидесятые годы, вып. 4, 1932, стлб. 1894—1896). Сблизившись с семьей Цакни, Бунин вошел в редакционную жизнь «Южного обозрения». В конце 1898 г. возник проект сделать Бунина официальным редактором газеты. Однако Главное управление по делам печати не утвердило его кандидатуру (см. А. Блюм. Бунин и «Южное обозрение». —«Дружба народов», 1968, № 7, стр. 283—284).

15. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, конец декабря 1898— начало января 1899 г.⟩

Дорогой Николай Митрич!

Ради бога извини — сижу за рукописью, никак не могу приехать. Зайду к тебе завтра в контору часов в 11. Елене Андреевне поклон.

Твой Ив. Бунин

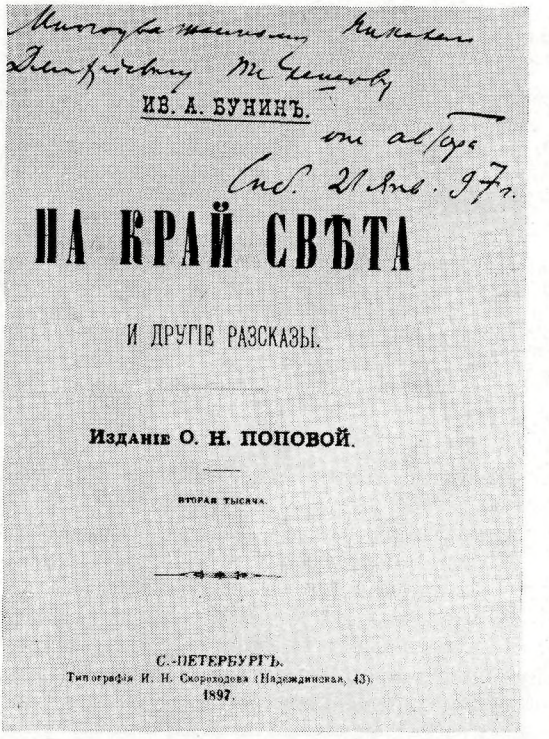
ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 22, л. 6.

Бунин в конце ноября 1898 г. приехал с женой в Петербург, а затем в Москву. Около 23 декабря Анна Николаевна уехала в Одессу, а Бунин задержался в Москве до середины января 1899 г. для работы над «Песнью о Гайавате», новое (третье) издание которой готовил в Москве магазин «Книжное дело» (ц. р. 19 ноября 1898 г.; вышла в свет в середине января 1899 г.). На основании этих фактов и определена приблизительная дата письма.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА ТЕЛЕШОВУ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ СБОРНИКА «НА КРАЙ СВЕТА» (СПб., 1897):

«Многоуважаемому Николаю Дмитриевичу Телешову от автора. СПБ., 21 янв. 97 г.»

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва


Многоуважаемому Николаю Дмитриевичу Телешову от автора. Спб. 21 янв. 97 г.

ИВ. А. БУНИНЪ.

НА КРАЙ СВѢТА

И ДРУГІЕ РАЗСКАЗЫ.

Изданіе О. Н. ПОПОВОЙ.

ВТОРАЯ ТЫСЯЧА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1897.

16. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса ⟨23 января 1899 г.⟩

Милый и дорогой Николай Дмитриевич!

Я уехал не простившись с тобой и надувши, кроме этого, тебя относительно обеда, и, ей-Богу, очень каюсь в этом. Искренно тебя прошу не придавать этому никакого значения. Из Одессы перед отъездом получил письмо, в котором меня, по некоторым делам, просили поскорее приехать, а мне еще надо было хоть на минутку заехать повидать своих [1]. Поэтому я дорожил временем, а времени было очень мало — все поглощал «Гайавата», так что, как только кончилась корректура, я тотчас же уехал. Да и нездоровилось мне все... И вышла, одним словом, ерунда. Но, пожалуйста, не сердись на меня — право, мне чертовски жаль, что я теперь еще бог его знает когда увижу тебя. Второе, что очень огорчило меня, это то, что цензор оба твои рассказа зарезал без всякого милосердия, а между тем рассказы — особенно первый — всем весьма понравились в редакции [2]. Выслать тебе их? О переводе газеты на Чистые пруды снова сделал — уже грубое — распоряжение.

Не забывай все-таки «Южное обозрение» — пришли что-нибудь поневиннее [3].

Здесь совершенная весна — порой даже лето: на днях на солнце было 22 градуса тепла. Я второй день только и делаю, что брожу по бульвару над морем и пьянею от воздуха.

«Домой» получил и очень скоро напишу о ней [4]. Спасибо. Пожалуйста, пиши хоть изредка, как живешь и что думаешь.

Искренно любящий тебя Ив. Бунин

P. S. Поклон твоей супруге.

На конверте с бланком («Контора ежедневной газеты „Южное обозрение“. Гаванная, д. Михайловой») адрес: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВБ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 23.I.1899; Москва, 26.I.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 1—1 об. На бумаге с тем же бланком.

[1] Бунин приехал в Одессу 21 января 1899 г. По пути из Москвы он заезжал в Калугу к сестре Марии Алексеевне («Материалы», стр. 73). 18 января он писал брату Юлию из Тулы: «Еду в Одессу. ⟨...⟩ Цакни просил приехать поскорее. Пишет, что подписка очень плоха, так что придется опять докладывать каждый месяц рублей 1500! Поэтому, говорит, надо газету продать или вступить в компанию...» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 1).

[2] Рассказы «Переселенцы» и «Черт» (см. о них п. 17 и след.).

[3] В ответ на эту просьбу Телешов прислал рассказ «Подруги», который был напечатан в «Южном обозрении», 1899, № 735, 22 февраля (о нем см. также п. 17—22).

[4] Рецензию на рассказ «Домой!» Бунин предполагал поместить в «Южном обозрении» (см. п. 18), однако обнаружить ее в комплекте газеты за 1899 г. не удалось.

17. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва ⟨18⟩99, янв⟨аря⟩ 27

Дорогой Иван Алексеевич — хорошо, что ты все-таки отыскался и дал о себе знать, а то где тебя искать? Из Москвы ты, вроде Брюса, кажется, в один час во все заставы выехал [1].

Послал тебе книжечку в Одессу как в более надежное место. Извини, что посвящение написано от руки, а не напечатано. Было уже поздно. Но в сборнике, который выйдет через месяц, будет все это сделано уже как следует [2]. На днях пришлю тебе «вещь», именно такую, какую желает ваш цензор, то есть невинную. Отыскал у себя рассказ и, право, не могу вспомнить, был ли он даже печатан. Кажется, нет. Рукопись будет помазана и исчеркана, но переписывать нет охоты. Не взыщи. Заглавие можешь переменить [3].

Если мне не менял еще адреса, то лучше сделай так: высылай газету в мою контору: Ильинка, Гостиный двор, № 36. Если же послал на Чистые пруды, то уже не тронь. А на Валовую, пожалуйста, не надо. Я почти не вижу газеты поэтому.

Хочу как-нибудь нацарапать тебе маленький фельетончик из московской жизни. Пошлю на твое имя. При случае верни мне рукопись о переселенцах, а «Черта» брось [4]. Ну его к черту!

Под рассказом, который я тебе пришлю («Подруги»), не ставь 1899 года на всякий случай.

Кстати: сегодня получил известие, что моих «Детей» переводят на французский язык и напечатают где-то в парижском журнале [5]. При всей моей скромности это однако — черт возьми! Если только, конечно, мне не соврали.

Очень досадую на себя, что ничего не пишу. Ну, хоть тресни, ничего не могу поделать!

Был у меня недавно В. М. Михеев. Очень я обрадовался ему. Он все такой же и любит тебя, кажется, по-прежнему. Теперь он в Ярославле, работает в тамошней газете [6]. Все так же добродушен, весел и «мягок» во внешнем и внутреннем (душевном) смысле.

Когда будешь мне писать, черкни два слова про мои стихи (персидские) — нужны тебе они, или нет [7]. Только, пожалуйста, не стесняйся, так как я и сам все свои стихи в грош не ставлю и смотрю на их печатание как на особое добродушие издателей, так что ты не вздумай со мной церемониться.

Ну, пока все. Желаю тебе всего доброго и хорошего. Пожалуйста, поклон от меня твоей жене. Мало, должно быть, она тебя пробирает за «неделание». Скажи, чтобы была построже. А то ты ничего не пишешь.

Преданный тебе Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 10—11 об. Ответ на п. 16.

[1] Намек на одну из легенд, которыми в народе было окружено имя Якова Вилимовича *Брюса* (1670—1735), одного из сподвижников Петра I, много занимавшегося астрономией, математикой и другими науками и поэтому снискавшего себе репутацию чернокнижника.

[2] «Книжечка», посланная Бунину,— дешевое издание рассказа «Домой!» (М., 1899). Рецензия на это издание была помещена в газете «Курьер» (1899, № 121, 3 мая). В книге «Повести и рассказы» (М., 1899), которая открывается этим рассказом, он напечатан с посвящением Бунину.

[3] Рассказ «Подруги» (см. п. 16 и 18—22).

[4] О судьбе фельетона Телешова см. п. 18. Содержание его остается невыясненным. О рукописях рассказов см. п. 16.

[5] Сведений об этом переводе найти не удалось.

[6] О В. М. Михееве см. п. 6.

[7] Вопрос относится, очевидно, к стихотворению «Старость (из Саади Ширази)», которое было напечатано в «Южном обозрении», 1899, № 842, 21 июня.

18 БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, Херсонская ул., д. № 40, кв. 17
⟨около 20 февраля 1899 г.⟩

Дорогой Николай Дмитриевич,

Пожалуйста прости меня, что за недосугом так запоздал ответом. Извини, пожалуйста, и за то, что не пошла твоя корреспонденция. Цакни нашел, что Тевосьянц имеет мало значения для Одессы. Газетка маленькая, а ведь это целый фельетон. Уж, пожалуйста, не сердись, особенно на меня. Если будет охота, пришли еще что-нибудь, только давай животрепещущее и посжатей. Большое спасибо тебе за рассказ. Пойдет на днях [1]. Что Махалов? Он, видно, тоже обиделся на нас за фельетон. Цакни и его не поместил, находя, что сведения запоздали. Скажи ему мой привет и что ждем от него беллетристики, за которую мы были всегда благодарны ему [2]. Как его дела в «Мире божьем»? [3]

О «Домой» скоро будет заметка в «Южном обозрении» [4].

У нас наступила зима, и я стал больше сидеть за письменным столом, хотя результатов еще мало. А ты?

Поклонись супруге.

Крепко любящий тебя Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 22, л. 4—5. Датируется приблизительно по упоминанию, что «рассказ» «пойдет на днях». Ответ на п. 17.

[1] О рассказе «Подруги» см. п. 16 и 17.

[2] В «Южном обозрении» были до этого помещены четыре рассказа С. Д. Махалова: «Сделка» (1898, № 609, 10 октября), «Пропажа» (№ 615, 16 октября), «Шантаж» (№ 674, 18 декабря), «Без пощады. Из юношеской переписки» (1899, № 689, 5 января), а также три стихотворения (1898, № 617, 637, 665).

[3] В «Мире божьем» за 1899—1900 гг. произведения Махалова не появлялись.

[4] См. примеч. 4 к п. 16.

19. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 9 марта 1899 г.⟩

Дорогой Николай Дмитриевич! Опять извиняюсь перед тобой. Право, только теперь хорошенько сообразил, что ты можешь рассердиться за поправки в рассказе [1]. Ей-богу, как-то само собой вышло, да ты ведь и сам разрешение давал. Напиши мне поскорее, если не зол. Кланяюсь твоей супруге.

Искренно любящий тебя Ив. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВБ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 9.III.1899; Москва, 12.III.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 2. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Поправки в тексте рассказа «Подруги» (см. п. 20 и 22).

20. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 1899, марта 14

Дорогой Иван Алексеевич.

Прежде всего прими мою благодарность за книжку о Гайавате [1]. Спасибо за подарок и, особенно, за память обо мне.

Вчера получил твое письмо и очень удивился, что рассказ мой напечатан [2]. А я уже собирался сделать запрос о судьбе этого рассказа. Газету твою я хотя и получаю, но не ежедневно — в неделю раза два или три. То же самое и Махалов и Белоусов.

Но если ты говоришь, что рассказ напечатан, то будь добр пришли мне *особо* этот номер, и если не затруднит, в трех экземплярах. Или хотя один. Но один все-таки пришли, потому что надо же мне его видеть.

Ты совершенно напрасно оговариваешься относительно поправок и переделок. Я тебе говорил и раньше, что даю рассказы *тебе*, как товарищу, и очень рад, если тебе чем-нибудь пригожусь.

Моя книжка очень задержалась. Вряд ли выйдет к Пасхе. Если не выйдет, придется задержать до осени [3].

Знаешь ли, что Ермилова из «Народного блага» «выперли»? [4] С ним поступили по-свински, как, впрочем, и следовало ждать. Кстати, новость: роман Ельцовой «В чужом гнезде» вышел [5]. Я читал об этом среди новостей в библиотеке.

Читал твои стихи в «Журнале для всех»— «На хуторе». Мне очень нравится, как ты перевел на свой язык, в стихах же, стихи Кольцова. Не могу тебе объяснить, чем именно хорошо это, но хорошо! [6]

Вчера вышла «Нива» с романом Толстого [7]. Прошу тебя, обрати внимание на начало. Весна описана изумительно, и переход к острогу великолепен.

Кстати, редакция объявляет, что за перепечатку романа будет преследовать по закону. Это было вчера. А сегодня «Русские ведомости» и «Новости дня» уже перепечатали роман. Вероятно перепечатали и другие газеты.

Черт знает, что за бесцеремонность! [8]

Не забывай меня вообще. И пописывай о себе...

Всего тебе хорошего.

Преданный тебе Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 12—13 об. Ответ на п. 19.

[1] «Песнь о Гайавате». М., 1899. Экземпляр, посланный Буниным, сохранился в библиотеке Телешова (см. настоящ. кн., стр. 493).

[2] Рассказ «Подруги».

[3] Книга Телешова «Повести и рассказы» вышла в свет 14 апреля 1899 г.

[4] Еженедельный литературный, научно-популярный и иллюстрированный журнал для самообразования «Народное благо» издавался в Москве с 1898 г. до начала 1905 г. В нем принимали постоянное участие многие члены «Среды»: Бунин, Белоусов, Гославский, Златовратский, Семенов, Телешов, Чириков и др. Владимир Евграфович *Ермилов* (1859—1918) — московский журналист и педагог (см. «Записки писателя», стр. 19—20 и написанный Ю. А. Буниным некролог «Памяти В. Е. Ермилова».— ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 2, ед. хр. 6, л. 1—2).

[5] Роман К. Ельцовой «В чужом гнезде» был напечатан в журн. «Новое слово» (СПб., 1896, № 12; 1897, № 1—7) и вызвал ряд откликов в печати («Сын отечества»,

1897, № 154; «Русский вестник», 1897, № 9, и др.). Отдельное издание романа было выпущено в 1899 г. петербургским товариществом «Издатель». К. Ельцова — псевдоним Екатерины Михайловны *Лопатиной* (1865—1935). Бунин был знаком с ней и помогал ей в чтении корректур ее романа, когда он печатался в «Новом слове». О встречах Бунина с Лопатиной в годы эмиграции см. в «Грасском дневнике» Г. Н. Кузнецовой. (настоящ. том, кн. 2. стр. 280).

[6] Стихотворение Бунина «На хуторе».— «Журнал для всех», 1899, № 1 (см. т. 1, стр. 106). Вторая строфа стихотворения по теме и лексике близка к «Песне старика» Кольцова.

[7] Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» начал печататься в «Ниве», 1899, с № 11, 13 марта.

[8] В 1891 г. Л. Н. Толстой, как известно, публично заявил о своем отказе от права литературной собственности на произведения, написанные им после 1881 г., предоставив тем самым возможность любому издателю свободно перепечатывать каждое его новое произведение. При печатании «Воскресения» Толстой отступил от этого правила и продал свой роман А. Ф. Марксу, чтобы отдать затем полученный гонорар на дело переселения духоборов в Канаду. При этом по договору с А. Ф. Марксом перепечатки «Воскресения» до окончания его публикации в «Ниве» были запрещены. Тем не менее многие газеты, как столичные, так и провинциальные, сразу же начали перепечатывать главы романа по мере их появления в «Ниве». Несмотря на открытое письмо Толстого с просьбой ко всем издателям воздержаться от перепечаток, они продолжались и далее, но обычно под видом «изложения» глав романа.

21. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

18 марта 1899 г. Одесса

Милый Николай Дмитриевич,

Рассказ твой давно напечатан [1], и я завтра же распоряжусь, чтобы тебе выслали тот №, где он был, хоть в 10 экземплярах, если можно, т. е. если осталось. Относительно неаккуратности в доставке — говорят, что это виновата московская почта. Сегодня говорил об этом в конторе.

Жалею, что твои книги задержались. Со мной еще хуже вышло — напечатал на «Гайавате», что, мол, продаются мои стихотворения издания о-ва «Издатель», а стихотворения-то еще не выходили. Теперь уже и не знаю, как быть. Выпускать к лету глупо [2]. Получил ли ты приглашение в сборники в пользу голодающих?— Затевается два— один «Курьер», другой — одна московская компания [3]. Вышел ли сборник Белинского? Лермонтовская библиотека в Пензе пишет мне, что на днях должен выйти... [4] Заставь ты себя, ради бога, писать!

В Одессе творится какая-то кл⟨...⟩ина: то июнь, то октябрь да с снегом. Мало-мальски по душе людей нет. Скука, и до сих пор дико мне, что я тут. Проснусь иной раз — и плюну.

Что за черт! А все-таки море просто околдовывает. Хожу провожать пароходы дальнего плаванья и мечтаю о дальних странах. С этой стороны очень хорошо.

Где думаешь быть летом? Приезжай в Крым — повидаемся.

Выслал ли я тебе тот переселенческий рассказ, который погубил цензор?

Пиши, голубчик, почаще да побольше — пожалей бедного одессита!

Искренно любящий тебя Ив. Бунин

На конверте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. ЕВБ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 19.III.1899; Москва, 22.III.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед.хр. 23, л. 3—4. Ответ на п. 20.

[1] Рассказ «Подруги».

[2] Сборник стихотворений Бунина, о котором он вел переговоры с товариществом «Издатель» в Петербурге, в свет не вышел. История этого несостоявшегося сборника отражена в письмах Бунина к Н. В. Гаврилову (ИРЛИ, ф. 564, № 10). Судя по письмам Бунина к брату Юлию от конца февраля и 1 марта 1899 г., дело это не было доведено до конца отчасти из-за медлительности издательства, а отчасти в связи с опа-

сенциями самого Бунина, что выпуск новой книги стихов еще преждевремен (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 40—40 об. и 3 об.— 4).

[3] По инициативе редакции газеты «Курьер» была начата подготовка литературно-художественного сборника «Помощь пострадавшим от неурожая» (М., 1899). Первоначально выход его намечался на апрель, но затем срок несколько раз отодвигался, и книга вышла в свет только 27 июня. Весь тираж разошелся по подписке, и в январе 1900 г. она была напечатана вторым изданием. В сборнике приняли участие: Горький («Голодные»), Чехов («Без заглавия»), Телешов (очерк «Песни»), Гославский («Яблоки»), Тимковский (очерк «Не к спеху»), Михеев («Учитель») и др. Бунин в сборнике не участвовал.

Слух о том, что в Москве готовится и другой сборник в пользу голодающих, не подтвердился (см. п. 23).

[4] «Памяти В. Г. Белинского». Литературный сборник, сост. из трудов русских литераторов. Изд. Пензенской общественной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. М., 1899. В сборнике было напечатано стихотворение Бунина «Вчера в степи...» (позднее с заглавием «В степи» и с посвящением Телешову — см. т. 1, стр. 70—72). Телешов поместил в сборнике рассказ «Нужда. Набросок из жизни переселенцев». Цензурное разрешение сборника — 5 марта. Однако выпуск его немного задержался — об этом сообщало «Южное обозрение» (1899, № 756, 16 марта; по-видимому, эта заметка опиралась на информацию, полученную Буниным из Пензы). Рецензия на только что вышедший сборник была помещена в той же газете, в № 768, 29 марта.

22. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 22 марта ⟨18⟩99

Дорогой Иван Алексеевич,— вчера виделся с твоим братом и просил его передать тебе мой поцелуй за твое прекрасное, превосходное стихотворение в сборнике Белинского, которое я читал несколько раз один, читал жене, она сама читала одна и читала мне. Даже по количеству раз — и то ты должен усмотреть, что стихотворение написано прекрасно. Словом, я его восчувствовал и воспринял. За это и посылаю тебе мой поцелуй! Серьезно говорю: очень хорошо! И образно, и свежо, и тепло. А финал — прямо-таки драгоценность! От души желаю тебе почаще беседовать с «кочующими птицами». Они наполняют тебя хорошими мыслями [1].

Теперь о себе.

Получил свой рассказ «Подруги». За изменения не только не сердит, но даже благодарен глубоко. Наверно, это ты сам его переделал, потому что видна опытная, хорошая рука, а не секретарская бессмысленная «облицовка». Ты так умно выпустил несколько кусков и еще умнее добавил заключительные строки, что из рассказа, на который я уже рукой махнул, получилось нечто порядочное. Спасибо тебе!

«Переселенцев» я от тебя не получил. Пришли, пожалуйста. О сборниках в пользу голодающих не слыхал ничего. На масленице я написал рассказ (говорят, будто хороший) и успел уже напечатать его в «Новостях дня» [2], торопясь к книге. Но книга, вероятно, не выйдет к Пасхе.

Вчера мы с твоим братом жалели, что ты сбежал от нас в Одессу. Тебе следует жить в Москве хоть месяцев пять-шесть в году. Право, это будет полезнее тебе и приятнее нам.

Летом буду жить в Малаховке (близ Москвы, по Казанской ж. д.) и уехать никуда не могу по болезни жены. Может быть, на даче напишу повестушку. Не ленись и ты. Давай к осени преподнесем «миру» по повести, листов по пять. А то ведь так нельзя все сидеть да в себя впитывать. Нужно и из себя кое-что выпустить.

У тебя добрая тема: океанские пароходы, то есть те, которые идут в дальние страны. Хорошая канва.

Всего тебе доброго.

Преданный тебе Н. Телешов *

---

* *После подписи рукой Бунина вписано*: В синем море шумят волны темно-зеленые.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 14—15 об. Ответ на п. 21.

[1] См. примеч. 4 к п. 21. Стихотворение «Вчера в степи...» датировано Буниным 1889 г. В тексте, напечатанном в сборнике «Памяти Белинского», основной мотив стихотворения — стремление к свободе, сочувствие вольным перелетным птицам — был выражен с большей силой, чем в позднейшей редакции. Так, в начале стихотворения Бунин исключил четвертую строку:

Вчера в степи я слышал отдаленный
Крик журавлей. И дико и легко
Он прозвенел над тихими полями
Веселою и гордою свободой...

После слов: «Не пробуждает зависти во мне / Ваш звонкий крик, и гордый и свободный» в ранней редакции следовало шесть строк, также снятых позднее автором:

В былые дни и я был вольной птицей,
И мне, как вам, был тесен край родной,
И вечная весна меня манила...
Я счастлив был... Зачем же это счастье
Прошло так скоро? Отчего мне жаль
Вас, перелетные, кочующие птицы?..

[2] Рассказ Телешова «Счастливец. Из дневника приятеля» был напечатан в газете «Новости дня», 1899, № 5671, 12 марта. Масленица в 1899 г. была 22—28 февраля.

23. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 28 марта 1899 г.⟩
Херсонская 40, кв. 17

Милый Николай Дмитриевич,

Очень рад, что тебе понравились мои стихи. Меня чрезвычайно подбадривают всегда искренние похвалы тому, что мне самому по душе, а что мне по душе, мне кажется всегда, мало может понравиться другим. От этого я и молчу так упорно... Будем, будем писать!

Пришли мне, сделай милость, твой новый рассказ [1] — *непременно*. А что касается «Подруг», то неужели ты мог подумать, что я отдам поправлять тебя первой попавшейся ж⟨...⟩? Рад, что угодил тебе.

«Переселенцев» вышлю.

В Москву на будущий год приеду очень надолго. Да и в Питере надо пожить...

Отчего не дал новый рассказ в «Сын отечества»? Это, ей-богу, неумно [2].

Пиши мне почаще. Сборник в пользу голодающих будет пока один — издание «Курьера». Дай туда что-нибудь. Это полезно и тебе, и доброму делу.

Сердечно твой Ив. Бунин

Сейчас вырезал из Альманаха Яблонского заметку о тебе [3].

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 28.III.1899; Москва, 31.III.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 5. Ответ на п. 22.

[1] Рассказ «Счастливец».

[2] Бунин считал, очевидно, что в петербургской газете «Сын отечества» рассказ Телешова обратил бы на себя большее внимание, чем в московских «Новостях дня».

[3] Имеется в виду «Альманах-ежегодник П. О. Яблонского. Календарь и сборник сведений...» Заметка о Телешове в выпуске «Альманаха» на 1899 г. (М., 1898) не обнаружена.

24. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва ⟨18⟩99, [марта] апреля 3

Дорогой Иван Алексеевич.

Спасибо тебе за присланную вырезку обо мне из календаря. Все-таки интересно.

Сегодня видел в газетах публикацию «Мира божия», где твой рассказ [1]. На днях получу книгу и прочитаю. Каков-то ты в прозе?

В настоящее время я «по уши» завален работой. Во-первых, «практические» дела, которых у меня весной особенно много, отнимают множество времени и сил, во-вторых, Сытин буквально утопил меня в корректурах. Каждый день присылает целый тюк — и гранки и сверстку. И посол его над душой стоит: все торопит. К Пасхе, теперь уже ясно, кончим издание [2].

Поэтому и не шлю тебе рассказа, что скоро получишь весь том. Осталось всего два листа. Вероятно, на два дня. Сравнивая свою первую книгу [3] с второй, нахожу большую разницу, коли говорить по совести.

Для голодающих рассказа у меня сейчас нет. Очень досадно, но, может быть, и успею еще приготовить [4].

Затеяли мы в Москве устроить Союз писателей [5]. Что-то выйдет из этого? Дело хорошее, но людей нет энергичных. На словах все куда как хороши, а чуть до дела — и нет никого.

Коли найдешь время, черкни несколько слов о моей книжке [6].

Преданный тебе Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 16—17. Ответ на п. 23.

[1] В апрельской книжке «Мира божьего», 1899, был напечатан рассказ Бунина «Без роду-племени. Из повести о современных людях» (см. т. 2, стр. 161—175).

[2] О выходе в свет сборника Телешова «Повести и рассказы» см. примеч. 3 к п. 20.

[3] Телешов сравнивает со своим новым сборником книгу «На тройках. Очерки и рассказы» (М., изд. т-во И. Д. Сытина, 1895).

[4] См. примеч. 3 к п. 21.

[5] Союз писателей, официально именовавшийся Союзом взаимопомощи русских писателей при Русском литературном обществе, был создан в Петербурге в ноябре 1897 г. и просуществовал до 12 марта 1901 г., когда он был закрыт распоряжением петербургского градоначальника (см. «Жизнь», 1901, т. III, стр. 376). В 1899 г. в связи с подготовкой к пушкинскому юбилею возникла мысль о созыве съезда писателей, который должен был состояться в сентябре того же года, но не был разрешен. По-видимому, мысль о создании Союза писателей в Москве была связана с идеей съезда. О Союзе писателей см. А. Евгеньев ⟨А. Е. Кауфман⟩. Писательские общества и кружки («Вестник литературы», Пг., 1919, № 1-2, стр. 5—6); А. Толстяков. Когда должен был состояться первый Съезд русских писателей? («Вопросы литературы», 1969, № 12, стр. 242—243).

[6] Бунин выполнил эту просьбу летом (см. п. 31).

25. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 3 апреля 1899 г.⟩

Жду в субботу, т.е. завтра к себе.

И. Бунин

На обороте: Городское. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Москва, 4.IV.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 6. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю и по тексту (4 апреля была суббота).

ТЕЛЕШОВ
Портрет работы Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

26. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

23 апр⟨еля 18⟩99 г. Одесса

Был в Крыму прогуляться и посмотреть на литераторов — там были Чехов, Горький — славный и интересный человек [1],— Миролюбов [2], Давыдова с дочерью [3], Елпатьевский [4], Пантелеев [5] — затем ездил в Аккерман и вот только теперь поздравляю тебя и твою супругу с праздником [6] и пишу тебе, что книгу получил, напишу об ней и от сердца благодарю за посвящение. Книга искренняя, хорошая [7]. А первый том? Или раздумал выпускать? Вообще ты скуп на сообщения! Нового мало. Соберись, бога ради, летом в Крым — хоть в августе — надо же повидаться. Я на днях в деревню, пиши все-таки на Одессу,— пожалуйста, пиши.

Душевно твой И. Бунин

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВБ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 23. IV.1899; Москва, 27.IV.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 7—7 об.

[1] Бунин выехал в Ялту из Одессы 6 апреля 1899 г., чтобы «проветриться дней на пять, увидеться с Миролюбовым, Чеховым и Горьким, которые в Крыму», как он писал брату Юлию 6 апреля 1899 г. Вернувшись из Ялты 14 апреля, он писал брату о Горьком, с которым встретился впервые, почти в тех же выражениях, что и Телешову: «С Горьким сошелся довольно близко,— во многих отношениях замечательный и славный человек». См. об этой встрече: «Материалы», стр. 73—74; А. Нинов. На рубеже века (Горький и Бунин. 1899—1902 годы). — «Вопросы литературы», 1964, № 12, стр. 131—134 (здесь встреча Бунина с Горьким ошибочно отнесена к марту 1899 г.).

[1] Виктор Сергеевич *Миролюбов* (1860—1939) — издавал с 1898 по 1906 г. «Журнал для всех», в котором сотрудничал Бунин.

[3] См. примеч. 1 к п. 7.

[4] Сергей Яковлевич *Елпатьевский* (1854—1933) — писатель, член «Среды», в 1890-е — 1900-е годы жил в Ялте.

[5] Вероятно, Лонгин Федорович *Пантелеев* (1840—1933), участник революционного движения 1860-х годов, член первой «Земли и воли»; после возвращения из ссылки организовал в Петербурге крупное издательство.

[6] С праздником Пасхи (приходилась в 1899 г. на 18 апреля).

[7] См. примеч. 2 к п. 17 и п. 31.

27. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 30 мая ⟨18⟩99

Дорогой Иван Алексеевич.

Как-то не верится, что в прошлом году 9 мая мы с тобой купались в Царицыне. Теперь почти июнь, а у нас все еще холодище, по ночам морозы, а днем либо дождь, либо град, а за последние дни даже снег. Черт знает, что делается! Сижу на даче в Малаховке, на берегу большого пруда, топлю печи и пью коньяк. Место, где я живу, довольно красивое, но холодище отравляет всякое удовольствие.

На Пушкинских торжествах виделся с твоим братом и рад был узнать о тебе хорошие слухи [1]. Досадно все-таки, что тебя нет среди нас. С удовольствием услыхал, что ты предполагаешь зиму провести в Москве [2].

Литературничать до сих пор не могу. Ничего нет. Иной раз наткнешься на какую-нибудь тему. Думаешь, так и вцепился бы в нее зубами и разом целый кусок откусил бы. А потом пожуешь, пожуешь, да и выплюнешь... Нет ничего по душе! Все какая-то ерунда и в себе и вокруг в жизни.

По поводу моей книжки были добрые отзывы; даже писал Скабичевский [3]. Особенно лестен был отзыв «Курьера» [4].

Что же ты делаешь? ты, свободный человек? Пишешь ли? Или секретарствуешь в газете? [5] Брось это и пиши.

Напиши мне (на Валовую) о себе, о своих работах и о том, решил ли издавать стихи [6].

Не забывай любящего тебя Н. Телешова

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 18—19.

[1] Празднование 100-летия со дня рождения Пушкина началось в Москве 26 мая 1899 г. В этот день состоялось массовое собрание у памятника поэту на Тверском бульваре, а затем — торжественное заседание Общества любителей российской словесности в актовом зале Московского университета. 27 и 28 мая это общество провело два торжественных собрания в зале Благородного собрания (ныне Колонный зал Дома Союзов). 29 мая в залах Исторического музея открылась Пушкинская выставка (см. «Курьер», 1899, № 145—148, 27—30 мая). В какой из этих дней Телешов виделся с Ю. А. Буниным, установить не удалось.

[2] Зимой 1899/1900 г. Бунин провел в Москве только январь («Материалы», стр. 78).

[3] А. М. Скабичевский в это время регулярно печатал в «Сыне отечества» критические обзоры под рубрикой «Текущая литература». Один из таких обзоров (№ 135, 21 мая/2 июня) он целиком посвятил книге Телешова «Повести и рассказы». Назвав Телешова «пресимпатичным писателем» и «талантливым рассказчиком», Скабичевский остановился далее на двух «несомненных достоинствах» его: «Первое достоинство заключается в том, что г. Телешов, очевидно, человек весьма бывалый. ⟨...⟩ И действительно: рассказывает ли он, что испытывают переселенцы на своем пути в далекие страны, переносит ли нас в Западную Сибирь или в Крым, в сферу столичных жуиров или в шахту медных рудников,— везде является он компетентным знатоком, своим братом. Вторым, еще большим и важнейшим достоинством рассказов г. Телешова является идейность их, глубокое сочувствие ко всем униженным и оскорбленным, теснимым и преследуемым, и к тому же — участие не рассудочное только, не надуманное, но искреннее, сердечное, задушевное, что, понятно, составляет особенную ценность и прелесть рассказов г. Телешова».

[4] В рецензии, подписанной: П. С. Ко-н («Курьер», 1899, № 121, 3 мая), автор — П. С. Коган — рассматривал книгу Телешова в свете общих задач, выдвигаемых перед русским обществом новой эпохой. Возражая журналистам, жалующимся «на бедность художественной литературы, на отсутствие сильных талантов», он писал:

«А между тем современная беллетристика представляет много любопытного и поучительного: художники выполняют свою неизменную задачу, чутко улавливают малейшие колебания в умственной жизни современного русского общества и, отражая их в своих произведениях, созидают вечный памятник нашей эпохе. Эта эпоха, быть может, не блещет эффектными внешними фактами, но зато замечательна внутренней мучительной работой, богата тайными драматическими конфликтами и нерассказанными страданиями, которые переживает русское общество. ⟨...⟩

Г. Телешов обладает своеобразным и симпатичным художественным дарованием. Он ищет своих героев не только среди людей, стоящих на низшей ступени общественной лестницы, не только среди голодающих переселенцев и обитателей темной шахты,— даже среди жуирующих и материально обеспеченных представителей буржуазии он находит все того же своего любимого героя, неудовлетворенного, несмотря на свое благополучие, бесцельно свершающего свой жизненный путь. Это уменье ярко осветить внутренний мир всех выброшенных за борт, показать бессилие их в борьбе с непобедимыми внешними условиями составляет главную особенность таланта г. Телешова».

Выделив рассказы «Нужда», «Ошибка барина», «Счастливец», «Дуэль» и особенно высоко оценив повесть «Сухая беда», рецензент заключал свой отзыв такими мыслями:

«Автор нигде не указывает выход из тяжелого положения. Какой-то тайной грустью проникнуты его повести. Можно подумать, что он сам носит в себе элементы изложенной выше пессимистической философии. Но это не так. Г. Телешов рисует только обстоятельства, при которых вырабатывается она. Но в его собственном отношении к своим героям столько теплоты и любви, он так старательно раскрывает психологию обездоленных, что его работа может дать только положительный результат; за страданием этих героев раскрываются болезни целого общественного организма, которые останавливают внимание читателя и побуждают его к упорной борьбе с раскрытым злом».

[5] Телешов ошибался, предполагая, что Бунин стал секретарем «Южного обозрения» — в действительности он принимал ближайшее участие в редактировании газеты (см. примеч. 2 к п. 14).

[6] Вопрос относится к проекту выпуска книги стихов Бунина в «Издателе» (см. примеч. 2 к п. 21).

28. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса⟩ 3.VI. ⟨18⟩99

Что с тобой случилось, Николай Дмитриевич? Отчего ты ни строки не напишешь мне? Или ты сердит на меня, или умер! Отзовись, пожалуйста, и сообщи свой адрес.

Ив. Бунин

Я уезжаю в деревню на лето — вероятно, послезавтра. Почтовая станция Захарьевка, Херсонской губернии Тираспольского уезда [1].

P. S. Поздравляю тебя с Скабичевским! [2] Рад ли ты?

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 8. Место отправления определено по тексту.

Письмо 27 еще не было, очевидно, получено Буниным, а предыдущее письмо Телешова было написано 3 апреля (см. п. 24). Это его долгое молчание и вызвало тревогу Бунина. Одновременно он писал Белоусову: «Иванушка! Все отступились от меня — никто из Москвы не пишет — отступился и ты. Не знаешь ли, отчего не пишет Телешов? Что с ним? Отпиши все подробно. Расскажи, как праздновали Пушкина...» (ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 108).

[1] Лето 1899 г. Бунин провел в имении Н. П. Цакни Красноселье. Приехал он туда только 17 июня (см. п. 30).

[2] Об отзыве Скабичевского см. примеч. 3 к п. 27.

29. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

10 июня ⟨18⟩99. Малаховка

Дорогой Иван Алексеевич.

Ты предполагаешь, что я уже умер. Допустим, что так. Итак, вообрази, что я пишу тебе с «того света». У нас «на том свете» все обстоит благополучно: было три недели сряду холодно, даже морозно, ибо покойный Реомюр показывал иногда по ночам 2 градуса ниже нуля [1]. Ко-

нечно, это с его стороны все шутки, но и мы с ним тоже шутили. Делали вид, что дрожим, топили печи и, для вида, разговаривали о своевременности надевать шубы. И, действительно, разбойник, падал все ниже и ниже. Наконец сыграл уже вовсе глупую шутку: на Троицын день [2] (на два дня) вдруг нагнал такую духоту и жарищу, что дышать было нечем. Затем опять захолодил.

Впрочем теперь жаловаться нельзя: сейчас 12° тепла.

Представь себе картину сегодняшней ночи по следующим составным частям: ночь (12 час.), луна, отчаянный хор лягушек с пруда, трели соловья, молчаливый лес, папиросы, пиво, неизбежность езды завтра с утренним поездом, только что полученная рецензия «Нового времени», литературная пустота в душе, отсутствие сюжета, желания писать и прочие прелести...

В самом деле, не могу я устроиться складно. Главное, времени нет свободного, чтобы уйти в свои думы и обмыслить работу. Все как-то подурацки выходит.

Фельетону Скабичевского я, конечно, рад. Что же ты спрашиваешь? Только одно выражение мне не нравится. Он называет меня «бывалым». Это что-то во вкусе «прохвоста» [3].

«Бывалый попался» — так говорят обыкновенно про мелких, но опытных воришек. Неудобное выражение, согласись.

А сегодня в «Новом времени» прямо сказано, что я, твой покорнейший слуга, много сильнее и интереснее Короленка, выдуманного Москвою и отцветшего, не успевши расцвесть, беллетриста [4].

Так-то вот мы поживаем на том свете, мой милейший Иван Алексеевич!

Пиши мне все-таки на Валовую. Это самый прочный адрес. А то, черт знает, где я буду находиться. А уж тут наверно получу письмо.

Что ж ты о себе ничего не напишешь?

Кстати: мой племянник вздумал недавно ободрать березу, чтобы сделать челн и ехать по пруду. Я пробовал ему доказать, что это глупо, но он возразил, что делал же это Гайавата, и не было глупо.

О зловредный Бунин! Что мне с тобой делать!?

Твой Н. Телешов

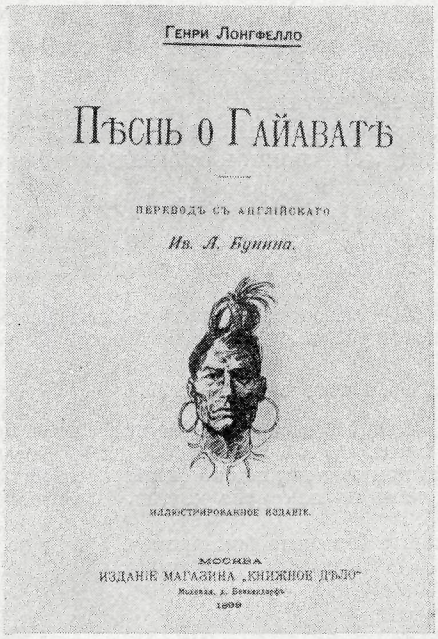
ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 20—21 об. Ответ на п. 28.

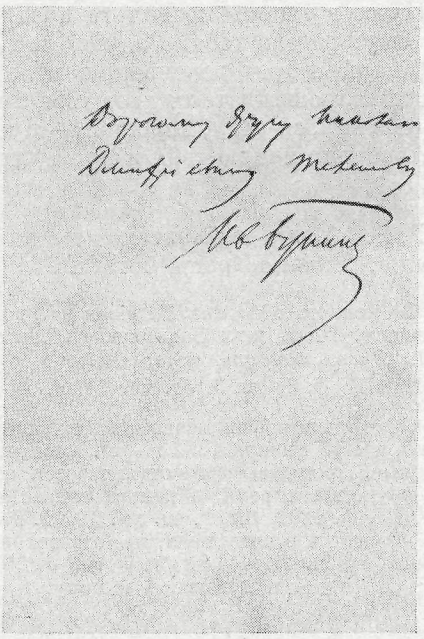
[1] В дореволюционной России для измерения температуры была принята шкала Реомюра.

[2] Троицын день праздновался в 1899 г. 6 июня.

[3] См. примеч. 3 к п. 27. То значение, которое Телешов придавал слову «бывалый», не отмечено в словарях русского языка. Возможно, что он, будучи коренным москвичом, встречал подобное употребление этого слова в речи московских купцов, приказчиков и т. п. В словаре Даля приведены сходные слова из архангельского говора: *быва* — порок, недостаток, худые слухи о человеке; *бывник* — замеченный, опороченный, попавшийся в чем.

[4] В рецензии В. П. Горленко на «Повести и рассказы» («Новое время», 1899, № 8361, 9/21 июня, приложение, стр. 6—7; подпись: В. Г.) книга Телешова была расценена положительно. Отметив, что смешение сословий привело русскую литературу в трудное положение, когда писателям не удается уловить в жизни нечто коренное, создать центральные типы, рецензент продолжал: «Беллетристы ударились в изображение „уголков жизни“, частичных явлений, доступных их взору. Автор названной книги является одним из интереснейших наблюдателей этого рода». Далее Горленко коротко характеризует повести «Дети» («Маленький роман») и «Сухая беда», очерки «На тройках», рассказы «Счастливец» и «Жертвы жизни». В заключение он писал о других рассказах, имея в виду рассказы о переселенцах, что в них «заметно некоторое влияние тенденциозных писателей, и особенно г. Короленка. Г. Телешову совсем нечего подражать этому, выдуманному Москвой и отцветшему, не успевши расцвесть, беллетристу. В своих самобытных вещах он много сильнее его и интереснее». Бунин в своем отзыве возразил на это бестактное и тенденциозное суждение нововременского критика (см. настоящ. кн., стр. 335 и п. 31).





«ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ» (М., 1899)
С дарственной надписью: «Дорогому другу Николаю Дмитриевичу Телешову. Ив. Бунин»
Обложка и форзац
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

30. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

18 июня ⟨18⟩99 г. Краснополье.

Милостивый государь мой Николай Дмитриевич!

Наконец-то вы отыскались и, очевидно, не на том свете, ибо гнусные занятия ваши, как-то: истребление табаку и пива, лодырничество по литературной части и упорная езда на Валовую, не могли бы иметь места на том свете. Я только вчерашнего числа прибыл в деревню — все задерживался по причине болезней — то тестя, то супруги. Теперь, благодарение богу, она поправилась, и вот я наслаждаюсь отдыхом от лицезрения ⟨...⟩ морд в шляпах и ездою верхом в компании с гувернером (конечно, не своим, а братишкиным), похожим на шакала. Успел уже порядочно загонять двух верховых лошадей, побывать на почте и получить «цельную массу» писем, как выражается почтальон в Захарьевке. Твои письма прочел с большим удовольствием и с удовольствием узнал, что ты совершенно то же испытываешь, что и я: т. е. жуешь сюжеты и выплевываешь. Ей-богу, это верно, но верно и то, что все это подлость. К черту сюжеты, не тужься выдумывать, а пиши, что видел и что приятно вспомнить.

Я начал-таки кое-что пописывать и думаю, что втянусь. В газете, я тебе уже сто раз говорил, я ничего не делаю и тем паче не «секретарствую». Больно уж маленький чин ты мне полагаешь. Желал бы я знать, из-за какого ⟨...⟩, как говорят французы, я буду забивать себе галиматьей голову? Газета чуть-чуть не умерла, ибо, серьезно говорю, чуть было не умер Цакни, да и наскучило каждый месяц по 1000 — по 1500 пхать псу под хвост. Но теперь что-то опять затеялось — Цакни вступает с одним господином в компанию [1].

Ну-с, а теперь позвольте поздравить вас с литературными чинами! [2] Ей богу, рад за тебя. Радуйся и ты, даже и тогда, когда будешь знать, что какой-нибудь рецензент сам по себе не очень много значит,— ибо всякий хороший отзыв дает тебе лишнего читателя. Радуйся тем более, что книжка, ей-богу, хорошая,— простая, искренняя, наблюдательная. От всего сердца целую тебя и прошу писать. Поклонись от меня твоей жене.

Ив. Бунин

P. S. А про мой рассказ ты не молчи, — напиши, если прочел, свое мнение. Только, ради бога, не ври и помни, что это элегия [3].

На конверте: Москва. Валовая ул., дом ‹514›, Его в-дию Николаю Дмитриев‹ичу› Телешову. Почт. шт.: Захарьевка, Херсонск. губ. ‹...› VI. 1899; Москва ‹...› VI. 1899. ‹*Часть конверта оторвана.*›

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 9—10 об. Ответ на п. 27 и 29.

[1] О тяжелом финансовом положении «Южного обозрения» Бунин писал брату Юлию еще 18 января 1899 г. (см. примеч. 1 к п. 16) и 6 апреля 1899 г.: «У нас дела грустные. Продажа газеты оттягивается, есть покупатели, но они сказали, что не могут раньше конца апреля, а деньги сейчас нужны на покрытие долгов. Просто беда!» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 8 об.).

[2] Имеются в виду печатные отзывы о книге Телешова (см. примеч. 3 и 4 к п. 27 и примеч. 4 к п. 29).

[3] См. п. 24 и примеч. 1 к нему.

31 ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Июля 7, 1899. Москва

Дорогой Иван Алексеевич!

Недавно получил твое письмо и на днях читал в «Южном обозрении» отзыв о себе. За то и за другое большое тебе спасибо [1]. Очень признателен за место, где ты говоришь о сравнении с Короленком. А то, право, неудобно. Что я за выскочка?![2]

О твоем рассказе я уже писал тебе давно, что мы его читали вместе с Михеевым и оба его похвалили, хотя нашли кое-где субъективным [3]. Но это к делу, конечно, относится мало. В общем интересно и довольно трогательно. Сам я не видал, но мне говорил Махалов, что где-то в печати рассказ разбирали; кажется, в «Курьере» [4].

Я ничего не пишу. Во-первых, по делам семейным, а во-вторых, ничего в башку не лезет. Живу, как овощ, но с тою разницею, что овощ растет себе на свободе, а мне все некогда. Надоело хуже горькой редьки, а ничего не поделаешь. Ну, да не беда. Когда-нибудь потяну в себя воздух полною грудью и разом наглотаюсь всяких запасов, как это делают киты, а затем эти запасы и выпущу в виде повести, а то и романа, черт возьми! На мелкие рассказы что-то охота пропала.

Что же это с Махаловым «Мир божий» делает? Или «Муся» [5] потеряла рукопись? Ни слова в ответ не написала.

На днях я получил пробный листок перевода на французский язык моих «Детей». Гляжу с удовольствием на рукопись, но понимаю только одно: «Alexandre Illitsch ... Olga Nicolaevna...» Все остальное туман. Но все-таки удовольствие! [6]

Пиши, пожалуйста, о себе и не забывай меня.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 22—23. Ответ на п. 30.

[1] Рецензия на книгу Телешова была напечатана в «Южном обозрении», 1899, № 852, 2 июля (без подписи). Из настоящего письма явствует, что автором этого анонимного отзыва был Бунин. Текст отзыва см. в настоящ. кн., стр. 335.

[2] См. примеч. 4 к п. 29.

[3] Это письмо Телешова не сохранилось.

[4] О рассказе Бунина «Без роду-племени» писали в журнальных обзорах А. М. Скабичевский («Сын отечества», 1899, № 128, 14/26 мая) и В. А. Гольцев («Курьер», 1899, № 121, 3 мая). Скабичевский увидел в герое рассказа одного «из тех в достаточной степени изъезженных нашею беллетристикою типов лишних людей ⟨...⟩ с которыми, с легкой руки Тургенева, до сего дня не могут расстаться ни наша жизнь, ни наша литература». Изложив содержание рассказа, критик заключал: «Когда я читал рассказ г. Бунина, невольно приходило мне в голову: не слишком ли и долго, и много нянчается литература наша со всеми этими неврастениками и всякого рода жалкими и ничтожными выродками? Не пора ли оставить их в покое?» Сходным было и отношение Гольцева к рассказу: «Сказать по правде, надоели эти неврастеники, пора им перестать числиться *современными людьми*».

[5] «Муся»— М. К. Давыдова, приемная дочь издательницы «Мира божьего» А. А. Давыдовой (см. о ней примеч. 1 к п. 147).

[6] См. п. 17 и примеч. 5 к нему.

32. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Почтовая станция Захарьевка,
Херсонской губ., Тираспольского уезда
⟨7 августа 1899 г.⟩

Был в Орловской губернии у своих [1]. Возвратясь получил твое письмо. Спасибо, голубчик, что не забываешь, радуюсь за твои успехи в чужих краях [2]. А мне что-то скучно. Читаю и думаю, а читаю старые вещи: «Екклезиаста», «Требник» [3]... Не черкнешь ли что-нибудь для «Южного обозрения»? [4] Черкни и пиши мне,— извини мне идиотскую скудость моих писем. В Москву собираюсь рано.— Зовет меня город далекий, хочется встретить опять старых врагов и друзей.

Поклонись жене.

Душевно любящий тебя Ив. Бунин

На конверте: Москва. Валовая, собств. дом. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Захарьевка, Херсон. г., 7.VIII.1899; Москва, 10.VIII.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 11. Датируется по почтовому штемпелю. Ответ на п. 31.

[1] 2 августа 1899 г. Бунин писал Белоусову из Огневки: «Уже с месяц сижу в Орловск. губ., у своих. Через недельку поеду домой — на юг, в деревню...» (ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 23). Однако брату Юлию он писал в тот же день другое: «Завтра уезжаю ⟨...⟩ Пиши в Захарьевку» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 21).

[2] Имеется в виду перевод на французский язык повести Телешова «Дети».

[3] Екклезиаст — одна из ветхозаветных книг, входящая в состав Библии. В ней нашла выражение философия разочарования в жизни и пессимизма. Через всю книгу проходит мысль: «Суета сует — все суета». Требник — церковная книга для священнослужителей, в которой изложены порядок и содержание различных богослужебных обрядов (треб).

[4] После июня 1899 г. произведения Телешова в «Южном обозрении» не появлялись.

33. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 11 августа 1899 г.

Дорогой Иван Алексеевич!

Получил сейчас твое кратчайшее письмо (не письмо даже, а писульку) и немедленно отписываю тебе. Теперь меня голыми руками за некоторое место не бери: я вырос в собственном мнении, ибо я теперь — отец! Понимаешь ли ты это слово? Пойми и поздравь меня. Отец собственного сына! [1]

По твоему же письму заметно, что ты, перескочив через роль отца, внезапно сделался дедушкой. Иначе чем объяснить твое чтение «Требника»?

Положим, этой книги я в жизни своей и в глаза не видал, но назначение ее, кажется, ясно. В попы ты что ли собрался? Господь с тобой, мой милый дедушка Иван! Для чего тебе «Требник»?! Вот Екклезиаста, я понимаю, можно читать и даже увлекаться. Это ты хорошо делаешь, что читаешь. Очень поэтично. Хотя философия его специально сытого человека. Помню, меня там пленяли многие места. Мне нравится: «все реки текут в море, но море не переполняется...» [2] Великолепное применение к любой из хороших мыслей.

Но «Требник» — суета сует! На что тебе читать «Требник»? Кстати: каких тебе врагов хочется видеть в Москве? и вообще, что с тобой делается? Или, как говорят евреи: «что вы себе та́м?»

Писал бы лучше что-нибудь серьезное, чем зря болтаться. Садись и пиши. А то, небось, все не в духе, нервы мешают, обстоятельства развлекают, погода жаркая, перед обедом не пишется, после обеда не работается и тому подобные причины. Садись, садись и пиши. Нечего раскисать. Почитай-ка французов, или хоть Сенкевича — пылу сколько! [3] За последнее время прочитал много иноземного и вижу, что русские сидят в крепостной зависимости от публицистов, чтоб им подавиться всеми чертями. Эти публицисты, точно моль, все изъели. Какой-нибудь Лукин [4] и тот говорит, что он беллетристики русской не признает и не читает. Ни в одной стране, ни в одной литературе не встретишь ты этих оков, какими опутаны мы. В простоте уже слова нельзя стало сказать. А Европа вся говорит.

Но ты плюнь на это и пиши.

Главное, пиши и пиши. И не знай никого, гони их к черту, а сам работай. Иначе ничего не сделаешь. Русская живопись и русская музыка потому делают огромные шаги вперед, что они свободны. А литература сама себя уничтожает.

Взгляни на толстовский роман [5]: гнет свою линию, а все умники-публицисты с их претензиями — отходи к стороне и помалкивай, потому что — великан идет!

Желаю тебе всего доброго. Супруге твоей привет!

Твой Н. Т.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 24—24 об. Ответ на п. 32.

[1] Сын Телешова Андрей родился 18 июля 1899 г. (ум. в 1966 г.).

[2] «Екклезиаст», гл. 1, стих 7.

[3] Советуя почитать «французов», Телешов имел в виду, вероятно, таких писателей, как Золя, Мопассан, Лоти, Гюисманс. Г. Сенкевичем в 1890-х годах были выпущены романы: «Без догмата» (1891), «Семья Поланецких» (1895), «Камо грядеши?» (1896).

[4] Александр Петрович *Лукин* (? —1905) — писатель и журналист. В 1865 г. начал печататься в «Современнике»; многолетний сотрудник «Русских ведомостей», где он вел фельетон под псевдонимом «Скромный наблюдатель».

[5] Роман «Воскресение», печатание которого в «Ниве» продолжалось почти до конца года.

34. В. М. МИХЕЕВ и ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, Николаевский вокзал. 14 августа 1899 г. 6 ч. 25 м. пополудни. Погода тиха. После упорных дождей — светлеет.

Мы, нижеподписавшиеся, московские «друзья или враги» [1] — предоставляем судить тебе,— почему-то находясь здесь и вспоминая тебя, взываем:

А о чем, тому следуют пункты.

1) Жаждем тебя видеть. (В публике движение.) Единого или вкупе с Присною [2]. (Усиленное движение.) И возможно скорее, ибо один вскоре

(5 сентября) стремится в Туркестан[3], другой же, устремляясь в Ярославль на днях, надеется в половине сентября быть здесь (Гороховое поле, д. Петермана). Паче же зовет к себе в Ярославль, Дворянская, д. Михеевой.

2) My lowe Kiss your lowe! (from Jaroslawle!) [4] Это сказано от одного лица, но не от двоих нас. (Москва, Чистые пруды.)

3) Повесть в 12 печатных листов (Земство, Благотворительность, Любовь и Счастливый брак), Фабрика, Газета «Тургеневские барышни», Съезд маслобоев и все подобное (Ярославль).

4) Ни одного печатного и ни одного непечатного листа, но живое произведение натуры (детище), ни фабрики, ни барышен, ни масла, тем паче «сала», но в настоящее время коньяк (Чистые пруды).

5) Если раз в год пишут большое и откровенное письмо, то нечего сердиться, что нет другого (приняв в соображение 12 печатных листов написанных). (Ярославль.)

6) Екклезиастом меня не удовлетворишь [5]. Жду писем. (Чистые пруды.)

7) Пьем за ваше здоровье! (Ярославль и Чистые пруды.)

8) 4-летний философ, сын ⟨*нрзб*⟩ графини, находит, что нужно мальчика (подробности при личном свидании — Ярославль).

9) Пример к вашим услугам (Чистые пруды).

10) Пьем ваше и его (будущего) здоровье! (Ярославль и Чистые пруды.)

11) И несмотря на это и браня современное декадентство, возвращаемся к доброму, здравому старому способу изложения:

Пьем за твое здоровье!!

За «Гайавату» спасибо: издание превосходно, перевод еще лучше, переводчик еще лучше, но почему Екклезиаст и Требник? (В. М.) [6] Если «credo quia absurdum» (Augustinus) [7]*, то ведь и «absurdum, quia credo» (Basilius) **.

12) Пьем за твое здоровье!!

13) Вспоминая слова В. П. Острогорского [8], мы вопрошаем себя: за что мы тебя чествуем?

И сердца наши ответствуют: «Любим — потому!!!»

В. Михеев (Ярославль)
Н. Телешов (Чистые пруды)

P. S. На Пушкинских днях видел Володю Ладыженского [9]: по-прежнему: мал, черен, пьян, распущен, мил и сиде на ⟨...⟩ (Ярославль).

ГМТ, № 3159/2. Автограф Телешова со вставками рукой В. М. Михеева.

Встретившись с приехавшим из Ярославля Михеевым, Телешов отпраздновал вместе с ним рождение сына Андрея (см. п. 33).

[1] Намек на строки в п. 32.

[2] То есть с женой, А. Н. Буниной.

[3] Сведений о задуманной Телешовым поездке в Туркестан обнаружить не удалось.

[4] Грамматически бессвязная и орфографически неточная фраза из английских слов: «моя любовь, поцелуй, ваша любовь (из Ярославля)».

[5] См. п. 32 и 33.

[6] Эти две строки написаны рукой Телешова.

[7] Автором этого изречения принято считать Тертуллиана (кон. II — нач. III в.); имя Августина названо здесь ошибочно.

[8] Виктор Петрович *Острогорский* (1840—1902) — известный педагог, автор многих пособий по преподаванию в школе русской литературы. В 1892—1902 гг.— официальный редактор журнала «Мир божий».

[9] Владимир Николаевич *Ладыженский* (1859—1932) — писатель; после революции эмигрировал.

---

* «я верю, потому что это бессмысленно» (Августин)[7] (*лат.*).

** «бессмысленно, потому что я верю» (Василий ⟨т. е. *В. М. Михеев*⟩).

35. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса ⟨6 ноября 1899 г.⟩

Митрич, очень прошу тебя простить меня за молчание. Увы! Застрял в Одессе, к Рождеству думаю быть в Москве [1]. Пишу на всех парах. Дня через два-три напишу тебе побольше, а пока только, пожалуйста, прошу тебя написать мне самое подробное и длинное письмо о всех своих делах и настроениях.

Супруге твоей Елене Андреевне кланяюсь от всего сердца с самым искренним расположением. Тебя целую крепко.

Твой Ив. Бунин

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 6.XI.1899; Москва, 9.XI.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 12. На бланке: Контора ежедневной газеты «Южное обозрение». Гаванная ул., д. Михайловой. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] См. п. 42.

36. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва ⟨18⟩99, ноября 10

Дорогой Иван Алексеевич.

Давно у меня руки чесались изругать тебя, да все было недосужно. А главное — самому было совестно. Потому совестно, что я до сих пор — ни строки не написал, не то что роман. Черт знает что! Беда, а не жизнь! Не могу, окончательно не могу ничего написать. Понятно, что и настроение подлое. Хочется размахнуться, развернуться,— ан, выходит, нельзя. «Сердце пусто, празден ум» [1]. А тут еще клуб открыли [2]. Туда зачастил. Квартира к тому же стала тесна, жарка и неудобна. Время идет попусту, глупо и гадко. Нет мыслей. Все гадость какая-то лезет в голову, да и то лезет вяло, безжизненно.

Выпороть бы меня следовало покрепче за мое беспутство. То гости, то клуб, то знакомые, то дела, то голова нечиста со «вчерашнего».

«Пропадать буду»,— сказал Макар [3].

Серьезно. Не подумай, что я пьянствую. А просто так: с рельс сошел. Сюжета нет настоящего, а всякую тусклятину писать противно. Ей-богу, противно, все равно, что падаль есть. Не могу. Пока душа не сольется с «сюжетом», не напишу ничего. Запросы очень велики, потому и нет ничего. О чем писать? Что сказать? Нечего мне сказать людям, потому что сам ничего не знаю, как нужно жить и что нужно делать. Даже в «Детское чтение» ничего не могу придумать. Сам Николай Александрович[4] дал мне тему: «буран и обратные переселенцы». И тоже все это не то... Не то, не то!

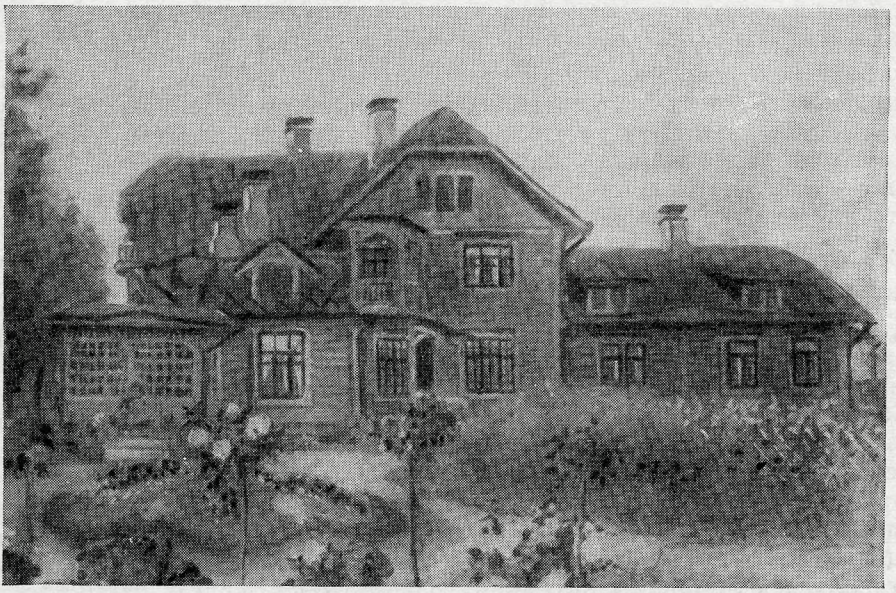
Ты Федорову что-то напутал. Он прислал мне стихи, а Тихомировы их не берут. Говорят: пускай сначала сотрудничает у нас, а потом уж и в переговоры вступает. Так стихи и не посмотрели.

«Кудрявый» у меня, конечно, не был и ничего не писал. И ну его к лешему!

А ты? Как дела по изданию стихов? Небось тоже ругаешь Кудрявого, который тебе не шлет вестей? Или печатаешь? [5]

А что написал нового?

Погода у нас такая, что подлее и возмутительнее ничего нельзя себе представить. Какое тут к черту вдохновение, когда дышать нечем: вонь, слякоть, сырость и целый месяц серое, дырявое небо, мокрая земля, мокрый воздух. Все сгнило. Нет трезвого мороза, нет милого солнца! Ничего нет. Точно в могиле сидишь. Мерзость одна. И сюжета нет! Все скверно.



ДАЧА ТЕЛЕШОВА В МАЛАХОВКЕ

Этюд Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы

На балкон второго этажа выходит окно комнаты, в которой жил Бунин, приезжая в Малаховку

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

Пиши, пожалуйста, с юга с своего. Авось, напишешь что-нибудь тепленькое. Или изругай меня покрепче.

Очень буду рад тебя видеть. Только не надуй. Приезжай — чем скорее, тем лучше. Может быть, и я подтянусь немножко.

Жена тебе шлет свой привет!

Твой Н. Телешов

P. S. Посылаю тебе карточку.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 25—27 об. Ответ на п. 35.

[1] Строка из стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828).

[2] В Москве в октябре 1899 г. открылся Литературно-художественный кружок, членами которого стали многие видные писатели, артисты, музыканты и т. д. (см. «Записки писателя», стр. 24—32).

[3] Из рассказа В. Г. Короленко «Сон Макара» (1883).

[4] Николай Александрович *Соловьев-Несмелов* (1847—1901) — писатель, постоянный сотрудник «Детского чтения» (см. о нем «Записки писателя», стр. 13—16).

[5] Кого Телешов называет «Кудрявым», установить не удалось. Не исключено, что это прозвище относится к Н. В. Гаврилову, с которым Бунин вел переписку об издании своих стихотворений (см. п. 21).

37. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, 14 ноября ⟨18⟩99

Милый и дорогой Николай Дмитриевич! Хотел тебе еще вчера написать, сразу по получении твоего письма, да было 13-е число и пьянство в Одесском Литературно-артистическом клубе, куда я частенько шатаюсь, так же как ты в свой,— читаю и болтаюсь [1]. Серьезно, твое письмо охватило меня сильным настроением. Мне крепко стало обидно за тебя и сильно проникли в душу твои слова, ибо ты, если и не пишешь ничего, то здорово умеешь выражать это наше общее подлое настроение, в силу которого

мы не пишем. И я от всей души восклицаю тебе и самому себе в то же самое время: Митрич, брось, ради Христа, смаковать свое настроение и предаваться злобно-сладкому презрению к своей жизни, как хитровцы это делают относительно своей жизни. От всей души хотелось бы посоветовать тебе что-нибудь да что́? Если тебя действительно томит неделание и в то же время жажда делания — вдумайся в причины этого бездействия,— тебе легче самому это сделать — и *принудь* себя работать, измени условия жизни, мешающие работать, и возьми себя за шиворот.

Я сам изболел этой мукой — отвращением писать «пустяковину», «тусклятину», как ты выражаешься, «⟨...⟩ вину», лучше сказать. Все это чувствую, сам говорю себе, что пока душа «не сольется с сюжетом» — нельзя писать. И еще больше понимаю и тысячи раз твержу себе твои слова: «нечего мне сказать людям, ибо сам ничего не знаю». Но, даю тебе слово, наполовину мы с тобой неправы и больше чем наполовину — свиньи, ленивые свиньи. Сколько ни думай, а делать что-нибудь надо, ибо нельзя не делать, когда томишься неделанием, и вот единственное средство: упорно и долго понасиловать себя, твердо помня, что 1) многое *кажется* вялым, гнусным, жалким, тусклятиной до тех пор пока вплотную не вдвинешь себя в работу: часто случается, что ты сам не узнаешь эту тусклятину, так она осветится внутренним огнем, когда начнешь *разрабатывать* ее, и 2) неправда, вероятно, что нечего сказать нам. Что бы ни сказать, да ведь хочется сказать, и это сказанное будет частью твоей души — этого довольно. И главное — опять-таки заранее нельзя этого говорить, что нечего сказать. Последнее мое слово — не совет, а желание, самое искреннее — возьми себя за шиворот, углубись в книги, в воспоминания, в сферу умственной жизни войди — это главное,— в сферу искусства — и выйдет дело,— может быть, сам себя не узнаешь, проснешься. Только понасилуй себя побольше. Помни же, пожалуйста, почаще, что у тебя *есть* душа и есть талант. Ужасно хотелось бы поговорить с тобой об этом...

Как у меня прошло это время — даже затрудняюсь сказать. Дни летят как сумасшедшие. Часть времени — жене, ее знакомым, ее занятиям, ее удовольствиям (часто шатаюсь на балы и сижу иной раз до 6 ч. утра), часть — куренью, которое я так же неудачно продолжаю бросать, как ты собираешься (бесстыжие глаза!) прочитать Гл. Успенского, часть — чтению, приготовлениям к работе, часть — погоде, очаровательной нашей погоде, из-за которой я не могу вспомнить Москвы и ее грязи и ненастья. Был тут Вейнберг, мы его чествовали, участвовали с ним в литературном вечере [2].

«Кудрявый» оказался сущей свиньей — писал, писал ему — ни звука [3]. Значит, черт с ним, жалею, что связался с таким г⟨...⟩м. Не будешь ли добр заехать в «Книжное дело», спросить их, не напечатают ли они мне книгу стихов в 10 листов *в декабре*: расходы за типографию их, затем книжка остается их, половина дохода мне, половина — им. Словом, как они хотят. А то «Издатель» опять до весны. *Или спроси Сытина* — пусть он напечатает и оставит у себя, выберет свои расходы, а затем доход — пополам. Ведь лучше этих условий не найдешь [4].

«Буран и переселенцы» мне нравится — пиши, ради бога, пиши и кати в «Жизнь» [5]. Рецензия Недолина в «Жизни» [6] будет не ругательная, по его словам, признает вполне талант. Читал ли в «Русской мысли»? [7]

Относительно Федорова я ничего не путал: пошел к Несмелову, он мне сказал: пусть пришлет рукопись. Вот и все. Вольно же им быть хамами, а Федорову — присылать рукопись почему-то тебе. Вообще ты преувеличиваешь мое легкомыслие.

Голубчик, пиши мне почаще и больше. Дорогой и сердечно уважаемой Елене Андреевне — самый сердечный поклон. Милый, попроси ее от меня заняться тобой и подтянуть! Серьезно говорю.

Твой Ив. Бунин

Как твой сын? Что испытываешь к нему, радует ли тебя? Это мне *очень любопытно.*

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 15.XI.1899; Москва, 18.XI.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 13—17 об. Ответ на п. 36.

[1] Поселившись в Одессе, Бунин стал членом Литературно-артистического общества, принимал нередко участие в литературных вечерах, которые устраивались обществом обычно по субботам. Так, 9 октября 1899 г., на «вечере в память И. С. Никитина» он прочитал стихотворения Никитина («Южное обозрение», 1899, № 946, 11 октября), 23 октября на литературно-музыкальном вечере прочитал рассказ Чехова «В бане», только что напечатанный в сборнике «Памяти В. Г. Белинского» (там же, № 959, 25 октября).

[2] П. И. Вейнберг приезжал в Одессу, чтобы прочесть две публичные лекции о Гете (в 1899 г. исполнилось 150 лет со дня его рождения). Лекции были прочитаны 7 и 9 ноября в зале Городской думы. 10 ноября Литературно-артистическое общество устроило в честь Вейнберга литературно-музыкальный вечер, на котором, после приветственной речи секретаря общества, петербургский гость «прекрасно прочел и продекламировал три собственных стихотворения». После этого Бунин прочитал рассказ Чехова «Душечка» («Южное обозрение», 1899, № 971, 974, 976 и 977, 6, 9, 11 и 12 ноября).

[3] См. п. 36 и примеч. 5 к нему.

[4] Московское издательство магазина «Книжное дело» выпустило в 1899 г. «Песнь о Гайавате» в переводе Бунина. Других его книг это издательство не выпускало. Т-во И. Д. Сытина также не издавало стихов Бунина.

[5] Журнал «Жизнь» был основан в Петербурге в 1897 г. В следующем году издателем-редактором его стал В. А. Поссе, при котором с 1899 г. журнал стал органом, близким к марксизму (в нем печатались, в частности, статьи В. И. Ленина). В литературном отделе «Жизни» постоянно печатались Горький, Чехов, Андреев, Вересаев и др. Бунин опубликовал здесь «Антоновские яблоки», поэму «Листопад» и ряд стихотворений и рассказов. К участию в «Жизни» его привлек Горький. 8 июня 1901 г. за напечатание «Песни о Буревестнике» журнал был закрыт.

Произведения Телешова в «Жизни» 1899—1901 гг. не появлялись.

[6] А. О. *Недолин* (псевдоним Алексея Осиповича Благоразумова; 1870—1901) — одесский журналист, критик и беллетрист, постоянный сотрудник «Южного обозрения». В «Жизни» он помещал регулярно отзывы о новинках беллетристики. О судьбе написанной им рецензии на «Повести и рассказы» Телешова см. п. 38 и 39.

[7] В «Русской мысли» (1899, № 10, Библиографический отдел, стр. 363—364) был напечатан отзыв о книге Телешова. Анонимный рецензент выделил рассказы, посвященные жизни переселенцев («Домой!», «Нужда» и др.), назвал «оригинальным и талантливым» «Маленький роман», похвалил рассказ «Ошибка барина»; менее удались, по его мнению, «рассказы на психологические темы, на философские проблемы» («Жертвы жизни»). «В общем книга г. Телешова,— заключал он,— оставляет очень приятное впечатление литературной порядочностью и искренней гуманностью».

38. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 24 ноября ⟨18⟩99

Дорогой Иван Алексеевич,— пишу тебе, полный ярости. Сию минуту получил письмо от А. М. Федорова из Питера. Он сообщает, что сейчас спас меня от «гнусного поношения» в «Жизни».

Тебе говорил Недолин, что он хвалит меня за книгу. Не верь этому подлецу. Он наврал тебе, желая видеть эффект по напечатании отзыва. Он втайне злорадствовал над тобою, уверял тебя о благополучной статье. Его любезность — иудин поцелуй. Вот как он похвалил меня, слушай: «Мелкая газетная работа в погоне за построчным гонораром наложила на мои рассказы [неизгладимую печать] неизгладимое клеймо».

Это похвала?

И этот сукин сын имеет дерзость уверять тебя в противном, рассчитывая видеть твое изумленное лицо через неделю.

Нет, никогда в жизни, если только буду издавать когда-нибудь книгу, не пошлю ни одного экземпляра ни в одну редакцию. Черт с ними! Зная, какими людьми пишутся отзывы, не могу желать этих отзывов. Пускай, если угодно, покупают книгу сами, а я уже не пошлю.

Не знаю, что будет дальше, но Федоров уверяет, что статья, уже сверстанная, была зачеркнута. Чуяло мое сердце! [1]

Письмо твое получил. Спасибо. Собирался сегодня отвечать, но эта кляуза испортила все настроение. Не могу теперь говорить по душе. Как-нибудь напишу обстоятельно.

Ждать ли тебя в Москву? Твой Н. Телешов

Не говори Недолину ничего, чтобы не выдавать Федорова. А то и ему напакостит! Н. Т.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 28—29. Ответ на п. 37.

[1] В письме, на которое ссылается Телешов, Федоров писал ему: «Кланяйтесь и благодарите меня, милый Николай Дмитриевич. Я сейчас только спас вас от гнусного поношения в „Жизни". Некто г. Недолин, известный вам, вероятно, по „Южному обозрению", излил на вас ядовитую струю злобы за вашу книгу. Поссе дал мне прочесть его отзыв, уже напечатанный и сверстанный для предстоящей книжки. Он сам сомневался насчет этого отзыва, хотя излюбленный вами Горький настаивал на его помещении. Я без обиняков заявил, что этот отзыв (там говорилось, что мелкая газетная работа в погоне за построчным гонораром наложила на ваши рассказы неизгладимое клеймо. Ха-ха-ха!) очень недурно написан и будет вполне справедлив, если вместо фамилии Телешова поставить фамилию Недолина. Где бессильно убеждение, там убивает смех. Все расхохотались, и рецензия была похерена при мне» (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 386, без даты; по связи с настоящим письмом Телешова может быть датировано 23 ноября 1899 г.). В следующем письме, 7 декабря, Федоров еще раз вернулся к рецензии Недолина: «Горький настаивал на помещении рецензии единственно потому, вероятно, что не знал ваших произведений, или прельщенный газетной хлесткостью ее. Но сам Поссе затем обрадовался, что не поместил эту рецензию» (там же, ед. хр. 385; в дате у Федорова описка: 8 декабря, исправлено по почтовому штемпелю).

Рецензия Недолина напечатана не была.

39. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 28 ноября ⟨18⟩99

Дорогой Иван Алексеевич!

Написал тебе письмо, но проносил четыре дня в кармане. Теперь посылаю оба. Черт с ним, с Недолиным! [1]

Сытина я застать еще не мог. Он где-то в отъезде. Все-таки на днях увижу его и поговорю. Был в «Книжном деле». Там отказываются *пока* издавать, но сказали, чтобы ты зашел потолковать, если будешь в Москве. Как я понял — отсрочка до весны, либо на год [2]. Говорил я с Клюкиным [3] вообще о положении издательского дела. Он не советует издавать стихи теперь. Говорит, что публика вовсе перестала покупать стихи. Значит, за свой счет издавать не стоит. Поговорю с Сытиным.

Пишу я сказку для «Детского чтения», сказку злободневную, но не политическую. Черт знает, что выходит. Тут и северное море, и южный принц Сагир, и белая цапля [4]. Все равно, про что ни писать, лишь бы «руку разогнать», авось тогда что-нибудь и другое выйдет.

Сообщи, едешь ли ты в Москву на Рождестве?

Судя по твоему письму, ты ничего не делаешь в Одессе, не пишешь, хотя свободен, как ветер в море. Я ведь сижу-сижу, да что-нибудь и высижу. К 1901 году уж у меня будет роман, как ты там ни бранись! Уж я его высижу и снесу! «Чуткий слух» уже готов. Жду только «божественного глагола».

Читал ли ты в «Ниве» михеевский роман «Тихие дела?» Я его читал, читал, но не хватило терпения. Убийственную скуку завел милейший Василий Михайлович. Нет, я не хотел бы написать такой роман. Может быть, он очень хорош, но сил нет, до чего растянут [5].

Пока прощай. Пойду сейчас на Чистые пруды, прогуляюсь немножко и засяду за «Белую цаплю».

Все-таки жду в Москву.

Жена тебе кланяется и за твое безделье называет тебя так же, как и меня. Она нами обоими недовольна.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 30—31 об. Ответ на п. 37.

[1] См. п. 37 и 38.

[2] См. примеч. 4 к п. 37.

[3] Максим Васильевич *Клюкин* (? — начало 1920-х годов) — московский книготорговец и издатель; писал также книги для детей, в 1911—1915 гг. был редактором-издателем журнала «В школе и дома». Краткая биография Клюкина напечатана в московском еженедельном журнале «Жизнь», 1913, № 50.

[4] Сказка Телешова «Белая цапля» была напечатана в «Детском чтении», 1900, № 12, декабрь, стр. 403—420. Текст ее сопровождался тремя иллюстрациями — рисунками Е. А. Телешовой.

[5] Редакция «Нивы», закончив печатание второй части романа Толстого «Воскресение», известила читателей о вынужденном перерыве в публикации романа: «Летом гр. Л. Н. Толстой был болен и не мог заниматься отделкой последних глав романа „Воскресение“. Теперь ему, слава богу, гораздо лучше, и он принялся с новым рвением за работу. Но уже вследствие болезни произошла задержка. Кроме того, конец романа, при пересмотре его, значительно разросся, так что потребовалась, вместо прежних немногих глав, целая новая часть,— третья, состоящая приблизительно из 20 глав. Все это заставляет автора прервать печатание романа недель на шесть, так что третья и последняя часть романа появится в „Ниве“ в ноябре и декабре и послужит лучшим украшением страниц нашего журнала в конце года. Тем временем мы даем место оригинально задуманной повести В. М. Михеева „Тихие дела“, написанной на животрепещущую современную тему» («Нива», 1899, № 38, 18 сентября). Повесть Михеева печаталась с № 38 по 48 (27 ноября), после чего началась публикация третьей части «Воскресения».

40. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Нижний Новгород, 1899, декабря 9

Милейший мой друг и приятель, Иван Алексеевич!

Люблю я Нижний Новгород и люблю писать отсюда письма. Чем-то хорошим веет здесь и особенно зимою, когда Волга застыла. Она не застыла, как, например, я застыл с своей литературой. Она точно задумалась и на время приумолкла.

А, да что тут говорить! Хорошо здесь! Очень хорошо!

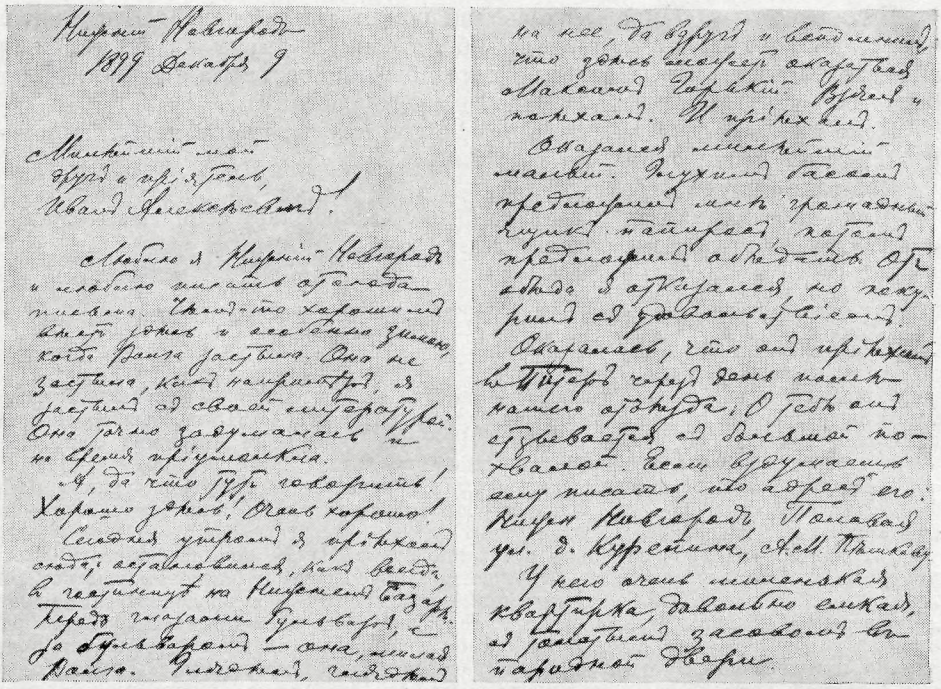
Сегодня утром я приехал сюда; остановился, как всегда, в гостинице на Нижнем базаре. Перед глазами бульвар, а за бульваром — она, милая Волга. Глядел, глядел на нее, да вдруг и вспомнил, что здесь может оказаться Максим Горький [1]. Взял и поехал. И приехал.

Оказался милейший малый. Глухим басом предложил мне громадный ящик папирос, потом предложил обедать. От обеда я отказался, но покурил с удовольствием.

Оказалось, что он приехал в Питер через день после нашего отъезда [2]. О тебе он отзывается с большой похвалой. Если вздумаешь ему писать, то адрес его: Нижний Новгород. Полевая ул., д. Курепина, А. М. Пешкову.

У него очень миленькая квартирка, довольно емкая, с толстым засовом в парадной двери.

Впечатление у меня осталось от него такое же, как от тебя, когда я с тобой познакомился: то есть хороший малый, простяк и нисколько не сукин сын, чего можно было ждать от знаменитости нашего времени.



Нижний Новгород
1899 Декабрь 9

Милостивый мой
друг и брат,
Иван Алексеевич!

Я любил я Нижний Новгород и сладко писалось отсюда письма. Сегодня-то хорошо: выпал дождь и весна дышит, хоть Волга еще стоит. Оно не застыла, конечно, но застыла от своей температуры. Оно тяжело задумалось и не время прыгнуть.

А, да что тут говорить! Хорошо здесь, очень хорошо!

Сегодня утром я проехал стать, отдалевшись, как всегда, в гостиницу на Нижнем базаре, перед глазами бульвар, а за бульваром — она, милая Волга. Очень, очень на нее, до взрыда и всё думаешь, что здесь скорбит отрешенный Максимов Горький. Вчера и приехал. И приехал.

Обрадуй меня, милый мой. Скажи, сколько предложит мне гранадский кулак. Пятерку, сколько предложит обедать. Отобедаю в отличном, но пожурит он меня за Волгу.

Обрадуй, что он приехал в Нижний город день нашего отъезда. Ведь он отдыхает от всякой поездки. Если вздумаешь ему писать, то адрес его: Нижний Новгород, Почтовая ул. д. Курсиной, кв. Пешкову.

У него очень маленькая квартирка, довольно сырая, с Волгой заслонена парадной дверью.

ПИСЬМО ТЕЛЕШОВА БУНИНУ, 9 ДЕКАБРЯ 1899 г.

Автограф, л. 1 и 1 об.

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Ну, вот и все [3].

Приберег я тебе на закуску пренеприятную штуку: на Сытина надежды нет. Лично его я не видал, но видел его распорядителя-компаньона. Он говорит, что я вам отвечу за Сытина с ручательством: никаких книжек, тем более никаких стихов.

Все складывается скверно. И хотелось бы тебя порадовать, да нечем.

Хоть разорвись, но ты должен мне выслать свой портрет. Иначе буду ругаться. И высылай, пожалуйста, кабинетный, а не маленький. Не люблю я эти огрызки!

Ах, брат, как хорошо прокатиться по Волге и Оке, от гостиницы по льду к вокзалу! И лошади-то бегут весело, и извозчики веселятся, а чему? Черт их знает! За 30 коп. едут так, как наши московские мерзавцы за 2 рубля не поедут. Что-то всех веселит. Удаль какая-то нападает на человека, задор. Весело здесь на душе. Хочется черта схватить за рога! Да и полиции что-то нигде не видно. А порядок везде лучше нашего.

Странно...

Ну, прощай.

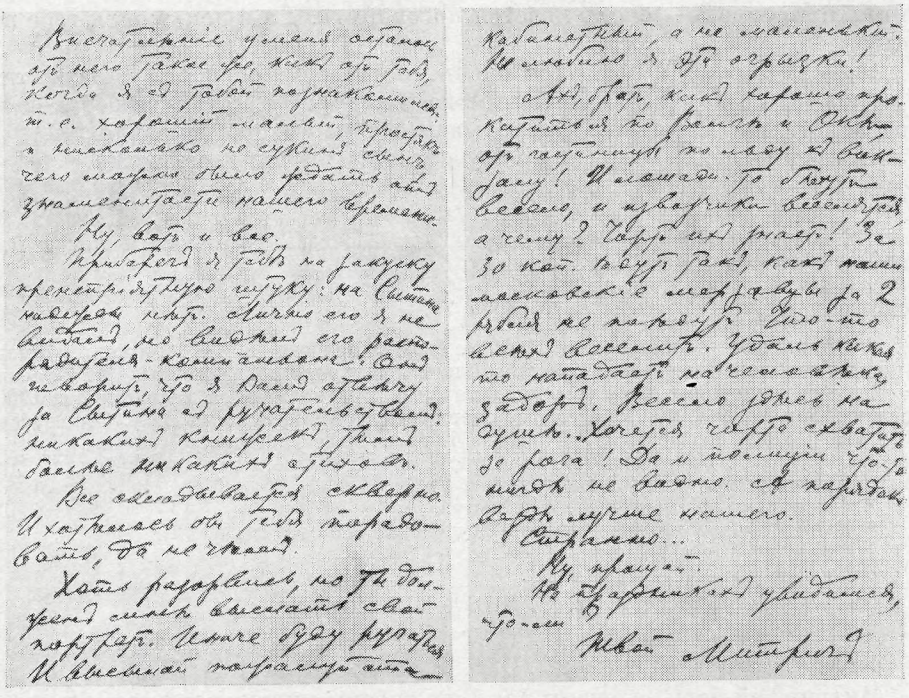
На праздниках увидимся, что ли?

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 32—33 об.

[1] 8 декабря 1899 г. Горький вернулся в Нижний Новгород после поездки в Смоленск. На пути туда и обратно (6—7 декабря) он остановился в Москве («Летопись Горького», 1, стр. 254—255).

[2] Горький приехал в Петербург 29 сентября 1899 г. и пробыл там до 22 октября (там же, стр. 246 и 249). Бунин был в Петербурге с 21—22 по 26 сентября 1899 г. (см. его письма к брату Юлию 22, 24 и 25 сентября.— ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 22—24). Настоящее письмо позволяет установить, что вместе с Буниным в Петербург приезжал и Телешов.



ПИСЬМО ТЕЛЕШОВА БУНИНУ, 9 ДЕКАБРЯ 1899г.

Автограф, л. 2—2 об.

Центральный архив литературы и искусства, Москва

[3] 9 декабря 1899 г. Горький писал Чехову: «Сегодня был у меня Телешов — какой он здоровый! Кроме этого впечатления, я ничего не вынес из встречи с ним. Завидую его здоровью, ибо мое — трещит по всем швам» (Горький, т. 28, стр. 107—108. Редакторская дата здесь 13 декабря — письмо Телешова позволяет исправить эту неточность).

41. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 16 декабря 1899 г.⟩

Прости за поздний ответ, милый Николай Дмитриевич. Все собирался, а дни летят. Удивился я немного твоему волнению на Недолина — я ведь тебе говорил, что это г⟨...⟩о и зло-шипящее г⟨...⟩о — а главное, удивился твоему отношению к рецензентам вообще. Разве это для тебя новость, что пишут прохвосты? Утешаешь себя тем, что не все же прохвосты, а еще тем, что ничего не поделаешь. Надо с ними бороться,— ибо в жизни на каждом шагу компромиссы,— бороться путем хотя бы знакомства с литераторами. Как это ни печально и даже ни странно, а так. Вот познакомился в «Жизни» — одного прохвоста и победил. Я получил твое письмо в редакции и, не дочитавши до того места, где ты пишешь: «Не говори Недолину»,— бросился на него — говорю, пишут из Петербурга так и так. Он смутился, завилял как собака. Я его бросил. Но рецензии не будет. Книжки все-таки надо посылать в редакции, но предварительно — знакомства. Ведь это проводники в публику, а для нее и пишем.

Видел ли анонс в «Жизни», что ты обещал им свое участие? [1] Черт с ними, пиши. «Цаплю» твою не понимаю [2], а что касается романа,— то дай тебе бог удачи — от всего сердца. Все вероятия за то, что буду на празд-

никах в Москве [3] — очень хочется поговорить. Да и деньжонок тебе надо дать.

Я — за письменным столом очень много времени, начал писать стихи. Только все не кончаю, а начал много и недурных. Клянусь собакой вот-вот начать рассказывать. Откладываю все разговоры до свидания.

Искренно люблю тебя и прошу писать. Поклон твоей жене.

Ив. Бунин

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Его в-дию Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 16.XII.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 18—19. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю. Ответ на п. 38 и 39.

[1] Объявление о подписке на 1900 г. было помещено в № 12 журн. «Жизнь». В нем указывалось, что «в журнале ближайшее участие принимает М. Горький», назывались некоторые произведения, которые предполагается поместить в 1900 г. (повесть Горького «Мужики», его же очерки «Дачники», повести В. А. Серошевского и А. П. Чехова, рассказы Е. Чирикова и др.). Далее назывались имена писателей, которые обещали свое участие в беллетристическом отделе, в том числе: Бунин, Гарин-Михайловский, Телешов, Тимковский и др.

[2] См. письмо 39 и примеч. 4 к нему.

[3] Бунин выехал в Москву после 26 декабря 1899 г. (см. п. 42).

42. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 26 декабря 1899 г.⟩

Митрич, ей-богу, я очень рад был твоему нижегородскому письму — и, конечно, собирался тотчас писать... Но, черт меня побери,— все откладывал.... Теперь уж решено, на днях буду в Москве — и все поправлю. Целую тебя и кланяюсь Елене Андреевне.

Ив. Бунин

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВБ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 26.XII.1899; Москва, 29.XII.1899.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 20. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю. Ответ на п. 40.

43. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 31 января 1900 г.⟩ [1]

Дорогой Николай Дмитриевич,

Я уезжаю по всей вероятности в среду в $^1/_2$ седьмого, так что загляни ко мне завтра, 1-го. Буду ждать с 6-ти часов.

Пожалуйста заезжай и привези что-либо с собою для «Южного обозрения».

Твой И. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 23, л. 21. Написано карандашом на листке, вырванном из записной книжки. Дата и место отправления определены по тексту.

[1] 31 января 1900 г. приходилось на понедельник; таким образом, Бунин намечал свой отъезд на 2 февраля («на среду»). «Январь 1900 г. (по-видимому, весь месяц) Бунин прожил в Москве у брата» («Материалы», стр. 78). 11 февраля 1900 г. Бунин писал брату уже из Одессы (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 61). Проверка по календарю за 1898—1900 гг., когда Бунин был связан с «Южным обозрением», показала, что другие предположения о возможной датировке письма отпадают при сопоставлении с известными данными о жизни Бунина в Одессе и о приездах его в Москву.

44. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 14 февраля 1900 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Посылаю тебе 175 рублей от следующих лиц:

Памяти Ивана Васильевича Шишкина	— 75
От Софьи Николаевны Карзинкиной	— 25
» Софьи Андреевны Карзинкиной	— 25
» Андрея Александровича Карзинкина [1]	— 25
» Елены Андреевны Телешовой	— 25
Всего	175 руб.

Передай, пожалуйста, эту сумму в пользу голодающих кому следует, в хорошие руки [2].

Я получил твою телеграмму [3], был в этот вечер как раз у меня Белоусов, но стоял такой холодище, что на далекий вокзал мы не рискнули ехать. Пиши мне о себе и вообще «пиши». Жена тебе кланяется.

Твой Н. Телешов

1900, февр. 14

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 37—37 об.

[1] Андрей Александрович *Карзинкин* — отец Е. А. Телешовой, московский купец; С. Н. *Карзинкина* — его жена, урожденная Рыбникова, родная сестра собирателя народных песен П. Н. Рыбникова; С. А. *Карзинкина* — младшая сестра Е. А. Телешовой, умершая в молодые годы; И. В. *Шишкин* — лицо неустановленное.

[2] Эти деньги Бунин тогда же передал своему тестю Н. П. Цакни для фонда помощи голодающим (см. письмо Бунина А. М. Федорову 31 января 1901 г.— ЦГАЛИ, ф. 514, оп. 2, ед. хр. 2, л. 6 об.).

[3] Эта телеграмма остается неизвестной.

45. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 2 марта 1900 г.⟩

Митрич, деньги передал, расписки пришлю. Не сердись за молчание — у меня на душе черт ногу сломает.

На днях, кажется, еду в Ялту [1]. Сообщу. Пока пиши сюда. Елене Андреевне и Софье Андреевне — глубокие поклоны. Тебя целую.

Убедительно прошу — пиши.

Твой Ив. Бунин

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 2.III.1900; Москва, 5.III.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 1. Ответ на п. 44. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] В начале марте 1900 г. у Бунина произошел полный разрыв с женой, и он уехал в Москву («Материалы», стр. 79). В Ялту он приехал 12 апреля и пробыл там до начала мая. О первоначальном своем намерении ехать из Одессы прямо в Ялту Бунин писал в эти же дни брату Юлию (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 63 об.).

46. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 22 апр⟨еля⟩ 900

Дорогой Иван Алексеевич!

Вчера был у меня Юлий Алексеевич. Он решил ехать к тебе, предварительно переговорившись по телеграфу. Надеюсь, что ты еще в Ялте, и потому я дал Юлию Алексеевичу адрес на Горького [1].

Будь добр, зайди на почту и возьми мои письма, которые и перешлешь мне. Не забудь, пожалуйста, про Махалова и не потеряй рукопись. Потолкуй также с Чеховым о сборнике [2].

Я доехал прекрасно. Как слышно, у вас теперь погода исправилась и наступила настоящая весна. Очень хотел бы получить от тебя письмо из Ялты. Справься в фотографии о группах и подгони, чтобы скорее выслали [3].

Горькому и его жене, Ланину, его сыну [4] и Елпатьевскому передай мои поклоны. Очень милые, симпатичные люди.

Очевидно, в Константинополь тебе не попасть. Чума и карантины имеют за собой достаточно причин, чтобы ехать в другое место, например,— в Москву или в Орловскую губернию [5]. Как решишь, пожалуйста, сообщи.

Тебе кланяется жена и Белоусов.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 38—38 об.

[1] В апреле 1900 г. в Ялте встретились многие писатели, журналисты, актеры. 12 апреля сюда приехали Бунин и Телешов; 16 апреля — Горький вместе с В. А. Поссе и В. С. Миролюбовым; 14 апреля в Ялту приехала из Севастополя группа гастролировавших там артистов Московского Художественного театра во главе с К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. О ялтинских встречах Бунин подробно рассказал в письме к брату Юлию 18 апреля 1900 г., приглашая его приехать к нему в Ялту или прямо в Одессу. О решении Юлия Алексеевича и сообщает Телешов, вернувшийся в Москву 19 апреля. О ялтинских встречах см. «Материалы», стр. 79; «Русская литература», 1963, № 2, стр. 181; «Записки писателя», стр. 96; «Летопись Горького» 1, стр. 269; письма Телешова к Ю. А. Бунину 7 и 20 апреля 1900 г. (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 120, л. 3—5 об.).

[2] Этот план издания литературного сборника был осуществлен позднее, в 1902 г. (см. ниже упоминания о «курнинском сборнике»).

[3] О фотографиях, снятых в Ялте, см. «Записки писателя», стр. 95.

[4] Александр Иванович *Ланин* (1845—1907) — присяжный поверенный в Н. Новгороде, у которого Горький работал письмоводителем в 1889—1891 и 1892—1893 гг. Дружеские отношения с Ланиным Горький сохранял и позднее. Весной 1900 г. Ланин с сыном Николаем, перенесшим тяжелую операцию, жил у Горького в Ялте.

[5] Задуманная братьями Буниными поездка в Константинополь не состоялась; оба они уехали из Ялты в Одессу, а оттуда Бунин отправился в Ефремов и в Огневку (см. п. 47).

47. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Огневка, 28 мая 1900 г.

Дорогой Николай Дмитриевич! Не знаю как просить у тебя извинения... одним словом — пожалуйста, извини и ничем плохим не объясняй моего молчания. В Ялте я закружился: трубочки, водочки, поездки по горам и долинам... черт его знает что такое. Все очень тебя вспоминали и было чрезвычайно жаль, что ты не с нами. Я перезнакомился со всеми актерами и некоторые из них оказались действительно славными людьми [1]. С Горьким очень часто ездили то туда, то сюда, пока у него не произошло беды: Катерина Павловна внезапно родила на третьем месяце. Скоро, однако, поправилась. Были несколько раз у Чехова по его настойчивой просьбе — рано по утрам и думаю, что между нами установились бы очень хорошие отношения... Словом, было кое-что интересное, много новых знакомств и т. д., но, наконец, приехал Юлий и мы отправились в Одессу. Перед отъездом я был на почте — там, конечно, послали меня в ж⟨...⟩, сказали, что только ты сам можешь получить, если что-либо было на твое имя.

В Одессе ехать в Константинополь я решительно раздумал — чума. И тут было уже совсем не до писем. Я захворал, а настроение было убийственно. Точно кто разодрал рану и посыпал ее солью. Приехавши сюда [2], так засел в тот же день за литературу, что откладывал все письма с ми-

нуты на минуту и вот только теперь собрался. Пожалуйста не сердись. С прежними стихотворениями, еще не напечатанными и теперь окончательно исправленными, у меня теперь готово к печати около 50 штук!! Очень радуюсь. И есть хороши [3]. Скоро засяду за беллетристику. Помоли бога за меня, как и я тебе желаю расторгнуть молчание.

Убедительно прошу тебя писать ко мне — я тут как в Африке — ничего не знаю и не слышу. Адрес мой: Почтовая станция *Лукьяново*, Тульской губернии, Ефремовского уезда. Очень интересно, как живешь, что знаешь, как питаешь или изгоняешь свою неврастению. Да, вот что: очень много толковали о том, как было бы хорошо, если бы ты купил «Журнал для всех». Думают, что Миролюбов продаст, хотя он никому об этом не говорил. Подумай-ка! [4]

Будь здоров пока. Крепко и с искренней любовью целую тебя, кланяюсь Елене Андреевне и всем, кто помнит меня. Где живешь? В июле или раньше, вероятно, приеду в Москву или под Москву [5] — в Царицыно, например, на полмесяца: нужны материалы для биографии Никитина, которую я взялся написать [6].

Пиши!

Твой душой Ив. Бунин

На конверте: Его высокоблагородию Николаю Дмитриевичу Телешову. Москва. ⟨*Конец адреса утрачен — низ конверта оторван.*⟩ Почт. шт.: Почтовый вагон, 1.VI.1900; Москва, 3.VI.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 2—3 об.

[1] С актерами Художественного театра (см. примеч. 1 к п. 46).

[2] Бунин уехал из Одессы в середине мая. Побывав сначала в Ефремове, он попал в Огневку после 16 мая («Материалы», стр. 79).

[3] Эти стихотворения составили сборник «Листопад», вышедший в свет в начале 1901 г.

[4] Слухи эти оказались ложными: Миролюбов оставался издателем «Журнала для всех» вплоть до его закрытия осенью 1906 г.

[5] В Москву Бунин приехал только в середине августа. Еще 8 августа он писал брату Юлию из Ефремова, жалуясь на дурное отношение к нему брата Евгения: «Христа ради, помоги добраться до Москвы» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 69 об.).

[6] Бунин и раньше интересовался И. С. Никитиным: в 1894 г. он, в связи с 70-летием со дня рождения поэта, опубликовал статью о нем «Памяти сильного человека» (см. т. 9, стр. 502—506). О намерении писать биографию Никитина Бунин сообщал и Белоусову в мае 1900 г.: «...эта проклятая работа о Никитине висит над душой» (ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 100—101). Замысел этот не был осуществлен.

48. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Московско-Казанской ж. д. станция
Малаховка, дача Смит, № 6
⟨6 июня 1900 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Я очень рад, что ты, наконец, откликнулся. Право, я не знал даже, писать ли тебе, или помолчать. Мне рассказывал Юлий Алексеевич о твоем путешествии в Одессу. Ну, что же? После этого я и остановился. Бог тебя знает — может быть, лучше тебя не трогать. Я так и сделал. Но раз ты сам разговариваешь, то получи и от меня мое «рассуждение о жизни и прочих неважных вещах».

Живу я хорошо, в 8 час. утра меня будят, и начинается нормальный день (то есть шесть дней в неделю таких), встаю, пью кофе, бегу на поезд, еду на машине, еду на извозчике, приезжаю, сижу, завтракаю, опять сижу и хожу и уезжаю на извозчике, потом на машине, переодеваюсь в куртку, бегу обедать и в 8 часов вечера начинаю принадлежать себе. Но в 10

уже клонит ко сну. Борюсь до 11 и изнемогаю. В 11 ложусь — вплоть до 8 сплю, и опять то же самое, и так все шесть дней. Но в праздник дело иное. Встаю в 10, читаю все московские газеты, иду гулять на час в поле, в лес, на озеро. Потом прихожу, пью водку, ем горячую и вкусную ватрушку, курю сигару, опять гуляю, рою огород, сажаю, подвязываю и т. д. до вечера. Очень хорошо! Сейчас полон лес ландышей, потом пойдут ягоды, а уж потом — истинное наслаждение мое — грибы. Только погода нынешний год чертовская: весь месяц пропал: холодно, дождик, град, ветер. Даже еще не купался ни разу. А уж я ли не охотник?! Почти всегда на градуснике 9—11°, изредка 15. Раза два было и до 20. Только и всего. Подлое лето.

Приезжал тут как-то кн. Барятинский из «Северного курьера» [1]. Обещал ему для голодного сборника [2] рассказ — и написал. Называется «Хлеб-соль» [3]. Послал недавно. Был у меня и Михеев на даче. Несокрушим и весел, а главное — бодр.

9 мая встретился я в Москве с Чеховым. Он привез мне Срединские снимки — очень хороши [4]. Да и Чехов куда лучше, чем в Ялте. Хоть куда! Сегодня читал в газете, что Горький написал драму из чернорабочей среды [5]. Вот будет успех!! Молодец он, право!

Пока больше ничего не знаю. Никого не вижу. Приятно слышать, что ты работаешь. Даже не верится, что ты полсотни стихов написал.

По поводу «Журнала для всех» ты меня очень удивил. Почему Миролюбову его продать, а мне купить? и почему все это одобряют, как ты говоришь? Я сегодня думал об этом. Дело трудное. Во-первых, нужно жить в Петербурге для этого, во-вторых — черт его знает, что нужно еще. А дело, правда, симпатичное.

Ты что-то опять насчет «Царицына» прохаживаешься. Ведь это опять черт в стуле! Впрочем, не знаю.

Что не поехал в Турцию, молодец. Какого дьявола шататься по чуме и всякий час думать — не заразился ли. Да и не нравятся мне турки, чтоб им пусто! Их очень хорошо разделал Голоушев в своей книге [6]. Правда,— что они сделали? Ни лысого беса! Все краденое, все чужое, да и чужое-то хорошее сумели изг⟨...⟩нять на свой лад. Ну их к черту! Дурашливый народ, без всякого будущего и без всякого прошлого. Только что б⟨...⟩ны хорошие, вот и все их достоинство.

Заговорив о турках, невольно вспомнил я и о Средней Азии, о Туркестане, куда рано или поздно, а надо мне попасть. Что, если я через год соберусь, поедешь со мной? Военно-Грузинская дорога, Каспий, Бухара — все это заманчиво. Хотя народ тоже ерундовый, но в них что-то есть. Или может быть — нет той реальной силы, как в турках, и это симпатичнее?

Ну, пока прощай. Жена тебе просила написать поклон. Работай же, пиши, да помни, что Тан, Тимковский и др. в гору идут [7] — а ты? Молчишь все? Ждешь? Нечего ждать, валяй, пиши, благо сидишь в таком углу.

Буду очень рад увидеть тебя, когда бы это ни случилось. Главное, пиши и привози полный чемодан.

Любящий тебя Н. Телешов

6-е июня 1900

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 39—42 об. Ответ на п. 47.

[1] Владимир Владимирович *Барятинский*, князь (1874—1941)—драматург и публицист. Был сначала офицером морского флота, но в 1896 г., после женитьбы на актрисе Л. Б. Яворской, должен был выйти в отставку и занялся литературой и журналистикой. Печатался в «Новом времени», но вскоре порвал с этой газетой и с ноября 1899 г. стал издателем-редактором газеты «Северный курьер», которую он превратил в либеральный орган (его соредактором был К. И. Арабажин, в руководстве газетой принимала участие и Яворская). К сотрудничеству в «Северном курьере» Барятинский

привлек Чехова, Короленко, Горького, Вересаева и других писателей «левого» направления. Уже в декабре 1899 г. «Северному курьеру», за «вредное направление», было объявлено первое предостережение; в январе 1900 г. последовало второе предостережение, а 22 декабря 1900 г. решением совещания четырех министров (внутренних дел, народного просвещения, юстиции и обер-прокурора святейшего синода) газета была закрыта. Оказавшись перед фактом денежного краха, Барятинский пытался застрелиться. В 1901 г. он вместе с женой открыл в Петербурге «Новый театр», который ставил Толстого, Чехова, Горького, а также пьесы самого Барятинского (см. Т. Л. Щепкина-Куперник. Театр в моей жизни. М.— Л., «Искусство», 1948, стр. 127—136 и 140—142). Умер в эмиграции.

[2] В апреле 1900 г. Барятинский задумал выпустить литературно-художественный сборник в пользу голодающих на юге России и обратился к ряду писателей с просьбой дать свои произведения для этого сборника (см., например, письмо Барятинского Чехову.— ГБЛ, ф. Чехова. 36. 27б. № 3). Сборник «Северного курьера» в свет не вышел.

[3] Рассказ «Хлеб-соль. Из дорожного альбома» Телешов передал затем в «Журнал для всех», где он и был опубликован (1901, № 1, стлб. 45—54). Горький в письме к Телешову 21 сентября 1902 г. хвалил этот рассказ (Горький, т. 28, стр. 269).

[4] Чехов был в Москве с 8 по 17 мая 1900 г. Из фотографий, сделанных в Ялте 16 апреля 1900 г. д-ром Л. В. Срединым, известны следующие: Горький, Мамин-Сибиряк, Телешов, Бунин; Горький; Бунин, Горький, Телешов; Телешов, Бунин, Горький.

[5] Летом 1900 г. Горький начал писать пьесу «Мещане», но не закончив ее, уничтожил написанное осенью того же года (Б. В. Михайловский. Драматургия М. Горького эпохи первой русской революции. Изд. 2, дополненное. М., «Искусство», 1955, стр. 19—20).

[6] Сергей Глаголь. На юге. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию. М., изд-во Кнебель, 1900.

[7] Н. А. *Тан* (псевдоним Владимира Германовича Богораза; 1865—1936) — ученый-этнограф и писатель. За принадлежность к партии «Народная воля» был арестован в 1886 г. и после трехлетнего заключения сослан на 10 лет в Якутскую область. Там он начал писать. По возвращении из ссылки выпустил две книги: «Чукотские рассказы» (Пб., 1900) и «Стихотворения» (Пб., 1900). Обе книги были встречены с большим интересом и вызвали в первой половине 1900 г. много откликов в печати. Большое внимание критики привлекла в это время и книга участника «Среды» Николая Ивановича *Тимковского* (1863—1922) «Повести и рассказы» (СПб., 1900).

49. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

14 июня 1900 г. Огневка
Почт. станция Лукьяново, Тульской губ.,
Ефремовск. уезда

Милый Митрич!

Пишу спешно на вокзале. Провожаю Юлия в Москву дней на 10. Шлю кое-кому стихов.

Дома живу еще лучше твоего! Пишу, почитываю, ем, сплю, играю с девками, которые приходят на поденщину, и т. д. Чуть куда поеду, отвлекусь от дела — нехорошо на душе. Здорово меня подсадила Анна Николаевна!

Твоему письму был очень рад и очень расположился к тебе, читая его. Пожалуйста, голубчик, не забывай! Напиши посерьезнее, как себя чувствуешь и, пожалуйста, сообщи о рассказе: что это за «Хлеб-соль»? Сообщи также *поскорее*, что это за сборник кн. Барятинского? Кто участвует, когда выйдет и т. д.— поподробнее. Хочу туда послать [1]. Только куда посылать и в каком стиле? Отпиши. Не слыхал ли также о большом сборнике, куда я получил приглашение через Горького. Там участвуют что называется «все». Идейный сборник. С Горьким не переписываюсь — это еще в Ялте [2]. Увидишь Чехова — спроси да поклонись ему от меня и скажи, что очень прошу извинения, что уехал не простившись. Про драму Горького слышал еще от него. Неужели он уже написал? Это «м⟨...⟩а, а не работа», как говорит у нас Кобыляй,— мужик такой есть, кобыле задул. А все-таки, правда, молодец! Вот ты удивишься, если я шарахну драмой! А хочется, подумываю иногда [3].

О «Журнале для всех» уж не знаю, почему толковали. И совсем, говорят, можно не ехать в Петербург, а перевести в Москву. О Туркестане очень подумаю — это дьявольски соблазнительно.

Куда двинусь отсюда — еще не совсем решил. Буду скоро опять писать тебе. Последи, нет ли рецензии о моих «Стихах и рассказах» [4]. В какую гору пошел Тимковский? Что пишут? Что слышно о воцарении Иванова в «Русской мысли»?[5] Где Тихомировы и т. д.?

Крепко целую тебя. Поклон Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

На конверте: Московско-Казанская ж.д. Ст. Малаховка. Дача Смит, № 6. Его в-дию Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Лукьяновка, Тульск. г., 14.VI. 1900; Почтовый вагон, 14.VI. 1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 4—5 об. Ответ на п. 48.

[1] *Послал ли Бунин что-нибудь для «голодного» сборника*, задуманного Барятинским, остается неустановленным.

[2] Сведений об этом сборнике не сохранилось.

[3] Желание написать драму возникло у Бунина, вероятно, в результате его общения с актерами Художественного театра, а также с Чеховым и Горьким. Замысел этот не был осуществлен (см. также настоящ. кн., стр. 374—375).

[4] Книга Бунина «Стихи и рассказы» (М., изд. журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок», 1900) вышла в свет весной (ц.р. 29 марта 1900 г.).

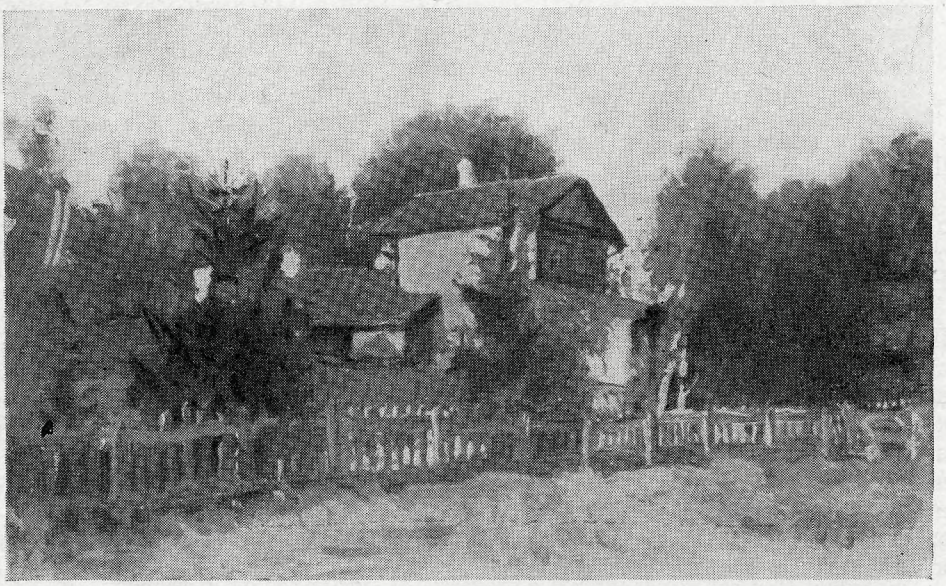
[5] Иван Иванович *Иванов* (1862—1929) — историк литературы и критик, сотрудник ряда журналов, в том числе «Русской мысли», где он с 1900 г. занял положение ведущего критика.

50. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Малаховка⟩ 1900, июня 21

Дорогой Иван Алексеевич.

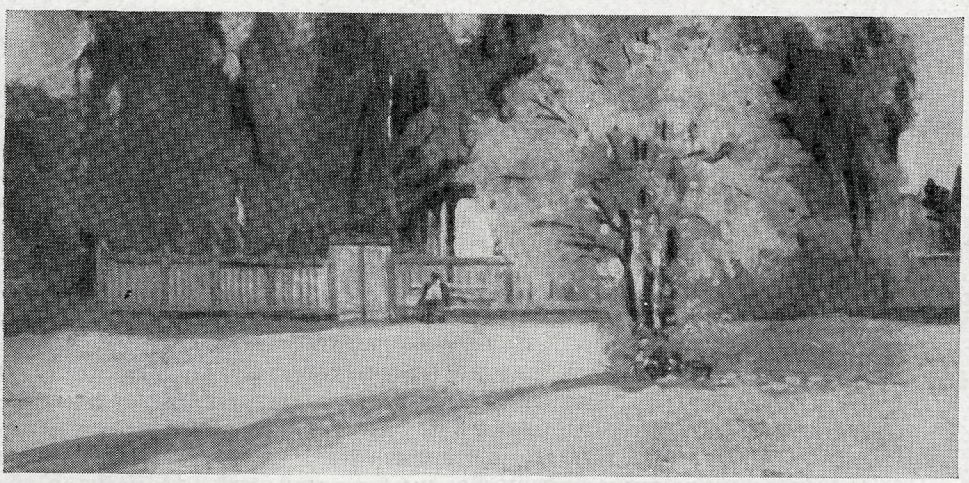
Очень рад был получить твое письмо. Только я не понимаю, *где* ты? Помнится, ты называл Орловскую губ., а теперь сидишь в Тульской. Это где? у кого?[1]



ДАЧА ТЕЛЕШОВА В МАЛАХОВКЕ

Этюд Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва



В МАЛАХОВКЕ
Этюд Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

О сборнике Барятинского ничего тебе не могу сказать. Сам ничего не знаю. Были здесь оба супруга и пожелали меня видеть. Вызвала меня к себе Щепкина-Куперник; у нее я и дал слово прислать. И послал. А что будет, не знаю. Сам Барятинский мне понравился. Он просил меня писать и в «Северный курьер» и начал высылать мне газету, которую получаю до сего дня. Зовут его Владимир Владимирович (князь). СПб., Лиговка, 65. Это квартира. А редакция — Б. Морская, 5 [2].

Мне кажется, ты сделаешь неглупо, если пошлешь ему в сборник или в газету хотя бы стишок.

Купил себе новое издание Горького и читаю. Молодец он, собака! Хорошо пишет [3].

Тимковский полез в гору. Это приятно. Меня радуют чужие успехи; на душе как-то веселее [4].

Ну, а сам я должен бросить писать. Это теперь ясно как божий день. Изменить условий жизни я не могу, а при этих условиях хоть 100 лет живи, ничего не напишешь. Особенно летом: приехал, выкупался, пообедал, минут 40 прогулялся в аллею к пруду, а вернулся — и уж в сон клонит, руки опускаются, выпил чайку — совсем раскис и спать пошел, а утром встал — и уехал, чтобы опять вечером было то же самое. Когда тут писать? Тут даже обдумать ничего нельзя. Да и в голову не лезет ничего. Пропадаю, брат!

На стихи-то ты не очень налегай. Не в моде они нынче. Пиши что попроще, да пиши так, чтобы читателя в морду било — вот и успех пойдет. Видишь, теперь читателю есть нечего, жить тесно, душа у него в тисках,— до тонкостей ли ему теперь? Бей в морду, чтобы очувствовался. Тогда и поймет, потому что его, бедного, и жизнь в морду бьет, и обстоятельства в морду бьют,— он и осатанел и не чувствует больше тонкостей *.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 43—44 об. Ответ на п. 49.

[1] Ответ на эти вопросы Бунин дал в п. 51.
[2] См. примеч. 1 к п. 48.
[3] М. Горький. Очерки и рассказы, т. I—III. Изд. второе. Пб., С. Дороватовский и А. Чарушников, 1899.
[4] См. примеч. 7 к п. 48.

* *Конец письма утрачен.*

51. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Ефремов, 16 июля 1900

Дорогой Николай Дмитриевич. Как видишь, сижу в Ефремове. А был я, как и говорил тебе, у своих, в именье, в Орловской губернии. А Тульская губерния от имения в 300 саженях, где и находится Лукьяново. Теперь уразумел?

Новостей, конечно, никаких. Насчет битья читателя в морду... Видишь ли, для этого надо иметь настроение. Горький же, между нами, по-моему, отчасти прикидывается таким грубым, ломается и удивляюсь, как этого не понимают многие. Хотел я и в деревне Огневке распространить его славу, но брат Евгений не поддался. Он находит его талантливым, но отвратительным, на $^3/_4$ не жизненным и преувеличивающим все до плоскости. А мода... Черт бы ее побрал эту моду! Я не портной чтобы прилаживаться к сезонам, да ведь и ты не станешь. Хотя, конечно, тяжко, когда ты увлекаешься, положим, шекспировскими изящными костюмами, а все ходят в широчайших и пошлейших портках и глумятся над тобою. Как ни кинь, все тяжко одиночество — во всех родах. Вот и надо писать об этом. А своим опусканием рук ты опять меня и огорчил и... черт его знает, не понимаю я тебя, хоть что хочешь!

Верно, через несколько дней буду опять у своих, а затем или в Одессу, или в Липецк, или в Москву [1]. Напиши мне пока в Лукьяново, Тульской губернии, Ефремовского уезда.

Кое-что строчил по прозе, но не кончал. Как твои все? Напиши же.

Ив. Бунин

Непременно прочти в «Жизни» Чирикова «Именинницу» [2].

На конверте: Ст. Малаховка, Московско-Казанской ж.д. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон, 18.VII.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед хр. 24, л. 6—7. Ответ на п. 50.

[1] Выехав из Огневки в Москву после 8 августа, Бунин пробыл там до 6 сентября «Материалы», стр. 80).

[2] Рассказ Е. Н. Чирикова «Именинница» был напечатан в журн. «Жизнь», 1900, т. VI, июнь, стр. 305—353. Отзыв Телешова об этом рассказе см. в п. 52 и 54. Высоко оценил «Именинницу» и Горький; в середине июля 1900 г. он писал Чирикову: «...а „Именинница“ — прелесть! Ей-богу! Чудесная вещь!» («Архив А. М. Горького», т. VII. М., 1959, стр. 16).

52. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Июля 21, 1900. Москва

Дорогой Иван Алексеевич!

Вчера получил твое письмо на даче. Чего ты злишься? Горький, как ни толкуй, все-таки хорош. Хотя я и начал читать по твоему велению Чирикова «Именинницу», но Чирикову до Горького далеко.

Недавно была у меня племянница Поссе, г-жа Струве. Она хочет поступить в Ярославль на фабрику в учительницы и просила меня посодействовать. Александр Андреевич [1] еще не вернулся из-за границы, и я пока не могу ничего сделать. Да вряд ли и потом что-либо сделаю. Хотя попрошу и поговорю. Она же мне (Струве) объяснила, что Поссе уехал и, вероятно, ушел вовсе из «Жизни». На его место выписали Чирикова — вот тебе сюрприз! [2]

Вообще что-то везде неладно... Сам черт не поймет, где и кто кого дерет...

В конце июня были у меня в трактире за завтраком Юлий Алексеевич и Белоусов. Сказали, что после 1-го приедут ко мне на дачу. Но вот уже скоро снова 1-е (только уже августа), а об них ни слуха.

Вообще я живу, как сыч,— один все лето. Только и видишь иногда людей в трактире за завтраком.

Сегодня похороны Джаншиева. Заехал утром в церковь, подождал, когда его привезли, поклонился и уехал. Никого из литераторов не видал, ни одного черта, с позволения сказать. Может быть, подъехали после, не знаю [3].

Сегодня же с нашего вокзала уходил в Китай воинский поезд. Был свидетелем удивительного момента. Музыка, ура, прощание, слезы, слезы, подъем духа и — на душе скверно [4].

Скоро осень. Переезжаю на новую квартиру, тут же у Терехова, только подъезд рядом. Бельэтаж, № 3.

Будь здоров!

Желал бы видеть тебя в Москве.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 46—47 об. Ответ на п. 51.

[1] Александр Андреевич *Карзинкин* (186?—1932) — брат Е. А. Телешовой, один из совладельцев (и позднее директор) торгово-промышленного т-ва Ярославской Большой мануфактуры. Был членом Художественного совета Третьяковской галереи, членом Московского нумизматического общества и др.

[2] На запрос Бунина об уходе Поссе из «Жизни» Горький отвечал ему в середине августа 1900 г.: «Да разве я вам не писал, что слух об уходе Поссе — сочинение его врагов, что он на днях должен возвратиться из Лондона в Питер, что у него очень бодрое настроение и он крепко хочет создать из „Жизни" самый интересный журнал?» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 14).

[3] Григорий Аветович *Джаншиев* (1851—1900) — публицист, автор работ о реформах 1860-х годов, многолетний сотрудник и член редакции «Русских ведомостей». Печатался также в журналах: «Русская мысль», «Русское богатство», «Вестник Европы» и др. Умер Джаншиев 17 июля 1900 г., похороны состоялись 21 июля. Среди выступавших с речами на кладбище были литераторы: Д. Н. Анучин (от «Русских ведомостей») и Я. А. Фейгин (от «Курьера»). Отчет о смерти и похоронах Джаншиева см. «Русские ведомости», 1900, № 198 и 202, 18 и 22 июля.

[4] В июне 1900 г. в Китае усилилось движение против закабаления страны империалистическими державами. В ответ на блокаду повстанцами европейского квартала в Пекине началась интервенция, в которой, вместе с Англией, Германией, США, Японией, Францией, Австро-Венгрией и Италией, участвовала и царская Россия. В августе того же года, после занятия иноземными войсками Пекина, война начала затухать.

53. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Лукьяново, 28 июля 1900 г.⟩

Милый Митрич!

Ты меня не понял,— я не на Горького злился, главным образом, а на критику и публику и уж, конечно, не за себя. Да тебя, впрочем, не разубедишь. Насчет Поссе ты меня сильно огорчил, и Джаншиева тоже жаль. Правда ли относительно Поссе? Узнай, пожалуйста, где-нибудь и напиши. Напиши мне, пожалуйста, и еще вот что: 1-го августа возьми утром «Русские ведомости» и посмотри объявления о журналах — «Мире божьем» и «Детском чтении»: *есть ли там мои стихи и что именно* [1] — и *тотчас же*, в тот же день напиши мне, а то я опоздаю к сентябрьским книгам.

В жизни моей пока никаких перемен. Читаю и пишу стихи. Пробуду здесь еще очень немного. Пожалуйста, напиши о чем прошу и о себе. Твоим поклон.

Твой Ив. Бунин

Почтовая станция Лукьяново
Тульской губернии, Ефремовского уезда

От Горького получил письмо из Полтавской губернии: пишут вместе с женой — зовут к себе. Может быть, проеду. Горький пишет: «дядя Бунин, приезжайте-ка сюда. Здесь хорошо, очень *хорошо*. 24 часа в сутки светит луна!..» и т. д. [2]

На конверте: Ст. Малаховка, Московско-Казанской ж. д. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Лукьяновка, Тульской г., 28.VII.1900; Почтовый вагон, 28.VII.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 8—8 об. Ответ на п. 52. Дата определена по почтовому штемпелю.

[1] В журн. «Мир божий», 1900, № 8, стр. 25—27, был напечатан цикл стихов Бунина «Из путевого альбома»: «Учан-Су» (т. 1, стр. 134), «По вечерней заре» (т. 1, стр. 132), «Утро» («Рассвет», т. 1, стр. 133), «В лесах над Десною» («Вдали еще гремит...», т. 1, стр. 130—131), «В море» («Отчего ты печально, вечернее небо...», т. 1, стр. 105). В № 8 «Детского чтения», стр. 173—174, под общим заглавием «Дóма» было напечатано два стихотворения Бунина: «Урожай» и «Отдых».

[2] Письмо из Мануйловки 5 июля 1900 г. («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 13).

54. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ авг⟨уста⟩ 2, 1900

Дорогой Иван Алексеевич.

Вчера была публикация «Мира божия», которую прилагаю. Есть твое. Публикации «Детского чтения» до сих пор нет.

Черт знает — к похоронной веренице присоединились еще двое: Левитан и Вл. Соловьев — что же это? Это уже почти касается нас. Несколько лет еще и мы на очереди.

Относительно Поссе, кажется, верно. Месяц назад мне говорила про это племянница Поссе, а вчера это же слышал в «Курьере». Говорят: в «Жизни» разлад [1]. Кто-то уходит, кто-то приходит... Нехорошо!

«Именинница» Чирикова хороша. Да, хороша. Прочитал и сказал тебе спасибо, что рекомендовал [2]. Хорошо написано.

Вчера был у меня Голоушев. Он носится все с изданием нашего сборника. Магазин «Труд» мог бы издать нас [3].

Неплохо?

Потом он много и подробно говорил о Филиппове, будущем издателе «Русского обозрения», который зовет его к себе и всех нас. Многое очень интересно. Редакционные собрания состоят из сотрудников и т. д. Но я решительно отказываюсь. Кажется, и Голоушев тоже [4].

Меня все забыли на даче и разлюбили. Никто не едет. Только вчера Голоушев — единственный — приехал.

Пиши мне.

Твой Н. Т.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 48—49. Ответ на п. 53.

[1] См. примеч. 2 к п. 52. Слухи о «разладе» в редакции «Жизни» имели, вероятно, под собой некоторое основание — о них Горький писал В. В. Вересаеву 12 или 13 сентября 1900 г. (Горький, т. 28, стр. 129).

[2] См. п. 51 и примеч. 2 к нему.

[3] Это — первое ясное упоминание о замысле литературного сборника из произведений членов «Среды». Сборник был выпущен в 1902 г. торговым домом С. Курнин и комп., под названием «Книга рассказов и стихотворений» (см. в письмах 1901—1902 гг.).

[4] Издававшийся в Москве с 1890 г. журнал «Русское обозрение» прекратился в 1898 г. Летом 1900 г. право на его издание перешло к И. Д. Сытину, а редактором его стал Алексей Фролович *Филиппов* (1868—?). Будучи до этого сотрудником «Московских ведомостей», он тем не менее пытался, ради успеха журнала, привлечь к нему свежие литературные силы. В кругу членов «Среды» возник план оказать А. Ф. Филиппову денежную поддержку, приобрести этим возможность влиять на направление журнала и постепенно превратить его в демократический орган. Очень скоро, однако, «Среда отказалась от этого плана (см. «Лит. наследство», т. 72, стр. 86). Этот же проек использования «Средой» «Русского обозрения» обсуждался в ноябре 1903 г. (см. п. 125)

55. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Ефремов, 6 авг⟨уста⟩ 1900 г.

Милый Митрич!

Спасибо за присылку публикации и типун тебе на язык за карканье! Очередь, о которой ты говоришь, мне совсем не нравится. Я уже привыкать стал к земле и, кроме того, сильно хочется работать. Вчера, получив твое письмо, внезапно почувствовал к тебе прилив нежности и, ей-богу, прямо-таки от всего сердца хотелось крикнуть тебе: работай! Поверь мне,— меня прямо-таки огорчает твое молчание, мне просто нет никакой корысти. И особенно сильно чувствую это теперь, когда сам живу порядочной жизнью — вдумчивой, артистической. «Русским обозрением» ты меня сильно взманил, но увы! Филиппов! А как бы хорошо иметь близкий, родной журнал! Вот и «Жизнь» погибает,— единственный живой во многих отношениях журнал. Черт его знает где теперь писать — особенно стихи. Там было приятно уже по тому одному, что Поссе все-таки понимал кое-что. Кстати про стихи. Стихов у меня много и все великолепные, но «не управятся печатать» журналы. Мог бы дать кое-что и в газеты. Спроси-ка, пожалуйста, в «Курьере», сколько они могут платить за строку. В журналах — толстых — я получаю 40—50 к., меньше не могу взять и с «Курьера». Могут ли они платить это? Да, пожалуйста, подумай о сборнике. Непременно надо издать. Не давай спать Голоушеву, пусть он сойдется с «⟨нрзб⟩» и в сентябре двинем! А то ведь этак закиснуть можно.

Скоро буду в Москве. На днях думаю на минутку в Одессу [1]. Пиши пока на *Лукьяново*,— перешлют, если уеду. Кланяйся своим. От души тебя целую.

Твой Ив. Бунин

Лукьяново, Тульской губернии,
Ефремовского уезда

На конверте с бланком «Вестника воспитания» адрес: Ст. Малаховка, Московско-Казанской ж. д. Дача Смит. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: 8.VIII. 1900; Почтовый вагон, 8.VIII.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 9—10. Ответ на п. 54.

[1] В Одессу Бунин в это время не поехал.

56. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

1900, авг⟨уста⟩ 10. Москва

Милый Иван Алексеевич.

Про «Детское чтение» ни черта не знаю [1]. Публикации не было. А в «Журнале для всех» есть твое восьмистишие [2]. По поводу «Курьера» думаю, что 40 к. не дадут, хотя еще не спрашивал. Вчера был в «Русской мысли» по просьбе Федорова. Мне сказал Гольцев, что про стихи его он ничего не знает и не удивляется, что редакция не отвечает. Благодаря «наводнению» стихами, редакция окончательно отказывается вступать в переписку.

Видишь — что такое стали стихи? Это же будет и с рассказами и повестями вскоре. Вероятно, «плиточный промысел» интереснее для общества, черт бы их побрал — и того и другого! Хочется даже присовокупить матерное словечко!

Будущий редактор «Русского обозрения» — от всех слышу одно и то же — сволочь во всех отношениях, так что невозможно связываться [3].

Голоушева настрою на сборник, но если не дадут Чехов и Горький, нельзя начинать. Расшатай этих именитых. А уж мы постараемся.

Напиши, когда едешь в Москву.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 50—51. Ответ на п. 55.

[1] См. п. 53 и примеч. 1 к нему.
[2] В «Журнале для всех», 1900, № 8, август, было напечатано стихотворение Бунина «Ночь печальна, как мечты мои...» (т. 1, стр. 132).
[3] См. примеч. 4 к п. 54.

57. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 3 сентября 1900 г.⟩

Милый друг, был у тебя и не знаю теперь, как мы увидимся. Говорят, ты вернешься часов в 5, значит, может быть, успеешь повидаться со мной сегодня же. Я буду ждать тебя часов до 9-ти вечера [1]. А то я завтра, должно быть, уеду в Петербург [2]. Остановился я в Большом Московском, № 67 (подъезд около Тестова). Жду.

Твой Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 11. Датируется по тексту и по связи с п. 58, где Бунин писал, что вышел после болезни только в воскресенье, то есть 3 сентября.

[1] Эта встреча не состоялась.
[2] Бунин уехал в Петербург вечером 4 сентября и пробыл там до 21 сентября.

58. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Петербург, 5 сент⟨ября⟩ 1900 г.

Дорогой друг! Чрезвычайно жалею, что все сложилось так нелепо, что мы с тобой не видались даже. Как ты знаешь,— я в Москве захворал. Писал тебе, просил навестить — ни звука. Затем в воскресенье я получил некоторую возможность выходить, но ведь было воскресенье, тебя, конечно, в конторе не было. А в понедельник 4-го * меня вызвали в Большой Московский Поссе и Горький. Он очень хотел повидать тебя. В понедельник же я и уехал сюда. Так что не сердись на меня,— до свидания в Москве. Вернусь к 20-му сентября. В Москве я продал книгу стихов «Скорпиону» [1] и поэму «Листопад» Поссе по 50 к. за строку [2]. А ты уж обрек меня на гибель по внушению «Русской мысли»! [3] Здесь я пока на Пушкинской улице, д. № 5, кв. 27 (лучше писать на «Жизнь» — Знаменская, 20). Живу с Федоровым, который отравил мне жизнь нехорошим отношением и разговорами...

Крепко обнимаю тебя, поклон Елене Андреевне. Что твой мальчик?

Ив. Бунин

Не знаю адреса. Посылаю через И. А. Белоусова [4].

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 12—12 об.

[1] О продаже Буниным сборника стихотворений издательству «Скорпион» см. в настоящ. кн. «Переписку Бунина с В. Я. Брюсовым».
[2] Поэма «Листопад» была напечатана в журн. «Жизнь», 1900, т. X, октябрь. Поездка в Петербург была связана, очевидно, с необходимостью срочно читать на месте корректуры поэмы.
[3] Бунин был в это время раздражен тем, что «Русская мысль» «вообще пренебрежительно относится к стихам» (см. п. 56) и, вероятно, в еще большей степени ее отказом от поэмы «Листопад»; в начале августа (1 или 8) Бунин писал Белоусову: «Обращаюсь к тебе с большой просьбой: как можно скорей устрой мне поэму „Листопад“, которую передаст тебе Юлий, в „Русскую мысль“. Я прилагаю письмо к Лаврову. Пожалуйста, *тотчас же* отправься в „Русскую мысль“ и попроси как можно скорее прочитать и сказать, когда и почем будет помещено. ⟨...⟩ Убедительно прошу, постарайся поэнергичнее решить так или иначе дело скоро, а то я опоздаю в другой журнал» (ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 86—86 об.).

* *В подлиннике описка*: 5-го.

[4] Настоящее письмо было отослано через Белоусова, которому Бунин в тот же день, 5 сентября, сообщал о продаже поэмы «Листопад» для октябрьской книжки «Жизни» и добавлял при этом: «Да еще просьба: не знаю адреса Н. Д. Телешова: Гостиный двор, Старые ряды? — Решительно не знаю, как называется. Посему влагаю в твое письмо — письмо к нему: надпиши адрес и пошли, сделай милость» (там же, л. 25—25 об.).

59. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Петербург. Николаевский вокзал.
⟨21 сентября 1900 г.⟩

Еду в Москву, очень хочу тебя видеть. Извести на адрес Юлия, когда увидимся. Пробуду в Москве очень недолго[1]. Поклон твоим, тебе поцелуй.

И. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Петербург, 21.IX. 1900; Москва, 22.IX.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 13. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Бунин пробыл в Москве 10—12 дней. В первых числах октября он выехал в Одессу («Материалы», стр. 80).

60 БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 10 октября 1900 г.⟩

Дорогой! Задержался в Одессе, выезжаем завтра, пиши в Париж[1]. Был у Цакни, видел своего мальчика, милого, хорошенького. Аню не видал. С Цакни крупно поговорил и сказал, что требую развода с ее стороны,— теперь, говорю, есть какие-то лазейки. Говорит — хорошо, начну переговоры с адвокатами. Непременно, говорю, надо. Словом, решительно все порвано. Новостей больше нет. Целую тебя и кланяюсь твоим.

Ив. Бунин

10 окт.

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 10.X.1900; Москва, 13.X.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 14. Закрытое письмо — «секретка». Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Бунин выехал за границу 11 октября 1900 г. вместе с художником В. П. Куровским, хранителем Одесского художественного музея. Маршрут их путешествия включал: Варшаву, Берлин, Париж, Швейцарию, Мюнхен, Вену, Дрезден. Возвратился Бунин 17 ноября в Петербург («Материалы», стр. 68 и 81)

61. БУНИН — Е. А. и Н. Д. ТЕЛЕШОВЫМ

⟨Варшава, 12 октября 1900 г.⟩

Дорогие! Я в Варшаве, где вполне великолепно. Напишите мне в Париж, до востребования.

Ив. Бунин

12 окт. 1900 г.

На обороте: Москва, Чистые пруды, д. Терехова. Е. А. и Н. Д. Телешовым. Почт. шт.: Варшава, 12.X.1900; Москва, 15.X.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 15. Открытка. На лицевой стороне фотография с подписью: «Kielce: Klasztor na Karczówce. Klisza z „Kraju w obrazach“, zmniejszona 12 razy» *.

* «Кельцы: Карчувицкий монастырь. Клише из „Страны в картинах“, уменьшено в 12 раз» (*польск.*).

62. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Интерлакен, 17 ноября по н. ст.
⟨5 ноября ст. ст.⟩ 1900

Видел Альпы, был в Мюррене, в царстве Юнгфрау. Крепко целую тебя. Поклон жене. Напиши в Вену, до востребования.

Ив. Бунин

На обороте: Russie. Moscou. Россия, Москва, Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Interlaken, 17.XI.00; Москва, 7.XI.1900.

ГБЛ. ЛМ XXIII/I А—2. Открытка с фотографией альпийского пейзажа и с подписью: «Gruss von Harder» *.

Свое путешествие по Швейцарии Бунин подробно описал брату Юлию в письме 6—7/18—19 ноября 1900 г. («Новый мир», 1956, № 10, стр. 207—209; см. также письмо к Брюсову 6/18 ноября 1900 г.— настоящ. кн., стр. 451).

63. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Мюнхен, около 11/23 ноября 1900 г.⟩

Что ты, брат, ни слова мне не на⟨пише⟩шь? Мне простительно — я но⟨шусь⟩, как перекати-поле. Приеду — все расскажу. А ты? Теперь уже не чаю получить от тебя ничего, хотя, помнится, просил тебя написать на Вену. Теперь я в Мюнхене. Завтра в Вену [1], Дрезден и —в Россию. Числа 17—18—19 думаю быть в Петербурге, а 22—25 — в Москве. Пиши в Петербург на «Жизнь». Поклон жене.

На обороте: Russland. Россия. Moskau. Москва. Чистые пруды, д. Терехова. ЕВ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Mün⟨chen...⟩; Москва, 14.XI.1900.

ИМЛИ, ф. 73, оп. 3, ед. хр. 24, л. 16. Открытка. Угол с маркой и мюнхенским почтовым штемпелем вырезан, вырезанной оказалась и часть текста, восстанавливаемая по смыслу. Дата определена приблизительно по московскому штемпелю и по тексту.

[1] Бунин выехал из Мюнхена в Вену 12/24 ноября («Материалы», стр. 81).

64 БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Прага, 13⟨/25⟩ ноября 1900

Ужинаю и пью настоящую «житни́вку» ** в настоящей Праге! Поклон!

И. Б.

На обороте: Russland. Moskau. Россия. Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Москва, 17.XI.1900 ⟨*пражский штемпель был на марке, которая не сохранилась*⟩.

ГБЛ. ЛМ XXIII/I А—2. Открытка с фотографией Праги и подписью: «Pozdrav z Prahy».

65. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 17 ноября 1900

Милый Иван Алексеевич.

Писал тебе в Париж, писал в Вену [1], но ты, очевидно, не заходил на почту.

Летом писал тебе в Питер на «Жизнь»,— возьми там это письмо, пожалуйста [2].

---

* «Привет из Хардера» (*нем.*).
** хлебная водка (*чешск.*).

ЧЛЕНЫ «СРЕДЫ»

Фотография. Москва, 1913

Слева направо — сидят: Ю. А. Бунин, И. А. Бунин, Н. Д. Телешов, А. Е. Грузинский; стоят: С. С. Голоушев, Б. К. Зайцев, С. Д. Махалов, И. А. Белоусов, Л. Н. Андреев

Литературный музей, Москва

Я захворал. Еще не знаю, что со мною, потому что сегодня первый день болезни. Может быть, ерунда какая-нибудь и завтра поправлюсь, а может быть, и не ерунда.

Сегодня напечатано в «Курьере» мое письмо по поводу разговора Горького с публикой. Это преинтересная история, но ее, конечно, раздули, извратили и теперь Горького ругают все (понаслышке больше). Я и написал письмо, чтобы знали, черти, что не Горький был нетактичен, а сама публика была бестактна [3].

Если увидишь А. М. Федорова, то, будь добр, защити меня перед ним. При нашей встрече произошла нелепость, и я до сих пор без отвращения не могу об этом вспомнить. Скажи ему, чтобы он не сердился на меня. Пожалуйста, не забудь сказать ему об этом.

На днях меня очень порадовал некто Ланге: он прислал мне великолепно изданную книгу, напечатанную в Копенгагене на датском языке. Это перевод моего романа «Дети». Хотя ни слова не могу разобрать, но поглядеть на эту книгу — чрезвычайно приятно. Называется: «Børn». Очень любопытно [4].

Для «Жизни» пишу рассказ под названием «Иная душа». Думаю, выйдет недурно. В январе пошлю [5].

Не увидишь ли Миролюбова? Тогда возьми у него подписных книжек для меня. Присланные 93 квитанции я уже продал, и не хватает. А если есть корректура «Хлеба-соли» [6], то захвати, сделай милость.

«Цапля» моя идет в декабре «Детского чтения». Жена сделала очень хорошие рисунки к ней [7].

Кланяйся милому Владимиру Александровичу Поссе. Чрезвычайно симпатичный человек. Спроси у него точный адрес Горького. Мне нужно [8].

Жду в Москву.

Был бы рад увидеться с тобой, но боюсь, как бы к тому времени не пришлось принять «горизонтальное положение». Чувствую себя не очень хорошо.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 52—53 об.

[1] Письма эти не были, очевидно, получены Буниным.

[2] Это не дошедшее до нас письмо могло быть написано Телешовым после 5 сентября 1900 г.— см. п. 58, в котором Бунин просил писать ему на «Жизнь».

[3] Речь идет об инциденте, который произошел 28 октября 1900 г. в Художественном театре на спектакле «Чайка». Во время третьего антракта часть публики устроила овацию Горькому, на что он резко ответил, подчеркнув бестактность такого поведения по отношению к Чехову, также находившемуся в театре. Телешов был очевидцем инцидента и, когда в печати появились искаженные отклики на него, он направил в редакцию «Курьера» письмо, которое и было напечатано 17 ноября, в № 319. Телешов подробно рассказал об этом в «Записках писателя» (стр. 91—93; см. также письмо Горького в редакцию «Северного курьера» и его же письмо к Телешову 19 или 20 ноября 1900 г.— Горький, т. 28, стр. 140—141).

[4] Тор *Ланге* (Lange; 1851—1915) — датский поэт и переводчик, с середины 1870-х годов жил в Москве в качестве консула Дании. Перевел на датский язык «Слово о полку Игореве», русские народные песни. Своими переводами произведений русских писателей и критико-биографическими очерками о них много сделал для ознакомления Дании и других скандинавских стран с русской литературой. В МКТ хранится этот экземпляр книги: Børn. Miniaturroman af Nikolaj Teleschov fra rusisk ved Thor Lange. København, 1899. На титульном листе дарственная надпись: «Николаю Дмитриевичу Телешову, автору этой прекрасной книги, в знак уважения и признательности от переводчика. Dr. Тор Ланге».

[5] В 1901 г. в четырех книгах «Жизни», вышедших до закрытия журнала, этот рассказ не появлялся. Он был напечатан в книге: «Огни. Литературный альманах памяти В. Башкина». СПб., изд. «Нового журнала для всех», 1910.

[6] См. п. 48.

[7] См. п. 38 и примеч. 4 к нему.

[8] В это время Горький жил в Н. Новгороде, в доме Лемке по Канатной ул. (ныне ул. Короленко, д. 11). Телешов собирался, по-видимому, известить Горького о своем письме в «Курьере» или послать ему номер газеты с этим письмом.

66. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Петербург, 17 ноября 1900 г.⟩

Буду в Москве утром в понедельник 20-го или во вторник 21-го ноября.

Ив. Бунин

Птб. 17 ноября

На обороте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: С.-Петербург, 18 ноя. 1900; Москва, 19.XI.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 17. Открытка. Год определен по почтовому штемпелю.

Открытка написана в день возвращения Бунина из-за границы.

67. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 27 ноября 1900 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Что ты ко мне не заглянешь? Неужели нам с тобой нужно канителиться с приглашениями? Пошли все к черту.

Дело вот в чем: завтра во вторник у Алексеева в театре идут «Мертвые» [1]. Мы едем, и Голоушев и Софья Андреевна, так что Александр Ан-

дреевич откладывает свой *«вторник»* на эту *среду* 29-го и просит тебя с братом приехать. Он не знает твоего адреса и пишет мне, чтобы я сообщил.

Приезжай во вторник в театр [2]. Как-нибудь протискаешься через Немировича. А в среду приезжай с Юлием Алексеевичем к Карзинкину.

Твой Н. Телешов

27 ноября 1900

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 34—34 об.

[1] Драма Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», поставленная В. И. Немировичем-Данченко в Художественном театре (премьера — 28 ноября 1900 г.). Алексеев — К. С. Станиславский.

[2] Был ли Бунин 28 ноября на спектакле в Художественном театре, установить не удалось.

68. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 19 декабря 1900

Милый Иван Алексеевич!

Вчера вечером, когда было 22 градуса мороза, я получил письмо от Горького. Сегодня тоже 22° мороза, и я посылаю тебе приписку Горького, адресованную на твое имя.

Видишь, как я научился писать — сжато и содержательно: обрисовано два дня с погодой, с происшествиями, с поручениями и с исполнением!

Сборник Горького надо поддержать и дать непременно хоть что-нибудь. На тебя я надеюсь, а вот на себя — не очень. Но все-таки постараюсь пожать себя,— может быть и выжму [1].

Где ты? Неужели я опять пишу в «пространство»? Надеюсь, нет.

Послушай: сейчас был у меня секретарь «Народного блага», которому обещали участие Леонид Андреев, Сергей Терентьевич Семенов, С. Махалов и я. Он просил позволения поставить твое имя. Я взял на себя эту дерзость и — не брани — позволил, но с условием. Если не позволишь, то они снимут. Но отчего не позволить? Ведь печатают везде Чехова, Короленко, Горького. Пусть прославляют имя твое. Противно видеть себя в подлой компании, но если Андреев, Семенов, Белоусов, Махалов и я, то, авось, тебе не противно?

Извини за дерзость, но думаю, что я не обидел тебя. Впрочем, можно все еще и поправить, и если тебе не нравится это, я заявлю [2].

Скоро, брат, праздники. Суматоха везде чертовская.

Желаю тебе встретить радостно Новый Год и Новое Столетие. Будь здоров и умен. Жена тебе кланяется и тоже желает благ и счастья.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 35—36 об.

[1] Горький писал в этом письме Телешову: «Местное „Общество защиты женщин“ задумало издать литературный сборник. Пожалуйста, помогите! Дайте рассказик, прошу убедительно, горячо прошу. Еще прошу Чирикова, Андреева, Бунина, женщин-писательниц, Поссе, Соловьева и Безобразова ⟨...⟩ Передайте Ивану Алексеевичу мою убедительную просьбу помочь, чем может. На отдельном листочке и ему записочка приложена» (Горький, т. 28, стр. 144; письмо напечатано здесь с неточной редакторской датой: «14 или 15 декабря 1900 г.»). Приписка Горького, обращенная к Бунину, напечатана: «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 17. Сборник, о котором хлопотал Горький, в свет не вышел.

[2] О журн. «Народное благо» см. примеч. 4 к п. 20. В объявлении о подписке на 1901 г. было указано, что в журнале принимают участие Белоусов, Бунин, Гославский, Златовратский, Крашенинников, Махалов, Семенов, Телешов, Тимковский, Федоров, Чириков и др.

69. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Синельниково (проездом), 26 декабря 1900 г.⟩

Привет! Дивное утро — весна! Хочется закричать от радости. *Непременно* исполни мою просьбу: тотчас же напиши С. С. Голоушеву, что я ему кланяюсь, не умею написать его адрес и *требую* (!!) его книгу о Константинополе [1]: Ялта, дача Чехова на Аутке. Твоим поклон и Софье Андреевне.

Твой И. Б.

Синельниково, 26 дек. 1900

На обороте: Москва, Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон, 26.XII.1900; Москва, 28.XII.1900.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 18. Открытка.

[1] См. примеч. 6 к п. 48.

70. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Ялта, 28 декабря ⟨1900 г.⟩

Если ты не веришь, что я все-таки уехал в Крым — то доказательством будет почтовый штемпель. Напиши мне сюда тотчас же. Напиши о себе, Елене Андреевне и о Софье Андреевне. Изнемогаю от радости, так здесь хорошо! Целую тебя и люблю. Письмо получил. Адрес — Ялта, дача Чехова. Это письмо пишет Мария Павловна, которой я диктую.

Твой Ив. Бунин

На обороте: Москва, Чистые пруды, дом Терехова. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Ялта, Таврич. г., 29.XII.1900; Москва, 2.I.1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 24, л. 19. Открытка. Текст рукой М. П. Чеховой, подпись — Бунина. Год определен по почтовому штемпелю.

71. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Ялта, 24 января 1901 г.⟩

Дорогой и милый друг! Прости, что не пишу, много работаю, да и много дней проходит в странном состоянии каком-то. Боже мой, ты не можешь себе представить, что за дни стоят! По 25° тепла на солнце. Сейчас я на балконе гостиницы «Россия»— в одном пиджаке и то жарко. Море, небо полно невыразимой радости, а я один, дьявольски один, т. е. не в смысле знакомых, конечно... Пропадает моя молодость ни за что! — Я все еще у Чехова [1].

Кланяйся Елене Андреевне и Софье Андреевне. Где она? Пиши.

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Ялта, Таврич. г., 24.I.1901; Москва, 27.I.1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 1. Закрытое письмо — «секретка». Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Бунин оставался на даче Чехова и после 12 января, когда М. П. Чехова уехала в Москву. 13 февраля он собирался отправиться в Одессу, но из-за волнения моря остался в Ялте, поселившись в гостинице. 15 февраля в Ялту приехал Чехов, и Бунин, по его просьбе, отложил свой отъезд на неделю. В Одессу он выехал 22 февраля («Лит. наследство», т. 68, стр. 395—398; см. также п. 76).

72. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 2 февр⟨аля⟩ 901

Дорогой Иван Алексеевич.

Рад был получить от тебя весточку. Ждал тебя самого в Москву, оттого и не писал ничего. Вчера смотрел «Трех сестер» Чехова [1]. Вещь

интересная, великолепно разыгранная, безотрадная, мрачная. Черт знает! — такова жизнь вокруг! Чехов прав. Все мы потерялись, замучились, а чего ради? Так... Неизвестно почему и зачем. Трудно жить. Условия жизни противны и тягостны. Глупые люди торжествуют, портят жизнь другим.

Ну ладно. Пусть так.

А что твоя книжка? О ней не слышно ничего. Замерзла? [2] Что ты теперь пишешь? Драму, повести или стихи?

Я ничего не пишу.

Говорят, на масленицу приедут в Москву Поссе и Горький. Думаю, что «среда» моя выйдет хорошей [3]. Здесь живет Ярцев (художник) [4]. Он тоже хотел приехать в среду.

Эх, черт тебя побери! Заехал ты хоть и в хорошее место, да больно далеко.

А морем, небом и солнцем ты меня смущаешь, на грех наводишь.

Жена у меня тут все хворала. Зацепила бронхит и никак не сладит с ним. Вся мушками облепилась. Софья Андреевна все так же живет, ни шатко, ни валко.

Затем прощай. Желаю видеть тебя поскорее. Пришел бы, поерундили бы малость,— оно веселее!

«Трое» Горького хорошо написано [5], дай ему бог здоровья! И «Слепые» в «Журнале» тоже хороши [6]. Короленку еще не читал. Хвалят его. Должно быть, правда, хорошие рассказы [7].

Миролюбов в Италии, в Нерви. Пишет, что болен.

Все это неважно выходит, скверно даже и обидно.

Поклон тебе от жены.

Будь здоров!

Твой Н. Т.

Скажи, долго ли пробудешь в Ялте.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 1—2 об. Ответ на п. 71.

[1] Премьера спектакля «Три сестры» состоялась в Художественном театре 31 января 1901 г. Очевидно Телешов смотрел спектакль именно в этот день — во второй раз «Три сестры» были показаны 3 февраля.

[2] Вопрос относится к книге «Листопад». Она вышла в свет в первых числах февраля 1901 г. (см. объявление: «Русские ведомости», 1901, № 38, 7 февраля).

[3] Масленица в 1901 г. была с 4 по 11 февраля; 7 февраля была среда. На заседании «Среды» в этот день Горький не был — он выехал из Н. Новгорода 16 февраля и пробыл в Москве два дня; 19 февраля он был уже в Петербурге.

[4] Григорий Федорович *Ярцев* (1858—1918) — художник, ялтинский знакомый Чехова.

[5] Повесть Горького «Трое» начала публиковаться в журнале «Жизнь» с конца 1900 г. (№ 11 и 12). Продолжение повести печаталось там же в 1901 г., до закрытия журнала после выхода апрельской книжки.

[6] Рассказ Горького «Песня о слепых» был напечатан в «Журнале для всех», 1901, № 1.

[7] В январской книжке «Русского богатства» (1901, № 1, отд. I, стр. 125—156) появились рассказы Короленко «Мороз» и «Последний луч». Оба они входили в цикл «Сибирские рассказы».

73. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Ялта, 10 февраля 1901 г.⟩

Жив, здоров, целую тебя. Спасибо за письмо. Новостей нет. Много пишу. Письмо твое прелестно. Клянусь собакой — очень горько то, что ты не пишешь. Возьми у Юлия экземпляр «Листопада». Напиши рецензию о моей чудовищной изобразительности, поэтичности, изящности. Уезжаю в Одессу.

Жене и Карзинкиным поклон. И. Б

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова, Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Ялта, Таврич. г., 10.II.1901; Москва, 14.II.1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 2. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Рецензия на «Листопад» Телешовым не была написана.

74. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

22 февр⟨аля 1901 г.⟩
Черное море. Пароход «Батум»*

Плыву в Одессу. Задержал в Ялте приехавший Чехов [1]. Провел с ним неделю изумительно. Если бы ты знал, что это за человек. Скоро буду в Москву [2]. Соскучился о вас всех! Целую тебя, Елене Андреевне и Софье Андреевне с Александром Андреевичем — по поклону.

И. Б.

На обороте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 2.III.1901; Москва, 5.III.1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 3. Открытка. Год определен по почт. штемпелю.

[1] См. п. 71 и примеч. 1 к нему.
[2] В Москву Бунин приехал только в июне 1901 г. («Материалы», стр. 84).

75. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, 8 марта 1901 г.

Николай Дмитрич! Не стыдно ли тебе? А мне что писать? Много горя. Меня все уговаривают дать развод и говорят, что я тотчас же могу жениться — стоит подать прошение. Хожу через день к мальчику, к своему Коле, иначе хотел устроить скандал. Маленький даже устроил. И жаль уезжать от ребенка, и весна тут уже началась. Живу в свиданиях с приятелями и работаю. Проживу тут еще дней десять. Потом думаю в деревню, но на святой или после — на Фоминой — непременно буду в Москве [1]. Очень прошу тебя написать. Неужели, брат, ты совсем охладел ко мне? Крепко тебя целую. Жене — ручку. Пиши немедленно: Княжеская ул., дом Буковецкого [2].

Твой всей душой И. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 4—4 об. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] В апреле (Пасха в 1901 г. была 1 апреля) Бунин в Москве не был. В конце марта он получил от Чехова приглашение приехать в Ялту и пробыл там до 15 апреля («Лит. наследство», т. 68, стр. 399).
[2] Евгений Иосифович *Буковецкий* (1866—1948) — художник, одесский приятель Бунина. Портрет Бунина, написанный Буковецким, находится в ГМТ (см. его воспроизведение в настоящ. томе, кн. 2, стр. 479).

76. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 21 марта 1901 г.⟩

Однако ты — гусь! Сколько времени не писал — и вдруг два слова! Серьезно — уж не сердишься ли ты на меня? Пожалуйста, напиши как следует. Я остаюсь пока еще в Одессе. Затем дней через 10 думаю в Крым [1], а оттуда после святой в Москву. Жду письма сюда — Одесса, Софиевская, 5.

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, ⟨21?⟩.III. 1901; Москва, 24.III.1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 5. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовым штемпелям. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] См. п. 75 и примеч. 1 к нему.

---

* *Дата и место отправления вписаны вместо зачеркнутого*: 10 февраля 1901 г. Ялта, дача А. П. Чехова.

77. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Лукьяново[1], 30 апреля 1901 г.⟩

Грех тебе, Николай Дмитрич! Забыл ты меня. Спасибо хоть Елена Андреевна написала. Наконец — к черту это гнусное молчание. Буду тебе писать, но предварительно разразись мне длиннейшим письмом — очень хочу, пожалуйста. Жизнь мою, небось, знаешь от Юлия [2]. А ты? Пиши, пиши. Почтовая станция *Лукьяново*, Тульской губернии, Ефремовского уезда. Целую тебя, жене поклон.

Твой Ив. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Лукьяновка, Тульск. г., 30.IV.1901; Москва, 1. V. 1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 6. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Из Ялты Бунин вернулся в Одессу, где пробыл несколько дней. Около 24 апреля он выехал к родным в деревню («Материалы», стр. 83).

[2] Бунин подробно писал в это время брату Юлию о своей жизни, в частности, о намерении добиться развода от жены (см. п. 24 апреля 1901 г.— ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 109[а] —110).

78. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Лукьяново, 4 мая 1901 г.⟩

Митрич, Юлий мне пишет, во-первых, о том, что ты хочешь меня видеть у себя на даче. Низко кланяюсь и благодарю — верно, буду. Но когда? Во-вторых, о каком-то сборнике для юношества, издаваемом Курниным, в котором ты редактируешь. Что это за штука и какие условия Курнина? [1] Жду письма. Поклонись милой супруге, поцелуй Андрюшу. Адрес: Почтовая станция *Лукьяново*, Тульской губернии, Ефремовского уезда. Зовут меня Иваном Алексеевичем. Помнишь, бесстыдник? Крепко целую.

Ив. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон, 4.V.1901; Москва, 5.V.1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 7. Открытка. Дата отправления определена по почтовому штемпелю.

[1] Ответное письмо Телешова с подробным сообщением о сборнике, в котором должны были принять участие члены «Среды», не дошло до нас. В письме к Чехову 20 августа 1901 г. Телешов обстоятельно писал об этом сборнике:

«Уважаемый Антон Павлович. Предстоящей осенью наш небольшой кружок намерен издать сборник для юношества (без всякой благотворительной цели), где будут помещены рассказы не новые, то есть бывшие уже в печати. Впрочем, некоторые хотят дать новые.

Кружок по характеру своему товарищеский: Ив. и Юлий Бунины, Белоусов, Леонид Андреев, Гославский, Голоушев, Михеев, Тимковский... Может быть, пришлют Горький, Елпатьевский... Не знаю еще, как определится состав, но во всяком случае сборник не будет декадентским.

Конечно, всем нам было бы очень лестно и дорого иметь вас нашим соседом. Издатель наш С. В. Курнин, человек начинающий издательское дело, поручает нашему кружку составление сборника без права вмешиваться в наши дела, так что никакой помехи не предвидится.

Если вы ничего не имеете против нашего соседства и не пожалеете дать нам маленький рассказ, то мы с радостью начнем приводить в исполнение наше намерение. Временем подождать мы вполне располагаем и в случае вашего согласия торопить вас не будем» (ГБЛ, ф. 331, 60. 21).

Текст условия, заключенного с С. В. Курниным на издание «сборника рассказов для юношества», см. в письме Курнина к Телешову 7 ноября 1901 г. (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 459, л. 2).

Сборник вышел в свет в марте 1902 г. под названием: «Книга рассказов и стихотворений» (М., изд. книжного магазина Торгового дома С. Курнин и К°, 1902). В нем

участвовали: Леонид Андреев, И. А. Белоусов, И. А. Бунин, Сергей Глаголь, М. Горький, Е. П. Гославский, С. Я. Елпатьевский, Б. К. Зайцев, Н. Н. Златовратский, П. Ф. Кожевников, А. И. Куприн, Д. Н. Мамин-Сибиряк, С. Д. Махалов, Андрей Мирославич (Л. А. Хитрово), И. И. Митропольский, В. М. Михеев, С. Т. Семенов, Н. Д. Телешов, Н. И. Тимковский и А. М. Федоров. Чехов в сборнике участия не принял. Редакторами книги были Ю. А. Бунин и Н. Д. Телешов.

В начале июня 1901 г. Бунин писал Горькому: «Не знаю, где вы и что с вами — пишу наугад, чтобы присоединиться к просьбе Телешова относительно сборника для юношества: очень прошу — дайте что-нибудь» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 21).

79. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Почт. ст Лукьяново, Тульской губ.,
Ефремовск. уезда ⟨20 мая 1901 г.⟩

Дорогой друг, собираюсь к тебе числа 25—27 мая [1]. Куда и как ехать? Где эта Махаловка и т. д. Жду ответа. Крепко целую. Поклон жене. *Хоть слово о «Жизни»* — поскорее [2].

Твой Ив. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон, ⟨*дата нрзб*⟩; Москва, 21.V.1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 8. Открытка. Дата определена приблизительно по московскому почтовому штемпелю.

[1] Бунин выехал в Москву, вероятно, в самом конце мая. 28 мая он писал М. П. Чеховой еще из Ефремова: «Собираюсь в Москву ⟨...⟩ Друзья меня любят — поеду в Москву, заверну на дачу к Телешову...» («Хозяйка чеховского дома. Воспоминания, письма». Симферополь, изд-во «Крым», 1969, стр. 125). В начале июня он писал ей же: «Только что выздоравливаю. Приехал сюда (я в Бронницком уезде, Московской губ.) и потный искупался в озере. Пробуду здесь числа до семнадцатого...» (там же, стр. 126).

Телешовы жили в летние месяцы на даче в поселке Малаховка (в 29 км от Москвы, по Казанской ж. д.).

[2] Журнал «Жизнь» находился в это время под угрозой закрытия (см. примеч. 5 к п. 37).

80. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 18 июня 1901 г.⟩

Милый Митрич, забыл тебе сказать свой адрес: Почтовая станция *Лукьяново*, Тульской губернии, Ефремовского уезда.

Целую, кланяюсь твоим.

Ив. Бунин

На обороте: Городское. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Москва, 18.VI.1901.

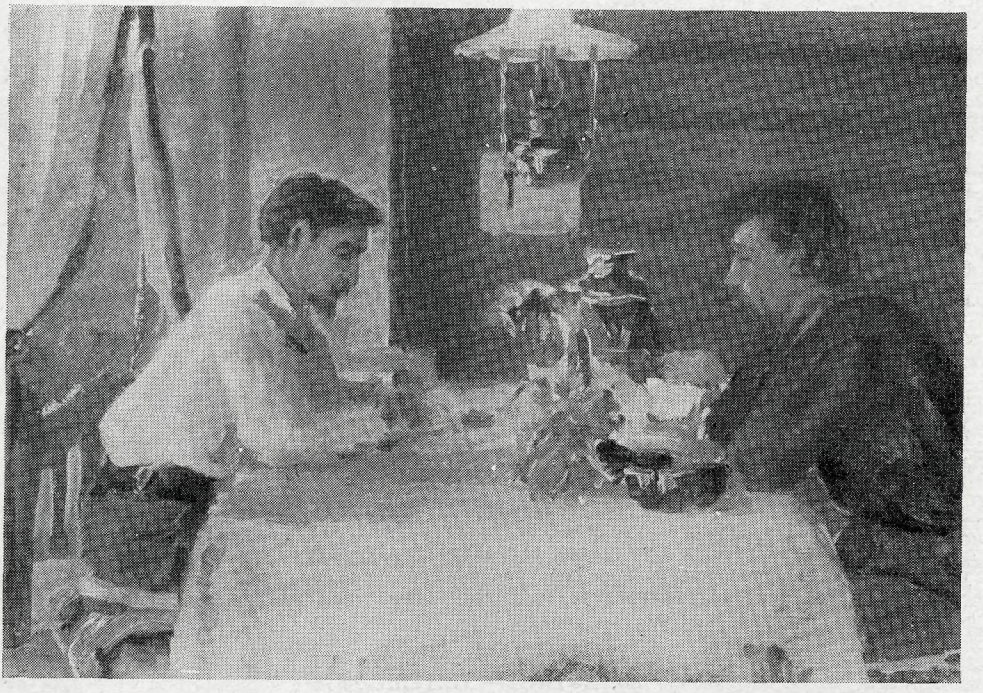
ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 9. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

В этот же день Бунин уехал из Малаховки и перед отъездом в Огневку послал из Москвы настоящую открытку. Одновременно он писал Миролюбову: «Возвратился брат из-за границы и сегодня мы уезжаем в деревню» («Литературный архив», т. V. М.— Л., 1960, стр. 136).

81. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

1 июля 1901 г.
Почтовая станция Лукьяново,
Тульской губ., Ефремовского уезда

Милый Митрич, почему ты замолчал? Как поживаешь? Написал ли рассказ в честь Дмитрия Ивановича и Елены Николаевны? [1] Что жена и сын? Что Горький? Он до сих пор меня не порадовал [2]. Чехов с женой пишут. «Завтра,— говорит Чехов,— уезжаю в Ялту, куда и прошу на-



БУНИН И ТЕЛЕШОВ НА ДАЧЕ В МАЛАХОВКЕ
Этюд Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы
Литературный музей, Москва

писать мне поздравление с законным браком. Вы ведь слышали, меня женили...» Затем зовет в Ялту и т. д. и в конце прибавляет: «Желаю вам-с всего хорошего-с. Будьте здоровы-с. Ваш А. Чехов, Аутский мещанин» [3]. Собираюсь ехать на Ледовитый океан [4]. Это уж я, а не Чехов. Изумлен? При встрече объясню. В Москве буду 15-го утром с курьерским [5] Пробуду дня четыре-пять. Жду писем и целую. Елене Андреевне — низкий поклон.

Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 10.

[1] 13 августа 1901 г. исполнялось 35 лет литературно-педагогической деятельности Д. И. Тихомирова, известного педагога, редактора журн. «Детское чтение»; Е. Н. Тихомирова — его жена, издательница «Детского чтения» (см. «Записки писателя», стр. 16 и след.). В изданном к юбилею Тихомирова литературно-художественном сборнике «На трудовом пути» (М., 1901) была помещена «миниатюра» Телешова «Лесная дорога». Бунин дал в сборник стихотворение «На острове» (т. 1, стр. 165).

[2] По-видимому, речь идет о неполучении от Горького ответа на просьбу прислать рассказ для «курнинского» сборника (см. п. 78).

[3] Бунин приводит письмо к нему Чехова, написанное 30 июня 1901 г. перед возвращением из Аксенова в Ялту (см. Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 184). Свадьба Чехова и О. Л. Книппер была 25 мая; после венчания они сразу уехали в Уфимскую губернию на кумыс.

[4] Эта поездка не состоялась.

[5] 3 июля 1901 г. Бунин писал о том же Белоусову: «15-го будем с Юлием в Москве» (ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 29).

82. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Малаховка, 27 июля 1901 г.⟩

Дорогие друзья мои! Уезжаю сегодня, так как сообразил, что завтра приеду в Москву не раньше $^1/_2$ одиннадцатого и не успею еще кое-что сделать и повидаться, поболтать с Юлием. Желаю вам от всей души всего лучшего и благодарю за радушие. Тебе, Митрич, оставляю стишок для «Народного блага» [1]. Заглавие выдумаю нынче-завтра и напишу тебе [2]. Скажи Курнину, что пора печатать. Крепко целую тебя, а Елене Андреевне — ручки.

Ваш Ив. Бунин

Фета передаст Вам Юлий [3].

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 26, л. 1. Прощальная записка, оставленная Буниным, уезжавшим рано утром из Малаховки. Датируется по связи с письмом к брату Юлию 28 июля 1901 г., посланным с дороги — сразу после отъезда из Москвы (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 115).

[1] Стихотворение «Полями пахнет, свежих трав, лугов прохладное дыханье...». Было напечатано в журн. «Народное благо», 1901, № 31, 15 августа (см. т. 1, стр. 154).

[2] Бунин должен был придумать заглавие для сборника своих стихов, который издавал С. В. Курнин (см. п. 85 и 86).

[3] Речь идет, по-видимому, о книге стихов Фета, принадлежащей Телешову.

83. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 10 августа 1901 г.⟩

Как поживаешь? Что семья? Что нового? Напиши мне, пожалуйста: Одесса, Городская управа, Владимиру Павловичу Куровскому, для меня. Я живу под Одессой на дачах, нанял себе славную комнатку у самого моря [1]. Купаюсь. Желаю тебе всего лучшего. Поклон жене.

Твой Ив. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 10.VIII.1901; Москва, 13.VIII. 1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 11. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Бунин приехал в Одессу в начале августа и поселился на даче Гернета — Большой Фонтан, 13-я станция трамвая («Лит. наследство», т. 68, стр. 412).

84. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса⟩ 14 авг⟨уста⟩ 1901 г.

Дорогой Митрич! Забыл адрес Курнина и потому убедительнейше прошу тебя послать ему прилагаемую записку и поступить так, как удобнее: или пусть Курнин сам пришлет мне деньги переводом по телеграфу, или возьми эти сто рублей ты и вышли мне [1]. Адрес мой — *Одесса*, Городская управа, Владимиру Павловичу Куровскому, для меня. Деньги же удобнее выслать прямо на имя Куровского, не упоминая меня, чтобы мне не ехать в город. Куровский-то каждый день бывает в городе. Событий никаких. Жду от тебя. Целую тебя и кланяюсь жене.

Твой Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 12.

[1] Курнин должен был прислать эту сумму в счет гонорара за сборник стихов и за отдельное издание рассказа «Велга».

85. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Малаховка, конец августа (после 21) 1901 г.⟩

Где я возьму слов, чтобы выразить свое негодование, а главное — где я возьму почтовой бумаги, чтоб изложить это негодование письменно?

Как серый волк, ты удрал от меня, Алексеич, и, как мокрая курица, сидишь, не в состоянии выдумать заглавия к курнинской книжке. Он ругается и хочет назвать ее «Облако» — по одному из стихотворений, которое пустит первым.

Если не нравится, то скорее присылай другое заглавие [1].

Африканская погода у нас кончилась. Стоит ясная, но свежая осень. Можно, наконец, вздохнуть полегче!

Я написал «Старого хозяина». Вышло, кажется, «ничего себе», но только вряд ли годится в сборник для юношества. Это скорее для старших детей [2].

Написал статейку о Слюзове [3]. Нравится самому как вышла. Обуреваем сейчас писаниями и сюжетами. Ох, черт возьми,— если бы времени побольше! Сразу шесть томов навалял бы. Но, конечно, не напишу ничего.

Живем по-прежнему. Были у меня как-то: брат твой, Хитрово и Несмелов [4]. Все старики были очень веселы, так что даже приятно было на них поглядеть. До сентября рассчитываю прожить на даче, там в Москву.

А ты когда?

Пишешь ли что новое? Напиши мне обстоятельно обо всем: как дела?

Жена кланяется тебе.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 124, л. 45—45 об. Датируется приблизительно по содержанию и по связи с п. 86. Ответ на п. 82.

[1] См. п. 86.

[2] В «курнинский» сборник Телешов дал в конце концов «Песнь о трех юношах» и «Этюд» («Книга рассказов и стихотворений». М., 1902, стр. 320—334).

[3] Статья «Из воспоминаний о поэте-самоучке. Алексей Иванович Слюзов» («Народное благо». М., 1901, № 35, 12 сентября, стр. 657—659). О Слюзове см. также: И. А. Белоусов. Литературная Москва. М., 1929, стр. 10—12.

[4] «Брат твой» — Ю. А. Бунин; Лев Аркадьевич *Хитрово* (псевд.: Андрей Мирославич; 1848—1926) — писатель, один из основателей «Среды»; Н. А. Соловьев-Несмелов — см. примеч. 4 к п. 36.

86. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, 1 сент⟨ября⟩ 1901 г.

Дорогой Митрич! Напрасно негодуешь на меня, я не мокрая курица, ибо куры не купаются в море и не ездят в Ялту к Чехову. Отбываю туда завтра [1]. Туда и пиши. Курнину заглавие послал — пусть поставит первым стихотворением стихотворение «Вечерняя звезда», и, значит, обложка будет такова: *Ив. А. Бунин. Вечерняя звезда.* Стихи и рассказы [2].

Очень прошу тебя потребовать к себе корректуру обложки, посмотри с женой и решай. Писал я мало,— надеюсь налегнуть осенью. Очень прошу написать поскорей побольше новостей о себе и о прочем. От всего сердца рад за тебя,— тому, что ты пишешь. В Москве думаю быть в конце сентября [3]. Поклон жене, тебе — поцелуй.

Твой Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 13. Ответ на п. 85.

[1] Бунин ехал в Ялту по приглашению Чехова. Выехав из Одессы 2 сентября, он прибыл в Ялту 4 сентября («Лит. наследство», т. 68, стр. 414).

[2] Название «Вечерняя звезда» Бунин позднее заменил другим: «Полевые цветы», поставив первым в книге стихотворение под этим заглавием.

[3] Накануне, 31 августа, Бунин писал брату Юлию о поездке в Ялту и прибавлял: «Приеду числа 20 сентября в Москву с Чеховым» (там же). Чехов приехал в Москву 17 сентября; можно думать, что вместе с ним был и Бунин.

87. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Ефремов, 27 ноября 1901 г.⟩

Митрич! У меня к тебе две просьбы. Во-первых, доктор Михаил Александрович Членов [1] (Петровские линии, подъезд 3) просил меня через тебя спросить Александра Андреевича, нет ли у них при фабриках места врача, осматривающего рабочих? Если что-либо подвернется, очень прошу тебя попомнить это. Во-вторых (это уже важнее, серьезно прошу), поговори с *женой*, с Софьей Андреевной, с кем хочешь еще: нельзя ли устроить куда-либо одну поистине прекрасную, скромную и неглупую девушку из Ефремова? Митрич, не будь свиньей, подумай! Кончила она курс гимназии в Туле,— и кончились ее золотые деньки. Вернулась к старухе-матери и старшей сестре в Ефремов, в лачугу на тракте, на оврагах, и вот все трое живут на то, что эта девушка зарабатывает тремя уроками — по 6 р.— 7 р. каждый,— работая часов 7 в сутки! И горько, брат, видеть эту милую молодость, тихую и молчаливую, прячущую ноги под стул, ибо башмаки совсем разваливаются. Помогите, если можно,— в контору, на уроки, на железную дорогу— все равно куда — лишь бы вон из Ефремова, где можно удавиться с тоски. Ведь помогаете же вы собакам и птицам!

Новостей, конечно, нет. Жду от тебя. Немедленно отвечай: *Ефремов*, Тульской губ., Покровская ул., д. Шарова.

Целую тебя и всем кланяюсь.

Твой Ив. Бунин

27 ноября 1901 г.

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Н. Д. Телешову. Рукой Телешова, красным карандашом, помета: «Отложить». Почт. шт.: Почтовый вагон, 27.XI. 1901; Москва, 28.XI.1901.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 25, л. 14—14 об.

Написано, по-видимому, в первые дни по приезде из Москвы в Ефремов.

[1] Михаил Александрович *Членов* (1871—1941) — московский врач, позднее профессор Московского университета.

88. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 29 ноября 1901 г.⟩

Милый Иван Алексеевич.

Все, что ты пишешь, я передам по адресам, хотя не верю я лично в возможность найти эти места. Это хитрее, чем ты думаешь. Впрочем, не ручаюсь. Но передам все как следует, будь уверен.

Письмо твое получил вчера в среду вечером и принес мне его даже Тимковский. Шаляпина все нет [1]. Но были вчера Елпатьевские: он, она и дочь [2]. Андреев читал вчера новую вещь (45 минут читал). Очень хорошо и сильно, хотя нужно сократить кое-что и выправить вообще. Молодчина Андреев! [3]

Из достоверных источников скажу: Толстой жив и даже выздоровел [4]. Еще вот что: немец написал о Подольске большую статью, где говорит про тебя, что ты вдохновенная личность (или что-то в этом роде). Скоро буду иметь перевод и сообщу тебе. Все расписано вдребезги [5].

Сборник сдан в типографию [6]. Думай скорее, что дашь нам для книги в 200 страниц за пятиалтынный [7]. Елпатьевский разрешил *все* что захо-

тим. Думаю начинать действовать. Глаголь помешался на стихосложении. Его сегодня самого в стихах «Новости дня» прокатывают. Он теперь ни о чем уже не говорит и обратился в метроном: все отсчитывает такты и делит строки. С ума сошел [8].

Когда ты вернешься? Очень не хватает тебя на средах. Будь здоров. Прими автографы.

Повторяю: твои дела сообщу жене, Софье Андреевне и Александру Андреевичу.

Твой Н. Телешов

29 ноября. Москва

На первой странице письма приветствие от «Среды»:

Ивану Бунину. 28 ноября 1901 г.

«Среда» шлет тебе привет!

Н. Телешов, Н. Тимковский, А. Куприн,
И. Белоусов, С. Махалов, Ю. Пфёль,
Леонид Андреев.

А я не шлю. Сер. Голоушев,
А. Карзинкин, Е. Телешова.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 338. Ответ на п. 87.

[1] В письме 13 ноября 1901 г. Бунин приглашал Шаляпина посетить «наш *завтрашний* вечер» и коротко сообщал о собраниях у Телешова (Ф. И. Шаляпин. т. I. М., «Искусство», 1957, стр. 711—712). Из настоящего письма Телешова видно, что Шаляпин не был на «Среде» ни 14, ни 21, ни 28 ноября. В дальнейшем он стал постоянным участником «Среды». Л. Н. Андреев в письме к Горькому 24 ноября 1901 г. писал: «Шаляпин был у нас на „Среде“ и пленил всех своей многообразной талантливостью» («Лит. наследство», т. 72, стр. 108). Но здесь имеются в виду собрания, которые Андреев устраивал в начале сезона 1901/02 г. по понедельникам и на которые приглашались лишь некоторые члены «Среды».

[2] О С. Я. Елпатьевском см. примеч. 4 к п. 26; его жена — Людмила Ивановна, дочь — Людмила Сергеевна Кулакова.

[3] По-видимому, Андреев читал рассказ «Бездна» (напечатан: «Курьер», 1902, № 10, 10 января).

[4] Летом 1901 г. Л. Н. Толстой перенес в Москве тяжелую болезнь; в начале сентября его перевезли в Крым, состояние здоровья его и здесь внушало серьезные опасения. Только в конце ноября — начале декабря Толстой поправился (см. Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910. М., 1960; П. А. Буланже. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 годах.— «Минувшие годы», 1908, № 9, стр. 33—68).

[5] 8 ноября 1901 г. Горький, ехавший из Н. Новгорода в Крым, предполагал остановиться в Москве, но власти не разрешили этого и направили его вагон, минуя Москву, на Подольск. Для встречи с Горьким туда приехали Леонид Андреев, Бунин, Пятницкий, Телешов, Шаляпин и немецкий литератор, переводчик произведений Горького Август Шольц (1857—1923). Позднее он прислал Телешову свою статью «Wie ich Maxim Gorki kennenlernte» («Как я познакомился с Максимом Горьким»), напечатанную во «Frankfurter Zeitung» (1901, № 340, 8. XII.— 1. Morgenblatt); в ней он рассказал о знакомстве с Горьким и его друзьями в Подольске (см. «Записки писателя», стр. 97—101; «Лит. наследство», т. 72, стр. 108 и 584—585).

[6] «Книга рассказов и стихотворений», издаваемая С. В. Курниным.

[7] О плане этого дешевого сборника Телешов подробно писал Чехову 15 января 1902 г.: «Дорогой Антон Павлович,— неисправимый выдумщик, Николай Телешов, опять обращается к вам с просьбой: не можете ли дать маленький рассказик, хоть бы из старых, для книжки в 320 страниц, которая будет продаваться по 20 коп. Вы скажете, что это вздор; мне это и многие говорят, но я уже нацелился на такую книжку и теперь меня убедить в ее бесполезности трудно. Мне хочется собрать рассказы лучших авторов по 1/2 листа, в лист, в 1/3, и преподнести такую книжку за двугривенный. Она пойдет по земским складам в народ, по фабрикам, по провинции для учителей, священников, приказчиков, лакеев, кучеров, чиновников и т. д. Горький дает свой рассказ „Преступники“, из „Курьера“, Чириков прислал „Свинью“, Бунин и Елпатьевский разрешили взять любую вещь из их рассказов. Очень было бы хорошо, если б дали вы хоть кусочек» (ГБЛ, ф. 331. 60. 21).

[8] См. «Новости дня», 1901, № 6633, 29 ноября а также настоящ. кн., стр. 430.

89. Л. АНДРЕЕВ, БУНИН, ГОЛОУШЕВ, ГОСЛАВСКИЙ, ХИТРОВО — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 6 декабря 1901 г.⟩

Середа поздравляет милый четверг. Голоушев, Андреев, Бунин, Гославский, Хитрово.

На телеграфном бланке: Чистые пруды, д. Терехова, Телешову. Подана 6-го. Принята 6/XII 1901.
ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 121. Телеграмма.

6 декабря (день именин Телешова) приходилось в 1901 г. на четверг.

90. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 24 января 1902 г.⟩

Как где я? Конечно, в Одессе — и надолго [1]. Сюда шлют корректуру «Рассказов» [2]. Вы-то, господа, почему не пишете? Мне не о чем. Живу, наслаждаюсь весной, пишу, корректуры. Вот и все. А из Москвы жадно жду вестей. Что же это Александр Андреевич со стихами-то? Скажи немедленно, пожалуйста. Жду корректуры [3]. Пиши, дорогой.

Крепко целую. Поклон всем.

Твой И. Бунин

Софиевская, 5

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 24.I.1902; Москва, 27.I.1902.
ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 1. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] Бунин приехал из Москвы в Одессу не позднее 11 января 1902 г. Пробыл он здесь до конца марта, когда вместе с П. А. Нилусом отправился в Ялту («Материалы», стр. 85).
[2] Книга Бунина «Рассказы» (Собр. соч., т. I) готовилась в Петербурге, в издательстве «Знание». Вышла в свет в марте 1902 г. (см. п. 101).
[3] Одновременно в Москве готовился сборник стихов Бунина («Новые стихотворения»), который вышел в свет летом 1902 г. В отсутствие Бунина все заботы по сборнику были поручены им Телешову и Карзинкину (см. также п. 94).

91. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 1 февр⟨аля⟩ 902

Иван Алексеевич, милый человек —

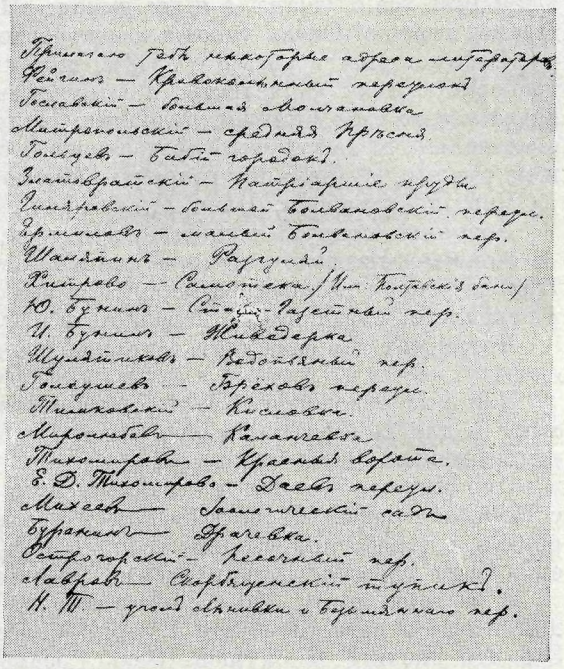
не сердись. Нарочно послал тебе такое маленькое письмецо, чтобы ты вознегодовал, а вознегодовавши, ответил. А написал бы я письмо обыкновенное, ты и промолчал бы месяца два. В общем, конечно, ты свинья, надо сознаться: уехал и никому ни строки. А тут без тебя всякие ужасы происходят. Например: недели две назад был в среду Тимковский, а среда случилась маленькая, ну Николай Иванович и вознегодовал: перед ужином заявил мне, что это все не больше как «трактирное заведение». Спрашиваю: что именно?— «А вот эти ваши вечера». Хотел в наказание оставить его без ужина, но смягчилось мое сердце: промолчал. Спросил только, чего же ему нужно?— «Да здесь ничего серьезного, ничего дельного я не вижу и не слышу». Я указал ему, что *он*, Николай Иванович, слыхал здесь не раз литературное чтение, но его самого никто не слыхал, несмотря даже на обещание прочитать доклад о нравственности в искусстве.— «Мне некогда»,— был суровый ответ. Пришлось вновь указать, что кружок наш товарищеский, что все здесь один для другого,— словом, всего не напишешь. За ужином наши старики разыгрались: смеялись, острили,

СПИСОК ЧЛЕНОВ «СРЕДЫ» И ИХ ШУТЛИВЫХ ПРОЗВИЩ — «АДРЕСОВ»

Автограф Телешова, 1902

Такой список Телешов послал Бунину при письме 1 февраля 1902 г.

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва


Приехало раз некоторые адреса литераторов.
Фейгин — Кривоколенный переулок
Гославский — большая Ивановка
Мейерхольский — средняя Пресня
Голубев — Бабьи городки
Златовратский — Патриаршие пруды
Гиляровский — большой Болвановский переул.
Арцыбашев — малый Болвановский пер.
Шаляпин — Разгуляй
Кипарово — Самотека (Ник. Болотов's дом)
Ю. Бунин — Старый-Разгуляй пер.
И. Бунин — Живодерка
Шумейкин — Водопьяный пер.
Голоушев — Борисов переул.
Тимковский — Кисловка
Миронов — Каланчевка
Тихомиров — Красные ворота
Б. Д. Тихомиров — Дарьев переул.
Махаев — Зоологический сад
Бураков — Драчевка
Петрогорский — Рогожский пер.
Лавров — Сыромятнический тупик
Н. Т. — угол Сыромятн. и Бурмалова пер.

шутили, чем и вывели Николая Ивановича из терпения. Он вышел из-за стола раньше, чем можно было ожидать, и уехал.

Как он уехал, я сейчас же поднял вопрос о народном сборнике[1] (нарочно не хотел при нем), и присутствовавший здесь Елпатьевский очень много со мной сражался. С тех пор Тимковского нет. Протестует. Андреев тоже редко ходит. Подожду еще месяц, а там сделаю вот что: среда закрыта, и по средам меня нет дома,— словом, трактирное заведение кончится. Но в качестве добрых знакомых буду собирать наших милых стариков. И, право, хуже не будет. А ругань я больше слушать не желаю. И вообще по средам решил я приглашать и своих знакомых, чтобы в среду были *мои гости* и не было бы кружка специального. Обидно, черт бы его побрал, этого Николая Иванова! Обидно и за себя и за моих гостей, милых людей, которых он так недостойно всех поносит. Они все до единого — люди занятые, как и я. Нам хочется отдохнуть вместе, и мы отдыхаем как умеем.

К черту, наконец, эти дрязги!

Вот что я слышал недавно. Был я у Шаляпина за билетами на концерт. Он принял меня как медведь: встал на дыбы у выходной двери, поднял руки и говорит: «Не пущу! Обедаем вместе». Ну, обедали. Клялся и божился, что билеты привезет сам, и действительно, недели через две привез, накануне концерта[2], часа в 3 дня. Это все только между прочим. А вот что важно: за обедом у него я говорю, что желаю слышать бунинского ворона[3]. Он обещал и, правда, спел. Представь себе: оркестр человек в 150—160. Как начали пиликать скрипки, бренчать арфа, дудить дудочки, рыкать контрабасы — зашуршало, зазвенело все, а Сафонов, директор консерватории[4], стоит с палочкой, фалдами к публике, и помахивает палочкой влево да вправо,— а в зале-то сидит публика нарядная и многочисленная, а у дверей-то вывеска: «Билеты все проданы». А я сижу да думаю: «Вот так штука!» Вдруг Шаляпин как хватит: «На распутье в диком древнем поле черный ворон на кресте сидит»,— черт бы всех подрал! Голосище какой! Долго они тянули эту канитель (не любишь?!),

а публика все слушала, а я все думал: «Ну, Иван Алексеевич, здорово!» Право, хорошо! Очень хорошо и интересно. В оркестре — Содом и Гоморра, Сафонов гнется во все стороны, смычки встают лесом и падают, контрабасисты и виолончелисты, с выпученными глазами, точно ошалелые, водят чем-то себя по пузу, дудочники надувают щеки, и барышня цепляется пальцами за струны арфы, словно в бреду,— и туда и сюда — обеими руками, а Шаляпин голосит: «Жутко мне! Вдали стоят могилы....»

Черт тебя побери, Иван Алексеевич!

Довольно похвал: начинаю браниться.

Конечно, ты, взяв у меня «Полевые цветы», книжку мне не возместил. Пришли мне ее по крайней мере! Я за нее свой рубль заплатил. Она была в переплете. Слышишь? В переплете и на мои деньги купленная.

Потом вот что еще: про Миролюбова да про дешевый сборник надо сказать.

Дай мне разрешение взять у тебя стихов — каких хочу и сколько хочу — для 20-копеечного сборника. Не обижу, будь покоен. Но разрешение пришли немедленно.

Про Миролюбова ходят странные слухи, будто он вступил в компанию с Победоносцевым, Мережковским и другими с намерением пропагандировать в народе православие и проч., бросив иные интересы. Называют еще с ним известного сукина сына Розанова и т. д. [5]

Я не верю этому. Но странно: сегодня получил письмо из «Журнала для всех» с известием, что Куприн более не занимается в редакции [6]. Это что значит? Я смущен. Ведь Розанов — это сволочь, прохвост, и вдруг товарищ Миролюбова. Не верю. Не могу допустить.

В дешевый сборник прислали: Чириков, Вересаев, Горький [7], Семенов. Видишь: почин уже есть. Елпатьевскому я даже гонорар выдал за $^1/_2$ листа. Тоже, значит, дал. Но Чехов не дал, конечно. Все равно, ты должен мне дать стихи. Я возьму их 2—3 штуки. Выбирать буду сам.

Письмо мое, если б писал для газеты, стоит рублей 15, не меньше, ибо в нем строк 300 печатных. Кстати, прилагаю тебе, с легкой руки твоей, некоторые адреса. Дополнить их можешь сам. Андреев, Белоусов и я — неизвестно где живем, а другие, кажется, попали по месту. Впрочем, сам разберешь [8].

Александр Андреевич говорит, что корректуру тебе посылает. Чудаки вы с ним оба: лить шрифты, когда в любой типографии их девать некуда. Книга давно бы вышла, кабы в хорошую типографию обратились.

Гославский выпустил книгу [9]. Скоро будут хвалить в журналах.

А я?

Свинья — я. За целый месяц, даже полтора, сегодня в первый раз сажусь за письменный стол. И то, видишь, глупости тебе расписываю, а дело лежит и лежит, и примусь за него, вероятно, на том свете, после первой же панихиды... Говорят, Толстой умирает... В редакциях есть циркуляры на случай смерти: сообщить можно, но про анафему — ни-ни! [10]

Твой Н. Т.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 3—5 об. Ответ на п. 90.

[1] См. п. 88 и примеч. 7 к нему.

[2] Концерт Шаляпина, о котором рассказывает Телешов, состоялся в Большом зале Московской консерватории 26 января 1902 г. Он был организован в пользу семьи французского певца Жюля Девойода, скоропостижно скончавшегося на сцене во время спектакля «Риголетто» (в Московской русской частной опере, где он гастролировал). Программа концерта воспроизведена в книге: «Ф. И. Шаляпин» (т. I. М., 1957, стр. 192—193, вклейка).

[3] Стихотворение Бунина «На распутье», легшее в основу музыкальной композиции А. Т. Гречанинова (1901). В программе, в составе второго отделения, указано: «А. Т. Гречанинов. На распутье, музыкальная картина с аккомпанементом оркестра. Будет петь Ф. И. Шаляпин». 20 января 1902 г. Гречанинов подарил Шаляпину партитуру этого своего сочинения; в сопроводительном письме он писал: «Прочел в „Курье-

ре“, что 16-го вы пели мое „Распутье“, и очень пожалел, что узнал об этом поздно и лишен был удовольствия слышать эту вещь еще раз в вашем исполнении» (там же, стр. 700).

[4] Василий Ильич *Сафонов* (1852—1918) — пианист, дирижер и музыкальный педагог, в 1889—1906 гг. директор Московской консерватории.

[5] Слухи эти имели реальное основание: в ноябре 1901 г. в Петербурге было создано Религиозно-философское общество, членами совета которого стали ректор Петербургской духовной академии епископ Сергий, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, В. С. Миролюбов и др. Резко отрицательное отношение к этому шагу Миролюбова, объединившегося с носителями православия и реакционного идеализма, высказали Горький, Куприн и другие писатели демократического лагеря.

[6] С ноября 1901 г. Куприн заведовал в редакции «Журнала для всех» беллетристическим отделом (см. М. К. Куприна-Иорданская. Годы молодости, стр. 13 и 17). В феврале 1902 г. Куприн, извещая Чехова о своей женитьбе на М. К. Давыдовой, писал далее: «Именно по случаю женитьбы я оставил занятия в „Журнале для всех“, не знаю — на время или навсегда» («Лит. наследство», т. 68, стр. 384).

[7] Телешов писал Горькому о задуманном дешевом сборнике 25 ноября 1901 г. и просил разрешения взять для него рассказ «История одного преступления», опубликованный незадолго до этого в газетах. 1 или 2 декабря Горький ответил ему полным согласием, просил назвать рассказ «Преступники» и давал ряд советов по составу сборника (Горький, т. 28, стр. 203—204; позднее рассказ получил название: «Злодеи»).

[8] Этот листок с адресами не сохранился. Но в МКТ имеется подобный список (см. настоящ. кн., стр. 535). О шуточном обычае «Среды» давать своим сочленам «адреса» Телешов рассказал в воспоминаниях («Записки писателя», стр. 48—50). Судя по настоящему письму, инициатором этой шутки был Бунин. Леонид Андреев получил позднее прозвище «Ваганьково кладбище», Белоусов — «Пречистенка», Телешов — «Угол Ленивки и Большого Денежного переулка».

[9] Евгений Гославский. Путем-дорогою. Рассказы. М., тип. т-ва И. Д. Сытина, 1902.

[10] О болезни Толстого в 1901 г. см. примеч. 4 к п. 88. В декабре 1901 г. в состоянии здоровья Толстого наступило резкое ухудшение; положение больного осложнилось затем тяжелым воспалением легких. Московский цензурный комитет в постановлении 13 января запретил «помещать в газетах и журналах статьи о жизни и литературной деятельности гр. Л. Н. Толстого в случае его смерти» (Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910. М., 1960, стр. 402). 20 января последовало распоряжение Главного управления по делам печати, разосланное редакциям газет и журналов: «Ввиду полученного известия о тяжкой болезни графа Л. Н. Толстого и возможной в ближайшее время его кончины, г. министр внутренних дел, не встречая препятствий в случае кончины графа Толстого к помещению в газетах и журналах извещений о графе Толстом и статей, посвященных его жизнеописанию и литературной деятельности, в то же время изволил признать необходимым, чтобы распоряжение от 24 февраля за № 1576 о непоявлении в печати статей и сведений, имеющих отношение к постановлению св. синода от 20—22 февраля того же года, оставалось в силе и на будущее время и чтобы во всех извещениях и статьях о графе Толстом были соблюдаемы необходимая объективность и осторожность» (там же, стр. 403—404).

92. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, Софиевская, 5 ⟨5 февраля 1902 г.⟩

Крепко и от всей души целую за великолепное письмо, милый и дорогой Митрич. Живу за корректурой. Адресы литераторов на редкость остроумны. Стихов бери, сколько хочешь и какие хочешь. Пиши, пожалуйста. Крепко жалею, что ты не творишь ничего. Прочти-ка Михайловского о Тимковском! [1] Увидишь Собачий Домик [2] — скажи, что ругаю его на чем свет стоит!

Будь здоров. Жене поклон, Андрюшу целую.

И. Б.

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 5. II. 1902; Москва, 8. II. 1902.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 2. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю. Ответ на п. 91.

[1] Н. К. Михайловский, регулярно печатавший в «Русском богатстве» обзоры «Литература и жизнь», посвятил часть январского обзора 1902 г. Н. И. Тимковскому — в связи с выходом второго тома его «Повестей и рассказов» (М., 1901). Указав, что «прежде всего, это писатель умный, может быть, слишком умный», Михайловский писал

о такого рода художниках: «... сила сознания слишком перевешивает в них те бессознательные элементы, которые необходимы для творческого процесса, ⟨...⟩ либо бедна в них сфера бессознательного, либо они давят ее, не давая должного простора непосредственному чувству. Таков именно случай г. Тимковского». Главный недостаток Тимковского критик усматривал в том, что в его произведениях является «не действительная жизнь, а абстракция, абстрактное построение из элементов действительной жизни». В заключение он упрекал Тимковского в том, что у него «современная русская жизнь получает одностороннее освещение. Не так уж она сплошь мрачна, скудна, пошла, лжива, как можно бы было заключить на основании рассказов г. Тимковского. Среди этого мрака, этой пошлости, скудости и лжи есть нечто светлое и правдивое, чего литература не хочет видеть или не может показать» («Русское богатство», 1902, № 1, отд. II, стр. 97—100).

[2] Это прозвище относилось к Л. Н. Андрееву (о нем упоминает В. Н. Бунина в «Беседах с памятью» — см. настоящ. том, кн. 2).

93. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 11 февраля 1902 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Будь добр, передай А. М. Федорову, что я, как ни старался прочитать его адрес,— не мог. Какие-то два зверские слова, но как их читают и пишут, не мог уразуметь. Что за привычка писать черт знает как, особенно адрес. Ведь не случись тебя, я не мог бы ему даже ответить, а он стал бы сердиться.

Был я у Курнина уже с неделю назад, и он обещал завтра же перевести Федорову часть денег, но сегодня виделся еще раз и узнал, что перевод не сделан[1]. Вообще вижу, что Курнин сидит тоже, «как бог», но только не на морском берегу, и вряд ли скоро станет простым смертным, унизившись до выдачи презренного гонорара. Ничто на это пока не указывает. Думаю, не будет ли лучше, если Федоров рассердится и оставит у себя 50 руб. задаточных... Впрочем, куда же тогда со стихами деваться?

Не знаю, что и посоветовать. Вам там виднее. Делайте сообща.

Про себя скажу вот что: я взял (купил) у Сытина все книги свои и теперь на днях выпускаю в свет «вторую тысячу» [2]. Будь друг, поддержи где можно на юге, дай рецензию. Нельзя ли в «Богатство» написать отзыв? Все это ведь важно [3]. Книгу отдаю на склад к Курнину, чтобы не водиться ни с кем лично. Думаю, это хорошо. И у Курнина денег будет больше.

Пиши приветственное письмо Белоусову на мой адрес. В марте решили чествовать у меня в Среду. Я тогда прочту твое письмо и передам ему. Не забудь [4].

Л. Андреева женили 9 февраля [5]. Я был отцом посаженным, а Голоушев шафером. Тимковский дулся, дулся, но стало, должно быть, скучно, и опять стал ходить, только стал менее требователен [6]. Вот пока и все.

Федорову не забудь передать. Я ничего не могу сделать иного. Пиши.

Твой Митрич

11 февр. 902

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 6—7 об.

[1] Курнин задерживал гонорар А. М. Федорову за книгу стихотворений для юношества. Еще 17 декабря 1901 г. последний писал Бунину: «Одновременно с этим письмом к тебе посылаю письмо Курнину. Нужда положительно давит меня. Если он не вышлет мне 100 р., я не знаю, что уж мне и делать тогда!» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 221, л. 35 об.). См. также письмо Федорова Телешову 4 февраля 1902 г. и текст условия, заключенного им с Курниным (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 385, № 6, и 386, № 2).

[2] Подробно Телешов писал об этом в п. 96.

[3] Рецензии на книгу Телешова «Повести и рассказы», выпущенную с новым титульным листом (М., Русское т-во печати и издательского дела, 1902), появились в следующих журналах: «Русское богатство», 1903, № 2, отд. II, стр. 27—28 (без подписи); «Русская мысль», 1903, № 3, отд. II, стр. 189—190 (М. Протопопов. «Простые таланты»).

[4] 27 марта 1902 г. исполнялось 20 лет со дня напечатания И. А. Белоусовым его первого стихотворения. О чествовании юбиляра Телешов более подробно писал 16 мар-

та 1902 г. Чехову: «По этому поводу наш небольшой кружок хочет отметить этот день дружеским приветствием, но домашнего характера, без посторонних и даже в моей квартире. Соберется человек 16—18. Трое споют его стихи, положенные на музыку, потом выпьют за его здоровье — вот и все. Никаких преувеличений о значении и проч. не будет. Просто, придираясь к круглой цифре, приятели и друзья в своем кружке, в очередную „Среду" воздадут ему свой привет» (ГБЛ, ф. 331. 60. 21).

[5] Л. Н. Андреев женился на Александре Михайловне Велигорской.

[6] О размолвке с Тимковским см. п. 91.

94. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, Софиевская, 5 ⟨22 февраля 1902 г.⟩

Митрич! Горячо прошу о помощи в корректуре моей книги стихов [1]. Посылаю ее не в типографию, а тебе. Пусть Александр Андреевич извинит, что не пишу ему отдельно, ибо не тебя одного, но и его прошу об этой помощи в корректуре, и обоим вам говорю: вручаю свою судьбу в ваши руки — посмотрите корректуру, измените, если можно, что-либо в ее внешности — даю вам самые широкие полномочия, предоставляю вам разрешить печатать и т. д., ибо посылать еще раз ко мне — это очень долго. А корректура меня сильно огорчила. Такой небрежно-г⟨...⟩нной корректуры я еще не получал. Свинья Гербек! [2] Прошу тебя, Митрич, после переговоров с Александром Андреевичем — отошли корректуру Гербеку заказной бандеролью или лучше — с *посыльным не медля* и потребуй и исправленный экземпляр и грязный — *тщательно* сверь — сделаны ли мои поправки и т. д. Не пишу подробностей, что надо сделать, ибо все это написано на корректуре, а остальное ты сам увидишь и поймешь. Только, голубчик, не медли, будь внимателен и т. д. *Потом — как быть с рассылкой экземпляров для рецензий, в журналы и газеты*? Сделает ли это Гербек? Напиши об этом, да и вообще напиши поскорее. Вообще известий из Москвы мало — что сие значит?

Шрифт оказался крупен, приходится ломать строки — как быть? Затем Гербек набрал так, что в одних стих⟨отворениях⟩ строчки расставлены на полдюйма, а в других — на четверть. Надо все одинако сделать и не лучше ли полдюйма, чем на четверть. Впрочем — *твоя воля и Александра Андреевича*. Хотел я, кроме того, добавить парочку сонетов — Гербек, оказывается, уже провел книгу через цензуру [3] — *значит, добавлять нельзя*?

Относительно твоей книги не понял: ты вновь печатаешь, или сдираешь обложку? И зачем ты не сделал так, ⟨как⟩ мы советовали,— истребить обе книги и напечатать вновь избранное? Ах, Митрич, Митрич! Жаден ты! Относительно «южных газет» сделаем. Только пришли всюду для рецензий: «Одесский листок», «Одесские новости» и «Южное обозрение».

Крепко тебя целую, кланяюсь Александру Андреевичу и всем твоим. Жду с нетерпением известий о книге.

Твой И. Бунин

Никаких, даже задаточных 50 р. Федоров не получал. Курнин — скот, и Федоров хочет написать о нем в газетах.

На конверте: Заказное. Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 22.II.1902; Москва, 25.II.1902.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 3—3 об. Датируется по почтовому штемпелю. Ответ на п. 93.

[1] Речь идет о книге Бунина «Новые стихотворения» (см. также п. 90 и примеч. 3 к нему). Эта книга была издана самим автором при помощи Телешова и Карзинкина, а затем сдана на комиссию (весь тираж — 600 экз.) в книжный магазин «Труд» на Тверской ул. («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 22).

[2] О. О. Гербек — владелец типографии, где печатались «Новые стихотворения».

[3] На книге дата цензурного разрешения: 31 января 1902 г.

95. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Одесса, 24 февраля 1902 г.›

Дорогой Митрич, послал тебе корректуру «новых стихов». Теперь шлю тебе еще стихотворение «Чатырдаг» — вещь славная, которую мне весьма хотелось бы видеть в конце моей книги [1]. Посоветуйся с Александром Андреевичем немедленно и, если это не вызовет большой возни с цензурой, непременно передай этот «Чатырдаг» Гербеку, чтобы поставили в конец книги. Пусть лучше книга выйдет на неделю позднее из-за цензуры, но чтобы это стихотворение — было в книге. Если решишь ставить, будь добр сделать и другое: перепиши это стихотворение, подпиши мою фамилию (Ив. Бунин) и отошли немедля в «Курьер» Фейгину. До выхода книги оно может пройти и в «Курьере» [2]. Если же вставить нельзя — не посылай и в «Курьер». Тогда все равно спешить некуда, напечатаю в журнале каком-нибудь.

Еще раз прошу — подумайте, как избежать ломания строк. Крупен, крупен вышел шрифт — горе!

Крепко тебя целую.

О французе похлопочу. Досточтимой Елене Андреевне целую ручку за милое письмо.

Твой И. Бунин

На конверте с бланком: Одесский городской музей изящных искусств. Москва. Чистые пруды. Дом Терехова. ЕВ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 24.II.1902; Москва, 27.II.1902. В тексте подчеркивания рукой Телешова.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 4. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Телешов исполнил эту просьбу и вставил в конец книги стихотворение «Чатырдаг» (перевод из цикла «Крымские сонеты» А. Мицкевича; о бунинских переводах из Мицкевича см. настоящ. кн., стр. 223—224).

[2] И эту просьбу Телешов выполнил: «Чатырдаг» был до выхода книги напечатан в газете «Курьер», 1902, № 68, 10 марта. Копия стихотворения, посланная Телешовым в «Курьер», с его сопроводительным письмом, хранится в ИРЛИ.

96. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 28 февраля 1902 г.›

Дорогой Иван Алексеевич!

Получил я твою корректуру и отдал Александру Андреевичу, а тот Гербеку. На днях мне пришлют поправки. Чудак ты, право! Как я могу взять на себя выпуск книги? А вдруг тебе не понравится, или я что-нибудь не усмотрю? Впрочем что ж — ну, поругаемся малость. Не беда! Только такие длинные строки, как в первой вещи, мудрено вытянуть в линию и, вероятно, невозможно.

Новый сонет также отдал, но пока не знаю, будет он в книге или нет. Если будет, то «Курьеру» пошлю. Курнин, кажется, вновь оживел. Обещал выслать Митрофанычу 50 р. и обещал через неделю выпустить наш сборник [1].

А. А. Давыдова умерла. Слышал? Говорят, Куприн женился на Мусе и теперь «Мир божий» — его, и Ангел — его секретарь.

Правда ли? [2]

По твоему совету сегодня высылаю книги: «Одесскому листку», «Одесским новостям» и «Южному обозрению». Книга вышла вчера. Уж ты позаботься, будь добр [3]. Нельзя ли написать в Крыму где-нибудь?

Я, видишь ли, поступил вот как. Купил у Сытина «Тройки» и изорвал их. Так что их более нет на свете. Туда им и дорога! Кроме того (с неприятностью и расстройством: не хотел отдать!) купил и «Повести» 956 штук. Из них 356 осуждены мною к смертной казни через повешение на

В. М. МИХЕЕВ И БУНИН
Шарж неизвестного художника
1900-е годы
Рисунок каандашом
Литературный музей, Москва

стены под обои, а на 600 штук наклеена новая обложка с уничтожением сытинской фирмы. Взял у меня Курнин на комиссию, с условием, чтобы к августу книги не было.

Это не повредит ничему. Мне необходимо написать и напечатать несколько вещей и тогда уже приступить к настоящему изданию.

Вчера был капустник у Глаголя. Вот так попировали! С цыганскими песнями и проч. Даже сам Юлий Алексеевич надевал гусарскую фуражку красную и был очень похож на Дрейфуса. Об остальном можешь судить по наитию. Гославский пытался писать еще до ужина, а Хитрово целовал ручки (не у дверей, конечно). Про себя могу сказать, что мой тон был возвышен: «Нет, Иван Алексеевич» — как ты меня изображаешь. В этом роде было дело. Короче говоря: у Голоушева завелось пианино в кабинете (чуть не сказал «в детской»). Может быть, скоро придется и детскую пристраивать...

Вот как мы «среду» справляем. Н. Т.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 8—9 об. Датируется по связи с п. 95 и по упоминанию о «среде» (последняя среда февраля была 27-го). Ответ на п. 94 и 95.

[1] О сборнике, издаваемом С. В. Курниным, см. п. 79.

[2] А. А. Давыдова умерла 24 февраля 1902 г. Свадьба Куприна была 3 февраля того же года. По завещанию Давыдовой ее наследниками стали ее дети — М. К. Куприна и Н. К. Давыдов,— а также Ангел Иванович Богданович (см. М. К. Куприна-Иорданская. Годы молодости, стр. 40, 66 и 68).

[3] Бунин выполнил эту просьбу и хлопотал о напечатании в одесских газетах отзывов на книгу Телешова (см. п. 98 и 100).

97. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 28 февраля 1902 г.⟩

Дорогой Митрич! Великая просьба к тебе: если еще не поздно, поставь в моей книге «Новые стихотворения» заглавия над некоторыми стихотворениями: над стихотворением «Стояли ночи северного мая...» — заглавие такое: «Элегия»; над стихотворением «Темный кедр растет среди долины...» — заглавие «Кедр»; над стихотворением «Полями пахнет...» — заглавие «Под тучей»; над стихотворением «Ищу я в этом мире сочетанья....» — заглавие «Ночь».

Кроме того: я уничтожил везде звездочки над стихотворениями без заглавий и черточки после стихотворений ввиду их безобразия. Прошу

тебя решить: не возобновить ли, если будут черточки другие, и то и другое? *Дорогой, похлопочи обо мне*! Возобнови, если можно [1].

Был Андреев и уехал в Крым [2]. Я остался в Одессе до конца марта [3]. Крепко целую.

Твой И. Бунин

Софиевская, 5

На обороте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 28.II.1902; Москва, 3.III.1902. Названия стихотворений подчеркнуты (рукой Бунина?).

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед хр. 27, л. 5. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Телешов выполнил все эти пожелания Бунина. Позднее Бунин снова снял заглавия «Элегия» и «Под тучей» (см. т. 1, стр. 146 и 154).

[2] 31 января 1902 г., после произведенного у Андреева обыска, с него была взята подписка о невыезде из Москвы. 12 февраля ему был разрешен выезд из Москвы на один месяц. 16 февраля он извещал Горького, что едет сначала в Одессу, а «числа 25-го» будет в Ялте. Однако он приехал в Одессу только 25 февраля, а около 28 февраля выехал в Крым, к Горькому («Лит. наследство», т. 72, стр. 138—140 и 142).

[3] Бунин выехал в Ялту вместе с П. А. Нилусом 29 марта, прибыли они туда 31-го (см. п. 100; «Лит. наследство», т. 68, стр. 415).

98. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, Софиевская, 5. 8 марта 1902 г.

Дорогой Николай Дмитриевич, не сердись, что навязал на тебя корректуру,— к кому же мне обратиться, как не к тебе? Александра Андреевича мне совестно беспокоить. А что касается твоей боязни не «угодить» мне, то это, конечно, глупости. Вполне полагаюсь на тебя, и ругаться нам не придется. Только еще низкая просьба: посоветуй, ради бога, *как быть с рассылкой экземпляров для рецензий?* По моему, нужно послать очень много. Но *необходимо* следующее: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Мир божий», «Русское богатство», «Новое дело», «Вестник всемирной истории»; «Новости», «Новое время», «Русские ведомости», «Курьер», «Новости дня», «Нижегородский листок», в Самару, «Орловский вестник», три одесские газеты [1], «Киевлянин», «Крымский курьер» (Ялта), «Образование»... вспомни еще что-нибудь необходимое. Чрезвычайно тебя прошу поговорить с Юлием — может быть, он возьмется разослать — *дай ему списочек*,— но он неаккуратен на просьбы до нельзя. Поэтому говори горячо и нагло. Затем — надо же отдать книгу на комиссию. Я говорил с «*Трудом*» на Тверской — он согласен взять с удовольствием, но опять, кто это сделает? Ей-богу, ничего не придумаю, но даю вам с А. А. Карзинкиным все полномочия распоряжаться как вам вздумается. Паки и паки, Митрич, прошу — уж постарайся. Затем — *как можно скорее вышлите мне хоть 10—15 экз. книги, остальные авторские отдайте Юлию*.

Каков формат книги? Неужели маленький? Это меня страшит. Если еще можно, *вычеркни* из стихотворения «*Сон-Цветок*» *четыре* строки: «О когда бы я мог плакать в эти мгновенья» — и кончая словами: «молодого стремленья». Этот куплет глуп и плох и ненужен [2].

О тебе в «Новостях Одесских» напишет Федоров, в «Южном обозрении» и «Листке» тоже попрошу непременно. Штука твоя с Сытиным меня все-таки радует. Дай бог осенью выпустить настоящее издание.

О французе говорили — здесь ничего нельзя для него сделать, честное слово. Поцелуй за меня ручку у милой Елены Андреевны,— прошу простить, что не пишу ей отдельно, а ее очень прошу мне написать. Она очень славно пишет.

Про «Мир божий» ничего не знаю.

Федоров рад деньгам и твоей похвале очень.

Затем: нельзя ли и мне сделать тоже на окне у Курнина, как он сделал тебе? Не купит ли он в «Труде» к Пасхе экз. 50—100? Тогда я напишу в «Труд», чтобы ему продали книгу не за 1 р. 25, а за 1 р. Или пришлю ему разрешение на такую удешевленную покупку через тебя. *Непременно поговори с ним об этом.*

Ну-с, еще что? Очень жалею, что не вижу «Сред». Всем-всем кланяюсь, а тебя крепко целую.

Шлю тебе и Александру Андреевичу рассказ [3].

Пиши скорее.

Твой душой Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 6—6 об. На бланке: Одесский городской голова и вице-президент Одесского общества изящных искусств. В тексте подчеркивания и другие пометы рукой Телешова.

[1] «Одесские новости», «Одесский листок» и «Южное обозрение».

[2] В первопечатном тексте («Мир божий», 1901, № 8) стихотворение «Сон-Цветок» содержало шесть строф. Бунин просил исключить предпоследнюю:

О, когда бы я мог плакать в эти мгновенья!
Но иссякли те слезы, в которых была
Молодая печаль так призывно светла,
Так полна красоты молодого стремленья...

Телешов выполнил эту просьбу. Позднее Бунин еще более сократил стихотворение — исключил третью и пятую строфы (по «Новым стихотворениям»), снял заглавие и переделал некоторые строки (см. т. 1, стр. 159—160).

[3] Бунин послал рассказ «Надежда», напечатанный в газете «Одесские новости», 1902, № 5571, 7 марта.

99. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 15 марта 1902 г.

Ну, брат, задал ты мне задачу! — Избави тебя бог подумать, что это я тебе в упрек говорю или жалуюсь. — Нет, Иван Алексеевич, — не жалуюсь, не упрекаю, а только рассказываю и докладываю. Такого олуха, такой свиньи, как Гербек, я еще не встречал. Это упрямец, как осел, и... Однако я начинаю уже ругаться. Беру свои слова назад и докладываю: книгу с твоими поправками и желаниями я отправил в типографию, через несколько дней получил новый оттиск, но в виде возмутительном, который я правил, правил, но, наконец, на 80-й странице изругался и написал прямое оскорбление Гербеку. Больше не хватило сил писать вежливо. Это была такая мерзость, такая возмутительная корректура, каких я сроду не видывал. Не стану пока говорить тебе подробностей, но если б ты увидал то, что он сделал (после я скажу тебе), то у тебя волосы поднялись бы дыбом. Я не преувеличиваю, говоря так. Я изругался тут же на бумаге, как только мог, буквально оскорбил его на словах, что предусмотрено статьей такой-то. Но иначе я не мог поступить.

Через неделю получил опять новый (поправленный) оттиск, который в тот же вечер отослал назад как негодный, с новыми поправками, причем надписал: хоть тысячу раз буду читать и поправлять, но пока не увижу все в полной исправности и на настоящей бумаге, в настоящем формате, я *не позволю* печатать книгу.

Я не только перечитал всю книгу восемь раз, но переглядел всякую букву (между прочим, ты пропустил немало грамматических ошибок), и не только переглядел, но и пересчитал строки по буквам, чтоб кое-что доказать этому сукину сыну!

Если бы ты печатал книгу в Лондоне, то, право, было бы с ней возни не более, а даже меньше. Это не типограф, а папуас какой-то, и притом с чертовым характером! Я ему трижды указывал на некоторые несообразности, трижды вычеркивал одни и те же места, и он все-таки каждый раз делает по-своему, не обращая внимания на мои слова.

Сегодня, наконец, получил четвертую корректуру — на толстой бумаге, в чистом виде, в том виде и формате, как будет все издание. Приблизительно $^2/_3$ я подписал, а $^1/_3$ все-таки закрестил и «повелеваю» переделать по-моему. Разрешение пишу необычайно: на каждой странице отдельно; например, 14-ую разрешаю, а 13-ю и 15-ю не подписываю и велю выправить. Извини, пожалуйста, и опять не истолковывай в дурном смысле, но я скажу: мучение! Прямо мучение, а не книга! Ведь если с этим чертом печатать четыре тома, то 20 лет жизни ухлопаешь ни за грош! Счастлив ты, что уехал.

Бумага выходит толстая, и книга будет здоровенная. Если Гербек не подпакостит самовольно, да если я до тех пор не сойду с ума или не застрелюсь от волнений и ссор из-за книги, то издание будет красивое. Это правда.

Только ты молчи. Не думай, что я отягощен, или там что еще. Мне самому интересно вырвать у этой стервы хоть клок шерсти. Я с удовольствием все это делаю; только боюсь, что проведет он меня.

Не забудь, пожалуйста, прислать к 27-му числу привет Белоусову — телеграммой, или лучше письмом [1]. Может быть, и Федоров подпишет. Цензура мою «Хлеб-соль» — скушала. В сборнике рассказа не будет. Даю вместо него «Юношей» [2]. Куда ты поедешь из Одессы? Если в Крым, то скажи. Я попрошу тебя тогда поговорить об издании за зиму моих рассказов — как следует [3].

Вообще, брат, дела всякого — не только по горло, а выше. Об одном мечтаю: освобожусь же я когда-нибудь! А теперь пустил во всю. Может быть, к осени устроюсь по-человечески. Если устроюсь, надо будет отдохнуть недельки две, очувствоваться от угара, да и за дело.

Напиши мне что-нибудь. Рассказ твой получил; приговор мой таков: «Нет, Иван Алексеевич!» Рассказ сухощав, а не мускулист. Потом: черт с ним, с твоим Леонидом! Кто такое Леонид? Ну его к черту! Словно чужое письмо читаю; не хочу этого, и Леонида твоего тоже знать не желаю! [4] Нет, это не «Женевское озеро» [5]. Это, брат, будет полегче. Просто — не нравится, да и все тут!

Будь здоров! Пиши.

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 10—11 об. Ответ на п. 98.

[1] См. п. 93.

[2] Рассказ «Хлеб-соль», прошедший за год до этого через цензуру и напечатанный в «Журнале для всех» (1901, № 1), был теперь запрещен, вероятно, в связи с обострением общественно-политической обстановки в стране. В 1904 г. рассказ вышел отдельным изданием (Ростов н/Д, «Донская речь»); в 1906 г. «Знание» выпустило его в «Дешевой библиотеке» (№ 85). «Юноши» — «Песнь о трех юношах», напечатанная в «курнинском» сборнике.

[3] Очевидно Телешов надеялся, что Бунин сможет поговорить в Ялте с Горьким, чтобы ускорить дело издания сборника рассказов Телешова в «Знании». Можно думать, что именно для выяснения этого вопроса Телешов 30 марта сам выехал в Крым (см. п. 101).

[4] Перерабатывая позднее рассказ «Надежда» для книги «Перевал и другие рассказы» (1912), Бунин исключил из начала рассказа обращение к «Леониду» (см. т. 2, стр. 516; при подготовке этого тома публикация «Надежды» в «Одесских новостях» не была установлена).

[5] Рассказ «На Женевском озере».— «Мир божий», 1901, № 7. Позднее Бунин озаглавил его: «Тишина» (т. 2, стр. 236—240).

100. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса⟩ 21 марта 1902 г.

Жаль мне тебя, Митрич, и стыдно мне... Но что же я могу сделать? Дай бог тебе сил на одоление этого подлеца. Как выйдет книга, вышли мне, дорогой, хоть десять экземпляров или 20 в Ялту почтой. Жажду видеть книгу. В Ялту пиши на Чехова. Еду туда 25—27-го.

Книга твоя в «Одесском листке» не получена [1]. В «Новостях» Федоров никак не может написать — там есть своего рода обидчивый Шулятиков — Геккер. Он напишет о тебе и о мне... [2] Просил написать одного господина и в «Южном обозрении». Обещал [3]. Горячо тебе желаю успеха.

Относительно «Надежды»... «Нет, Николай Дмитриевич!.. Ты ошибаешься... красивая и тонкая штука!..» Не морщись, это не наглость, а просто искренность.

Передай письмо Александру Андреевичу [4]. Поклон супруге.

Сердечно любящий тебя Ив. Бунин

Телеграмму для Белоусова послал Юлию [5].

На конверте: Заказное. Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 22.III. 1902; Москва, 25.III. 1902.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 7. Место отправления определено по почтовому штемпелю. Ответ на п. 99.

[1] «Одесский листок» все же откликнулся на книгу Телешова. В короткой рецензии были отмечены «литературный талант» автора, «жизненная правда» в его рассказах, «безграничная любовь к своим героям и умение пробудить ее в читателе» («Одесский листок», 1902, № 94, 9 апреля; подпись: С. Б. ⟨С. А. Барский?⟩).

[2] Наум Леонтьевич *Геккер* (1862—1920) — участник революционного движения, в 1882—1891 гг. был на каторжных работах в Сибири, затем на поселении; в 1898 г. по болезни получил разрешение покинуть Сибирь и поселился в Одессе («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. III, 80-е годы, вып. 2. М., 1934, стлб. 760—761). В «Одесских новостях» Геккер постоянно выступал с литературно-критическими и публицистическими статьями, рецензиями, обзорами. Его статья «Литературные заметки. Н. Телешов. Повести и рассказы. М., 1902» появилась в «Одесских новостях», 1902, № 5598, 4 апреля. Отмечая, что «талант г. Телешова — не очень большой и глубокий, но весьма симпатичный и надлежаще направленный», что писатель «видел и наблюдал много интересного», Геккер выделил в качестве лучших рассказы: «Домой!», «Елка Митрича» и «Сухая беда». О Бунине Геккер написал несколько позднее („Настроение" в прозе. Ив. Бунин. Рассказы, т. I. СПб., 1902».— «Одесские новости», 1902, № 5657, 11 июня).

[3] Отзыв о книге Телешова в «Южном обозрении» 1902 г. не обнаружен.

[4] Архив А. А. Карзинкина не сохранился, и письма Бунина к нему остаются неизвестными.

[5] Среди писем Бунина к Белоусову, хранящихся в ЦГАЛИ, этой телеграммы нет.

101. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 25 марта 902

Милый Иван Алексеевич,

Сейчас получил твое письмо и отдал «вклад» Карзинкину. Дело вот какое. Я, внезапно для себя, еду 30-го в Крым, в Алупку. Конечно, буду у Чехова и в Ялте [1]. Как бы это схлестнуться с тобою? Когда? Где? Получил твою книгу — спасибо [2]. Про стихи твои ничего не могу сказать. Старая крыса Гербек не шьет, не порет. Послал письмо ему. С 81-й страницы придется поручить Александру Андреевичу. Только боюсь, ибо там чепухи немало. Ты это брось — насчет стеснений и церемоний. Я не для тебя, а для себя ругаюсь с Гербеком. Я вообще не могу не ругаться, когда меня обдувают да еще из-за глупости, из-за упрямства. Нет, шалишь! Не позволю! Без меня что будет, не ручаюсь, а уж при себе не дам тебя в обиду.

Остановлюсь в Алупке на даче Долгова.

Пришли туда записку так: квартира Карзинкина, Н. Телешову. Напиши, где увидимся, где Максимыч [3] и проч.

Мария Павловна сейчас была у нас: она выезжает в воскресенье 31-го, на сутки позднее меня.

Куприн действительно женился на М. Давыдовой. Знаю из верного источника, так что ручаюсь за верность. Знаю даже, что журнал принадлежит ей, но доходы с него делятся так: $^1/_3$ ей, $^1/_3$ ее брату, и $^1/_3$ Ангелу [4].

Это факт.

Супруги едут, кажется, на Пасху в Крым [5], так что сам увидишь; только чур: чужого не брать!

Ладно. Увидимся, значит. Радуюсь.

Только мало я пробуду. Ну да ладно!

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 12—13. Ответ на п. 100.

[1] Телешов пробыл в Крыму с 1 до 16 или 17 апреля 1902 г. 19 апреля, уже находясь в Москве, он писал Ю. А. Бунину: «Дорогой Юлий Алексеевич. Вернувшись из Крыма, ⟨...⟩ я привез вам поклон и еще кое-что от вашего брата Ивана. Вот точная выписка из моей дорожной книжки. Записано наскоро, кратко, но точно со слов Ивана Алексеевича: „Бунин Иван ругает брата Юлия; просит немедленно писать ему; писем не получает и злится. Проживет в Крыму до начала мая; пока обливается водой, впрыскивает мышьяк и пьет молоко. В начале мая поедет в Одессу“. Вот и все» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 120, л. 7—8).

[2] Книгу: «Рассказы». СПб., 1902. Экземпляр с дарственной надписью Бунина хранится в МКТ.

[3] Горький приехал в Крым 11 ноября 1901 г. и оставался там до 23 апреля 1902 г. («Летопись Горького», 1, стр. 350 и 382).

[4] См. п. 96 и примеч. 2 к нему.

[5] Пасха в 1902 г. приходилась на 14 апреля. В это время Куприны находились в Москве. В Крым они отправились в середине мая (см. М. К. Куприна-Иорданская. Годы молодости, стр. 83—84).

102. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Ялта, 20 апреля 1902 г.⟩

Дорогой друг, погода все та же! Чувствую себя скверно. Как ты и семья? Поклонись жене, поцелуй ручку. Нилус уехал, не дописавши портрета — привезли Книппер больную [1].

Пиши мне, пожалуйста, на Чехова. А книгу *ж д у* [2] — пришлите прямо: Ялта, мне, без Чехова.

Целую тебя. Поклон Александру Андреевичу и Софье Андреевне.

Твой душой И. Бунин

Горький едет в Нижний [3].

20 апреля 1902

На обороте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Ялта, Таврич. г., 20.IV.1902; Москва 24.IV.1902.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 8. Закрытое письмо — «секретка». Место отправления определено по почтовому штемпелю.

[1] П. А. Нилус вынужден был прервать работу над портретом Чехова 14 апреля 1902 г., когда в Ялту привезли тяжело больную О. Л. Книппер («Летопись Чехова», стр. 705).

[2] «Новые стихотворения».

[3] Горькому было разрешено жить в Крыму до 15 апреля 1902 г. По его просьбе отъезд был отсрочен до 23 апреля, когда он и выехал в Н. Новгород («Летопись Горького», 1, стр. 381—382).

103. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва› 26 апр‹еля› 902

Дорогой Иван Алексеевич.

Приехал я вовсе больным и всю Пасху сидел дома, никуда не выходя. Теперь выхожу, но чувствую себя больным, но чем? какой болезнью? Не знаю.

В Крыму, говоря фигурально, во мне что-то треснуло внутри и до сих пор я вялый, усталый, ни к черту негодный человек. Что со мною?

А что-то неладное есть.

Впрочем — наплевать на все!

Книга твоя, вероятно, печатается. Чертов сын Гербек, напечатав 80 страниц, вдруг увидал, что на остальные 20 такой бумаги не хватит, а так как бумагу ему нужно выписывать откуда-то (думаю, что не ближе Индии), то, конечно, произошла остановка. Я не могу его видеть. А если увижу, я дам ему в морду.

Долго ли ты просидишь там?

Поклонись Антону Павловичу и Марии Павловне. Очень хорошие они люди.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 15—15 об.

104. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Лукьяново, 10 мая 1902 г.›

Митрич, дорогой, отдай или отошли Александру Андреевичу это письмо как можно скорее: не знаю его адреса. (Сообщи, кстати сказать.) Это уже последнее беспокойство по поводу этой злополучной книги.

Если будешь пересылать прилагаемое письмо по почте — пошли заказным. Боюсь, пропадет.

Крепко тебя целую, кланяюсь жене. Напиши мне о себе — пожалуйста.

Твой душой Ив. Бунин

Лукьяново, Тульской губ.,
10 мая 1902

На конверте: Заказное. Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Лукьяновка, Тульск. г., 11.V. 1902; Почтовый вагон, 11. V. 1902; Москва, 13.V.1902.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 9.

В первых числах мая Бунин приезжал на короткий срок в Москву. 30 апреля 1902 г. Телешов писал Ю. А. Бунину, приглашая его к себе в среду 1 мая: «Получил от Ивана Алексеевича телеграмму, что едет в Москву. Вероятно, он как раз попадет к среде. Жду обоих» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 2, ед. хр. 10, л. 5). Приезд Бунина был связан, вероятно, с необходимостью посмотреть корректуру его книги. Упоминаемая телеграмма не сохранилась.

105. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Лукьяново, 19 мая 1902 г.›

Послал тебе письмо вместе с письмом к Александру Андреевичу [1]. Почему молчишь? Как поживаешь? Очень желаю тебе здоровья и вдохновенья, кланяюсь Елене Андреевне. Думаю приехать к тебе в начале июня [2], а пока все-таки прошу написать [3].

Душой твой Ив. Бунин

Лукьяново, Тульской губ., Ефремовского у.
19* мая 1902

* *В подлиннике описка:* 20

На обороте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Его высокоблагородию Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Лукьяновка, Тульск. г., 19.V.1902; Москва, 20.V.1902.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 21, л. 10. Открытка.

[1] См. п. 104.

[2] Бунин был в Москве в июне 1902 г., затем вернулся в деревню, а оттуда около 28 июня выехал в Одессу (см. п. 107).

[3] Телешов ответил Бунину 23 мая (см. п. 106).

106. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Малаховка, мая 23 1902

Дорогой Иван Алексеевич.

Извини, голубчик, я долго не мог ответить тебе: все дела, да дела — нет времени обдумать что-нибудь.

Книга твоя застряла. Она сидит в цензуре из-за добавленного стихотворения [1]. Чем это все кончится — не могу даже представить.

Холодище у нас за эти два дня самый дурацкий, а то стояла погода дивная.

Приезжай к нам, когда хочешь,— в любое время.

Карзинкину письмо твое передал лично, и он купил бандеролей, но книги все нет. Уж не врет ли этот старый хрен Гербек? Может быть, опять бумаги не хватило?

Здесь у нас все по-прежнему. По-прежнему все собираюсь писать рассказ и по-прежнему не имею времени. Удивительно нескладная жизнь. Никак ее не повернешь. Мелочи, точно моль, все съедают. Ну, да недолго теперь. Вылезу.

Приезжай же. Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 14—14 об. Ответ на п. 104 и 105.

[1] Из-за стихотворения «Чатырдаг» (см. п. 95).

107. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 29 июня 1902 г.⟩

Кажется, забыл сообщить тебе свой адрес: Одесса, 13-я станция трамвая на Большой Фонтан, дача Климовича, квартира Буковецкого.

Целую. И. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: 1 железнодор. п. о., 29.VI.1902; Москва, 2. VII. 1902.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 11. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

108. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, июль (после 5) 1902 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Посылаю тебе письма и вырезку из «Нижегородского листка», где тебя ругают [1]. Хоть и неприятно посылать брань, но лучше видеть ее, чем вовсе не знать. Все остальное по-прежнему. Был у нас твой брат. Тоже ругает тебя за отъезд. Курнин обещает дать уплату за сборник, но еще не дал. Был Михеев, о рассказе своем, про доктора, ни слова. В Москве никого нет. Письма от Пятницкого тоже, вероятно, нет и не будет. Ну и черт с ним, если он такая свинья, что даже не отвечает [2].

Вот и все. Н. Т.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 24. Датируется по упоминанию о рецензии в «Нижегородском листке».

[1] Рецензия А. А. Дробыш-Дробышевского на «Новые стихотворения» («Нижегородский листок», 1902, № 180, 4 июля; подпись: А. У-ский). Автор рецензии писал, что стихотворения Бунина «написаны как будто во сне. Отдельная строфа в них удачна, но они плохо связываются одна с другой и целого обыкновенно не выходит». Из 52 стихотворений, составляющих сборник, он нашел удачными только 12—14 («Ракета», «Закат», «Элегия», «Сон-Цветок» и др.) Особенно же ему понравился перевод сонета Мицкевича «Чатырдаг»: «Перевод этот и образен, и силен, и очень близок к подлиннику». В заключение он упрекал Бунина в вычурности выражений, видя в этом проявление декадентского желания отделиться от толпы. Об этой рецензии Горький писал 5 июля 1902 г. Пятницкому («Архив А. М. Горького», т. IV. М., 1959. стр. 93).

[2] Телешов ждал ответа Пятницкого по поводу выпуска сборника своих «Рассказов».

109. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Севастополь, 2 августа 1902 г.⟩

Дорогой Митрич, прости, что не писал — не о чем было. Пятницкий до сих пор молчит, что я считаю хорошим признаком: верно послал относительно издания твоих рассказов опросы пайщикам [1]. Теперь буду в Ялте докупываться в море [2]. Пиши *на Чехова*, пожалуйста, пиши — не сердись на меня.

Целую тебя и кланяюсь супруге.

Твой душой И. Бунин

На конверте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Севастополь, 2. VIII.1902; Москва, 5.VIII. 1902.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 12. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю. Ответ на п. 108.

[1] См. п. 99 и примеч. 3 к нему.

[2] В конце июля Бунин гостил в Гурзуфе у М. П. Чеховой. 1 августа он выехал в Севастополь, чтобы пароходом отправиться в Ялту, откуда он собирался снова в деревню (см. письмо Бунина к М. П. Чеховой 2 августа 1902 г.— «Хозяйка чеховского дома», стр. 129). Как долго Бунин оставался в Ялте, установить не удалось.

110. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 15 авг⟨уста⟩ 902

Дорогой Иван Алексеевич.

Читал твое последнее произведение в «Курьере» и узнал из него, что ты выехал в Ялту. Хотя и выехал со скандалом [1].

Что, брат? Морские капитаны шутить не любят? Оказывается, они любят раздетых только дам, а мужчин внушительного вида не любят. Это, должно быть, тот самый капитан, про которого поется в песенке:

А капитан любезен был:
Каюту предложил,
И расстегнул корсет... [2]

Воображаю я тебя в твоей шотландской рубашке, негодующего, в длинном галстуке и широком поясе, глядящего презрительно с каната на властного капитана.

Ну что ж... Будут судить теперь? За появление в публичном месте в неприличном виде? Любопытно, чем это все кончится.

Читал твои стихи в «Журнале для всех». Не нд-равится!

О, как был я зол и неумен...

Не нд-равится!

А вот последняя строка, или вернее — две последние — превосходно! [3]

Ну, что же ты делал все это время? Купался? А еще что? Играл в карты и проигрался? А еще что?

Что твоя пьеса? Двинулась или погибла? [4]

Пятницкий молчит, как 20 000 сукиных сынов молчать не могут... [5]

Разорву я ризы свои, посыплю голову пеплом и пошлю все к черту. Что за отношения, я удивляюсь!

И все они собаки! Чуть дела наладятся, чуть на их улице праздник, сейчас уж и нос на колокольню, а ноги на стол... Свиньи!

Ну-с — погода у нас все такая же, как при тебе: дождь, холод, а главное — дождь! Каждый день. Вот только дня три порядочных, а то два месяца не небеса, а болото. Вот и все. Я, конечно, ничего не писал. С «Певцом» так запутался, что все испортил и плюнул. Ничего не вышло [6].

Остальное все идет, как шло.

Прощай. Что ж не пишешь? Зайди к Синани [7], поклон ему. Получил ли он книги? сборник? Можно ли послать ему десяток моих книг? Спроси и дай ответ скорее. Будет скоро случай их послать на руках.

Знакомым поклон.

Чехов, говорят, под Москвой, у Станиславского на даче [8].

Жена тебе кланяется.

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 17—18 об.

[1] 30 июля в Одессе перед отходом парохода «Св. Николай» в «последний крымско-кавказский рейс» у Бунина произошло столкновение с капитаном парохода, потребовавшим, чтобы он покинул кают-компанию, потому что на нем был легкий летний костюм. Искаженная информация об этом инциденте была помещена в «Одесских новостях» (1902, № 5705, 31 июля), а отсюда перепечатана в газете «Крымский курьер» (Ялта, № 201, 5 августа). Бунин ответил на это открытым письмом в редакцию газеты «Курьер» (№ 223, 14 августа). Из него Телешов и узнал о происшествии.

[2] Цитата из популярной в то время шансонетки.

[3] Стихотворение «Первая любовь», напечатанное в «Журнале для всех», 1902, № 8, стлб. 963—964 (см. т. 1, стр. 465).

[4] 29 июля 1902 г. Бунин писал Белоусову, что последнее время много работал, дал в «Русскую мысль» рассказ и стихотворение, и далее продолжал: «...а кроме того, увлечен писанием драмы. Дело идет, слава богу» (ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 32). Пьеса эта не была закончена Буниным.

[5] См. п. 99 и 108.

[6] Был ли позднее написан этот рассказ, установить не удалось.

[7] Исаак Абрамович *Синани* (? — 1917) — владелец книжного магазина в Ялте.

[8] С 5 июля 1902 г. Чехов с женой жили под Москвой, на даче К. С. Станиславского в Любимовке (близ ст. Тарасовка Ярославской ж. д.). 14 августа Чехов уехал в Ялту.

111. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 23 декабря 1902 г.⟩

Прощай, Николай Дмитриевич! Еду в Одессу: [1] Софиевская, 5. Поклон жене.

И. Бунин

23 дек. 1902

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 14. Открытка с фотографией Бунина, изд. К. Фишера, Москва. Почтовые штемпели отсутствуют (вероятно, была послана в конверте). Место отправления определено по тексту.

[1] Бунин выехал из Москвы вместе с С. А. Найденовым в Одессу, чтобы дальше отправиться за границу.

112. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 26 декабря 1902 г.›

С Новым годом!

Что ж ты убежал, не простившись? Сегодня запретили «Курьер» за «Гусляра» [1].

Долго ли пробудешь в Одессе? И куда поедешь? [2]

Н. Т.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 22. Ответ на п. 111. Открытка с фотографией Телешова.

[1] Поводом к запрещению «Курьера» на два месяца (по 26 февраля 1903 г.) послужило опубликование в № 344 от 13 декабря 1902 г. стихотворения Скитальца «Гусляр» и подробного отчета «На литературно-музыкальном вечере». В отчете сочувственно излагался инцидент, происшедший в зале Благородного собрания 12 декабря, когда Скиталец, бурно поддержанный публикой, прочел стихотворения «Гусляр» и «Нет, я не с вами...», а полиция потребовала прекращения вечера. В вечере участвовали (кроме Скитальца) Андреев, Найденов, Бунин и Телешов. Судя по воспоминаниям Скитальца, последние два должны были читать после него — таким образом, если верить этому свидетельству, их выступления не состоялись (см. Скиталец. Повести и рассказы. Воспоминания. М., «Московский рабочий», 1960, стр. 427—430; «Записки писателя», стр. 46—48; «Лит. наследство», т. 72, стр. 169 — здесь история закрытия «Курьера» изложена по цензурным документам).

[2] Бунин прожил в Одессе (с кратковременным выездом к сестре в Новочеркасск) до начала апреля, после чего уехал в Турцию.

113. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Одесса, 15 января 1903 г.›

Напиши, пожалуйста, как живешь, как семья, какие новости. Грех, Митрич, так бесстыдно молчать. О себе что сказать? Жив, хвораю, погода в Одессе дурная...

Крепко тебя целую. Твой И. Бунин

Софиевская, 5
15 янв. 1903

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 16.I.1903; Москва, 18.I.1903.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 28, л. 1. Открытка.

114. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 19 января 1903 г.›

Милый Иван Алексеевич!

Куда ж я стал бы тебе писать, когда не знаю, где ты. Говорят, уехал в Константинополь? Говоришь, что хвораешь... Все, брат, так-то. Все больны. Праздники все сидел дома у постели жены и Новый год встречал у постели же, с куском сыра в руках.

Вот как!

И сын лежал две недели. Теперь выздоровели все. Мерзко все было!

Вышла твоя книга стихов, которую купил [1]. Должен сказать, что она производит впечатление «настоящего» тома, серьезного. Очень нравится мне.

Конечно, эта покупка не освобождает тебя от присылки такой же книги на имя жены. Моя книга что-то застряла [2].

Получил ли ты приглашение от Кауфмана сообщить свою биографию для книги Полнера? Он пишет, что издает книгу характеристик и пор-

третов. Выпуск I: Чехов, З. Гиппиус, Вересаев, Чириков, Горький, Скиталец, Н. Т⟨елешов⟩, Данилин, Андреев и ты [3].

Я сообщу ему твой адрес, если пробудешь еще в Одессе. Ему нужна твоя автобиография. Пускай печатает, дурного нет ничего в этом.

Очень интересна была прошлая Среда. Читал Брюсов об искусстве [4]. Были споры и не кончились. Будут продолжены.

Что ж еще? Все тебе наши кланяются.

Пиши обстоятельнее о себе. Привет Федорову и Нилусу, если сей последний меня помнит.

Твой Н. Телешов

19 янв. 903

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 25—26. Ответ на п. 113.

[1] Книгу Бунина: «Стихотворения 1889—1902». СПб., изд. т-ва «Знание», 1903 (Собр. соч., т. 2). Экземпляр ее с дарственной надписью Бунина, датированной 7 марта 1903 г., хранится в МКТ. Эта книга не раз упоминается в переписке Бунина и Горького («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 22—24, письма 18, 19 и 20; последнее из них датировано здесь ошибочно началом августа 1903 г. В действительности оно относится к лету 1902 г. — см. настоящ. том, кн. 2, стр. 63, примеч. 78).

[2] Книга Телешова «Рассказы», т. I, которая готовилась к печати в изд-ве «Знание», вышла в свет в конце января — начале февраля 1903 г.

[3] Тихон Иванович *Полнер* (1864—1935) — журналист. Задуманная им книга не была издана.

[4] Брюсов записал в дневнике (декабрь 1902 — январь 1903): «На одной „среде" у Телешова я читал об искусстве. Были: Найденов, Михеев, Бунин № 2, Кожевников etc., etc. Было скучно. Они относились ко мне очень мило» (Валерий Брюсов. Дневники 1891—1910. М., 1927, стр. 129). Мысли о новом искусстве, высказанные в этом докладе, Брюсов изложил в статье «Ключи тайн» («Весы», 1904, № 1).

115. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨9 февраля 1903 г.⟩
Новочеркасск, Биржевая ул.,
дом Пашкова, кв. Ласкаржевского —

вот где я [1]. Напиши, пожалуйста, что-нибудь о себе, о семье и литературных дрязгах. Что Среды? Что значит присутствие на них Брюсова, этого высокомерного болвана, так нагло отделавшего меня в «Новом пути» под фамилией «Аврелий» (Валерий?)? [2]

Едучи сюда, послал Александру Андреевичу и Елене Андреевне стихи простой бандеролью. Дошли ли? Что твоя книга? Пишешь ли? Я хвораю и читаю. Пробуду здесь... не знаю, сколько. Пиши, милый, пожалуйста. Поклон «Среде».

Твой Ив. Бунин

9 февр. 1903 г.

На конверте: Москва. Чистые пруды, дом Терехова. ЕВБ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон, 9.II.1903; Москва, 11.II.1903.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 28, л. 2. Ответ на п. 114.

[1] Бунин гостил в Новочеркасске у сестры Марии Алексеевны, муж которой И. А. Ласкаржевский служил там на железной дороге помощником машиниста.

[2] В журнале «Новый путь» (1903, № 1) появилась рецензия Брюсова на «Новые стихотворения» Бунина, подписанная псевдонимом: Аврелий (см. настоящ. кн., стр. 431—432).

116. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Константинополь, 11/24 апреля 1903 г.⟩

Привет!

Ив. Бунин

Константинополь, 11 апр. 1903 г. [1]

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВИД НА БОСФОР

Открытка, посланная Буниным Телешову 11 апреля 1903 г.

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

На обороте: Russie. Россия. Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: ⟨*место нрзб*⟩, 23.4.1903; Москва, 21.IV.1903.

МКТ. Открытка с фотографией Босфора и подписью: «Salut de Constantinople. Château d'Europe. Bosphore».

Дата, указанная Буниным, не согласуется с почтовым штемпелем отправления. Но ее правильность подтверждается письмом к Ю. А. Бунину 12—13/25—26 апреля 1903 г. («Материалы», стр. 86—89).

[1] Бунин выехал из Одессы 9 апреля и пробыл в Турции более двух недель.

117. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Лукьяново, 30 апреля 1903 г.⟩

Дорогой Митрич, жду от тебя писем. Адрес мой: Почтовая станция *Лукьяново*, Тульской губ.

Сделай мне одолжение — пошли открытку с своим портретом в Одессу, Коблевская, 27, Боре Заузе[1]. Напиши под портретом:

«Боре Заузе. Н. Телешов».

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Лукьяновка, Тульск. г., 30.IV. 1903; Москва, 1.V.1903.

ГБЛ. ЛМ XXIII/1 А — 2. Открытка с фотографией Бунина. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Борис Заузе — сын художника-графика Владимира Христиановича *Заузе* (1859—1939), жившего в Одессе с 1885 г., приятеля Бунина, активного участника Южнорусского товарищества художников.

118. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва› 1 мая 903. В Лукьяново

Дорогой Иван Алексеевич.

Посылаю тебе карточку, которую пошли этой самой Боре Заузе, но пошли в конверте, истрать 7 коп. А то противно посылать открытку человеку незнакомому, точно я навязываюсь. Глупо!

Вчера была Среда у Глаголя. Обсуждали вопрос о «Русской мысли»[1].

Как я и ожидал, ничего путного не вышло. Андреев заявил, что свое слово о тысяче он берет обратно. Среду он считает «клубиком», никакого общего единения не признает за членами. Писать он может в любом журнале и потому связывать себя «Русской мыслью» не хочет. Присутствие там Гольцева его тяготит.

И проч.

Словом, решили бросить мечту к черту.

Тимковский в ответ ругался. Я молчал.

Я ждал этого. Если во что и верил, то лишь в это самое, что у нас не может быть журнал на таких началах. Я и не гнался за ним, не веря прочности нашей компании.

Вообще ничего не хочется делать. Не верю.

Писать больше не могу. Страшно устаю. Занят по горло с утра (прямо с постели — уж дела ждут, и так до ночи). И откуда берутся, проклятые?! Кажется, стал свободен. Ан нет. Еще хуже стало. Малаховка пуще нефти меня разгрызла. Впрочем, это только сейчас. С июня дело пойдет иначе. Или с июля. Дело временное, но лютое.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 23—24

[1] В 1903 г. редактор-издатель «Русской мысли» В. М. Лавров решил, в связи с серьезной болезнью, передать журнал в другие руки. «Среда», у членов которой и ранее возникала мысль о приобретении собственного журнала, хотела воспользоваться этим случаем и купить «Русскую мысль» на паях. При этом предполагалось, что В. А. Гольцев, бывший с 1885 г. негласным редактором, сохранит свою роль в журнале. Осуществлению этого проекта помешали не только разногласия в самой «Среде», о чем пишет Телешов, но и отказ Лаврова от мысли о продаже журнала. См. об этом: письмо Чехова к А. С. Суворину 17 июня 1903 г. (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. XX. М., 1951, стр. 113); письмо Д. Н. Мамина-Сибиряка к В. А. Гольцеву 2 июля 1903 г. («Архив В. А. Гольцева». М., 1914, стр. 314); письма Гольцева к Телешову 23 марта, 31 мая и 28 августа 1903 г. (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 122).

119. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Лукьяново, 7 июня 1903 г.›

Дорогой Митрич, ты неправ — я не разлюбил тебя. Говорю тебе это от всего сердца. Пожалуйста, напиши мне о себе — как ты поживаешь и что чувствуешь,— эта последняя короткая записка твоя такая грустная!..[1]

Поклонись от меня Елене Андреевне и всем Карзинкиным.

Пиши на Лукьяново, Тульской губ., Ефремовского у. Я снова в деревне — уже давно. Был на минутку в Нижнем[2].

Твой душой Ив. Бунин

7 июня 1903 г.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 28, л. 3.

[1] Эта записка Телешова остается неизвестной.

[2] Точное время этой поездки Бунина в Москву и оттуда в Н. Новгород к Горькому неясно. В мае Горький ездил в Москву и Петербург, в Нижний он возвратился 21 мая и пробыл там до 8 июня («Летопись Горького», 1, стр. 437 и 440). Следовательно, Бунин был у Горького в конце мая или в первых числах июня.

120. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 18 июня 1903 г.›

Дорогой Иван Алексеевич!

Живу в хлопотах. Отделываю бунинскую комнату. В половине июля будет все готово. Очень хотел бы видеть тебя. Соскучился. Приехал бы? Только сейчас комнаты нет у нас. Может быть, у станции поживешь недельку-другую? Там есть [1].

Твой Н. Т.

На обороте: Тульской губ., Ефремовского уезда, почт. станция Лукьяново. ЕВБ Ивану Алексеевичу Бунину. Почт. шт.: Москва, 18.VI.1903; Ефремов, Тульск. губ., 20.VI.1903; Лукьяновка, Тульск губ., 21.VI. 1903.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 22. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

1. В Малаховке летом 1903 г. Бунин не был. В Москву он приехал только в начале сентября.

121. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Лукьяново, 30 июня 1903 г.›

Спасибо, дорогой Митрич. Только я сейчас наладился работать. Напоминаю тебе, что пора и тебе садиться за рассказы для сборника «Знания» [1]. В августе надо непременно представить. Горький просит напомнить [2]. Крепко жму твою руку, кланяюсь Елене Андреевне.

Перед приездом напишу.

Твой душой И. Б.

30 июня 1903 г.

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. ЕВ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон, 30.VI.1903; Москва, 1.VII. 1903.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 28, л. 4. Открытка.

[1] Для «Сборника т-ва „Знание“ за 1903 год», кн. 1 (СПб., 1904) Телешов дал рассказ «Между двух берегов». Бунин напечатал здесь семь стихотворений и рассказ «Чернозем».

[2] Это письмо Горького к Бунину остается неизвестным. Вероятно, оно было написано сразу после возвращения Горького из поездки по Волге и Кавказу. В Н. Новгород он приехал 27 июня.

122. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 13 августа 1903 г.›

Милый Иван Алексеевич! Какого же ты черта не едешь до сих пор? Ведь все лето прошло. Как тебе не стыдно! Я уже давно на новоселье [1]. Собираюсь жить весь сентябрь. Смотри, брат: если не приедешь, то «Бунинскую» башню переименую в «Свинскую» и выпью все белое рейнское, которое приготовил для свидания с тобою.

Я очень замучился, расстроил опять нервы, был болен чем-то, и мне все кажется, что я скоро умру.

Ну, вот: приезжай же скорее. Право, у нас неплохо. Жена тебя очень ждет и желает видеть тебя скорее.

Твой Н. Телешов

13 августа 1903

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 21—21 об.

[1] Летом 1903 г. Телешов приобрел в Малаховке собственную дачу.

123. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Лукьяново, 25 августа 1903 г.›

Спасибо, дорогой. Буду в Москве около первого сентября.
Поклон Елене Андреевне.

Ив. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон, 25.VIII. 1903; Москва, 26.VIII. 1903.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 28, л. 5. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю. Ответ на п. 122.

124. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва› 1903, ноября 24

Дорогой Иван Алексеевич.

Вчера ты не пришел к Александру Андреевичу. Я подумал, что ты «рассонетился, Ванюша».

Мне хотелось тебе показать письмо Максима I, то самое иногороднее, о котором тебе дали справку у Тестова. Это было от Максимыча [1]. Не знаю, как понять это: «лед это или пламень»? [2] Праведник я перед ним или грешник? богатый или нищий?— как говорится в Писании.

Пишет он так (буквально): «Николай Дмитриевич — рассказ недурен, дорогой мой, и, конечно, идет. Никаких сокращений не потребуется».

Желал бы я знать, что значит это «недурен».

Брюнет недурен,— говорят б‹...›и в лицо брюнету, которого хотят «иметь», выражаясь деликатно.

Винцо — недурно!— говорят пьяницы, щуря глаз и разглядывая на цвет бокал, при этом зная, что вино стоит пуд стерлингов за бутылку.

Недурно для начала!— говорит турок, которого посадили на кол.

Недурно,— говорит милый редактор, возвращая автору рукопись.

Это самое «недурно» имеет 25 тысяч значений, совершенно противоположных.

Неужели Максим нарочно завернул такое словечко, чтоб понимать его на 25 тысяч фасонов?

Недурно пущено, отец Мисаил!— как говорится в Писании.

Что это: похвала, пренебрежение, снисхождение, или ирония, или милая приятельская шутка?

Черт его знает!

От Алексеевского я ни строки не получал, поэтому и не был у Андреева.

А ты? Очень интересно знать. Напиши мне, пожалуйста. Был ли там Юлий? Что говорили? На чем остановились? Пока что — их публикации бессмысленны и не дадут ни одного подписчика. Цена журналу огромная, и выписывать его станут только библиотеки да еще 3000 человек частных. А Филиппов их все-таки продаст за десять сребреников — всех. А то и за пятачок. «Во всяком чину́ есть по сукину сыну́»,— говорит пословица, не исключая и чин редакторский [3].

Ну, вот и все. Ответь мне как и что — обо всем.

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 19—20 об.

[1] Письмо Горького 23 ноября 1903 г., в котором Горький откликнулся на присылку рассказа Телешова «Между двух берегов» для первого сборника «Знания» (Горький, т. 28, стр. 293). Ниже Телешов приводит текст этого письма — без заключительной строки.

[2] Неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. II, строфа XIII).

[3] Речь идет о возникшем снова проекте приобрести право на издание журнала «Русское обозрение» (см. п. 54 и примеч. 4 к нему). Аркадий Павлович *Алексеевский* (1871—1944) — друг и родственник Леонида Андреева, он должен был стать издателем журнала («Лит. наследство», т. 72, стр. 86).

125. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Nice, le Janvier 30/17 1904 [1]

Дорогой Митрич, живу так себе. Хворал — теперь лучше. То июнь, то август — вот погода. Игнатову послал все, что мог [2].

Ну что, как «Среды»? Что же ты замолчал на самом интересном месте? Разозлило меня то, что ты передаешь.

Вижу изредка С. И. ⟨?⟩. Поклон передал. Передай и ты мой Елене Андреевне и всем своим и прими мой поцелуй!

Твой душой И. Б.

Пожалуйста — пиши.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 29, л. 1. На бумаге с бланком: Grand Hôtel Continental de Genève. Savornin, propriétaire. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] В конце декабря 1903 г. Бунин и С. А. Найденов уехали за границу — во Францию и Италию. В Москву они возвратились в начале февраля 1904 г.

[2] Вероятно, имеется в виду Николай Иванович Игнатов, петербургский книгоиздатель.

126. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Петровск [1], Дагестанской обл.,
14 июня 1904 г.⟩

Митрич, кланяюсь тебе, качаясь на волнах Каспийского моря! И всем твоим также.

Ив. Бунин

14 июня 1904 г.

На обороте: Москва. Чистые пруды, д. Терехова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Петровск. Дагест. об., 14.VI.1904; Москва, 17.6.04.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 29, л. 2. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Петровск — ныне г. Махачкала, столица Дагестанской АССР.

127. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 28 октября 1904 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Очень жалею тебя, больного и ослабелого (осла белого). Что с тобой? Если простуда, это не беда, а если инфлуэнца, то займись, потому что она, проклятая, очень коварна и бросается на слабые стороны организма.

Я ждал, что сегодня лично скажу тебе, но все равно, напишу то же самое. О Чехове.

Я имею серьезные возражения и думаю, что, послушав моего совета, ты хуже не сделаешь.

Первое: об Алексее Толстом. Я вовсе не согласен с мнением Чехова: у Толстого есть немало хороших стихов, обличающих в нем художника и поэта, и огульный приговор несправедлив. Да, может быть, и Чехов имел в виду какие-нибудь [несколько] некоторые стихотворения, и так случайно обобщил. Если б даже и был он такого мнения, но никогда не-

чатно и публично не высказывал его, то лучше это место из воспоминаний пропустить. Хотя бы даже потому, что оно не характерно для такой деликатной натуры, как Антон Павлович [1].

Второе: о женитьбе.

Несмотря на предисловие, которого я не слышал, но которое, ты говоришь, есть, все-таки остается некоторый «шокинг» при словах: «меня женили». Или нужно еще яснее, настолько яснее выразить шутку, чтоб даже у каменной бабы не осталось сомнения в шутке. А еще лучше — умолчать. А то я уже слышал и от других, что ты лягнул Ольгу Леонардовну. А это не надо [2].

Третье: Наш брат-писатель любит ордена, или что-то в этом духе. И еще: «не писатели, а извозчики» [3].

Здесь тоже что-то неладное. Конечно, не читав вещи, трудно сказать определенно. Но необходимо прочитать внимательно эти места, что и рекомендую тебе.

Вот пока тебе мое мнение. Из напечатанной страницы уже никогда не вырвешь ни слова. Будь осторожен.

Поправляйся скорее [4] и приезжай читать. Я тебя тогда и не так еще изругаю [5].

Твой Митрич

1904 окт. 28

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 27—28 об. Ответ на недошедшее до нас письмо Бунина.

Воспоминания Бунина «Памяти Чехова», которым посвящено это письмо, были написаны им в сентября 1904 г. по предложению Горького для задуманного сборника в память Чехова («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 28—29 — письмо Горького 11 июля 1904 г.). Вместе с воспоминаниями Куприна они были напечатаны в «Сборнике т-ва „Знание“ за 1904 год», кн. 3 (СПб., 1905, вышел в свет 22 января). 24 октября 1904 г. Бунин прочел свои воспоминания в Обществе любителей российской словесности, на торжественном заседании памяти Чехова («Лит. наследство», т. 68, стр. 401). Телешов присутствовал на этом заседании. В ЦГАЛИ хранится автограф воспоминаний Бунина с авторской правкой после чтения 24 октября (перед отсылкой в «Знание») и гранки первой половины текста (ф. 44, оп. 1, ед. хр. 18).

[1] Телешов имеет в виду следующее место из воспоминаний Бунина: «Потом разговор зашел о стихах, и он вдруг оживленно спросил: „Послушайте, а стихи Алексея Толстого вы любите? Вот, по-моему, актер! Как надел в молодости оперный костюм, так на всю жизнь и остался“». В автографе суждение об А. К. Толстом осталось без исправлений (см. л. 1), в таком виде оно было напечатано и в сборнике «Знания» (стр. 249). Правя рукопись, Бунин сделал непосредственно после этого места вставку:

«Кстати об актерах. Не могу не отметить еще небольшую, но характерную черточку Чехова: он [в общем] очень не любил актеров.

— Вот, знаете, ненавистное мне племя!— говорил он часто.— Пошлое, насквозь прожженное самым дешевым самолюбием!.. Каким гением мнит себя, например, какой-нибудь хрипучий Кошкодавленко, играющий в Кременчуге и гордо именующий себя на афишах: Брянцев-Ртищев! А как невежественно это племя! Оно отстало в развитии от русского общества, по крайней мере, на семьдесят пять лет. [И вот еще что интересно,— прибавлял он в таких случаях.— Заметили вы, как говорят о прежних актерах: „Нет, батюшка, теперь таких артистов уж нет. Вот, например, в мое время гремел такой-то... О, какой это был ддивный артист!“ А этот „ддивный“ артист и был именно Кошкодавленко!]»

Эта вставка (без зачеркнутых строк) была набрана, но в гранках целиком вычеркнута Буниным.

В книгу Бунина «О Чехове» суждение об А. К. Толстом не вошло.

[2] Признав, очевидно, резонность этого замечания Бунин, правя рукопись, исключил из приводимого им письма Чехова 30 июня 1901 г. шутливую фразу: «Вы ведь слышали, меня женили, и я теперь хлопочу о разводе, нанимаю адвокатов...» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 18, л. 5—5 об.). В книге «О Чехове» это письмо также напечатано в сокращенном виде.

[3] Отмечая, что к Чехову не шло слово «литератор», Бунин пояснял: «прежде всего потому, что большинство нашего брата — люди, живущие только жаждой заработка и повышений, интересами только своего мирка и своей службы». Далее он приводил слова Чехова о литераторах, пользующихся всяческими приемами «для приобретения

успеха»: «А вы всё думаете, что они — писатели! Они — извозчики! — говорил он с горечью». Оба эти места остались в рукописи без изменений, сохранены они и в печатном тексте (автограф, л. 6 и 9; сб. «Знания», стр. 260 и 265). Слова Чехова о «писателях-извозчиках» приводятся и в последней книге Бунина о нем.

[4] 4 ноября 1904 г. Бунин писал Горькому из Москвы: «...я почти 10 дней лежал в постели, больной инфлуэнцией» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 34).

[5] Телешов перефразирует строки из десятой строфы «Песни о Потоке-богатыре» А. К. Толстого: «Я тебя, прощелыгу, нахала,/ И не так бы еще изругала!»

128. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, апрель 1905 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Я забыл тебе сказать (вероятно, ты уже знаешь об этом), что в последнем выпуске словаря Брокгауза — добавочный том — есть о тебе хорошая статья Венгерова. Тебе она, пожалуй, и не очень понравится, но все-таки важен факт, что она помещена и довольно длинна. В словаре этакое место не всякому отводится [1].

Не забудь прислать мне третий оттиск «Каина» [2].

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 25. Датируется по содержанию.

[1] Первый дополнительный том Энциклопедического словаря Брокгауза — Ефрона («Аа — Вяхирь») вышел в 1905 г. С. А. Венгеров в большой (2 1/2 стлб.) статье «Бунин» сближал его поэзию с поэзией Жуковского: «у Бунина небольшое, но очень изящное и симпатичное дарование. Он поэт природы и тихой радости бытия, подернутой лишь изредка дымкой легкой и почти сладкой грусти, тихой мольбы о счастье, тихих воспоминаний о весне жизни». В прозе Бунина автор статьи различал два слоя — в середине 1890-х годов писатель выступил «с картинами реальной жизни, а затем подпал было, как и в поэзии своей, под влияние „новых течений", давших ему весьма мало».

[2] Мистерия Байрона «Каин» в переводе Бунина печаталась в журн. «Правда», 1905, № 2—4; в апрельской книжке был помещен третий акт.

129. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 8 сентября 1905 г.⟩

Милый Ванечка,— благодарю вас за ваши святые молитвы. Вчера получил от Горького милостивое послание и вчера же предстал перед светлые очи.

—«Говорят, хорошо стали писать. Иван Алексеевич сказывал, а он в этих делах понимает...»

Велел скорее переписать и давать в восьмой сборник, не стесняясь темой [1].

Вот что: будь добр, ответь поскорее на Чистые пруды. Хочу сделать так: герой мой снимает не портрет — что невозможно, конечно,— а большую карту России. И перед лицом ее (России, огромной и пустой) делает свой финал и глядит до утра ей в глаза — своей родине [2].

Или в этом роде.

Трудно предположить, чтобы в таком заведении, как у меня по рассказу, была карта России, да еще большая,— все же лучше, чем оставить так, без всего. Тут все-таки родина, и есть над чем задуматься в последние минуты.

Ночь. Один он и родина. Пожалуй, это лучший выход. Посоветуй, сделай милость. А какое заглавие?

Родина?..

В пятницу надеюсь быть в «Розе» около 12 1/2—1 до 2-х [3].

905, 8 сентября Твой Н. Т.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 29—30.

[1] 7 сентября 1905 г. Горький писал Телешову: «Иван Алексеев был у меня сейчас и сказал, что вы написали некую милую вещь. Давайте и другую, о черной сотне» («Архив А. М. Горького», т. VII. М., 1959, стр. 55). О последовавшей затем встрече с Горьким Телешов рассказал в «Записках писателя» (стр. 107—108), отнеся ее ошибочно к июню — июлю 1905 г. Телешов принес Горькому рукопись рассказа «Надзиратель» (позднейшее заглавие «Петля»). Об этом рассказе Горький писал Пятницкому около 10 сентября 1905 г.: «Рассказ Телешова у меня, но его еще нужно переделать, вышлю на днях». По-видимому, автор должен был изменить финал — об этом он и советуется далее с Буниным. Рассказ был напечатан в «Сборнике т-ва „Знание" за 1906 год», кн. 8 (СПб., 1906).

[2] Можно думать, что в первоначальной редакции рассказа околоточный надзиратель Лыжин снимал со стены висевший в полицейском участке портрет царя. В тексте, напечатанном в сборнике «Знания», это место было переделано так, как намечено в письме Телешова; этот финал был сохранен им и в последующих переизданиях рассказа. Автограф нового окончания хранится в МКТ; там же находится машинописный текст всего рассказа, содержащий предыдущую (промежуточную) редакцию: «Затем он пошел в канцелярию, где висела на стене карта России, вставленная в тяжелую золоченую раму, в которой был когда-то портрет старого императора, за ненадобностью отправленный в архив». В окончательном тексте: «...вставленная в тяжелую золоченую раму, в которой был когда-то старый портрет».

[3] В гостинице «Альпийская роза», которая помещалась на Софийке (ныне Пушечная улица).

130. БУНИН и В. Н. МУРОМЦЕВА — ТЕЛЕШОВУ

⟨Константинополь⟩ 15⟨/28⟩ апр⟨еля 19⟩07 [1]

Низко кланяемся.

И. Б.— В. М.

На обороте: Н. Д. Телешову. Москва. Садовая, против церкви Ильи пророка. Дом Орешникова. Russie. Почт. шт.: Cons⟨tantino⟩ple. Galata. Arrivée 30 avril 1907. Москва, 21.IV. 1907.

ГБЛ, ЛМ XXIII/I А — 2. Открытка с цветной фотографией и подписью: Rue Yuksch Kaladrim. Constantinople.

10 апреля 1907 г. Бунин и В. Н. Муромцева выехали из Москвы через Киев в Одессу, чтобы совершить путешествие по Востоку,— это было как бы их «свадебное путешествие». Маршрут путешествия Бунин изложил в п. 131.

[1] Открытка была послана в день приезда в Константинополь.

131. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Бейрут, 4/17 мая 1907 г.⟩

Дорогой друг, совершаем отличное путешествие. Были в Царьграде, в Афинах, Александрии, Яффе, Иерусалиме, Иерихоне, Хевроне, у Мертвого моря! Теперь пишу тебе из Сирии — из Бейрута. Завтра — в Дамаск, потом в Назарет, Тивериаду, Порт-Саид, Каир и, посмотревши пирамиды,— домой, снова через Афины [1].

Крепко целую тебя, кланяемся Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

4 мая 1907

На обороте: Н. Д. Телешову. Дом Орешникова против церкви Ильи, возле Курского вокзала. Москва. Moscou. Russie. Почт. шт.: Oesterr. Post ⟨*дата отсутствует*⟩.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 30, л. 1. Открытка с бланком отеля: Deutscher Hof (Hôtel Allemand).

[1] Более подробный перечень стран и городов, которые Бунины посетили в эту поездку,— по письмам и другим источникам приведен в «Материалах», стр. 108—110.

В. Н. БУНИНА (МУРОМЦЕВА)
Портрет работы Е.И.Буковецкого (масло),Одесса, 1910
Музей И. С. Тургенева, Орел

132. БУНИН и В. Н. МУРОМЦЕВА — ТЕЛЕШОВУ

⟨Дамаск, 7/20 мая 1907 г.⟩

Поклон из Дамаска!
7 мая 07.

И. Б.—В. М.

На обороте: Москва. Дом Орешникова на Садовой, против церкви Ильи (возле Курского вокзала). Н. Д. Телешову. Moscou. Russie. Почт. шт.: Oesterreichische Post ⟨*место и дата отсутствуют*⟩; Москва, 21.V.1907.

ГБЛ. ЛМ XXIII/IA — 2. Открытка с фотографией и подписью: Jaffa. Ansicht von den Gärten aus * (то же на франц. яз.)

133. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨с. Глотово, ст. Измалково[1], 6 июня 1907 г.⟩

Дорогой Митрич, были мы в Сирии, Галилее, Иудее, в Египте, в Греции, а вернувшись в Москву, попали сразу на неприятности: у Веры Николаевны мать больна, и у меня. И вот причина, почему мы, возвратясь, тотчас же не навестили вас, как предполагали. Примите же это в расчет и напишите нам, как живете. Я уже давно в деревне — выехал сюда тотчас же по приезде в Москву, а Вера Николаевна приезжает ко мне только сегодня[2].

Напишите же! Целую тебя, кланяюсь Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

Ст. Измалково, Юго-Восточной ж. д. 6 июня 07

На обороте: Ст. Малаховка, Рязанск. ж. д. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон ⟨6⟩ VI. 1907; Малаховка, Москов. г., 7.VI.1907.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 30, л. 2. Открытка.

[1] См. настоящ. кн., стр. 469.

[2] Приехав по окончании путешествия, 26 мая 1907 г., в Москву, Бунин в тот же день выехал к больной матери. Оттуда Бунин отправился в Васильевское, куда 6 июня приехала и Вера Николаевна.

* Яффа. Вид от парков (*нем.*).

134. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 14 июня 1907 г.›

Дорогой Иван Алексеевич,— очень жалею, что не пришлось повидаться; хотелось поговорить и лично и по делам. Хотелось спросить совета, как понимать Константина Петровича, который не отвечает вот уже полгода[1]. Живем по-прежнему, и по-прежнему желаем тебе счастья и доброй хорошей жизни. Кланяюсь Вере Николаевне и целую тебя. Напишу как-нибудь побольше. Елена Андреевна шлет вам свой привет.

Твой Митрич

1907, июн. 14

На обороте: Юго-Восточная жел. дор. Станция Измалково. ЕВБ Ивану Алексеевичу Бунину. Почт. шт.: Воронеж—Москва, 14. 6. 1907.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 31. Ответ на п. 133.

[1] Телешов ждал от К. П. Пятницкого сообщения о положении дел с изданием второго тома его «Рассказов» (т. I вышел в изд. т-ва «Знание» в 1903 г., т. II — в 1908 г.). С. П. Боголюбов на настойчивые запросы Телешова отвечал неопределенно, откладывая решение вопроса о втором томе до возвращения Пятницкого с Капри. Только 16 ноября 1907 г. он сообщил, что второй том «набирается; печатанием и выпуском его не замедлим» (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 85, п. 3—6).

135. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково› 18 июня ‹19›07

Дорогой Митрич, получил твою открытку и думаю, что ты хандришь: иначе ты не написал бы так мало, необычно это для тебя. А чего тебе хандрить? Не гневи бога. Одно тебе нужно: работать побольше. И желаю тебе этого ото всего моего сердца.

Что до меня, то я провожу дни с утра до ночи за письменным столом, несмотря на гнетущую тоску и тревогу за мать, которая все слаба. Вера тоже все время за работой: готовится к государственному экзамену в сентябре [1].

Погода ужасная — залили дожди,— газеты еще хуже дождей. Остается одно утешение — «Знание», которое не отвечает и мне — вот уже четвертый месяц[2]. Написал Андрееву: ты, мол, редактор,— будет этому конец или нет. Тоже не отвечает — уже более полмесяца[3]. Советую и тебе написать ему.

А рассказ для «Нового слова» пишешь? Хотя, по правде сказать, не радует меня это дело: так вести его нельзя. Есть ли материал, когда начинать печатать и когда будут письма Чехова — никому-то нет заботушки! А Крашенинникову, кажется, и совсем наплевать... Недурно устроились[4].

Затем кланяемся Елене Андреевне, желаем вам всякого благополучия и просим писать.

Братски целую тебя, дорогой! Ив. Бунин

Юго-Восточн. ж. д. Ст. Измалково

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 30, л. 3—3 об. Ответ на п. 134.

[1] В. Н. Муромцева училась на Высших женских курсах в Москве (на естественном факультете) и закончила их осенью 1907 г.

[2] Сборники «Знания» в это время стояли перед необходимостью привлечения новых авторских сил и освежения материала. В начале 1907 г. Горький и Пятницкий вели на Капри переговоры об этом с Л. Андреевым и предложили ему стать редактором сборников, на что тот дал свое согласие. Однако вскоре обнаружилось резкое расхождение во взглядах Горького и Андреева на задачи и характер сборников. В августе 1907 г. Андреев отказался от их редактирования, а Горький принял этот отказ. Весь

этот эпизод отразился в переписке Горького и Андреева («Лит. наследство», т. 72, стр. 284—298).

[3] Андреев ответил Бунину 19 июня 1907 г. («Вопросы литературы», 1969, № 7, стр. 170).

[4] С декабря 1905 г. в Москве начал выходить «еженедельный общественно-литературный иллюстрированный журнал» «Новое слово», издателем-редактором которого был член «Среды» Николай Александрович *Кращенинников* (1878—1941). В журнале печатались рассказы, очерки, стихотворения преимущественно участников «Среды»— Белоусова, Гославского, Серафимовича, Тимковского и, особенно часто, Бунина и Телешова (участие Бунина в «Новом слове» нашло отражение в его письмах к Крашенинникову 1905—1906 гг.— ГБЛ, ф. 452. 1. 10). В списке писателей, принимающих участие в журнале, значились также: Л. Андреев, С. А. Найденов, Е. Н. Чириков, но в вышедших номерах их произведений не было.

Созданный в 1905 г., вскоре после 17 октября и накануне декабрьского восстания в Москве, журнал «Новое слово» обещал «отстаивать материальные и духовные интересы трудящейся массы», «бороться против старых, несправедливых порядков», «чтобы новое действительно установилось в жизни, чтобы в самом деле была гражданская свобода, неприкосновенность личности, равенство всех перед законом и справедливая оценка труда» (из объявления о подписке на 1906 г.— «Новое слово», 1905, № 1, 1 декабря, вторая страница обложки). В первых номерах печатались сообщения о крестьянских волнениях, забастовках рабочих, волнениях в войсках, о восстании в Москве и его кровавом подавлении. В дальнейшем — в «Хронике», в статьях, очерках и рассказах — звучала тема протеста против наступавшей реакции: журнал писал о погромах, убийствах черносотенцами студентов, об арестах и усмирениях, смертных казнях без суда, о карательных экспедициях и т. д. Однако чем дальше, тем более ослабевала эта обличительная струя и все явственнее обнаруживалась близость общественно-политической линии журнала к позициям партии кадетов.

В сентябре 1906 г. «Новое слово» было временно приостановлено, затем выход его возобновился. Последний («рождественский») номер журнала (№ 46—50) был изъят из обращения, однако, по постановлению Московского окружного суда, арест с книги был снят, она быстро разошлась и даже была напечатана вторым изданием, но сразу после этого была снова изъята из обращения — на этот раз в административном порядке. В 1907 г. вышло только пять книг — на № 5—6 журнал был закрыт окончательно.

Вместо журнала было предпринято — под тем же названием — издание литературно-художественных сборников, еще более тесно связанных со «Средой», на что указывало и их название: «Новое слово. Товарищеские сборники». В редактировании их принимали участие Телешов и Бунин. Всего было выпущено три книги. Первая из них вышла, очевидно, в начале 1907 г.— на титульном листе стоит 1907 г., а на обороте его — 1906 г. Можно предполагать, что она была задумана и подготовлена как приложение к журналу (о ее содержании см. примеч. 8 и 9 к п. 136).

В настоящем письме Бунин пишет о подготовке второй книги сборника, вышедшей во второй половине 1907 г. Телешов дал в нее рассказ «Цветок папоротника (летняя сказка)»; Бунин — восемь стихотворений («Храм Солнца», «Лен», «Забвение», «Каир», «Стрижи» и «Из Анатолийских песней» — «Девичья» и «Рыбацкая»). Здесь же было напечатано пять писем Чехова из Сибири, полученных от М. П. Чеховой.

136. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 21 июня 1907 г.⟩

Милый мой Иван Алексеевич,

Ты совершенно прав: я написал тебе длинное письмо, но разорвал его и послал короткую открытку, потому что сам на себя рассердился.

«Знание» — зазналось: ни звука, ни слова в ответ. Несчастный Боголюбов все отписывается и все ждет Константина Петровича, который все еще сидит на Капри. Это я знаю по вчерашнему письму Боголюбова [1]. Очевидно, придется самому издавать свою книжку [2]. Но и здесь вопрос: для чего издавать? Как тебе известно, моя «Крамола» прошла бесследно, нигде ни слова. Отношение как к хламу[3]. А на какие же иные рассказы я буду рассчитывать? Вообще мне что-то не повезло. А уж такого пренебрежения к себе, какое допустило «Новое слово», я и объяснить ничем не могу. В весенних рекламах, розданных по всем магазинам, напечатаны все ваши имена, даже Белого, и только один я включен в кучу

«и других». Мне просто было неловко перед чужими людьми, которые спрашивали меня: разве я не участвую в этой компании? [4] Затем, кто это распорядился печатать Белого как участника и товарища? Было решено только не избегать Белого, если он даст что-нибудь удобочитаемое, а если пришлет на зверином языке, то отказать[5].

Вообще с «Новым словом» происходит какая-то дурь, нет ни порядка, ни центрального пункта. Крашенинников уехал до августа в Башкирию[6], как сказали мне в конторе. Я отвез туда рассказ Ашешова и стихи Соколова, которые были переданы мне[7], и отрекаюсь от всякого редактирования.

Рассказ твой в «Новом слове» очень хорош [8]. О Левитане написано пустовато [9]. Спрашивал в магазинах, как идет сборник. Ответ не из утешительных. Книжка попала в глухое время, а так как это дебютная книжка, то и спроса на нее нет как на незнакомку.

Куда ты писал Андрееву, на Капри или в «Знание»? Где он сейчас?[10] Я написал бы ему. Читал ли стихи Черемнова в сборнике 17-м? [11] Вот, думаю, радовалась твоя душа!

Очень хотел бы повидаться с тобой. Шлю привет Вере Николаевне и целую тебя.

Твой Н. Телешов

907, июн. 21

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 34—35 об. Ответ на п. 135.

[1] Имеется в виду письмо С. П. Боголюбова 13 июня 1907 г. (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 85, п. 4).

[2] См. п. 134.

[3] «Крамола»— рассказ «про черную сотню», в нем выведен поп, «который громит эту черную сотню и уходит в крамолу» («Записки писателя», стр. 108). Рассказ, задуманный в 1905 г. и законченный 24 ноября 1906 г. (дата на автографе — ИМЛИ, ф. 1, оп. 1, ед. хр.1), был напечатан в «Сборнике т-ва „Знание“ за 1907 год», кн. 15 (СПб., 1907). Естественно, что в период реакции, наступившей после 1905 г., обсуждение его в печати было невозможно. Телешов вспоминал о судьбе своего рассказа: «...рассказ, кроме сборника „Знания“, нигде более не мог быть напечатан; его не пропускала цензура ни в очередной том сочинений, ни отдельной брошюрой, и он пролежал одиннадцать лет, вплоть до революции, когда снова был издан» (там же, стр. 109). Автор здесь неточен: «Крамола» после сборника «Знания» была напечатана во втором томе рассказов Телешова (СПб., 1908).

[4] О «Новом слове» см. примеч. 4 к п. 135. По поводу инцидента с рекламой Крашенинников писал Телешову из с. Петровского Оренбургской губ. 4 июля 1907 г.: «Был очень я огорчен письмом Ивана Алексеевича, в котором он пишет о том несчастном промахе С. С. Голоушева, когда в составленных им плакатах не оказалось вашего имени; этот инцидент доставил мне много искреннего огорчения, и я в тот же день, вернувшись из Малаховки, виделся с С. С. Голоушевым, который сам был опечален и сказал мне, что немедленно съездит к вам по этому поводу. Уезжая из Москвы, я все же вынес впечатление, что инцидент исчерпан, что С. С. был у вас; ведь смешно же думать, что „Новое слово“ может мало дорожить писателем Телешовым» (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 195, п. 1).

[5] В вышедших трех книгах сборников «Новое слово» произведений Андрея Белого нет. Но о намерении Крашенинникова привлечь к участию в сборниках писателей из лагеря декадентов свидетельствует факт помещения в третьей книге «Нового слова» (М., 1908) стихов Федора Сологуба, его же рассказа «Обыск» и стихов Сергея Кречетова.

[6] Н. А. Крашенинников родился и провел детство в Башкирии, не порывал связи с нею и позднее. Выступив в 1899 г. в печати с рассказами из жизни башкир, он продолжал и дальше разрабатывать эту тему. Из напечатанных в периодических изданиях очерков и рассказов он составил книгу «Угасающая Башкирия» (М., 1907). О связях писателя с Башкирией см. статью А. Усманова «Н. А. Крашенинников. К 10-летию со для смерти» (альманах «Литературная Башкирия», вып. 3. Уфа, Башкирское гос. изд-во, 1951, стр. 336—352).

[7] В кн. 2 «Нового слова» было напечатано три стихотворения Сергея Кречетова (псевдоним С. А. Соколова): «Кондотьер», «Проклятый замок» и «На озере». Какой рассказ Н. П. Ашешова предназначался для этого сборника, остается неизвестным — ни во второй, ни в третьей книгах его имя не встречается.

[8] В кн. 1 «Нового слова» было напечатано четыре стихотворения Бунина («Тезей», «Берег», «Наследство» и «Стамбул») и рассказ «Цифры».

[9] В той же книге «Нового слова» была помещена статья Сергея Глаголя «И. Левитан (материалы для его биографии и характеристики)».

[10] Лето 1907 г. Андреев провел на даче в Куоккале. В конце июня он на две недели ездил в Москву («Вопросы литературы», 1969, № 7, стр. 170; «Лит. наследство», т. 72, стр. 284).

[11] В «Сборнике т-ва „Знание" за 1907 год», кн. 17 (СПб., 1907), было напечатано три стихотворения А. С. Черемнова: «Песня о бедном Макаре», «Баллада о гордом графе» и «Безмолвный гнев».

137. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨с. Глотово, ст. Измалково, 7 июля 1907 г.⟩

Дорогой друг, прости за поздний ответ — немного хворал (ягодки!), ездил к матери. Ей, слава богу, лучше, кстати сказать, и я прошу тебя передать Елене Андреевне самую горячую благодарность за участие. Ну, а насчет «Нового слова» я с тобой совершенно согласен, тем более что из участников 2-го сборника, как видно из присланной тобой рекламы, и я ведь выкинут. Возмутился я духом после твоего письма ужасно и немедленно закатил Крашенинникову длинное и весьма неприязненное письмо, напоминая ему прежде всего о том, что распоряжаться содержаниями сборников он не имеет права, ибо мы ему дали бланк — «товарищеские»[1]. Жду ответа. Андрееву писал на «Знание», но он — ни звука. Пятницкий тоже. Собираюсь в первых числах августа в Петербург[2]. Собирай книгу — отвезу. Издавать-то, конечно, тебя будут, а что до неуспеха «Крамолы», то ведь теперь вообще ни о чем не пишут, кроме весьма немногого. А ты к тому же еще и не бываешь в литературных кружках. Не сетуй, дорогой, не придавай значения этому. И — в тысячный раз говорю тебе — *пиши больше: нельзя появляться в печати раз в году!*

Спасибо, что хвалишь «Цифры», напиши свое мнение о рассказе «У истока дней» во 2-м альманахе «Шиповника»[3]. По пути в Петербург заеду к тебе на часок и прочту новый рассказ — целых два или 2 $^1/_2$ листа![4] Есть порядочно и стихов новых — все *жанр*.

Напиши, работаешь ли?

Целую тебя от всей души. Твой Ив. Бунин

7 июля 07

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 30, л. 4—5. Ответ на п. 136.

[1] Среди писем Бунина к Н. А. Крашенинникову, хранящихся в ГБЛ, этого письма нет.

[2] Бунин приехал в Москву в начале сентября 1907 г. и вскоре (до 13 сентября) отправился в Петербург.

[3] Рассказ «У истока дней» был напечатан в альманахе изд-ва «Шиповник», кн. 2 (СПб., 1907; см. т. 2, стр. 301—312).

[4] Бунин был на даче Телешовых в Малаховке 8 сентября. Вероятно, Бунин читал у них рассказ «Астма» (позднейшее заглавие «Белая лошадь»).

138. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 907, июля 21

Милый Иван Алексеевич.

Не знаю, как поступить: добиваться ли ответа от Пятницкого, попросить ли тебя отвезти «книгу» в Петербург, или же начать печатать ее в Москве. Не добившись ответа, рассказы только завязишь в «Знании», как в болоте, и сам не напечатаешь. Да и все поправки полетят к черту, а ведь это не шутка. Я возился с ними долго и упорно. Не переписывать

же мне всю книгу на ремингтоне! Если я лишний там, так я еще не умер и сам могу кое-что сделать без них. В милости ихней не нуждаюсь. Они, ты знаешь, так заняты высокими делами, что забыли обо всем, даже о том, что издатели уплачивают авторам гонорар.

Сейчас напишу Боголюбову [1]. Если не будет ответа, начну готовить свое издание.

Очень, очень хотел бы с тобой повидаться. Рассказ твой в 2 $^1/_2$ листа (плохо верится, что он уже написан) желаю слышать. Если будешь в Москве, непременно повидайся со мной.

Крашенинников прислал мне письмо, но это не остановит моего решения выйти из состава редакции [2]. Это не в связи с инцидентом. Я просто считаю неудобным для себя работать такую работу, то есть заниматься отказами знакомым и незнакомым, защищая своими боками Крашенинникова. Пусть отказывает сам, если хочет. Ведь присылают такую ерунду, что тошно. Всякий русский интеллигент, несомненно, может написать о том, как он любил, как «сидел», как его расстреляли. Но ведь это еще не литература. А таких интеллигентов сотни тысяч. Может быть, я уже стар и не чувствую литературу будущего; в таком случае мне не место на редакторской скамье. По моему мнению, все это литературное бешенство вскоре пройдет и литература вновь сольется с общим всемирным течением. Я уже не увижу этого, но я радуюсь пришествию гения, который разгонит всю эту мразь по их мышиным норам. Это время недалеко. Этот гений уже родился и живет среди нас, но кто он, где он, как он проявится, я не знаю. Я чувствую его приближение и приветствую Его!

У меня есть до тебя дело: послушай совет мой и переведи два сонета с итальянского. Очень подходят к тебе. Очень хороши; хотя древни, но как раз теперь им время.

До свидания.

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 32—33 об. Ответ на п. 137.

[1] См. примеч. 1 к п. 136.

[2] См. п. 136 и примеч. 4 к нему. В письме 23 июля 1907 г. Крашенинников сожалел, что Телешов отказывается от редактирования сборников, и убеждал его «все же стать ближе к молодому делу» (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 195).

139. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 8 августа 1907 г.›

Милый, прости, что не писал: думал, поеду в Петербург и заеду. Но поездку откладываю до 1 сентября [1]. А ты не молчи. Напиши, получил ли ответ от Боголюбова? Видел ли Андреева? Он собирался к Добровым, под Москву [2]. Что делаешь?

Целую и кланяюсь. Кланяюсь и Елене Андреевне.

Твой душой Ив. Бунин

8 авг. 07

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 30, л. 6. Ответ на п. 138.

[1] См. примеч. 2 к п. 137.

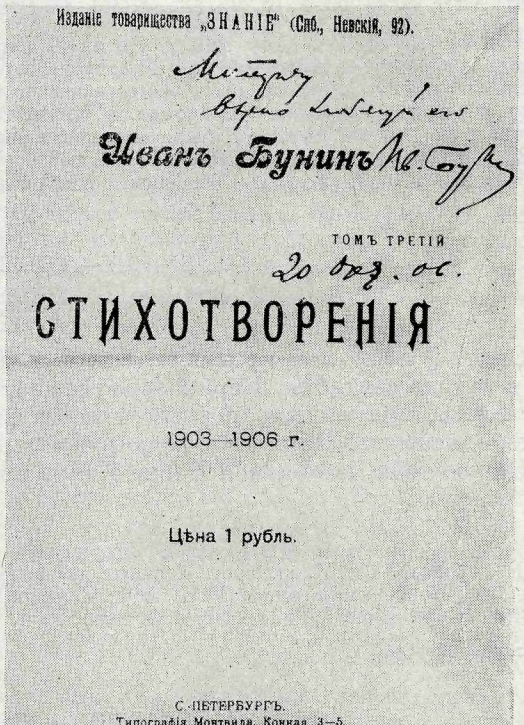
[2] Об этом Андреев писал Бунину 19 июня 1907 г. («Вопросы литературы», 1969, № 7, стр. 170). Филипп Александрович *Добров* (1869—1941) — врач и общественный деятель; был женат на Елизавете Михайловне Велигорской, сестре жены Андреева. Летние месяцы семья Добровых проводила в поселке Бутово по Курской ж. д., где у них была дача.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА ТЕЛЕШОВУ НА КНИГЕ «СТИХОТВОРЕНИЯ 1903—1906 г.» (СПб., 1906):

«Митричу верно любящий его Ив. Бунин. 20 окт. 06»

Титульный лист

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва



Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ" (Спб., Невскій, 92).

Митричу верно любящій его

Иванъ Бунинъ

ТОМЪ ТРЕТІЙ

20 окт. 06.

СТИХОТВОРЕНІЯ

1903—1906 г.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Монтвида, Конная, 3—5.
1906.

140. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Малаховка, 14 августа 1907 г.›

Дорогой Иван Алексеевич.

Боголюбов мне пишет, что Константин Петрович вернется к 15-му непременно и тогда переведет мне деньги за дешевые издания и за «Крамолу»[1].

А от Константина Петровича я получил с Капри письмо. Смысл такой, что книжку издадут с удовольствием и ждут новых рассказов для ближайших сборников[2]. Однако просит выслать черновики будущей книжки к Алексею Максимовичу на Капри.

Письмо я туда послал, но черновики еще дома. Боюсь, потеряются где-нибудь в такой дали, и тогда все мои труды и поправки полетят к черту.

Да и зачем им это? Что написано, то написано. Ведь лучше я уже написать не могу, иначе написал бы. И сколько их ни разглядывай, они лучше от этого не сделаются.

Андреева я не видал и только на днях узнал, что он проезжал Москвой.

И без того нет времени, а тут еще попал в присяжные заседатели — по сентябрь. Придется каждый день таскаться в Москву и торчать там целые дни.

Когда будешь в Москве, позвони на Чистые пруды 115—25 и скажи швейцару, где остановился. А еще лучше, если б приехал в Малаховку.

Кланяюсь Вере Николаевне.

Твой Н. Телешов

14 авг. 907

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 36—37. Ответ на п. 139.

[1] В письме от 3 августа 1907 г. Боголюбов извещал Телешова, что Пятницкий обещает возвратиться в Петербург к 15 августа, и добавлял: «Следовательно, непродолжительно то время, как решатся все вопросы по вашему делу» (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 85, п. 5). О рассказе «Крамола» см. примеч. 3 к п. 136. В серии «Дешевая библиотека т-ва „Знание“» в 1906 г. были выпущены рассказы Телешова: «Против обычая» (№ 83), «Домой!» (№ 84), «Хлеб-соль» (№ 85).

[2] После 1907 г. рассказы Телешова в сборниках «Знания» не печатались.

141. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 20 августа 1907›

Опять у тебя «нет времени»! Ах, Митрич, Митрич!— Увидимся, верно, в начале сентября. Вера 24-го уезжает на экзамены, я еще остаюсь. Но, верно, буду между первым и десятым [1]. Рукопись, действительно, далеко посылать. Напиши — и попроси льготы. Ох, формализм!

Целую тебя, кланяемся Елене Андреевне.

Твой И. Бунин

20 авг. 07

На обороте: Ст. Малаховка, Казанск. ж. д. Имение «Озеро». Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Почтовый вагон, 22.VIII. 1907; Малаховка, Москов. г., 23.VIII. 1907.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 30, л. 7. Ответ на п. 140.

[1] См. примеч. 2 к п. 137.

142. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва› Августа 23, 907

Дорогой Иван Алексеевич!

Мне необходимо повидаться с тобой до твоего отъезда в Петербург. Дело очень серьезное в смысле отношений. Обстоятельства неожиданно складываются так, что нужно разорвать все, что было до сих пор с издательством, и либо молча покориться хозяйскому «совету», либо искать нового хозяина [1]. Очень прошу тебя — извести, когда приедешь в Москву. Необходим твой совет,— что и как делать. «Совет», который я получил сегодня от Алексея Максимовича [2], останавливает меня от всяких дальнейших переговоров с Константином Петровичем. Но это, конечно, только в пределах «Знания», с которым придется покончить, если я издам книжку сам или от другой фирмы. Не переговорив с тобой, не вступлю на иной путь, и послушаюсь твоего совета, который считаю дружеским, и тогда ничьих иных «советов» слушать не стану.

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 42.

Этим же числом помечено другое письмо Телешова, написанное на даче в Малаховке (п. 143). В нем он пишет о тех же волновавших его вопросах, но значительно подробнее, чем в настоящем письме. Это и дает основание считать краткое письмо предшествующим пространному (писать после обстоятельного письма короткое не имело бы смысла). Предполагаем, что настоящее письмо было написано днем в Москве, а следующее — вечером на даче.

[1] Речь идет о втором томе «Рассказов» Телешова.

[2] В письме 15 августа 1907 г. Горький писал Телешову: «Дорогой Николай Дмитриевич! Рукописи присылать сюда — не нужно, все, поименованные вами, я уже читал. Не кажется ли вам, что издание второго тома — несвоевременно? И не лучше ли подождать? Как я знаю — беллетристика идет плохо, интерес к ней сильно упал, публика охотнее читает „модернистов“— забавных своей страстью к порнографии,— а реализм — не в чести. Ваша книга рискует долго пролежать на складе. Как вы на это смотрите? Мой совет — подождать с изданием. Жму руку. А. Пешков» («Архив А. М. Горького», т. VII. М., 1959, стр. 61).

143. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Августа 23, 907. Малаховка, Казанской ж. д.

Дорогой Иван Алексеевич.

Ты писал мне, что едешь в Петербург. Не откажись, пожалуйста, переговорить за меня с К. П. Пятницким, которого ты, наверно, увидишь [1].

Дело вот в чем. В декабре, когда мы с тобой были у Константина Петровича, он был согласен на издание моей второй книжки, но рекомендовал выпустить ее не весною, но к осени, с чем я и согласился. Теперь Константин Петрович написал мне с Капри, что Товарищество «охотно издаст мою книгу», а через несколько дней Алексей Максимович пишет мне, с Капри же, что советует подождать с книгой, так как публика охотнее читает модернистов и что реализм не в чести [2].

Я затрудняюсь разобраться в этих ответах и предпочел бы слышать прямое и настоящее слово, хочет или не хочет «Знание» издать мою книжку? Ведь модернистов не переждешь: на это нужно терпение в 20—40 лет, а за этот срок я, конечно, успею умереть, как и многие из нас. Подождать теперь, значит подождать навсегда.

Правда, сейчас не блестящее время для выхода книжки; она не пойдет так, как в былые дни. Издаваться не время, но не время и ждать. Как бы плохо ни обстояло дело, но у меня есть еще *мои* читатели, а у «Знания» есть *его* покупатели, поэтому следует печатать не 5000, а две или даже менее.

Ведь те же модернисты печатают критические статьи, где говорят (кричат), что сборники «Знания» печатаются неизвестно для кого, и называют их никому не нужными; однако сборники печатаются и, если не ошибаюсь, проходят, говоря скромно, без убытка.

Из того, что я пишу тебе, нет надобности делать секрет, и если найдешь нужным сообщить мой взгляд Константину Петровичу, то сообщи, а главное, узнай, пожалуйста, и установи твердое и окончательное мнение «Знания», хочет или не хочет оно издавать мою книгу. Это важно. Если нет, то, поверь, у меня хватит такта не беспокоить их более. Но все дело в том, что я не уверен в этом. Выясни все это, будь добр.

Если бы они издали книгу в 2000, то понесли бы расходов не очень много и эти расходы могли бы вернуть от продажи первой партии. Они не будут в убытке, а я не буду в прибыли — вот и все деловые расчеты, на крайний случай.

Но если они *не желают* взять мою книгу, то тогда, конечно, все меняется, и быть лишним я не захочу сам.

Очень прошу тебя выяснить все это, чтобы я знал точно, как относится «Знание» ко мне и как я должен относиться к «Знанию».

Прости, что затрудняю тебя этими вопросами, но сам знаешь, что дожидаться я не могу, и если Константин Петрович откажется, то буду считать себя свободным в выборе издательства. От предложений отказываться было бы странно.

Очень хотел бы иметь дело с «Знанием», но если нет, то придется поневоле отказаться от этого желания.

Будь добр, выясни все это, раз ты будешь в Петербурге. Иметь книжку я хотел бы во всяком случае — будет ли спрос или не будет. Сейчас меня интересует только один вопрос: берет книжку эту «Знание» или не берет? Если оно возьмет, то без прибыли могу оказаться только один я, но если не возьмет, то буду считать, что Товарищество не хочет меня печатать.

Знать все это мне необходимо. И очень необходимо.

Будь уверен, что надоедать им не стану.

Очень буду благодарен тебе, если выяснишь все эти вопросы.

Прошу передать им рукопись Бахметьева [3] по просьбе автора и Курнина. Рукопись я только что получил *и не читал ее.*

Когда будешь в Москве, позвони мне в Малаховку, а еще лучше приезжай сам.

Привет Вере Николаевне.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 38—41. См. п. 142 и вводное примеч. к нему.

[1] Бунин был в Петербурге дважды — в середине сентября и в первых числах октября 1907 г., но оба раза не заставал там Пятницкого, задержавшегося на Капри.

[2] См. примеч. 2 к п. 142.

[3] О каком Бахметьеве идет речь, выяснить не удалось.

144. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Гунгербург[1], Кургауз, 1908, июля 1-го

Божиею милостью мы, Николай Митрич, Елена Андреевна, Андрюша и проч. и проч., переехали в Гунгербург до августа, чего и вам от души желаем.

Погода здесь превосходная, купанье в море чудесное, везут прямо в карете в воду, а не то что пешком на босу ногу, и на карете выкидывают красный флаг, который здесь, как я успел заметить, ровно ничего не обозначает и даже утвержден губернатором. С 10 до 12 над морем на мачте выкидывают большое красное знамя, а с 12 до 2 — голубое. Вообще не жизнь, а масленица.

Я живу в Кургаузе, в такой узкой комнате, как ножны от шпаги, и даже пишу тебе не на столе, а на ночной тумбе, обняв ее обеими ногами, чтоб не шаталась. Ее пол-аршинная поверхность — мой письменный стол, а внутри ее стоят сапоги и урыльник. Все-таки удобство.

Сегодня встретил Муромцевых, и мы уже присмотрели для вас хорошую квартиру: огромные две комнаты с балконом.

Приезжайте [2].

Жена вам обоим кланяется, а я шлю привет Вере Николаевне.

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 43—43 об.

Не зная точно, где находится Бунин, Телешов отправил это письмо на деревенский адрес и одновременно написал второе — на Москву (см. п. 145).

[1] Гунгербург или Усть-Нарова (ныне Нарва-Йыэсуу) — курорт на эстонском побережье Финского залива, при впадении в него р. Наровы.

[2] Бунины не приезжали в Гунгербург. Кого из семьи Муромцевых имеет в виду Телешов, не установлено.

145. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Гунгербург, 1 июля 1908 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич!

Написал тебе сейчас письмо в Измалково и на случай приезда твоего в Москву, о чем слышал только что от Муромцевых, пишу и в Москву.

Здесь в Гунгербурге, куда занесли меня легкая и нелегкая, погода превосходная. Купаюсь в море, как собака, только пока еще не ловлю брошенных щепок. Я здесь всей семьей. Сейчас с Муромцевыми присмотрели даже квартиру для вас.

Может быть, приедете?

Мы будем здесь числа до 1 или 5 августа. Что вы можете сказать в свое оправдание?— как говорит наш приятель Серафимович.

Поклон Вере Николаевне.

Твой Митрич

Гунгербург, Кургауз. 1908, июл. 1-го

На обороте: Москва. Столовый пер., близ Поварской, дом Н. А. Муромцева. Ивану Алексеевичу Бунину. Почт. шт.: Усть-Нарова, Эстл., 1.7.08; Москва, 3.7.08.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 44. Закрытое письмо —«секретка». См. п. 144 и примеч. к нему.

146. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 6 декабря 1908 г.›

Дорогой Митрич,

9-го приедет в Москву Нилус [1]. 10-го — *утром* или вечером (со скорым, в 7 часов) — надеюсь быть в Москве я. Хорошо бы 10-го собраться в Кружке на среду! [2]

Я еле жив от усталости. Спешу кончать рассказ [3].

Целую, кланяюсь Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

6 дек. 08

На конверте: Москва. Садовая, против церкви Ильи пророка, д. Орешникова. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Измалково, Орл., 6.12.8; Москва, 8.XII.1908.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 1. Место отправления определено по почтовому штемпелю.

[1] О П. А. Нилусе см. настоящ. том, кн. 2.

[2] Как вспоминал Ю. А. Бунин, в 1906—1910 гг. деятельность «Среды» «почти совсем замерла»— она «лишь изредка собиралась, но уже не на частной квартире, а в помещении Литературно-художественного кружка» (Ю. А. Бунин. Литературный кружок «Среда». Машинописная копия, стр. 1.— МКТ). Состоялось ли собрание «Среды» 10 декабря, установить не удалось.

[3] Очевидно, рассказ «Старая песня», напечатанный в журн. «Северное сияние», 1909, № 5, март (позднейшее заглавие «Маленький роман»).

147. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 14 января 1909 г.›

Милый Иван Алексеевич.

Будь добр — потрудись выяснить возможно скорее: что случилось с моим «Шайтаном»? Я послал его на имя Марии Карловны в половине декабря заказным письмом [1].

В первой книжке он не напечатан. Это, конечно, не велика беда. Но я не имею даже ответа ни на рукопись, ни на письмо.

Не соблюден даже простой акт вежливости. А ведь я посылал рассказ не в качестве просителя в канцелярию Ведомства по разбору бесприютных писателей.

Для напечатания рассказа я имею достаточно и мест и предложений, так что выдерживать меня без всякого ответа, может быть, несколько и излишне.

Очень прошу тебя выяснить — будет ли напечатан «Шайтан» в «Современном мире» и когда именно [2]. А то нечего ему и дожидаться; пошлю в другое место, пока кто-нибудь другой не использовал мою тему. В теперешнее время это случается. Самому мне обращаться в редакцию не

хочется с запросом, а знать в чем дело — необходимо. Терять время на ожидание не стоит. То ли, се ли,— по крайней мере развязка.

На днях приедет к тебе не более как на час студент Чапковский поговорить о делах сборника [3]. По моему мнению, дело очень плохо и сборнику грозит убыток. Все, что прислано до сих пор,— бездарно и неинтересно. Публика покупать такую книгу не станет. Студенты тоже не станут, а авторы получат даром. Этому милому юноше не везет: делал концерт в честь Шевченка — убыток, показывал в пользу Общества студентов Сару Бернар — убыток огромный, и я боюсь, что от сборника будет убыток огромнейший. Тут попадут все: и Общество общежития, давшее ссуду, и Сытин, и авторы, и публика, и редакторы.

Прими его и поговори с ним. Сам он очень милый молодой человек.

Передай Вере Николаевне мой искренний привет.

Желаю тебе хорошо работать.

Твой Н. Телешов

1909. Янв. 14

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 45—45 об.

[1] Мария Карловна *Куприна* (Давыдова, 1881 — 1966) — издательница журн. «Современный мир», начавшего выходить с октября 1906 г. взамен закрытого правительством «Мира божия» (см. о ней также примеч. 5 к п. 31).

[2] Рассказ Телешова «Шайтан» был напечатан в журн. «Современный мир», 1909, № 2, стр. 101—110.

[3] Телешов, Бунин и Н. В. Давыдов в 1908 г. согласились быть редакторами «Общестуденческого литературного сборника», доход с издания которого должен был пойти в пользу Пятигорского студенческого санатория. Секретарем редакции сборника был студент Московского университета А. Чапковский. Сборник вышел в свет в 1910 г. В нем были напечатаны произведения студентов Казанского, Киевского, Московского, Новороссийского (Одесса), Петербургского, Томского и Харьковского университетов, Киевского политехнического института, Московских Высших женских курсов и др. В конце сборника был напечатан очерк А. Чапковского «О Пятигорском студенческом санатории», который заканчивался следующими строками: «От имени инициаторов этого издания приношу искреннюю глубокую благодарность всем авторам, доверившим нам чистые порывы своего творчества или просто плоды досугов; академику И. А. Бунину, Н. Д. Телешову и Н. В. Давыдову — за редактирование сборника и хлопоты по его изданию; т-ву И. Д. Сытина, печатавшему наш сборник со значительной уступкой...» (стр. 186). Об этом сборнике рассказано в «Записках писателя» (стр. 35; здесь же, на стр. 33—36, Телешов вспоминает о Н. В. Давыдове и его участии в литературной жизни Москвы).

148. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

<Москва, начало марта 1909 г.>

Дорогой Иван Алексеевич.

Я имею к тебе более важное и нужное дело, о котором хотел писать, но сейчас получил письмо из «Шиповника» и так им обижен, что не могу говорить о деле [1]. Напишу после, ибо хочется ругаться, а в таком настроении общественные дела не делаются.

Ты читал письмо ко мне Копельмана. Отвратительный и высокомерный тон. Но здесь я назван «многоуважаемым Николаем Дмитриевичем»— из приличия, конечно, потому что этой свинье уважать меня совершенно не за что.

Не получая на свое очень подробное письмо, полное согласия, никакого ответа, я послал Копельману телеграмму, что срок близок, а ответа нет.

И сегодня получил письмо от него в четыре строчки, даже без приличного обращения. Начинается так: «М. Г.» Даже не «Милостивый государь», а просто *Эм-Ге* («М. Г.»). Содержание письма буквально следующее:

«Возвращаю вам вашу телеграмму, так как совершенно не могу понять, какое она может иметь ко мне отношение. *Отсылаю* вас снова к моему письму от 18-го с. м.»

Нетрудно понять, что он «отсылает» меня в сущности — к черту.

При этом он позволил себе приложить даже самую телеграмму, то есть бланк с наклеенной лентой.

Как думаешь: не называется ли такой поступок свинством, нахальством, или, может быть, благородным негодованием?

Приходится очень пожалеть — почему не пришло мне раньше в голову передать вексель и договор тому же Пятницкому. Он показал бы этому «Эм-Ге», где раки зимуют. А теперь что я сделаю.

Гржебин просит и молит не протестовать вексель, и мне жалко Гржебина.

Вижу, что меня надувают, что надо мной издевается торжествующая свинья, и все-таки я готов не осуществлять своего права. Гржебин — одно, Копельман — другое.

Жалко Гржебина. Но этот «Эм-Ге» напрасно говорит о неприкосновенности. У меня две квитанции Лионского кредита, по которым я переводил деньги два раза по тысяче на имя «Издательства „Шиповник“». Могу доказать, что 2000 были получены именно «Шиповником», а не Гржебиным.

Если дело пойдет так же дальше, я вызову Копельмана на третейский суд и оглашу всю историю эту в печати.

Пришли свой адрес [2]. Правда, есть очень нужное и серьезное дело [3]. Дело хорошее, и мне не хочется писать о нем в одном письме с этой скверной историей и в связи с нею.

Ну их ко всем чертям!

Дай адрес. Очень нужно. Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 28—29. На бланке: «Редакция „Первого общестуденческого литературного сборника“. Москва, Камергерский, д. Масс, кв. 21». Датируется приблизительно, по связи с п. 149.

[1] Издательство «Шиповник» было создано в Петербурге в 1906 г. Основателями его были З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман (он же — главный редактор издательства). В первых книгах альманаха «Шиповник», который начал выходить с 1907 г., печатали свои произведения Бунин, Куприн, Телешов, Юшкевич и другие писатели-реалисты. В дальнейшем, в связи со все более решительной ориентацией альманаха на модернистскую литературу, названные писатели отказались от участия в нем (см.: О. Д. Голубева. Из истории издания русских альманахов начала XX века.— «Книга». Исследования и материалы. Сб. III. М., изд-во Всесоюзной Книжной палаты, 1960, стр. 314—323). В начале деятельности издательства «Шиповник» Телешов ссудил молодому предприятию 2000 руб., о возврате которых и шла речь в переписке между Копельманом и Телешовым.

[2] С конца февраля 1909 г. Бунины находились за границей, путешествуя по Австрии и Италии. 12/25 марта они приехали на Капри.

[3] См. п. 150.

149. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Капри, 13/26 марта 1909 г.⟩

Дорогой и милый друг, получил твое письмо в Неаполе, дня четыре тому назад, но не ответил потому, что каждую минуту собирался удрать из этого гнусного города жуликов, бездарностей и пьяниц. Вчера удрал — и основались мы — думаю, недели на 2 — на Капри [1], несмотря на мерзкую погоду, наступившую нынче ночью.

Копельман возмутил меня, думаю, не меньше твоего, и удивляюсь я одному — почему ты не написал этой стерве прямо, что тянешь его на суд — и обычный, и третейский? Гржебина и мне жалко: одновременно с письмом от тебя получил и от него письмо, полное горячих благодарностей, что я поговорил с тобой по телефону. Но, сказать между нами, все-таки следовало бы тебе действовать решительно. Иного сказать ничего не могу.

Горького видел вчера на одну минуту — он уехал на два дня с Марьей Федоровной в Неаполь. О дальнейшем сообщу. А ты поскорее напиши мне о том, о чем хотел, о «Северном сиянии» [2], о новостях всяких — и о конце дела с Копельманом.

Целую тебя с неизменной любовью, кланяемся Елене Андреевне.

Твой душой Ив. Бунин

13/26 марта

На конверте с бланком (Hôtel Vittoria Pagano. Propr. Cav. Manfredi Pagano. Capri) адрес: Russie. Moscou. Москва. Садовая. Дом Орешникова (против церкви Ильи пророка, возле Курского вокзала). Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Capri, 27.3.09; Москва, 18.III.1909.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 2—3. На бумаге с тем же бланком. Ответ на п. 148.

[1] О приезде Буниных на Капри Горький писал Е. П. Пешковой 16/29 марта 1909 г.: «Приехал Бунин с молодой своей женой — женился он на племяннице Муромцева. Ничего, славная и простая. И он такой же, как был,— хороший человек. Несколько постарел, кокетничает этим, но — жив душой и очень радует меня серьезным своим отношением к литературе и слову» («Архив А. М. Горького», т. IX. М., 1966, стр. 64).

[2] Ежемесячный иллюстрированный журнал «Северное сияние» был основан в Москве графиней В. Н. Бобринской (редактор — А. М. Поццо) и начал выходить с ноября 1908 г. Состав сотрудников, указанный в объявлении о новом журнале, был достаточно пестрым, но преобладающее место занимали среди них писатели и художники, принадлежавшие к разным течениям русского модернизма. В декабре в литературных позициях журнала произошли перемены, представление о которых дает письмо Бунина Д. Я. Айзману, написанное около 20 декабря 1908 г.: «Многоуважаемый товарищ, в Москве есть журнал „Северное сияние“, который с января совершенно меняет физиономию — модерн на реалистическую и человеческую, будет направляем нашим кружком московским „Среда“ (слыхали, конечно) и по беллетристике будет редактироваться мною. Предназначается он для широкого круга читателей — как миролюбовский „Журнал для всех“ — и намерен, выражаясь по-старому, сеять разумное, доброе, вечное...» (ИРЛИ, ф. 520, № 56, л. 1; напечатано — «Проблемы реализма», стр. 171, с неточной датой: 21 декабря). Всего было выпущено 8 книг «Северного сияния» (1908, кн. 1 и 2; 1909, кн. 3—8). Летом 1909 г. журнал ввиду тяжелого финансового положения прекратил свое существование (см. письма Бунину из редакции «Северного сияния» — ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 317).

150. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

15 марта 909. Москва

Дорогой Иван Алексеевич.

Насилу достал твой адрес. Дело очень нужное, и ты ответь мне скорее. Осенью будет сборник, на доходы с которого должен выстроиться Инвалидный дом для рабочих печати, наборщиков и т. п. Бумага, печать и все прочее — даровое. Книга должна быть блестящей, с именами, хорошими вещами, с портретами авторов, факсимиле и проч. Рассчитывали, что и писатели пожертвуют свои рассказы и стихи, но я отстоял иное: авторам заплатить, и хорошо заплатить, чтобы они дали не отбросы, а настоящие вещи. Книгу поддержат газеты, но она должна быть составлена из статей, действительно искренних и заметных. Прошу тебя, убеждаю тебя поддержать это дело. Ведь наборщики нам люди не чужие и надо отдать им должное. Никаких пожертвований не требуется.

Давай хороший рассказ и стихи. Нужно это к осени. Не отказывайся, не оправдывайся ничем, а давай непременно. К рассказам будут приложены портреты авторов. Издание будет хорошее, и ты не раскаешься, что дашь мне. Поверь мне [1].

Пишу Горькому. Если увидишь его, убеди его дать рассказ [2]. Это нужно. Я думаю, что писатели просто не вправе отказываться. В успех дела я верю, если не вмешаются в него посторонние. А если они вмешаются, то я уйду и тогда все собранные мною вещи могу вернуть авторам.

«ПОЭТ И. А. БУНИН»

Дружеский шарж М. С. Линского, подписанный Буниным: «С подлинным верно. Ив. Бунин, 26 февр. 09»

«Искры», М., 1909, № 12

Насколько могу — постараюсь сделать книгу хорошей, но первое условие — сочувствие авторов.

На тебя я надеюсь и перестаю просить.

Где Куприн? Дай его адрес и помоги убедить его дать [3]. Без трех-четырех имен выпускать книгу нельзя. Ко мне обратились как к Среде. Поддержи честь Среды. Ведь обращение такое кое-что значит. «Достаньте Среду».— Это значит, что Среда еще жива и есть еще на нее расчеты в смысле дела [4]. Поддержите, старые черти, старое знамя! Как старый солдат, взываю к вам: поддержите честь нашего знамени!

Жду скорого ответа.

Привет Вере Николаевне. Твой Митрич

P. S. Не забудь про Горького и Куприна.

Сегодня есть ответ от Короленка: очень сочувствует и обещает дать [5].

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 46—46 об.

[1] Подготовке этого сборника посвящены многие из последующих писем Телешова. Книга вышла в 1910 г. под заглавием: «Друкарь». Литературный сборник под ред. Н. Д. Телешова. М., изд. Вспомогательной кассы типографов, 1910. На шмуцтитуле: «Книга посвящена памяти русского первопечатника Ивана Федорова». «Весь сбор поступит на устройство в Москве Инвалидного дома, имени Ивана Федорова, для тружеников печатного дела». В сборнике были помещены произведения: Л. Н. Толстого, Златовратского, Чирикова, Бунина, Вересаева, Федорова, Семенова, Белоусова, Крашенинникова, Нилуса, Скитальца, Серафимовича, Телешова, Зайцева и др. В книге было опубликовано четыре письма Чехова и одно стихотворение Шаляпина.

[2] О задуманном сборнике Телешов писал Горькому 16 марта 1909 г. Горький ответил 23 марта/5 апреля встречным вопросом об именах предполагаемых участников сборника: «...не зная, кто эти люди,— не могу ответить на предложение ваше — ни да, ни нет» (Горький, т. 29, стр. 87). В следующем письме, 10/23 апреля, ознакомившись с письмом Телешова к Бунину 4 апреля (см. п. 154), Горький дал согласие и просил сообщить срок выхода сборника и состав его редакции (там же). Однако позднее от участия в сборнике Горький отказался. 8 августа 1909 г. он писал Телешову: «Не рассчитывайте на меня, Николай Дмитриевич, очень извиняюсь, но от участия в сборнике принужден отказаться. Летом — был сильно занят и не успел написать, а теперь — еще больше обременен делами и не совсем здоров» («Архив А. М. Горького», т. VII. М., 1959, стр. 75).

[3] Куприн в это время жил в Гатчине. В октябре он встретился с Буниным в Одессе и согласился участвовать в сборнике (см. п. 168—171). Все же Куприн ничего не дал для сборника.

[4] В 1906—1910 гг. в деятельности «Среды» наступил период упадка активности. Ю. А. Бунин вспоминал, что это явилось «результатом не только общих условий жизни, отличавшихся крайне суровыми реакционными мерами во всей внутренней политике, но еще и того, что многие и притом очень видные члены кружка навсегда или временно покинули Москву» (Ю. А. Бунин. Литературный кружок «Среда». Машинописная копия, стр. 4.— МКТ).

[5] Телешов обратился весной 1909 г. к Короленко через посредство профессора Московского университета Д. Н. Анучина; он, очевидно, и передал Телешову ответ Короленко с согласием на участие в сборнике. В письме 25 июня 1909 г. Телешов повторил просьбу и подробно характеризовал задачи сборника и состав его участников. Получив это письмо с большим запозданием, Короленко 24 августа подтвердил свое согласие и спрашивал о крайних сроках присылки рукописи. Но через два месяца, 24 октября, он отправил Телешову письмо, в котором «с очень сокрушенным сердцем» извещал о том, что прислать ничего не может, «несмотря на самые искренние намерения». Намеченные им для сборника воспоминания о Добрудже сильно разрослись и требовали еще длительной работы. Телешов сделал еще несколько попыток убедить Короленко дать хотя бы какой-нибудь отрывок, но и на это Короленко вынужден был ответить отказом. В декабре 1909 г. сборник «Друкарь» вышел в свет, и Телешов, посылая книгу Короленко, писал ему 31 декабря: «Ни на минуту не сомневаюсь в вашем сочувствии целям сборника и убежден, что отсутствие вашего имени в „Друкаре“ вызвано не нежеланием, а невозможностью» (письма Телешова к Короленко — ГБЛ, ф. 135, разряд II, 34. 59; ответные письма Короленко — ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 192).

151. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

20 марта 909. Москва

Дорогой Иван Алексеевич.

Получил твое письмо и очень смущен посылать тебе ответ в гостиницу «Пагано». Что это ты выбрал такую гостиницу? Конечно, по-итальянски это звучит хорошо: Па-га-но! Но по-русски... Впрочем, и по-русски очень выразительно.

Я писал тебе на днях о сборнике. Постарайся дать и привлечь Горького [1].

В «Северном сиянии» получен рассказ Федорова [2]. Меня просили читать его, но я сказал, что Федорова и Скитальца нужно прямо передать в типографию, а авторов благодарить. Скиталец прислал письмо, что высылает рассказ, но рассказа пока нет [3]. Чуточный рассказ Койранского, что ты прислал мне с вокзала, я отверг. Вещь очень маленькая, но бессодержательная, а заглавие: «1812», то есть из эпохи Наполеона. Никакого Наполеона здесь нет, а просто два или три французских офицера разговаривают о женщинах в смысле, достаточно надоевшем за последние годы. Все это было возможно как в 1812 году, так и в 1218-м и 1909 годах, а также и ранее и позднее. Претензий много, толку мало. Да и неинтересно.

Сегодня праздновали Гоголевское 100-летие. Было хорошо [4]. Было бы еще лучше, если б речи были речами, а не учебниками для средних заведений. Все мы знаем, что Гоголь написал «Мертвые души», «Ревизора», «Бульбу» и т. д., и взвешивать Гоголя на весах над его могилой дело лишнее, да и болтать по 20 минут вместо двух минут тоже дело лишнее. Положил венок, сказал, от кого и почему — и проваливай к черту, давай место другому. А то 46 депутаций... надо и совесть иметь. Особенно опостылел всем какой-то учитель словесности. Говорил (даже читал по тетрадке) с полчаса; голос, как у дохлой крысы. Весь вспотел, сукин сын, с затылка ручьи текут, солнце печет, а он в шубе. Все-таки дочитал до конца [5].

Еще одна новость: В 100-летнюю годовщину рождения Гоголя наш милый А. Е. Грузинский «роди» сына. Вот это — председатель Общества словесности! Как подгадал!

Сейчас был у меня какой-то интервьюер Завиловский. Я дал ему твой адрес на Пагано. Пусть напишет тебе, ты от этого не полиняешь, а ему удовольствие. Будет спрашивать твое мнение о настоящем и будущем русской интеллигенции, литературы и искусства. За себя я ничего еще не ответил ему, но готов ответить, что теперешние писатели, отрицающие всякую связь с истинной хорошей литературой и славными русскими писателями, выкопали сами себе могилу, где и сгниют одинокими и безвредными.

Сегодня на венке Гоголю от Скорпионов было написано: «Гоголю грядущему». Должно быть, все это очень многозначительно. Ведь они же его в грош не ставят, но думаю*, что рано или поздно придет Гоголь с живым, искренним словом, возьмет их за чуб и расшвыряет во все стороны. Да еще спросит: «А кто здесь прославленный гений Андрей Белый? А подать мне сюда Белого!.. А кто здесь великий портнограф?.. А подать сюда великого портнографа!» [6]

Долго ли ты будешь еще скитаться по Италии и т. д.? [7] Спрашиваю потому, что хочу непременно взять с тебя рассказ и стихи. Дай, если знаешь, адрес Куприна. Без него как-то не ладится дело. Не к Белым же обращаться? А если б у меня было три-четыре имени, хороших и настоящих, можно было бы считать дело сделанным.

От третьего сорта уже есть рукописи, а мне нужна заручка от первого сорта. Поэтому и прошу тебя прислать теперь же твердое согласие. Иначе я брошу дело. А бросать жаль.

Привет Вере Николаевне.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 50—51 об. Ответ на п. 149.

[1] См. п. 150 и примеч. 2 к нему.

[2] Рассказ А. М. Федорова «Лед». Он был напечатан в апрельской книжке «Северного сияния», 1909 г., № 6.

[3] В № 8 (июнь) был напечатан рассказ Скитальца «Река Уса».

[4] Гоголевские торжества в Москве начались 20 марта — в этот день на могилу Гоголя в Даниловском монастыре были возложены венки от города Москвы, Московского университета, Общества любителей российской словесности (ОЛРС), Художественного театра и многих других учреждений и организаций. Празднование Гоголевского юбилея было продолжено 26—28 апреля, когда был открыт памятник Гоголю работы Н. А. Андреева и проведены торжественные собрания университета и ОЛРС (см. «Гоголевские дни в Москве». М., 1909). Телешов был членом Гоголевской комиссии ОЛРС, которая провела основную работу по подготовке юбилея.

[5] Имя этого оратора в указанном отчете о юбилее не названо.

[6] В истолковании символистов Гоголь представал не как реалист, а как романтик и фантаст. Эта точка зрения была развита в статьях Андрея Белого, Эллиса, Б. Садовского и В. Я. Брюсова, которые были напечатаны в связи с юбилеем Гоголя в журн. «Весы» (1909, № 4, стр. 63—120).

[7] Поселившись на Капри, Бунины совершили несколько поездок по итальянским городам — Палермо, Сиракузы, Мессина, Рим, Неаполь, Помпея и др. 25 апреля 1909 г. они вернулись в Одессу.

152. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Сиракузы, 24 марта/6 апреля 1909 г.⟩

Здесь растут папирусы и жил Архимед [1]. Можешь ты это понимать?

Ив. Бунин

Сиракузы. 6 апр. 09 г.

На обороте: Russie. Moscou. Москва. Садовая, возле Курского вокзала, против церкви св. Ильи, дом Орешникова. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Siracuse, ⟨*дата нрзб*⟩; Москва, 31.III.1909.

---

* *В автографе описка*: думают

МКТ. Открытка с фотографией и подписью: Anapo e Papirus. Siracusa.

Одновременно с открыткой Телешову Бунин послал открытку того же содержания М. П. Чеховой («Материалы», стр. 129—130).

[1] *Архимед* (ок. 287—212 до н. э.) был уроженцем Сиракуз и прожил в этом городе большую часть своей жизни. Здесь же он был убит при взятии Сиракуз римлянами.

153. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Капри, 27 марта/9 апреля 1909 г.›

Спасибо, дорогой, за письма. Получил их вчера вечером, вернувшись из Сицилии на Капри, где надеюсь пробыть до конца апреля (думаю выехать отсюда *26 апреля или 3 мая по новому стилю*) [1]. В сборник дам вещь непременно (и постараюсь дать вещь хорошую). Горького (который очень, очень мил и радушен) видел вчера же. Он получил твое письмо. «Дадите?»,— говорю.— «А еще кто будет?»— «Короленко дал согласие».— «А, это хорошо». Определенно, как видишь, пока не ответил [2].

Горячо прошу тебя — позаботься до меня о беллетристике «Северного сияния» [3].

Целую тебя, кланяемся Елене Андреевне.

Твой душой Ив. Бунин

Куприн — Гатчино (этого достаточно).

Скиталец на днях будет здесь [4].

На обороте: Russie. Moscou. Москва. Садовая, д. Орешникова (против церкви св. Ильи). Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Capri, 9.4.09; Москва, 1.4.09.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 4—4 об. Открытка. Ответ на п. 150 и 151.

[1] Бунины покинули Капри 10/23 апреля 1909 г. и приехали в Одессу 25 апреля/8 мая («Материалы», стр. 131; дата отъезда с Капри здесь ошибочно приурочена к новому стилю).

[2] См. п. 150.

[3] См. п. 149 и примеч. 2 к нему.

[4] По-видимому, Скиталец на Капри не приезжал. В своих воспоминаниях «Максим Горький» он писал: «Я не был у Горького на Капри. Всего только два-три раза обменялись мы письмами, написанными „эзоповским языком“» (Скиталец. Повести и рассказы. Воспоминания. М., 1960, стр. 345).

154. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 4 апреля 1909 г.›

Дорогой Иван Алексеевич.

Получил твое письмо. Спасибо. В ответ могу тебе сообщить несколько «светлых» слов на мрачные темы. Дела «Северного сияния» не блестящи, и ее сиятельство начинает вместо Сияния видеть Зияние, и даже думает прекратить эту пустую забаву [1]. Слышал это сегодня от Грузинского. На днях нас созывают на совещание по этим вопросам.

Убеди Алексея Максимовича участвовать в сборнике для печатников. Он спрашивает меня о сотрудниках. Надеюсь, что будут люди настоящие, но отвечу ему после комитетского собрания, которому я сделаю запрос и выясню все официально [2]. Я лично ни к каким группам не обращался и не имею этого в виду, кроме нашей группы. Не ручаюсь пока за других. Но думаю, что этого не было. На собрании выясню все и тогда отпишу.

Скитальцу писал в Швейцарию, но ответа не имею. Уговори и его дать рассказ [3].

Мне нужно 15 листов. Рассчитываю, что получу их от хороших писателей. Но все, конечно, зависит от вас самих, господа. Надо вновь сгруппироваться и выступить с хорошими вещами и именами. А то,—

На конверте ⟨*верх его с адресом оторван*⟩: Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Орел — Грязи, 20.6.09; Малаховка, Моск. г., 21.6.09.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 6. В тексте — пометы Телешова, подчеркивания красным карандашом.

[1] Бунин дал в сборник четыре стихотворения: «Морской ветер», «Хаджи» (позднейшее заглавие — «Пилигрим»), «Сторож» и «Берег», а также рассказ «Иудея».

[2] В сборнике был напечатан рассказ П. А. Нилуса «Старый сад» (о нем см. ниже п. 156, 158, 159, 161, 162).

[3] См. примеч. 3 к п. 150.

[4] С. А. Найденов в «Друкаре» не участвовал.

[5] См. примеч. 2 к п. 150.

[6] Летом 1907 г. в Харькове был издан литературный сборник «Отзвуки», который открывался лирической миниатюрой Телешова «Страница из дневника Василия Ивановича». В сборнике участвовали также: К. С. Баранцевич (рассказ «Платок»— о юноше-революционере), И. А. Белоусов (перевод из Ады Негри), Н. Н. Степаненко и др. Издателем сборника был Николай Витольдович *Могучий* (1880—1935), тогда еще студент Харьковского технологического института. Отказавшись затем от мысли продолжать издание «Отзвуков», Могучий организовал двухнедельный литературный и научно-популярный журнал «Голос», выходивший тоже в Харькове в 1908 г. В качестве сотрудников нового журнала были анонсированы: Леонид Андреев, Ив. Белоусов, Ив. Бунин, П. В. Засодимский, Бор. Зайцев, Н. Н. Степаненко, Н. Д. Телешов, Н. И. Тимковский и др.; в качестве «приглашенных» были названы: М. Горький, С. Гусев-Оренбургский и А. Серафимович. Однако в вышедших десяти номерах журнала из этого перечня появились только Белоусов (переводы из Шевченко, Конопницкой, А. Негри), Тимковский (очерк «Совесть») и Засодимский (повесть «Хулиган» и др.). В целом же книжки «Голоса» были довольно бесцветны.

С начала 1909 г. Могучий перенес издание «Голоса» в Москву, но смог выпустить только два номера (в № 1 приняли участие Белоусов и Тимковский). В марте 1909 г. «Голос», собравший только 136 подписчиков, прекратил свое существование. См. письма Бунина к Могучему (ЦГАЛИ, ф. 1103, оп. 1, ед. хр. 4), Телешова к нему же (там же, ед. хр. 22); письма Могучего к Бунину (там же, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 269) и его же письма к Телешову (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 259).

[7] Альманах «Сполохи» издавал Владимир Павлович *Ютанов* (1876—1950). Всего с 1907 по 1917 г. было выпущено 11 книг (1—9 под ред. П. Л. Плохова, 10—11 под ред. И. И. Белоусова и В. П. Ютанова). В «Сполохах» печатались произведения Телешова («Косцы»— кн. 2), Серафимовича («На улице»— кн. 3, «Мороз»— кн. 8), Тимковского («Женский вопрос» — кн. 7), но в целом они заполнялись весьма слабыми произведениями безвестных авторов, что отмечалось и в печати. Так, газета «Голос Москвы» находила, что «содержание альманаха довольно безвкусно и бесцветно» (1907, № 166, 18 июля); московская же газета «Столичная молва» писала: «О гг. писателях, пристроившихся к этому издательству, уже давно сказано, что они не только своих, новых слов не имеют, но и чужие-то, старые слова пережевывают удивительно бесталанно» (1908, № 98, 24 ноября). Когда в 1911 г. была создана «Молодая Среда», членом которой стал и Ютанов, к участию в «Сполохах» были привлечены многие члены этого кружка (Н. Н. Ляшко, А. М. Васнецов, Н. С. Ашукин, Бор. Пильняк, М. П. Гальперин, Ю. В. Соболев и др.). Ряд материалов об альманахах «Сполохи» и их издателе хранится в ЦГАЛИ (ф. 609 и ф. 577); см. также незаконченные воспоминания Ю. А. Бунина «У В. П. Ютанова в редакции „Сполохи“» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 3, ед. хр. 2).

[8] Против этой фразы рукой Телешова вписано: «До осени — СПб., Лахтинская, 30. Гапсаль, Эстляндской, дача Мясоедова».

156. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨с. Глотово, ст. Измалково, 27 июня 1909 г.⟩

Что же ты замолк, Митрич? Берешь ли рассказ Нилуса? [1] Присылать ли его и каков твой адрес для заказных? Присылать ли стихи?

Жду ответа, целую, кланяемся Елене Андреевне.

27 июня 09 г. Твой Ив. Бунин

На обороте: Ст. Малаховка, Казанск. ж. д. Собственное имение («Озеро»). Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Измалково, 27.6.09; Малаховка. Моск. г., 28.6.09.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 7. Открытка. Место отправления определено по почтовому штемпелю. На открытке помета Телешова: «Отв⟨ечено⟩. Адрес Зайцева».

[1] См. п. 155 и примеч. 2 к нему.

Ю. А. БУНИН

Фотография. Москва, 1912

Из альбома, подаренного Бунину членами «Среды» к двадцатипятилетию его литературной деятельности.

Центральный архив литературы и искусства, Москва

157. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨с. Глотово, ст.⟩ Измалково, Орловской губ., 8 июля ⟨19⟩09 г.

Милый Митрич, чуть не три недели тому назад, в ответ на твою просьбу дать рассказ и стихи в твой сборник, написал я тебе, что могу дать и то и другое, и предложил, кроме того, рассказ Нилуса в 2 листа, весьма хороший, по моему мнению [1]. Ты после сего замолк. Писал тебе снова [2] — и снова от тебя ни ответа, ни привета! Что сей сон значит? Ответь, пожалуйста, ибо держать рассказ без толку нет смысла: если он тебе не нужен, пошлю его к Копельману [3] или в «Московское книгоиздательство» [4], так как пристроить его Нилус поручил мне. Да сообщи, повторяю, твой адрес *для заказных*.

Целую тебя, прошу кланяться Елене Андреевне — и от меня и от Веры.

Твой Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 8. На письме помета Телешова: «Отвечено 11 июля 909. Н. Т.»

[1] См. п. 155.
[2] См. п. 156.
[3] О С. Ю. Копельмане см. п. 148.
[4] «Московское книгоиздательство» было создано в 1907 г. Его владельцем был Г. Г. Блюменберг, сын крупного купца, торговца бумагой Г. А. Блюменберга.

158. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 8 июля 909. Чистые пруды, 217

Дорогой Иван Алексеевич.

Не писал тебе давно по очень многим причинам. Был болен, лечился, не пил ни капли вина, валялся в глубоком обмороке, а теперь сижу с флюсом. Кроме того, переезжаю с квартиры. И кроме того, не знаю, что делать с сборником. Рукописи имею пока от Серафимовича (лист × 200 р.),

Семенова (по 100) и Крашенинникова [1]. Скиталец прислал портрет, а рукопись едет следом (по 300 р.) [2]. Вересаев к августу пришлет непременно (по 100 р.) [3]; за этого я спокоен. Куприн пишет третье письмо с подтверждением, что обязательно даст рассказ. Вот пока и все.

Не знаешь ли летнего адреса Зайцева? Напиши мне, пожалуйста. Адрес Найденова до осени: СПб., Лахтинская, 30, или же: Эстляндская губ., Гапсаль, дача Мясоедова.

Так видишь ли: если допустить далее гонорары более высокие, то книга в 15 листов при 10 000 экз. будет стоить себе 50 коп. (на одни лишь гонорары). Печать, бумага, все прочее, объявления и т. д.—не менее 20 к., да скидка торговцам 30 к. То есть ровно 1 рубль. И продажная цена ей — рубль. Так что рабочие, ради которых все дело затеяно, получат (при удачном ходе книги) ровно нуль.

Я рассчитывал на действительное сочувствие писателей: привлекательные имена, хорошие вещи... И была бы боевая книга. Печатать можно бы не 10, а 30—40 тысяч. А теперь, когда все по своим мурьям сидят, да работают на «Шиповник», на «Землю», на «Знание», то руки опускаются. Время еще не потеряно, терпение еще не иссякло, но червь сомнения уже сверлит мне нервы.

Рассказ Нилуса высылай. Буду читать и подсчитывать плюсы и минусы материала. Не дорого ли просишь за него 200 рублей? Ведь все-таки дело благотворительное. Впрочем, не знаю. Либо все возможно, либо ничего нельзя. Скоро буду делать доклад Обществу обо всех делах. А там как они хотят. Я достаточно помучился с этим делом.

Где Федоров? Почему не отвечает мне ничего? Писал ему об этом деле еще в марте или апреле. Будешь писать ему — напомни. Я жду прозу и стихи [4].

Терплю до половины августа, в ожидании чего-либо от Горького, Андреева, Короленко [5]. А потом, думаю, что терпение мое должно лопнуть.

Твой Н. Телешов

Привет Вере Николаевне.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 53—53 об. Ответ на п. 155 и 156.

[1] А. Серафимович дал для сборника рассказ «Паровоз № 314 б»; С. Т. Семенов — рассказ «Егор Липатов»; Н. А. Крашенинников — рассказ «Плач Рахили».

[2] Скиталец прислал рассказ «Дуэт» и стихотворение «Я разгадал тебя...».

[3] В. В. Вересаев дал рассказ «Мне отмщение».

[4] Федоров ответил Телешову 25 июля 1909 г. (см. п. 163 и примеч. 1 к нему).

[5] Л. Н. Андреев не принял участия в сборнике. О Горьком и Короленко см. примеч. 2 и 5 к п. 150.

159. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨с. Глотово, ст. Измалково, 10 июля 1909 г.⟩

Дорогой друг, от души желаю тебе поскорее и как следует поправиться, а что до сборника, то, признаться, я не ожидал столь горестных известий о нем. Смутило меня и перечисление твое, сколько кто просит. Ты как бы сказал мне этим: «А ты ишь сколько ломишь!» Но, повторяю, я ведь этого ничего не знал, да ты и сам твердил, что цены должны быть обычные, иначе все дадут что попало. Подождем, пока дело выяснится. Если оно примет скромные размеры, готов дать и с своей стороны что-нибудь небольшое — и подешевле. Подожду посылать и Нилуса. Ты говоришь: «Присылай, а я учту плюсы и минусы». Но при таком условии я, собственно, и не имею права посылать. А вдруг ты вернешь? За что же я

поставлю человека в неловкое и обидное положение, да еще будучи убежден, что вещь его не хуже прочих?

Адрес Зайцева — Ст. Мордвес, Рязанско-Уральской ж. д., имение Притыкино. Федорова — Одесса, Большой Фонтан, дача Балиховой [1].

Целую тебя и кланяюсь Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

10 июля* 09 г.
Измалково, Орловской губ.

На конверте: Москва. Чистые пруды, 217. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Измалково, Орл., 12.7.09; Москва, 13.VII. 1909.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 5. Ответ на п. 158. В тексте подчеркивания рукой Телешова.

[1] Б. К. Зайцев поместил в сборнике «Друкарь» рассказ «Лина»; А. М. Федоров — три стихотворения («Сонет», «Жатва», «Порт»).

160. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 11 июля 909

Дорогой Иван Алексеевич.

Сейчас получил твое письмо с деловым запросом. Конечно, рукописи нужно переслать мне, а не Копельману, которому желаю на том свете подавиться векселями Гржебина [1]. Этим свиньям не следует подавать руки, а не то что рукописи высылать. Я прощаю им издевательства надо мной, но оставляю, однако, себе удовольствие считать их нахалами. На это я имею достаточно впечатлений.

Впрочем — черт с ними!

Писал тебе вчера или как-то на днях письмо [2]. Я был болен — во-первых, и смущен и расстроен — во-вторых.

Я не гожусь для жизни. У меня свои взгляды, свои определения. Мне не следует браться за «дела». Я болезненно отношусь к ним. Кроме угнетения, я ничего не выношу из дел, или, как некоторые говорят, «из делов».

Войди в мое положение: лето, все у черта на куличках, никого в Москве; дела не радуют... Хоть тресни!

Получил сегодня рукопись и стихи от Скитальца [3]. Еще не читал. Сегодня же получил письмо Марии Павловны Чеховой. Письмо ласковое, и от гонорара отказывается, но... надежды мало [4].

Видел сегодня Сытина. Он меня изругал. Он человек умный и ругается хорошо. Говорю ему: будет сборник, или нет? У меня материалы сбираются, но один я на себя не беру ответственность. Он ответил: продолжайте и не унывайте. Сборник должен быть и будет.

На том и расстались.

Что ж — я напишу еще несколько сотен писем к писателям, хотя упрашивать их мне уже надоело.

Для заказных писем мой адрес: Москва, Чистые пруды, свой дом. Ибо сюда я переезжаю на зиму и уже начал переезжать из дома Орешникова.

Если ты дописал свой рассказ, то давай его мне; также и Нилуса. Не забудь портреты и стихи.

Напиши мне письмо частное, а не деловое. Околеваю я таки от деловых писем.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 54—54 об. Ответ на п. 157.

---

* *В подлиннике описка*: июня

[1] См. п. 148 и 149.
[2] См. п. 158.
[3] См. примеч. 2 к п. 158.
[4] В письме 3 июля 1909 г. М. П. Чехова писала Телешову в ответ на его просьбу дать что-либо из архива Чехова в сборник: «Скажите, что мне делать, чтобы мне поверили, что у меня нет портфеля с еще неизданными произведениями моего покойного брата. Есть у меня только письма его ко мне, которые находятся в Москве, в конторе Джамгарова. Я не хотела бы их печатать и даже сейчас не могу сообразить, есть ли что-нибудь подходящее для сборника. В ноябре я буду в Москве, попробую посмотреть и поискать, но ведь это долго ждать. Мне очень тяжело отказывать ввиду хорошей цели сборника. О гонораре, конечно, не может быть и речи» (ИРЛИ, Р III, оп. 1, № 2200, л. 1 об.— 2).

В «Друкаре» под заглавием «Из писем к семье» было помещено письмо Чехова к М. П. Чеховой 7 апреля 1891 г. Здесь же были напечатаны два его письма к Белоусову и одно к А. А. Хотяинцевой.

161. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 15 июля 1909 г.›

Дорогой Иван Алексеевич.

Относительно Нилуса ты не прав: рассказ его во всяком случае *принят* и я могу «вернуть» его только потому, что сборник не состоится. Тогда я верну рукописи всем авторам, поэтому и прошу слать их *на мое имя* вполне спокойно. Прошу доверить их лично мне.

«Плюсы и минусы», которые тебя озадачили, относятся не к Нилусу, а вообще к имеющемуся у меня материалу: боюсь, что с таким багажом нельзя начинать книгу. Поэтому и говорю: присылай рукопись; учту плюсы и минусы и погляжу, есть ли надежда на то, на что я рассчитывал. Если будут два хороших рассказа, а остальное «всячина», если будут два имени больших, а остальные «по второму разряду», то куда же соваться? Было бы нужно сделать книгу лучше «Шиповника» или «Знания», а не гоняться за славой «Сполохов» [1]. Ерунды и без нее много печатают. С чем мы выступим? на что будем рассчитывать?

Я надеялся, что все откликнутся, пришлют лучшее (пусть и возьмут за это), но ошибся я сильно. Выклянчивать по сто раз у каждого мне надоело.

Слышал я, что был разговор с Брюсовым. Он говорит, что мог бы дать сборник «новой школы». Понимаешь? Опять на их улице будет праздник. А наши всё задницу чешут. Никак не раскачаются. Должно быть, действительно мы никуда не годимся. Грустно.

Где Горький? Говорят, он уже не на Капри.

Привет Вере Николаевне.

Твой Митрич

909
15 июля

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 55—55 об. Ответ на п. 159.

На оборотной стороне конверта к п. 159 набросан проект этого ответа Бунину, написанного 15 июля: «Нилус принят во всяком случае. Верну лишь в том случае, если сборник *не состоится*. Плюсы и минусы относятся к имеющемуся материалу. Я боюсь, что с таким нельзя начинать книгу. Брошу всю затею, если будут давать дрянь. Ты рассказ хвалишь, я и говорю: присылай, погляжу, есть ли надежда на то, на что я надеялся, или мне не на кого рассчитывать. Это самоподдержка, а не вопрос напечатания или отказа. Или ты не так понял и я очень плохо сказал, но суть — вот какая».

[1] См. примеч. 7 к п. 155.

162. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, после 18 июля 1909 г.›

Дорогой Митрич, посылаю тебе Нилуса. Оригинал был измаран — мы переписали его, да машинка наша портится — и вышло неприглядно. А тут подоспели новые поправки, и, перенеся их на нашу рукопись, совсем измазал я ее. Но примирись с этим — в наборе рассказ выиграет; кроме того, автор хочет сократить чуть-чуть — в корректуре. О портрете напиши ему сам: Одесса, 13-я станция трамвая на Большой Фонтан, Петру Александровичу Нилусу [1].

Брюсов предлагает сборник «новой школы»? Дурак разве воспользуется этим! Что он даст? Кого? Плюнь на это и не бойся. Да не обижайся на писателей. Просто у них еще нет ничего. Но ведь скоро осень — жатва. Не зевай же.

Горький на Капри. Недавно получил от него очень милое и веселое письмо [2]. Напиши ему, напомни.

Что до меня, то чувствую себя неважно. Изнурила погода — и мысль: писать, писать! Верно, на днях уеду на юг. Все-таки не беспокойся — и стихи, и рассказ будут.

Письмо, как видишь, опять деловое. Да уж не сердись: новостей нет, писать я не мастер.

Поскорее ответь мне.

А засим — прими мой поцелуй и передай от нас поклон Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

P. S. Подивился я на № твоего дома: 217. Хорошая марка! Многозначительная.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 9. Ответ на п. 161. В тексте ряд мест подчеркнут Телешовым.

[1] См. примеч. 2 к п. 155.

[2] Горький прожил на Капри всю вторую половину 1909 г.; лишь изредка он выезжал ненадолго в Неаполь, Алясио и другие города Италии. Упоминаемое письмо Горького к Бунину остается неизвестным.

163. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 30 июля 1909 г.›

Милый Иван Алексеевич.

Рассказ Нилуса получил и прочитал. Рассказ хороший. Ответь, пожалуйста, сейчас же: что *ты* думаешь мне прислать: палестинское или из жизни? Знать необходимо, ибо Федоров предлагает Вифлеем и Гробницу и торопит ответом [1].

От тебя я желал бы получить беллетристику. Впрочем, дело твое. Не томи ответом и скажи в двух словах — что готовишь мне [2].

Как думаешь? Зайцев предлагает «Простое сердце» Флобера — в 2 листа. За все просит 100 р. Недорого, но — удобно ли давать переводы, хотя язык Флобера дело нелегкое. Но сама вещь не нова и в дубовом переводе уже была [3].

«Редакцию» свою я всю растерял. Все отдыхают и путешествуют. Один я, как черт в болоте, за всех отдуваюсь.

Придумай название сборнику. Я не могу. Выходит все очень скверно.

Напиши Горькому; подгони его. Я тоже сейчас буду писать. Если будешь писать Андрееву — тоже пристыди его. Неужели не может дать что-нибудь? [4]

Хотелось бы с тобой посоветоваться, поговорить.
Замучили вы меня!
Вере Николаевне — поклон.

Твой Н. Телешов

О рассказе не забудь ответить. И когда ждать рукопись? Надо бы подгонять; ведь — август!

1909, июля 30

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 56—56 об. Ответ на п. 161.

[1] В письме от 25 июля 1909 г. Федоров писал Телешову в ответ на приглашение участвовать в сборнике «Друкарь»: «Я с радостью откликаюсь на ваше предложение, благо у меня есть материал, приуготовляемый для осени. Посылаю вам, кроме стихов, сразу две вещи на выбор: пьесу „Круг завершен“ ⟨...⟩ и рассказ „На крыше“. Гонорар назначьте сами, какой хотите и можете. Ни вы не обидите, ни я не обижусь. Если почему-либо это будет неудобно, пришлю нечто палестинское. В августовской книжке „Русской мысли“ пойдет „Гефсимания“. Вам могу прислать „Вифлеем“ и „Гробница Ревекки“» (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 385).

[2] См. примеч. 1 к п. 155.

[3] См. п. 164.

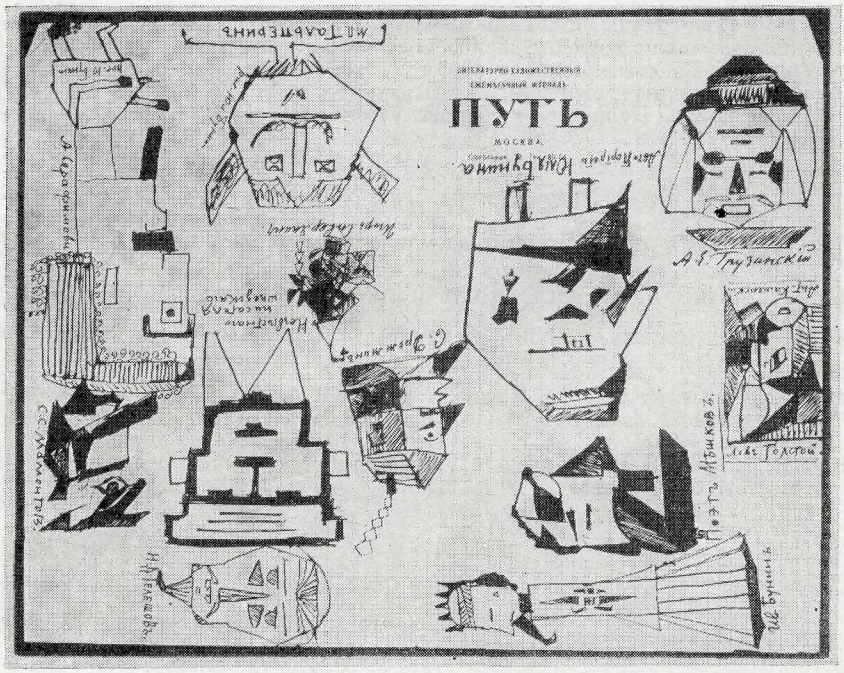
[4] См. примеч. 5 к п. 158.

164. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨с. Глотово, ст. Измалково, 1 августа 1909 г.⟩

Дорогой Митрич, название сборнику придумать не ручаюсь, но подумаю; «Простое сердце» Флобера было во *многих* переводах, издано в нескольких пяти- и десятикопеечных брошюрках, помещено и в собрании сочинений: там — в переводе Ясинского [1] (Максима Белинского), человека, пользовавшегося одно время большой известностью, как тебе ведомо, и, думаю, знающего язык не хуже нас, грешных: как раз нынешним летом попросил я Юлия — хоть спроси у него — привезти мне это самое «Сердце» на французском диалекте и начало перевода Ясинского с подлинником сравнивал: совсем ничего себе,— настолько ничего себе, что новых красот в новом переводе публика, пожалуй, и не заметит; напиши-ка ты пока уклончивое письмо, вопросительное: «Дорогой, не дадите ли лучше что-нибудь свое?»— а если имеешь характер,— хотя ведь слаб ты!— то и решительное; Горькому напишу — непременно [2]; непременно напишу и Куприну, да и тебе советую; *горячее же всего советую* и прошу *съездить* к Толстому: цель сборника хорошая, если возьмет гонорар — пожертвуйте его на еще более хорошее дело,— убежден, что что-нибудь да даст! [3]

Ну, а на закуску — о себе и Федорове; спроси мнение Юлия, он человек редко беспристрастный, о моем Константинополе — «Тень птицы»,— он перечитал ее, вернувшись из поездки в те края, и согласись с ним, что это — вещь нешуточная [4]; говорю же я это к тому, что если бы, паче чаяния, я и дал тебе о Палестине, то это было бы уж не так и плохо [5]. Это последний мой рассказ о поездке, и придаю я ему довольно большое значение, пишу его давно, отношусь к нему так серьезно, что не печатаю его уже года полтора; можешь видеть из моих слов: «паче чаяния», что я *очень* хочу дать тебе не о Палестине, а простой рассказ, но... ручаться не хочу; а из этого вытекает, что от «другой» Палестины тебе следует отказаться,— так и сказать: «Вероятно, Иван Алексеевич даст мне именно о Палестине»; вытекает еще и из того, что, верно, плохи эти Вифлеемы и Гробницы — спешная, неискренняя работа; попроси-ка простой рассказ; и не бойся — в другое место не отдаст, нету его, этого другого



БУНИН И ПИСАТЕЛИ-СОВРЕМЕННИКИ
Карикатуры Ю. А. Бунина (перо), 1910-е годы
Литературный музей, Москва

места, хоть и торопит он с ответом; дай ему понять, что сборник должен быть отличный — и рассказы первый сорт.

А затем — будь здоров, напиши поскорее, как все это решишь, да не торопи меня: ей-богу, постараюсь и в начале сентября — последний срок — дам, а стихи — когда хочешь; помни, что плохое у меня нынче лето: без шуток, плохо, очень плохо себя чувствую благодаря геморрою, подагре и гнусной их матери — скверной погоде.

Кланяемся Елене Андреевне, целую тебя, дорогой.

Твой Ив. Бунин

1 авг. 09 г.

P. S. *Ни единой живой душе не читай и не рассказывай этого письма.* Вера очень просит — сообщи ей адрес Зайцевых.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 10—10 об. Место отправления определено по предыдущему и последующему письмам. Ответ на п. 163.

[1] «Простое сердце» в переводе И. И. Ясинского было напечатано в Собр. соч. Г. Флобера, т. I. СПб., изд. Л. Ф. Пантелеева, 1896.

[2] Остается неизвестным, выполнил ли Бунин это намерение: в публикации его переписки с Горьким этого письма нет.

[3] Телешов последовал этому совету. 18 октября 1909 г. в Ясную Поляну поехал И. А. Белоусов (в составе группы лиц для записи голоса Толстого на граммофонную пластинку). Вечером того же дня Белоусов передал Толстому «поручение-просьбу» Общества типографов и получил от него портрет с автографом — «несколько изречений и афоризмов на тему о жизни и смерти из „Круга чтения“» (И. А. Белоусов. Литературная среда. Воспоминания 1880—1928. М., «Никитинские субботники», 1928, стр. 228—229). Позднее Толстой прислал для «Друкаря» статью «О жизни и смерти». В бумагах Телешова сохранилось его письмо к Толстому 19 октября 1909 г. с благодарностью за портрет и с просьбой прислать статью к 10 ноября (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 11).

[4] Рассказ «Тень птицы» был написан в 1907 г., после путешествия по Востоку, которое Бунин совершил с женой. Однако, по ее свидетельству, «там все из впечатлений его пребывания в Константинополе в 1903 году», когда Бунин впервые побывал в этом городе («Жизнь Бунина», стр. 148).

[5] В конце концов Бунин дал в сборник рассказ «Иудея»— то есть именно «о Палестине».

165. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 1 августа 1909 г.›

Посылаю ответ на твое письмо от 30 июля в Москву, на Чистые пруды [1].

Ив. Бунин

1 авг.

На обороте: Ст. Малаховка, Казанск. ж. д. Собственная дача. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Измалково, Орл., 3.8.09; Измалково, Орл., 4.8.09; Малаховка, Моск. г., 5.8.09.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 11. Открытка. Место и год отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] См. п. 164.

166. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 17 августа 1909 г.›

Митрич, присылать мне тебе стихов? И — выражаясь грубо — на какую сумму? Мне очень пора это знать, а то начну рассылать. Уже поступают «требования». Осень на носу.

Целую, *жду скорого ответа*, кланяемся Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

17 авг. 09 г.

На обороте: Почт. отд. Малаховка, Московск. (при ст. Малаховка, Казанской ж. д.). Собственная дача. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Орел — Грязи, 18.8.09; Малаховка. Моск. г., 19.8.09.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 12. Открытка.

167. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Поезд Москва — Киев, 25 сентября 1909 г.›

Митрич, все-таки грустно, что не выходит у тебя дело с Федоровым! Ему, брат, и так чертовски не везет. Помни это. И про пьесу напиши ему сам. Проси рассказ, коли не хочешь пьесы [1]. Адрес его: СПб., Кирилловская, д. № 20, кв. 8.

Твой Ив. Бунин

Вагон. 25 сент.

На обороте: Москва. Чистые пруды. Собственный дом, № 217. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва — Киев, 26.9.09.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 22, л. 3. Открытка. Год и место отправления определены по почтовому штемпелю и по адресу.

[1] По-видимому, после того как Телешов отклонил предложение Федорова дать рассказы на тему о Палестине («Вифлеем» и «Гробница»), тот вернулся к мысли дать пьесу, от которой Телешов отказался. О помещенных в «Друкаре» стихах Федорова см. примеч. 1 к п. 159.

168. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 2 октября 909

Милый Иван Алексеевич.

Ну что же: будет рассказ Куприна, или нет? Он, кажется, напечатан уже где-то в газетах. Вчера виделся с Андреевым: рассказ дает обязательно, непременно и верно, но не ранее половины или конца октября. Согласен на помещение в конце книги. Сдал в набор несколько рукописей, в том числе Нилуса. Пожалуйста, не задержи своим рассказом, пустим его одним из первых. Необходим портрет Куприна (если будет участвовать). Надвинь на него хорошенько, и либо то, либо се. Теперь дожидаться невозможно долго. Иначе все брошу и уйду. Валандайтесь с Блюменбергами, Копельманами и Пятницкими, если не признаете товарища. Надоела мне эта канитель.

Твой Митрич

На обороте: Одесса. Княжеская, 27. Ивану Алексеевичу Бунину. Почт. шт.: Воронеж — Москва, 2.10.09; Одесса, 4.10.09.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 57. Закрытое письмо — «секретка».

169. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, 4 окт⟨ября 19⟩09 г.

Милый Митрич, очень прошу тебя — *немедленно* вышли мне в счет гонорара за рассказ еще 100 р. Распиской послужит тебе это письмо и квитанция почтовая. Адресуй так: Одесса, Княжеская, 27, Петру Александровичу Нилусу. А рассказ я пришлю через неделю. Не жди нас — набирай что есть, это ерунда сущая — распределять материал по рангам. Спешить надо — вот главное. Что ты, например, не набрал рассказ Нилуса? Мы бы уже давно корректуру прочитали.

Что Леонид? Даст ли и что́?

Куприна надо, повторяю, деньгами подмазать. Я тебе писал: он просит вперед рублей триста. Посылай тоже на Нилуса. А то Куприн говорит: «Знаем мы эти сборники! Напишу, пошлю, а сборник-то и не выйдет — и время пропало, и рассказ проваляется!»

Здесь совсем лето. Но я целый день сижу в номере — переписываю и подчищаю «Камень» [1].

Целую. Действуй энергичней.

Твой Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 13. В тексте помета Телешова — подчеркнут адрес Нилуса.

[1] Рассказ «Камень», позднее выделенный Буниным в самостоятельное произведение, в тексте, напечатанном в «Друкаре», входил в состав «Иудеи», занимая 4-ю и 5-ю главы.

170. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 8 окт⟨ября⟩ 909

Милый Иван Алексеевич.

Брось купаться, брось пить красное вино, а займись делом. Твоей рукописи нет, а сборник уже сдан в набор. Если будешь медлить,— попадешь в середку и сам будешь виноват. Последнее место оставил за собою Андреев, который обязательно пришлет рукопись к концу месяца.

Видел отца Елпатия [1] — на минутку. Обожаю сего праведника, точно институтка. Действительно люблю его. Действительно хороший человек.

Ну что же Куприн? Будет толк или нет? Будет обидно, если нет. «Деньги на бочку!» — говорит он устами Нилуса. Но я желал бы знать — где эта бочка? и куда я должен положить деньги, а он — рукопись. Без рукописи не дам ни гроша.

Твой Н. Телешов

На обороте: Одесса. Княжеская, 27. Ивану Алексеевичу Бунину. Почт. шт.: Москва, 8.X.1909; Одесса, 10.10.09.

ГМТ, № 3159/1. Закрытое письмо — «секретка».

[1] «Отец Елпатий»— шуточное прозвище С. Я. Елпатьевского.

171. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, 12 окт<ября 19>09 г.
(я нынче именинник)

Милый Митрич, я останусь здесь, верно, еще с неделю и пошлю тебе рукопись почтой — на имя Веры, чтобы она передала тебе в руки: боюсь, что твой швейцар затеряет, а черновика у меня нет — т. е. есть-то есть, но рваный, да и во многом не похожий на то, что посылаю. Получив, *немедленно прикажи набирать* и приготовить мне корректуру в *двух* экземплярах *на широких листах. Место в сборнике для меня безразлично.* И вообще — повторяю: спеши, набирай и печатай, что есть. Брось глупые ранги.

Здесь Гальберштадт, которого я устроил к Сытину и который, кажется, уже здорово примазался к тому делу, которое хотел дать мне Сытин [1]. Приехал он покупать Куприна (собрание сочинений) — как Чехова — за 50 тысяч. Но ведет себя, по словам Куприна, глупо, и еще вопрос, выйдет ли дело. Пробыл здесь три дня и ко мне даже не зашел. Нынче я обедал с Куприным, пришел Гальберштадт и очень сконфузился: «А я вас ищу, у меня есть к вам дело, завтра приду».—«Милости просим»,— говорю.

Сообщает он, что ты велел передать Куприну, что дашь ты ему 800 за лист, просишь очень маленькую вещь и что сборник выйдет *в конце ноября*: Андреев-де обещал дать не ранее средины ноября.

Куприн дал нынче обещание принести 14-го рассказ в лист (40 000 букв), но просит 1000 р. за лист. «Принесу, говорит, и давай телеграфировать Телешову, чтобы немедленно высылал мне 1000 р.»— Что скажешь на это? Не обойтись ли тебе без Андреева? С одним Куприным? А?

А что же ты мне 100 р.? Смотри, брат, рассказа не дам, и пропадут ваши 500 р. Нет, серьезно, нехорошо. Жду *.

В «Биржевых ведомостях» есть известие, что в этом твоем сборнике будет Толстой, Короленко, Куприн — и моя «Деревня»: «повесть в 10 листов, которая, по словам слышавших первую часть, вызовет большие толки и справа, и слева»... и т. д. [2]

Целую, будь здоров. Поклон Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 14—14 об. Ответ на п. 170.

[1] 26 августа 1909 г. Бунин писал Горькому: «Сытин предлагает мне редактировать те новые издания, которыми он жаждет „освежить“ свою фирму. „Берем, говорит, в свои руки железные дороги и всякую такую штуку, будет у нас триста распространительных станций — хорошо бы вот вас-то, молодежь, привлечь...“ Но чем все это

* Только не мне вышли, а Нилусу.

кончится, не знаю: боюсь погибнуть, завязнуть в делах» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 41—42).

Лев Исаевич *Гальберштадт* (1878—?) — журналист, в 1909 г. секретарь редакции «Северного сияния» (см. примеч. 2 к п. 149). В его письмах к Бунину о положении дел в журнале есть упоминания и о Сытине, проливающие дополнительный свет на этот эпизод. 2 июля 1909 г. Гальберштадт горячо убеждал Бунина не отказываться от предложения и намечал план совместной работы с ним: «Вам предложили иметь исключительное влияние на крупнейший в России читательский „рынок". Отказаться от него значит отказаться от многого и, может быть, отдать его влиянию других» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 317, л. 6). Та же мысль, но в более ясной форме, звучит и в письме 19 июля 1909 г.: «Как бы и тут, в случае вашего отказа, для всей едущей и путешествующей Руси ее литература не оказалась представленной исключительно Блоком, Ремизовым, Кузминым e consorti» (там же, л. 8). Бунин все же отказался от участия в этом предприятии Сытина.

[2] В «Биржевых ведомостях» (вечерний выпуск, 1909, № 11348, 6/19 октября) под рубрикой «В литературном мире» была помещена заметка: «В Москве выходит интересный сборник в пользу типографских рабочих. В нем будут помещены новые вещи Льва Толстого, Короленко, Андреева. Ожидается вещь Куприна. Бунин написал для сборника большую, в 10 листов, повесть „Деревня". Это самое крупное по объему произведение Бунина, до сих пор ограничивавшегося почти исключительно миниатюрой. Первую часть повести Бунин недавно прочитал в одном литературном кружке в Москве. Повесть выразительно окрашена с идейной стороны и, вероятно, вызовет разговоры и полемику справа и слева».

172. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 12 ноября 909

Милый Иван Алексеевич,—

Посылаю тебе карикатуру на тебя — очень глупую, и на Куприна — очень хорошую. Обе они появились в журнале «Копейка» [1].

Во-первых, изобразить хотели тебя, а нарисовали Брюсова. Это глупо. Во-вторых, если бы нарисовали тебя, было бы еще глупее. Впрочем, может быть, в том вся и соль, что это не ты, а Брюсов? Тогда не понимаю. Глупо во всех видах и смыслах.

Вот что я забыл тебе сказать. Не увидишь ли Гржебина? Скажи, что я так обижен и возмущен всем его поведением, что церемониться с ним не стану и дело передам поверенному, и если тот найдет в его поступках что-либо большее, чем простой неплатеж, спорить с этим не стану [2].

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 58.

[1] Шарж «И. А. Бунин» (серия «Наши знаменитости». Из альбома шаржей) был помещен в иллюстрированном еженедельнике «Журнал-Копейка». М., 1909, № 20, стр. 3.

[2] См. п. 148.

173. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 14 ноября 1909 г.

Милый Иван Алексеевич,

Что же корректура? Надо сдавать скорее. Не держи, ради бога. Когда кончится это мучение с сборником? Все канителятся — точно умирать едут.

До тебя дело и большая просьба. Шаляпин дал стихи [1], и нужно их тебе посмотреть. Он уже знает о том, что я покажу тебе. Он едет сегодня, 14-го, в Питер. Не выслать ли их тебе? Или до Москвы отложить?.. Какую я придумал обложку — н-ну!! Небывалое дело. Не знаю только, годится ли. А уж оригинально так, как ни один декадент не придумает. Из-за одной обложки купишь книгу, а не то что... [2]

Твой Н. Телешов

На обороте: Петербург. Северная гостиница. ЕВБ Ивану Алексеевичу Бунину. Почт. шт.: Москва, 14.VI. 1909; Петербург, 15.VI. 1909.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 59. Закрытое письмо — «секретка».

[1] В сборнике «Друкарь» было помещено стихотворение Шаляпина «Заря».
[2] Этот проект обложки не был осуществлен (см. п. 177).

174. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Петербург, 16 ноября 1909 г.⟩

Надеюсь быть в Москве в четверг 19-го.

И. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды, 217. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: С.- Петербург, 16.11.09; Москва, 17.XI. 1909.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 31, л. 15. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

175. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Москва, 30 ноября 1909 г.⟩

Милый Митрич, хотел поговорить с тобою — телефон не работает. Шлю корректуру. Прочти, милый, — верно, еще есть ошибки. Пометь, чтобы мне дали оттисков 10. Пошли Волкенштейну [1]. Пришли мне с дворником нашим стихи, если есть, в чистом виде. [Я забыл их у тебя.]

Твой Ив. Бунин

30 ноября

В стихах ты, когда правил, наделал чепухи кое-где.

Привет полночный, ласковый и свежий,

после «свежий» *надо* запятую, а ты ее выкинул.

...Так тихо в курене,

слово «Так» *надо* с большой буквы.

В лоне неземного бытия,

после «бытия» *надо* запятую.

Стар сторож, стар! *И* слаб, и видит плохо,

это «И» должно быть *большое*.

После слов: «В большой чалме» поставь точку, а не многоточие [2].

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 27, л. 13—13 об. Год определен по содержанию.

[1] Возможно, Федор Акимович Волкенштейн (см. о нем в „Беседах с памятью" — настоящ. том, кн. 2).
[2] Все эти ошибки в стихах Бунина, набранных для сборника «Друкарь», были выправлены Телешовым.

176. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, около 1 декабря 1909 г.⟩

Милый Иван Алексеевич.

Чем больше бьюсь с типографщиками, тем хуже. Сладу нет! Стихи выручить никак не могу. Сейчас спрашивал опять: в 5 ч. пришлют. И это каждый день так.

Выправлю все, как говоришь.

Звонил тебе сегодня от 9 утра до 2 $^1/_2$. У тебя, оказывается, положена трубка и потому — «занято».

БУНИН
Фотография, Москва, 1912
С дарственной надписью: «Николаю Дмитриевичу Телешову, одному из самых близких и дорогих мне. Ив. Бунин. 6 ноября 1912 г.»
Литературный музей, Москва

Галунов [1] нынче разозлил меня. Посылал к нему авторов за деньгами, отвечает: «Я ничего не знаю; там *кто-то без меня* все издает».

Это отместка за рассказ его сына. Обиделся.

Обижусь и я. Хочу сейчас писать им: утвердите все, что взято мной, а если дорого или не нравится, то авторы возьмут назад и продадут дороже.

Вот нажил себе «казнь египетскую»!

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 27. Датируется по содержанию и по связи с п. 175.

[1] Андрей Григорьевич *Галунов* — управляющий московской типографией т-ва «Печатня С. П. Яковлева». Был председателем «Комиссии по изысканию средств на устройство Инвалидного дома имени первопечатника диакона Ивана Федорова для инвалидов тружеников печатного дела». Комиссия эта была образована Вспомогательной кассой типографов в Москве.

177. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

<Москва> 9 декабря 909

Милый Иван Алексеевич.

Посылаю тебе твою «Иудею»— все, что у меня есть. Она еще в черном виде. Но это последний оттиск, другого нет. Книгу печатают сразу в трех типографиях [1], и нет возможности добраться, где и у кого какой лист. Возможно, что «Иудея», расположенная по 3-му, по 4-му и по 5-му листам, печатается во всех трех типографиях. Сейчас очень трудно собрать. Когда начнут собираться листы, тогда скорее добьешься толка. Да на что она тебе так скоро нужна? Ведь сборник выйдет до праздников, и ты получишь книгу и оттиски, а если думаешь писать продолжение, то и по черному оттиску можно.

Убийственно долго тянется вся эта дурацкая история. Надоела она мне, замучила меня — до последней степени. И все нет развязки. На днях чуть было опять не разругался и хотел уйти. Да куда уйдешь, когда все готово и только никак родиться не может мое 9-месячное дитя!

Да: сегодня девять месяцев и три дня, как я все рожу-рожу эту книгу и не могу разрешиться от бремени.

Сколько я врагов себе нажил — не сочтешь. А вот ежели книга «сядет», то «друзья» мои новые предадут меня анафеме в Успенском соборе, с протодьяконом, и на Красной площади посадят меня на кол. Кроме того, будут думать, что все мы, авторы сборника, не что иное, как сукины дети, а что настоящие писатели только Брюсов и Кречетов, которые летом предлагали взять книгу в свои руки, а меня со всеми вами послать к черту.

Зол я теперь, как цепной пес, и сторожу́ сборник и готов за него грызться с кем хочешь.

Беда: обидел я Марью Павловну. Ругает меня Фомой неверным. Но это уж хорошо, а то третьего дня совсем было обиделась. Но я, когда увижусь с ней, себя обелю в ее глазах, потому что, уверяю тебя, действовал по совести и вступился за имя Антона Павловича. Теперь я достал прелестное письмо его о поездке на Везувий. И успокоился. Успокоился потому, что теперь в моем сборнике Чехов — настоящий Чехов, милый, талантливый, хороший. А иначе я показал бы Чехова публике без блеска; точно я украл у него из кармана носовой платок. И себя поставил бы в дурацкое положение, и его подвел бы: ведь не все, не вся публика, его так хорошо любят, как мы с тобой. А то заплатил за книжку 1 $^1/_2$ целковых, да уж и — судья!.. А теперь пусть судят: Чехов хорош. Не боюсь теперь никакого судьи [2].

Мне тебя очень жаль, больного и ослабелого... (осла белого!—вот ерунда). Болезнь эту я знаю; бывало со мной и хуже. Противная штука, но она пройдет скоро и без последствий. Кто тебе сказал про Малаховку? Никогда не слыхал о таком пансионе. Знаю только одно, что Красково место хорошее. Если б я был здоров, я поехал бы сам и все узнал. Если думаешь жить там, я постараюсь приложить все мое «влияние», чтоб тебе было хорошо. Влияние это таково: больница тамошняя, очень хорошая, со мной друг в лице главного доктора Леоненко, человека талантливого и очень хорошего. Они консультировали у меня с отцом Елпатием. Земская школа, с учительницами и библиотекой, опять друзья мои. Книги, общество, медицинская помощь — все к твоим услугам. Все это будет по твоему желанию. От нашей дачи это близко, версты две. Наш сад, оранжерея, пруд, поля — если на лыжах—все тебе готово. Но вино красное, извини, заперто и без меня не найдешь. Телефон, аптека, почта — опять все знакомые люди и всё тебе сделают, что будет нужно.

Наконец, мои две комнаты (в конторе) в твоем распоряжении. Они отдельно от других, и там есть все: чернила, книги, камин. Но бывает холодно. Заставь топить. Впрочем, я и сам скажу своему Дон Карлосу (Василию Карловичу).

Место хорошее. Снег там не воняет, а — пахнет. Аромат свежести и холода — и чистота!

Когда решишь, ехать или не ехать, скажи мне. Я в свою очередь скажу, что нужно и кому следует, о приезде его превосходительства, как я назвал тебя на бандероли, чтобы она вернее дошла. Превосходительству дойдет! Когда в Лондоне издавалось толстовское «Воскресение», мне его высылали оттуда по два листа и писали: «Его превосходительству». Ни один пакет не пропал.

Выздоравливай и поправляйся. Шлю привет Вере Николаевне. Целую тебя.

Твой Н. Телешов

P. S. Боюсь обложку испортят мои «члены комиссии». Не верю я их вкусам. Мое предложение отвергнуто. Конечно — черт с ним, но жаль, если испортят. Я не мирюсь с розовыми буквами, годными для сытинских сказок за 40 копеек для среднего возраста. Но — ум хорошо, а восемь умов еще лучше. Но только испортят они обложкой всю книгу. Впрочем — их дело.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 125, л. 60—61 об. Ответ на недошедшее письмо Бунина.

[1] Сборник «Друкарь» печатался одновременно в следующих типографиях: Товарищества И. Д. Сытина; Русского товарищества; Торгового дома Лисснер и Собко.

[2] См. примеч. 4 к п. 160. В письме 23 декабря 1909 г. Телешов благодарил М.П. Чехову «за разрешение напечатать в сборнике письма дорогого Антона Павловича» и просил передать благодарность А. А. Хотяинцевой (ГБЛ, ф. Чехова, 3.11). В бумагах Телешова сохранился черновик его предшествующего («обидного») письма к М. П. Чеховой. Он писал в нем: «Я думаю, что всем будет казаться странным это одно письмо Хотяинцевой, потому что все знают, что у А. П. много писем, и писались они по нескольку зараз, и знают, что письма эти у вас, и вы многие из них уже давали печатать,— и появление этого одного письма будет непонятным и странным — как будто я достал его нелегально где-то со стороны и против вашей воли напечатал ‹...› Нас цена не стесняет, и мы с удовольствием заплатим сколько угодно, чтобы иметь несколько длинных писем, в которых что-нибудь описывается, или отражаются взгляды и настроения А. П. Эти письма придали бы огромный интерес сборнику, и мы не постояли бы за дорогой ценой» (ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 13).

178. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Одесса, 8 марта 1910 г.›

Дорогой Митрич, помнишь вино, привезенное Нилусом? Это вино некоего милейшего человека, большого любителя литературы,—Симы Шеббетесьича Хаджи, дяди нашего приятеля художника Эгиза [1]. Пошли этому дяде свои книги — он будет очень тронут: Ницца, г-ну С. Хаджи. Nice. A Monsieur S. Hadji (Grand Hôtel Continental).

Целую тебя, кланяюсь Елене Андреевне и Александру Андреевичу.

Твой Ив. Бунин

На обороте: Москва. Чистые пруды. Собственный дом. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Одесса, 8.3.10; Москва, 10.III.1910.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 32, л. 1. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

[1] Борис Исаакович *Эгиз* (1869—1946) — художник, активный участник Южнорусского товарищества художников. Учился в одесской рисовальной школе, затем в Академии художеств в Петербурге (окончил в 1894 г.). Работал в области жанра, пейзажа, портрета. С 1922 г. в эмиграции (Стамбул); в 1938 г. переселился в Вильнюс. С 1944 г. член Союза советских художников Литовской ССР.

179. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 29 марта 1910 г.›

Милый Иван Алексеевич.

С удовольствием тебе сообщаю, что один неведомый тебе читатель, ознакомившись с твоей повестью «Деревня» [1], где напечатаны непечатные выражения, воскликнул: «Господин Бунин — известный мáто-граф»!

Поздравляю тебя с графским достоинством и крепко целую! Привет Вере Николаевне. Поклон Нилусу и Федорову. Напиши откуда-нибудь [2] «открытку» — идет ли работа с повестью.

Опубликованная часть — вещь значительная, хорошая, и я искренно рад за тебя.

Твой Митрич

1910. Марта 29

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 1—1 об.

[1] Первая часть повести «Деревня» была напечатана в журн. «Современный мир», 1910, № 3.

[2] В середине марта 1910 г. Бунины выехали из Одессы за границу — через Вену, Милан и Геную, затем на юг Франции и в Северную Африку (см. настоящ. кн., стр. 363). Вернулись они из этого путешествия в середине мая.

180. ТЕЛЕШОВ и А. А. КАРЗИНКИН — БУНИНУ

‹Берлин, 22 июля/4 августа 1910 г.›

Из прекрасного культурного города Берлина — искренний привет!

Н. Телешов

И я — такой же!

А. Карзинкин

На обороте: Russie. Moscou. В Москву. Столовый пер., дом Муромцева. ЕВБ И. А. Бунину. Почт. шт.: Berlin, 4.8.10; Москва, 25.7.10.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 2. Открытка с фотогравюрой: Continental-Hôtel, Berlin. Restaurant. Датируется по почтовому штемпелю.

181. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Мюнхен, 4/17 августа 1910

Милый Иван Алексеевич.

Пишу тебе в ресторане, в ожидании Александра Андреевича. Я очень доволен, что приехал в Германию. Многое кое-что видел, многому удивлялся. Прекрасный народ немцы, хотя неподвижны, как медведи, и никогда не торопятся, особенно в ресторанах.

Видел здесь в Мюнхене замечательную пивную. Это город пива, царство пива! Поразительная картина, как несколько тысяч человек пьют из огромных серых кружек; пьют сидя, стоя, гуляя; пьют во дворе, внизу, вверху, на улице — черт знает что такое. Фантазия моя не шла так далеко.

Ездил в Обераммергау смотреть мистерию о Христе [1]. Представляют с 8 утра до 6 вечера; сидеть надо по 4 часа без передышки. Хоть умри — не выпустят. Можно штаны до дыр просидеть, пока представляют. Но — интересно. Был на вагнеровских «Певцах из Нюрнберга» [2]. Акт каждый — по 1 $^1/_2$ часа. Плакал от скуки и тоски, хотел руки на себя наложить. От третьего акта ушел. Пешком шел версты две — опомниться не мог. И как это люди выносят такое бремя! Встретился здесь с дирижером, который как раз Вагнера играет. И тот говорит: «Да, „Нюрнбергские певцы“ — тяжкая вещь!»

Сегодня вечером едем в Швейцарию. И домой к 16 августа.

Что делаешь? Пишешь ли «Деревню»? Пиши, пиши. Надо дотягивать. Будет хорошо, не бойся.

Целую тебя. Привет Вере Николаевне.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 3—4 об. На бланке: Hôtel Bayerischer Hof, München.

[1] Обераммергау — баварский городок близ Мюнхена; здесь в 1634 г. после избавления от чумы было положено начало народным представлениям мистерий «Страсти господни». Первоначально они были ежегодными, а с 1680 г. было решено устраивать их один раз в десять лет. Эта традиция сохранялась и в XX в. Представления продолжались с мая по сентябрь, каждое из них было посвящено одному эпизоду из евангельской легенды о страданиях, распятии и воскресении Христа. Участвовало в исполнении этих мистерий до 700 жителей Обераммергау.

[2] Опера Р. Вангера «Die Meistersinger von Nürnberg», известная у нас под заглавием «Нюрнбергские мейстерзингеры» (написана в 1867 г., впервые поставлена в Мюнхене в 1868).

182. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 30 ноября 1910

Ваше превосходительство,
Иван Алексеевич,
Почетный Академик и Кавалер.

Конечно, Ваше Превосходительство изволило милостиво забыть, что некий разночинец Николай Телешов интересуется иметь *«Словарь русского языка, составляемый 2-м отделением Академии наук»*. Имею честь, под угрозой анафемы, напомнить об этом Вашему Превосходительству. Ежели невозможно иметь все имеющиеся выпуски, то прошу выписать во что бы то ни стало *Выпуск третий первого тома, на слова «Да—Дя»*, издания 1895 года [1]. По получении такового тома вознесу молитвы о здравии Вашего Превосходительства и, зная Вашу жадность, возвращу Вам все убытки с благодарностью. Иметь *все* выпуски был бы рад, а не иметь «Да — Дя» прямо не считаю возможным,— в чем и подписуюсь:

Н. Телешов

На обороте: Здесь. Столовый пер., дом Муромцева. ЕВБ Ивану Алексеевичу Бунину. Почт. шт.: Москва, 1.XII.1910; Москва, 1.12.10.

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 5. Закрытое письмо — «секретка».

[1] «Словарь русского языка, составленный вторым отделением ими. Академии наук», начал выходить отдельными выпусками с 1891 г. Третий (последний) выпуск первого тома вышел в 1895 г. Издание этого академического словаря продолжалось и позднее — к концу 1910 г. вышли тт. I (вып. 1—3), II (вып. 1—9), IV (вып. 1—4). Последний выпуск словаря (т. IX, вып. 2) был издан в 1930 г., после чего издание прекратилось. Почему Телешов особенно интересовался третьим выпуском первого тома, остается неясным. В ссылках на литературные источники в этом выпуске произведения Телешова не упоминаются — они были впервые приведены в т. II, вып. 6 (СПб., 1902).

183. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 1911, 12 февр⟨аля⟩

Милый Иван Алексеевич.

Очень по тебе соскучился. Не хватает мне тебя для моего спокойствия и для моей тревоги. Ты и будоражишь меня и успокаиваешь.

Желаю тебе здоровья и доброго путешествия. Кланяюсь Вере Николаевне.

Вряд ли письмо это дойдет до тебя. Где тебя черти носят — неведомо [1].

Давно меня никто не ругал. Без тебя некому. А я люблю, когда кто-нибудь справедливо отругает. Написал за это время два рассказа, один другого хуже [2].

Говорят, сегодня в «Новом времени» тебя изругал Бурнакин за «Деревню» [3].

Я не читал. Но рад этому. Если «Новое время» изругало, значит найдутся иные люди, которые иначе взглянут на повесть. Очень желаю этого.

Будь здоров.

Прилагаю страничку календаря, где о тебе написано. Это из календаря для народного учителя [4].

Целую тебя. Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 6—6 об.

[1] Бунины выехали из Одессы 15 декабря 1910 г. и 26 декабря/8 января 1911 г. прибыли в Каир. В Египте они оставались до середины февраля. 13/26 февраля отправились из Порт-Саида в путешествие на Цейлон («Материалы», стр. 152—156).

[2] Какие это были рассказы — установить не удалось.

[3] В очередной статье из цикла «Литературные заметки», озаглавленной «Пасквиль на Россию», А. А. Бурнакин обрушился на повесть «Деревня» с грубыми нападками, обвиняя Бунина (а вместе с ним и Горького и всю «знаньевскую» литературу) в хуле и клевете на Россию, в «издевательстве над всем крестьянством». Этому он противопоставлял идиллическое, выдержанное в крикливом казенно-патриотическом духе представление о России и русском народе («Новое время», 1911, № 12543, 11/24 февраля).

[4] Речь идет, очевидно, о книге: Ф. Ф. Гельбке. Календарь для учителей на 1910/1911 уч. год, ч. I. СПб., 1910.

184. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Коломбо, 11/24 марта 1911 г.⟩

Я живу у Сандунова на полке́ [1],
С ананасами, бананами в руке.
Сверху жарит, снизу парит... Я совсем,
Извините, стал бесстыжим: только шлем.
Змеи, тигры, сингалезы и слоны!
Возвратите мне, мерзавцы, хоть штаны!

Ив. Бунин

Коломбо, 24 March 1911

На обороте: Москва. Чистые пруды, свой дом. Н. Д. Телешову. Russie. Moscou. Почт. шт.: Colombo ⟨*дата нрзб*⟩; Москва, 1.IV.11.

МКТ. Открытка с изображением гостиницы и подписью: Queen's Hotel. Kandy. Ceylon.

[1] Известные в Москве Сандуновские бани.

185. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Капри [1] ⟨25 ноября/8 декабря 1911 г.⟩

Дорогой друг, получил твое письмо — спасибо большое Елене Андреевне и тебе. Ужасно затянулось мое дело с «Московским книгоиздательством» — только с неделю тому назад получил от них проект условия и послал его, подписав. По условию — первый платеж их 22 декабря, вот они и внесут тебе 300 р., остальные — Юлий, он мне должен немного. Отослал в «Московское книгоиздательство» и материал 1-го тома, прибавил к изданию «Знания» еще и из книги «На край света», измарал, исправлял,

все вдребезги. Дорогой, в ножки поклонюсь — не можешь ли просмотреть последнюю корректуру этого тома? Стыдно просить, да что делать? Если мне будут слать, — когда книга выйдет? [2].

Привет твой Горькому передам. Бываем у него раза три в неделю, а то все сидим за работой [3].

Пятницкий, конечно, тут, а «Знание» — *между нами говоря* — совсем гибнет: нелады у него с Горьким [4].

Погода у нас дивная, не то что у вас. Да и литераторов мало — это тоже хорошо. А то у вас творится нечто невероятно гнусное.

Пиши мне, дорогой, хоть изредка — люблю твои письма, да и тебя крепко люблю. Поклон наш Елене Андреевне — от всей души.

Целую тебя.

Твой Ив. Бунин

8 дек.
25 ноября

Телефон «Московского книгоиздательства» 18-40, Дмитрий Маркович Ребрик.

На конверте (с бланком: Grand Hôtel Quisisana, Capri) адрес: Moscou. Russie. Москва. Чистые пруды, 217. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Capri, 8.12.11; Москва, 29.11.11.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 32, л. 2—3 об. На бумаге с тем же бланком. Год определен по связи с последующими письмами. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] И. А. и В. Н. Бунины выехали вместе с Н. А. Пушешниковым из Петербурга 21 октября/3 ноября 1911 г. и, посетив Германию и Швейцарию, прибыли в Италию. 1/14 ноября они приехали на Капри, где прожили до 17 февраля/1 марта 1912 г. («Материалы», стр. 165—172).

[2] Речь идет о книге Бунина «Перевал и другие рассказы». Издание 4-е, исправленное и дополненное. М., Московское книгоизд-во, 1912. Упомянутое издание «Знания» — первый том собрания сочинений Бунина, выпущенный т-вом «Знание» (Ив. Бунин. Рассказы. Том первый. СПб., 1902).

[3] О написанных в это время рассказах см. «Материалы», стр. 167—168. Кроме того, Бунин правил ранние рассказы для сборника «Перевал...». В. Н. Бунина и Н. А. Пушешников занимались переводами. О встречах с Горьким на Капри в 1911—1912 гг. см. кн.: К. Д. Муратова. Горький на Капри. 1911 — 1913. Л., «Наука», 1971.

[4] О разладе между Горьким и Пятницким и о прекращении в 1913 г. деятельности «Знания» см. О. Д. Голубева. Из истории издания русских альманахов начала XX века («Книга». Исследования и материалы. Сб. III. М., изд-во Всесоюзной Книжной палаты, 1960, стр. 308); «Архив А. М. Горького», т. IV. М., Гослитиздат, 1954 (письма Горького к Пятницкому, 1900—1925).

186. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Капри ⟨5/18 декабря 1911 г.⟩

Денег до сих пор нет Бунин

Адрес: Telechoff Tchistie proudi. Moscou. Принята 6.XII.1911.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 32, л. 4. Телеграмма с карандашными пометами Телешова: «Спроси Фред. Сер⟨ена⟩, банкира, которые переведены Моргано». «Фредерико Серена, Капри (банкир)».

187. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 7 декабря 1911 г.⟩

Милый Иван Алексеевич.

Получил твою телеграмму и сегодня поехал в Лионский кредит справиться.

Они перевели деньги 15 ноября на имя каприйского банкира Фредерико Серена, с которым всегда имеют дело.

А. Е. ГРУЗИНСКИЙ

Фотография, Москва, 1912.

Из альбома, подаренного Бунину членами «Среды» к двадцатипятилетию его литературной деятельности

С дарственной надписью:

«Друг, я скажу без дальних слов:
Пиши как пишешь, будь здоров,
28 окт. 1912. А. Грузинский»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Твоего Моргано они не знают и потому *списали все с твоего письма* и поступили так, как ты писал, то есть деньги Ивану Бунину через Моргано, но самые деньги находятся у Ф. Серена.

Найди своего Моргана, он, вероятно, уже получил. Найди и Фр. Серена, спроси у него.

Сделал все, что мог, поступил согласно твоего письма.

Но напрасно ты впутал этого Моргано, а своего адреса не приложил.

Как только получишь, сейчас же напиши. Лионский кредит тоже сегодня напишет Серена.

Твой Н. Телешов

7 дек. 911

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 7—7 об. Ответ на п. 186.

188. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

〈Капри〉 8 дек〈абря〉/21 дек〈абря〉 1911 г.

Дорогой друг, прости, что наделал тебе хлопот с этими деньгами, что послал тебе телеграмму и заставил тебя отвечать мне тем же. Вчера получил этот твой ответ: «Переведено банкиру Фредерико Серена для Моргано». Да, извещение от Лионского кредита о твоем взносе этот Серена (хозяин нашего отеля, сказать кстати, и агент Banca Comerciale) получил очень давно. Но он говорит, что такое же извещение должен был получить и Banca Comerciale (отделение его) в Неаполе и уже тогда прислать ему, Серене, деньги для выдачи Моргано (а Моргано — мне). Но этого извещения нет и доныне (а ныне уже 8 декабря по-нашему, а ты внес еще 15 ноября). Я и послал тебе телеграмму, чтобы ты завязал миллион матюков Лионскому кредиту по телефону... хотя, может быть, это не он, а подлая Италия виновата? Идиотская история, приводящая меня в ярость! И научили меня всему этому Горькие.

А ведь как было просто! Внести деньги в Лионский кредит, взять чек и переслать мне его безо всяких Серен и Морган! Если эта путаница продлится еще месяц, не позволишь ли сделать так: в погашение этих 402 р., вынутых из моей тысячи, возьми 102 р. у брата, который мне должен, и 300 р. с «Московского книгоиздательства», которое должно, по условию, внести мне первые 300 р. 22 декабря, вторые — 22 января и т. д.; но если путаница продлится, не можешь ли получить с «Московского книгоиздательства» 300 *22 января*, а не 22 декабря? Сидя без денег, я написал брату, чтобы он перевел мне хоть 100 р. Верно, на днях получу. Значит, он не может тебе дать 100 р., а даст только 60 р. Остальное добери из процентов, причитающихся мне за будущий год.— И еще: поговори все-таки с Лионским кредитом — что же он имеет дело с жуликами или сам ведет себя свиньей! И еще: как дело насчет того, что я просил тебя просматривать для подписи мой первый том, издаваемый «Московским книгоиздательством», эти гнусные рассказы, столь измазанные мною? Повторяю — если можно, просмотри и распоряжайся со всем так, точно это твоя книга, ни о чем меня не спрашивая. Не до спросов — и так книга страшно поздно выйдет.

Доправил твой поклон Горькому. Просит передать и тебе поклон.

Бываем у него через день, через два, по вечерам. Сидим, поругиваем современную литературу и нравы писательские. По целым дням пишу. Написал два рассказа, отослал в «Современный мир» и «Всеобщий ежемесячник» [1]. Доканчиваю еще два — один листа полтора, другой — два (по 40 000 знаков) [2]. Отдам, верно, в «Русское слово». Был у тебя Клестов? Верно, ему не дам — не могу: и дорого они не дадут, и когда-то заплатят! А по идее дело хорошее [3].

С. Д. МАХАЛОВ

Фотография. Москва, 1912

Из альбома, подаренного Бунину членами «Среды» к двадцатипятилетию его литературной деятельности

С автографом Махалова:

«... Сверкающая истиною мысль
Проходит чистою в изгибах сердца,
Как медленный ручей долины горной,
Струею чистой по руслу скользящий...»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Ты ведь был именинник 6-го? Поздравляю с опозданием, и Вера тоже, и племянник, который тоже с нами на Капри, да не учится петь — по бедности. Пиши почаще, дорогой, какая это досада — не получать ничего от приятелей на чужой стороне. Целую ручки Елене Андреевне, прошу ее: напишите когда-нибудь хоть открыточку. Поклон Александру Андреевичу с супругою.

Ходим еще в пиджаках. Пью умеренно. А ты? И в шубе, и в калошах, и пьян.

Твой душой Ив. Бунин

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 32, л. 5—7. На бланке: Grand Hôtel Quisisana, Capri. В тексте подчеркивания карандашом — пометы Телешова. Ответ на недошедшую телеграмму Телешова.

[1] Рассказы: «Хорошая жизнь» — «Современный мир», 1912, № 1; «Сверчок» — «Всеобщий ежемесячник», СПб., 1911, № 12.

[2] В декабре 1911 г. Бунин закончил рассказы: 1)«Смерть Моисея» (позднейшее заглавие — «Смерть пророка») — напечатан в газ. «Русское слово», 1911, № 298, 28 декабря; 2) «Веселый двор» — журн. «Заветы», 1912, № 1, апрель.

[3] Речь идет об организовавшемся в 1911 г. в Петербурге «Издательском товариществе писателей», деятельным участником которого был Н. С. Клестов (Ангарский). История этого предприятия, созданного с целью освобождения писателей от эксплуатации их труда издателями-капиталистами, изложена в статье О. Д. Голубевой «Издательское товарищество писателей. 1911—1914» («Книга». Исследования и материалы, т. VIII. М., «Книга», 1963, стр. 410—430).

189. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Капри, 16/29 декабря 1911 г.⟩

Дорогой друг, деньги я получил — я уже писал тебе об этом. Еще раз прости за беспокойство. Но как ты скуп на слова! Написал бы, как живешь, что нового, будешь ли читать корректуру. Если нет времени — не стесняйся, дорогой, напиши прямо.

Целую тебя.

Ив. Бунин

16 дек. (старого стиля)

На обороте: Moscou. Russie. Москва. Чистые пруды, 217. Н.Д. Телешову. Почт. шт.: Capri, 29.12.11; Москва ⟨*дата нрзб*⟩.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 32, л. 8. Открытка. Место отправления определено по почтовому штемпелю.

190. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 18 декабря 1911 г.⟩

Милый Иван Алексеевич.

Черт бы побрал все кредиты на свете, а Лионский кредит — в особенности!.. Создалась такая путаница с переводом, что не разберет сам квартальный.

Ездил опять с твоим письмом, упрекал их в небрежности и, наконец, получил такой ответ: *ты уже* получил деньги от этого Мариано Моргано. У них есть сведения, что это так, а не иначе.

Отвечай: получил, или все еще нет? Или мне опять надо ехать ругаться, разрушать стены, низвергать потолки и вызывать на дуэль директоров?

Разговаривал я по телефону с Блюменбергом. Он будет присылать мне корректуру твоей книжки. Постараюсь глядеть внимательно, но если прогляжу что — прости. Твоим разрешением вычеркивать и изменять воспользуюсь.

Как вычеркну я тебе «40 000 знаков» — будешь ты меня помнить! А может, подбавлю 20 000 знаков тебе на пользу, ради гонорара. Возьму и подсочиню главу, другую, третью. Сделаю из рассказа — повесть, из повести — стихотворение в прозе и т. д.

Ничего не поделаешь: письменное разрешение имею. Подавай потом в суд чести.

Очень я сейчас занят, писать некогда, а то сказал бы тебе кое-что про Клестова. Как-нибудь напишу про это. Дело хорошее, говоришь ты. А я думаю: дело ерундовое. Очень он сердит, вроде синицы, которая собиралась море сжечь.

Наделала синица славы,
А моря не зажгла.

Привет Вере Николаевне, моей верной юбилейной спутнице [1]. Вскоре, надеюсь, опять мы с ней посидим рядом и потолкуем о днях былых.

Целую тебя. Твой Митрич

18 дек. 911

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 8—9. Ответ на п. 188.

[1] Телешов вспоминает о своем юбилее — 25 лет литературной деятельности, который был отпразднован в Москве 27 октября 1909 г.

191. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 24 декабря 1911 г.›

Милый Иван Алексеевич.

Потому я не пишу вообще и не пишу тебе, что нечего мне стало сказать. Ничего интересного не стало. Все как будто осталось позади меня, позади моего взгляда, и гляжу я теперь куда-то в пустыню или в черную ночь. Сколько ни гляди, ничего не увидишь. Почему так случилось, не знаю. Все время бываю среди людей, на которых поглядеть многие считают за удовольствие, а мне скучно. Даже не скучно, а, что называется, все равно! Бывает смерть физическая (или как ее называть? самая обыкновенная смерть: физическая, практическая, химическая — словом, такая, когда человек умер — очевидно: фактическая!), бывает еще смерть гражданская, которую выдумали у нас на Руси трое: Победоносцев, Бурцев [1] и Сергеенко [2]; смерть самая распространенная, ибо как себя ни веди, а уж под чье-нибудь мнение непременно попадешь: либо крамольник, либо провокатор, либо антиморалист! Бывает еще третья смерть: артистическая. Вот этой лютой смертью я и умер. Отделилась душа моя от моего тела и улетела в горние страны.

Цветите, зрейте, новые посевы;
Не долог срок; придет черед и вам.

Конечно, ты взбесишься, прочитав сию цитату, и захочешь меня поправить: «Не так! Соврал, Митрич! У меня сказано: зрейте, новые посевы, для новых жатв! Придет черед и вам!» [3]

Знаю. Это напечатано в 4-м томе [4].

А мне — все равно. Говорю: «не долог срок». И ничего ты со мной не поделаешь. Вспоминаю, что у тебя это было именно так, и если было так раньше, то было лучше.

А Тимковский, ты думаешь, не умер, хоть он и продолжает писать очень много и очень умно? Чем умнее и чем больше он пишет, тем более подтверждает свою смерть. А Боборыкин? Скиталец? А многие иные?

Брани, не брани, — но я прав, что умер своевременно, оставив на твое имя записку: «Прошу в моей смерти никого не винить».

По поводу Клестова, поднявшего флаг независимости писателей от издателей, могу сказать стихами Никитина, тебе известными:

Флаг поднят. Ярмарка открыта.
Народом площадь вся покрыта... [5]

Получилась не организация, но сущая ярмарка, где всякий хочет не дать в общую складку, но сорвать. Это ли товарищеское дело? Да и как всех этих писателей, разных шерстей, привести в строй? Не верю, не знаю. Ошибаюсь, может быть,— но не верю. Да и сведения имею такие, что нельзя верить в успех [6]. Один, два сборника, пожалуй, и выйдут. Но чем они будут отличаться от сборников «Знания», «Земли», «Шиповника»? Разве только тем, что выйдут дороже и хуже?

Письмо это пишу тебе в сочельник, накануне (в ночь под Рождество) праздника и за неделю до Нового года.

Желаю тебе и Вере Николаевне доброго года, здоровья, счастья.

Твой Митрич

24 дек. 911. Москва

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 11—12. Ответ на п. 189.

[1] Имеется в виду деятельность Владимира Львовича *Бурцева* (1862—1942) по разоблачению многих провокаторов (в том числе Азефа), развернувшаяся за границей в годы после поражения революции 1905 г.

[2] Петр Алексеевич *Сергеенко* (1854—1930) — литератор, автор книг о Толстом («Как живет и работает граф Л. Н. Толстой» и др.). Был последователем учения Толстого.

[3] Заключительные строки из стихотворения Бунина «Ограда, крест, зеленая могила...» (т. 1, стр. 265).

[4] После журнальной публикации («Перевал», М., 1906, № 2) это стихотворение было включено Буниным в кн.: «Стихотворения 1907 г. Переводы». СПб., изд. т-ва «Знание», 1908 (Собр. соч., т. 4).

[5] Строки из поэмы И. С. Никитина «Кулак» (гл. V).

[6] См. примеч. 3 к п. 188.

192. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Капри⟩ 6 янв⟨аря⟩ 1912 г. (ст. стиля)

Дорогой друг, хотел написать тебе целый трактат (по-латыни) в ответ на твое письмо о твоей душевной смерти и о том, что тебе «все все равно», что тебе нечего сказать и не хочется говорить. Да уж очень занят я — воистину минуты нет свободной, чему ты, конечно, не поверишь,— да и поможет ли трактат! Все еще верю — и даю тебе слово, говорю это твердо и искренно — и без трактата ты опомнишься. И ограничиваюсь пока тем, что кричу тебе паки и паки то, что уже много раз кричал тебе: брехня, брехня, пустословие и тем более пустословие, что ты неспокоен, что ты, верно, страдаешь от неписания (а страдание — жизнь!), что говоришь ты о своей смерти сильно и хорошо, что у тебя — ты не чета Тимковским!— есть что сказать, на десятерых хватит — да вот хотя бы на эту самую тему о смерти-то, о том, как Москва, Русь, ее люди сделали то, что тебе «все равно глядеть на них», о том, как ты жил, страдал, радовался, вот это любил, а вот это ненавидел, да и теперь любишь и ненавидишь... Дорогой, этого одного на десять книг хватит,— переломи только себя, переломи лень, распущенность — и этого много, много в тебе!—да наберись смелости говорить смело: мне скучно, мне все все равно и вот почему, по какой причине: жил я вот так-то, видел и вижу вот то-то, вчера в кружке был,

среди мертвецов и обжор, а хотелось бы мне вот того-то и того-то... И так далее, так далее...

Умолкаю, впрочем,— ты и сам все это хорошо, отлично понимаешь. Крепко целую тебя и воистину желаю тебе *нового* года. А люблю тебя, твердо верю в твой талант, в твой интересный, острый ум и твою большую, во многих отношениях редкую и чудесную натуру — по-старому.

А в заключение немножко о делах.

1) О голодающих мне и Юлий писал, но еще более кратко, чем ты. Черти! Кто ж так разговаривает? Что? Где? Когда? Напишите точно, дайте самый крайний срок — дам непременно и постараюсь — немного, но хорошо [1].

2) На стену лезу от волнения и горя! Помоги, дорогой! Что же делает со мной «Московское книгоиздательство»! Когда же это выйдет мой первый том, если только теперь *собираются прислать* тебе корректуру? Помоги, поторопи, наори на них! [2]

3) Как же ты решил с деньгами? Из декабря берешь или из января?

4) Как быть с векселем?

Еще раз крепко целую.

Твой И. Бунин [3]

На конверте с бланком: Grand Hôtel Quisisana, Capri. Recommandeé. A Mr N. Telechoff. Moscou. Russie. Заказное. Москва. Чистые пруды, 217. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Capri, 19.1.12; Москва, 11.1.12.

ИМЛИ, ф.3, оп. 3, ед. хр. 34, л. 1—2 об. На бумаге с тем же бланком. Ответ на п. 191 и подошедшее письмо Телешова.

[1] Среди вышедших в 1912 г. литературных сборников имеется лишь один, изданный в помощь голодающим. Это — «Надежда», кн. I. М., изд. В. М. Слободчикова. Ни Бунин, ни Телешов в этом сборнике не участвовали.

[2] О чтении Телешовым корректуры книги «Перевал и другие рассказы» см. п. 193—195.

[3] В эти же первые дни января 1912 г. Бунин отправил письмо Е. А. Телешовой, в котором писал: «Дорогая Елена Андреевна, и мы вас с Новым годом поздравляем и самым настоящим образом желаем всех благ земных. Для меня праздники — право, не сразу скажешь, почему — только тоску какую-то приносят, я стараюсь их не чувствовать, да и давно уж не провожу их в России, в Москве. Не чувствовал и в прошлом году — в прошлом году, как раз в ночь под Рождество, я умирал в Порт-Саиде, а под Новый год был, кажется, на арабской свадьбе в Гелуане,— не чувствовал и в нынешнем: только смертельно устал, как и Вера, стоя на площади Капри и глядя, как мальчишки разбивают вонючие хлопушки — в честь Рождества и в знак изгнания чертей с земли,— устал и под Новый год, прочитав у Горького свою новую повесть — мужицкую, о матери и сыне — и сидя за ужином. И все же — то, что вы написали, очаровательно. И нет чехлов, и елка, и гиацинты, и мороз, захватывающий дух; и белое морозное утро, и опять гиацинты у мерзлых стекол, „поставленные с вечера мамой“... Это прелестно, вы сильно тронули меня и, если вы сами или Митрич не напишете этого когда-нибудь, украду многое из вашего письма.

А сколько мы здесь еще пробудем — не знаю: сейчас нельзя двигаться — еще работы по горло. В работе мы и живем — с утра до вечера, только среди дня гуляем, очень часто наслаждаясь даже зноем. Да, настоящим зноем, хотя изредка бывает серо и прохладно, как в Москве в начале сентября, только без московской пронзительной сырости» (ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 36, л. 1—2 об.).

193. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

14 янв⟨аря⟩ 1912. Москва

Милый Иван Алексеевич.

Корректуру твою читаю. Уже 80 страниц отбарабанил. Печатают довольно чисто, ошибок мало, но все же встречаются. Ловлю, что замечаю. Но злюсь на тебя за бабьи слова: чуть не по 10 раз на странице встречается «много-много», «далеко-далеко», «медленно-медленно». Так бы и вытолкал в шею это второе слово! [1] Точно институтка поздравление пишет: «очень-

очень рада, крепко-крепко целую». Но — пропускаю, ударяя кулаком по каждому ненужному слову.

Забыл, хоть убей меня, но *сажень* женского рода, а не мужского. Исправил. Не мог пропустить [2]. И «подземки» нет, а есть «поземка» [3]. А то выходит вроде «подземельного налога». И вот в этом духе зачеркиваю, но очень мало.

Прочитал вчера «Хаджи Мурата», только что вышедшего [4]. Читал ли ты? Прочитай скорее эту изумительную, величайшую повесть. Это такая высота и красота, такая спокойная сила, такое сокровище, что нельзя рассказать. Нет в мире такого писателя, который мог бы так написать. Нечто исключительное, захватывающее по мастерству и технике. За четверть века не читал подобного. А может быть, и никогда не читал такого. Душа повести, ее скелет, ее тело, ее лицо — все близко и дорого и прекрасно, как близкий живой человек. Буквально — счастлив, что не умер я раньше и что успел прочитать эту повесть. Поразительная сила и простота и красота. И никто не может так написать. У меня точно крылья выросли. Пришел богатырь, единым махом убил всех этих модернистов с их сладкими глупыми словами и словечками.

Сейчас подали твое письмо. Не волнуйся, книга набирается. В феврале, очевидно, выйдет. По деловым вопросам отвечу вот что. В счет 400 р. я получил 300 р. с Блюменберга; значит, за тобой 100 р. Разочтемся, когда вернешься. Относительно векселя беспокоиться тебе нечего. Придет срок, вексель потеряет свое *вексельное* право, которое тебе ни на кой черт не нужно, и обратится в долговую расписку — впредь до твоего возвращения. По этой расписке ты можешь требовать через суд деньги обратно во всякое время, а этого тебе делать не придется, так что спи спокойно. Деньги твои будут целы — ручаюсь. Забудь о векселях и расписках и пиши повести.

За письмо твое спасибо. Но только моему теперешнему состоянию не поможешь. Единственно, на что надеюсь, это на Хаджи Мурата: не отдерет ли он всю эту скорлупу, которой я оброс.

Целую тебя. Низкий поклон и привет Вере Николаевне.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 13—14. Ответ на п. 192.

[1] Отмеченные в письме сдвоенные наречия Телешов обнаружил в ряде рассказов, входивших в книгу «Перевал и другие рассказы»: «Кастрюк», «На хуторе», «На край света», «Учитель», «Байбаки». В последующих переизданиях этих рассказов все подобные выражения были сохранены Буниным.

[2] Имеется в виду фраза из рассказа «Вести с родины»: «Сам Догадун, староста, ⟨...⟩ стоял против стола, склонившись на сажень, с которой не расставался» («Перевал и другие рассказы», стр. 46). Бунин принял эту поправку Телешова.

[3] См. в том же рассказе, в описании морозной, ветреной ночи: «... видно было, как задирала и дымилась поземка» (там же, стр. 49). И эта поправка была принята Буниным. Слово «подземка» вместо «поземка» существует в южнорусских народных говорах (см. Словарь современного русского народного говора. Под ред. И. А. Оссовецкого. М., «Наука», 1969, стр. 420).

[4] Повесть «Хаджи Мурат» была впервые опубликована в издании: «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», т. III. М., 1911.

194. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Капри, 20 января/2 февраля 1912 г.⟩

Быль молодцу не укор, дорогой Кирибеевич,— ведь эти «далеко-далеко» я писал «давно-давно». А главное — ведь я же просил тебя черкать! * Про сажень не помню: это в «Учителе», что ли? «Сажни дров»? Так ведь это особые «сажни».

* *Далее густо зачеркнуты четыре слова.*

Дьявольски рад и за «Хаджи Мурата», и за тебя! О векселе я не беспокоился. Я просто спросил — что делать?

Прошу тебя, прочитай мои рассказы: «Смерть Моисея» («Русское слово», 28 декабря 1911 г.), «Сверчок» («Всеобщий ежемесячник», декабрь), «Хорошая жизнь» («Современный мир», январь).

Целую крепко. Va bene! * (Это по-итальянски. Возьми хорошего извозчика, съезди в Общество Данте [1], там тебе переведут).

Твой Ив. Бунин

На обороте: Moscou. Russie. Москва. Чистые пруды, № 217. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Capri, 2.2.12; Москва, 25.1.1912.

ИМЛИ, ф.3, оп. 3, ед. хр. 34, л. 3. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю. Ответ на п. 193.

[1] Итальянское общество «Данте Алигиери» было создано в Москве в 1910 г. Имело целью способствовать распространению итальянского языка и итальянской культуры в Москве.

195. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

20 янв⟨аря⟩ 912. Москва.

Дорогой Иван Алексеевич.

Дело идет ходом: полкниги твоей отзубрил. Не нынче-завтра пришлют еще три листа. Я не задерживаю. Рассказы твои перечитываю с удовольствием. Талантливый ты парень! Иной раз такую штуку загнешь, что просто прелесть,— несмотря на то, что рассказы давнишние. Хвалю за ухватку! Немножко однотонным ты сделал 1-й том: всё про деревню. Зато впечатление не дробится. Это, пожалуй, хорошо. Читаю, читаю твои описания родины, и невольно вспоминается чье-то стихотворение, которое знаю сто лет, но автора не знаю. Несомненно — гений, ибо трудно в нескольких словах дать такое лирическое настроение.

Дивный вечер. Пахнет в поле
Дегтем, луком и г⟨...⟩м.
И воскликнешь поневоле:
Хорошо в краю родном! **

Сообщи, пожалуйста: как ты согласился с Блюменбергом — на все томы или пока на один, и чем ты связан. Торопиться подожди, ибо времена меняются. Может быть, вскоре издательство «Окто» [1] (где Грузинский) выступит на сцену, ручаясь за количество экземпляров. Не будет припечатывать жульнически. Впрочем, условий их не знаю. Но знаю, что они думают затеять издание сочинений.

Относительно денежных дел (звонил мне вчера Юлий) брось всякие мысли. Возьми меня в поверенные и будь покоен. Спи, как 40 000 братьев спать не могут. Приедешь в Москву, и все будет устроено. Брось и забудь.

Приветствую Веру Николаевну. Целую тебя.

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 15—15 об.

[1] Издательство «Окто» было создано в Москве в 1911 г. А. Е. Грузинский принимал близкое участие в делах издательства, в 1912 г. под его редакцией был выпущен «Новый сборник писем Л. Н. Толстого».

---

* Все хорошо! Все в порядке! (*итал.*)

** *Против этих стихов помета Бунина*: Мих. Пров. Садовский, актер Малого театра.

196. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Капри, 14/27 февраля 1912 г.›

Дорогой, я просто в отчаянии. Что же это делает со мной Блюм? Даже и первая книга еще не вышла! А ведь их три [1]. И для всех для трех материал послан. Поторопи их. И тысячу раз прости за беспокойство.

Живем по-прежнему. Я все писал. Целую, кланяемся Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

27/14 февр. 1912

На обороте: Moscou. Russie. Москва. Чистые пруды, 217. ЕВ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Capri, 27.2.12; Москва, 18.2.12.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 34, л. 4. Открытка. Место отправления определено по почтовому штемпелю.

[1] В 1912 г. «Московское книгоиздательство» выпустило три книги Бунина: «Перевал и другие рассказы». Издание четвертое, исправленное и дополненное; «Стихотворения 1903—1906. „Манфред" Байрона» (два издания); «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.». Издание второе, дополненное.

197. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Капри› 28/15 февр‹аля 1912 г.›

Дорогой, вчера видел объявление «Московского книгоиздательства» о моих книгах. Заглавие 6-го тома они делают такое: «Беден бес» и другие рассказы.— Стихотворения таких-то лет. А я книгу озаглавил наоборот — сперва идут стихотворения. Если обратятся к тебе, разреши перевернуть [1]. Вообще — делай со мной что хочешь.

Ив. Бунин

На обороте: Moscou. Russie. Москва. Чистые пруды, 217. ЕВ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Capri, 28.2.12; Москва, 19.II.1912.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 34, л. 5. Открытка. Место и год отправления определены по почтовому штемпелю. В тексте подчеркивания — пометы Телешова.

[1] См. примеч. 1 к п. 196.

198. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Афины, 25 февраля/9 марта 1912 г.›

Дорогой друг, в моем 6-м томе вставлено новое стихотворение — «Прометей в пещере». Нынче я его поправил и посылаю Ребрику новый вариант [1]. Последи, дорогой, чтобы не напутали.

Мы в Афинах. На пути из Италии я захворал. Теперь ничего. Но очень сбило это мои планы. Да и пропустил я хороший пароход Добровольного флота, ушедший в Японию. Ждать нового? Не знаю еще, стоит ли [2]. На днях напишу тебе определеннее.

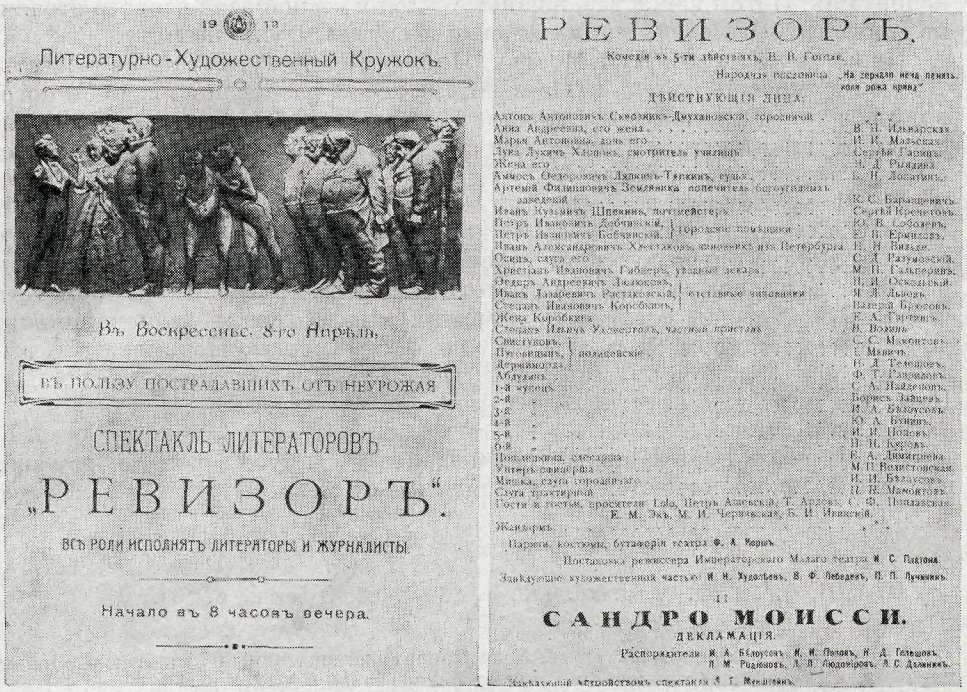
Целую, наш поклон дорогой Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

25 февр. / 9 марта 1912 г.
Афины

На конверте с бланком: Grand Hôtel d'Angleterre, Athens; адрес: Recommendée. A Mr N.Telechoff. Moscou. Russie. Москва. Чистые пруды, 217. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва, 2.3.12. ‹*Афинский штемпель не сохранился.*›

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 34, л. 6—7. На бумаге с тем же бланком.



19 13

Литературно-Художественный Кружокъ.

Въ Воскресенье, 8-го Апрѣля,

ВЪ ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИХЪ ОТЪ НЕУРОЖАЯ

СПЕКТАКЛЬ ЛИТЕРАТОРОВЪ

„РЕВИЗОРЪ".

ВСѢ РОЛИ ИСПОЛНЯТЪ ЛИТЕРАТОРЫ И ЖУРНАЛИСТЫ.

Начало въ 8 часовъ вечера.

РЕВИЗОРЪ.

Комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, Н. В. Гоголя.

Народныя пословицы: „На зеркало нечего пенять, коли рожа крива"

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій, городничій . . . . . — Н. Ильинскій.
Анна Андреевна, его жена . . . . . — Н. И. Мальская.
Марья Антоновна, дочь его . . . . . — И. И. Мальская.
Ухо Лукичъ Хлоповъ, смотритель училищъ . . . . . — Сергѣй Гаевскій.
Жена его . . . . . — Н. Д. Рощина.
Амосъ Ѳедоровичъ Лапкинъ-Тяпкинъ, судья . . . . . — Б. Н. Лопатинъ.
Артемій Филипповичъ Земляника, попечитель богоугодныхъ заведеній . . . . . — К. С. Баранцевичъ.
Иванъ Кузьмичъ Шпекинъ, почтмейстеръ . . . . . — Сергѣй Кречетовъ.
Петръ Ивановичъ Добчинскій, } городскіе помѣщики . . . . . — Ю. В. Соболевъ.
Петръ Ивановичъ Бобчинскій, } . . . . . — Е. В. Брянцевъ.
Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, чиновникъ изъ Петербурга . . . . . — Н. Н. Вильде.
Осипъ, слуга его . . . . . — С. Т. Разумовскій.
Христіанъ Ивановичъ Гибнеръ, уѣздный лѣкарь . . . . . — М. П. Гальперинъ.
Ѳедоръ Андреевичъ Любовинъ, } . . . . . — Н. И. Осокольскій.
Ивакъ Лавреевичъ Ростаковскій, } отставные чиновники . . . . . — Я. Л. Дьяковъ.
Степанъ Ивановичъ Коробкинъ, } . . . . . — Петръ Бобровъ.
Жена Коробкина . . . . . — Е. А. Гриттонъ.
Степанъ Ильичъ Уховертовъ, частный приставъ . . . . . — В. Волинъ.
Свистуновъ, } полицейскіе . . . . . — С. С. Маковецкій.
Пуговицынъ, } . . . . . — Е. Маевъ.
Держиморда, } . . . . . — В. Д. Тенешовъ.
Абдулинъ . . . . . — Ф. Т. Гавриловъ.
1-й купецъ . . . . . — С. А. Найденовъ.
2-й . . . . . — Борисъ Зайцевъ.
3-й . . . . . — И. А. Бѣлоусовъ.
4-й . . . . . — Ю. А. Бунинъ.
5-й . . . . . — И. И. Поповъ.
6-й . . . . . — Н. Н. Кедровъ.
Подмастерье, слесарь . . . . . — Е. А. Дмитріевъ.
Унтеръ-офицеръ . . . . . — М. П. Волостовскій.
Мишка, слуга городничаго . . . . . — И. И. Бѣлоусовъ.
Слуга трактирный . . . . . — П. В. Мамонтовъ.
Гости и гостьи, просители: Lolo, Петръ Алексѣевъ, Т. Адреевъ, С. Ф. Пшибышевскій, Е. М. Экъ, М. И. Чернявская, Б. И. Ивановъ.

Жандармъ . . . . . — . . . . . .

Декораціи, костюмы, бутафорія театра Ф. А. Корнъ.

Постановка режиссера Императорскаго Малаго театра И. С. Платона.

Заѣдующіе художественною частью: И. Н. Худолѣевъ, В. Ф. Лебедевъ, П. П. Пучковъ.

II

САНДРО МОИССИ.

ДЕКЛАМАЦІЯ.

Распорядители: И. А. Бѣлоусовъ, И. И. Поповъ, Н. Д. Телешовъ, Л. М. Родіоновъ, А. В. Людоговскій, А. С. Дзиминъ.

Заѣдующій хозяйствомъ спектакля А. Т. Мелитиновъ.

ПРОГРАММА СПЕКТАКЛЯ «РЕВИЗОР» В ИСПОЛНЕНИИ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУЖКА, 8 АПРЕЛЯ 1912 г.

Первая и третья страницы

Центральный архив литературы и искусства, Москва

[1] Это письмо к Д. М. Ребрику 25 февраля/9 марта 1912 г. вместе с приложенным к нему автографом «Прометея в пещере» хранится в ГЛМ (см. настоящ. том, кн. 2, «Сводный обзор»).

Первоначальная редакция стихотворения остается неизвестной.

[2] Путешествие Буниных в Японию не состоялось.

199. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Одесса, 3 марта 1912 г.

Я Одессе Лондонская Бунин

На телеграфном бланке адрес: Москва. Чистые пруды. Телешову.
ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 34, л. 8. Телеграмма.

200. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 4 марта 912

Милый Иван Алексеевич.

Только что послал тебе на Капри письмо [1], как получил телеграмму твою из Одессы. Я писал тебе о рассказе «Из-за козе» [2]. Очень мне нравится, и я тебя хвалил. Но есть и иной взгляд; говорят, что ты глядишь на деревню «взглядом земского начальника». Чувствуй!

Прислал мне на днях Блюменберг несколько листов твоего 2-го тома со стихами. Я отправил обратно. Читай сам, раз ты близко. Стихи дело тонкое; что-нибудь пропустишь — иной раз букву одну — всю обедню

испортишь. Потом кайся всю жизнь! А у меня весной дела всякого отчаянно много, и быть очень внимательным и спешным уже не могу.

Пора бы тебе и самому в Москву. Погулял по свету, пора и на нашесть. Долго ли думаешь побыть в Одессе? Пока все не разбрелись, надо бы поговорить о товарищеском издательстве [3]. Мы с Вересаевым много говорили, но все неутешительно выходит. Все сводится к добрым намерениям, которыми, говорят, ад замощен.

На Фоминой неделе будет у нас писательский спектакль. Ставят «Ревизора» [4]. Все великие писатели (после смерти Толстого сразу все стали великими) играют либо купцов, либо полицию. Вот и ты иди к нам в купцы. Выгодно: роли не учить, только бороду привесить, да бормотать что попало. Хочешь, сделаем тебя аршинником, хочешь — самоварником; хочешь — приставом. Я взял себе роль Держиморды. Надеюсь роль вызубрить назубок, ибо только и есть одна фраза: «Был по приказанию». Кажется, роль уже заучена мною; могу без суфлера.

Ну, вот так-то.

Шлю привет Вере Николаевне. Федоров и Нилус, вероятно, там же, в Одессе, околачиваются. Поклонись им от меня.

Твой Митрич

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 16—17 об. Ответ на п. 199.

[1] Это письмо остается неизвестным.

[2] Имеется в виду рассказ «Ночной разговор», напечатанный в книге: «Сборник первый». СПб., Издательское товарищество писателей, 1912.

[3] Речь идет о плане создания в Москве товарищеского издательства писателей. О нем см.: О. Д. Голубева. Книгоиздательство писателей в Москве. 1912—1923 («Книга». Исследования и материалы, т. X. М., «Книга», 1965, стр. 192—220).

[4] «Ревизор» был представлен в Литературно-художественном кружке 8 апреля 1912 г., сбор с него предназначался в пользу «пострадавших от неурожая». Почти все роли в спектакле исполняли литераторы и журналисты, в том числе К. С. Баранцевич (Земляника), В. Я. Брюсов (Коробкин), Н. Н. Вильде (Хлестаков), С. Кречетов (Шпекин), С. Д. Махалов (Осип), Телешов (Держиморда); в роли купцов выступили И. А. Белоусов, Ю. А. Бунин, Б. К. Зайцев и др. Роль городничего исполнил артист Малого театра Н. М. Падарин. Постановщик спектакля — режиссер Малого театра И. С. Платон. Программа спектакля воспроизведена в настоящ. кн., стр. 609. Материалы о «спектакле литераторов» (рецензия, финансовый отчет, фотографии, рисунки, шаржи) были помещены в журн. «Рампа и жизнь», 1912, № 14, 15, 16.

201. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Одесса, 10 марта 1912 г.›

Ничего, дорогой,—земский так земский. Мало ли брехали про меня чепухи! Вот в следующем сборнике «Знания» (верно, он уже вышел) будет мой «Захар» [1] — он меня защитит. Почитай. Хвалят.

Когда я в Москву? Да рано еще, у вас холод [2]. А я нездоров. Вожусь с докторами — почки что-то.

Целую, низкий поклон Елене Андреевне.

Твой душой И. Б.

На обороте: Москва. Чистые пруды, 217. ЕВ Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Одесса, 10.3.12; Москва, 12.III.1912.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 34, л. 9. Открытка. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю. Ответ на п. 200.

[1] Рассказ «Захар Воробьев».— Сборник т-ва «Знание» за 1912 год, кн. 38. СПб., 1912.

[2] В Москву Бунины приехали на несколько дней в середине лета — в конце июня или в начале июля («Материалы», стр. 175).

202. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Капри, 2/15 декабря 1912 г.⟩

Поздравляю, дорогой, крепко целую. Низкий поклон Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

На конверте: Russie. Moscou. Москва. Чистые пруды, № 217. Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Capri, 16.12.12; Москва, 7.XII.1912.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 37, л. 1—2 об. Приписка к письму В. Н. Буниной 2/15 декабря 1912 г., в котором она писала об их жизни на Капри:

«Поздравляю вас, дорогой Николай Дмитриевич, с днем вашего ангела, желаю вам здоровья и чтобы вы поскорее порадовали нас своею новою вещью⟨...⟩ Мы, оба, отдали дань зиме: поболели жабою. Теперь, слава богу, здоровы ⟨...⟩ Погода здесь дивная — солнечно, а не жарко, цветут ирисы, герань и масса других цветов. С Алексеем Максимовичем видались часто. Он с Екатериною Павловною навещал нас почти ежедневно во время нашей болезни. Мария Федоровна уехала, но навсегда ли или временно, мы не знаем. Максим ростом почти с отца. Довольно хорошенький юноша, но говорит только о марках. Русских здесь много. Жизнь начали вести праведную. Ложимся спать в десять часов, встаем в семь. И как это хорошо! Сегодня засели за свои письменные столы, но что из этого выйдет, покажет будущее».

203. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 14 мая 1913 г.⟩

Дорогой, мы уже на даче: Почтовое отделение Большой Фонтан, Херсонской губернии, дача Ковалевского. Контракт с «Нивой» подписал — в общем весьма хороший для меня. Кое-что она даже набавила. Но вот какой пункт есть в этом контракте: теперь без разрешения «Нивы» не имею права разрешить перепечатать ни строки [1]. Напиши «Ниве» сам — тебе разрешат [2].

Целую, кланяемся Елене Андреевне.

Твой И. Бунин

На обороте: Москва. Покровский бульвар. Дом А. А. Карзинкина. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Большой Фонтан, 14.5.13; Москва, 16.5.13.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 38, л. 1. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] В тот же день Бунин написал письмо Горькому, в котором более подробно характеризовал договор, заключенный им с издательским т-вом «А. Ф. Маркс», которое решило выпустить в 1914 г. в качестве приложения к журналу «Нива» Полное собрание сочинений Бунина («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 72—73).

[2] Судя по письму 204, Телешов думал в это время об издании журнала, в котором надеялся печатать произведения Бунина.

204. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 1913 мая 31

Милый Иван Алексеевич.

Давно известно, что ад вымощен благими намерениями. Малаховская гимназия [1] внесла сюда же свою лепту. Да и немудрено. Не знаю, провалилось ли окончательно дело журнала, но во всяком случае обстоятельства не за журнал. Поэтому и писать в «Ниву» пока не буду. А если дело наладится, то напишу.

Твоему решению с «Нивой» я радуюсь. Может быть, твой журавль в небе и полетит, но синица уже в руках. Поздравляю совершенно серьезно. Поступил бы нелепо, если б не доделал большого дела. Такое распространение, такое великое множество *нового* читателя никто и никогда тебе не даст. Денежная сторона обставлена блестяще. Какого же тебе черта? Если б не заключил договора, назвал бы тебя я обидным именем.

На днях встретился случайно с Блюменбергом. Кряхтит: Куприн пропадает, Арцыбашев — «не то», других никого — вот положение! [2] Чувствую в этом поддержку издательству нашему, авторскому [3]. Не нужно только ссориться и ерундить из-за пустяков. Дело большое и важное создадим, только мелочи все личные к черту и ко всем чертям. Дело общее, дело честное; на мелочи нельзя обращать внимания; нужно глядеть в корень. При начале никто без ошибок не обходится. Пусть будут ошибки, но дело не должно омрачаться.

Ну вот. Привет Вере Николаевне, привет Федорову и всем тем, кто среди вас и кто меня знает. Если Юлий у вас, поцелуй его от меня. Я его очень люблю и ценю.

Твой Н. Телешов

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 18—19 об. Ответ на п. 203.

[1] Гимназия в подмосковном поселке Малаховке была основана в 1908 г. по инициативе Телешова и земского врача М. С. Леоненко на общественные средства. Обучение в этой первой в России «деревенской гимназии» было совместным, вся работа в ней была проникнута передовыми педагогическими идеями. После Октябрьской революции Малаховская гимназия была преобразована в опытно-показательную школу Наркомпроса (см. «Записки писателя», стр. 353—358).

[2] В разговоре с Г. Г. Блюменбергом речь шла о сборниках «Земля». Начиная это издание, Блюменберг привлек к редактированию «Земли» Бунина, который принял это предложение и составил первые два сборника, вышедшие в 1908—1909 гг. Но затем Бунин прекратил эту работу, и руководящая роль в сборниках перешла к Л. Андрееву и М. П. Арцыбашеву. В вышедших в 1913 г. сб. 11, 12 и 13 появились произведения: Андреева — драма «Профессор Сторицын»; Арцыбашева — статья «О ревности», рассказ «Мстители», драма «Ревность»; Ф. Сологуба — «Дым и пепел» (третья часть «Творимой легенды»); Крашенинникова — роман «Девственность» и др.

[3] То есть «Книгоиздательству писателей в Москве».

205. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Константинополь⟩ 11⟨/24⟩ июня 1913

Дорогой друг, Вера сообщает о твоем письме, о твоем поздравлении. Целую, благодарю и кланяюсь Елене Андреевне и тебе из этого любимого моего города. Я немножко потаскал Юлия по Малой Азии, теперь мы отправляемся в Румынию [1]. Скоро надеемся быть снова под Одессой, на даче Ковалевского. Пиши, дорогой, хоть изредка, крепко тебя целую.

Твой душой Ив. Бунин

Жара в этой самой Азии идольская!

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 38, л. 2. На бумаге с бланком: Péra-Palace Hôtel. Constantinople.

[1] Ю. А. Бунин приехал в Одессу 25 мая 1913 г. Через несколько дней братья отправились в путешествие вдоль берегов Черного моря по маршруту: Одесса, Батум, затем Анатолийское побережье Турции, Константинополь. Оттуда они направились в Констанцу, Бухарест, Яссы. В середине июля они возвратились в Одессу («Материалы», стр. 190).

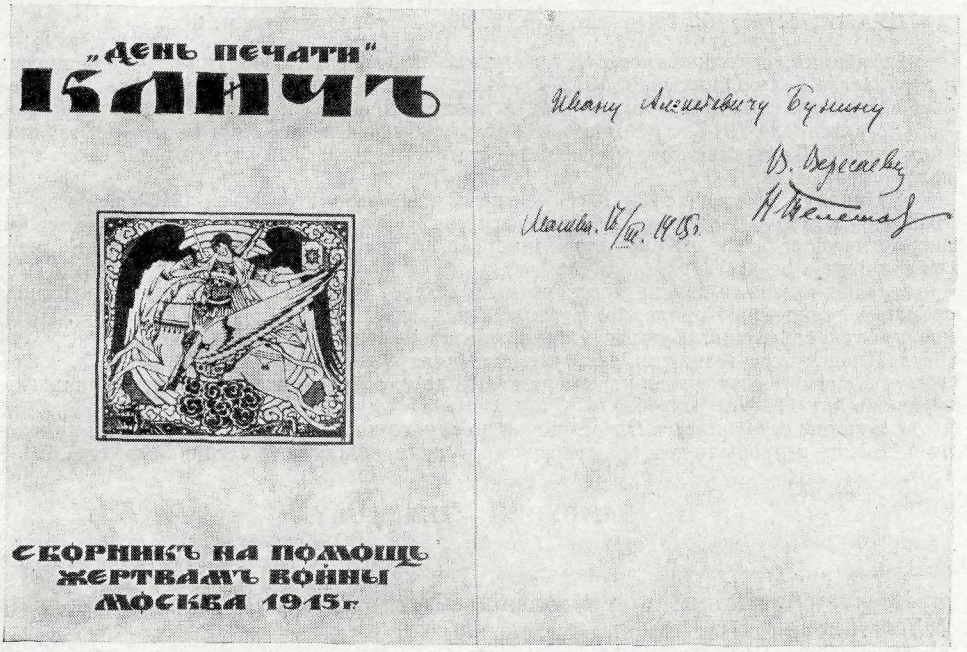
206. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Малаховка, 18 июня 1913 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Ты в Константинополе?!? И едешь в Румынию?.. Ты что: атташе? Или ты кандидат на престол свободной Албании? [1] Или едешь уговаривать известного поэта Николая Черногорского [2] продаться «Ниве» и «приложиться» вместе с тобою и Короленко?

Читал сегодня в газете, что тебя и Короленко и «прочих» приложат в 1914 году [3]. Недурная компания. Вот деревню-то когда точно в стерео-



СБОРНИК «КЛИЧ»,
изданный «на помощь жертвам войны», под редакцией Бунина, В. В. Вересаева и Н. Д. Телешова (М., 1915)
С дарственной надписью:
«Ивану Алексеевичу Бунину. В. Вересаев. Н. Телешов. Москва, 17/III 1915 г.»
Титульный лист и форзац
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

скопе увидим: и с левого глаза, и с правого; какой глаз ни закрой — все выходит односторонне, а гляди в оба — картина с «воздухом».

Все это очень хорошо и мне нравится.

Не нравится мне наше нынешнее лето, ведущее себя каким-то футуристом: всё в будущем, а в настоящем ничего кроме хулиганства.

Воображаю Юлия в Константинополе: новый младотурок [4]. Пьет арабский кофе, расспрашивает о гаремах и читает «Русское слово», покупая его на пиастры; иногда удивляется: «А где собаки?» и вспоминает учебники географии... Пожалуйста, поцелуй его за меня. Я очень люблю этого младотурка.

Долго ли пробудешь в Одессе? Куда на осень: в Москву или дальше? [5]

Я пока никого не вижу из приятелей. Сижу на даче и все мне в Москве надоело. И ехать не хочется. Веду себя святителем московским: не курю и не пью. Пью воду, квас и чай. И — ни-ни!..

Вероятно, заведу себе собственный самовар и чайную плантацию в Китае.

Привет Вере Николаевне. Из письма твоего не пойму, где она: в Турции или в Одессе.

Целую тебя.

Твой Митрич

1913, июня 18. Малаховка

P. S. Если мне нужно пить и чай и нарзан, то как думаешь: для сокращения питьевого времени не заварить ли мне чай на нарзане?

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 20—20 об. Ответ на п. 205.

[1] Албания, находившаяся с XV в. под властью Турции, получила независимость в результате балканских войн 1912—1913 гг. Вопрос о главе албанского государства был предметом сложной политической и дипломатической игры европейских держав. Только в феврале 1914 г. правителем Албании был «избран» один из мелких германских князей Вильгельм Вид (в сентябре того же года он был изгнан народом из пределов страны).

[2] Николай *Негош* (1841—1921) — князь Черногории в 1860—1910 гг., затем до 1918 г.— король Черногории. Занимался литературным творчеством (был автором патриотической песни, призывавшей к борьбе против турок, драмы в стихах «Балканская царица» и др.).

[3] В объявленном списке приложений к «Ниве» на 1914 г. были указаны Полные собрания сочинений Короленко, Бунина, Аполлона Майкова и Эдмона Ростана. Позднее выпуск сочинений Бунина был перенесен на 1915 г.

[4] Младотурки — партия сторонников буржуазных реформ в Турции, пришедшая к власти в результате революции 1908 г. и сохранявшая правящее положение в стране до 1918 г.

[5] Бунины оставались в Одессе почти до самого конца сентября, затем они приехали в Москву и пробыли там (с перерывом) до конца декабря («Материалы», стр. 191—195).

207. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Одесса, 22 сентября 1913 г.⟩

Честолюбивейший и трудолюбивейший из всех писателей начала XX столетия! Вот тебе!

До скорого свидания. Надеемся быть через несколько дней в Москве [1].

И. Бунин

22 сент. 13 г.

МКТ. Сохранилась лишь эта, заключительная часть письма. Отсутствие полного текста этого письма восполняется отчасти письмом В. Н. Муромцевой 19 сентября того же года. Она благодарила в нем Телешова за поздравление ко дню ее именин и писала далее:

«Скоро, надеюсь, увидимся. Последнее время здесь чудесно. Солнечно, стоят какие-то голубые дни. Но все же пора, пора! Надоели неудобства, хочется электричества, тепла в комнатах. У нас очень большая дача, а потому теперь холодно, особенно по ночам. Деревья только начинают желтеть. Ян работает, написал два мрачных рассказа, один прочтете в „Русском слове“ на днях, а другой, вероятно, услышите в его исполнении, ибо печататься он будет в ноябре в „Вестнике Европы“. Ян низко кланяется всем, я тоже. В. Муромцева» (ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 65).

Упомянутые здесь рассказы — «Я все молчу» («Русское слово», 1913, № 231, 8 октября) и «Чаша жизни» («Вестник Европы», 1913, № 12).

[1] Бунины приехали в Москву не позднее 29 сентября 1913 г.: в письме М. Ф. Андреевой к Горькому 29 и 30 сентября, из Москвы, она писала о встрече с В. Н. Буниной и о телефонном звонке Бунина (М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. Изд. второе, дополненное. М., «Искусство», 1963, стр. 222—223).

208. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Капри, 3/16 января 1914 г.⟩

«Чем больше работаешь, тем лучше работаешь и тем сильнее хочется работать. Чем больше творишь, тем становишься производительнее».

Бодлер

Заруби это себе на — носу, Митрич. Целую. Кланяемся Елене Андреевне.

Ив. Б.

Капри, 16/3 янв. 14 г.

На обороте: Moscou. Russie. Москва. Покровский бульвар, д. Карзинкина. Н. Д. Телешову. Почт. шт.: Capri, 18.I.14; Москва, 10.I.14.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 39, л. 1. Открытка.

209. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹Москва, 22 декабря 1914 г.›

Дорогой, пошли приглашение Александру Сергеевичу Черемнову [1], имение Клеевка, Нащокино, Витебской губернии.

Ив. Бунин

22 дек.

На обороте: Здесь. Покровский бульвар, 18 (дом А. А. Карзинкина). Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Москва, 22.12.14.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 39, л. 2. Открытка. Год определен по почтовому штемпелю. Кроме двух публикуемых писем Бунина 1914 г. было еще, по крайней мере, одно — посланное из Большого Фонтана 8 мая 1914 г. В МКТ сохранился от него конверт с почтовыми штемпелями: Большой Фонтан, 8.V.14; Москва, 11.V.14.

[1] Об А. С. Черемнове см. настоящ. кн., стр. 638—658. Совет Бунина был, очевидно, принят Телешовым — в сб. «Клич» был напечатан рассказ Черемнова «Попутчики».

210. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 18 октября 1915 г.›

Дорогой друг, в «Плен», думаю, *непременно* дам [1]. Что до «Слова», то, если можешь, погоди неделю — тогда окончательно выяснится, смогу ли дать; *надеюсь*, *что дам*, но прямо говорю: кровью не подписываюсь [2].

Если разделишь Сургучева,— сборнику крышка. Повторится история со «Знанием» [3].

На мир не сердись. Жить все же надо. Целую тебя, поклон жене и сыну. Прости краткость.

К 1-му надеюсь быть в Москве [4].

Твой Ив. Бунин

18.X.1915
Измалково, Орловск. губ.

На конверте (хранится в МКТ): Заказное. Москва, Покровский бульвар, дом Карзинкина. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Измалково, 20.10.15; Москва, 27.10.15.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 40, л. 1. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] Имеется в виду книга: «В помощь пленным русским воинам». Литературный сборник. Под ред. Н. В. Давыдова и Н. Д. Телешова. М., тип. т-ва И. Д. Сытина, 1916. Для этого сборника Бунин прислал стихотворение «Кадильница» (т. 1, стр. 392; см. еще п. 213).

[2] Бунин в это время дописывал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Закончил он его в конце сентября 1915 г. и передал Книгоиздательству писателей в Москве для пятого сборника «Слово» (М., 1916).

[3] Очевидно, Телешов не принял во внимание этот совет: в пятом сборнике «Слово» была напечатана только первая часть повести И. Д. Сургучева «Мельница»; вторая часть появилась в шестом сборнике. О какой истории со «Знанием» вспоминает Бунин, остается неясным.

[4] Бунин приехал в Москву в первых числах ноября 1915 г. («Материалы», стр. 205).

211. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст.› Измалково, Орловск‹ой› губ‹ернии,
25 октября 1915 г.›

Дорогой Митрич, рассказ могу дать [1] — в нем журнальный лист или чуть больше,— но *только* при самом крепком утвердительном ответе на следующие вопросы:

1) Точно ли, что книгоиздательство выпустит сборник не позднее конца декабря? [2]

2) Заплатят ли мне *все* деньги *немедля*?

3) Есть ли еще возможность поставить рассказ в *начале* сборника? [3]

Ответь телеграммой. Если «да» — тотчас вышлю.

Целую. Поклон Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

25.X.1915

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 40, л. 2.

[1] См. примеч. 2 к п. 210.

[2] Пятый сборник «Слово» имеет дату 1916 г., но фактически он вышел в свет в декабре 1915 г.— первые отзывы о нем появились в «Русских записках», 1915, № 12, и в «Летописи», 1916, № 1.

[3] Очевидно, Телешов уже не имел возможности выполнить это пожелание Бунина: рассказ «Господин из Сан-Франциско» был помещен в конце сборника.

212. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 22 декабря 1915 г.›

Дорогой Митрич, довожу до твоего редакторского сведения, что я посылаю Клестову следующее заказное письмо:

«Многоуважаемый Николай Семенович, на тот случай, если будет решено припечатывать V сборник, посылаю вам „Господина из С.-Франциско“ с *поправками*. Имейте, кроме того, в виду, что *без доплаты* я даю рассказ только на 2 тысячи экземпляров и что *непременное* условие его печатания — прислать мне корректуру».

Целую тебя, кланяюсь Елене Андреевне и Андрюше.

Твой Ив. Бунин

22.XII.1915. Измалково, Орловск. губ.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 40, л. 3.

213. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст.› Измалково, Орловск‹ой› губ‹ернии,
29 января 1916 г.›

Дорогой друг, пожалуйста, прости,— задержался ответом потому, что все надеялся, что напишу или приведу в порядок что-нибудь старое для твоего сборника — и ничего не вышло, чувствовал себя из рук вон плохо, а последние дни такая несла метель, что не было ни проходу, ни проезду. Посылаю тебе только одно стихотворение [1] — больше, видит бог, ничего не могу, если что и есть, то совершенно не подходящее для тебя, а те отрывки рассказов,— уже напечатанных, о которых мы говорили с тобою, нельзя послать по той причине, что я их решил дописать и уже сильно исковеркал. Не сердись, сделай милость, ведь ты хорошо знаешь, что уж для тебя-то я постарался бы!

Посылаю тебе, кроме того, три стихотворения художника Лепетича, не раз печатавшегося в толстых журналах. Может, возьмешь что-нибудь, чем меня очень обрадуешь [2].

Насчет 7-го сборника еще ничего не могу сказать. Как будет писаться... Но вот в чем ничуть не сомневаюсь: закатить три сборника в одну зиму — это форменное безумие, это наполовину подорвет к ним интерес и даже уважение, сделает их ординарным явлением. Серьезно говорю тебе — отложи до осени, не зарывайся [3].

Целую тебя, кланяемся сердечно Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

29.I.1916

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 1. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] Стихотворение «Кадильница» — для сборника «В помощь пленным русским воинам» (см. примеч. 1 к п. 210).

[2] В сборнике «В помощь пленным русским воинам» было напечатано два стихотворения Н. Лепетича: «Под монастырем» («Звонят по кельям на утесе...») и «Верблюд» («В зверинце, в праздник, гром органа...»).

[3] Выпуск седьмого сборника «Слово» был действительно отложен — он вышел в свет в начале 1917 г. В нем был напечатан рассказ Бунина «Петлистые уши».

214. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 15 февраля 1916 г.›

Дорогой Николай Дмитриевич, будь добр, черкни мне два слова на открытке, взял ли ты или нет стихи Н. Н. Лепетича [1].

Затем вот что: предлагаю тебе для *шестого* сборника «Слово» несколько своих стихов (я всё стихи писал за последние дни) [2]. Ведь он, вероятно, еще не совсем готов? Можно поставить в самый конец. Ответь *немедленно*.

Целую, кланяемся Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

15.II.1916

На обороте: Заказное. Москва. Покровский бульвар, дом А. А. Карзинкина. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Измалково, Орлов., 15.2.16; Москва, 17.2.16.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 2. Открытка. Место отправления определено по почтовому штемпелю.

[1] См. примеч. 2 к п. 213.

[2] Эпизод со стихами для шестого сборника «Слово» освещен в письмах 215—220.

215. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Измалково, 29 февраля 1916 г.

Посылаю [1]. Бунин

На телеграфном бланке адрес: Москва. Покровский бульвар, дом Карзинкина. Николаю Дмитриевичу Телешову. Принята 1.3.1916.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 3. Телеграмма.

[1] Стихи для шестого сборника «Слово» были отосланы Буниным на следующий день, 1 марта (см. п. 216).

216. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 1 марта 1916 г.›

Дорогой друг, посылаю стихи для шестого сборника «Слово» [1] (для шестого, а не для седьмого). Может быть, ты ждал, что я пришлю меньше немного, но согласись, что это была бы чепуха, так, привеска какая-то к сборнику, а я идти на это не имею ни малейшего желания. Иду на другое: заплати столько, сколько можно. Говорю совершенно серьезно: на этот раз приму, сколько пожалуете, и ни за что не обижусь.

Молю тебя только о самой тщательной корректуре. Главное — сохрани мои знаки препинания, каковы бы они ни были.

Очень был бы рад, если бы ни одно стихотворение не переходило на другую страницу.

Целую, благодарю за позапрошлое письмо, за похвалу «Кадильнице» и прочее [2].

Наш сердечный привет Елене Андреевне.

Твой Ив. Бунин

1 марта 1916

На конверте (хранится в МКТ): Заказное. Москва. Покровский бульвар, дом А. А. Карзинкина. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. От Ив. А. Бунина. Почт. шт.: Измалково, 2.3.16; Москва, 4.3.16.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 4. В тексте подчеркивания — пометы Телешова.

[1] В одном конверте с этим письмом были присланы переписанные рукой Бунина 12 стихотворений. Автографы эти находятся в МКТ.

[2] Это письмо остается неизвестным. Из писем Телешова к Бунину за 1916 г. в настоящее время выявлено только два (п. 217 и 223). О «Кадильнице» см. примеч. 1 к п. 210.

217. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, начало марта 1916 г.›

Измалково Бунину

Сборник готов твоим стихам оставили три страницы больше бумаги нет наметили 48 строк [1] по 2 рубля ответь немедленно согласие

Телешов

Николай Дмитриевич Телешов. Покров. бульв. 18.

ИМЛИ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 2. Копия телеграммы, автограф.

[1] Какие именно стихотворения Телешов собирался включить в сборник, установить не удалось. По-видимому, речь шла о трех стихотворениях —среди присланных стихов не было больше чем в 24 строки и меньше чем в 8 строк.

218. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 10 марта 1916 г.›

Сейчас получил твою телеграмму — нынче 10 марта. На телеграмме надпись: «Получена почтой из Одессы».

На твое предложение не согласен — выступать в сборнике с 48 строками — *позор. Вели разобрать, если набрали.* Согласен появиться в сборнике только в том случае, если согласишься (вернее — если можно) уместить *девять* стихотворений: «Мулы», «Миньона», «Дурман», «Княжна», «Райское древо», «Сон», «Зеркало», «Псалтирь» и «Гробница Вергилия» (выкинуть, значит, — «Эллада», «На исходе» и «Сон епископа»): *уничтожь шмуцтитул и печатай стихи сплошь, подряд, как прозу. Немедленно отвечай.*

Твой И. Бунин

На обороте: Заказное. Москва. Покровский бульвар, дом Карзинкина. Николаю Дмитриевичу Телешову. Очень спешное. Почт. шт.: Измалково, 10.3.16; Москва, 12.3.16.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 5. Открытка. Дата и место отправления определены по почтовому штемпелю и по тексту. На обороте рукой Телешова: «Получено 12 марта, 7 час. веч.» Ответ на п. 217.

Одновременно с этой спешной открыткой, отосланной на домашний адрес Телешова, Бунин отправил другую открытку на адрес: Москва. Скатертный пер., 8. Книгоиздательство писателей. Для Н. Д. Телешова. (Очень спешное.) Текст ее, за исключением двух-трех мелких разночтений, соответствует тексту первой (см. ГБЛ, ф. 9, Н. С. Клестова (Ангарского), № 134).

219. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Измалково, 10 марта 1916 г.

Сейчас не могу извини поздний ответ не моя вина Бунин

На телеграфном бланке: Николаю Дмитриевичу Телешову. Покровский бул., дом Карзинкина. Москва. Подана: 10-го, 10 ч. 58 м. пополуночи.

ГБЛ, ф. 9, № 134. Ответ на п. 217.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ «СРЕДЫ»

На квартире Телешова. Фотография А. Н. Телешова, 1917

Слева направо: сидят — Е. П. Гославский, С. Я. Елпатьевский, И. А. Бунин; стоят — И. С. Шмелев, И. А. Белоусов, А. Е. Грузинский, Н. Д. Телешов, Ю. А. Бунин

Литературный музей, Москва

220. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст.› Измалково, Орловск‹ой› губ‹ернии, 12 марта 1916 г.›

Дорогой друг, 10-го, получив твою депешу, написал тебе сгоряча, не совсем то, что следовало. Если еще не поздно, пошли к черту всю эту затею, не ставь, ради бога, ни единой моей строки в сборник — прошу об этом горячо и твердо. Печатать без титула, лепить стихотворение на стихотворение — нет, это безобразно и глупо. А прицепить к сборнику 48 строчек... Надеюсь, что ты не сделал этого, я тебе писал ведь, что на это не пойду.

Во всяком случае будь добр *немедленно* сообщить мне результаты всей этой чепухи. Мне дорог каждый день, очень ждут от меня в других местах.

Твой душевно Ив. Бунин

12-го марта 1916 г.

На конверте: Заказное. Москва. Покровский бульвар, дом Карзинкина. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. От Ив. А. Бунина (очень спешное). Почт. шт.: Измалково, 15.3.16; Москва, 17.3.16.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 6.

221. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 23 марта 1916 г.›

Дорогой друг, и верить не хочу, что ты серьезно отказываешься от редактирования сборников! Только опять заклинаю: не губите себя, не докучайте публике, не выпускайте 7-го сборника раньше осени. — Спасибо,

дорогой, за отзыв о стихах. Делать с ними ничего не делай — разошлю их в другие места [1]. — «Младость» Андреева *очаровательна* [2].

Целую.

Ив. Бунин

На обороте: Москва. Покровский бульвар, д. Карзинкина. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Измалково, 23.3.16; Москва, 26.3.16.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 7. Открытка. Дата и место отправления определены по почтовому штемпелю. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

[1] Бо́льшую часть этих стихотворений Бунин за четыре дня до настоящего письма послал в «Летопись» вместе с рассказом «Казимир Станиславович». В тот же день (19 марта) он писал Горькому: «Посылаю и пук стихов — выберите, *сколько* и *что* вам угодно, и будьте добры *поскорее* сообщите, *что именно* возьмете» («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 86). 23 марта Горький отвечал ему: «Стихи взяты все, *за исключением „Княжны“ и „Миньоны“*, т. е. двух стихотворений» (там же). В «Летописи» были напечатаны следующие восемь стихотворений этого цикла: «У гроба Вергилия» (№ 5); «Райское древо», «Псалтирь» (№ 6); «Мулы», «Эллада» (№ 7); «Дурман», «Сон», «Зеркало» (№ 8). Остальные стихотворения были напечатаны в разных журналах и книгах: «Княжна» — «Северные записки», 1916, № 10 (под заглавием «Чернец»); «Сон епископа» — «Современный мир», 1916, № 10, и «Ежемесячный журнал», 1916, № 9—10; «На исходе» — в кн.: Ив. Бунин. Господин из Сан-Франциско. Произведения 1915—1916 гг. М., Книгоизд-во писателей в Москве, 1916; «Миньона» — газ. «Власть народа», М., 1917, № 195, 25 декабря.

[2] Пьеса Л. Андреева «Младость» была напечатана в шестом сборнике «Слово». До этого в сборнике «Клич» было напечатано краткое изложение пьесы и III действие (1-я и 2-я картины).

222. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 2 июня 1916 г.›

Где ты? Как устроились? Напиши, сообщи адрес. Кланяемся

Ив. Бунин

Измалково, Орловск. губ.
2.VI.1916

На обороте: Кисловодск. Его высокородию Николаю Дмитриевичу Телешову. Почт. шт.: Измалково. 2.6.16; Кисловодск. 5.6.16. К открытке приклеена справка Кисловодской почтово-телеграфной конторы о том, что адресат не разыскан.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 8. Открытка.

223. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 14 июня 1916 г.›

Дорогой друг, получил твое как всегда великолепное письмо. И хохотал и возмущался. В самом деле, что за подлое место! Говорил тебе — не езди в этот Кисловодск, говорил — поезжай в Крым! Но в конце концов, и эта поездка неплоха. Все-таки «проветрили»! Дурное забудется, а хорошее запомнится, особенно Андрюшей.

Целую вас всех крепко, передаю поклоны наших.

Твой Ив. Бунин

На обороте: Кисловодск. До востребования. ЕВ Николаю Дмитриевичу Телешову. ‹*Другим почерком и другими чернилами адрес зачеркнут и вписано:*› Москва, Чистые пруды, соб. д. Почт. шт.: Измалково, 14.6.16; Кисловодск, 19.6.16.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 41, л. 9. Открытка. Дата и место отправления определены по почтовому штемпелю. Ответ на недошедшее письмо Телешова.

224. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

‹Москва, 19 августа 1916 г.›

Дорогой Иван Алексеевич.

Вчера Юлий спрашивал меня про бумагу. У меня она пока есть, та самая, на которой был пленный сборник. Сколько тебе ее нужно? [1] Говори как можно скорее, ибо у меня ее торгуют многие люди и фирмы. Если мне «Сборник» дал маловато, меньше, чем я трудов своих на него положил, то я наверстаю барыш от продажи бумаги. Решил нажить тысячи две. И наживу! Дело в том, что весь барыш пойдет на ту же цель — пленным. Бумага у меня в сарае и может быть сдана хоть завтра в типографию, а это по нынешним временам большое удовольствие. Не то, что через пять месяцев привезут, да еще надуют месяца на два.

Так вот-с, ваше превосходительство: товар у нас налицо, а вы деньги на бочку!

Серьезно: говори толком, какое количество тебе надо? Бумагой я богат, у меня 114 стоп! Поспеши ответом, а то ведь, кроме шуток, покупателей много. Всем купить хочется, да я больно свиреп. Не даюсь в голые руки. Понимаю, что бумага, на которой ничего пока не напечатано, дороже, чем с повестями и рассказами. Обидно, конечно, писательскому сердцу, ну да пленные за меня бога отмолят за такое мое сквернословие!

Когда ты в Москву? Здесь погода самая дурацкая, даже противно. В деревне лучше. Не торопись ехать. Ничего хорошего здесь нет .

Привет Вере Николаевне!

Что даешь в «Слово»? [3]

Твой Н. Телешов

1916, авг. 19

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 126, л. 21—21 об.

[1] Для какой книги Бунину нужна была бумага, выяснить не удалось. «Пленный сборник» — «В помощь пленным русским воинам» (см. примеч. 1 к п. 210).

[2] Бунин оставался в деревне до конца декабря 1916 г. В Москве он провел январь и февраль 1917 г. («Материалы», стр. 208—209).

[3] Вопрос относится, по-видимому, к седьмому сборнику «Слово» (см. примеч. 3 к п. 213).

225. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

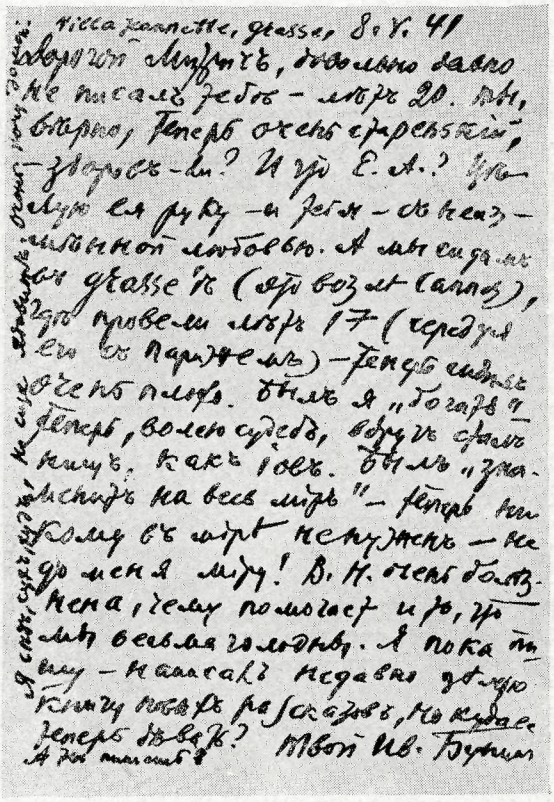
‹Москва, 18 мая 1919 г.›

Дорогой Иван Алексеевич.

Наконец-то узнал о тебе, что ты жив и живешь в Одессе. Я тоже пока жив, но очень устал, хотя все еще работаю, и надо сказать, так много, как никогда. Писать некогда, но все-таки пишу, хотя не на чем: бумага дорогая, как сапоги, а сапоги дороги, как хлеб.

Напиши мне скорее, могу ли я рассчитывать на твою вещь, в лист, в два, для сборника, но не для «Слова», а для совершенно нового, который мне, может быть, удастся наладить [1]. Но это условно пока, так как вопрос не решен и я только стремлюсь его наладить. Если налажу, то под рукопись дадут аванс или прямо плату. Вещь должна быть приемлемая для наших дней, это ясно. Про стихи тоже ответь. А главное, по какой цене то и другое, чтоб не запугать.

Все это, повторяю, еще в проекте, но если не буду иметь данных и материала, то нельзя и разговор вести. Тогда все это отдалится и, вероятно, прервется. Просто я хочу, чтоб мне было поручено составить сборник, а то и два. Скажи, если знаешь что-либо, про других, про Толстого [2], Митрофаныча [3], и других, кого можно и желательно использовать. Тогда я буду хлопотать, а с пустыми руками и затевать нечего. Значит условия:



Villa Jamaste, Grasse, 8.V.41

Говорят Митрич, давно давно не писал тебе — мая 20. Ты, верно, теперь очень старенький, — здоров-ли? И где Е. А.? Целую ея руку — и тебя — обеих — любимой любовью. А мы живем на Grasse'е (это возле Канна), где провели мая 17 (середина ежегодно в Париже) — теперь сидим очень плохо. Был я „богат", теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как червь. Был „гражданин на весь мир" — теперь никому в мире не нужен — не до меня миру! В. Н. очень болезненна, чему помогает и то, что мы все голодны. Я пока ничего не писал недавно дописал книгу, потом расскажу. Но куда деваться теперь бедным? А как писать? Твой Ив. Бунин

Я спал, сидя, ночью, из-за астмы

ОТКРЫТКА БУНИНА ТЕЛЕШОВУ, 8 МАЯ 1941 г.

Автограф

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

1) допустимость в цензурном отношении, 2) размер, 3) цена. Срок, вероятно, к осени: август, сентябрь. Но, оговариваюсь, может быть, ничего из этого не выйдет. Ведь бумагу достать трудно и сговориться на такое дело нелегко. Интересы авторов буду поддерживать сколь могу, но для переговоров нужны минимумы. Ответь обо всем и о тех, у кого можно взять. Буду писать после Вересаеву [4], Шмелеву [5].

Твой Митрич

1919, май 18

Адрес старый: д. 18, кв. 15

На конверте: Заказное. В Одессу. Княжеская, 27. Вере Николаевне Буниной. Парижский архив Бунина.

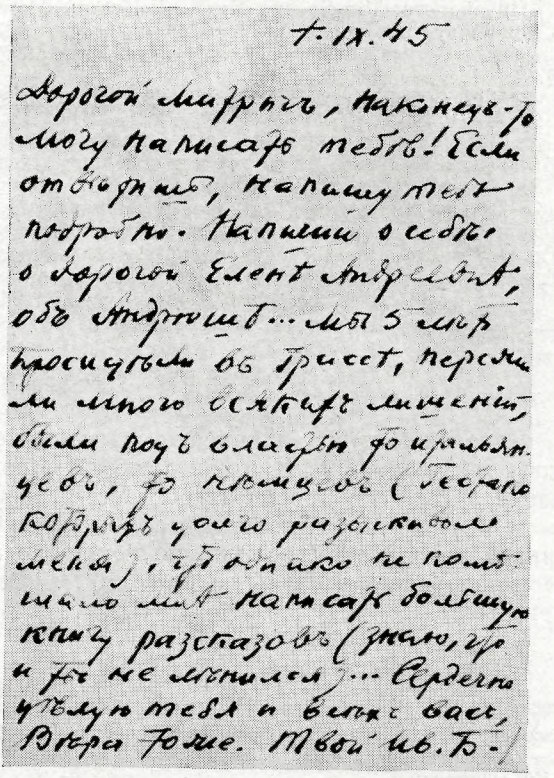
В первой части письма, обращенной к В. Н. Буниной, Телешов писал: «Радуюсь весточке о вас. Так давно ничего не знал и тревожился. Вчера сообщил мне Юлий, что вы живы, здоровы и где живете. Пожалуйста, напишите хотя немного. Очень интересуюсь знать о вас». Бунины приехали в Одессу в начале июня 1918 г. и прожили там до 26 января (ст. ст.) 1920 г. В начале апреля 1919 г., после изгнания интервентов, в Одессе установилась Советская власть, что и повело к возобновлению почтовой связи с Москвой. В августе того же года белогвардейские войска Деникина заняли Одессу, которая снова оказалась отрезанной от Советской России.

Упомянутое Телешовым письмо к Ю. А. Бунину остается неизвестным. Некоторые сведения о жизни Буниных в Одессе летом 1918 г. содержит письмо Веры Николаевны к А. Е. Грузинскому 5/18 августа 1918 г.: «Ян раскачивается на работу ⟨...⟩ Он значительно переменился. Стал прежним, веселым, перестал „жить политикой". Теперь у нас опять идут литературные разговоры, иной раз поднимаются споры и на политические темы, но нет того постоянного желания вести их. Здесь живут много писателей: Федоров, конечно, Кипен, критик Тальников, местные дамы-писательницы, много молодых поэтов, словом, музам дела много» (ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 219, л. 6—6 об.).

ОТКРЫТКА БУНИНА ТЕЛЕШОВУ, 7 СЕНТЯБРЯ 1945.

Автограф

Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва



7.IX.45

Дорогой Митрич, наконец-то
могу написать тебе! Если
отвечаешь, напишу тебе
подробно. Напиши о себе
о дорогой Елене Андреевне,
об Андрюше... Мы 5 лет
просидели в Грассе, перенес
много всяких лишений,
были под властью то итальян-
цев, то немцев (теперь
корабль уже разделывают
меня), работаю не помы-
шляя лет написать большую
книгу разсказов (знаю, что
и тебе не мешало)... Сердечно
целую тебя и всех вас,
Вера тоже. Твой Ив. Б.

[1] Последний, восьмой сборник «Слово» был издан в 1918 г. Литературный сборник, который «Книгоиздательство писателей» готовило в 1919 г., не был выпущен (О. Д. Голубева. Книгоиздательство писателей в Москве (1912—1923).— «Книга». Исследования и материалы, вып. X. М., 1965, стр. 218).

[2] А. Н. Толстой приехал в Одессу в сентябре 1918 г. В начале апреля 1919 г., перед освобождением города Красной Армией, он эмигрировал.

[3] А. М. Федоров постоянно жил в Одессе. Он также уехал в эмиграцию и поселился в Болгарии.

[4] В. В. Вересаева в это время не было в Москве: в 1918 г. он уехал в Крым и прожил там до октября 1921 г.

[5] И. С. Шмелев также находился в это время в Крыму. В Москву он вернулся в 1922 г., а в 1923 г. эмигрировал.

226. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Villa Jeannette, Grasse, 8.V.41

Дорогой Митрич, довольно давно не писал тебе — лет 20 [1]. Ты, верно, теперь очень старенький,— здоров ли? И что Елена Андреевна? Целую ее руку — и тебя — с неизменной любовью. А мы сидим в Grasse'е (это возле Cannes), где провели лет 17 (чередуя его с Парижем) — теперь сидим очень плохо. Был я «богат» [2] — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен — не до меня миру! Вера Николаевна очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов [3], но куда ее теперь девать? А ты пишешь?

Твой Ив. Бунин

Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой [4].

На обороте: Via Suisse. Mr N. Téléchoff. Moscou (URSS). Николаю Дмитриевичу Телешову, писателю. Художественный театр. Москва. Exp.: Ivan Bounine. Villa Jeannette. Grasse. A⟨lpes⟩ M⟨aritimes⟩. France. Ecrit en russe. Почт. шт.: Grasse. 9.5.41; Москва. 1.6.41.
МКТ. Открытка.

[1] Последнее из дошедших до нас писем Бунина к Телешову датируется 14 июня 1916 г. (п. 223). Писал ли он ему в дальнейшем (до эмиграции), установить не удалось.
[2] Имеется в виду Нобелевская премия, полученная Буниным в 1933 г.
[3] В годы перед второй мировой войной и после ее начала Бунин написал ряд рассказов, напечатанных в различных газетах и журналах. Они должны были составить книгу «Темные аллеи», над которой Бунин продолжал работать и позднее. Впервые «Темные аллеи» были изданы отдельной книгой в Нью-Йорке в 1943 г.
[4] Об этом своем желании Бунин в июне 1941 г. писал также А. Н. Толстому (см. сообщение «Письмо А. Н. Толстого к И. В. Сталину» — настоящ. том, кн. 2).

227. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Париж⟩ 7.IX.45

Дорогой Митрич, наконец-то могу написать тебе! Если ответишь, напишу тебе подробно. Напиши о себе, о дорогой Елене Андреевне, об Андрюше... Мы 5 лет просидели в Грассе [1], пережили много всяких лишений, были под властью то итальянцев, то немцев (гестапо которых долго разыскивало меня [2]), что, однако, не помешало мне написать большую книгу рассказов (знаю, что и ты не ленился) ... [3] Сердечно целую тебя и всех вас, Вера тоже

Твой Ив. Б.

На обороте: Mr N. Téléchov. Moscou. Николаю Дмитриевичу Телешову. Художественный театр. Москва. Monsieur Ivan Bounine (Иван Бунин, писатель). 1, rue Jacques Offenbach. Paris 16e. Почт. шт.: Paris, 7.IX.1945; Москва, 4.11.45; СССР. Военная цензура, 32/М.
МКТ. Открытка.

[1] Бунины бежали из Парижа в июне 1940 г., когда гитлеровские войска приближались к столице Франции. Вернулись они в Париж 1 мая 1945 г.
[2] Этот факт не подтверждается в воспоминаниях лиц, знавших Бунина в годы второй мировой войны (см. «Материалы», стр. 225—236).
[3] О «книге рассказов» Бунина см. примеч. 3 к п. 226. Телешов в годы войны писал книгу «Записки писателя», первое издание которой вышло в 1943 г.— сведения об этом, очевидно, дошли до Бунина.

228. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 11 октября 1945 г.

Дорогой Иван Алексеевич.

Довелось на днях узнать, что ты жив и здоров [1]. Сердечно радуюсь этому и шлю тебе дружеский привет. Тебе и Вере Николаевне. Получил твою открытку в 1941 году [2] и не успел ответить, так как налетели на нас фашисты и всякое общение с Европой прекратилось. Затем пришли вести о тебе весьма печальные и я, поверив им, напечатал даже в своей книге воспоминаний «Записки писателя» о тебе то, что по русской народной поговорке обещает тебе долгую счастливую жизнь [3].

Дорогой мой, откликнись, отзовись!

Наша Родина, как тебе известно, вышла блестяще из труднейших условий войны и всяких потрясений. У нас все прочно и благополучно. Когда вернулись к нам Алексей Толстой и Куприн и Скиталец, они чувствовали себя здесь вполне счастливыми [4].

Шаляпина и Рахманинова у нас чтут и память их чествуют [5]. Таково отношение у нас к крупным русским талантам.

Отзовись, тогда напишу побольше. Твой Н. Телешов

11/X 45
Мой адрес: Москва. Проезд Художественного театра, д. 3-а. Музей МХАТ [6].

Парижский архив Бунина. Машинопись с автографической подписью и обратным адресом.

[1] По-видимому, о Бунине рассказывала Эльза Триоле, приехавшая в 1945 г. в Москву. Свидетельством ее знакомства с Буниным в Париже служит ее книжка, подаренная ему (см. настоящ. том, кн. 2). Сведениями о личной встрече Телешова с Э. Триоле мы не располагаем. Возможно, что ее рассказ дошел до него через Иностранную комиссию Союза писателей СССР.

[2] См. п. 226.

[3] В первом издании «Записок писателя» Телешов писал: «В том же мае 1942 г. умер Иван Алексеевич Бунин. Ему было 72 года. В разное время Академия наук четыре раза премировала его сочинения и стихотворные переводы Лонгфелло и Байрона; затем он избран был в почетные академики, а несколько лет тому назад была присуждена ему Нобелевская премия. Недавний пример доброго отношения к возвратившемуся в Россию Куприну побудил и его к намерению вернуться на родину, но внезапная война помешала этому. Осталось только его письмо с ярко выраженным стремлением: „Хочу домой!..“» («Записки писателя», 1943, стр. 89—90).

[4] О возвращении в СССР А. Н. Толстого см. в публикации его письма к И. В. Сталину — настоящ. том, кн. 2; Куприн вернулся на родину в 1937 г.; Скиталец — в 1934 г.

[5] В музыкальной жизни Советской страны Шаляпин и Рахманинов всегда занимали видное место. Особенно широко пропаганда их творчества развернулась в годы войны и после ее окончания. Сильное влияние на отношение советской общественности к Рахманинову оказала его патриотическая деятельность в 1941—1942 гг.

[6] См. примеч. 6 к п. 234.

229. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

Москва, 11 ноября 1945 г.

Дорогой Иван Алексеевич.

Несказанно рад, что нынче днем получил твою открытку от 7 сентября. Для меня это большая радость. Ведь мы считали тебя погибшим. Даже в моей книге воспоминаний это есть [1]. Целую тебя и милую Веру Николаевну. Напиши о себе побольше. Твоя книга листов в 25 печатается в Госиздате [2]. Про себя скажу, что Елена Андреевна скончалась два года назад, а сын все еще не вернулся [3]. Он на войне был с первых дней. Теперь я стар и одинок. Но есть у меня внук, 16-ти лет [4]. Он мне и помощь. Напишу тебе больше, а сейчас хочу только откликнуться. Говорил сейчас с Екатериной Павловной [5]. Она тоже рада, что ты жив и здоров. Целую вас обоих.

Твой Н. Телешов

Парижский архив Бунина. Открытка. Ответ на п. 227.

[1] См. примеч. 3 к п. 228.

[2] Об этом невышедшем сборнике избранных произведений Бунина см. в п. 230-232, 234.

[3] Е. А. Телешова умерла в 1943 г. А. Н. Телешов, искусствовед по специальности, в июле 1941 г. вступил в Народное ополчение г. Москвы и пошел на фронт бойцом стрелковой дивизии Красногвардейского района. В дальнейшем работал при штабе 49 армии. По окончании войны был оставлен на службе в Берлине. Демобилизовался в марте 1946 г., имея звание майора.

[4] Владимир Андреевич *Телешов* (р. 1929) — ныне врач.

[5] Екатерина Павловна Пешкова. В настоящ. томе, кн. 2, публикуются ее воспоминания о Бунине.

230. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, после 11 ноября 1945 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Очень обрадовал ты меня своим письмом от 7 сентября, и хотя шло оно ко мне долго (получил 11 ноября), но открыло мне оно, наконец, всю правду, которой я так добивался. Счастлив узнать, что ты жив и здоров. Твою первую открытку в 1941 году я получил (с твоим восклицанием: «хочу до-

мой!»), но ответить уже не имел возможности, налетел Гитлер и пошла величайшая разруха, величайшая война, правильно названная Отечественной. Все пути были отрезаны. А через год пошли слухи, что будто бы ты, резко отказавшись от предложенного выступления, был арестован фашистами и замучен в их застенке. Все это было достаточно правдоподобно в те ужасные годы. Я всячески пытался наводить справки о тебе, и все, все говорило за то, что ты погиб. Даже Серафимович уверял меня, что это ему определенно известно и сомнений нет. А в это время печаталась моя книжка «Записки писателя» [1], куда я и вставил о тебе несколько печальных слов. Ничего: по народной примете это означает долгую жизнь! Меня тоже два раза хоронили. Как-то давно уже В. Я. Брюсов, встретив меня возле Большого театра, всплеснул руками и почти закричал: «Вы живы?! Как я рад...» Оказалось, что по Москве прошел слух обо мне «несколько преждевременный». Вересаева тоже раза два хоронили, а нашего Качалова, кажется, раз восемь.

Да, милый друг, немного нас осталось к сегодняшнему дню. Почти никого. Да и что ж удивляться. Ведь каждому из нас, оставшихся, под 80 лет. Твое письмо попало ко мне как раз в день моего рождения: 11 ноября. И это было для меня лучшим приветом. Я послал тебе маленькое письмецо, когда дошли до меня первые слухи, что ты жив [2]. Большое одолжение сделали мне в Иностранном отделе Союза писателей, приняв это письмо для передачи тебе [3]. Прошу тебя, напиши мне о себе подробнее и попроси этот отдел Союза переслать его в Москву, Кузнецкий мост, 12. Был бы очень обрадован, если б ты выслал сюда же книгу свою новую, о которой пишешь в письме [4].

К тебе везде отношение прекрасное. Твою открытку ко мне всю затрепали — так интересуются тобой и ждут. Между прочим, очень важно, что Государственное издательство печатает твои рассказы, около 20—25 листов [5]. Это очень значительно и приятно.

Про себя скажу, что очень я одинок без Елены Андреевны. Да и стар я очень и устал. Андрюша два дня тому назад неожиданно прилетел из Берлина на побывку на две недели. Соскучился я без него. Живу все там же, на Покровском бульваре, при мне жена сына[6] и внук Володя $16^1/_2$ лет, хороший мальчик, мой друг и помощник.

Работаю во всю мочь — и служу, и пишу, и читаю публично, и сам дивлюсь, как я еще ноги таскаю! А ничего, живу и головы не вешаю!

Как Вера Николаевна? Вот бы повидать вас всех. Жду твоего письма.

Целую вас обоих и желаю счастья.

Твой Н. Телешов

МКТ. Машинописная копия. Ответ на п. 227.

Это пространное письмо, написанное вслед за кратким ответом Телешова на п. 227, не дошло до Бунина.

[1] См. примеч. 3 к п. 228.

[2] См. п. 228.

[3] Иностранная комиссия Союза писателей передала письмо Телешова Эльзе Триоле, которая и доставила его Бунину.

[4] Нью-йоркское издание «Темных аллей» (см. примеч. 3 к п. 226).

[5] См. п. 232 и 234.

[6] Нина Александровна *Балтийская-Телешова* (р. 1904) — искусствовед; ныне хранитель Мемориального кабинета Н. Д. Телешова.

231. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

1, rue Jacques Offenbach, Paris 16e.
8 декабря ‹19›45 г.

Дорогой, милый друг, родной Николай Дмитриевич, бесконечно были рады получить через Триоле твое сердечное письмецо [1], узнать, что ты жив и здоров, даже еще крепок, судя по твоему твердому почерку,— тревожно было только то, что ты ни слова не сказал ни о дорогой Елене Андреевне, ни о сыне,— напиши о них, пожалуйста, при следующей оказии (равно как и о моих племянниках — живы ли они?) [2]. О нас я уже писал тебе вкратце, в той открытке, которую ты, очевидно, наконец получил; [3] пять лет сидели мы безвыездно в Грассе, в голоде, а зимой в лютом холоде, в нужде — заработков, конечно, не было никаких (да они теперь очень, очень слабы),— а кроме того, еще и под игом оккупантов; с начала мая перебрались в Париж, где тоже не рай теперь — настали холода, а с топкой во всей Европе катастрофа, а 1000 кило сырых дров стоит 5000 фр.— дороговизна на все вообще ужасная...

Сейчас опять пишу кратко — во-первых, уже недели три довольно крепко болен гриппом (а мне ведь недавно 75 стукнуло!), а во-вторых, спешу — завтра утром должен послать это письмо Б. Д. Михайлову [4], уполномоченному Москвой заведовать здесь делами прессы, при добром содействии которого пойдут в Москву еще и некоторые мои прежние и новые писания, кои посылаю вследствие двух телеграмм из Москвы, подписанных Аплетиным (должность которого мне точно неизвестна); [5] первая телеграмма была на имя Триоле — просьба прислать сборник моих новых рассказов (о существовании которых стало известно, очевидно, от тебя); эта телеграмма поставила меня в некоторое затруднение — зачем прислать? для издания, что ли? — и тогда (еще будучи здоров) поехал к Б. Д. Михайлову лично, с просьбой запросить Москву, в чем именно дело; и вот на днях пришла вторая телеграмма — повторение насчет моих новых рассказов и запрос, что у меня есть еще, написанное — или изданное? — за последние годы; тут, по моей немощи, ездил к Борису Даниловичу уже некто Бахрах, помогающий мне в моих литературных делах, и я завтра посылаю с ним Борису Даниловичу сборник моих новых рассказов и три * из моих последних книг, которых издано немало [6], — для ознакомления Москвы со всем этим (подойдет ли все это, не знаю — я ведь для вас человек уже «исторический», интересен могу быть только с точки зрения искусства). Пока кончаю, обнимаем тебя от всей души!

Твой Ив. Бунин

P. S. Было в газетах, будто в России хотели издать собрание моих сочинений,— это в связи со слухами о моей смерти? [7]

P. P. S. Если собрание моих сочинений когда-нибудь будет издано, горячо прошу пользоваться только исправленными мною текстами — в собрании моих сочинений издания «Петрополиса».

МКТ. Ответ на п. 228.

[1] См. примеч. 3 к п. 230.

[2] Телешов сообщил Бунину о своих близких в п. 229; о племянниках Бунина Д. А. и Н. А. Пушешниковых он писал в п. 234.

[3] См. п. 227.

[4] Борис Данилович Михайлов — был с 1944 г. представителем Совинформбюро в Париже.

[5] Михаил Яковлевич *Аплетин* (р. 1885) — в то время ответственный секретарь Иностранной комиссии Союза писателей СССР.

---

* *Первоначально было*: [несколько] четыре или пять.— *Ред.*

[6] Александр Васильевич Бахрах, автор воспоминаний о Бунине (см. «Материалы», стр. 232—235, 240). Бунин передал для пересылки в Москву сборник «Темные аллеи» (хранится в МКТ — см. настоящ. кн., стр. 47) и книги: «Жизнь Арсеньева» (Париж, 1930), «Освобождение Толстого» (Париж, 1937) и еще одну, название которой остается неустановленным.

[7] Подготовка однотомника избранных произведений Бунина была начата в 1945 г., в то время, когда ожидалось возвращение писателя на родину. Тексты для этого сборника были взяты по Собр. соч. 1915, так как изданное в Берлине в 1934—1936 гг. Собр. соч. изд-ва «Петрополис» не было известно в Советском Союзе. Это обстоятельство — вместе с другими соображениями — и вызвало решительный протест Бунина (см. п. 232).

232. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

1, rue Jacques Offenbach, Paris 16.
30 января 1946 г.

Дорогой, милый друг Николай Дмитриевич, получил твою открытку от 11 ноября прошлого года, очень был вместе с Верой Николаевной огорчен твоим известием о кончине дорогой Елены Андреевны — и чрезвычайно взволнован тем, что ты, между прочим, пишешь мне о моих сочинениях: «Твоя книга листов в 25 печатается в Государственном издательстве художественной литературы». Открытка твоя уже давняя, и отвечаю я тебе на нее с опозданием в две недели — ибо уже с месяц лежу в постели (жестокий грипп и начиналось воспаление легких, нынче первый раз присел к письменному столу),—но может быть, еще есть время что-нибудь исправить в этом поистине ужасном для меня деле с изданием 25 листов моих произведений: пишу нынче о нем и непосредственно Государственному издательству [1], и тебе, в надежде, что ты лично поговоришь с кем-нибудь в издательстве и как-нибудь поможешь мне.

Я называю это дело ужасным для меня потому, что издание, о котором идет речь, есть, очевидно, изборник из всего того, что написано мною за всю мою жизнь, нечто самое существенное из труда и достояния всей моей жизни — и избрано без всякого моего участия в том (не говоря уже об отсутствии моего согласия на такое издание и о том, что оно лишит меня возможности переиздавать собрание моих сочинений на русском языке во Франции или в какой-либо другой стране, то есть единственного источника существования в нашей с Верой Николаевной старости и близкой полной инвалидности моей: дорогой мой, ведь мне 76-й год идет!). Я горячо протестую против того, что уже давно издано в Москве несколько моих книг (и в большом количестве экземпляров) без всякого гонорара мне за них (имею в виду «Песнь о Гайавате», «Митину любовь», было, кажется, и еще что-то) [2] — *особенно же горячо* протестую против этого последнего издания, того, о котором ты мне сообщил; тут я уже прямо в отчаянии и *прежде всего* потому, что поступлено со мной (который, прости за нескромность, заслужил в литературном мире всех культурных стран довольно видное имя) как бы уже с несуществующим в живых и полной собственностью Москвы во всех смыслах: как же можно было, предпринимая издание этого *изборника*, не обратиться ко мне, хотя бы за моими советами насчет него,— за моими пожеланиями вводить или не вводить в него то или другое, за моими указаниями, какие именно тексты моих произведений я считаю окончательными, годными для переиздания!

Ты сам писатель, в Государственном издательстве ведают делом люди тоже литературные — и ты и они легко должны понять, какое великое значение имеет для такого *изборника* не только выбор материала, но еще и тексты, тексты! Я даже не знаю, известно ли в Москве, что в 1934—1935 гг. вышло в Берлине в издательстве «Петрополис» собрание моих сочинений, в предисловии к которому (в первом томе) я заявил, что *только это издание* и только *его* тексты я считаю достойными (да еще некоторые

произведения, не вошедшие в это издание и хранящиеся в моих портфелях — для следующего издания); заявил еще и то, сколь ужасны мои *первые книги* издания Маркса, безжалостно требовавшего от покупаемого им автора введения в его издание всего того ничтожного, что называется произведениями «юношескими» и чему место только в приложении к какому-нибудь посмертному академическому изданию, если уже есть надобность в таких *приложениях*.

В конце концов вот моя горячая просьба: если возможно, не печатать совсем этот *изборник*, пощадить меня; если уже начат его набор, —разобрать его; если же все-таки продолжится это поистине жестокое по отношению ко мне дело, то по крайней мере осведомить меня о содержании *изборника*, о текстах, кои взяты для него,— и вообще войти в подробное сношение и согласие со мной по поводу него [3].

Эти письма (тебе и Государственному издательству) я посылаю при любезном содействии Посольства СССР во Франции. Дабы ускорить наши сношения, может быть, и вы найдете возможным немедленно ответить мне тем же дипломатическим путем.

Сердечно обнимаю тебя, дорогой мой.

Твой Ив. Бунин

P. S. Получено ли в Москве то, что я, по ее просьбе, послал 2 месяца тому назад — рукопись моих новых рассказов, «Жизнь Арсеньева» и «Освобождение Толстого»? [4]

P. P. S. Существует всемирное содружество писателей — PEN-Club, коего я член. Если эти письма останутся втуне, я обращусь за защитой к нему.

Жду твоего сообщения о судьбе (живы ли?) моих племянников Пушешниковых [5].

МКТ. Ответ на п. 229.

[1] Это письмо было получено Гослитиздатом. Местонахождение его в настоящее время неизвестно. По этому же вопросу Бунин писал К. А. Федину 15 марта 1946 г. (см. настоящ. кн., стр. 690—691).

[2] Государственное издательство выпустило в 1927 г. книгу избранных рассказов Бунина под заглавием «Сны Чанга» (2-е изд.— 1928). Кроме того, некоторыми частными и кооперативными издательствами были выпущены книги Бунина: «Митина любовь» (Л., «Книжные новинки», 1926), «Дело корнета Елагина» (Харьков, «Космос», 1927), «Худая трава» (М.—Л., ЗиФ, 1928). «Песнь о Гайавате» издавалась в СССР с 1928 по 1941 г. пять раз.

[3] В результате этого протеста Бунина подготовка однотомника была прекращена и набор рассыпан.

[4] См. примеч. 6 к п. 231.

[5] Телешов сразу ответил на этот вопрос, но его письмо, очевидно, затерялось и не было получено Буниным.

233. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

19 ноября ‹19›46 г.

Дорогой, милый друг, почти год, как нет от тебя ни словечка! Напиши — жив ли, здоров ли? И еще: не знаешь ли что-нибудь о моих племянниках — Николае и Дмитрии Пушешниковых? [1] Живы ли? И еще: не можешь ли передать вашему Союзу писателей мою усердную просьбу помочь мне получить хоть что-нибудь за те мои некоторые книжки, что были изданы в Москве и переизданы в двадцатых и тридцатых годах? Я очень стал слаб, задыхаюсь, должен проводить зимы на юге, но беден так, что не смею и думать об этом, заработка едва хватает на жизнь в Париже, для изданий не хватает бумаги.

Обнимаю тебя. Твой Ив.

Передай мой поклон К. М. Симонову [2] и его жене.

На обороте: Monsieur N. Téléchoff. Moscou. Москва. Покровский бульвар, д. № 18, кв. 42. Николаю Дмитриевичу Телешову. Отправитель: Ив. Бунин. Париж. Ivan Bounine. 1, rue Jacques Offenbach. Paris 16. Почт. шт.: Paris ⟨*часть штемпеля с датой отсутствует*⟩; Москва, 13.12.46.

МКТ. Открытка.

[1] Телешов ответил на этот вопрос в п. 234.

[2] О парижских встречах Бунина с К. М. Симоновым см. в воспоминаниях последнего: «Из записей о Бунине» (Константин Симонов. Собр. соч. в шести томах, т. 6. М., «Художественная литература», 1970, стр. 739—750).

234. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 25 декабря 1946 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

Получил твою открытку от 19/XI и был рад узнать, что ты жив и здоров. Я уже потерял надежду на сведения о тебе. Последнее письмо твое я получил год назад [1] и отписал тебе обо всем, о том, что племянник твой Дмитрий Алексеевич жив и где-то служит юристом [2]. Встречал его уже давно и редко. А Николай Алексеевич, мой добрый знакомый, умер года уже три назад. Его жена, очень милая женщина, работает в книжном магазине и мы видимся нередко [3]. Я писал тебе два письма больших, в декабре и январе, по очевидно они к тебе не попали [4]. Ты тоже замолчал, и я думал, что ты куда-то переехал в иной город, не сообщив адреса. Перестал и я писать. А мне хотелось бы сказать, что ты вовсе неправильно думаешь об издании твоего тома у нас в Госиздате. Он разошелся бы моментально — так его многие ждали — и за границу бы попали только случайные немногие экземпляры для автора и его приятелей, а это — десяток. Никакого значения для изданий в Париже это иметь не могло, и ты напрасно затормозил издание!

Был бы от него с хорошим гонораром [5]. Напиши в Госиздат или мне о своем желании выпустить эту книгу. Она разошлась бы в неделю и понадобилось бы второе издание, где ты мог бы исключить те рассказы, которые считаешь лишними. Уговаривать тебя не буду, но сам разберись в этом. От добра добра не ищут.

О твоем желании по поводу прежних книг я уже сообщил Госиздату, но ответа пока нет.

Я стал очень стар. Мне ведь осенью будет 80 лет. Шутка сказать! Стал глухой, ни одного зуба нет. Но работаю во всю мочь и только этим и поддерживаю свою жизнь. С утра до вечера на службе [6], а вечером за письменным столом до полуночи. И так ежедневно, и очень доволен, и считаю, что нашему брату, старику, надо работать до последней секунды. А потом набок — и все!

Шлю тебе и Вере Николаевне сердечный привет.

Твой Н. Телешов

25 декабря 46 г.

Парижский архив Бунина. Ответ на п. 233.

[1] См. п. 232.

[2] О Д. А. Пушешникове см. в «Беседах с памятью» — настоящ. том, кн. 2.

[3] Клавдия Петровна Пушешникова много лет работала в системе советской книготорговли (издательство «Работник просвещения», Москнига). До выхода на пенсию была консультантом по педагогической книге в книжном магазине № 46.

[4] Эти письма, по-видимому, затерялись.

[5] Это сообщение Телешова подтверждает А. С. Мясников, бывший тогда главным редактором Гослитиздата: издательство предполагало выплатить Бунину гонорар (в валюте).

[6] Телешов был приглашен на работу в Музее МХАТа в 1922 г. Он был его создателем и бессменным директором до конца жизни (только в последние годы он стал почетным директором Музея).

235. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Париж⟩ 8 янв⟨аря⟩ 1947 г.

Дорогой Митрич, целый год не было от тебя ни слуху ни духу — наконец-то твое письмо от 25 декабря. И я рад, что ты жив и здоров. *Очень* огорчен смертью Коли — скажи его вдове, чтобы мне написала, как он жил последние годы, от чего умер, что оставил из своих писаний. А я опять — как год тому назад — пишу тебе в жару, в гриппе, погибая от кашля и одышки. Как чуть поправлюсь, уеду на юг, пока один — с Верой не по средствам,— жизнь у нас ужасно дорога — спроси К. М. Симонова, с которым мы тут не раз дружески виделись. Напишу тебе на днях подробно, а пока спешу горячо просить тебя сказать Государственному издательству: пусть издает из моих писаний *все что угодно*, но выбирает *только* из собрания моих сочинений издания «Петрополиса» в Берлине 1934 и 1935 годов (если в Москве этого издания нет,— я вышлю свой экземпляр, последний, ибо это издание давно разошлось) [1]. Можно издать еще *в сокращенном виде* мою книгу «Освобождение Толстого».

Целую тебя.

Твой Иван

На обороте: Par avion. Recom⟨mendée⟩. Mr. N. Telechov. Moscou. Москва. Покровский бульвар, 18, кв. 42. Николаю Дмитриевичу Телешову. Mr. Ivan Bounine. 1, rue Jacques Offenbach. Paris 16. Отправитель: Писатель Иван Бунин. Париж. Почт. шт.: Paris, 9.I.47; Moscou, 25.I.47; Москва, 26.I.47.

МКТ. Открытка. Ответ на п. 234.

[1] Это обещание Бунина выполнила — уже после его смерти — В. Н. Бунина. Она прислала в Москву комплект собрания его сочинений в издании «Петрополис», с многочисленными авторскими исправлениями в тексте каждого тома. По этому источнику печатались в основном все советские издания Бунина, начиная с «Избранных произведений» (М., Гослитиздат, 1956). В настоящее время эти тома хранятся в Рукописном отделе ГБЛ.

236. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

1.3.1947. Paris

Дорогой, милый Митрич, 9 января я послал тебе заказную открытку *par avion* (писал, что получил твое письмо и просил сказать Московскому Государственному издательству, что, если оно вздумает издавать что-нибудь мое, пусть пользуется *только текстами собрания моих сочинений, изданного «Петрополисом» в Берлине в 1934—1935 г.*): надеюсь, ты получил эту мою открытку? [1] Писал я тебе тогда очень кратко, потому что и тогда уже я был очень болен. А после того и совсем слег и лежу в постели, не вставая до сей поры, только очень изредка добираясь на минутку до письменного стола, чтобы написать какую-нибудь самую необходимую записочку: годы войны с их жестокими лишениями (пещерный голод, холод, да еще под проклятым немецким игом) крепко надломили мое здоровье, а теперь жизнь во Франции тоже не мед и особенно нынешней зимой с ее небывалыми холодами, и вот обострился в ледяной квартире мой хронический бронхит, начал меня бить по целым ночам адский кашель, увеличилась до форменного удушья, до начала астмы одышка, мало-мальски сносное питание стало стоить бешеных денег (например: кило печенки — 600 франков!) и оказалось у меня к концу января чуть не *на два миллиона меньше, чем нужно, кровяных шариков*. Можешь поэтому представить себе мое материальное положение: усиленное питание все-таки нужно, что́ бы оно ни стоило, покупать хоть некоторое количество топлива по сумасшедшей цене тоже необходимо все-таки, лекарства и врачи обходятся черт знает во что, а тут еще предстоит поездка на юг хоть месяца на два

на отдых, на теплый воздух, то есть расход чуть не в сто тысяч, а кроме того около тридцати тысяч налога на мои литературные доходы — теперь наше милое правительство со ста тысяч такого дохода берет 22 тысячи!

В силу всего вышеизложенного я еще раз прошу тебя, дорогой друг: устрой мне, если можно, хоть что-нибудь в Государственном издательстве в смысле денег или за то, что издавалось из моих писаний прежде, или за какое-нибудь новое издание их (или переиздание — например, «Гайаваты»).

Обнимаю тебя от всей души, равно как и Вера Николаевна.

Твой Ив. Бунин

P. S. Пишешь ли ты что-нибудь? Что заплатили тебе из Англии за издание на английском языке твоих «Воспоминаний»? Где твой Андрюша?

P. P. S. Выпуску моих книг в разных странах мешает недостаток бумаги. И очень меня обворовывают: вот только что узнал, что в Голландии уже давно издано без моего ведома целых шесть моих книг.

На конверте: Par avion. Recom⟨mendée⟩. Monsieur N. Téléchov. Moscou. Москва. Покровский бульвар, д. № 18, кв. 42. Писателю Николаю Дмитриевичу Телешову. Exp.: Ivan Bounine. 1, rue Jacques Offenbach. Отправитель: Иван Бунин, Париж. Почт. шт.: Paris, 17.3.47; Москва, 31.3.47; Москва, 1.4.47.

МКТ.

[1] Эта открытка была получена Телешовым (см. п. 235).

237. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 13.3.47

Дорогой Иван Алексеевич.

Извини, что отвечаю тебе с запозданием. Очень я стар и за последнее время то и дело хвораю, что в мои 80 лет извинительно, да и понятно.

Плохо чувствую себя, но все время работаю — днем на службе, вечером за письменным столом. Пишу обычно до полночи — каждый вечер. В этом и черпаю силы для остатка жизни. Здоровье — ничего себе, но силы плохи.

Жаль, что ты в свое время не согласился на издание своего тома. Я сообщил Госиздату о твоем недавнем согласии на напечатание твоих рассказов из собрания «Петрополиса», но не имею на это никакого ответа. Если не ошибаюсь, прежний набор уже не существует [1]. В свое время ты выслал Аплетину свои две-три книжки и в их числе о Толстом [2]. Я не читал их, к сожалению, а очень интересуюсь. Не можешь ли подарить эти книги мне? Тогда напиши Аплетину, чтобы он передал их мне в собственность. Будь покоен, они не пропадут у меня, и если понадобятся для переиздания, то я их немедленно отдам. Если даже к тому времени не буду жив, то их не задержит либо мой сын, либо мой внук. А мне хотелось бы их иметь [3].

Жена твоего племянника Николая Алексеевича очень заболела сейчас, и я не знаю, успела ли она написать тебе ответ.

Мне все стало уже трудно — и ходить, и работать, и просто — жить. Время делает свое дело. Все это законно и понятно. Я ведь прожил долгую и хорошую жизнь. Умирать никогда не боялся, а теперь в 80 лет и подавно. Гляжу на все спокойно и благодарными глазами.

Работаю во всю мочь, и буду работать, и в этом вижу свое благополучие. Без работы я был бы нуль, а теперь я кое-что значу. У нас все это ценится.

Шлю тебе и Вере Николаевне сердечный привет.

Твой Н. Телешов

Твоего обещанного «большого» письма не получил.

БУНИН
Фотография, Париж, около 1937
На обороте — Телешову
письмо Бунина
15 сентября 1947 г.
Мемориальный кабинет
Н. Д. Телешова, Москва

Парижский архив Бунина. Ответ на п. 235.

[1] См. примеч. 3 к п. 232.
[2] См. примеч. 6 к п. 231.
[3] Бунин исполнил эту просьбу — 1 апреля 1947 г. он написал М. Я. Аплетину письмо с просьбой передать все присланные им книги Телешову (опубликовано: «Исторический архив», 1962, № 2, стр. 166).

238. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

Villa le Fournel, Chemin du Fournel,
Juan-les-Pins, Alpes Maritimes, France.
1 апр⟨еля 19⟩47 г.

Дорогой, родной Николай Дмитриевич, нынче, 1 апреля, получил твой заказной avion, посланный тобой, насколько мог разобрать, 17 марта. Мне его переслала из Парижа Вера — я, как видишь, нахожусь на берегу Средиземного моря, на курорте, несколько подобном нашему Гурзуфу [1]. Ты пишешь, что не получил моего «большого» письма. Надеюсь, что ты его все-таки получишь, но на всякий случай повторяю: я приехал сюда, в русский дом отдыха, в надежде поправиться на солнце, на теплом воздухе, пролежав в постели в Париже целых три месяца: обострился мой застарелый бронхит, случилось со мной острое малокровие, увеличилась ужасная одышка от расширения старых легких, слаб я еще и до сих пор так, что с трудом делаю несколько шагов по комнате — и т. д. Приехал сюда один — с Верою не мог, не по средствам,— болезни мои разорили нас ужасно — жизнь у нас страшно дорога. Радуюсь за тебя, дорогой друг, — тому, что ты стойко держишься, что бог все-таки милует тебя в твоей старости,— да сохранит он тебя от болезней!

Кроме «большого» письма, я послал тебе заказным пакетом недавно вышедшую мою последнюю книгу («Темные аллеи»)[2] — не смущайся ее некоторыми смелыми местами — в общем она говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном,— думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни, — и не один я так думаю. Скоро она выйдет по-французски в Париже, потом в Англии, в Америке и в Швеции, но повторяю, жизнь у нас так дорога, и так страшны налоги, что все авансы летят как в бездонную прорву. От этого и писал тебе насчет издания чего-нибудь моего в Москве. Прилагаю письмо к Аплетину [3] — передай ему его — адрес Аплетина я забыл (оставил в Париже) — Кузнецкий мост, но какой номер?

Обнимаю тебя от всей души, дай бог тебе всего, всего доброго! Вера тебя горячо целует.

Твой Ив. Бунин

На конверте: Par avion. Recom⟨mendée⟩. Monsieur N. Téléchov. Moscou. U.R.S.S. Москва, Покровский бульвар, 18, кв. 42. Николаю Дмитриевичу Телешову. Exp.: Ivan Bounine (Иван Бунин). Villa le Fournel, Chemin du Fournel, Juan-les-Pins, Alpes Marit⟨imes⟩. France. Почт. шт.: Antibes, 2.4.47; Москва, 12.4.47; Москва, 13.4.47.

МКТ. Ответ на п. 237.

[1] В так называемом «Русском доме» на юге Франции Бунин жил весной 1947 г. Вторично он отдыхал там (вместе с В. Н. Буниной) в 1949 г.

[2] Эта книга, изданная в Париже в 1946 г., не была получена Телешовым.

[3] См. примеч. 3 к п. 237.

239. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 3 июня 1947 г.⟩

Дорогой Иван Алексеевич.

За последнее время очень я стал уставать и наконец совсем расклеился и пролежал в постели. Ничего не поделаешь: старость дает себя знать. Мне ведь осенью стукнет 80 лет. Легко сказать. Сейчас отдышался и завтра уезжаю в Болшево, в санаторий Академии наук. Литфонд дал мне путевку бесплатно. Это у нас бывает. И я надеюсь там отгуляться и поправиться. В прошлом году я там тоже был [1]. Необыкновенно внимательны были ко мне. Два врача взяли меня в руки и крепко держали весь месяц, купали, поили, лечили — и я действительно поправился и почти всю зиму был бодр и здоров. Но вот к весне ослабел. Прежних сил уже нет. Очень грустно, что ты тоже все нездоров. А ведь ты моложе меня. Не знаю, куда адресовать тебе это письмо. В доме отдыха ты, вероятно, не так долго будешь. Лучше уж направлю в Париж, на старый адрес [2]. Надеюсь, что Вера Николаевна живет на прежней квартире. Пожалуйста, передай ей мой самый сердечный привет.

Благодарю тебя за намерение выслать мне книгу «Темные аллеи». Очень интересно, что ты сам так доволен ею. Моя книга «Записки писателя» имеет очень большой успех. Она вышла в Англии и в Финляндии с весьма лестными предисловиями [3]. И у нас готовится новое издание, с новыми главами [4]. Если ты помнишь немножко мою «Сухую беду», где описывается молодой чуваш, то вот что с ней теперь творится, с этой «Сухой бедой»: чувашская книжная палата и ихние издательства печатают повесть и по-русски и по-чувашски и так ее превозносят, что даже не верится, чтобы рассказ, написанный полвека назад, мог так заинтересовать теперешних читателей [5].

Вообще я живу хорошо, но вот только силы нередко изменяют, и очень уставать стал. Все становится трудно, за что ни возьмись! Но на-

деюсь на предстоящий месяц отдыха и лечения и, может быть, опять буду на что-нибудь годен.

Желаю тебе и Вере Николаевне здоровья, шлю сердечный привет!

Твой Н. Телешов

3/VI 47

Парижский архив Бунина. Ответ на п. 238.

[1] Телешов пробыл в Болшевском санатории Академии наук «Сосновый бор» с 20 июля 1946 г. до середины августа. В сохранившихся дневниковых «Записках о Болшеве» есть упоминания о Бунине. 31 июля в беседе с родственником В. А. Гиляровского: «Долго говорили про Гиляя, Чехова, Бунина»; 15 августа: «Был у Дурылина. Хорошо у него. Много эскизов Нестерова. Поговорили про Бунина, Куприна» (ЦГАЛИ, ф. 499, оп. 2, ед. хр. 29, л. 17 и 19). Можно думать, что в этих беседах речь шла и о возобновившейся переписке Телешова с Буниным.

[2] Бунин получил это письмо с запозданием. На его полях он пометил: «Получено в Париже 15.IX.47». (очевидная ошибка. Должно быть: 15.VIII.47 — см. п. 240).

[3] Имеются в виду книги, хранящиеся в МКТ: 1) A Writer Remembers by N. Teleshov. Translated from the Russian by Lionel Erskine Britton. London, New York, Melbourne, Sydney, ⟨1946⟩. 2) N. Telesov. Kirjailijan muistelmat Muistiinmerittyä. Suomentanat S. Seraste. Jyväskyla, 1946.

[4] Новое, дополненное издание «Записок писателя» было предпринято в связи с исполнявшимся в октябре 1947 г. 80-летием Телешова. Книга вышла в свет в начале 1948 г.

[5] В ЦГАЛИ хранится экземпляр чувашского издания «Сухой беды» («Тип шар». Шупакшар, 1946), с дарственной надписью: «Бесценному Николаю Дмитриевичу Телешову, Писателю и Человеку, который в темную пору царской реакции первым тепло отозвался о нашем народе. Ф. Уяр, Е. Данилов, Ф. Икседер» (ф. 499, оп. 2, ед. хр. 146).

240. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Париж⟩ 28.8.1947

Дорогой, милый друг, ты, верно, уже вернулся после отдыха в Москву и, надеюсь, окреп. А у нас лето незапамятно жаркое, и мы просто погибали в Париже. У меня так ослабело сердце, что уже с месяц принимаю «Carditon». А выехать мы не могли — «капитал не дозволяет» [1]. А переводы моих книг и во Франции и в Англии — хоть уж давно набраны, но все не выходят: везде нет бумаги.

Ты писал, что осенью день твоего рождения. Заранее поздравляю тебя, братски целую — да хранит тебя бог — ты один из самых прекрасных, благородных людей, каких я знал на своем веку. Вера Николаевна просит сказать тебе то же. Что пишешь? Где Андрюша?

Твой всегда Ив. Бунин

На обороте: Par avion. Recom⟨mendée⟩. Mr N. Téléchov. Moscou. Москва. Покровский бульвар, д. № 18, кв. 42. Николаю Дмитриевичу Телешову. Exp.: I. Bounine. 1, rue Jacques Offenbach, Paris 16. Почт. шт.: Paris, 28.8.47; Москва, 4.9.47.

МКТ. Открытка. Ответ на п. 239.

[1] Заключительные слова из рассказа Бунина «Капитал» (т. 5, стр. 444).

241. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва, 7 сентября 1947 г.⟩

Дорогой мой старинный друг, Иван Алексеевич,— сейчас получил твою открытку от 28 августа и сейчас же отвечаю тебе, хотя и поздно вечером, так что опущу письмо только завтра поутру. Я сегодня очень взвинчен: сегодня 800-летие нашей Москвы. Сегодня мы открываем наш музей Художественного театра в новом обширном помещении, занимающем весь этаж

огромного дома [1]. Народа было множество на вернисаже. Из старых знакомых были Е. П. Пешкова, Дживелегов [2], Лучинин [3], Качалов, Дерман [4] и другие немногие, кто еще жив. Мне, как старейшему москвичу, предоставлено было слово приветствия. Весь день сменялись волны зрителей, благодарили меня, говорили всякие хорошие слова... А сейчас, вечером, ходил по улицам. Какая красота! С мостов виден ночной Кремль, весь в электрических очертаниях своих башен. В определенный час повсюду, по всему небу, вправо, влево и вокруг, взвиваются широкими букетами разноцветные ракеты. Это так называемый салют.

Так все красиво, так изумительно прекрасно и трогательно, что хочется написать тебе обо всем этом, чтоб почувствовал ты хоть на минуту, что значит быть на родине. Как жаль, что ты не использовал тот срок, когда тебя так ждали здесь, когда набрана была твоя большая книга, когда ты мог бы быть и сыт, и богат, и в большом почете [5].

Спасибо тебе за обещание выслать мне «Аллеи», но книгу эту я до сих пор не получил, к великому моему огорчению [6]. Но Аплетин передал мне твою повесть [7] и черновики «Аллей», так что я познакомился с ними [8]. А продолжение повести так и не знаю [9]. Все это мне интересно и радостно.

Жизнь моя подходит к итогам. Считаю, что прожита счастливая, интересная жизнь и благодарю судьбу за все, что я видел и имел, за всех друзей моих, за скромное мое участие в литературе и за то, что и в 80 лет я все еще могу работать и чувствовать жизнь.

Сейчас меня здесь знают. Получаю такие письма и приветы, что радуется старое сердце вниманию. Осенью, или вернее зимой, выйдет моя книга «Записки писателя» новым изданием, сильно дополненным [10]. Хотелось бы прислать тебе эту книжку [11]. Там обо всех наших друзьях написано. Между прочим, первое издание перепечатано полностью на английском языке в Лондоне и на финском, с очень приятными для меня краткими предисловиями [12].

Ничего, брат, живем пока что! Но трудно становится от нагрузки лет, трудно в 80 лет ходить пешком в гору, лазить по лестницам, а вот работать — не трудно.

Шлю тебе и Вере Николаевне сердечный привет, желаю успехов и хорошей жизни.

Мой Андрюша вернулся после пяти лет войны благополучно домой. Сейчас у меня большущий детина — внук 18 лет — Владимир, мой друг и приятель, похожий на Елену Андреевну. Живу хорошо, радостно, а умереть не боюсь. Гляжу я на все просто, и это дает мне силы.

Целую тебя и Веру Николаевну. Будьте счастливы и благополучны.

Искренно твой Н. Телешов

7 сентября 47 г.

Парижский архив Бунина. Ответ на п. 240.

[1] В этом доме, находящемся рядом с основным зданием МХАТа, музей театра помещается и в настоящее время.

[2] Алексей Карпович *Дживелегов* (1875—1952) — историк литературы и театра, крупный знаток эпохи Возрождения. Играл заметную роль в культурной жизни Москвы.

[3] Петр Петрович *Лучинин* (настоящ. фамилия Ломоносов; 1872—1964) — театральный деятель, актер и режиссер. Сценическая деятельность его продолжалась почти 40 лет (1899—1937); работал он главным образом в Москве (Художественный театр, Четвертая студия МХАТа, Революционный театр «Искусство и труд», Замоскворецкий театр и др.). В течение многих лет активно участвовал в работе Всероссийского театрального общества. С 1937 г. был персональным пенсионером (сообщено В. П. Нечаевым). В публикации НЖ эта фамилия искажена; ввиду того, что проверка по подлиннику невозможна, исправлено предположительно.

[4] Абрам Борисович *Дерман* (1880—1952) — критик и литературовед. Сохранились письма к нему Бунина (см. «Сводный обзор» — настоящ. том, кн. 2).

[5] О неосуществленном выпуске однотомника Бунина см. п. 229, 232, 234.
[6] См. примеч. 2 к п. 238.
[7] «Жизнь Арсеньева».
[8] См. настоящ. кн., стр. 47.
[9] «Продолжение повести»— «Жизнь Арсеньева. Роман. II. Лика». Брюссель, 1939.
[10] См. примеч. 4 к п. 239.
[11] Телешов послал Бунину новое издание «Записок писателя». В письме к возвратившемуся в СССР Н. Я. Рощину 27 марта 1949 г. Бунин писал: «Передайте Н. Д. Телешову наши с Верой Николаевной самые лучшие чувства и благодарность за все те добрые обо мне слова, что я прочел в книге его воспоминаний...» («Весна пришла», стр. 241).
[12] См. примеч. 3 к п. 239.

242. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Париж⟩ 10.IX.47

Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Теркин») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом,— это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова. Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Теркина».

Мои «Темные аллеи» посланы тебе уже сто лет тому назад. Ты, верно, их не получил; если так, очень жаль, да что ж делать, жалостью беде не поможешь.

Сердечно обнимаю тебя, будь здоров и благополучен, дорогой друг.

Твой Ив. Бунин

На конверте: Par avion. Recom⟨mendée⟩. Monsieur N. Téléchov. Moscou. Москва. Покровский бульвар, д. № 18, кв. 42. Николаю Дмитриевичу Телешову. Exp.: I. Bounine. 1, rue Jacques Offenbach. Paris 16. Почт. шт.: Paris, 10.9.47; Москва, 18.9.47; Москва, 21.9.47.
МКТ.

243. БУНИН — ТЕЛЕШОВУ

⟨Париж⟩ 15 сентября ⟨19⟩47 г.

Нынче получил твое письмо от 7 сентября, дорогой Николай Дмитриевич,— рад, что оно такое бодрое, счастливое! На днях писал тебе, с каким *редким* удовольствием прочел книгу Твардовского «Василий Теркин» [1]; забыл прибавить, что недавно восхищен был еще одним рассказом — К. Паустовского «Корчма на Брагинке» [2]. Сейчас пишу тебе на портрете старика Ив. Бунина, который вместе с Верой Николаевной от всей души обнимает тебя.

Ив. Бунин

МКТ. Написано на обороте фотографии Бунина (см. настоящ. кн., стр. 633). Ответ на п. 241.

[1] См. п. 242.
[2] «Корчма на Брагинке»— глава из автобиографической повести К. Г. Паустовского «Далекие годы» (см. Константин Паустовский. Собр. соч. в шести томах, т. 3. М., 1958, стр. 214—231). Первоначально была опубликована как отдельный рассказ в журн. «Вокруг света», 1946, № 3-4, и перепечатана затем в ньюйоркской газете «Новое русское слово», где ее и прочитал Бунин. 15 сентября 1947 г. Бунин послал в Москву, на адрес типографии издательства «Московский рабочий», для передачи Паустовскому, открытку с отзывом о рассказе (воспроизведение ее см. в настоящ. томе, кн. 2, стр. 405).

244. ТЕЛЕШОВ — БУНИНУ

⟨Москва⟩ 25/IX 47

Дорогой мой Иван Алексеевич.

На днях получил твое письмо, но пока еще не мог сообщить Твардовскому о твоем восторженном мнении о его «Теркине», так как лично с ним не был знаком и напишу ему, узнав его адрес [1]. А сегодня, почти сейчас, получил твой портрет с приятной и дружеской надписью от «старика Бунина». Как я благодарен тебе за эту присылку! Вот уж спасибо! Я 30 лет не только не видел, но и не слышал о тебе ничего. И только в году 43-м, когда все говорили о твоей погибели, узнал горестную новость, оказавшуюся, к счастью, ерундой. Немирович и тот в своей книге пишет о твоей трагической кончине — с голоду [2]. И я ввернул наскоро в свою уже печатавшуюся книгу то же известие [3]. И вдруг, к моей радости, через два года получил от тебя открытку [4]. Можешь представить мою радость и мое отношение?..

Гляжу сейчас на твой портрет и дивлюсь: какой же ты стал старый хрен!!. Но я еще «хренее» тебя. Я бы не узнал тебя, если бы встретил на улице. Бритый (непривычно все это!), с седыми висками, хотя голова и прикрыта шапкой... Ничего, брат, не поделаешь. Никакой шапкой, никаким бритьем не прикроешь то, что есть. Да и не нужно это скрывать. Старость имеет свою красоту как итог долгой жизни. Большое спасибо тебе за этот присыл!

Очень грущу, что пропала книга «Аллеи». Аплетин мне передал только «Жизнь», а остальное у него разнесли. Моя книга «Записки писателя» будет издана заново, с большими дополнениями, но выйдет после Нового года. Хотелось бы прислать ее тебе [5]. Живу хорошо, пользуюсь уважением и вниманием, получаю персональную пенсию в 1000 р. в месяц, имею орден «Трудового Красного Знамени», дающий большие права, имею почетное звание «Заслуженного деятеля искусств», тоже дающее немало существенного. Вообще живу хорошо и работаю с утра до часа ночи, чем и поддерживаю свой «пульс».

Целую тебя и милую Веру Николаевну. Еще раз спасибо за присыл.

Твой Н. Телешов

Парижский архив Бунина. Ответ на п. 242 и 243.

[1] Телешов выполнил это обещание. 9 октября 1947 г. А. Т. Твардовский писал ему: «Сердечно благодарю вас, Николай Дмитриевич, за сообщение мне отзыва И. А. Бунина о „Теркине"...» (ЦГАЛИ, ф. 499, оп. 2, ед. хр. 110, л. 1). Телешов откликнулся на это письмо 14 октября: «Благодарю вас за ответное письмо ваше, очень радуюсь, что сообщение мое о впечатлении Бунина о вашей прекрасной книге „Василий Теркин" вы приняли не без удовольствия...» Далее он продолжал: «О вашей книге „Василий Теркин" я сказал бы, что со времен Ершовского „Конька-Горбунка" я не читал и не встречал в литературе такого простого, чисто народного языка, как у вас в „Теркине". Честь вам и слава за этот простой народный язык! В нем и „серьез", и юмор, и лирика. Чудесно и трогательно» (там же, ед. хр. 51, л. 1—2).

[2] Книга воспоминаний Вл. И. Немировича-Данченко «Из прошлого» вышла в свет в 1936 г., второе издание — в 1938 г., после чего она не переиздавалась. По-видимому, здесь Телешов ошибся.

[3] См. примеч. 3 к п. 228.

[4] Открытка 7 сентября 1945 г. (п. 227).

[5] См. примеч. 11 к п. 241.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ с А. С. ЧЕРЕМНОВЫМ
1912—1917

Публикация Л. Н. Афонина и Л. К. Кувановой

Предисловие Л. К. Кувановой

Александр Сергеевич Черемнов (1881—1919) — известный поэт-«знаньевец»; его идейно-художественное развитие шло под непосредственным воздействием Горького, учеником которого он себя считал. Вместе с тем он несомненно испытывал влияние Бунина, что отмечалось и в современной ему критике, и в работах советских исследователей [1]. Сочетание столь противоположных влияний обусловливалось особенностями творческой личности Черемнова, соединявшего дарование лирического поэта с талантом пародиста и сатирика. Он был автором политических сатир, литературных пародий, ему принадлежит запрещенная поэма о первой русской революции («Красный корабль»), в которой отчетливо проявилось горьковское представление о назначении художника — борца и активного участника событий общественной жизни. Вместе с тем Черемнову-лирику была в высшей степени созвучна поэзия Бунина, его видение мира и особенно его восприятие природы [2].

Творчество Бунина вызывало у Черемнова глубокое восхищение еще задолго до знакомства с самим писателем, которое состоялось 8 января 1912 г./26 декабря 1911 г. на Капри, в доме Горького. Начавшись с горячего литературного спора, это знакомство быстро перешло в дружеские отношения, окончательно сложившиеся летом 1912 г., когда Бунин гостил в Клеевке (Себежский уезд Витебской губ.) — имени М. П. Миловидовой, приемной матери Черемнова. Характером этих отношений определяется содержание их переписки. Восторженный и внимательный читатель Бунина, Черемнов нередко оказывался на одних позициях с ним в оценках многих литературных явлений. Свои раздумья и наблюдения он излагал Бунину в доверительной, полушутливой форме, как человеку очень близкому, понимающему его с полуслова. Бунин отвечал Черемнову полным доверием, был, по-видимому, искренно к нему привязан и в письмах к нему нередко изменял своей обычной сдержанности. Все это придает особый интерес публикуемой переписке, так как помимо богатого фактического материала она дает возможность почувствовать характер обоих корреспондентов, ощутить их непосредственную реакцию на ряд событий личной и общественной жизни.

Переписка Бунина с Черемновым, длившаяся более пяти лет (1912—1917), сохранилась лишь частично: 13 писем Бунина (автографы) находятся в ИМЛИ (ф. 3, оп. 3, ед. хр. 43—46), 25 писем Черемнова (машинопись с авторской подписью) хранятся в ГМТ (№ 3195/1—25; кроме того, черновые редакции п. 6, 8, 12, 14 находятся в ИМЛИ — ф. 3, оп. 3, ед. хр. 56).

Ниже публикуются 13 писем Бунина и 14 писем Черемнова (последние печатаются в выдержках).

Тексты писем Бунина подготовила Л. К. Куванова, тексты писем Черемнова Л. П. Афонин.

[1] См., например, статьи: В. Львов-Рогачевский. Символисты и наследники их.— «Современник», 1913, кн. VI, стр. 306; С. Касторский. М. Горький и поэты-знаньевцы (в кн.: «М. Горький и поэты „Знания“». М., 1958, стр. 48—49, 51).

[2] Подробную характеристику творчества Черемнова см. С. Касторский, указ. ст., стр. 48—51.

1. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 29 мая 1912

Дорогой Иван Алексеевич,

Вернувшись в Клеевку, получил и ваши книги и вашу бандероль [1]. Спасибо вам огромное за последний том, и мама благодарит за «Перевал», (которого, кстати сказать, я тоже не читал). Над стихотворением «При дороге» плачу слезами умиления, но прежнее заглавие («Окно») мне все же кажется более выразительным для этой дивной миниатюры. Прекрасно, великолепно,— и переживет нас лет на триста, когда многие забудут, что поэт Бунин переводил мистерии Байрона. «Разбойник» тоже очень хорош, не хуже пушкинских песен, но сделан — воля ваша — довольно небрежно: несрифмованные строки понижают впечатление. Какие есть славные рифмы к слову «литургии»... А как хорош ваш «Дворецкий». И вы еще раздумывали, включить ли его в книжку. Относительно вашего «Берега» уверен, что какая-нибудь рационалистическая секта включит его в похоронный ритуал. Он достоин быть погребальным хоралом в великой пантеистической церкви будущих веков. Не могу до сих пор повторять его без наплыва самых сложных чувств. А «Зимняя вилла» вот нехороша,— бог с ней [2].

Решительно, в России пока один поэт — вы, а когда я начну писать стихи,— будет двое.

Бандероль ваша явилась как бы ответом на мое письмо о самоиздательстве и о Клестове (а может быть, так оно и есть?) и очень меня опечалила. Подумайте сами, много ли в России крупных писателей, которые не закабалили себя разным Марксам и Цейтлиным, и те дробятся на малюсенькие группы [3].

И что за компания у вас сорганизовалась? Юлия Алексеевича я не беру в расчет — он не беллетрист. Телешов и Вересаев — два почтенных имени, но три ласточки весны не делают. А далее идут у вас все прекрасные незнакомцы, с большими, вероятно, именами на Сивцевом Вражке и Швивой горке, но далеко не столь популярные за пределами этих мест.

Что же до Клестова, то всего лучше спросить о нем откровенно Аверьянова. Вы его знаете и, кажется, уважаете. Могу признаться, что мое письмо к вам было им инспирировано ⟨...⟩

Искренне любящий вас ваш А. Черемнов

[1] Как видно из писем 2 и 3, Бунин послал Черемнову протоколы заседаний только что организованного «Книгоиздательства писателей в Москве», а также два своих сборника, выпущенных «Московским книгоиздательством»: «„Перевал“ и другие рассказы 1892—1902 гг.» и «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.»

[2] Все эти стихи вошли во второй из указанных сборников. Стихотворение «При дороге» в первой публикации («Новая жизнь», 1911, № 13) называлось «Окно». «Разбойника» («О Петре-разбойнике») Черемнов сравнивает с пушкинскими «Песнями западных славян».

[3] 22 марта 1912 г. состоялось учредительное собрание кооперативного «Книгоиздательства писателей в Москве» (1912—1923). Оно было создано по инициативе членов «Среды» с целью оградить интересы писателей от произвола крупных издательских фирм, подобных «Товариществу А. Ф. Маркс» или издательству Н. С. Цейтлина «Просвещение». В первые месяцы своего существования «Книгоиздательство» называлось «Торговый дом Д. Голубева, С. Махалова и К°». Руководящую роль в нем играли В. В. Вересаев, Н. Д. Телешов и Бунин, членами стали почти все участники «Среды». В 1911—1914 гг. в Петербурге существовал еще один кооператив — «Издательское товарищество писателей», среди организаторов которого были М. В. Аверьянов и Н. С. Клестов. Первоначально Бунин принял в нем участие (в «Сборнике первом» этого издательства напечатан его рассказ «Ночной разговор»). Это предприятие вскоре распалось, и большинство его членов вошло в московское «Книгоиздательство» (см. настоящ. книгу, стр. 602).

Черемнов считал ошибкой существование двух параллельных писательских кооперативов. В письме 21 мая 1912 г. (ГМТ, 3195/8) он убеждал Бунина не бросать петер-

БУНИН И ЧЕРЕМНОВ В КЛЕЕВКЕ

Фотография, 1912

На обороте надпись Бунина: «В имении поэта Черемнова в Вит⟨ебской⟩ губ. лето 1912 г. 1-й ряд Н. А. Пушешников и В. Н. Бунина (Муромцева). 2-й ряд. Приемная мать Черемнова, я, Черемнов»

Парижский архив Бунина

бургское дело и отказаться от участия в новом издательстве: «Так дробить свои силы равносильно самоубийству»,— цитировал он слова С. Н. Сергеева-Ценского. В том же письме Черемнов выражал сомнение в деловых качествах Н. С. Клестова, который принял на себя управление делами «Книгоиздательства» (до этого он вел дела петербургского «Издательского товарищества»).

2. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ и М. П. МИЛОВИДОВОЙ

30 мая 1912 г.

⟨с. Глотово, ст.⟩ Измалково, Орловской губ.[1]

Дорогие Мария Павловна и Александр Сергеевич, еще раз благодарим вас за ваше радушие, ваше приглашение, просит передать вам благодарность и брат Юлий, который, если будет возможно, с величайшим удовольствием заедет познакомиться с вами по пути из-за границы. Он сейчас здесь, за границу собирается на июль, в каковое время думаем и мы покинуть недельки на две Глотово для путешествия в ваши владения [2].

Надеемся, вы уже вернулись из северного Вавилона? Желаем вам всех благ земных и самой дивной погоды! Мы — совершенно неожиданно — наслаждаемся ею уже с полмесяца, но работаем неважно, исключая Николая Алексеевича, гнущего свою спину, столь привыкшую к дивану, над Клейстом [3]. Вера чувствует себя так себе, но — и разумно — не налегает на работу, а меня сглазил Александр Сергеевич: еще ни одного гроша не заработал я, сидя здесь! Да есть, впрочем, некоторое оправдание сему: перечитывал, правил книгу своих новых рассказов, которую в конце августа выпускает в свет «Книгоиздательство писателей» в Москве [4]. Да,— как вы могли это видеть из протоколов заседаний этой компании, послан-

ных мною вам,— я вошел в это книгоиздательство и весьма был бы рад видеть в нем и вас, Александр Сергеевич. Думаю, что в Питере дело пропало, там только перессорились все и никто из писателей не внес ни единой копейки. А в Москве, дай бог не сглазить, дело стоит прочно: и деньги есть, и организация солидная. Голубев и Махалов * — наши давнишние знакомцы, Клестов будет только техническую часть дела вести, да и то под контролем наблюдательного комитета. Спасибо вам, дорогой, за дружеский зов в питерскую компанию, но принять его, как видите, я уже не могу [5]. Был бы рад, повторяю, видеть и вас в нашей компании. Подумайте. Посылаю вам еще листок — правила наши. К изданию намечены у нас уже четыре книги — моя, Зайцева, Шмелева («Человек из ресторана») и Телешова. Сохраните, пожалуйста, в тайне содержание протоколов заседаний ... Да пишите побольше стихов — ведь, думаю, не миновать нам и сборников. Книга стихов, надеюсь, готова? [6]

Посылаю вам еще том моих словосочинений. С трепетом жду отзыва в «Заветах» [7]. Поддержите хоть вы — запуган я критиками. Есть милостивые, но есть и свирепые: начинают во здравие: «дивно, красочно, сильно ...» и т. д. и т. д. А в конце: «а все-таки барин, погромами запуган ...» Больше всех, кажется, Амфитеатров старается: на днях написал в «Одесских новостях», что я «головой выше и Горького, и Андреева, и Куприна», но ... но совсем не имею любви [8]. Вот и угоди тут! Буду развивать в себе помаленьку и любовь. Да боюсь, что поздно — ведь слышали? — юбилей мой осенью 25-летний.

Пока до свидания. Ждем вестей от вас (и пародий от вас, Александр Сергеевич!), от души желаю всего доброго.

Ваш Ив. Бунин

⟨Рукой В. Н. Муромцевой⟩:

Крепко целую дорогую Марию Павловну и жму руку Александру Сергеевичу.
В. М.

Ответ на письма Черемнова 14 и 21 мая 1912 г., написанные из Петербурга (ГМТ, № 3195/7—8).

[1] См. настоящ. кн., стр. 469.

[2] Бунин вместе с женой и Н. А Пушешниковым приехал в Клеевку 3 июля 1912 г. и пробыл там до 15 августа; Ю. А. Бунин приехал в конце июля («Материалы», стр. 175—176). 9 июля Черемнов писал Горькому: «Генерал сразу засел за работу и нас, грешных, с великою жестокостью к сему понуждает. Мы же яко рабы ленивые и лукавые токмо при глазах его превосходительства, академика и кавалера, со многою неохотою за писание садимся на некий час малый и по сем к пению и гулянию и иным утешкам обращаемся, чего для многократно не токмо ругаемы препохабно, но и биты из собственных его, кавалера и академика, рук бываем, но сие втуне. Сказывали ноне, что подобает нас, нерадивых, четверным поленом бить по завету святых отцов и многое иное говорено к превеликой нашей конфузии и нашему посрамлению. Сам же, с верьху не слезая, до кровавого поту труждается и мало видим бывает» (АГ, Кг-П, $85\frac{15}{3}$, л. 20—20 об.).

[3] Н. А. Пушешников переводил трагедию Г. Клейста «Пентесилея». Эта работа, в которой принял участие Черемнов, не увидела света, так как вскоре появился перевод этой трагедии, выполненный Ф. Сологубом.

[4] Сборник «„Суходол". Повести и рассказы 1911—1912 гг.» вышел в конце сентября 1912 г. («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 69).

[5] См. п. 1, примеч. 3.

[6] В 1912 г. «Книгоиздательство писателей» выпустило, кроме «Суходола», новое издание сборника «Перевал», сборник Н. Д. Телешова «„Домой" и другие рассказы». Роман Б. К. Зайцева «Дальний край» и «Рассказы» И. С. Шмелева («Человек из ресторана», «Патока») вышли в 1913 г., так же как «Стихотворения» Черемнова и первая книга сборников «Слово» (всего за 1913—1918 гг. их вышло 8 книг).

[7] 14 мая 1912 г. Черемнов сообщал Бунину о своем намерении написать для журнала «Заветы» статью о нем. В связи с этим Бунин посылает ему только что вышед-

* Драматург С. Разумовский.

шие «Стихотворения» (изд. 2. М., 1912); еще две книги были отправлены раньше (см. п. 1, примеч. 1). Свое намерение Черемнов не осуществил.

[8] А. В. Амфитеатров писал, сравнивая Бунина с Горьким, Куприным и Андреевым: «... как образец ровной виртуозной силы, он головою выше всех названных»; однако «народная идея» в его произведениях отсутствует, поскольку «нету в сердце г. Бунина другой первобытной и пламенной силы: Любви» («Одесские новости», 1912, № 8724, 19 мая).

3. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 12 июня 1912

«Милостивое внимание вашего превосходительства...вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... Жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...»

Чехов. «Толстый и тонкий».

Дорогой Иван Алексеевич.

Получил вашу книгу и письмо, и за то, и за другое — горячо благодарствую ⟨...⟩

В письме вашем последнем очень обеспокоило меня то, что вы просите сохранить в тайне протоколы заседаний. Между тем, я уже успел насплетничать Аверьянову о Клестове, т. е. написал ему все, что Клестов говорил у вас на собраниях, не предполагая, что пользуюсь в некотором роде секретным документом ⟨...⟩

Вижу я и сам, что питерское дело помирает медленной, но неизбежной смертию. Изда-писатели переругались и поразъехались, и сидит Витька Муйжель один-одинехонек [1]. А жалко. С каким интересом отнеслись к этому делу и магазины, и типографии, и матушка-публика. Дай бог успеха Москве ⟨...⟩ Я же с большой охотой внесу пай в ваше предприятие, если вы сделаете честь рекомендовать меня вашим сочленам ⟨...⟩

Получил недавно письмо от Алексея Максимовича. Пишет, что у них на Капри стало весело: наехали русские художники и красят полотна большие и малые, а также штаны свои и бороды. Пишет, что Сургучев прожил у них месяц [2].

Радуюсь, что Николай Алексеевич приедет в Клеевку сам-друг с Клейстом. Авось, из этого Клейста мы сварим общими силами хороший клейстер.

Вере Николаевне кланяюсь, ручки целую, вам — привет, благодарность и лучшие пожелания.

Радуемся вашему обещанию и ждем с нетерпением.

Ваш А. Черемнов

На конверте: Заказное. Почт. отд. Измалково, Орловской губ. Имение Глотово. Его превосходительству Ивану Алексеевичу Бунину. От А. Черемнова, п. о. Нащокино, Витеб. губ. Почт. шт.: Нащокино Вит. 12.6.12; Измалково Орлов. 15.6.12. Ответ на п. 2.

[1] Виктор Васильевич *Муйжель* (1880—1924) был членом правления петербургского «Издательского товарищества писателей».

[2] Это письмо Горького неизвестно.

4. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 5 октября 1912 г.

Дорогой Иван Алексеевич.

Рад был душевно получить от вас несколько строк, а из письма Хлюпа Воргольского узнал, что вы уже в Москве[1]. ⟨...⟩

На этих днях получил письмо от Горького. Зовет меня в «Современник», который реформирован [2], принять участие в отделе политической и общественной сатиры, где, кроме нас, будут подвизаться еще: Амфитеатров,

Саша Черный и Николай Иванов из «Киевской мысли». Посрамим мы с Максимычем Аверченку и Тэффи [3].

А у нас хорошо. Стоит ясная, погожая осень и листопад совсем бунинский, т. е. очень декоративный. ⟨...⟩

Ваш А. Черемнов

На конверте: Заказное. Москва. Столовый пер., д. 11. Его превосходительству Ивану Алексеевичу Бунину. От А. Черемнова, п. о. Нащокино, Витеб. губ. Почт. шт.: Нащокино Вит. 6.10.12; Москва. 1-е почтов. отд. 8.10.12.

Письмо Бунина, на которое отвечает Черемнов, неизвестно.

[1] В Москву Бунин приехал в конце сентября («Материалы», стр. 177). Хлюп Воргольский — шутливое прозвище Н. А. Пушешникова.

[2] В сентябре 1912 г. журнал «Современник» (1911—1915), ранее издававшийся под редакцией А. В. Амфитеатрова, перешел в руки Е. А. Ляцкого. Тогда же в состав редакции вошел Горький. Однако противоречия его демократических устремлений с буржуазно-либеральной позицией Ляцкого и меньшевистскими тенденциями других членов редакции вскоре заставили Горького отказаться от участия в журнале — в апреле 1913 г. он порвал с «Современником». История участия Горького в «Современнике» и ухода его из этого журнала подробно освещена в кн.: К. Д. Муратова. Горький на Капри. 1911—1913. Л., 1971, стр. 15—60.

[3] См. письмо Горького Черемнову 19 сентября/2 октября 1912 г. («Архив А. М. Горького», т. VII. М., 1959, стр. 113). 5 октября 1912 г. Черемнов ответил согласием на предложение Горького (АГ, Кг-П, 85 $\frac{3}{17}$), однако сатирический отдел в «Современнике» не состоялся.

5. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

⟨Москва, 10 октября 1912 г.⟩

Дорогой, сейчас получил ваше письмо. Спешно пишу — посему простите открытку. Прежде всего: единогласно избраны вы членом «Книгоиздательства писателей» (Никитский бульвар, 6, Николаю Семеновичу Клестову). Шлите 200 р. Думайте о книге стихов [1]. Едете? Куда? Секрет? Поздравляю с саном сатирика. Купили ли уже бич? Хлюп скоро садится за Киплинга, молит бога за вас — для одоления Пенти [2]. Живем в Лоскутной. Сюда и пишите.

Целую. Кланяемся Марии Павловне и всем вашим.

И. Б.

Открытка. На обороте: Нащокино, Витебск. губ., имение Клеевка. ЕВ Александру Сергеевичу Черемнову. Почт. шт.: Москва, 10.X.1912; Нащокино Вит. 12.10.12.

Датируется по почтовому штемпелю.

Ответ на п. 4.

[1] См. п. 2, примеч. 6.

[2] В 1913—1915 гг. Н. А. Пушешников переводил Киплинга, «Собрание сочинений» которого выпускало «Книгоиздательство писателей». «Пентя» — «Пентесилея» (см. п. 2, примеч. 3).

6 ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 15 октября 1912

Дорогой генерал.

Письмо ваше получил в один день с извещением Клестова и вчера еще отправил ему 200 р. Очень польщен единогласным избранием, которое несомненно доказывает, что моя долгая и разносторонняя литературная деятельность не создала мне врагов в московских писательских кругах: пример единственный в этом роде.

В поездке моей секрета нет, а только неприятность. Предполагали мы ехать в Италию, но некстати подвертывается случай приобрести в Крыму кусок земли пространством в 900 кв. сажен. Древний демон стяжания сел мне на плечи и гонит в Крым. Не знаю, где мы будем жить. В Алупке смерть надоело и нисколько не интересно.

БУНИН

Дружеский шарж
А. Пэка (В. А. Ашкинази).
Тушь, перо, 1910-е годы

Институт русской литературы
АН СССР, Ленинград

Это время принялся я за Пентю и работа идет удачно, но приходится на время оторваться для «Современника» — стихов туда нужно дать несколько штук и, кроме того, пробую написать в прозе небольшую вещицу в игривом роде, в стиле Аверченки и Горького[1] . Кстати, что вы скажете о его «Сказках»?[2] Некоторые мне понравились, но это не его жанр. Он напоминает танцующего слона в цирке Чинизелли и лишний раз доказывает, что умный и талантливый человек все может делать хорошо и занимательно. Впрочем, мне хотелось бы писать о нем только хорошее: так удивительно мил и симпатичен во всем этот Алексей Максимович. Недавно пишет мне о книге Ляцкого (Письма Чернышевского) и проектирует ей заглавие: «Житие иже во святых отца нашего Николая Чернышевского» [3].

Со временем и о нем напишут то же самое и еще с бо́льшим правом. Он будет очень красив в истории. И вы тоже будете очень колоритны, если, впрочем, не кончите по трафарету, т. е. купите домик на Варварке, заведете ангорскую кошку с вечным расстройством желудка и четыре больших фикуса в гостиной. Но этого, конечно, не будет. Меня все подмывает написать о вас большую статью в «Заветах», да как-то стыдно хвалить начальство [4]. Кстати, вы на «Заветы» сердиться не должны: дермановы глупости высказаны даже в белоусовском «Пути»[5] ⟨...⟩

Поцелуйте Хлюпа крепко. Вас целую. Не забывайте.

Любящий вас А. Черемнов

Ответ на п. 5.

[1] См. п. 4 и примеч. 3.

[2] В августе или сентябре 1912 г. вышли отдельным изданием «Русские сказки» Горького (М. Горький. Сказки. Изд. И. Ладыжникова. Берлин, 1912). Тогда же «сказки», не вошедшие в берлинское издание, печатались в периодической печати («Современный мир», 1912, № 9; «Правда», 1912, № 31, 30 сентября, и др.).

[3] 19 сентября/2октября 1912 г. Горький писал Черемнову по поводу переписки Чернышевского, опубликованной Е. А. Ляцким («Чернышевский в Сибири. Переписка с родными», вып. I, 1865—1875. СПб., 1912): «Какая трагическая книга и как „житиен“ этот удивительный русский революционер. Да, можно писать „Житие преподобного Николая Чернышевского“. Иже во святых. *Иже во святых*» («Архив Горького», т. VII. М., 1959, стр. 113).

[4] См. п. 2, примеч. 7.

[5] В журнале «Заветы» (1912, № 7, октябрь) была помещена статья Р. В. Иванова-Разумника «Два юбилея»; автор ее утверждал: «... о деревне в произведениях И. А. Бунина всегда судит (независимо от воли автора) русский дворянин в фуражке с красным околышем» (стр. 158). Несколько ранее Н. В. Мешков, критик журнала «Путь», писал в рецензии на сборник «Перевал» (М., 1912), что одним из «основных мотивов» бунинского творчества является «влияние Чехова — в смысле передачи неопределенно-пессимистического настроения», «растерянности и оторванности от родной природы и народа» («Путь», 1912, № 7, стр. 165).

7. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

10 июня 1913. Клеевка

Дорогой Иван Алексеевич.

«Отец Кир», несомненно,— фрагмент нового романа Бунина. Этот поп наделает, пожалуй, больших делов, не ручаюсь за его поведение ⟨...⟩ Очень уж здоровенный попище. Как хорошо это, что у него коричневые зубы и что в него влюбляются девицы с тугими икрами [1] ⟨...⟩

Я тоже пишу прозу. С непривычки стыдно и страшно. Все хочется погуще и выходит густо, как застывший гуммиарабик.

Горький прислал письмо [2] ⟨...⟩ Чтобы скрасить его безрадостное существование, я послал ему вашего «Художника» [3]. Пусть старик поплачет. А вы больше не будете читать мне ненапечатанных стихотворений. Я запомнил его от первой до последней строки. Что из этого следует? Что оно переживет нас с вами и дождется дней, когда люди научатся понимать и любить хорошие стихи ⟨...⟩

Отпишите мне также вот о чем: серьезно ли вы думаете ехать в Асуан. Сделайте милость, поедем пожалуйста. Я тогда приму все меры, чтобы набрать уйму денег к отъезду [4].

Пишите же, милый генерал, когда думаете приехать, ведь у меня на шее Кисловодск, а вас мне хочется пуще Кисловодска, ей-же богу, не лгу.

Мама и я шлем привет Вере Николаевне. Целую вас крепко

Ваш А. Черемнов

[1] Под названием «Отец Кир» был опубликован отрывок из первоначальной редакции рассказа «Чаша жизни» («Русское слово», 1913, № 120, 26 мая).

[2] Письмо Горького неизвестно.

[3] «Художник» — стихотворение о Чехове и его доме в Ялте (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 308). 30 мая 1913 г. Черемнов писал Горькому: «Он ⟨Бунин⟩ теперь исхудал так, что виден только в профиль, а с лица — точный пещерный угодник, но бьет ключом, как всегда, и, мне думается, все растет и растет. Будучи у меня в последний раз в гостинице, он читал свое новое, еще не оконченное стихотворение „Художник". Пользуясь адской своей памятью, я приведу его вам ...» (АГ, Кг-П. $85\frac{3}{19}$). Горький опубликовал это стихотворение в «Современнике» (1913, № 5).

[4] Планы этой совместной поездки не осуществились.

8. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 14 июня 1913 г.

... Дорогой мой, если вас в Одессе обкормили черноморской кефалью, опоили бессарабским вином Кристи и если вам брюхом захотелось севера, то собирайте пожитки и приезжайте к нам. Сил моих нет, как мне хочется вас видеть. Только с вами я становлюсь умным человеком и чувствую себя писателем, вдали же от вас и долго вас не видя, я делаюсь глупее всякого Дмитрия Цензора [1]. Ах, милый, славный, как это жалко, что вы — человек бездомный и одержимый манией скитания. Вам надо жить в центре и

чтобы все молодые поэты ходили бы к вам по субботам, как во время оно мужички в волостное — «сечься».

У нас погода наладилась. Живем однообразно. Я сижу здесь, как гвоздь в стене. Думаю ехать в Кисловодск в двадцатых числах июля: шурин мой там лечит ревматизм, надо его навестить. Неужто мы до того времени не увидимся.

Мама целует Веру Николаевну, а вам кланяется и просит вас обоих в Клеевку ⟨...⟩

Ваш А. Черемнов

[1] Дмитрий Михайлович *Цензор* (1877—1947) — поэт.

9. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

⟨Одесса, 2 июля 1913 г.⟩

Дорогой Александр Сергеевич, нынче 2 июля — вот когда я, бесстыжий, собрался ответить вам: это, впрочем, и наказание тому, кто так легко, отлично пишет письма, но совершает это тоже весьма редко. А помимо наказания, есть и другие причины моего молчания: мы с Юлием путешествовали на итальянском пароходе (где я чуть не умер с голоду) — были в Батуме, в Трапезунде, Керасунде, Инеболи, Самсуне, Константинополе, Констанце, Бухаресте, Яссах и гнусном Кишиневе — после чего я погибал от нарыва в горле [1]. Как видите — причины основательные и имеющие своим последствием то, что о поездке к вам мне и думать нечего, сколь ни благодарен я вам с милой Марией Павловной за приглашение и сколь ни хотелось бы мне повторить чудесные впечатления от Клеевки, песков, бора, теплых ночей и наших бесед ночных [2]. Думаю, что и Хлюпу не до поездки: трудится, бедняга, над Киплингом [3]. А вам, по-моему, надо безвыездно сидеть в этой самой Клеевке: пора, дорогой, пописать толком,— в сотый раз говорю это! Дай бог успеха в прозе — и не бойтесь густоты: стихотворцу без этого не обойтись.

Новостей у нас нету. Живем тихо, благородно. У нас Юлий, брат Веры — Павлик, Николай Андреевич — отец ее,— который, впрочем, на днях уезжает. Писать путем я еще не начал. Готовил к изданию новый том [4]. Редактирую собрание сочинений для «Нивы» — продал для приложения [5]. За похвалу «Киру» — спасибо. Что будет с ним — это пока секрет изобретателя.

Неужели и правда, что вы «Художника» запомнили? Чудо природы вы, да и только,— девятое чудо! А Горький что-то примолк. Уже с месяц нет писем. В последнем извещал меня о своем полном разрыве с «Современником» [6]. Опять разрыв!

Была у нас здесь Мария Федоровна. Вы, конечно, знаете о поступлении ее на сцену — в «Свободный театр» в Москве? [7]

Об Асуане надо крепко подумать. Это было бы дивно хорошо! Да что до вас — не верю, не поедете! Куда вам, сидню? А повторяю, это было бы умственно — пожариться на солнце.

Ну, рука устала. Крепко вас целую, низкий поклон Марии Павловне от всех нас. Пишите пожалуйста.

Ваш душой Ив. Бунин

Ответ на п. 7 и 8.

[1] Эта поездка состоялась в начале июня 1913 г. («Материалы», стр. 190).

[2] О пребывании Бунина в Клеевке летом 1912 г. см. п. 2, примеч. 2, а также в письмах Бунина Горькому 12 августа 1912 г. («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 66) и В. Н. Буниной Ю. А. Бунину 9 июля 1912 г. («Материалы», стр. 176).

[3] См. п. 5, примеч. 2.

[4] Сборник «„Иоанн Рыдалец". Рассказы и стихи 1912—1913 гг.» (Книгоизд-во писателей в Москве, 1913); вышел в ноябре.

[5] Договор об издании «Полного собрания сочинений» Бунина в качестве приложения к журналу «Нива» подписан 7 мая 1913 г. («Горьковские чтения 1958—1959», стр. 72).

[6] Это письмо неизвестно. Об участии Горького в «Современнике» см. п. 4, примеч. 2.

[7] В мае 1913 г. М. Ф. Андреева поступила в московский «Свободный театр».

10. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 16 сент⟨ября⟩ 1913

Дорогой мой Иван Алексеевич.

Во-первых, спешу сообщить, что сегодня я узнал о вашей болезни и думаю, что это реникса. Сказала мне одна дама, которая это прочла в одной газете, а в какой — она забыла. Сам же я газет не читаю вот уже с полмесяца. Итак, уповаю, что сие — ложь [1]. Вы здоровы, бодры и жизнерадостны и собираетесь в Египет, куда и мы тоже собираемся ехать с вами.

А второе,— целую вас за «Мушкета» и весьма рад быть вашим современником [2]. Друг мой! Князь русской поэзии! Внемлите моей мольбе: вернитесь к стихам, ведь этот дар ваш оттуда же, откуда и все другое.

«Мушкет» ваш — чудо. Я сразу взвился, когда его прочел. Вот это эпос, т. е. то именно, что нужно. Довольно лирики и баб. Все современные поэты стоят в одной позиции: подняв заднюю ногу на куст. Ах, милый-славный, как вам нужно быть здоровым. Как, повторяю это с гордостью, счастлив я жить в одно время с вами.

Скажу вам не хвалясь: все это и я бы мог написать... И «азовские подолья», и «на татарках алый цвет», и кости в траве — все. Но вот чего я никак не мог бы написать, хоть проглоти перо:

Черт повил в жгуты,
Засушил в густой крови их чубы.

Вот это самое настоящее и есть. И если бы вам не удалось так ловко пустить по лиману (какой же в Стамбуле лиман, господин хороший!) эту чубатую мушкетову башку, то у меня так и осталось бы впечатление этих засохших чубов, — до конца. Но у вас все значительно, хотя, повторяю, эти две строки стоят всего остального.

Я прочел «Мушкета» и вижу, что нивы русской поэзии еще не возделаны и много целины, над которой стоит работать.

Поедемте в Египет. Я очень хочу туда. Недавно К. Р. написал в «Ниве» преплохие и прескучные стишонки о Египте, но зато приложил хорошие фотографии [3]. Стишков его августейших я не читал порядком, но снимками полюбовался. Хорошо было бы, если бы он впредь на них и специализировался. И вот хочу ехать в Асуан — прямо до болезни. Поедемте-ка, право⟨...⟩

От Горького имел письмо летом, но не ответил ему. Писал в мае, передавая свои московские впечатления. Он очень благодарил меня за описание футуриста Шершеневича. Ему, видите ли, никак было не представить живого футуриста. «Все какие-то рыбо-ящеры мерещились. Теперь вижу: накрашены и с мушкой. В особенности такая фигура выигрывает в красоте, будучи поставлена рядом с Гаршиным, Чеховым, Буниным». Это он хорошо сказал [4].

Ваш А. Черемнов

[1] В какой газете сообщалось о болезни Бунина, неизвестно. Реникса — чепуха. Эта шутка получила широкое распространение после появления «Трех сестер» Чехова (д. IV).

[2] «Мушкет» (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 359) впервые опубликован в газете «Русское слово», 1913, № 212, 13 сентября. Черемнов цитирует стихотворение по тексту этой публикации.

[3] В «Ниве» (1913, № 36) был напечатан цикл стихов К. Р. ⟨Романова⟩ «В Египте» в сопровождении его фотографий.

[4] Это письмо Горького неизвестно. 30 мая 1913 г. Черемнов писал ему: «... были мы на реферате футуристов. Выступал там с рефератом некоторый млад юнош — Вадим Шершеневич, сын своего отца, на тему „Заполдень русской поэзии". Реферат совершенно гимназический, но референт интересен: молодой парень,— весь накрашен, глаза подведены, на щеке мушка, в петлице иммортелька, словом не то Оскар Уайльд, не то б⟨...⟩ с Кузнецкого моста. И держится при этом таким Юлием Цезарем, что невольно хочется его спросить: „Где это ты, щучий сын, так насобачился?"» (АГ, Кг-П $85\frac{3}{19}$).

11. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 1 ноября 1913

Дорогой Иван Алексеевич.

... Мне вы не пишете и писать не желаете, бог с вами. В самой сущности я понимаю это и вовсе не сержусь. Увы ... Я знал вас скромным писателем и академиком, а ныне вы — почетный член московской оппозиции российскому правительству и с высоты инцидента смотрите на мою плешь [1]. Везет вам, дорогой мой, как утопленнику. Помните, я говорил в Клеевке, что вам для биографии необходимо учинить что-нибудь эдакое экстраординарное: вздуть Леонида Андреева, или жениться на четырех египтянках ⟨...⟩ Теперь в этом нет надобности,— само пришло.

Шуток кроме, любимый мой, я еду в Египет и далее и зову вас туды. Вы говорили в письме своем, что непрочь, и весьма язвительно изволили назвать меня сиднем и усомниться в том, что я двинусь куда-нибудь дальше Кисловодска. Теперь извольте отвечать ⟨...⟩

Пожалуйста, не думайте, что я боюсь тащиться один и потому вас зову. Нет, да вы и неудобны в чужих краях: вы деспотичны и будете мешать мне в ухаживаниях за длиннозубыми американками, вы не позволите мне лезть в пирамиду Гизеха и восхищаться ее бедекеровыми примечательностями [2]. Дело все в том, что (как я уже, кажется, писал когда-то) вы — мудрец, и все молодые поэты должны к вам ходить, как мужички ходили в волостное — «сечься» [3]. Кольми паче полезно провесть с вами сезон,— можете понять. Кроме того, я вас просто люблю,— вот и все ⟨...⟩

Здоровье еще не важно, а как ваше? Эй, поедем, право, там ведь почки-то как лечатся! [4]

Ваш А. Черемнов

[1] Подразумевается инцидент на банкете по поводу юбилея газеты «Русские ведомости» (см. «Материалы», стр. 191—193).

[2] Бедекер — немецкая издательская фирма, выпускавшая путеводители для туристов.

[3] См. п. 8.

[4] См. п. 7, прим. 4.

12. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 16 ноября 1913

Дорогой Иван Алексеевич.

Получил ваше письмо и огорчился — но решения не переменил: едем в Египет в конце этого месяца из Одессы, где я рассчитываю найти сносный пароход прямого Александрийского рейса.

Вам я не завидую. Крым зимою не много лучше Одессы. К тому же, я знаю, вы ни за что не поселитесь в «тихом интеллигентном семействе», а устроитесь в гостинице. Там вас накормят тухлой кефалью. Вы бросите в другую. Там вас изведет бравый жандармский ротмистр, который будет звенеть за стеною шпорами. Вы — в третью. Там румынский оркестр

каждый раз играет по десяти раз «танго», за соседним столом обедает фельетонист «Русской Ривьеры» ⟨...⟩, кругом много чахоточных, у лакея на фраке рыжие пятна. Вы бросите Крым и начнете до самой весны метаться в пространстве, как всегда бывает, ежели сразу и крепко не решить, где проводить зиму.

Что до моих похвал вам, то вы сами знаете, насколько они искренни. Все смешается в корзине забвения и все забудется, но стихи ваши переживут и Эйфелеву башню, и Немировича-Данченко [1], и Мюра и Мерилиза. В истории российской словесности через триста лет будет напечатано, что жил Бунин-поэт, что он хорошо писал прозу, но все же похуже Толстого, а стихи он писал лучше Толстого и лучше своей прозы; но что стихи тогда мало раскупались и Бунин забывал их для прозы и что это очень и очень жаль. Это факт, как говорит Максимыч. Я же скажу откровенно: стихи ваши я люблю и прозу люблю. Но разница моей любви та, что стихов ваших я жду и, встречая подпись, волнуюсь от предвкушения, а прозу... Я вот теперь перечитываю «Войну и мир» — и ничего другого читать не хочется. Вот бы что-нибудь этакое написать, или «Вечера на хуторе», или «Повести Белкина», или «Тамань» какую-нибудь... Важно!

Дивно-хороша ваша «Степь Моздокская» [2]. Эпически сильно и от краткости еще сильнее ⟨...⟩

Пьет глаза он до донушка,
Собирает по косточкам дань...
Сторона ли моя, ты сторонушка,
Вековая моя глухомань...

Мамочки мои,— как хорошо.

Ежели вы напишете мне в Одессу (Петербургская гостиница на Екатерининской площади) о том, где остановиться в Каире, то премного обяжете маму и меня ⟨...⟩

Ваш А. Черемнов

Письмо, на которое отвечает Черемнов, неизвестно.

[1] Выпад в адрес писателя Василия Ивановича *Немировича-Данченко* (1848—1936), восемнадцатитомное издание сочинений которого выходило в 1912—1915 гг.; к концу 1913 г. вышло 15 томов.

[2] Стихотворение «Степь» (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 355); впервые опубликовано в сб. «Иоанн Рыдалец» (М., 1913), по которому его и цитирует Черемнов.

13. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

⟨Москва, 17 ноября 1913 г.⟩

Дорогой, я, жестоко простудившись, воротился в Москву [1]. Не нынче, завтра напишу вам. Сейчас в голове муть. Кланяемся Марии Павловне.

Ваш Ив. Бунин

Столовый, д. № 11
17 ноября

Открытка. На обороте: Нащокино, Витебской губ. Имение Клеевка. ЕВ Александру Сергеевичу Черемнову. [Почт. шт.: Москва. 17.11.13; Нащокино Вит. 18.11.13.

[1] Бунин вернулся из Кисловодска, где провел около двух недель («Материалы», стр. 194).

14. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 19 ноября 1913 г.

Дорогой Иван Алексеевич.

Мы уже уложили чемоданы, когда я получил вашу открытку. Предполагали ехать завтра, но теперь останемся еще на два дня, чтобы получить ваше письмо или телеграмму. Это на тот конец, ежели (как я думаю) вы все же вняли голосу своих почек и моих писем и решили ехать в Египет[1] ⟨...⟩

Очень хотелось бы с вами, очень. Думается, и вам было бы нелишне пожариться в Асуане месяца три. Это не то, что Ялта, где плюнуть негде и выйти некуда. А какие морские стихи складываются у меня в голове. Самому Бунину впору, такие красочные:

Морской залив изогнут мягким знаком.
На небе — синька. В море — вохра, ярь.
На корабле внизу, за черным лаком,
Сквозь купорос краснеет киноварь.
На глади вод поникшие ветрила,
Как в бирюзе свинцовые белила.

⟨...⟩ Пишите до востребования.

Ваш А. Черемнов

Ответ на п. 13.

[1] См. п. 7, примеч. 4.

15. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 9 июня 1914

Дорогой Иван Алексеевич.

Узнал от Юлия Алексеевича ваш адрес и пишу вам в надежде, что вы получите мое письмо до отъезда в полярные страны. Ибо Юлий Алексеевич писал мне, что вы намерены в ближайшем будущем ринуться по следам викинга Фритьофа, капитана Гаттераса, Немировича-Данченко и прочих героев Севера[1] ⟨...⟩

Я — старый дурак — писал вам, что стихи ваши лучше вашей прозы [2]. Не верьте. Проза ваша переживет все стихи последнего столетия. Я читаю вашего Рыдальца двенадцатый раз [3] ⟨...⟩

Напишите мне, сделайте милость, обо всем, что случилось в издательстве. На днях писал мне Клестов, говорил, что дела идут блестяще и что недурно бы внести пай тысячи в три. Это вещь сурьезная. Писал, что книги теперь принимаете вы, а сборники редактирует Вересаев. Так вносить им три тысячи или не вносить? ⟨... ⟩

Целую вас крепко.

Ваш А. Черемнов

[1] Бунин намеревался поехать на Белое море и Ледовитый океан, но отказался от этих планов. Вместо этого он совершил с Юлием Алексеевичем поездку на пароходе от Саратова до Ярославля (см. п. 16).

«Викинг Фритьоф» — Фритьоф Нансен; в 1913 г. он, по приглашению русского правительства, совершил путешествие вдоль берегов Северного Ледовитого океана до устья Енисея и далее по Сибири. «Капитан Гаттерас» — герой романа Жюля Верна «Путешествие капитана Гаттераса к Северному полюсу». Вас. Ив. Немирович-Данченко — в начале 1870-х годов путешествовал по Лапландии (северная часть Финляндии), Соловкам и Лофотенским островам; результатом этих поездок были путевые очерки («За Северным Полярным кругом», «Соловки», «Очерки Севера»), которые неоднократно переиздавались.

[2] См. п. 12.

[3] Рассказ «Иоанн Рыдалец» в одноименном сборнике (М., 1913).

16. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

3 июля 1914. Б. Фонтан, Херсонской губ.

Дорогой Александр Сергеевич, полярные страны я, подумав, решил оставить пока в покое, не бог весть как хорошо себя чувствую, а вот на Волге, в прибрежных ее городах и в Ростове Великом мы-таки побывали и остались довольны весьма и весьма: опять всем нутром своим ощутил я эту самую Русь, за которую так распекают меня разные Дерьманы, опять сильно чувствовал, как огромна, дика, пустынна, сложна, ужасна и хороша она. А уж про Ростов и говорить нечего! Нюрнбергу не уступит! Буду жив, еще десять раз побываю там, равно как и в Угличе, Пскове и т. д. Но устал за дорогу зверски — уж очень жарко было и насчет пищи плохо. Да и бок не перестает болеть. А посему сейчас и думать нечего о новых поездках, сколь ни хотелось бы мне увидать вас и вашу милую страну. Уж, видно, до Москвы, где мне весьма желается провести зиму, и куда вы, конечно, приедете в начале осени? Приезжайте, дорогой, помните совет одного мужика Коле: «Не залеживайся, не задумывайся!» А пока одолеете свою святорусскую лень — попишите хоть немного! Я покуда безгласен, чего вам от души не желаю. Если кончили Каприйскую поэму — пришлите, очень хочется знать, как изобразили вы всех нас вместе с Моргано и Монте Соляро [1].

Целую вас и прошу передать поклоны наши Марии Павловне.

Ив. Бунин

Ответ на п. 15.

[1] «Каприйская поэма» неизвестна. Возможно, что имеются в виду «Сказания» Черемнова (сатира на Горького, Бунина и других писателей, живших на Капри зимой 1913—1914 гг.— см. п. 24, примеч. 2).

17. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 12 июля 1914

Дорогой Иван Алексеевич.

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой,
Иль дурой, им обманутой, так я
Свиданья с вами ждал, о академик...

Жаль, что вы не приехали к нам в июне. Погода стояла совсем в вашем вкусе: температура в тени 28, на небе ни облачка и теплые ночи. В довершение всего кругом загорелись леса и началась такая феерия, что никакому Коровину не изобразить. Солнце только к полудню пробивалось сквозь тучи дыма. Луна выползала багровым шаром и видом своим оправдывала утверждение Фердинанда Поприщина, что ее, луну, делает в Гамбурге хромой бочар [1]. По ночам на поля и луга плыла гарь. Все это вам не мешало бы посмотреть и записать как эскиз к вашему роману «Русь», над которым вы работаете в настоящее время в Одессе [2]⟨...⟩

Я читал недавно в газете ваши воспоминания о Чехове, и они мне очень понравились. Взглянув на Антона Павловича через десять лет, сквозь призму вашей богатой души и сквозь легкий налет раздражения на современников, которых «бог дал мне в товарищи», вы прибавили много ценных черт к тому Чехову, которого так старательно стремились обезобразить Горький, Куприн, Елпатьевский и поэт Упрудиус [3]. Радуюсь я вашей манере письма, этому искреннему, раздраженному тону. Из всех «товарищей» вы один, пожалуй, подбавляете к чернилам крови сердца ⟨...⟩ Но, дорогой мой, вам пора делаться добрее. Судьба заботливо убирает с вашего

ГРУППА УЧАСТНИКОВ «КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА ПИСАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ»

Фотография. Москва, 1917

Слева направо: в первом ряду А. С. Серафимович, И. С. Шмелев, Ю. А. Бунин, М. П. Чехова, Я. Г. Шкляр; во втором ряду —И. Г. Гонтарев, И. А. Бунин, Н. Д. Телешов, В. В. Вересаев, Д. Я. Голубев, С. Д. Махалов (Разумовский), Н. С. Клестов (Ангарский)

Внизу — автографы изображенных лиц

Литературный музей, Москва

пути всякий сор и бурьян, и лучи читательского внимания падают на вас без помехи. Ведь как-никак через 50 лет вы умрете. Что за охота давать повод Чуковскому-внуку писать вашу биографию под заглавием «Злой талант».

Счастлив незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства[4].

Впрочем, если я переживу вас, то непременно напишу о вас большую книгу. Она будет читаться так легко, как романы Дюма. Конечно, из этого не следует, чтобы вы поторопились умереть.

Нет, нет! Живи и царствуй бесконечно.
Народ и мы — погибли без тебя...[5]

Наболтал и нацитировал я кучу, а не сказал самого главного: что я вас люблю, дорогой мой, по-прежнему и несказанно рад буду видеть ⟨...⟩ Поэму пришлю, а лучше приезжайте читать ее в Клеевку.

Ваш А. Черемнов

[1] См. повесть Гоголя «Записки сумасшедшего».

[2] См. настоящ. кн., стр. 371 и 374.

[3] 2 июля 1914 г. в газете «Русское слово» (№ 151) были опубликованы заметки Бунина «О Чехове. Из записной книжки». «Налет раздражения» в них относится к характеристикам, которые давали Чехову авторы критических статей и воспоминаний о нем: «Последние десять лет твердят: „чеховская нежность и теплота", „чеховская грусть", „чеховская любовь к человеку", „певец вишневых садов"... И читать все это нестерпимо ⟨...⟩ Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон, порой говорят удивительные вещи». Далее приводится пример «театральной» передачи слов Чехова в воспоминаниях Куприна, а также искажавшая его подлинный образ характеристика в мемуарах Елпатьевского («Его всегда влекли к себе тихие долины, с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами»). Там же приводится разговор с Чеховым о «Парусе» Лермонтова: «„Это стоит всего Б⟨рюсова⟩ и Урениуса со всеми их потрохами",— сказал он однажды.— „Какого Урениуса?" — спросил я.— „А разве нет такого поэта?" — „Нет".— „Ну, Упрудиуса",— сказал он серьезно» (Собр. соч. 1915, т. 6, стр. 305—306; Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 226, 234). Под Урениусом подразумевался поэт Ореус (И. И. Коневской), см. о нем настоящ. кн., стр. 444.

[4] Иронически употребленная цитата из стихотворения Некрасова «Блажен незлобивый поэт...»

[5] Неточная цитата из трагедии Пушкина «Борис Годунов». В начале письма цитата (три строки) из «Скупого рыцаря».

18. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

⟨Москва, 15 октября 1914 г.⟩

Дорогой Александр Сергеевич, ваше письмо от 12 июля пришло к началу войны — можете ли вы после этого негодовать на меня за столь поздний ответ? Три месяца я с утра до вечера сидел — читал газеты и забыл за войной все на свете — без преувеличений говорю. Давно уже находимся в Москве, сняли квартиру (Москва, Зубово, Долгий пер., д. № 14, кв. 12). Приехал наш друг, глотовский барин, лежит, читает «Пентесилею», переведенную Сологубом (sic!) [1]. Где вы? Где будете? Отзовитесь. Целую, кланяемся Марии Павловне.

Ваш Ив. Бунин

Открытка. На обороте: Нащокино, Витебск. губ. Имение Клеевка. Александру Сергеевичу Черемнову. Почт. шт.: Москва. 15.X.14; Нащокино Вит. 16.X.14.

Датируется по почтовому штемпелю.

Ответ на п. 17.

[1] См. п. 2, примеч. 3.

19. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

⟨Москва⟩ 27 янв⟨аря 19⟩15 г

Дорогой Клеевский барин, простите за ради бога — я тону в корректуре [1], езжу в Петербург, хвораю, «чего я терпеть не могу», не успеваю ловить дней ... Спасибо, и большое, за отличный рассказ — не ожидал я даже, что вы можете так ловко и прозою! — редакционным комитетом он прочтен и одобрен, но, пожалуйста, разрешите выкинуть хоть несколько строк из речи, уж очень свирепой, дворянина, а главное — про «Петрушку» и там, где о Куропаткине (несколько слов коих «не потерпят» ни в коем случае) [2].

Живем мы, как все теперь,— тихо, новостей не имеем. Глотовский барин еще у нас, переводит 3-ю книгу Киплинга [3], напечатал две крити-

ческих статейки в «Голосе Москвы», каковой теперь уже не принадлежит октябристам [4]. Вера переводит «Искушение Антония», радуется на огромный том «Сентиментального воспитания», недавно вышедший в свет [5]. А вы, кроме рассказа, больше ни строчки не изволили написать? От души жалею вас и ваших родителей, потратившихся на ваше воспитание, и жму вашу честную, холеную руку!

Марии Павловне наш сердечный привет!

Ваш Ив. Бунин

Место отправления определяется пребыванием Бунина зимой 1915 г. в Москве («Материалы», стр. 203).

Письмо, на которое отвечает Бунин, неизвестно.

[1] Корректуры первых томов Собр. соч. 1915.

[2] Рассказ Черемнова «Попутчики» был опубликован в сб. «Клич» (М., 1915), редакторами которого были Бунин, В. В. Вересаев и Н. Д. Телешов (см. настоящ. кн., стр. 613).

[3] См. п. 5, примеч. 2.

[4] Ежедневная газета «Голос Москвы» была основана в 1906 г. лидером октябристов А. И. Гучковым, который был ее первым редактором (до середины 1907 г.). С № 9 1915 г. редактором стал В. Б. Гринберг.

[5] Роман Флобера «Сентиментальное воспитание» в переводе В. Н. Буниной вышел в начале 1915 г. (СПб., изд-во «Шиповник»). Начатый ею перевод драмы «Искушение святого Антония» не был закончен (рукопись с правкой Бунина хранится в ГМТ).

20 ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 2 февраля 1915

Дорогой Иван Алексеевич.

Выкидывайте, марайте, пожалуйста, сколько душе вашей угодно. От этого рассказ мой только выиграет. Очень рад, что он вам понравился, а я пишу второй, ибо чувствую свой долг перед родителями, потратившимися на мое воспитание ⟨...⟩

Будьте здоровы!

Ваш А. Черемнов

Ответ на п. 19.

21. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

⟨Москва⟩ 10 апр⟨еля⟩ 1915 г.

Ядовитейший
Александр Сергеевич.
Простите, пожалуйста,
что не тотчас
ответил на ваше
милое и
как всегда смешное письмо!

Серьезно, дорогой, ваше письмо снова застало меня в болезни: были адские боли в боку, и доктора меня всячески пугали, клали на рентген, но в почке ничего не нашли. Теперь мне лучше. Коля давно в деревне, куда и мы собираемся, если бог позволит. По-прежнему гибну в корректуре [1].

Горький был здесь не раз, на днях выступал на еврейском вечере с великим триумфом [2].

А больше нет никаких новостей.

Целую вас, просим кланяться дорогой Марии Павловне.

Ваш Ив. Бунин

Письмо, на которое отвечает Бунин, неизвестно.

[1] См. п. 19, примеч. 1.
[2] 6 марта 1915 г. Горький выступил на литературно-музыкальном вечере в пользу Еврейского комитета помощи жертвам войны. Его появление было встречено овациями («Летопись Горького», вып. 2, стр. 482).

22. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

⟨с. Глотово, ст. Измалково⟩, 27 февраля 1916 г.

Дорогой Александр Сергеевич, очень был рад вашему письму — получил его только недавно. Завтра-послезавтра напишу вам ответ обстоятельный [1], а пока целую вас, благодарю, прошу передать наши поклоны Марии Павловне. Мы уже почти год в Глотове: Измалково, Орловской губ.

Ваш Ив. Бунин

Открытка. На обороте: Нащокино, Витебск. губ. Имение Клеевка. ЕВ Александру Сергеевичу Черемнову. Почт. шт.: Измалково Орлов. 27.2.16; Нащокино Витеб. 28.2.16.

Письмо, на которое отвечает Бунин, неизвестно.

[1] Было ли написано обещанное письмо, неизвестно.

23 БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

⟨с. Глотово, ст.⟩ Измалково, Орловской губ.
7.III.1916

Дорогой Александр Сергеевич, очень рады были вашему письму — повторяю это с полной искренностью — много, как всегда, смеялись, читая его, снова и снова восклицали: «И за что же этот человек губит себя своей великой ленью!» — и еще раз очень благодарим вас и дорогую Марию Павловну за приглашение, коим, однако, сейчас никак не можем воспользоваться, как не могли, впрочем, и раньше, на масленице,— работа, работа и работа, а кроме того, Коля весь январь и почти весь февраль был довольно тяжело болен,— что-то вроде инфлюэнцы с ревматическими болями и всяческими сердечными штуками,— теперь же боится отъехать, думая, что его вот-вот могут потянуть в воинское присутствие. Удастся ли ему побывать у вас, не знаю, а что до меня, то я надеюсь навестить вас в апреле, по пути на юг из Петербурга, где я должен быть апреля 13-го, на вечере, затеваемом в мою честь и славу [1].

Очень рады были узнать, что вы в добром здравии и твердом духе и мужественно сидите на месте, не боясь тевтонских громов. Мы тоже сидим, почти год сидим, как я уже писал вам [2], в деревне — выезжали в Москву только на ноябрь и декабрь,— и чувствовали себя порою и прескверно и прескучно: поистине проклятое время наступило, даже и убежать некуда, а уж обо всем прочем и говорить нечего.

Мрачен я стал адски, пишу мало, а что и пишу, то не с прежними чувствами... Что вы делаете, неужели, правда, занялись комедией? Писал ли вам Горький? Он очень хотел привлечь вас в «Летопись», и я очень советую вам послать туда стихов, — хочется верить, что не совсем же вы ушли в эту комедию. Целую вас крепко, передаю поклоны вам и Марии Павловне от Веры и Коли.

Ваш Ив. Бунин

Письмо, на которое отвечает Бунин, неизвестно.

[1] Вечер, посвященный Бунину, состоялся 13 апреля 1916 г. в Александровском зале Петроградской городской думы. Печать оценила его как «праздник для всех ценителей поэзии» («Материалы», стр. 206).
[2] См. п. 22.

24. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

‹с.› Глотово, ‹ст. Измалково› 24.V.1916

Дорогой Александр Сергеевич, дня четыре тому назад, я, после сорокадневного отсутствия, возвратился в Глотово и прочитал ваше письмо к Николаю Алексеевичу и, прочитав, очень взволновался: из письма вашего можно заключить, что моего письма к вам, опущенного в Петрограде 15 апреля на Николаевском вокзале, вы не получили — иначе вы не стали бы так позорить меня [1]. А между тем я, и от себя, и от Веры Николаевны, и от Юлия, еще раз очень благодарил вас и Марию Павловну за приглашение, очень твердо говорил, что воспользоваться этим приглашением нам, видимо, не придется,— проехать к вам даже из Москвы, а главное, возвратиться от вас дело совершенно немыслимое, невозможнейшее! — точно сообщал вам свои планы (возвращение из Петрограда в Москву, поездка в Одессу, поездка на Волгу и возвращение в Глотово) и, как всегда, страшно льстил вам, на этот раз даже горячее обыкновенного, ибо «Сказания» ваши (сиречь гнусные издевательства ваши над нами с Горьким) особенно изобличили ваше «недюжинное дарование» [2].

Чиста моя совесть перед вами и относительно «Книгоиздательства писателей»: интересы ваши на собрании пайщиков сего книгоиздательства я защитил с честью. Напишите же мне длинное письмо и успокойте меня,— если и в самом деле не получали моего письма, скажите, что сменяете гнев на милость и проторей и убытков с меня искать не будете, а пожалуетесь в Англию на нашу стервозную почту.

Ездить теперь такая мука, что поездки в Петроград и в Одессу совершенно отбили у меня охоту к дальнейшим путешествиям, так что я даже втайне был рад, когда наступили адские холода и я мог сказать себе, что ехать на Волгу не стоит. Вместо Волги я, как видите, снова здесь. Вера и Юлий еще в Москве, ждем их на днях. Лето надеемся провести здесь, зиму тоже где-нибудь на юге, но, конечно, не в Сухуме,— там лихорадка,— а в Крыму, например. Очень, очень был бы рад, если бы нам снова довелось гулять и ругать литературу где-нибудь над морем, по белому шоссе, вместе с вами!

Пока до свидания, целую вас и прошу поклониться Марии Павловне и от меня, и от Николая Алексеевича. Он просит сказать вам, что скоро напишет вам письмо на машинке,— «уже заголил ее», говорит.

Ваш Ив. Бунин

Измалково, Орловской губ.

[1] Это письмо, также как и письмо Черемнова Н. А. Пушешникову, неизвестно.

[2] Зимой 1913—1914 гг. Черемнов, живя на Капри, написал несколько сатир на Горького, Л. Андреева, Бунина и др. («Сказание о святом Максиме Каприйском», «Сказание о Леониде, мнящем ся богоборцем быти», «Сказание о пиите преславном, от дьявола искушенном»). Все они, а также «Квисисана, или Жисть Каприйская» (пародия на стихотворение Бунина «Степь») входят в состав машинописного сборника пародий Черемнова «Идеальные мотивы» (ИМЛИ, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 17).

25. ЧЕРЕМНОВ — БУНИНУ

Клеевка, 24 октября 1916 г.

Дорогой Иван Алексеевич,
милый академик и мореплаватель!

Как счастлив я быть вашим современником.

Сейчас снова — в сотый раз — я перечел вашего «Господина из С.-Франциско». Что за чудовищная сила! Какая жуткая глубина, какая цельность, какая красота! И откуда вы, прогоревший орловский поме-

щик, могли почерпнуть свое особенное, мудрое, философски-спокойное отношение ко всем этим «Атлантидам», миллиардерам, отелям-дворцам, шикарным проституткам, ко всему, что наполняет поросячьим восторгом сердце Куприна. Ах, родной, не пейте красного вина, не курите крепких папирос, ложитесь в 10 часов, следите за желудком, за почками,— живите до ста лет. Клянусь богом, я никогда так остро не ощущал истину чеховского утверждения, что ему легче живется от сознания, что живет Толстой [1]. То же и я. Чорт побери, пока вы здравствуете, я сплю себе спокойно и не пишу ни строчки, зная хорошо, что вы напишете лучше меня. Все мое честолюбие в том, чтобы написать о вас хорошую, умную книгу, своего рода комментарий Корана,— и с меня довольно. Ибо воистину ревную о вас ревностью...

[1] Чехов писал М. О. Меньшикову 28 января 1900 г.: «... когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. в двадцати томах, 1944—1951, т. XVIII, стр. 312—313).

26. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, сентябрь 1917 г.›

Дорогой, милый друг, поражены и опечалены вашим письмом необыкновенно!

Примите от всех нас выражение самого искреннего и горячего участия в вашем горе. Обнимаю вас от всей души и крепко прошу — не давайте воли сердцу, поберегите себя.

Напишите, когда будете в состоянии, — что вы и где вы.

Что до нас, то мы живем теперь, совсем не зная, сколько мы здесь проживем. Раз сожгли, могут сжечь и еще.

Сердечно любящий вас Ив. Бунин

P. S. Простите, что я так краток,— не умею сказать вам всего того, что хотелось бы.

Письмо, на которое отвечает Бунин, неизвестно. В нем, очевидно, сообщалось о смерти М. П. Миловидовой (см. о ней стр. 638 настоящ. книги).

Датируется по п. 26.

27. БУНИН — ЧЕРЕМНОВУ

‹с. Глотово, ст. Измалково, 7 октября 1917 г.›

Дорогой Александр Сергеевич, снова прошу — напишите два слова, где вы и как вы. Писал вам с месяц тому назад, писал и Николай Алексеевич — получили?

Мы все еще в Глотове. Скверно, но куда денешься!

Целую вас, желаю вам всего доброго от всей души.

Ваш Ив. Бунин

7 окт. 1917 г.

Открытка. На обороте: Заказное, Нащокино, Витебской губ. Имение Клеевка. Александру Сергеевичу Черемнову (переадресовано: Алупка, Таврической губ. дача доктора Овсянникова). Почт. шт.: Измалково 10.10.17. Нащокино Вит. 14.10.17.

ПИСЬМА к О. А. МИХАЙЛОВОЙ

1895

Публикация Н. Л. Крашенинниковой

Ольга Антоновна Михайлова (в замужестве — Липинская; 1861—1941), уроженка Воронежа, принадлежала к кругу демократической интеллигенции своего родного города. Ее отец, купец А. Р. Михайлов, в прошлом крепостной крестьянин, откупившийся на волю, был в молодости дружен с Д. А. Кашкиным, книжная лавка и библиотека которого были своего рода клубом, способствовавшим просвещению воронежской разночинной молодежи (Кашкин первый заметил дарование А. В. Кольцова и оказал ему поддержку в начале его творческого пути). Семейные традиции определили интерес Ольги Антоновны к литературе и искусству — она училась пению у известной певицы, профессора Московской консерватории Е. А. Лавровской, знала несколько языков, в совершенстве владела английским.

Бунин познакомился с Михайловой через посредство брата Юлия Алексеевича. Знакомство состоялось в Москве, в конце февраля или в самых первых числах марта 1895 г.: в письме 24 февраля 1895 г. Юлий Алексеевич, узнав, что Ольга Антоновна живет в Москве, просил разрешения повидаться с нею; тогда же в Москве находился И. А. Бунин.

В это время Бунин напряженно работал над переводом «Песни о Гайавате», отрывок которого («Сын Вечерной Звезды. Индийская сказка Г. Лонгфелло») был опубликован в «Полтавских губернских ведомостях» под криптонимом «А. Л.» (1894, № 92, 30 ноября) [1]. Возможно, что Юлий Алексеевич считал знакомство с человеком, который владеет английским языком, полезным для Бунина, испытывавшего известные затруднения в своей работе над переводом (об этих затруднениях он сам говорит в одном из писем). Во всяком случае, в первый же день знакомства Бунин обратился к Михайловой с просьбой помочь ему, на что она охотно согласилась, сделав для него прозаический перевод ряда отрывков из поэмы.

С этим эпизодом связаны пять публикуемых ниже писем Бунина. Все они относятся к марту — апрелю 1895 г. (три первых письма не имеют дат; время их написания определяется по указанному выше письму Ю. А. Бунина, в котором он писал, что пробудет в Москве до 15 марта, а также по указаниям в письмах самого Бунина на сроки отъезда из Москвы). Как видно из его писем, Бунин очень ценил помощь Михайловой, однако помощь эта была кратковременной — в конце апреля переписка прекратилась.

Письма к Михайловой открывают неизвестную страницу в истории бунинского перевода, значительно дополняя и корректируя сведения, приведенные в статье В. Шаламова «Работа Бунина над переводом „Песни о Гайавате“» [2]: они не только отодвигают начало этой работы на 1894—1895 гг. и выражают восторженное отношение Бунина к поэме Лонгфелло, но — что самое ценное — дают представление о методе Бунина-переводчика, характеризуя его стремление к точной передаче смысла, его желание «проверить себя», сравнивая свой перевод с переводом Д. Л. Михаловского [3], его требовательность к звучанию стиха. Вносят они и некоторые новые детали в историю публикации перевода: в апреле 1895 г., прежде чем обратиться в «Орловский вестник», где «Песня» была впервые полностью опубликована, Бунин предложил ее перевод в журнал «Мир божий» [4].

Письма Бунина, сохранившиеся в личном архиве О. А. Михайловой, печатаются по автографам, ныне принадлежащим ее родственнице Н. Л. Крашенинниковой

(Москва); там же находится и указанное письмо Ю. А. Бунина 24 февраля 1895 г. Ответные письма Михайловой неизвестны, так же как и выполненные ею переводы, которыми пользовался Бунин. Сохранился только «Пролог», который, как можно судить по одному из писем Бунина, не был ему послан (см. п. 3).

[1] Отрывок этот (глава XII) соответствует окончательной редакции бунинского перевода, отличаясь от нее рядом незначительных разночтений (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 122—131); это позволяет установить авторство Бунина. В редакционном примечании сообщалось: «Редакция предполагает в будущем дать целый ряд переводов из „Песни о Гайавате", со всеми комментариями, необходимыми для полного усвоения этого замечательного произведения, которое, к сожалению, до сих пор не имеет полного русского перевода. Предлагаемый отрывок, насколько нам известно, также до сих пор не был переведен на русский язык». В 1895 г. «Полтавские губернские ведомости» опубликовали еще два отрывка: «Весна и лето» и «Благословение полей» (№ 106 и 169, 20 мая и 6 августа).

[2] «Вопросы литературы», 1963, № 1, стр. 153—158. Автор статьи относит начало работы Бунина над переводом к 1896 г. (там же, стр. 158).

[3] Этот (неполный) перевод печатался в «Отечественных записках» (1868 и 1869); позднее вошел в кн.: Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Пер. Д. Л. Михаловского. М., 1878. В «Предисловии переводчика», предпосланном первому изданию «Песни о Гайавате» (Орел, 1896), Бунин характеризует перевод Михаловского, указывая, что в его собственной работе не исключены некоторые совпадения с ним.

[4] «Орловский вестник», 2 мая — 24 сентября 1896 г.; в том же году «Орловский вестник» издал перевод Бунина отдельной книгой. В «Мире божьем» «Песня о Гайавате» не появилась; переписка Бунина с редакцией журнала по этому поводу не сохранилась.

1

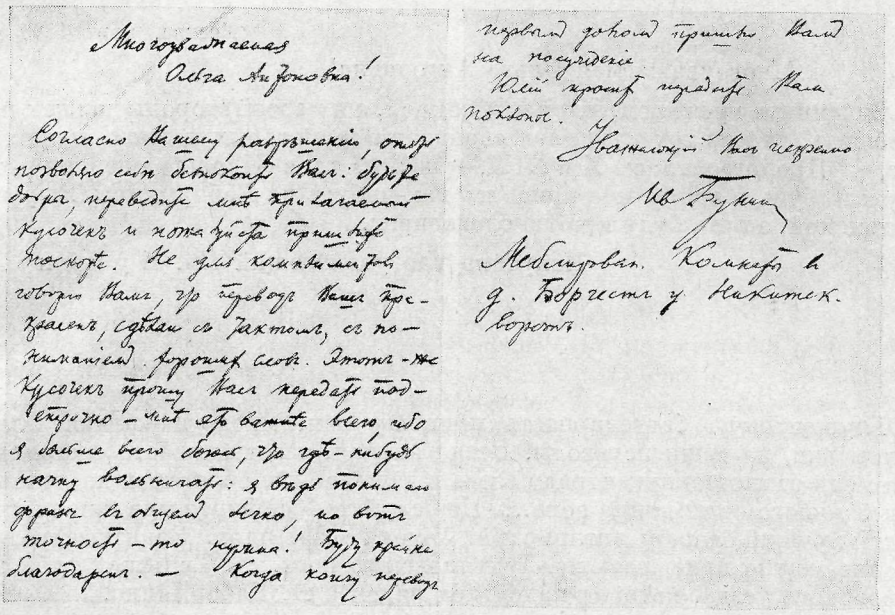
‹Москва, конец февраля — начало марта 1895 г.›

Многоуважаемая Ольга Антоновна!

Ой, ей-богу, мне даже совестно стало, когда я получил ваше письмо: не злоупотребляю ли я вашей любезностью? Но не браните меня — вы сами разрешили мне. А потом, если я и решил в первый же день знакомства с вами прямо обратиться к вам с просьбой, то это потому, что я увидел, что вы простой человек и не сочтете меня свиньей, а, во-вторых, потому, что я ведь помешан на Гайавате, — я ведь с самого детства сплю и вижу перевести всю эту дивную песню и издать ее и любоваться и сотни раз самому перечитывать ее, если не будет читателей. Верите ли, когда я получил ваш перевод и прочел с подлинником, и все, что было неясно, стало ясно и понятно мне,— я двое суток не вставал, буквально почти не вставал с места и кончил главу — остались только мелкие поправки.

Так я люблю все это, а, с другой стороны, и тороплюсь, боюсь, что какой-либо другой человек, зараженный всякими глупостями декадентства, возьмет и перепрет «Песню» и как-никак, а отрежет мне дорогу. Вы говорите — «если мой перевод пригодится на что-нибудь» — да боже мой, как же не пригодится-то ?!

Уезжая в четверг в деревню, я еще раз шлю вам глубокую благодарность за то высокое наслаждение, которое я получил благодаря вашей помощи. Если же поможете еще, то могу вам сообщить, что не переведены еще главы: II (The four winds), IV (Hiawatha and Midjekeevis), IX, XII, XIII, XVI, XVII и XVIII. Выбирайте какую вам угодно. Мне же хотелось бы: или Introduction (пролог) или X (Hiawatha's wooing), особенно эту десятую — или XIII. Это ничего, что пролог и X глава переведены,— я все равно буду переводить все. Но, боже сохрани! — я, конечно, не настолько нахал, чтобы думать, что вы будете мне помогать во многих главах — две-три и благодарность навек!



ПИСЬМО БУНИНА О. А. МИХАЙЛОВОЙ
Автограф, лл. 1, 1 об.
Собрание Н. Л. Крашенинниковой, Москва

Итак, будьте здоровы и примите мое горячее спасибо.

Деревенский мой адрес такой: Ст. Бабарыкино, Сызрано-Вяземской ж/д. В имение Евгения Ал. Бунина для передачи мне.

Брата сейчас нет — не хочу врать, что шлет поклон.

Искренно вас уважающий И. Бунин

⟨*Приписка Ю. А. Бунина*⟩:

Направда, я пришел и кланяюсь вам, многоуважаемая Ольга Антоновна!

Юлий Бунин

2

⟨Москва, начало марта 1895 г.⟩

Многоуважаемая Ольга Антоновна!

Согласно вашему разрешению, опять позволяю себе беспокоить вас: будьте добры, переведите мне прилагаемый кусочек и, пожалуйста, пришлите поскорее. Не для комплиментов говорю вам, что перевод прекрасен, сделан с тактом, с пониманием хороших слов. Этот же кусочек прошу вас передать подстрочно — мне это важнее всего, ибо я больше всего боюсь, что где-нибудь начну вольничать: я ведь понимаю фразы в общем легко, но вот точность-то нужна! Буду крайне благодарен. Когда кончу перевод, первым делом пришлю вам на посуждение.

Юлий просит передать вам поклон.

Уважающий вас искренно Ив. Бунин

Меблированные комнаты в д. Боргест у Никитских ворот.

3

<Москва, март 1895 г.>

Многоуважаемая Ольга Антоновна!

Сию минуту уезжаем, шлем вам поклон, а я с своей стороны должен вам сообщить, что из тех трех глав «Гайаваты», о которых написал прошлый раз,— «Пролог» и главы X и XIII,— из этих глав «Пролог» мне не нужен. А уж X будьте добры мне прислать как-нибудь на Бабарыкино Сызрано-Вяземской, за что буду крайне благодарен.

Искренно вас уважающий Ив. Бунин

4

<Огневка, 26 марта 1895 г.>

Глубочайшую благодарность приношу вам, многоуважаемая Ольга Антоновна, за ваши переводы! Весна кислая, так что работа составляет для меня единственную отраду здесь в деревне, где обретаюсь на положении больного сына конца века... Пожалуйста, сообщите мне при случае, какой лучший словарь английский? У меня очень плох. Заказные письма вполне можно присылать на Лукьяновскую почт. ст. Тульской губ. Ефремовского уезда, которая находится рядом с ст. Бабарыкино.

Неправда ли чудное сватовство Гайаваты? А благословение полей? Поразительно!

От души желаю всего хорошего и остаюсь глубоко признательным

И. Бунин

26 марта 95 г.

5

Д. Огневка, 14 апреля 1895 г.

Многоуважаемая Ольга Антоновна!

Получил ваш перевод, но — простите — только сейчас могу известить вас об этом с благодарностью душевною. Поздравил бы и вас с праздником — да поздненько уже. А работа идет. Усиленно занимаюсь английским языком и, кроме переводов тех глав, которые прислали вы, сделал еще 2—3 из переведенных Михаловским. Перевод Михаловского дает мне возможность проверить себя. Но все-таки некоторых слов не понимаю, и остаются пробелы. Счел бы долгом прислать вам переведенные главы, но еще не удовлетворяют меня они, пусть полежат — тогда будет лучше поправить стих. Послал Давыдовой, издательнице «Мира божьего», предложение напечатать полный перевод «Гайаваты» (О, это между нами!) — не знаю, что ответит. Глупы наши гг. редакторы, и если не выйдет дело, буду биться — искать издателя на отдельное издание...

Весна получшела, но настроение мое — плоховатое. Скучно немножко. Что нового в столице? Совсем ничего не знаю. Где думаете проводить лето?

Посылаю вам пожелания всего хорошего и остаюсь преданным вам

И. Бунин

ПИСЬМА к М. В. КАРАМЗИНОЙ

1937—1940

Предисловие и публикация А. К. Бабореко

Мария Владимировна Карамзина (рожд. Максимова; 1900—1942) родилась в Петербурге. Здесь прошли ее детство и студенческие годы. По окончании университета она вышла замуж за И. Д. Гримма, сына известного в Петербурге профессора римского права Д. Д. Гримма, ставшего затем профессором Тартуского университета в Эстонии [1]. В 1929 г. Мария Владимировна разошлась с первым мужем, вышла замуж за Василия Александровича Карамзина и поселилась в г. Кивиыли. С нею жил сын Константин (от первого брака), потом родились еще два сына — Александр и Михаил.

В. А. Карамзин (1885—1941) был правнуком Александра Михайловича Карамзина, брата знаменитого писателя и историографа. Он родился в Самарской губернии в семье известного азоолога и орнитолога А. Н. Карамзина, окончил Петербургский университет, работал инженером на сланцевом комбинате в Эстонии [2].

М. В. Карамзина «в совершенстве владела английским, немецким, французским и некоторыми другими языками. Кроме того, она очень хорошо рисовала» [3]. Она писала стихи, рассказы, литературно-критические статьи. В 1939 г. в Нарве вышел сборник ее стихотворений «Ковчег». Стихи ее, написанные в традициях русской классической поэзии, были замечены критикой и вызвали сочувственные отклики (Г. В. Адамовича, П. М. Пильского, В. Ф. Ходасевича и др.). Бунина привлекло в ее книге заглавное стихотворение «Ковчег»:

Светил и туч полночный бег,
Струй низвергающихся топот.
Душа — кочующий ковчег
В волнах любовного потопа.

Я жду, когда сойдет вода
С вершины древней Арарата,—
Я знаю, знаю, что тогда
Вновь будет песнь моя крылата.

Ее, дрожащую, словлю
На дне души узорной сеткой
И в просиявший мир пошлю
За первой масличною веткой.

Бунин был любимым писателем Карамзиной. Именно поэтому она решилась в 1935 г. написать ему и послать на его суд свои стихи. Переписка между ними началась с 1937 г., после того как она получила, с большим опозданием, ответ Бунина на свое первое обращение к нему. В мае 1938 г., когда Бунин, совершавший поездку по Прибалтике, посетил Тарту, состоялось их личное знакомство.

Хотя их переписка продолжалась недолго (до июля 1940 г.), она содержит обильный и ценный материал для изучения жизни и творчества Бунина.

Он дорожил дружбой этой незаурядной и оригинальной женщины, восхищался ее умом, всячески поддерживал ее веру в свои силы, надеясь, что она со временем разовьет свой литературный дар в большей степени, чем он проявился в опубликованных стихах, нередко, по ее собственному мнению, ученических и подражательных.

В письмах к Карамзиной Бунин откровенно — как другу — писал о своей жизни, о работе над своими произведениями. Эти признания важны для понимания таких его шедевров, как «Митина любовь» и «Жизнь Арсеньева». Подкупающей искренно-

стью своих писем, необыкновенно увлекательных, полных тонких наблюдений и мыслей, Карамзина вызывала его на откровенные суждения о его собственных произведениях. Он писал ей о Лике, о той, в ком видели прообраз его героини, делился своими мыслями о Толстом. В письмах к Карамзиной Бунин отбрасывал обычную сдержанность, которая характерна для его эпистолярной манеры, он писал ей свободно, с открытой душой — и это придает своеобразие публикуемым ниже письмам.

Память об этой разносторонне одаренной женщине сохранили люди, близкие к ней или встречавшиеся с нею. По словам В. В. Шмидт, которую связывала с Карамзиной тесная дружба, «ее большой ум в соединении с тонкой женственностью» придавали «обаятельность ее чертам, ее образу» [4]. Л. Ф. Зуров, которого познакомили с Карамзиной в Русском студенческом обществе Тарту, писал, что он навсегда запомнил ее по этой единственной встрече: «Высокая, с темными тонкими волосами, разобранными на косой пробор, загоревшая за лето до такой степени, что она казалась от рождения смуглой, с узкими, по восточному таинственными, темными, немного раскосыми глазами, она выделялась среди студенческой провинциальной молодежи. Чистый и умный лоб, легко раскинутые брови, мягкость и женственность удлиненного лица. Ее лицо мне тогда показалось внутренне взволнованным и усталым. В ее лице чувствовалась не только европейская, но и восточная кровь, а ее длинные филигранные серьги, словно найденные в скифском кургане, напоминали об эллинских колониях на берегу Черного моря» [5].

Письма Бунина к Карамзиной печатаются по автографам, переданным ею в 1941 г. В. В. Шмидт, которая предоставила их в 1967 г. в распоряжение автора настоящих строк. От души благодарю ее за это. В публикацию включены все сохранившиеся письма. Отсутствуют в коллекции четыре письма, от которых имеются только конверты: 1) 30 мая 1938 г., 2) 4 января 1939 г., 3) 13 января 1939 г. и 4) 23.⟨?⟩. 1939 г.— с неясной цифрой месяца на почтовом штемпеле.

Вместе с письмами Бунина В. В. Шмидт передала и некоторые другие материалы из архива Карамзиной:

1. Рассказы Бунина «Звезда любви» (позднейшее заглавие «Полуночная зарница») и «Преображение» — оттиск из журн. «Современные записки», 1924, кн. XX;

2. Газетные вырезки с его же рассказами «Варианты», гл. I, «Варианты», гл. II и «Баллада» (см. п. 4 и примеч. к нему);

3. Газетные вырезки с его же рассказами «Степа», «Муза» и «Поздний час» (см. п. 14 и примеч. 5 к нему);

4. Два письма (черновые) Карамзиной к В. Ф. Ходасевичу (12 декабря 1927 г. и 9 сентября 1935 г.), письмо Ходасевича к ней 7 марта 1931 г. и шесть ее стихотворений с пометами Ходасевича;

5. Шесть писем И. С. Шмелева к Карамзиной (11 декабря 1934 г., 31 мая 1935 г., 19 сентября 1936 г., 14 марта 1937 г., 28 апреля 1937 г., 24 февраля 1939 г.).

После выхода в свет настоящего тома все эти материалы будут переданы в Отдел рукописей ГБЛ.

В парижском архиве Бунина сохранились, как писал Л. Ф. Зуров, следующие материалы Карамзиной: 26 ее писем к Бунину и 12 открыток к нему же, две фотографии, автографы стихов и двух прозаических произведений — «Этюд» и «Аврора». Приводимые ниже выдержки из писем Карамзиной сообщены Л. Ф. Зуровым.

[1] По сообщению К. Н. Бежаницкой (о ней см. в воспоминаниях В. В. Шмидт — настоящ. том, кн. 2), И. Д. Гримм тоже читал лекции на юридическом факультете. После войны он оказался перемещенным лицом и умер в Австралии в 1968 г. Д. Д. Гримм умер в Риге, после оккупации гитлеровской Германией Прибалтики (письмо к А. К. Бабореко, сентябрь 1968 г.).

[2] Сообщено М. В. Карамзиным (письмо к А. К. Бабореко 23 сентября 1968 г.).

[3] Там же.

[4] Из письма к А. К. Бабореко. О В. В. Шмидт см. настоящ. том, кн. 2.

[5] Из письма к А. К. Бабореко 15 мая 1968 г.

БУНИН

Фотография Липницкого. Париж, 1930

С автографической подписью: «Ив. Бунин. Париж, 1930 г. Ivan Bunin. Paris»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

1

1, rue Jacques Offenbach. Paris, 16
⟨9 декабря 1937 г.⟩

Многоуважаемая Мария Владимировна,

Случилось нечто необыкновенное — я только сегодня нашел и прочел и стихи [1] и статью ваши. Был бы *очень* рад помочь вам напечатать что-нибудь из них — из стихов,— но не имею к тому никакой возможности: куда их дать? Единственное место — журнал «Современные записки» [2]. Но он выходит всего раза три в год и всегда завален стихами «своих». Все же, если вам будет угодно, я передам ваши стихи редактору стихотворного отдела этого журнала.

Что до качества их, то, верно, вы и сами его знаете,— только сомневаетесь в себе порой. Я читал их с истинным удовольствием, радуясь их благородству и талантливости.

Пожалуйста, простите меня, без вины виноватого, за столь поздний, неправдоподобно поздний ответ.

Ив. Бунин

9.XII. 37

На конверте: Madame Marie Karamzina. Kivioli, Estonie. Exp.: Ivan Bounine. 1, rue Jacques Offenbach, Paris, 16. Почт. шт.: Paris, 10.XII.1937.

Ответ на письмо Карамзиной 26 ноября 1935 г.:

«Глубокоуважаемый Иван Алексеевич!

Решаюсь послать вам на суд несколько моих стихотворений и одну статью Прошу вас простить меня за то, что делаю это так, без спросу, не будучи знакомой с вами, в одной надежде на вашу снисходительность к факту присылки, на вашу отзывчивость, —то есть на то, что вы прочтете присланное, —и на строгость вашего, бесконечно для меня ценного суждения.

Мне 35 лет, я мать троих сыновей, живу в глуши, в условиях, обычных для эмигрантской жизни, то есть только урывками могу писать и почти не могу работать над написанным. За несколько лет у меня все же накопилось довольно много стихов⟨...⟩

Часто мне кажется, что если даже прежде какая-то искорка во мне была, то теперь она совсем угасла. Временами же, особенно когда читаю стихи молодых поэтов в „Современных записках“ и в других журналах, меня охватывает чувство похожее на ревность...»

В ответном письме 19 декабря 1937 г. Карамзина писала:

«Сердечное спасибо вам за ваше письмо. Я очень тронута тем, что вы, прочтя теперь мои стихи и статью, все же написали мне, невзирая на долгий промежуток времени с момента посылки моего вам письма. Благодарю вас также за любезное ваше предложение помочь мне — отдать мои стихи в „Современные записки“ ⟨...⟩

Мы с мужем живем в *порядочной глуши, в большом (для Эстонии) заводском* центре, на сланцевых разработках, приблизительно на полпути из Ревеля в Нарву. Здесь соединение сельской природы с городской цивилизацией: лес, поля, окрестные деревни — и электричество, радио, спортивный плац, кинематографы и т. д. Муж мой, Василий Александрович Карамзин, учился в Московской 5 гимназии вместе с братьями Веры Николаевны — Всеволодом и Дмитрием Николаевичами. Мне хотелось бы о многом рассказать вам потому, что я тронута вашим откликом и потому, что я давно и крепко люблю ваше прекрасное творчество...»

[1] В архиве Бунина сохранилось несколько стихотворений Карамзиной. Какие из них были присланы с письмом 26 ноября 1935 г.— неизвестно.

[2] «Современные записки» — общественно-политический и литературный журнал, издававшийся в Париже в 1920—1940 гг. группой эмигрантов-эсеров. Были ли напечатаны в «Современных записках» стихи Карамзиной, остается неустановленным.

2

⟨Париж, 29 декабря 1937 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна,

я передаю в «Современные записки» все, что вы прислали мне в прошлом году и теперь. Журнал выходит всего три раза в год и богат стихами сверх меры, так что надежд у меня мало. Но все же надо попытаться. Сердечный привет!

Ваш Ив. Бунин

На обороте: Madame Maria Karamzina. Raudtee tän 43—2, Kivi̇̃oli, Estonie. Eesti. Почт. шт.: Paris, 29.XII.1937.

Открытка с фотографией и подписью: Paris. La Basilique de Montmartre. Место и дата отправления определены по почтовому штемпелю.

Бунин послал одновременно с этой открыткой одну из своих книг, как это видно из ответного письма Карамзиной от начала января 1938 г.:

«Глубокоуважаемый и дорогой Иван Алексеевич! Вы вряд ли можете себе представить, какую радость доставили мне вашим чудным письмом. Горячо благодарю вас за него! Мне давно хотелось иметь эту книгу, и вот я получила ее от вас с вашей надписью, с вашей фотографией нежданно-негаданно в утро нового года. Спасибо за эту радость! Спасибо сердечное и за передачу стихов в „Современные записки". Пусть будет что будет‹...›

Сегодня в русской газете сообщение о том, что два ваших доклада ожидаются в Риге около 20 января. Если это правда и если вы поедете и в Эстонию,— *дайте знать*! Мы живем на полпути между Ревелем и Нарвой, муж не может покинуть завод, но я, бог даст, приеду в Ревель. И мы были бы безгранично счастливы приветствовать у нас вас и Веру Николаевну, если бы вы согласились сделать остановку в Kivi̇̃oli на пути в Нарву».

Приезду в Эстонию и встрече с Карамзиной предшествовало еще одно несохранившееся письмо Бунина, в ответ на которое Карамзина писала ему 23 февраля 1938 г.:

«Есть преемственная связь с прошлым, я ее очень остро ощущаю, и часто связь с ушедшими уже людьми для меня реальнее и насущнее, чем с живыми. Оттого, между прочим, не могу равнодушно относиться к изображению этих людей или их творчества теми, кто воспринимает их иначе, чем мне представляется правильным. Так, например, книга Берберовой о Чайковском ‹Н. Берберова. Чайковский. Берлин, 1936.— *А. Б.*› занимательна, но душе она претит, и я знаю, что настоящей правды о Чайковском в этой книге нет, как не чувствуется в ней музыки. А Чайковский вне музыкальной стихии есть только пациент какой-то ‹...›

Вот уже восемь лет как жизнь моя очень полна. Я счастлива в браке, у меня три сына, один от первого моего мужа, Ивана Давыдовича Гримма,— ему уже скоро 15 лет — и два маленьких Карамзёнка. Сознаю свое счастье постоянно, ежеминутно страшусь за него и благодарю бога. Видите ли: je ne suis pas séparée de ce que j'aime. Mais c'est vers la grande et l'unique renaissance que mon âme est destinée à se tendre...* Я не люблю слова „счастье". В него по привычке вкладывают какой-то ложный смысл. Быть счастливой обычно означает быть забронированной от несчастий. Мое же счастье не броня, а наоборот — раскрытость души, тревожность, уязвимость ее как горестным, так и радостным. А „l'océan des larmes"? ** — без слез нельзя, и они большая отрада. И горе и радость всегда со слезами. Ваша мать это знала...»

3

1, rue Jacques Offenbach. Paris, 16
28 мая 1938 г.

Дорогая моя,— простите, что не пишу имени-отчества, я несколько раз прочитал ваш «Этюд» — и много бы дал за возможность поговорить с вами о нем устно! А раз этой возможности нет, скажу только, что все в нем прекрасно — и бесконечно грустно. Как это удивительно, что мы больше никогда, может быть, не увидимся! Да и в те дни как мало я видел вас! Почему, например, не побыли мы с вами хоть полчаса после моего чтения, после того, как вы зашли ко мне за кулисы? [1] (Никогда не забуду всего того очарования, которым вы были полны в ту минуту.) Да и одно ли это?

Сейчас опять взглянул на последнюю страницу вашего «Этюда». Целую вашу руку.

Ваш Ив. Б.

P. S. Пробуду в Париже до середины июня. Потом поеду на Ривьеру (если не будет больших событий).

Вера Николаевна и Галина Николаевна [2] благодарят вас за привет.

---

* я не разлучена с тем, что я люблю. Но назначение моей души — стремиться к великому и единственному возрождению (*франц.*).

** океан слез (*франц.*).

На конверте: Madame M. V. Karamzina. Raudtee tän 43—2, Kiviõli, Eesti, Esthonie. Exp.: Iv. Bounine. 1, rue Jacques Offenbach, Paris 16. Почт. шт.: Paris, 28.V.1938; Kiviõli, 31.V.38.

Ответ на присланный Карамзиной «Этюд». В этом лирическом письме, датированном 14 мая 1938 г., она вспоминала о встрече с Буниным и о последних часах, проведенных с ним в вагоне поезда:

«Наступил час, когда по стуку колес быстро мчавшегося поезда, по мерному подрагиванию коричневой занавески на окне купе, по шелесту газет, которые перелистывались двумя толстыми чужими мужчинами на противоположном диване, я узнала, что разлука близка и неотвратима. За окном проплывали бледно-зеленые луга, черные пашни, перелески, серые кустарники, низкое, местами беловатое, с ртутно-серебристыми просветами небо. Я помню блестящую медную палку перед окном в коридоре вагона, на которую опирались мы оба, глядя на все густеющую над горизонтом сизую тучу, предвещавшую не весенний, веселый ливень, но серый, холодный, как осенью, дождь. У меня были сухие глаза и чуть-чуть горели уши,—я дотронулась ледяными пальцами до мочки правого уха и поправила длинную филигранную серьгу, цеплявшуюся за высокий пушистый мех моего воротника.

В коридоре вагона были еще другие пассажиры. Помню одно молодое женское, равнодушно-любознательное лицо с небольшими темными глазами‹...› А за окном уже мелькали строения, а поезд уже замедлял свой ход, и колеса постукивали на стрелках‹...›

Вот я должна подробно написать обо всем этом и еще о другом, о многом. Иначе как же, как же узнает он о печали моей, о тоске моей — невыразимой?»

О пережитых тогда ею чувствах Карамзина вспоминала также в письме к Бунину 2 июля 1938 г. (см. примеч. к п. 6).

[1] Бунин выступал в Тарту с публичным чтением своих произведений вечером 9 мая, в театре «Ванемуйне» (см. воспоминания В. В. Шмидт — настоящ. том, кн. 2).

[2] Галина Николаевна Кузнецова (см. о ней настоящ. том, кн. 2).

4

‹Париж, около 31 мая 1938 г.›

Когда я писал «Митину любовь», я делал некоторые заметки — в два, в три слова чаще всего. Теперь я написал по ним эти «Варианты». По-французски я назвал «Митину любовь» гораздо лучше: «Le sacrement de l'amour»[1]*.

Написано на полях газетной вырезки с текстом «Вариантов», гл. I («Последние новости», 1938, № 6203, 20 марта). На оборотной стороне помета Карамзиной: «И. А. Бунин. „Варианты". Прислано И. А. 3/VI 1938 г.». Аналогичные пометы сделаны ею на двух других вырезках: 1) «Варианты», гл. II («Последние новости», 1938, № 6217, 3 апреля; обе главы получили позднее заглавие «Апрель» — см. Собр. соч. 1965—1967, т. 7, стр. 299—309 и 394); 2) «Баллада» («Последние новости», 1938, № 6175, 20 февраля.— См. там же, т. 7, стр. 17—23 и 383).

Датируется приблизительно на основании даты получения вырезок Карамзиной — 3 июня 1938 г.

4 июня 1938 г. Карамзина отвечала Бунину:

«... Спасибо вам! — Горячее спасибо за чудесную „Балладу" и за „Варианты"‹...›

„Le sacrement de l'amour" очень красиво звучит по-французски. По-русски это было бы „Таинство любви". Но, мне кажется, по-русски нельзя было так назвать. В „Митиной любви" страшен и неотразим Рок — сила и тема греческой трагедии. В „Вариантах" эта сила ощущается особенно жутко: там Рок „обстоит", это „obsession", одержимость. Митя — жертва, тут не „sacrement", а „sacrifice à l'amour" **. Мистерия— да, но не таинство. Таинство таит в себе, в конечном смысле, искупление, чудо благодатное. В смерти Мити — лишь его обреченность страшной безблагодатной любви.

Я так мучительно воспринимаю „Митину любовь",— какая она жестокая! Один этот ястребок в „Варианте" первом чего стоит. Когда я внутренно борюсь с ней, когда я протестую против вашей беспощадности, я всегда думаю: все, все было бы иначе, если бы Митина ужасная, деревянная, безлюбая мать, эта „мама, которая спит после обеда", была бы нежной, женственной, настороженной. Один штрих, один зов любви благодатной и, быть может, она победила бы ту — страшную — власть. Не сердитесь на меня за эти слова. Вы ведь теперь меня знаете.

---

* «Таинство любви»

** жертва во имя любви (*франц.*).

Читаю дневники С. А. Толстой *. Там очень много верного, женского, но во всем, в *атмосфере* ее, чувствуется какая-то... грубость, что ли? Она не могла не мучиться любовью к Льву Николаевичу, всякая любящая женщина ее поймет, а только полета в ней нет, она так тупо ползает все по одним и тем же дорожкам — и в 18 и в 25 лет... Отчего это?

Я так жду „Освобождение Толстого"!** Пожалуйста! А в газетах все пишут о международных обострениях — пронеси господи! Уезжайте скорее на Ривьеру⟨...⟩

У нас цветущая душистая весна. Недавно наш пес удрал ночью, и я в четыре часа утра оделась и пошла его искать. Было так зелено, так чисто все, и птицы громко, на разные голоса пели... Вокруг, в лесах, всё кукушки кукуют. Завтра по-здешнему Троица, сейчас пойдем за цветами.

На днях пошлю вам написанную за это время вещь. Очень прошу внимания вашего, *строгости*!..»

[1] Французский перевод «Митиной любви» был издан в Париже в 1925 г. Такую же мысль о том, что французское заглавие повести лучше, чем русское, высказал Р. М. Рильке в письме к Л. П. Струве 25 февраля 1926 г. (журн. «Русская мысль». Париж, 1927, кн. 1, стр. 54—55 — без указания адресата; см. также Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 523—525).

5

⟨Ницца, 5 июля 1938 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, что с вами, здоровы ли? Уехал из Парижа 3-го, ничего не получив от вас. Тут у меня еще нет адреса — тщетно ищу пристанища — пишите по прежнему, в Париж, Вера Николаевна перешлет. Сейчас вечер 5 июля, я сижу в грязном и чудесном ресторанчике для простолюдинов старой Ниццы — и для снобов из парижской артистической богемы. «Одинокий подобен носорогу» — я одинок и несчастен, как 100 носорогов.

Целую вашу руку. И.Б.

Запах чесноку и жареной на оливковом масле рыбы. В кухне работают два негра. Все просто и чудесно-свободно. Все время гремит радио — испанские песни с кастаньетами. Это очень к месту — очень много тут Испании, Италии — и того особенного, что есть старая Ницца. Я ел равиоли (итальянские пельмени) и жареного спрута. Множество почти голых, черных от загара, от купанья молодых женщин.

Хозяин. Очень типичный ниццар, плут и делец.

Это старая Ницца, «Marché aux fleurs» ***, из кухни выход на море.

Адрес: Madame Karamzine. Kivioli, Eesti, Esthonie. Почт. шт.: Nice, 6.VII.1938. Карточка ресторана Joseph в Ницце. Предпоследняя строка приписки относится к портрету хозяина ресторана, воспроизведенному на карточке.

На эту открытку Карамзина откликнулась 16 июля 1938 г. (см. примеч. к п. 6).

6

1, rue Jacques Offenbach, Paris, 16
⟨20 июля 1938 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, я больше недели, не зная почти ни часа отдыха, скакал по Ривьере, от Ментоны до Марселя, ища нам пристанища на лето,— и ничего не нашел: всюду тьма иностранцев, пользующихся падением франка и уже все, даже мало-мальски сносное, занявших. После двенадцатидневного отсутствия, смертельно усталый и огорченный,

* «Дневники С. А. Толстой» были впервые опубликованы в 1928—1936 гг.: т. I (1860—1891) — М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1928; т. II (1891—1897) — там же, 1929; т. III (1897—1909) — М., «Север», 1932; т. IV (1910) — М., «Сов. писатель», 1936.

** Иван Бунин. Освобождение Толстого. Париж, 1937.

***Цветочный рынок (*франц.*).

я возвратился в Париж, искал дачи или хоть квартиры в его окрестностях, хотя я ненавижу их и не считаю за лето здешнее ничтожное, серенькое лето,— и опять напрасно! Теперь махнул рукой на поиски и решил ждать конца сентября, когда на Ривьере станет свободнее,— съезжу только недели на две, на три (один, без Веры Николаевны, которая никуда пока не хочет ехать) под Biarritz: там, говорят, сейчас пусто, многие боятся испанской границы [1].

Перед отъездом из Cannes получил ваше письмо от 2 июля — переслала Вера Николаевна,— а вчера от 16-го, с видом вашего дома. Из этих писем вижу, что вы моего, теперь уже совсем давнего, по поводу ваших стихов, «Авроры» и вашей карточки, не получили [2]: думаю, что я писал на память это странное слово «Kivioli» и как-нибудь переврал его: все не могу его усвоить, все лезет в голову «Vikioli»! Я писал вам, что я все получил,— и карточку, за которую я вас очень благодарил и которая так выдает ваше восточное происхождение, и стихи, из которых мне почти все — за исключением Омара Хаяма [3] — очень понравилось, и рассказ, в котором я опять с радостью увидал ваш поэтический и изобразительный талант и который *в общем* не удовлетворил меня — тем, что написан на тему без непосредственной убедительности и, правда, слишком «семейственно». Я писал вам и о том, что, будь у меня журнал, я бы все-таки с большим удовольствием напечатал его,— он все-таки очень умело, очень четко написан, в некоторых же местах — море, пароход, эта северная ночь в Г., «легкие *бисерные* фонтаны»— чудесно, и горевал о том, что нигде ничего вашего я не могу устроить: очень уж вы не во вкусе Милюкова, который редактирует и «Последние новости» и «Русские записки»! Теперь прибавлю: от всей души прошу вас продолжать писать и прозу и стихи (которые вам пора выпустить отдельной книжкой — пожалуйста, подумайте об этом!).

Ваше вчерашнее письмо (от 16-го) так хорошо, что я прочел его вслух за чаем Вере Николаевне и моим домочадцам (Г. Н. Кузнецова и еще две молодые женщины) — и все стали вспоминать и землянику, и сено, и лес, и всю эту летнюю русскую прелесть.

Что общего у меня с Толстым? Он очень, очень близок мне не только как художник и великий поэт, но и как религиозная душа. Перечитайте кое-что, что я выписал из его дневников,— например, как он шел на закате из Овсянникова,—«лес, рожь, радостно»,— как ехал вечерней зарей через лес Тургенева: «и соловьи, и жуки, и кукушка...» [4] Более прекрасных, несравненных слов о бессмертии ни у кого нет во всей мировой литературе.

На письмо ваше от 2 июля мне очень трудно ответить. «Не нужно жалеть», что мы с вами так мало виделись в Юрьеве [5], что я там как-то «прятался за тон легкой беседы»? Я все-таки жалею и думаю, что, если я и «прятался», то как раз потому, что мы так мало и плохо (все мельком или на людях) виделись. И сейчас — дорого бы я дал, чтобы *поговорить* с вами об этом письме, произведшем на меня редкое по силе впечатление! Письменно ответить на него не могу. Только горячо благодарю вас за него, мысленно целую вашу руку. Да хранит вас бог.

Ваш Ив. Б.

P. S. Это очень, очень хорошо:

Светил и туч полночный бег,
Струй низвергающихся топот...
Душа — кочующий ковчег
В волнах любовного потопа... [6]

М. В. КАРАМЗИНА
Фотография, 1930-е годы
Парижский архив Бунина

А вот вам японские стихи — не дивитесь на такой дикий скачок в моей голове:

Le feu sous la cendre.
La maison sous la neige.
Minuit *.

Всего несколько слов! А какое волшебство! Это мне написала одна японка, у которой я недавно завтракал. В подлиннике это, вероятно, совершенно необыкновенно.

На конверте: Recommandée. Madame M. Karamzine. Kivioli, 43—2. Eesti (Estonie). Exp.: Bounine. 1, rue J. Offenbach, Paris, 16. Почт. шт.: Paris, 20.7.1938; Kivioli, 23.VII.38.

Ответ на письма Карамзиной 2 и 16 июля 1938 г. Датируется по почтовому штемпелю.

2 июля Карамзина писала: «Дорогой Иван Алексеевич! Я вчера получила „Освобождение Толстого“, и так как я нездорова последнее время и должна побольше лежать, то лежа с утра, в один день проглотила книгу, схватила ее, знаете, жадно, большими кусками. Я много и долго буду ее читать, думать, жить вместе с нею. Я писала вам, что у меня „Дневники“ Софьи Андреевны,— еще были воспоминания Кузминской, Микулич**, а, главное, были кавказские дневники самого Толстого из „Голоса минувшего“***. Вообще многое в нем близко очень и нужно жизни моей, душе моей — серьезность, правдивость, неподкупность совести. Я пишу вам сегодня наспех, выкидываю все сразу и знаю, что мне не сказать всего так, как нужно. Но вокруг меня столько летней суеты, приездов, отъездов, людей, требующих житейского внимания, что я долго не могла бы сосредоточиться, если бы решилась писать связно и подробно. Я думаю, что вы поймете и так, я думаю, что мне можно писать вам совсем серьезно и по существу — не сокровенно, в лучшем, в строгом смысле этого слова. В свете этой серьезности и строгости я вижу, что не нужно жалеть о мог-

* Огонь под пеплом. / Дом под снегом. / Полночь (*франц.*).

** Воспоминания Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», т. I—III, были опубликованы в Москве в 1925—1926 гг. Воспоминания В. Микулич (Л. И. Веселитской) «Тени прошлого» появились в «Историческом вестнике», 1913, кн. 2 и 3.

*** Эти дневники Толстого печатались в журн. «Голос минувшего за рубежом». 1926, № 2,3.

ших быть и упущенных минутах или часах нашего с вами общения в Юрьеве. Я говорю, что лучше, полнее и доверчивее воспринимаю вас, общаясь с вами через ваши книги, через письма,— чем тогда, непосредственно слушая вас. Мне в Юрьеве многое мешало, многое смущало меня. Казалось, что вы среди всех этих чужих людей — не настоящий, что вы бросаете подачки какие-то разным Булгариным*, а со мной разговариваете, то и дело *прячась* за тон легкой беседы с недурно выглядящей женщиной за тридцать лет, у которой непременно должна случиться вскоре какая-нибудь сердечная катастрофа.

А вот здесь, дома, читая стихи ваши, вникая в повествование ваше о Толстом, я слышу истинный, ваш, как на духу голос, на который требовательное сердце мое, ревнивое сердце, хочет отзываться со стремительным доверием, и как будто ничто не мешает ему. Это оттого, что я *тоже* знаю скорбь вашу, как отчасти и муку Толстого, то есть остроту этого чувства жизни и „чувства обреченности", как пишете вы, „тленности", быстротечности, невозвратности земных мгновений, не только „плоти мира", но и чувств земных, и отсюда тоска моя, о которой пишу в „Этюде", которую так пронзительно ощутила я, прощаясь с вами в Тапсе».

16 июля 1938 г. Карамзина возвращается к книге Бунина о Толстом: «Хотела писать вам по поводу „Освобождения" разные свои мысли. Но сегодня такая погода, такая игра солнечных пятен на песке и так я полна милым, летним, радостным, что не хочется опять „взрывать недра". Знаете, мы вчера вечером гуляли по лесным скошенным полянкам, по вырубкам, и у каждого пня — кисти земляники. Вечернее солнце — и они, как красные огоньки. Пахло земляникой, сеном, лесом. Мой пятилетний черноглазый Миша то и дело подбегал и угощал ягодками, говорил: „закрой глаза и открой рот" и всыпал мне в рот теплые мятые ягоды. Джек вспугнул ежа, яростно лаял и хватал его. Все кричали на Джека, отнимали ежа, я закинула его в кусты. А днем было что-то совсем из древности. У нас гостит тетя Адя, которую вы видели в Юрьеве, она совсем не родная, но дети ее так зовут и я тоже. Мы сидели с ней в саду, она вышивала, а я читала вслух Maurois „Tourguéniev" **. Это мое чтение по-французски в душистом летнем саду так напомнило что-то доисторическое: сад в нашем Марьине, mademoiselle, прилежная девочка с косичками и madame de Ségur, née Rostopchin...*** — в этой книжке Maurois, в описании России, в описании „Varvara Pétrovna" есть что-то от „Général Dourakine» ****. А вот я только что кончила того же Maurois «Байрона» и восхищаюсь: изящно, умно, тонко — и жутковато *****.

Нет, есть какое-то другое, не оленинское отношение к миру, к его красоте, звучности, к избытку в нем кишащей жизни. И страшно готовиться умереть для того, чтобы после смерти раствориться, чтобы влиться каплей в океан безличного „я", соединяясь с толстовским буддийским богом⟨...⟩

Нет, не буду больше писать про это. Читаю „Освобождение" и долго еще буду читать. Думаю о Толстом, о вас. Что общего между вами? Сила подчинения? Ничего не знаю. Но о Байроне можно писать „со стороны", о Толстом даже читать „со стороны" трудно⟨...⟩

Напишите мне скорее. Вот я и прошу об этом, хотя вы мне сказали, что вы пишете редко и „плохим почерком". Хотела бы я посмотреть на старого Толстого в обстановке ресторана Joseph'a. Помните Левина и устриц ****** — а тут жареный спрут!.. И вкусно?..»

[1] В это время в Испании шла гражданская война между республиканцами и фашистами, поднявшими мятеж, на поддержку которого гитлеровская Германия бросила свои военные силы.

[2] Это письмо Бунина остается неизвестным. Рассказ «Аврора», фотография семьи Карамзиных с видом их дома сохранились в Парижском архиве Бунина; портрет М. В. Карамзиной см. настоящ. кн., стр. 671.

[3] Стихотворение, не понравившееся Бунину, в «Ковчег» не вошло.

[4] Бунин указывает на цитаты из дневника Толстого, приведенные им в книге «Освобождение Толстого», гл. XI (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 98—106).

[5] В Тарту.

[6] Из стихотворения Карамзиной «Ковчег» (полный текст его приведен выше, на стр. 663).

---

* См. примеч. 1 к п. 17.

** Книга Андре Моруа «Тургенев», написанная в жанре художественной биографии, вышла в свет в 1931 г.

*** Софья де Сегюр, гр. (1799—1874)— писательница, дочь известного по 1812 году военного губернатора Москвы Ф. В. Ростопчина. Была автором многих наивно-сентиментальных повестей, которые входили обычно в круг чтения молодых девушек.

**** «Le général Dourakine» (Париж, 1863) — юмористическая повесть С. де Сегюр, в которой рассказывается о путешествии по России генерала Дуракина с семейством и описываются патриархальные помещичьи нравы.

***** Романизированная биография Байрона была издана Андре Моруа в 1930 г.

****** См. «Анна Каренина», часть первая, гл. X.

7

3.IX.38
Villa «La Dominante». Av. de Villaine,
Beausoleil, A. M.

Дорогая Мария Владимировна, вот мы где,— это *над* Монте-Карло, *французская* часть Монте-Карло,— сняли квартиру (с садиком), помесячно, пробудем здесь во всяком случае до 15 октября. Простите, что так долго не отвечал, все ездил — Biarritz, потом Deauville,— а приехав сюда, все спал — от купанья, от морского воздуха. Как вы теперь? Не шутите с почками. Были ли в Юрьеве? И если да, что сказал вам доктор? Жду вашего письма.

Запах «табака» один из самых любимых моих, очень меня волнующий. А у нас запах жасмина — не нашего — тут он мелкий, цветет и теперь. Мы высоко на горе, под нами черепичные крыши города, покато идущие вниз, кипарисы, цветущие олеандры — и синее, синее море, с трех сторон встающее к горизонту.

Почему вы *мне* приписываете то, что я говорю о Толстом? «От *такой* радости ни Толстому, ни другому кому не нужно освобождаться», говорите вы. Но он не от этой радости (которую, как и все свое духовное *я*, считал проявлением бога в нем) жаждал освобождения, а от своей *плотской* формы.

Вы правы — вам нужно «выговориться в этом тоне». И потом — найти «другой». Этот слишком для искусства интимен. «Лучи и тени» очень хорошо написаны, но именно не в меру интимны (что отчасти происходит и от того, что вы взяли опять форму обращения к лицу, о котором пишете) [1]. Пожалуйста, все-таки пишите, дорогая моя,— и пишите не случайно, а планомерно, *чувствуя будущего читателя*. Очень хочется верить, что непременно найдете этот «другой тон»— не должно пропадать все то редкое, что вам дано.

Нередко очень, очень хочется видеть вас.

Целую вашу руку с разными и сильными чувствами.

Ив. Бунин

На конверте: Madame M. Karamzina. Kivióli, 43—2, Eesti. Estonie. Exp.: J. Bounine. Villa «La Dominante». Av. de Villaine, Beausoleil, Alpes Mar⟨itimes⟩. Почт. шт.: Monte-Carlo. 3.IX.38.

Ответ на письмо Карамзиной 6 августа 1938 г., в котором она писала: «... Толстого вашего читаю. Выписки из его дневников о природе отметила. Но от *такой* радости ни ему, ни другому кому не нужно освобождаться. *Это* не мара *...»

Карамзина ответила Бунину на это письмо 17 сентября 1938 г.:

«... Политическое положение грозное. Думаю о вас и в связи с событиями, которые каждую минуту могут разразиться **. Не понимаю, т. е. не представляю себе, чего именно надо ждать и желать, и только страшусь за всех, кто так или иначе дорог и кто далеко. Боюсь отрезанности, неведения. Пожалуйста, пишите пока можно ⟨...⟩ В Юрьеве мы останавливались у докторши Бежаницкой ***,— помните, где мы с вами обедали в последний день перед отъездом, откуда пошли на вокзал⟨...⟩

Мне жаль, что вы не побывали в Печорах. Я была там теперь в первый раз, монастырей в России видела довольно много, но впечатление от Печор большое...**** А перед Юрьевым были мы у наших друзей Рентельн в имении. Это то самое имение, где обстановка кабинета вся из вещей, принадлежавших Жуковскому⟨...⟩***** Там я жила девять

---

* Призрак, наваждение (*обл.*).

** Признаками приближения новой мировой войны явились захват гитлеровской Германией Австрии (март 1938 г.), угроза, нависшая над Чехословакией, подготовка Мюнхенского соглашения (конец сентября 1938 г.).

*** Клавдия Николаевна *Бежаницкая* — детский врач, знакомая Карамзиных по Тарту (см. в воспоминаниях В. В. Шмидт — настоящ. том, кн. 2).

**** «Печоры» — Покровско-Печорский монастырь в 50 км от Пскова, близ г. Изборска. До 1940 г. находился на территории Эстонии.

***** По сообщению К. Н. Бежаницкой, имение баронов Рентельн Prāma (б. Бремерфельд) находилось близ г. Пайде, Эстонской ССР.

лет тому назад целое лето, пока шел развод — и до свадьбы с Василием Александровичем. Много тогда я сиживала на диване Жуковского. Девять лет — немалый срок. И хозяева и мы постарели, дети выросли — и знаете, что было ужасно грустно видеть?— Собак. Их там штук шесть охотничьих легавых — и одна сибирская лайка, якутка. Все эти собаки были молодыми девять лет тому назад, а теперь они с одышкой, облезлые, хрипучие».

[1] Текст этого рассказа остается неизвестным.

8

Villa «La Dominante». Av. de Villaine
Beausoleil, A. M,
⟨6 октября 1938 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, опять простите бога ради за молчание — ужасные дни были! И сейчас только два слова,— еду искать новую квартиру — хозяин здешний требует: или съезжайте, или оставайтесь до 15 мая. А последнего я не могу. Вы спрашивали: получил ли я ваше то письмо со стихами, где были лепестки цветов?[1] Да, получил, да тогда тоже все ездил, не поблагодарил вовремя — прошу простить, благодарю сердечно. Теперь спрашиваете о книге стихов: конечно, издавайте, конечно, пришлите мне тетрадь (хотя выбирать должен непременно сам автор). Целую руку.

Ваш Ив. Бунин

6.X.38

На конверте: Madame M. Karamzina, Raudtee tän 43—2. Kivi̇̃oli. Eesti, Estonie. Почт. шт.: Monte-Carlo, 6.X.38.

[1] Упоминаемого Буниным письма со стихами в нашем распоряжении нет.

9

⟨Beausoleil, 10 октября 1938 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, простите, забыл прошлый раз поблагодарить вас за стихи — рад, что пишете их — теперь несколько косноязычно, но по-прежнему хорошо. Кланяюсь вам — и позвольте прибавить — вашему мужу.

И. Б.

Адрес: Madame M. Karamzina. Kivi̇̃oli, Eesti (Estonie). Почт. шт.: Monte-Carlo, 10.X.38.

Открытка с фотографией и подписью: Provence. Collection Rella «La Côte d'Azur». Дата отправления определена по почтовому штемпелю; место отправления — по п. 8.

10

⟨Beausoleil, 22 октября 1938 г.

Дорогая Мария Владимировна, я остаюсь в Beausoleil — вернее всего на всю зиму. Жду стихов. Целую вашу руку.

Ив. Б.

22.X.38

Адрес: Madame M. Karamzina. Kivi̇̃oli, Eesti, Estonie. Почт. шт.: Monte-Carlo, 22.X.8.

Открытка той же фотографией, что на п. 9. Место отправления определено по п. 8.

11

‹Beausoleil, 9 ноября 1938 г.›

Дорогая Мария Владимировна, был несколько дней в отъезде, поэтому только вчера получил вашу рукопись [1]. Завтра, надеюсь, вышлю ее вам обратно.

Ваш Ив. Б.

9.XI.38

Адрес: Madame M. Karamzina. Raudtee t. 43—2. Kivĩoli, Eesti. Esthonie. Почт. шт.: Monte-Carlo, 9.XI.38.

Открытка с правилами игры в рулетку в Монако. Место отправления определено по п. 8.

[1] Рукопись со стихами, составившими сб. «Ковчег» (см. п. 12).

12

‹Beausoleil› 10.XI.38

Дорогая Мария Владимировна, возвращаю стихи. Тронут, что среди них есть одно с моими инициалами [1]. 1) Как озаглавить сборник? «Стихи» — уж очень сухо. По-моему, «Ковчег» можно. 2) Переводы, конечно, не нужно включать. 3) «Из старой тетради» не лучше ли поставить в конец? Пересмотрите этот отдел — может быть, кое-что отмеченное мною выкинете из него?— Вот и все мои замечания (мелкие я сделал кое-где на рукописи карандашом) [2]. Вы предлагали мне посоветовать вам, что *вообще* выкинуть из сборника: не решаюсь советовать — это должен делать сам поэт. Ведь бывает, что ему кое-что дорого по чему-нибудь личному. Кроме того, у меня есть просто порок — все сокращать, «просевать»...

Дорогой друг, от всей души желаю, чтобы вам эта книга дала радость, выйдя в свет. Сердечно обнимаю вас.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Возвращаю «Лучи и тени», может быть, вам это понадобится.

На конверте: Madame M. Karamzina. Kivĩoli. Eesti. (Esthonie) ‹*Конверт без марки и почтового штемпеля; он был, очевидно, послан в пакете со стихами*›.

Ответ на письмо, которое нам неизвестно.

17 ноября 1938 г. Карамзина ответила Бунину: «Тетрадь с вашими пометками буду хранить, а стихи перепишу наново, кое-что выкину, кое-что постараюсь исправить, сообразуясь с вашими замечаниями. Как только кончу, сдам в типографию, они берутся что-то очень быстро напечатать. Всего будет 250 экземпляров.

Вы пишете, что желаете, чтобы книга, выйдя в свет, принесла мне радость. Спасибо за эти слова, за наименование „дорогой друг“. Мне грустно оттого, что я вряд ли когда-нибудь сумею выразить то большое, нежное и благодарное чувство к вам, которое все растет во мне».

28 декабря 1938 г. Карамзина, посылая Бунину экземпляр своей книги, писала: «Дорогой Иван Алексеевич! Посылаю вам „Ковчег“, только еще появившийся на свет. Получила пробные десять экземпляров, а в продажу и более широкое распространение он поступит после Нового года, ибо дата на нем 1939. Маленький он и скромный, и какой-то кустарный — не правда ли?..»

[1] Стихотворение «И. А. Б.» («Ковчег», стр. 56).

[2] Эта тетрадь с пометами Бунина не сохранилась.

13

‹Париж, 2 января 1939 г.›

Дорогая моя, с праздниками, с Новым годом, дай бог всего доброго вам и всему вашему дому. Я приехал недели на две в Париж. Нынче с радостью получил вашу книгу. *Все очень выигрывает в печати.* Целую вашу руку.

2.I.39 И. Б.

Адрес: Madame M. Karamzina. Kivioli, 43—2. Eesti. Estonie. Почт. шт.: Paris, 2.I.1939.

Открытка с репродукцией картины Н. А. Кошелева «Офеня-коробейник». Издано в Москве, 1933. Место отправления определено по тексту и почтовому штемпелю.

14

1, rue Jacques Offenbach. Paris, 16
⟨10 января 1939 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, очень огорчен вашей болезнью, дай бог, чтобы она поскорее и хорошо кончилась. Насчет «Ковчега» запаситесь мужеством — добрых отзывов не жду, тут всякого нового человека встречают подозрительно, чаще всего с кислыми минами — тут *все* всем надоело. Простите, что так жестоко пишу: пишу затем, чтобы вы не думали в случае неблагоприятных отзывов, что дело в качестве ваших стихов — дело в качествах критиков. Адамовичу [1] я, для ускорения его отзыва, послал на юг (он сейчас в Ницце) свой экземпляр (он мне его возвратит на днях). Ходасевичу [2] пошлите с надписью: «Глубокоуважаемому Владиславу Фелициановичу Ходасевичу»— Monsieur V. Hodassevitch, 46, Avenue Victor Hugo, Boulogne *sur Seine*. Михаил Осипович Цетлин [3] очень хороший человек, но в отзывах о новых писателях *очень* робкий. Пошлите ему книгу на адрес «Современных записок»: Monsieur M. Zetlin, «Annales contemporaines», 6, rue Daniel, Paris 13e.

Пошлите еще в «Русские записки» — просто на редакцию (я поговорю с ней, чтобы дали книгу подходящему человеку): «Annales Russes», 51, rue de Turbigo, Paris 3e. А вместе с тем пошлите и Бицилли Петру Михайловичу [4]: Monsieur le professeur P. Bizilli, Varbica, 2, Sofia IV, Bulgarie. Кому еще? Не вижу никого.

Я пробуду здесь еще дней десять. Потом опять в Beausoleil.

Целую вашу руку от всей души. Кланяюсь вашему мужу.

10.I.39 Ваш Ив. Бунин

P. S. Послал вам три последних рассказа [5]. Сижу здесь ради корректуры «Молодости Арсеньева» (продолжение «Жизни») [6], которую выпускаю отдельной книжкой. Я вам, кажется, уже писал об этом.

На конверте: Madame M. Karamzina. Kivioli, 43—2, Eesti (Estonie). Почт. шт.: Paris, 10.I.39.

Ответ на письмо, которое нам неизвестно.

[1] О рецензии Г. В. Адамовича на «Ковчег» см. примеч. 4 к п. 16.

[2] Владислав Фелицианович *Ходасевич* (1886—1939) — поэт и литературный критик. О его статье по поводу «Ковчега» см. п. 16 и примеч. к нему.

[3] *М. О. Цетлин* (1882—1945) — поэт, один из издателей «Современных записок», критик.

[4] *П. М. Бицилли* (1879—1953) — профессор Софийского университета. См. переписку Бунина и Бицилли: А. Мещерский. «Неизвестные письма И. Бунина» («Русская литература», 1961, № 4, стр. 152—158).

[5] Газетные вырезки с рассказами: 1) «Степа» («Последние новости», 1938, № 6419, 23 октября.— См. Собр. соч. 1965—1967, т. 7, стр. 24—29); 2) «Муза» (та же газета, 1938, № 6426, 30 октября — см. т. 7, стр. 30—36); 3) «Поздний час» (та же газета, 1938, № 6467, 11 декабря — см. т. 7, стр. 37—43). На обороте каждой из вырезок пометы Карамзиной: «Прислано И. А-чем в январе 1939 г.»

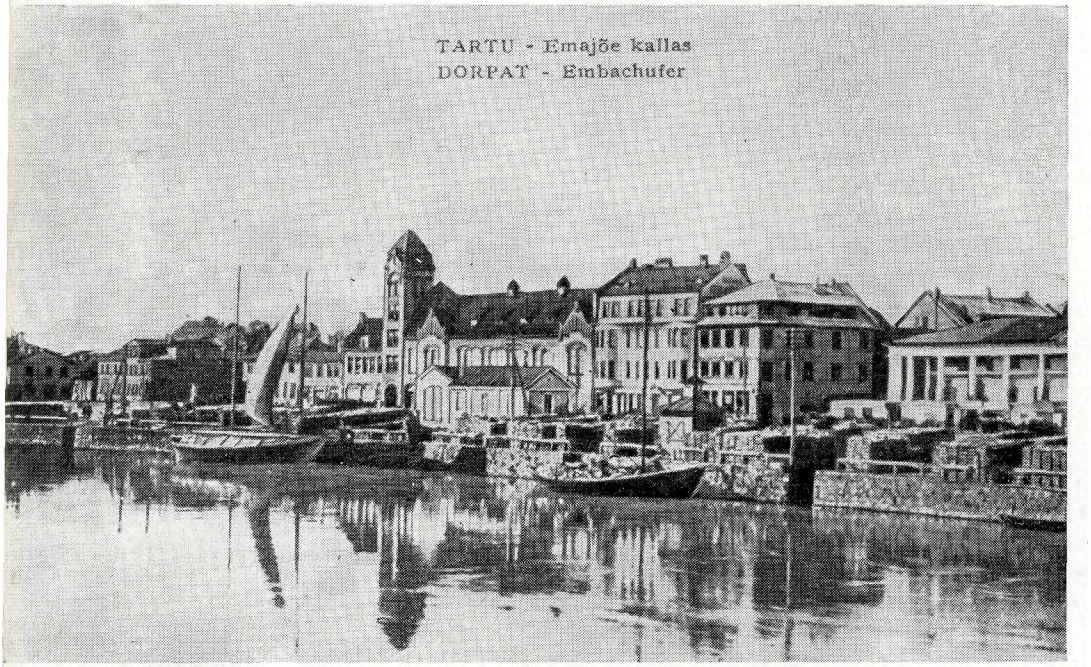
[6] «Жизнь Арсеньева. Роман. II. Лика», Брюссель, 1939.

15

⟨Париж, 9 февраля 1939 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, давно нет от вас вестей. Беспокоюсь. Как здоровье? Целую вашу руку.

Ив. Бунин



ТАРТУ. НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ЭМАЙЫГИ

Открытка, 1930-е годы

Во время Великой Отечественной войны здания на набережной были разрушены

Собрание В. В. Шмидт, Тарту

Адрес: Madame M. Karamzina. Kiviõli. Eesti. Estonie. Почт. шт.: Paris, 9.2.39. Открытка с фотографией и подписью: Col de la Cayolle.— Vue sur la Vallée du Var et la Route d'Entraunes.

Дата и место отправления определены по почтовому штемпелю.

16

21.II.39. 25, av. de Villaine. Beausoleil, A. M.

Дорогая Мария Владимировна, очень, очень рад, что вы выздоравливаете,— дай бог не сглазить,— и очень, очень благодарю вас за ваши письма. Я приехал сюда уже несколько дней тому назад, но не мог сразу ответить на них,—очень утомил меня Париж и всей той жизнью, которой как-то невольно живешь всегда в нем, и своим климатом: я *целых три раза* хворал там гриппом! Мучился и корректурой книги (которая выйдет, вероятно, к 1 марта) [1] — как всегда это бывает, выпуская книгу в свет, вдруг начинаешь чувствовать, что все это опять не то, не то. Кстати,— простите это слово,— какая вы умница,— как хорошо то, что вы оценили эти слова: «И взгляд его стал *тверд* и *весел*»!

Жду вашего рассказа,— когда вы его написали и о чем?— с большим удовольствием нашел в ваших новых стихах * какой-то новый звук, чистоту и точность выражений,— выздоравливайте поскорей совсем и побольше и понапряженней пишите. (Понравилось, между прочим, что вы

* Отчего бы вам не послать эти стихи в «Русские записки»? «Annales Russes», 51, rue de Turbigo, Paris, 3e, *на имя редактора* (Павла Николаевича Милюкова).

вместо «*узорный* край шатра» написали «косматый»[2]). А Пильский[3] меня восхитил — талантливый и смелый человек — не то, что Адамович[4] всегда действительно «сдержанный и не очень ясный», или Ходасевич, всегда таящий в себе некую кислую мину («все знаю, все надоело!»). Заметку о вас он написал (в фельетоне о разных сборниках стихов) — она (для того, кто знает эту его мину) неплоха; я думал, что вы читаете «Возрождение», и потому не послал вам ее — жаль! Напишите ему два словечка — он, я думаю, вышлет вам ее,— будет польщен, что вы так дорожите его отзывом. Адамовича зовут Георгий Викторович, домашнего его адреса я сейчас не знаю — пошлите ему книгу на «Последние новости». А что до вашей надписи мне на «Ковчеге», то я был бы просто обижен, если бы вы надписали «Глубокоуважаемому»[5]. Да хранит вас бог, целую вашу руку.

Ваш Ив. Б.

Совершенно прекрасно описали вы Веру Шмидт.

На конверте: Madame M. Karamzina. Raudtee 43—2. Kiviõli. Eesti (Estonie). Exp.: J. Bounine. 25, av. de Villaine. Beausoleil. A. M. Почт. шт.: Beausoleil. 21.2.39.

Ответ на письма Карамзиной 27 января (см. ниже, примеч. 5) и 13 февраля 1939. В последнем она писала:

«Я писала вам из Юрьева, из клиники, где я провела три недели... Я оттуда рассылала „Ковчег“ и письма, туда В. А. ‹Карамзин.— *А. Б.*› переслал ваше письмо и рецензию Адамовича, которая меня очень обрадовала и ободрила. Приходила милая Верочка Шмидт, читала мне свои стихи, обрывки стихов,— я обо всем этом писала вам в моем недошедшем письме‹...› Ходасевичу я, в числе других указанных вами лиц, послала „Ковчег“ еще из Юрьева и написала ему письмо. Дело в том, что лет десять тому назад, еще до моего теперешнего замужества, а когда я была Гримм, я посылала ему мои стихи, и он очень любезно отвечал мне и разбирал их. Потом произошла эта перемена в моей жизни, очень трудный кризис, во время которого я совсем не писала. Переписка наша прекратилась. Потом... было написано стихотворение „Ковчег“ и несколько других. Я ему их послала. Он отозвался очень сердечно, но стихи раскритиковал, а на следующую посылку вообще не ответил. У меня было чувство, что он разочаровался и не верит больше в то, что я могу писать. Это было для меня большим огорчением, и на некоторое время я и вовсе прекратила писать стихи».

Отвечая на это письмо Бунина, Карамзина писала 1 марта 1939 г.:

«Дорогой Иван Алексеевич! Спасибо за ласковое, доброе, хорошее письмо. Ваше поощрение для меня радость, но вы меня много хвалите и этим избалуете, я уже и так, кажется, возгордилась. Рецензию Ходасевича мне прислал Пильский. Это немножко отписка, но все-таки доброжелательная, а что до ученических стихов, так ведь он прав, их в „Ковчеге“ немало. Вот стихи в „Казачьем альманахе“ он в той же статье расхвалил без всякой кислой мины, особенно какую-то Марию Волкову, о ней прямо восторженно отозвался. Я бы хотела прочесть ее стихотворение, чтобы знать, что именно Ходасевичу нравится. Одно стихотворение, про которое он выразился, что оно — самое значительное из всего, написанного в эмигрантской поэзии, я знаю: это „Роландов Рог“ Марины Цветаевой — помните его? П. М. Бицилли написал мне открытку, в которой поблагодарил за присылку „Ковчега“. О том, понравился он ему или нет,— ни слова...»

[1] См. примеч. 6 к п. 14.

[2] Из стихотворения Карамзиной (без заглавия):

Косматый край шатра я отогнула.
Где кони ржут, откуда голоса?..

[3] Петр Моисеевич *Пильский* (1876—1942) — литературный критик. Он писал в рецензии «Ковчег. Книга стихотворений М. В. Карамзиной»: «Очень приятен тон этой книги,— благородный тон скромной и умной печали, серьезных и тихих дум, искренних, ненавязчивых признаний. В этих стихах ощущается очень чистое дыхание, ни в словах, ни в настроениях нет затуманенности: все прояснено и даже просветлено. У М. В. Карамзиной ясное видение (ударение на первом слоге). Пленяющий мотив книги поет о верности и покорности. Это — исповедь скромной, в то же время смелой души, умеющей смотреть прямо в глаза и огорчительной правде, и жизни, и будущему („Мольба моя о грядущем, О прошлом — моя тоска“) ‹...› В этих стихах прельщает хороший вкус к слову, к эпитету, к смелым образам, к красивым и тонким вещам, немногим избранным людям, ко всему тому, что в жизни встречается не часто, но и не редко,— ничего не надо изобретать! И потому „Люблю дымок от папиросы,/ У желтой лампы вечера, /Над старой книгой иль картиной/ Пробора узкого наклон —

/И дружбу умную с мужчиной,/ Который не в меня влюблен". У Карамзиной, вообще, хороши и удачны концы стихотворений <...> Можно не делать вывода, можно не пояснять, что Карамзина — настоящий поэт большого духовного и литературного благородства» (Газ. «Сегодня». Рига, 1939, январь-февраль).

[4] В последние годы Бунин отзывался об Адамовиче без оттенка сомнения, звучащего здесь. В письме к Н. В. Кодрянской 20 июня 1951 г. он писал: «А лучший критик в эмиграции, в Париже, Адамович» (ГБЛ, ф. 503).

О книге Карамзиной Адамович писал: «„Ковчег" М. В. Карамзиной — сборник стихов, прельщающий не только чистотой чувств и словесного их выражения, но и присутствием мысли. О размерах дарования автора судить еще трудно. Однако стиль его творчества и направление, им избранное, привлекают к нему внимание <...> У автора „Ковчега" еще нет того, что обычно мы называем „своим голосом". Правда, она избрала путь, на котором пробиться к отчетливому отражению своей, неповторимой индивидуальности в слове нелегко; она отказалась от „индивидуальничанья", от манерности, от капризничанья... Но все-таки поэт настоящий узнается только потому, что он старые слова по-новому произнес. В памяти на десятилетия и века остается не смысл слов, а тембр голоса. У Карамзиной его еще нельзя отличить от других, знакомых голосов. Пишу „еще", с надеждой, что ждать придется не долго» («Последние новости», Париж, 1939, № 6499, 12 января).

[5] 27 января 1939 г. Карамзина писала Бунину: «На экземпляре „Ковчега", посланного вам, я написала просто „дорогому Ивану Алексеевичу". Я не подумала, что вы можете ведь показать его другим, или, вот, даже дать на время — как было с Адамовичем. Надо было написать „глубокоуважаемому". Но мне вообще было трудно сделать эту надпись,— слишком многое хотелось в нее вложить — из всех эпитетов слово „дорогой" все-таки лучше выражало мои чувства. Простите за эту неловкость<...>

Меня тут посещали многие — помните? Булгарины, Курчинские *, разная молодежь-то и разослала книжки мои, а я делала надписи. Бывала милая Верочка Шмидт, такая на всех непохожая. Помните ее глаза, брови, полыхание румянца и это странное выражение лица — очень страстное и очень чистое вместе? Она читала мне свои отрывочные стихи, обрывки стихов, и мы много с ней говорили...»

17

<Ницца> 29. III. 1939

Дорогая Мария Владимировна, извините — прежде всего просьба — а то боюсь забуду: напишите мне на открытке два слова — как по батюшке зовут Валерию Булгарину? [1] Прислала мне свои воспоминания о Толстом (упорно говорит: граф), просит прочесть, где-нибудь устроить — надо ответить. Затем, пожалуйста, простите меня за столь поздний ответ на ваше письмо еще от 1 марта [2]: получив его, хворал немного, потом ударился искать пристанище на лето — в Монте-Карло летом жарко — ничего не нашел по своим скудным средствам и взял опять «Belvédère» в Grasse (куда мы переедем 1 мая), потом надо было срочно «сочинять», что я делаю всегда, уже не делая ничего другого, не читая ни писем, ни газет, не отвечая на письма ко мне... Так вот и шло — кланяюсь низко — простите!

Теперь отвечаю по пунктам.

Я вас «слишком много хвалю». Это не беда — вы не из тех, кому это может быть во вред.

«Роландов Рог» не помню — не выношу этой психопатки с оловянными глазами, способной, но бесстыдной, безвкусной и т. д. [3] (Перо — как ржавая иголка, как везде в кафе, на почтах, в полиции — простите эти каракули.)

Волкову [4] не читал. Ходасевич всегда такой — чего моя нога хочет — вот захочу и превознесу, захочу — в порошок сотру или по плечу похлопаю.

За отзывы о моих рассказах — большое спасибо, дорогая моя, я очень ценю ваше мнение. «Поздний час» [5] — сплошная выдумка (как, впрочем, и *все* эти рассказы).

---

* О Булгариных см. п. 17. Михаил Анатольевич Курчинский — профессор юридического факультета Тартуского университета.

Очень, очень рад, что поправляетесь — надеюсь, теперь уже совсем здоровы.

Жду «Счастье» ⟨...⟩ *

Сирин все-таки нестерпим — лихач возле ночного кабака, хотя и замечательный [6].

За стихи опять позвольте «похвалить»— говорю вполне искренно. Меня задело только слово «*озорною* ночкой», потом «урема», «Ты» с большой буквы (хотя трудно иначе)...

Всего доброго вам и всему вашему дому.

Ваш Ив. Б.

P. S. Позавчера послал вам «Лику».

На конверте: Madame M. Karamzine. Kiviõli, Eesti, Estonie. Почт. шт.: Nice, 29 mars 1939. На бумаге с бланком: «Café-restaurant Monnot. Place Masséna, Nice».

Ответ на письмо Карамзиной 1 марта 1939 г.

[1] Валерия Владимировна *Булгарина* (рожд. Рокасовская) — жена Вячеслава Болеславовича Булгарина, который был потомком Фаддея Венедиктовича Булгарина (из письма К. Н. Бежаницкой, сентябрь 1968).

Бунин, будучи в Тарту в 1938 г., посетил Булгариных. Тогда Валерия Владимировна жила в Тарту. «Иван Алексеевич не был особенно любезен за ужином у Булгариных, хотя они устроили для него целый банкет, он как-то был сдержанно-холоден, не то что на другой день у профессора Курчинского ...» (письмо В. В. Шмидт автору комментария, 25 апреля 1968 г.).

[2] Письмо Карамзиной 1 марта 1939 г. см. в примеч. к п. 16.

[3] «Роландов Рог» (1921) — стихотворение Марины Цветаевой.

[4] О ней Л. Ф. Зуров писал: «Волкова, Мария Вячеславовна. Родилась в Западной Сибири (у подножия Тян-Шаня), детство, отрочество и юность прошли в Петрограде, в Сибири, а молодость и зрелые годы — вне родины. По происхождению казачка, почему до минувшей войны сотрудничала больше в казачьих изданиях Парижа и Дальнего Востока. После войны печаталась главным образом в парижской газете („Русская мысль")» (письмо Л. Ф. Зурова 25 апреля 1969 г. — автору комментария).

[5] Рассказ вошел в книгу «Темные аллеи».

[6] *Сирин* (псевд. Владимира Владимировича Набокова, род. 1899 г.) — эмигрант, писатель, в повествовательной манере которого есть сходство с творчеством Пруста, Джойса и Кафки. Сюжеты его произведений часто основаны на необычайном сочетании фактов, фантастичны и символичны (см. о нем также настоящ. кн., стр. 49).

18

10.IV.39. Beausoleil, A. M.

Христос воскресе, дорогая Мария Владимировна, троекратно целую вас и поздравляю вместе с Верой Николаевной весь ваш дом с праздником.

Чрезвычайно тронут вашим письмом. И как это удивительно,— верно, навеки простились мы с вами тогда на станции! Может быть, я уже писал вам это, да я часто думаю так.

Многое порадовало меня в вашем письме о Лике,— вы заметили многое из того, что мне хотелось, чтобы было замечено.

Образ ее неясен? А мне казалось, что он ясно вышел — в смысле общеженского молодого, в его переменчивости, порождаемой изменением ее чувств к «герою», кончившимся преданностью ему навеки. Я только *это* и хотел написать,— не резко реальный образ,— резкость уменьшила бы его тайную прелесть и трогательность. Этому намерению (нет, не намерению, а чувству) способствовало и то, что ведь *вся* моя книга сплошь выдумана (на основании только *некоторой сути* пережитого мною в молодости — и в моей первой сильной любви — к девушке, как земля от неба отличной от Лики и умершей, кстати сказать, только в 1917 году, весной, бывшей больше двадцати лет замужем за другим и имевшей дочку, лет 15-ти умершую от чахотки, на пути из Швейцарии в Россию через Шве-

* *В автографе зачеркнуто четыре строк и. Зачеркивание не авторское.*

цию — во второй год войны) [1]. Да, не дивитесь, поверьте — *в е с ь* этот роман выдуман *чуть не во всех подробностях даже* — из действительности я взял одну тысячную долю бывшего. Правду писать я бы не мог — было бы бесстыдно быть таким интимным, да и скучна правда — скучно ее писать,— то ли дело врать, выдумывать, волноваться выдумкой, доводить ее до *крайней* убедительности! Вот и вы, дорогая моя,— оттого вам еще трудно писать, что не перешли вы еще в «ложь» (на *сути* правды, конечно, основанную). От всей души желаю вам этого перехода.

У нас уже настоящий рай. А мне, увы, надо ехать на днях в Париж *. Вера Николаевна (с той женщиной, которая живет у нас с своей девочкой шестилетней, совершенно очаровательной [2],—«а у нас тоже будут на Пасху бкорки (окорока́)?») переедет в Грасс к 1 мая, верно, без меня.

До свидания, дорогой друг.

Ваш Ив. Б.

P. S. Возвращаю вам Пильского — для вашего «архива». Была ли его статья о «Лике»? [3] Я «Сегодня» не получаю.

На конверте: Madame M. Karamzina, Kiviõli, Eesti (Estonie). Почт. шт.: Monte-Carlo, 10.IV.39.

Ответ на письма Карамзиной 2 и 3 апреля 1939 г. В первом из них она писала: «Только что прочла „Лику“ всю, залпом... А пришла она два дня тому назад, но я только обглядела ее, не разрезая, прочла вашу надпись, заметила ваши поправки, пробежала две-три строчки там, где страницы раскрывались, и положила на полку до конца говения. Что скажу вам о ней? Прежде всего то, что я читала ее не как литературное произведение, и даже вообще как бы не читала, а *погрузилась* в ее глубь, печаль, нежность, молодость, кротость. Это самое нежное из всего вашего в прозе, что я знаю. Не думайте, что я отожествляю Арсеньева с вами, но волшебство этой книги таково, что я именно *была* в ней, была в чем-то таком, где на каждом шагу узнавала бесконечно милое, родное, давнее, для меня теперешней тоже уже прошедшее, ушедшее, юное, а вместе с тем являющееся в настоящем какою-то частью моего чувствования вас, привязанности к вам, того, что, например, так незабываемо пронзило меня при нашем прощании в Тапсе. Того, что было „*за*“ этим прощанием, чему я не знаю другого названия, как терпкая, жгучая печаль и покорность, печаль не „по поводу“, а *вообще*,— „*за*“ жизнерадостностью и жадностью, „*за*“ ежедневными человеческими чувствами...»

3 апреля Карамзина снова писала Бунину: «Я вчера пропустила очень важную главу VIII, которая вся прекрасна и значительна очень,— и эти слова Лики: „Ну, миленький, о чем же тут писать! Что же все *погоду* описывать!“ Это не в бровь, а в глаз всей этой обывательщине, высокомерно критикующей. Заметила я еще, то есть показалось мне, что недаром сама Лика так нехарактерна, так неясно очерчена. Что любил в ней Арсеньев, почему именно ее полюбил он? В его воспоминаниях о ней нет ни одной черты собственно Ликиной, она вся какое-то имя нарицательное, вообще юношеская любовь, объект для того, чтобы „любить в ней первую любовь“. В этой книге Лика — фон, а Арсеньев, конечно, главное. И на фоне Лики Арсеньев удивительно *живой* и удивительно ясно-*юношеский*. Так ли, верно ли? А в последних строках слова́: „Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда...“ кажется мне, подтверждают мою догадку. В жизни на самом деле, к живому человеку и нельзя, невозможно испытать такой близкости, как к „смутно“ ощущаемому во сне, потому, что во сне — сознательно или бессознательно — *властвует*, чувствуя за двоих, тот, кто видит сон — Арсеньев. Это удивительное завершение книги о Лике — этот *сон* о ней.— Я пишу вам, а под боком у меня двое мальчишек рисуют, ссорятся из-за резинки и без умолку тараторят,— я едва могу уловить слова для того, чтобы выразить мои мысли,— простите за неуклюжесть! Я немного боюсь послать вам это письмо, потому что я слишком смело высказываюсь в нем, но я знаю, что вам совершенно не нужны „общие слова“, которые я могла бы написать.

Что вы „сочинили“? Когда можно будет, напишите!

Мы оба с мужем шлем вам и Вере Николаевне наши сердечные поздравления к наступающему празднику ⟨...⟩ Пусть вам хорошо будет в Грассе. Я его заочно люблю, потому что там так много вашего написано.

Спасибо за ласку, за поощрение, за токи, которые должны были бы „окрылить“ на писание, а я вот такой тяжеловес, такой тугодум — камни какие-то вокруг и

* Адрес прежний — 1, rue Jacques Offenbach, Paris, 16e.

внутри себя ворочаю — и ни с места. Хоть бы мне чуточку от лихости Марины Цветаевой для начала».

[1] О В. В. Пащенко, являющейся прообразом Лики, см. «Материалы», стр. 25—43, 47—50. Дата ее смерти указана Буниным неточно — она умерла в 1918 г.

[2] «Та женщина» — Елена Николаевна Жирова (в переписке Буниных — «Ляля»; год рожд. неизв.— ум. 9 февраля 1960), была замужем за Н. Я. Рощиным. Девочка — Ольга Жирова, ее дочь (ум. в 1963 г.).

[3] Статья Петра Пильского «Лика. Новый роман Ив. Бунина» была напечатана в газете «Сегодня», Рига, 1939, № 102, 13 апреля.

19

Villa «Belvédère», Grasse, A. M.
⟨23 мая 1939 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, пожалуйста, пожалуйста, простите за молчание; приехав в Париж, я вскоре «упал вверх кармашками» — очень заболел простудой, что осложнилось еще той странной болезнью, которая бывает у меня иногда раз или два в год, иногда раз в два года: ужасной болью правого виска, брови и глаза, при которой я должен с утра до вечера отравляться пирамидоном, хинином, аспирином и т. д. и весь день лежать, уткнувшись головой в подушку. Сюда я приехал только на днях, страшно слабый умом, телом и душой. Поправляюсь медленно — тем более, что такого холода и таких дождей я в Грассе просто не запомню. Поправлюсь — напишу вам как следует, а сейчас только прошу у вас прощения и осведомляю вас.

Я все получил — и рассказ, и Пильского, и письмо ваше, и открытку со стихами. Получил ли «Витязя»— не помню — повторяю, «лежал во все горло», идиотом. Напишу в «Русские записки» насчет рецензии на «Ковчег». Стихи ваши мне очень понравились, рассказ — простите — не удовлетворил: конечно, написан, как все вы пишете, чисто, умно, ладно, но — не сжато, не крепко, а главное — с неожиданным и неубедительным концом, то есть с этой внезапной и не очень понятной тетей Верой и любовью к ней героя рассказа. Я очень, очень был бы рад, если бы вы где-нибудь начали печататься: это подтянуло бы вас в писании, стало бы завлекать в него — и т. д. Но где можно печататься? Не вижу такого места в Париже.

Целую вашу руку, дорогая моя, поклон от меня и Веры Николаевны всему вашему дому.

Ваш Ив. Бунин

Рассказ высылаю.

На конверте: Madame Karamzine. Kiviõli, Eesti, Estonie. Exp.: Bounine. Villa «Belvédère». Grasse, A. M. Почт. шт.: Grasse, 23.5.39.

Датируется по почтовому штемпелю. Ответ на неизвестное письмо Карамзиной.

20

21. VI.39
Villa «Belvédère», Grasse, A. M.

Дорогая Мария Владимировна, погода стоит у нас до сих пор просто небывалая, и я все еще валяюсь с книжками в руках, все еще слаб, туп — оттого и не писал вам. Спасибо за карточку,— мальчики ваши просто прелесть, дай бог не сглазить,— спасибо за сердечность вашего письма.

Стихи о России пишутся чаще всего риторически,— таковы они у Тютчева, Хомякова, Аксакова, даже у Пушкина, — риторично и ваше, хотя местами очень хорошо, и не пишите вы таких стихов, если не хочется.

Тут-то, верно, хотелось, но я говорю вообще — не слушайте упрекающих вас за отсутствие «патриотических» стихов, ну их, извините, к черту, и не вменяйте себе в обязанность быть «патриотическим» поэтом. Второе ваше стихотворение мне больше нравится, в нем есть совсем чудесные слова, но позвольте быть и тут откровенным — есть и в нем риторика (и непонятность). Но все это не беда,— главное, пишите почаще, побольше — в нашем деле очень важно почти не выходить из некоторого опьянения и внутренней и внешней работой.

Что до прозы, то напрасно вы жалуетесь на вашу «бездарность» в ней и на «правдивость» вашей натуры. Правдивость не может мешать лжи в смысле выдумки. Вот как прекрасно вы написали несколько строк про то, как были на тяге — присочинивши что-нибудь к подобным строкам, к подобному вечеру, можно написать отличный рассказ. Вы просто очень мало опытны в этом деле,— поработайте над прозой год, два — и, убежден, окажется, что вы вовсе не «бездарны».

Целую вашу руку, дорогая моя.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Получили ли ответ от Милюкова? [1]

На конверте: Madame M. Karamzine, Kiviõli (Raudt. 43—2), Eesti (Estonie). Почт. шт.: Grasse, 22.VI.39.

Ответ на неизвестное нам письмо Карамзиной.

[1] Ответ — относительно предполагаемой публикации стихов Карамзиной в «Русских записках» (см. п. 16 и 19).

21

⟨Грасс, 25 июня 1939 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, несмотря на фей, стихи мне понравились (кроме «волшебного *излишка*»— и ненужных многоточий в двух местах). Пошлите в «Русские записки». Откажут — опять шлите что-нибудь. И так без конца: пробиваться надо упорно и долго. Я чувствую себя лучше, хотя все еще холод, тучи и дождь. Ходасевича, конечно, жалко — все-таки он был не чета прочим, многим теперешним стихотворцам и критикам (хотя далеко не все понимал) [1]. Сердечный привет вам и вашему мужу от меня и Веры Николаевны.

Ив. Б.

25.VI.39

P. S. Все лежу и читаю. Перечитал дневники и письма Алексея Константиновича Толстого. Совершенно удивительный был человек (и поэт, конечно)! [2] Достаньте издание Маркса и перечитайте [3].

На обороте: Madame M. Karamzine. Kiviõli, 43—2, Eesti (Estonie). Почт. шт.: Grasse, 26.6.39.

Открытка. Ответ на неизвестное нам письмо Карамзиной.

[1] Отклик на известие о смерти В. Ф. Ходасевича.

[2] В статье, посвященной 50-летию со дня смерти А. К. Толстого, Бунин писал: «Гр. А. К. Толстой есть один из самых замечательных русских людей и писателей, еще и доселе недостаточно оцененный, недостаточно понятый и уже забываемый». По словам Бунина, «произведения Толстого есть лучшее доказательство богатства его натуры и его разносторонности, столь отличной от искусственной и бездушной „многогранности“ наших современников» (газ. «Возрождение». Париж, 1925, № 132, 12 октября).

[3] Полное собрание сочинений А. К. Толстого (т. I—III) было выпущено А. Ф. Марксом в качестве приложения к «Ниве» за 1907 г. Последний, IV том (дневники и письма) был издан в 1908 г.

М. В. КАРАМЗИНА
С СЫНОВЬЯМИ
САШЕЙ И МИШЕЙ
Фотография. Кивиоли, май 1939 г.
Парижский архив Бунина

22

⟨Канн, 8 августа 1939 г.⟩

Очень благодарю вас, дорогая моя, за прекрасное письмо. На днях напишу вам. Целую руку.

Ваш Ив. Б.

Адрес: Madame M. Karamzine. Kiviõli, 43—2. Eesti. Estonie. Почт. шт.: Cannes, 8.VIII.39.

Открытка с фотографией и подписью: Juan-les-Pins. Côte d'Azur. Дата и место отправления определены по почтовому штемпелю.

23

⟨Канн⟩ 28.VIII.39

Дорогая Мария Владимировна, простите, пожалуйста — все собирался написать вам длинное, длинное письмо в ответ на ваше — совершенно чудесное — да все ездил каждый день купаться (это от нас все же неблизко — 35 километров туда-назад), уставал — да так и не собрался написать. А теперь пишу кратко, среди больших волнений и полного незнания, что с нами будет и куда нам деваться, «ежели что»... В Париж сейчас нельзя — поезда переполнены,— здесь тоже может быть несладко... Alors... Сидим и ждем... [1]

Вера Николаевна тоже все собиралась вам написать — и тоже напрасно. Кроме того, чувствует она себя плохо — очень малокровна, нервна, слаба. Говорила вчера, что все-таки напишет. Очень, очень тронута вами.

Как вы? Напишите. И да хранит всех вас бог.

Ваш Ив. Бунин.

P. S. Есть ли у вас копия того письма, что вы мне написали? Или — записали ли вы ваше путешествие? [2] Его надо непременно напечатать — если все «образуется».

На конверте: Madame M. Karamzine. Raudtee t. 43—2, Kiviõli, Eesti, Estonie. Почт. шт.: Cannes, 28.8.39.
На бумаге с бланком: «Grand café des Négociants. Place de la gare. Cannes».
Ответ на неизвестное нам письмо Карамзиной.

[1] Эти строки отражают напряженное положение накануне второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 г.
[2] М. В. и В. А. Карамзины в то лето совершили путешествие на Ладожское озеро, на остров Валаам.

24

⟨Грасс⟩ 21.X.39

Где вы и что с вами, дорогой друг? Писал вам — от вас ни слова. Очень беспокоюсь. Отзовитесь. Да хранит вас всех бог.

Ваш Ив. Бунин

На обороте: Madame M. Karamzine. Kiviõli. Eesti (Estonie).— I. Bounine. Villa Jeannette, Grasse, A. M. ⟨*Почт. шт. не оттиснулся.*⟩ Открытка.
Тревога Бунина вызвана войной, начавшейся 1 сентября 1939 г.

25

⟨Грасс⟩ 18.XI.39

Дорогая, милая Мария Владимировна, получил ваши две открытки — тронут ими необыкновенно. Из нынешней открытки узнал, что вы получили мою, давнюю, но я вам послал три, а не одну за это время. Живем на чудесной английской вилле, на такой высокой горе, что вид кругом необозримый. Писать до сих пор не могу, все читаю или сижу на солнце (очень жарком) в саду. Однообразие, грусть, одиночество. Вера Николаевна очень благодарит вас обоих за память. Поклон всему вашему дому, целую вас от всей души.

На обороте: Madame M. Karamzine. Kiviõli, Eesti (Estonie). Exp. J. Bounine. Villa Jeannette, Grasse, A. M. Почт. шт.: Grasse, 18.XI.39.
Открытка. Ответ на неизвестные нам открытки Карамзиной.

26

⟨Грасс⟩ 3.I.40

Дорогой друг, поздравляем и мы вас и весь ваш дом с праздником и с Новым годом. Счастлив, что пока вы все благополучны. На ночь поминаю вас мысленно на молитве. Последняя неделя у нас очень мрачна — туманы, снег (да еще какой!), в доме холод ужасный, невзирая на центральное отопление, все мы перехворали, я адски кашляю и все пью ром, ничего не могу делать, кроме чтения (журналы 60—70-х годов из ниццской церковной библиотеки), утром жадно жду газет, вечером слушаю радио, крестясь внутренно при каждой доброй вести — и со страхом думая о будущем. Помоги им господь, стократ несчастным!

Не думаете ли напечатать где-нибудь о своем летнем паломничестве? [1] Пришлите то новое, что я не знаю. Чувствуете себя усталой? Я тоже, конечно. Ужасно хочется в Париж — хоть кого-нибудь повидать, да не позволяет бедность — один проезд чего стоит! Целую вас очень сердечно.

Ваш Ив. Б.

На обороте: Madame M. Karamzine, Kiviõli 43—2. Eesti (Estonie).—Exp.: J. Bounine, Grasse, A. M. Почт. шт.: Grasse, 3.I.40.

[1] См. п. 23 и примеч. 2 к нему.

27

⟨Грасс, 23 февраля 1940 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, был почти месяц в Париже, только что вернулся и получил ваши письма. Очень благодарю за них, завтра, послезавтра напишу вам еще.

Ваш Ив. Б.

23.II.40

На обороте: Madame M. Karamzine. Kiviõli 43—2, Eesti (Estonie). Exp.: J. Bounine. Villa Jeannette, Grasse. Почт. шт.: Grasse, 24.II.40.
Открытка. Ответ на неизвестное письмо Карамзиной.

28

⟨Грасс, 26 февраля 1940 г.⟩

Дорогая Мария Владимировна, вчера послал вам открытку[1] — писал, что долго был в Париже, только недавно вернулся. Пишу вам прямо — стесняюсь посылать письмо через И. В. [2] — вводить ее в расходы при ее бедности. Открытки ваши и письмо со стихами давно получены. Из стихов мне очень понравилось «После чтения Бар⟨атынского⟩» [3], в первом же есть только отдельные прекрасные строки. За все прочее — за то, что пишете о себе, о том, что видите, читаете, чувствуете, и за вашу доброту и дружбу ко мне — не знаю, как и благодарить вас! Простите краткость — очень устал от Парижа, от переездов туда и сюда — очень мучительных. Вера Николаевна чрезвычайно тронута вами и Василием Александровичем, благодарит вас обоих за память. Пожалуйста, пишите мне. Обнимаю вас от всей души.

Ваш Ив. Б.

На обороте: Madame M. Karamzine. Kiviõli, Eesti (Estonie). Exp.: Bounine, Villa Jeannette, Grasse, A. M. Почт. шт.: Cannes, 26.II.40.
Открытка. Дата отправления определена по почтовому штемпелю; место отправления — по обратному адресу. Ответ на неизвестное нам письмо и открытки Карамзиной.

[1] См. п. 27.
[2] Кто такая И. В., установить не удалось.
[3] Стихи Карамзиной, написанные после издания сборника «Ковчег», нам неизвестны.

29

⟨Грасс⟩ 4.IV.40

Мой дорогой далекий друг, с неделю тому назад получил вашу открытку от 6.III, не ответил сразу, будучи простужен (теперь здоров). До 1 апреля было у нас очень холодно, теперь как будто начинается весна — бездна солнечного света в огромном пространстве под нами и в необъятном небе.

Про стихи вам писал — вы, думаю, получили эту открытку [1], — только после 6 марта. Не бросайте, ради бога, писание о вашем летнем паломничестве — *теперь* это особенно нужно. Я *ужасно* страдал в средине марта. Счастлив тем, что пишете о «Цикадах», только почему вы их переписали? Разве у вас нет той книги *из «Собрания сочинений»*, в которой они? Напишите,— если нет, пришлю [2]. Я по-прежнему все читаю и читаю, но, дай бог не сглазить, стал присаживаться за письменный стол, несмотря на то, что всю зиму, как никогда, неотступно думал (да и теперь думаю) о тщете всего и смерти — уже как о деле реальном и близком — ну, пять еще лет, ну, в крайнем случае, десять — ведь это пройдет так скоро, что не

успеешь оглянуться. Думал об этом и прежде, но совсем, совсем не так. И все руками развожу: что за дикая нелепость — меня вот-вот не будет! А мне всего еще лет 30! И — прости меня боже! — эта гнусность — гроб, посыпание землей через кисею и т. д. Но простите, умолкаю. Обнимаю вас от всего сердца.

Ваш Ив. Б.

На обороте: Madame M. Karamzine. Kiviõli 43—2. Eesti, Estonie. Exp.: I. Bounine. Villa Jeannette, Crasse, A. M. Почт. шт.: Grasse, 5.4.40.

Открытка. Место отправления определено по почтовому штемпелю. Ответ на неизвестную нам открытку Карамзиной 6 марта 1940 г.

[1] См. п. 28.

[2] Рассказ «Цикады» (позднее озаглавленный «Ночь») был напечатан в Собр. соч. 1934—1936, т. IX.

30

⟨Грасс⟩ 12.IV.40

Получил вчера вашу открытку par avion. Перед тем писал вам [1]. Опять и опять горячо благодарю вас за все. Вера Николаевна на днях едет в Париж (1, rue Jacques Offenbach, Paris, 16e), очень огорчена — заболел чахоткой писатель Зуров, который несколько лет тому назад целых шесть лет жил у нас в Грассе. Вот и все наши новости. Остальное вы знаете. У нас до сих пор холод, топим, но иногда просто не могу писать — стынут руки. Наша Пасха 28-го. Христос воскресе, дорогой друг. Поцелуйте всех ваших от нас.

Ив. Б.

На обороте: Madame M. Karamzine. Kiviõli 43—2, Eesti (Estonie). Exp.: I. Bounine. Villa Jeannette, Grasse, A. M. Почт. шт.: Grasse, 13.IV.40.

Открытка. Место отправления определено по почтовому штемпелю. Ответ на неизвестную нам открытку Карамзиной.

[1] См. п. 29.

31

⟨Лафрансез⟩ 5.VII.40

Дорогой, милый друг, почти три недели как мы все покинули Grasse, находимся в городишке Lafrançaise (линия Тулуза — Бордо), что пережили и переживаем — и сказать невозможно [1]. Надеемся на днях вернуться назад, домой. Напишите мне туда. Целую вас с большой любовью, кланяюсь вашему мужу.

Ваш Ив. Б.

На обороте: Madame M. Karamzine. Kiviõli, Raudtee t. 43—2. Eesti (Estonie). Exp.: I. Bounine chez Mr Graysnow. Lafrançaise (Tarn et Garonne). Почт. шт.: Lafrançaise, 5.7.40; Kiviõli, 29.VII.40.

Открытка.

[1] В. Н. Бунина писала Т. Д. Муравьевой-Логиновой по возвращении в Грасс, 14 июля 1940 года: «Мы после объявления войны Италией покинули Грасс. Уехали в сторону Монтобана. В Монтобане ничего не нашли, и Ляля ⟨жена Н. Я. Рощина.— *А. Б.*⟩ посоветовала ехать в Лафрансез, где у нее есть знакомые. И мы нагрянули на бедных людей, которые нас всех приютили на одну ночь, а затем все наши дамы перешли в деревенский отель, а мы там и прожили двадцать два дня ⟨...⟩

Наше путешествие стоило нам очень дорого и взяло много душевных и физических сил. В Lafrançaise нет никаких удобств. И нужно было выбирать между конюшней и чистым полем! Трудно было с питанием. Негде было готовить, а рестораны становились не по средствам. Овощей там очень мало. Фрукты дороги...» (Сообщено Т. Д. Муравьевой-Логиновой — см. также ее воспоминания в настоящ. томе, кн. 2).

ПИСЬМО к А. П. ЛАДИНСКОМУ
1945

Публикация Т. А. Ладинской

Villa Jeannette, Grasse, A. M.
8.2.1945

Дорогой Антонин Петрович,

Пожалуйста, извините за столь поздний ответ: очень нездоровится и слабость, безволие, а потом такой холод в доме, что иногда часами сидишь в оцепенении, все не решаясь вынуть искалеченные руки из рукавов.

Получил номер вашей газеты, взял предыдущие номера у Зурова — и еще более убедился, что газета — яркополитическая, а я уже давно потерял всякую охоту к какой бы то ни было политике; горячо радуюсь победам России и союзников, но ведь это не политика. Посему, при всей моей нелюбви отказывать людям и особенно друзьям, приятелям, никак не могу — по крайней мере в данное время — участвовать даже в литературном отделе «Русского патриота». Вы говорите: «Поддержите нас». Но ведь это есть поддержка газеты, органа политически боевого, участие в известной политической деятельности. Не сетуйте, дорогой мой, на меня, я очень люблю вас и как поэта, и как прозаика (с великим удовольствием читал, между прочим, про Анну Ярославовну), люблю и как человека, рад был бы сделать вам угодное, но эту вашу просьбу вынужден отклонить (сердечно благодаря, конечно, вас за внимание).

Пишу про мой отказ и Владимиру Львовичу [1] — он тоже писал мне, прося участвовать в «Русском патриоте».

Всего доброго! В. Н. благодарит вас за память и шлет вам свой поклон.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Может быть, «Союз писателей» все-таки вступится за писателя Бунина заметкой в «Русском патриоте» на счет поведения Графов с этим писателем? [2]

Ив. Б.

ЦГАЛИ, ф. 2254, ед. хр. 56, л. 5—5 об.

Антонин Петрович *Ладинский* (1896—1961)— писатель, много лет провел в эмиграции. В 1930-х годах выпустил несколько стихотворных сборников, сотрудничал в газете «Последние новости». В годы второй мировой войны примкнул к тем русским эмигрантам, которые приняли советскую ориентацию, участвовал в созданной после освобождения Парижа от фашистской оккупации газете «Русский патриот» (позднее переименованной в «Русские новости»); с 1946 г. гражданин Советского Союза. Вернувшись в 1955 г. на родину, поселился в Москве. Автор нескольких исторических романов, написанных частью в эмиграции, а частью уже в СССР («Когда пал Херсонес», «Анна Ярославна — королева Франции», «Последний путь Владимира Мономаха» и др.). В 1956 г. закончил работу над «Парижскими воспоминаниями», в которых рассказал о Бунине, Бальмонте, Тэффи, Саше Черном и других писателях-эмигрантах.

Бунин ценил Ладинского как писателя, охотно встречался и беседовал с ним. Как видно из публикуемого письма, добрые отношения между ними сохранились и в 1945 г., несмотря на то, что пути обоих писателей к этому времени уже окончательно разошлись. О разных позициях, занятых ими, говорит и отказ Бунина от сотрудничества в «Русском патриоте». Но для бунинских настроений этих лет характерна мягкая, деликатная форма, в которую он облек свой отказ.

Кроме публикуемого письма Бунина к Ладинскому, сохранились еще две его открытки (1932 и 1940 гг.) и одна записка 1948 г.,— по содержанию все они незначительны.

[1] Владимир Львович Пиотровский, писатель, член Союза русских патриотов.
[2] Графы — семья, занимавшая в годы оккупации парижскую квартиру Буниных, что задерживало возвращение их в Париж. Как явствует из письма к Бунину Я. Б. Полонского, в начале марта 1945 г. квартира была освобождена — при деятельном содействии «Русского патриота» (см. сообщение А. Н. Дубовикова — настоящ. том, кн. 2).

Приводим отрывок из «Парижских воспоминаний» Ладинского — он связан по своему содержанию с публикуемым письмом и дополняет несколькими интересными штрихами наше представление о позициях Бунина в 1945—1946 гг.

«Трудно сказать, что он думал в глубине своей души о России, о революции. Человек он был довольно сложный, несмотря на наружную и как бы нарочитую простоту. Уже в молодости его одолевали противоречия. В своем путевом очерке „Тень птицы" он писал тогда: „Я хорошо знаю, что можно любить тот или иной уклад жизни, что можно отдать свои силы на созидание его... Но при чем здесь родина? Если русская революция волнует меня все-таки более, чем персидская, я могу только сожалеть об этом. И воистину благословенно каждое мгновение, когда мы чувствуем себя гражданами вселенной"[1].

Это своего рода молодой и благородный космополитизм. Но именно молодой. Когда человека потреплют жизненные бури, ему приятно вспомнить, что есть свой дом, родина, могилы отцов. Бунин не мог не вспомнить об этом на чужбине ⟨...⟩

В какой-то степени эта двойственность оставалась у него до конца жизни. Он с интересом расспрашивал советских людей, которые стали приезжать во Францию после войны, о том, что делается на родине, но в этих расспросах не чувствовалось сыновней любви. Он как бы „обиделся" на что-то, хотя неизвестно на что. Классовое самосознание, дворянская усадьба и прочее? Возможно. Хотя фактически Бунин уже был разночинцем, и никаких усадеб у него не было. Может быть, тут и другое — неуменье и страх перейти через черту, за которой уже начинается новый мир.

Однако он, по-видимому, не представлял себе жизнь вне русской стихии. Бунин не делал особых усилий, чтобы войти во французскую среду, и так и не прижился к чужой жизни, несмотря на всю любовь к уютному Парижу или к милым пейзажам Прованса. Сквозь всякие житейские препятствия он понимал, что совершил ошибку, и только его заносчивый характер мешал ему признаться в этом.

Он не любил разговоров на тему о возвращении на родину, отговаривался своей старостью. Мол, „мне уже помирать пора, ну куда я поеду на старости лет, привыкать к новой жизни", но неоднократно высказывал неудовлетворенность эмигрантской жизнью.

Однажды был с Буниным особенно длинный разговор на эту тему. Ничего особенного в этих высказываниях не было, не все запомнилось, но хорошо припоминается общее бунинское настроение, обстановка. Бунин ⟨...⟩ очень мило себя держал. В тот вечер он назначил мне свидание в одном кафе на Монпарнасе, где так любил бывать Маяковский.

Это было угловое кафе „Дом", где не в пример другим монпарнасским кафе с их модернизированными залами, огромными зеркальными окнами и обилием электрического света сохранилась в те годы старая парижская обстановка: молескиновые диванчики вдоль стен, не очень опрятные передники гарсонов, старомодные мраморные столики, цинковая стойка.

Как обычно по вечерам, в кафе уже стояли облака табачного дыма. За столиками сидели завсегдатаи: художники в клетчатых куртках, незадачливые литераторы с косматыми прическами, непризнанные гении. Многие из них проводили за чашкой кофе одинокий вечер, потому что дома было нетоплено. Они попыхивали трубками, говорили о Матиссе или о Браке. У стойки шумели подвыпившие матросы с красными помпонами на синих шапках.

Мы уселись с Буниным за свободный столик и заказали по рюмке „мара". Есть такая французская крестьянская водка. Помню, Бунин понюхал рюмку и сказал:

— Хороший мар, новыми сапогами пахнет!

Это было вполне бунинское определение. Действительно, как и сливовица, мар припахивает немного кожей.

Встреча эта происходила в те дни, когда в Париже издавалась газета „Русский патриот", около которой группировалось несколько писателей. Хотелось привлечь к газете и Бунина, так как всем были известны его антигитлеровские и патриотические высказывания. Но Бунину почему-то казалось, что ему надлежит стоять „выше политики". Впрочем, он посетил посла и имел с ним дружескую беседу» (ЦГАЛИ, ф. 2254, ед. хр. 33).

[1] Собр. соч. 1965—1967, т. 3, стр. 428.

ПИСЬМО к К. А. ФЕДИНУ

1946

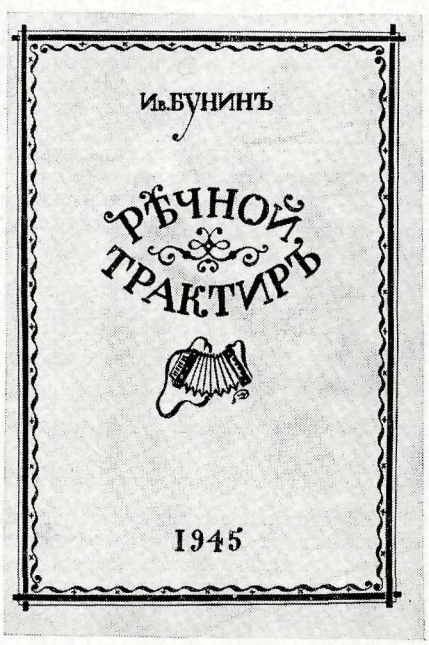
Предисловие К. А. Федина

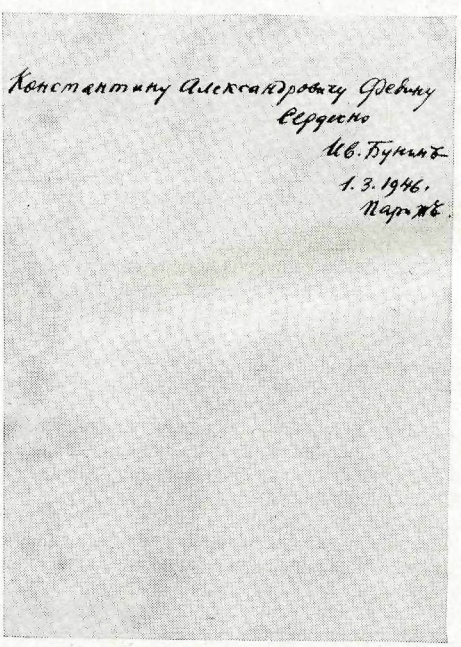
В марте месяце 1946 года почтой доставлена была мне книга, какой я не мог ожидать. Что-то похожее на недоумение почувствовал я при самом беглом взгляде на посылку, а раскрыв ее — изумился.

Это был том первый «Собрания сочинений» И. А. Бунина в берлинском издании «Петрополис» с дарственной надписью автора.

Было от чего взволноваться: в автографе Бунин назвал себя моим «давним усердным читателем». Посматривая на эту надпись, я искал объяснений — почему именно теперь прислан мне дорогой дар моим «давним» читателем? — как вновь, спустя несколько дней, от Бунина прибыла другая книга — рассказ «Речной трактир» также с сердечной авторской надписью. Оба автографа заканчивались одинаковой датой: «1.3.1946. Париж».

В январе — феврале того года я находился в Нюрнберге, ежедневно посещая заседания Международного трибунала, судившего военных преступников. Немало встреч происходило в помещении суда среди разновидных кругов корреспондентов со всего света. На свежей памяти у меня оставался разговор с двумя парижскими журналистами из русской эмиграции, которые рассказывали о своем общении с Буни-




Константину Александровичу Федину
сердечно
Ив. Бунинъ
1. 3. 1946.
Парижъ

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА К. А. ФЕДИНУ НА КНИГЕ «РЕЧНОЙ ТРАКТИР» (Нью-Йорк, 1945):

«Константину Александровичу Федину сердечно Ив. Бунин. 1.3.1946. Париж»

Обложка (М. В. Добужинского) и оборот обложки

Собрание К. А. Федина, Москва

ным и о том, как за время войны изменилось его отношение к советской жизни. Отвечая на их расспросы, я сказал, что у нас знают о новых настроениях Бунина и, конечно, можно ждать снова издания его произведений на его родине.

Только этим нюрнбергским разговором мог я себе объяснить получение нечаянного бунинского подарка. Но мне хотелось большего: я стал ждать от Бунина письма. Письма не было.

Впрочем, нет — письмо было. Оно было подписано спустя две недели после того, как Бунин заключил свои автографы на книгах для меня датой 1 марта 1946 г. Было подписано, но не отправлено. Вероятно, потому что на родине Бунина тогда еще не возобновили печатание его книг. И его письмо я прочитал почти через четверть века.

15 апреля 1971 г.

Париж, 15 марта 1946 г.

Очень благодарю вас, Константин Александрович, за ваш привет мне через моего друга Я. Б. Полонского. Он же сообщил мне с ваших слов, что Государственное издательство решило выпустить том моих сочинений. Почти одновременно я получил открытку из Москвы от Телешова, где, между прочим, такая фраза: «В Государственном издательстве печатается книга твоих произведений листов в 25»[1].

Сообщение ваше и Телешова меня очень взволновало. Очевидно, будет выпущен большой изборник из всего мною написанного, самое существенное из труда всей моей жизни, и я опасаюсь, что редакторы возьмут многое из издания моих сочинений 1915 года (приложение к «Ниве»), первый том которого будет заставлять меня стонать даже и в могиле. Полагаю, что Государственному издательству не знакомы окончательные, исправленные тексты моих заграничных изданий (собрание моих сочинений в издании берлинского «Петрополиса» и др.).

Константин Александрович, вам ли объяснять, что я должен чувствовать,— я, для которого даже каждая неуместная запятая есть истинная мука! Через несколько дней после открытки Телешова я написал ему горячее (может быть, даже слишком горячее) письмо и почти полную копию этого письма — Государственному издательству через старшего советника посольства в Париже, А. А. Гузовского. Но ответа до сих пор не получил.

Простите, что докучаю, может быть, вам своею литературной бедой. Если можете, вступитесь за меня перед Государственным издательством: пусть оно поставит меня в известность о том, что̀ именно оно предполагает напечатать, и подождет моего ответа относительно выбранных им текстов.

Я не касаюсь вопроса гонорарного, так как полагаю, что он будет решен по справедливости.

Примите мой сердечный привет.

Ваш Ив. Бунин

Машинопись с автографической подписью.— Собрание А. Я. Полонского (Париж). Публикуется по фотокопии, предоставленной им «Литературному наследству».

[1] Открытка Н. Д. Телешова, посланная 11 ноября 1945 г. (см. настоящ. кн., стр. 625).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АГ — Архив А. М. Горького (Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва)

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

ГЛМ — Государственный Литературный музей, Москва

ГМТ — Государственный музей И. С. Тургенева, Орел

ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва

ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

МКТ — Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва

Собр. соч. 1902—1910 — И. А. Бунин. Собр. соч., тт. I—V. Пб., «Знание», 1902—1909; т. VI. Пб., «Общественная польза», 1910

Собр. соч. 1915 — И. А. Бунин. Полн. собр. соч., тт. I—VI, Пг., изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1915 (приложение к журналу «Нива»)

Собр. соч. 1934—1936 — И. А. Бунин. Собр. соч., тт. I—XI. Берлин, изд. «Петрополис», 1934—1936

Собр. соч. 1956 — И. А. Бунин. Собр. соч. в пяти томах, тт. 1—5. Библиотека «Огонек». М., «Правда», 1956

Собр. соч. 1965—1967 — И. А. Бунин. Собр. соч. в девяти томах, тт. 1—9. М. «Художественная литература», 1965—1967

«Архив Горького» — «Архив А. М. Горького», тт. I—VII. М., 1949—1962

«В большой семье» — Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960

«Весна пришла» — Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959

«Время» — Сб. «Время», Смоленск, 1962

Гольдин — С. Л. Гольдин. О литературной деятельности А. И. Бунина восьмидесятых годов.— «Ученые записки Орехово-Зуевского педагогического института», т. IX, кафедра литературы, вып. 3. М., 1958

Горький — М. Горький. Собр. соч., в 30 томах. М., 1949—1955

«Горьковские чтения 1958—1959».— Переписка А. М. Горького и И. А. Бунина. Публикация Архива А. М. Горького.— «Горьковские чтения 1958—1959». М., 1961, стр. 3—126

«Жизнь Бунина» — В. Н. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. 1876—1906. Париж, 1958

«Записки писателя» — Н. Д. Телешов. Записки писателя. М., 1958

«Летопись Горького» — «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», в. 1—4. М., «Наука», 1958—1960

«Летопись Чехова» — Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., Гослитиздат, 1955

«Литературный Смоленск» — «Литературный Смоленск». Альманах, кн. 15. Смоленск, 1955

«Материалы» — А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М., «Художественная литература», 1967

«Проблемы реализма» — Сб. «Проблемы реализма и художественной правды», в. 1. Львов, 1961

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

ПУТЬ БУНИНА-ХУДОЖНИКА

Статья О. Н. Михайлова 7

ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ БУНИНА

ПРОЗА

Публикация В. Н. Афанасьева, Л. Н. Афонина, А. К. Бабореко, Н. А. Балтийской, И. С. Газер, Т. Г. Динесман, А. Н. Дубовикова, А. С. Логвинова, С. Ю. Прегель

В ЛЕСАХ 60

О МИЛЫХ ЛЮДЯХ 63

ПО ДНЕПРУ

Предисловие А. Н. Дубовикова 65

МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ

I. В ПОГОДУ 69

II. ТРИ ПРОСЬБЫ 72

НОЧНАЯ ПТИЦА 74

ДЕСЯТОГО СЕНТЯБРЯ . . . . . —

В СТРАНЕ ПРАЩУРОВ 76

БОГИНЯ РАЗУМА

Предисловие А. К. Бабореко 78

ПЛАЧ О СИОНЕ 87

БЛАГОВЕСТИЕ 88

ИЗ ЦИКЛА «СТРАНСТВИЯ» 90

СОКОЛ 101

ПОРТРЕТ 102

РУСЬ ГРАДА ВЗЫСКУЮЩАЯ 103

«СОН ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ» 103

ПРОВАНСАЛЬСКИЕ ПЕРЕСКАЗЫ

Предисловие В. А. Дынник 105

ЗВЕЗДЫ 109

МЭТР ВСЕХ МЭТРОВ 112

ТАРАСКОН 114

ЮНЫЙ ПИЛИГРИМ 116

ВОЛХВЫ 118

СВЯТОЧНЫЙ ВЕЧЕР 121

РИВЬЕРА 123

АЛЯ 124

«КОГДА Я ВПЕРВЫЕ...» 125

ЖЕЛЕЗНАЯ ШЕРСТЬ

Предисловие Э. В. Померанцевой 126

МОДЕСТ 129
КРЕМ ЛЕОДОР 130
ПРОРОК ОСИЯ 131
ГОСПОДИН ПОРОГОВ 132

Приложение: РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ РАННИХ ЛЕТ (1886—1892)

<ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА>
Предисловие А. С. Логвинова 133

СВЕТ ЖИЗНИ
Предисловие Л. Н. Афонина 135

НЕФЕДКА 137
БОЖЬИ ЛЮДИ. <ДВА СТРАННИКА> 139
ДЕНЬ ЗА ДЕНЬ 145
«ШАМАН» И МОТЬКА 148
БОЖЬИ ЛЮДИ. СУДОРЖНЫЙ 154
ПРАЗДНИК 160
ПОМЕЩИК ВОРГОЛЬСКИЙ 162

СТИХИ

Публикация В. Н. Афанасьева, Л. Н. Афонина, А. К. Бабореко, М. Г. Ватолиной, И. С. Газер, Т. Г. Динесман, А. Н. Дубовикова, В. Г. Лидина, О. А. Сайкина, Н. П. Смирнова

Предисловие Т. Г. Динесман 173

СТИХОТВОРЕНИЯ 1900—1938 гг.

ЗАКОНЧЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 176
ПОЗДНЕЙШИЕ РЕДАКЦИИ СТИХОВ, ИЗВЕСТНЫХ ПО БОЛЕЕ РАННИМ ПУБЛИКАЦИЯМ 195
ПЕРЕВОДЫ 201

Приложения:
1. НЕЗАКОНЧЕННЫЕ СТИХИ И НАБРОСКИ 227
2. ИЗ РАННИХ СТИХОВ (1883—1900) 232

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, РЕЧИ, РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ИНТЕРВЬЮ

Публикация В. Н. Афанасьева, И. С. Газер, А. С. Логвинова

Предисловие Т. Г. Динесман 287

СТАТЬИ И РЕЧИ

ПОЭТ-САМОУЧКА (ПО ПОВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ Е. И. НАЗАРОВА) 290
МАЛЕНЬКАЯ БЕСЕДА
Предисловие А. С. Логвинова 296
ПАМЯТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО
Предисловие А. С. Логвинова 299
НОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ
Предисловие А. С. Логвинова 305
ЗАБЫТЫЙ ЧЕЛОВЕК
Предисловие И. С. Газер 309
РЕЧЬ НА ЮБИЛЕЕ «РУССКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»
Предисловие А. Н. Дубовикова 314
Приложение: ОТВЕТ И. А. БУНИНА 322

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА. СПб., 1894 325
А. А. КОРИНФСКИЙ. ПЕСНИ СЕРДЦА. СТИХОТВОРЕНИЯ 1889—1893 гг. М., 1894 327
А. КОРИНФСКИЙ. ТЕНИ ЖИЗНИ. СПБ., 1897. ОН ЖЕ. ВОЛЬНАЯ ПТИЦА И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ. СПБ., 1897 328
Н. ТЕЛЕШОВ. ЗА УРАЛОМ. 1897 330
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК. 1898 Г.
«КНИЖКИ НЕДЕЛИ», IX 331
«РУССКОЕ БОГАТСТВО», IX 332
Н. ТЕЛЕШОВ. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ. М., 1899 335

ОТЗЫВЫ, НАПИСАННЫЕ ДЛЯ АКАДЕМИИ НАУК

Предисловие и публикация Л. Н. Афонина 336
О СОЧИНЕНИЯХ ГОРОДЕЦКОГО 340
1. СТИХОТВОРЕНИЯ ЭДЕЛЬВЕЙСА. 2. Н. КРАШЕНИННИКОВ: «УГАСАЮЩАЯ БАШКИРИЯ», «МЕЧТЫ О ЖИЗНИ», «СКАЗКИ ЛЮБВИ», «БАРЫШНИ» . . . 352
Л. ЖДАНОВ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ. Э. ГОЛЛАНДСКАЯ. РАССКАЗЫ, т. II . 354

ИНТЕРВЬЮ

Публикация А. К. Бабореко, И. С. Газер, Т. Г. Динесман, Т. Г. Морозовой
Предисловие И. С. Газер 355

1. «НОВОСТИ ДНЯ», 1902, 27 ДЕКАБРЯ 359
2. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1902, 28 ДЕКАБРЯ 360
3. «ОДЕССКИЙ ЛИСТОК», 1910, 2 МАРТА 362
4. «УТРО РОССИИ», 1910, 22 МАЯ 363
5. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1910, 15 ДЕКАБРЯ 364
6. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1910, 16 ДЕКАБРЯ 367
7. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1911, 8 СЕНТЯБРЯ 369
8. «МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА», 1912, 28 МАЯ 371
9. «МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА», 1912, 23 ИЮЛЯ 372
10. «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ», 1912, 6 СЕНТЯБРЯ 373
11. «РАМПА И ЖИЗНЬ», 1912, № 44 374
12. «ЮЖНАЯ МЫСЛЬ», 1913, 17 АПРЕЛЯ 375
13. «ЮЖНАЯ МЫСЛЬ», 1913, 14 ИЮЛЯ 377
14. «БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ», 1916, 14 АПРЕЛЯ 378

ЗАПИСИ И ЗАМЕТКИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСИ
Публикация А. К. Бабореко 381
БЕЗЫМЯННЫЕ ЗАПИСКИ 382
КНИГА МОЕЙ ЖИЗНИ . . . . . —
ДНИ И ГОДЫ. СКИТАНИЯ 386
⟨ИЗ ЗАПИСЕЙ⟩ 387
ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 388
⟨ЗАПИСИ⟩ 390
КРЫМ 391
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОИХ РАССКАЗОВ 393
К ВОСПОМИНАНИЯМ О ТОЛСТОМ
Публикация Н. П. Смирнова 396
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАПИСИ
Публикация А. К. Бабореко
Предисловие и примечания Э. В. Померанцевой 399

«ПСАЛЬМА ПРО СИРОТУ» 400
ИЗ «ПЕСЕН, СОБРАННЫХ П. В. КИРЕЕВСКИМ» 401
ИЗ «ПАМЯТНИКОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ» Е. БАРСОВА 414
⟨ИЗ РАЗНЫХ СБОРНИКОВ⟩ 417

ПИСЬМА

ПЕРЕПИСКА с В. Я. БРЮСОВЫМ (1895—1915)
Вступительная статья и публикация А. А. Нинова 421
ПЕРЕПИСКА с Н. Д. ТЕЛЕШОВЫМ (1897—1947)
Предисловие и публикация А. Н. Дубовикова 471
ИЗ ПЕРЕПИСКИ с А. С. ЧЕРЕМНОВЫМ (1912—1917)
Публикация Л. Н. Афонина и Л. К. Кувановой
Предисловие Л. К. Кувановой 639
ПИСЬМА к О. А. МИХАЙЛОВОЙ (1895)
Публикация Н. Л. Крашенинниковой 659
ПИСЬМА к М. В. КАРАМЗИНОЙ (1937—1940)
Предисловие и публикация А. К. Бабореко 663
ПИСЬМО к А. П. ЛАДИНСКОМУ (1945)
Публикация Т. А. Ладинской 688
ПИСЬМО к К. А. ФЕДИНУ (1046)
Предисловие К. А. Федина 690
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 692

В томе 127 иллюстраций и одна вклейка

«Литературное наследство»
Том 84

ИВАН БУНИН
Книга первая

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР

Редакторы издательства *В. Б. Гусынина* и *А. Т. Лифшиц*
Художественный редактор *Н. Н. Власик.* Технический редактор *Л. Н. Золотухина*

Сдано в набор 9/III 1972 г. Подписано к печати 23/II 1973 г. Формат 70×108¹/₁₆. Усл. печ. л. 61,1. Уч.-изд. л. 62,5. Тираж 20000. Тип. заказ 419. Бумага № 2. А-04053. Цена книги первой 4 р. 13 к.

Издательство «Наука». Москва 103717 К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». Москва 121099 Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
117	6 св.	тебе	себе
362	7 св.	— мне И не очень	И мне — не очень
402	20 сн.	долговестну	долговетну
605	24 св.	подошедшее	недошедшее
696	20 св.	(1046)	(1946)

«Литературное наследство», т. 84. Иван Бунин. Книга первая

4 р. 13 к.

Вторая книга т. 84 включает три раздела. В первом из них — «Статьи» — изучаются литературные и биографические связи Бунина с Горьким, с Чеховым; творческая работа Бунина над рассказами 1910-х годов; его ранние поэтические опыты в их связях с предшествующей русской поэзией; отражение фольклора в прозе Бунина. В разделе «Воспоминания» публикуются мемуары, извлеченные из архивов, а также написанные для настоящего тома друзьями и близкими Бунина. Раздел «Сообщения и обзоры» содержит разнообразные материалы, в том числе: отзывы о Бунине советских и зарубежных писателей, письмо А. Н. Толстого о Бунине, статью П. А. Нилуса о творчестве Бунина и др. Заканчивается раздел обширным обзором: «Бунинские материалы в архивах Советского Союза».

В книге 115 иллюстраций.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»